



Памятники
исторической
мысли
Украины

Н.И.
КОСТОМАРОВ



Исторические
произведения
•
Автобиография





Памятники
исторической
мысли
Украины



Н.И. КОСТОМАРОВ



Исторические
произведения

Автобиография

Киев
Издательство при Киевском
государственном университете
1989

ББК 63.3(2Ук)
К72

Редакционная коллегия библиотеки
«ПАМЯТНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ УКРАИНЫ»

Ю. П. Дьяченко, В. А. Замлинский, Л. Г. Мельник, Ю. М. Мушкетик,
В. Г. Сарбей, В. А. Смолий, В. П. Тараник, Ф. П. Шевченко (председатель)

Составитель и автор историко-биографического очерка
В. А. Замлинский

Примечания *И. Л. Бугича*

Рецензент *В. Г. Сарбей*

Редактор *Ю. Г. Медюк*

К $\frac{0503020902-109}{M224(04)-89}$ 15-90

ISBN 5-11-001487-6

© Составление, историко-биографический очерк.
В. А. Замлинский, 1989
© Примечания. И. Л. Бутич, 1989

К ЧИТАТЕЛЮ

С 1989 г. Издательство при Киевском университете начинает выпуск библиотеки «Памятники исторической мысли Украины». Авторы представленных в ней книг — замечательная плеяда исследователей отечественной истории — Н. И. Костомаров, А. Л. Ефименко, М. С. Грушевский, Д. И. Яворницкий, А. И. Ригельман, П. И. Симоновский и другие ученые, на чьих произведениях воспитывалось не одно поколение интеллигенции. Ныне их труды — библиографическая редкость. Прошлое украинского народа в его политической и экономической истории, исторический процесс в персоналиях, история освободительной борьбы народа, культура и быт украинцев — эти сюжеты увлекают читателя глубиной и оригинальностью содержания, яркостью и живостью формы. Каждое издание осуществляется на языке оригинала — русском или украинском — и будет снабжено историко-биографическим очерком об авторе, необходимым

научно-справочным аппаратом. Подготовкой серии заняты ведущие ученые Института истории АН УССР, Киевского госуниверситета, других вузов республики.

Библиотеку открывает сборник сочинений известного историка, этнографа, фольклориста и писателя Н. И. Костомарова (1817—1885). При его формировании из обширнейшего наследия ученого был отобран ряд произведений, главным образом посвященных истории Украины — от первых славянских поселений до петровского времени — и представляющих интерес для любителей отечественной истории.

Тексты публикуются по изданиям 1881—1922 гг. В них устранены типографские погрешности, разночтения, раскрыты некоторые сокращения и т. д.; орфография и пунктуация по возможности приближены к нынешним нормам.

Составители и издатели библиотеки с благодарностью воспримут замечания и пожелания читателей по поводу как этой книги, так и замысла серии в целом. Наш адрес: 252001, Киев, Крещатик, 10, Издательство при Киевском государственном университете.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЧЕРТЫ НАРОДНОЙ ЮЖНОРУССКОЙ ИСТОРИИ

I

ЮЖНОРУССКАЯ ЗЕМЛЯ. ПОЛЯНЕ-РУСЬ. ДРЕВЛЯНЕ (ПОЛЕСЬЕ). ВОЛЫНЬ. ПОДОЛЬ. ЧЕРВОНАЯ РУСЬ

Древнейшие известия о народах, занимавших Южнорусскую землю, очень скудны; впрочем, не без основания: руководствуясь как географическими, так и этнографическими чертами, следует отнести к южнорусской истории древние известия об антах¹, по крайней мере к юго-западной отрасли этого народа. По известию нашего летописца², улучи³, бужане⁴ и тиверцы⁵ имели много городов по Бугу и Днестру вплоть до устья Дуная и до моря; они назывались у греков *Великая Скифь*. Летописец наш понимал так, что под этим народом должно разуметь народ, известный грекам; и действительно, мы встречаем у греческих писателей антов — народ славянского происхождения, на тех же самых местах. Невозможно, чтоб под именем антов разумелись только днестрянские жители; без всякого сомнения, этому имени придавали пространнейшее географическое значение. По толкованию ученых, *ант* есть прозвание старонемецкое (*Szafarik*, 402 *) и значит — *великан*; это наводит нас на предположение, что слово «ант» должно быть то же название, что и *Великая Скифь* нашего летописца. Невольно мы встречаем соотношение с южнорусским преданием о том, что в Украине в древности жили люди исполинского роста — *велетни*, т. е. великаны, ходившие с целой сосной в руке, опираясь на нее, как на палку. Это высокорослое племя оставило свои следы в тех земляных валах и *могилах* (курганах), которыми усыпана Южная Русь. За свои грехи и за вражду между собою они были потоплены; после них явились другие великаны, — погибли тоже в свою очередь, и с тех пор род человеческий начал мельчать. Предание о великанах теперь уже сбилось с пути и, кажется, в нем надобно искать два предания: в одном народ признает великанов предками своими, воображает, что прежде род человеческий был рослее и массивнее, а

* Список источников, использованных Н. И. Костомаровым, см. на с. 720 Кроме данного и других особо оговоренных случаев звездочкой обозначаются авторские подстрочные примечания и ссылки на источники. Примечания составителей имеют сквозную нумерацию в рамках каждого произведения и помещены в конце книги. — *Ред.*

впоследствии измельчал; а в другом признает великанов враждебными предкам народа, к которому принадлежат рассказчики, и даже нередко самих этих великанов считает более фантастическими чудовищами, чем людьми. Эти великаны имеют соотношение со змеями, такое значительное место занимающими в наших сказках, и, как видно, то же, что в летописных преданиях древние обры⁶ (чешск. Obr, польск. Olbrzym — великан), враги и мучители славянского племени.

Слово *велетни* и предания о древних исполинах указывают на сходство, а может быть и единство их со словом *вельняне*⁷, которым, по словам нашей летописи, заменились народные названия бужан и дулебов⁸. У летописца нашего говорится в одном месте «бужане», после же «вельняне», а в другом месте, ниже первого, — «дулебы сидяху по Бугу, где ныне вельняне». Или дулебы славянская ветвь, впоследствии замещенная другою, или же одно название, древнее, одного и того же народа, заменилось другим — вельняне.

Следы названия дулебов остались до сих пор в некоторых местностях по Горыни. Так на реке Турии есть деревня Дулебы, между Никополем и Гущею (в Ровенском уезде); три деревни под этим именем в Восточной Галиции, на реке Стрипе и в губернии Подольской; сверх того, созвучные названия попадают и в других местах Руси, даже не южной; например — Дулебчина в Гродненской губернии. Это распространение имени дулебов по пространству русского мира указывает, что оно некогда имело значение шире и не ограничивалось одним только краем на Волыни.

Слово вельняне, кажется, имеет тождество с *вельнянами* (Масуди⁹), которые были некогда сильным народом, имели своего князя Мажека. Это указывает как бы на то, что в древности народы южнорусские составляли одно тело, в известной степени сильное, которое приняло название вельнян, т. е. великого народа. *Велинный* значит то же, что *великий*, то же, что *ант*. А как под именем антов разумели не какой-нибудь частный этнографический признак, но большой отдел славянского племени, то, вероятно, и под вельнянами разумеется не один какой-либо народ, а союз южнорусских народцев. Итак, название антов и вельнян и предания о *велетнях* состоят между собою в связи и указывают на древнее единство и взаимную связь народов Южной Руси.

Западная часть этого народа, уже близ самых гор Карпатских, носила название *хорватов*. Правдоподобно производят это имя от *hrb* — *холм*, и в таком случае хорваты будут то же, что горали или гуцулы — жители Карпатских гор и их подножия. Назывались ли хорватами жители Восточной Галиции к границам нынешней России? Едва ли. По Днестру, как говорят, жили улучи и тиверцы; следовательно, жители берегов этой реки не назывались хорватами.

Хорваты, конечно, были близки к тиверцам и улучам; и теперь потомки хорватов, как потомки последних, — южноруссы по языку, с незначительными местными отменами.

Давнее знакомство с греками, вероятно, способствовало цивилизации южнорусского народа, и, конечно, она бы стояла на значительной степени, если бы, притом, не препятствовали ее развитию беспрестанные находы с Востока диких орд, причинявших ему разорение. Он был народ земледельческий, — об этом свидетельствуют греки в описании антов; да и из наших летописцев это видно, как показывает самое предание о том, что обры запрягали дубов в плуги. Обряд, отправляемый отцом семейства в сочельник¹⁰, по своему сходству с обрядом Свантовитова богослужения в Арконе¹¹, указывает на свою древность и своим характером свидетельствует о древности земледелия у южнорусских славян.

Множество городов у днестрянских жителей, улучей, показывает, с одной стороны — небезопасность края, где жители подвергались неприятельским набегам и должны были укрываться в укрепленных городах, с другой — известное развитие оседлости и цивилизации, ибо, несмотря на опасности, они, вместо того, чтобы, подобнономадам, уйти прочь, предпочитали лучше оставаться в опасном крае и изыскивать средства для своего ограждения. Устройство городов указывает вместе с тем на существование в стране администрации; потому что где были города, там, конечно, к городам принадлежали округи: так везде было у славян. Сильным и энергичным народом в те времена, кажется, они не были, потому что их покоряли чужеземцы, как и удалось Олегу¹².

Степень образованности южнорусских народцев издревле была различна. Так, по известиям нашего летописца, поляне¹³ изображаются цивилизованнее древлян¹⁴. Поляне знают брак: у древлян, как и у других первобытных народов, удерживалось *умыканье* девиц. Как ни подозрительно могло бы казаться предпочтение, оказываемое в отношении нравственного образования полянам пред древлянами летописью, но действительно поляне имели более залога образованности, чем древляне: первые обитали близ большой реки и, следовательно, могли завести удобнее знакомство с образованною Грецией и с берегами Тавриды¹⁵, где еще сохранялись остатки древней образованности; поход Кия¹⁶ под Цареград¹⁷, переселения Кия на Дунай и обратно — все это предания, в которых несомненно одно: давнее знакомство полян с Грецией.

Договоры Олега и Игоря¹⁸ достаточно показывают древность сношений полян-руси с Югом. Все, что говорится в этих договорах о Руси, должно относиться не только к чужеземной Руси, пришедшей в киевскую сторону, но и к туземцам Руси — полянам; ибо в договоре Олега говорится о *возобновлении* бывшей между христианами и Русью любви. Эта бывшая любовь, конечно, существовала между славянскими племенами и греками и не только у полян, но отчасти и у других славянских народов, которые чрез посредство полян имели сношения с греками. Видно, что они строили лодки и плавали по Днепру, ходили на море не для разбоев, а для мирных сношений: одни ло-

вили рыбу на Белобережье, то есть у устья Дуная; другие с тою же целью плавали к берегам Тавриды. Некоторые ходили в Цареград на работы и проживали на службе в императорской войске. Очевидно, что эти известия в договоре относились не к одним пришельцам Руси, но и к тем, которые с ними смешались. В Цареграде жили русские торговцы, и, вероятно, торг, который они вели с греками, был выгоден для последних, когда гости получали от императора месячину. Договоры Олега и Игоря говорят много об ограждении как русских, так и греков в их взаимных сношениях от порабощения личностей. Отсюда кажется достоверным, что самые войны Олега и Игоря возникали вследствие споров между полянами в Киеве и Византии¹⁹, и одним из предметов этих споров было то, что торговцы и промышленники попадались в рабство: и тот и другой договор стараются прекратить торговлю людьми и обязуют с обеих сторон отпускать и выкупать из плена как русских, так и греков в их взаимных делах. Существование гостей у полян показывает, с одной стороны, значительное развитие экономического быта, а с другой — неравенство в распределении состояния. Уже тогда существовали *челядники*. Неизвестно, в каком отношении они были к другим сословиям — наемные или рабы, и на каких началах? У русских были продажные рабы в X столетии: это видно из Святославовых²⁰ слов, что *из Руси идет шкура, воск и челядь*. Таким образом, в числе вывозных русских товаров в Грецию были невольники. Но в договорах Олега и Игоря хотя говорится о *беглом челядине*, но в то же время дух договоров клонится к пресечению порабощения личностей, так что под *челядином* можно, по-видимому, разуметь служителя, убежавшего от договора с господином; ибо выражение *поработить* равносильно — *убить: еще обрящют Русь кубару греческую ввержену на коем либо месте, да не преобидят ея; еще ли взмет от нея кто что, ли чловека поработить, или убьеть, — да будет повинен закону руску и греческу*.

Отправляя в Грецию шкуры, мед и воск, поляне получали оттуда паволоки — материи, бывшие тогда в употреблении, и одежды: предметы эти были признаком богатства и зажиточности. Другие товары, приходившие из Греции, были: вино, овощи и металлы. Поляне знали употребление металлов и монеты. Из Греции они получали золотые номизмы, с Дуная (из угров) серебро. В договорах Олега и Игоря ценность означает *греческими златницами*. Все это показывает достаточную зажиточность, по крайней мере между некоторыми, и знакомство с цивилизацией.

Сношения с Грецией распространили между полянами христианство. Едва ли можно предположить, чтоб только с половины IX века, то есть с Аскольда и Дира²¹, проникло христианство в Киев; легенда об апостоле Андрее есть не что иное, как апотеоз памяти о древнем христианстве в той стране. Не может быть, чтобы христианская вера не проникала туда издавна путем торговли и путем проповеди. С половины IX века мы узнаем уже об открытом крещении Руси от многих

византийских летописцев. Патриарх Фотий²² в окружной грамоте оповестил отрадное и счастливое для всей христианской церкви событие — обращение руссов. С тех пор христианская вера расцветала в Киеве и расширялась. В договоре Игоря мы встречаем и церкви — церковь Ильи²³, которая была соборная; из этого видно, что были еще и не соборные. Летописец, назвав эту соборную церковь, заметил, что и многие варяги были крещены. Видно, христианство было настолько распространено, что могло привлечь к себе скоро пришельцев: если бы число христиан было незначительно, то христианство едва ли могло бы иметь такое влияние на них, будучи религией только немногих. Христианству можно было научиться в Киеве: так научилась ему и сделалась христианкою мать Святослава²⁴. Язычество, хладнокровно смотревшее на то, что новая вера более и более распространялась, только при Владимире²⁵ оказало деятельную оппозицию. Владимир поставил на холме богов, собравши каких мог — и славянских, и литовских. Он, кажется, облачал прежнее язычество в более определенные формы. Под 983 годом летописец²⁶ рассказывает о человеческой жертве, устроенной Владимиром: кажется, этот поступок был не жертвоприносительным, но выражением мщения, ибо для жертвы был избран христианин; точно так и впоследствии литовцы вообще отличались нетерпимостью к христианству, всегда ссорились с новою верою и приносили в жертву своим богам из христиан, например, пленников немецких. Так как вера христианская стала уже сильно распространяться, Владимир принял сторону язычества, но тогда, конечно, возникла оппозиция со стороны христианства. Владимир отличался депотическими наклонностями. Может быть, этому способствовало влияние хазаров. Недаром в речи своей на память Владимира оратор назвал его «хаганом». Как скоро хазарское слово «каган» вошло в Русь, то, конечно, вошло до известной степени и восточные понятия. Может быть, хазарским нравам следует приписать и это сладострастие Владимира, толпу жен и наложниц. Он начал преследование на христиан, и жертвоприношение варяга было одним из проявлений такого преследования. Под 988 годом рассказывается у летописца, что вдруг являются в Киеве разных вер учителей: они все хотели обратить в свою веру князя и народ. Что значит такое внезапное явление? Отчего они узнали, что в Киеве может быть перемена веры? Что заставило Владимира искать веры, когда он перед тем был таким ревностным язычником, и притом, как кажется, утвердителем языческой религии? И вдруг этот князь изменяет ей! Вероятно, оппозиция язычеству со стороны христианства взяла в Киеве верх, — князь должен был уступить, и сам князь, верно, увлекаясь большинством, начал сомневаться в божественности своих болванов. Подобное стечение вероучителей в одно время могло быть тогда только, когда к этому располагали внутренние обстоятельства страны, куда сошлись эти вероучители. Почти несомненно, что принятие крещения Владимиром было не без того, что к этому его располагало существование сильной партии ме-

жду киевлянами, исповедовавшей христианство и притом христианство православного закона — восточного. По известию летописца, когда он собрал бояр своих и городских старцев и начал с ними советоваться, какую ему веру выбирать из нескольких предлагаемых, тогда большинство признало, что лучше избрать греческую, и указывало на пример Ольги, называемой ими мудрейшею всех человек. Конечно, если уже образовалось понятие о превосходстве греческой веры пред другими, то это показывает знакомство с нею и, следовательно, большее в сравнении с другими ее распространение. Многочисленностью православных христиан в Киеве до крещения Владимира объясняется и та покорность толпы, с которою киевляне стремились креститься по приказанию киевского князя. Вероятно, многие из некрещенных уже были расположены к христианству по научению своих близких и сами не смели креститься, а были очень довольны, когда князь уступил общему духу. Совсем иное произошло в Новгороде, куда христианство проникло не так удачно и не так давно, как в Киеве; там Добрыня²⁷ должен был употреблять оружие и огонь, чтобы приводить новгородцев на путь истины и спасения.

Без сомнения, сравнительное пред соседями превосходство образованности Киева и полян еще в язычестве содействовало тому, что этот народец соделался после крещения центром, связующим остальные племена славян. Иными являются древляне, их соседи. Здесь опять приходится то же сказать, что сказано уже по поводу полян. Описание древлян в черных красках, как, напротив, противников их — полян в светлых, показывает, что летописец не был изъят от народной нелюбви к древлянам, как не был изъят от привязанности к полянам. Но если мы сознаем, что и географические условия, и обстоятельства располагали полян к получению и развитию в себе большей образованности, то, с другой стороны, древлянам подобные условия препятствовали к ее достижению. Древляне жили в непроходимых дремучих лесах, а лесная жизнь, известно, способствует к одичанию: земля их была менее плодородна, скуднее были пути сообщения, которые бы знакомили их с образованным миром. Из рассказов, которые летопись помещает по поводу прибытия послов Мала²⁸ к Ольге, видно, что о них ходили такие же анекдоты, обличающие их глупость, какие и теперь ходят о полещуках²⁹, потомках старинных древлян. Так, древлянские послы некстати говорят: «мы не идем и не идем на лошадях, а несите нас в ладьях»; и когда их несли в ладье, — о них говорит летописец, — что они *в перегбех в великих сустугех гордящеся*. Ольга заманила их в западню. Цель рассказа показать глупость и несмышленность древлян, так как они не могли предвидеть своей беды. В том веке, когда еще были слабы узы обществ, сила и хитрость брали верх, и ум измерялся именно тем, чтоб не попасть в обман. Повесть не ставит в упрек Ольге ее вероломных поступков, но выставляет глупым народ, который легко было надуть. Древляне не были знакомы с духом мести и потому так доверились; это показывает, что у

славян вообще она была мало развита: иначе, если бы даже предположить, что у полян существовала святость мщения, а у древлян ее не было, то все-таки последние не доверились бы своим врагам; но еще не зная пришельцев с балтийского поморья, они думали, что можно и с ними поссориться, и потом помириться безопасно. Ольга пользуется новостью обычая, а уважительный тон повести об Ольге показывает, что славяне стали сами заимствовать этот обычай: впоследствии он как будто пропадает, ибо даже в драках наших позднейших князей замечается, как он смягчался и исчезал, — несомненно, что, кроме христианства, на ослабление его действовал также перевес славянского элемента перед пришлым. Избиение древлян на тризне, устроенной Ольгой в честь Игоря, и самое затейливое мщение княгини посредством воробьев и голубей — все это показывает, что древлян почитали глуповатыми и простаками.

Из всех известий, переданных нам летописцем, видно, что у этого народа сохранились первобытные обычаи, которые у полян уже изменились под влиянием несколько высших понятий. У древлян было не нравившееся летописцу умыкание девиц у воды — столь общее почти всем первобытным народам. Им известно было земледелие. Ольга склонила коростенян ей поддаться, выражается о других древлянах, что они *делают нивы своя и землю свою*: они занимались скотоводством и овцеводством, они употребляют сравнение Игоря с волком, когда этот зверь ворвется между овец; как у лесного народа, у них было в изобилии звероловство и пчеловодство, ибо давали дань шкурами и медом. Они были, как кажется, разделены на мелкие области, ибо говорят: *наши князи*. За одного из них, может быть, главного, Мала, приглашали идти замуж Ольгу — несчастное сватовство, кончившееся порабощением древлян.

Живя в лесных деревнях, древляне строили города, которые, по общему славянскому обычаю, имели значение господствующих местностей. Вместе с тем города были местом большей культуры, состоящей в земледелии; города древлянские не были тем, чем впоследствии обозначалось это название, вблизи них, жители занимались земледелием. В деревнях занимались более звероловством. Все города с землями составляли одну союзную землю, и существовало сознание о ее единстве; потому что когда Ольга покоряла древлян, то обходила с сыном Святославом *всю Древлянскую землю*.

По покорении Древлянской земли Ольга установила в ней ловища, места для ловли и сноса звериных шкур, которые составляли дань. Древляне должны были ловить зверей и доставлять шкуры в Киев и Новгород. Покорение древлян было не только подданством, но порабощением: Ольга оставила только *прок их* для платежа тяжелой дани, а других отдала в работу своим мужам. Соображая богатства Русской земли, шедшие, по словам Святослава, в Грецию, видно, что дань, наложенная на древлян, была выгодна для Киева по торговле с Грецией. Плоды трудов древлян переходили в Киев в руки князей и бояр и,

отправляясь в Византию, променивались там на произведения Юга и, конечно, сами древляне не имели никакой выгоды: порабощенные, они должны были работать для господ.

Покорение древлян способствовало к формированию и усилению высшего класса, оседлости пришельцев и смешению народностей. Если бы принимать произвольно созданную нашими историками-исследователями теорию родового быта с патриархами-родоначальниками³⁰; если бы родовая связь поглощала семейную, тогда надобно было бы принять издревле-строгое аристократическое начало, возвышение нескольких родов, унижение и порабощение других. Но изучая историю славянских народов и в особенности русского, замечая следы старого быта в памятниках, не видно, да и предположить нельзя, чтобы на родовых основаниях семьи находились под какой-нибудь зависимостью от известных лиц-родоначальников; а поэтому невозможно было образоваться родовому рабству, т. е. такому рабству, когда прежняя власть отеческая, по мере родственной отдаленности тех, которые должны были находиться к ней, так сказать, в сыновнем отношении, перешла во власть господскую. Семьи делились, и каждая семья, если бы и сознавала связь с другою, то не была зависима одна от другой.

Покорение древлян если не вносило в жизнь южнорусских славян рабство вновь, то усиливало его, распространяло, упрочивало те начатки его, которые существовали исстари, ибо целый народ объявлен был в рабстве. И это возвысило высший класс. Появлялись бояре, сильные, подобные князьям, имевшие свои дружины в Киеве, о которых осталась память даже в песнях (например, Иван Годинович, Чурило Пленкович). По происхождению своему эти бояре, как они назывались, были, во-первых, варяги-пришельцы и, во-вторых, — руссы-поляне, с массою которых совершилось порабощение древлянского народа. Поляне, и прежде ставшие уже в уровень с пришельцами, скоро усвоившими их народность, теперь еще более сливались; они пользовались равенством господских прав над покоренным народом: и пришлец и полянин-русин равным образом были господа, высший класс в отношении древлян. Часть порабощенного народа переведена была в землю полян — Русскую, другая осталась на месте, и руссы-поляне делались владельцами в земле древлян. Иначе не могло быть: надобно же было держать в покорности порабощенный народ. Слово *становища*, которое упоминается в летописи рядом со словом *ловища*, указывает на учреждение новых жилых мест, назначенных быть административными пунктами. Они именно могли быть поверены только руссам или полянам, но никак не древлянам. О становищах говорится, что то были *ее* (Ольги) становища; следовательно, здесь идет речь о такой части покоренной земли, которая досталась собственно на долю княгини и ее семейства. Если принять во внимание, что в то время другим отданы были в рабство древляне, то открывается, что в Древлянской земле явилось два рода господ; одни — владельцы тех, которых отдали в рабство, другие — в качестве должностных лиц,

находившиеся на становищах. Ольга установила *уставы и уроки*, следовательно, определенные обязанности. Последнее слово (*уроки*) указывает на обязательные работы; надзирать над уроками и собирать дань по уставам должны были конечно те, которые поставлены были на становищах. Здесь история наша невольна, по сходству обстоятельств, совпадает с западную, где господствовала земельная раздача. Часть страны оставляет Ольга для себя в дань, другую раздает мужам своим — дружине. Но остается неизвестным, какая часть Древлянской земли была таким образом порабощена. Нельзя думать, чтобы один Искоростень; ибо хотя Ольга и говорит искоростенянам: «все ваши города предались мне и решились платить дань и обдeldывать свои нивы и земли, а вы хотите умереть от голода, не повинуйсь и не хотя платить дань», — но здесь Ольга обманывает древлян, сообразно своему обычаю; это видно из того, что летописец прежде этого заметил, что древляне побежали и затворились в своих городах, — следовательно, не сдались, как уверяла Ольга. Хотя после завоевания Искоростеня вся земля Древлянская была подчинена, и Ольга установила в ней уроки, становища и ловища, но, вероятно, не все подверглись такой горькой судьбе, как Искоростень: последний осужден был подвергнуться особому мщению. Таким образом, вероятно, большей степени порабощения подвергся Искоростень, чем другие, конечно те, которые добровольно сдавались, пользовались большею льготою, чем те, которые оказывали упорство. Но, как видно, Ольга повсеместно в Древлянской земле расставила своих мужей.

Такое отношение двух соседних народов должно было развить в обоих разные взгляды и характеры. Поляне — народ победительный. Древляне — покоренный; первые — господа, вторые — рабы, и, конечно, из этого должны были произойти разные проявления общественного и домашнего быта, разное течение истории. Киев делался центром управления народов не только близких, но и более далеких. Покорение древлян, показавшее силу Русской земли, еще более должно было утвердить мысль о первенстве ее над другими народами. Но так как ни обстоятельства не способствовали утверждению централизации, ни понятия о ней не развивались, то вместе с другими землями и древляне скоро начали жить самобытною жизнью уже в удельном порядке; это началось тогда, когда Святослав дал одному из сыновей своих, Олегу ³¹, в удел Древлянскую, или Деревскую землю. Центром всей Древлянской земли стал тогда Овруч. Граница Древлянской земли протягивалась по соседству к Киеву; ибо выехавши из Киева на охоту, можно было охотиться на Древлянской земле. Кто знает, не проявилось ли восстание побежденных во вражде двух братьев и что побежденные настроили Олега убить Свенельдова сына? Это было в 975 г., через 5 лет после воцарения Олега в Древлянской земле и через 20 лет после покорения Древлянской земли. Когда Олег вышел против Ярополка, то у него был полк, а не дружина; следовательно (как выходит постоянно по смыслу слова полк) были ополченные жители

края, собранные на битву. Здесь снова древляне воинственною силою ополчаются на полян, хотя и под измененными условиями. Но когда Олег был убит, Ярополк, переняв волость своего брата, не видел сопротивления. В продолжение тридцати лет расселившиеся по Древлянской земле русины успели пустить в народе идею, что над ними имеет право владеть княжеский род; а потому оппозиция, если бы и была, то происходила бы уже под влиянием этого нового, умеряющего начала.

К сожалению, мы не знаем отношений полян к другим южнорусским народам: дулебам, улучам, тиверцам, хорватам³². Еще в конце IX века с улучами и тиверцами Олег не мог скоро справиться, и под годами 884—885 сказано, что Олег имел с ними рать. Во время похода в Цареград (904—907) эти народы, а равно и хорваты, участвуют в его ополчении против греков. Из этих известий заключили, что тогда, значит, народы эти были уже покорены Олегом, может быть, до некоторой степени. Но так как Олег взял их в свое войско, то едва ли это было бы возможно, если бы покорение их сопровождалось таким же порабощением, как древлян Ольгою, ибо в тот век участие в войне было принадлежностью свободных. В договоре Олега говорится, что этот договор с греками заключен от «имени его, великого князя и светлых князей сущих под его рукою». Вероятно, после войны с улучами и тиверцами Олег как-нибудь должен был помириться, и они стали от него в зависимости на выгодных для себя условиях. Что касается до хорватов, то они первый раз были подчинены и отняты у поляков только при Владимире.

Прилив пришлого народонаселения сообщил новый оттенок характеру полян и развил в них воинственный элемент. Это поддерживалось походами против греков. Мы не знаем поводов, руководивших руссами в этих набегах; но это не были просто одни разбойничьи набеги, потому что в договорах виден народ торговый, и греки дорожили сношениями с ним. Скорее всего надобно предположить, что повествователь — по обычаю летописцев — умалчивает о причинах: не выставляет пружин, руководивших походами русских, исключая Святослава похода; а эти причины, вероятно, заключались в столкновениях с греками, преимущественно по торговле. Поляне долго, кажется, не могли показывать своей самостоятельности и должны были уступать грекам; но когда явились к ним воинственные мореходцы, когда сошлись они с полянами, которые также были плователями, но только мирными, тогда последним сообщился дух отваги и охота мести за те поступки, которые они считали несправедливыми со стороны греков. Походы в Грецию способствовали к утверждению власти князей и соединению народов. То была приманка для удалых того века — собираться под знамена вещаго князя, идти в далекую сторону и воротиться оттуда с добычею, привести паволок и золота; хвататься пред теми, кто оставался дома, передавать добычу детям на память отцовской славы. Предводители народцев легче становились

подчиненными киевскому князю, когда он их обогащал. Это, соединяя народы, мало-помалу подклоняло их под власть единого рода и приготавливало к новому порядку, когда в разных частях русского мира должны были явиться князья, хотя особые, но связанные между собой и родом, и единством страны.

По понятиям того времени, успех служил залогом покорности, ибо успех приписывался влиянию таинственной силы. Так, Олега прозвали *вещим*, ведуну. А как скоро он был вещий для народа, то и покорность ему утверждалась. Слава побед располагала к дальнейшим предприятиям. Сильнее всего развился дух удачества и предприимчивости при Святославе, когда удача следовала за удачей. Удалые толпы ходили с ним на степи, победили хазар³³, которым их предки некогда платили дань. Это должно было сильно возвысить народное чувство, еще более прикреплять народы к Киеву и внушать к нему уважение; ибо из Киева исходили такие славные подвиги. Толпы охотников отправлялись со Святославом в Переяславль: удачи далее и далее заводили дух воинственности. Завоевание Болгарии, по современным понятиям, не было чем-либо отличным от покорения древлян и тиверцев или присоединения их к Киеву. Болгары — самая близкая к русским славянам народность: тогда еще языки их и нравы не так различались, как после; между ними так было много общего, что киевляне именно шли туда не с мыслью о завоевании чужого, а руководясь побуждением близости соединения славянских народов, долженствующих войти в закладку новой державы. Пределы этой державы расширялись по мере того как народный взор встречал сходственное с своею народностью. О болгарях могла явиться также мысль, что они должны войти в русский мир. Можно с этим вместе проникнуть, каким образом у Святослава и у товарищей его возникла идея поселиться в Переяславле-Дунайском. Конечно, с первого взгляда показывается здесь как бы недостаток оседлости. Нет,— поляне были оседлы, они занимались земледелием: скитались только те, которые занимались торговлею; но договор показывает, что последние, живучи в Константинополе, не утрачивали связи с родиною; так, когда умирал гость в греческой земле, то имущество его следовало перенести в Русь к милым сродникам. Из этого же договора видно, что русские торговцы только временно посещали Цареград и Грецию и возвращались всегда домой. Это не могло развить у полян охоты перемещать навсегда место жительства. Дух должен был изменяться от стечения молодцов из разных славянорусских народцев в дружины князей. Князья своими походами привлекали их с разных сторон славянорусского мира, составляли из них подвижное население кочующих молодцов, наездников и пиратов, готовых жить везде, не жалея о родине: отечеством их делалось море или степь,— то были запорожцы своего века; вот этих-то удалых и увел Святослав в Болгарию. Явились печенеги³⁴. В 968 году они осадили Киев. Летописец указывает, что в то время некому было охранять города без Святослава. Является воевода с другой

стороны Днепра, следовательно, не киевский. Оборонять Киев в Киеве было некому. Такие события должны были неизбежно внушать руссам необходимость не пускаться более в далекие походы и не лишать своей земли вооруженной силы. Поэзия героической отваги начала находить себе поле на родной земле, а не на чуждом Юге и не на море. Предания о печенеггах, записанные в летописях, расцвечены колоритом героического эпоса, как это видно из сказки о кожевнике, — сказки, до сих пор существующей в народных преданиях. Но такой дух господствовал не долговечно. Поляне увлеклись только на время присутствием между ними чужого народа. Проявившийся при Олеге, Игоре и Святославе завоевательный элемент в характере народа скоро ослабел, потому что он явился временно, вследствие толчка, данного пришельцами. Конечно, к обузданию этой завоевательности помогало и принятие христианства, но несомненно и племенное влияние; ибо собственно одно христианство если бы и оградило Византию от нападения руссов, то обратило бы воинственность последних в другую сторону. Но христианство даже не прервало сразу и вошедшей прежде в привычку враждебности к Греции; ибо при Ярославе, уже по принятии христианства, сын великого князя с Вышатою³⁵ сделал морской поход на Византию. То были уже последние отголоски прежнего, угасавшего теперь, героизма. Воинственность народа стала обращаться не к завоеваниям, а только к охранению пределов своей страны. Этому изменению содействовали неперестававшие набеги тюркского племени. Половцы³⁶ сменили печенегов, отрезали у русских море, рассеялись по степям и остановили распространение славянства на юг и восток по степям. Окруженные кочующими инородцами, русские уже не могли думать о завоеваниях. Немало располагали к изменению воинственности киевлян и междоусобия, возникшие между их князьями. Как народ молодой, славяне легко могли увлечься сообщенным им от чужих воинственным духом, и героизм завоевания блеснул у них на короткое время; но южнорусский народ уже прежде познакомился со спокойною жизнью и получил наклонность к ее удобствам. Как бы ни были преувеличены рассказы о богатствах Киева, о множестве церквей, о восьми торговых площадях, — у Дитмара³⁷, — все это имеет свое историческое основание. Что Киев был действительно богат, это показывает то, что здесь было издавна важнейшее торговое место для Севера с Византией. Разумеется, олеговы и игоревы грабежи еще более обогащали его; собираемые с покорных народов дани способствовали стечению богатств к киевлянам. Славянские народы, подвластные Киеву, платили определенную дань, которая шла князю, но князь делился ею с боярами и дружиною; таким образом, эта дань обогащала и Киев. Мы знаем из нашей летописи, что один Новгород платил ежегодно две тысячи гривен в Киев, а тысячу гривен гридням, содержа гарнизон при князе. Пред концом жизни Владимира сын его Ярослав вздумал было не отдавать отцу этой дани, и отец хотел на него идти войною, разбить его, но от огорчения умер. У киевлян в то время

неволью образовался несколько высокомерный взгляд на другие русские народы. Так, во время борьбы Святополка ³⁸ с Ярославом ³⁹, когда Святополков воевода увидел против себя новгородцев, то назвал их презрительно «хоромниками и плотниками» и говорил, что заставит их рубить им (киевлянам) хоромы! Но то было выражение не воинственного завоевания, а скорее зазнавшегося господства, привыкшего к хорошей жизни на счет других.

В характере киевлян было что-то мягкое, роскошное, сибаритское. Не далее как через двадцать лет после крещения Болеслав ⁴⁰, пришедши на помощь Святополку, и сам потерял свою царственно-победительную крепость, и войско свое развратил и обессилил. Киевские женщины славились сладострастием. Богатство, роскошь и веселая жизнь приманивали всякого, кто только мог поселиться между киевлянами. Через полвека после приключения с Болеславом Храбрым точно то же сделалось с внуком его, Болеславом Смелым ⁴¹: тут поляки забыли и своих жен в Польше, и свои дворы, и хозяйства. Как известия наших летописцев о пирах владимировых, так и песни старого времени, сохранившиеся у великоруссов, подтверждают репутацию сибаритства, которую приобрел себе Киев на Западе *. Волокитство считалось удалством — волокиты хвастали своими подвигами и поставляли в них достоинство, как в героических наездах. Вот, например, на пиру Красного Солнышка Владимира один богатырь расхвастался и говорит, что гулял молодец из земли в землю, загулял к королю:

Король меня любил-жаловал,
Да и королева вить молодца также,
А Настасья королевична у души держит!

Отцы берегли от них своих дочерей, по выражению песен, за тридевятью замками, за тридевятью ключами, чтоб и ветер не завеял, и солнце не запекло!

О кокетстве киевских женщин упоминает и Даниил Заточник ⁴², говоря: *некогда же видех жену злообразну, причиную зерцалу и мажущую румянцем*. Кажется, что влияние княжеского двора, гридницы, поддерживало это сибаритство и развращение женщин,— как говорится, например, в песне о Марине:

Водилася с дитятами княжескими.

* Песни эти в том виде, в каком дошли до нас, очевидно, сложились после. В них несомненны наслоения последующих веков и различных влияний, каким подвергалась народная жизнь. Но уже одно то, что в них все отнесено к Киеву и князю Владимиру, показывает, что песни эти заменили собою другие, более древние, из которых кое-что вошло в позднейшие редакции, хотя в искажениях и под иною одеждою речи. До некоторой степени мы можем находить эти обломки там, где являются такие черты, которые могут относиться к дотатарскому периоду киевской жизни, насколько нам открывается она из других, более достоверных памятников, или такие, которые не могли возникнуть под иными изменившимися понятиями народа в последующие времена.

На киевских женщин в преданиях, сохранных в песнях, легла память легкомысленности, развращения и вместе с тем колдовства. Киевская кокетка привораживает к себе любовников и меняет их по произволу. Такова Марина Игнатьевна в песне о Добрыне Никитиче. Она собирает к себе и девиц, и жен, сводит их с молодцами и сама водится с детьми со княжескими и со змеем Горынчищем — олицетворением силы, враждебной русскому элементу, чужеземной, указывающей на пребывание в Киеве разнородных племен. Она привораживает богатырей к себе:

Разжигает дрова палещатым огнем;
И сама она дровам приговаривает:
«Сколь жарко дрова разгораются
Со теми следы молодецкими,
Разгоралось бы сердце молодецкое
Как у молодца, у Добрынюшки Никитича».

Вместе с тем она умеет перевертывать людей в зверей:

А я-де обернула девять молодцов,
Сильных, могучих богатырей гнедыми турами,
А и ныне-де отпустила десятого молодца
Добрыню Никитьевича:
Он всем отаман — златы рога!

Другая такая же кокетка грозит оборотить ее в суку:

А и хошь, я и тебя сукой оберну.

И сама чародейка умеет принимать образы:

А и женское дело перелестное,
Перелестное, перенадчивое:
Обернулася Марина косаточкой.

Отсюда, конечно, укоренилось в народе прозвище: киевская ведьма. Кокетство соединилось с чародейством и волшебством, потому что если женщины привлекали к себе мужчин, то это приписывалось волшебству.

Типы добрых жен редки: в пример можно указать на Василису Микулишну Денисову, которая лучше решила умертвить себя, чем изменить мужу; на жену Ставра-боярина, которая хитрым образом изводит своего супруга из тюрьмы; но зато сама княгиня, жена князя Владимира, изображается совсем не нравственно; и о княжеских женах осталось в народе то же воззрение, как и вообще о женщинах. Жена Владимира Красна Солнышка любезничает со змеем Тугариным.

Мужской тип волокитства и вместе изнеженности является типически в Чуриле Пленковиче. Это щеголь, кружитель женских

голов, старорусский Дон Жуан или Ловлас. Он так занимается собою, что когда едет по двору своему, то перед ним несут подсолнечник, чтоб не запекло солнце бела лица его. Владимир князь ни на что более не мог употребить его при своем дворе, как только на то, чтобы созывать гостей на пир. Пир длится во всю ночь, а когда богатыри разъезжаются по домам,

В тот день выпадало снегу белого,
И нашли они свежий след.
Сами они дивуются:
Либо зайка скакал, либо бел горноста́й.
А ины тут усмеваются,—

говорят:

Знать это не зайка скакал, не бел горноста́й,
Это шел Чурило Пленкович
К старому Берляте Васильевичу,
К его молодой жене, Катерине прекрасной!

Сладострастие Владимира-язычника, столько наложниц, живших в его загородном дворце,— все это гармонирует как нельзя более с распушенностью нравов в то время вообще. Пир был душою общественной жизни. Замечательно, что когда Владимир крестился и, естественно, поэтому получил наклонность к мягкости нрава, то, по неизменному народному понятию, показывал эту мягкость, эту кротость и любовь христианскую — в пирах, которые задавал народу. Пир устраивался после всякого отрядного народного события, особенно после побед, как и значитя подобный пир после победы на день Преображения господня над печенегами, когда построена была церковь в Василеве. Освящение было ознаменовано праздником. На всякую неделю князь устраивал пир в гридницах на дворе. На пирах этих ели скотское мясо, дичь, рыбу и овощи, а пили вино, мед, который меряли проварами (варя 300 провар меду). Мед был национальным напитком. На пир созывались не только киевляне, но и из других городов. В гридницу допускались пировать бояре, гридни, сотские, десятские; народ — люди простые и убогие обедали на дворе; сверх того по городу возили пищу (хлеб, мясо, рыбу, овощи) и раздавали тем, которые не могли по нездоровью прийти на княжеский двор.

Эти пиры происходили в то же время не только в Киеве, но и в других городах; поэтому в пригородах киевских князь держал запасы напитков, так называемые *медуши*.

Как такие пиры были привлекательны, видно из того, что память о них прошла в далекие века, пирующий князь сделался идолом русского довольства жизни, и Владимир Красно Солнышко стал синонимом доброго и веселого князя вообще. В песнях он показывается не просветителем Русской земли, а идеалом роскошного

господина; поэтому он остается столько же языческим, как и христианским князем: одно, что дает ему несколько христианский колорит, это то, что он угощает и нищих, и калек. По старому русскому понятию пир не должен был обходиться без угощения нищих и калек. Вообще в русских сказках добрый князь, царь или король, когда учреждает пир, то непременно приглашает их. Даже если князь чем-нибудь затрудняется, что-нибудь хочет получить от судьбы, то пир на весь мир и угощение бедняков есть средство к приобретению удачи. Памятью древнего сознания богатства и довольства Киева и его земли остается в летописи рассказ о том молодце белгородце, который обманул печенега (а печенег так же был глуповат, как и древлянин, в глазах руссов киевских). Подводя его к колодцу, где была поставлена кадь с киселем, русский уверил печенега, что сама земля производит кисель. Здесь невольно вспоминаются кисельные берега, медовые и молочные реки. Такой же смысл роскоши и богатства страны представляет рассказ летописца о том, как дружина сказала Владимиру: *зло нашим головам, да нам есть деревянными ложичами, а не серебряными*. Киевский князь приказал ископать серебряные ложки для дружины, и говорил: «я серебром и золотом не найду дружины, а дружиною найду серебро и золото, как отец мой и дед доискался дружиною золота и серебра!»

Это довольство привлекало в Киев и в Русскую землю с разных сторон жителей. Население Киева и Русской земли не было однородное: тут были и греки, и варяги, шведы и датчане, и поляки, и печенеги, и немцы, и жида, и болгаре. Эта пестрота народонаселения объясняет и предания о предложениях Владимиру принять ту или иную веру; если здесь можно искать исторической истины, то предлагавшие Владимиру веру были скорее жители Киева, чем иноземные апостолы. При Владимире, после его крещения, при Святополке и при Ярославле Киев быстро развивался и процветал. При веселой жизни и распущенности нравов киевляне не имели ничего строгого, подавляющего; оттого в Киев и Русскую землю сбегались — по известиям Дитмара — разного рода беглые рабы, тут они находили себе приют и пропитание. Вероятно, тут же себе находили люди рабочие хорошие заработки; охота строить здания, украшать дома призывала туда рабочих. В Киевской земле, менее чем где-нибудь, мог сохраниться чистый тип одной народности, когда люди всякого звания и ремесла скоплялись там отовсюду. Даже те, которые составляли княжескую дружину, — класс возвышавшийся над массою по значению и силе, — были не киевляне по происхождению, а пришельцы. Это показывается в былинах старого времени Владимирового цикла. Богатыри приезжают служить Владимиру — кто из Мурома, кто из Ростова, кто из Царегорода, или с берегов Дуная, из чуждых далеких стран. Все это дает повод воображать себе старый Киев в роде тех городов, где наплыв раз-

народных типов дает жителям вообще физиономию смеси. Даже и Киевская земля ⁴³ была населена такою же смесью. При Владимире на левой стороне Днепра население увеличилось не посредством природного размножения народа и не подвижением его с правой стороны Днепра, а переселением из разных, более или менее отдаленных, стран русской системы. *И нача* — говорит наш летописец (под 988 г.) — *ставити города по Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стугне, и нача нарубати мужи лучише от Словен* ⁴⁴, *и от Кривичь* ⁴⁵, *и от Чюди* ⁴⁶, *и от Вятичь* ⁴⁷, *и от сих населити грады*. В 990 г. он населил Белгород ⁴⁸ так же точно: «наруби в не от инех городов и много людей сведе в онь». И здесь заселился город таким же сводным народонаселением из разных стран и городов. (Что значит *наруби*? Вероятно, при своде народа для населения новых мест употреблялся какой-нибудь обычай делать *зарубки*, или заметки по жеребью). Таким образом, переселение в Русскую землю совершилось из Белоруссии, из Средней России, из Новгородской земли и, наконец, из Чуди. Нельзя думать, чтобы это было первое заселение левой стороны, ибо мы знаем, что там жили уже народы, и притом летописец влагает в уста Владимиру слова: «се мал город около Киева», т. е. мало городов, и поэтому он призвал и переселил лучших людей из чужих народов — не земледельцев, не смердов, но способных к оружию. Это должно было способствовать образованию в некотором смысле высшего сословия, потому что в тот век люди, посвященные военным занятиям и обороне края, должны были пользоваться уважением и преимуществами пред простым народом; а военные — мужи города — были люди разного происхождения и, следовательно, составляли сами по себе общество отдельное от массы народа и не связанное с ним этнографическим единством и местными преданиями.

При свободе и распушенности, при стечении разнохарактерного народа из близких и далеких стран неудивительно, что от этого древнего периода нашей истории сохранились черты, показывающие тогда дурное состояние нравственности. В Киеве и в Русской земле происходили убийства и бесчинства. Летописец говорит: *умножишася разбоеве*: слово *разбоеве*, как видно из «Русской правды» ⁴⁹, нельзя принимать в нашем смысле этого слова; оно выражало тогда ссоры, поединки и драки. Как вообще в торговом городе, где любят богатства, где комфорт своего рода предпочитается всему, — в Киеве человек делался продажным. Эта продажность очень высказывается и тем, что епископы и старцы сказали о казни убийц: «у нас войны часто, а когда виру брать, то будет на оружие и лошадей» (рать много; оже вира, то на оружьи и на коних буде). У князей Святополка и Ярослава являются черты, воспитанные на киевской почве: и дикость язычества, и развращение столицы. Святополк был пьяница и сибарит, гуляка и наглый злодей. «Люте бо граду тому, в немже князь ун, любяй пиры, вино пити с гусльми

и младыми светники». Святополк любил пожить, повеселиться и не останавливался ни перед каким злодеянием. Ему мешали братья. Зачем с ними делиться, когда можно взять одному? Едва ли здесь, как некоторые толковали, руководила им месть за отца, Ярополка⁵⁰, и ни в каком случае не подвигало его сознательное стремление к единовластию с видами политическими: то были порывы необузданного пьяницы, развращенного гуляки, и легко было ему найти исполнителей в массе разноплеменного и развращенного края. Имена их указывают на иноземное происхождение. Имя Еловит — как будто сербское; имя Лешко показывает, что отец его был лях родом. И с другой стороны, у Бориса был отрок угрин. Совершивши злодеяния, Святополк должен был обезопасить себя от киевлян. В самом деле, как же они признают князем братоубийцу? Но киевлян легко было привести к признанию княжеского достоинства за злодеем. «Созвав люди, нача даяти овеи корзна (одежды), а другим кунами, и раздая множество». Кто были эти люди — передовые ли в городе — бояре, или простой народ? И то и другое возможно, а неясность поставляет нас в недоумение относительно этого важного обстоятельства. От кого бы ни зависела судьба Киева, а с ним и целой Руси в то время: от избранных ли классов или от народа, — в том и в другом случае легко можно было торжествовать неправде и прикрыться продажности. Действительно, Святополк даже мог одарить целый Киев. Все вознаградилось бы, как скоро он начнет собирать дань с подвластных народов и областей. Вот здесь открывается народная местная черта. Еще народ киевский не впал в рабскую покорность, но мог подпасть под всякую неправую власть посредством приманки его материальными выгодами. С другой стороны, Ярослав, прославленный летописцем столько же, сколько был проклиняем Святополк, по нравственным своим понятиям недалеко был выше Святополка: хитрый, жестокий, он вполне обрисовывается в поступке своем с новгородцами, которых за избиение чужеземцев-варягов, созвавши тайно к себе, перебил. Другой не менее возмутительный поступок этого князя был с родным братом Судиславом⁵¹.

Чувственность, порывы наслаждаться жизнью, производя развращение нравов, не убивали, однако, в народе воинственного элемента — не доводили его до той изнеженности, при которой народ делается неспособным ни к общему предприятию, ни к общему самосохранению. Столкновения с иноплеменниками, как выше мы сказали, не давали уснуть его молодым силам. В песнях великорусских о киевском периоде, где хотя последующие века положили сильно свой колорит, но где, тем не менее, нельзя не видеть следов глубоко древних: в характере тогдашних богатырей вместе с чувственностью показывается и удаль, и богатырство. На самых пирах отправлялись разные пробы удалства; борьба, стрельянье из лука в цель:

Будет день в половину дня,
Будет стол в полустоле,
Богатыри прирасхвастались молодецкой удалью.
Алешенька Попович, что бороться горазд,
А Добрыня Никитич — горазде его,
А Дунай сын Иванович из лука стрелять,
По той было месточке стрелять в золот перстень,
Что во ту было ставочку муравлену.

Даже женщины показывают удажество. Такова жена Дуная, погибшая нечаянно от любившего ее мужа, который хуже ее стрелял в цель; такова жена Ставра-боярина, героиня, освободившая своего супруга от тюрьмы. Обе они не киевлянки. Но в Киев вместе с крещением и развращением приходили и свежие нравственные стихии жизни. Разгульная, веселая жизнь киевлян смущалась беспрестанными набегами печенегов. Битвы с ними носят на себе поэтический характер. К нам перешли чрез летопись два рассказа, очень поэтические, о битве на месте нынешнего Переяслава и о хитрости в Белгороде. Как народны были эти рассказы и вместе с тем как народны и значительны были тогдашние войны с печенегами, достаточно видно из того, что рассказ о богатыре, победившем печенегов, до сих пор жив в памяти народной. В древние годы — рассказывает предание — явился под Киевом змей и, победив киевлян, наложил на них дань — по юноше и по девице. Давали горожане; пришла очередь и князю (заметим мимоходом, что это уравнивание прав князя с простыми смертными есть, в существующей теперь песне, остаток древнего взгляда, когда действительно о князе, хотя бы сильном и самовластном по обстоятельствам, не имели такого понятия, как о государе). Князь дал змею дочь свою. Змей полюбил ее страстно. Однажды киевская княжна приласкалась к нему и говорит: «А що, змиюню, чи е такий на свити, щоб тебе подужав?» Змей отвечал: «есть, недалеко от Киева, Кожемяка Кирило; как затопит печь, так дым стелется под облака; а как выедет на Днепр мочить кожи, то несет их не по одной, а разом двенадцать штук; как они напитаются водою, то так отяжелеют, что я, пробуя, цеплялся за них, думал вытянуть, ан нет! а он как потянул, так и меня чуть с ними не вытащил».

Был у княжны голубок, с которым она пришла к змею. Она написала записочку и привязала к голубку; в записочке она дала знать отцу: «есть в Киеве человек Кирило Кожемяка; просите его через старых людей, не побьется ли он со змеем и меня бедную не вызволит ли?»

Когда голубок спустился на землю в княжеском подворье, княжеские дети играли по двору и, увидевши голубка, закричали: «татусю, татусю! голубок од сестрички прилетив!» Поймали голубка. Прочитав записку, князь созвал старцев и допросился от них о силаче. Послали стариков к Кирилу Кожемяке. Отворив двери его ха-

ты, они застали его сидящего за работою к ним спиною: он мял кожи. Старцы кашлянули, как обыкновенно делают малороссияне, желая дать знать о своем присутствии. Кожемяка вздрогнул, испугавшись внезапности, и разорвал двенадцать шкур, которые держал в руках,— и чрезвычайно рассердился на гостей, беспокоивших его и наделавших ему убытку. Никак не могли упросить его. Князь послал к нему младших (дружину) — и те не упросили рассерженного богатыря. Наконец, послал к нему детей: те упросили его. Он явился к князю, потребовал двенадцать бочек смолы и двенадцать возов конопляных *повисом*, намазал повисма смолою, обмотался ими, взял в руки десятипудовую булаву и пошел к змею. Змей, увидя его, спрашивает: «що, Кирило, прийшов до мене: битися, чи миритися? — Де вже там миритися! — отвечал богатырь — прийшов з тобою битися». Змей вырывал с Кожемяки зубами коноплю; Кожемяка бил булавою змея в голову. И когда змей, разъярившись, не мог вытерпеть и бегал пить днепровскую воду, чтоб сколько-нибудь прийти в свежие силы, Кожемяка успевал снова обматывать коноплями места, вырванные змеиными зубами; и снова начинался бой. Кожемяка бил булавою в голову змея, и расходился по окрестностям такой стук, какой бывает от множества работающих кузниц. В Киеве между тем звонили в колокола, служили молебны, а народ стоял на горах с поднятыми к небу руками и испрашивал божьей помощи своему богатырю. Наконец змей пал. Кирило сжег мертвое чудовище и пустил на четыре стороны света его пепел,— и сделал нехорошо: из этого пепла расплодилось всякая дрянь на свете: комары, мухи, мошки. Но это испытали люди после, а в тот день, когда Кирило привел к князю освобожденную дочь его, в Киеве была радость неимоверная.

Эта народная повесть по своей основе есть остаток древнего языческого эпоса. Связь ее с историей того богатыря, о котором говорится в летописи, не подлежит сомнению. Черты: его гнев, его упрямство, его занятие — все представляет сходство с рассказом нашего летописца. До сих пор под Киевом существует *байрак* с хатами, висящими на двух обрывистых горах. Это место называется *Кожемяки*, и народ связывает это название с именем Кирила Кожемяки.

Одною из разительнейших черт древнего времени было *побратимство*, или названное *братство*. Это был союз двух, трех и более посторонних, не родных между собою лиц, обязавшихся друг другу помогать, друг за друга сражаться, друг друга избавлять, вызволять от опасностей, друг за друга жертвовать жизнью и хранить приязнь и братство дружбы ненарушимо. Этот обычай очень древен. Его следы встречаются у скифов⁵². Г. Новосельский в своем сочинении «Lud Ukrainski» очень кстати представил на вид рассказ из диалогов Лукиана о трех скифах, заключивших между собой союз дружбы. Греков изумлял тогда этот обычай у варваров. Какое отношение

имеют к нам древние скифы, до этого нет дела при определении значения нашего побратимства, или названного братства; довольно только, что оно существовало издавна на нашей почве. Сходные обстоятельства производят сходные следствия. «У вас, греков,— говорил им скиф,— нет истинной дружбы: но у нас, где без войны не обойдешься, где надобно или нападать, или ждать нападения, или оборонять свои поля, или грабить чужие,— дружба необходима; нужно иметь друзей, которые бы на всякую беду отважились». В подобном же положении была тогда Южная Русь. Богатыри, которых имена блещут таким эпическим сиянием, не миф. Владимир часто должен был посылать удалых высматривать, нет ли печенегов, а последующие князья — половцев, другие должны были ездить к князьям или от князей, или помогать им от себя для сбора даней: и там и здесь им было небезопасно: надобно было приобретать друзей. Свято чтилось это название братства, или побратимства: измена брата чувствительнее казалась всякого лишения. В былине о Василисе Даниловой, когда, угождая необузданному произволу сладострастного князя, пошел на ее мужа, Данила Денисьевича, названный брат Добрыня Никитич, Данило заплакал горькими слезами:

И где это слыхано, где видано:
Брат на брата с боем идет?

И Данило не пережил такого ужаса:

Берет Данило свое остро копьё,
Тупым концем втыкает во сыру землю,
А на острый конец сам упал.

Это-то уважение к святыне дружбы произвело болгарское сочинение и распространило его у нас — легенду о братстве, где Иисус Христос устанавливает братство.

Вот начало того братства, которое так сродно южнорусскому народу и составляет некоторую характеристическую черту позднейшей его истории.

Вместе с богатырским побратимством, или названным братством является подобное же в монастырях — братство духовное. Названные братства Алексея Поповича, Ильи Муромца отозвались впоследствии в Запорожской Сечи, а духовное братство первых монастырей приготовило церковные братства XVII века, отстоявшие религию греческую от западного насилия.

Побратимство никогда не прекращалось на Украине, как и в дунайских славянских землях. Главный и древнейший символический знак этого нравственного обычая есть обмен драгоценных вещей или взаимный дар. Теперь существует этот обычай не только между мужчинами (или лучше — не столько между мужчинами, сколько между женщинами), но и женщинами — *посестримство*.

Оно состоит в обмене крестов. Такой же обряд побратимства виден и в разговоре воеводы Претича с печенежским князем в 962 году: *рече же князь печенежский к Претичу: буди ми друг. Он же рече: тако створю. И подаста руку межю собою, и выдаст печенежский князь Претичю: конь, саблю, стрелы; он же даст ему: щит, меч.*

Во время борьбы Святополка с Ярославом Киев первый раз попадает в руки чужеземцев. Болеславу так понравилось в Киеве, как некогда Святославу в Переяславце. Народ южнорусский был в таком же отношении к польскому, как болгарский к русскому. Как русские при Святославе могли принять Болгарию за продолжение Руси, так и Болеслав — Русь за продолжение Польши. Русские не противились, когда Болеслав поставил на покорм по городам свои дружины, а сам засел в Киеве. Но потом, когда чужеземное посещение им надоело, приняты были средства нерыцарские, именно такие, какие были вполне согласны с характером населения. Святополк, князь Киева, руководил народом: поляков избивали тайно. Поляки бежали. Ярослав сделался князем киевским и правил, окруженный чуждою силою. Роль одних чужеземцев, поляков, сменилась ролью других, варягов — шведов. Это было время, когда скандинавы, просветившись христианством, начали показывать энергическую деятельность в новой сфере; охота странствовать по свету для разбоев заменилась несколько более законным способом — стали наниматься в военную службу греческих императоров. Явились собственно так называемые варенги, или варяги; они во множестве проходили через Русь по Днепру. Киев был их временным пристанищем. Тогда князья нашли удобным приглашать их, и вот они, так же, как и в Греции, у нас являются с тем же значением наемного сословия. Связь с норманнами уже была очень значительна при Владимире, как показывает сага Олафа Тригвасона. Князь Ярослав, еще живучи в Новгороде, женился на Ингегерде⁵³, дочери короля Свенона. По поводу этого брака много норманнов приходило к нам. По связям с Швецией Ярослав воспитывал у себя Олафова сына, Магнуса, и отдал дочь свою за Гаральда Гардраде⁵⁴, норвежского короля. Около княгини были одноземцы. По брачному договору с Ингегердой Ладога была уступлена ярлу Рагвальду. С помощью варягов удержался князь на столе киевском. Но, как видно, варяги вскоре надоели ему, и Ярослав, видя, что уже уселся крепко, выпроводил их в Грецию. Тем кончилось кратковременное норманнское влияние, продолжавшееся, однако, лет около 70-ти.

Нам неизвестны подробности управления Киева и других городов Южнорусского края настолько, чтобы судить отношение его к народному быту. Мы, однако, видим из некоторых мест, что народ разделялся на сотни и десятки; были сотские и десятские, вероятно, выборные; по городам вместо князя были княжеские посадники (наместники) и старцы — старейшины из туземных жителей. Близкие князю лица носили общее название *дружины*; это было

вместе и военное сословие, и стража княжеская, и советники его. Владимир, по известию летописца, советовался с дружиною «о строи землянем, и о ротах и уставе земском». Слово бояре употребляется в других местах в смысле первенствующих лиц, не принадлежавших к составу дружины. Бояре, как кажется, были старейшины земли, или народа. Коль скоро был народ, была и земля, с землею соединялось понятие о боярах. Так различаются бояре по городам, бывшим центрами земли или ее отделов, например, бояре вышгородские, бояре белгородские: это были лица, которых значение соединялось с местностью, по какой они назывались. Что бояре отличались от мужей княжеских, это указывается в житии св. Владимира, где говорится, что св. князь ставил трапезу *себе и боярам своим и всем мужам своим*. Часть дружины, окружавшей князя, составляла то, что называлось *гриди* (лит. greitis — приспешники, служители). В важных делах князь не начинал сам собою ничего, а советовался с боярами и дружиною и старцами людскими. Под последними разумелись выборные народом должностные лица. Как их выбирали и какой объем был их власти и обязанности, теперь напрасно хотели бы мы разъяснить. Со времени победы над хазарами, с одной стороны, а потом со знакомством с Грецией на князе, предводителе дружины, отчасти ложится отпечаток восточного влияния. Мы уже указывали, что в древней речи Владимир называется хаганом. Замечаемое нами влияние восточно-хазарского элемента могло бы в то время, совокупно с византийским, водворить, утвердить и укрепить единовластие и значение царственности княжеского достоинства, если бы развитие удельности не помешало этому тотчас же. Невозможно определить, что брало перевес — восточный элемент или свобода; и то и другое было в зародыше, как и удельность, и единоедержавие. Возвышение человека за услуги могло быть по воле князя. Так богатыря, который победил печенежского исполина на месте, на котором построен был Переяславль, Владимир сотворил великим мужем. Следовательно, существовало понятие о наречении на высшее достоинство, о пожаловании. Даже существовали внешние украшения, означающие отличия. Так, на Георгии Угрине, отроке Бориса, была гривна золотая, повешенная князем ему на шею в знак особого расположения.

Недостаточность источников не дает нам права представить, до какой степени власть князя поглощала личную деятельность народа и общественную. Не было институций — ни подпиравших княжескую власть, ни указывающих ей пределы. Несомненно то, что, с одной стороны, князь не утвердил еще в себе понятия о царственности и о недоступности своей особы для прочих смертных; с другой — народ не развил в себе идеи свободы в отношении с властью. Князь Владимир советовался с боярами и старцами людскими, призывал также к себе сотских и десятских народа. Ни в это время,

ни после не видим мы ничего, что ставило бы князя на неприступную высоту величия. Владимир пировал со своими богатырями, как с равными, или по крайней мере не так, как с рабами. Но бояре и дружина не имели, кажется, ничего строго родового; потому что по смерти Владимира — по известию летописца — плакали по нем два рода людей: *боляре и убогии*. Разделяя таким образом народ, летописец хотел выразить словом бояре — люди с достатком, в противоположность беднякам — убогим. Вместе с тем в том же месте поясняется слово бояре выражением: *плакашася боляре, акы заступника их земли, убогии, акы заступника и кормителя*. Итак, бояре были владельцы земли, ибо земля представляется их достоянием; охраняя землю, князь охранял бояр. «В Русской правде» также имя боярин употребляется в смысле владельца земли. Естественно, что те, которые владели землями, имели и голос и составляли вместе с князем власть; дружина же состояла из тех, которые охраняли князя и города, подвергавшиеся непрерывным опустошениям.

Вообще, однако, древний дух южнорусского народа предпочитает уравнительное начало общественных условий, как это показывают древние сказки, на которых лежит отпечаток глубочайшей старины. Хотя в них являются князья, короли и королевичи, зато сказка всегда хочет представить своего богатыря из незначительного происхождения, или если даже сына королевского, то дает ему значение почему-нибудь унижительное перед другими, чтобы после выставить напоказ ту мысль, что вот тот, который сначала был меньшим всех по людскому понятию, стоит уважения; на кого меньше возлагали надежды, тот вышел и дельнее, и полезнее всех. Много есть сказок, где играет роль мужицкий сын, и притом сын мужика бедного, а в одной, фантастической, сын собаки (сучич) берет верх над сыном королевским и спасает его от всяких бед.

В то время, когда в Киеве образовалось такое, по-видимому, растленное общество, явилась нравственная оппозиция этому развращению в Печерском монастыре⁵⁵. С самого появления христианства новый духовный элемент должен был ратовать против языческого образа понятий и всего течения жизни под языческими привычками. Вместо эгоистической преданности своим чувственным пожеланиям являются примеры любви к ближнему, помощи страждущему. Духовенство является с одним оружием слова — становится на челе народа, живущего материальною силою. Уважение новокрещенного Владимира к епископам указывает на первую готовность подчинять языческую гордыню и необузданность христианскому смирению. Князь построил Десятинную церковь — со всех его доходов назначена 10-я часть на эту церковь; из жития св. Владимира, писанного близким к нему по времени лицом, видно, что это началось для содержания *духовенства и помощи сиротам и вдовам* (Христ. Чт. 1849 г. II, 307).

Вместо уважения к силе и презрения к слабости (это столь естественно в первобытные времена цивилизации) является противное тому — уважение к нищете и даже обоготворение страдания. Вера христианская указывает другую цель жизни, открывает надежду на загробные блага; вся здешняя жизнь не имеет цены сама для себя. Страдания, терпение за правду ведут к достижению царствия божия. Кто страдает, тот получает награду за свое страдание по смерти. От этой идеи возникла другая: не только не должно убегать от страдания — следует искать его. Это идея, новая для русских, вошедши к нам с православием, как вообще всякое новое направление, приобрела себе тотчас же горячих последователей. Образовался такой взгляд на новую веру, что сущность ее состоит в посте, удручениях плоти и самопроизвольном страдании. Увлеченные этим убеждением искали страдания. Симон, епископ владимирский⁵⁶, питомец Печерского монастыря, в своем послании выразился: *вопрошаю же тя: чим хочещи спастися? аще и постник еси или трезвитель о всем, и нищ, и без сна пребывая: а досаждения не терпя, не узриши спасения.* Под влиянием этого, внесенного к нам извне, убеждения о необходимости страдания и терпения для угождения богу образовалось у нас, скоро после принятия христианства, аскетическое направление: монастырское затворничество, изнурение себя голодом, бессонницею, трудами и беспрестанным обращением мысли и чувства к духовному миру. Направление это, конечно, принесли к нам греки, монахи и паломники, которые, тотчас же после крещения Руси, странствовали по городам и селам Русской земли. Это видно из жития Феодосиева⁵⁷. Настроенный уже к чудесному, к которому имел склонность по своей натуре, Феодосий встретился со старцами и любезне целова их и вопросы их: *откуда суть и камо грядут? Онем же рекшим, яко от святых мест есма...* Вот, видно, вскоре после принятия христианства у нас странствовали восточные паломники между народом, и они-то своими рассказами, своим учением, своими образами блаженства будущей жизни бросили семя аскетического направления в России. Вместе с тем начали распространяться книги, переведенные с греческого, — жития святых, где аскетическая жизнь выставлялась как образец.

Говоря в обширном смысле, православное учение о страдании и терпении за правду и веру может быть очень разнообразно и способно избрать тот, другой и третий исход, смотря по настроению и характеру народного быта. Идея терпения может различно проявляться. У нас, по-видимому, сначала это аскетическое направление стало проявляться в паломничестве, или странничестве, потому что Антоний⁵⁸ первый из подвигоположников отправился на Афонскую гору⁵⁹; Феодосий также устремился было к святым местам. Но скоро это направление изменилось и обратилось к отечеству. Центром подвижничества сделался Киев. Странным может

показаться некоторым то обстоятельство, что люди, искавшие уединения, избрали место близ многолюдного и, как мы уже показали, сластолюбивого города, а не где-нибудь вдалеке от центров гражданственности и торговли. Но вместе с желанием спастись в уединении самому аскетами руководило еще желание и других увлечь к такому же добровольному терпению, а Киев был из всех городов более христианский в то время, следовательно, какого бы рода ни была христианская проповедь, нигде столько не могла иметь успеха и найти себе последователей. Пример Феодосия, от которого осталось несколько проповедей, показывает, что эти аскеты были не только труженики, но и проповедники, учителя, пропаваторы монастырского жития.

Вместе с религиозными преданиями Востока зашли к нам повести о богоугодивших фиваидских отцах, которые жили не в домах, а в пещерах, и сами себе их искапывали. В древности, как известно, кроме аскетического настроения, к этому побуждали и гонения на христианство, и необходимость прятаться от преследователей и врагов. Это нравилось у нас, и сохранилось даже до позднейших времен. Многие, желая угодить богу, копали пещеры. Первый, начинавший копать пещеру, был Иларион, священник, бывший в Берестове, которого Ярослав после сделал киевским митрополитом. Богоугождение в копании пещер заключалось в том, что человек томил себя произвольным трудом с мыслью — приносить себя самого в жертву. Явился Антоний. Житие, внесенное и в летопись, не говорит о том, как вошла к нему идея идти на Афонскую гору и кто был его наставником. Вероятно, любечский юноша, будущий начальник монашеского жития в России, получил первые семена этого аскетизма от каких-нибудь греков, как и Феодосий, о котором говорится, что он встретил старцев из Святой земли и пожелал с ними идти на Восток. Неизвестность, каким образом вошла Антонию мысль идти на Святую гору и с кем он дошел туда — для нас большая потеря. Несомненно то, однако, что полное развитие аскетизма в нем совершилось уже на Святой горе; потому что и житие его (в нашей летописи) говорит, что он, обходив афонские монастыри, получил желание принять иноческий образ; тогда греческие монахи отправили его в Русь и сделали из него проповедника аскетического благочестия. Ему предсказали, что от него *черньцы мнози быти имуть*. Антоний, следовательно, возвращался в отечество с сознанием своего призвания и с убеждением, что ему суждено основать в России монашеское житие. Он явился в Киев, а не куда-нибудь, — в Киев, потому что там уже были и монастыри, заведенные прозелитами тотчас же после крещения. Но, как видно, эти монастыри были не таковы, как святогорские, и житье в них не было то, какого образ составил в созерцательной голове Антония. Антоний поселился в пещере, ископанной Иларионом; получивши митрополичий сан, последний оставил ее; Антоний полюбил

это место и начал там жить, изнуря себя воздержанием, вкушая только хлеб и воду, и то через день. Скоро, однако, слава его разнеслась по Киеву: христиане, зная из поучений своих священников, что древние святые проживали в пещерах и тем угождали богу, приходили к Антонию, приносили ему все потребное и удивлялись его подвигам. Так, это была первая школа, не только словом, но делом и примером распространившая и утвердившая в народе то неизменное до сих пор понятие, что сущность христианского спасения достигается самопроизвольными трудами, изнурением и всевозможнейшим терпением и страданиями. Антоний не был одним из таких лиц, которые способны энергической практической деятельностью основать, укрепить и поддержать создаваемое здание. Это была натура, как видно, кроткая, мягкая. Биограф его, не обинуясь, говорит, что он был *прост умом*. Когда к нему сошло несколько братьев, то он устроил им церковь, назначил игумена, а сам удалился в пещеру, где пробыл сорок лет. Летописное житие говорит, что он не выходил оттуда никогда; в житии св. Феодосия говорится, что он вышел к его матери.

Напротив, другой святой муж, Феодосий, последовавший за Антонием, был совсем другого характера. Это был человек столько же сурового аскетизма, сколько и практической деятельности. Это был человек, для которого недостаточно было думать о собственном спасении: он чувствовал в себе силы действовать на ближних — человек, желавший спасти и других; это был муж, дающий инициативу, руководящий духом времени. В терпении он не уступал Антонию. «По ночам,— говорит жизнеописатель его,— святой Феодосий выходил над пещеру, обнажал свое тело до пояса и в таком положении прят волну, отдавая тело свое на съедение комарам и мошкам, и в то же время пел псалтырь»; но этот человек не довольствовался самозаключением в пещере. Он создал монастырь, устроил общину воздержания и самопроизвольного терпения и истязания. В нем является качество законоположника, зодчего; потому-то он прежде всего выписал из Греции Студийский устав, послав в Константинополь одного из благочестивых братьев. Когда принесли этот устав, устроитель приказывал читать его пред братией, ввел строгий порядок, наблюдавшийся во всех видах повседневной жизни. «Прежде чем построен был монастырь, братия жила под землею в тесных пещерах, по подобию фиваидских отцев, и сильно скорбела,— говорит их жизнеописатель,— от тесноты места». Понятно, что для русской природы, любящей простор, показывающей эту склонность повсеместно, не могло быть ничего хуже тесноты. Братья ели хлеб и воду, *в субботу же и в неделю сочива вкушаху; многажды и в те два дни, не обретающуся сочиву, земля сваривше, и то ядяху едино*. Постоянный труд считался необходимостью; отшельник должен был питаться непременно от своих трудов: *еще же руками своими делаху — ово ли копытця плетуше*

и клобуки и иная ручная дела строяще, и тако, носяще в град, продаваху, и тем жито купляху и се разделяху, да каждо в нощи свою часть измелше, на устроение хлебом; таже потом начаток пению утреннему створяху, и тако паки делаху ручное свое дело; другойци же в ограде копаху зеленого ради растения — дондеже бываше утреннему славословию, и того часа вкупе шедшеся в церкви, пения часов творяху, и тако святую литургию свершивше и тако вкусивши мало хлеба, и паки дело свое каждо имеяше, и тако по вся дни трудящися. Когда, наконец, состроен был Печерский монастырь и Феодосий был его начальником, он старался умножить монахов, принимал всякого, но держал их в подчинении и постоянно наблюдал, чтобы братия не облегчала себе подвигов спасения. Уже тогда братия жила в кельях; каждую ночь Феодосий обходил кельи и смотрел кто что делает; не входя в кельи, он нередко подслушивал у дверей, и если слышал, что в келье монахи разговаривают между собою, то ударял палкою в дверь и уходил, а на другой день призывал и делал обличения. По его правилу монахи должны были избегать разговоров друг с другом по вечерни; но отслушав вечерню и павечерницу, каждый должен был отходить в свою келью и там молиться. Ни у кого не должно быть ничего собственного — иначе св. Феодосий бросал все в огонь, что ни находил в келье монаха. Строгое послушание предписывалось без изъятия всем и для всякого случая. К какому бы благому делу ни приступал монах, он должен был испросить разрешения и благословения игумена, а без того и хорошее дело считалось нехорошим. Феодосий, предписывая строгость для других, не только не делал для себя изъятий, но налагал на себя еще более томительные тяжести, чем на подчиненных. Он сам нередко носил воду, рубил дрова, топил печь, ходил в самой дурной, разодранной одежде. Феодосий любил сочинять поучения и говорил их монахам.

Трудясь для монастыря, он не оставлял своими поучениями и мира, не вполне, как Антоний, был чужд мирских дел. К нему часто приходил князь Изяслав Ярославич⁶⁰; и бояры с ним советовались о жизни; он давал душеспасительные советы, исповедовал во грехах, разрешал и налагал епитимьи. Замечательно, что в поучении его князю о посте он гораздо снисходительнее к светским в отношении поста, чем можно было ожидать от такого старого аскета. Но зато — главное — он требует подчинения духовенству, власти духовной. Вот чем отличается дух его послания. Несмотря на то что пост для него высшее проявление христианства, он даже и поститься не позволяет, если иерей не прикажет. Не думай и будь покорен власти духовной — вот сущность его аскетического учения; послушание без размышления есть долг. Вратарь у Печерского монастыря не пустил даже князя Изяслава, когда не приказал никого пускать игумен. Жизнеописатель Феодосия рассказывает, что в детстве над ним господствовала мать: он убежал от нее в

монастырь и, может быть, что эта суровость родительской власти оставила влияние на тот строгий порядок, какой ввел он в монастырь и какой посредством переходил и в мир, с благочестивыми понятиями. Например, вменено в вину келарю то, что в противность Феодосию игумену он предложил пожертвованные хлебы братии за трапезою не в тот день, когда приказал игумен, а на другой. Этого мало: самые хлебы уже через то сочтены оскверненными, и св. муж приказал их пометать в огонь, *яко вражую часть*.

Вместе с этим духом безусловной покорности Феодосий предостерегал братию от общения с иноверцами вообще. Жизнеописатель Феодосия говорит: он нередко выходил тайно из кельи и монастыря к жидам и ругал их в глаза отметниками и беззаконниками, желая, чтобы они его убили и чтобы таким образом сподобиться пострадать за христианскую веру.

В пище проповедовалось иметь воздержание и неприхотливость, крайнюю умеренность. Но святые поставляли в том подвиг, чтобы есть дурное и невкусное. Таким образом один из них, Прохор, прозываемый Лебедником, во время голода осудил себя есть хлеб из лебеды; такой хлеб был горек и противен, но бог сотворил его вкусным.

Церковь заботилась об аскетическом совершенстве человека, смотря по силам,— начиная от сурового воздержания печерских затворников до легкого соблюдения постов мирянами. Лишать себя того, что нравится,— вот в этом состояла заслуга; на этом основывается такое уважение к посту, которое привилось в русском народе тотчас после знакомства с христианством. И первые религиозные споры наши были о посте, потому что еще Изяслав Ярославич спрашивал Феодосия о том, можно ли есть мясо в господские праздники. Феодосий не только разрешил ему, но считал противозаконным пост в большие праздники: так снисходительно смотрел он на мирян, когда в то же время требовал такого сурового воздержания от монахов.

Вместе с воздержанием соединилось уважение к труду; иногда труд этот предпринимался без определенной цели; или, лучше сказать, цель его была в самом себе; трудиться было спасительно, ибо это богу угодно, хотя бы не имелось в виду никакой пользы. Так трудились мужи святые по кельям; но большею частью труд, по понятиям, развивавшимся в Печерском монастыре, был соединен с уничтожением и смирением. Так, например, игумен Феодосий носил братии дрова в избу, и это ставилось ему в заслугу, потому что он был начальное лицо, и притом ему собственно по его сану не должно было бы трудиться. Ставили в большую заслугу то, что князь Никола Святоша⁶¹ служил в монастырской поварне, потом был вратарем,— именно это ставили ему в заслугу, потому что он был князь. Пример уважения к девству представляет повесть о Моисее Угрине, сложенная, очевидно, такими, которые, живя в монастыре,

не знали мира и воображали его себе таким, каким он мог казаться только тем, кто разошелся с его тревожностями. Моисей был взят Болеславом в плен (брат его был слугою Бориса и с ним вместе был убит). Какая-то знатная полька хотела сочетаться с ним браком — он упорствовал; она жаловалась королю, и король хотел его заставить, но святой муж вместо того сделался евнухом.

Печерский монастырь сообщил нашему религиозному убеждению неприязнь ко всему веселому, ко всему, что может сообщить прелесть земной жизни. Вместе с пирами преследовалось всякое смехотворство, всякое, даже невинное увеселение. Феодосий, заставши князя Святослава пирующим с боярами и гусярами, со слезами представлял ему, что такого веселия не будет на том свете.

На слезы и грусть смотрели как на нечто священное. Один из святых, Феофил (в житии Марка Печерника), выплакал глаза: ожидая много лет часа кончины, предсказанной ему Марком, он мучился беспрестанным ожиданием смерти, и когда умирал, то ангел показал ему сосуд с благовонным миром, в которое превратились его слезы; их было так много, что из превратившихся в миром было менее случайно упавших на землю и оставшихся на платке, чем тех, которые святой, плача, имел терпение собирать в сосуд, который подставлял всегда, как собирался плакать. Об одном из затворников говорится: *отголе разумеша вси, яко угоди Господеви: никогда же бо изыйде и виде солнце, и 12 лет и плача не преста день и ноць; ядыше бо мало хлеба и воды, по скуду пияше и то через день.*

Страдания, болезни принимались также за благополучие. Пимен многострадальный терпел ужасные болезни и сознавал, что если бы он захотел, то бог бы его помиловал, но он сам не хочет, и лежа в смрадной болезни, других исцелял: «зде убо скорби и туга и недуг вмале, а там радость и веселие идеже несть болезни, ни печали, ни въздыхания, но жизнь вечная; того бо ради, брате, сие терплю; Бог же, иже тебе мною исцеливый от недуга твоего, той может и мене вставити от одра сего и немощь мою исцелити, но не хощу: претерпевый же до конца, той спасен будет» и так далее.

Сколько можно заключить, самое правило: делать добро ближним и не делать им зла, связывалось с тем понятием, что в сердце лежат побуждения делать зло, а добро делать трудно. Вообще, труд и лишения — вот что ставилось на первом плане в деле спасения. Сделать доброе дело важно было не для того, кто получает, а для того, кто делает и дает; потому что давать и делать добро, по понятию тогдашнему, было неприятно и потому спасительно. Поэтому русское нравственное вероучение и не старалось о том, чтобы всем было хорошо здесь, чтобы в обществе каждый мог наслаждаться жизнью, это было не в его цели; потому что неприятности, страдания ведут в царствие небесное, и, следовательно, все благодеяние,

какое могла оказать церковь, относиться могло только к лицам в отдельности, а не к целому обществу.

Богатство считалось уже само по себе корнем зла. Желаящийся спастись лучше ничего не мог сделать, как раздать нищим свое состояние и идти в монастырь в произвольную нищету. Св. Федор, по указанию беса отыскавший сокровище в земле, зарыл его в землю снова и молил бога забыть о том месте, где он погреб его. При раздаче имущества нищим целью не было обогатить своих ближних; одна была цель — достичь самому царствия божия. Замечательно, что святому, пожалевшему о растрате имения, другой святой предложил, что он возвратит ему все, но с тем, что милостыня от бога ему вменится.

Эта философия, отвергающая земное стяжание, облеклась в сказание об Иоанне и Сергии в «Патерике»⁶²: Иоанн и Сергий заключили между собою *духовное братство* (древнее побратимство, осененное теперь церковным освящением), и Иоанн оставил сыну своему, Захару, наследство, которое поручил названному брату; названный брат считал лучше самому воспользоваться чужим достоянием и не отдал Захару, когда он требовал, отцовского достояния, не отдал даже и тогда, когда Захар просил не более половины, даже трети. Тогда Захар призвал его к клятве пред иконою Богородицы в Печерском монастыре. Обманщик не мог приблизиться к иконе и принужден был сознаться в своей вине. Лучшего конца повесть не представляет нам кроме того, что Захар все золото и серебро свое пожертвовал на монастырь; и он и его обиратель постриглись в монастыре.

Нищета считалась первою принадлежностью монашеского быта. Однако усердие дателей не было отвергаемо, и вскоре монастырь стал богат. Жертвовать на монастырь было такое же доброе дело, как и дарить нищим и кормить их. Печерский монастырь наделили богатыми, по тому времени,кладами звонкого металла, разных драгоценных вещей, записывали в его вечное владение недвижимые имения, села. *И приношаху ему (князя и бояре) от имений своих на утешение братии и на устроение монастыря, друзии же села вдающе на церковную потребу.*

Монастыри созидались двумя способами: 1) строили их князья и знатные богатые люди по душе или по данному обету, во время испрошения какой-нибудь особенной божией помощи; 2) основывались они и так, как основывался Печерский: собирались добровольные любители аскетического жития.

Основание Печерской церкви «Патерик» приписывает варягу Шимону, — вероятно, шведу родом; это был сын Африкана, брат Якуна Слепого, того самого, который помогал Ярославу в сражении против Мстислава Владимировича⁶³ на Лиственской битве и отбежал золотой луды. По смерти Африкана братья его выгнали из отечества Шимона, как это обыкновенно случалось в скандинавском мире. Он убежал к Ярославу в Гардарик. После службы Ярославу Якун возвратился на родину и там участвовал в несправедливостях к племяннику.

Впоследствии Шимон рассказывал о себе следующее: «Был у моего отца, Африкана, крест с изображением Христа вапною (известью), очень велик, в десять локтей, *якоже Латины имуть*». На этом изображении был золотой пояс в 8 гривен золота и золотой венец на главе. Когда Шимону приходилось убегать из родины, он захватил с собою этот пояс и венец. Тогда ему глас бысть: *никакоже сего не возложи на главу свою, неси сия на уготованное место, где строится церковь Матери Моея и отдай в руке преподобного Феодосия, он же повесит над жертвенником*. После этого видения, когда он плыл по морю в Гардарик, сделалась буря; Шимон испугался и подумал, что это наказывает его бог за то, что он взял украшения от Христова образа, — начал он в этом каяться, и тогда увидел на воздухе изображение церкви и услышал голос, объясняющий, что это за церковь: «это церковь, которая хочет создаться от преподобных во имя Божией Матери, — в ней и ты будешь положен; размер поясом 20 локтей в высоту, 30 в длину и 30 в ширину». Несмотря на то Шимон, приехавши в Киев, долго, как кажется, не думал строить церкви: впоследствии объяснял он, что не знал и места, на котором указано от бога быть этой церкви. Шимон прибыл в Киев еще при Ярославе и служил у сына его, Всеволода; когда же, по смерти князя Ярослава, появились впервые половцы, Шимон отправился против них с русским ополчением и обратился вместе с князьями Изяславом, Святославом и Всеволодом к преподобному Антонию. Боговдохновенный старец предрек им всем несчастье. Шимон в простоте сердца пал к ногам преподобного и молил сохранить его от вражеского меча. Преподобный отвечал ему: «О, чадо! многие падут от острия меча и убегут от супостат, будут попираемы и уязвляемы, будут тонуть в воде; ты же останешься спасен, ибо тебе суждено лежать в Печерской церкви, которая создастся твоим попечением». Несчастье для русских было поражение на Альте; Шимон был ранен и лежал на поле, среди трупов и умирающих, и вдруг в воздухе увидел то же изображение церкви, которое некогда представилось ему над балтийскими волнами. Тогда он вспомнил, что с ним было прежде, начал молиться о спасении. Он потом выздоровел. Тогда пришел он к Антонию, отдал ему пояс для измерения церкви и венец, который следовало повесить над жертвенником. Он явился к Феодосию и просил благословить себя не только в жизни, но и по смерти. Феодосий отвечал, что сам еще не знает, будет ли угоден богу своими молитвами по смерти; но Шимон представлял, что ему был от образа глас, который свидетельствовал о святости Феодосия и о том, что ему суждено основать церковь; затем Шимон просил молиться о себе и своем сыне Георгии. Феодосий изъявил желание молиться за него и за его семейство, наравне как и за всех христиан; Шимон этим был недоволен: он требовал, чтобы Феодосий дал ему свое благословение на письме. Феодосий согласился и дал ему молитву. По этому примеру на Руси начали при погребении влагать в руки мертвых рукописание. Шимон, готовясь строить храм, хотел прежде

всего взять для себя еще выгоднейшие условия: он потребовал от святого мужа отпущения грехов своих родителей. Феодосий, воздвигнув руки, сказал: «да благословит тя Господь от Сиона и до последних рода твоего!» Шимон принял православную веру и наречен Симоном. О роде Симона «Печерский патерик» присовокупляет, что сын его Георгий был отправлен Мономахом с сыном его Юрием⁶⁴ в Суздальскую землю и потом был там поставлен управлять всею Суздальскою землею.

Повесть эта многозначительна в истории русской жизни. Это был у нас первообраз множества подобных событий, когда, вследствие укоренившегося верования о спасении души посредством постройки монастырей, богатые люди благодетельствовали монастырям, давали им села, доходы и, таким образом, способствовали развитию монастырской жизни.

Вслед за повестью о Шимоне тогда же образовались старинные сказания о пришествии церковных мастеров из Греции и об основании Печерской церкви. Придавая еще более в глазах народа святости Печерской обители, повесть приводит из Греции мастеровых людей, которые получают от пресвятой Богородицы указание идти в Русь и строить церковь. Ангелы являлись в виде *благообразных скопцев* — звать их к Богородице во Влахерне. Образ ангелов в виде скопцев не редкость в византийской легендарной литературе. Аскетизм и самоистязание достигают до умерщвления плоти и способствуют девственному житию. То же сказание говорит, что икона, которая впоследствии сделалась в Печерском монастыре местною, была принесена прибывшими греческими мастерами, — она была им вручена самою Богородицею и есть произведение не земного, а небесного, сверхъестественного искусства. Вот начало благоговейного почитания явленных икон, столь распространенного впоследствии в религиозной сфере русской жизни. Эта вера в явленные иконы принесена была к нам с Востока прежде всего в Печерский монастырь, на киевскую почву, точно как и многие другие верования.

Отыскали место для будущей церкви, и ее заложение сопровождалось чудесами, подобными восточным чудесам Ветхого Завета и сходным с ними позднейшим церковным преданиям Востока. Подобно Геденону и Илии святой Феодосий, желая узнать, какое именно место приятно богу для воздвижения церкви, молился, чтобы везде была роса, а на том месте, где следует быть церкви, не было росы, а на другую ночь просил обратно, чтобы именно там была роса, когда повсюду не было росы. Все совершалось по его желанию. На том месте, где высшее знамение указало быть церкви, росли кустарники: они были истреблены огнем, низведенным с неба силою молитвы св. Феодосия. Когда нужно было копать ров для закладки храма, эту работу предпринял первый князь Святослав, и богатые люди жертвовали вклады на создание святыни, с тем чтобы по смерти быть погребенными на этом благословенном месте.

Уже повести о варяге Симоне и о греческих мастерах придают особое значение погребению в Печерской церкви. В «Слове», составляющем часть «Патерики» и называемом *Слово, еже когда основана бысть церковь Печерская*, говорится: *блажен и преблажен сподобивыйся положен быти; блажен и преблажен сподобивыйся в той написан быти, яко оставление примет грехов*. Преподобный Феодосий говорит: *всяк положенный zde помилован будет*. Вот какое важное значение получила тогда Печерская церковь и Печерская обитель! Не удивительно, что эта обитель скоро процвела. До построения церкви Феодосий говорит пришедшему к нему варягу Симону: *а веси, чадо, убожество наше, иже иногда многажды и хлеба не обретается в дневную пищу*. Но вскоре после того, когда Феодосий, по откровению божию, готовился отойти от мира сего и собирал братию, то уже многая братия жила в разных монастырских селах. Князья и княгини давали и записывали в монастыри богатые вклады, имения. Так, князь Ярополк Изяславич⁶⁵ дал в монастырь Небльскую волость, Деревскую, Лучскую и около Киева; зять его Глеб Всеславич⁶⁶ — 60 гривен золота и 50 гривен серебра, а по его смерти назначил 600 гривен серебра и 50 гривен золота и по смерти сёла с челядью (Ип. Сп. Лет. 82). Монастырь Печерский сделался даже хранилищем чужих сокровищ. В тот век достояние не было слишком обеспечено от произвола, и потому многие отдавали туда на сохранение и серебро, и золото — этот обычай распространился на все монастыри.

Преподобный Феодосий оградил свое творение от притеснений в будущие времена со стороны князей и духовных сановников. Предание, записанное в «Патерике», сообщает, что пред смертью он видел князя Святослава и молил его, чтобы церковь Печерская была освобождена от власти и князей, и владыки; ибо не люди, а сама Богородица ее создала. Так надолго обитель пребывала независимым обществом. Мудрый Феодосий сам установил твердую нравственную связь между всеми принадлежащими к обители. Он предвидел, что обитель сделается рассадником игуменов и владык в России. Конечно, уже и прежде, вероятно, она начала иметь свое важное значение; поэтому он сказал, что если кто из братьев будет призван на какое-нибудь начальническое место в России, то выходить из обители может только с позволения старших и всегда должен искать успокоиться в Печерской обители: только за таких обещается св. Феодосий молиться перед богом. Понятно, как после такого завещания впоследствии печерские иноки, где бы они ни были, не теряли связи с монастырем, как показывает письмо Симона, епископа владимирского. Напутствуемый мысленным благословением великого основателя обители, такой питомец Печерской обители — будет ли он в Ростове, во Владимире, в Новгороде, в Полоцке — всегда обращался сердцем к Киеву, к заветной обители, как к обетованной земле спасения, и хранил те предания, те верования и правила, которые получил в этом монастыре, и сообщал их повсюду, куда простиралось его влияние.

Печерский монастырь указал русской религиозности и то направление, которое в делах общественных обращало действие христианского нравоучения со всеми наставлениями единственно к совершившемуся факту, а не касалось самого общественного порядка. Преподобные святые печерские развили это начало. Антоний был благорасположен и к Изяславу⁶⁷, и ко Всеславу, и за последнего был первым изгнан. Феодосий жил в согласии и осыпал благословениями Изяслава, а потом изгнавшего его брата, Святослава. Он менее укорял его за изгнание Изяслава, за похищение киевского стола, чем за то, что застал Святослава в пирушке с гусярами, и восхвалял его, когда князь удалял веселые сцены от преподобного мужа, как скоро преподобный приходил к князю. Однажды пришла к Феодосию убогая вдовица жаловаться на судью, который ее обобрал и решил неправое дело. Феодосий упросил судью возвратить ей неправильно взятое. Но Феодосий не считал своим делом стараться, чтобы таких судей не было. Он заступался — говорит его житие — за утесненных перед князем и судьями, и это ставится в заслугу его милосердию; но с точки зрения Феодосия не было потребности изменения того порядка, от которого зависели утеснения, облегчаемые его заступничеством. Точно такое направление получило и после него влияние церковных мужей на общественную жизнь. Благочестие с радостью оказывало пособие страждущим, гонимым, но мало вопияло против тех, которые были виновниками несчастий, поражавших тех, кто искал утешения в религии: оно не заглядывало внутрь земных побуждений. Покорность настоящему, отсутствие мысли об общественном движении было основою нравственного понятия, выработанного на религиозной почве. Пусть каждый только о себе заботится, о своем спасении помышляет — это было правило нравственное; таким образом, даже слово Христово о неосуждении брата своего применялось более к собственному самоуничтожению, чем к сохранению чести другого. Зачем тебе рассуждать и умствовать, — помни, что ты хуже всех человек, должен Христа ради смиряться!.. Всем следует угождать, всех хвалить, всем покорствовать; только тогда и можно спастись. Самостоятельным следует быть тогда только, когда дело идет о посте и о соблюдении церковных обрядов: тут должно отвращаться от житейских удовольствий, следует быть упорным и не склоняться ни перед какою властью; но во всем прочем не следует быть строптивым.

До какой степени простиралась важность покорности начальству и считалась первейшею добродетелью, видно из того, что в одной из повестей умерший, воскреснув, не мог сказать братии в монастыре большей истины, какую мог вынести из будущей жизни, как только то, что следует быть покорным игумену. Замечательно, что даже самый суровый аскетизм и плотиеистязания не помогут, если монах не будет отличаться безмолвным послушанием.

Война со всеми ее ужасами мало смущала благочестие. Развитое на почве Печерского монастыря, оно заботилось о том, чтобы давление

войны проходило мимо него и не лишало обители законного ее достоинства. Вот, например, Григорий, Симонов сын, бывший в Суздале, сознается, что когда он с Юрием Долгоруким и при помощи половцев воевал против Изяслава Мстиславича, то напал он с половцами на какой-то город, — но это было село монастырское, которое показалось градом, чтобы не дать половцам на разграбление; потому что враги, видя его твердыни, не решились отваживаться на приступ. Таким образом, по понятиям времени, не считалось предосудительным воевать, брать села и города и разорять их, но следовало щадить монастырские имущества.

Главные признаки аскетического настроения: покорность, воздержание и предписанный правилом страх мысли, страх земных удовольствий и внутренняя борьба со злым духовным существом. После принятия христианства в Печерском монастыре настала война с бесами. Бес — мрачное, злое существо... Как скоро святой муж обречет себя на сугубое воздержание, запретя в тесной келье или пещере, начнет день и ночь изнурять плоть свою поклонами, язык — безмолвием, а ум — беганьем греховных помыслов, тотчас являются к нему искушители, отвлекают его от богомыслия и силятся сделать с ним какую-нибудь пакость! Святой муж должен не поддаваться и мужественно бороться с ними. Сначала действуют духи невидимо, а потом являются и телесному зрению. Они принимают образ, похожий на обезьяну, в шерсти, с когтями, с хвостом, да вдобавок, чего нет у обезьяны — с рогами и крыльями; но иногда являются вполне в человеческом виде, только чаще всего в виде человека неправославного. Однажды святой, одаренный прозорливостью, увидел беса в образе ляха, он сыпал цветами на братию во время заутрени: на кого цветок упадет и прилипает, тот брат расслабевал, уходил из церкви и ложился спать; но были такие строгие подвижники, что цветки не прилипали к ним. Здесь цветок — символ грешного удовольствия. Когда брат уходил из монастыря, тут-то и было бесам раздолье. Один святой увидел однажды беса, ехавшего верхом на свинье, лукавый дух величался и посмеивался над монахом, который успел ускользнуть за монастырскую ограду. Обыкновенно бесы старались отвлечь к чему-нибудь внимание подвижника и мешать ему, когда он погружался в безмолвие и творил над собою истязания; чем сильнее старался угодник преодолеть лукавого, тем больше лукавый старался его искушить. Пример искушения — в истории затворника Исакия, которого бесы довели до того, что заставили его проплясать, а потом привели в совершенное истощение, так что нужны были годы, чтобы святой мог поправиться. *Торопецкий купец по происхождению, по прозвищу Чернь, он вступил в монастырь, раздал все свое имение на монастырь и нищим и был принят; потом облечебоя во власяницу и повеле купити себе козел и одра мехом козел и овлече на власяницу и осше около его; затворися в пещере в единой улице и в кельици мале, яко четыре лакот и ту моляще Бога со слезами; бе же ядь его проскура едина и то чрез день.* После многих

неудачных попыток бесы явились ему в виде ангелов, и Исакий по простоте поклонился им; тогда один из бесов сказал: *возмете сопели и бубны и гусли, и ударяйте, ат ны Исакий спляшет. И удариши в сопели и в бубны и в гусли и начаша им играти и утомивше его и оставиши и оле жива, и отыдоша, поругавшеся ему.* Иоанна многострадального бесы мучили похотью; святой муж истязал себя сначала тесным заключением, голодом и молчанием, носил на теле железные вериги, а потом на время поста зарывал себя в землю, оставляя наружу только руки и голову. Бесы пугали его то огнем снизу, то ему представлялось, будто он весь горит, то являлся змей и грозил его поглотить. Иоанн выстоял всякие искушения. Святой особенно подвергался искушению в затворе и должен был помнить, что при появлении к нему кого бы то ни было следует заставить приходящего прочитать молитву Иисусову, и если бы кто не захотел этого сделать, то явная улика, что он — бес (не даждь ему беседовати с тобою и прежде, даже молитву сотворить, тогда разумещи яко бес есть). Одному подвижнику бес явился в образе друга и сподвижника, помог ему отыскать золото и вел было его к тому, что тот собирался убежать из монастыря, но, к счастью, обман открылся скоро, и святой отец (Феодор) лучше рассчитался с бесом, чем Исакий. Когда нужно было изгнать от себя лукавые помышления, приходящие в праздности, подвижник осудил себя на тяжелые работы — сначала молоть муку на ручной мельнице с ручным жерновом; другой раз, когда сгорела Печерская церковь — таскать лес с берега Днепра на гору. Бес вздумал было искушить его, и когда святой отдыхал однажды от своей мукомольной работы, бес стал молоть, но святой своими заклинательными молитвами принудил его в самом деле трудиться и продолжать работу на жернове, а сам в это время молился. Потом, когда святой таскал на гору лес, тогда собралось уже много бесов — товарищей проказника, творившего пакости над святым: они бросили с горы наношенное дерево. Тогда святой силою своих молитв принудил бесов перетаскать в одну ночь на гору все дерево, сколько его ни было изготовлено под горою. Бесы решились отомстить за такое унижение, которое было тем для них чувствительнее, что они не могли забыть, как люди некогда чувствовали их под именами идолов. Сначала бесы научили извозчиков, которые подрядились в монастырь возить лес, требовать платы за перевозку того дерева, которого они не возили и которое вместо них возили сами бесы. Когда дело дошло до суда, то судья, выслушавши простосердечные оправдания святого, сказал ему, что бесы помогут ему и заплатят, как помогли сvezти. Неизвестно, какие последствия имела эта тяжба, но бес явился в образе старца Василия ко княжескому советнику, боярину Святополка и сына его Мстислава⁶⁸, жадному и злому, какими были князья его, и доносил, что Феодор отыскал сокровище в варяжской пещере и не являет князьям. За это потребовали Феодора и стали мучить, так как он отговаривался, говоря, что забыл, где снова зарыл клад. Потом послали за Василием, не выходявшим уже 15 лет из пещеры: Василий, разумеет-

ся, не зная, что происходило под его именем, привел в недоумение и досаду князя Мстислава своими неясными ответами, и тот, думая, что он запирается, тогда как сам же прежде ему доносил, застрелил его стрелой. Василий, умирая, предрек Мстиславу лютую смерть, и она сбылась в битве с Давыдом Игоревичем⁶⁹.

При умственной покорности знание не считалось достоинством. В повестях Печерского монастыря знание и земная мудрость являются даром бесов. Так, о преподобном Никите рассказывают, что к нему явился бес и научил его понимать одни только книги Ветхого Завета⁷⁰, так что он мог пророчествовать. По составившемуся некогда юному понятию о знании, вместе с ним соединилось верование в пророчество; знать, быть мудрым, значило также — делать чудеса, говорить то, чего другой не скажет, одним словом, делать то, чего другой никто не может сделать и для чего нельзя придумать обыкновенных способов. Но когда святые отцы, сошедшись около Никиты, прогнали бесов, Никита стал прежним невеждою и сподобился впоследствии низводить дождь с неба на земные произрастения. О Лаврентии-затворнике рассказывается, что когда он пошел в затвор, получил благодать целить беснующихся, и к нему приводили больных, бесы научили его по-гречески, изощрили его способности; но когда другой святой молитвами исцелил его от бесовского искушения, Лаврентий забыл все свои знания.

Печерский монастырь не благоволил к иноверцам. Так, в житии св. Агапита, безмездного врача, рассказывается, что когда к нему пришел врач армянин, то несмотря на свое смирение, как скоро он узнал, что это *армянин*, то воскликнул: *почто смел еси внити и осквернити келию мою и держати за грешную мою руку? Изыди от мене, неверне и нечестиве!* В ответе св. Феодосия Изяславу Ярославичу на вопросы о варяжской вере святой муж порицал варяжскую веру: там не только обвиняют последователей западного христианства в ядении кошек, псов и удавленины, но говорят и о крайних непристойностях при брачном обряде. В поучении и ответе советуется не давать католикам есть и пить из сосуда своего, и если придется дать по крайней нужде, то непременно вымыть сосуд; приказывается не только не принимать чужезверного к себе, но проклинать всякое чужезверье.

Так как раздаяние богатств нищим не имело в себе цели, а само по себе составляло цель, так точно и труд предпринимался и считался полезным не по плодам его, а сам по себе, в своем процессе.

Видно, что в Южной Руси оставались языческие обычаи, долго еще смотрели русские на жизнь сквозь языческое покрывало и даже в христианские обычаи и обряды вносили языческое содержание. Вот, например, Феодосий воспрещал, что в его время многие ставили на кутью яйца, приставляли к кутье воду, ставили обеды по умершим и носили в церковь съестное, одним словом — отправляли тризны, ибо у язычников погребение сопровождалось пьянством. Святой, соболезнуя, вопиял против соблазнительного целования мужчин с женщина-

ми на пирах. От этого христианство противодействовало языческой чувственности строгою стороною своей духовной чистоты, а аскетическое учение делалось единою нравственною философіею для всего христианства вообще.

Самая мирская жизнь не имела, с церковной точки зрения, друго-го идеала, кроме аскетизма. Это было тем естественнее, что вот, например, в «Слове отца к сыну» (последний, очевидно, не готовился в монастырь, но намеревался жить в мире семейно) отец, представляя ему пример добродетели подвижников, *иже мало света сего причащахуся*, говорит: *изволи себе тех житье и тех правый путь приими, тех нравы и ты, чадо мое, възми си всею силою и со всею крепостью*. В том же «Слове» отец заповедает сыну давать десятую часть от своего имения господу (т. е. в монастыри и духовенству). Таким образом, видно, что понятие о десятине⁷¹ переходило из княжеского быта в частный, домашний.

Понятно, что при направлении заботиться каждому лишь о собственном спасении не удержалось вполне согласие, мир и братство в Печерском монастыре, и уже в ранние времена встречаются следы взаимной зависти, вражды и обманов между братиею. Так, в житии Алимпия иконописца⁷² рассказывается, что монахи брали деньги с одного богатого господина, заказывавшего Алимпию икону, но в самом деле не давали об этом знать Алимпию, а боярину говорили, что Алимпий просит втрое.

Несмотря на аскетическое направление, в церквах читались, однако, поучения, переведенные с греческого, где аскетизм представляется недостаточным без добрых чувств, любви: *аще ли кто от хлеба ся удержитъ, а гнев имать, и таковый подобен есть зверю: тѣ бо не есть хлеб: аще же от пития и от рыбы кто удержится и на голе земле легаеъ, а злбу имея и неправду дея, хвалится убо: пуци есть и скота*.

Добродетелью были: пост, грусть; смех и веселие — грех. Один подвижник, по имени Памва, дал обет никогда не смеяться. Бесы употребляли всевозможнейшие уловки, чтобы рассмешить святого — долго все было напрасно наконец, бесы привязали маленькое перышко к огромному бревну и потащили мимо подвижника с криком: «алай, алай!» Памва улыбнулся, и бесы всплескали и запрыгали от радости, восклицая: «Авва, Памва засмеяся! Авва, Памва засмеяся, засмеяся!» — «Я засмеялся немощи вашей, — сказал им святой, — что вы, и то только с трудом, можете это бревно сдвинуть». В одной древней нравоучительной беседе говорится: «смех не созидает, не хранит, но погубляет и созидания разрушает, смех Духа Святого печалит, не пользует и тело растлеывает; смех добродетели прогонит, не имать бо памяти смертныя, ни поучение мукам. Отъими, Господи, от мене смех и даруй плач и рыдание, егоже присно ищещи от мене» (Имп. Публ. Библ., Погод. Сб. № 1297, стр. 91).

С женщиною не следовало даже говорить — женщина была существо, располагающее к согрешению: «Не достоин мниху ясти с женою

или пити, или что промышляти с женами или инак како разум имети с ними; прелюбодейство есть, велико прелюбодейство женское сужитство. Еда камень еси? человек еси, общему естеству подлежа и в падении; огонь имаши в лоне — не изгориши ли? Какое имать слово: положи свещу на сено, тогда возможеша рещи, яко не горит сено? Аще не отместешися, яко горит сено, не мне глаголи, но неведущему тайных».

Убегая от женских очей, следует избегать и помышлений о женщинах. «Всяк бо возревый на жену согрешает». Надобно иметь постоянно бледное лицо и дурная одежда: *блед и щуби вид и рызы худы подобает иметь* (Пог. Сб. № 1288, стр. 226).

Монашеское самоистязание, уединение от всего, что составляет материальную прелесть на земле, открывало идею торжества духовного начала над грубою силою. Вместо богатыря, с оружием странствующего по чужеземным странам, ищущего опасностей, побеждающего их, получающего в награду богатства и т. п., являются богатыри духа — странствующие в таинственной области видений, вступающие в борьбу с духами; они побеждают их, отваживаются на всякие лишения добровольно, и за все терпение получили награду высшую — награду на небе. Так как богатырь не сидит на месте — богатырь ищет приключений, то и в сфере духовного подвижничества явились странствующие рыцари-паломники, скитавшиеся по святым местам и с Севера отправлявшиеся в Палестину. Они-то и назывались в древних песнях *каликами перехожими*. Похождения в Иерусалим, как видно, были значительно в ходу на Руси, в Цареград, на Афон и вообще на Восток по водворении христианской веры, особенно по завоевании Святой земли крестonosцами. В походе Даниила Паломника⁷³ говорится, что в его время были *мнози, доходившие до Иерусалима*. Это было до такой степени обычно, что иные старались ходить, видно, как можно скорее (*тщасяся вборзе*) и навлекали за то нареkania от истинно благочестивых; Даниил замечает, что *се то путь вборзе нельзя ходити*, и укоряет их в том, что они *много добра не видевши возвращались*; но путешествие было предметом общественных разговоров, и бывший в Иерусалиме пользовался уважением: он мог быть везде принят с честью, и потому они — по словам Даниила — *вознесеша умом, яко нечто добра сотвориши, погубляют мзду труда своего*.

Идея торжества ума над материальною силою в народной умственной жизни проложила себе не одну религиозную тропинку. Заявлением ее потребности могут служить и такие сказания, где или дурачок, или ребенок, признаваемый слабым и глупым, торжествует над сильными. Таких сказаний чрезвычайно много. Большая часть наших сказок имеют эту основную идею. Мы укажем на замечательную повесть о киевском купце Димитрии и сыне его Борзомысле, семилетнем мудреце. Хотя (некоторые видят в ней иноземную основу) она дошла до нас сравнительно в более поздних списках, но уже одно то,

что герой этой сказки киевлянин и богатый купец, странствующий по далеким странам на своих кораблях, показывает, что она перешла в позднейшие списки от тех времен, когда Киев был богат, многолюден и составлял центр образованности. Действие происходит на Юге; купец богатый с кораблями выезжает из Киева, странствует по отдаленным чужестранным землям. Проплававши тридцать дней по морю, купец пристал к берегу и увидел приморский город, близ которого стояло в гавани бесчисленное множество кораблей. «Удивися Димитрий Киевский купец и рече: что сии корабли безчисленно много стояша? мне зело земля блага есть и купцы в нем и много торгуют zde. Сниде с корабля купец Димитрий и поиде под град, и сретоша его гражане и вопрошаху его: от коея страны и коея земли? Он же сказася им: аз есмь от Русския земли и верую во Отца и Сына и Святаго Духа. И рекоша ему гражане: брате купец! единыя есть веры с нами Русская земля, — точию за наше согрешение послал нам Бог царя законопреступника и отступника от Бога, еллинския веры, и теснит ны, хотя привести к своей вере; мы же, не могуще терпети бед тех, неволею пожрохом идолом, видехом себе в великих нуждах: всегда боярами мучаше нас; овогда силою привожаше нас ко своим идолам, овогда заповеданием нам не веляше хлебов на торг печи и гладом морит нас для своей веры; се видиши, купче, в пристанищи сем 300 кораблей стояще, купцы же со всех стран прихождаху к сему граду, и приходяще к царю з дары, хотяще торговати в его царству; царь же дары от них приемлет и повелевает им три загадки отгадывать свои, а все то приводяще к своей вере; они же не могуще отгадать загадки, царь же глаголаше к ним: уже все загадок моих не отгадаете и вы пребывайте в моей вере, пожрите идолам; купцы же не хотяще того сотворити и того ради в темницу посажены бывши, терпяще всякую нужду и глад и тяготу, и скорбь, имени ради Христова, и заповедывает царь, не велит хлебы печи три годы, дабы они гладом померли».

Услышав об этом, купец Димитрий хотел было тотчас отплыть и повернул на свой корабль, но когда пришел к нему, то увидел, что там уже стояла стража. Нечего было делать — надобно было явиться к царю. Царя звали Несмеян Гордеевич. Донесли царю, что пришел купчишко из Русской земли, принес дары и просит позволения торговать в его царстве. Царь ласково пригласил Димитрия обедать; а после обеда спросил: *купче! которья ты веры?* Купец отвечал, что верует во имя Отца и Сына и Святаго Духа. — «А я чаял, — сказал царь, — что у нас вера общая; ты же сказываешься не нашей, а русской веры. Я же хотел было тебе позволить торговать и отпустить в твою землю; но теперь отгадай, купче, три загадки, что аз тебе загадаю; аще ли отгадаешь, и аз тебе велю торговати в своем царстве всяким товаром, и с дарами и с проводниками отпущу тя в свою землю; аще ли не отгадаешь ни единой загадки и в вере моей не пребудешь, ведомо ж буди тебе, купче, велю тя смерти предати, а товары твои взяты будут в мою царскую казну».

Купец испросил у царя срока на три дня и, пришедши на свой корабль, плакал, видя себе неминуемую смерть. Семилетний сын его играл на корабле и ездил верхом на палочке: «на деревце сидяще, рукою за древцы конец держаще, а другою рукою плеткою побиваше, и ездяще, аки на коне скакаше». Увидя плач отца, ребенок стал его спрашивать; отец сначала не стал было и рассказывать ему, но когда сын умно ему обещал помочь в напасти, отец рассказал. Сын сказал, что он за него отгадает: «А ты, отец, не скорби и не тужи, яждь, пей, веселися и молися Богу,— вся печали возлагай на Бога». Сын продолжал играть на корабле. На четвертый день позвали их к царю. Мальчик объявил, что он отгадает загадки за отца и потребовал пить. Царь налил золотую чашу с медом и подал ее дитяти; отрок дал отцу, и когда отец хотел возвратить чашу, отрок сказал: *отче! не отдавай чаши,— закрой в недра своя!* Царь дал другую, и с тою сделалось то же: также царь требовал возврата чаши; отрок сказал: *данное царево вспять не возвращается*. Загадка царева была такова: «много ли того, или мало, от востока до запада?».— «День и ночь, весь круг небесный единым днем и единою ночью едино солнце преидет от севера до юга; то твоей загадке мой ответ».— Царь удивился, дал третью чашу купцу, и купец спрятал ее в пазуху. Другая загадка отсрочена на другой день.

На другой день собрались «ипаты, и тираны, и стратилаты, и воеводы, и князи, и бояры, и все людие, малые и великие, и все граждане на предивное чудо отрока, якоже всем гражданам не вместится в царево дворе». Царь спросил: «что десятая часть из моря днем убывает, а нощию прибывает?» Ответ был: «то есть, царю, что десятая часть воды солнце выедает; нощию же прибывает, зане же солнцу зашедшу и не сушашу,— то тебе, государь, моя отгадка».

Удивился царь и потребовал третьей отгадки; отрок попросил сроку на три дня, но с тем чтобы созваны были все граждане, от мала до велика: пусть при этом им объявится, что *им добро будет во веки*. Это сделано. Люди собрались по приказу царя. Отрок потребовал, чтобы царь сошел со своего престола, дал ему одеяние царское и жезл, и что он тогда отгадает загадку. Царь отдал ему свои регалии и в том числе меч. Тогда отрок, зная, что в толпе есть христиане, не любящие неверного царя, закричал: хотите ли веровать во Святую Троицу?.. Все отвечали утвердительно. Отрок срубил мечом голову царю, сказавши: *вот тебе моя третья отгадка!*

На следующий затем вопрос отрока: кого они хотят поставить себе царем? — все единодушно вручили ему власть как своему избавителю. Послали за патриархом, который был в заключении. Он был встречен торжественно и отслужил литургию. «Постави патриарх над главою отрока рог злат с маслом над ним и благослови его патриарх на царство; людие же вси кликнуша от мала до велика единогласно: много лет тебе, государю нашему, Борзомыслу Димитриевичу на царство! И возрадовавшася ему вси людие великою радостью; царь же сотвори

в тот день пировице великое». Потом оказалось, что у оставшейся прежней царицы была дочь восьми лет; Борзомысл сочетался с нею браком, окрестивши ее наперед и обвенчавшись чрез сорок дней после ее крещения (сороковицей). На сказке этой легло понятие о страдательном положении женщины. Когда Борзомысл призывает царицу и узнает, что у ней есть дочь, не спрашивает ее — желает ли она отдать за него дочь; не спрашивает и невесты, а просто приказывает ее крестить и потом берет в жену, и только по просьбе матери дает ей сроку на семь дней. Семилетний царь приказал привести всех заключенных купцов, «и удивися царь, на них смотря; бысть лице их аки земля, а власы их отросли до пояса, и ризы их изодрашася, лежаша от гаду и тесноты, а голоса их аки пчелиные». Царь «учреди им праздник» и, возвративши им имения, отпустил каждого в свою землю. По воле царя отец поехал домой и привез свою жену — мать царя. Они жили вместе, и царь Борзомысл похоронил старого родителя своего, Димитрия, купца киевского.

Ткань этой повести показывает древнее ее происхождение. Победа посредством загадок есть видоизменение той первообразной канвы, по которой составились разнообразные редакции сказания о вещи мудрой девице, происходящей из простого звания и посредством отгадывания мудреных загадок выходящей замуж за знатного мужа, — сказание, которое в южнорусской народной словесности выразилось повестью про *дивку семилитку*. Замечательно, что сын Димитрия также семи лет от роду. Ничтожное дитя оказывается не только сильнее взрослых и славных, но изменяет судьбу целого края своею смысленостью. Народ как будто себя тут выражает: он ничтожен и юн, но в нем такие силы, которые могут победить могущество силы и обмана. Он сознает, что умственная сила выше всякой ручной; нужно только ума — и все преодолеть, все победить можно. Ум этот выражается, как и должно быть у молодого народа, вступающего в жизнь, не теорией, не логичною последовательностью понятий и процессом размышлений, а быстротою, сметливостью, находчивостью вовремя. Отгадка мудреной загадки — форма, в которой высказывается ум. Нельзя при этом не обратить внимания на различное значение двух загадок, предложенных царем; одна из них основывается на мудреном выражении того, что само в себе просто. Очевидно, здесь как бы насмешка над затейливостью выражения, которое только для простака — мудрость, а сама по себе вещь обыкновенная, и умная голова отгадывает ее без всякого затруднения. Другая загадка — предмет знания. Мальчик не только отгадывает то, что кроется под таинственностью вопроса, но показывает знание естественного феномена; таким образом народ сознает, что знание природы есть также достоинство мудрого человека. Отрок обманул царя — понятие народное таково, что обмануть злого не составляет ничего нравственно неодобрительного, напротив, служит также доказательством ума и способностей. Он убил царя. — но убил справедливо, спросив прежде народ, и потому

потребовал, чтобы все сошлись от мала до велика; он поступил именно потому справедливо, что воля всего народа считается мерилом справедливости. Народ был склонен к христианству и даже исповедовал христианство; власть имела другое убеждение и насильствовала к нему народ. Здесь сознание, что народная воля может проявиться тогда только, когда ей придется дать ответ на вопрос, и тот есть истинный мудрец, кто найдет возможность задать ей вопрос. Власть несправедливого царя потому и держалась, что народ не имел случая выразить свою волю ответом. Воплощенная юная мудрость дает перевес народной воле: новый царь избирается по воле народа. Детский образ мудрости посрамил тех, которые являлись в обычном для мудрости виде — в виде стариков и сильных властью; юное поколение, несмотря на то, что играя скачет верхом на палочке, носит в себе зародыши того, к чему становятся неспособными взрослые...

II

КИЕВСКАЯ РУСЬ ОТ ЯРОСЛАВА ДО ЗАВОЕВАНИЯ ТАТАРАМИ КИЕВА

Назначение Ярославом особых князей в землях русских удельного мира привело в жизни южнорусского народа новый вид отдельности и самобытности. Прежде другие земли русские были под верховною властью киевского князя, — хотя и управлялись и жили сами собою, но составляли его область, отчину. Теперь, с появлением уделов, с одной стороны, уменьшилось значение старейшинства Киевской земли в ряду других; с другой — связь между землями не только не прервалась, но утвердилась крепче, по мере расселения одного княжеского рода в разных русских областях. Уменьшилось значение Киева в смысле старейшего потому, что в других землях старейшие князья уже были не данники киевского, но и сами делались старейшими над младшими в своей земле, а младшие признавали ближайшее старшинство над собою в князьях не киевских, но главных своей земли; связь земель усиливалась, потому что правители их происходили от одного рода, все помнили свое происхождение и должны были составлять единую семью; а вместе с тем и русские земли смотрели на себя как на часть одной общей державы. После смерти Ярослава мы видим такого рода строй: собственно коренное понятие о власти князя над народом сохраняло в Русской земле свой древний характер; но его основные черты подвергались изменениям в приложении к жизни, по мере сходящихся обстоятельств. Народное сознание о князе признавало его необходимым для поддержки порядка и для предводительства военною силою против врагов. Сделалось обычаем то, что княже-

ское достоинство было преимущественно в Рюриковом роде; установилось понятие о том, что киевский князь должен быть из этого рода, но еще не образовалось понятие о праве наследования между князьями. Воля живого народа, как и во всем, стояла выше всякого права и даже обычая.

Во второй половине XI века появились новые чужеземные враги, с которыми долго приходилось меряться силами Киеву и земле Русской,— половцы. По нашим летописям, впервые пришли они на Русскую землю воевать в 1061 году, и первое дело с ними было под Переяславлем (город этот стоял на страже Русской земли); это дело разыгралось неудачно. Должно быть, это событие навело на народ большой страх, ожидание худых времен. Это видно из летописного рассказа о знаменьях, тревоживших тогда воображение; видно, что первая неудача или удача считалась предзнаменовательною, как вообще у восточных народов. Тогда во всяком феномене, сколько-нибудь выходящем из обычной чреды явлений, видели предвестие. Старые языческие суеверия невольно поддерживались и укреплялись в этом отношении монахами и духовными; в византийских книгах, расхваливавшихся тогда по Руси в славянских переводах, они находили оправдание верованию, что действительно необыкновенные явления служат предвестиями бедствий. В 1066 году явилась на западе «звезда косматая»; в ее лучах находили что-то кровецветное; в продолжение семи дней она пугала киевлян после солнечного заката на западном небе: *проявляющи кровопролитье* — говорили тогда. Потом из реки Сетомли рыбаки вытащили неводом какое-то дитя-урода, вероятно, брошенное матерью от страха, и мать ему не нашлась и не смела себя показать, когда нашли урода в реке. С ним не придумали ничего другого сделать, как, посмотревши до вечера, бросить опять в воду. Наконец, сделалось солнечное затмение. «Это ведьмы съедают солнце», — говорили тогда по языческим понятиям. Как это верование было древним и укорененным, видно из того, что и до сих пор существует такое же суеверие в народе; думают, что чаровницы имеют силу управлять естественными явлениями и, уменьшивши в объеме небесные светила, скрывать их на время.

Действительно, общее предчувствие оправдалось. Этот набег половцев был только началом других непрерывных набегов того же народа. Этого одного бедствия было мало: между князьями Русской земли начались распри и междоусобия. При недостатке сознания святости гражданских отношений, в понятиях времени, недоразумения в принципе власти целого рода над целою землею вызвали наружу необузданность личных побуждений. Редко князья останавливались пред средствами: эгоизм брал верх. Князья приглашали тех же самых половцев, которые опустошали Русскую землю, для проведения своих видов. Нравственный принцип боролся с личным увлечением. С одной стороны, понятие о цельности Русской державы, сознание народного единства, чувство долга, проповедуемого церковью, обращало князей

и их дружинников к желанию мира, единства, к согласному действию против общих врагов; с другой — неуменье уладиться между собою и управлять страстями, свойственное юному народу, увлекало их к расторжению связей, которые они сами же признавали священными. Народные побуждения шли по той же колее, как и княжеские. Князья не могли найти в народе согласного противодействия своим эгоистическим стремлениям, потому что в народе, точно так же, как и в князьях, не созрело сознание средств к поддержанию единства, более чувствваемого, чем разумеемого. Княжеские междоусобия сплетались с неприязненными побуждениями земель между собою, и князь легко мог составить ополчение из народа и вести его на своих родственников в другую русскую землю, потому что в тех, кого он соберет под своим стягом, ощущались также своего рода неприязненные побуждения против тех, которые ополчались за противного князя. Как бы ни своелюбен был князь в своих намерениях, он всегда мог найти в народе толпу удальцов, готовых его поддерживать; всегда отыскивались люди, годные составить воинственную толпу, живущую на службе у князя и работающую его личным видам. Эти толпы были то, что называлось дружинами; князья водили эти дружины с собою и доставляли им средства к жизни, а дружины готовы были драться с другими, себе подобными, дружинами, держащими сторону другого князя, чтобы удовлетворить честолюбию, алчности и вообще притязаниям своего князя. Такой род жизни поддерживался возникавшим из него же чувством воинской славы и удалы. Князь, считая себя обиженным, защищал свою славу, и дружина его поставляла себе честь в том, что успевала проводить его дело и получала за то награду; так русские сражались между собою, «ищучи себе чти, а князю славы».

Храбрость, быстрота, ловкость, неутомимость считались добродетелью. Молодец стыдился сидячей жизни. Стоит прочитать Мономахово поучение⁷⁴, чтобы видеть, какая деятельность составляла тогда характер того, кто хотел доброй славы и чести; следовало находиться беспрерывно в дороге, в трудах, опасностях, в борьбе. Самое мирное время посвящалось таким занятиям, как охота — подобие войны, где предстояли молодцу и труды, и лишения, и опасности. Удальцы, составлявшие дружины, часто сами же поднимали князей своих друг на друга, иногда ссорили их, переходили от одного к другому и побуждали последнего к вражде против первого. Оттого нередко летописцы извиняют князя в его несправедливых поступках, приписывая их наущению дружины. Дружинники толпились в городах, и потому городское население вообще возвышалось, составляло деятельную массу; народ сельский играл роль страдательную. Древние начала самобытности должны были более и более увядать от долгой невозможности себя высказать и от необходимости подлегать гнетущей силе. Не могла развиться оппозиция против такого порядка в принципе народного самоуправления; потому что Южная Русь окружена была чужеземцами, которых всегда могли князья привести в случае проти-

водействия. Это и сделалось при Изяславе: в 1067 году половцы напали на восточные пределы Русской земли. Изяслав отправился против них и был разбит. Половцы рассеялись по окрестностям и начали грабежи и разорение. Киевляне, собравшись на вече, требовали у князя дружины и коней. Изяслав не дал им. Из этого известия видно, что уже прежде существовала партия, опасная для княжеской власти. Имея вооруженную дружину, князь боялся, чтобы другие носили оружие, чтобы не допустить до восстания. Верно, это велось уже издавна; таким образом открывается, что князья в то время не всегда находились в совершенно согласном отношении к народу. Видно, что прежде не без усилий обходилось удержание народа в подчиненности, ибо Изяслав не дал оружия народу даже и тогда, когда явная опасность угрожала со стороны чужеземцев, а это могло быть только при таком условии, когда прежде того княжескою властью была испытана опасность позволить народу принимать воинственный характер. Народная злоба обратилась на воеводу Коснячка, предводителя княжеского войска; он спрятался. Тогда киевляне вспомнили, что в погребке сидит пленный полоцкий князь Всеслав⁷⁵, взятый на сражении. Они бросились освобождать его и возвели его на княжеское достоинство. В порыве недовольства властью Изяслава все-таки киевляне не могли обойтись без князя: уже утвердилось и усвоилось понятие, что князь необходим как предводитель, и никто заменить его не может. Достаточно было уважения к лицу как к князю, чей бы он ни был; бунт киевлян был опасен князю, и его приверженцы из дружины, сидевшие с Изяславом в тереме, предложили убить Всеслава. Это предложение показывает ту же неразборчивость в средствах и слабость нравственного чувства, как и в советниках Святополка Окаянного. Видно, они понимали, что как скоро Всеслава не будет, то бунт усмирится: без князя киевляне не могут ни на что решиться. Дружина не успела исполнить намерения; киевляне освободили Всеслава. Изяслав не в силах был бороться с народом, не имея достаточной у себя партии в Руси. Действительно, изгнанный, бежавший, он не мог возбудить в своих сочувствия и бежал к ляхам, к чужим. Его имущество было разграблено; так следовало по понятиям того времени: кто виноват и осужден, того имение бралось «на поток». Через семь месяцев явился изгнанный князь с чужеземною силою. Всеслав оробел и бежал. Киевляне, оставшись без князя, отвыкнув от мысли, чтобы мог кто-нибудь в Русской земле, кроме природного князя, предводительствовать войском, потеряли дух. Им угрожало чужеземное панство; они послали к Святославу и Всеволоду, просили их примирить с Изяславом, иначе они зажгут город и уйдут в Грецию. Это, вероятно, сказали не все киевляне, не целый народ, но известная партия: невозможно предположить, чтобы в большом городе, каков был Киев, все единомысленно решились на такое переселение. Призванные князья помирили киевлян с Изяславом на том условии, что Изяслав придет «в мале дружине» и не будет вводить с собою ляхов. Но Изяслав по-

слал вперед сына своего Мстислава с отрядом ляхов; этот княжич убил до 70 человек, которых считал виновными (они-то, верно, прежде освободили Всеслава), других ослепил, и многие — по сказанию летописца — пострадали невинно.

Тогда русские в селах, в окрестностях Киева, втайне оказывали мщение над ляхами, которых Изяслав распустил «на покорм»: они тайно избивали их и тем принудили возвратиться домой. Другие не так были ожесточены против иноземцев,— по крайней мере ляхам было в самом городе очень весело. Развращение нравов было довольно велико, и всякое насильственное дело могло найти себе опору и подкрепление.

С 1068 по 1073 год пробыл Изяслав в Киеве, сначала под прикрытием ляхов; нелюбовь к нему киевлян не могла охладеть после варварских поступков сына. Впрочем, что касается до него лично, то его не считали виноватым: он был *простоумным*. Этим неуважением к князю воспользовался князь Святослав черниговский, и Изяслав должен был бежать в другой раз. Четыре года он странствовал по Европе. В Майнце он просил защиты у императора, которого признавал верховным главою государей; сын его потом в Риме ходатайствовал пред папою о возвращении отцу его права. Между Русью и Западною Европою в те времена еще не существовало той стены, которая возникла позже; Русь и Западная Европа принадлежали еще к одной политической семье; сношения были частые и близкие. Когда император по просьбе изгнанного киевского князя послал к Святославу посольство, то для того избрано было лицо, которое оказалось шурином Святослава (Святослав женат был на принцессе Оде; брат ее, посол в Киеве, назывался Бурхард и был тревский духовный сановник). Это известие о родстве Святослава с немецкою княжною особенно замечательно тем, что оно упоминается при случае, а не как факт, на который обращено было бы внимание по его редкости. Этот факт совершенно остался бы нам неизвестным, если б не пришлось кстати, по другому, не касавшемуся его самого, поводу, упомянуть о нем, и, конечно, много подобных проскользнуло у летописцев, потому что не было повода упоминать о них.

По смерти Святослава Всеволод переяславский, овладевший Киевом, не мог сладить с Изяславом и не решился вступить с ним в борьбу. Он ожидал неприязненности со стороны племянников. Всеволод уступил Киев Изяславу и получил себе Чернигов — прежний удел Святослава. Но тогда явился с половцами Олег ⁷⁶ добывать землю, принадлежавшую его отцу. Изяслав был убит. Летописец говорит, что киевляне очень плакали по нем. Как кажется, не было причины сожалеть о нем из любви, и летописец был принужден пояснить, что Изяслав был человек добрый, а злодеяния, совершенные над киевлянами, принадлежат не ему, но его сыну. Для нас важно то, что этот плач по князе, который был или не был лично виноват в варварствах сына, но все-таки, как видно, потакал им (ибо того же сына сделал князем

в Полоцке, и притом сам ничего доброго не сделал для киевлян), — этот плач есть та черта добродушного уважения к властителям, которое мы нередко встречаем во все периоды истории славянских народов. Это — отсутствие злопамятности, но вместе с тем и силы народной памяти. Можно легко поднять на ноги славянскую массу, но жар ее скоро остывает; власть, наделавшая народу множество огорчений, легко примиряется с ним, как скоро погладит его по голове. Мы увидим — так же покажется это племенное свойство и в истории Новгород.

В первые годы после Ярослава совершилось изменение в юридическом быте Руси, как это видно из «Русской правды»; тогда князь Изяслав, Всеволод и Святослав с мужами своими Коснячком, Перенегом и Никифором, сошедшись, *отложили убиение за голову*, то есть месть, существовавшую до того времени, но положили выкупаться кунями (но кунями ея выкупати), а прочее все оставили по-прежнему: *яко же Ярослав судил, такоже и сынове его уставиша*.

Но так как мы не знаем точно и достоверно, что именно в «Русской правде» принадлежит времени Ярослава, а что позднейшему, то не можем потому и определить, какие из находящихся там статей были Ярославовы, и какие явились позже, при Изяславе и братьях его, исключая вышеприведенного отложения мести, о чем прямо говорится. Заметим, что платеж виры⁷⁷ за убийство не должно рассматривать так, как будто бы за преступление отвечали только платою. Напротив, самая вира относилась только к известным случаям. Например: «будет ли стоял на разбое без всякия свады, то за разбойника люди не платят, и выдадут его самого всего и с женою и с детьми на поток и разграбление». Вира собственно была не наказание, а только доход князю за уголовные преступления. Вирою отделялся убийца тогда только, когда убийство происходило по ссоре или в пиру; если же убьет в сваде или в пиру явлено, то тако ему платити по вервине, еже ся прикладывають вирою. Такое убийство падало вместе на всю общину, или вервь (вервь — от веревки, какою, должно думать, обводились земли); потому, вероятно, что при ссоре были свидетели, которые могли остановить убийство. Убийца платил только часть всей виры; вервь и тогда должна платить, «когда муж убьет мужа в разбои, но не ищут имени», следовательно, когда нет преследователя убийцы, равным образом вервь платила и тогда, когда находила на своей земле тело убитого, а убийцы не оказывалось, что называлось *дикою вирою*, но когда убийцу преследовали, тогда — иное дело: *а головничество самому гдловнику*. Тут уже понятие об убийстве принимает значение преступления. Вообще статьи «Русской правды», сложенные в то время, не должно рассматривать как кодекс законоположения, а только как правила собирания княжеских доходов. Самый суд производился на основании старых славянских обычаев.

Обстоятельства, сопровождавшие историю Изяслава Ярославича, показывают достаточно несостоятельность Киева для будущего, не-

возможность в Руси развиваться народному самобытному строю. Русь была окружена чужеземцами, готовыми вмешиваться в ее дела. С востока, как тучи одна другой мрачнее, выходили полчища степных кочующих народов Азии, жадных к грабежу и истреблению: они бросались на запад, толкая и истребляя один другого, и все ударялись об Русь. Племя за племенем выступало; заднее всегда почти было грознее, многочисленнее и страшнее для Южной Руси, чем переднее. В X и XI веках некрепкая юношеская цивилизация русская терпела от печенегов: эти враги еще не так были страшны, как другие, половцы, которые явились им на смену. В борьбе с печенегами перевес остался на стороне русских; это ободряло последних и поддерживало в них удалой дух, деятельность которого могла бы ослабнуть при совершенном спокойствии. Одноплеменники и близкие сродники печенегов, торки⁷⁸ и берендеи⁷⁹, еще менее представляли из себя громящую силу. Если почему-нибудь они могли быть опасны для Руси, то разве потому, что, поселившись на берегу Руси и смешавшись с русскими, они вносили в жизнь последних новый, дикий элемент и задерживали развитие цивилизации. Могучими явились лицом к лицу с русскими половцы — народ многочисленный, разветвленный на орды, кочевой, не привязанный к месту жительства и потому готовый нападать большими массами, не знавший земледелия и потому жадный к грабежу и разорению чужого. С ними русским справиться было труднее, чем с печенегами. Князя, как это показал Олег, не стесняли своей совести, когда представлялся случай вмешивать их в дела Руси для своих личных целей. С другой стороны, поляки начали вступать в русский мир. Святополк проложил полякам дорогу в Киев; по его следам пошел Изяслав, изгнанный киевлянами. Возникла у поляков мысль, что Южная Русь есть их подначальная земля; князя наделали им слишком щедрых обещаний. За поляками выступили на сцену угры⁸⁰. Князя породнились с угорскими королями, и последние стали присылать помощи своим родственникам и вместе с тем думать и о подчинении себе русских земель, пользуясь тем, что Русь сама, так сказать, идет в чужие руки.

При таком стечении обстоятельств, противных развитию народной самостоятельности, старинная славянская свобода, подавленная князьями и дружинами, пыталась прорваться на свет и не вполне успеха. Изяслава изгнало вече, избрало другого князя; вече делалось решителем судьбы края, но ненадолго. Явилась чуженародная сила в помощь изгнанному князю: вече должно было умолкнуть. Свято́слав изгнал брата и овладел Киевскою землею, вероятно, с согласия киевлян, которые не могли же так скоро забыть поступка Изяславова и, верно, теперь воспользовались случаем отомстить ему снова, когда представилась возможность, когда нашелся князь, на которого они могли опереться. Но этого князя не стало: Изяслав шел опять с чужеземною ратью. По польским известиям, Болеслав и на этот раз сам был в Киеве, и в этот-то раз последовало знаменитое возвращение

нравов, стоившее польскому князю короны. Известие справедливое и не противоречащее собственным нашим летописям: в последних нет ничего о вторичном пришествии Болеслава, но не видно из них также, чтобы он не входил в Киев. Зная, как переставлялись, переображались наши летописи, легко можно предположить, что известие о вторичном пребывании в Киеве ускользнуло из наших летописей. Впоследствии Изяслав должен был уступить Польше червенские города⁸¹ за помощь, ему оказанную, и только этой ценою удержался на своем *столе*. Очевидно, когда у князей была возможность призвать против народа чужеземную помощь, трудно было народу отстоять свои права против княжеского произвола и поставить выше княжеского произвола свою общественную волю.

С другой стороны, однако, невозможно было развиться и укрепиться прочному властительному деспотизму. Князей было немало. Из них находились охотники засесть в Киеве, как и в другом городе; один другого выгоняли, и сами были выгоняемы. Прочного права преемничества не было. Так называемая удельная система, сколько ее ни старались уяснить, определить, до сих пор не выяснилась для нас. Мы придавали слишком много значения еще, так сказать, рудиментарным правилам о столонаследии в XI веке, но они у самих князей были тогда еще не определены, не выработаны, а народ, по всему видно, вовсе их не признавал; народ знал одно собственное право — право выбора, и признавал один род, из которого, по своему усмотрению, считал лица достойными к этому выбору, но выборное право беспрестанно задушалось правом силы и оружия.

Случаи, повторяемые один за другим в том же роде, становились на некоторое время обычаями, но они, однако, в свою очередь уступали случаям иного рода. Единственное право князя княжить в Киеве было все-таки избрание народа; но как против народной воли можно было найти противодействие в свою пользу, как это показал два раза Изяслав, то народная воля заменилась волею то воинственной толпы, которая пристанет к князю и примет его сторону, то — в случае слабости такой толпы — волею половцев, поляков, угров или русских других земель — одним словом — правом силы. Та масса, которая составляла народ действующий, народ в смысле гражданском, политическом, была воинственная толпа из людей всякого рода, всякого состояния, силою случая вырвавшаяся наверх и управлявшая делами края и его судьбою.

Как ни скудны вообще летописи в изложении народной судьбы, но достаточно видеть, что по смерти Ярослава, до татар, Южная Русь беспрестанно наполнялась чуждым народонаселением. Киевские бояре и дружинники князей не составляли преемственных туземных сословий: новые пришельцы беспрестанно являлись, одни приходили, а другие уходили, переходили от одного князя к другому — сегодня в Чернигове, завтра в Киеве, потом в Галиче и так далее. От этого, занимая видное место при князьях, они мало были связаны с наро-

дом нравственными узами и думали о своих личных выгодах на счет народа. Жалобы на такие злоупотребления прорываются в частую. Новопришельцы, поддельваясь к князьям, получали от них должности и называемы были, в отличие от старых, уже обжившихся, — *молодшими*, или *уными*. Всеволода укоряют за то, что он слушал *уных*. При всякой войне, более или менее удачной, князья возвращались с полоном; пленников селили в земле Южнорусской. Эти пленники были и русские, и инородцы. Вот, например, в знаменитые походы против половцев в 1103 и 1111 годах князья возвращались с полоном, и тогда половецкие пленники умножали народонаселение Русской земли. В 1116 году народонаселение Южной Руси увеличилось из разных концов сторонним приливом. Володимир воевал с кривичским князем Глебом. Сын его Ярополк с двоюродным братом своим Давыдом Святославичем взяли Дрютеск⁸²; жители его, приведенные в Южную Русь пленниками, поселены в новопостроенном городе Жельни. В тот же год князья по приказанию Мономаха ходили на Дон и пленили три города. Жители их, вероятно половецкого или вообще тюркского племени, сделались военнопленниками и поселены в Южной Руси. Тогда же Ярополк взял в плен себе жену, дочь ясского князя; без сомнения, не одну ее взял он, но и других с нею, и вот часть ясского племени вошла в состав русского народа. В 1128 году Мстислав воевал Белорусскую землю, и тогда князья привели значительную часть пленников: *изворотилшась со многим полоном* (Ипат. Л., 11). С другой стороны, когда Мстислав в 1130 году заточил кривичских князей в Грецию, то по их городам понасадил своих мужей, следовательно, сделался прилив населения из Южной Руси в Кривичскую землю. Владимир Мономах в 1116 г. посадил посадников на Дунае — любопытный этот факт остается темным; без сомнения, отправился посадник в далекую страну не один: с ним отправлено было известное население, принадлежавшее поддерживать киевскую власть в этой стране. Таким образом, когда Южная Русь наполнялась инородным населением, южноруссы поселялись в других странах Руси и, вероятно, ослабляли свой элемент в отечестве.

С конца XI века торки, берендеи и печенеги начали входить в русскую жизнь и составили часть южнорусского народонаселения. В 1054 и 1060 годах они являются во враждебном отношении к русским. Под последним из годов говорится об их изгнании, но через 20 лет видно, что они жили около Переяславля; позже являются они на правой стороне в городе, называемом их именем Торческ, стоявший на устье Роси. Новый прилив этого поселения в Русь совершился при Владимире Мономахе в 1116 году, когда жившие на Дону соплеменники прежде пришедших в Русь были разбиты и изгнаны половцами. Торки вместе с печенегами явились тогда в Русь. С тех пор эти народы, разделенные на три отрасли — торки, берендеи и печенеги, — составляли народонаселение берегов Роси (Поросье) и участвовали в междоусобиях князей. Имя черные клобуки⁸³ было для всех общее и да-

валось им русскими по внешнему признаку (Изсл. Пог. V, 194). Кроме этих трех отраслей встречаются другие названия, как, например, коуи, каепичи, турпей и другие; иные назывались по родоначальникам, например, Бастеева чадь; о других, как о каепичах и о коуях, можно заключать отчасти то же. Часть их обитала на левой стороне, около Переяславля, в Черниговской области, под разными племенными и местными именами. Нельзя думать, чтоб они были совершенно кочевой народ: когда они установились в Южной Руси, то кроме городов, служивших им приютами, они жили и деревнями, следовательно, должны были заниматься обработкою земли. Так, в 1128 году, когда разнесся слух, что половцы, заклятые враги торков, бросились на них, велено загонять их в Баруч и другие города на левой стороне Днепра. Народ полукочевой и воинственный, они составляли войско князей, и не имея прочной симпатии в краю, переходили то к той, то к другой стороне. В половине XII века, когда наступал разгар междоусобий, они тогда решали судьбу края. Их важное значение видимо особенно во время распрь Изяслава Мстиславича с Юрием. Так, при самом водворении Изяслава и перевесе его над Ольговичами в 1149 году их голос решает избрание Изяслава (ты наш князь, а Ольговича не хотим). Как важны были они для Изяслава Мстиславича, видно из следующего места: в 1150 году говорится: *еще уже в Черных Клобуки введем, а с ними ся скупим, то надеемся на Бога, то не боимся Гюргия, ни Володимера*. Князья искали возможности привлечь их на свою сторону, надеясь торжествовать. Под 1154 годом говорится, что об Изяславе плакали кияне и черные клобуки: здесь упоминание о черных клобуках показывает, что они играли важную роль в истории края. Они пользовались уважением по своей воинственности. Изяслав Мстиславич, посылая к угорскому королю и обнадеживая его в том, что сам он силен, дает знать, что его стороны держатся черные клобуки. В 1161 году князь Ростислав посылает к Святославу просить прислать своего сына в Киев, чтоб этот сын узнал людей *лучших* торков и берендеев. В 1159 году измена их Изяславу Давидовичу и переход на сторону князя Мстислава Изяславича решили судьбу княжения. Изяслав, видя себя оставленным берендеями и торками, должен был отказать от искушения княжить в Киеве. Точно так же в 1172 году Мстислав и союзные ему князья должны были уступить силе Андрея Боголюбского, когда увидали, что *Черный Клобук под ними льстит*, то есть не держатся прямо их стороны. В 1192 году Святослав должен был воротиться из-за Днепра из предпринятого похода против половцев, потому что *Чернии Клобуци не восхотеша ехати на Днепр*. Их было значительное число (иначе они бы не имели такого важного значения) уже потому, что упоминается о многих городах, им принадлежащих. В 1156 году берендеи, имея у себя города по Роси, просили у князя Мстислава Изяславича еще по городу за то, чтобы оставить сторону Изяслава Давидовича. В 1177 году упоминается о шести городах их, взятых половцами. Ведя сначала жизнь кочевую, они мало-помалу

приучались к оседлости; получая от князей, в награду за помощь, города, служившие им для убежищ, куда они помещали свои семейства и пожитки, вместе с тем они получали и земли, к этим городам принадлежавшие. О многочисленности их можно тоже судить по величине отрядов, которые они могли выставлять. В 1172 году Глеб посылал для подъезда отряд в 1500 человек. Несколько раз упоминается о больших отрядах их, отправленных в поход, например, в походах против половцев. В 1183 году Святослав киевский *отряди молодшее князе перед своими полки... и Мстислав Володимирович и Берендее все с ним, было 2100*. В 1185 году *уведевше Кончака*⁸⁴, *бежавша, посласта по Кунтуведея, в 6000*.

Кажется, будет справедливо в этом чужом племени, поселившемся среди русского населения и слившемся с ним впоследствии, искать предвестников казацкого общества. В XII веке в южнорусском Киевском крае воинская толпа, решавшая судьбу князей и края, состояла уже не из одних русских (славян), но и из инородцев, вошедших в русскую жизнь. Князь совершенно зависел от расположения к нему дружин и полка сбродной военной толпы; оттого князь должен был делиться с дружиною и своими выгодами, и оттого в числе похвал, расточаемых князьям, постоянно приводится и то качество, что добрый князь не собирал себе имения, но раздавал дружине: *бе бо любя дружину и злата не собираеть, имения не щадяеть, но даяеть дружине* (Л. 139). Когда Киевом овладевали князья, прежде установившиеся в других землях, то привозили с собою из тех земель и мужей своих, которым и раздавали должности; эти мужи смотрели на новое свое назначение как на средство к личным выгодам и приобретали ненависть народа, поддерживаемую и теми знатными туземцами, которые по причине появления новых гостей лишались сами того, что давалось пришельцам. Как скоро князь умирал или был изгнан, его мужи подвергались народной злобе: их грабили, а иногда и убивали. Так было при Святополке Изяславиче. Так со Всеволодом Ольговичем явились его приверженцы, вероятно из Чернигова, и когда Ольговичи должны были, в лице Игоря, уступить Изяславу Мстиславичу, киевяне ограбили и мужей Игоря. То же делали с суздальцами после смерти Юрия Долгорукого.

Все эти случаи показывают, как подвижно было население Киева и земли его. Мужичи — бояре и дружина, располагавшие судьбою края, то появлялись, то исчезали, то возвышались, то падали; в Руси не могло образоваться ни прочной княжеской власти, ни родовой аристократии, ни еще менее — народоправления.

Несмотря на такой порядок, не благоприятствовавший гражданственности, начала образованной жизни в материальном и духовном отношении, развиваемые христианством, не давали народу впасть в кочевую дикость. Сношения с Византией и Западом и давние торговые связи продолжали поддерживать стремление к гражданственности. Христианство распространило в народе понятие о духовной жизни и

знакомило народ с книжным учением. В удельный период, до татар, в Южной Руси переводились и читались византийские книги, большею частью религиозного содержания; были и свои оригинальные писатели, не только духовные, но и светские, как это показывает песнь Игорева. Так образовалось в Южной Руси слияние гражданственности и духовного просвещения с дикостью и кочеваньем, начал свободы общественной с деспотическим произволом. Князья выбирались и признавались народным голосом, но народное значение сосредоточилось только в случайной толпе удальцов; утеснения и противонародные поступки власти наказывались судом массы, но масса эта была неправильно организована; отсутствие сословности, родовой аристократии, привилегии сословий, вместе с тем произвол случайно сильного и унижение слабого и незначительного — во всех этих чертах народной жизни виден зародыш будущего казачества.

В конце XI века Южнорусская земля обозначается уже по отделам своей народности: в Чернигове образовалась своеобытная земля, в Волини также, и в Червоной Руси. Судьба народа в этих отделах Южной Руси ускользает из истории, ибо летописи гораздо более заняты Киевом, а по отношению к другим областям говорят только о князьях. На Волини центром сделался Владимир. Князь Ярополк Изяславич, посаженный Всеволодом, был изгнан сыновьями Ростислава, внука Ярославова; а потом выгнал Ростиславичей великий князь Всеволод и посадил там сына своего Владимира. Ярополк привел поляков, чтоб возвратить свое прежнее владение. Владимир уступил Владимир с Волинью Давиду и удержал Луцк, которого жители сами сдались; но потом Ярополк изгнал с помощью поляков Давида Игоревича и помирился с Владимиром Всеволодовичем; но, продолжая воевать с Ростиславичами, в 1086 году был убит под Звенигородом.

Во всех этих сказаниях участия народа не видно; ясно только, что судьба этого края не имела ничего прочного и власть над ней не определена и находилась в распоряжении случайно сильнейшего. Князья, с помощью ляхов-соседей, могли утверждаться, не спрашиваясь жителей. Но постоянное стремление утвердиться в известной городе показывает, что существовало в народе понятие о старейшинстве некоторых городов в своей земле. Эти города были Владимир и Луцк. В 1089 году явилось самобытное княжение Святополка в земле дреговичей, в Турове ⁸⁵.

Время, когда Киев и вся Русская земля состояла под управлением князя Всеволода, летописцем-современником обозначено особенно ярко: его набожность, уважение к монахам и священникам и христианское благочестие приобрели ему похвалы (любя правду, набдя убогья, воздая честь епископам и пресвудотам, излиха же любяше черноризци, подая ниже требованье их, беже и сам в здержася от пьянства и от похоти). Но управление его рисуется тем же летописцем не в привлекательном виде: *нача любити смысл уных, совет створя с ними; си же начаша заводити и негодовати дружины своя первая и*

людem не доходити княжея правды, начаша тиуны грабити, людей продавати, сему неведущу в болезнях своих *.

Здесь под *уными* разумеются новопришлые, люди недавно возвысившиеся и не связанные родовыми отношениями старины с народом: они, естественно, более думали о собственной выгоде, чем о правде. К умножению народного неблагополучия явились болезни — люди умирали различными недугами; осень и зима 1092 года были до того обильны смертностью, что в течение времени от заговенья на пост перед рождеством Христовым до мясопуста продано в Киеве 7000 гробов. Половцы делали набеги на села и города Южной Руси, преимущественно на левой стороне Днепра, но иногда прорывались на правую. Народ пугали разные явления, считающиеся предзнаменательными, как, например, рассказывали, что когда Всеволод был на охоте за Вышгородом ⁸⁶, то упал с неба *превеликий змий*; было землетрясение; думали видеть указание чего-то страшного для будущего в круге, явившемся посреди неба; от засухи земля казалась сгоревшею, воспламенялись боры и болота от неизвестных причин. Отовсюду приносились в Киев рассказы о разных чудесах и знамениях; но ничто до такой степени не казалось странным и непостижимым, как вести, приносимые из земли кривичей, из Полоцка: говорили, что там бесы разъезжают по улицам на конях, и кто только выйдет на улицу, того сейчас поразят, и тот умрет; начали и днем являться они на конях — только никто их не видел, — говорит летописец, — *но конь их видети копыта* (суеверие литовское: в литовской демонологии духи в виде всадников — обыкновенное страшное явление).

Ожидаемые народом бедствия разразились действительно только при Святополке Изяславиче, сделавшемся князем киевским. Пришедши из Турова, он раздавал должности тем, которые сопровождали его оттуда. Они держали с ним совет; к киевлянам не было доверия. Половцы отправили послов к Святополку просить мира. Одни советовали примириться, но пришедшие с Святополком туровцы, соперники партии киевлян, настаивали на войне. Святополк пригласил Владимира Всеволодовича из Чернигова; отправились воевать, но в войске их не было согласия. Дружина каждого князя расположилась по-своему наперекор другим. Князья были разбиты у Триполья, и половцы страшным полчищем рассеялись по Русской земле, грабили, брали в

* Быть может, о такой беспечности князя, которая выставляется во Всеволоде и которая была нередка в князьях южнорусских, говорят старые песни, например, в песне о Чуриле Пленковиче, где к князю киевскому приходят сначала молодцы звероловы жаловаться на пришельцев, чужих охотников, выловивших зверей; потом являются другие, рыболовы, жалуются, что пришельцы выловили рыбу; наконец, явились сокольники и кречетники из поречных островов под Киевом и говорят, что набежали пришельцы и похватали ясных соколов и белых кречетов... На первые жалобы князь *стольный киевский пьет, ест, прохлаждается, их челобитя не слушает*. Он спохватился тогда только, когда ему принесли весть о его соколах, потому что это ближе к нему, как его собственность личная, а не народная.

плен. Так был взят город Торчский, населенный торками; его сожгли и повели жителей в плен: то был обычай половцев. «Тогда много страдали христиане (много роду хрестьянска стражуще), — говорит летописец: *печальни мучими, зимою оцепляеми, в алчи и в жаже и в беде, опустневшие лица, почерневшие телеса, незнаемую страну, языком испаленым, нази ходяще и боси, ноги имуще сбодены тернием, со слезами отвецаваху друг ко другу, глаголюще: аз бех сего города; а другиа: аз сея веси; тако съупрашаются со слезами, род свой поведающе и въздышюще, очи возводяще на небо к Вышнему» (Лавр. Сп., 96). Вдобавок ко всеобщему горю в 1094 г. явилась саранча (прузи) и поела весь хлеб на корню. Сверх того сын Святослава, Олег, сдружился с половцами и при помощи их выгнал Владимира Всеволодовича из Чернигова, где княжил некогда отец Олега.*

Тогда явился один энергический человек среди всеобщего разложения: Владимир Всеволодович, прежде княживший в Чернигове, а по изгнании оттуда Олегом — в Переяславле. Он умел, по крайней мере, дать отпор половцам, подвинул на ополчение и разбил врагов и тем поколебал их уверенность в своем превосходстве. Владимир был единственный человек в удельном периоде, задумавший установить прочную связь между княжествами. В 1094 году Олег из Тмутаракани с толпою половцев явился в Северной земле и выгнал Владимира, который перешел в Переяславль. Отсюда возникла между ними вражда. Когда Владимир старался подвинуть все силы русского мира для противодействия половцам, Олег мешал этой цели и держался с половцами, так как они ему доставили Чернигов. В Переяславле убили двух половецких князей, пришедших туда для заключения союза. Владимир не хотел было решаться на такое предательское дело, но дружина Ратибора, киевского тысяцкого, приговорила убить их, ибо они несколько раз преступали клятву. Дружина киевского тысяцкого, быть может, здесь имела значение веча киевского, и Владимир должен был ее послушать. От Олега требовали выдачи одного из княжичей половецких, но он отказал. Тогда Владимир приглашал Олега вместе с князьями собраться в Киев и там положить ряд пред епископами и игуменами, и мужами и людьми градскими, как оборонять землю Русскую от поганых. Это было нечто в роде сейма всех земель, ибо мужи должны были находиться из других княжений и люди градские, вероятно, были не одни киевляне. Олег отвечал, что ему непристойно отдавать себя на суд епископам, игуменам и смердам. Неизвестно, в каком смысле сказал он последнее слово: назвал ли он презрительно смердами мужей, дружинников и людей градских или в самом деле там должны были быть и смерды. После этого вспыхнула война и разыгрывалась в Ростовской области, захваченной Олегом. Между тем половцы ворвались в Киев, ограбили и зажгли предместье и Печерский монастырь. В 1097 году война кончилась тем, что Олег должен был смириться. Назначенный съезд в Любече постановил, чтобы все князья довольствовались своими отчинами. Это постановление не было об-

щим правилом навсегда: чтоб всякий князь, коль скоро он князь, непременно владел волостью; оно относилось только к существовавшим тогда княжеским отношениям. Главная цель этого съезда была — ополчение против половцев и взаимное действие против них; уклад княжеских владений был только средством к удобнейшему ведению войны с внешними врагами, а не целью (и сняшася Любячи на устроеные мира и глаголаша к себе рекуще: почто губим русскую землю, сами на ся котору деюще? а половцы землю нашу несут розно, и ради суть, оже межю нами рати? Да поне отселе имемся во едино сердце и блюдем русские земли, кождо да держит отчину свою (Лавр. Сп., стр. 109); и притом не все князья получили волости: дети Святополка и Владимира не получили; о полоцких и вообще кривских князьях и о Новгороде нет помину. Вслед за тем Святополк и Давид Игоревич, князь Владимира-Волынского, привлекли к Киеву червонорусского князя, Василька⁸⁷, предательски взяли его, и он был ослеплен Давидом. Владимир поднял войну за такое беззаконие и подошел к Киеву. Киевляне могли испытать на себе наказание, ибо когда Святополк взял Василька, то спрашивал об этом киевское вече, и киевляне предоставляли своему великому князю на волю, как поступить с задержанным князем. Поэтому Владимир, идя карать за злодеяние, имел право мстить киевлянам. Действительно, в Киеве были люди, которые в угодность своему князю советовали ему поступить предательски с Васильком. Святополк хотел бежать. Киевляне его остановили, отправили к Владимиру посольство и помирили князей, с тем чтобы они отправились наказывать Давида. Выгнали Давида, и Святополк посадил детей своих на его место. Вслед за тем Святополк хотел отнять Червоную Русь у Ростиславичей. Тогда Волынь сделалась сценою войны, без сомнения разорительной для жителей. Вмешались в дело угры, которых призвал Святополк, вмешались половцы, призванные Давидом. Половцы одолели. Но волынцы стали против Давида и передавались киевскому князю. Наконец, при посредстве Владимира, эта усобица прекратилась тем, что Давиду дан Дорогобуж, — оставили его таким образом без наказания за злодеяние над Васильком и только предали смерти мужей — его советников.

После прекращения распрей Владимир Всеволодович, сделавшийся главным двигателем событий, душою века, соединил князей и дружины их в поход против половцев в 1103 и в 1110 годах. Оба похода были очень удачны. Не ограничивались только охранением пределов Русской земли от набегов, а сговорились войти в степь, где половцы кочевали на востоке от русских пределов, между Ворсклою и Доном, хотели навести на них страх и охладить надолго, если не навсегда, отвагу, с какой они нападали на Русь. Ополчение состояло не только из княжеских дружин, но и из простого народа, смердов, взятых с «рольи»: дело было народное. Когда дружинники возражали на совете, что не следует отрывать весною смердов от рольи, Владимир отвечал им: «удивительно, как это жалеете смердов и лошадей их, а того не

помышляете, что половчин наедет весною, отнимет у смерда коня, и самого с женою и детьми повлечет в неволю, и гумно зажжет». Чтоб придать этому ополчению религиозное значение, Владимир пригласил священников с образами: они шествовали пред полком и пели кондаки честному кресту и канон пресвятой Богородице. Это имело нравственное влияние: русские одержали победу над половцами; город Половецкий Шарукань сдался, а город Сугров сожжен. На реке Сальнице половцы претерпели сильное поражение. Рассказывали, что русским князьям помогали ангелы и срубляли неверным головы невидимо! Когда привели в Киев пленников, то они говорили: «как можем мы с вами биться, когда другие ездят поверху вас в светлом оружии, страшные, и вам помогают!» Говорили, что самый поход против половцев внушен был свыше: Владимир ночью видел при Радосыне видение в Печерском монастыре — огненный столп, стоявший на трапезнице; он переступил над церковь и потом полетел по воздуху за Днепр, по направлению к Городцу: этим указывался воинственный путь русским против врагов креста Христова. Этот поход произвел сильное впечатление на народное чувство. Его-то, как видно, воспел вещий Боян⁸⁸; его слава — говорит летописец — разнеслась по странам дальним, «ко греком и угром, и лехом и чехом, *дондеже и до Рима пройде!*» Рим представлялся в народном воображении пределом известного, особенно славным и почтенным местом, далее которого почти не восходили географические знания. Уважение к Риму поддерживалось в народе жившими в Киеве в значительном числе католиками.

Блестящие подвиги против половцев, энергическая защита Русской земли, сочувствие к народу, неутомимая деятельность и быстрота, которая проявляется в характере Владимира, рисуящемся в его поучении детям, попытка установить что-то новое, общее для Русской земли — все обличает в Мономах человека выше остальных, и неудивительно, что народ любил его и долгое время сохранил его память. Вражду его с Олегом и междуусобия по поводу ее нам теперь трудно оценить. Некогда был в нашей литературе спор по этому предмету. Но такой спор основывался единственно на соображении прав родовых между князьями, которые вообще были неопределенны и остаются до сих пор темными. Народ не всегда соображался с ними; еще тогда не угасла самостоятельность народной жизни, а потому выше прав родовых стояло право призвания. Если Ярослав и поделил уделы между сыновьями, то этим еще он не установил какого-нибудь твердого порядка для дележа потомкам, чтобы каждый князь по какому-нибудь родовому праву необходимо должен был получить такую или другую землю. Нельзя признавать исключительного права Олега на Чернигов, когда отец его хотя и получил от Ярослава Чернигов, но после того, овладев Киевом, изгнал оттуда Изяслава и сделался сам киевским, а не черниговским, князем; столько же права имел на Чернигов и Всеволод, бывший после Святослава, а потом Мономах, княживший в Чернигове после Всеволода (Лавр. Св., стр. 85—87). Ученые наши

искали порядка и системы в преемничестве удельных князей, но вопрос проще объясняется — участием народа, иногда изображаемого шайкою дружины, иногда кружком богатых, иногда случайною толпою всякого рода удалцов; пользуясь случайною силою, они признавали, чтоб был князем тот-то, а не другой — вот и право! При такого рода праве, конечно, претенденты достигали своих целей тем, что подбирали себе толпу приверженцев и старались посредством этой толпы получить власть: сила и удача решали вопрос. Преемничество по праву было еще, так сказать, в зародыше; образовалось сознание, что княжеский род должен править Русскою землею, но в каком порядке — это еще не установилось и не обозначилось. Самая ближайшая форма, входившая в сознание, была, конечно, преемничество сыновей по отцу: правил отец — правил сын; возникло понятное выражение *«седе на столе отца и деда своего...»* Но так как было много таких, которых отцы и деды сидели на столах, то выбрать из них и уладить их между собою предоставлялось воле народа, которая не могла, как мы уже выразились, быть чем другим, как только волею случайной толпы. Мономах первый бросил мысль о более ощутительном, правильном способе ее проявления; но, как видно, и он сам неясно еще представлял образ, в каком этот способ должен был проявиться.

Правление Святополка было во всех отношениях тягостно для народа: кроме беспрестанных поражений от половцев, народ терпел от корыстолюбия князя и его подначальных должностных лиц. Сначала он окружил себя пришедшими с ним тууровцами, которые были чужды киевлянам и думали о своей выгоде; в чужом городе они привязаны были к одному князю, а не к земле; когда князь обжился в Киеве, около него группировались и киевляне; делаясь боярами, то есть людьми знатными и богатыми. Как пришельцы, так и бояре-киевляне налегали тягостию на народ; извлекая из него выгоды и себе, и князю, — отдали торговлю в руки жидов. Какой необузданный произвол допускал себе князь, его дети и бояре — видно из рассказа о печерском иноке, которого истязали по доносу, будто бы он нашел сокровище. Народ должен был поневоле терпеть и в противном случае бояться худшего. Половцы терзали страну; если бы князя прогнали, то он ушел бы, конечно, к половцам: на дочери хана половецкого он был женат; и тогда было бы еще хуже; те, которые решились бы надеяться на иного князя, сами подверглись бы гибели, и край подвергся бы пущему разорению, как это уже было тогда, как прогнали отца Святополкова.

Но когда умер Святополк, негодование, при его жизни таившееся, вспыхнуло. Жадный и жестокий князь успел составить партию. Это были бояре и дружина, жившие под крылом его на счет народа. Иудеи — торгаши и ростовщики, а также и между духовными и монахами были сторонники его: он строил церкви, основывал монастыри, построил один из важнейших монастырей — Михаила, названный потом Златоверхим. Тогда, по духу времени, растолковано и затмение,

бывшее за месяц до его смерти предзнаменованием великого несчастья — кончины князя: говорили, что это знамение не на добро. На погребении его плакали бояре и дружина; было чего им плакать, когда они лишались своего благодетеля и покровителя, и видели мрачные лица народа, чувствовавшего, что пришла пора расплаты. Вдова князя думала умиловить господа бога о душе грешного супруга, раздавая милостыню монастырям, попам и убогим. Была до такой степени эта милость щедрой и обильной, *яко дивитися всем человеком, яко такои милости никтоже может створити*. В порыве благочестия княгиня хотела зле собранное добре расточить, облегчая между прочим и судьбу тех нищих, которые повергнуты были в нищету корыстолюбием правителя, которому на награбленные у них деньги вдова думала купить спасение души. На другой день, 17 апреля 1113 года, собрались киевляне на вече и приговорили звать Владимира на княжение. Желание иметь его князем оправдывалось и тем, что он имел родовое право на стол отец и деден, ибо его отец был князем киевским. Но Святополк имел сына, и его сын мог также прийти на стол отец и деден. Таким образом, здесь наследственное достоинство служило только освящением народному праву, и последнее употребляло его различно. Владимир сначала отказывался. Тут, кажется, была та причина, что Владимир хотел уклониться от суда над теми, которые были обречены уже на кару народом: как князь, он должен был судить их; он расчел, что он или наживет тогда себе врагов, или не угодит народу, если станет охранять тех, которых народ невлюбил, и лучше предоставил народу расправиться с нелюбыми себе по своему желанию прежде чем он, Владимир, прибудет. По русскому обычаю те, которые были виновны против народа, отдавались на поток, то есть на разграбление: таким образом ограбили жидов, ограбили двор Путяты тысяцкого⁸⁹ и сотских. Тут, чтоб предотвратить дальнейшие сцены народной мести, некоторые киевляне послали снова просить Владимира прибыть поскорее, потому что иначе — писали к нему простодушно — *пойдут на ятров твою и на бояр и на монастыре, и будещи ответ имел, княже, — оже ти монастыре разграбят*.

Христианство, как мы говорили уже, в числе коренных понятий гражданских вносило к нам неприкосновенность монастырей, неподлежание их светскому суду. Хотя народ и ощущал страх пред святостью обителей, но не до такой степени, чтоб этот страх мог остановить разгар народного суда. Святополк грабил народ и раздавал монастырям. Ограбили жидов, ограбили тысяцкого и сотских — это значит воротили то, что несправедливо было захвачено; надобно было и монастыри грабить: и у них было несправедливо собранное имение. Но духовные говорили, что всякое посягновение на святые обители повлечет божие наказание над народом и всею странюю. Людям рассудительным следовало предохранить монастыри и спасти тем самым страну и народ от божия гнева за святые обители, если б они пострадали. Так в то время слагались понятия.

Когда Мономах вступил в Киев, это был день искренней радости.

Народное восстание улеглось. Любимый народом князь собрал киевлян, составлен был охранительный для народа закон о *резах*: постановлено было, что ростовщик может брать только три раза проценты, а когда уже возьмет столько, сколько стоит самый капитал, то не может брать более процентов.

*Володимир Всеволодович по Святополце созва дружину свою на Берестовом*⁹⁰, *Ратибора Киевского тысяцкого, Прокопию Белгородского тысяцкого, Станислава Переяславского тысяцкого, Нажира, Мирослава, Иванка Чюдиновича Ольгова мужа, и уставили до третьего реза, оже емлет в треть куны: аже кто возмет два реза, то взяти ему исто, паки ли возмет три резы, то иста ему не взяти.* Позволительный процент был 10 кун на гривну. В этом деле заинтересованы были жители Переяслава и Чернигова, ибо из Переяслава был тысяцкий и *от Ольга*, следовательно, из Чернигова. Это понятно, ибо Чернигов должен был находиться в непосредственном коммерческом отношении с Киевом и, следовательно, там должны были отзываться плоды сильной лихвы. Должно думать, что этому же времени принадлежит составление и других статей, следующих за этой в «Русской правде», именно о купцах, о долгах и закупах.

Стечение обстоятельств усложняло вопросы. Частые войны и нашествие половцев разоряли капиталы; являлись неоплатные должники, являлись под видом неоплатных должников и плуты. Откуда процентина развилась в Киеве, поясняет следующая за тем статья: *Аже который купец кде любо шед с чужими кунами истопиться, любо рать возмет или огонь, то ненасилити ему: ни предати его.* Таким образом, открывается, что когда одни рисковали, подвергали опасностям дом, жизнь и имение, другие давали им деньги на проценты. У кого были деньги, те не отваживались ими рисковать и предпочитали брать проценты, оставаясь в Киеве; находились предприимчивые, которые занимали деньги у других и подвергали себя труду и риску, конечно, надеясь приобрести себе значительные выгоды; другие же служили в роде комиссионеров у купцов, брали у них товар и, не платя за него денег, торговали им, а выплачивали после. Проценты более и более возвышались; пускать деньги в торговый оборот капиталистам становилось более и более опасно; бравшие у них займы деньги подвергались несчастиям и потерям, не получали выгод, а проценты считались за ними и нарастали; возвышались вместе с тем и цены на товары, и народ терпел от дороговизны. При множестве неоплатных должников юридические понятия должны были спутаться, возникали частые обманы. И вот, при Владимире, разрешили этот вопрос. Положили различие между тем купцом, который действительно потеряет от рати или от непредвиденных бедствий, как-то: от воды или от огня, и между тем, который *пропиеется оли пробиется и в безумии чюжь товар испортит*. В слове «*пропиеется*» встречаем обычное качество русского народа, а в слове «*пробиется*» оказывается, по-видимому, то обстоятельство, что пьяницы-гуляки затевали ссоры, драки и потом

принуждаемы были платить виры и продажи. Тут нельзя было отговариваться чужим имуществом: требовали сейчас же виры и брали у виновного что ни находили. До этого времени, видно, смотрели прямо: кто задолжал, тот заплати тем, что есть; но частые несчастья должны были изменить взгляд. И вот установили, чтобы при несостоятельности купца принимать во внимание, от какой причины он несостоятелен: в случае уважительных причин он, однако, не избавлялся, при всем том, от платежа процентов по условию. Вместе с этим некоторые брали капитал по частям у разных лиц, и нередко князья участвовали в доле и отдавали свои капиталы в торговлю: это было нечто вроде компании, которая препоручала одному торговую деятельность за всех. Так представляется дело. В случае несостоятельности торговца, набравшего у других капиталы, суд над ним производился публичный: его вели на торг или продавали имущество его. До Владимира Мономаха было в обычае, что те, которые прежде других давали банкроту свой капитал, имели право на преимущественный пред другими возврат своего достояния; но теперь постановили, что уже не первый по времени имеет преимущество, а во-первых — гость, во-вторых — князь. Вот в этом изменении можно заметить, как прежние понятия равенства личных прав уступают составлявшемуся понятию о первенстве. Личность князя начала выступать уже в том образе, в каком впоследствии явился у нас казенный интерес, хотя еще княжеское достоинство не успело стать на царственную ногу. Есть еще лицо, имевшее в этом случае первенство пред самим князем: это гость, *из иного города или чужеземец*; он дает товары не зная, что покупатель уже задолжал многим. Это, конечно, установлено как в тех видах, чтоб не отогнать, но привлекать в Киев иноземных торговцев, так и по чувству справедливости, ибо, действительно, тот, кто приезжал в Киев из других стран, мог не знать обстоятельств того, кому доверял. В статье, касающейся этого предмета, кажется, следует понимать дело так, что гость имеет преимущество пред самим князем (см. текст «Русской правды» Калачова, стр. 32). Вместе с развитием вопросов о долговом обязательстве возникли вопросы о наемных людях, закупах, которых решение в «Русской правде», очевидно, принадлежит временам Владимира Мономаха. Набеги половцев, дороговизна, процентщина, корыстолюбие князей и их чиновников — все способствовало тому, чтобы масса нищала, а немногие частные люди обогащались. Обедневшие не в силах были прокормить себя по причине дороговизны; разоренные от половцев, оплакивая томящихся в плену домашних, шли в наемники к богатым. Но тут, как следовало, должны были возникнуть недоразумения. Вероятно, много было взаимных жалоб, и они-то привели к составлению статей и законоположению для охранения тех и других. Видно, что, с одной стороны, эти закупы, взяв деньги от господина, давали иногда тягу; а с другой стороны, господа взваливали на них разные траты по хозяйству и на этом основании утесняли. Закон позволяет закупу идти жаловаться на господина к князю или

к судьям, определяет возрастающую, по степени важности, за обиды и утеснения закупа пеню в его пользу от господина, охраняет его от притязания господина в случае пропажи какой-нибудь вещи, когда в самом деле закуп не виноват; но, с другой стороны, предоставляет его телесному наказанию по воле господина, если закуп действительно виноват: *оже господин бьет закупа про дело его — без вины есть*, и в случае побега угрожает ему полным рабством: *оже закуп бежит от господина — то обель*. Кроме закупов, служивших в дворах у господ, были закупы ролейные, поселенные на землях и обязанные работою владельцу; иные получали плуги и бороны от владельцев — это также показывает обеднение народа, ибо, как видно из «Русской правды», не было ни в праве, ни в обычае, чтобы такой закуп или полевой работник непременно получал орудия от владельцев.

Из этого видно, что тогда землевладельцы, обедневши, лишенные всяких средств к свободному труду, принуждены были наниматься в работники, и такие работники и закупы попадали в чрезмерный произвол владельцев. Владельцы посылали их на работы и придирались к тому, что они не берегут орудий; обвиняли их, когда у них случались покражи, и клали им это в счет платы; таким образом, бедняки находились в неисходном положении — вынужденные быть всегдашними рабами, зависящими от произвола сильных; наконец, владельцы даже продавали их в рабство, пользуясь своей силой. Все это при Владимире Мономахе предотвращается. К этому периоду нашего законодательства должны, как кажется, относиться и многие постановления, определяющие положения рабов (холопов); потому что во всех списках статьи, определяющие значение холопов, поставлены после статей, определенных Владимиром: очевидно, что так как многие, пользуясь бедностью народа, обращали в рабство служивших у них закупов или свободных людей, то и возникла необходимость определить: что такое холопство, кто должен был считаться вольным. Конечно, по юридическому понятию, известный взгляд существовал и до того времени; теперь он вошел в законодательство с прежних обычаев. Холопство обельное признано трех родов: первый вид был покупка, — иногда продавался человек сам в холопы добровольно: в таком случае согласие покупаемого объявлялось пред свидетелями — *послухы поставит*; другой покупал рабов у господ, но непременно при свидетелях, и давал задаток, хотя малый (ногату), в присутствии самого получаемого холопа. Второй род холопства сообщался принятием женщины рабского происхождения в супружество без всякого условия — факт замечательный, показывающий, что были случаи, когда женщины избегали рабства выходом в замужество; без сомнения, это были частые случаи и потому-то оказалось нужным установить правило. Наконец, третий род холопства — если свободный человек без всякого договора делается должностным лицом у частного человека: *тивунство без ряду, или привяжет ключ к себе без ряду...* Таким образом, служба лицу сама по себе уподоблялась рабству: иначе непременно нужно было

условие; это, вероятно, произошло оттого, что, во-первых, многие холопы избегали рабства, как скоро брали на себя должность; во-вторых, что свободные люди, приняв должность, позволяли себе разные беспорядки и обманы, и, за неимением условий, господа не могли искать на них управы. Отношения усложнились и требовали условий и договоров. Только исчисленные здесь люди могли быть холопами, прочие — не холопы: в даче не холоп (т. е. если дали ему в долг), ни по хлебе роботят (если и за хлеб работает), ни по придатьце (?); но всякий, кто взял в долг, может отработать то, что получил, и отойти. Замечательно, что по всем статьям «Русской правды» не делаются более холопами военнопленные, — об этом уже нет речи.

Бегство холопов было обыкновенным явлением, как и в последующие времена, а потому и в этот период возникли также постановления относительно их поимки. Беглые холопы обыкновенно находили себе убежище у других господ, которым служили, будучи обязаны им приютом, а когда эти новые господа начинали с ними обращаться строго, — убегали от них и искали иных. Для предотвращения этого постановлено: тот платил, кто, зная беглого холопа, даст ему хлеб или укажет путь, и напротив, — устанавливалась плата в награду за поимку и задержание беглого холопа. Были случаи, когда господа доверяли своим холопам разные дела и посылали их торговать. Таким образом, холоп был тесно, юридически, связан с господином и был членом его дома, так что за него господин отвечал. В случае, если бы холоп занял денег и заимодавец знал, что занимает холоп, то он давал не холопу, а господину, и господин обязан был или заплатить то, что взял холоп, или лишиться холопа; точно такое же правило наблюдалось и тогда, когда холоп был пойман в воровстве: господин отдает холопа тому, у кого он украл, или выкупает его, платя цену украденного.

Холоп был поставлен ниже всякого свободного. Но положение его в это время по правам состояния, кажется, было выше, чем при Ярославе. Прежде за побои, нанесенные холопом свободному человеку, следовало убить холопа, а при детях Ярослава положено только брать куны; холоп вообще лишен был права быть свидетелем, но, в крайней необходимости, можно было ссылаться на такого холопа, который занимал у своего господина должность...

Во времена Владимира и сына его Мстислава (1113—1125 гг.)⁹¹ мало представляется живых сторон народной жизни в Южной Руси; по крайней мере, в наших летописях они как бы скрадываются под иными событиями. Вообще, вероятно, народ, несколько успокоенный рукою Мономаха, менее испытывал страданий и внешних и внутренних. Впрочем, в 1124 году было бездождие, которое, естественно, должно было повлечь скудость; был и сильный пожар в Киеве. В эти два княжения совершалось заселение Южной Руси переселенцами.

Нам неизвестны обстоятельства вступления на великокняжеский стол сыновей Мономаха, одного за другим, но здесь не руководило право наследства после отца. По смерти Мстислава сделался князем

не сын его, а брат — верно по желанию киевлян; но тут в Южной Руси начались сумятицы, имевшие печальное влияние на судьбу народа. Начал дело черниговский князь Всеволод⁹². Дикий, необузданный, он еще прежде, в Чернигове, напал на своего дядю Ярослава, дружину его истребил и выгнал его. Мстислав, хотевший помочь изгнанному Ярославу и наказать Всеволода, оставил это намерение по просьбе андреевского игумена Григория, уважаемого по своей святой жизни: он убедил его не поднимать войны. Конечно, у Всеволода черниговско-го была сильная партия в Черниговской земле, когда надобно было опасаться войны. Мстислав жалел потом, что послушал игумена.

С преемником Мстислава, Ярополком, который, как кажется, был человек слабый, Всеволод вступил в борьбу. Поводом было то, что брат Ярополка, ростовско-суздальский князь, требовал себе Переяславль и отдавал Ярополку Ростов и Суздаль. Эта борьба князей причинила народу разорения. Сначала Ярополк с киевлянами пленил около Чернигова села и загнал людей в Русскую землю. Потом, в отместку, Всеволод, видя, что приходится ему бороться не с одним русским князем, но и с другими детьми Мономаха, призвал половцев. Вопрос так запутался, что дети Мстислава, племянники Ярополка, недовольные дядей, пристали к Всеволоду. Половцы напали на Переяславскую страну, избивали людей по пути, жгли селения, дошли до Киева, — в виду Киева на левой стороне зажгли городок, хватили людей в плен, других убивали; люди бросались спасаться на другой берег и не успевали, потому что тогда таял лед на Днепре. На другой, 1136, год опять Всеволод с братией своею осадил Переяславль, вступил в битву на реке Супое, потом подходил к Киеву. Эти походы сопровождались разорением селений и пленом людей. Князья мирились и опять начинали междоусобие. Ярополк вошел с войском киевским в Черниговскую область и начал опустошать ее. Но в 1139 году черниговцы потребовали, чтобы Всеволод помирился и не бежал к половцам. Своих сил ему было недостаточно — Всеволод должен был примириться. Этот факт показывал, как междоусобия вообще поддерживались охотниками и истекали столько же из нравов народа, сколько и князей. Народ мог бы прекратить их, если бы в то же время, когда князья воевали между собою, не возбуждались и народные страсти, и удаль не тянула бы охотников на бранное поле.

Как только умер Ярополк и вошел в Киев брат его, Вячеслав, то Всеволод опять очутился под Киевом и начал зажигать двory перед городом в Копыревом конце. Такими-то средствами он заставил себя признать князем. Вячеслав добровольно уступил. Киевляне признали Всеволода...

Новый князь привел с собою своих черниговцев и раздал им должности и городское управление. Сила его, очевидно, заключалась в черниговцах, которым льстило то, что они со своим князем делались решителями судьбы русского мира. Опираясь на эту силу, он деспотически требовал перемещения князей с места на место.

Когда в 1146 году почувствовал он близость смерти, то хотел утвердить вместо себя Игоря. Он начал просить киевлян признать его своим князем. Киевляне не терпели ни Всеволода, ни его рода, но притворились, что желают иметь его брата. Собралось вече под Угорским; целовали крест Игорю. Чтобы власть его была тверже, ему целовали особо крест вышгородцы. Вышгород, как кажется, тогда только получил значение свободного города, а прежде был пригородом Киева, и князь киевский само собою был и вышгородским; теперь напротив, Вышгород также присягает особо. Это показывает, что Вышгород достиг большей самостоятельности. Пока Всеволод был жив, киевляне хитрили и должны были прибегать к обыкновенной рабской уловке — притворству; но когда Всеволод умер, тотчас же собрали вече и потребовали на него Игоря. Игорь послал брата Святослава. Киевляне выговорили ему, что у них тиуны княжеские, что собирают княжеские доходы люди корыстолюбивые и дурные. *Ратша ны погуби Киев, а Тудор — Вышгород*, говорили они; теперь целуй крест, князь Святослав, с братом своим: кому будет обида, то ты оправляй. Святослав сошел с коня и поцеловал крест в том, что будут у них тиуны выборные *по их воле*. Тогда киевляне подняли на поток и Ратшу, и Тудора, и ограбили Всеволодовых мечников. Игорь послал было утишать восстание; киевляне зато пригласили вместо Игоря князем к себе сына Мстислава Мономаховича, Изяслава, бывшего тогда в Переяславле. Этого князя избрали не только киевляне и вышгородцы, но из других городов — из Белгорода и Василева, от всего Поросья и от черных клобуков было к нему призвание сделаться князем Киева и Русской земли. Здесь, сколько известно, встречаем в первый раз избрание князя всей Русской землей (землей полян) правой стороны Днепра. Видно, народ почувствовал, что может распоряжаться своею судьбою вопреки внешней силе, столь долго его подавлявшей. Пока Изяслав не подступил к Киеву, киевляне держали свое избрание в тайне от Игоря: доказательство, что у Игоря кроме киевлян была тогда чуждая черниговская дружина: как Всеволод держался приходом черниговцев в Киев, так и Игорь еще не решался довериться киевлянам вполне: ладил с ними и уступал им, но в то же время держался за чужую киевлянам силу. Эта-то нерешительность и погубила его дело. Киевляне уговорились изменить Игорю тогда, когда уже Изяслав вступил в сражение. Так и сделалось. Полки Игоря и его брата были разбиты. Сам Игорь схвачен в болоте и посажен в поруб, в подземную тюрьму. Такого понятия не было, чтобы князь, по важности своего происхождения, был изъят от грубого обращения: и с князьями в подобном случае обращались как с простыми. Порубы были так неудобны и так дурно было сидеть там, что Игорь заболел и захотел в монахи. Между тем брат Игоря, Святослав черниговский, пытался освободить брата из неволи. Открылась война в Северной области — война довольно разорительная для жителей, особенно в Новгороде-Северском. Враги больше, однако, разоряли селá князей, с

которыми воевали, сожигали гумна и стоги, забирали стада, составлявшие хозяйственное богатство, побрали в погребах мед в *бретяницах*, железо и медь. *Церкви княжеские считались тоже достоянием князей*,— их грабили; а рабов княжеских делили, как скот. У Святослава взяли таким образом до 700 рабов. Между тем князья, двоюродные братья Святослава и Игоря, державшиеся стороны Изяслава Мстиславича, в надежде приобрести себе всю Черниговскую волость потом изменили ему. Киевляне, любя своего князя, как только услышали об этом, бросились с неистовством в монастырь, где был Игорь, выволокли его на вече и убили варварским образом: полуживого его тащили через торг ужом за ноги. Так как он был уже монах, то духовенство стало смотреть на это дело как на нарушение духовной неприкосновенности, и распространился слух, что над телом убитого зажигались свечи: впоследствии его причислили к святым.

Киевляне так глубоко уважали память Мономаха, что, несмотря на привязанность к избранному ими князю, не энергически воевали против дяди его, Юрия Долгорукого, князя суздальского, когда тот, соединившись с Ольговичем, стал добывать Киев себе. Киев несколько раз переходил то к Изяславу, то к Юрию. Изяслав бегал на Волынь и опять возвращался в Киев. Так продолжалось до 1154 года. В этой сумятице рушился порядок управления в Руси. Черные клобуки, торки, берендеи, инородные поселенцы своим участием решают судьбу края; с одной стороны угры, с другой поляки, с третьей половцы, приглашаемые претендентами, также вмешиваются в дела Руси; право сильного решает дело. Замечательно, когда после смерти Изяслава Мстиславича началась такая сумятица, что на княжении в Киеве не было никакого князя, то киевляне избрали первого, кто им попался из рода Ольговичей, Изяслава Давидовича⁹³, потому что совершенно без князя оставаться казалось им невозможным. *Поеди Киеву, ать не возмут нас Половцы: ты еси наш князь, поеди к нам*. Но когда Юрий пошел на Киев, то Изяслав должен был уйти, и киевляне с радостью принимали Юрия. По смерти Юрия, случившейся через два года (в 1158 году), происходили такие же сцены, как и по смерти Святополка и Всеволода Ольговича. Юрий, подобно прежним князьям, привел с собою суздальцев и раздал им города и села; по смерти его всех побили киевляне, имения их пограбили; ограбили и двор Юрия, названный им раем. Уважая долго Юрия как сына любимого ими Мстислава, киевляне не в силах были сдержать своего нерасположения к суздальцам. С тех пор князья являлись в Киев по воле воинственных шаек, без наблюдения какого-либо права. Сначала Изяслав черниговский, потом Ростислав смоленский⁹⁴, брат Изяслава Мстиславича, потом сын Изяслава Мстиславича, Мстислав Изяславич⁹⁵; последний, сидевший на Волыни, был призван киевлянами от себя, а черными клобуками от себя, и должен был делать *ряд* (условие) с теми и другими.

До 1168 года в жизни народной не видно ничего выдающегося. Южная Русь подвергалась мелким однообразным междоусобиям.

В 1159 году пострадал Чернигов: окрестности его были выжжены половцами, приведенными в край князем Изяславом Давидовичем против Ольговичей. Достоинно, однако, замечания, что князья, употребляя половецкие орды в своих взаимных усобицах, считали долгом оборонять от них торговые пути. Из этих путей один назывался путем *гречников*, или греческим⁹⁶, а другой *залозным*⁹⁷. Первый назван так потому, что по нем привозили из Греции товары и увозили в Грецию русские. Опасное место для гречников были пороги, не только по причине затруднительного плавания, но и по причине грабежей от половцев в этих местах. Князья должны были ходить туда с войском на защиту торговцев. В 1167 году несколько князей со своими ополчениями должны были держать караул у Канева, пока пройдут гречники и залозники. Это торговое путешествие совершалось около известного времени в году. В 1169 году князья снова должны были защищать торговые пути; при этом в числе путей, беспокоиваемых половцами, упоминается и *соляной путь*⁹⁸.

Войны с половцами шли удачно, но в 1169 году Киев испытал такое разорение, какого давно не помнил: князь Андрей суздальский⁹⁹, закладывая могущество Восточной Руси, послал в Киев войска с одиннадцатью князьями. Дело решено было берендеями: они изменили киевскому князю Мстиславу и передались на сторону Андрея. 8-го марта Киев был взят, и два дня его грабили. Вот как описывает это бедствие летописец: *взят же бысть град Киев месяца марта 8, в второе недели поста в среду, и грабшиа за два дни весь град, Подолье¹⁰⁰ и Гору¹⁰¹, и монастыри и Софью¹⁰² и Десятинную Богородицу, и не бысть помилования никому же ниоткудуже, церквам горящим, крестьяном убиваемым, другим вяжемым; жены ведоми быша в плен, разлучаеми нужею от мужей своих; младенци рыдаху, зряще материй своих. И взяша именья множество, и церкви обнажиша иконами и книгами и ризами, и колоколы изнесоша вси, Смольяне, Суждальци и Черниговци, и Олгова дружина, и вся святыня взята бысть; зажжен бысть и монастырь Печерский святыя Богородицы от поганых, но Бог молитвами святыя Богородицы сблуде и от такового мужа. И бысть в Киеве на всех человецех стенание и туга и скорбь неутешимая и слезы непрестанныя. Се же все сдеяшася грех ради наших* (Ип. Сп., 100). С тех пор судьба Киева еще более, чем прежде, зависела от сильнейшего. Андрей думал было назначить туда подручного себе князя и сохранять верховное управление над Русскою землею, пребывая сам во Владимире, но тут стали против него сыновья Ростислава, смоленского князя, брата Изяслава Мстиславича. Один из них, Мстислав Ростиславич¹⁰³, с киевлянами, энергически сопротивлялся и храбро отбил ополчение Андрея от Вышгорода. Владимирскому князю не удалось приковать Киева и Южнорусской земли к новому центру русской федерации. Но и князья в Южной Руси уже яснее сознавали, что ни за кем из них нет родового права на древнюю столицу: каждый старался только, чтобы захват Киева мог служить благоприятным обстоятель-

ством для его выгод. Таким образом, когда Ярослав, луцкий князь ¹⁰⁴, захватил Киев в 1174 году, то Святослав черниговский говорил ему, что он не разбирает — право или неправо он сел; но что все они, князья, одного деда внуки, и потому ему надобно дать что-нибудь из (Киевской) Русской земли.

После Ярослава захватил Киев Роман Ростиславич ¹⁰⁵. Он опирался на «соизволение» Андрея Боголюбского, который начал тогда брать верх над князьями; но когда Андрей умер, то черниговский князь Святослав ¹⁰⁶ принудил его удалиться и сам сделался князем в Киеве. Участие народа не изображается при этих переменах, оно было и выражалось тем, что при каждой смене князей удалые воинственные шайки держали сторону того или другого князя, переходили от одного к другому, боролись между собою, грабили и убивали друг друга, возводили своих князей, ссорили их между собою и разоряли край, не успевавший поправиться после каждого переворота. В случае несогласия князя с толпою, которая возводила его на княжение, он решительно проигрывал. «Князь, ты задумал это сам собою. Не ездим, мы ничего не знаем», — сказали Владимиру Мстиславичу его бояре; и черные клобуки также стали отступать, когда увидели, что дружина не пошла за намерением князя, и он оставил свое покушение. Массы черных клобуков, торков, берендеев способствовали разложению соединительных стихий: недостаток сознания об отечестве в этих чужеплеменниках приводил их к тому, что у них не было даже на короткое время определенного стремления; защищая князя, давая ему *роту*, они легко отступали от него в минуту опасности и переходили к другому. Оттого так часто говорится о том, что черные клобуки, составляя ополчение князя, лстили под ним. Князья с их партиями перестали даже думать о прочном утверждении; по опыту и по бесчисленным примерам они уже привыкли к непостоянству судьбы своей и были довольны, когда успевали схватить то, что попадалось им в руки на короткое время. Так, например, в 1174 году Святослав Ольгович ¹⁰⁷ напал на Ярослава Изяславича в Киеве, — тот бежал; Святослав ограбил его приверженцев, а дружину его захватил с собою в плен и ушел. Ярослав прибыл в Киев, собрал вече из киевлян и говорил им: *теперь промышляйте, чем мне выкупить княгиню и дружину*. И пред ним отвечать своим достоянием должны были киевляне, уже прежде ограбленные Святославом (*стоит Киев пограблен Ольговичи*). Ярослав обложил всех: и духовных, и светских, и иностранцев, живших в Киеве: *«попрода весь Киев, игумены и попы, и черньце и Лагину и госте, и затвори все Кыяны»* (Ип. Сп., 111). Это насилие он мог сделать лишь вместе с пришлыми волынцами из Луцка, ибо пред тем, когда Святослав напал именно на Киев, тот же самый князь Ярослав не смел *затворитися один* и бросился в Луцк; следовательно, как скоро он теперь имел возможность так поступить с киевлянами, то значит — привел с собой силы из Луцка. Вслед за тем Святослав умирился с Ярославом: в потере остался один киевский народ, дважды ограблен-

ный тем и другим из ссорившихся князей. Этот случай может дать понятие о том, как действовали на народ княжеские междоусобия. Всего более должен был страдать сельский народ, который, конечно, играл здесь совершенно страдательную роль. Рассорился Святослав с Олегом, северским князем — и *пожже волость его и много зла сотвори*. Как только князь заратится с князем, около обоих князей-соперников удалыцы собираются и отомщают за князей своих — на сельском народе, и земледелец не перестает пить горькую чашу и передает ее детям и внукам как завет печальной судьбы своей. Певец Игоря так изображает эту судьбу народа: *в княжих крамолах веци человеком скратишась. Тогда в Русстей земли редко ратаеве кикахуть, но часто враны граяхуть, трупие себе деляче, а галици свою речь говоряхуть, хотят полетети на уедие*. О бедствиях, какие претерпевал народ во время междоусобий, когда князья брали города приступом, можно судить из Киевской летописи ¹⁰⁸ по резкому описанию, какое делает взятый в плен половцами и потом возвратившийся Игорь северский ¹⁰⁹: *аз не пощадех хрестьян, но взяв на щит город Глебов у Переяславля; тогда бо не мало зло подъяша безвиннии хрестьяни, отлучаеми отец от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, жены от подружий своих, и дщери от материй своих и подруга от подруги своея; и все смятено пленом и скорбью, тогда бывшею, живии мертвым завидят, а мертвии радовахуся, аки мученици святеи огнем от жизни сея искушение приемше; старце поревахуться, уноты же лютыя и немилостивныя раны подъяша* и проч. (П. С. Л., т. II, 131).

Когда Святослав черниговский при помощи других князей Северной земли отнимал Киев у Ростиславичей, князья помирились так, как не бывало еще: Святослав сделался князем киевским, а Рюрик ¹¹⁰ княжил над всею землею Русскою. На одной стороне были половцы; со стороны противной — черные клобуки. Так-то иноплеменники, вмешиваясь в драки русских князей, внедрялись в жизнь русскую. Тесное сближение с русскими половцев было для них благоприятно: в то время возникла уже торговля с Русью, и гости (купцы) ходили известными, определенными дорогами из Половецкой земли в Русскую и обратно. Но как скоро Святослав примирился с Ростиславичами и сел в Киеве, — Русь ополчилась против половцев как против чужеземных врагов; отношения к ним приняли вид борьбы с иноплеменным народом и врагами. В это время как будто бы оживилась Русь, как будто бы расцвело сознание, что половцы обессилили Русь, задерживают ее торговлю и прекращают земледелие. Князья стали делать съезды, как во времена Мономаха, под председательством киевского князя. Так, в 1183 году князь киевский Святослав созывал против половцев князей Черниговской и Северной земли, князей русских, волынских, червонорусских, одним словом, князей Южнорусской земли. В этом событии явно обозначается взаимное тяготение князей южнорусских земель особо от других, совершенно сообразно народному разветвлению. *И совкупшася к нима: Святославича Мстислав*

и Глеб и Володимер Глебович из Переяславля, Всеволод Ярославич из Лучьска с братом Мстиславом, Романович Мстислав, Изяслав Давидович и Городенский Мстислав, Ярослав князь Пинский с братом Глебом, из Галича от Ярослава помоч, а своя братья (черниговские) не идоша, рекуще: далече ны есть ити вниз Днепра, не можем своее земле пuste оставити, но же поидеши на Переяславль, то скупимся с тобою на Суле (Ип. Сп., 127). Конечно, в этом предприятии участвовали и дружины, без которых князья не предпринимали ничего. Тут были русские, и полесчане, и галичане. Черные клобуки имели в этом союзном ополчении свое участие как часть русской корпорации, как отдельная земля, так как древняя их племенная вражда к половцам, которой начальный исход для нас неизвестен, соединяла их с русскими. Однако это событие не может считаться доказательством, чтоб понятие о целостности и единичности Южнорусской страны утвердилось до сознания, что все ее части постоянно необходимо должны действовать сообща; потому что вскоре, в последующих походах против половцев, участвуют только русь-поляне да Полесье. Походы князей в 1183, 1184, 1187, 1190 совершались удачно для русских. Поход в 1183 году был предпринят в охрану Русской земли на востоке. Русские ходили на берега Мерлы; в других годах войны с половцами происходили на берегах Днепра и имели вид обороны торговых путей. Во всех этих взаимных стычках русские брали стада и пленников — следовательно, эти войны должны были прибавлять турецкого элемента в Русской земле.

Несчастен был поход Игоря северского и с ним всех князей Северской земли; с князьями своими были куряне, трубчане (часть вятичей), путивляне, рыльсчане и черниговские коуи — тюркское население, подобно тому, каким были черные клобуки в Русской земле. Это ополчение, зашедши далеко в малоизвестную степь между Осколом и Доном, на берегу реки Каялы было разбито и князья взяты в плен. Тогда ободренные половцы напали на восточные страны Русской земли, принадлежавшие Переяславлю, и начали опустошения. Тогда взят был, между прочим, город Рымов; часть жителей избавилась от плена, успев уйти по болоту, а прочие, оставшиеся в городе, достались в неволю. В этот поход половцы набрали много пленников и, следовательно, сделали большое изменение в народонаселении восточной половины Русской — Полянкой земли. Другое ополчение разорвало берега Сейма. Должно быть, эти нападения были очень тяжелы для народа, как это показывают слова «Песни об Игоре»: *Уже бо, братие, не веселая година встала, уже пустыни силу прикрълы. Встала обида в силах Дажьбожа внука, вступил девою на землю трояню, всплескала лебедиными крылы на синем море, у Дону плешучи, убуди жирныя времена... Кликну Карна и Жля, поскочи по Рускей земли, смагу мычючи в пламяне розе; жены Руския всплакашась, рекучи: уже нам своих милых чад ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очами сглядати, а злата и сребра ни мало того потрепати. А встона бо братие,*

Киев тугою, а Чернигов напастьми: тоска разлияся по Русской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыя. Но Игорь воспользовался тем, что половцы напились кумыса и стали пьяны, и при содействии одного половчанина, Овлура, убежал из плена.

На князей южного края и вместе с ними на политическую судьбу народа влияние суздальско-владимирского князя Всеволода усиливалось. В 1195 г. он потребовал у Рюрика, русского князя, несколько городов, тот должен был исполнить его требование, изменив данное прежде слово зятю своему, Роману¹¹¹. Замечателен тот факт, что митрополит, которого Рюрик спрашивал о совете, дал свой голос в пользу Всеволода: это важно с той стороны, что церковь в лице своего главного представителя начала давать свою санкцию стремлениям к старейшинству владимирского князя еще при самом зародыше тех политических начал, которым пришлось впоследствии развиться на русском востоке и довести русский мир до единодержавия. Тогда много строили церквей, ласкали духовенство во Владимирской земле; зато и духовенство на князей этой земли возлагало благословение на старейшинство с царскими, заимствованными из Византии, признаками личного единовластия. Духовные, как люди с большим горизонтом понятий, не могли в единстве не видеть единственного пути ко благу отечества, и самый идеал этого блага для них мог представляться не иначе, как в том образе, с каким они могли познакомиться чрез византийское образование. Киев не в силах был сопротивляться и отстаивать свое прежнее первенство. В Киеве слишком закоренели и слишком срослись с ним старославянские начала, уже в то время сильно искаженные, изуродованные влиянием азиатских и тем более неспособные к порядку, какой являлся передовым людям под влиянием византийского воспитания. От разнородности населения, от непостоянства общественного строя, от беспрестанных разорений и, следовательно, от ненадежности гражданской жизни в Южной Руси, видимо, происходило разложение; из прежних элементов могли сложиться какие-то новые формы, но они еще не составились; не стало старого, годного для поддержки, но и не образовалось еще нового: от этого Киевскую Русь нетрудно было сильному подчинить и действовать на нее по произволу. Только на западе организовалось что-то новое — в образе Галицкой и Волынской земли, и только там на новую силу могло наткнуться единодержавное стремление восточнорусских князей.

Всеволод делал попытки для удержания своего влияния на юге. В 1195 году он обновил отцовский город Городец-на-Востре¹¹² и послал туда своих тивунов. В 1200 году он посадил сына своего Ярослава в русском Переяславле. С другой стороны, Роман, соединивши Галицкую и Волынскую земли под одним правлением, стремился к власти над всею Южной Русью. Таким образом, положение Русской земли поставлено было между двух огней: князь Рюрик Ростиславич после смерти Святослава Ольговича по воле Всеволода сделался князем города Киева, будучи до тех пор князем одной Киевской земли, и та-

ким образом город Киев по управлению опять стал главою Русской земли: уже не было отдельных князей Киева и земли его. В то же время готовность одних склонить Южную Русь под верховное первенство Ростовско-Суздальской земли не могла обойтись без внутреннего сопротивления со стороны других. Свежие признаки вражды, воспоминания о Юрии и Андрее не могли изгладиться скоро. Ольговичи должны были стоять не только за себя, но и за всю Северскую землю. Все князья этой земли, обыкновенно несогласные между собою, действуют сообща против силы, которая идет не против лица каждого из них, но против них всех. Всеволоду помогают смольняне и рязанцы. Рюрик, посаженный Всеволодом, чувствует, что ему необходимо и сближение с Ольговичами. Тогда другая сторона, ему противная,— сторона западного края Южной Руси, в лице Романа с толпами галицкими и волынскими, сближается со Всеволодом, потому что он пока еще не был опасен. Роману хотелось утвердиться в Южной Руси. В Южной Руси пробуждается как будто сознание единства Южной Руси; Русская (Киевская) земля пристаёт к Роману; к нему пристают черные клобуки; из всех городов русских приехали к нему люди, признают его, *а что городов русских, и из тех людье ехаша к Романови* (Лавр. Л., 170). Народ южнорусский искал уже лица, около которого хотел сгруппироваться в единстве своей национальности. Роман подступает к Киеву; киевляне изменяют Рюрику — признают Романа князем, отворяют ему Подол. Рюрик с Ольговичами заперлись было на Горе, но должны были уступить. Рюрик уехал во Вручий в Полесье¹¹³; Ольговичи обратились в свой Чернигов. Но Роман уступил Всеволоду и по согласию с ним (ибо в летописи говорится, что великий князь Всеволод и Роман) посадил в Киеве Ингваря.

Была ли эта уступка Всеволоду, сильному союзнику, уступкою только до поры до времени,— во всяком случае, кажется, Роман думал о соединении Южной Руси под одною самобытною властью и, действительно, был уже настоящим владетелем ее. Он отправился на половцев и освободил множество христианских душ, и была радость по земле Русской. Его дело казалось делом народным. Радость была, однако, недолга. Явилось знамение: в пятом часу ночи стало небо черно, и по земле, по хоромам, показывалась кровь, будто свежая, недавно пролитая. Это было обыкновенное поверье, предзнаменовавшее явление общего бедствия. И действительно, 2 января 1204 года Рюрик явился с половцами в Киев, и *створися велико зло в русской земле, якого же зла не было от крещения над Киевом: напасти были и взятъя, не якоже ныне зло се сстася: не токмо одно Подолье взяша и пожгоша, ино гору взяша, и митрополью Святую Софию разграбиша и Десятинную святую Богородицу разграбиша и монастыри все, и иконы одраша, а иные поимаша, и кресты честныя и ссуды священныя и книги и порты блаженных первых князьи, еже бяху повешали в церквах святых на память себе... Черньци и черници старья изсекоша и попы старья и слепыя и хромыя и сухыя и трудоватыя — та вся*

изсекоша; а что черныцев и черницъ инех и попов и попадий и Кианы и дщери их и сыны их,— то все ведоша иноплеменици в вежи к себе... (Л. Лет., 176). Так несчастный Киев заплатил последний раз за свое древнее право быть распорядителем судьбы своей. Рюрик сел в разоренном городе, признав власть Всеволода. В 1208 году он воевал против половцев, своих прежних союзников, которые помогли ему разорить Киев и овладеть им. Война была удачна: зима была сурова, и половцы погибали, а русские набрали много пленников; но во время похода, в Триполье, Роман внезапно схватил Рюрика и постриг его в монахи. Опять Южная Русь стала под его властью. Однако в тот же год летом неутомимый, деятельный князь Роман очутился уже на границах Польши и воевал с Казимиром ¹¹⁴: тут в битве он пал. Рюрик, узнав об этом, *сверже чернически порты и седе в Киеве*. Этот поступок не всем мог показаться дозволенным; благочестивое понятие всегда признавало, что, по уважению к этому званию, каким бы образом и по каким бы то обстоятельствам оно ни было принято, выхода из него нет. Жена Рюрика не только не решилась расстричься, но еще постриглась в схиму, чтоб избежать искушения.

С тех пор в Русской земле несколько лет было беспорядочное брожение — схватки князей, которые брали друг у друга города, выгоняли один другого из владений. Враждебную стороною Рюрика были Ольговичи, князья Северной земли, которые стремились захватить Южнорусскую землю в систему своего рода. На челе их стоял Всеволод черниговский. Народное участие несомненно в этой борьбе: как та, так и другая сторона воевала с собственными силами; дреговичи, обособленные от Киева по управлению под властью туровских и полоцких князей, участвовали в этой борьбе, держась стороны Ольговичей; Полесье стояло за Рюрика, который после неудач в Киевской земле бегал во Вручий и оттуда возвращался с силами, следовательно, имел вспоможение в народе полесском. Как та, так и другая сторона в своих походах опустошала сельские жилища и мстила тем жителям, которые приставали к противникам. Летописец в этом месте, очевидно, благосклоннее к Рюрику, чем к Ольговичам, и говорит о Всеволоде, что он *много зла сотвори земле русской*. Наконец, спор этот кончился при посредстве митрополита и суздальского князя Всеволода тем, что Рюрик сел в Чернигове, а Всеволод в Киеве. Вот разительный пример того, что наследственный принцип, относительно владения землями в одном роде, еще был не крепок. Хотя преемники Святослава княжили в Чернигове более ста лет, но все еще не казалось неестественным, если вместо них сядет там князь другой ветви. Наследственный обычай не мог восторжествовать над сознанием единства Русской земли и вместе с тем над сознанием права и власти целого рода, а не ветвей его; очевидно, что князья все еще были правители, а не властители; господствовала идея, что имеет право на управление русским материком целый род, но не было строго определено, чтобы каждая личность из этого рода имела право владеть известною частью

такого-то, а не другого пространства на основании своего ближайшего происхождения. Во всей Южнорусской земле не было уже единства родов, а несколько ветвей княжили почти без последовательного права; князья возводились одною игрою обстоятельств или опирались на расположение воинственных шаек; тогда появлялись новые князья в разных городах, где их прежде не было; таким образом случайно упоминаются князь каневский Святослав, князь шумский Святополк. Переяслав находился под управлением сына Всеволода суздальского, который, таким образом, протягивал руку на Южную Русь и поддерживал свое старейшинство над князьями. Но этот край, сопредельный со степями, более всех страдал от набегов половцев; половцы разоряли села, так что жители не успевали строиться, а князья со своими дружинами плохо могли оборонять их. Народонаселение края редело более и более, а, с другой стороны, русская стихия во множестве пленников переходила в степи половецкие. В 1212 году князья смоленские по неприязни выгнали Всеволода и посадили в Киеве бывшего смоленского князя, Мстислава Романовича. Права тут не было никакого, ибо там перед тем думали было посадить князем Ингваря луцкого, а потом удалили его и избрали Мстислава. Всеволод должен был удалиться в Чернигов, где уже не было на свете Рюрика, и там скоро умер.

В 1224 году появились впервые татары¹¹⁵. Видно, что весть о страшном явлении сильно поразила народный дух. *По грехом нашим приидоша языцы незнаеми* (выражается летописец). Эта неизвестность дышит чем-то зловещим, страшным. Весть о них принесли половцы. Страшное поражение понесли они от неведомого народа. Летописец не удержался, чтобы не припомнить при этом неприязни, которые не могли не таиться в русской душе: *много бо ти Половцы зла сотвориша русской земле. Бог же отмщение створи над безбожными Куманы, сынами Измаиловыми: победиша их Татары и инех язык семь*. Несколько князей половецких погибло со своими ордами. Один из них, Котян¹¹⁶, *тесть Мстислава Мстиславича*¹¹⁷, тогда захватившего Галич, привел к нему много даров, коней, верблюдов и буйволов (девки были в числе скота) и просил помогать против неведомого народа. Он говорил, по словам современника-летописца: *нашу землю днесь одолели Татары, а ваша завтра возмут пришедъ; то поборошите нас*. Мстислав начал просить русских и северских князей. Собрались в Киеве и приговорили: *лучше нам сresti их на чужей земле, нежели на своей*. И разъехались строить воинов каждый в своей волости. И как собрались киевляне, северяне, белорусы из Несвижа, и путивльцы, и вся Северская земля, куряне и трубчане, и Волынская, и Галицкая земля, пристали смоляне и двинулись за Днепр. Но вот от неведомого народа идут послы и предлагают им мир; объясняют, что они, собственно, пошли на врагов русского народа, половцев, называют последних своими конюхами и холопами, просят русских добывать с ними половцев. Русские так решились с ними биться, что не посмотрели на то, что звание послов было священно: перебили послов. Русских

не убедили представления этих послов, говоривших: ведь мы ваших земель не трогаем, ни городов ваших, ни сел; мы не на вас идем! Надобно при этом заметить, что отношения к половцам, видно, изменялись; у половцев тоже произошли важные перемены. Христианство распространилось в этом народе. Два князя половецкие, убитые в войне против татар, были христиане (Юрий и Данило); в то же время, когда князья собирались идти на татар, один из половецких князей, Басты, принял крещение в Киеве. Видно, что присутствие русских пленников в половецких степях распространяло между половцами христианство и русские нравы. Князья были в беспрестанном родстве; с другой стороны, и русские от беспрестанного столкновения принимали элемент воинской дикости.

Русские надеялись на свои силы, особенно после первой удачи, когда им удалось разбить татарскую сторожу. Кроме сильного русского ополчения разных земель надежда была и на половцев, которые защищали свое существование. Ополчение под предводительством двадцати русских князей двинулось в степь. Галичане под предводительством Юрия Домажирича и Держикрая Владиславича поплыли по Днестру, потом морем, на ладьях вошли в Днепр, возвели пороги и стали у реки Хортицы — известие, показывающее, что приморье было еще в русских руках. Туда прибыло и сухопутное ополчение. Тут татарский отряд явился высматривать русские ладьи; князь Данило Романович пустился за ним и разогнал его. Галицкие предводители дали совет остальному русскому войску выступить на неприятеля и пуститься за ним. Русские и половцы перешли Днепр, рассеяли татарскую сторожу и восемь дней гнались за татарами до реки Калки. Князья между собою не ладили. Мстислав галицкий ссорился со Мстиславом киевским и узнавши, что сильное татарское войско идет на них, не сказал киевскому князю «зависти ради». Галичане с половцами бросились первые, сражались храбро, но половцы, испугавшись, побежали и опрокинули галичан — и галичане были разбиты. Тогда киевляне и ополчение Русской земли (Украины) уперлись на каменном берегу Калки, сделали укрепление и оборонялись три дня. Татары, оставивши около них войско, погнались за отрезанными волынскими полками и разбили их: несколько князей было перебито. Осажденные киевляне долго не сдавались. Но у татар были бродники — смешанное народонаселение, вероятно из русских пленников, в разное время отведенных в плен; то же, что впоследствии называлось тумы; в степях они вели полукочевую жизнь; воеводою у них был Плоскин. Они уже пристали к татарам. Они уговорили киевлян сдаться на искуп. Те поверили, и дело кончилось тем, что татары положили князей под доски и на этих досках сами стали обедать; одних киевлян погибло тогда до 10 000. Это бедствие наполнило Русь ужасом. Главное дело — не знали, что за народ явился и чего ждать от него. Татары скоро повернули назад, но и это страшило русских: *никтоже не весть, кто суть и отколе и что язык их и которого племени суть и что вера*

их. Книжники соображали, толковали, подозревали, что это люди, занганные Гедеоном в пустыню Етриевскую; по скончании времен им следовало явиться и поплнить всю землю от востока до Евфрата и от Тигра до Понтского моря, кроме Ефиопии. Одни говорили, что их звать — татары, другие — тауромены, третьи — что это печенегии. Опасались их появления вновь; народ пугался разными предзнаменованиями; говорили, что недаром горели леса и болота и поднимался сильный дым, так что нельзя было смотреть; потом покрывала землю мгла, так что птицы не могли летать по воздуху, но падали и умирали. Явилась на западе звезда, *от нея же бе луча не в зрак человеком*. По закате солнечном каждый вечер видели ее на западе, и она была более всех звезд и светила семь дней, а потом лучи ее стали являться на востоке; там пробьла она четыре дня и потом исчезла. Ее считали предзнаменованием небесного гнева.

Киев с Русскою землею продолжал переходить из одних княжеских рук в другие. В 1228 году им владел Владимир¹¹⁸, сын Рюрика. Переяславль захватил суздальский князь, по следам предков протягивавший руку на Южную Русь, и посадил там племянника своего, Всеволода. Владимир Рюрикович сначала в союзе с Михаилом черниговским¹¹⁹ стал было действовать против Данила галицкого, но потом при содействии митрополита Кирилла примирился с ним; вслед за тем его начал беспокоить прежний союзник в распре против Данила, Михаил черниговский, и Владимир соединился с Данилом. В 1233 году открылась война с Черниговскою землею; Ольговичи призвали на помощь половцев. Данило пошел с ополчением защищать Владимира, но был разбит. Владимир взят в плен, а Данило по этому поводу лишился Галича. Его оттуда прогнали; враг его Михаил черниговский был призван в Червоную Русь. Тогда, пользуясь такими смутами, брат суздальского князя, Ярослав, действовавший с Михаилом заодно, захватил Киев, но был изгнан Владимиром Рюриковичем, а тот в свою очередь Михаилом черниговским, который разом овладел и Червоною, и Киевскою Русью, и Галичем, и Киевом, и в Галиче посадил своего сына, Ростислава. Но скоро подняла голову Данилова партия в Галиче — прогнали Ростислава; а Михаил вслед за тем бежал снова из Киева, но не от князей и не от партий, а услышав о татарах. Данило захватил тогда Киев, посадил там своего боярина Димитрия оборонять его от нашествия врагов, которые приближались грозною тучею.

Завоеватели, разорив Северо-Восточную Русь в 1238 году, на следующий год бросились на Южную. Одно войско взяло Переяславль и разорило его до основания, уничтожило переяславскую патрональную церковь святого архистратига Михаила: много людей перебили; иных погнали в неволю. Другое татарское ополчение отправилось к Чернигову. Один из Ольговичей, Мстислав Глебович, думал ударить на татар сзади, когда они стали осаждать город. Черниговцы защищались отчаянно: из города они поражали татар такими огромными кам-

нями, что четыре человека не могли поднять одного. Лют был бой, но все было напрасно. Войско, храбро отражавшее иноплеменников, погибло в сече; город был взят и сожжен. Татары, однако, оставили в живых взятого в плен епископа Порфирия. После того один отряд под начальством Мангу-хана подошел к Киеву.

Завоевательное полчище стало у Песочного городка, построенного на левой стороне Днепра против Киева. Летописец говорит, что татары дивовались красоте Киева и величию его; хотя город этот сильно упал против прежнего от междоусобий и разорений, но его красивое местоположение вообще придавало величие всякому строению. Мангу отправил в Киев послов требовать покорности, как будто жалея разорять такой красивый город. Киевляне перебили этих посланных. Мангу тогда отошел прочь и только погрозил Киеву... Угроза была зловещая.

На другой год, весной, огромное Батыево полчище явилось опять над Днепром, уже не затем, чтобы требовать покорности, а затем, чтобы истребить город, который так дерзко осмелился поругаться над величием завоевательной силы. Татары под предводительством Батыя¹²⁰ переправились через Днепр и обступили кругом город, и *бысть град во обдержании велице, и бе Батый у града и вся сила его безбожная обседаху града и не бе слышати в граде глаголюща друг к другу в скрипании телег его и множество ревеня вельблуд его и рзания от гласа конного стад его; и бе исполнена Земля Русская ратных* (Соф. Врем., П. С. Л., т. V. стр. 175).

Киевляне захватили в плен татарина по имени Торвул. Он описал им свою силу в угрожающем виде; странные имена богатырей, им перечисленные, соединялись со свежими воспоминаниями пленных и разоренных земель (се Бедияй Богатур и Бурундай богатырь, иже взя Болгарскую землю и Суждальскую, инех без числа воевод); однако киевляне не сдавались и решились, защищаясь, погибнуть. Батый направил особенные усилия против Лядских ворот, находившихся на юго-западной части Старого Киева,— вероятно, на нынешнем Крещатике. Завоеватели поставили там свои стенобитные орудия и стали громить стены Киева день и ночь. Киевляне отбивались упорно, стоя на стенах: ломались копыя, разлетались в щепы щиты, стрелы омрачали свет,— говорит летописец. Не устояли киевляне. Димитрий был ранен. Татары сбили осажденных со стен и взойшли на стены. Киевляне сомкнулись около церкви Десятинной Богородицы и сделали наскоро укрепление. 9 мая был последний приступ. Одна толпа народа заперлась в церкви, другие боролись с татарами. Множество народа взойшло на церковь и на церковные комары с имуществом и оттуда защищались. Комары не выдержали тяжести и обломились. За ними повалились и церковные стены,— вероятно, от ударов вражеских. Киев был взят и разрушен. Раненый Димитрий оставлен живым, ради его мужества,— говорит летописец (П. Собр. Л. П., 178). Он пошел вместе с татарами. Батый приблизил его к себе, и он подавал Батыю советы идти в богатую Угрию.

Темное предание об этой ужасной эпохе перешло до поздних потомков в сказочной истории Михайла Семилитка. Семилетний богатырь — тип народной надежды на грядущие поколения, идеал нестареющей, вечно юной, всегда обновляющейся силы народа — защищал Киев против иноплеменных врагов. Татары видели, что он один удерживает киевлян, и предложили пощаду городу, если выдадут им богатыря. Киевляне соблазнились. Тогда Семилиток, выехав на своем чудном коне, ударил копьём в Золотые ворота ¹²¹, поднял их на воздух и закричал:

Кияне-громадо!
Погана ваша рада!
Коли б ви мене не оддали,
Поки свит сонця татари б Києва не взяли!

Он проехал сквозь татарское полчище, и враги не смели прикоснуться к чудотворному герою; он провез Золотые ворота даже до далекого Цареграда и там поставил их. Там стоят они уже много веков. Кто пройдет мимо них и подумает: не быть Золотым воротам на прежнем месте — злато на них и потускнеет; а кто пройдет мимо них и скажет: быть вам, Золотые ворота, на прежнем месте, в Киеве — золото заблестит и засияет.

III

О судьбе народа в западной части Южнорусской земли сохранились вообще отрывочные и скудные известия; из них, однако, видно, что в XI и XII веках этот край, пограничный к Польше и Угрии, был предметом нападений со стороны этих стран, и народ нередко подвергался бедствиям разорений. Во времена борьбы Владимира и Ярослава с польскими королями червенские города земли Южнорусской переходили то в те, то в другие руки. Сцена борьбы Ярослава с Болеславом по поводу Святополка разыгрывалась на Буге. Как этот факт отражался на судьбе народа, видно из любопытного рассказа, сохраненного у Длугоша, что в 1025 году Ярослав погнал жителей края, прилегавшего к Червеню, в Киевскую землю и поселил их на Поросье (по Роси); с другой стороны, Болеслав мстил русскому народонаселению этого же края за тяготение к Киеву, брал знатнейших людей и переселял их в Польшу. Судьба Поднестриянского края и Покутья остается в совершенной неизвестности. Кажется, они были независимы, ибо переселение жителей из отдаленного края поближе к Киеву показывает, что киевские князья мало имели возможности удержать в повиновении себе такой отдаленный край. Когда Болеслав помог Изяславу и возвращался из Киева в Польшу, то по дороге напал на Червоную Русь, на берегу Сана. Из известий, сообщаемых об этом событии Длугошем (стр. 822, т. 3 Collect. Historiar. Pol.), не видно, чтобы жители

Червоной Руси находились тогда под властью киевских князей. Но тем не менее можно отчасти заметить, что они, вероятно, были независимы и вследствие однонародности оказывали тяготение к Киевской Руси. Король польский хотел насильственными средствами отвлечь ее от этого тяготения и подчинить Польше. Страна около Сана была уже значительно населена; жители обитали в деревнях, но имели укрепленные города, куда могли убежать в случае опасности; таких городов было несколько на берегу Сана. Народ был вообще не воинственный, мирный; поляки легко могли его покорить, города сдавались им скоро: некоторые и решались было защищаться, да скоро принуждены были к повиновению силою; другие сами поспешили выговорить себе льготы добровольною сдачею. Около Перемышля было сгущено народонаселение, и город Перемышль, главный град между пригородами в Посаньщине, был крепче других: туда убегало жителей более, чем в другие города. Они укрепили его, насколько по-тогдашнему умели: город обвели глубокими рвами и земляными высокими валами, а с одной стороны он прилегал к реке Сану; здесь эта река служила естественною защитою, тем важнейшею, что в то время как поляки осадили Перемышль, вода в реке Сানে переполнилась от дождей. Поляки, как следовало по тогдашнему образу ведения войны, стали разорять деревни, жечь хлеб на полях и забирать скот. Край был обилен и богат. Поляки навезли в свой лагерь много запасов. Перемышль состоял, по общему обычаю славянских городов, из двух частей: замка, или града, и собственно города (места-посада). Не только замок, но и последняя часть была укреплена. Поляки овладели сначала частью посада, который выходил в открытое поле, а потом, на четвертый день осады, всем посадом, и осадили градок. Там было множество народа и так много женщин с детьми, что осажденным невозможно было долго прокормиться запасами, особенно после того, как все находившееся в посаде досталось полякам, и таким образом они принуждены были сдаться от голода и болезни. Польский король сделал Перемышль еще крепче и поставил там польский гарнизон для обладания покоренною странюю.

Этот рассказ может нам указывать вообще на способ ведения войны в то время и на способы покорения и подчинения народов. Как скоро город, владычествовавший над краем, доставался в чужие руки, и весь край сельский должен был покоряться, как по прежней привычке зависеть от своего главного места, которое господствовало в крае, так равно и по физической необходимости оставаться ему в покорности: чужая военная сила, установившись в городе, всегда готова была усмирять оружием всякое неудовольствие сельских жителей. В 1073 году Болеслав под видом помощи Изяславу покушался овладеть целою Волынскою странюю, но жители не имели добровольного тяготения к Польше; страну Волынскую надобно было покорить. Поляки, прежде чем овладели крепкими замками, опустошили окрестные села, сжигали жилища, жгли на полях хлеб, грабили и убивали скот, толпами гна-

ли жителей в плен; король дарил побежденных в неволю своим воинам. Видно, что это были тяжелые времена для края. Народ разорялся и терял свободу. Трудно было ему защищаться. Край был населен деревнями (*frequentes habens vicos*), городки их были бревенчатые и только тем держались, что для них места выбирались самые высокие. Историк польский говорит о взятии трех городов: Владимира, Волыня (?) и Холма. Сначала покорил король землю собственно Волынскую, потом — Владимирскую. Устрашившись опустошений, причиняемых поляками, князь владимирский, которого называет Длугош Георгием (или Григорием, 1074), должен был признать себя данником Болеслава. Длугош повествует, что Всеволод (вероятно, Святослав) вышел против него, хотел вырвать Волынскую землю из рук польских, но не мог этого сделать и сам был разбит. Край этот, не имея тяготения к Польше, склонялся по-прежнему к Киеву. Неизвестно как, завоеванный поляками, он потом опять перешел к русским князьям. Вероятно, воспользовались расстроеным состоянием Польши после Болеслава. Волынь досталась снова Киеву; киевский князь сажал там своих посадников или других подручных князей. Так, сначала владел там Ярополк, сын Изяслава, а потом, под тем предлогом, что он замышляет измену против киевского князя, прогнали его. Луцк добровольно признал князем Владимира Мономаха. Владимир дан Давиду Игоревичу, которого отец там княжил, назначенный туда отцом Ярославом. Ярополк повел на него поляков, но был убит изменнически. В конце XI века Волынский край терпел опустошение от половцев, поляков и угров по поводу междоусобной войны южнорусских князей после ослепления Василька. На стороне Давида был Боняк Шолудивый с ордою; на стороне Святополка — поляки и угры. Во Владимире посадили сына Святополка. Волынь с тех пор осталась в соединении с Киевом: то появлялись там особые князья, то опять князем Владимира делался киевский. Так, например, в 1123 году Владимир отдан Андрею, потом в 1136 году Изяславу Мстиславичу, достигшему потом Киева. Владимир был главным городом Волынской земли. Случалось, что претенденты призывали поляков, и тогда сельский люд страдал. Так, Ярослав Святополчич, внук Изяслава Ярославича, которого род был в связи с польским домом, привел поляков и угров; но его постигла неудача.

Во время борьбы Изяслава Мстиславича с Ольговичами и с Юрием Волынь служила Изяславу убежищем в случае неудачи; он несколько раз туда убегал, прогнанный из Киева, и снова возвращался, набравши сил. Волынь осталась за сыновьями его и перешла к внуку его, Роману, который соединил с Волынской землею под одним управлением и Галицкую землю.

Червоная Русь¹²² по освобождении от власти поляков начала иметь своих князей — Ростиславичей. Каким образом фамилия Ростиславичей там явилась — неизвестно, но кажется, что они были призваны, потому что Червоная Русь всегда сохраняла преимущест-

венно пред другими полную свободу и тамошние князья были более ограничены, чем в других местах, как и в Новгороде. Жители этой страны должны были терпеть от междоусобий по поводу ослепления Василька, но еще более по поводу частых войн с поляками. Так, Длугош рассказывает (относя это неправильно к 1125 году), что по поводу ссоры Володаря с поляками они опустошили огнем и мечом Русскую землю, истребляли села и города, убивали людей. Когда поляки взяли в плен русского князя хитрым образом, по Длугошу — Ярополка, по соображению с нашими летописями — Володаря ¹²³, с обеих сторон разразилась разорительная народная вражда. Галичане, врываясь в польские пределы до Вислы, истребляли без сострадания людей, без различия возраста, пола и звания, и все сжигали. Потом Болеслав Кривоустый ¹²⁴ распустил свое войско по Руси и началось — по словам летописца — убийство многих: убивали и старых и малых, мучили невинных, и то была ярость, а не справедливая война. Никому не давали пощады, даже не велено брать выкупа за жизнь неприятеля (Длуг., 953).

Когда дети Ростислава вымерли в первой половине XII века (1141 г.), Червонорусская земля, прежде разделенная на уделы, соединилась под властью одного князя Владимира (Володимирка) Володаревича ¹²⁵. В его политике является стремление обособиться и не поддаться власти Киева, хотя, впрочем, без совершенного нарушения связи с домом, владевшим Русью. В этом отношении, вероятно, личное стремление князя совпадало со стремлением страны, сознававшей свою отдельность. Такое стремление раздражило русские области, потому что в 1144 году из нескольких земель двинулись на Галич ополчения, чтобы принудить Червоную Русь и с нею князя ее наравне с другими областями русского мира признавать старейшинство киевского князя. Кроме русских участвовали в этом деле иноземцы: на стороне князей были поляки; Владимир призвал угров. Тут открылся путь иноземцам на будущее время вмешиваться в дела Червоной Руси и решать ее судьбу; это повторялось со временем много раз. Сила была на стороне русского ополчения, но Владимир знал, что Всеволод хочет упрочить за своим братом Киев и обещал последнему помогать; это повело к примирению с киевским князем: Владимир должен был заплатить ему 1400 гривен серебра — огромная сумма. Таким образом дело червонорусское было проиграно. Не могло это нравиться галичанам: во-первых, плата такой большой суммы должна была лечь на страну; во-вторых, Галич со всею землею должен был признать зависимость от Киева. Составилась партия против князя, — воспользовались случаем, когда Владимир уехал в Тисменицу на охоту: охота у князей в то время была тот же поход. Недовольная партия приглашает племянника Владимирову, Ивана Ростиславича ¹²⁶, из Звенигорода, но согласия в этом деле не было. Сильные приверженцы оставались за Владимиром. Таким образом открылась междоусобная война: она была, как всегда, жестока, потому что Владимир должен был три недели осаждать Га-

лич. Наконец, город был взят. Владимир многих из своих противников изрубил, другие казнены лютою смертью. Это не следует приписывать исключительно личности самого Владимира, так как он был орудием партии, которая имела его на челе своем, как это показывается в последующих его действиях. Иван убежал в Киев. Киевляне с вспомогательными дружинами других земель явились снова в Червоную Русь — водворять Ивана, но неудачно.

При Изяславе Мстиславиче Владимир постоянно держал сторону Юрия Долгорукого и старался из этой борьбы извлечь местную пользу присоединением соседних земель. Изяслав возбудил ему опасных и сильных врагов в соседях — уграх. Галич во всеобщей сумятице успел захватить города: Тихомль, Шумск, Выгошев, Гнойницу (Ипат. Л., 69), которые русский князь считал принадлежащими к Волыни. Но потом Изяслав с уграми одолел Юрия; он вошел в Червоную Русь и пустил ратников, т. е. разорителей, по всей стране. Тогда Владимир принужден был смириться и обещал возвратить захваченные города, но не исполнил обещания и не мог его исполнить, потому что дело было народное: бояре галицкие не позволяли ему — хотели расширить свою землю. Владимир умер внезапно, и смерть его считалась признаком божьего наказания за клятвopеступления. Сын его Ярослав¹²⁷, признанный после него князем, готов был мириться и признавал Изяслава старейшим; но бояре, защищая дело своей земли, насильно вовлекли его в войну. Русские и волынские полки и черные клобуки вступили в Червоную Русь к Теребовлю. Галичане говорили своему князю: *ты еси молод, поеди прочь и нас позоруй*. Дело было земли, а не князя. Галичане были разбиты и тяжело наказаны. Русские набрали пленников столько, что число их превышало дружину, бывшую с Изяславом, и киевский князь приказал всех побить — это не казалось бесчестным и ужасным. *Бысть плач по всей Земле Галицкой*, — говорит летописец. Неизвестно, в чьей власти оставались после того спорные города. Княжение Ярослава оспаривал претендент его, двоюродный брат, Иван Берладник; русские князья помогали ему, иногда употребляли его как пугало против Ярослава. Князь Юрий Долгорукий, которому нужна была помощь галичан, хотел было выдать этого изгнанника, но митрополит уговорил не делать этого. Изяслав Давидович принял его сторону, получивши киевский стол. Была и в самой Червоной Руси партия, недовольная Ярославом и готовая пристать к противнику. Когда Изяслав Давидович в 1159 году соби-рался против Галича и приглашал к союзу черниговских князей, из Галича одна партия прислала тайно к нему грамоту, извещая, что е́сть люди, недовольные Ярославом и готовые пристать к Ивану; но большая часть галичан оставалась верна Ярославу. Галичане соединились с волынцами и успешно содействовали изгнанию из Киева самого Изяслава. Когда Андрей, князь Владимира-Залесского, стал возвышаться и явно оказывать стремление к гегемонии над князьями, галицкая политика изменилась и уже не придерживалась сына Юрьева

так, как некогда отца, а напротив, галичане являются на стороне Изяславича, оспаривавшего Киев у суздальского князя с волынцами. Кажется, что галичане играли в этих последних междоусобиях второстепенную роль, но тогда местный характер их стал обозначаться. Галич примыкает теснее к кругу Южной Руси; до тех пор, не желая поддаться Киеву, червоноруссы обращались к более отдаленной стороне; но в Суздальской земле явилось поползновение на подчинение всей Южной Руси и в том числе Червонной,— Галич уже действует заодно с Киевом и Волынью: когда дело касалось предприятия, имевшего целью интерес всей Южнорусской земли,— Галич посылал свою помощь. Так, в 1166 году киевляне, полесчане и волынцы со своими князьями выходили из Канева для оберегания торгового пути купцов из Греции (дондеже взыде Гречинин и залозник.— Ип. Л., стр. 94), и галицкая помощь находилась с другими ополчениями южнорусских земель.

Волынь раздробилась тогда на многие мелкие владения: был свой князь в Луцке, были свои князья в Бужске, в Дубровице, Пересопнице. Одни княжества возникали, другие исчезали, не оставляя большого влияния на народную жизнь, не изменяя ее течения. Но при раздроблении Волынской и Полесской земель выдавалось единство Червонной Руси, и при большем падении Киева политическое значение Галича выказалось силою обстоятельств, даже без задуманного плана.

Галич получил значение старейшего города, и князь галицкий, как будто силою обстоятельств, сам доходил к достоинству старейшего князя. Певец Игорев, современник, так характеризовал Ярослава: *Галицкы Осмомысле Ярославле! высоко сидиши на своем злотокованном столе; подпер горы угорские своими железными полкы, заступив королеви путь, затворив Дунаю ворота, меча времени чрез облаки, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землям текут; отворяеши Киеву врата, стреляеши с огня злата стола за землями.* Ясно из этого, что современники считали галицкого князя могущественным. Галицкая земля, то есть принадлежавшая Галичу, была обширная и заключала в себе плодородные пространства по Днестру, Сану и Пруту до гор. Дунайское устье было в руках Галича. Вероятно, Бессарабия и берега черноморские принадлежали ему, потому что уже было свободное плавание с Дуная и Днестра по морю и въезд в днепровское устье. Было много условий зажиточностей обитателей. Почва Червонной Руси способна для земледелия и скотоводства; реки, в то время судоходные, вели к сообщению с Дунаем и морем. Это способствовало торговле с Югом. Кроме хлеба, скота и кож, которые отпускала Червоная Русь, важнейшим туземным продуктом была соль из Бакуты. На Черном море у галичан была пристань Олешье, при устье Днепра; там образовался склад для торговли с Югом, оттуда товары шли по Днестру и снабжали города, густо лежащие один за другим вдоль этой реки. Но положение Галицкой земли в отношении политической самостоятельности было очень опасно; двое соседей каждочасно готовы были нало-

жить руки на Червоную Русь, — поляки, уже издавна то овладевавшие ею, то терявшие ее, и угры. Быть может, эти обстоятельства сближали Галич с греческим миром; так одному царевичу греческому дали в управление несколько городов Червонорусской земли.

Очевидно, что для поддержания самобытности Галицкая Русь должна была вступить в более тесное единство с остальной Южной Русью, чтобы взаимными силами охранить себя. Течение обстоятельств вело к этой связи. Жизнь народная подвергалась опасности наравне с политической самобытностью. Галицкая земля при первой возможности должна была стать местом столкновения нескольких враждебных сил — театром войны, а тогда плохо было бы жителям того края, куда сойдутся драться между собою народы. Единовластный принцип был тогда чрезвычайно слаб. Князь галицкий был совершенно князем по старославянской идее. Завоевание, как видно, коснулось слишком мало и непрочно хорватов. Князья, правившие Галичем, были избираемы и зависели от веча; полчища кочевых орд были от него далее, чем от Киева; смешение с тюркскими племенами и в десятую долю не доходило до той степени, как в Киеве; народность оставалась более ненарушимою. От этого и древние начала свободы удержались там долее и развивались по славянскому образцу, со славянскими достоинствами и пороками. Как ни скудны наши летописи подробностями внутренних причин, как ни часто ставят на челе рассказа одни лица, не показывая — на чем держалась материальная сила этих лиц, но и из таких известий можно видеть, что понятие о князе в Червоной Руси никак не доходило даже до первых признаков царственного значения и ограничивалось значением его как предводителя войска и правителя, совершенно зависящего от веча. Галичане были судьями действий своего князя, как политических, так и домашних. Прежде было сказано, как по смерти Володимирка Ярослав хотел мириться с Изяславом Мстиславичем и готов был исполнить клятву, данную отцом, но галичане не позволили ему отдавать захваченных городов. Ярослав был зависим и в семейных делах. Он поссорился с женою, взял себе любовницу и прижил от последней сына, Олега. Княгиня с державшими ее сторону боярами убежала с сыном в Польшу. Галичане лишили своего князя свободы, перебили его приятелей и сожгли любовницу, воротили княгиню и привели князя своего к кресту, *яко ему имети княгиню в правду*. Через два года снова убежал сын Ярослава в Луцк; на этот раз Ярослав нанял ляхов за 3000 гривен серебра и принудил луцкого князя отпустить от себя немилую сына, Владимира. Вот и здесь, как уже видели мы в Киеве, соседство чужеземцев и возможность приводить иноземные полки могли доставлять князьям возможность действовать по своим видам, вопреки народному желанию. Видно, что в Галиче Ярослав мало мог найти приверженцев, когда обратился к иноземной помощи. Без сомнения, это вмешательство чужеземных полков, приводимых князем, должно быть одним из элементов, разрушительно действовавших на единство и саморазвитие народ-

ного духа. Сын Ярославов, преследуемый отцом, переходил от князя к князю и сделался их игрушкою, так что они один другому уступали его и готовы были отдать его отцу, когда нуждались в союзе с ним, пока наконец северский князь Игорь примирил его с сыном. В 1187 году Ярослав, умирая, просил галичан утвердить его распоряжение о назначении Галича Олегу, меньшому сыну, а старшему Перемышля. Галичане не хотели раздражать старика; хотя, быть может, находилось тогда мало соглашавшихся на его распоряжение,— они уступили; но по смерти Ярослава Олега выгнали и посадили Владимира. Через год Владимира за пьянство и развратное поведение выгнали и призвали Романа волынского. Владимир ушел к уграм, но король угорский вместо того, чтобы помогать ему, засадил его в башню, а в Галиче посадил своего сына. Роман принужден был бежать с толпою галичан.

Так Червоная Русь подпала под власть иноплеменников. Состояние народа в это время выказывается из слов польского летописца: угры перебили много галичан, противных новому порядку, раздали имения и должности своим, отстраняя галичан. Галичане везде были угнетены, поработаны, унижены (Dlug., 3, VI). Владимир, убежавши из башни и скитаясь по Германии, пришел, наконец, в отечество и с шайкой удалцов делал разорения в пределах Червоной Руси и в Польше. Эта разбойничья шайка насильствовала девиц и женщин, не щадила маленьких детей, убивала священников в священных одеждах во время богослужения (Cadlub., гл. 1). Летопись русская говорит: *у мужей Галицких почаша отымати жены и дщери на постель к себе, и в божницах почаша кони ставляти* (Ип. Л., 138). Между тем в Галиче образовалась партия, находившая себе выгоду в иноземном владычестве. Явилась другая, призывавшая сына Берладникова, Ростислава. Король, чтобы держать тверже свою власть, отвел в Угрию родственников знатнейших фамилий, и они теперь должны были поневоле стоять за него. Партия более смелая, хотевшая при помощи Иванова сына освободиться от чуждого ига, привела изгнанника; но так как угров было много, то от Ивана отступили; брошенный, он был взят в плен, и угры приложили смертное зелие к его ранам. Наконец, при посредстве немецкого императора, главное, для того, чтобы не дать утвердиться угорскому могуществу, Казимир принял сторону изгнанника, и воевода его, Василий, с полками повел Владимира на Галич. Иноземное владычество показалось слишком несносным, и потому не удивительно, если Владимиру явилось много помощников на Галицкой земле. И это облегчило ему водвориться на столе галицком. Королевич должен был удалиться, и галичане увидели, что им трудно отделаться от притязаний иноземных войск, если они уже раз объявились; надобно было искать сильной опоры; и Галич должен был, по-видимому, начать изменять прежнее свое направление — удержать самобытность и войти в теснейшую связь с русским миром. До сих пор галичане были противниками суздальских князей: теперь Владимир послал к Всеволоду искать покровительства и признавал его старейшинство.

Роман, раз уже призванный на княжение, неприязненно смотрел на Владимира, и когда поссорился с Рюриком, то Владимир с галичанами своей партии опустошил принадлежавшие волыньскому князю земли около Перемышля.

Наконец умер Владимир. Тогда Роман, оказавший большие благодеяния Казимиру польскому (потому что восстановил его на престоле, которого последний лишился было, когда доставил Владимиру власть в Галиче), сделался галицким князем при помощи Казимира¹²⁸. Против него была до того озлобленная партия, что просила польского короля присоединить лучше Галич к Польше и таким образом решалась лучше потерять независимость, чем иметь такого князя. Это были недоброжелатели Романа. Казимир слишком много обязан был Роману, чтобы согласиться на выгодное предложение, и притом его делала одна только партия; была и другая, противная и сильнейшая. Роман, сделавшись князем, по известиям польским, делал варварства над галицкими боярами: он их зарывал живыми в землю, разносил по членам, с живых сдирал кожи, расстреливал стрелами, сжигал огнем. Многих нельзя было умертвить явно; Роман ласково заманивал их к себе, угощал, ласкал, и когда они были спокойны и безопасны, давал знак, являлись слуги, и гости подвергались неописанным мучениям (Vogurh., 130). «Надобно прежде убить пчел, чтобы мед есть», говорил он. Ему хотелось истребить знатнейшие фамилии в Галиче. Это польское известие, если справедливо, то во всяком случае показывает, что дело было не романовой личности, а романовой партии. Роман не мог делать таких жестокостей, если б не опирался на чем-нибудь. Он не мог опираться на бессмысленном повинении, потому что достоинство князя не могло еще усвоить такого значения, чтобы народ безропотно оправдывал все, что только вздумает князь. Он не опирался на чужую власть, потому что не побоялся вскоре нарушить союз свой с поляками: следовательно, он, дозволяя себе жестокости, должен был опираться на сильную партию, которая чрез посредство князя удовлетворяла своим враждебным отношениям к противным партиям. По крайней мере, у Романа должна была быть сильная партия; это показывает уже то, что по смерти его она сгруппировалась около его вдовы и малолетних его сыновей. В 1201 году Роман был убит в сражении с поляками, с которыми поссорился, несмотря на прежнюю тесную дружбу и взаимные услуги¹²⁹. Тогда в Галиче открылось раздолье страстям и произошло запутанное столкновение и своих внутренних, и внешних стремлений.

Развитие народной свободы необходимо должно было произвести возвышение одних пред другими и образование сильного класса. Власть и сила находились в руках бояр. Бояре галицкие не составляли в строгом смысле слова аристократию, замкнутое сословие, совокупность фамилий с наследственными предрассудками и наследственным сознанием фамильных прав. Под именем бояр, как и вообще в русском мире, в Галиче еще более разумелись люди богатые, владельцы

земель; течением обстоятельств, уменьем ими пользоваться для своего возвышения приобрели они силу и влияние, и так же легко возвышались, как и упали. Есть пример, что в числе таких сильных земли Галицкой были сыновья попов и простых мужиков, смердов. *Доброслав же вокняжил ся бе и Судыч попов внук; о других: приидоста Лазарь Домажерич и Ивор Молибожич, два беззаконника от племени смердья, и поклонистася ему до земле; Якову же удивившуся и прашавшу вины, про что поклонистася, Доброславу же рекишу: вдах има Коломью* (Ип. Л., 179). Они возвышались, пользуясь смутными обстоятельствами. Благодаря беспрестанным смутам усилился в Червонной Руси боярский элемент, особенно во время смут, происходивших после смерти Романа. Каждый претендент старался набрать себе союзников и раздавал пособникам, принявшим его сторону, в Галицкой земле города: *и прия (Данило) землю Галичскую и розда города бояром и воеводам, и беиаше корма у них много* (Ип. Лет., 173). Такой счастливец возводил свою родню и приятелей и служивших ему, и составлял около себя *чадь*. Они владели землями и управляли городами. Народ страдал от их произвола. *Доброслав, вшед в Бакоту, все понизье прия без княжа повеления; Григорьи же Васильевич себе Горную страну Перемышльскую мышляше одержати, и бысть мятеж велик в земле и грабеж от них* (Ип. Л., 179). *Послаху исписати грабительство нечестивых бояр* (ibid.). Они между собой враждовали; каждый возвышался на счет другого, и каждый хотел оторвать у другого достояние, чтобы улучшить свое. Этою-то враждебностью, как замечено выше, объясняются тиранства князей Владимира и Романа над своими противниками; партия со своей стороны хотела утвердиться под знаменем своего князя, а потому и поджигала его на уничтожение противников. Хотя стечение обстоятельств во многом благоприятствовало тому, чтобы Галич сделался центром соединения Южной Руси, но этому препятствовал также дух жителей, под теми же обстоятельствами развившийся необузданным стремлением лиц к возвышению какими бы то ни было путями. У галичан притом развилось удалое уважение к воинской доблести, как это видно из многих мест Волынской летописи¹⁸⁰. Храбрость личная была добродетель и являлась в ореоле поэзии. Успех храбреца делался его оправданием. Бояре, становясь на общественную ступень, усвоивавшую за ними это название, не думали об общем деле, и потому находилось много таких, что приставали к уграм и возбуждали их на отечество, другие наводили поляков, третьи — такого-то и такого-то князя, и выигравшая сторона возносила этих князей. Когда они замечали, что князь непрочен, то спешили приставать к другой партии и к другому князю, и часто случалось, чтобы заранее упрочить себя, подвигали врагов на тех, которых сами призывали. Естественно, значение князя упало более и более: князь не окружался никаким атрибутом могущества; он постоянно действовал по указанию бояр (советом), и как бояре жили между собою в несогласии, то беспрестанно попадал впросак; надобно

было угодить одним — значит приходилось раздражать других. Как обращались с князьями, можно видеть из того, что *Данилу в пиру веселящуюся один от тех безбожных бояр лице залил ему чашею* (Ипат. Л., 171). Роман, видно, не успел перемучить всех своих противников; может быть, из его благоприятелей стали противники, — только жена его с детьми должна была удалиться. Призвали детей Игоря северского и посадили одного в Галиче, а другого в Звенигороде. Заправлял этим призванием Володислав, конечно, думавший воспользоваться новыми князьями для себя. Потом выгнали вдову Романа из Владимира. Там посадили третьего Игоревича, которого перевели в Перемышль. Скоро, однако, призванные князья совершенно закружились в этом омуте; бояре поджигали их одних на других, старались вооружить князей на других бояр, те и другие сносились с уграми, с поляками, а некоторые хотели жить независимо. Между тем с Игоревичами пришли и свои мужи и, конечно, отчасти при их содействии, с помощью некоторых бояр, мстивших своим братьям, с которыми были во вражде, Игоревичи составили заговор и стали убивать *величавых бояр*. В летописи число убитых выставлено до 500; но это, быть может, позднейшая вставка, потому что в некоторых списках оно пропущено, и вообще это число слишком велико для числа одних знатных (величавых) особ по преимуществу. Но главные коноводы боярские ушли в Угрию; на челе их был Володислав. Когда они с помощью подступили к Перемышлю и приглашали жителей сдаться и выдать Игоревича Святослава, то говорили: *братья, почто смущаетесь? не сии ли избиша отци ваши и братью вашу, а инеи имене ваше разграбиша и дщери ваша даша за рабы ваша, а отчествии вашими владеша инии пришельци?* (Ипат. Л., 158). Это место, характеризуя способ насилия того времени, указывает, что с Игоревичами прибыли северцы и они-то поставили себя в положение иноземцев к галичанам. Не только угры были тогда вызваны боярами. Когда Володислав с братьею бежали в угры, другие ушли к полякам и призывали их на помощь, третьи — в Белз, где княжил удельный князь Всеволод, четвертые в Пересопницу на Волынь. Игоревичи со своей стороны закликали половцев. Таким образом в Червонной Руси явились разорительные полчища иноземцев. Можно представить себе, как тяжело для массы народа должна была отзываться эта трагедия. Дело Игоревичей было проиграно, несмотря на половцев; князья были взяты в плен. Бояре владимирские и галичские — на челе первых Вячеслав, на челе других Володислав — решились наконец принять себе князем Данила, сына Романова, тогда бывшего еще дитятею. Его посадили на столе в церкви Богородицы, в Галиче. Трое из Игоревичей — Роман, Святослав и Ростислав, — взятые в плен уграми, были выпрошены галичанами на свой суд и повешены. Факт оригинальный, показывающий, что в Червонной Руси род князей не считался уже выше обыкновенных родов и жизнь их подлежала общему суду народному. Значение Рюрикова рода видимо упало. Галич не считал уже ничьего права княжить у себя не только за

тою или другою ветвью князей, но и вообще за Рюриковым родом. Скоро Володислав подобрал себе партию и выгнал Данила с матерью; Володислав захватил правление и стал *княжитися* (1208—1209). Угорский король поспешил воспользоваться новым порядком и обобрал Володислава и его приятелей, с которыми непременно должен был Володислав разделить свою власть, так что товарищ его, Судислав, весь в *злато пременися*, т. е. откупался от венгерского короля. Володислав торжественно *седе на столе*. Таким образом, княжеское достоинство выступило из Рюрикова рода; этим, казалось, удельный уклад начинал новый поворот, и он возникал прежде всего в Галиче — там подавали пример; там стали князей казнить смертью, не обращая внимания на их княжеское достоинство; там стали принимать особ не от Рюрикова рода. Почти можно поэтому предвидеть, как бы разыгралась история удельного уклада без тех обстоятельств, которые способствовали единовластию. Русь возвратилась бы к порядку, существовавшему до призвания варягов, то есть у разных народов в разных землях были бы свои князья, свои веча, не связанные уже единством княжеского рода.

Но это новое явление, возникновение новых родов на место единого княжеского, уже в течение веков освятившего древностью свое звание в глазах народа, встречено было соседними князьями и поляками не отрадно. Напали поляки; их тяжкие посещения были так неприятны, что народ готов был повиноваться скорей Володиславу, чем иноземцам. Наконец, после непродолжительных сумятиц земля Галицкая подпала под власть иноплеменников. Лестько польский переделал ее с уграми. *Не есть лепо боярину княжити в Галиче* (Ип. Сп., 160), — говорил он, — *но поими дщерь мою за сына своего Коломана и посади в Галичи*. Галич достался уграм. В нем посажен Коломан. Перемышль достался Лестьку. Но явился внезапно удалой Мстислав, борец правды удельного уклада, охранник новгородской свободы. Мстислав отдал за Данилу свою дочь, сначала не успел против угров и поляков, а потом привел половцев и выгнал иноплеменников. Воевода угорский Фил, называемый в нашей летописи Филя Прегордый, говоривший поговорку: «един камень — много горнцев побивает», был взят в плен. Мстислав сделался князем галицким. Но не утешилась земля. Александр, князь бельзский, не ладил с Данилом, княжившим во Владимире; народ в Бельзской земле пил тогда горькую чашу: «попленена бысть около Бельза и около Червена Данилом и Васильком и вся земля попленена бысть: боярин боярина пленивша, смерд смерда, град града, якоже не остатися ни единой вси непленене» (Ипат. Сп., стр. 163). Потом чрез два года Александр бельзский настроил Мстислава Удалого против зятя Данила. Последний призвал поляков на помощь: *Данилу же князю воевавшю с Ляхи землю Галицкую и около Любачева, и плени всю землю Бельзеськую и Червеньскую даже до оставших Васильку князю многы плены приемшю стада коньска и кобыльа* (Ип. Сп., 165). Князья вскоре помирились;

о последствиях, какие имел народ от этого мимо шедшего облака между тестем и зятем, никто не думал. Отважный, прямой характер Мстислава Удалого никак не мог сладить с извилистыми кознями бояр; одни ему советовали то, другие иное,— он не имел решимости Романа и одного из своих врагов только изгнал. По совету бояр он отдал дочь за угорского королевича, управлявшего Понизьем, и сам должен был удалиться из Галича. Бояре не захотели его; нашлась партия, предавшая отечество снова уграм, потому что надеялась высидеться.

Время 1226—1237 было запутанное для Южной Руси. Князья шли один на другого, ссорились, мирились, опять ссорились. Данило стремился к покорению себе всей Волыни; кроме Владимира, Луцка, Черностава уже Пересопница и Берестье тогда были в его руках. Пошли на него киевляне, черниговцы, северцы, туровцы, пиняне, приглашены половцы. Данило успел разрушить этот союз против себя, оказал услугу польскому князю Конраду¹³¹ и в 1229 г. покусился опять на Галич. Партия, недовольная уграми, приглашала его; это были враги Судислава, сильнейшего из бояр, который правил тогда со своими клеветами всею Галицкою землею от имени королевича. Эта партия призвала Данила. Дом Судислава и все имущество было расхищено — таков был обычай: имущество тех, кто навлек на себя месть или кару народную, предавалось разграблению. Сам Судислав в виду народа бежал с королевичем; в него кидали камнями и кричали: «изыди из града, мятежниче земли». Данило отпустил без преследования королевича, помня прежнюю дружбу с отцом его. Лишившись всего, сверженный с своего величия, Судислав побудил короля Белу явиться в Русь «в тяжце». Но бог послал на него архангела Михаила, который отворил небесные хляби: угорские лошади тонули, грязли и падали. Угры подступили к Галичу. Но у Данила были половцы Бегбарсовы. Днестр разлился и сыграл «игру злу» уграм, так что уграм было плохо и запасы у них погнили; они умирали с голода. Удалилась угорская рать. Но на следующий год (1230) партия бояр, враждующая с Данилом, составила заговор умертвить Данила и Василька и возвести на стол князя бельзкого, Александра, их двоюродного брата. Один из бояр, Филипп, устроил пир в Вишне и звал туда князей-братьев с этой коварной целью. Но тысяцкий Демьян предупредил их. Князья ополчились на Александра; Александр призвал угров. Данило опять лишился Галича.

В 1234 г. один из бояр, придерживавшийся партии угорской, бывший у короля воеводою, по имени Глеб Зеремеевич, перешел на сторону Данила. Королевич, Судислав и тысяцкий Дьяниш с королевскою партией заперлись в Галиче. Когда Данило подошел к Галичу, королевич умер и Данило овладел Галичем; но князь луцкий Володимир пригласил его воевать против черниговских князей. Галичане опустошили землю Черниговскую с Данилом; народ терпел за князей своих, но галичанам заплатили тем же. Когда Василько, брат Данилов, оста-

вался в Галиче, бояре составили заговор против него и Данила и пригласили Михаила черниговского. Очевидно, что так поступали потому, что надеялись возвыситься с помощью новых князей. С ними были в союзе болоховские князья; это, вероятно, были особы не Рюрика рода, но бояре, сделавшиеся владетелями. Данило счастливо привел торков и разбил галичан. Болоховские князья были схвачены и приведены пленными во Владимир. Однако новая Михаилова партия, посадивши у себя Михаила в Галиче, заключила в то же время союз с Конрадом польским и призвала половцев для новых разорений. Данило до поры до времени должен был уступить и удовольствовался тем, что Михаил и сын его Ростислав отдали ему Перемышльскую землю в управление. На стороне Михаила были поляки; но Данило отстранил польское союзничество с Михаилом тем, что поднял на Конрада Литву; Михаил отнял у Данила уступленный Перемышль и сам отправился в Киев, а в Галиче оставался сын его Ростислав. Тогда Данило заключил союз с уграми, прежними своими врагами. Данило подступил к городу Галичу. Галичанам надоели смуты и непрерывные перемены власти. Они собрались на вече и избрали Данила князем. Епископ Артемий и дворский Григорий стали было противиться, но увидели, что все желают Данила и сами отправились к нему с поклоном.

Данило объявил противникам своим примирение и не стал никого преследовать. Прежние князья, да и сам Данило, едва ли могли бы решиться не последовать здесь голосу своей партии, и всякая партия всегда требовала мести, ибо цель ее была занять место тех, которые ей враждовали. Но на этот раз не партия, а большинство народа было на стороне Данила.

Время княжения Данила не могло благоприятствовать спокойному течению народной жизни, несмотря на внешний признак политической целостности во всей Южной Руси. В 1240 г. пронеслась опустошительная буря татаро-монгольского нашествия. После взятия Киева разрушительное полчище двинулось на Колодежный. То был первый город западного края Южнорусской земли, павший в руки завоевателей. Жители сначала храбро защищались, но завоеватели предложили им сдаться, обещая пощаду. Русские видели, что от такого полчища нельзя отделаться легко, и послушались; татары всех перебили: таков у них был обычай — обманывать и истреблять врага всеми средствами. Взят был Каменец, взят Изяслав, взят был Владимир-Волинский, взят, наконец, и Галич. Современник не распространяется в подробностях взятия городов, но городов этих было много — *имже несть числа*, а о судьбе жителей летописец повествует очень кратко, но довольно выразительно и понятно: *изби и не щадя*. Впрочем, города, кажется, не были сожжены, и вообще бедствие, постигшее жителей Червоной Руси, захватило меньшую массу народонаселения, чем в иных землях Руси, потому что тысяцкий Данилов, Димитрий, подружившийся с татарами в Киеве, побуждал их скорее

выходить в Угрию, предупреждая Батыя, что в случае промедления угры успеют собраться с силами и дадут отпор: *земля та есть сильна, сберутся на тя и не пустят тебе в землю свою* (Ип. Л., 178). Народ оставлял свои дома и прятался в лесах и горах. Сам Данило убежал в Польшу и переждал татарское прохождение в Судомире.

Между тем, пока татары были в Угрии, Ростислав, сын черниговского князя, сделался орудием противной Данилу партии; около него собралась толпа искателей, думавших, по обычаю, возвыситься при всякой перемене; союзниками его были и бологовские князья, уже выпущенные Данилом из плена. Летописец намекает, что они попадались (вероятно, после того как были пленены Данилом) в плен полякам, но Данило и Василько освободили их. Эти князья тяготились претензиями, какие оказывал на них князь Червоной Руси, и потому приняли татарское нашествие за удобный случай утвердить свою независимость. Прежде чем татары из любви к разрушению стали разорять их земли, князья эти послали к Батыю согласие быть покорными и служить ему. И Батый оставил в покое их землю с тем, чтобы владельцы ее орали и сеяли пшеницу и просо для продовольствия татар, которые предполагали утвердить свои колонии в разоренной стране. Эти-то бологовские князья стали с Ростиславом. Сторону его приняли также другие сильные владетели, бояре, или имевшие свои земли в Червоной Руси, или получившие в управление города и смотревшие на управляемые ими края как на свою собственность. Ростислав около семи лет боролся с Данилом, но постоянно успех оставался на стороне последнего, хотя за Ростислава были и угры и ляхи. Наконец в 1249 г. Данило окончательно победил Ростислава в кровопролитной битве на р. Сане, разбив помогавших ему угров и убив угорского бана Фила (Прегордого Фило); Ростислав бежал и не возвращался более, получив удельное княжество в Мачве, на берегах Савы. Раздраживши и угров и поляков партии Лестьковых детей, Данило находился в таком положении, что надобно было ему держаться татар, чтобы по крайней мере страхом их помощи удержаться против западных своих соседей. И он выбрал удачно. По требованию татар он приехал в Переяславль, где уже поселились постоянно татары. Он должен был ехать к Куремсе, предводителю татарской орды, кочевавшей в Южной Руси, а потом на Волгу к Батыю, потешил хана тем, что поклонился по его требованию кусту и согласился в угоду повелителю пить кобылий кумыс. Видно, что в Южной Руси это унижение поражаило сильнее умы и сердца, чем подобное в Северной с тамошними князьями. *О злее зла честь татарская! Данилови Романовичю князю бывшу велику, обладавшу Русскою землю, Киевом и Володимером и Галичем со братом си иными странами: ныне сидит на колену и холопом называется, и дани хотят, живота не чают и грозы приходят* (Ип. Л., 185). Как ни обидно было такое унижение и непривычно для буйных княжеских голов, да зато Данило, пробывши 25 дней у татар, *отпущен бысть и поручена бысть земля его ему*. В этих многозначительных

словах заключается зародыш нового уклада русской политической жизни. До сих пор политическая судьба русских краев зависела от столкновения побуждений, от случая — если можно допустить это слово. Право было одно — воля массы; иногда она страдательно принимала что ей давалось; но все-таки принципа другого не было, кроме согласия или непротиводействия массы. Теперь это право — была власть завоевателей. С этого утверждения власти Данила над Червонорусскою и Волынскою землями начинается господство единодержавного принципа в Южной Руси, который впоследствии перешел в руки литовских обрусившихся князей и после долгих колебаний со старым удельновечевым выработал государство под именем Великого Княжества Литовского.

* * *

Период от принятия христианства до нашествия татар для Южной Руси до известной степени может назваться периодом умственной культуры. Христианство расширило круг понятий, сообщило новые взгляды, ввело книжность. Сближение с Византиею знакомило русских с приемами такого общества, которое было самым образованным в тогдашнем христианском мире. Южная Русь не была отрезана и от Запада. Брачные союзы князей с домами королей шведских, немецких, французских, венгерских и польских указывают на близкие и частые сношения Киева с Западною Европою. Еще в те времена не укоренилась религиозная неприязнь к западной церкви; греки не без труда старались населить ее. Киев был такой город, где многое можно было узнать и увидеть, там было средоточие торговли; много было в Киеве купцов, бывавших в далеких сторонах. Вениамин Тудельский встречал их не только в Константинополе, но в отдаленной Александрии, кто странствовал ради торговли, а кто из религиозных целей; — во всяком случае в Киеве немало было таких, которые выдвигали чужие земли и чужих людей, знали чужую речь. С другой стороны, в Киеве толпилось множество иностранцев: там можно было встретить и немцев из различных городов, и итальянцев, и греков, и магометан, и иудеев. Не удивительно, что, живя в Киеве, можно было выучиваться нескольким иноземным языкам, как это сделал князь Всеволод Ярославич, отец Мономаха. Из летописцев нам известно, что Владимир, креститель Руси, и сын его Ярослав заводили училища, а последний и книгохранилище; Ярослав собирал от себя грамотных людей, приказывал им списывать книги, другим поручал делать переводы с греческих. Мы не можем сказать — какой процент жителей пользовался тогда этими средствами просвещения, но видим, что в Киеве были люди по тогдашнему времени образованные, что там существовала литературная и умственная жизнь, а чтение пользовалось высоким уважением. Достоинно замечания суждение летописца, кото-

рый, прославляя Ярослава за его покровительство книжности, сравнивает его заслуги с заслугами самого Владимира, крестившего русский народ. Владимира он уподобляет вспахавшему ниву, а Ярослава — сеятелю. «Велика польза от книжного учения,— рассуждает летописец,— книги указывают, научая, путь покаяния, в книжных словах мы обретаем мудрость и воздержание; книги — это реки, наполняющие вселенную, источник мудрости, неисчетная глубина; книги нас утешают в печали». Здесь летописец, восхваляя книги, понимает, будучи сам духовным лицом, книги религиозного содержания. Естественно, что, пришедши к нам вместе с религией, книжность должна была быть преимущественно религиозною и более переводною и подражательною. Знакомство с византийским миром внесло к русским с первого раза множество переводов с греческого; древняя переводная русская литература чрезвычайно богата, хотя, к сожалению, не всегда можно в точности определить: относится ли тот или другой перевод к этому периоду, так как очень многие сохранились только в позднейших списках, и так как, кроме того, в позднейших списках старинных переводов делались изменения в языке; можно, однако, с большою вероятностью утверждать, что большая часть из того переводного запаса, который сохранился на севере в сравнительно поздних списках, принадлежит дотатарскому периоду. За переводами появились и оригинальные русские сочинения духовного содержания, более или менее составлявшие подражание греческим образцам. Читая духовные поучения того времени, как например, Илариона или Кирилла Туровского, мы видим такие литературные приемы, которые показывают в авторах подготовку воспитанием, навык размышлять и передавать мысли в стройном порядке, значительный запас сведений и знакомства с произведениями греческой духовной письменности, искусство красноречия, явную заботливость об изяществе выражения: этими качествами сочинения дотатарского периода отличаются от сочинений позднейшего времени, обличающих, сравнительно с первыми, скудость мысли и сведений, отсутствие художественности. Подобное можно сказать и о летописях; та часть наших летописных повествований, которая относится к югу в дотатарский период, при всех своих недостатках отличается большею стройностью в повествовании, чем северные и последующие. В особенности же выше всего оказывается первоначальная летопись, обыкновенно неправильно называемая Несторовою; при изложении более толковом и живом она представляет для читателя гораздо более занимательности, чем даже продолжители ее, писавшие о событиях, происходивших на юге после Мономаха.

Но ничто столько не говорит о литературной культуре этого периода, как не оцененное Слово о полку Игоря. Здесь мы видим уже сочинение не религиозное, а светское, поэтическое. Оно совершенно своеобразно; тут нет уже византизма, тут все родное, русское. Неизвестный по имени автор этого произведения был человек образованный по своему времени. Он имеет понятие о том, что значит петь не

в смысле простого пения о чем-нибудь, а в смысле поэтического творчества; его патриотический взгляд на современные ему условия политического бытия Руси показывает в нем человека с значительною широтою воззрения на вещи, с здравым пониманием общественных потребностей; вместе с тем он вполне поэт народный, черпает свои вдохновения из общенародных русских стихий. Он явно принадлежит к дружинникам, к той части народа, которая, находясь в лучших условиях, имела более средств к саморазвитию, но он чужд тех дурных качеств, которые отличали нередко дружинников; он не сторонник ни той, ни другой стороны, ни той, ни другой княжеской ветви, даже ни той или другой земли; он никому из русских не враг; он не галичанин, не киевлянин, не черниговец, не полочанин — он русский человек в самом обширном смысле этого слова, хотя в нем не видно и тени того насильственного объединения Руси, которое в последующие века было рычагом всей русской истории; сын своего века, он не мог дойти до таких идей: они должны были оставаться ему чуждыми даже и потому, что он был слишком русский душою, а всякое насильственное объединение требует привязанности к одной части более, чем к целому; но более всего он был поэт, певец Руси, ее славы, бедствий и горестей, добродушный, увлекающийся; все, до чего он касается, принимает у него поэтическую окраску, но не чужую, не заимствованную, а свойственную духу своего народа и своего века. Он был не первый и не последний в своем роде; он сам вспоминает о Бояне — соловье старого времени, отличавшемся роскошным творчеством — замышлением — и долго жившим в памяти потомков. Галицкая летопись¹³² уже позже того времени, когда мог писать свое слово певец Игоря, упоминает о другом певце — словутном Митусе, навлекшем на себя гнев князя Данила тем, что когда-то прежде не захотел петь пред ним. Нет сомнения, что таких певцов было не три только нам известных; ясно, что во вкусе тогдашнего времени были произведения исторического эпоса; образовалась особая поэтическая литература, светская, княжеская и дружинная; поэты воспевали подвиги князей и их спутников и возбуждали их к новым делам и подвигам. Судя по Слову о полку Игоря, эта светская поэтическая литература не только была совершенно отлична от духовно-религиозной, но отчасти стояла в разрезе с нею. Тогда как духовные, распространяя христианство, желали уничтожать всякие остатки язычества, светские поэты обращались к этому язычеству как к источнику своего вдохновения. Певец Игоря не страшился называть ветры стрибоговыми внуками, ни русский народ потомством Дажьбога, хотя, конечно, не верил в языческих богов. В его творении нет вовсе церковности, кроме слова аминь, поставленного, вероятно, не им, потому что оно поставлено некстати; но он все-таки христианин: его взгляд на совокупность Руси, его желания единения, согласия, его грусть о междоусобиях в Русской земле могли, как нам кажется, при тогдашних условиях возникнуть только под влиянием христианства, да и самая его литературная образованность мог-

ла быть им получена только при христианском и более или менее церковном воспитании. Между тем его поэтический талант отрешался от всего заимствованного, весь ушел в свою народность; в художественном произведении этого поэта вместились то, что он мог получить только от своего народа, — народные древние верования, предания, любимый способ выражения. Таковы по духу, вероятно, были все тогдашние поэтические произведения, незвознаградимо для нас потерянные; то были не подражания византизму, а самобытные явления русского духа. Поэзия язычества была своя, родная; она продолжала существовать и развиваться, переходя из области веры в область изящной литературы, художественного слова. Это было естественно при тех условиях, при каких вошло к нам православие, при том преобладании аскетического элемента, которое, умножая монастыри, оставляло за их стенами грешный мир самому себе, связывая его только внешними признаками с религией. Неудивительно, что в Слове о полку Игоря находили много сходства с поэзией малорусских песен по изображению природы; мы укажем еще на одно сходство: в малорусских песнях такое отсутствие церковных элементов и верований, как и в Слове о полку Игоря; малорусская песня, часто оплакивая умерших, воображает их себе чаще всего в могиле, надавленных землею, не слышащих, не видящих, а иногда в дереве, птице, камне, но не в рае и не в аде; так же точно и певец Игоря, упоминая об умерших, заставляет по ним унывать цветы и дерево преклоняться с тугою к земле, но не напутствует их на тот свет; жемчужная душа, исходя через золотое ожерелье, не отправляется ни в ад, ни в рай. Православие сосредоточивалось в монастырях, ставило первым долгом отрешение от мира и всех его сладостей и забав; а этот мир, если не веселый, то вечно ищущий веселья, шел своим путем, шел своею жизнью; чувство и воображение русского человека обращалось к старине и пробивало себе своеобразный путь художественного творчества. Это было не худо. Русский певец, не заботясь о монастырях, вдохновляясь древними народными верованиями, которые церковь стремилась истребить, все-таки показал себя не язычником, а христианином, так как в его создании не язычески-варварский дух раздора и необузданности, а христиански-гражданский дух любви к Русской земле, желание ей мира, единения и охранения от иноплеменных врагов, разрушавших ее благосостояние.

Вместе с литературным развитием мы встречаем и следы искусства. Распространение чтения вызывало переписку рукописей. Из этого рано образовалось на Руси искусство писания. Древнее письмо на пергаменте отличается тщательностью отделки и изяществом; писали не только для того, чтобы можно было легко прочесть, — писали затейливо, красиво, раскрашивали и разводили узорами начальные буквы, украшали рукописи живописными изображениями. Иконная живопись принесена в Киев греками, но была скоро усвоена русскими; уже в XII веке в Печерском монастыре был знаменитый русский

иконописец Алипий. Обычай расписывать внутренние стены храмов фресками способствовал развитию и распространению живописного искусства. Оно не ограничивалось одними церковными предметами. Сборник Святослава¹³³, в котором изображено семейство князя Святослава Ярославича, и сочинение Ипполита об антихристе, где помещен лик какого-то князя, заставляют полагать, что в те времена писали портреты живых лиц. На лестнице Киево-Софийского собора на стенах есть изображения охоты, княжеского суда, забав, плясок, ланья по шесту, а также изображения, по-видимому, мифологические, например, человека с птичьей головой, поражающего копьем другого. Все это показывает, что живописное искусство обращалось к чисто мирским предметам и даже к обыденной жизни. Церковная архитектура введена к нам греками, но потом появились и свои зодчие: случайно мы узнаем о существовании в конце XII века зодчего Петра Мисопега. В Киеве было несколько великолепных церквей: к сожалению, до нашего времени уцелела только одна в таком виде, который может дать понятие о старине, да и та не без значительных искажений и изменений, это — церковь св. Софии, построенная Ярославом.

Она представляла вид большого прямолинейного четверугольника с тремя алтарными выступами, освещалась сверху многими куполами, была с каменными хорами, куда вели две лестницы, витые, широкие, не считавшиеся принадлежащими к святыне храма и потому исписанные светскими изображениями. Вход в церковь был с западной стороны, тройной, а входы по лестницам на хоры были с боков, так что трапеза с хорами прямого внутреннего сообщения не имела. Главный купол, заалтарная стена среднего полукружия и предалтарные столбы были украшены мозаикой, а стены и столбы, поддерживающие главный купол, — фресками, изображающими лики святых и события из священной истории. Это работа греческая. Но едва ли то же можно сказать о фресках на лестнице, представляющих сцены, очевидно, из русской народной жизни. Нам кажется, эти фрески должны быть русского произведения и во всяком случае очень оригинальны и поучительны. Подобно как за Иларионами, Кириллами, Феодосиями, Несторами мы встречаем певца Игоря с языческими Стрибогами, Велесами, Дажьбогами, возбуждавшими гонение со стороны благочестия, так сходя с переходов Софийского храма, мы встречаем пляски, музыку, игры, мирское веселье, то, против чего так вооружались благочестивые проповедники веры. Итак, в живописи, как и в литературе, было направление не религиозное, а мирское, грешное (с монашеской точки зрения), касавшееся таких предметов, которые благочестие осуждало наравне с языческими остатками.

Существовало, наконец, искусство, которое уже ни в каком случае не могло мириться с тогдашним благочестием, это — музыка. Благочестивый аскетизм предавал его анафеме без изъятий. Когда Феодосий, вступивши к Святославу, увидал около него играющих на гусях и органах, святому мужу очень не понравилось такое веселое препрово-

ждение времени. А будет ли так на том свете? — сказал он. Уважавший святого мужа князь приказал музыке перестать, и всегда, когда только Феодосий посещал его, музыка не смела беспокоить отшельника. Но тем и ограничилось влияние, какое в этом случае оказал на князя печерский игумен. В его присутствии музыка не раздавалась в княжеском тереме, но в другое время — иное дело. Это чрезвычайно живо очерчивает нравы и понятия того времени. Мирские люди жили своею прежнею народною жизнью, со своими привычками; жизнь эта имела зачатки своей собственной культуры, но против нее восставало благочестие аскетизма именем новой религии. И что же? Мирские люди делали уступки благочестию до известной степени, соглашались признавать грешным то, что им называли грешным, но в то же время продолжали жить по-прежнему; это необходимо имело деморализующее влияние, порождало лицемерие: люди грешили. Музыка была осуждаема церковным благочестием безусловно, а между тем она существовала, русские любили ее, как любили и песни — поэзию. Поэты пели, сопровождая свои произведения игрою на инструменте; певец Игоря говорит о Бояне, что он вскладал свои вещие персты на живые струны, и они сами князьям рокотали славу. Пиршества князей сопровождались игрой. На фресках лестницы Киево-Софийского собора мы видим пять родов музыкальных инструментов; один из них в роде арфы, четвероугольный: то, вероятно, древние гусли, другой — труба, третий — флейта, четвертый — подобие малороссийской бандуры или торбана, пятый — две металлические тарелки. Есть упоминания о сопелях (малорусская сопилка), органах, бубнах. Самый благородный инструмент считался гусли; игра на гусях употреблялась певцами на княжеских и боярских празднествах.

Вот слабые черты умственной культуры в Южной Руси до нашествия татар. Мы видим, что она была двойственная — с одной стороны, византийская, религиозная, с другой — туземная, мирская, отчасти языческая, но все-таки возбужденная к развитию христианством, поднявшим русского человека на высшую ступень понимания, расширившим его кругозор. Недолго суждено было процветать ей в южном крае. Уже с разорением Киева Андреем начинается ее падение, по мере того как дикие кочевники стали более и более внедряться в русскую жизнь, а русское население находило выгодным переселяться на восток в Суздальско-Ростовскую или Владимирскую землю, где в то же время заметным делается возрастание культуры, пересаженной с юга. Нашествие татар нанесло ей последний удар. Киев, сожженный, истребленный дотла, на многие века оставался в развалинах, будучи жалким поселением, и целый окрестный край осужден был сделаться пустынею, пока для него не настала новая историческая жизнь.

ЮЖНАЯ РУСЬ В КОНЦЕ XVI ВЕКА

I

ПОДГОТОВКА ЦЕРКОВНОЙ УНИИ

С тех времен как исторические судьбы повлекли русские земли к сближению, а наконец, к соединению с Польшею, выступает в них наявь борьба между греческим и римским богослужением; на стороне первого было большинство народонаселения и привычки старины; на стороне другого — пособия правительственных личностей и орудия западной образованности. Борьба эта то ослабевала и почти угасала, то оживала снова. Папское всевластие ни на шаг не оставляло своих привычных стремлений подчинить себе русскую церковь и не пренебрегало мирскими обстоятельствами, если они по своему стечению наклонялись ему в пользу. По прекращении дома Романовичей¹ в Червонной Руси и на Волыни овладел Червонною Русью мазовецкий князь Болеслав Тройденевич² и тотчас стал вводить латинскую веру; известно, что он скоро заплатил жизнью за эту попытку и вообще за предпочтение, какое оказывал в Русской земле иноземцам и иноверам. После него Казимир³, польский король, присоединил Червонную Русь к своим владениям и тотчас стал думать о введении в ней католичества. Он был благоразумен и понимал, что в делах такого рода не следует поступать быстро и резко, а потому он не объявил себя открыто врагом греческой веры, напротив, подтвердил грамотою ее неприкосновенность и целость в Русской земле, но тут же позволял себе делать распоряжения, которые клонились к ущербу этой веры. Так, желая распространить латинский обряд в русском крае и приманить русских к его принятию, он не только строил новые костелы, но даже обращал в костелы русские церкви под предлогом, что в Руси поселено много иноверцев, а надобно же им дать свободу веры. Латинская пропаганда, однако, в его время не сделала успехов между русскими; оно хоть и казалось на вид, что католичество распространялось в русском крае, а число католиков увеличивалось, но это не оттого, чтобы русские люди принимали западную веру, а оттого, что у них в крае селилось все больше да больше иноземцев; особенно много было немцев; им Казимир благоприятствовал.

Большой опасности подверглось православие при Людовике Венгерском⁴. Этот король приобрел себе особую благосклонность римского двора и в свое время всеобщую знаменитость тем, что насильно

обращал в католичество православных славян в своем венгерском королевстве и делал притеснения православному духовенству. «Ты уже преследовал схизму (писал к нему папа), теперь иди снова на дело преследования». Это новое дело Людовик должен был совершить в Червонной Руси. Обладатель огромного пространства западной славянщины, Людовик, король венгерский и польский, не мог управиться везде сам и отдал Червонную Русь в управление силезскому князю Владиславу Опольскому⁵, внучатному племяннику Казимира Великого. Вот этот онемеченный князек принялся за дело обращения русских так ревностно, как никто еще не принимался за это дело. Ему служили для этого францискане⁶, а они ради проповеди уже давно вели кочевую жизнь по Руси. По его старанию папа учредил в Галиче латинское архиепископство и три епископства: в Холме, Перемышле и Владимире (хотя последний город не принадлежал к управлению Владислава Опольского и находился во власти князя Любарта Гедиминовича⁷, князя православной веры и ничем не показавшего охоты поступать в угоду папам; а потому на епископа владимирского следует смотреть только как на титулярного). В Червонной Руси все православные архиереи были свержены и изгнаны. Только при сильной помощи иноземцев возможно было совершать такие дела. Владислав раздал иноземцам (немцам и венграм) все уряды, наделил их недвижимыми имениями; много немцев построились в городах русских; толпы немецких поселян поселились на землях русских и получили особые важные льготы перед туземцами. Немецкое и венгерское войско составляло военную силу князя. При таких средствах дело дошло до того, что русские тысячами принимали католичество. Людовик и Владислав могли тогда вдоволь величаться своими апостольскими подвигами. Это было такое горькое время для русского православия, какого оно ни прежде, ни после не испытывало до XVII века. К счастью, время это продолжалось недолго. Владислав, поапостольствовавши таким образом несколько лет, отказался от власти над Червонной Русью; несмотря на успехи, он понял, что чем дальше, тем будет труднее, а не легче. И в самом деле, после него на короткое время Людовик занял Червонную Русь венгерскими войсками и продолжал посредством военной силы дело обращения, но в 1382 г. он умер, а потом литовцы и русские заняли Червонную Русь и все, сделанное Владиславом и Людовиком, пошло прахом. Новообращенные русские опять возвратились к православию; имения, данные Владиславом католическим епископам, были отняты; римско-католическое духовенство разошлось; даже были тогда из этого духовенства такие, что пристали к православию.

С принятия католичества Ягеллом⁸, устроившим посредством своего бракосочетания с Ядвигагой⁹ соединение Польши с Литвою, католический обряд стал внедряться в русские края. В 1413 году на Городненском сейме¹⁰, где совершился первый акт соединения обеих стран, постановлено распространить права, которыми пользовалась

польская шляхта, на Русь, но вместе с тем допускать к должностям только таких лиц, которые не отрекаются от послушания апостольскому престолу. На этом сейме было заявлено, что разноверие признается вредным для цельности и безопасности государства. Тогда многие, получившие звание шляхты, приняли католичество и увлекли свои фамилии на будущие времена в чужую веру и чужую народность. Впрочем, это произошло более собственно с литовцами. Что касается до Руси, то это грозное предпочтение католичества и исключение русских от прав едва ли только не на бумаге существовало: все, что входило в область Литовского княжества, было отдано удельной власти Витовта¹¹, а этот благоразумный князь, всю жизнь стремившийся устроить независимость русско-литовского государства, понимал, что отдельность Руси от Польши в религиозном отношении способствует его политическим видам. При нем, в 1415 году, церковь русская в иерархическом отношении отделилась от московской избранием особого киевского митрополита¹². В землях южнорусских, принадлежавших Польше при Ягелле, католичество успешнее делало шаги к господству, но более чрез увеличение массы иноземцев, получавших в стране должности, а не чрез обращения русских. Сам Ягелло не был фанатиком; и где приходилось ему действовать в исключительную угоду католичеству, там он поступал по требованию окружавшей его среды, а не по собственному побуждению. Папы побуждали его, как и Витовта, обращать православных в католичество. Король действительно строил католические церкви в русских землях, давал там земли и староства природным полякам, но все-таки сделал мало существенного в этом вопросе. В одной грамоте к католическому епископу в Червоной Руси он поручает ему не обращать русских в католиков, а католиков не допускать крестить детей по обряду восточной церкви. Это служит доказательством, что переселение иноземцев в русские края не удовлетворяло в XIV и в XV веках намерениям окатоличить русскую страну, и что, напротив, поселенцы, составлявшие большинство народонаселения, уступали влиянию большинства. Притом в XV веке вообще не все сильные мира сего были расположены смотреть неприязненными глазами на восточное православие. Тогда католичество потрясал опасный враг — чешское гуситство¹³, находившее себе сочувствие в владениях короля Ягелла. Опасно было раздражать православных, чтобы не загнать их толпами в ряды таборитов¹⁴, особенно после того, как один из литовских князьков с толпою удальцов, в которой было очень много, а может быть, более всего русских, под знаменем гуситства покушался уже вырвать из императорских рук чешскую корону. Конечно, с намерением отклонить от себя дружбу русских с гуситами император Сигизмунд¹⁵, приехавши в Луцк, торжественно заявлял в присутствии русских, что православная вера в святости своих догматов не уступает римско-католической и православные от католиков в сущности отличаются только бородами да женами священников. Голос императора в то время значил много.

Наследник Ягелла Владислав II уничтожил всякое стеснение греческой религии и дал равные права ее исповедникам с последователями римской. Тогда совершилась первая уния на Флорентийском соборе¹⁶. Митрополит Исидор¹⁷, изгнанный из Москвы, провозгласил унию в литовских владениях; католическое правительство не могло этому не благоприятствовать, но православные люди приняли нововведение дурно. Исидору неудобно оказалось жить в Южной Руси, и он должен был удалиться в Рим. Митрополитом после Исидора был Григорий в продолжение тридцати лет¹⁸. К сожалению, мало известна внутренняя история Южнорусского края в те времена, и нельзя решить, в какой степени были успешны усилия католичества и в каком размере противодействовал им народ. Во всяком случае нельзя думать, чтоб католичество могло одержать верх в Южной Руси тогда, когда ею правил Свидригелло¹⁹, ревностный покровитель православной веры. Впоследствии униаты и католики, желая дать унии, введенной в конце XVI века, авторитет древности, представляли церковные дела XV века в таком виде, как будто бы тогда господствовала уже уния. Они с этой целью толковали разные привилегии великих князей литовских, данные православной греческой церкви, так, как будто они относятся исключительно к той части этой церкви, которая признавала над собою главенство папы. За митрополитом Григорием следовали: с 1474 по 1477 г. Михаил, потом, с 1477 по 1482 г. Симеон, с 1482 по 1490 Иона Глезна. Католические духовные конца XVI и начала XVII века называют последних двух униатами: одного на том основании, что в его время было к папе посольство, а другого потому, что тогда цареградский патриарх, которому подчинялась русская церковь, принял унию. Следовавшего за ним Макария, причисленного к лику святых и почитающего в храме св. Софии в Киеве, также признавали униатом*. Вообще униатство этих владык очень сомнительно, потому что мы не имеем о том известий беспристрастнее тех, которые явно хотят для своих видов представить их униатами, хоть бы и с натяжкой. Более правдоподобным, по-видимому, кажется известие о митрополите Иосифе Солтане, следовавшем за Макарием. Когда римские епископы стали склонять его к соединению, он послал в Цареград спросить об этом у патриарха Нифонта, а тот растолковал ему, что церковь греческая давно соединена с римскою. Впоследствии сторонники унии приводили письмо патриарха в свою пользу, напирали особенно на то, что москвитяне называли митрополита Иосифа латинником, и этим думали униаты доказать, что митрополит Иосиф убедился объяснением патриарха и признал, что единство русской церкви с католическою совершилось прежде; уже то самое, что русский митрополит не знал об этом и вследствие своего неведения посылал к патриарху по тому случаю, что к нему обратились римско-католические духовные,— не показывает ли, как мало в то время занимал умы этот

* *Miscell. rerum. Cojalow*, 46.— *Obrona jednosci cerk.*, 64.

вопрос, как мало было известно на Руси флорентийское дело? Следовательно, уния XV века более существовала в воображении немногих, чем в религиозной жизни и церковном управлении. Великий князь Казимир Ягеллонович²⁰ в своих привилегиях не делал разницы между последователями греческой церкви, признающими и не признающими унию. Сын его Александр²¹, на которого Иван Московский²² пошел войною под благовидным предлогом защиты веры, дал привилегию на свободное отправление богослужения греческой веры и так же, как отец его, не делал и не сознавал различия между признавшими и отвергавшими единство восточной церкви с западною. Без сомнения, признавать его и не признавать было все равно в то время.

При обоих Сигизмундах все вероисповедания пользовались равенством прав и безусловною свободою. Защитники унии, говоря об этих двух царствованиях, не в силах уже никак натянуть и вести свою унию далее и сознаются, что она исчезла.

Тогда в Польше, а особенно в Литве распространилось реформатство²³; оно год от году более и более угрожало ниспровержением католической религии. В Польше нашло приют и свободу учение, повсюду гонимое, отвергавшее троичность божества и видевшее в Иисусе Христе не бога, а только учителя и благодетеля человечества, избранного промыслом возвестителя вечных истин; такое учение называли арианством²⁴. Эта секта завела школы в Ракове, Киселине и грозила не только католичеству, но и православию. Арианское сочинение Симона Будного было переведено по-русски, и не только светские, но и духовные хвалили его. С другой стороны, подобную ересь занесли в литовскую Русь выходцы из Московщины*, последователи бродивших в разных формах остатков древнего новгородского и псковского вольнодумства²⁵. Правительство все терпело, ничему не мешало, ничего не преследовало. Дворяне-католики, оставаясь верными своей религии, не поднимали голоса против свободы мышления, потому что считали ее драгоценнейшим правом своего сословия. Самые католические духовные не смели вопиять против общего направления и старались только об удержании своих материальных выгод. Для некоторых было все равно — хоть бы вся Речь Посполитая отпала от католичества, лишь бы не отнимались имения, приписанные к духовным должностям. Так, по кончине Сигизмунда Августа²⁶ кувявский епископ на конвокационном сейме²⁷ предложил утвердить постановлением полную свободу религиозных мнений и равенство прав последователей каких бы то ни было толков; себе взамен снисходительный иерарх требовал укрепления за духовенством церковных имуществ. Предложение его было принято и многими духовными, и большинством светских. 6 января 1573 г. последовало постановление о свободе вероисповеданий и равенстве прав их последователей**. Это было сделано для

* Antelenchus, 51.

** Vol. leg., 842.

того, чтобы обязать будущих королей идти по следам Ягеллонов. Новый король Генрих ²⁸ присягнул в соблюдении такого закона. После его бегства из Польши в следующее затем бескорольевье государственные чины повторили прежнее постановление, обязавшись клятвою за себя и за своих потомков хранить и защищать на вечные времена свободу мысли и убеждений *. Стефан Баторий ²⁹, протестант, принявший католичество, при вступлении на престол присягнул в смысле такого закона и обязался хранить его свято во все царствование. В 1589 году вступил на польско-литовский престол Сигизмунд Ваза ³⁰, католик тем более ревностный, что с мыслью о протестантстве у него соединялись тяжелые воспоминания о семейных несчастиях и несправедливостях, понесенных отцом его. Но сделаться польским королем он не мог иначе как произнеся, подобно своему предшественнику, присягу сохранять свободу мысли и веры.

Польша гордилась и имела право гордиться, что нет в мире страны, где бы так ценилась свобода совести, мысли, слова и дела. Но всегда почти бывало в истории, что свобода, достигши высшей степени развития, уничтожив всякие границы, губит себя, допуская такие стихии, которые, пользуясь слабыми сторонами общественного строя, берут верх над всем и потом господствуют уже насильно. Так вышло и в Польше. Безграничная свобода, которою так гордилось шляхетское сословие, воспитала против себя в своем недре враждебное свободе начало. Сигизмунд Август по ходатайству кардинала Гозиуса допустил ввести во владениях Речи Посполитой орден иезуитов ³¹. Король поступал последовательно. Приняв за правило оказывать терпимость всякому толку, всякому религиозному товариществу в государстве, нельзя было отказать в законном покровительстве обществу, действовавшему в пользу той церкви, которую исповедовал сам король пред лицом всего света. Гозиус (иначе Гозен; он был немецкого происхождения) был одним из ученейших, способнейших и деятельнейших борцов за потрясенный свободой мысли древний авторитет верования и предания. Он был епископом в Пруссии, боролся там с возраставшею реформациею и, наконец, чтобы остановить ее успехи, увидел единственное средство призвать иезуитов.

О степени его разборчивости в средствах к достижению цели можно судить из того, что, по уверению его биографа Гресциуса, он советовал королю Генриху Валуа не стесняться данною им присягою в пользу разномыслия, представлял в пример Давида ³², которому не поставлено в грех, когда он, неосторожно поклявшись, нарушил клятву; кардинал доказывал королю, что король именно тем и согрешил, что дал неосторожно присягу, какой не следовало давать: и теперь, чтобы загладить свое прегрешение, должен эту присягу нарушить, подобно Давиду. Сначала иезуиты вступили исключительно в Пруссию, но в

* Vol. leg. 11917: pro nobis et successoribus nostris in perpetuo sub vinculo juramenti fide, honore et conscientus nostris.

1564 г. вошли в Великую Польшу, призванные туда познанским епископом Конарским, и водворились в Брунсберге; потом, в 1570 г., вошли в Литву и явились в Вильне, вслед за тем при Стефане Батории в Полоцке, а потом проникли и в Южную Русь. Баторий оказывал им покровительство не с целью содействовать их задушевной мысли — истреблять все не католическое, а потому, что считал их способными к воспитанию юношества. Иезуиты твердили, что их единственная цель — распространение просвещения. Они повсюду заводили школы и ничего не брали за учење. Впрочем, при такой бессребренной раздаче умственных даров они не оставались в накладе; они брали от родителей учившихся у них детей в виде подарков и приношений хлеб, рыбу, овощи, мед, полотно, сукна, сосуды и проч. и получали, таким образом, столько, сколько бы им не могла дать определенная плата за учење, а между тем эта видимая бесплатность их школ поддерживала доброе о них мнение в народе. Они искусно подделывались к духу господствующих понятий. Большинство уважало и любило их, хотя проницательные люди очень скоро поняли настоящее их направление и предвидели, что они принесут больше вреда, чем пользы. Цель их была подчинить Речь Посполитую власти апостольского престола в церковном отношении и вывести из нее несогласные с католичеством учения. Сначала, пока они еще не укрепились на польской почве, чтобы не подать на себя подозрения, они, заманив детей протестантов в свои школы, выпускали их протестантами и уверяли, что, заботясь единственно о просвещении, иезуиты не хотят обращать никого в католичество; но когда получили довольно силы, начали дело обращения быстро, стараясь толковать так, как будто собственно не они виною обращения, а их ученики сами, получивши образование, узнавши истину, додумались, отреклись от заблуждений и возвратились к лону истинной церкви. Но потом сами иезуиты возбуждали в обращенных фанатизм и даже подстрекали к насилиям. Так же действовали они против православия, и сначала приступили к нему еще мягче, чем к протестанству. Они не только не показывали неуважения к греческой церкви, напротив, доказывали, что обряды ее и догматы, установленные боговдохновенными мужами, святы и достойны уважения, но для греческой церкви необходимо было бы вступить в древнее единство с римскою. Идея сама по себе не была противна православной церкви, которая постоянно просит бога о соединении церквей. Ревностнейшие православные не отвращались от мысли о таком соединении, тем более что видели в нем средство к улучшению церковного устройства и благолепия и к просвещению своего духовенства.

Князь Константин Острожский³³, по своему влиянию, происхождению, богатству бывший важнейшим лицом в Южной Руси, разделял эту мысль и дружелюбно толковал с иезуитами о соединении церквей. Петр Скарга³⁴, написавши свою книгу о единстве веры, посвятил ее Острожскому: по его свидетельству, дети этого православного вельможи — дочь Екатерина и сын Януш были уже в царство-

вание Степана расположены к латинству. Завлекая вообще церковь в соединение с латинством, иезуиты старались вместе с тем, пока духовенство не поддастся на их уловки, отрывать от церкви ее последователей поодиночно и, таким образом, бросать рознь и смуту между русскими. Тот же Скарга в том же своем сочинении дает такое нравучение светскому человеку греко-русской веры: «Если сами духовные не хотят церковной любви — отступись от них, ибо они сами отступились от папы; считай их людьми иной веры, упрямыми, отщепенцами, вошедшими в духовный сан воровством, мимо ключей св. Петра; у них нет права отпускать грехи; от них не получишь спасения; если же тебе нравятся греческие обряды, можешь их соблюдать по булле папы Александра VI³⁵ с дозволения твоего исповедника; безопаснее, однако, для тебя принять латинские обряды, исполненные большего величия, сердечного и духовного благочестия». Православному духовенству они представляли выгоды и всеобщее уважение, какими оно будет пользоваться наравне с католическими духовными, если соединится с римскою церковью, изображали в черных красках унижение, в каком, по их толкованию, находилась православная церковь, признавая над собою верховную власть константинопольского патриарха, раба турецкого султана, и через то самое подчиняясь воле неверных. Между тем они внушениями незаметно подготавливали людей, способных занять важные духовные места в православной церкви, чтобы потом посредством их достичь предположенной цели. Так вели свое дело иезуиты во времена Батория. Но при этом короле невозможно было приступить к какому-нибудь явному, всеобщему насилию. Баторий ласкал иезуитов, но в то же время был очень далек от введения унии. Когда ему представляли выгоды соединения русской веры с католической для политической целостности и крепости Речи Посполитой, Баторий с редким благоразумием не поддавался на эту ловушку и выразился так: «Мы хвалим бога, что, прибывши в Польское королевство, нашли русский народ великий и могучий в согласии с народами польским и литовским. У них один промысел, у них одно равенство, они уважают друг друга. Между ними нет зачатков вражды. В римских костелах и греко-русских церквах отправляется богослужение равно спокойно и беспрепятственно. Мы радуемся этому согласию и не считаем нужным принуждать к соединению с римскою церковью русскую церковь. Мы не знаем, что из этого может выйти и что вырастет впоследствии, но думаем и предвидим, что вместо единства и согласия водворим раздор и вражду между Польшею и Русью и поведем их обеих к беспре-рывным несчастьям, к упадку и окончательной гибели».

Ян Замоиский³⁶, заправлявший при Стефане всеми делами, говорил диссидентам: «Я католик, и отдал бы половину жизни за то, чтобы и вы были католики, но отдам всю свою жизнь за ваши права и свободу, если б вас стали насиловать и принуждать быть католиками». Когда вступил на престол Сигизмунд III, иезуитам стало гораздо удобнее: Скарга был духовником короля. Иезуитское внушение

побуждало короля приобрести венец бессмертия на небеси и вечную славу в истории совершением спасительного подвига соединения христиан во единое стадо. Иезуиты убеждали политических людей в выгодности церковного соединения для целостности государства, ибо тогда Русь, составляющая в Речи Посполитой особую народность, может слиться с Польшею, и уничтожится нравственно-духовная связь, соединяющая с Москвою русские области Речи Посполитой, связь, которую уже тогда дальновидные люди находили опасною в будущем для государственной прочности.

Плану иезуитов способствовали тогдашние отношения русской церкви к константинопольскому патриарху. Отправляясь из Греции в Москву, тогдашний патриарх Иеремия испросил у короля Сигизмунда III дозволения употребить в дело свое право судить и рядить по церковному управлению; и низложил киевского митрополита Онисифора Дивочку, потому что он до своего посвящения, находясь в светском звании, был женат на второй жене; а посвящать двоеженцев было противно церковным правилам. Вместе с тем митрополита обвиняли в нерадении к делам церкви. Вместо него патриарх по желанию некоторых панов, особенно Скумина-Тишкевича, посвятил в сан митрополита минского архимандрита Михаила Рагозу, креатуру иезуитов, тайно расположенного к унии, но искусно принимавшего личину ревностного православного и даже простачка. Проницательному патриарху не совсем понравился этот новый митрополит, но он не стал противиться желанию просивших за него и, посвящая его, сказал: если он достоин, то пусть будет по вашему слову достоин, а если он недостоин, а вы его представляете за достойного, то сами знаете, а я чист *. Укоряя русское духовенство в беспорядочной жизни, в уклонениях от церковного благочиния, патриарх грозил по своем возвращении из Москвы учинить розыск и сделать то же с другими церковными сановниками, что он сделал с митрополитом Онисифором, а пока, для примера, патриарх лишил чина архимандрита супрасльского Тимофея Злобу, которого обвиняли в убийстве.

Иеремия ознаменовал проезд свой через Южную Русь утверждением львовского братства; это было явление новое и чрезвычайно важное. Мысль о братствах перешла к русским от западной церкви, где в обычае было составлять добровольные корпорации на религиозных началах. Иезуиты особенно любили учреждать братства, которых цель ограничивалась чтением известных молитв, соблюдением таких или иных правил благочестия и воздержания; к этому обязывали себя вступившие в братство, которые давали при вступлении известный положенный вклад, в потом ежегодно жертвовали в общую кружку. Подобно тому завелись братства и в православной церкви, но приняли здесь значение высокое. Львовское братство завелось при церкви Успения Богородицы и монастыре св. Онуфрия в 1586 г. по благосло-

* Пересторога. А. З. Р., IV, 206.

вению антиохийского патриарха Иоакима *. Членом этого общества мог быть всякий православный, плативший ежегодно в общую кружку шесть грошей. Из этих вкладов и из добровольных пожертвований образовалась сумма, которую употреблять следовало на вспоможение тем из братьев, которые пришли бы в состояние, требующее поддержки. Эти братья сходились в определенное время, выбирали каждогодно четырех начальников всего братства, обязывались помогать друг другу. Братство львовское по воле благословившего его учреждение патриарха антиохийского присвоило себе надзор над благочинием и порядком всей русской церкви. Братья обязаны были всюду наблюдать и следить за порядком церковного, религиозного и нравственного быта, все узнавать и обо всем доносить своему собранию. Живет ли не по закону священнослужитель или причетник — члены братства обличали его пред епископом; но если братство находило, что и епископ ведет себя не так, как следует, или поступает несправедливо, то имело право обличать его и в случае неисправления не признавать его власти, противиться ему, как врагу истины. Братство смотрело также за нравственностью мирян, особенно обязывало себя преследовать волшебников и чаровниц и передавать их епископскому суду. Епископ не смел противиться постановлениям братства. Епископ после призвания над ним св. Духа был бессилен перед приговором толпы, состоявшей, кроме духовных и дворян, из мещан, пекарей, чеботарей, воскобойников и другого рода ремесленников и торгашей. Это не могло нравиться епископам. Патриарх Иеремия не только утвердил устройство, данное братству Иоакимом, но еще расширил права его. Он постановил, чтобы братство находилось вне всякой зависимости от местного епископа или от какого-нибудь другого иерарха, кроме патриарха константинопольского, и во Львове дал ему монополию воспитания; там не дозволялось быть иному православному училищу, кроме братского, где предположено учить детей св. писанию, а также славянскому и греческому языку, если для этого найдутся учителя. Частный человек мог иметь у себя учителя для своих детей, но не должен был брать чужих детей, и никакому священнику в своем доме не дозволялось учить более одного или двух детей. Вместе с тем братство получило право печатать священные и церковные книги и ученые: грамматику, риторику, пиитику и философию. Патриарх не дозволил, однако, братству судить никого вместо епископа, но это все-таки ставило епископа со своим судом в зависимость от братства, ибо над судом его братство имело надзор. Патриарх поощрял заводить такие же братства повсюду, но оставил первенство между братствами за львовским. Таким образом заведено было Троицкое братство в Вильне, а за ним и многие другие в городах православного края.

* Существует мнение, будто львовское братство основалось еще в XVI в., но это мнение не подтверждается несомненными свидетельствами, а если что и было подобное, то все-таки братство получило свое звание только в конце XVI в.

Понятна цель, какую имел патриарх. Такое общество, завися исключительно от власти патриарха, давало ему возможность знать все, что происходит на Руси, и держать в руках русскую церковь. Каких бы доверенных лиц ни поставил патриарх на епископских местах,— живучи вдаль, он всегда мог опасаться, что эти лица увлекутся своими личными и местными интересами в ущерб церкви, тогда как разнородное общество с правом надзора над епископами станет крепко держаться воли вдалеке пребывающего патриарха, как ради независимости от ближайших властей, так и потому, что для братств не было иного пути проводить свои намерения и предположения, как через покровительство патриарха.

По возвращении из Московского государства патриарх остановился в Замостье. Патриарх был человек ученый и умный; его знали в Европе, и знаменитые профессора протестантской Европы с уважением к его сану входили с ним в состязание, пытаясь: нельзя ли отпадшим от западного католичества сойтись с восточною церковью; ученый патриарх указал существенные различия, которые не позволяли православию сойтись с протестантством в том виде, в каком последнее остановилось, сбросив с себя власть римского первосвященника. Неудивительно, что со своей ученостью Иеремия зажился у Яна Замойского, великого гетмана и канцлера. Он понравился Замойскому, который, будучи тогдашним государственным человеком, обладал обширным ученым образованием. Живучи у Замойского, патриарх поручил митрополиту созвать синод для следствия над поведением духовных лиц, обличаемых братством. Митрополит медлил, проволакивал дело, боялся чтобы на этом синоде не было доносов и на него самого. Владыки чувствовали за собой грехи и также просили митрополита не созывать собора. Говорят, что по тайному приказанию луцкого владыки посланный патриархом к митрополиту в Вильно писарь митрополичий Григорий был ограблен в пинских лесах; у него взяли патриаршие письма, которые, таким образом, не доходили до митрополита. Тут, не дожидаясь собора, явился к патриарху в Замостье львовский епископ Гедеон Балабан³⁷, обвиненный также братством, и доносил в свою очередь на луцкого епископа Кирилла Терлецкого³⁸, что его в народе обвиняют в наездах, буйстве, разврате, делании фальшивой монеты. Гедеон вообще хотел настроить патриарха так, чтобы тот обратил в дурную сторону все, что услышит о луцком владыке; но патриарх вместо того, чтобы в свое время воспользоваться известиями, сообщенными Гедеоном, и получить предубеждение против Кирилла, как хотелось Гедеону Балабану, потребовал к себе Кирилла и свел его с глазу на глаз с Гедеоном. Тогда Гедеон не стал обвинять Кирилла, а уверял, что все, что говорят о нем в народе,— клевета, восхвалял святую жизнь луцкого епископа и в присутствии патриарха обращался с ним по-братски, дружелюбно. Патриарх отпустил Кирилла милостиво. Гедеон после того, пользуясь тем, что патриарх не умеет читать и писать по-русски и по-польски, подsunул ему к подписи бумагу, где

заключалось обвинение на Кирилла. Патриарх подписал, а потом, узнавши, что его обманули, составил Кириллу оправдательную грамоту, где повелевалось не верить тому, что прежде написано было на Кирилла Терлецкого; в знак своего особого благоволения он нарек луцкого епископа своим экзархом, или наместником, на предстоящий собор, которого он долго ждать не решался. Само собою разумеется, что это сделано в ущерб достоинству митрополита. Собор под председательством нареченного экзарха мог судить всех владык и самого митрополита. Кажется, патриарх, заметив хитрость над собою, последовал здесь известному правилу: *divide et impera* и, кроме братства, зависевшего от него, хотел еще иметь в руках непосредственно одного из епископов, который бы по особым личным к нему отношениям, мимо официального порядка, вел с ним сношения о делах церкви. Гедсона, на которого восстало львовское братство, патриарх оставил под запрещением до покаяния. Тогда Гедсон отправился к львовскому католическому епископу Соликовскому, кланялся ему, объяснял, что патриарх притесняет владык, желая с них что-нибудь сорвать, советовался о средствах избавить русскую церковь от неволи и тут же высказал мысль, как бы хорошо было подчинить русскую церковь папе; она бы избавилась на будущее время от произвола константинопольских иерархов.

Патриарх уехал, не открывши собора. Отъезжая, он послал к митрополиту своего епископа грека Дионисия и просил у митрополита 15 000 аспр, что составляло незначительную сумму 250 тал., за издержки на посвящение. «Если бы твоя милость,— говорил Дионисий митрополиту от лица патриарха,— поехал сам к патриарху, то стало бы дороже. Патриарх должен был содержаться на твоём хлебе и потому справедливо возратить ему, что он издержал. У патриарха нет фольварков, ни сел, ни маестностей». Митрополит, как выражается современное повествование *, рассудил, что уже теперь не нужно пастыря, когда он сам сделался пастырем, и отвечал, что он не обязан ничего давать. Русские духовные говорили, что патриарх затевал розыски над поведением духовных только для того, чтоб иметь возможность придирается и брать поборы. Находясь под властью Турции, патриархи и вообще греческие духовные были поневоле в таком положении, что нуждались в подаянии, собираемом преимущественно в независимых православных странах. «Мы были у них такими овцами,— говорит один современник,— которых они только доили да стригли, а не кормили» **. Православный Восток терял к себе уважение по мере того как духовные чины, носившие звание архимандритов, игуменов и даже епископов, блуждали по Литве и Руси, собирали милостыню, выпрашивали себе у правительства и у знатных вельмож места к ущербу туземцев и часто затевали смуты и несогласия. Завед-

* Пересторога. А. З. Р., IV, 262.

** Obrona jedn., 72.

ние братств, не зависимых от епископов, русские иерархи считали для себя оскорблением и вообще унижением духовных властей. Между тем иезуиты указывали на все это русским духовным и доказывали, что присоединение к римской церкви есть единственное средство избавиться от зависимости патриарху, рабу неверных.

Время, когда происходили эти события, было время перелома общественного жизненного строя. Польша тянула к Западу и стремилась впитать в себя и переработать по-своему образованность романских и немецких народов. Русь тянула за Польшею. Русь почуяла недостаток своей старой жизни: жажда обновления захватила ее — Русь хотела просвещения. В ее положении при соединении с Польшею для нее возможно было только такое просвещение, которое бы согласовалось с привычками, обстановкою быта, нравами и предрассудками высшего класса. В темной громаде народа не было и зародыша стремления к иному образу быта, к иным понятиям, к иному воспитанию. Общество делилось на «уроженных и подлых»; между ними были подразделения: как из уроженных были такие, которые стояли выше своих собратьев привилегированного сословия, так и из подлых были подлейшие и менее подлые. Просвещение стало потребностью только человека уроженного, потому что только человек уроженный имел возможность расширить круг своей деятельности до знакомства с более образованным миром понятий и действий; только человек уроженный, участвуя в делах политических и общественных, мог ощутить необходимость знать и понимать более, чем знал и понимал до тех пор, и жить сообразно расширенному кругозору понятий. Без просвещения его происхождение стало терять свое достоинство; его гербы и грамоты могли сделаться предметом смеха; при всей его знатности, при всех его богатствах он не мог играть видной роли; ему нельзя было доверять чего-нибудь значительного; он не мог дать доброго совета в общественном собрании; его чуждались и в дружеских беседах, потому что он не умел ни держать себя, ни говорить с образованными людьми. Польша была образованнее Руси, а Русь была соединена с Польшею: естественно было Руси стремиться к равной образованности с Польшею, и вот Польша вскоре охватила Русь своим влиянием нравственным и умственным. Польша побеждала Русь своей цивилизацией. Короли Ягелловой крови, будучи чужеродцами в Польше, подчинились перевесу последней. Еще Сигизмунд I, по свидетельству стариков, с умилением вспоминая о нем чрез долгие времена после его смерти, верен был литовско-русскому происхождению своих предков, немцев не терпел как собак, ляхов не любил за их хитрости, но любил зато сердечно Русь и Литву. Не такого отзыва заслужил от тех же стариков сын его Сигизмунд Август. «Его,— говорили они,— и между добрыми людьми считать не нужно. Он полюбил неметчину более нас; что наши старые короли собрали, то новые — и он первый между ними — немцам раздали!» Недовольные присоединением южнорусских земель к Короне, ревнители старины говорили о Сигизмунде Августе: он погу-

бил Волянъ и Подлясье, называя сам себя ляхом *. Что возбуждало в стариках XVI века недобрые отзывы о Сигизмунде Августе, то составляло общие черты детей и внуков этих стариков. Русское дворянство из потребности просвещения стало изо всех сил стараться быть похожим на польское и вместе с ним, в известных, однако, отношениях, — на немцев, т. е. вообще на западных европейцев. Поляки почуяли, что для них в Руси настает время играть роль цивилизаторов, и толпами стремились в страну, гостеприимную для них настолько, насколько Польша была гостеприимною для западных европейцев. Можно сказать, что если поляки, при влиянии на них Западной Европы, не поддавали, однако, этому влиянию до раболепства, то этому помогла, кроме свободного образа правления, связь с Русью: здесь поляки считали себя выше других, а в народе более всего поддерживает национальность возможность оказывать влияние на другую народность, коль скоро войдет в сознание мысль, что эта другая ниже своей по развитию. Лях для русского стал существом высшим, да и лях начал считать себя таким. Богатые паны — литовские и русские — завели у себя во дворах притоны для пришедших ляхов-цивилизаторов; одни служили у них в качестве *дворян*, или оршака, другие — в низшем качестве слуг, или *борвы*. Но слуга лях далеко был не то, что слуга русин или литвин. «Давай ему, — говорит приверженец старины **, — фалендышевую сукню, корми его жирно и не спрашивай с него никакой службы: только и дела у него, что убравшись пестро, на высоких каблучках скачет около девок да трубит в большой кубок с вином. Пан за стол, и слуга себе за стол; пан за борщ, а слуга за толстый кусок мяса; пан за бутылку, а слуга за другую, а коли плохо ее держит, то из рук вырвет. А когда пан из дому, то, гляди, и к жене приласкается». В домашней жизни, в приемах обращения, в нравах — все, составлявшее признаки русской старины, становилось, по современным тогдашним понятиям, признаками грубости и невежества; все польское и западное служило вывескою образованности и хорошего обращения. Старинные русские однорядки и корзны показались безобразными и неудобными; их стали заменять вычурные наряды, заимствованные поляками из Германии, Венгрии, Испании и Италии, под названиями цуг, кабатов, страдеток, делий, китлей и проч. нарядов, до чрезвычайности разнообразных по вкусу и прихоти каждого, то длинных до земли, то коротких немного ниже пояса, то совсем без воротников, то с такими огромными воротниками, что трудно было разобрать: воротник пришит к платью или платью к воротнику, — нарядов со множеством разнообразных строчек и пуговок, вышивок, нашивок, кистей, бахромы, лент, плетениц, шнурков... кто где что подметил, тот и наряжал себя так. У всех народов были национальные одежды, говорит современник ***, только у поляков их не стало, и кто-то, рисуя народные уборы,

* Из речи Мелешки, произн. на сейме (по рукоп.).

** Мелешко.

*** Rey. Lw. pocz. człow.

не нашел ничего уместнее для польского убора, как нарисовать поляка с куском ткани. Это разнообразие нарядов, поражавшее всякого, кто посещал Речь Посполитую в XVI веке, как нельзя более соответствовало внутреннему строю польских понятий, верований, воспитания и нравов. Трудно было сказать в то время — какая господствующая вера в Польше, потому что там терпимы были и развивались всевозможнейшие учения и толки; трудно было произнести приговор о степени образованности этой страны, ибо там можно было встречать образцы самой обширной учености и самого полудикого невежества, самой мягкой кротости и человеколюбия и самого резкого варварства, самых высоких понятий о свободе и правах человеческой личности и самого грубого самовластия, самого раблепного подражания иноземщине и самой гордой и сознательной поддержки своесторонщины. Наружность всегда бывает выражением того, что внутри, и польская одежда справедливо была вывескою внутренней жизни края. Эта-то пестрота заменила в Руси тогда однообразие и простоту древней русской одежды. Напрасно добрые старички уверяли, что старые наряды и покойнее, и красивее новых; их длинные балахоны, их дикорастущие волосы и бороды на смех подымали щеголи с подбритыми головами и с искусно подстриженными бородками и эспаньолками, и старички сами остерегались являться в обществе в прадедовском виде; они наряжались только по желанию у себя дома, называли это: *убраться по-домовому*, и утешались тем, что если молодежь смеется над стариною, то, по крайней мере, их добрые старухи жены натешиться и насмотреться не могут, когда они наденут одежду, напоминающую им времена молодости. Непристойными для дворянского звания стали казаться старинные помещения русских панов: то были деревянные дома, покрытые дубовою гонтою, с огромными сенями посередине и с светлицами по обе стороны сеней, где по белым стенам не было других украшений, кроме образов, где стояла зеленая поливаная печь, и не было иной мебели, кроме лавок вокруг стен и простых некрашенных столов, покрытых цветными коврами. Старички любили жить просторно, но просто; у иного было на дворе несколько небольших домиков, но все они блистали только опрятностью, а не богатством. И вот стали возвышаться пышные палаты, построенные и убранные во всевозможнейших вкусах Европы. Уже не довольствовались русские дворяне угощать своих гостей борщом да кашами. У них на пирах появились вычурные выделки львов, слонов, людей, деревьев, приготовленные со всею хитростью западноевропейской поварни, чрезвычайно пестрые, раскрашенные, раззолоченные и нездоровые, тем более что, по замечанию современника *, что готовилось в пятницу, то подавалось на стол в воскресенье. Заветные наливки на туземных ягодах и прадедовские меды уступили место венгерским и испанским винам. Для панских выездов начали служить роскошные мудреные коляски, лектики,

* Rey. Lyw. poczc. czł.

брошки с богатыми цветистыми коврами, с вышитыми бархатными подушками. Женщины, как всегда бывает в такие времена, с увлечением кидались на новизну, оставляли простым мещанкам донашивать неуклюжие русские летники и опашни и стали прельщать сердца итальянскими и испанскими биретами, феретами, фалбанами, фордыгалами; по западному обычаю знатные русские пани стали ходить с длинными хвостами, которые несли за ними мальчики. Сначала это возбуждало смех, но потом помирились и с этим русские, объясняя себе, что того требуют хороший тон и образованность. Женщины стали падки к ляхам-цивилизаторам, и не один муж поплатился семейным счастьем этим просветителям земли своей.

Вся эта наружная пестрота была, как мы сказали, вывескою внутреннего переворота. Дворянская Русь чувствовала потребность воспитания. Чтобы получить образование, нужно было или отдать детей в польское заведение, или держать в доме учителей из поляков и иностранцев. В обоих случаях молодой русин воспитывался в ущерб своей народности. Все, что составляло круг образованности: понятия о гражданственности, о праве, о литературе, о науке, все принималось и все становилось в противоречие с русским житьем-бытьем. Язык южнорусский подвергся сильному влиянию польского, и ему грозила впереди неминуемая гибель, так как уже в конце XVI века самые ревностные русские говорили и писали по-польски больше и охотнее, чем на своем языке. Этому способствовали браки; где только входила полька в русский дом, за нею входил в семью и получал господство польский язык. Тогда был обычай у поляков: по окончании учения в отечестве ездить для высшего образования на несколько лет за границу, слушать курсы в заграничных университетах и присматриваться к быту образованных народов. Это сделалось до того всеобщим обычаем, что не было в Польше почти никого, кто бы принадлежал по рождению к знатному и богатому дому и не посещал в молодости разных европейских государств, преимущественно Италии и Франции. Немцев (германцев) вообще не любили поляки, сохраняя к ним общую славянскому племени вражду, и с отвращением отвергали все, что считали немецкой выдумкой *. Русские паны последовали тому же примеру, но разница была та, что поляки с запасом разностороннего, по тогдашнему времени, образования, возвращались домой часто более поляками, чем были бы тогда, когда переняли бы иноземщину от посещавших их край чужестранцев; для русских же такие путешествия были дальнейшим средством к утрате своей народности, потому что они, первоначально воспитанные по-польски, отправлялись за границу уже не русскими, а поляками.

Воспитываемые иностранцами, получив просвещение не в своесторонней форме, русские привыкли скоро видеть во всем, что составляло сущность их старой умственной жизни, противоположность просве-

* Piasecki, chr., 40.

щению. Покинуты были родные обычаи, русский образ домашней жизни; изменялся и забывался родной язык. Оставалась затем своя русская православная вера. По стечению обстоятельств и она не сильна была устоять против рокового напора чужой цивилизации, ломавшей все русское, особенно если на нее покусится какая-нибудь из западных вер — будь это католичество или протестантство. В те времена новые языки еще не получили господства в науке. Еще существовало везде понятие, что наука должна быть излагаема на языке отжившем, языке с неизменяемыми формами и притом на языке общем для ученых всех стран, каким был латинский, а не на живых наречиях, унижаемых вульгарною речью черни, известных только в одном каком-нибудь крае. Православная Русь в сущности и прежде держалась того же начала: все, что имело в ней признак умственного труда и мысли, выражалось не на обычном вседневном, а на богослужебном ученом языке славянском. Это был для нее язык учености, умственного труда. Когда Русь столкнулась лицом к лицу с европейской западной образованностью и ученый язык Руси — славяноцерковный язык — столкнулся с языком науки на Западе, с латинским, то латинский язык с его богатою письменностью, с роскошными воспоминаниями антического мира оказался слишком великим пред языком славянским. Латынь поражала своим величием, уничтожала в прах бедное славянство своим видимым превосходством. Ученые презрительно улыбались, когда им заикались о литературе славянского языка; иезуит Скарга громил его, называл источником и причиною темноты и невежества русского. «Еще не было,— говорит он в своем сочинении *,— на свете академии, где бы философия, богословие, логика и другие свободные науки преподавались по-славянски. С таким языком нельзя сделаться ученым. Да и что это за язык, когда теперь никто не понимает и не разумеет писанного на нем? На нем нет ни грамматики, ни риторики и быть не может. Попы русские на нем отправляют богослужение, а сами не в силах объяснить, что они в церкви читают, и даже принуждены бывают у других спрашивать объяснений польски. У них с славянским языком и вся наука в том, чтобы выучиться читать кое-как: в этом их все духовное совершенство. Вот откуда и невежество и заблуждения; с этим языком выходит, что слепой слепого ведет».

Славянский язык со своими архаизмами делался предметом смеха и для самих русских. И православные ревнители не могли в защиту его сказать ничего такого, что примиряло бы с ним возникшую потребность научного просвещения. «По дьявольскому навождению,— говорит один монах того времени **,— славянский язык *обмерз* многим; его не любят и хулят; но он есть плодоноснейший и любимейший

* O jedności wiary.

** Иоанн из Вишны ³⁹ (Рукопись Имп. Библ., напечатанная в актах южн. и зап. России, т. II).

Богом язык человеческий именно за то, что нет на нем ни грамматики, ни риторики, ни диалектики, ни прочих коварств диавольского тщеславия: этот язык приводит к Богу простым прилежным чтением без всяких ухищрений: он созидает в нас простоту и смирение». Западное просвещение щеголяло тогда избытком умственного развития и смеялось над скудостью славянства, а православие не запиралось в этом, но в свою очередь указывало на литературу и науку как на греховное дело. «Соблюдайте,— говорит тот же монах,— соблюдайте ваших детей от яда. Истинно вам говорю: кто с духом любви прильнет к этим поганым мечтательным догматам, тот наверное погрешит в вере и отпадет от благочестия; что с нами и делается, как только вы начали лакомиться на латинскую мерзкую прелесть! Не лучше ли тебе изучить часословец, псалтырь, октоих, апостол, евангелие и другие церковные книги и быть простым богоугодником и приобрести вечную жизнь, чем постигнуть Аристотеля, Платона и прослыть в сей жизни мудрым философом, а потом отойти в геенну? Рассуди сам: лучше ни аза не знать, да к Христу достигнуть, а Христос любит блаженную простоту и в ней обитель себе творит и упокоивается». Если православные духовные, увлекаясь требованиями века, обращались к западной науке,— тотчас встречали обличение сторонников старины: «вот,— вопияли они,— вместо евангельской проповеди и апостольской науки водворяются поганые учителя: Аристотели да Платоны и другие подобные им машкарники и комедийники».

Эта черта тогдашних понятий показывает, что русская национальность с ее главнейшим признаком, православием, становилась в противоречие с требованиями века. Наука западная все еще вращалась около богословия; то были времена борьбы и господства то тех, то других вероисповедных понятий. Люди мыслящие делились по вероучительным толкам; они назывались: католики, лютеране, кальвины, ариане; по этим названиям судили, каковы должны быть их убеждения и поступки во всех отраслях человеческого знания и человеческой умственной и нравственной деятельности. Всякая наука становилась тогда под какое-нибудь вероисповедное знамя. Православие не могло распустить никакого знамени. Просвещение тогда было панское; только человек высшего происхождения считал за собою право чувствовать потребность быть образованным: образованность соединялась с блеском, роскошью, богатством, со всем тем, чем мог выказаться пан. Западная нравственность не была строга к мирским сладостям, как нравственность восточная; церковь западная гордилась признаками земной власти, силы и величия. «Вот,— говорили латинники,— посмотрите на нас: если б наша церковь не была истинная, мы бы не были так многочисленны и св. отец не обладал бы такою силою; могучие цари и великие народы покоряются воле папы. Богатства стекаются к тем, которые исповедуют нашу веру». Католическая Испания изумляла тогда мир неисчерпаемыми сокровищами и неизмеримыми землями Нового Света. Расширение ее владений было расширением

католической веры. Успехи обращения туземцев Америки представлялись Европе в исполинских образах. Потери, которые понесло католичество от протестантства в Европе, казались ничтожными в сравнении с тем, что оно приобретало в Америке и в Азии. Эти успехи, это земное могущество служили католичеству свидетельством благодати, почивающей на западной церкви. При таком воззрении понятно, что католичество вполне уживалось со всеми признаками панства, величия и господства. Если протестантство не могло гордиться такими победами, то по духу своей догматики еще более льстило земному благоденствию человека. Протестантство разрешало человечество от тех уз воздержания, поста, духовного труда, молитвы, усмирения разума, которые католичество только ослабило по снисхождению, но не дозволяло отрешиться от них вовсе. Как ни были разнообразны виды протестантства, они были согласны между собою только в том, что тянули к земле... Одна восточная церковь оставалась путем к неземному; она не величалась ни многознанием и педантством протестантства, ни земным могуществом, как римская церковь; это была церковь смирения, молчания, духовного уничтожения, блаженного нищедушия. Монашество православное на Руси не походило на западное. Уже по своей одежде, похожей на мешок, русский монах казался пугалом; его клобук, его длинные волосы, нерасчесанная борода чересчур делали его непохожим на польского ксендза с выбритым подбородком, опрятно и щегольски одетого в красивый сутан. Наружный вид последнего более сходился с видом тогдашних светских щеголей в красивых магирках с перьями. Невытертые, намазанные дегтем чеботища русского духовного лица стучали чересчур резко для ушей тех, которые привыкли ходить в шелковых башмаках на тоненьких подошвах с высокими звонкими подковками. Но еще более отвращал светских уровень образования тогдашнего русского монаха или попа. «Русский духовный,— говорили они,— тот же хлоп; не умеет держать себя в хорошем обществе; и поговорить с ним не о чем!» Зато православный монах раздражался против мирской прелести, когда светские люди смеялись над его невытертыми черевиками и чеботищами. Он в свою очередь говорил: «Я на своем чеботище твердо стою, а ты, кривоногий башмачник, на своих тоненьких подошвах переваливаешься с бока на бок, а особенно когда перед паном стоишь: оттого, что у тебя в носках, загнутых кверху, бес сидит. Инок с тобою не умеет беседовать, потому что не о чем: ты добродетели учился у прелестницы, благочестию навывал у шинкарки; что ты слышать мог умного от дудки и от скрипки? С кем ты мог вести разговоры о духе и о духовных предметах? с трубачом, сурмачом, пищальником, шамайником, органистом, регалистом, инструменталистом или бубенистом? Кто тебя учил богословию? охотники — собачьи пастухи, или скакуны, или повара да пирожники?» *

* Иоанн из Вишни.

Правда, большая часть духовных, и черных, и белых, не отличалась на деле тою постническою строгостью, какую одобряли по книгам. Монахи, как люди, поддавались искушениям — к соблазну светских, которые, подмечая что-нибудь хоть малое, не пропускали случая рассказать подмеченное с возможною чернотою. «Монахи корыстолюбцы,— вопияли светские,— они дают нам займы деньги и берут большой рост. Они нам про пост твердят, а сами в монастырях учреждают пиры и попойки и напиваются до упаду, а иные по корчмам шатаются».

— Что же,— отвечали им иноки,— бывает и с нами грех; случаются и пиры и пьянство; да зато не бывает у нас проклятой музыки; притом если инок когда-нибудь напьется, то не разбирает и не привередничает, горькое или сладкое попадется ему, пиво ли мед... все равно, лишь бы хмельно и весело было, а бывает это разве в большие праздники, зато в посты проживают очень воздержно, вкушают капусту и редьку, пищу покаяния достойную, а у вас — что среда — то *рождество* вашему чреву, что пятница — то *велик день*, веселие, празднование жидовское совершаете. По старосветски собравшись в беседу, поесть, попить, повеселиться — это еще половина греха: дедовская простота соблюдается; человек не пристращается к земному; — а вот как выдумывать способы веселья и насыщения — вот первый грех. — Или не знаешь,— говорит православный хранитель старины светскому любителю роскоши,— в твоих серых, красных, белых поливках и юшках, в твоих дорогих венгерских винах, аликантах, мушкателях, малвазиях, ревулах, медах, пивах разнородных — конец благочестию и гибель душе *.

Ревнители православия в то время соболезновали о состоянии церкви, сознавали недостаточность ее управления и не находили возможности обновить ее влиянием Востока. Между тем высшие духовные сановники русской церкви, находясь в стране, соединенной политически с католическою страной, принимали такие черты, которые были обычны в средневековой истории западной церкви, но чужды и соблазнительны для православия. Происходя из дворянских фамилий, они не отличались смирением и простотою древних русских пастырей и сохранили под архиерейскою одеждою мирские привычки. Вместо того, чтобы, сообразно православным обычаям, проходить в монастыре долговременную школу воздержания и поста, они получали места не по испытанию, а по связям и покровительству сильных, часто посредством подкупа расположив к себе королевских придворных. По правилам святых отцов, епископы при избрании должны были представлять свидетельство о своей достоинности. «А за вас кто свидетельствовал? — восклицает современный обличитель **. — Свидетельствовали о вас румяные червонцы да белые большие талеры, да полу-

* Иоанн из Вишни.

** Иоанн из Вишни.

талеры, да орты, да четвертаки, да потройники, что вы давали знатнейшим секретарям и референдариям, льстецам и тайным шутам его королевского величества, и они свидетельствовали, что вы достойны панствовать и своевольствовать над именьями и селами, принадлежащими к епископским местам... Завернете в бумажки червончики; тому в руки сунете, другому сунете; ... мешочки с талерами тому, другому, третьему ... кому поважнее; ... а писари не гнушаются и потройниками да грошами — берут и дерут: вот ваши ходатаи!» Архиереи вступали в духовное звание только для приличия и тотчас же производились в звание иерархов, управляли церковными именьями со всеми правами и проявлениями светского суда и светского произвола; подобно старостам держали у себя толпы слуг и вооруженные отряды и нередко делали на соседей наезды, по обычаю светских владетелей, которые в случае ссор дозволяли себе самоуправства. Нравственность их не внушала уважения. Поступки Гедеона Балабана, приведенные выше, дают о нем невыгодное мнение; впоследствии он выказался полнее. Кирилл Терлецкий не пользовался в свое время доброю славою. До нас дошло * несколько жалоб, обвиняющих его в отвратительных преступлениях, напр., в изнасиловании проезжавшей через его имение девушки; соседние с его церковными владельцы во Владимирском повете жаловались на буйство. Семейство Сышевских жаловалось, будто Кирилл с толпою человек до двухсот, вооруженных гаковницами, полгакками, ручницами и сагайдаками, да с крестьянами своими, взятыми от плуга, напал и захватил чужую землю. Другой сосед, Ян Жоравицкий, в своей просьбе, поданной на епископа в суд, рассказывает, что велебный отец напал на него со своей дворовою челядью, состоящей из угров, сербов, волохов, с пушками, ружьями и секирами. Правда, ни по одной жалобе не обвинили Терлецкого, а один священник, подавший на него жалобу, впоследствии сознался, что епископ поступил с ним хотя сурово, но справедливо по вине его; однако возможность многих подобного рода жалоб на духовного сановника показывает, что епископ не отличался такими достоинствами, которые по духу православной церкви ставили пастырей выше земных страстей. Хотя Кирилл и остался прав пред польским судом, но это его не освобождает от подозрений по суду истории, потому что польские суды не отличались строгим беспристрастием, коль скоро касались споров сильных со слабыми. Сами современные поляки это резко высказывали. Пусть, говорит Рей **, придут в суд один в бараньем тулупе, другой в лисьей, третий в собольей шубе; лисица всегда получает первенство над бараном, а соболь над лисицей. Православные недруги Кирилла обвинили его в тайных убийствах. «Пощупай только свою лысую голову, пане ксёнже бискупе Луцкий,— говорит в своем обличительном послании к тог-

* См. Архив Юго-зап. России, I, 233—239, 394, 426.

** *Lyw. pocz., czł.*

дашнему духовенству Иоанн из Вишни,— сколько ты отослал к Богу живых людей во время твоего священнодействия; тех секирою, других водотоплением, а иных изгнал из сей жизни огнепальною смертью. Припомни и Филиппа, маляра многоденежного; где делись его румяные червонцы после его невольного отхода из мира сего? В какой темнице сидят они?»

У владык и архимандритов были дети, братья, племянники, которым они раздавали церковные имения, и вообще владыки смотрели на свои епархии и монастыри, как смотрели светские люди на каштелянства и староства: считали их для себя доходными статьями. Были примеры, что знатные дворяне испрашивали себе у короля епископские и игуменские места и оставались непосвященными много лет, пользуясь невозбранно церковным хлебом, как тогда говорилось. «Правила святых отец,— замечает современник,— запрещают принимать и посвящать в иереи моложе тридцати лет от роду, а у нас допускали много пятнадцатилетнего. Всякий знает, что тогда случалось, у него молоко на губах не обсохло, а уж его пастырем величают! Он еще по складам читать не может, а уж его посылают слово Божие проповедовать, он своим домом не управлял, а ему церковный порядок поручают!» Понятно, что при таких правителях в церкви повсеместно совершались беспорядки. Так, вместо неразрывности брака, которую признает православная церковь, нигде не было такого множества разводов, как на Руси, и, к соблазну благочестивых, часто можно было встретить, что у иного две и три живых жены сошлись с другими мужчинами, а сам он живет с четвертою женщиною. Уже давно укоренился в православной церкви обычай, что архиереи посвящались из монашествующих лиц; в польских владениях этот обычай нарушался: холмский епископ Дионисий Эбируйский, пинский Леонитий Пелчицкий жили с женами, перемышльского епископа Михаила Копыстенского возвели в епископский сан, когда у него была жена *,— говорит извет львовского братства на русских архиереев, поданный в 1592 году константинопольскому патриарху Иеремеи. Вопреки церковным правилам священники были двоеженцы, а иногда вовсе не женились и жили с наложницами **. Игумены монастырей открыто жили с любовницами, не таясь, имели и воспитывали детей, и у них в монастырях чаще можно было встретить пьянство и шумные оргии, чем подвижничество.

Роскошное житье, которое себе позволяли духовные по своему дворянскому происхождению, заставляло их извлекать побольше доходов из своих церковных имений, а это вело к утеснениям подданных. «Ваши милости,— говорит тот же Иоанн из Вишни русским архиереям, архимандритам и игуменам,— отнимаете волов и лошадей из обор бедных поселян, выдираете от них денежные дани, дани пота и

* А. Зап. Рос., IV, 45.

** А. Зап. Рос., VI, 39.

труда, лупите их, мучите, гоните до комяг * и шкут ** зимою и летом в непогодное время, а сами, как идолы, сидите на одном месте, а если и случится ваши идолотворенные трупы перенести с одного места на другое, то переносите их в колясках, и во время дороги вам — как дома, а бедные подданные день и ночь на вас трудятся и страдают; высасывая из них кровь, вы одеваете фалендышами, утrophимами и каразиями своих приставников и слуг, любуетесь их убором, а у бедных подданных и сермяжки порядочной нет, чем бы прикрыть наготу свою».

Беспорядки в церковном строе увеличивались от произвольного вмешательства светских лиц. До чего доходило своеволие старост, может служить образчиком вражда Кириллы Терлецкого с луцким старостою. Поссорившись с епископом, староста не пускал его служить в соборную церковь, стоявшую в замке, в великие дни страстной субботы и пасхи, для потехи завел музыку в церковных притворах, а своевольные гайдуки его стреляли в церковный купол.

Состояние низшего духовенства было плачевно. Владыки обращались с ним грубо, облагали налогами в свою пользу, наказывали тюремным заключением и побоями, не давая никому отчета. Из монастырей, приписанных к архиерейским кафедрам, владыки поделали себе хутора и содержали там псарни. Духовные терпели от произвола старост и владельцев тех имений, где были их приходы. Пан заставляет приходского священника ехать с подводами, берет в услужение его сына, забавляется над ним и над его семьею и по произволу угнетает налогами наравне со своим хлопом. В особенности состояние духовных было подвержено лишениям там, где пан был католик или протестант. Там помещики облагали самое богослужение пошлинами; так, священники должны были платить по 2 и по 4 (если он протопоп) злотых. Этого, говорит современник, не несли ни жидовские синагоги, ни татарские мечети. Иной русский, обратившись в протестантство, из фанатизма уничтожал церковь вовсе, а здание, где она находилась, обращал в хлев. Православные при своей холодности не заступались за своих единомышленников.

Негде было священникам приобретать воспитание, приличное их званию; они оставались в крайнем невежестве, и не могло быть речи о поучении народа. До такого презрения дошло звание пресвитера, говорит православный писатель Захария Копыстенский ⁴⁰, что честный человек стыдился вступать в него, и трудно было сказать, где чаще бывал пресвитер: в церкви или в корчме. Неудивительно, что даже самое богослужение от неведения искажалось, так что не стало в обрядах единообразия. Большею частью духовные не имели ровно ничего священного, кроме одежды во время богослужения да сноровки кое-как с грехом пополам отслужить обедню, в которой ничего не

* Плоты.

** Речные суда для перевозки хлеба.

понимали, ибо славянскому языку им негде было выучиться, и священник невольно еретическим образом объяснял непонятные слова писания. Один из современников выражается в таких чертах о невежестве духовенства, как высшего, так и низшего *: Некоторые из наших пастырей разумного стада Христова едва достойны быть пастухами ослов! Не пастыри они, а волки хищные, не вожди их начальники, а львы голодные, пожирающие овец своих. О, несчастное стадо! Как может быть учителем такой пастырь, который сам ничему не учился и не знает, чем он обязан богу и ближнему, когда он с детских лет занимался не изучением св. писания, а не свойственными духовному званию занятиями: кто из корчмы, кто из панского двора, кто из войска, кто проводил время в праздности, а когда не стало на что есть и во что одеться и нужда ему шею согнула, отогда он начинает благовествовать, а сам не смыслит, что такое благовествование и как за него взяться. Церковь наша наполнена на духовных местах мальчишками, недоростками, грубиянами, нахалами, гуляками, обжорами, подлипалами, ненасытными сластолюбцами, святопродавцами, несправедливыми судьями, обманщиками, фарисеями, коварными иудами!

Мудрено ли, что в век всеобщего прозелитства такие ловкие на диалектику проповедники, какими были иезуиты, не встречали себе достойного отпора, а обращаемых ими из православия некому было поддерживать в отеческой вере? «Из духовных греко-русской веры,— говорит современник,— не нашлось бы десятка во всей Руси, чтобы уметь объяснить: что такое таинство, чистилище, папская власть и пр., а когда владыки и игумены порывались показать свое просвещение, то возбуждали смех, когда какую-нибудь просто народную польскую или русскую поговорку приписывали какому-нибудь Солону или Пифагору».

При таком состоянии духовенства простой народ только по имени был христианским; а были такие, что без крещения оставались во всю жизнь. Народ жил своею старою жизнью, нераздельно от природы, без первоначальных понятий о сущности христианской религии. Как предки его за восемьсот лет — этот народ в XVI веке измерял время года и свою обыденную жизнь по языческим празднествам, и они были ближе его сердцу, чем христианские. Праздник рождества для него был празднеством колядок; новый год он праздновал языческим щедрым вечером; обряды с пирогами, похожие на древнее языческое богослужение Святовита, были ему знакомее и ближе к сердцу, чем водоосвящение церковное в крещение; на маслянице Русь праздновала языческого козла — встречу весны; пасха Христова была народу дорога не воскресением Спасителя, а шумным *волочинням* (теперь уже почти пропавшим): «выволочите это проклятое волочиння из ваших сел,— говорит монах-обличитель,— не хочет Христос, чтобы

* *Lament cerkwi wschodniej.* (Мелет. Смот.) ⁴¹.

в дни его славного воскресения были смех и дьявольское ругание»; на Георгиев вешний день народ отправлял шумное, веселое языческое празднество в полях с плясками, песнями, играми, к прискорбию св. великомученика и к утехе дьявольской, по выражению благочестивых; троицын праздник знали только по завиванию венков; в день рождества Иоанна Предтечи Русь тешилась языческим скаканием через огонь, на Петра и Павла — качелями, которые благочестивые люди честили названием виселиц; по окончании жатвы отправлялись языческие обжинки. Свадьба, по народному понятию, утверждалась не венчанием в храме божием, а заветными свадебными обрядами и песнями; память покойников почиталась не церковными за них молениями, а поставлением на могиле пирогов и яиц, шумными оргиями на кладбищах — остатками языческой тризны. Везде во всем еще господствовал языческий строй понятий и верований. Понятия о душе и загробной жизни сохранялись от времен отдаленных и почти чужды были христианского рая и ада. Русский поселянин воображал, что души умерших летают по деревьям, превращаются в деревья, в птиц, в зверей, блуждают по лесам, болотам и полям, а потом уходят в отдаленную страну где-то на востоке солнца; духовный мир населялся не христианскими ангелами и бесплотными духами, а теми безразличными существами языческого мирозерцания, которые назывались лесовиками, домовиками, болотяниками. Божество рисовалось в неопределенном образе верховной силы, без ясного сознания: является ли эта сила в одном или во множестве образов.

В дворянстве греческой веры развилась холодность к отцовской религии, переходившая часто и скоро в убеждение о превосходстве над нею других христианских вероисповеданий: православная церковь беспрестанно теряла своих членов дворянского происхождения. Во время Сигизмунда Августа, когда в Польше и Литве распространялась реформация, многие покидали веру отцов и принимали кальвинство ⁴² или арианство, другие хотя явно не переходили в иноверство, но оставались без всякой сердечной и нравственной связи со своею верою и почти так же были ей чужды, как и перешедшие в другую; коль скоро русский шляхтич получил воспитание или даже только воображал себя воспитанным, — у него понятия и чувства обращались к иному миру, и он старался быть чуждым православию. С тех пор как иезуиты накинули на Речь Посполитую свою католическую сеть, русские стали переходить преимущественно в католичество. Но прежде чем иезуиты не взяли господства над протестантством, последнее для православия было опаснее католичества.

В Южной Руси отцу семейства невозможно было найти учителя, который бы преподавал закон божий и первоначальные сведения, и родители поневоле поручали воспитание детей иноверцам, а те, по духу прозелитизма, общему тогда всем толкам, старались воспитанникам внушить предпочтение чужой вере. Такими учителями часто были кальвины, потому что пользовались добрым мнением о их нрав-

ственной деятельности. Князь Острожский с уважением отзывался о деятельности протестантов, у которых были школы, типографии, богадельни, больницы при молитвенных домах, а пасторы их отличались христианским добронравием; с сердечною болью князь противопоставлял им упадок церковного благочиния в русской церкви, невежество священников, материальное своеволие архипастырей, леность и равнодушие мирян к делам веры. «Мы к вере охладели,— говорил он,— правила и уставы нашей церкви в презрении у всех иноверцев, а наши не только не могут постоять за Божию церковь, но сами смеются над нею. Нет учителей, нет проповедников Божьего слова, повсюду глад слышания слова Божия, отступление от веры; ничто не утешает нас; приходится сказать с пророком: кто даст воду главе моей и источник слез очам моим».

Но эти слезные возгласы о запустении православной церкви не препятствовали, однако, тому же Острожскому в одном из писем к своему внуку Радзивилу * назвать кальвинов последователями истинного закона Христова (*wyznawcy prawdziwego zakonu Chrystusowego*). Ясно, что самый ревностнейший поборник православия мало надежды мог подавать на себя, когда произносил такие противные духу православия суждения об исповедании, которое, напротив, с точки православной должно было почитаться мерзкою ересью.

Острожский завел у себя школу, типографию⁴³, всех православных дворян побуждал делать то же. Но мало было охотников следовать его примеру, да и трудно было. Учителей негде было набирать на всю Русь. Своих нет; с Востока также получить нельзя было; в Московщине то же невежество; а приглашать иноверцев — значило губить веру. Естественно было поддаваться иезуитским внушениям и приходиться невольно к мысли о соединении с римскою церковью; иначе протестантство разъело бы до костей православную Русь.

Митрополит в 1590 г. (а по некоторым в 1591) созвал в Бресте синод для совета об улучшениях в церкви. Он жаловался, что константинопольская кафедра занимается по произволу турецкой власти, указывал на тягость зависимости от патриарха. С ним совещались: Кирилл Терлецкий, уже давно расположенный к латинству и настроенный, как кажется, краковским епископом Бернатом Мацеёвским, пинский епископ Леонтий Пелчицкий, холмский Дионисий Збируйский и львовский Гедeon Балабан. Все нашли, что было бы полезно для церкви исполнить ее древнее желание — соединения с западной. Тогда епископы, но без митрополита, составили запись, где изложили, что, по своему долгу заботясь о приведении своих порученных им богом овец к христианскому согласию, они желают признать власть римского первосвященника, если только божественная служба и весь церковный устав восточной церкви останутся ненарушаемыми вовеки. Это было первое и исходное дело унии.

* Имп. Публ. Библ., рук. польск. IV, № 223.

Митрополит уклонился от составления записи, давши епископам косвенно побуждения к ней; он показывал вид, будто ничего не знает, а когда ему сообщили, он стал играть роль упорного православного, которого надобно уговорить. Его наставники и руководители иезуиты писали к нему такое тайное нравоучение: «Велика будет честь вашей милости, когда вы воссядете рядом с примасом католического духовенства в сенате, яко первопрестольник Восточной Церкви; а это возможно только тогда, когда вы перестанете признавать власть патриарха, находящегося под влиянием неверных; иначе это было бы противно чести короля и коронным уставам. У вашей милости есть королевская привилегия, в Короне и Литве связи, родство, приятели;— вся католическая церковь станет за вас горою и никто не поколеблет вашего седалища. По примеру западных епископов и прелатов вы можете избрать себе коадьютора с тем, чтобы сделать его своим преемником. Ему будет готова привилегия его величества, лишь бы он пошел по следам вашим. Не смотрите, ваша милость, на ваше духовенство и на глупое упрямство неразумной черни. С духовенством вашей милости легко сладить. Заместите все вакансии людьми незнатными, чтобы они не кичились,— людьми простыми, которые бы от вашей милости во всем зависели, а упрямых, непослушных и противящихся вам лишите должностей и на их место назначьте достойных. Берите с каждого поборы, чтобы они не разжирили; подозрительных тотчас отсылайте в другие места. Недурно также иных под видом почести отправлять в далекие путешествия и посольства на их собственный счет. Вообще на попов наваливайте побольше налогов под предлогом общей пользы церкви; остерегайтесь, чтобы они не делали сходок и не собирали складчин без воли вашей милости; а тех, кто преступил это приказание,— запирайте в тюрьму. Со светскими и особенно с чернью ваша милость вели дело благоразумнейшим образом; так и вперед ведите и старайтесь, чтобы не было ни малейшего повода проникнуть ваши намерения, между тем передовые головы следует всевозможными средствами заманить и привязать к себе или лично, или через посредников, либо оказавши им какую-нибудь услугу, либо расположивши к себе подарками. Не вводите новых обрядов в церковь; обряды постепенно изменятся сами собою. Позволяйте себе диспуты и споры против западной церкви, чтобы таким образом затереть следы своего предприятия и не только черни, но и шляхте глаза залепить. Для их молодежи пусть будут особые школы; лишь бы они не запрещали детям своим посещать костелы и получать последующее высшее воспитание в школах наших отцов. Слово уния должно быть изгнано; нетрудно выдумать другое слово сноснее для человеческих ушей. Недаром остерегаются носить красное платье те, которые около слонов ходят, как рассказывают».

Послание это поручает митрополиту отвлекать православных от общения с протестантами. Оно оканчивается такими полными надежд выражениями: «Положимся на Бога, на бдительность его величества,

от которого зависит раздача церковных имений, положимся на ревность коронных чинов, которые, владея правом патронатства над церквями в своих имениях, станут допускать к отправлению богослужения одних униатов. Будем надеяться, что наш благочестивый и богобоязненный государь и преданный католической вере сенат станут стеснять отступников от католической веры в судах и на сеймах, и таким образом упорнейшие русские схизматики поневоле покорятся власти св. отца, а мы все законники (т. е. принадлежащие к ордену иезуитов) будем помогать не только молитвами, но и трудами»*.

Так и действовал митрополит до конца своего предприятия. Между тем установленные патриархами братства расширились и грозили епископам правом общественного мнения. Находясь под ведением патриарха исключительно, эти братства могли разрастись до того, что вся Русь находилась бы под непосредственною зависимостью и влиянием константинопольского патриарха. Владыки потеряли бы всякую тень самостоятельности; положение их было шаткое; по всякому доносу братств патриархи бы сменяли их; и потому они поневоле должны были находиться в самой непосредственной подчиненности патриарху и стараться делать все ему угодное. Это учреждение беспрерывно оскорбляло их, унижало их сан и значение епископов. «Как,— говорили они,— сходке пекарей, швецов, крамарей, седельников, кожемяк, неучам, не знающим ничего в делах богословских, дают право пересуживать суд посвященных церковью властей и делать постановления о церкви Божией!» Это казалось нарушением коренных оснований церкви, чистым протестантством.

В 1593 г. умер владимирский владыка Мелетий Хребтович-Богуринский, которого, как видно, не склонили к принятию унии. Тогда король поручил митрополиту посвятить на его место Адама Поцея, брестского кастеляна⁴⁴. Это было лицо совсем уже готовое для унии и теперь получившее епископский сан исключительно с целью вводить ее. Он происходил из знатной фамилии. Папский нунций Коммендонни обратил его из православия в католичество; потом, настроенный иезуитами, он снова обратился в православие с намерением посвятить себя делу унии. Чтобы заявить себя истинным православным, он в прошлом перед тем году заложил сам православное братство в Бресте, наподобие львовского. Король приказывал рукоположить его немедленно, уверял митрополита в учености и благочестии Поцея и избавлял от труда поверять королевскую рекомендацию. Права и обычаи церкви пренебрегались на этот раз, как уже не раз делалось. Бывши в марте месяце брестским кастеляном, находясь, таким образом, не только в светской, но даже в военной должности, в апреле Адам Поцей, нареченный в монашестве Ипатием, произведен в отцы великие.

Православные, ненавидя его, рассказывали впоследствии, что ког-

* Dzieje kośc. Helw. Łukaszewicza.

да его постригали в монахи и, по обычаю, вели в церковь в одной рубахе, то вдруг подул ветер и заворотил ему заднюю часть рубахи на голову. Это служило (так рассказывали, объясняли) предзнаменованием, что при этом срамовидном архиерее церковь божия испытает смуты и гонения.

Подобно митрополиту Рагозе, Поцей по возведении своем в сан епископа и прототрония (титул владимирского владыки) сначала не показывал явно, что думает об унии, и ожидал, пока обстоятельства позволят ему высказаться гласно, а между тем пытался расположить к этому делу Острожского. Согласие магната, имевшего силу в Южной Руси, столько же способствовало успеху, как несогласие могло вредить предприятию. Некоторые говорят, что Поцей был по жене родственник князя Острожского, и король, подставляя его на епископское место, имел, между прочим, в виду и это обстоятельство, но другие отвергают это известие. Как бы то ни было, Поцей был известен и близок Острожскому. Князь уважал его за хорошую нравственность, ученость и благочестие.

Поцей вступил с ним в переписку и задумал вести дело так, чтобы не зачиная речи об унии, Острожский сам высказался прежде об этом и пожелал унии, чтобы впоследствии можно было владыкам показывать вид, что не они сами замыслили унию, а пристали к желанию других светских панов. Способ этот сначала удался. Острожский, в своих письмах беседуя с Поцеем о мерах, посредством которых можно исправить церковный порядок, остановился на соединении восточной церкви с западною. Но уния в планах Острожского была не такова, какую готовили Руси иезуиты и их пособники. Острожский признавал православную церковь вселенскою, а не национальною, не исключительно церковью Руси, соединенной с Польшею. Острожский считал правильным соединение церквей только в таком случае, если бы к этому соединению приступили и в других православных странах. Поэтому он предлагал владимирскому епископу прежде всего отправиться в Москву поговорить с тамошним патриархом и с московским государем, а львовскому епископу ехать к волохам. Самое соединение с римскою церковью, по убеждению Острожского, должно совершиться с таким условием, чтобы не только восточная церковь оставалась при всех существующих обрядах, но для ограждения ее на будущее время надлежало постановить: отнюдь не принимать из греческой веры в римскую и не допускать приневоливать к принятию католичества, как это, по замечанию князя, случалось при браках. Острожский высказывал, что в его видах главная цель предполагаемого соединения есть основание школ, образование проповедников и вообще распространение просвещения между православными. Вместе с тем Острожский высказал, что на него оказали влияние протестанты; в письме к Поцею, где изложены были все эти предположения об условиях, на которых, по мнению князя, могло бы совершиться соединение церквей, было замечено, что следует также многое исправить и изменить в церков-

ном устройстве, обрядах, кое-что относительно св. таин и отделить от церкви человеческие вымыслы. Поцей, получив такое письмо, сейчас обратил внимание на это неправославное замечание и особенно на то, что касалось св. таин; он отвечал Острожскому: «Церковь восточная совершает таинства правильно; ни осуждать, ни исправлять в ней нечего» *. Он, таким образом, становился охранителем благочестия. Что касается до унии, то Поцей показывал вид, что принимает пока холодно желание других и именно Острожского. «Это великое дело,— писал он,— невозможно и не нашему веку суждено его исполнить; я не смею говорить об этом митрополиту, знаю, что он не расположен; а в Москву я ни за что не поеду; с таким посольством под кнут попадешь, а лучше ваша милость, как первый человек в нашей вере, старайтесь об этом сами у короля» **.

Владимирский владыка, давно посвятивший себя унии, в это время хитрил не только пред Острожским, но даже перед своими товарищами, притворялся, будто не знает ничего о том, что они совещались о соединении с римскою церковью, и встретившись с луцким епископом, как услышал от него об этих совещаниях, то показал вид, будто слышит что-то новое, поразившее его своею необычностью. Не он других склонял, а его самого приходилось убеждать, и луцкий владыка уговаривал его так: «Патриархам дорога отворена в Московщину; для великой милостыни они будут часто туда ездить, а едуци туда и оттуда и нас не минут; а как у них есть привилегии от покойного короля Стефана и от нынешнего господаря, то не забудут показывать над нами свою власть и станут нас возмущать: вот уже одного митрополита отставил, а другого поставил, обесчестил первого, да еще и братства установил; а братства будут гонители на владык; хоть чего и не будет за ними, они выдумают и обвинят; а, сохрани Бог, кого-нибудь и отрешат из нас... Какое это бесчестие! Сам посуди! Господарь король дает должности до смерти и не отбирает их за какую-нибудь мало-важную вину, разве когда кто смертной казни заслужит; а патриарх по оговору обесчестит и отнимет уряд! Какова эта неволя... Сам посуди!» ***

И владимирский владыка, как будто невольнo и мало-помалу, поддавался представлениям луцкого.

И львовский владыка также хитрил. Замечая, что русское дворянство не слишком показывает охоту к римской церкви, когда стали носиться неясные слухи о том, что епископы подумывают об унии и что, съезжаясь в 1590 г., они составили какое-то письменное определение об этом предмете, Гедеон говорил, что не знает, не ведает ничего,— его товарищи давали ему подписывать какие-то чистые пергаментные листы: он подписал, а что там пишется — он не знает.

* Antirr., 47 и далее.

** Ibid.

*** Перестор. А. З. Р. IV, 211.

Таким образом, благоразумный владыка оставлял для себя лазейку заранее, чтобы в случае неуспеха дела об унии на других вину свалить, а себя очистить.

В 1594 году митрополит с целью толковать о предполагаемом соединении назначил собор в Бресте к 24 июня, но примас королевства, управлявший делами в отсутствие Сигизмунда, который тогда уезжал в Швецию, запретил этот съезд на том основании, что сеймовою конституциею не дозволялось в отсутствие короля заводить такого рода собраний. Так как впоследствии оказалось, что Сигизмунд хотел, чтобы уния совершилась без собора и тем избежать споров, то, вероятно, и примас тогда поступил по воле короля, тем более, что Острожский хотел собора, а король рассчитывал, что участие Острожского и светских лиц на соборе не допустит повести дело так, как хотелось ему и иезуитам. Приехавши в Брест, митрополит застал там одного Поцея. Здесь, по совету с последним, он изрек приговор запрещенія на Гедеона Балабана под предлогом несправедливостей, которые он причинил львовскому братству, по жалобе, поданной львовскими мещанами, членами этого братства. Кажется, что митрополит сердился на него, подозревая, что он станет противиться его затеям. Но когда митрополит поражал Гедеона в Бресте, Гедеон поехал в Сокаль и там 27 июня съехался с владыками луцким, холмским и перемышльским: они совещались об унии. В декабре того же года представлено было королю два предложения: одно от митрополита, другое от владык, съезжавшихся в Сокале. Из них видно, что прежде положительного согласия на подчинение папе они хотели получить от короля побольше выгод для себя и обеспечить свое положение на будущее время. На первом плане ставилось сохранение уставов и богослужебных обрядов восточной церкви; затем иерархи хотели получить места в сенате наравне с римскими епископами, домогались, чтобы сделано было постановление посвящать по смерти епископа преемника ему по благословению папы, чтобы угрозы патриарха и проклятия, которых можно было ожидать, не имели силы, чтобы не дозволялось по Руси разъезжать греческому духовенству и волновать народ против русских архиереев и, наконец, чтобы была уничтожена самостоятельность братств и независимость их от епархиальных властей.

Узнал Гедеон о декрете, произнесенном на него митрополитом в Бресте, и подал в суд протестацию; он обвинял митрополита в незаконности его поступков, как за намерение созвать собор вопреки сеймовому определению, так и за декрет против него. Но потом Гедеон нашел, что лучше ему во что бы ни стало помириться с митрополитом, потому что у него был сильный домашний враг — братство львовское, которое ненавидело, обличало его и преследовало. Гедеон должен был где-нибудь искать опоры.

В январе 1595 года пригласили во Львов несколько архимандритов и игуменов и в том числе печерского Никифора Тура, супрасльского

Илариона Мосальского и дерманского Геннадия, да несколько особ белого духовенства. Они толковали об унии и положили просить митрополита привести к концу желанное дело. Митрополит был так доволен этим, что пригласил Гедеона к себе на свидание в Слуцк, восстановил его в достоинстве и написал к Острожскому, что львовский владыка известил его, что владыки предпринимают что-то недоброе против православия; по этому поводу он, митрополит, прежде низложивши Гедеона, опять возвел его в прежний сан во уважение к его преданности православной вере и в надежде, что он будет наблюдать над замыслами изменников и доносить ему обо всем.

Светским людям трудно было распознать правду в этой путанице. Где-то была опасность, измена, но где — неизвестно; владыки друг друга подозревают, каждый себя оправдывает, каждый порознь — блюститель православия, и каждый другого боится. Казалось, можно ли было чему-нибудь составиться в таком хаосе!

Вслед за тем митрополит назначает опять владыкам съезд в Кобрине, а между тем сам медлит: он ожидает, какой ответ произнесет король на предложения, представленные в декабре, он следит — какое положение принимает в этом деле канцлер Ян Замойский, которому он писал и просил покровительства, притом митрополит хотел как можно дороже продать правительству и латинству свою услугу. Поцей, ожидая его в Кобрине, писал к нему в таких выражениях: «Ваша милость сами подвинули нас на это дело, а теперь оставляете: если вы не приедете к нам в Брест, то отдадите нас на бойню; но знайте, что, погубивши нас, не воскреснете и сами» *. Митрополит, не дождавшись от короля ответа, должен был ехать в Брест. 12 июня неизвестно где составлено владыками письмо к папе с предложением унии; оно вручено было Поцею и Терлецкому; их избрали послами в Рим. На письме к папе были подписи Поцея, Терлецкого, Балабана, Збируйского, Копыстенского, пинского епископа Пельчицкого и кобринского архимандрита Ионы Гоголя; последний подписался на одном и том же письме два раза: кобринским архимандритом и нареченным пинским епископом. Заподозревается даже историческая действительность этого съезда на следующих основаниях: 1) Иона Гоголь подписался вдвойне архимандритом кобринским и нареченным епископом пинским, когда жив был Леонтий Пельчицкий и подписался на том же акте; 2) есть письмо митрополита к Скумину-Тишкевичу из Новогрудка от 14 июня; следовательно, митрополиту едва ли возможно было повидаться 12 июня в Кобрине или Бресте. Но на первое можно возразить, что Пельчицкий при жизни своей еще прочил Иону себе в преемники, и последний, желая удержать за собою вперед поступление в сан, подписался нареченным епископом. Второе же легко объясняется тем, что митрополит, как показывает его письмо к Скумину, желал перед этим паном скрыть свое участие в деле унии и написал, что не

* А. З. Р. IV, 93.

был на соборе, куда звали его, а потому письмо его подписано из Новогрудка, когда в самом деле его самого там не было. Напротив, письмо к нему Поцей из Кобрина, которое вызывало митрополита,⁷ показывает, что владыка без него не мог тогда окончить своего дела, а когда то дело, за которым его звали, было окончено с его подписью, то без сомнения, что и он был на соборе.

Владыки увидели необходимость во что бы то ни стало еще раз попытаться расположить к делу важнейших панов. Митрополит обратился к литовскому пану Федору Скумину-Тишкевичу, а Поцей к южнорусскому, Константину Острожскому. Митрополит отправил к Скумину-Тишкевичу копию с согласия епископов, где не было его имени; и прикидывался православным и неповинным, поставил, как сказано, на письме ложно из Новогрудка, жаловался, что все это настроил Кирилл Терлецкий, которому хочется быть митрополитом, и уверял, что сам он, митрополит, не приступит ни к чему решительному без воли и согласия пана воеводы.

Поцей, снова взявши на себя склонить Острожского, поступал с ним так же, как митрополит со Скуминым-Тишкевичем: начал с того, что выставлял себя православнее своих товарищей, роптал, что на него сочиняют небылицы — будто он хочет ввести в православное богослужение римские опресноки, и вообще перетолковывают в дурную сторону съезды епископов. Он прислал князю копию с предложения об унии и припомнил, что Острожский еще прежде духовных особ подавал мысль о соединении церквей, и если кто первый поднял речь об унии, так это он сам.

Не обманул митрополит Скумина. Тот отвечал ему: «Вы пишете мне, что это начинается от владык, мимо вашего соизволения. Но ко мне пришло известие, что у короля были послы от всего нашего духовенства, и прежде всего королю показывали на письме соизволение ваше. Я тому не верил; но ко мне прислана уже копия со статей о том, как быть этому соединению, утвержденным королем и отправленных назад от короля. А теперь вы моего совета требуете! Трудно советовать после того, как сговорятся и королю поднесут предложение, а король его утвердит. Мой совет теперь был бы напрасен, разве на смех» *.

Острожский отвечал Поцею суровее, чем Скумин митрополиту: замечал, что Поцей недостойн быть пастырем церкви, но присовокупил, что он, Острожский, сам и теперь, как прежде, не прочь от соединения церквей, только не иначе как посредством собора. Рассерженный на митрополита и владык за их хитрости, Острожский еще до получения известия о соборе, но уже зная, конечно, о сношении с королем, написал от 16 июня знаменитое послание ко всем христианам, где называл епископов волками и злодеями и возбуждал единоверцев стоять непоколебимо в отеческой вере. Острожский хотел в такое

* А. З. Р., IV, 96.

время помирить львовское братство с Балабаном, потому что только от львовского епископа ожидал отпора затеям других иерархов. Тогда Балабан, увидевши, что Острожский и вообще знатные и сильные дворяне не склоняются к унии, счел за лучшее еще раз и уже окончательно попятиться назад и оговорить товарищей открыто, юридически в том, о чем он прежде только распускал слухи, приготовляя себе на случай отступление.

1 июля 1596 г. Гедеон во владимирском градском суде подал в присутствии Острожского и многих русских дворян протестацию: в ней рассказывалось, что 24 июня 1590 г. Гедеон и с ним епископы пинский и холмский избрали из среды своей луцкого епископа ходатаем пред правительством по церковным делам и вручили ему четыре бланковых листа с подписью рук своих и с приложением печатей от каждого епископа. Луцкий епископ получил от них уполномочие написать и представить королю и чинам Речи Посполитой жалобу на утеснения, какие терпят последователи греческой веры в городах и селениях от католиков, которые часто не дают им отправлять праздничные обряды по уставам православной церкви; вместе с тем он должен был от имени всего русского духовенства изложить просьбу о сохранении прав и преимуществ, какими пользовалась издревле православная церковь в краях Речи Посполитой. После того, в 1594 г. июня 27 числа (рассказывается в той же протестации) владыки львовский, перемышльский (Михаил Копыстенский), луцкий и холмский собрались в городе Сокале. На епископов был тогда недоволен митрополит по наговору некоторых лиц; они посоветовались о своих делах и поручили снова луцкому епископу ходатайствовать за всех перед отцом митрополитом и просить его благосклонности и благословения, а вместе с тем дали ему снова четыре бланковых листа (четырех мамрамов) под своими печатями и с подписями рук своих «не на лишую жадную потребу одно абы на них писати до его королевской милости пана милостивого и до их милости панов сенаторов яко духовных, так и свецких о кривды и долеглости многие, которые ся деют з многих станов и особ законови и церквам светым релии греческое» *. Гедеон извещал, что потом до него дошло, будто луцкий владыка написал на данных ему мамрамах совсем не то, чего они хотели, а что-то нарушающее законы, права и преимущества церкви, и отправил написанное к королю и к духовным особам римско-католической религии; поэтому он, Гедеон, протестует против таких самовольных поступков луцкого владыки; со своей стороны, он ни луцкому епископу, ни другому кому бы то ни было отнюдь не доверял ничего такого, что бы могло клониться к нарушению древних постановлений церкви, и признает, что ни митрополит, ни епископы не имеют права без позволения старейшины своего, константинопольского патриарха, и без согласия собора, составленного не только из лиц духовного звания, но также

* Арх. Юго-зап. Рос., II, 455.

из лиц мирского звания греко-русской религии, приступать к каким-нибудь изменениям и нововведениям.

Геден, как показывают эти поступки, обеим сторонам угождал разом и обеим сторонам вредил. Перед сторонниками папской власти он имел право указывать на свою подпись в числе других епископов и выставлять себя участником соединения церкви русской с римскою; перед православными он мог указывать на свою протестацию и выхваляться своею верностью отеческой церкви. Та или другая сторона выиграет, — Геден спешил дать себе такое положение, чтобы во всяком случае выиграть самому, оставив себе возможность стать на торжествующей стороне.

Острожский, вооружая своими посланиями Русь против замышляемой унии, грозил даже употребить силу, если б нужно было, а у него была в распоряжении вооруженная сила; могло дойти до междоусобной войны: на стороне Острожского было политическое право; не только православные, но и дворяне других вер могли обвинять способ действия владык, потому что решать важные дела церковные, гражданские и политические можно было только общим согласием. Поцей видел крайнюю необходимость сойтись с могучим князем и остаться с ним в дружелюбных отношениях, по крайней мере до тех пор пока посольство не будет отправлено в Рим; не следовало подавать повода стране слишком резко и ошутительно заявить свое нежелание принимать церковное главенство папы, прежде чем епископы русские явятся пред лицом папы от имени всей Руси с желанием подчиниться ему. Поцей прибегнул к посредничеству князя Заславского и через него устроил с Острожским свидание в Люблине. Поцей не говорил Острожскому ни о существовании прежнего предположения об унии в 1590 году, ни о письме к папе, составленном недавно с подписями владык; он показал ему только предположение, составленное епископами в 1594 г. в Сокале, о котором и писал перед тем, и которое, как видно, написано было не так резко и решительно. Поцей клялся в своей искренней преданности православию и говорил: «ваша милость подали нам сами эту мысль; мы без вашей милости не думаем ничего делать; все в воле вашей милости; сами вы начали дело, сами его теперь и оканчивайте, а мы станем поступать по вашему указанию. Теперь вы можете это все счесть; как прикажете, ваша милость, так мы и будем делать».

Эти слова сопровождались слезами и поклонами; старый вельможа стал ласковее и говорил:

«Надобно стараться у его королевской милости, чтобы собран был собор; на этом соборе будем все стараться привести дело наше к окончанию, для славы Божией и для блага всего христианства».

Владыка владимирский расстался с князем дружелюбно и с его согласия поехал вместе с Терлецким к королю Сигизмунду III в Краков, как будто бы только для того, чтобы просить дозволения открыть собор.

Между тем, еще до приезда Поцея в Краков, король, узнавши, что все епископы подписали письмо к папе, издал универсал от 31 июля, извещающий о правах и преимуществах русских иерархов; кроме подтверждения старых прав в нем предоставлялось русскому духовенству пользоваться такими же знаками уважения, какие составляли отличие римско-католического духовенства в Речи Посполитой; учреждались при владыках капитулы, подобно как они находились при римско-католических епископах, запрещалось всем светским властям вмешиваться в церковные суды и церковное управление и повелевалось светским властям оказывать епископам всякое содействие по их востребованию. Король был уверен, что после подписи епископов дело слажено. Но когда Поцей и Терлецкий явились к королю и известили его, что Острожский слышать не хочет об унии иначе как при посредстве собора, и притом такого собора, где бы наравне с духовными имели голоса и светские, то Сигизмунд пришел в раздумье. С одной стороны, дозволить делу совершаться без собора — значило раздражить Острожского, а за ним и все южнорусское дворянство, на которое Острожский имел громадное влияние: подан был бы чрез то повод к ропоту на стеснение прав свободы убеждений, которыми еще так дорожило все шляхетское сословие; это могло бы поставить против унии не одних православных, но и все вообще шляхетство, даже горячих католиков, потому что и те были столько же католики, сколько свободные граждане польской Речи Посполитой. С другой стороны, дозволить собраться собору — значило дозволить светским обсуждать дело унии, а это значило подвергнуть дело это неизбежному разрыву: тогда начались бы нескончаемые толки; они бы отдаляли только возможность окончания; надобно было ожидать, что Острожский потребует, чтобы прежде сношений с папой снестись с восточными патриархами и с московским, а это могло бы пробудить усыпленные временем недоумения; к церковным вопросам примешались бы и политические, и вместо соединения произошли бы новые раздоры.

Таким образом, хоть так, хоть иначе, а Сигизмунду в обоих случаях было опасно; приходилось ему отложить дело еще на неопределенное время и оставить вопрос в таком положении, в каком он находился до тех пор.

Но Острожский сам дал повод Сигизмунду выйти из затруднения. Готовясь к созванию собора, Острожский отправил своего дворянина Лушковского в Торн на протестантский собор пригласить диссидентов к совместному противодействию католичеству. Послание, которое повез от князя Лушковский, написано в духе чрезвычайно благосклонном к протестантству и чрезвычайно враждебном к католичеству. Православный князь выразился так: «Все признающие Отца, Сына и Св. Духа, люди одной веры. Если б у людей было больше терпимости друг к другу, если б люди с уважением смотрели, как их собратия славят Бога каждый по своей совести, то меньше было бы сект и толков на свете!»

Он призывал диссидентов к общению с православными во имя свободы убеждений и совести. «Мы должны сойтись со всеми, кто только отдаляется от римлян и сочувствует нашим страданиям; идет дело о том, чтобы защищаться всем христианским исповеданиям против римских папезников, назвавших себя неправильно похищенным у нас титулом *католиков*».

Острожский даже не пренебрегал указывать в случае нужды и на возможность действовать оружием. «Если мы будем дружно сопротивляться и упираться, — писал он, — то его королевское величество не захочет допустить нападать на нас, потому что у нас самих может явиться двадцать и, по меньшей мере, пятнадцать тысяч вооруженных людей, а я не думаю, чтобы гг. папезники могли выставить столько же; если они могут превзойти нас в числе, то разве множеством кухарок, которых ксендзы держат у себя вместо жен. С нами сойдется много дворян из литовских, перемышльских, львовских, киевских, польских, белорусских земель; везде братья наши пришли в большую тревогу: идет теперь дело не об именах, не о делах, а о душах и о вечном спасении. Из мастерских и цехов люди также явятся».

Князь роптал, что король держит сторону папистов и не расположен к своим подданным других вероисповеданий; в письме к протестантам были такого рода выражения: «Его королевское величество, почтеннейший и благочестивейший государь наш не велит нам составлять с вами конфедераций, говорит: за это нам грех. Напротив, гораздо больше греха не держать присяги; не только христианские, но и неверные государи ее держат, коль скоро произнесут перед Богом. Монарх отвечает за нее жизнью или утратою короны. В Швеции, своем наследственном королевстве, его величество ничего не мог сделать, даром что папский легат венчал его на царство; а в нашей Короне люди более свободны, чем в Швеции... Его величество обязан держать присягу, данную им при своем вступлении на престол».

В то же время Острожский отправил посла своего по имени Грабкович к королю просить дозволения открыть собор. Но случилось, что содержание письма к протестантам сделалось уже известно королю. Предлог был благовидный отделаться от собора. Теперь во всяком случае королю должно было казаться невозможным согласиться на собор, когда светские члены этого собора готовятся явиться туда с вооруженным войском; это значило допустить в государстве междоусобие. Сигизмунд приказал (вероятно, подканцлеру) написать Острожскому, что король очень оскорблен его возмутительным посланием к еретикам, что Острожскому неприлично отзываться так дерзко и оскорбительно о короле и о вере, которую исповедует король. Замечено было, что и намек на кухарок также не понравился королю. Острожскому написали в том же письме, что его величество король сам готовился было собрать собор и уже хотел было дать знать князю о своем желании через пана Каменецкого, но после оскорбительного письма он не допустит этого, тем более что письмо Острожского к еретикам

не показывает ни малейшей склонности к соединению вер, напротив, дышит упорством в отщепенстве. Вместо собора король выдал универсал от 21 сентября ко всему русскому духовенству и народу. Он был писан, как в нем и объяснено, для того чтобы те, которые желают соединения церквей, радовались вместе с королем, а те, которые не выразили еще такого желания, дополнили бы радость короля, последовав примеру своих пастырей. Извещая о поездке иерархов в Рим, король напомнил, чтобы никто не объяснял этого в дурную сторону и не затруднял бы дела неправильными толкованиями. Но митрополит первый толковал неправильно это дело. Он по-прежнему не решался еще высказаться в истинном виде; напротив, когда уже повсеместно знали, что он отступник, явилось его универсальное послание от 1 сентября, где он ропщет, что на него возводят клевету: будто он намеревается вводить какие-то небывалые обычаи в русскую церковь, — а он на самом деле об этом не помышляет и ни за что не хочет пренебрегать патриаршим рукоположением. Спустя месяц после того Рагоза писал Острожскому, что хоть епископы и уехали в Рим, но он их от этого удерживал и уговаривал не предпринимать ничего без согласия со светскими*.

* Акты западной России, изд. Арх. комиссиею, т. IV; Архив юго-западной России, ч. III, т. I, 1863; Памятники киевской комиссии, т. I; Antirrhesis albo apologia przeciwko Krysztofowi Philaletowi który wydal xiążke imieniem starożytny Rusi religii greckiey. 1610; Skargi. O jedności kościoła Bożego. 1576; Smotrickiego. Lament cerkwi wschodniey. 1610; Skargi. Na threny i lamenty. 1610; Morachowski. Paregoria albo utulenie uszczypliwego płaczu. 1612; Antigrafi albo odpowiedź na skrypt uszczypliwy przeciwko ludziom starożytny Religii Greckiej od apostatów cerkwi wschodniey, wydany 1608; Захария Копыстенского Палинодия. (Рукоп. Имп. Публ. Библ.); Имп. Публ. Библ., рукопись славянск. № 243. Сочинение Иоанна из Вишни; Имп. Публ. Библ. рукоп. польская № 223. Письма Острожского; Ostrowskiego. Dzieje kościoła polskiego. 1793; Kojałowicz. Miscellanea rerum ecclesiasticarum. 1650; Jedność świata cerkwie wschodniey i zachodniey. 1632; Obrona jedności cerkiewney albo dowody którymi się pokazuje iż Grecka Cerkiew z Łacinską ma byc zjednoczona. 1617; Pocięja. Prawa i przywileje od najjaśniejszych królów nadane obywatelom Korony polskiej i W. X. Litewskiego Religii Greckiej w jedności z Sw. kościołem Rzymskim będącym. 1652; Stebelskiego Żywoty ss. Eufrozyny i Parascewij z Genealogia Xiążąt Ostrozskich. 1783; Kulżyński, Specimen Ecclesiae Ruthenicae. 1733; Antenlenchus to jest odpis na scrypt uszczypliwy zakonników cerkwie odstępnej. 1622; Volumina legum; Rostowski. Societatis Jesu Historia. 1669; Łukaszewicza Historia szkół w Koronie i Litwie. 1844—1851; Dzieje kościoła Helweckiego w Litwie. 1843; Krasinski. Histoire religieuse des peuples slaves; Baronii Annal. eccles., t. IX; Начало унии (см. моск. общ. ист. и древн. № 17); Полн. собр. лет. т. II; Шараневича история Галицко-Владимирской Руси. 1863; Wapowski Dzieje Korony Polskiej i W. X. Litewskiego. 1847; Reya Żywot człowieka poczciwego 1822; Górnicki. Dworzanin polski. 1822; Жизнь князя Курбского на Волыни. 1849; Szajnocha. Jadwiga i Jagęłło. 1861; Имп. Публ. Библ., автор. № 63 (рук.); Речь каштеляна Мелешки на сейме в Варшаве (рукоп.); Sacchini Historia Societ. Jesu; Преосв. Евгения. Описание киево-соф. собора и ист. киевск. иерархии. 1825; Engels. Geschichte der Ukraine. 1789.

II

БУНТЫ КОСИНСКОГО И НАЛИВАЙКА ⁴⁵

Между тем, когда православное шляхетство с сильным запасом внутренней слабости собиралось оказать противодействие католическому и королевскому произволу, в Южной Руси все более и более разверзалась под самим шляхетством пропасть, которая грозила со временем поглотить его. Казацкие своевольства делались чаще и шире. Надобно заметить, что произвол вообще в Польше начинал господствовать, когда после прекращения дома Ягеллонов утвердилось в Польше избирательное правление. С тех пор Польша начала расплзаться. Явились вмешательства иноземных держав; при избрании нового короля иноземные послы старались, чтобы поляки выбрали короля из того дома, которого они были представителями, или, по крайней мере, домогались вытребовать от Польши выгод для своих государств. Это производило между панамии партии; распри стали неизбежны в каждое бескорольевье. В описываемое время Польша пережила уже три бескорольевья, и партии под руководством важнейших панов становились друг против друга вооруженною силою. Времена бескорольевья давали возможность разнуздаться всяким страстям, всякому удалому порыву. Когда сменялись обычные суды, тогда все приходило в движение, вопросы волновали край, собирались *копы* то одна, то другая, иногда поддерживали такую безурядицу в стране, выходявшей из обычной колеи, в продолжение нескольких месяцев, приучали широкую свободу превращаться в своеволие: «можновладство» брало силу, стремилось к господству; шляхетство, хотя по правам равное с князьями и знатными панамии, на деле падало в зависимость от них; толпы шляхтичей проживали по дворам знатных панов и служили им в надворных командах; паны жили между собой несогласно, и кто только из них чувствовал за собой силу, тот порывался показать ее при первом случае. Поссорится пан с паном, собирает свою команду из шляхты и людей, делает наезд на имение соперника, грабит, увозит драгоценности, угоняет скот; нередко достается крестьянам, живущим в имении пана-соперника; своевольная команда, делая набег, не спускает молодежи и девушкам, иногда сожигает села; «паны скублись, а у людей чубы болили», говорит поговорка об этом старом времени.

Шляхетство сходилось с можновладством, иногда и косилось на него. Но против знатного панства и шляхетства равно становилось враждебно казачество со своим товарищесственным устройством, со своим равенством и со своим несочувствием к писанным постановлениям и актам, не признающее никаких прав, кроме вольной рады (ста-

рого веча), словом, с воскресшими и преобразившимися в иных формах, но в прежнем духе, вечевыми признаками старинной Руси — казачество грозило охватить своими началами всю Южную Русь. Его ядро продолжало находиться на Запорожье, но население Запорожья поддерживалось и увеличивалось побегами. Ограничение в Украине казачества реестрами не достигалось; кроме реестровых было повсюду множество называвших себя казаками. Это поддерживали сами панножновладцы, потому что держали у себя вооруженные толпы тоже под названием казаков. Тогда кроме запорожцев было три рода казаков: панские, реестровые ⁴⁶ (под начальством гетмана запорожского, имевшего официальную власть и над Запорожьем, которое, однако, слушало его только до тех пор, пока хотело) и, наконец, нерестровые — вольные, нигде не записанные, те, что в Московском государстве, где одновременно с Польшею и Литвою также возрастало казачество, назывались часто воровскими казаками, люди, в Польше преследуемые ревнителями порядка под именем своевольных людей: они наполняли и приднепровские степи, и Запорожье, и по Украине бродили вольными «купами». Шляхетство, хотя по сословному духу противное казачеству, поодиночно сближалось с ним: в толпы казацкие бежали шляхтичи, коль скоро были недовольны жизнью у пана или вообще не уживались в своем шляхетском земстве; и они тогда жертвовали своим происхождением казацкому равенству и братству. Люди политические много раз твердили, что расширение казачества опасно и для внешней безопасности, и для внутреннего спокойствия. Казаки нападали на турецкие пределы и, ведя непрерывные драки с крымцами, которые считались данниками Турции, возбуждали притязания со стороны Турции против Польши. Во время бескорольвья пред избранием Сигизмунда III среди распрей панов, готовых вступить один с другим в междоусобное сражение, принесли на сейм известие, что казаки самовольно взяли Очаков и разорили Козлов; Турция ропщет, жалуется на Польшу и грозит войною.

В сентябре 1589 года ворвались в Южную Русь полчища татарские, передовые полки турецкой завоевательной силы; их вел и указывал им дорогу поляк, шляхтич Белецкий; при Стефане Батории он уехал в Турцию и там ему по душе пришлось мусульманство, но тем не менее он все-таки хотел оставаться поляком и вернулся на родину в надежде, что свобода убеждений и вести дозволят ему почитать Мухамеда посреди христиан. Действительно, Стефан Баторий поступил с ним сообразно польскому свободомыслию. Король даже счел, что он будет полезный человек для государства, ибо знает по-турецки и по-татарски, соединен с мусульманами верою и обычаями и может с успехом быть употреблен в сношениях с Востоком. Король не только дозволил ему жить во владениях Речи Посполитой, но дал ему имение на Подоле. Однако явление это чересчур было исключительным; паны не потерпели, чтобы отщепенец от Христа (что было тогда несказанным злодеянием) жил между ними — и прогнали его. Белецкий ушел к

своим единоверцам и теперь вел их на свое отечество. Сигизмунда не было тогда в Польше; он уехал в Ревель для свидания с отцом, шведским королем. Татары пустились опустошать Червоную Русь. Их нашествие было стремительно и неожиданно, так что шляхта и не успела собраться с духом, с силами, чтобы отразить врагов. Кварцянское * войско стояло по квартирам в разных местах и собралось не прежде как тогда, когда татары уже порядочно разорили русский край. Сверх того, воеводы киевский и брацлавский, собравшись каждый со своим ополчением, ссорились между собою и не хотели соединиться вместе. Передовой отряд польского войска сразился с неприятелем под Баворовым, был разбит; много было взято пленных и в их числе были люди знатной породы. Особое перед другими счастье послужило тогда одному из них, пану Корыщинскому. Белецкий знал его прежде и по старой памяти выпустил.

Казаки расправились с татарами удачнее шляхты. Когда вслед за баворовской победой татары шли, раздробившись загонами, казаки один загон разбили в прах. Но едва они успели покончить с этим загонем, как на них нахлынула многочисленная орда. Казаки увидели, что нельзя справиться с неприятелем в поле; по своему обыкновению сейчас образовали укрепление из запряженных возов, связанных вместе, принялись стрелять, отбили приступы татар, которые потеряли в битве с ними много людей. Но это были только цветики. Услыхали поляки, что вслед за тем переправляется через Дунай сильное турецкое войско под начальством беглербега. Тогда Замойский (гетман и канцлер) отправился во Львов, поспешно приказал укреплять город, собирал и побуждал к вооружению панов русского воеводства, отправил гонцов в другие воеводства с убеждениями вооружаться и поспешить на помощь в русское воеводство, а католического львовского епископа Соликовского послал к архиепископу гнезненскому в Великую Польшу просить собрать тамошнее дворянство на конвокацию и уставить особый денежный сбор на составление войска, наконец, отправил к королю посланца и просил поскорее воротиться в Польшу. В письме к королю Замойский описывал плачевное положение Русской земли. Между тем к Замойскому прибыл Юрий Мнишек, воевода сандомирский⁴⁷. За Мнишком пришли его родные, Стадницкие; прибегала шляхта из русского воеводства. В Каменец послал Замойский гарнизон под начальством Язловецкого⁴⁸. Собравши несколько войска, Замойский пустил вести, будто у него войска чрезвычайное множество. Эти вести должны были по его распоряжению дойти до турок; в то же время Замойский отправил к беглербегу предложение приостановить военные действия, пока от короля и Речи Посполитой не придет посол для заключения мирного договора; и так как главный повод к вражде со стороны Турции были казацкие набеги, то Замойский

* Кварцянское — регулярное наемное войско в Польше, содержимое на четвертую часть доходов со старост.

тогда же послал обещание, что Речь Посполитая будет удерживать казаков от походов на Черное море. Беглербег, обманутый слухом об огромности польского войска, не пошел далее и приостановился. Нужно было поскорее воротить в Польшу короля, но с королем не скоро сладили. Отец не пускал его из Ревеля, как ни просили поляки. Отец хотел при своей жизни венчать сына на царство в Швеции, чтобы обеспечить за ним шведский престол. Поляки догадывались, что Сигизмунд — иностранец для Польши и подобно Генриху французскому чувствует, как тяжело ладить с вольными привычками поляков, а поэтому хочет улизнуть от престола. В самом деле, не привыкшему еще к польскому строю, недавно избранному королю шведского происхождения было душно в новой атмосфере; он рассчитывал, что гораздо лучше обеспечить себе корону отцов своих, чем бояться потерять ее и остаться в таком государстве, где королевская воля чересчур была ограничена. Сигизмунд и тогда, как несколько лет потом, думал уступить польскую корону австрийскому дому за выгодные условия для Швеции. В это пребывание его в Ревеле сенаторы, убеждая его воротиться, грозили, что иначе поляки приступят к новому выбору и, по всем вероятностям, выберут московского государя, а тогда соединение Московии с Польшею будет небезопасно для Швеции. Отнимется у ней не только Эстония, но и Финляндия. Сигизмунд и после этих представлений не хотел было возвращаться, ссылаясь на волю родителя, который хотел непременно взять его с собою в Швецию; он сдался только тогда, когда шведские сенаторы рассудили, что в самом деле плохо будет для их отечества, если поляки выберут в короли московского государя, и решились просить своего короля отпустить сына в Польшу. Как мало избранному королю в то время ложились на сердце опасности его нового королевства, доказывает лучше всего, что он, получив весть о татарах не в Ревеле, а еще на дороге в Ревель — в Вильне, не только не воротился назад, как бы требовалось от польского короля, но еще не стыдился просить денег на свое путешествие в Ревель. По возвращении Сигизмунда тотчас отправили в Константинополь послом Уханского. Сломав себе ногу на дороге, этот посол не мог ехать скоро и пролежал большую во Львове; только 22 ноября доехал он до Силистрии и там виделся с беглербегом. Турки и татары не останавливали военных действий, хотя не решались идти на Замойского; они сожгли и разорили Снятин, напавши на него во время торга. Сам беглербег не был заклятый враг поляков и в разговоре с Уханским выразился, что главная причина несогласия одни казаки; пусть только Речь Посполитая укротит их, не допустит более делать морских набегов, тогда твердый мир последует. Больной Уханский продолжал через силу следовать в Константинополь и как только приехал туда, тотчас и умер, 1 декабря. Оставшиеся его товарищи, Чижовский, Лащ и Мышковский, не имели от своего правительства полномочия продолжать посольство. Визирем был тогда Синан-паша, фанатический враг христианства вообще, а на Польшу за казаков был

зол особенно. Он объявил им такой приговор: «Выберите одного из вас и пошлите в Польшу; пусть что-нибудь одно выбирают поляки, либо через сорок дней пригонят нам сто коней, навьюченных серебром, и будут давать каждый год такую же дань, либо все пусть примут мусульманскую веру. А если не будет ни того, ни другого, так мы вас сотрем и землю вашу пустую сделаем; уже мы примирились с персами и государь их послал нашему в залог своего племянника; испанцы умоляют нас о мире; немецкий цесарь платит нам дань и теперь должен заплатить за три года разом все, что не уплатил прежде. Такова наша вера, чтобы все псы гяуры либо нам дань платили, либо нашей веры были! Ты, Чижовский, ступай в Польшу: ты не жирен; тебе легко скоро туда съездить!» Послы вздумали было сослаться на прежний мирный договор и просили послать от имени падишаха к королю и Речи Посполитой Чауша, но визирь свирепо закричал: «Вы, псы, нарушили договор; теперь либо дань платите, либо все в нашу веру поступайте». Поляки просили, чтобы им дали более продолжительный срок, сначала просили год, потом полгода; но им объявлено от имени государя: «Нет вам иного срока, только сорок дней. Есть ли у вас ум? Кто может со мной бороться? Персы меня боятся, венециане трепещут, испанец умоляет о пощаде, немец должен дать все, что я прикажу. Я на вас пошлю все татарские орды, молдаван, волохов, пашу будинского, темешварского, беглербега из Силистрии с двумястами тысяч войска. Сам пойду с войском, с тремястами тысяч. А вы еще думаете мне сопротивляться! Свет трепещет предо мною!» Опечатали имущество поляков, самих окружили стражею, и когда они осмелились сделать представление против такого нарушения посольского права, то им сказали: не противьтесь, иначе половина вас повиснет на крюке, а половина будет работать на галерах!

Чижовский был отпущен вперед и прискакал в Польшу в начале 1590 года, когда там начался сейм.

Сообщенное Чижовским донесение сделало ужасный переполох во всей Речи Посполитой. Постановили собрать поголовную подать со всех жителей Речи Посполитой, начиная от важнейших лиц — примаса, гетмана, воевод, до последнего хлопа, соразмерно состоянию и средствам каждого, так что высшая сумма приходилась на примаса — 600 злотых, на гетмана и воевод — по сто злотых, и кончалась одним грошем с бедных женщин и детей. Сколько с кого надлежало взять, было расписано на сейме без местной оценки имуществ. Тогда же постановлено было собрать посполитое рушение со всех воеводств. Казаки в числе двадцати тысяч были подняты на ноги. Так как для содержания этих сил недоставало ни поголовной подати, ни обычных поборов, то постановили еще сделать заем. А между тем, желая испробовать еще раз счастья, послали секретаря королевского, Замойского, родственника канцлера, в Турцию с предложением мира.

Замойскому в Турции помогло, во-первых, то, что ненавистник поляков Синан-паша был лишен визирства и на его место поставлен

Фергет-паша, который был согласнее на примирение, и, во-вторых, то, что случился тогда в Константинополе английский посланник, который сходил с турецким двором по поводу взаимной вражды — как Англии, так и Турции — к Испании. Этот посол уладил дело между визирем и Замойским. Постановили по-прежнему быть миру между Польшей и Турцией; Польша должна была заплатить сто соколов соболей за вред, который нанесли Оттоманской Порте казаки своими набегами. Таким образом отделались поляки от тучи, собиравшейся над их отечеством. Она тем казалась грознее, что поголовная подать и посполитое рушение еще прежде войны производили всеобщее неудовольствие.

После такой передраги естественно было принять более строгие меры к укрощению казаков. В 1590 году правительство принуждено было построить на Днепре город и поместить в нем вооруженный гарнизон для того чтобы прерывать сообщение Украйны с Запорожьем, чтобы, с одной стороны, украинские беглецы не увеличивали запорожской вольницы, нападавшей беспрестанно на турецкие пределы и подававшей повод к недоразумениям и вражде с Турцией; с другой стороны, чтобы из низовых степей не делали набегов на южнорусские земли, находившиеся во власти шляхетства. Начальником над этим гарнизоном поставлен был Николай из Бучача Язловецкий, староста снятинский; набрать гарнизон следовало из жителей разных держав (владений), находящихся при Днепре; соседи обязаны были давать этому гарнизону содержание по четверику муки с каждого двора.

Вообще о казацком устройстве состоялось на сейме такое строгое постановление. Казаки ограничиваются шеститысячным числом реестровых и находятся в зависимости от коронного гетмана. Их начальники и сотники должны быть непременно из шляхты. Без позволения гетмана они не смеют переходить через границы королевства ни водою, ни землею, не должны принимать в свое товарищество никого без воли своего старшого, а их старшой без воли коронного гетмана, а если б казак оставил службу, то другой на его место может поступать только тогда, когда старшой сообщит об этой перемене коронного гетмана, у которого должен найдется письменный реестр всех казаков. Не следует принимать в казаки ни в каком случае людей осужденных и к смерти приговоренных. Казаки не должны быть допускаемы в местечки иначе как с позволения старшого или сотника и притом с письменным от него свидетельством. Чтобы преградить путь своевольным людям наполнять казацкие ряды и составлять шайки, постановлено, чтобы старосты и державцы (т. е. князья и паны в своих родовых имениях) имели урядников, которых бы должность состояла в том, чтобы не пускать никого из городов и местечек и сел на низ и за границу, и если кто убежит и возвратится с добычею, у того добычу отнимать, а самого бродягу казнить; следует им наблюдать, чтобы никто из казаков никому не продавал пороха, селитры, оружия и живности

без позволения старшого, а добычи отнюдь. Непослушные и нестарательные урядники подвергаются наказанию наравне с своевольниками; также и владельцы, если бы против воли гетманской ходили в поле с войском, делали набеги на соседние земли и нарушали мир с соседями, подвергаются наказанию. Сейм учреждал дозорцев, двух числом, которые каждый в своем участке должны наблюдать, чтобы не началось какого-либо своевольства, о низовых казаках доносить гетману, а о тех, которые жительствоуют в панских владениях, уведомлять владельцев, и паны без всяких проволочек должны карать смертью как своих подданных, так и безземельную шляхту, состоящую у них на службе.

Эти меры не укротили казачества, а только раздражили и тем самым расширяли его. Казаки после того вздумали было идти на Молдавию. Нашелся какой-то самозванец, который назывался сыном бывшего господаря Ивонии; толпы казаков готовы были вести его на воеводство. Но Язловецкий стал с ними переговариваться и убедил выдать самозванца. Выданный казаками, он был послан в заточенье в Мальборк (Мариенбург). Тем не менее никогда до того времени не выказали казаки своей противности королевству и дворянству в такой степени, как это случилось после сурового сеймового постановления. Лишение казаков возможности вырваться вне государства обратило их удаль внутрь этого самого государства. Казаки, во-первых, были военное общество, а во-вторых, всегда, когда им представлялась возможность воевать, вольница наполняла ряды казацкие. Казачество расширялось прежде и было занято внешней войною, но коль скоро дорога к внешней войне была пресечена, то это вольное общество, естественно ища свободы своей деятельности, стало расширяться внутрь, стремилось захватить для себя возможно более поля в королевстве и сломить противоположные себе начала шляхетского строя. Казачество ударило на шляхетство и панство, на государственно-аристократический строй Польши, потому что эти начала ему мешали жить, так как оно им мешало жить своим ростом. Еще недавно умный и проницательный Стефан Баторий предсказывал, что из этих юнаков казаков будет самобытная речь посполитая. Теперь они именно к этому и стали выказывать стремление.

В 1593 г. явился у казаков гетманом Криштоф Косинский. Родом он был шляхтич русской веры из Подлясья. Как он попал в казачество — мы не знаем; равно неизвестно, какого рода казаками он первоначально начальствовал. Он кликнул клич, и к нему обратилась разнородная вольница Украины. Явилось много предводителей шаек и признало его предводителем. Как бы его ополчение ни составилось — оно считало себя и называлось казацким. Восстание распространилось разом по трем воеводствам южнорусским: киевскому, брацлавскому и волынскому. Старосты в киевском воеводстве послали против своевольных казаков отряд, но казаки разбили его. Казаки нападали на панские и шляхетские дворы. Вместе с золотом и серебром они за-

бирали непременно пергаменные документы дворян и истребляли их; казаки всегда были враги всякого писаного закона, всякого исторического и родового права. На то у них вольность, равенство, общий приговор; они ненавидели то, что поддерживалось привилегиями, — происхождение и право дворянской власти над людьми. В панских имениях и староствах рабы, почуяв, что можно сбросить с себя ярмо, помогали казакам нападать на панов.

В начале 1592 г. король, слыша, что восстание охватило всю Русь, выдал универсал, которым назначил особых комиссаров для розыска причин: откуда истекают эти страшные своевольства, какие люди волнуют народ; урядники городские и земские должны были помогать сыщикам доставлять сведения о беспокойных людях и самих их предавать суду, а отсутствующих записывать и преследовать после. Эта комиссия ничего не сделала. Косинский в тот же год овладел Киевом, потом Белою Церковью: там укрепления были в небрежении. Острожский, на попечении которого лежала эта обязанность, оправдывался тем, что доходы для поправки были недостаточны. Замечательно, что в долгое воеводство Острожского крепость киевская постоянно находилась в небрежении, и еще давно Сигизмунд Август укорял его за это *. В Киеве Косинский взял порох и все огнестрельное оружие, какое там было приготовлено. За Киевом и Белою Церковью покорились Косинскому другие городки. После занятия украинских городов Косинский стал выказывать умысел отторжения Руси от Польши. Казаки не только разоряли панские дворы, но брали и королевские замки и города и принуждали к присяге на свое имя; противников убивали и мучили. Шляхта воеводства волынського, собравшись в Луцке и Владимире в январе 1593 года, постановила: ввиду угрожающей не только им, но всей Речи Посполитой опасности прекратить все свои тяжбы и споры и ополчиться. Король оповещал всем вообще лицам шляхетского сословия воеводств киевского, брацлавского и волынського, чтобы все шли на сбор под Константинов для укрощения своевольства. В королевском универсале говорилось, что Косинский не только грабит и убивает, — всего важнее, он принуждает к присяге и послушанию себе людей шляхетского и мещанского звания, ополчается, таким образом, на достоинство короля и на всеобщее спокойствие государства. Дворяне спешили защищать и свои маетности, и свои шляхетские преимуществва. Сам Косинский с пятью тысячами вторгся в имения Острожского и опустошил их. Старик Острожский соединил под Константиновым прибывшую к нему шляхту, поручил идти на Косинского сыну своему Янушу. Историк Лубенский говорит, что у Януша была толпа мужиков и, сверх того, только шестьсот человек отборного войска — конных копейщиков, или гусар. У них на Воляни произошло несколько стычек с казаками; одолевали казаки. Теперь Косинский осаждал

* См. в коллекции собственноручных писем Сигизмунда Августа, хранящихся между автографами Имп. Публ. Библ.

город Пяток и там напал на него Януш Острожский. Сначала и на этот раз повезло было Косинскому: казаки разогнали острожан, но Януш двинул на них своих копейщиков на крепких конях, с длинными копьями. Они врезались в казацкие ряды и смешали их. Был тогда глубокий снег; казацкие кони были слабее шляхетских. Казаки не могли скоро бежать; их разбили. Говорят, что погибло их около 3000 и взяли у них двадцать пушек. Потом казаки предложили мир. Острожский объявил, что им даруется мир, но они должны сменить Косинского с гетманства. Составлен был договор. По этому договору казаки принесли повинную князю Острожскому, сознавали, что он всегда был благосклонен к их войску, а они, забывши эти благодеяния, наделали ему много зла и неприятностей, обязывались сменить Косинского и в продолжение четырех недель поставить нового предводителя, не делать более разорений в державах и маетностях князей Острожских, в имени князя Александра Вишневецкого и других панов, находившихся в ополчении Острожских, выдавать беглых слуг этих панов, возвратить вещи, взятые в их имениях, также возвратить орудия, забранные в замках, кроме Триполья, отпустить от себя челядь обоого пола, которая находилась у казаков, и пребывать в милости у этих панов. В исполнении этих условий присягнул Косинский 10 марта. Достойно замечания, что волынские паны, победившие его, постановили мирный договор с казаками только по отношению к себе, то есть к тем лицам, которые против казаков находились в битве, а не обязывали казаков воздерживаться от неприязненных поступков с другими панами. Следовательно, паны смотрели на ссору с казаками не так, как король, не так, как на государственное дело, а как на домашнюю распрю. Вероятно, проигрыш казаков не был очень велик, и они мирились с панами, чувствуя еще свою силу; иначе Косинского бы не выпустили живым.

Косинский, возвратившись в Украину, не хотел, по условию, отречься от начальства и замышлял снова набеги, думал проучить тех, которые подавали Острожскому помощь, и злился особенно на старосту черкасского Вишневецкого. Но Вишневецкого предупредили впопругу. Косинский вошел в Черкассы с четырьмястами, а по другим известиям, с тремястамипятидесятью человеками своих единомышленников; он думал овладеть Черкассами и ожидал, что к нему прибудет больше казаков. Но люди Вишневецкого убили его пьяного в том доме, куда он пристал. Весь отряд его перебили. Восстание Косинского повлекло новые стеснительные меры со стороны правительства. Сеймовою конституциею было объявлено, что те люди, которые осмелятся собираться самовольно в купы, чтобы делать наезды на чужие государства или производить бесчинства внутри своего королевства, считаются заранее врагами отечества; кварцянское войско может без особого предписания или судебного приговора укрощать их оружием, а старосты и державцы (вотчинники) имеют право громить и уничтожать их в видах охранения своих маетностей и не отвечают отнюдь

за убитых. Сверх того, было поставлено, что всякий, поймавший беглого слугу или холопа, имел право оковать его и приневолить к своей работе, с тем что когда пан этого беглого потребует, то передержчик обязан возвратить, получив от пана 12 грошей. Эти постановления давали чересчур широкие поводы ко всевозможнейшему произволу и не только не могли прекращать своевольтв, но умножали их. Одни наполняли ряды казаков сверх реестра; другие скрывались в днепровских пустынях, готовые на первый клич мятежа явиться в Украине; третьи составляли своевольные шайки в Украине.

На Угрию напали турки. Император Рудольф ⁴⁹, чтобы отвлечь силы своих неприятелей, подослал к казакам возбуждать их напасть на турецкие владения. Агентом императора в этом случае был некто Хлопицкий; прежде он служил у короля Стефана Батория коморником, потом перешел к запорожцам, сделался у них полковником; и неизвестно, по желанию ли запорожского коша или по собственному побуждению, отправился к императору Рудольфу, представил ему об охоте казаков служить императору, а потом от имени императора привез в Сечь знамя, цесарскую грамоту и деньги 8000 червонцев *.

Казацкий гетман Григорий Лобода повел казаков на Дунай и разорил Джурджево, где происходила большая ярмарка, знаменитая в оное время на юго-востоке Европы. Казацкие загоны рассеялись по окрестностям и разоряли селения. Уловка Рудольфа клонилась к тому, чтобы запутать Польшу волею-неволею в войну с Турциею, в союз с империею. По этому поводу он отправил посольство к Речи Посполитой, просил не пропускать татар чрез польские владения в Угрию и предлагал союз против Турции. В то же время прибыл и турецкий чауш, просил пропустить татар через земли Речи Посполитой, жаловался на казаков и требовал не допускать их делать вред турецким областям. Тогда еще король не воротился из Швеции, куда уехал по смерти отца. Примас и сенаторы воспользовались предлогом, что короля, главы государства, нет в государстве, сказали ни то ни се обоим враждебным между собою посольствам, а императору поставили на вид, что Речь Посполитая очень недовольна за то, что он поднимает казаков против Турции и хочет против собственной воли Польши втянуть ее в войну; Польша вовсе не хочет нарушить мира с Турциею и мешаться в чужие распри; что касается до пропуска татар, то Польша по той же причине не позволит им проходить, тем более что они стали бы разорять ее собственные области.

Чаушу дали ответ самый миролюбивый, уверяли, что Польша желает сохранить навсегда соседственное дружество с Оттоманской империей, но отклоняли требование пропускать татар; о казаках сказали, что правительство прикажет пограничным старостам надзирать

* С ним вместе приезжал в Украину и в Сечь Эрих Лассота ⁵⁰, оставивший любопытный дневник, представляющий важные сведения как о географии тогдашней Украины и Запорожской Сечи, так и о чертах общественного быта запорожцев.

над спокойствием края и не пропускать казаков в турецкие владения; но это народ своевольный: трудно за него поручиться. При этом поляки заметили, что татары делали нападения и опустошения в землях Речи Посполитой: этим хотели показать, что если турки имеют право жаловаться на своеволие Лободы, то Польша могла роптать на своеволие татар, и, таким образом, взаимные равные притязания уничтожают взаимно одно другое. Но этим не удовлетвоались мусульмане. Синан-паша, бывший визирь, повел войско в Угрию, разбил эрцгерцога Маттиаса на переправе через Дунай, взял Яворин, потом Паппу и в конце октября осадил Коморну. Загоны татарские опустошали край до Вейскирхена близко Вены; на жителей Австрии, Моравии, Чехии напал такой страх, что думали — приходит всем конец. В это лето татары вошли в Волощину: казаки было погнались за ними, да не догнали. Из Волощины татары ворвались в польские владения в Покутье, взяли Снятин, Жуков, Тлумач, Цецибисы, Тисьменицу. Галицкий замок защитил воевода бельзский, Влодек. Татарские загоны сожигали села, убивали тех, кого не хотели брать, и брали в неволю женщин и девушек. Ту девицу ведут привязавши к коню, другую привязавши к возу (живописует такой набег народная песня). Та плачет и кричит: Боже мой, коса моя, коса моя желтенькая! не матушка тебя расчесывает — татарин бичом растрепывает! Другая плачет и кричит: Боже мой, ножки мои! не матушка их моет: песок пальцы разъедает, кровь пучки обливает!

Паны были виноваты в этом неожиданном несчастье. Замоийский предостерегал всех; можно было ожидать, что не простят неверные похода Лободы; а на границе не было поставлено войска, не взято мер к обороне. Замоийский выступил против татар тогда, когда они уже успели наделать бед в Червоной Руси. К Замоийскому присоединились брацлавский воевода Януш Збаражский, сандомирский воевода Юрий Мнишек со своими ополчениями. Татары взяли Калюжу и Долину и приблизились к Самбору, владению Мнишка. Поляки остановились под Самбором; Замоийский велел окопаться и намеревался здесь удерживать татар и отбиваться от них, пока не подойдет войско под начальством польного гетмана Станислава Жолкевского⁵¹. Татары наткнулись на поляков и также окопались, но только для того чтобы обмануть поляков; они довольно уже ограбили польские владения, через которые проходили только мимоходом, не хотели вступить в сражение и думали, как бы уйти из польских владений. Цель их была Угрия. Они натыкали значков по окопам, побросали хромых лошадей в окопах: полякам могло показаться, что окопы остаются заняты, а сами татары тихо ушли к угорской границе. Поляки целые сутки не узнали, что врагов нет, а узнавши, что их нет в окопах, не тотчас проведдали, по какому пути они отправились, наконец, осведомились, что татары выбрали путь самый тесный и неудобный, через Бескиды на Густов. Замоийский погнался за ними, но не догнал; русские пленники-хлопы прочищали татарскому полчищу дорогу: за это некоторых

татары отпустили, а других изрубили в благодарность за труды. Польские войска по следам татар перешли через Бескиды и очутились на Семигородской земле. Замойский, положивши не мешаться в дела Угрии, не счел уместным преследовать татар на чужом поле и воротился.

Это происходило летом 1594 года, а в следующую за летом осень, как выше было сказано, турки встрясли Угрию: татары, проходившие через польские владения, помогли туркам опустошить Угорский край.

Проводивши от себя татар, поляки вновь должны были ожидать этих гостей. Татарам приходилось ворочаться тем же путем, а потому полякам нужно было принимать меры, чтобы их побить на повороте. Мир с Турциею был нарушен. Польша хоть и не вступила с императором в союз, как бы хотелось последнему, но все-таки он заставил ее действовать ему в угоду, ибо теперь Польша имела одних с ним врагов. Ожидая, что татары пойдут назад через Червоную Русь, паны южно-русские: Острожские (отец, старик Константин с меньшим сыном Александром, воеводою волынским), князь Збаражский, воевода брацлавский; князь Заславский, воевода подляский, Юрий Мнишек, воевода сандомирский (защищавшие в Южной Руси свои имения) стали у Бескидов, с тем чтобы перерезать татарам путь и наказать их за опустошение Руси. С другой стороны, Язловецкий, которого король в 1590 г. поставил начальником новопостроенного Кременчуга, подал правительству мысль напасть на Крым и сам взялся исполнить ее, а для этого пригласил казаков. Таким образом, когда Замойский готовился поражать татар у подошвы Карпат, Язловецкий собирался их громить в самом их гнезде. Но татары, бывшие в Угрии, не пошли назад через польские владения, а возвратились через Волощину прямо. Замойский с панами, собравшимися к нему, стоял на границе всю осень и часть зимы и воротился уже в конце декабря. Язловецкому еще менее удалось отличиться: казаки пошли было с ним; но они на дороге отстали от Язловецкого и самовольно пошли в Волощину. И на этот раз подстрекательство к ним было, как прежде, от императора Рудольфа. Казаки сожгли Тегинь (Бендеры), не могли, однако, сладить с крепким замком в этом городе, рассеялись загонами по Молдавии, обратили в пепел более пятисот поселений, взяли в полон до четырех тысяч татарского и турецкого населения обоего пола и воротились домой. Но на переправе молдавский господарь с 7000 своего войска соединился с татарами; на переправе отгромили у казаков всю добычу. «Смотрите же, — кричали молдаванам казаки, — мы делаем вам пакость; даем вам рыцарское слово и сдержим его!» Они соединились с самим гетманом Лободою, снова ворвались в Молдавию, догнали молдавского господаря и сдержали свое рыцарское слово: разбили его и потом воротились в Русь. Язловецкий после отхода от него казаков не мог продолжать своего предприятия. Он воротился, и ему было очень стыдно и досадно после того как он так само-

надеянно собирался в поход; и эта неудача так его потрясла, что он скоро умер от скорби.

Полчище казаков после молдавского похода стало в Брацлавщине. То было осенью 1594 года. Начальствовал им Северин Наливайко. Он был предводителем вольницы, а не реестровых казаков, но был в ладах с Лободою, гетманом реестровых, как показывает их совместный поход в Молдавию. По современным известиям, родной брат его Дамиан⁵² был попом в Остроге; с ним жила мать его, сестра и брат. Служа у князя Острожского, он воевал против Косинского и бывших с ним казаков. Но после смерти последнего помирился с запорожцами, отдавши им на мировую целый табун отбитых им у татар лошадей. У него уже была заклятая ненависть к панам, возбужденная семейным делом. У отца его был грунт (поземельное владение). Пан Калиновский в Гусятине отнял имение Наливайкова отца и самого хозяина так отколотил по ребрам, что тот умер от побоев. Наливайко, ожесточенный против панского произвола, задумал продолжать дело Косинского и поднять восстание против шляхетского строя Польши. Мещане брацлавские сочувствовали ему и впустили казаков в город. Казаки стали собирать стацію, т. е. лошадей для подвод, да волов и коров для пропитания себе. Брацлав был отнят у старосты Струся и передан во власть казацкого гетмана Лободы; от всех окольных владельцев потребовали стацію. Шляхтичи, полагая, что казаков немного, храбрились и через посланного Цурковского такой ответ послали: мы не станем давать стации, чтобы нас не причли к вашим пособникам. Цурковский имел поручение — мещан отвернуть от казаков; но казаки задержали его. Был тогда октябрь месяц. Приходило время отправлять *судовые рочки*: шляхта съезжалась в свой поветовый город для решения тяжб и для рассуждения вообще о своих делах. Шляхта поэтому была в сборе и должна была ехать в Брацлав. Не дождавшись своего посланца Цурковского, собрание шляхтичей, ехавшее на рочки, двинулось к Брацлаву и остановилось неподалеку ночевать на земле брацлавского хорунжего. Вдруг мещане города Брацлава со своими выборными родовыми чинами — войт, бурмистр, райцы — все, что составляло законное правительство в городе, нападают на дворян, а с мещанами — и Наливайко со своей шайкой; захваченных врасплох бьют, мучат; одного из них до смерти истязали, других ранили, того острием оружия укололи, того дубиной огрели; всех разогнали; имущества их забрали себе.

В эту осень Лобода женился и притом по-казацки. У некоего Оборского жила в доме родственница жены его, сирота. Она приглянулась Лободе, и родственники-воспитатели против ее воли отдали девицу насильно за казацкого гетмана. Не надеялись знавшие близко Лободу никакого счастья из этого брака, да и самое положение казацкого вождя не представляло тогда ничего прочного. После своей женитьбы Лобода отправился в Волощину. И Наливайковы казаки вышли из Брацлава; одни говорили тогда: пошли они к волохам, другие — к

черкесам. «Куда бы они ни ушли, лишь бы от нас подальше были», — писал о них Константин Острожский своему зятю.

Казаки пограбили Волощину и воротились в Украину. Наливайко со своею шайкою отправился в Семигородскую землю. В придунайских краях завязывалась тогда путаница. По наущению Сигизмунда Батория, семигородского князя, сторонника и родственника Габсбургов, молдавский и валахский господаи покусились освободиться от вассальной зависимости Турции. Этим союзом руководила Австрия, которой было в то время выгодно и подручно поднять против Турции врагов около себя как можно поболее. Двое союзников послали послов своих на польский сейм 1595 г. Но Замоийский неохотно погнался за этим предприятием. Постоянный противник союза с Австрией, Замоийский не видел, чтобы силы Речи Посполитой были достаточны для решительной борьбы с оттоманским могуществом. Прежде надобно было устроиться и приготовиться. Но главное, что, по мнению Замоийского, тогда нужно было прежде всего сделать, это — укротить казацкие своевольства и лишить казаков возможности нападать на соседей и бесчинствовать в государстве. Замоийский не терпел их и при всяком случае твердил о необходимости держать их в строгости. Сеймовые послы также неохотно поддались на убеждения и не согласились наложить на шляхту большие поборы, каких бы потребовало ведение войны. Но во всяком случае, нельзя было оставить дела придунайского княжества без всякого внимания по отношению к Польше. Замыслы румынских господарей должны были произвести перевороты слишком близко к ее границам. Можно было предвидеть, что в неравной борьбе румынов с Турцией победителями останутся турки; Замоийский считал опасным, если турки покорят Валахию и Молдавию и уничтожат их автономию.

До сих пор эти два княжества по крайней мере не давали сходитьсь непосредственным турецким границам с польскими. Молдавия считалась в вассальной зависимости от Польши и, по всей справедливости, не следовало смотреть на ее судьбу равнодушно. Сверх того, если война начнется в придунайских княжествах, то надобно было ожидать, что пойдет туда орда и может снова зацепить пределы Речи Посполитой. Поэтому Замоийский счел нужным идти с войском на границу, чтобы не допускать хана. Он приглашал было идти к нему с войском Лободу. Казацкий гетман сначала показывал вид, будто хочет того же. Весною он писал Острожскому, что казаки пойдут заодно с молдавским господарем против врага Христова.

Но когда Замоийский потребовал его к коронному войску не для того чтобы тотчас начать войну, а только для того чтобы оберегать границу, то Лобода не захотел. «Так я приказываю, — сказал Замоийский казацким посланцам, — не смейте, казаки, беспокоить Турции. Я вам это запрещаю».

Когда Замоийский дошел до молдавской границы, в Молдавии произошел переворот.

У молдавского господаря Аарона был угорский полк, а над ним начальником был Розван; отец его был цыган, мать валашка. Стакавшись с семигорским князем, Розван изменнически схватил Аарона с женою и детьми и отослал к семигорскому князю, себе захватил его богатства, провозгласил господарем Сигизмунда Батория, а сам стал властвовать в Молдавии как его наместник. И семигорский князь, и Розван просили Замоийского помогать им против турок. Замоийский отказал обоим. Вслед за тем молдавские бояре, не желая повиноваться Розвану и страшась турок, просили Замоийского дать им господаря от руки польского короля. Тогда Замоийский вошел в Молдавию и по желанию молдавских бояр посадил в Яссах господарем Иеремию Могилу из знатных бояр молдавских.

Был октябрь 1595 г.

Находили татары. Замоийский окопался при Пруте, у Цеоры, и приготовился встречать татар боем, если нужно будет. Но когда подошли неприятели, то он предложил турецкому санджаку, бывшему с ханом, войти в переговоры с Польшею за Турцию, отдельно от хана. Турок согласился, и тогда заключен был очень выгодный для Польши договор.

Турки оставляли молдавским господарем того, кого поставил Замоийский, и татары должны были выйти из Молдавии. Причиною такого удачного дела было то, что хан с ордою поспешил в Молдавию прежде, чем мог соединиться с турками.

Турки не принялись как следует за это дело, потому что у них в Диване была рознь. Хан с ордою не решался на войну с Замоийским в чужой земле; подходила осень, и татары могли лишиться продовольствия; у татар притом было в обычае на зиму уходить в свои жилища. При договоре была речь о казаках. Турки извиняли набеги татар на королевство тем, что на турецкие владения нападают казаки, и требовали укротить их, чтоб не было более поводов к войнам. «Казаки,— отвечал Замоийский,— поступают не по королевскому повелению; они люди своевольные, делают много зла и королевским подданным. Король не станет более их терпеть и пошлет на них своих людей».

Замоийский воротился зимою в отечество и застал там казацкое возмущение в разгаре. Наливайко возвратился из Семигорья осенью 1595 г. и открыто пошел против Польской короны. Его возмущение принимало уже религиозный оттенок, хотя в слабой степени. То было время, когда владыки собирались ехать в Рим и по Руси распространились слухи о подчинении русской церкви папе; некоторые были за нововведение, другие горячо восставали; читалось послание Острожского и возбуждалось православное благочестие. Злоба казаков к знатным и богатым привлекала к ним все мелкое и угнетенное — теперь они могли надеяться на большое народное сочувствие, когда прикрывали свои своевольства знаменем веры. Есть вероятие, что сам Острожский если не покровительствовал явно мятежу, то смотрел на

него сквозь пальцы, по крайней мере насколько своевольники могли пугать отщепенцев православной веры. Наливайко вступил на Волынь, напал на Луцк и ограбил его так, что впоследствии Сигизмунд по просьбе луцких мещан, в уважение к разорениям, понесенным от казаков, простил им годовую плату чопового *.

Луцк был епископский город; здесь были сторонники и слуги епископа Кирилла Терлецкого, и на них особенно обратилась казацкая злоба. И в Луцке, как и в других городах, Наливайко находил себе друзей. Посещение казацкое подняло в городе и в окрестностях дух своеволия. Наливайко зазывал к себе охотников в казаки; составлялись сотни, избирались сотники и атаманы. Кто не хотел потакать казачеству, того грабили. Сам Наливайко отправился на север в Белоруссию. И там восстание находило себе сочувствие; панские слуги и крестьяне сбегались в казацкое полчище.

Наливайко напал на Слуцк так неожиданно, что тогдашний владеец Слуцка, Гиероним Ходкевич, каштелян виленский, не успел принять мер к обороне. Наливайко взял город и замок и наложил на мещан пять тысяч коп литовских в свою пользу. Узнавши о казацком нападении, гетман литовский Криштоф Радзивилл оповестил по литовским поветам, чтобы шляхетство собиралось для изгнания и укрощения мятежников. Наливайко не дождался прибытия шляхетской силы в Слуцке, взял в слуцком замке восемьдесят гаковниц и семьдесят ружей, роздал своим, ушел из Слуцка и напал на Добрушку. За ним гналась пехота литовского гетмана и слуги Ходкевича; несколько казаков, вероятно, отсталых от войска, было убито. Наливайко повернул к Могилеву. Там о казаках уже слышали и приготовились к обороне; казакам дали отпор, да не выдержали: 30 ноября казаки взяли город приступом и много людей перебили. Литовский гетман пошел на Могилев с войском и некоторыми панами, у которых были ополчения, набранные из волостей. Они осадили казаков в Могилеве. По словам самого Наливайка **, паны зажгли Могилев, чтобы в нем погубить казаков; по известию Бельского ⁵³, его зажгли сами могилевские мещане, чтобы не допустить Наливайка защищаться в стенах города и заставить его поскорее убраться в чистое поле. Казаки хотели погасить огонь, но никак не могли.

Наливайко должен был вступить в легкую стычку с передовым отрядом литовского войска; он не дождался Радзивилла, у которого было тысяч четырнадцать, и поспешно пошел к Волини. Остановившись в Речице, Наливайко отправил королю письмо, оправдывал себя и представлял дело свое так, как будто казаки, воротившись из Угрии (где они не хотели более помогать семигорскому князю, услышав, что он поставил себя в неприязненное отношение к Замойскому,

* Подать с напитков.

** См. письмо его к королю, напечатанное в сборнике Платтера *Źródła do dziejów polskich*.

находившемуся тогда в Молдавии), хотели отдохнуть и поесть хлеба на обычном казакам днепровском пути и прошли через литовские земли, но паны напали на них и хотели погубить. Вместе с тем Наливайко предлагал королю отвести казакам землю для поселения между Бугом и Днестром на шляху татарском и турецком, между Тегинем и Очаковом, на пространстве двадцати миль от Брацлава, где от сотворения мира никто не обитал; пусть-де казаки там построят город и замок и живут себе; затем уже никому не должно, кроме реестровых и запорожцев, называться казаками; а хлопам следует обрезать за своеволие уши и носы; над поселенными в этой пустыне казаками будет начальствовать гетман, который никак не должен сам ездить по королевству и посылать кого-нибудь от себя собирать станции, но может посылать для покупок за деньги, и то непременно водой, а не сухопутьем. Король пусть дает казакам сукна и деньги; себе Наливайко просил награды, если условия понравятся королю: хотел, чтобы отдавалось ему то, что давалось татарам. Казаки за это обязываются помогать Речи Посполитой против неверных и против князя московского, добывать языки и исправлять караулы на свое иждивение.

Народ повсюду начинал более сочувствовать Наливайку. Даже шляхтичи, недовольные почему-либо окружавшим их порядком вещей, приставали к казакам. Наливайко, возвращаясь из Белоруссии, напал на Пинск, и тут вместе с ним заодно был один из шляхтичей, фамилии Гедройтов.

В Пинске владыка луцкий, отъезжая в Рим, спрятал, через посредство своего брата Яроша, у мещанина Григория Крупы свою собственную ризницу с дорогами принадлежностями епископского служения и два пергаментные документа, которым давал большую важность,— на них были подписи луцких священников и некоторых светских особ. Вероятно, это были приговоры согласия на унию. Казаки наехали на дом Крупы, разграбили его и взяли епископские вещи и документы. Потом Наливайко с Флорианом Гедройтом напал на имения брата Кириллова, Яроша, и двор Отовчичи; ограбили панские дворы и забрали золото, серебро, лошадей и также пергаментные листы, из которых некоторые заключали права на разные имения. Казаки и теперь, как всегда, любили особенно похищать письменные *права*, чтобы уничтожить их. «Это,— говорит в своей жалобе Терлецкий,— они мстили брату моему епископу за то, что он в Рим поехал». Казакам помогали пристававшие к ним пинские земяне, и один из них, Кмита, указывал Наливайку путь на дворы Терлецкого. На Волини держали сторону мятежников некоторые дворяне; между прочим, князь Януш Вороницкий давал в своем имении Омельнике притон сподвижникам Наливайка; другой сообщник был из значительной в то время фамилии Гулевичей, именем Александр. Как в Пинском повете мстили за возникшую унию на имениях епископа луцкого, так в Луцком доставалось старосте Александру Семашке, также одному из руководителей унии.

Семашко через своих урядников судебным порядком жаловался на атаманов новопоставленных шашек и на брата Наливайка, попа острожского Дамиана, будто они нападали на его имения Коростешин и Тучин, грабили дворы, уводили у людей лошадей, коров, брали платье, обувь, орудия, возы, упряжь, съестное; многих женщин казаки изнасиловали и двенадцати человекам резали уши. До смерти не убивали никого.

Подозрение падало и на самого Острожского. Поп Дамиан жил у него в имении. Служебник урядника тучинского ездил с возным в Острог. Возный показывал, что тогда у попа Дамиана оказались лошади с пятном хозяина — Семашки, захваченные в Тучине, что поп Дамиан начал ему *около губ кивать* и схватился было за кий, а Боровицкий, острожский урядник, сказал им: «уезжайте отсюда, а то беда вам будет». О справедливости этих показаний можно сомневаться; впоследствии были казнены многие преступники, но не видно, чтобы тогда был подвергнут суду поп Дамиан. Острожский в своих письмах к зятю Радзивиллу жаловался, что на него клеветуют, будто он потакает мятежникам, и свидетельствовался богом в своей невинности. Он писал: «Говорят, будто я Наливайка в Угрию посылал и Савулу в Белорусь; говорят, что с моего ведома Лобода Украину опустошил... а если кому, то мне более всех эти разбойники допекли! Я поручаю себя Господу Богу! Надеюсь, что Он, спасающий невинных, и меня не забудет!» В самом деле, нет основания утверждать, чтобы старик преклонных лет решился так нагло лгать, употребляя в дело такие средства, тем более что когда мятеж только что вспыхивал, еще в 1594 г., Острожский предостерегал панов насчет украинского «гультайства», жаловался, что своевольники разоряют его маетности, и советовал Речи Посполитой не пренебрегать этим и гасить пожар поскорее, а то он может разгореться впоследствии так, что не утужишь ничем.

В феврале 1596 г., когда на Волыни именем гетмана Лободы составлялись шайки, выбирались атаманы, сам Наливайко остановился в Чернаве близ Острополя и принимал приходившие к нему отряды, чтобы, увеличив свое войско, решиться на широкое восстание. Но король вызвал уже для укрощения его войско, оставленное Замойским в Молдавии под начальством польского гетмана Желкевского. Войско это шло поспешно и в конце февраля дошло до Кременца. Отправленный из него передовой отряд в несколько рот 28 февраля напал в селе Мациевичах, между Острополем и Константиновым, на две сборные сотни, которые, образовавшись, шли к Наливайку: их было там человек пятьсот; атаманами над ними были Марко Дурный и Татаринец. Казаки засели в хатах и во дворах. «Но им,— говорит Острожский в своем письме,— помешала горелка: они выпили ее целую бочку у арендаря». Поляки подложили огонь в селе, и мятежники все до единого погибли. Наливайко, услышавши об этом несчастии, ушел из Чернавы и направился в Острополь.

Жолкевский погнался за ним и дошел до Острополя. Но там уже не было Наливайка. Он ушел в Пиков.

Наступила ночь. Надобно было Жолкевскому дать отдохнуть и людям, и лошадям. Рано до света Жолкевский пустился снова в погоню и дошел до Пикова, но там сказали ему, что Наливайко за два часа перед тем ушел к Прилукам.

Гетман дал отдохнуть людям и лошадям на короткое время и опять погнался. Дошли поляки до Прилук; Наливайка не было в Прилуках.

Поляки пошли далее и недалеко за Прилуками нагнали казаков. Они шли укрепленным табором: у них было до двадцати пушек и много гаковниц; уже вечерело. Казацкий табор остановился на отдых в густой заросли. Тут напали на него поляки; три раза возобновлялась перестрелка, пока стемнело. Тогда прекратили стрельбу.

Гетман провел ночь на месте, а утром увидел, что уже неприятеля не было. Пленники уверяли, что Наливайко ушел к Брацлаву, надеясь, что там все население встанет за него. Гетман пошел туда, но казацкий предводитель вместо пути на Брацлав повернул влево и перешел реку Собь. За нею в те времена была дикая уманская степь.

Может быть, рассчитывая на горячность, с какою преследовал его Жолкевский, Наливайко надеялся, что он и туда за ним погонится; тогда успех был бы на стороне казаков. Польскому войску было бы страшно войти в безлюдную пустыню зимою, без продовольствия; казакам степь была ведома, и они приучены были терпеть такие лишения, на какие неспособно было никакое другое войско; полякам же, изнуренным переходами от деревни до деревни, было бы губельно начать переходы из яра в яр, из дебри в дебрь. Там бы не убежал Наливайко, а сам принудил бы поляков биться с ним, и Жолкевский со всем войском мог остаться в снегах на поталу зверям. Казаки не знали намерений предводителя; он имел обычай не объявлять никому, что у него на уме, и через то подчиненные верили ему и уважали его.

Однако Жолкевский был не из таких, чтобы можно было его провесть; он не решился следовать за казаками в снежную пустыню, а разместил свое войско в селениях, лежащих на границе степи, и распустил слух, что скоро выступит, а пока ожидает свежих сил. Войско это до такой степени своевольствовало и бесчинствовало там, где стояло или где только проходило, что Острожский в письме своем говорил, что бедные поселяне страдали от неистовства жолнеров больше, чем от казаков. Сам гетман стоял в Пикове. Казаки стали за Синими Водами в пустыне: лошадей кормили прутьями и прошлогодней травой из-под тающего снега, а сами продовольствовались конским мясом. Наливайко послал гонца к Струсю, старосте брацлавскому, просить, чтобы он помирил казачество с гетманом и правительством. Жолкевский не хотел входить с Наливайком в переговоры, потому что Наливайко пред польским правительством не имел никако-

го значения старейшины над казацким сословием. Наливайко был только атаман случайно сложившейся толпы. Поэтому Жолкевский, оставив без ответа обращение к себе Наливайка, отправил гонца к Лободе, как признанному верховною властью гетману казацкого войска. Но Лобода был и прежде, и теперь заодно с Наливайком в борьбе с шляхетством; и когда Наливайко работал на Волыни и в Белоруси, Лобода разгонял панов и шляхту из Киевщины, а в то время как Жолкевский гнался за Наливайком, находился в Погребище. Тут застал его гонец от коронного гетмана. Лобода сообщил об этом казацкой раде, а рада присудила отпустить посланца без ответа.

Наливайко завязал сношения со Струсем только для того чтобы скрыть свое движение, и в то же время со своим войском прошел через степь в украинские селения и дошел до Днепра у Триполья. Поляки не знали долго, где он находится. Лобода, отправивши гонца Жолкевского, также двинулся со своим войском на восток к Киеву.

Услышав о его движении, Жолкевский послал за ним вслед князя Рожинского, только что прибывшего с отрядом в коронное войско. Рожинский стал в Паволочи. У него было до тысячи человек. К нему приставали выгнанные и ограбленные казаками украинские шляхтичи. В Паволочи Рожинский занялся расправою над мятежниками и казнил нескольких атаманов своевольных шаек. Когда весть об этом пришла в табор Лободы, казаки в отмщение послали атамана Шашку с трехтысячным отрядом разорить имения Рожинского. Шашка прибыл в Фастов и отправил триста молодцов в передней стороже узнать о силе неприятеля, вошедшего в казацкую Украину. Рожинский вышел из Паволочи и разбил эту переднюю стражу. Шашка убежал в Киев,— Рожинский подвинулся еще далее, занял Белую Церковь и приглашал Жолкевского поспешить к нему. По расчету Жолкевского надобно было дожидаться весны, чтобы предпринять далекий поход в глубь Украины; надобно было прежде усилить свое войско новыми силами; но когда уже Рожинский далеко зашел, то и Жолкевский должен был двинуться вперед раньше, чем предполагал.

Когда Шашка принес казакам известие о Рожинском, Наливайко со своим войском поспешил к Белой Церкви; к нему пристал предводитель другой казацкой шайки, Савула, ходивший только что перед тем по Литве.

Вечером 2 апреля подошли казаки к Белой Церкви и заложили свой табор против одной из брам белоцерковских. Рожинский в следующую же ночь намеревался сделать вылазку на казацкий табор. Но белоцерковские мещане держались заодно с казаками, дали знать Наливайку, и ночью, когда поляки вышли из одной браны на казацкий табор, мещане отворили другую, противоположную брану, и впустили Наливайка. Ночь была тогда темная и бурная. Поляки выходили с зажженными факелами, играли на трубах; офицеры беспрестанно кричали как можно громче, чтобы жолнеры не смешались и не стали бить своих вместо чужих. Для большего всполоха неприятелю

Рожинский приказал выпалить залпом из нескольких пушек, и вслед за тем войско его кинулось на казачий табор. Но в таборе уже не было никого. Савула, который там остался тогда, когда вышел Наливайко, выступил со своим отрядом из табора к реке Рудавке. Поляки, не нашедши никого в таборе; бросились далее, махали саблями и стреляли попусту, воображив, что враги обратились в бегство, а они за ними гонятся. Савула же со своими казаками пропустил поляков через табор, сделал оборот и вошел снова в свой табор. Тем временем Наливайковы казаки ограбили все помещения поляков в городе, и только двадцать угров охраняли помещение своего капитана Леншени; который начальствовал королевскою пехотою. Покончив свое дело, казаки вышли из Белой Церкви, с тем чтобы напасть на вышедших в поле поляков.

Стало светать. Поляки увидели, что они ошиблись. Табор был занят казаками, выступавшими из города, который они оставили в своем владении. Казаки поляков готовились прижать с двух сторон в тиски. Но Рожинский сбил в тесную кучу свое войско, с отчаянным натиском пробился сквозь казаков и вломился снова в белоцерковский замок. Там он заперся.

Гетман Жолкевский был уже недалеко, верст за двадцать, и спешил на помощь Рожинскому. Наливайко и Савула, из Трилис слышав о его приближении, двинулись своим табором. Казаки не прошли одной мили, как Жолкевский нагнал их. Здесь произошла битва. Коронное войско понесло урон. Наших — говорит современник — погибло всех до трехсот, а одних товарищей шестьдесят. В одной роте убиты были ротмистр, поручик и хорунжий вместе с одиннадцатью товарищами. Биться перестали, когда уже наступила ночь; пользуясь темнотою, Наливайко ушел к Триполюю.

Это, по всем соображениям, есть та самая битва, которая в летописях малорусских ошибочно помещается под Чигирином и в которой казаки считали себя победителями.

Польский историк⁵⁴ говорит, что казаки были недовольны Наливайком за эту битву и сменили его, а своим начальником избрали Лободу. Это значит, что Наливайково ополчение, которое до сих пор считало себя отдельным и независимым от казацкого гетмана, признало его своим верховным начальником, наравне с другими казаками. Действительно, могло быть, что казаки, не бывшие на белоцерковской битве, считали за своей победой гораздо больше значения, чем сколько она имела на самом деле, и негодовали на Наливайка за то, что он не воспользовался ею, чтобы разбить Жолкевского окончательно; но тоже вероятно, что ополчение соединилось для того чтобы отбиваться лучше от врага.

Жолкевский скоро поправился от неудачи под Белою Церквью; к нему привел свежие силы Потоцкий, староста каменецкий, и принес еще известие, что и литовское войско, в отмщение за набеги Наливайка и Савулы, вступило в Украину. Из литовского войска прибыл к не-

му с отрядом Карл Ходкевич, будущий гетман, еще тогда молодой человек⁵⁵. Жолкевский послал Ходкевича вперед; с ним отправились роты князей Рожинского, Михаила Вишневецкого, Темрюка, Блинструба и Бекеша. Они двинулись к Каневу; на первый день пасхи, 11 апреля, напали они в Каневе неожиданно на казацкий полк полковника Кремпского: в сече пало до четырехсот казаков, а прочие бежали и потонули в Днепре. Ходкевич принес Жолкевскому известие, что казаки хотят переплыть на другой берег. Надобно было идти за ними, — и Жолкевский двинул свое войско в Киев.

Но казаки предупредили его, успели переправиться на левый берег, а за собой сожгли и истребили все лодки и плоты. Жолкевский, подошедши к Киеву, должен был дожидаться, пока изготовят все для переправы, и расположился табором у Печерского монастыря. Послали собирать лодки на Припять и на другие реки, впадающие в Днепр, а между тем жители Киева, частью поневоле, а частью для того чтобы умиловить гетмана, работали плоты и лодки. Лобода стоял на другом берегу Днепра в виду польского обоза. Казаки поставили у самого берега пушки и зорко следили за движениями неприятелей за рекою, чтобы не дать им переправляться, когда они начнут. Между тем казаки ожидали себе свежей подмоги снизу из Запорожья. Но Жолкевский заранее узнал о том, что к ним будет подмога, и расставил по берегу Днепра пушки. Атаман Подвысоцкий плыл к своим на помощь; у него было более сотни чаек. Уже звук сурм и бой котлов разносился по окрестным горам. Вдруг подул противный верховой ветер. Поляки стали стрелять по ним из пушек. Казакам трудно было управлять веслами против волны, они не успели проплыть под неприятельскими выстрелами. Передняя их чайка была разбита; за ней несколько других были пробиты и потонули; Подвысоцкий должен был повернуть назад.

Тогда (было это в день субботний) Лобода приказал пустить по Днепру колоду, на которой было воткнуто письмо. Жолкевский приказал достать ее: в письме казаки просили мира. На другой день явился к польскому гетману сотник казацкий Козловский также с грамотою от казацкого войска такого же содержания. Жолкевский отвечал, что пошлет к казакам условия с нарочным своим посланцем. Этот посланец повез такого рода условия: отдайте всю артиллерию (артиллерию) и знамена, которые вам прислали чужие власти, выдайте Наливайка и других зачинщиков.

В понедельник приехали в польский обоз двое казацких есаулов; они объявили, что казаки не соглашаются на это и просят, чтобы с ними обходились ласковее. Тогда Жолкевский рассчитал или, может быть, узнал, что у казаков в Переяславе оставлены семьи, перевезенные из жительство их на правой стороне Днепра, и послал старосту каменецкого Потоцкого переправиться пониже Киева. Нарочно в полдень, чтобы все казаки видели, снаряжен был ряд возов, а на возы наложили лодки. Явились тогда в казацкий табор перебежчики и

рассказывали, что Жолкевский отправляет часть войска к Триполью, чтобы там переправиться через Днепр и напасть на Переяслав. Казаки всполошились, не хотели оставаться на берегу Днепра против Киева и порывались бежать, чтобы защищать переправу у Триполья. Жолкевский, задержав есаулов, послал требовать, чтобы казаки выдали тех двух пахолков, которые к ним убежали. Но казаки не выдали их, а отрубили им головы и показывали полякам. Вероятно, казаки догадались, что эти требуемые поляками перебежчики были на самом деле подсланы умышленно.

Вслед за тем казаки стали уходить одни за другими к Переяславу. Остался Наливайко с Лободою и с ними не более как сто пятьдесят казаков. Тогда Лобода изъявил желание лично переговорить с поляками. На середине Днепра выплыл он на челне, а к нему приплыл с противоположного берега Струсь. Они поговорили, ни на чем не сошлись и разошлись; неизвестно, что они говорили. После того и остальные казаки, а за ними сами предводители ушли из-под Киева в Переяслав. Берег днепровский опустел. Войско начало переправляться свободно во вторник, а в четверг оно было уже все на левой стороне Днепра.

Казаки поспешно взяли в Переяславе своих жен и детей, угнали с собой скот и решились удалиться в степи, на восток; они думали, что туда Жолкевский не погонится за ними. Их было тогда до десяти тысяч. Они потянулись к Лубнам. Жолкевский пошел к Переяславу, соединился на дороге с отрядом Богдана Огинского, пришедшего к нему из литовского войска, потом соединился с отрядом Потоцкого, старосты каменецкого, который, будучи отправлен, как сказано, к Триполью, там переправился через Днепр; но тогда уже казаки ушли из Переяслава. Заставши Переяслав пустым, Жолкевский последовал к Лубнам. Вперед были посланы: Струсь, князь Михаил Вишневецкий и князь Рожинский. С частью войска этот отряд дошел до реки Сулы в Горошине: там нашли рыбацких лодок немного, и потому войско переправилось через Сулу по татарскому обычаю на плотах из связанного тростника. Счастливо перешедши реку, Струсь с товарищами зашел за Лубны и стал в тылу казацкого войска, так что казаки этого не знали. Жолкевский ускорил свой путь и пошел прямо. Казаки увидели, что приближаются поляки, и стали ломать мост через Сулу, но начальник передовой сторожи коронного войска Белецкий дал по ним залп, и они отбежали от моста. Белецкий ворвался по мосту в город; за ним спешило все войско Жолкевского. Казаки ушли из города и стали верст за семь от Лубен на урочище Солонице. Струсь стоял в тылу у них и послал двух вестников к Жолкевскому дать ему знать, что у него все уже готово. У них было прежде условие: как только Струсь услышит выстрел, тотчас выскочит на казаков. Жолкевский, переправившись через мост, пошел прямо на казацкий табор и, еще не доходя до него, приказал выпалить из пушки. Отряд Струся, услышав выстрел, поскакал на казацкий табор. Тогда казаки увидели, что

их приняли в два огня, и стали рассуждать на раде, что им делать: бежать ли далее в степи или здесь на месте отбиваться; решились остаться на месте и попытаться: нельзя ли войти в переговоры и окончить войну мирно. Лобода послал к Струсю просьбу не нападать и начать переговоры; но тут подошел Жолкевский; и как увидели перед собою казаки большое неприятельское войско, то хоть бы и захотели бежать, да некуда было: коронное войско окружило казацкий табор с трех сторон, а с четвертой было большое болото. Казаки огородились табором из возов в четыре ряда, весь табор окопали валом; вырыли ров; в вале сделаны были ворота, а в воротах горки, а на горках поставили орудия *.

В середине табора были построены деревянные срубы, насыпанные внутри землю, на которых поставлены также пушки, а с них стреляли по польскому войску; в продолжение двух недель поляки несколько раз делали приступы, но неудачно, и видели, что взять казаков невозможно; оставалось только их выморить голодом. Казаки должны были выходить из своих валов пасти лошадей и скот, и тут-то происходили беспрестанные драки, но тогда осаждающим доставалось не меньше, как и осажденным. Выскочивши ночью, казаки копали в поле ямы и заседали там пешие с ружьями; при случае они выскакивали из ям и стреляли в своих врагов.

28 мая, пополудни, толпа казаков напала на обоз Струся; с обеих сторон было довольно раненых и убитых. Поляки поймали в плен двух казаков и, в виду неприятеля, одного из пленных посадили на кол, другого четверговали. Так были они разъярены на казаков за их упорство. Казаки не давали им отдыха ни днем, ни ночью: всегда надо было держаться наготове; того гляди, что выскочат из обоза и нападут.

В казацком таборе чувствовался недостаток, но и в польском он начинался. Особенно пить нечего было жолнерам: пили теплую и мутную воду. Шло дело о том, какая сторона способна была долее терпеть. Продолжительная осада и для тех и для других была возможна; но в казацком обозе к недостатку прибавились раздоры. Наливайко не ладил с Лободю; по его наущению, наконец, взбунтовались казаки

* Вот в каком виде расположилось около казацкого войска польское: с одной стороны Струсь и князя Кирилл Рожинский и Михайло Вишневецкий; с ним роты Ходкевича, Язловецкого, Фредро, Собейского, Чарнковского, Бекеши и Горностая и остаток разбитой под Белою Церковью роты Верика; было там более тысячи конных гусар и казаков. С другой стороны стали: гетман со своей ротою и со своим полком; в этом полку были роты Щенсного Гербурта, Ковачовского, Гурского, Сладковского, Тарнавского и королевская пехота под начальством угра Леншени; было в этом полку до полуторы тысячи человек. Другой полк был старосты каменецкого Потоцкого, где были роты Стефана Потоцкого, Якова Потоцкого, Яна Зебржидовского, князя Порыцкого старосты хмельницкого, Даниловича крайнего, Гербурта старосты скальского, двух Пршеренбских, Плесневского, Уляницкого — всего тысяча триста человек. У князя Богдана Огинского было тысяча сто конных человек. С третьей стороны поставили постоянную сторожу.

против своего гетмана, обвиняли его, что он расположен к коронному войску, лишили гетманства, а потом отрубили голову. На место его выбрали в гетманы не Наливайка, а Кремпского, каневского полковника.

После нового выбора казаки еще чаще и отчаяннее стали делать вылазки; чуть не каждый час, ночью и днем, они беспокоили поляков. Между тем продолжались у них в обозе раздоры. Наливайко со своим отрядом хотел убежать. Это узнали поляки и придвинулись теснее к табору. «Целую неделю,— говорит современный польский историк,— они не слезали с лошадей, день и ночь стерегли движения врагов, а между тем, видя, что с теми силами, какие были налицо, нельзя было взять табора, Жолкевский послал в Киев за пушками. 4 июня привезли из Киева большие пушки и поставили на высоких курганах, сделанных для этого со стороны лагеря, а на другой стороне стояли полевые пушки. Два дня палили из пушек беспрестанно в табор; ядра убивали казацких жен и детей в виду мужей и отцов; такие зрелища хуже голода отнимали и храбрость, и крепость духа. Вдобавок казакам трудно было выходить: не стало у них ни воды, ни травы лошадям».

После таких томительных двух дней, в которые убито было в казацком таборе до двухсот человек, казаки заволновались. Рано на заре 7 июня они собрались на раду, кричали, что им всем приходит последний час, решились отдать полякам Наливайка и других начальников, лишь бы поляки выпустили остальных на волю. Наливайко собрал своих сторонников и хотел бежать, но выскочить было невозможно. Целый день шло смятение в таборе, наконец, к вечеру сделалось междоусобие. Наливайко отстреливался от своих собратий, защищая свою жизнь. Шум достиг до поляков. Они, узнавши в чем дело, пошли на приступ... вдруг казаки дают знать, что все будет как они хотят. Наливайка одолели, схватили и привели связанного к Жолкевскому. Но коронный гетман этим не удовольствовался: он потребовал, чтобы привели и других зачинщиков, предводителей шаек, чтобы отдали пушки и знамена. Казаки обещали все сделать завтра, а взамен просили, чтобы гетман обещал пустить остальное войско свободно. Гетман и на это не согласился. «Между вами есть панские подданные; пусть каждый пан возьмет своего подданного». На это казаки не согласились: это значило половину табора отдать на жестокую расправу панам. Гетман упорно стоял на своем. «Мы лучше все здесь пропадем до единого,— говорили казацкие посланцы,— а будем обороняться». «Обороняйтесь!» — сказал им коронный гетман. Он отпустил посланцев. Вслед за тем поляки ударили снова из пушек и сделали сильный натиск так стремительно и так неожиданно, что казаки не успевали схватить оружие или зарядить ружья; сразу перебили их так много, что, по выражению польского историка, труп лежал на трупе. Тогда, во всеобщей суматохе, выбранный после смерти Лободы Кремпский бежал; за ним толпами пустились казаки; но поляки остановили часть их... Только полторы тысячи успели убежать с Кремпским и благопо-

лучно ушли в Сечь. Остальные, уцелевшие от убийств, бросали оружие, просили пощады... выдали остальных предводителей числом шестерых, в числе их Савулу. Поляки забрали весь табор, взяли двадцать четыре пушки и множество ружей. Достались победителям серебряные литавры, трубы и знамена, и в числе их те, что были присланы императором немецким, когда он подушал их на турок. Паны могли взять всех своих подданных и наказывать их как хотели. Но казакам гетман объявил пощаду с условием, чтобы вперед они не смели собираться самовольно и вооружаться без воли коронного гетмана.

Наливайка с прочими предводителями Жолкевский отправил немедленно в Варшаву во свидетельство укрощения казацкого своевольства. Присланных предводителей, кроме Наливайка, тотчас же казнили смертью. Что же касается до Наливайка, то паны были слишком злы на этого врага панского сословия, чтобы казнить его скоро. Его засадили в тюрьму и истязали вычурным образом: подле него стояло двое литаврщиков, и когда ему хотелось спать, они били в литавры и таким образом мучили его, не давая заснуть. Подобными пытками истязали его до времени собрания сейма, и только тогда казнили. О казни его рассказывают разное. Бельский говорит, что ему отрубили голову, потом четвертовали тело и развесили члены на показ и поругание. Другой современник, Янчинский, рассказывает, что его посадили верхом на раскаленного железного коня и увенчали раскаленным железным обручем. Третье, самое распространенное сказание говорит, будто его бросили в нарочно сделанную из меди фигуру быка; этого быка поджигали медленным огнем и слышен был крик Наливайка; потом пламя охватило всю фигуру; а когда огонь потушили и открыли медного быка,— тело Наливайка превратилось в пепел. Это известие перешло в малорусские летописи и сделалось народным преданием*.

III

УНИЯ

Русские архиереи со спутниками из духовных лиц прибыли в Рим через шесть недель после выезда из Кракова: 15 ноября представились папе. Климент VIII принял их не только благосклонно, но радушно.

* *Joachima Bielskiego dalszy ciąg kroniki. 1598 r. Warszawa. 1851; Źródła do dziejów polskich Bröel-Platera. 1859; Архив юго-западной России, ч III, т. I, 1863; Имп. Публ. Библ. рукоп. польск. IV. J. № 223; Engels. Geschichte der Moldavien; Łubiński. Opera posthuma historica. MDCXLIII, Piasecki. Chronica gestorum in Europa singularim. MDCXLIII; Niemcewicz. Dzieje panowania Zygmunta III. 1836; Bohomolca Zycie Jana Zamojskiego. 1837; Sękowski. Collectanea. 1823.*

«Делом займемся после,— сказал он,— а теперь отдохните после долгого пути». Им отвели для помещения палатки возле Ватикана, убранный великолепно. Там жили они в добре и холе шесть недель, наконец, 23 декабря по их просьбе допустили их к делу. Епископов ввели в залу, где обыкновенно принимались князья-государи. Первосвященник сидел на престоле в своем облачении; около него собраны были кардиналы, архиепископы, множество знатного духовенства, светские папские синьоры и знатные путешественники, на то время посетившие Рим. Русские епископы, вошедши в залу и увидев вдали св. отца, пали на землю и не прежде поднялись, как их пригласили подойти к св. отцу. Они поцеловали ему ногу и подали письмо, подписанное епископами, и статьи, составленные, как было в них сказано, 1595 года 2 декабря.

Находившийся при этом посольстве русский священник Евстафий Волович читал то и другое для формы по-русски, но епископы заметили сверх ожидания, что в зале были лица, понимавшие читанное. «Мы поручаем,— сказано было в письме к папе,— от нас, митрополита и всех русских епископов, двум из братий наших: епископу владимирскому и берестейскому и епископу луцкому и острожскому, принести достоподобное повинование вашему святейшеству, если ваше святейшеству благоволите, за себя и за своих преемников, утвердить ненарушимость отправления таинств и богослужебных обрядов по уставу нашей греческой церкви в том виде, в каком они находятся в настоящее время». По окончании русского чтения то же было прочитано по-латыни. Папский кубикюлярый Сильвий Антониан в ответ им от имени св. отца прочитал похвалы митрополиту и всем русским духовным за то, что они, оставив древние заблуждения, обращаются к лону истинной католической церкви, без которой невозможно спасение. Св. отец надеется — присовокупил он — что по их примеру и другие их соотечественники изыдут из тьмы к свету. Потом Ипатий прочитал исповедание веры с прибавлением «от Сына», причем делалось пояснение, что такая прибавка учинена по правилу Флорентийского собора, принявшего ее на том основании, что если Сын, имеющий Духа Святого, рожден от Отца предвечно, то, следовательно, и Дух предвечно пребывал в Сыне, а, следовательно, от него, равно как от Отца, предвечно исходит; принималось, что таинство евхаристии в смысле трансубстанциации, или вещественного претворения хлеба и вина в тело и кровь Христа, одинаково действительно совершается как в опресночном, так и в квасном хлебе; принималось, что по смерти земной праведные души, не осквернившие себя после крещения или очистившие себя совершенно покаянием, переходят прямо в царствие небесное; умирающие в грехах идут в ад; а те, которые умерли с покаянием, но не успели еще принести плодов, достойных покаяния, поступают в муки чистилища, и тогда их страдания облегчаются на земле молитвами, приношениями, задушными обеднями, милостынею и благочестивыми добрыми делами. За папским престолом и за римским первосвященником признавалось первенство надо всею вселенной, са-

мого же папу признавали наследником св. Петра и наместником господа Иисуса Христа, главою всей церкви, отцем и учителем всех христиан, получивших от самого Христа во св. Петре, своем предшественнике, право властвовать и управлять Христовою церковью, утвержденное деяниями вселенских соборов и церковными постановлениями; принималось все, что предписано и утверждено вселенским Тридентинским собором⁵⁶, все апостольские и церковные правила и предания, принятые римско-католическою церковью; допускалось справедливым и истинным только такое толкование св. писания, какое дает римско-католическая церковь, одна имеющая право рассуждать и толковать писание; признавалась власть индульгенций и раздача даров спасения от церкви; римская церковь именовалась матерью всех церквей; наконец, предавалось анафеме все еретическое, все схизматическое, проклятое и отвергаемое римско-католическою церковью. Поцей, прочитав это исповедание, подписал его. Вслед за тем Поцей подписал переведенное по-русски и произнес присягу на русском языке. Потом Кирилл, луцкий епископ, прочитал это исповедание по-русски, подписал его и произнес по-русски присягу на евангелии; после того был им прочитан латинский текст исповедания, подписан и произнесена была присяга на латинском языке.

По окончании чтений и присяги оба епископа поклонились св. отцу в ноги. Папа говорил им речь таким тихим голосом, что слышать его могли только те, которые стояли близко; он в восторженных выражениях восхвалял митрополита и русских епископов, поучал пребывать в смирении и в послушании, представлял в пример несчастную Грецию, наказанную за свое непокорство. «И вас, zde сущих и прочих отсутствующих благословляем отеческим благословением». Так сказал св. отец при конце речи.

Когда епископы писали в отечество о событиях этого дня, то знали, что там понравилось бы, если бы папа высказал им какой-нибудь особый знак уважения, и потому писали, что папа сказал им: «Не хочу я властвовать над вами, но буду носить тяготы и немощи ваши на себе». Не известно точно, так ли говорил им св. отец, который всегда хотел властвовать и всегда стоял за свою власть.

На другой день, в канун праздника рождества Христова, епископов пригласили к вечерне, которую совершал сам первосвященник с кардиналами. Епископы с самодовольством рассказывали после, что им тогда дозволили в присутствии главы церкви находиться в своих украшенных золотом митрах, так как все иерархи пред лицом св. отца должны были являться только в белых шапочках без украшений. В день рождества Христова Ипатий служил обедню в греческой церкви, а товарищ его Кирилл священнодействовал там же на третий день праздника. С удовольствием заметили они, что в этой церкви, построенной для униатов, не допускалось ни малейшего изменения в обрядах, и богослужение совершалось с большим благочинием, чем на Руси, а грек епископ с пятидесятью духовными особами проживал при

церкви в полном довольстве. «Лучше,— писал русский епископ к Гедеону Балабану,— быть нам под единым пастырем, чем под пятью или шестью: и церковное благочиние и безопасность нашей церкви от этого выиграет».

В память присоединения русской церкви в Риме выбита медаль: на одной стороне изображен папа, сидящий на своем престоле и рукою благословляющий стоящего на коленях со сложенными на грудь крестообразно руками русского епископа, склонившего голову; позади него два стоящих лица, а на фасаде алтарь с распятием. На другой стороне медали портрет Климента VIII с надписью вокруг: «Rutenis receptis» *.

По возвращении из Рима иерархи наши застали уже волнение. В виленском братстве образовалась среда противодействия унии для Литвы и Белоруси. Стефан Зизаний⁵⁷, писавший еще прежде против католичества, напечатал сочинение «Кириллова книга об антихристе»⁵⁸, направленное против папства; в нем доказывалось, что папа есть сам антихрист и время унии есть время его царства. Книга эта расходилась и с жадностью читалась духовенством и грамотными людьми. Попы громили митрополита и епископов, согласившихся на унию, называли изменниками и предателями. Король, когда до него дошли слухи о таком волнении, приказывал митрополиту осудить возмутителей своею духовною властью, потом предавать гражданскому суду, а от виленского братства велел взять алтарь и передать главному собору, дабы подорвать и разрушить братство.

В Южной Руси противодействовал унии Острожский; его послания возбуждали дворян и мещан против митрополита и его товарищей; наконец, князь позвал митрополита к суду, но король защитил последнего, запретивши должностным лицам киевского уряда входить в разбирательство таких дел, которые подлежат духовной юрисдикции **. Король надеялся, что как скоро святейший отец утвердит постановленное русскими епископами, то дело кончится успешнее; народ русский примет соединение, и все пойдет хорошо. Король ожидал возврата послов, и когда они воротились, то приказал созвать собор. Тогда уже для короля собор не представлялся таким страшилищем, как прежде,— что бы там ни толковали. Уже дело казалось ему поконченным; изменять его было невозможно; не рассуждать приходилось на этом соборе, а принимать то, что прежде изготовлено и теперь предлагалось.

На 6 октября назначен был съезд в Брест. Король приглашал туда не только духовных, но князей, панов, кастелянов, старост и вообще православное дворянство.

Со своей стороны Острожский извещал патриарха о предстоящем съезде, и патриарх поручил вместо своей особы председательствовать

* Барония *Annal. Ecclesiast.* 662—667. Арх. юго-запад. Росс. I. 481—485.

** А. З. Р., IV, 131—137.

на соборе своему протосинкелу, по имени Никифор. Этот протосинкел (сан очень важный в восточной иерархии — наместник патриарха в важнейших делах) был человек глубокой учености; некогда он был в Падуе ректором, и многие из польских панов, там воспитывавшиеся, помнили его; потом он был в Венеции проповедником греческой церкви св. Марка; по возвращении из Италии он произведен был в сан патриаршего протосинкела и уже два раза заведовал патриаршеством во время отсутствия патриарха *. Кроме него александрийский патриарх Мелетий прислал в Русскую землю своего протосинкела, по имени Кирилл. Таким образом, в то самое время как русские епископы хотели уклониться от сношений с Востоком, неожиданно явились два представителя восточной церкви, напоминая им единство православия, при котором незаконно было без согласия восточной церкви делать важные перемены в русской. Протосинкелы прибыли к Острожскому, и князь проводил их на собор сам лично с вооруженною дружиною, а это придавало участию светских особ воинственный вид. С Острожским разом прибыло в Брест до двухсот дворян православной веры. Из православных духовных архиерейского сана, кроме означенных греков, прибыл сербский митрополит Лука, а из русских явились двое — Михаил Копыстенский ⁵⁹, вообще остающийся в тени во всей этой драме, и Гедеон Балабан; последний, столько раз согласный на унию, теперь остался православным; он видел, что сильный Острожский, множество дворян и весь народ против унии. Он надеялся теперь выиграть путем преданности к старине, тогда как его товарищи хотели выиграть путем нововведения в угоду папе и польскому королю. Гедеон клялся, что не знает ничего о предварительных совещаниях, и объяснил свою подпись историею о бланкетах. Самые православные того времени мало верили истине слов его; но по крайней мере, желая оправдать Гедеона против улик со стороны униатов, они говорили, что если б и в самом деле Гедеон прежде уклонился в унию, то все-таки хорошо сделал, что отстал от нее. Такое оправдание доказывает, что сделать его совершенно чистым и непричастным к делу унии было чересчур трудно. Чтобы еще более очернить врагов своих и выказать свои подвиги за отеческую веру, Гедеон рассказывал, что Ипатий Поцей прислал ему из Рима письмо, которое, прежде чем дошло до него, попало в руки его брата Григория. Когда Григорий Балабан распечатал его, то вдруг почувствовал на себе действие какой-то отвратительной пыли, насыпанной в письмо; он уверял, что то был ядовитый порошок; он слышал, что в Италии в обычае посылать через письма таким образом яд в порошок **. Не представив, конечно, доказательств в справедливости такого обвинения, Гедеон прежде всего уличал самого себя в единомышлении с униатами, когда представил письмо в городской суд; такое дружелюбное письмо могло быть писа-

* А. З. Р. IV, 161.

** Арх. Юго-зап. Рос., 481.

но только к человеку одинаких убеждений. Зная прежние проделки Гедсона с патриархом Иеремиею и съезд во Львове 1594 года, нельзя сомневаться, что Гедсон знал, что подписывал, когда писал на листах, где излагалось согласие на унию, если б даже и в самом деле эти листы исписывались после того как были подписаны; по всему то же надобно полагать и о Копыстенском, потому что на прежних съездах, где он участвовал, говорилось об унии.

Из архимандритов были там двое приехавших с Востока: святогорский Макарий, св. Пантелеймона Моисей, туземные: печерский (Никифор Тур)⁶⁰, дерманский, супрасльский, пинский, дорогобужский, пересопницкий, степанский, около двенадцати человек протоиереев, несколько иеромонахов и духовенство Бреста; некоторые из этого духовенства, особенно архимандриты, были на съезде во Львове у Балабана и подобно ему прежде соглашались на унию, а теперь отступались от нее.

Еще до приезда своего в Брест протосинкел Никифор писал к митрополиту увещательное письмо и не получил ответа. Когда православные съехались в Брест, митрополит с униатами епископами был уже там и дожидался королевских послов, чтобы начать соборное совещание.

Православные послали к митрополиту и к прочим, просили приехать предварительно посоветоваться с ними: в какой церкви лучше будет устроить место для соборных заседаний. Но митрополит отвечал посланцам словесно: «размыслим и приедем, если окажется нужным».

После такого ответа православные стали заниматься устройством порядка для собора. Вместо церкви выбрали они большой каменный дом, принадлежавший хозяину по имени Райский. Они предвидели, что без тревог не обойдется, и на соборе произойдут сцены, неприличные для святыни божия храма. Избрали двух наблюдателей благочиния (примитариев), поставили на середине аналой с евангелием и крестом, расположили места для духовных особ сообразно важности звания каждого из них; против них были места полукругом для особ светского звания. Духовные греки, не понимавшие по-русски и по-польски, должны были объясняться через переводчиков.

В первое заседание возвысил голос львовский епископ и укорял митрополита и епископов за то, что они не явились к протосинкелу по его требованию, как к своему начальнику. Протосинкел одобрил это мнение и предложил последовать примеру древних соборов: послать к митрополиту и епископам троекратное приглашение — парагностик. Если же бы они после третьего парагностика не явились, то следовало их признать виновными.

С первым парагностиком послали семь духовных особ: на челе их был киево-печерский архимандрит Никифор Тур. Митрополит сказал им: «Мы прежде советуемся с епископами римско-католической церкви: львовским, луцким и холмским».

Такой ответ уже указывал, что митрополит и владыки отступили от православия. На следующий день православные послали второй парагностик с шестью духовными. Посланцы ожидали доступа к митрополиту до вечерен и не дождались. Так как он за день перед тем сказал, что посоветуется с римско-католическими епископами, то они отправились ко львовскому католическому епископу и объяснили ему, что сам митрополит назначил время съезда на собор: они съехались именно по его приглашению, а теперь он не является открывать собор. Это обращение к римско-католическому епископу было сделано для того, чтоб заранее оправдать себя в обвинении митрополита. Они искали митрополита в церкви и там не нашли; наконец, вручили второй парагностик пинскому владыке для передачи митрополиту, чтобы, таким образом, митрополит никак не мог отговариваться тем, что не получал его.

На третий день православные уже все признавали и заявляли, что двоекратное непослушание патриаршему наместнику обвиняет митрополита. «Очевидно,— говорил тогда протосинкел Никифор,— митрополит до сих пор притворялся, боясь, чтобы весть об его отступничестве не дошла до нас в Грецию и не нашлись бы люди, которые бы могли победить его словом; он думал, что сообщение с Востоком опасно и трудно; он не надеялся, чтобы мы сюда приехали, а между русским духовенством он не встретил бы слишком ученых особ».

Отправили к митрополиту третий парагностик с теми лицами, которые ходили к нему с первым. В третьем парагностике в последний раз требовали, чтобы митрополит явился и дал ответ. Митрополит отвечал посланцам:

— Справедливо или несправедливо мы поступили — только мы отдались западной церкви.

Получив такой решительный ответ, протосинкел доказывал, что соединение церквей не может совершиться на каком-нибудь местном синоде; такое важное дело требует собрания ученых со всего света, людей богословных; потом он обратился к светскому кругу, похвалил сидящих в нем за верность, но вместе с тем укорял тех из их собратий, которые ради земных почестей и богатств или из боязни изменили отеческой вере, и в заключение советовал вообще всем православным построже следить за собою. «Капля пробивает камень, а дурные обычаи заражают добрых людей»,— сказал он.

В этой речи было что-то пророческое для дворян, которые теперь так горячо бросились защищать православие, нося в себе много такого, что располагало их к измене православию.

В этот самый день Скарга вызвал Острожского из соборного заседания и долго говорил с ним наедине. По поводу этого свидания протосинкел сказал: «Гораздо приличнее отцу Скарге явиться перед нами и препираться с учеными людьми, а не убеждать светских людей, не ведущих в богословии».

После того члены собора занялись рассмотрением прошений, по-

данных на собор. Они были поданы от всех городов и земель Волынской земли, а также из Киева, Переяславля, Пинска и разных мест Литвы *. Эти прошения как нельзя более согласовались с духом и намерениями собора. В них просили не изменять древнего богослужения и не приступать к соединению с римскою церковью без согласия восточных патриархов, не вводить никакой новизны и отрешить от должности отпавших от православия духовных сановников. В обличение лицемерства митрополита Рагозы представлены были на собор его собственноручные письма к разным особам, где он уверял, что не помышляет об отщепенстве **.

На четвертый день соборных заседаний митрополит и владыка обвинены были: 1) в пренебрежении к власти константинопольского патриарха, которому они при своем вступлении в сан присягали быть в послушании; 2) в том, что они относились в чуждую римскую епархию, когда были подчинены константинопольской, и тем нарушили правила вселенских соборов (второго — пр. 2, четвертого — 18 и шестого — пр. 36), где признается равенство константинопольского патриаршего престола с римским; 3) наконец, в том, что одобрили отличия западной церкви, не признаваемые восточною (именно: прибавление к символу веры, совершение евхаристии на опресноках, чистилище, пост в субботний день, безбрачие священников). За это собор отрешил от сана митрополита Михаила и единомышленников его, епископов: владимирского Ипатия, луцкого Кирилла, полоцкого Германа, холмского Дионисия и пинского Иону, лишил их права управлять духовенством, творить суд над ним и пользоваться доходами с имений, приписанных к должностям, которые они занимали. Собор отправил архимандрита печерского Никифора Тура в сопровождении нескольких особ духовных и светских объявить об этом митрополиту. Посланец должен был подать митрополиту и епископам соборный приговор, написанный такими словами: «Знайте, что за ваше новомыслие, отступничество и непокорность божественным и святым правилам вы лишаетесь всякого достоинства. Десятого октября 1596 года».

Никифор Тур застал митрополита во дворе владимирского владыки; с ним находились и другие архиереи; они ждали королевских слов. Печерский архимандрит подал митрополиту записку молча. Сторонники унии говорят, что эта записка не была никем подписана, и митрополит тогда же заметил это. Но в книге *Ekthesis*, где излагается история этих дней, говорится, что на приговоре были подписи; может быть, митрополиту послали тогда неподписанную копию. Никифор Тур ограничился ответом, что он принес эту записку для известия о том, что собор постановляет. Митрополит приказал сделать список с этой записки.

В это самое время прибыли туда же ожидаемые епископами коро-

* А. З. Р., IV, 145.

** Ibid. См. Арх. Югоз. Р. I, 115.

левские послы и, узнавши, в чем дело, обратились к печерскому архимандриту и сказали:

— Поступать таким образом с митрополитом — значит оказывать непослушание королю *.

Тогда королевские послы отправили к князю Острожскому трех посланцев: Претвица, Шуйского и Каминского. Они думали, что тут всем заправляет Острожский. Посланные сказали Острожскому:

— Королевские послы оскорбляются тем, что от вашей милости посылаются митрополиту ответы и декреты, не доставивши предварительно написанного им, послам. Так как они присланы от Его Королевского Величества, то никакое постановление не должно состояться без участия их милостей.

— Не знаю, чем они оскорбляются,— сказал Острожский,— скорее нам следует оскорбляться; потому что мы терпим обиды от изменников, которые все это заварили, и от тех, которые им потакают; мы возлагаем упование на Бога; а я при своем стою и стоять буду.

Тут выступил пан Гулевич, избранный светскими членами собора маршалком кола, и сказал: «Не его милость князь, а мы все посылали к митрополиту, князь только единая особа — сам по себе; если их милостям королевским послам нужно это писание,— мы пошлем им».

Гулевича подозревали в протестантстве, и посланцы королевских послов сказали ему:

— Не с вами речь ведем. Мы присланы к их милостям князьям, а с новокрещенными и евангеликами не имеем дел; где они будут, там не может состояться справедливого постановления.

— Да я вас не прошу,— сказал Гулевич,— я без их милостей и сам не хочу толковать с вами.

После этого отправлены были от собора четыре посланца к королевским послам узнать королевскую волю, которую они должны были сообщить собору.

Эти королевские послы были: князь Криштоф Радзивилл, троцкий воевода; Лев Сапега — виленский; литовский подскарбий Димитрий Халецкий. Они известили, что королевская воля такова, чтобы они склонились к соединению с римскою церковью **. Вместе с тем они заметили, что протосинкел Никифор не имеет никакого права вмешиваться в дела, называли его турецким шпионом и прибавили, что правительству об этом сообщил молдавский воевода.

Православные объявили, что они со своей стороны пошлют послов к королю.

9 октября выбрали из среды своей двух светских особ: Малиновского и Древинского. В инструкции, данной им, православные паны, рады, дигнитары, урядники, рыцарство (релие грецкое с короны

* Апокр., 31.

** Арх. Югоз. Рос., I, 529.

из Великого князства Литовского) поручали благодарить короля за доброе и отцовское напоминание о соединении церквей. Мы (говорилось в инструкции) были бы очень рады этому, но видим из истории, что это священное соединение уже не раз составлялось, но также не раз и разрывалось, потому что не были отстранены все препятствия; мы теперь не хотим строить непрочное здание, а помыслим об основательном и крепком. Представлено королю несколько важных причин, почему они не могут теперь приступить к соединению: 1) они составляют только часть восточной церкви сообразно древнему порядку и более шестисот лет находятся в послушании у константинопольского патриарха. Они считали, что не смеют принять на себя права делать такие важные постановления на поместном соборе, тем более что назад тому сто лет с лишком константинопольский патриарх, приглашенный на Флорентийский собор для подобного дела соединения церквей, не оставил без внимания русского народа, хотя ему было прилично и противное, как верховной особе. Русские заявили, что они боятся навлечь на себя нареkania в неблагодарности и безрассудном отступлении от восточной церкви, а тем самым подать турецкому тирану повод к причинению больших оскорблений патриархам и вообще всем сынам восточной церкви; 2) они не доверяли владыкам, которым поручать такого важного дела не дозволяли их самовольные поступки; 3) им нельзя приступить в настоящее время к соединению, потому что римская церковь полагает соединение только в одном повиновении папе яко всеобщему пастырю церкви, тогда как они никого не признают всеобщим пастырем, кроме господина Иисуса Христа, его же св. Петр нарек пастырем пастырей; да кроме того, есть много статей, не сходных с учением и уставами отца папы. Эти различия не могут быть улажены на частном соборе; и потому они теперь боятся приступить к соединению, чтобы со временем не нарушили не сходных с римскою церковью статей и обрядов восточной церкви и не последовало лишения прав, данных в землях короля греческой вере. В заключение православные просили короля низложить митрополита Михаила Рагозу и епископов, лишить их прав на церковные имущества и отдать эти имущества тем лицам, какие будут избраны на основании конституций годов 1575, 1576, 1589.

Наконец, при закрытии своих заседаний православные паны отправили на предстоящие сеймики в русские воеводства протестации и просили приготовить жалобы, которые бы могли быть поданы на будущем сейме, чтобы сопротивляться введению унии. Они по вере, совести и чести обещались своим братьям дворянам не признавать митрополита и епископов в их достоинствах, не допускать их до какой-либо юрисдикции, но, соединившись со всеми, не признающими власти и первенства папы, противодействовать всяким насилиям*.

Вслед за тем униатские владыки со своей стороны подвергли ли-

* Арх. Югос. Росс., I, 507—517.

шению сана владык львовского и перемышльского, архимандрита Никифора Тура и всех вообще духовных, находившихся на православном соборе, за непослушание власти митрополита и за участие в сходке, собранной самовольно, не в церкви, как бы следовало, а в непристойном доме, где обыкновенно собираются еретические сходки и произносятся богохульные речи. От имени митрополита, первопрестольника и правителя русской церкви послан был им всем поодиночке приговор с таким заключением: «Кто тебя, от нас проклятого, будет считать епископом (игуменом или пресвитером, смотря по лицу), тот сам пусть проклят будет от Отца, Сына и Св. Духа» *. Униатский собор признал, что протосинкел Никифор не имеет отнюдь никакого права председательствовать на соборе, что он самозванец, и притом сам лично — человек, известный своим дурным поведением.

Именем короля Никифор был арестован и приведен перед поветовый суд. Там перед маршалком его обвиняли, что он турецкий шпион, говорили, будто поймали посланного им гонца в Турцию с письмами враждебного Речи Посполитой содержания. Но князь Острожский заступился за него и доказывал, что его нельзя судить в таком суде, что он слишком важная особа, и если он обвинится в государственном деле, то его дело может разобратся только в сенате. Отложили суд над Никифором до открытия сейма в 1597 году. Острожский взял его к себе. По требованию короля Острожский прибыл с ним в Варшаву. По правилам суда назначили ему обвинителя-инстингатора и защитника-прокуратора, назначили комиссию из нескольких духовных и светских сенаторов и нескольких послов Короны польской и Великого княжества Литовского. Обвинителем его явился тогда и сам гетман и канцлер Замойский, тогда бывший во вражде с Острожским. Был пойман волох, посланец князя Острожского, отправленный в Волощину для покупки лошадей. С ним были деньги и письма от какого-то греческого чернеца Пафнутия, из Замостья уехавшего в Москву. В этих письмах, писанных греком к своей сестре, были такие известия: «Хищные волки, псы ляхи приневоливают нашей веры христиан на католическую веру и бьются между собою; уже их более двадцати тысяч полегло». Последнее было преувеличенное известие о возмущении Наливайка. Придрались за то к Никифору; протосинкел, не зная по-польски, отвечал на суде по-итальянски, уверял, что он не писал этого, не знает об этом, и это не должно касаться его. Посланец объявил на суде, что он не получал никаких писем и поручений от Никифора. В этом деле невозможно было его не только уличить, но даже сделать прикосновенным к делу. Тогда гетман Замойский припомнил, что во время последней молдавской войны Никифор был посредником между турками и Замойским, держал явно сторону турок, требовал, чтобы поставленный в Молдавии Иеремия признал турецкую власть и дал в залог сына своего султану, и вообще показывал свое расположение к

* А. З. Р., IV, 146—148.

Турции. «У меня,— сказал Никифор,— есть письма господаря Иеремии и молдавских бояр: они просили меня взять посредничество, и я по их просьбе вмешался в это дело; и что ж я худого сделал? Если б мое посредничество было неправое и лукавое, то оно не имело бы таких последствий. А то вышло, что обе стороны стали довольны... Татары и Синан-паша ушли со своими войсками; а пан гетман посадил на воеводство Иеремию». И здесь Никифор был совершенно прав, да это обстоятельство предметом суда и разбирательства не могло быть. Недовольные этим, враги начали обвинять его в разных преступлениях, говорили, что он чернокнижник и вошел чернокнижеством в милость к султану через сестру свою, которая находится в гареме султанском, что он убил в Константинополе какого-то мальчика. По одним известиям, на него показывали, что он в любовной связи с матерью султана. Никифор отвергал все это как выдумку врагов и, очищая свою честь от клеветы, заметил, однако, так: «Все это ложь; но если бы даже правда была, то и тогда не ваше дело судить то, что делается в чужой земле; и вы отнюдь не имеете права меня наказывать». Более видимых юридических доказательств поляки могли найти в том, что он, по их мнению, не имел права открывать собора. На это напирали обвинители. «Патриарха в Константинополе нет, а ты ни от кого не послан и низлагать владык не имеешь никакой власти, не взявши дозволения от короля присутствовать на соборе». Протосинкел отвечал: «Вот моя привилегия, данная мне вселенским патриархом на пергамене с висячею оловянною печатью: из нее вы увидите, что я имею право посвящать и низлагать не только владык, но и митрополитов, и созывать поместные соборы. Святой памяти Иеремия скончался; но теперь учинился патриархом Мелетий, человек достойный и ученый. Да не только от константинопольского патриарха, но и от прочих трех патриархов я — протосинкел, и дана мне такая власть, что в каждой из их дицезий вольно мне созывать синоды, наблюдать над порядком, лишать дурных сана и поставлять достойных. Если не верите моим письменным документам,— пошлите в Константинополь: там узнаете — правда ли то, что на меня наговаривают мои враги». Многие из сенаторов не поняли его речи, потому что не знали итальянского языка; из тех, которые понимали, были враги его, потому что желали совершения унии, чему мешал Никифор. Некоторые сказали: «Сплетни разбирать не королю и не Речи Посполитой, а то важно, что он синод собирал и низлагал митрополита и епископов». Странники Острожского говорили: «Все это делает зависть пана гетмана к пану киевскому воеводе; а владыкам то на руку, чтобы Никифора изменником и шпионом объявили, чтобы недействителен был приговор, который он изрек на них».

В это время в комнату, где находился Острожский с сенаторами, вошел король. Старик Острожский, глубоко оскорбленный, не вытерпел и — по известию современного рассказа — сказал ему сильную обличительную речь. Он напомнил ему прежних королей: Сигизмун-

да I, Сигизмунда Августа, Генриха и Стефана, службу своих предков и свою собственную этим королям, свое старание об избрании Сигизмунда в короли, жаловался на Замойского и потом сказал так: «Ваша королевская милость, вопреки справедливым доводам нашим и предстательству послов земских, не хотите оставлять нас при наших правах в нашей православной вере, вместо отступников дать нам иных пастырей; напротив, допускаете отступникам делать насилия и проливать кровь, грабить, выгонять из маестностей и даже из земли своей тех, которые не хотят приставать к их отступничеству. Ваша королевская милость посягаете на право нашей веры, стесняете наши вольности, насилуете нашу совесть и сами нарушаете присягу свою. Я, сенатор, не только терплю оскорбление, но вижу, что дело идет к окончательной гибели всей Короны польской; после этого уже никто не обеспечен в своем праве и свободе... Скоро наступит великая смута; дай Бог, чтобы до чего-нибудь иного не додумались... Предки наши, принося государю верность, послушание и подданство, получали взаимно от государя милость, справедливость и оборону; так одни другим присягали. Опомнитесь, ваше величество, и послушайте доброго совета! Я сильно оскорблен вами; на старости лет у меня отнимают то, что для меня всего милее: совесть и православную веру; я уже в преклонных летах и — надеюсь — скоро расстанусь с этим светом; прощаясь с вашим величеством, я напоминаю вам, чтобы вы опомнились! Поручаю вам эту духовную особу; Бог взыщет за кровь его на страшном суде; а я прошу Бога: да не даст Он моим очам более видеть нарушения прав наших, но сподобит меня на старости лет услышать о добром здоровье вашего величества и о лучшем состоянии ваших государств и наших прав!»

Старик отвернулся: приятель взял его под руку; подошли двое служебников, чтобы вести князя: ему от дряхлости и волнения, видно, было трудно самому идти; приятель его заметил: не подождет ли он королевского ответа. «Не хочу ждать!» — сказал взволнованный князь. Король, увидевши, что он уходит, послал за ним зятя его Криштофа Радзивилла. «Воротитесь, — сказал Радзивилл, — я вас уверяю, что король тронут вашею горестью, и Никифор будет свободен». — «Нехай же соби и Никифора зъисть!» — сказал в досаде князь и вышел прочь.

Никифора отправили в Мальборк (Мариенбург) в заточение. Острожский помирился с Замойским.

Насильственное введение унии вооружило против католичества русское дворянство, которое хоть уже и не отличалось верностью отеческой религии и само, ополячившись, имело в себе много задатков решительной измены всему, что составляло народность предков, но теперь оскорбилось нарушением прав своих; его огорчало то, как смели духовные делать важные постановления без совета со светскими чинами. Это чувство досады повлекло их к сближению с протестантами. Недаром глава православного движения Острожский был в род-

стве с Криштофом Радзивиллом, тогда бывшим главою протестантской партии; последний был женат на дочери Константина Острожского. В 1599 году православные и диссиденты съехались в Вильне на общее совещание. Из греческих духовных был там белгородский сербский митрополит Лука и один игумен да диакон; ни Гедеон Балабан, ни Михаил Копыстенский не явились, вероятно, чтобы не подать соблазна своим общением с еретиками. На этом съезде составила конфедерация двух вероисповеданий. Сообразно древнему праву свободы совести в Речи Посполитой дворяне обоих вероисповеданий постановили — охранять всеми средствами свободу своего богослужения, неприкосновенность церквей и их имуществ, находящихся в маентностях панов, участвующих в конфедерации, и помогать всякому, принадлежащему к греческой вере и к протестантским церквам. Они избрали из среды себя генеральных провизоров, из числа которых было шесть сенаторов, а другие были из рыцарства, — всего 120 человек; в числе провизоров были паны знатных и богатых родов: Острожские, Вишневецкие, Коруцкие, Зеновичи, Горские, Пузыны, Радзивиллы, Сапеги, Рожинские и проч. Всякий, кто будет оскорблен по поводу религии, должен обращаться к кому-нибудь из провизоров, а тот должен защищать своего клиента и помогать ему или же поручить его своему товарищу, другому провизору. Положено было собирать синоды по делам веры не иначе как совместные, так что если диссиденты собирают свой синод, то приглашают к участию на нем православных, а православные, со своей стороны, приглашают на свои синоды диссидентов*.

Ничто так не доказывает несостоятельности тогдашнего русского дворянства в деле обороны своей веры, как эта странная конфедерация; тут не шло дело только о гражданском взаимодействии для охранения того и другого вероисповедания; а тут было обязательство собирать синоды по делам веры не иначе как допуская на них последователей и того и другого учения. Православные дворяне оказали здесь по отношению к протестантству склонность к тому, на что покушались архиереи по отношению к католицизму: в виду была уния православия с протестантством, в противность изготовленной уже унией православия с католицизмом. Но уния с католицизмом представляла множество затруднений; уния с протестантством была совершенною нелепостью. Самая мысль об этом могла произойти только оттого, что некоторые из признававших себя официально православными были проникнуты протестантством, а другие были круглые невежды в предметах веры: им могло казаться возможным то, что для знающего дело было положительною невозможностью. Только таким путем можно объяснить эту конфедерацию. Неудивительно, что протестанты, которые тогда были несравненно образованнее православных, увидели после того возможность набросить на русское православие такую же сеть,

* Пресов. Евгений. Опис. Киевск. Соф. соб., 68—72.

какую набрасывали на него иезуиты с братиею. Тотчас после этой конфедерации диссиденты подали своему патрону Криштофу Радзивиллу проект о соединении с православием; это, впрочем, в переводе на язык диссидентского смысла, значило обращение православных. «Мы думаем (сказано было в этом проекте), что сойдемся с духовными греческой веры: пусть только св. писание будет основою нашей веры и судьей наших споров». На таком важном основании они думали стать воедино с православными, потом собрать разные церковные вопросы, где православие, расходясь с католичеством, сходилось с протестантством; тут были вопросы: о единстве церковного главы, об отвержении чистилища, о браке священников, о причащении под двумя видами. Для удобства споров советовали предложить православным составить свое исповедание, а диссиденты представят им свое, составленное на сандомирском съезде. Смущало их тогда различие толкований об исхождении св. духа, но они находили, что в сущности спор здесь касается более выражений, чем предмета. Самое важное препятствие к соединению было, конечно, призывание святых, почитание икон и употребление множества обрядов. Протестанты хотели непременно убедить православных оставить призывание святых, потому что, по их понятию, это было крайнее суеверие; соглашались оставить православным обряды и иконы, но с надеждою, что через частые синоды их пасторы успеют довести православных священников до того, что те даже согласятся служить на оперноках. Надобно прежде всего устроить так (говорили диссиденты), чтобы мы могли без зазрения совести ходить в их церкви, а они бы не гнушались нашего богослужения; тогда может случиться, что к ним пристанет несколько наших евангеликов; зато несравненно большее число их перейдет в нашу веру *.

В век всеобщего прозелитства и борьбы вероучений естественно было, что диссиденты возымели этот замысел, тем более когда сильный враг — иезуитство — грозил низвергнуть и православие и диссидентство разом. Это побратимство православных с диссидентами давало врагам только силу и повод укорять не признающих власти св. отца и доказывать, что без соединения с католичеством греческая церковь погибнет и восторжествует ересь. Православные, бывшие на виленском съезде, должны были скоро стать в такое положение, что им приходилось ради православия отречься от своих новых союзников. Так и сделал один львовянин, Юрий Рогатинец ⁶¹; когда Ипатий Поцей укорял православных в общении с еретиками, то он писал: «Мы не держим дружбы с еретиками и вообще с отщепенцами, всякими, отступившими от восточной церкви, начавши от Ария до Формоза, папы римского, и отлучаемся от всех их наследников» **.

* Dz. Helw. Kość. Łuk. 122.

** A. Z. P., IV, 201.

Уния 1596 г. была утверждена в конце 1596 г. королевским универсалом. Она открыла в Речи Посполитой путь к своевольствам и вследствие своевольств — к бесчисленным процессам в судах. В Речи Посполитой уже было в обычае самоуправство; кто на кого имел недовольствия и чувствовал за собою силу, тот старался наделать сопернику пакостей насилеи; теперь естественно вышло, что как скоро одни нашли поступок архиереев похвальным и признали унию, а другие осуждали его, то одни против других начали оказывать всевозможнейшее своевольство. Ипатий Поцей еще раз попробовал было склонить Острожского к унии и написал ему пространное послание; в ответ ему по поручению Острожского написан был неизвестным клириком из Острога ответ; в нем православный человек укоряет устроивших соединение, что они внесли этим поступком не мир и спокойствие, а раздоры и смуты. «Мы терпим,— говорил он,— поругания, пощечины, оплевания, убийства, наезды на дома, на школы и на церкви, осквернение женщин» и пр. Тогда у пишущих была склонность риторически преувеличивать и живописать самыми яркими красками несправедливости враждебной стороны; а потому вообще на описания угнетений, причиняемых православным, следует смотреть критически; несомненно только, что фанатизм торжествующей стороны проявлялся. Так, в Вильне (и конечно, в других городах *) мещане католической веры и униаты (вообще признававшие власть папы и оттого честимые папешниками) отстраняли от участия в общественных делах православных людей; отступившие от веры архиереи лишали мест священников, не хотевших признать унии, а за противодействие преследовали их гражданские власти. Королевская канцелярия объявила мятежными сходбищами братства, которые были особенно предметом вражды и ненависти всех папешников; в Вильне иезуитские ученики, подушаемые своими наставниками, сделали в 1599 году нападение на братскую церковь в день Светлого воскресения; подобные события случались и в других местах. Во Львове католики-мещане мешали православным мещанам торговать, заниматься ремеслами и учить детей по-русски **. Сторонники унии считали последователями церкви греческой только принявших соединение с римскою сообразно примеру и наставлению своих архипастырей; остальные же православные в глазах их были отщепенцы от греческой церкви, непослушные своим пастырям и потому мятежники против законной, признаваемой веками духовной власти. Православные со своей стороны пытались юридически доказать, что архиереи, принявшие унию, без согласия со светскими, без вселенского собора решившиеся на введение такой важной новизны, поступили незаконно и должны подвергнуться лишению своего сана. В 1598 году была подана православными на сейм жалоба на митрополита и епископов, принявших унию; но отступни-

* А. З. Р., IV, 192.

** А. З. Р., IV, 202.

ки, пользуясь покровительством короля, сделали так, что разбирательство их дела приостановили (отволокли). В 1600 году умер Рагоза. Захарий Копыстенский в своем историческом сочинении «Палинодия»⁶² говорит, что в последние дни своей жизни он сожалел о том, что принял унию, и мучился совестью за свое отступничество; но, соображаясь с прежним характером этого двуличного человека, можно предположить, что он до конца жизни пребыл верным и достойным слугою иезуитов, а только продолжал хитрить, подделываясь по мере надобности к противной стороне, чтобы тем удобнее проводить свое дело. На его место избран и утвержден от короля в сан митрополита Ипатий Поцей. Тогда послы воеводств киевского и волынского снова подали на сейм жалобу на Ипатия Поцея и Кирилла Терлецкого как на главных зачинщиков, ездивших в Рим, и в силу этой жалобы происходило замечательное состязание, описанное в современном сочинении «Пересторога»⁶³, отнесенное, однако, ошибочно к раннему времени.

Говорят, что Кирилла Терлецкого обвиняли сверх того в подущении к убийству посланного от князя Острожского в луцкий монастырь св. Спаса священника Стефана Добрынского, который был утоплен напавшими на него людьми.

Нам сообщают защиту униатов только по церковному делу. Речь держал Ипатий и сказал: «Нас призывает к суду речь посполитая народа русского, как будто бы мы были уже людьми светскими и лишенными сана, как будто мы удерживаем наши достоинства и церковные маетности ко вреду и оскорблению их всех. Вот, милостивый государь, неслыханное дело: на пастыря овцы жалуются, а напротив, пастырь должен на них жаловаться как на непослушных верховному господину, который должен непослушных и строптивых карать и приводить к послушанию, по словам ап. Павла: «невежду страхом спасать».

Не ваше ли королевское величество дали мне епископство владимирское по ходатайству воеводы киевского, который со слезами просил меня принять его, когда я этого не хотел? Не ваше ли королевское величество изволили дать мне сан митрополита по смерти митрополита Михаила? Кто же у нас в государстве без справедливой причины отнимает должности?» Поцею удобно было защищаться последним аргументом, потому что в Речи Посполитой давались должности пожизненно; трудно было лишить кого-нибудь должности, когда есть у занимавшего ее сторонники и связи. Свое отступление от патриархов он оправдывал таким образом: «Мы от патриархов не видели ни науки, ни порядка. Они ездили к нам, овцам своим, только за шерстью и молоком и вместо мира вносили раздор и меч посреди детей. Они простым людям дали братства, учреждение новое, неслыханное и законам противное; избавили их от власти епископской; даровали им самим такую власть, какая только принадлежит епископам в их дицезии. И вот, хлопство в своей простоте присваивает себе такое гос-

подство, что ни епископов, ни панов своих слушаться не хочет: происходят раздоры, драки, кровопролития. Мы не новое дело затеяли. Предок мой, полтора ста лет тому назад прибывши из русских краев на Флорентийский собор, признал римского первосвященника вселенским пастырем и отдал ему послушание. Притом польские короли дали права и вольности тогда еще, когда неверный не держал в руках своих и самого патриарха, и греческого царства. А теперь, когда и светское государство, и царская власть уже в руках его, и патриархи вступают в свой сан по его желанию, — не должны ли мы бежать от такого пастыря, который и сам в неволе и нам подать избавления не может?»

Один из членов львовского братства отвечал на речь Поцея. Он опровергал обвинение, будто патриархи не заботились о порядке, и напомнил, как Иеремия низвергал недостойных пастырей, припомнил, как патриархи-греки заложили школу во Львове, как митрополит элассонский Арсений учил во Львове два года сам; а насчет основания братства заметил: «Что же? и Христос так же поступил: обличил архиереев и, собравши к себе народ и учеников, выбрал из среды их учителей». Широко распространился он (если верить известию «Перестороги») о Флорентийском соборе и доказывал его несостоятельность. То же известие говорит, будто этот православный оратор тогда же сообщил о некоторых необыкновенных явлениях, которые признавал за знамения, указывавшие божеский гнев к униатам. «Гром небесный поражает ваше дело, огнем палит, — и страшные знамения показываются в церквях, как случилось в Рогатине и в Галиче, о чем свидетельствуют показания и урядовые записи. В Бресте, в соборной церкви, где вы служили с папешниками литургию первый раз после унии, вино в потире превратилось в воду, и вы, наливши другого вина, dokonчили ваше богослужение; в Грубешове, где вы собрались служить в церкви вместе с папешниками, закричала на вас с великим укором христоролюбивая женщина; вы в половине обедни приказали ее бить до крови по губам, и сами после великого выхода ушли из церкви; потир, оставленный на престоле, лопнул, и вино разлилось на облачение ваше; тогда священник той церкви из алтаря закричал народу, показывая такое чудо; народ бросился на вас, хотел вас погубить, но ваши многочисленные сторонники и замковое начальство оборонили вас; и вы, поймавши этого попа, приказали заключить его в другом городе на несколько месяцев, чтобы он не рассказывал перед людьми о том, что случилось». Сомнительно, чтобы это говорилось на самом деле в то время на сейме перед королем, так как вся речь православно-го оратора, приводимая «Пересторогою», пахнет сочиненною риторикою; но по крайней мере эти легенды любопытны, показывая, какие вести распускались в то время против папешников. Несомненно то, что оправдания Поцея (в подлинности которых нельзя сомневаться, если не во всех выражениях, то по смыслу, передаваемому «Пересторогою») показали полновеснее обличений против униатов. Сеймо-

вым декретом постановлено, что духовные, принявшие соединение с римскою церковью, этим поступком не сделали оскорбления народным правам и потому должны оставаться в своих достоинствах. Король злобствовал на Острожского и умышленно делал ему разные неприятности; так, напр., был подан на него извет, что он не платил от своих имений подъемного с каждого двора, подати, наложенной со времен Люблинской унии вместо прежних повинностей на жителей Волынской земли; вообще насчитывали на него 4000 коп, и король грозил: если старик не явится к ответу в суд, то недоимку станут собирать от его имений посредством войска, несмотря ни на что. Жалуясь на это, Острожский в письме своем к зятю своему Криштофу Радзивиллу замечает, что этого не бывало при прежних королях, а теперь такое стеснение постигает все русское дворянство *. Острожского этим не обратили. Напрасно пытался к нему писать сам папа, убеждая его признать унию. Он отвечал в вежливых выражениях, что желает сам соединения церквей, но только тогда, когда отцы патриархи восточные приступят к этому соединению, и представил, что самовольные поступки архиереев, без воли народа покусившихся на такое дело, наделали того, что теперь больше русских людей обратилось к ереси, чем к апостольской столице. В 1605 году снова потребовали к ответу митрополита Ипатия Поцея, но судный декрет освободил его от обвинений. Вопреки свободе убеждений и слова, которым Польша так гордилась, король думал опираться на большинство ревнителей католицизма и вообще на силу этого вероисповедания, стал преследовать своею властью врагов унии. Так Стефан Куколь (в ученом переводе Зизаний), автор книги Кирилла, за резкие речи против унии и вообще римской церкви еще до Брестского собора подвергнувшийся проклятию от митрополита и владык, его пособников, подвергся преследованию короля. Так же поступлено с двумя виленскими попами братства — Василием и Герасимом, проклятыми от архиереев за противодействие унии. Король объявлял их банитами, приказывал своею грамотою не иметь с ними сношений, не передерживать их в домах, а градским и мещанским и вообще всем начальствующим лицам поставлялось в обязанность задержать их и посадить в тюрьму. Современное известие говорит, что Зизаний, учитель и защитник православия, спасся только тем, что вылез из своего помещения через дымовую трубу **.

Через несколько времени он опять явился в Вильне, был принят троичким настоятелем и снова начал проповедовать против унии и порицать католичество. Король опять выдал против него грамоту виленским мещанам, приказывал находиться в послушании у митрополита и отнюдь не допускать произносить проповеди тех, на которых наложено проклятие. К этому обязывались мещане под опасением пени трех тысяч коп грошей, из которых половина должна идти в королев-

* Имп. Публ. Библ. № 223.

** Перестор., *ibid.*, 225.

скую казну, а другая митрополиту. Несмотря на такое грозное приказание не послушался проповедник ни мещан, ни королевского приказа, и продолжал проповедовать *; наконец, по приказанию митрополита Поцея была запечатана самая церковь, оскверненная, как говорил он, богохульными словами **. Подобным образом поступил король с архимандритом Супрасльского монастыря Иларионом Масальским: в 1602 г. он не хотел принимать унии и повиноваться митрополиту, за это Ипатий проклял его, а король издал грамоту, запрещающую подданным иметь с ним всякое общение ***.

В 1606 году Острожский скончался в глубокой старости, почти ста лет от роду. Потеря была незаменяемая; она сказалась после. Но после него дворянство еще несколько времени проникалось его духом, продолжало искать управы на отступников и требовать возвращения старых прав греческой церкви.

В 1607 году в успокоение смут выдана была сеймовая конституция, подобно прежним старым обеспечившая права и преимущества греческой церкви в землях Речи Посполитой, но в ней не сказано было о раздвоении, происшедшем в этой церкви; и каждую строку в ней униаты и неуниаты могли толковать исключительно в свою пользу. Униаты говорили, что древнюю церковь греческую составляют они, и доказывали, что в древние времена папа имел власть над всею христианскою церковью; православные ссылались на то, что греческая церковь в польских владениях не признавала папской власти, а потому новая конституция, будучи повторением прежних, данных в те времена, относится к той церкви, в которой все остается по-старому. Между тем в той же конституции поставлено не допускать двух бенифиций на одну и ту же должность, что означало невозможность иметь двух епископов в одной и той же епархии с правом пользоваться преимуществами и средствами епископского сана; следовательно, закон не признавал возможности существования двух церквей с греческими обрядами, и, таким образом, оставил в недоразумении обе враждебные стороны. Сигизмунд и правительственные лица клонились к тому, чтобы разуметь под греческою верою униатскую. Тогда, с легкой руки Поцея, униаты единогласно стали проводить учение о том, что греческая церковь издревле была соединена с римскою; в X веке, когда Русь приняла св. крещение, еще не было разделения церквей — следовательно, русская церковь в самом начале была уже в соединении с римскою, а потому древнейшая русская церковь — униатская. На этом основании униаты захватывали церковные имущества и таким образом в руках своих сосредоточивали материальные средства. Не хотевшие признать унии духовные, находясь под гнетом архиереев, должны были или пропадать без средств, или

* Перестор., *ibid.*, 209.

** *Ibid.*, 197, 201.

*** А. З. Р., IV, 342.

делать угодное пастырям; только дворянство, не хотевшее еще изменить вере, поддерживало их в своих имениях; там священники находились уже без духовного начальства; но после смерти с трудом могли быть заменены другими, потому что местных епископов не было. Тогда по вопросам о свободе вероисповедания и о принадлежности церковных имуществ возникло множество тяжб; светские трибуналы, куда поступали просьбы, часто решали тяжбы в пользу православных даже и тогда, когда в числе судей были католики, потому что в те времена иезуиты еще не успели разлить повсеместного фанатизма; поляки продолжали считать свободу совести важным основанием строя Речи Посполитой и во имя этой свободы склонялись на сторону православных. Так точно и на сеймиках дворяне-католики брали сторону православных дворян и говорили: оскорбления, которые терпят братья наши греческой веры, касаются не только их, но и всех нас, принадлежащих к русскому народу; мы должны стоять за права наши *.

В 1609 году новая конституция пояснила двусмысленность предшествовавшей и постановила, чтобы обе стороны, как принявшая унию, так и не принявшая, оставались в покое, а в случае споров следует судиться смешанным судом, т. е. перед судьями, принадлежащими к той и другой стороне. Это было согласно с духом польской свободы и равенства прав; да и по общим юридическим понятиям спорные дела между равноправными судятся перед судьями, избираемыми с обеих сторон; но униаты тотчас перетолковали эту конституцию в свою пользу и доказывали, что духовные дела должны разбираться только духовными лицами, а как в то время епархии были замещены униатами, то и все дела по суду оставались в руках одной стороны.

Уния сама по себе не могла бы скоро взять верх; свобода польская не должна была допускать насилие совести; вышло бы только две веры с греческими обрядами; одна с признанием папы, другая под властью константинопольского патриарха; а так как прежние льготы должны были по праву принадлежать не признающим папы, потому что даны были тогда еще, когда унии не было, то очевидно, что материальная сила оставалась бы на стороне православия. Но иезуиты совершили свое заветное дело распространения папской власти и здесь, как во многих странах. Иезуиты, как люди практические, всегда пользовались слабою стороною в том крае, где хотели властвовать. В Речи Посполитой они нашли всемогущество дворянского сословия и поняли, что какой дух будет в дворянстве, таков будет и строй государства. Свобода убеждений и совести тогда, как и всегда, была, так сказать, обоюдоострый меч; она столько же препятствовала, сколько и помогала иезуитам. Дух нации был против них, когда они вступили на польскую и литовско-русскую почву; многие считали их положительно

* Арх. Югоз. Росс. II, 203.

вредными, но признавали необходимым допустить их, как все вредное следовало допускать по началу свободы в надежде, что доброе возьмет верх.

Иезуиты занялись воспитанием и скоро успели переменить о себе мнение, потому что хотя воспитание, даваемое ими, и было поверхностное, зато скоро и широко распространялось. Иезуиты в своем взгляде на просвещение держались того мнения, что лучше пусть в крае как можно больше будет образованных людей, хоть бы со слабым образованием, чем немногие приобретут знание и основательное образование, а громада останется в совершенной тьме. Иезуитские школы росли как грибы. В первой половине XVII века они имели более тридцати школ и академию в Вильне. В Южной Руси у них уже в конце XVI века были школы в Ярославле и Львове; в 1609 г. основали они в Луцке школу, в 1610 — в Баре и Каменце, в Перемышле, в 1620 — в Киеве, в 1624 — в Остроге; на левую сторону Днепра они проникли уже в царствование Сигизмунда, сына Владислава. Шляхетство отдавало к ним детей затем, что распространилась о них молва, что у них скоро учат и выпускают хороших латинщиков; а знание латыни тогда считалось главною вывескою учености и воспитания. По прежнему обычаю иезуиты ничего не брали за воспитание и вознаграждали себя добровольным приношением, и оттого в их школы поступало много детей небогатой шляхты, видевшей у них дешевый способ воспитания; деньги тогда были дороги, а съестного изобилие; следовательно, привозить в школу мяса, овощей, хлеба — не считалось большою тратою.

Как попадался к ним православный мальчик, обыкновенно ничего не знающий в своей вере, они его скоро обдeldывали по-своему: они вели учение свое так, что в силу сцепления понятий, передаваемых знанием, у воспитанников являлась скоро любовь к католичеству и отвращение ко всему некатолическому и в том числе к православию. Иезуиты обладали изумительным искусством привязывать к себе детей и внушать на всю жизнь приверженность к своему ордену; поэтому они старались, чтобы детям у них было чрезвычайно приятно; они рассчитывали, что воспоминания детства на целую жизнь оставляют незаменимую прелесть, что полученные в детстве привязанности и антипатии крепче всего в человеке; но между тем они также знали, что старость, особенно малоразвитая, любит строгость над молодостью; поэтому, прочтя их устав, могло казаться, как будто бы в их школах господствует самая суровая дисциплина, самая строгая нравственность: старикам-отцам это очень нравилось, и отцы тем охотнее отдавали детей в иезуитские школы. Детей, напротив, в те времена иезуиты баловали, отнюдь не томили частым учением, а большую часть времени дети у них проводили в забавах. Вообще подчинение церкви было исходным пунктом иезуитами проповедываемой нравственности; но чтобы это подчинение отнюдь не казалось суровым, иезуиты были снисходительны к человеческим слабостям; они не ставили в грех ве-

село́й жизни, лишь бы только всегда помнить о боге и о повиновении церкви. У них в школах было праздников более, чем обыкновенно; праздновали с особенною важностью дни разных святых, отличившихся ревностью к католичеству, а особенно святых иезуитского ордена: Игнатия Лойолы, Франциска Ксаверия. Самые детские забавы устраивались так, чтобы дети, играя, привязывались к религии. Они нашли, что детскому возрасту никакие забавы не могли столько нравиться, как забавы в сценическом роде, и по праздникам устраивали у себя в школах сочиненные ими нарочно драматические представления, которые бы внедряли в сердца и воображение детей католическое благочестие и привязанность к иезуитам. Было, между прочим, в ходу аллегорическое представление, где изображалась борьба иезуитского ордена с ересью. Ересь с адскими фуриями, ложью, развратом и роскошью овладевает европейскими монархами и подвигает их против истинной католической веры. Европа страдает от своих государей; призывается на помощь вере иезуитский орден; являются иезуиты, как борцы правды. Государь сознает свое заблуждение, приносит покаяние иезуитам; ересь поражается небесными громами — Европа очищена. Церковь поет хвалебное торжество иезуитскому ордену. А вот другое представление: сцены происходят в Новом Свете и Азии; там борьба ведется с древним язычеством — везде иезуиты, везде они победители, небо и земля величают их. Зрелище оканчивается великолепною апофеозою иезуитского ордена. Такими представлениями потешали своих воспитанников иезуиты и привязывали их к своему ордену. С постоянною проповедью благонравия иезуиты смотрели сквозь пальцы на шалости учеников; бывали между учениками и игра в кости, и пьянство, и распутство... учителя как будто не замечали этого, когда находили нужным не замечать, заботились только, чтобы это не было гласно и соблазнительно (*clam tamen et secluso scandalo*), а к своевольству и буйству нередко сами приучали учеников; захотят ли иезуиты надеть пакостей иноверцам — подушают учеников своей школы помешать не католическому богослужению в церкви или процессии на улице: толпа учеников кидает грязью, камнями, бьет палками, свищет, кричит; иногда на кого-нибудь разозлятся отцы иезуиты, — и ученики нападут на его дом или же на улице встретят и зададут трезвона: начнутся позывы в суд; тогда отцы иезуиты представляют это дело как детскую шалость; и дело часто оканчивается только тем, что им же предоставят наказать своих учеников за шалость школьным образом. Заставляя всех воспитанников равным образом повиноваться, иезуиты, однако, не развивали в них дружеского товарищества; напротив, проводили такое учение, что человек не должен прилепляться слишком к человеку, а иметь другом одного бога; не следует дружить до того, чтобы доверяться приятелю совершенно и быть готовым жертвовать для него всем, чтобы, таким образом, не сделать в угоду человеку чего-нибудь такого, что противно богу. Иезуиты потакали тоже предрассуд-

кам породы и нигде до такой степени не поддерживали этих предрассудков, как в польской Руси, потому что здесь нужно было для успеха распространения папизма как можно более отделять дворянство от народа и представлять, что дворянину стыдно было хлопской веры. Кроме школьного образования иезуиты занимали должности воспитателей детей в дворянских домах и там, действуя на воспитанника, умели приобретать нередко расположение родителей и домашних. В такой должности иезуит делался другом семьи, необходимым человеком; он оживлял домашний круг своим остроумием, он и исполнял поручения хозяина дома, умел ему быть полезным и по хозяйству, и по делам, и незаметно вел семью, где поселялся, к своим целям. С чрезвычайною ловкостью иезуиты умели овладевать женщинами и направлять их: когда русский женился на польке-католичке, в дом входил к нему иезуит в качестве духовника, советника пани; и тогда мать под влиянием иезуита неизбежно настраивала детей своих, нередко и своего мужа к принятию вместе с польским языком католической веры. Такими способами иезуиты в течение каких-нибудь тридцати лет переделали все русское дворянство. Большая часть его перешла в католичество. Провизоры, некогда столь грозно восставшие за православие, перемерли; из них в 1622 г. остался уже только один, да и тот был безвреден для врагов православия. Но гораздо ранее этого времени, именно в 1610 году, т. е. через четырнадцать лет после введения унии, Мелетий Смотрицкий под именем Ортолога в книге «Плач восточной церкви» жалуется на потерю важнейших фамилий. «Где дом Острожских, — восклицает он, — славный пред всеми другими блеском древней веры? Где роды князей Слуцких, Заславских, Вишневецких, Сангушек, Чёрторыжских, Пронских, Рожинских, Соколицких, Головчинских, Крашинских, Мосальских, Горских, Соколинских, Лукомских, Пузин и другие, которых сосчитать трудно? Где славные, сильные, во всем свете ведомые мужеством и доблестью Ходкевичи, Глебовичи, Кишки, Сапеги, Дорогостайские, Хмелецкие, Войки, Воловичи, Зеновичи, Тышкевичи, Пацы, Скумины, Корсаки, Хребтовичи, Тризны, Горностаи, Мышки, Гойские, Семашки, Гулевици, Ярмолинские, Чолганские, Калиновские, Кирдеи, Загоровские, Мелешки, Боговитины, Павловичи, Сосновские, Поцеи? Злодеи отняли у меня эту драгоценную одежду (говорилось в этом сочинении от лица церкви) и теперь ругаются над моим бедным телом, из которого все вышли!»

Даже униаты скорбели о том, что дворянство русское отступило в латинство: «Уже унии со свечой приходится искать русского шляхтича, не то что сенатора» — говорит униат в начале третьего десятилетия XVII века*.

Таким образом, все дворянство отпадало от веры народности: в Руси исчезал деятельный, свободный класс, который мог путем законным

* Antelenchus, 47—49.

и правильным постоять за святыню старины своей. Мещане знатнейших городов шли за дворянством: число униатов в городах увеличивалось, число православных уменьшалось; и чем их меньше становилось, тем труднее им было бороться с громадою противников, которая угнетала их при помощи и правительственной, и общественной силы. Порабощенный сельский народ умел только терпеть и страдал, пока какая-нибудь новая сила не извлечет его из отупения. Вообще состояние русского простолудина становилось хуже по мере того, как русские пань теряли веру — единую связь духовного равенства с народом. Русская вера стала преимущественно (только с немногими исключениями) верою хлопскою и не могла найти никакой поддержки внутри русского края; ее знамя взяли казаки. Неудивительно, если после такого беззакония, какое испытало это древнее вероисповедание, более чем какое-нибудь другое в христианском мире чтившее законность, строгий порядок и древность предания, оно не нашло в земле Речи Посполитой других защитников, кроме таких, которые шли на ниспровержение всякой законности, порядка и преданий в той стране, где начинали понимать и чувствовать свободу, но не умели сохранить ее ни в духовном, ни в политическом, ни в общественном отношении! Немудрено, если православию явились и литературные защитники, так сказать, в казацком духе, каким был Христофор Бронский, написавший знаменитую в свое время книгу «Апокрозис»⁶⁴, где вопреки строгому подчинению духовным властям в делах веры, чего требовала издавна православная церковь, дозволял равное и свободное участие мысли светским людям наравне с духовными, а учение о безусловном повиновении церкви называл жидовством (посмотремо у отцы святии, смотремо; як тии учат, чтобы светским людем з страны веры на духовные до конца ся спущати, а самым о ней ся не пытаючи без розсудка их не следовати и слухати завсегда в том разказуют? Боже уховай! Наука то и росказанье не христианских, але жидовских докторов: рабины и рабасы, которые в Талмуте незличоную речь спросных, глупых и брыдливых, Божему прироженому и писанному праву противных, фалшов и кламств написавши, под потоплениям тому всему своим жидам верити росказали, оже бы ся до обаченья приходити не могли); а на том основании, что в церкви выбирали священнослужительных лиц светские, он давал светским право по своему усмотрению не слушаться их и низлагать. (Посполитный люд, послушный будучи заповедям господин и Бога ся боячи, от злаго преложеного отлучитися повинен, и ни ся до святокродцы иерея офер мещати; кгдаж он наиболее мает моц албо оберати годных иереи, албо ся негодных хоронити; што теж само видимо з Божией поваги походити, же иерей при бытности люду посполитого перед всех очима выбран и годный и способный посполитым розсудком и сведецством утверждено бывает, абы, при бытности люду посполитаго, албо злых поступки открыти, албо добрых заслуги ознаимены были). Некоторые видят в этом авторе тайного протестанта; но очень возможно было

православному человеку в то время путем логического сцепления идей
дойти до таких умствований после того как православная иерархия
оступила от веры *.

* Кроме многих из источников, показанных в предыдущих главах,
при составлении описания самого Брестского собора, автор пользовался
очень редким сочинением: *Ekthesis albo krótkie zebranie spraw które się
działy na particularnym to jest pomiestnym synodzie w Brzeście Litewskem
1597*. Экземпляр (чуть ли не единственный) этого важного сочинения
хранится в Публичной библиотеке.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР СВЯТОЙ

Наша история о временах, предшествовавших принятию христианства, темна и наполнена сказаниями, за которыми нельзя признать несомненной достоверности. Этому причиною то, что наши первые летописцы писали не ранее второй половины XI в., и о событиях, происходивших в их отечестве в IX и X веках, за исключением немногих письменных греческих известий, не имели других источников, кроме изустных народных преданий, которые по своему свойству подвергались вымыслам и изменениям. С достоверностью можно сказать, что подобно всем северным европейским народам и русский только с христианством получил действительные и прочные основы для дальнейшей выработки гражданской и государственной жизни,— основы, без которых собственно для народа нет истории. С давних времен восточная половина нынешней Европейской России была населена народами племени чудского и тюрского, а в западной половине, кроме народов литовского и чудского племени, примыкавших своими поселениями к Балтийскому побережью, жили славяне под разными местными названиями, держась берегов рек: Западной Двины, Волхова, Днепра, Припяти, Сожа, Горыни, Стыри, Случи, Буга, Днестра, Сулы, Десны, Оки с их притоками. Они жили небольшими общинами, которые имели свое средоточие в городах — укрепленных пунктах защиты, народных собраний и управления. Никаких установлений, связующих между собою племена, не было. Признаков государственной жизни мы не замечаем. Славяно-русские племена управлялись своими князьями, вели между собою мелкие войны и не в состоянии были охранять себя взаимно и общими силами против иноплеменников, а потому часто были покоряемы. Религия их состояла в обожании природы, в признании мыслящей человеческой силы за предметами и явлениями внешней природы, в поклонении солнцу, небу, воде, земле, ветру, деревьям, птицам, камням и т. п. и в разных баснях, верованиях, празднествах и обрядах, создаваемых и учреждаемых на основании этого обожания природы. Их религиозные представления отчасти выражались в форме идолов, но у них не было ни храмов, ни жрецов; а потому их религия не могла иметь признаков повсеместности и неизменяемости. У них были неясные представления о существовании человека

после смерти; замогильный мир представлялся их воображению продолжением настоящей жизни, так что в том мире, как и в здешнем, предполагались одни рабами, другие господами. Они чествовали умерших прародителей, считали их покровителями и приносили им жертвы. Верили они также в волшебство, т. е. в знание тайной силы вещей и питали большое уважение к волхвам и волхвицам, которых считали обладателями такого знания; с этим связывалось множество суеверных приемов, как-то: гаданий, шептаний, завязывания узлов и тому подобного. В особенности была велика вера в тайное могущество слова, и такая вера выражалась во множестве заговоров, уцелевших до сих пор у народа. Сообразно такому духовному развитию было состояние их житейской умелости. Они умели строить себе деревянные жилища, укреплять их деревянными стенами, рвами и земляными насыпями, делать ладьи и рыболовные снасти, возделывать землю, водить домашних животных, прясть, ткать, шить, готовить кушанья и напитки — пиво, мед, брагу, — ковать металлы, обжигать глину на домашнюю посуду; знали употребление веса, меры, монеты; имели свои музыкальные инструменты; на войну выходили с метательными копьями, стрелами и отчасти мечами. Все познания их переходили от поколения к поколению, подвигаясь вперед очень медленно; но сношения с Византийскою империею и отчасти с арабским Востоком мало-помалу оказывали на русских славян образовательное влияние. Из Византии заходило к ним христианство. В половине IX века русские после неудачного похода на Византию, когда бурия истребила их суда, приняли крещение, но вслед за тем язычество опять взяло верх в стране; однако и после того многие из русских служили на службе византийских императоров в Греции, принимали там христианство и вносили его в свое отечество. В половине X века киевская княгиня Ольга приняла св. крещение. Все это, однако, были только предуготовительные явления. При князьях так называемого Рюрикава дома господствовало полное варварство. Они облагали русские народы данью и до некоторой степени, подчиняя их себе, объединяли; но их власть имела не государственные, а наезднические или разбойничьи черты. Они окружали себя дружиною, шайкою удалцов, жадных к грабежу и убийствам, составляли из охотников разных племен рать и делали набеги на соседей — на области Византийской империи, на восточные страны прикаспийские и закавказские. Цель их была приобретение добычи. С тем же взглядом они относились и к подчиненным народам; последние присуждались платить дань, и чем более можно было с них брать, тем более брали; за эту дань бравшие ее не принимали на себя никаких обязательств оказывать какую-нибудь выгоду с своей стороны подданным. С другой стороны, князья и их дружинники, имея в виду только дань и добычу, не старались вводить чего-нибудь в жизнь плативших дань, ломать их обычаев, и оставляли с их внутренним строем, лишь бы только они давали дани и поборы.

Такой варварский склад общественной жизни изменяется с принятием христианской религии, с которою из Византии — самой образованной в те времена державы — перешли к нам как понятия юридические и государственные, так и начала умственной и литературной деятельности. Принятие христианства было переворотом, обновившим и оживотворившим Русь и указавшим ей историческую дорогу.

Этот переворот совершен Владимиром, получившим наименование Святого, человеком великим по своему времени. К сожалению, жизнь его нам мало известна в подробностях, и летописи, сообщающие его историю, передают немало таких черт, в достоверности которых можно скорее сомневаться, чем принимать их на веру. Откидывая в сторону все, что может подвергаться сомнению, мы ограничимся короткими сведениями, которые при всей скудости все-таки достаточно показывают чрезвычайную важность значения Владимира в русской истории.

Владимир был сын воинственного Святослава, киевского князя, который предпринял поход на хазар, господствовавших в Юго-Восточной России, взял их город Саркел на Дону, победил прикавказских народов: ясов и касогов, завоевал Болгарию на Дунае, но должен был после упорной защиты уступить ее греческому императору. На возвратном пути из Болгарии в Русь он был убит печенегами, народом тюркского племени. Будучи еще в детском возрасте, Владимир был призван новгородцами на княжение и уехал в Новгород вместе с своим дядею Добрынею, братом его матери Малуши, ключницы его бабки Ольги. По смерти Святослава между детьми его началось междоусобие. Киевский князь Ярополк убил брата своего, древлянского князя Олега. Владимир с своим дядею убежал в Швецию и возвратился в Новгород с чужеземною ратью. Вражда у них с Ярополком возникла оттого, что дочь Рогволода, князя полоцкого, Рогнедь, которой руки отосил Владимир, отказала ему такими словами: «не хочу разуть (разуть жениха — обряд свадебный; разуть — вместо: выйти замуж) сына рабы», попрекнув его низостью происхождения по матери, и собиралась выходить за Ярополка. Владимир завоевал Полоцк, убил Рогволода, полоцкого князя, и женился насильно на Рогнеди. Вслед за тем он овладел Киевом и убил своего брата Ярополка. Летописец наш изображает вообще Владимира жестоким, кровожадным и женолобивым; но мы не можем доверять такому изображению, так как по всему видно, что летописец с намерением хочет наложить на Владимира-язычника как можно более черных красок, чтобы тем ярче указать на чудотворное действие благодати крещения, представив того же князя в самом светлом виде после принятия христианства.

С большою достоверностью можно принять вообще известие о том, что Владимир, будучи еще язычником, был повелителем большого пространства нынешней России и старался как о распространении своих владений, так и об укреплении своей власти над ними. Таким образом, он повелевал Новгородскою землею — берегами рек: Волхо-

ва, Невы, Мсты, Луги,— землю Белозерскою, землю Ростовскою, землю Смоленскою в верховьях Днепра и Волги, землю Полоцкою на Двине, землю Северскою по Десне и Семи, землю полян, или Киевскою, землю Древлянскою (восточную часть Воыни) и, вероятно, также западную Воынью. Радимичи, жившие на Соже, и вятичи, жители берегов Оки и ее притоков, хотели отложиться от подданства и были укрощены. Владимир подчинил дани даже отдаленных ятвягов, полудикий народ, живший в лесах и болотах нынешней Гродненской губернии. Не должно, однако, думать, чтобы это обладание имело характер государственный: оно ограничивалось собиранием дани, где можно было собирать ее, и такое собиание имело вид грабежа. Сам Владимир укрепился в Киеве с помощью чужеземцев-скандинавов, называемых у нас варягами, и раздал им в управление города, откуда со своими вооруженными дружинами они могли собирать дани с жителей.

В 988 году Владимир принял христианство. Обстоятельства, предшествовавшие этому событию и сопровождавшие его, рассказываются с баснословными чертами, которые вполне свойственны изустным преданиям, записанным уже довольно долгое время спустя после означенного события. Достоверно только то, что Владимир крестился и в то же время вступил в брак с греческою царвеною Анною, сестрою императоров Василия и Константина. Крещение его по всем вероятиям происходило в Корсуне, или Херсонесе, греческом городе на юго-западном берегу Крыма; и оттуда Владимир привел в Киев первых духовных и необходимые принадлежности для христианского богослужения. В Киеве он крестил своих сыновей и народ. Жители без явного противодействия крестились в Днепре, отчасти потому, что в самом Киеве уже значительно распространено было христианство и христиане не составляли там незначительного меньшинства, а более всего оттого, что у русских язычников не было жреческого сословия, которое бы разъяснило народу преступность такого переворота с языческой точки зрения и возбуждало бы толпу к сопротивлению. Самое древнее русско-славянское язычество не имело определенно-го характера, общего для всех, в смысле положительной религии, и состояло из множества суеверий и представлений, которые при невежестве и впоследствии легко уживались с наружным принятием христианства. Большинство вступало в новую веру и совершало обряд крещения, не понимая что делает. Борьба язычества с христианством выражалась пассивно: продолжительным соблюдением языческих приемов жизни и сохранением языческих суеверий; такая борьба происходила многие века после Владимира; но она не мешала русскому народу принять крещение, в котором сначала он не видел ничего противного, потому что не понимал его смысла. Только постепенно и для немногих открывался действительно свет нового учения.

Владимир деятельно занимался распространением веры, крестил народ по землям, подвластным ему, строил церкви, назначал духов-

ных. В самом Киеве он построил церковь св. Василия и церковь Богородицы, так называемую Десятинную, названную так оттого, что князь назначил на содержание этой церкви и духовенства ее десятую часть княжеских доходов. Для прочного укрепления новопринятой веры Владимир вознамерился распространить книжное просвещение и с этой целью в Киеве и в других городах приказал набирать у значительных домохозяев детей и отдавать их в обучение грамоте. Таким образом на Руси в каких-нибудь лет двадцать возросло поколение людей, по уровню своих понятий и по кругозору своих сведений далеко шагнувших вперед от того состояния, в каком находились их родители; эти люди стали не только основателями христианского общества на Руси, но также проводниками переходившей вместе с религиею образованности, борцами за начала государственные и гражданские. Эта одна черта уже показывает во Владимире истинно великого человека: он вполне понял самый верный путь к прочному водворению начал новой жизни, которые хотел привить своему полудикому народу, и проводил свое намерение несмотря на встречаемые затруднения. Летописец говорит, что матери, отпуская детей в школы, плакали о них, как о мертвых.

Владимир после крещения является чрезвычайно благодушным. Проникнутый духом христианской любви, он не хотел даже казнить злодеев, и хотя сначала согласился было на увещания корсуньских духовных, находившихся около него в Киеве, но потом, с совета бояр и городских старцев, установил наказывать преступников только денежною пенею — вирую, по старым обычаям, рассуждая при этом, что такого рода наказание будет способствовать умножению средств для содержания войска.

Сохраняя племенную славянскую веселость, Владимир примирял ее с требованиями христианского благочестия. Он любил пиры и празднества, но пировал не с одними своими боярами, а хотел делиться своими утехами со всем народом — и с старыми и мальми; он отправлял пиршества преимущественно в большие церковные праздники или по случаю освящения церковей (что в то время было памятным событием). Он созывал народ отовсюду, кормил, поил всех пришедших, раздавал неимущим потребное, и даже заботясь о тех, которые почему-нибудь сами не в состоянии были явиться на княжий двор, приказывал развозить по городу пищу и питье. Но такое мирное проведение времени не мешало ему, однако, воевать против врагов. Тогда Киевскую Русь беспокоили печенегы, народ кочевой и наезднический. Уже около столетия нападали они на русский край, и при отце Владимира во время его отсутствия чуть было не взяли Киева. Владимир отразил их с успехом, и заботясь как об умножении ратной силы, так и об увеличении населения в крае, принадлежащем Киеву, населял построенные им по берегам рек Сулы, Стугны, Трубежа, Десны города или укрепленные места переселенцами из разных земель — не только русско-славянских, но и чудских. В 992 году он от-

нял у польского короля червенские города, нынешнюю Галицию, и присоединил к Руси этот край, населенный хорватами, ветвью русско-славянского племени.

Перед концом жизни Владимир понес сильное огорчение: сын его Ярослав оказал непослушание отцу, и Владимир готовился идти на него. «Теребите путь и мостите мосты», приказывал он; но смерть застигла его в этих сборах. Он умер 15 июля 1015 года в своем подгородном селе Берестове.

КИЕВСКИЙ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Княжение Ярослава может назваться продолжением Владимировича, как по отношению киевского князя к подчиненным землям, так и по содействию к расширению в Руси новых начал жизни, внесенных христианством.

Ярослав является в первый раз в истории мятежным сыном против отца. По известиям летописи, будучи на княжении в Новгороде в качестве подручника киевского князя, Ярослав собирал с Новгородской земли три тысячи гривен, из которых две тысячи должен был отсылать в Киев к отцу своему. Ярослав не стал доставлять этих денег, и разгневанный отец собирался идти с войском наказывать непокорного сына. Ярослав убежал в Швецию набирать иноплемеников против отца. Смерть Владимира помешала этой войне. По соображениям с тогдашними обстоятельствами можно, однако, полагать, что были еще более глубокие причины раздора, возникшего между сыном и отцом. Дети Владимировича были от разных матерей*.

* Одни летописные известия называют Ярослава сыном Рогнеды, но другие противоречат этому, сообщая, что Владимир имел от несчастной княжны полоцкой одного только сына Изяслава и отпустил Рогнеду с сыном в землю отца ее Рогволода; с тех пор потомки Рогнеды княжили особо в Полоцке и между ними и потомством Ярослава существовала постоянно родовая неприязнь, поддерживаемая преданиями о своих предках. Из рода в род переходило такое предание: приживши от Рогнеды сына Изяслава, Владимир покинул ее, увлекаясь другими женщинами. Рогнеда, из мщения за своего отца и за себя, покусилась умертвить Владимира во время сна, но Владимир успел проснуться вовремя и схватил ее за руку в ту минуту, когда она заносила над ним нож. Владимир приказал ей одеться в брачный наряд, сесть в богатоубранном покое и ожидать его; он собственноручно обещал умертвить ее. Но Рогнеда научила малолетнего сына своего Изяслава взять в руки обнаженный меч и, вышедши навстречу отцу, сказать: «Отец, ты думаешь, что ты здесь один!» Владимир тронулся видом сына: «Кто бы думал, что ты будешь здесь!» — сказал он и бросил меч; затем, призвавши бояр, передал на их суд свое дело с женою. «Не убивай ее, — сказали бояре, — ради ее дитяти: возврати ей с сыном отчину ее отца». Так рассказывает предание, без сомнения общераспространенное в древние времена. Внуки Рогволода, помня, по преданию, об этом событии, нахо-

Владимир перед кончиною более всех сыновей любил Бориса. Вместе со своим меньшим братом Глебом он в наших летописях называется сыном «болгарыни», а по другим, позднейшим известиям — сыном греческой царевны. Наши историки, желая сочетать эти известия, полагали, что царевна, отданная в замужество за Владимира Святого, была не родная, а двоюродная сестра греческих императоров, дочь болгарского царя Петра. Была ли она двоюродная сестра Василия и Константина или же родная — до сих пор не решено, но во всяком случае очень вероятно, что Борис и Глеб были дети этой царевны и Владимир как христианин оказывал им предпочтение перед другими сыновьями, считая их более законными по рождению, так как с их матерью он был соединен христианским браком, и они, кроме того, предпочтительно перед другими имели право на знатность происхождения по матери от царской крови.

Владимир, разместивши сыновей по землям, держал близ себя Бориса, явно желая передать ему после себя киевское княжество. Это, как видно, и вооружало против отца Ярослава, который летами был старше Бориса, но еще более вооружало это обстоятельство Святополка, князя, который был по летам старше Ярослава. В летописи Святополк признается сыном монахини-гречанки, жены Ярополка, которую Владимир взял себе после брата, как говорят, беременною, и потому неизвестно, был ли Святополк сын Ярополка или Владимира; но в том или другом случае Святополк по возрасту был старше всех прочих сыновей Владимира. Смерть не допустила Владимира до войны с сыном. Бориса в то время не было в Киеве: он был отправлен отцом на печенегов. Бояре, благоприятствовавшие Борису, три дня скрывали смерть Владимира, вероятно, до того времени, пока может возвратиться Борис, но, не дождавшись Бориса, должны были похоронить Владимира. Святополк дарами и ласкательством расположил к себе киевлян; они признали его киевским князем: хотя старшинство рождения давало ему право на княжение, но нужно было еще утвердить его и народным согласием, особенно в такое время, когда существовали другие соискатели. Положение его, однако, и при этом было нетвердо. Купленное расположение киевлян могло легко измениться. Дети христианской царевны имели перед ним нравственное преимущество, могли, кроме того, призвать чужеземцев, и особенно Борис мог во всяком случае быть для него опасным соперником. Святополк избавился от обоих, подославши тайных убийц. Борис был умерщвлен на берегах Альты,

дидлись во враждебных отношениях к внукам Владимиров сына, Ярослава, которым кроме Полоцкой земли, оставшейся в руках потомков Рогволода с материнской стороны, досталась вся остальная Русская земля. При существовании такого предания, подтверждаемого вековым обособлением полоцких князей от Ярославова рода, едва ли можно считать Ярослава сыном Рогнеды.

Но не будучи единоутробным братом полоцкого князя, уже при жизни Владимира отделенного, Ярослав не был единоутробным братом и других сыновей своего отца.

близ Переяславля; Глеб — на Днепре, близ Смоленска. Такая же участь постигла и третьего брата, Святослава древлянского, который, услышав об опасности, бежал в Венгрию, но был настигнут в Карпатских горах и убит. Двое первых впоследствии причислены к лику святых: описание их смерти послужило предметом риторических повествований. Эти князья долго считались покровителями княжеского рода и охранителями Русской земли, так что многие победы русских над иноплемениками приписывались непосредственному вмешательству святых сыновей Владимира. Третий брат Святослав не удостоился такой чести, — вероятно, оттого, что первых возвысило в глазах церкви рождение от матери, принесшей с собой христианство в Русскую землю.

Ярослав, ничего не зная о смерти отца, привел в Новгород варягов и расставил их по дворам *. Пришельцы начали бесчинствовать; составилась против них заговор и последовало избиение варягов во дворе какого-то Поромони. Ярослав в отместку за это зазвал к себе в Раком (близ Новгорода, за Юрьевым монастырем) зачинщиков заговора под видом угощения и приказал перебить. В следующую ночь за тем пришло ему из Киева известие от сестры Предславы о смерти отца и об избиении братьев. Тогда Ярослав явился на вече (народная сходка), изъявлял сожаление о своем вероломном поступке с новгородцами и спрашивал: согласятся ли ему помочь. «Хотя, князь, ты и перебил нашу братью, но мы можем за тебя бороться», — отвечали ему. Новгородцам был расчет помогать Ярославу; их тяготила зависимость от Киева, которая должна была сделаться еще тягостнее при Святополке судя по его жестокому нраву; новгородцев оскорбляло и высокомерное поведение киевлян, считавших себя их господами. Они поднялись за Ярослава, но вместе с тем поднялись и за себя и не ошиблись в расчете, так как впоследствии Ярослав, обязанный им своим успехом, дал им льготную грамоту, освобождавшую их от непосредственной власти Киева и возвращавшую Новгороду с его землею древнюю самобытность.

Ярослав выступил в поход против киевского князя в 1016 году с новгородцами, которых летописец считает до 40 000; с ним было также до 1000 варягов под начальством Эймунда, сына норвежского князя Ринга. Святополк выступил против Ярослава осенью с киевлянами и печенегами. Враги встретились под Любечем и долго (по летописям,

* Варягами (Varingiar) назывались уроженцы скандинавских полуостровов, служившие у византийских императоров и переходившие из отечества в Грецию через русские земли водяным путем, по рекам от Балтийского моря до Черного. Так как русские в образе этих людей познакомились со скандинавами, то перенесли их сословное название на название вообще обитателей скандинавских полуостровов, а впоследствии это название расширилось в своем значении и под именем варягов стали разумеать вообще западных европейцев, подобно тому как в настоящее время простой народ называет всех западных европейцев немцами.

три месяца) стояли друг против друга на разных берегах Днепра; ни те, ни другие не смели первые перебраться через реку; наконец, киевляне раздражили новгородцев презрительными насмешками. Святополков воевода, выехавши вперед, кричал: «Ах, вы, плотники этакие, чего пришли с этим хромцем? * Вот мы заставим вас рубить нам хоромы!» «Князь,— закричали новгородцы,— если ты не пойдешь, то мы сами ударим на них»,— и они перевезлись через Днепр. Ярослав, зная, что один из воевод киевских расположен к нему, послал к нему ночью отрока и приказал сказать ему такого рода намек: «Что делать? меду мало варено, а дружины много». Киевлянин отвечал: «Хотя меду мало, а дружины много, но к вечеру нужно дать». Ярослав понял, что следует в ту же ночь сделать нападение, и двинулся в битву, отдавши такой приказ своей дружине: «Повяжите свои головы платками, чтобы отличать своих». Святополк заложил свой стан между двумя озерами и, не ожидая нападения, всю ночь пил и веселился с дружиною. Новгородцы неожиданно ударили на него. Печенеги стояли за озером и не могли помочь Святополку. Новгородцы притиснули киевлян к озеру. Киевляне бросились на лед, но лед был еще тонок и многие потонули в озере. Разбитый Святополк бежал в Польшу к своему тестю Болеславу, а Ярослав вступил в Киев.

Болеслав, прозванный Храбрый, стремился к расширению своих польских владений. Он увидел благоприятный случай вмешаться в междоусобия русских князей для своих выгод и в 1018 году пошел вместе с Святополком на Ярослава. Ярослав, предупреждая врагов, двинулся против них на Волынь и встретился с ними на берегах Буга. Тут опять повторился русский обычай поддразнивать врагов. Кормилец и воевода Ярославов, Будый, езда по берегу, кричал, указывая на Болеслава: «Вот, мы тебе щепкою проколем череву твое толстое». Не стерпел такого оскорбления храбрый Болеслав: «Если вас не трогает такой укор,— сказал он своим,— я один погибну», и бросился вброд через Буг, а поляки за ним. Ярослав не был готов к бою, не выдержал напора и убежал с четырьмя из своих людей в Новгород.

Болеслав овладел Киевом, не возвратил его Святополку, а засел в нем сам и приказал развести свою дружину по городам. Киев представлял много привлекательного для завоевателей. Дань с подчиненных русских земель обогащала этот город; торговля с Грецией и Востоком скопляла в нем произведения тогдашней образованности. Жить в нем было весело. Болеслав хотел, пребывая в Киеве, править своим государством и отправлял оттуда посольства в западную и восточную империи. Но такое поведение скоро раздражило как Святополка, так и киевлян. Святополк очутился в своем княжении подручником иноземного государя, а поляки начали обращаться с киевлянами, как господа с рабами. Тогда с согласия Святополка русские начали избивать поляков. Расставленные по городам поляки не в силах были

* Быть может: «хоромцем» — охотником строить.

помогать друг другу. Болеслав бежал, но успел захватить с собою княжеское имущество и сестер Ярославовых. Он прежде сватался за одну из сестер Ярослава, Предславу, но получив отказ, в отместку взял ее теперь к себе насильно.

Тем временем Ярослав, прибежавши впопыхах в Новгород, хотел бежать дальше, за море. Но бывший тогда новгородским посадником Коснятин, сын Добрыни, не пустил его и велел разрубить лодки; новгородцы кричали: «Будем еще биться за тебя с Болеславом и Святополком». Наложили поголовную подать, с каждого человека по четыре куны, но старосты платили по 10 гривен, а бояре по восемнадцати *, наняли варягов, собрали многочисленную рать и двинулись на Киев.

Святополк, освободившись от Болеслава вероломным образом, не мог уже более на него надеяться. Не в силах будучи удержать Киев, Болеслав все-таки захватил червенские города, отнятые от Польши Владимиром. Святополк обратился к печенегам: на помощь киевлян, как видно, он также не рассчитывал. Ярослав стал на берегу Альты, на том месте, где был убит брат его Борис. Там, в одну из пятниц 1019 года, на восходе солнца, произошла кровавая сеча. Святополк был разбит и бежал. По известиям нашей летописи, на него нашел какой-то безумный страх; он так расслабел, что не мог сидеть на коне и его тащили на носилках. Так достиг он Берестья (Брест). «Бежим, бежим, за нами гонятся!» — кричал он в беспамятстве. Бывшие с ним отроки посылали проведать, не гонится ли кто за ними; но никого не было, а Святополк все кричал: «Вот, вот, гонится, бежим!», и не давал остановиться ни на минуту; и забежал он куда-то «в пустыню между чехов и ляхов» и там кончил жизнь. «Могила его в этом месте и до сего дня, — говорит летописец, — и из нее исходит смрад» **. Память Святополка покрылась позором между потомками и прозвище Окаянного осталось за ним в истории.

Ярослав сел на-столу *** в Киеве и должен был выдержать борьбу и с другими родичами. Полоцкий князь Брячислав, сын брата его Изяслава, в 1021 году напал на Новгород, ограбил, взял в плен многих новгородцев и ушел к Полоцку; но Ярослав догнал его на реке Судомири, отбил новгородских пленников, отнял награбленное в Новгороде,

* Куна — первоначально куница, куний мех, так как меха были мерилом ценности вещей; отсюда слово куна стало означать монетную единицу. Гривна — собственно весовая единица, но в перенесении понятия сделалась крупною монетною единицею вроде английского фунта стерлингов. Первоначально гривна серебра = фунт, потом, уменьшаясь, дошла около полфунта; гривна кун приблизительно в семь с половиною раз менее гривны серебра.

** По скандинавским известиям, Святополк погиб в пределах Руси, убитый варягами.

*** С этих пор о вступающем на княжение князе почти всегда в летописях говорится, что «он сел на столе». Выражение это согласовалось с обрядом: нового князя действительно сажали на стол в главной соборной церкви, что и знаменовало признание его князем со стороны земли.

а потом помирился с ним, уступив ему во владение Витебск и Усвят.

В 1023 году Ярославу пришлось бороться с братом Мстиславом. Этот князь, по древним известиям, плотный телом, краснолицый, с большими глазами, отважный в битве, щедрый к дружине, получил от отца удел в отдаленной Тмутаракани, прославился своею богатырскою удалюю и в особенности единоборством с касожским князем Редедю, которое долго помнилось на Руси и составляло один из любимых предметов старинных песнопений. Русские, владея Тмутараканскою странюю, часто воевали с соседями своими, касогами. Князь касожский по имени Редедя предложил Мстиславу единоборство, с тем чтобы тот из них, кто в борьбе останется победителем, получил имущество, и жену, и детей, и землю побежденного. Мстислав принял предложение. Редедя был исполинского роста и необыкновенный силач; Мстислав изнемогал в борьбе с ним, но взмолился к пресв. Богородице и дал обет построить во имя ее церковь, если одолеет своего врага. После того он собрал все силы свои, повалил Редедю на землю и зарезал ножом. По сделанному условию Мстислав после того овладел его имуществом, женою, детьми и наложил на касогов дань, а в благодарность пресв. Богородице, оказавшей ему в минуту опасности помощь свыше, построил храм во имя ее в Тмутаракани. Этот-то князь-богатырь поднялся на своего брата Ярослава с подчиненными ему касогами и призвал на помощь хазар. Сначала он, пользуясь отъездом Ярослава в Новгород, хотел было овладеть Киевом, но киевляне его не приняли; насильно покорять их он, как видно, не хотел или не мог. Ярослав пригласил из-за моря варягов. Достоиню замечания, что почти всегда в междоусобиях князей этого времени они принуждены были приглашать каких-нибудь чужеземцев. Так было и теперь. Приглашенными варягами предводительствовал Якун (Гакон), который оставил по себе на Руси память тем, что на нем был плащ, затканый золотом. Ярослав и Мстислав вступили в бой в Северной земле близ Листвена. Была ночь и страшная гроза. Бой был жестокий. Мстислав выставил против варягов северян; варяги одолевали северян, но бросился на варягов отважный князь Мстислав со своею удалюю дружиною — и побежали варяги; Якун потерял даже свой золототканый плащ. Утром, обозревая поле битвы, Мстислав говорил: «Ну как этому не порадоваться! Здесь лежит варяг, там северянин, а своя дружина цела!» Русские князья еще долго проявляли свое древнее значение предводителей воинственных шаек, и только принятое христианство мало-помалу преобразовало их в земских правителей.

Победитель не стал более вести войны с братом. Он послал Ярославу, забежавшему в Новгород, такое слово: «Ты, старейший брат, сиди в Киеве, а мне пусть будет левая сторона Днепра!» Ярослав должен был согласиться. Мстислав избрал себе столицею Чернигов и заложил там церковь Спаса. С тех пор братья жили между собою душа в душу и в 1031 году, пользуясь слабостью преемника Болеслава Храб-

рого, Мечислава, возвратили отнятые Болеславом червенские города (Галичину); тогда Ярослав привел из Польши много пленников и поселил их у себя по берегам Роси; Мстиславу также достались пленники для поселения в своем уделе. Таким образом в народонаселение Киевской земли вливалась, между прочим, польская народная стихия.

В 1036 году Мстислав умер, выехавши на охоту. Он не оставил по себе детей. Удел его достался Ярославу, и с тех пор киевский князь остался до смерти единым властителем русских земель, кроме Полоцкой. Был, кроме него, в живых еще один сын Владимира Святого, Судислав, живший в Пскове, но Ярослав по какому-то оговору тотчас по смерти Мстислава засадил его в тюрьму в том же Пскове, и несчастный сидел там безвыходно до кончины Ярослава. В Новгород сначала Ярослав сам часто наезжал и живал там подолгу, а в отсутствии своем управлял чрез посадников. Коснятин, сын Добрыни, не пустивший Ярослава бежать за море, впоследствии подвергся его гневу, был сослан в Ростов, а потом убит в Муроме. В 1038 году Ярослав посадил в Новгород сына своего Владимира, а после его смерти, в 1052 г., посажен был сын Ярослава, Изяслав, и с тех пор в Новгороде постоянно уже были особые князья; преимущественно же в первое время выбирались старшие сыновья киевского князя.

Ярослав расширял область русского мира подчинением новых земель. Кроме приобретения червенских городов от Польши, он счастливо воевал с Чудью и в 1030 году основал в Чудской земле город Юрьев, названный таким образом по христианскому имени Ярослава, нареченного Юрием в крещении. В 1038 и 1040 годах он предпринимал походы на ятвягов и Литву и заставил эти народы платить дань. Червенские города все еще составляли спорную область между Польшею и Русью, но Ярослав укрепил их за Русью тем, что помирился и породнился с польским князем Казимиром. Ярослав отдал за него сестру свою. Казимир возвратил вместо вена * восемьсот русских пленных, некогда захваченных Болеславом: в те времена очень дорожили людьми, по скудости рук, необходимых для обработки полей и для защиты края. По всем вероятиям, в это время Казимир уступил русскому великому князю окончательно и червенские города, а за то Ярослав победил ему подчинить себе Мазовию. Не так счастливо кончилась у Ярослава морская война с Грециею, последняя в русской истории. Раздор произошел по поводу ссоры между русскими купцами и греками, во время которой убили одного русского. Ярослав в 1043 г. отправил против Византии сына своего Владимира и воеводу Вышату, но буря разбила русские суда и выбросила на берег Вышату с шестью тысячами воинов. Греки окружили их, взяли в плен и привели в Царьград. Там Вышате и многим русским выкололи глаза. Но Владимир на море счастливо отбил нападение греческих судов и воротился в отечество. Через три года заключен был мир; слепцов отпустили со всеми

* Плата, даваемая женихом родителям или братьям невесты по древнему обычаю.

пленными, а в утверждение мира греческий император Константин Мономах отдал дочь свою за сына Ярослава, Всеволода. Это было не одно родство Ярослава с иноземными государями своего времени. Одна дочь его, Елисавета, была за норвежским королем Гаральдом, оставившим потомству стихотворение, в котором, воспевая свои бранные подвиги, жаловался, что русская красавица холодна к нему. Другая дочь, Анна, вышла за французского короля Генриха I, и в новом отечестве присоединилась к римско-католической церкви, тогда еще только что отпавшей от единения с восточною. Сыновья Ярослава (вероятно, Вячеслав и Святослав) были женаты на немецких князях.

Ярослав более всего оставил по себе память в русской истории своими делами внутреннего устройства. Он имел страсть к постройкам. В 1037 году напали на Киев печенеги. Ярослав был в Новгороде и поспешил на юг с варягами и новгородцами. Печенеги огромною силою подступили к Киеву и были разбиты наголову. (С тех пор уже набеги их не повторялись. Часть печенегов поселилась в Русской земле, и мы в последующие времена видим их наравне с русскими в войсках русских князей.) В память этого события создана была Ярославом церковь св. Софии в Киеве на том месте, где происходила самая жестокая сеча с печенегами.

Храм св. Софии построен был греческими зодчими и украшен греческими художниками. Несмотря на все последующие перестройки и пристройки, храм этот до сих пор может служить образцом византийского зодчества того времени не только на Руси, но и во всей Европе. У нас это единственное здание XI века, сохранившееся сравнительно в большей целостности. В первоначальном своем виде это было продолговатое каменное здание, сложенное из огромных кирпичных плит и отчасти дикого камня; оно длиною в пятьдесят один аршин с половиною, шириною около семидесяти шести аршин, высота его была от шестидесяти до семидесяти аршин. На северной, западной и южной сторонах сделаны были каменные хоры, поддерживаемые толстыми столбами с тремя арками внизу и вверху на южной и северной сторонах; алтарь троечастный, полукруглый с окнами, а рядом с ним было два придела. Здание освещалось пятью куполами, из которых самый большой приходился над серединой церкви, а четыре над хорами. Алтарные стены, алтарные столбы и главный купол были украшены мозаикою, а прочие стены стенною живописью *. Снаружи церковь

* В настоящее время от прежней мозаики осталось на главном алтарном своде изображение Богородицы с поднятыми руками, а внизу, на той же стене, часть тайной вечери, а еще ниже, под нею, часть изображений разных святых. На алтарных столбах изображения Благовещения: на левой стороне ангел с ветвью, а на противоположном столбе прядущая Богородица. Кроме того, уцелела часть мозаики в куполе. Древняя стенная живопись в XVII веке была заштукатурена и на штукатурке нарисованы были другие изображения; в XIX столетии новая штукатурка была отбита, открыта старая и подправлена, но не совсем удачно и в некоторых местах слишком произвольно.

была обведена папертью, из которой на двух сторонах: южной и северной, шли две витые лестницы на хоры. Эти лестницы были расписаны изображениями разных случаев из светской жизни, как-то: княжеской охоты, княжеского суда, народных увеселений и т. п. (фрески эти существуют и до сих пор, хотя несколько подправленные).

Кроме св. Софии, Ярослав построил в Киеве церковь св. Ирины (теперь уже не существующую), монастырь св. Георгия, распространил Киев с западной стороны и построил так называемые Золотые ворота с церковью Благовещения над ними. По его повелению в Новгороде сын его Владимир в 1045 году воздвиг церковь св. Софии в Новгороде, по образцу киевской, хотя в меньших размерах. Церковь эта сделалась главною святынею Новгорода.

Время Ярослава ознаменовалось распространением христианской религии по всем русским землям. Тогда уже выросло поколение тех детей, которых Владимир отдавал в книжное учение. Ярослав в этом отношении продолжал дело своего отца; по крайней мере мы имеем известие, что он в Новгороде собрал 300 детей у старост и попов и отдавал их «учиться книгам». В Суздальской земле в 1024 году сам Ярослав боролся против язычества. Сделался в этой стране голод. Волхвы научали людей, будто старые бабы скрывают в себе жито и всякое обилие. Народ волновался, и несколько женщин было убито. Ярослав прибыл в Суздаль, казнил волхвов, их соумышленников засадил в тюрьмы и поучал народ, что голод происходит от кары божей, а не от чародейства старых баб. Всего глубже пустила свои корни новая вера в Киеве, и потому там строились один за другим монастыри. Умножение епископских кафедр потребовало установления главной кафедры над всеми, или митрополию. Ярослав положил начало русской митрополии вместе с основанием св. Софии. Первым митрополитом при нем является Феопемпт, освящавший в 1039 году Десятинную церковь, вновь перестроенную Ярославом. В 1051 году вместо Феопемпта поставлен был собором русских епископов Иларион, родом русский, человек замечательно ученый по своему времени, как показывает оставшееся от него сочинение «О благодати и законе». ¹ Сам Ярослав любил чтение и беседы с книжными людьми; он собрал знатоков и поручил переводить с греческого на русский язык разные сочинения духовного содержания и переписывать уже переведенные; таким образом, составила библиотека, которую Ярослав приказал хранить в св. Софии. Киевский князь, как видно, имел намерение освятить в глазах народа свой княжеский род и с этою целью вскоре по утверждении своем в Киеве перенес тело Глеба и положил рядом с телом Бориса в Вышгороде: с этих пор они начали привлекать к себе народ на поклонение; говорили, что тела их были нетленны и у гроба их совершались исцеления. В 1044 году Ярослав совершил странный обряд: он приказал выкопать из земли и крестить в Десятинной церкви кости своих дядей Олега и Ярополка, а потом похоронить их в церкви.

Ярославу принадлежит начало сборника древних законов под названием «Русской правды». Сборник этот, существующий в нескольких различных, то более, то менее полных редакциях, заключает законоположения, установленные в разные времена и в разных местах, чего в точности определить невозможно. Самая старейшая дошедшая до нас редакция не восходит ранее конца XIII века. Несомненно, что некоторые из статей были составлены при сыновьях и внуках Ярослава, о чем прямо говорится в самих статьях. Ученые признают принадлежащими времени Ярослава первые семнадцать статей этого сборника, хотя нельзя отрицать, что, быть может, многие из последующих статей первоначально относятся к его же времени. Главный предмет Ярославовых законоположений — случаи обид и вреда, наносимых одними лицами другим. Вообще как за убийство, так и за увечье и побои предоставлялась месть; за убийство могли законно мстить брат за брата, сын за отца, отец за сына и племянник за дядю. Если же мести не было, тогда платилась князю «вира», имевшая разные размеры, смотря по свойству обиды и по званию обиженного: таким образом, за убийство всякого свободного человека платилось 40 гривен, а за княжеского мужа 80. Вероятно, ко временам Ярослава можно отнести постановление о «дикой» вине, которая платилась князю всею общиною, или вервью (от веревки, которою обмерялась принадлежавшая общине земля), в том случае, когда на земле общины совершено было убийство, но на убийцу не было представлено иска. Нашедший у кого-нибудь украденную у него вещь мог взять ее тотчас, если объявил предварительно о покраже на торгу, а если не объявил, то должен был вести вора на свод, т. е. доискиваться, каким путем пришла к нему вещь. Такой же порядок соблюдался по отношению к беглому или украденному холопу. В случае заpiresательства ответчика дело решалось судом 12 выбранных человек.

Еще до своей смерти Ярослав разместил по русским землям своих сыновей. В Новгороде был старший сын его Владимир, умерший еще при жизни отца в 1052 году. В Турове был второй сын Ярослава, Изяслав, которому отец по смерти Владимира отдал новгородское княжение и назначил после своей смерти киевское; в Чернигове — Святослав, в Переяславле — Всеволод, во Владимире-Волынском — Игорь, а в Смоленске — Вячеслав.

Ярослав скончался 20 февраля 1054 года на руках у любимого сына Всеволода и погребен в церкви св. Софии в мраморной гробнице, уцелевшей до сих пор.

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР МОНОМАХ

Между древними князьями дотатарского периода после Ярослава никто не оставил по себе такой громкой и доброй памяти, как Владимир Мономах, князь деятельный, сильный волею, выдававшийся здра-

вым умом посреди своей братии, князей русских. Около его имени вращаются почти все важные события русской истории во второй половине XI и в первой четверти XII века. Этот человек может по справедливости назваться представителем своего времени. Славяно-русские народы, с незапамятных времен жившие отдельно, мало-помалу подчинились власти киевских князей и, таким образом, задачей их совокупной истории стало постепенное и медленное образование государственной цельности. В каких формах и в какой степени могла проявиться эта цельность и достигнуть полного своего осуществления — это зависело уже от последующих условий и обстоятельств. Общественное устройство у этих народов имело те общие для всех признаки, что они составляли земли, которые тянули к городам, пунктам своего средоточия, и в свою очередь дробились на части, хотя сохраняли до известной степени связь как между частями дробления, так и между более крупными единицами, и отсюда происходило, что города были двух родов: старейшие и меньшие; последние зависели от первых, но с признаками внутренней самобытности. Члены земли собирались в городах совещаться о своих делах, а творить расправу, защищать землю и управлять ею должен был князь. Сперва политическая власть киевских князей выражалась только тем, что они собирали дань с подчиненных, а потом шагом к более прочному единству и связи между землями было размещение сыновей киевского князя в разных землях: последствием этого было разветвление княжеского рода на линии, более или менее соответствовавшие расположению и разветвлению земель.

Это размещение княжеских сыновей началось еще в язычестве, но грубые варварские нравы не допускали развиваться какому-нибудь новому порядку; сильнейшие братья истребляли слабейших. Так, из сыновей Святослава остался один только Владимир; у Владимира было много сыновей и всех их он разместил по землям; но Святополк по образцу языческих предков начал истреблять братьев, и дело кончилось тем, что, за исключением особо выделенной Полоцкой земли¹, которая досталась старшему сыну Владимира, Изяславу, как удел его матери, вся остальная Русь была под властью одного киевского князя Ярослава. Это не было единодержавие в нашем смысле слова и вовсе не вело к прочному сцеплению земель между собою, а напротив, чем более земель могло скопиться под властью единого князя, тем менее было возможности этой единой власти наблюдать над ними и иметь влияние на течение событий в этих подвластных землях. С другой стороны, когда после принятия христианства вместе с одною верою входили в Русь и единый письменный язык, и одинакие нравственные, политические и юридические понятия, если в различных землях и пребывали свои князья, то это не мешало внутренней связи между землями русскими. Князья, происходя из единого княжеского рода, сохраняли более или менее одинакие понятия, привычки, предания, воззрения; руководила их при этом единая церковь — и они своим управлением способствовали, хотя бы часто и мимо собственной воли,

распространению таких свойств и признаков, которые были одинаковы во всех землях и, следовательно, вели их к единению между собою.

После Ярослава начинается уже непрерывно тот период, который обыкновенно называют удельным. Особые князья явились в земле северян, или Черниговской, в земле смоленских кривичей, в земле Волынской, в земле Хорватской, или Галицкой. В земле Новгородской сначала соблюдалось как бы правило, что там князем должен быть старший сын киевского князя, но это правило очень скоро уступило силе народного выбора. Земля Полоцкая уже прежде имела особых князей. В земле Русской, или Киевской, выделилось княжение переяславское², и к этому княжению по разделу Ярослава присоединена отдаленная Ростовская область. Собственно, не было ни правил для размещения князей, ни порядка их преемственности, ни даже прав каждого лица из княжеского рода на княжение где бы то ни было, а потому естественно должен был возникать ряд недоразумений, которые приводили неизбежно к междоусобиям. Само собою разумеется, что это задерживало ход развития тех начал образованности, которые Русь получила вместе с христианскою верою. Но еще более препятствовало этому развитию соседство с кочевыми народами и непрестанные столкновения с ними. Русь как будто приговором судьбы осуждена была видеть у себя приходивших с востока гостей, сменявших друг друга: в X веке и в первой половине XI она терпела от печенегов, а с половины XI их сменили половцы. При внутренней безлاديце и княжеских усобицах Русь никак не могла оградить себя и избавиться от такого соседства, тем более когда князья сами приглашали иноплемеников в своих междоусобиях друг против друга.

При таком положении дел важнейшею задачею тогдашней политической деятельности было, с одной стороны, установление порядка и согласия между князьями, а с другой — дружное обращение всех сил Русской земли на свою защиту против половцев. В истории дотатарского периода мы не видим ни одной такой личности, которой бы удалось совершить прочно и плодотворно такой великий подвиг; но из всех князей никто не стремился к этой цели с такою ясностью взгляда и с таким, хотя временным, успехом, как Мономах, и потому имя его пользовалось долго уважением. Кроме того, об его жизни сложилось понятие как об образцовом князе.

Владимир родился в 1053 году, за год до смерти деда своего Ярослава. Он был сын Всеволода, любимейшего из сыновей Ярослава; тогда как прочих сыновей Ярослав разместил по землям, назначив им уделы, Всеволода отец постоянно держал подле себя, хотя дал ему в удел близкий от Киева Переяславль и отдаленный Ростов. Старик Ярослав умер на руках у Всеволода. Мать Владимира, последняя супруга Всеволода, была дочь греческого императора Константина Мономаха; Владимир по деду со стороны матери получил имя Мономаха. Таким образом, у него было три имени: одно княжеское — Владимир, другое крестное — Василий, третье дедовское по матери — Мономах.

Будучи тринадцати лет от роду он принялся за занятия, которые по тогдашним понятиям были приличны княжескому званию, — войною и охотою. Владимир в этом случае не был исключением, так как в те времена князья вообще очень рано делали то, что по нашим понятиям прилично только возмужалым; их даже женили в отроческих летах. Отец послал Владимира в Ростов, и путь ему лежал через землю вятичей, которые еще тогда не хотели спокойно подчиняться княжеской власти Рюрикова дома. Владимир недолго был в Ростове и скоро появился в Смоленске. На Руси тем временем начинались одна за другою две беды, терзавшие страну целые века. Сперва поднялись княжеские междоусобия. Начало им было положено тем, что сын умершего Ярослава сына, Владимира, Ростислав, бежал в Тмутаракань, город, находившийся на Таманском полуострове и принадлежавший тогда черниговскому князю, поместившему там своего сына Глеба. Ростислав выгнал этого Глеба, но и сам не удержался после него. Событие это, само по себе одно из множества подобных в последующие времена, кажется замечательным именно потому, что оно было тогда первым в этом роде. Затем прорвалась вражда между полоцкими князьями и Ярославичами. В 1067 году полоцкий князь Всеслав напал на Новгород и ограбил его; за это Ярославичи пошли на него войною, разбили и взяли в плен.

В следующем, 1068 году настала другого рода беда. Нахлынули с востока половцы, кочевой народ тюркского племени; они стали нападать на русские земли. Первое столкновение с ними было неудачно для русских. Киевский князь Изяслав был разбит и вслед за тем прогнан самими киевлянами, с которыми он и прежде не ладил. Изяслав возвратился в Киев с помощью чужеземцев-поляков, а сын его варварски казнил и мучил киевлян, изгнавших его отца; потому-то киевляне при первой же возможности опять избавились от своего князя. Изяслав снова бежал, а вместо него сел на киевском столе брат его Святослав, княживший прежде в Чернигове; тогда Черниговской землею стал управлять Всеволод, а сына его Владимира Мономаха посадили на княжение в Смоленске.

Во все продолжение княжения Святослава Владимир служил ему как старейшему князю, так как отец Владимира, Всеволод, находился в согласии со Святославом. Таким образом Владимир по поручению Святослава ходил на помощь полякам против чехов, а также в интересах всего Ярослава племени воевал против полоцких князей. В 1073 году Святослав умер и на киевском столе опять сел Изяслав, на этот раз, как кажется, поладивший с киевлянами и со своим братом Всеволодом. Этот князь вывел прочь из Владимира-Волынского сына Святослава Олега, с тем чтобы там посадить своего собственного сына. Олег, оставшись без удела, прибыл в Чернигов к Всеволоду; Владимир находился тогда в дружелюбных отношениях с этим князем и, приехав из Смоленска в Чернигов, угощал его вместе с отцом своим. Но Олегу досадно было, что земля, где княжил его отец и где

протекло его детство, находится не у него во власти. В 1073 году он убежал из Чернигова в Тмутаракань, где после Ростислава жил уже подобный ему князь, беглец Борис, сын умершего Вячеслава Ярославича. Не должно думать, чтобы такого рода князья действительно имели какие-нибудь права на то, чего добивались. Тогда еще не было установлено и не вошло в обычай, чтобы все лица княжеского рода непременно имели удел, как равным образом не утвердилось правило, чтобы во всякой земле были князьями лица, принадлежавшие к одной княжеской ветви в силу своего происхождения. В самом распоряжении Ярослава не видно, чтобы, размещая своих сыновей по землям, он имел заранее в виду распространить право посаженных сыновей на их потомство. Сыновья Ярослава также не установили такого права, как это видно в Смоленске и на Волыни *. Только в Кривской земле держалась упорно и последовательно ветвь полоцкая, хотя Ярославичи хотели ее вытеснить оттуда. При совершенной неопределенности отношений, при отсутствии общепринятых и освященных временем прав князей на княжение понятно, что всякий князь, как только обстоятельства давали ему силу, старался устроить своих ближних,— главное, сыновей, если у него они были,— и в таком случае не стеснялся столкнуть с места иного князя, который был ему менее близок: от таких поступков не могла останавливать князей мысль о нарушении чужого права, потому что такого права еще не существовало. Со своей стороны, очень естественно было князю искать княжения так же, как княжили его родители и родные, и преимущественно там, где был князем его отец, где, быть может, он сам родился и где с детства привыкал к мысли заступить место отца. Такой князь легче всего мог найти себе помощь у воинственных иноплеменников. И вот, бежавшие в Тмутаракань Олег и Борис обратились к половцам. Не они первые вмешали этих врагов Руси в ее внутренние междоусобия. Сколько нам известно, первый, показавший им дорогу к такому вмешательству, был Владимир Мономах, так как по собственному его известию, помещенному в его поучении, он еще прежде них, при жизни своего дяди Святослава Ярославича, водил половцев на Полоцкую землю.

Олег и Борис с половцами бросились на Северскую землю. Всеволод вышел против них из Чернигова и был разбит. Олег легко овладел Черниговом; черниговцы приняли его сами, так как знали его издавна: вероятно, он и родился в Чернигове. Когда после того Всеволод вместе с киевским князем Изяславом хотел отнять Чернигов у Олега, чер-

* Еще раньше Вячеслав, княживший в Смоленске, умер; князья перевели туда из Волыни Игоря, а по смерти Игоря назначили туда князем Владимира Мономаха помимо детей Игоря. Равным образом на Волыни не было наследственной преемственности между князьями, и киевские князья помещали там своих сыновей; так что, когда княжил в Киеве Изяслав, на Волыни был его сын, а когда Святослав овладел Киевом, то поместил там своего сына; когда же Святослав умер и Изяслав опять сделался князем в Киеве, на Волыни стал княжить сын Изяслава.

ниговцы показали себя преданными Олегу и защищались до последних сил. Олега с ними в городе не было: упорство, с которым тогда стояли за него черниговцы, не поддерживалось его присутствием или стараниями и, вероятно, происходило от искренней привязанности к нему черниговцев. Владимир был тогда с отцом. Услышавши, что Олег с Борисом идет против них на выручку Чернигова и ведет с собою половец, князья оставили осаду и пошли навстречу врагам. Битва произошла на Нежатиной Ниве, близ села этого имени. Борис был убит; Олег бежал. Но их победители дорого заплатили за свою победу. Киевский князь Изяслав был убит в этой сече.

Смерть Изяслава доставила Киев Всеволоду. Чернигов, потеряв надежду на Олега, сдался, и в этом городе посадили Владимира Мономаха. Олег и брат его Роман Святославич в 1079 году попытались выгнать Владимира из Чернигова, но безуспешно. Всеволод вышел против них с войском к Переяславлю и без битвы избавил сына от соперников; он заключил мир с половцами, помогавшими Святославичам. Половцы и находившиеся с ними хазары предательски поступили со своими союзниками: Олега отправили в Царьград, а Романа убили.

Оставшись на княжении в Чернигове, Владимир со всех сторон должен был расправляться с противниками. Тмутаракань опять ускользнула из-под его власти: там утвердились два другие безудельные князя, сыновья Ростислава Владимировича. Половцы беспрестанно беспокоили Черниговскую землю. Союз с ними, устроенный отцом Владимира под Переяславлем, не мог быть прочен: во-первых, половцы, народ хищнический, не слишком свято держал всякие договоры; во-вторых, половцы разбивались на орды, находившиеся под предводительством разных князьков, или ханов, и называемых в наших летописях «чадью»: тогда как одни мирились с русским князем, другие нападали на его область. Владимир расправлялся с ними, сколько возможно было, удачно. Таким образом, когда двое половецких князьков опустошили окрестности северского пригорода Стародуба, Владимир, пригласивши на помощь другую орду, разбил их, а потом под Новым Городом (Новгородом-Северским) рассеял орду другого половецкого князя и освободил пленников, которых половцы вводили в свои становища, называемые в летописях «вежами». На севере у Владимира были постоянные враги — полоцкие князья. Князь Всеслав напал на Смоленск, который оставался во власти Владимира и после того, как отец посадил его в Чернигове. В отмщение за это Владимир нанял половец и водил их опустошать землю Полоцкую; тогда досталось Минску; там, по собственному свидетельству Владимира, не оставлено было ни челядина (слуги), ни скотины. Владимир расправлялся и с вятичами: этот славянский народ все еще упорно не поддавался власти Рюрика дома, и Владимир два раза ходил войною на Ходоту и сына его — предводителей этого народа. По приказанию отца Владимир занимался делами и на Волыни: сыновья Ростислава овладели было этою страной; Владимир выгнал их и посадил Ярополка, Изяслава

сына, а когда этот князь не поладил с киевским, то Владимир по повелению отца прогнал его и посадил на Вольты князя Давида Игоревича и в следующем за тем году (1086) опять посадил Ярополка. Тогда власть киевского князя в этом крае была еще сильна, и князя ставились и сменялись по его верховной воле.

В 1093 году умер Всеволод. Владимир не захотел воспользоваться своим положением и овладеть киевским столом, так как предвидел, что от этого произойдет междоусобие; он сам послал звать на киевское княжение сына Изяслава, Святополка (княжившего в Турове), который был старше Владимира летами и за которого, по-видимому, была значительная партия в Киевской земле. Во все продолжение княжения Святополка Владимир оставался его верным союзником, действовал с ним заодно и не показал ни малейшего покушения лишить его власти, хотя киевляне уже не любили Святополка, а любили Владимира.

Владимир сделался, так сказать, душою всей Русской земли; около него вращались все ее политические события.

Едва только уселся Святополк в Киеве, как половцы прислали к нему послов с предложением заключить мир. Святополк привел с собой из Турова дружину, людей ему близких. С ними он во всем совещался, и они ему посоветовали засадить половецких послов в погреб; когда после того половцы начали воевать и осадили один из пригородов Киевской земли — Торцкий, Святополк выпустил задержанных послов и сам предлагал мир, но половцы уже не хотели мира. Тогда Святополк начал совещаться с киевлянами; советники его разделились в мнениях: одни, более отважные, порывались на бой, хотя у Святополка было наготове с оружием только восемьсот человек; другие советовали быть осторожнее; наконец, порешили на том, чтобы просить Владимира помогать в обороне Киевской земли от половцев.

Владимир отправился со своею дружиною, пригласил также своего брата Ростислава, бывшего на княжении в Переяславле. Ополчение трех князей сошлось на берегу реки Стугны и там собрался совет.

Владимир был того мнения, что лучше, как бы ни было, устроить мир, потому что половцы были тогда соединены силами; то же доказывал боярин по имени Ян и еще кое-кто из дружины, но киевляне горячились и хотели непременно биться. Им уступили.

Ополчение перешло реку Стугну, пошло тремя отрядами, сообразно трем предводительствовавшим князьям, прошло Триполье и стало между валами. Это было 20 мая 1093 г.

Здесь половцы наступили на русских, гордо выставивши в их глазах свои знамена. Сначала пошли они на Святополка, смяли его, потом ударили на Владимира и Ростислава. У русских князей силы было мало в сравнении с неприятелем; они не выдержали и бежали. Ростислав утонул при переправе через Стугну; Владимир сам чуть не пошел ко дну, бросившись спасать утопавшего брата. Тело утопавшего привезли в Киев и погребли у св. Софии. Смерть Ростислава приписана

была божию наказанию за жестокий поступок с печерским иноком старцем Григорием. Встретив этого старца, о котором тогда говорили, что он имеет дар предвидения, Ростислав спросил его: от чего приключится ему смерть. Старец Григорий отвечал: от воды. Ростиславу это не полюбилось и он приказал Григория бросить в Днепр; и за это злодеяние, как говорили, Ростислава постигла смерть от воды.

Дело этим не окончилось. Половцы дошли до Киева и между Киевом и Вышгородом, на урочище Желани, в другой раз жестоко разбили русских того же года 23 июля.

После этой победы половцы рассеялись по русским селам и забирали пленников. Современник в резких чертах описал состояние бедных русских, которых толпами гнали враги в свои вежи: «Печальные, измученные, истомленные голодом и жаждою, нагие и босые, черные от пыли, с окровавленными ногами, с унылыми лицами шли они в неволю и говорили друг другу: я из такого-то города, я из такой-то деревни, рассказывали о родных своих и со слезами возводили очи на небо к Всевышнему, вѣдущему все тайное».

В следующем, 1094 году Святополк думал приостановить бедствия русского народа, заключил с половцами мир и женился на дочери половецкого хана Тугоркана. Но и этот год был не менее тяжел для Русской земли: саранча истребила хлеб и траву на полях, а родство киевского князя с половецким не спасло Руси и от половцев. Когда одни половцы мирились и рождались с русскими, другие вели на Владимира его неумолимого соперника Олега. Олег, засланный византийцами в Родос, недолго там оставался. В 1093 году он уже был в Тмутаракани, выгнал оттуда двух князей таких же безместных, как и он (Давида Игоревича и Володаря Ростиславича), и сидел некоторое время спокойно в этом городе; но в 1094 году, пригласивши половцев, пустился добывать ту землю, где княжил отец его. Владимир не дрался с ним, уступил ему добровольно Чернигов, вероятно и потому, что в Чернигове, как и прежде, были сторонники Олега. Сам Владимир уехал в Переяславль.

Тогда уже, как видно, выработался вполне характер Владимира, и в нем созрела мысль действовать не для личных своих видов, а для пользы всей Русской земли, насколько он мог понимать ее пользу; главное же — энергически, соединенными силами избавить Русскую землю от половцев. До сих пор мы видели, что Владимир, насколько было возможно, старался устроить мир между русскими и половцами, но с этих пор он становится постоянным и непримиримым врагом половцев, воюет против них, подвигает на них всех русских князей и с ними все силы русских земель. Вражду эту он открыл поступком с двумя половецкими князьями: Китаном и Итларем. Князья эти прибыли к Переяславлю договариваться о мире, разумеется, с намерением нарушить этот мир, как делалось прежде. Китан стал между валами за городом, а Итларь со знатнейшими лицами приехал в город; с русской стороны отправился к половцам заложником сын Владимира, Святослав.

Тогда же прибыл от Святополка киевлянин Славята и стал советовать убить Итларя, приехавшего к русским. Владимир сначала не решился на такое вероломство, но к Славяте пристали дружинники Владимира и говорили: «Нет греха в том, что мы нарушим клятву, потому что сами они дают клятву, а потом губят Русскую землю и проливают христианскую кровь».

Славята с русскими молодцами взялся проникнуть в половецкий стан за городом и вывести оттуда Мономахова сына Святослава, посланного к половцам заложником. С ними вместе взялись за это дело торки (народ того же племени, к которому принадлежали и половцы; но, будучи поселены на Киевской земле, они верно служили Руси). В ночь 24 февраля 1095 года они не только счастливо освободили Святослава, но умертвили Китана и перебили его людей.

Итларь находился тогда во дворе у боярина Ратибора; поутру 24 февраля Итларя с его дружиною пригласили завтракать к Владимиру; но только что половцы вошли в избу, куда их позвали, как за ними затворили двери и сын Ратиборов Ольбег перестрелял их сверху через отверстие, сделанное в потолке избы. После такого вероломного поступка, который русские оправдывали тем, что их враги были также вероломны, Владимир начал созывать князей против половцев и в том числе Олега, от которого потребовал выдачи сына убитого Итларя. Олег не выдал его и не шел к князьям.

Киевский князь Святополк и Владимир звали Олега в Киев на совет об обороне Русской земли. «Иди в Киев, — говорили ему князья, — здесь мы положим поряд о Русской земле пред епископами, игуменами, перед мужами отцов наших и перед городскими людьми, как нам оборонять Русскую землю». Но Олег высокомерно ответил: «Не пристало судить меня епископам, игуменам и смердам» (т. е. мужичью, перевода на наш способ выражения).

Тогда князья, пригласившие Олега, послали ему от себя такое слово: «Если ты не идешь на неверных и не приходишь на совет к нам, то значит ты мыслишь на нас худое и хочешь помогать поганым. Пусть бог нас рассудит».

Это было объявление войны. Итак, вместо того чтобы идти соединенными силами на половцев, Владимиру приходилось идти войною на своих. Владимир со Святополком выгнали Олега из Чернигова, осадили его в Стародубе и держали в осаде до тех пор пока Олег не попросил мира. Ему даровали мир, но с условием, чтоб он непременно прибыл в Киев на совет. Киев, говорили князья, — старейший город в Русской земле; там надлежит нам сойтись и положить поряд. Обе стороны целовали крест. Это было в мае 1096 года.

Между тем раздраженные половцы делали на Русь набеги. Хан половецкий Боняк с своею ордою жег окрестности Киева, а тесть Святополка Тугоркан несмотря на родство с киевским князем осадил Переяславль. Владимир со Святополком разбили его 19 мая; сам Тугоркан пал в битве, и зять его Святополк привез тело тестя в Киев: его

похоронили между двумя дорогами: одною — ведущею в Берестово, и другою — в Печерский монастырь. В июле Боняк повторил свое нападение и 20 числа утром ворвался в Печерский монастырь. Монахи, отстояв заутреню, почивали по кельям; половцы выломали ворота, ходили по кельям, брали что им попадалось под руки, сожгли церковные южные и северные двери, вошли в церковь, таскали из нее иконы и произносили оскорбительные слова над христианским богом и законом. Тогда половцы сожгли загородный княжеский двор, называемый красным, построенный Всеволодом на Выдубечском холме, где впоследствии выстроен был Выдубецкий монастырь.

Олег не думал исполнять договора и являться в Киев на княжеский съезд. Вместо того он явился в Смоленске (где тогда неизвестно каким путем сел брат его Давид), набрал там войска и, вышедши оттуда, пошел вниз по Оке, ударил на Муром, который достался в управление сыну Мономаха, Изяславу, посаженному на княжение в соседней Ростовской земле. (Отец Олега, Святослав, сидя в Чернигове, был в то же время на княжении и в Муроме, и потому Олег считал Муром своею отчиною.) 6 сентября 1096 года Изяслав был убит в сече. Олег взял Муром и оковал всех найденных там ростовцев, белозерцев и суздальцев: видно, что князь Изяслав управлял муромцами при помощи людей своей земли. В Муроме и его волости в то время еще господствовало язычество; край был населен народом финского племени, муромою, и держался за князьями только страхом дружины, составлявшей здесь, вероятно, еще единственное славянское население в те времена. В Ростове, Суздале и Белозерске, напротив, славяно-русская стихия уже прежде пустила свои корни, и края эти имели свое местное русское население.

Олег, отвоевавши Муром, взял Суздаль и поступил сурово с его жителями: одних взял в плен, других разослал по своим городам и отнял их имущество. Ростов сдался Олегу сам. Возгордившись успехами, Олег затевал подчинить своей власти и Новгород, где на княжении был другой сын Мономаха, Мстислав, молодой князь, очень любимый новгородцами. Новгородцы предупредили покушение Олега, и прежде чем он мог стать с войском на Новгородской земле, сами отправились на него в Ростовско-Суздальскую землю. Олег убежал из Суздаля, приказавши в досаде сжечь за собою город, и остановился в Муроме. Мстислав удовлетворился тем, что выгнал Олега из Ростовско-Суздальской земли, которая никогда не была уделом ни Олега, ни отца его; предложил Олегу мир и предоставлял ему снестись со своим отцом. Мстислава располагало к уступчивости то, что Олег был его крестным отцом. Олег притворно согласился, а сам думал внезапно напасть на своего крестника; но новгородцы узнали о его намерении заблаговременно и вместе с ростовцами и белозерцами приготовились к бою. Враги встретились друг с другом на реке Колакше. Олег увидел у противников распущенное знамя Владимира Мономаха, подумал, что сам Владимир Мономах пришел с большою силою на помощь сыну,

и убежал. Мстислав с новгородцами и ростовцами пошел по следам его, взял Муром и Рязань, мирно обошелся с муромцами и рязанцами, только освободил людей Ростовско-Суздальской области, которых Олег держал в городах Муроме и Рязани пленниками; после того Мстислав послал к своему сопернику такое слово: «Не бегай более, пошли с мольбой к своей братьи; они тебя не лишат Русской земли». Олег обещал сделать так, как предлагал ему победитель.

Мономах дружелюбно обошелся со своим соперником, и памятником тогдашних отношений его к Олегу осталось современное письмо его к Олегу, очень любопытное не только потому, что оно объясняет во многом личность князя Владимира Мономаха, но и потому, что вообще оно составляет один из немногих образчиков тогдашнего способа выражения: «Меня,— пишет он,— принудил написать к тебе сын мой, которого ты крестил и который теперь недалеко от тебя; он прислал ко мне мужа своего и грамоту и говорит так: сладимся и примиримся, а братцу моему суд пришел; не будем ему мстителями; возложим все на бога; пусть они станут пред богом, мы же Русской земли не погубим. Я послушался и написал: примешь ли ты мое писание с добром или с поруганием — покажет ответ твой. Отчего, когда убили мое и твое дитя перед тобою, увидавши кровь его и тело его, увянувшее подобно едва распустившемуся цветку, отчего, стоя над ним, не вник ты в помысл души своей и не сказал: зачем это я сделал? Зачем ради кривды этого мечтательного света причинил себе грех, а отцу и матери слезы? Тебе было бы тогда покаяться богу, а ко мне написать утешительное письмо и прислать сноху мою ко мне... Она тебе не сделала ни добра, ни зла; я бы с нею оплакал мужа ее и свадьбу их вместо свадебных песен. Я не видел прежде их радости, ни их венчания; отпусти ее как можно скорее, я поплачу с нею заодно и посажу на месте как грустную горлицу на сухом дереве, а сам утешусь о боге. Так было и при отцах наших. Суд пришел ему от бога, а не от тебя! Если бы ты, взявши Муром, не трогал Ростова, а прислал бы ко мне, мы бы уладились: рассуди сам, тебе ли следовало послать ко мне или мне к тебе? Если пришлешь ко мне посла или попа и грамоту свою напишешь с правдою, то и волость свою возьмешь, и сердце наше обратится к тебе, и будем жить лучше, чем прежде; я тебе не враг, не мститель».

Тогда, наконец, состоялось то, что долго замышлялось и никак не могло прийти к исполнению. В городе Любече съехались князья Святославичи — Олег, Давид и Ярослав, киевский Святополк, Владимир Мономах, вольнский князь Давид Игоревич и червонорусские князья Ростиславичи: Володарь и Василько. С ними были их дружинники и люди их земель. Цель их совещания была — устроить и принять меры к охранению русских земель от половцев³.

Всем делом заправлял Мономах.

«Зачем губим мы Русскую землю,— говорили тогда князья,— зачем враждуем между собою? Половцы разоряют землю; они раду-

ются тому, что мы друг с другом воюем. Пусть же с этих пор будет у всех нас единое сердце; соблюдаем свою отчину».

На этом съезде князья положили, чтобы все они владели своими волостями: Святополк — Киевом; Владимир — уделом отца своего, Всеволода, Переяславлем, Суздаем и Ростовом; Олег, Давид и Ярослав — уделом Святослава, отца их, Северскою землею и Рязанскою; Давид Игоревич — Волынью; а Василько и Володарь городами Теремовлем и Перемышлем с их землями, составлявшими тот край, который впоследствии назывался Галичиною. Все целовали крест на том, что если кто-нибудь из князей нападет на другого, то все должны будут ополчиться на зачинщика междоусобия. «Да будет на того крест честный и вся земля Русская». Такой приговор произнесли они в то время.

До сих пор Владимир находился в самых приятельских отношениях к Святополку киевскому. Последний был человек ограниченного ума и слабого характера и подчинялся Владимиру, как вообще люди его свойств подчиняются лицам более их сильным волею и более их умным. Но известно, что такие люди склонны подозревать тех, которым они невольно повинуются. Они им покорны, но в душе ненавидят их. Давид Игоревич был заклятый враг теремовльского князя Василька и хотел присвоить себе его землю. Возвращаясь на Волынь из Любеча через Киев, он уверил Святополка, что у Василька с Владимиром составилась злой умысел лишить Святополка Киевской земли. Сам Василько был человек предприимчивого характера; уже он водил половцев на Польшу; затем, как он сам после сознавался, думал идти на половцев, но, если верить ему, не думал делать ничего дурного русским князьям.

Натравленный Давидом, Святополк звал к себе Василька на именины в то время, когда последний, возвращаясь из Любеча домой, проезжал мимо Киева и, не заезжая в город, остановился в Выдубецком монастыре, отославши свой обоз вперед. Один из слуг Василька, или подозревая коварство, или, быть может, даже предостерегаемый кем-нибудь, не советовал своему князю ехать в Киев: «Тебя хотят схватить», — говорил он. Но Василько понадеялся на крестное целование, немного подумал, перекрестился и поехал.

Было утро 5 ноября 1097 года. Василько вошел в дом к Святополку и застал у него Давида. После первых приветствий они сели. Давид молчал. «Оставайся у меня на праздник», — сказал Святополк. «Не могу, брат, — отвечал Василько, — я уже отослал свой обоз вперед». «Ну, так позавтракай с нами», — сказал Святополк. Василько согласился. Тогда Святополк сказал: «Посидите здесь, а я пойду велю кое-что приготовить». Василько остался с Давидом и стал было вести разговор с ним, но Давид молчал и как будто ничего не слышал. Наконец, Давид спросил слуг: «Где брат?». «Стоит на сеньях», — отвечали ему. «Я пойду за ним, а ты, брат, посиди», — сказал он Васильку и вышел. Тотчас слуги наложили на Василька оковы и приставили к нему стражу. Так прошла ночь.

На другой день Святополк созвал вече из бояр и людей Киевской земли и сказал: «Давид говорит, что Василько убил моего брата Ярополка и теперь совещается с Владимиром; хотят убить меня и отнять мои города». Бояре и люди киевские сказали: «Ты, князь, должен охранять свою голову. Если Давид говорит правду, пусть Василько будет казнен, а если неправду, то пусть Давид примет месть от бога и отвечает перед богом».

Ответ был двусмысленный и увертливый. Игумены были смелее и стали просить за Василька. Святополк ссылался на Давида. Сам Святополк готов был отпустить Василька на свободу, но Давид советовал ослепить его и говорил: «Если ты егопустишь, то не будет княжения ни у меня, ни у тебя». Святополк колебался, но потом совершенно поддался Давиду и согласился на гнусное злодеяние.

В следующую за тем ночь Василька повезли в оковах в Белгород, ввели в небольшую избу. Василько увидал, что ехавший с ним торчин стал точить нож, догадался, в чем дело, начал кричать и звать к богу с плачем. Вошли двое конюхов: один Святополков, по имени Сновид Изечевич, другой Давидов — Димитрий; они постлали ковер и взялись за Василька, чтобы положить его на ковер. Василько стал с ними бороться; он был силен; двое не могли с ним справиться; подоспели на помощь другие, связали его, повалили и, снявши с печи доску, положили на грудь; конюхи сели на эту доску, но Василько сбросил их с себя. Тогда подошли еще двое людей, сняли с печи другую доску, навалили ее на князя, сами сели на доску и придавили до того, что у Василька затрещали кости на груди. Вслед за тем торчин Беренда, овчар Святополков, приступил к операции: намереваясь ударить ножом в глаз, он сперва промахнулся и порезал Васильку лицо; но потом уже удачно вынул у него оба глаза один за другим. Василько лишился чувств. Его взяли вместе с ковром, на котором он лежал, положили на воз и повезли далее по дороге во Владимир.

Проезжая через город Звиждень, привезли его к какой-то попадье и отдали ей мыть окровавленную сорочку князя. Попадья вымыла, надела на Василька и горько плакала, тронутая этим зрелищем. В это время Василько очнулся и закричал: «Где я?» Ему отвечали: «В Звиждене городе». «Дайте воды!» — сказал Василько. Ему подали воды, он выпил и мало-помалу совсем пришел в себя, вспомнил, что с ним происходило и, ощутив на себе сорочку, спросил: зачем сняли? «Я бы в этой окровавленной сорочке принял смерть и стал перед богом».

Пообедавши, злодеи повезли его во Владимир, куда прибыли на шестой день. Давид поместил Василька на дворе какого-то владимирского жителя Вакея и приставил к нему тридцать сторожей под начальством двух своих княжеских отроков, Улана и Колчка.

Услышал об этом прежде других князей Владимир Мономах и ужаснулся. «Этого не бывало ни при дедах, ни при прадедах наших», — говорил он. Немедленно позвал он к себе черниговских князей Олега и Давида на совещание в Городец. «Надобно поправить зло, — говорил

он,— а иначе еще большее зло будет, начнет брат брата умерщвлять, и погибнет земля Русская, и половцы возьмут землю Русскую». Давид и Олег Святославичи также пришли в ужас и говорили: «Подобного не бывало еще в роде нашем». Действительно не бывало: в роде княжеском прежде случались варварские братоубийства, но ослеплений не бывало еще. Этот род злодеяния принесла в варварскую Русь греческая образованность.

Все три князя отправили к Святополку своих мужей с таким словом: «Зачем наделал ты зла в Русской земле, зачем вверг нож в братю? Зачем ослепил брата? Если бы он был виноват перед тобою, ты бы должен был обличить его перед нами и доказать вину его; он был бы наказан, а теперь скажи: в чем его вина?» Святополк отвечал: «Мне сказал Давид Игоревич, что Василько убил брата моего Ярополка и меня хочет убить, чтобы захватить волость мою: Туров, Пинск, Берестье и Погорынье, говорил, что у него положена клятва с Владимиром: чтобы Владимиру сесть в Киеве, а Васильку в городе Владимире. Я поневоле оберегал свою голову. Не я его ослепил, а Давид: он его и увез к себе».

«Этим не отговаривайся,— отвечали князья.— Давид его ослепил, но не в Давидовом городе, а в твоём».

Владимир с князьями и дружинами хотел переходить через Днепр против Святополка; Святополк в страхе собирался бежать, но киевляне не пустили его и послали к Владимиру мачеху его и митрополита Николая с таким словом:

«Молим тебя, князь Владимир, и вместе с тобою братию твою князей, не губите Русской земли; если вы начнете воевать между собою, поганые возрадуются и возьмут землю нашу, которую приобрели отцы ваши и деды ваши трудом и храбростью; они боролись за Русскую землю и чужие земли приобретали, а вы хотите погубить Русскую землю».

Владимир очень уважал свою мачеху и склонился на ее мольбы. «Правда,— сказал он,— отцы и деды наши соблюдали Русскую землю, а мы хотим ее погубить».

Княгиня, возвратившись в Киев, принесла радостную весть киевлянам, что Владимир склоняется на мир.

Князья стояли на левой стороне Днепра, в бору, и пересылались с Святополком. Наконец, последнее их слово было таково: «Если это преступление Давидово, то пусть Святополк идет на Давида, пусть либо возьмет его, либо сгонит с княжения».

Святополк целовал крест поступать по требованию Владимира и его товарищей.

Князья собрались идти на Давида, а Давид, узнавши об этом, стал пытаться поладить с Васильком и заставить его самого отклонить от Давида опасность, которой подвергался Давид за Василька.

Призвал ночью Давид какого-то Василия, которого рассказ включен в летопись целиком. Давид сказал ему:

«Василько в эту ночь говорил Улану и Колчке, что ему хочется послать от себя мужа своего к князю Владимиру. Посылаю тебя, Василий, иди к одноименнику своему и скажи ему от меня: если ты пошлешь своего мужа к Владимиру и Владимир воротится, я дам тебе какой хочешь город: либо Всеволожь, либо Шепель, либо Перемышьль».

Василий отправился к Васильку и передал ему речь Давида.

«Я ничего такого не говорил,— сказал Василько,— но готов послать мужа, чтобы не проливали из-за меня крови; дивно только, что Давид дает мне города свои, а мой Тереволь у него. Ступай к Давиду и скажи, пусть пришлет ко мне Кульмея. Я пошлю его к князю Владимиру». Василий сходил к Давиду и, воротившись, сказал, что Кульмея нет.

Василько сказал: «Посиди со мною немного». Он велел слуге выйти вон и говорил Василию:

«Слышу, что Давид хочет меня отдать ляхам, не насытился он еще моею кровью; еще больше хочет упиться ею. Я много зла наделал ляхам и хотел еще наделать и мстить им за Русскую землю. Пусть выдает меня ляхам; смерти я не боюсь. Скажу только тебе по правде. Наказал меня бог за мое высокомерие; ко мне пришла весть, что идут ко мне берендичи, печенеги, торки, и я сказал себе в уме: как будут у меня берендичи, печенеги, торки, скажу я брату своему Володарю и Давиду: дайте мне свою меньшую дружину, а сами пейте себе и веселитесь; я же зимою пойду на Лядскую землю, а на лето завоюю Лядскую землю и отомщу за Русскую землю. Потом я хотел овладеть дунайскими болгарями и поселить их у себя, а потом хотел проситься у Святополка и Владимира идти на половцев: либо славу себе найду, либо голову сложу за Русскую землю; иного помышления у меня в сердце не было, ни на Святополка, ни на Давида. Клянусь богом и его пришествием, не мыслил я никакого зла братья: но за мое возношение низложил меня бог и смирил!»

Неизвестно, чем кончились эти сношения Давида с Васильком, но, вероятно, Василько остановил Владимира, потому что в этом году не было от него нападения на Давида. Наступила пасха. Давид не выпустил Василька и, напротив, хотел захватить волюсть ослепленного; он пошел туда с войском, но у Божска встретил его Володарь. Давид был такой же трус, как и злодей. Он не осмелился вступить в бой и заперся в Божске. Володарь осадил его и послал к нему такое слово: «Зачем наделал зла и еще не каешься? Опомнись!» «Разве я это сделал,— отвечал Давид,— разве в моем городе это сделалось? Виною всему Святополк: я боялся, чтобы и меня не взяли и не сделали со мною того же; поневоле пришлось мне пристать к нему в совет, я был у него в руках».

Володарь не перечил ему, стараясь только о том, как бы выручить брата из неволи. «Бог свидетель всему этому,— послал он сказать Давиду,— а ты выпусти брата, и я с тобою примирюсь».

Давид обрадовался, приказал привести слепого и отдал его Володарю. Они заключили мир и разошлись.

Но на другую весну (1098) Володарь и Василько с войском шли на Давида. Они подошли к городу Всеволожу, взяли его приступом и зажгли; жители бежали. Василько приказал всех их истреблять и мстил за себя невинным людям, замечает летописец. Василько показал, что хотя он и был несчастен, но вовсе не любил Русской земли в той мере, как говорил. Братья подошли к Владимиру. Трусливый Давид заперся в нем. Братья-князья послали к владимирцам такое слово:

«Мы пришли не на ваш город и не на вас, а пришли мы на врагов своих: на Туряка, Лазаря и Василия,— они подговорили Давида; он их послушал и сделал зло. Если хотите биться за них,— и мы готовы; а не хотите,— так выдайте врагов наших».

Владимирские граждане собрались на вече и так сказали Давиду:

«Выдай этих мужей, мы за них не бьемся; за тебя же биться можем: если не выдашь,— мы отворим город, а ты сам о себе промышленности, как знаешь».

Давид отвечал: «Их нет здесь, я послал их в Луцк; Туряк бежал в Киев, Василий и Лазарь в Турийске».

«Выдай тех, кого они хотят,— крикнули горожане,— а не то мы сдадимся!»

Давиду нечего было делать. Он послал за своими любимцами, Василием и Лазарем, и выдал их.

Братья Ростиславичи на заре повесили Василия и Лазаря перед городом, а сыновья Василька расстреляли их стрелами. Совершивши казнь, они отступили от города.

После этой расправы на Давида пошел Святополк, который до сих пор медлил исполнением княжеского приговора наказать Давида за его злодеяние. Давид искал помощи у польского князя Владислава Германа, но последний взял с него деньги за помощь и не помог. После семинедельной осады во Владимире Давид сдался и уехал в Польшу.

В великую субботу 1098 года Святополк вошел во Владимир. Овладевши Волянью, киевский князь рассчел, что не худо таким же способом овладеть и волостями Ростиславичей, за которых он начал войну с Давидом.

Володарь, предупреждая нападение, вышел против киевского князя и взял с собою слепого брата. Враги встретились на урочище, называемом Рожново поле. Когда рати готовы были ударить друг против друга, вдруг явился слепой Василько с крестом в руке и кричал, обращая речь свою к Святополку:

«Вот крест, который ты целовал перед тем, как отнял у меня зрение! Теперь ты хочешь отнять у меня душу. Этот честный крест рас судит нас!»

Произошла жестокая битва. Ростиславичи победили. Святополк бежал во Владимир. Победители не погнались за ним. «С нас довольно стать на своей меже»,— говорили они.

Тогда у Ростиславичей и у их врага Давида явилось общее дело: защищать себя от Святополка, тем более что киевский князь не думал оставлять их в покое и, посадивши одного из своих сыновей, Мстислава, во Владимире-Волынском, другого, Ярослава, послал к уграм (венграм) подвигать их на Володаря, а сам ушел в Киев, вероятно, замышляя посадить этого самого Ярослава в уделе Ростиславичей, выгнавши последних подобно тому, как он уже выгнал Давида. Святополк хотел воспользоваться вспыхнувшею враждою между Давидом и Ростиславичами для того, чтобы доставить на их счет владения своим сыновьям. Давид прибыл из Польши и сошелся с Володарем. Заключенные враги помирились, и Давид оставил жену свою у Володаря, а сам отправился нанимать половецкую орду, которою управлял воинственный и свирепый хан Боняк. Вероятно, Давид успел уверить Володаря, что в самом деле виной злодеяния, совершенного над Васильком, был не он, а Святополк.

Володарь сидел в Перемышле. Пришли венгры со своим королем Коломаном, приглашенные Ярославом Святополковичем, и осадили Перемышль. На счастье Володаря Давиду не пришлось далеко ездить за половцами: он встретил Боняка где-то недалеко и привел его к Перемышлю.

Накануне ожидаемой битвы с венграми Боняк в полночь отъехал от войска в поле и стал выть по-волчьи. Ему вторили голоса множества волков. Таково было половецкое гаданье. «Завтра, — сказал Боняк, — мы победим угров». Дикое предсказанье половецкого хана сбылось. Боняк, говорит современный летописец, сбил угров, как сокол сбивает галок. Венгры бежали. Много их потонуло и в Вагре, и в Сане. Давид двинулся к Владимиру и овладел Владимирскою волостью. В самом городе сидел Мстислав Святополкович с засадою (гарнизон), состоявшею из жителей владимирских пригородов: берестьян, пинян и выгошевцев. Давид начал делать приступы: дождем сыпались с обеих сторон стрелы; осаждавшие закрывались подвижными вежами (башнями); осажденные стояли на стенах за досками; таков был тогдашний способ войны. В одну из таких перестрелок, 12 июня 1099 года, стрела сквозь скважину доски поразила насмерть князя Мстислава. Осажденные после его смерти терпели тягостную осаду до августа: наконец, Святополк прислал к ним на выручку войско. Августа 5-го Давид не устоял в битве с присланным войском и бежал к половцам. Победители ненадолго овладели Владимиром и Луцком. Давид, пришедши с Боняком, отнял у них и тот и другой город.

Намерение Мономаха соединить князей на единое дело против половцев не только не привело к желанной цели, а, напротив, повело к многолетней войне между князьями; для Русской земли от этого умножилось горе. Однако на следующий 1100 год Мономаху таки удалось опять устроить между князьями совещание и убедить Давида Игоревича отдаться на княжеский суд. Давид сам прислал к князьям послов по этому делу. К сожалению, мы не знаем подробностей подго-

товки к этому новому княжескому съезду. 10 августа князь Владимир Мономах, Святополк, Олег с братом Давидом сошлись в Витичеве ⁴, а через двадцать дней, 30 августа, они снова сошлись на том же месте и уже тогда был с ними Давид Игоревич.

«Кому есть на меня жалоба?» — спросил Давид Игоревич.

«Ты присылал к нам,— сказал Владимир,— объявил, что хочешь жаловаться перед нами за свою обиду. Вот теперь ты сидишь с братьею на одном ковре. На кого у тебя жалоба?»

Давид ничего не отвечал.

Тогда князь сели на лошадей и стали врознь каждый со своею дружиною. Давид Игоревич сидел особо. Князь рассуждали о Давиде: сначала каждый князь со своею дружиною, а потом совещались между собою и послали Давиду от каждого князя мужей. Эти мужи сказали Давиду такую речь:

«Вот что говорят тебе братья: не хотим тебе дать стола владимирского за то, что ты вверг нож между нас, сделал то, чего еще не бывало в Русской земле; но мы тебя не берем в неволю, не делаем тебе ничего худого, сиди себе в Бужске и в Остроге; Святополк придает тебе Дубен и Чарторийск, а Владимир дает тебе 200 гривен, да еще Олег и Давид дают тебе 200 гривен».

Потом князь послали к Володарю такое слово:

«Возьми к себе брата своего Василька; будет вам обоим Перемышль. Хотите — живите вместе, а не хотите — отпусти Василька к нам; мы будем его кормить!»

Володарь с гневом принял такое предложение; Святополк и Святославичи хотели выгнать Ростиславичей из их волости и послали приглашать к участию в этом предприятии Владимира, который после съезда в Витичеве поехал в северные свои области и был на Волге, когда пришел к нему вызов от Святополка идти на Ростиславичей: «Если ты не пойдешь с нами, то мы будем сами по себе, а ты сам по себе». Видно, что и на Витичевском съезде Владимир не ладил с князьями и не совсем одобрял их постановления. «Я не могу идти на Ростиславичей,— отвечал он им,— и преступать крестное целование. Если вам не нравится последнее, принимайте прежнее» (т. е. постановление в Любече). Владимир был тогда огорчен, как показывают и слова в его духовной, касающиеся описываемого события. По этому поводу он счел уместным привести выражение из псалтыря: «Не ревнуй лукавствующим, не завиди творящим беззаконие!»

В самом деле, то, чем покончили князь свои междоусобия, мало представляло справедливости. Владимир не противоречил им во многом, потому что желал как бы то ни было прекратить междоусобия, чтобы собрать силы русских земель против общих врагов — половцев.

Святополку, как киевскому князю, хотелось, подобно своим предшественникам, власти над Новгородом, и для этого желал он посадить в Новгороде своего сына, между тем там уже был князем сын Монома-

ха, Мстислав. Владимир уступил Святополку, а вместо новгородского княжения Святополк обещал Мстиславу владимирское.

Мономах призвал Мстислава из Новгорода в Киев, но вслед за Мстиславом приехали новгородские послы и повели такую речь Святополку:

«Приславшие нас велели сказать: не хотим Святополка и сына его; если у него две головы, то посылай его. Нам дал Мстислава Всеволод, мы его вскормили, а ты, Святополк, уходи от нас».

Святополк не мог их переспорить и не в состоянии был принудить новгородцев исполнить его волю. Мстислав опять вернулся в Новгород. Новгород по своему местоположению за неприступными болотами и дремучими лесами чувствовал свою безопасность. Туда нельзя было навести ни половцев, ни ляхов; нельзя было с иноземною помощью овладеть Новгородом.

С тех пор Владимир непрерывно обращал свою деятельность на ограждение Русской земли от половцев. В 1101 году Владимир поднял князей против них, но половцы, услышавши о сборах русских князей, одновременно от разных орд прислали просьбу о мире. Русские согласились на мир, готовые наказать половцев за первое вероломство. В 1103 году этот мир был нарушен половцами, и Мономах побудил русских князей предпринять первый наступательный поход на Половецкую землю соединенными силами. В летописи этот поход описан с большим сочувствием, и видно, что он сделал впечатление на современников. Киевский князь со своею дружиною и Владимир со своею сошлись на Долобске (на левой стороне Днепра близ Киева)⁵. Князья совещались в шатре. Святополкова дружина была против похода. Тогда раздавались такие голоса: «Теперь весна, как можно отрывать смерда от пашни; ему надобно пахать».

Но Владимир на это возразил: «Удивительно, что вы не жалеете смерда, а жалеете лошадь, на которой он пашет. Начнет смерд пахать, прибежит половчин и отымет у него лошадь, и его самого ударит стрелю, и ворвется в село, и жену и детей его возьмет в полон».

Дружина Святополкова ничего на это не могла возразить, и Святополк сказал: «я готов».

«Ты много добра делаешь»,— сказал ему на это Мономах.

После Долобского совещания князья стали приглашать черниговских князей принять участие в походе, а за ними и других князей. Давид послушался, а Олег отговорился нездоровьем. Он неохотно ссорился с половцами, которые помогли ему взять Чернигов, и, быть может, рассчитывал, что дружба с ними пригодится ему и его детям. Прибыл со своей дружиной полоцкий князь Давид Всеславич, прибыли и некоторые другие князья. Русские шли конные и пешие; последние на ладьях по Днепру до Хортицы. После четырехдневного пути степью от Хортицы на урочище, называемом Сутень, русские 4 апреля встретили половцев и разбили их наголову. Половцы потеряли до двадцати князей. Один из их князей, Белдюзь, попался в плен и пред-

лагал за себя большой выкуп золотом, серебром, лошадьми и скотом, но Владимир сказал ему: «Много раз составляли вы с нами договоры, а потом ходили воевать Русскую землю; зачем ты не учил сынов своих и род свой не преступать договора и не проливать христианской крови?» Он приказал затем убить Беддюзя и рассечь по членам его тело. Русские набрали тогда много овец, скота, верблюдов и невольников.

В 1107 году воинственный Боняк и старый половецкий князь Шарукань думали отомстить русским за прежнее поражение, но были разбиты наголову под Лубнами. В 1109 Владимир посылал воеводу Димитрия Иворовича к Дону: русские нанесли большое разорение половецким вежам. За это на другой год половцы опустошали окрестности Переяславля, а на следующий Владимир опять с князьями предпринял поход, который более всех других облекся славою в глазах современников. Предание связало с ним чудодейственные предзнаменования. Рассказывают, что февраля 11, ночью, над Печерским монастырем появился огненный столб: сначала он стал над каменной трапезною, перешел оттуда на церковь, потом стал над гробом Феодосия, наконец, поднялся по направлению к востоку и исчез. Явление это сопровождалось молниею и громом. Грамотеи растолковали, что это был ангел, возвещавший русским победу над неверными. Весною Владимир со своими сыновьями, киевский князь Святополк со своим сыном, Ярослав и Давид с сыном на второй неделе поста отправились к Суле, перешли через Псел, Ворсклу и 23 марта пришли к Дону, а 27, в страстной понедельник, разбили наголову половцев на реке Сальнице и воротились обратно со множеством добычи и пленников. Тогда, говорит летописец, слава о подвигах русских прошла ко всем народам: грекам, ляхам, чехам и дошла даже до Рима. С тех пор надолго половцы перестали тревожить Русскую землю.

В 1113 году умер Святополк, и киевляне, собравшись на вече, избрали Владимира Мономаха своим князем; но Владимир медлил; между тем киевляне, недовольные поборами своего покойного князя, напали на дом его любимца Путяты и разграбили жидов, которым потакал Святополк во время своего княжения и поверял собрание доходов. В другой раз послали киевляне к Владимиру послов с такою речью: «Иди, князь, в Киев, а не пойдешь, так разграбят и княгиню Святополкову, и бояр, и монастыри; и будешь ты отвечать, если монастыри ограбят». Владимир прибыл в Киев и сел на столе по избранию Киевской земли.

Время его княжения до смерти, последовавшей в 1125 году, было периодом самым цветущим в древней истории Киевской Руси. Уже ни половцы и никакие другие иноплеменники не беспокоили русского народа. Напротив, сам Владимир посылал своего сына Ярополка на Дон, где сын его завоевал у половцев три города и привез себе жену, дочь яского князя, необыкновенную красавицу. Другой сын Владимира, Мстислав, с новгородцами нанес поражение чуди на Балтийском

побережье; третий сын Юрий победил на Волге болгар. Удельные князья не смели заводить усобиц, повиновались Мономаху и в случае строптивости чувствовали его сильную руку. Владимир прощал первые попытки нарушить порядок и строго наказывал вторичные. Так, например, когда Глеб Мстиславич, один из кривских князей, напал на Слуцк и сжег его, Владимир пошел на Глеба войною; Глеб поклонился Владимиру, просил мира, и Владимир оставил его княжить в Минске; но несколько лет спустя, в 1119 году, вероятно, за такой же проступок Владимир вывел Глеба из Минска и привел в Киев, где тот и умер. Точно так же в 1118 году Владимир, собравши князей, пошел на волынского князя Ярослава Святополковича, и когда Ярослав покорился ему и ударил челом, он оставил его во Владимире, сказав ему: «Всегда иди, когда я тебя позову». Но потом Ярослав напал на Ростиславичей и навел на них ляхов; кроме того, он дурно обращался со своею женою; Владимир сердился на него и за это. Владимир выгнал Ярослава, отдавши Владимир-Волынский своему сыну Андрею. Ярослав покушался возвратить себе Владимир с помощью ляхов, венгров и чехов, но не успел и был в 1123 году изменнически убит ляхами.

Не так удачны были дела Мономаха с Грециею. Он отдал дочь свою за Леона, сына византийского императора Диогена; но вслед за тем в Византии произошел переворот. Диоген был низвергнут Алексеем Комнином. Леон с помощью тестя хотел приобрести себе независимую область в греческих владениях на Дунае, но был умерщвлен убийцами, подосланными Комнином. Леон оставил сына, для которого Мономах хотел приобрести то же самое владение в Греции, которого добивался Леон, и сначала воевода Владимиров Войтишич посадил было Владимировых посадников в греческих дунайских городах, но греки прогнали их, а в 1122 году Владимир помирился с преемником Алексея, Иоанном Комнином, и отдал за него внуку свою, дочь Мстислава.

Владимир Мономах является в русской истории законодателем. Еще ранее его, при детях Ярослава, в «Русскую правду» вошли важные изменения и дополнения. Важнейшее из изменений было то, что месть за убийство была устранена, а вместо того введено наказание платежом вир. Это повлекло к усложнению законодательства и к установлению многих статей, касающихся разных случаев обид и преступлений, которые влекли за собой платеж вир в различном размере. Таким образом, различные размеры вирных платежей назначались за разного рода оскорбления и побои, наносимые одними лицами другим, как равно и за покражу разных предметов. Независимо от платежа вирь за некоторые преступления, как например, за разбойничество и зажигательство, виновный подвергался потоку и разграблению — древнему народному способу наказания преступника. Убийство вора не считалось убийством, если было совершено при самом воровстве, когда вор еще не был схвачен. При Мономахе на совете, призванном им и составленном из тысяцких: киевского, белгородского, пере-

яславского и людей своей дружины, поставлено было несколько важных статей, клонившихся к ограждению благосостояния жителей. Ограничено произвольное взимание рез (процентов), которое при Святополке доходило до больших злоупотреблений и вызвало по смерти этого князя преследование жидов, бывших ростовщиками. При Владимире установлено, что ростовщик может брать только три раза проценты, и если возьмет три раза, то уже теряет самый капитал. Кроме того, постановлен был дозволенный процент: 10 кун на гривну, что составляло около трети или несколько более, если принимать упоминаемую гривну гривною куна *.

Частые войны и нашествия половцев разоряли капиталы, являлись неоплатные должники, а под видом их были и плуты. Торговые предприятия подвергали купца опасностям; от этого и те, которые давали ему деньги, также находились в опасности потерять свой капитал. Отсюда и высокие проценты. Некоторые торговцы брали у других купцов товары, не платя за них деньги вперед, а выплачивали по выручке с процентами; по этому поводу возникали обманы. При Владимире положено было различие между тем неоплатным купцом, который потерпит нечаянно от огня, от воды или от неприятеля, и тем, который испортит чужой товар или пропьет его или «пробьется», т. е. заведет драку, а потом должен будет заплатить виру или «продажу» (низший вид виры). При несостоятельности купца следовало принимать во внимание: от какой причины он стал несостоятелен. В первых случаях, т. е. при нечаянном разорении, купец не подвергался насилью, хотя не освобождался совершенно от платежа долга. Некоторые брали капитал от разных лиц, а также и у князей. В случае несостоятельности такого торговца его вели на торг и продавали его имущество. При этом гость, т. е. человек из иного города или чужеземец, имел первенство перед другими заимодавцами, а за ним князь, потом уже прочие заимодавцы получали остальное. Набеги половцев, процентщина, корыстолюбие князей и их чиновников — все способствовало тому, что в массе народа умножались бедняки, которые, не будучи в состоянии прокормить себя, шли в наемники к богатым. Эти люди назывались тогда «закупами». С одной стороны, эти закупы, взявши от хозяина деньги, убегали от него, а с другой — хозяева взводили на них разные траты по хозяйству и на этом основании утесняли и даже обращали в рабство. Закон Мономаха позволял закупу жаловаться на хозяина князю или судьям, налагал определенную пеню за сделанные ему обиды и утеснения, охранял его от притязания господина в случае

* Гривна, как выше было замечено, была — гривна серебра и гривна кун. Находимые ныне куски серебра, которые принимают за гривну серебра, указывают, что гривна серебра была двоякая: большая, состоявшая в серебряных кусках, которые попадаются весом от 43 до 49 золот., и гривна малая — в кусках от 32 до 35 золот. Семь гривен кун составляло гривну серебра, следовательно, гривна кун составляла приблизительно от 6 до 7 или от 5 до 6 золотников серебра.

пропажи или порчи какой-нибудь вещи, когда на самом деле закуп был не виноват; но зато, с другой стороны, угрожал закупу полным рабством в случае, если он убежит, не исполнивши условия. Кроме закупов, служащих во дворах хозяев, были закупы «ролейные» (поселенные на землях и обязанные работою владельцу). Они получали плуги и бороны от владельца, что показывает обеднение народа; хозяева нередко придирались к таким закупам под предлогом, что они испортили данные им земледельческие орудия, и обращали в рабство свободных людей. Отсюда возникла необходимость определить: кто именно должен считаться холопом. Законодательство Владимира Мономаха определило только три случая обращения в холопство: первый случай, когда человек сам добровольно продавал себя в холопы или когда господин продавал его на основании прежних прав над ним. Но такая покупка должна была непременно совершаться при свидетелях. Второй случай обращения в рабство было принятие в супружество женщины рабского происхождения (вероятно, случалось, что женщины искали освобождения от рабства посредством замужества). Третий случай, когда свободный человек без всякого договора делается должностным лицом у частного человека (тиунство без яряду, или привяжет ключ к себе без яряду). Вероятно, это было постановлено потому, что некоторые люди, приняв должность, позволяли себе разные беспорядки и обманы, и за неисполнением условий хозяева не могли искать на них управы. Только исчисленные здесь люди могли быть обращаемы в холопы. За долги нельзя было обращать в холопство, и всякий, кто не имел возможности заплатить, мог отработать свой долг и отойти. Военнопленные, по-видимому, также не делались холопами, потому что об этом нет речи в «Русской правде» при исчислении случаев рабства. Холоп был тесно связан с господином: господин платил его долги, а также уплачивал цену украденного его холопом. Прежде, при Ярославе, за побои, нанесенные холопом свободному человеку, следовало убить холопа, но теперь постановили, что в таком случае господин платил за раба пеню. Холоп вообще не мог быть свидетелем, но когда не было свободного человека, тогда принималось и свидетельство холопа, если он был должностным лицом у своего господина. За холопа и рабу вира не полагалась, но убийство холопа или рабы без вины наказывалось платежом князю «продажи». По некоторым данным, ко временам Мономаха следует отнести постановления о наследстве.

Вообще по тогдашнему русскому обычному праву все сыновья наследовали поровну, а дочерям обязывались выдавать приданое при замужестве; меньшому сыну доставался отцовский двор. Каждому, однако, предоставлялось распорядиться своим имуществом по завещанию. В правах наследства бояр и дружинников и в правах смердов существовала та разница, что наследство бояр и дружинников ни в каком случае не переходило к князю, а наследство смерда (простого земледельца) доставалось князю, если смерд умирал бездетным. Же-

нино имение оставалось неприкосновенным для мужа. Если вдова не выходила замуж, то оставалась полной хозяйкой в доме покойного мужа и дети не могли удалить ее. Замужняя женщина пользовалась одинаковыми юридическими правами с мужчиной: за убийство или оскорбления, нанесенные ей, платилась одинаковая вира как за убийства или оскорбления, нанесенные мужчине.

Местом суда в древности были княжеский двор и торг, и это означает, что был суд княжеский, но был суд и народный — вечевой, и, вероятно, постановления «Русской правды», имеющие главным образом в виду соблюдение княжеских интересов, не обнимали всего вечевого суда, который придерживался давних обычаев и соображений, внушенных данными случаями. Доказательствами на суде служили показания свидетелей, присяга и, наконец, испытание водою и железом; но когда было введено последнее — мы не знаем.

Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета состояния художественной и литературной деятельности на Руси. В Киеве и в других городах воздвигались новые каменные церкви, украшенные живописью: так, при Святополке построен был в Киеве Михайловский Золотоверхий монастырь, стены которого существуют до сих пор, а близ Киева — Выдубецкий монастырь на месте, где был загородный двор Всеволода; кроме того, Владимир перед смертью построил прекрасную церковь на Альте, на том месте, где был убит Борис. К этому времени относится составление нашей первоначальной летописи. Игумен Сильвестр⁶ (около 1115 года) соединил в один свод прежде существовавшие уже отрывки и, вероятно, сам прибавил к ним сказания о событиях, которых был свидетелем. В числе вошедших в его свод сочинений были и писания летописца Печерского монастыря Нестора, отчего весь Сильвестров летописный свод носил потом в ученом мире название Несторовой летописи, хотя и неправильно, потому что далеко не все в ней написано Нестором и притом не все могло быть писано одним только человеком. Мысль описывать события и расставлять их последовательно по годам явилась вследствие возникшего знакомства с византийскими летописцами; некоторые, как, например, Амартол⁷ и Малала⁸, были тогда известны в славянском переводе. Сильвестр положил начало русскому летописанию и указал путь другим после себя. Его свод был продолжаем другими летописцами по годам и разветвился на многие отрасли сообразно различным землям русского мира, имевшим свою отдельную историю. Непосредственным и ближайшим по местности продолжением Сильвестрова летописного свода была летопись, занимающаяся преимущественно киевскими событиями и написанная в Киеве разными лицами, сменявшими одно другое. Летопись эта называется «Киевскою»; она захватывает время Мономаха, идет через все XII столетие и прерывается на событиях начальных годов XIII столетия. Во времена Мономаха, вероятно, было переведено многое из византийской литературы, как показывают случайно уцелевшие списки рукописей, которые относят именно к концу

XI и началу XII века. Из нашей первоначальной летописи видно, что русские грамотные люди могли читать на своем языке Ветхий Завет и жития разных святых. Тогда же по образцу византийских жизнеописателей стали составлять жития русских людей, которых уважали за святость жизни и смерти. Так, в это время уже написано было житие первых основателей Печерской обители Антония и Феодосия, и положено было преподобным Нестором, печерским летописцем, начало Патерика, или сборника житий печерских святых, — сочинения, которое, расширяясь в объеме от новых добавлений, составляло впоследствии один из любимых предметов чтения благочестивых людей. В этот же период написаны были жития св. Ольги и св. Владимира монахом Иаковом, а также два отличных одно от другого повествования о смерти князей Бориса и Глеба, из которых одно приписывается тому же монаху Иакову. От современника Мономахова, киевского митрополита Никифора, родом грека, осталось одно Слово и три Послания: из них два обращены к Владимиру Мономаху, из которых одно обличительное против латин. Тогда уже окончательно образовалось разделение церквей; вражда господствовала между писателями той и другой церкви, и греки старались привить к русским свою ненависть и злобу к западной церкви. Другой современник Мономаха, игумен Даниил, совершил путешествие в Иерусалим и оставил по себе описание этого путешествия. Несомненно, кроме оригинальных и переводных произведений собственно религиозной литературы, тогда на Руси была еще поэтическая самобытная литература, носившая на себе более или менее отпечаток старинного язычества. В случайно уцелевшем поэтическом памятнике конца XII века «Слово о полку Игоря» упоминается о певце Бояне, который прославлял события старины и между прочим события XI века; по некоторым признакам можно предположить, что Боян воспевал также подвиги Мономаха против половцев. Этот Боян был так уважаем, что потомство прозвало его Соловьем старого времени. Сам Мономах написал «Поучение своим детям», или так называемую Духовную. В ней Мономах излагает подробно события своей жизни, свои походы, свою охоту на диких коней (зубров?), вепрей, туров, лосей, медведей, свой образ жизни, занятия, в которых видна его неутомимая деятельность. Мономах дает детям своим советы как вести себя. Эти советы, кроме общих христианских нравоучений, подкрепляемых множеством выписок из священного писания, свидетельствующих о начитанности автора, содержат в себе несколько черт любопытных как для личности характера Мономаха, так и для его века. Он вовсе не велит князьям казнить смертью кого бы то ни было. Если бы даже преступник и был достоин смерти, говорит Мономах, то и тогда не следует губить души. Видно, что князья в то время не были окружены царственным величием и были доступны для всех, кому была до них нужда: «Да не посмеются приходящие к вам и дому вашему, ни обеду вашему». Мономах поучает детей все делать самим, во все вникать, не полагаться на тиунов и отроков. Он

завещает им самим судить и защищать вдов, сирот и убогих, не давать сильным губить слабых, приказывает кормить и поить всех приходящих к ним. Гостеприимство считается у него первою добродетелью: «Более всего чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел: посол ли, знатный ли человек или простой, всех угощайте брашном и питием, а если можно, дарами. Этим прославится человек по всем землям». Он завещает им посещать больных, отдавать последний долг мертвым, помня, что все смертны, всякого встречного обласкать добрым словом, любить своих жен, но не давать им над собою власти, почитать старших себя как отцов, а младших как братьев, обращаться к духовным за благословением, отнюдь не гордиться своим званием, помня, что все поручено им богом на малое время, и не хоронить в земле богатств, считая это великим грехом. Относительно войны Мономах советует детям не полагаться на воевод, самим наряжать стражу, не предаваться пирам и сну в походе и во время сна в походе не снимать с себя оружие, а проходя с войском по русским землям, ни в каком случае не позволять делать вред жителям в селах или портить хлеб на полях. Наконец, он велит им учиться и читать и приводит в пример отца своего Всеволода, который, сидя дома, выучился пяти языкам.

19 мая 1125 года Мономах скончался близ Переяславля у любимой церкви, построенной на Альте, семидесяти двух лет от роду. Тело его было привезено в Киев. Сыновья и бояре понесли его к св. Софии, где он и был погребен. Мономах оставил по себе память лучшего из князей. «Все злые умыслы врагов,— говорит летописец,— Бог дал под руки его; украшенный добрым нравом, славный победами, он не возносился, не величался, по заповеди Божией добро творил врагам своим и паче меры был милостив к нищим и убогим, не щадя имения своего, но все раздавая нуждающимся». Монахи прославляли его за благочестие и за щедрость монастырям. Это-то благодушие, соединенное в нем с энергическою деятельностью и умом, вознесло его так высоко и в глазах современников, и в памяти потомства.

Вероятно, народные эпические песни о временах киевского князя Владимира Красное Солнышко, так называемые былины Владимирова цикла, относятся не к одному Владимиру Святому, но и к Владимиру Мономаху, так что в поэтической памяти народа эти два лица слились в одно. Наше предположение может подтверждаться следующим: в Новгородской летописи под 1118 годом Владимир с сыном своим Мстиславом, княжившим в Новгороде, за беспорядки и грабежи призвал из Новгорода и посадил в тюрьму сотского Ставра с несколькими соумышленниками его, новгородскими боярами. Между былинами Владимирова цикла есть одна былина о Ставре боярине, которого киевский князь Владимир засадил в погреб (тюрьмами в то время служили погреба), но Ставра освободила жена его, переодевшись в мужское платье. Имя Владимира Мономаха было до того уважаемо потомками, что впоследствии составила сказка о том, будто византийский император прислал ему знаки царского достоинства, венец и бармы, и через

несколько столетий после него спустя московские государи венчались венцом, который назвали «шапкою» Мономаха.

Рассуждая беспристрастно, нельзя не заметить, что Мономах в своих наставлениях и в отрывках о нем летописцев является более безупречным и благодушным, чем в своих поступках, в которых проглядывают пороки времени, воспитания и среды, в которой он жил. Таков, например, поступок с двумя половецкими князьями, убитыми с нарушением данного слова и прав гостеприимства; завещая сыновьям умеренность в войне и человеколюбие, сам Мономах, однако, мимоходом сознается, что при взятии Минска, в котором он участвовал, не оставлено было в живых ни челядина, ни скотины. Наконец, он хотя и радел о Русской земле, но и себя не забывал и, наказывая князей действительно виноватых, отбирал их уделы и отдавал своим сыновьям. Но за ним в истории останется то великое значение, что, живя в обществе, едва выходявшем из самого варварского состояния, вращаясь в такой среде, где всякий гонялся за узкими своекорыстными целями, еще почти не понимая святости права и договора, один Мономах держал знамя общей для всех правды и собирал под него силы Русской земли.

КНЯЗЬ ДАНИЛО РОМАНОВИЧ ГАЛИЦКИЙ

В XIII веке весь ход исторических событий в Юго-Западной Руси долгое время вращается около личности Данила Галицкого. Чтобы понять значение этой личности в свое время, необходимо бросить взгляд на предшествовавшие события в этом крае.

Юго-Западная Русь, Галичина, как во внутреннем строе своей жизни, так и по внешней обстановке находилась в таких условиях, при которых все более и более слабела связь, соединявшая ее с остальными русскими землями. Хотя и здесь не угасало сознание народного родства с последними, но история указывала им различные между собою пути; это видно уже в XII веке.

Галицкая земля до 1188 года находилась в княжении рода Ростислава Владимировича (внука Ярослава I). Володарь, сын Ростислава, по смерти несчастного Василька сделался единым князем и передал после себя (1141) власть сыну своему Владимиру, обыкновенно называемому Владимирком. Ему наследовал сын Ярослав, названный в «Полку Игореве» Осмомыслом. Соединенная в одних руках, Галицкая страна была долго избавлена от внутренних княжеских междоусобий и благодаря счастливым условиям своей природы находилась, сравнительно с другими русскими землями, в цветущем состоянии. Власть княжеская совсем не имела здесь монархической силы. Князь был князем по старой славянской идее; видно, что завоевание русскими князьями этой хорватской земли и присоединение ее к общей системе русских земель под властью единого княжеского рода не изменили

древних общественных привычек. Князя, правившего Галичем, были избираемы и зависимы от веча. Но само вече находилось в руках богатых и сильных владетелей земель — бояр. Они, как видно, успели до того возвыситься над остальной массой народа, что исключительно управляли делами страны. Впрочем, есть известия о том, что люди незнатного происхождения попадали в бояре, из чего надобно полагать, что галицкая аристократия основывалась не столько на знатности родов, сколько на удаче и богатстве. Галицкие князья находились в такой зависимости от веча, что оно судило не только их политическую деятельность, но и домашнюю жизнь. Таким образом, когда Ярослав, невзлюбивши своей жены Ольги, взял себе в любовницы какую-то Анастасью, галичане не стерпели такого соблазна, сожгли Анастасью и принудили князя жить с законною женою. Все попытки Ярослава удалить своего законного сына и передать наследство незаконному остались напрасны. Ярослав умер в 1187 году. Галичане вопреки его завещанию изгнали этого незаконного сына, Олега, и поставили князем законного — Владимира. Но и этот князь вскоре подвергся строгому суду веча за свое соблазнительное поведение; он был предан пьянству, не любил советников, насиловал чужих жен и дочерей, взял себе в жены попадьё от живого мужа и прижил с нею двоих сыновей. Галичане так вознегодовали, что некоторые хотели взять князя под стражу и казнить; но другие потребовали от него развода с попадьёю, предлагая ему достать жену по нраву. Владимир, опасаясь за жизнь своей возлюбленной попадьи, убежал вместе с нею и детьми в Венгрию, а галичане призвали вместо него князя из соседней Волынской земли — Романа Мстиславича * (1188). Говорят, что сам Роман тайно действовал в Галиче в свою пользу, добиваясь избрания. Этот князь, умный и сильный волею, недолго удержался в Галиче: король венгерский Бела I¹, к которому было обратился изгнанный Владимир за помощью, заключил последнего в башню, завоевал Галич, посадил там сына своего Андрея. Роман принужден был бежать в свой Владимир-Волынский. Успехам венгров способствовало то, что в самом Галиче образовалась партия, искавшая себе выгод от венгерской власти. Непрочно, однако, оказалось там и могущество этих иноземцев; будучи католиками, они очень скоро успели раздражить против себя народ неуважением к православной религии. Владимир между тем убежал из своего заключения и с помощью польского короля Казимира Справедливого снова овладел Галичем в 1190 году. Тогда Владимир, чувствуя свое положение до крайности шатким, обратился к суздальскому князю Всеволоду и отдавался ему под начало, обещая навсегда быть в его воле со всем Галичем: устанавливалась, по-видимому, тесная связь между противоположными окраинами тогдашнего

* Внука киевского князя Изяслава Мстиславича, известного в истории своей упорной борьбой сначала с суздальцами, а потом с Юрием Долгоруким. Род Романа шел от Мстислава, старшего сына Мономаха.

русского мира; но это явление не имело никаких прочных последствий, так как ничего прочного не было тогда в отношениях русских князей между собою. По смерти Владимира Роман уже не по вольному избранию, а с помощью польской рати и оружия добыл себе снова Галич в 1198 году.

По известию польского писателя Кадлубка, Роман жестоко отомстил своим недоброжелателям в Галиче: он их четверил, расстреливал, зарывал живьем в землю и казнил другими изысканными муками, а тех, которые успевали убежать, приглашал воротиться, обещая разные милости. Но когда некоторые вернулись, то Роман, сдержав сначала данное слово и осыпавши ласками и милостями легковерных, находит предложение обвинить их в чем-нибудь и предавал мучительной казни. «Не передавши пчел, меду не есть», — приговаривал Роман. Он навел такой страх на галичан, что те просили польского короля, чтобы он управлял ими сам или чрез своих заместников. Все эти известия о жестокостях Романа находятся исключительно у польского историка, но не встречаются в русских летописях, в которых Роман поэтически представляется удалым богатырем, страшным, подобно Мономаху, только для неверных иноплеменников: «Он ходил по заповедям Божиим, — говорит о нем русский современник, — побеждал поганых язычников, устремлялся на них как лев, гневен как рысь, губителен как крокодил, пролетал по их земле как орел»... И в самом деле, этот князь и в других случаях показал свою силу и деятельность. После долгой борьбы и междоусобий в Киевской Руси он наконец успокоил ее, на время удержав в своей власти; сам он не сделался киевским князем, но посадил в Киеве своим подручником племянника. Не раз побивал он половцев, побеждал ятвягов и Литву *. Многого еще можно было ожидать от такого князя для судьбы Юго-Западной Руси. Но в 1205 году Роман поссорился с польским князем Лешком ² и был убит в сражении под Завихвостом.

Роман оставил по себе молодую вдову с двумя малолетними сыновьями. Старшему, Данилу, было тогда четыре года, а младший, Василько, был еще на руках кормилицы.

На первых порах галичане признали князем старшего сына Романа и клялись верно охранять его. Но удержаться младенцу в такой беспокойной стране было решительно невозможно. Галичина представляла слишком лакомый кусок как для русских князей, так и для иноплеменных соседей, а галицкие бояре не отличались постоянством, были падки на выгоды и далеко не все могли любить племя Романово. Покушения на Галичину начали следовать за покушениями. Сперва

* У польско-литовских историков сохранилось сказание, будто он запрягал побежденных литовцев в плуги, заставлял их расчищать леса и обрабатывать землю, и будто по этому поводу на Руси о нем составила пословица: «Зле, Романе, робиш, что литвином ореш». Но это известие, передаваемое уже в XVI веке, более чем через 300 лет после Романа, не имеет никакой исторической достоверности.

попытался овладеть ею отец первой жены Романа, князь Рюрик Ростиславич киевский, которого Роман после варварского разорения Киева наведенными Рюриком половцами заманил к себе на совет и постриг в монастыре. Теперь этот самый Рюрик, услышавши, что Романа нет на свете, снял с себя монашеское одеяние, собрал всю киевскую дружину, нанял половцев и бросился на Галич. Вдова Романа обратилась под защиту названного брата и друга ее покойного мужа. Этот названный брат был прежний соперник Романа — тот венгерский королевич Андрей³, который некогда вместе со своим отцом прогнал его из Галича; впоследствии, когда Роман в другой раз овладел Галичем, они подружились, назвали братьями и постановили между собой такой уговор: если кто из них умрет прежде, то другой будет заботиться о его семье.

Андрей только что получил теперь венгерскую корону и не забыл своего обещания, данного Роману. Он свиделся с княгиней в Саноке и, обласкавши Данила, как родного сына, дал ему войско на помощь против Рюрика. Рюрик бежал обратно в Киев.

Но в следующем году семье Романа грозила новая беда. В Чернигове собрался княжеский съезд: стеклись на совещание потомки Олега черниговского; к ним пристал смоленский князь с сыновьями; порешили они нанять половцев и идти добывать Галицкую землю. По пути пристал к ним Рюрик с сыновьями и племянниками, поднявши с собою живших в Киевской земле берендеев*. Союзники вошли в совет и с поляками, с которыми еще не был у галичан заключен мир по смерти Романа. Вдова опять обратилась к Андрею, но пока из Венгрии пришла вспомогательная сила, она увидала себя в таком положении, что оставаться на месте казалось опасным. С одной стороны — русские и половцы, с другой — поляки, да и сам Галич заволновался, и много в Галиче было таких, от которых можно было ждать, что ее выдадут вместе с детьми. Она убежала с детьми во Владимир-Волынский, наследственный удел ее мужа. Галичане разделились на партии. Верх в Галиче взял тогда боярин Володислав: изгнанный некогда Романом, он проживал в Северной земле, спознался с тамошними князьями Игоревичами и теперь подал галичанам совет пригласить их на княжение. Игоревичи находились тогда в том ополчении, которое шло на Галич; получивши приглашение, ночью скрылись они из союзного стана и явились в Галич. Старший брат, Владимир Игоревич, посажен был на галицком столе; другому брату, Роману, дали Звенигород. Оставался третий, Святослав, без места. Тогда Игоревичи послали какого-то попа во Владимир-Волынский с такою речью к владимирцам: «Выдайте нам Романовичей и примите князем Святослава, а то — города вашего на свете не будет!» Владимирцы, услышавши это, пришли в такую ярость, что хотели убить попа, присланного к ним с этим предложением. Нашлись благоразумные, говорившие, что нельзя

* Ветвь тюркского племени, близкая к торкам, печенегам, черным клобукам.

убивать посла. Однако эти благоразумные говорили так потому, что готовы были исполнить требование Игоревичей. Княгиня это проведала и, посоветовавшись с боярином Мирославом, дядькою Данила, убежала из города ночью, тайком, через стенное отверстие, боясь выйти через ворота. Мирослав нес Данила, кормилица — Василька. С ними был еще какой-то священник. Они бежали к Лешку, отдавались под покровительство человека, который еще считался с ними во вражде. Польский князь принял их с рыцарским великодушием; княгиню с Васильком оставил у себя, а Данила с польским боярином Вячеславом Лысым отправил к Андрею венгерскому и приказал сказать так: «Я не помянул злобы Романа, а ты был его друг; ты клялся защищать их; они теперь в изгнании: пойдем, вернем их достояние».

Но Лешко, однако, на деле оказал для Романовичей менее участия, чем на словах: правда, он выгнал из Владимира Святослава Игоревича, приехавшего туда после бегства княгини, но отдал княжение не детям Романа, а родному племяннику Романа, Александру Всеволодовичу, так как Лешко был женат на дочери его, Гремиславе; Василька Лешко отпустил с матерью в Брест. Берестяне сами выпросили его себе князем, были довольны и говорили, что «они как будто видят у себя великого Романа».

Андрей венгерский после бегства вдовы Романа рассудил, что нельзя удержать Данила на княжении, и не мешал водворению Игоревичей в Галиче; но Игоревичи сами вскоре поссорились за свою добычу: Роман Игоревич с помощью другого брата своего прогнал третьего, Владимира, и овладел Галичем, но потом по приказанию Андрея венгерский воевода Бенедикт Бора схватил Романа в бане, отправил в Венгрию и стал сам управлять Галичем. В короткое время Бенедикт раздражил галичан разными насилиями и своим распутством так, что по приглашению галичан опять явились Игоревичи, прогнали Бенедикта и разделили между собою Галичину, на этот раз уже не ссорясь между собою как прежде, и уступили княжение в Галиче старшему из своей среды, брату Владимиру. Тогда, думая упрочить за собою власть, Игоревичи составили план истребить тех бояр, которые по своему непостоянству казались им опасными. Коварный замысел над некоторыми удался, но в числе обреченных на убийство был их прежний благодетель, боярин Володислав, по милости которого они получили княжение в стране. Володислав впору узнал о грозящей беде, с другими боярами успел убежать к Андрею и просил теперь на княжение в Галич Данила, проживавшего у венгерского короля. Король дал войско на помощь Данилу. Прежде всех сдался Перемышль и выдал Святослава Игоревича. Звенигород защищался, но сдался после того как Роман Игоревич, бежавши оттуда, был схвачен на мосту. Князь Владимир Игоревич счастливо убежал из Галича. Отрока Данила посадили на отеческом столе.

Пленных Игоревичей осудили народным судом и повесили — событие, выходявшее из ряда обычных событий на Руси в то время.

Малолетний Данило недолго мог удержаться среди бояр, хотевших править его именем. В Галич прибыла мать Данила, которую он не узнал после долгой разлуки. Бояре поспешили ее выпроводить из боязни, чтобы она не отняла у них власти. Когда Данило в слезах бросился за матерью, один из них схватил за повод коня его. Раздраженный отрок ударил мечом коня и ранил. Мать сама вырвала из рук его меч и убедила его остаться в Галиче, а сама уехала в Бельз.

Услыхал об этом король Андрей, поспешил с войском и привел обратно мать Данила в Галич, а боярина Володислава, главного виновника ее изгнания, увел с собою в Венгрию в оковах. Но как только Андрей удалился, бояре опять составили заговор против Данила и призвали на княжение пересопницкого князя Мстислава. Данило должен был бежать. Андрей на этот раз не мог уже помочь ему, потому что в это время в самой Венгрии произошло возмущение, стоившее жизни королеве.

Призванный Мстислав пересопницкий, в свою очередь, не усидел в Галиче. Из Венгрии прибыл отпущенный Андреем Володислав, и тогда в Галиче после недавней казни князей произошло событие, также небывалое на Руси со времени утверждения Рюрикова дома: боярин Володислав, не принадлежавший к княжескому роду, назвался князем в Галиче. Но ему не дано было начать нового княжеского дома. Лешко, приняв сторону Данила, согнал с княжения Володислава и заточил. Володислав умер в заточении. Галич остался без правителя.

Казалось тогда, что ни Данилу и никакому другому русскому князю невозможно было усидеть в этом беспокойном городе. Лешко предложил Андрею посадить там малолетнего сына Андреева, Коломана, обручив его с трехлетней дочерью Лешка Соломиею. Это дело устроил воевода Пакослав, показывавший до сих пор расположение к Романову семейству. В удовлетворение Романовичей наследственный удел Романа Владимир был отнят у Александра бельзского и отдан Данилу (1214), которого хотели иметь князем и владимирские бояре. Таким образом, в руках Данила была теперь значительная часть Волыни. Города Каменец, Тихомля и Перемышль отошли к Романовичам.

С тех пор Данило надолго был лишен Галича. Им овладел Мстислав Удалой, который отдал за Данила дочь свою Анну.

Данило собирал под свою власть Волынскую землю и возвратил от поляков Берестье, Угровеск, Верещин, Стольпе, Комов и всю так называемую тогда Украину, т. е. часть Волыни, прилегавшую к Польше по левой стороне Буга. Следствием этого была война, в которую невольно вступался Мстислав Удалой. Хотя она велась сначала неудачно для Данила и Мстислава, но приобретенный Данилом край все-таки остался за ним.

Вслед за тем Данило помирился с Лешком и обратился на Александра бельзского, который отступил от него во время обороны Галича и всячески вредил ему. За вероломство князя по тогдашним поня-

тиям должна была отвечать его земля. Данило и Василько напали на Бельз ночью и произвели там страшное опустошение. В памяти жителей надолго осталась эта ночь под именем «злой». По просьбе Мстислава Данило оставил Александра в покое.

В 1224 году Данило вместе с другими князьями участвовал в страшной для русских битве при Калке, вел себя геройски и был ранен в грудь. Он так увлекся тогда битвой, что долго не замечал своей раны и заметил ее только тогда, когда, бежавши, стал пить.

Вернувшись домой и оправившись от ран, Данило вновь принялся расширять свои владения. Князь Мстислав пересопницкий, владевший Луцком, отдал Данилу свою отчину, поручивши ему сына, который вскоре умер. Луцком поспешил овладеть Ярослав, сын двоюродного брата Романа, Ингваря, некогда княжившего в Луцке. Данило, едуци на богомолье в Жидичин, встретил Ярослава Ингварича на дороге. Бояре подавали совет схватить его. Данило с негодованием отверг такую коварную меру: «Я еду на богомолье — этого не сделаю», — отвечал он. Но возвратившись во Владимир, он послал своих бояр в Луцк. Они схватили Ярослава, а потом овладели Луцком. Данило хотя и дал в другом месте удел Ярославу, но уже в качестве своего подручника. В это же время Данило отнял у него Дорогобуж, а у пинских князей — Чарторыйск, пленивши сыновей пинского князя Ростислава. Во всех этих делах Данило действовал заодно с Васильком, с которым он всю жизнь был неразделен и неразлучен — пример очень редкий в истории русских князей.

В 1228 году по смерти Мстислава Удалого Данило овладел Познем.

Такое возвышение Данила возбудило против него целый союз русских князей. Ростислав пинский сердился на него за отнятие Чарторыйска, за плен сыновей, и возбуждал против него Владимира Рюриковича; последний помнил насильственное пострижение своего отца Романом. К союзу пристали черниговские и северские князья. Но Данило услышал об этом вовремя и пригласил ляхов, которыми начальствовал расположенный к нему воевода Пакослав. Союзные князья осадили Каменец и ничего не могли сделать, тем более что приглашенный ими половецкий князь Котян перешел на сторону Данила. Они принуждены были отступить. Данило погнался за ними, но киевские и черниговские бояре приехали к нему от своих князей и убедили помириться. Таким образом Данило уничтожил все замыслы соперников, и этот успех еще более поднял его в ряду русских князей; не только все прежние области остались за ним, но и пинские князья сделались его подручниками, а Владимир Рюрикович с этих пор является постоянным другом и союзником Данила.

В 1229 году убит был в Польше союзник Данила, Лешко. Данило отправился помогать брату его, Конраду, против Владислава (князя опольского), оставив подручника своего, князя пинского, оберегать пределы Волини от вторжения ятвягов. Русские зашли в глубь Поль-

ши так далеко, как еще никогда не заходили; они вместе со сторонниками Конрада осадили Калиш и почти без боя принудили его сдаться Конраду. Тогда русские и поляки заключили между собою такое условие: «если между ними будут впереди усобицы, то русские не должны брать в плен польских простых людей (челяди), а поляки — русских».

На возвратном пути из этого похода Данило услышал, что боярин Судислав, властвовавший в Галиче именем королевича, думал воспользоваться тем, что Данило зашел так далеко в Польшу, и в его отсутствие хотел овладеть Познанием. Но как только Судислав вышел из Галича, недовольные им галичане отправили посольство к Данилу и просили прибыть к ним как можно скорее, пока не вернулся Судислав. Данило, отправивши против Судислава тысяцкого Демьяна с войском задерживать его, сам с многочисленною дружиною поспешил на зов галичан, стараясь предупредить Судислава, и на третий день достиг Галича. Но как ни спешил Данило, Судислав успел избегнуть стычки с Демьяном, ранее Данила вошел в Галич и затворился в нем. Данилу приходилось добывать Галич осадю. К счастью, Данило успел овладеть загородным двором Судислава и нашел там много продовольствия для своего войска; это дало ему возможность решиться на продолжительную осаду. Он расположился станом в Углиничях, на другой стороне Днестра. Тысяцкий Демьян и старик Мирослав привели к нему нескольких бояр Галицкой земли, склонившихся на его сторону; прибыли к нему свежие силы из Волынской земли. Данилу нужно было перейти на другой берег, чтобы окружить город. Осажденные старались не допустить его до этого, делали вылазки и бились на льду; но в это время река стала вскрываться; напрасно Семьонко, которого современник по наружному виду сравнивает с красной лисицей, зажег мост на Днестре, чтобы затруднить Данилу переход через реку. К счастью Данила, пожар угас при самом конце моста; Данило с усиленною ратью перешел реку и обложил город со всех сторон. Тем временем же его призыву стекался к нему народ из Галицкой земли — от Боброка до Ущицы и Прута. Видимо, земля была за Данила. Это заставило осажденных сдаться. Данило вошел в город. Помня давнюю дружбу с королем венгерским Андреем, он отпустил королевича, свояка своего, домой и сам проводил его до Днестра. С королевичем ушел и Судислав. Народ метал на него камни и кричал: «Вон, вон, мятежник земли!» Таким образом, Данило после долгих лет отсутствия снова был признан князем в городе, откуда был изгнан, еще будучи ребенком.

Оскорбительно было для венгерской чести удаление королевича. Судислав усиленно подстрекал венгров возвратить потерянный Галич. И вот сын Андрея, Бела ⁴, собрал большое войско и пошел через Карпаты. Но тут начались непрерывные дожди. Лошади вязли в грязи, люди бросали лошадей и пробирались высокими местами. С большим трудом добрались они до Галича. Данила там не было; он наперед вышел из города приглашать на помощь поляков и половецкого хана

Котьяна, оставивши в Галиче тысяцкого Демьяна. Венгерский посол, подъехав к городу, громко возгласил галичанам: «Люди галицкие! Вам велит сказать великий король венгерский: не слушайте Демьяна; пусть Данило не надеется на бога и свои силы. Столько стран победил наш король, и не удержится против него Галич!» Демьян держался крепко; галичане стояли за Данила: Данило уже подходил к Галичу с собранным войском. Между тем дожди не переставали, у венгерцев от постоянной сырости развалилась обувь, открылись болезни и смертность. Иные умирали, сидя на коне, другие — у разведенных огней; иной испускал дыхание, поднося кусок мяса ко рту... От дождей сильно разлился Днестр. «Злую игру сыграл он венграм», — говорили современники. Король снял осаду и пошел к Пруту. Дожди преследовали его. Венгерцы погибали на дороге.

Но едва только благодаря непогоде Данило избавился от врагов, как опять начались против него в самом Галиче боярские крамолы. Зачинщиком и подстрекателем бояр был все тот же Александр бельзский, постоянно тайный враг Данила. Бояре обращались так неуважительно с князьями, что однажды на пиру какой-то боярин залил Данилу лицо вином. Данило стерпел это. Вслед за тем произошел такой случай. Василько, находясь в собрании бояр, в шутку обнажил меч на одного, называемого в летописи «слугою королевским». Тот схватился за щит. Бояре после этого бежали. Князья удивились этому бегству, не понимая, в чем дело. Через несколько времени, когда Василько уехал во Владимир, один боярин по имени Филипп приглашал Данила к себе на пир в Вишню. Данило поехал, но на дороге его встретил посланный от Демьяна с такими словами: «Не ездя, князь, на пир; боярин Филипп с князем Александром хотят убить тебя». Данило вернулся. Говорили, будто бояре Молибогвичи, подстрекаемые Александром бельзским, совещались произвести пожар, чтобы в суматохе убить Романовичей, но приключение с Васильком внушило им опасение, что Романовичи проведали о заговоре, и оттого-то они разбежались. Василько по приказанию Данила занял Бельз (удел Александра), а посланный седельничий его, Иван Михайлович, схватил Молибогвичей с их соучастниками, всего 28 человек. Данило простил им; быть может, улики были недостаточны и все ограничивалось подозрениями.

Великодушие не помогло Данилу. Узнал он, что бояре опять строят против него козни с Александром. Данило с восемнадцатью верных себе «отроков» созвал вече и спрашивал галичан: «Хотите ли быть верными мне? Я пойду на врагов моих!» Все закричали: «Мы верны богу и тебе, господин!» Сотский Микула привел при этом пословицу Романа, отца Данила: «Не передавивши пчел, меду не есть». Данило пошел в Перемышль, но те, которые шли за ним, не были на деле ему верны. Князь Александр с боярами уже успел бежать в Венгрию, где ждал его Судислав. По их подстрекательству король Андрей с сыновьями Белою и Андреем двинулись на Галич. Боярин Давид Бышатич по убеждению своей тещи, преданной Судиславу, сдал королю Яро-

славль. Затем другой боярин, Климьята, посланный с войском против венгров, передался врагам; за ним изменили и прочие бояре.

Данило должен был покинуть Галич и ушел в Киев набирать войско у своего союзника, киевского князя Владимира, а король водворил снова сына своего Андрея в Галиче, но ненадолго. Данило с Владимиром киевским и половцами два раза разбил венгров и пошел прямо к Галичу. Бояре, видя, что успех клонится на сторону Данила, стали переходить к нему. Первый пример подал боярин Глеб Зеремеевич. Данило обласкал их, раздавал им волости, думая хотя на время привязать их к себе. Князь Александр бельзский отступил от венгров, пристал к Данилу и испросил у него прощения. Данило осадил Галич, стоял под ним 9 недель, ожидая заморозков, когда можно будет перейти по льду через Днестр. Осажденные стали терпеть голод. Судислав, находясь с королевичем, успел соблазнить коварного Александра: прельщенный обещаниями получить Галич, Александр, недавно приставший к Данилу, опять изменил ему и предался к осажденным; но осажденным от этого не стало легче. Королевич Андрей умер в осаде. Тогда все галичане порешили на вече призвать Данила, и один из прежних врагов его, Семьюнко Красный, выехал к Данилу просить его в город. Судислав и князь Александр успели убежать: Судислав — к венграм, Александр хотел было искать защиты у тестя своего, киевского князя, но Данило гнал за ним три дня и три ночи, не зная сна, догнал его у Полонного и схватил в Хоморском лесу. Неизвестно, что сделал Данило с этим человеком, так бесчестно поступавшим с ним много раз, — но с тех пор имя его не упоминается в летописях.

В это время в нашей истории являются мимоходом загадочные и до сих пор необъясненные бологовские князья, владевшие берегами Буга. Так как край этот совершенно ускользает из летописных повествований о прежних событиях и нет возможности отыскать происхождения этих князей в разветвлении Рюрикова дома, то по всему видно, это были князья иных древних родов, остававшиеся неподвластными Рюриковичам. В этом нас убеждает еще и то, что сам Данило в переговорах о них с поляками называет их «особными» князьями. Овладевши Понизьем, Данило хотел подчинить их своей власти; они были постоянно его противниками и при всяком случае принимали сторону его врагов.

Избавившись от венгров, Данило должен был еще долго бороться с русскими князьями за Галич. Тогда как князь киевский Владимир помогал Данилу, черниговский князь Михаил, вступивший в союз с бологовскими князьями, напал на киевские владения и подошел к Киеву. Данило поспешил на выручку союзника. Четыре месяца вместе с Владимиром Рюриковичем воевал он Черниговскую землю и, возвращаясь назад через Полесье, услышал, что враги его навели половцев на Киевскую землю. Войско Данила было очень утомлено, и старый Мирослав, бывший дядька его, отсоветовал ему идти на них. Даже сам князь киевский разделял мнение старика; но верный себе Данило ска-

зал им: «Воину, устремившемуся на брань, следует или победить, или пасть. Не говорил ли я вам прежде сам, что надо дать отдых усталым войскам? А теперь — нечего бояться! Пойдем!» У Торческа произошла кровопролитная битва (в 1234). Данило дрался отчаянно, пока под ним не убили его гнедого коня. Его воины обратились в бегство; сам Данило должен был последовать за ними. Киевский князь и Мировслав были взяты в плен. Летописец приписывает это несчастье тайной измене бояр Молибоговичей.

Проведавши о несчастье Данила, бояре галицкие пригласили на княжение Михаила черниговского, и тот занял Галич. Несмотря на добродушие Данила бояре галицкие никак не могли полюбить его. Они видели в нем князя, который как только утвердится, тотчас сломит их силу, и это будет тем удобнее, что простой народ оказывал Данилу расположение. Бояре, захвативши в свои руки всю Галичину, поделили между собою все доходы, хотели или лучше быть вовсе без князя, или иметь такого, который находился бы у них совершенно в руках. Но того и другого достигнуть им было трудно, потому что хотя все они и дорожили своим сословным могуществом, но жили между собою в несогласии. Один теснил и толкал другого; у каждого являлись свои виды и потому один хотел того князя, другой — иного; всякий надеялся посредством князя возвыситься над своими соперниками.

Михаил недолго удержался в Галиче. Отправившись по своим делам в Киев, оставил он в Галиче сына своего Ростислава (1235). Данило находился в построенном им Холме, когда к нему пришла весть из Галича, что Михаил выехал из города и галичане хотят Данила. Простым жителям чересчур опротивели боярские смуты и они приняли твердое решение не поддаваться более наущению бояр, а держаться крепко за Данила для собственной пользы. Данило смело подъехал к Галичу. Жители стояли толпою на стене. Данило обратился к ним: «О мужи галицкие, долго ли еще будете терпеть державу иноплемennых князей?» Все они в один голос закричали: «Вот он, наш держатель, богом данный!» «И все,— говорит летописец,— пустились к нему, как пчелы к матке». Епископ Артемий и дворский * Григорий сначала удерживали народ, но видя, что ничего не сделают, со слезами на глазах и, по выражению того же летописца, «ослабляясь и облизывая губы», вышли к князю Данилу, поклонились и сказали: «Приди, князь Данило, прими город!» Данило вошел в город и воткнул знамя свое на Немецких воротах в знак победы. С торжеством вступил он в церковь Богородицы и принял стол отца своего. Бояре кланялись ему в ноги и просили прощенья. «Согрешили,— говорили они,— чужого князя держали». Данило отвечал: «Вы получите милость, только вперед так не делайте, чтобы вам не было хуже». Ростислав бежал в Венгрию.

Таким образом, Данило после многолетних трудов и непрестан-

* Выборная городская правительственная должность.

ной борьбы сделался властителем всей Галичины и Вольни. Он понял, что в Галиче нельзя ему иметь постоянного пребывания, и поселился в построенном им Холме. Однажды, ранее этого времени, ездивши на любимую им охоту, приехал Данило на место, которое ему очень понравилось. «Как называется это место?» — спросил он. «Холм», — отвечали ему. «Пусть здесь будет город Холм», — сказал он и посвятил будущий город св. Иоанну Златоусту, так как в те времена всякий новый город посвящался какому-нибудь святому. Здесь построил он себе усадьбу и красивую церковь св. Иоанна. По его призыву начали стекаться туда жители с разных сторон. Здесь власть Данила была тверже и безопаснее, не то что в старом городе; здесь не было преданий, противных княжеским видам. Все получали свое жительство по милости князя и потому были привязаны к нему ради собственных выгод. Удалиться из старого города в новый было в то время удобным средством князю для своего спокойствия и безопасности. Здесь мог он жить, окруженный верною дружиною, не страшась боярских козней, от которых было трудно уберечься, живучи среди бояр.

Власть Данила распространялась и на Киевскую землю; наконец, он подчинил себе и самый Киев, который, будучи отнят у Владимира Рюриковича (умершего в 1236) Ярославом суздальским, переходил потом из рук в руки, наконец, был захвачен Данилом, но это было уже накануне страшного потрясения, переворотившего весь строй русской истории.

Уже татары под предводительством монгольского хана Батые, внука Чингисханова, опустошили и завоевали Восточную Русь. Русские везде защищались геройски: не сдался ни один город, ни один князь; но защита эта была бестолковая и потому совсем безуспешная. Прежде всего в 1237 году совершенное опустошение постигло Рязанскую землю. Все города этой земли были истреблены дотла; страна обезлюдела, а между тем Суздальско-Ростовская земля не выручала ее из беды и вслед за нею подверглась тому же жребию. Татары сожгли Москву (тогда еще бывшую только пригородом Владимира) и истребили в ней старого и малого. 7 февраля 1238 года истреблен был Владимир. Здесь в соборной церкви погибла семья князя Юрия Всеволодовича со множеством бояр и народа. Татарские полчища рассеялись по земле, разоряли города и села, везде истребляли жителей. 4-го марта того же года князь Юрий Всеволодович с другими князьями своей земли вступил в отчаянную битву с татарами на берегу Сити, но был поражен и убит. Опустошивши Восточную Русь, Батый хотел идти на Новгород, но дремучие леса и болота не допустили его. Татары разорили один только Торжок и поворотили на юг. Везде Батый встречал отчаянное сопротивление. Небольшой город Козельск защищался семь недель и когда был взят, то в нем татары пролили столько крови, что малолетний тамошний князь Василий захлебнулся кровью. В 1239 году они взяли и сожгли Чернигов и приближались к Киеву. Племянник Батые, Менгу-Тимур, любовался красотою Киева из Песочного

городка на левой стороне Днепра. Каменная стена верхнего города, из-за которой мелькали позолоченные верхи Десятинной церкви, св. Софии и Михайловского монастыря, цветные черепичные кровли княжеских теремов, направо, внизу, вдоль Днепра, Подол со множеством церквей, налево — Никольский монастырь, величественная Печерская обитель и Выдубецкий монастырь, отрезанные от города и друг от друга дремучим лесом, раскинувшимся по крутой горе, — вот что поражало тогда глаза степного хищника. Он отправил в Киев послов требовать сдачи. Послы были убиты. Завоеватели отступили с намерением прийти на следующий год и наказать киевлян.

В конце 1240 года прибыла страшная сила Батыя, перейдя, вероятно, по льду через Днепр. Татарское полчище облегло верхний город (занимавший место нынешнего старого города). За пределами его к реке Лыбеди были посады, конечно, тогда дотла истребленные. На юг, по направлению к Никольскому и Печерскому монастырям, был густой лес. Летописец говорит, что полчище врагов было до того огромно, что в городе нельзя было расслышать слов от скрипа телег татарских, рева верблюдов и ржания коней. Батый начал свой приступ к Лядским воротам, находившимся на южной стороне. Татары день и ночь били пороками * стены и, наконец, пробили их. Киевляне отчаянно защищали остаток стен, пока, наконец, татары не сбили их со стен и сами не вошли на стены. Тогда киевляне столпились у Десятинной церкви и в одну ночь возвели около нее укрепление. Когда завоеватели стали разрушать и эти укрепления, киевляне со своим имуществом, кто что успел схватить, взбирались на верх церкви и отбивались оттуда до последней возможности; наконец, под ними рухнули стены церковные, по сказанию летописца — от тяжести, но вероятнее всего, подбитые татарскими пороками.

О разрушении Подола мы не имеем известий, но несомненно, что весь город Киев превращен был тогда в кучу развалин. Надобно также полагать, что значительная часть жителей заранее бежала, так как прихода татар давно ждали.

Оставленный Данилом в городе тысяцкий Димитрий, весь израненный, достался татарам, но Батый велел его пощадить, вероятно, для того чтобы воспользоваться им при дальнейших походах.

Завоевательные полчища Батыя двинулись от Киева на запад, истребляя и разрушая все на пути своем. Город Колодяжный (нынешний Ладыжин) вопреки примеру других русских городов сдался добровольно в надежде быть пощаженым. Но татары истребили в нем всех жителей, хотя нередко в подобных случаях они оказывали побежденным пощаду. Все волынские города подверглись разорению, только Кременец, расположенный на неприступной горе, не поддался татарам. Во Владимире истреблены были поголовно все жители. Застигнутые врасплох русские кидали свои жилища в городах и селах,

* Так назывались стенобитные орудия того времени.

скрывались в лесах или бежали сами не зная куда. Данило в это время был в Венгрии; еще не слыхав ничего о приближении татар, он отправился в Венгрию для сватовства своего сына, которое на тот раз не удалось ему. В его отсутствие татары разорили опустелый Галич. Тысяцкий Димитрий, желая спасти свою землю от дальнейшего разорения, убедил Батюя спешить в Венгрию и представлял, что в противном случае венгры и немцы соберутся на него с большою силою. Завоеватели разделились на две части: одни через Карпаты пошли в Венгрию, другие через Польшу в Силезию и Моравию, откуда через три года вернулись назад в свои степи.

Данило приехал из Венгрии, не зная, где находится его семья и брат, и отправился в Польшу. Там свиделся он с княгиней и Васильком, которые укрывались в Польше от татар. Мазовский князь Болеслав предоставил изгнанникам город Вышгород, где Данило пробыл до тех пор пока не узнал, что татар уже нет в его волости.

Возвращаясь в свою землю, он хотел остановиться в Дрогичине, но тамошний наместник не пустил своего князя; вероятно, он был заодно с боярами, которые думали воспользоваться общим смятением, чтобы опять начать свои козни против князя. Данило с братом Васильком отправились затем к Берестью, но не могли приблизиться к городу от смрада гниющих тел. То же представилось им во Владимире; там не встретили они ни одной души; все церкви были наполнены грудями трупов. Видно, что жители во время нашествия татар искали убежища в церквях и там погибали. Данилу пришлось отстраивать жилища и собирать разогнанные остатки населения.

Между тем галицкие бояре, захватившие в свои руки всю землю, думали править ею самовольно. Но теперь они уже не сладили с волею Данила. Боярин Доброслав и Судьич, попов внук, самовольно захватили Понизье, а Григорий Васильевич овладел горною страню перемышльскою. Эти бояре от себя раздавали волости и доходы разным своим подручникам; так, у Доброслава было двое подручников: Лазарь Домажирич и Ивор Молибожич, люди низкого происхождения (как говорит летописец), которым этот боярин поручил Коломью, дававшую прежде князю большой доход солью. К счастью Данила, эти бояре жили между собою во вражде и, ненавидя своего князя, доносили ему друг на друга. Таким образом Доброслав обвинял перед Данилом Григория. Пользуясь их враждою, Данило, не веря ни тому ни другому, приказал схватить обоих и послал своего печатника Кирилла сделать опись всем грабительствам и злоупотреблениям бояр во время их управления.

Неугомонный, задорный сын черниговского князя Ростислав Михайлович, в свою очередь, продолжал беспокоить Данила. В то время когда Кирилл производил осмотр в Понизье, Ростислав, соединившись с князьями бологовскими, пытался было овладеть Бакотою в Понизье, но не успел. За это Данило расправился с бологовскими князьями, которые вывели его наконец из терпения. Он в особенности

был зол на них за то, что они поладили с татарами. Татары оставили покойно этих князей в земле их для того чтобы они сеяли на них пшеницу и просо. Продолжая злобствовать против Данила, они надеялись на покровительство татар. Данило имел право упрекать их в неблагодарности к себе, так как ранее этого времени он избавил их из рук мазовецкого князя Болеслава и даже чуть было не воевал из-за них с Болеславом. Теперь, наказывая их за союз с Ростиславом, он вступил с войском в их землю, взял и предал огню города их: Деревич, Губин, Кобуд, Кудин, Городец, Божский и Дядьков. Ростислав беспокоил Данила до самого 1249 года. Он женился на дочери венгерского короля Белы и с помощью тестя надеялся овладеть Галичем. В эти распри вмешались и поляки, так как другая дочь Белы была за князем Болеславом; на этом основании Данило помогал сопернику Болеслава Конраду, женатому на его родственнице. Наконец, после долгих мелких драк произошло решительное сражение 1249 года.

Ростислав с войском, составленным из русских, венгров и Болеславовых поляков, подступил к городу Ярославлю. Венграми начальствовал воевода Фильний, прозванный русскими «прегордый Филя», тот самый, который был некогда разбит Мстиславом Удалым. Хвастливый Ростислав говорил: «Если бы я знал, где теперь Данило и Василько, с десятью воинами поехал бы на них!» Между тем он устроил военную игру (турнир) и сразился с каким-то Воршем. Под ним споткнулся конь; Ростислав упал и повредил себе плечо. Это сочтено было дурным предзнаменованием. Тем временем Данило с Васильком шли против него. За ними на помощь следовали Литва и поляки Конрадовой стороны; тут было также несколько русских князей, пришедших на службу к Данилу. Им на дороге также было предзнаменование: над их войском собралась целая туча орлов и воронов и с криком кружилась над войском: «Это знамение на добро», — говорили русские. Битва произошла 17 августа. Венгерский воевода Фильний находился в заднем полку и, держа в руках знамя, кричал: «Русь плохо бьется; выдержим их первый напор: они не вытерпят сечи на долгое время». Но Данило ударил своим полком и смял его. Знамя Фильния было отнято и разодрано пополам. Молодой сын Данила, Лев, изломил об его доспехи копье свое. С другой стороны, поляки, указывая на русских, кричали: «Погоним великие бороды!» «Лжете!» — закричал им Василько. «Бог нам помощник!» — поляки по своему обычаю закричали «керылешь» (кириэ элейсон⁵) и дружно бросились на Василька, но русские отбили их и обратили в бегство. Ростислав увидел, что и венгры и поляки бегут, побежал сам. Победа была вполне на стороне Данила. Воевода Фильний был схвачен Андреем дворским, приведен к Данилу и убит. Тогда же был казнен взятый в плен боярин Володислав, зачинщик смут. Ростислав с тех пор уже не делал более покушения на галицкий стол. Тесть его Бела дал ему в удел Мачву на Саве, и после того его имя уже не встречается в русской истории.

На следующий год Данило примирился с венгерским королем при

посредстве митрополита Кирилла, и король отдал за сына Данилова, Льва, дочь свою. Свадьбу праздновали в Изволине, и Данило в знак мира привел с собою и отдал королю венгерских пленников, взятых во время ярославской битвы.

Так, наконец, Данило успокоил и себя, и свои земли как от венгров, так и от русских князей. Много труда и усилий, много тяжелых лет и неутомимого терпения стоило ему это успокоение. Теперь он был один из сильнейших владетелей в славянском мире. До сих пор он не считал себя данником хана. Монгольские полчища пока только прошли по Южной Руси разрушительным ураганом, оставивши по себе хотя ужасные, но скоро поправимые следы. Участь других русских князей, казалось, миновала Данила. Но не так вышло на деле, как казалось. В 1250 году прибыли послы от Батыея с грозным словом: «Дай Галич!»

Данило запечалился. Занятый беспрестанными войнами со своими соперниками, он не успел укрепить городов своих и не был в состоянии дать отпора татарскому полчищу, если бы оно пошло на него. Обсудивши свое положение, Данило сказал: «Не дам полуотчины своей, сам поеду к хану». В самом деле, Данилу приходилось, уступивши Галич, не только потерять землю, приобретенную такими многолетними кровавыми усилиями, но ему угрожала большая беда: отнявши Галич, монголы не оставили бы его в покое с остальными владениями; и потому благоразумнее было заранее признать себя данником хана, чтобы удержать свою силу на будущее время, когда при благоприятных обстоятельствах можно будет заговорить иначе с завоевателями Руси. 26 октября выехал Данило в далекий путь.

Проезжая чрез Киев, Данило остановился в Выдубецком монастыре, созвал к себе соборных старцев и монахов, просил молиться о нем, отслужил молебен архистратигу Михаилу и, напутствуемый благословениями игумена, сел в ладью и отправился в Переяславль. Здесь встретили его татары. Ханский темник * Куремса проводил его в дальнейший путь. Тяжело и страшно было ехать Данилу. С грустью смотрел он на языческие обряды монголов, властвовавших в тех местах, где прежде господствовало христианство. Его страшили слухи, что монголы заставят православного князя кланяться кусту, огню и умершим прародителям. Следуя по степи, доехал он до Волги. Здесь встретил его некто Сунгур и сказал: «Брат твой кланялся кусту, и тебе придется кланяться». «Дьявол говорит твоими устами,— сказал рассерженный Данило.— Чтоб бог загородил твои уста и не слышал бы я такого слова!»

Батый позвал его к себе, и, к утешению Данила, его не заставляли делать ничего такого, что бы походило на служение идолам.

«Данило,— сказал ему Батый,— отчего ты так долго не приходил ко мне? Теперь ты пришел и хорошо сделал. Пьешь ли наше молоко, кобылий кумыс?»

* Предводитель десятитысячного войска.

«До сих пор не пил, а прикажешь — буду пить».

Батый сказал ему: «Ты уже наш — татарин, пей наше питье».

Данило выпил и сказал, что пойдет поклониться ханше; Батый ответил: «иди».

Данило поклонился ханше, и Батый послал ему вина со словами: «Не привыкли вы пить кумыс, пей вино».

Данило пробыл 25 дней в Орде и был отпущен милостиво. Батый отдал ему его владения в вотчину. Родные и близкие встретили его по возвращении с радостью и вместе с грустью: они радовались, видя, что он воротился жив и здоров, и скорбели об его унижении. Вместе со своим князем вся Русская земля чувствовала это унижение, и оно-то прорвалось в возгласе современника-летописца: «О, злее зла честь татарская! Данило Романович, князь великий, обладавший Русскою землею, Киевом, Волынию, Галичем и другими странами, ныне стоит на коленях, называется холопом, облагается данью, за жизнь трепещет и угрозы страшится!»

Подчинение хану хотя, с одной стороны, унижало князей, но зато с другой, укрепляло их власть. Хан отдавал Данилу, как и другим князьям, земли его в вотчину. Прежде Данило, как и прочие князья, называл свои земли отчинами, но это слово имело другое значение, чем впоследствии слово вотчина. Прежде оно означало не более как нравственное право князя править и княжить там, где княжили его прародители. Но это право зависело еще от разных условий: от воли бояр и народа, от удачи соперников, в которых не было недостатка, от иноплеменного соседства и от всяких случайностей. Князья должны были постоянно беречь и охранять себя собственными средствами. Теперь князь, поклонившись хану, предавал ему свое княжение в собственность как завоевателю и получал его обратно как наследственное владение; теперь он имел право на покровительство и защиту со стороны того, кто дал ему владение. Никто не мог отнять у него княжения, кроме того, от кого он получил его. Вечевое право, выражаемое волею ли бояр, волею ли всего народа, необходимо должно было смолкнуть, потому что князь мог всегда припугнуть непокорных татарами. Соседний князь не отваживался уже так смело, как прежде, выгонять другого князя, потому что последний мог искать защиты в сильной Орде. Князья становились государями. Это положение сразу поняли восточные князья и потому так легко примирились с новым порядком вещей. Но Данило слишком привык к прежнему строю жизни, чтобы примириться с новым положением. Он был гораздо ближе к европейским понятиям, чем восточные князья. Стыд рабского положения не мог для него ничем выкупаться. Его задушевною мыслью стало освобождение от постыдного ига.

Цель эта могла быть достигнута в будущем как материальным усилением Данила, так и возвышением его нравственного значения в ряду европейских владетелей. Вся остальная жизнь Данила была посвящена этой идее, и, как видим, неудачно.

Дружба и союз с королем венгерским вовлекли Данила в дела Западной Европы. После смерти австрийско-штирийского герцога Фридриха венгерский король хотел не допустить немецкого императора взять себе Австрию и Штирию, страны, остававшиеся теперь без владетеля. Король в 1252 году пригласил на помощь Данила. Дело уладилось было через императорских послов в Пожге. Здесь Данило виделся с немецкими послами, которые удивлялись необычному для них вооружению русских: их коням, одетым в кожаные доспехи, и их блестящему татарскому оружию. Сам Данило ехал рядом с королем, одетый по-русски; седло под ним было обито чистым золотом, стрелы и сабли позолоченные, с узорами. На нем был «кожух» (конечно, не тулуп, так как тогда был знойный день) греческой материи, украшенный кружевами и золотой тесьмой; и был князь обут в зеленых сафьянных сапогах, вышитых золотом. Его превосходный породистый конь возбуждал удивление и похвалы. «Твой приезд по обычаю русских князей дороже мне тысячи серебра», — сказал ему в приветствие венгерский король. Вскоре после того поднялся новый спор за австрийско-штирийское наследство. У покойного Фридриха было две дочери: одна из них была за Оттокар, сыном чешского короля Вацлава, а другая, по имени Гертруда, была вдова маркграфа баденского. Оттокар с согласия партии, державшей его сторону в Австрии, хотел овладеть всем наследством. Гертруда обратилась к покровительству Белы. Здесь, при дворе его, познакомился с нею сын Данила, Роман, и женился на ней. Таким образом у Данила возникло притязание утвердить сына в обладании Австриею и Штириею. Для заветных целей Данила удача в том случае имела бы большое значение. В союзе с Белою и зятем Белы, Болеславом Стыдливым, польским князем, Данило совершил против Оттокара поход в чешские владения, в землю Опавскую (Троппау). Поход этот, бесплодный по своим последствиям, замечателен только тем, что, по выражению летописца, ни один русский князь не заходил так далеко на запад.

Даниловы союзники поляки в этой войне вели себя очень не храбро, так что Данилу пришлось усовещевать их. Наконец, потерявши терпение, он сказал им: «Если хотите, идите прочь, а я останусь с малою дружиною». Сам Данило страдал тогда сильною главною болезнью, но все-таки неутомимо разъезжал с обнаженным мечом, собирал и ободрял воинов. Союзники, не взявши города Опавы, овладели только городком Насилье (Носельт), потом заставили чешского воеводу Герборта прислать меч Данилу в знак покорности. Война эта по всеобщему тогдашнему обычаю сопровождалась варварским разорением края, но Данило смягчал ее жестокость. Таким образом, взявши город Насилье, он только освободил своих пленников и не велел никому делать зла.

Роману Даниловичу и впоследствии не удалось овладеть Австриею. Бела изменил своим видам относительно Романа. Оставивши у себя при дворе сына Гертруды от первого брака, он задумал женить его на

своей дочери и предоставить ему спорные владения, а потому и покинул без помощи Романа, боровшегося в Австрии с Оттокарром. Осажденный в Нейбурге близ Вены, Роман вместе с женою терпел недостаток, напрасно ожидая выручки от Белы. Тогда Оттокар сделал ему такое предложение: «Оставь короля угорского: он тебе много обещает, но ничего не исполнит; ты мне свояк: разделим землю пополам: а что я говорю правду, в том ставлю тебе свидетелей: папу и двенадцать епископов». Но Роман следовал нравственным правилам отца своего, никогда не изменявшего своим союзникам, и сказал: «Я дал обещание королю угорскому, своему тестю: не могу тебя послушать. Стыдно и грешно не исполнять данного слова». Сама жена вооружала его против Белы: «Он взял моего сына к себе,— говорит она,— хочет забрать нашу землю, а мы за него здесь голод терпим». Роман был непреклонен. Преданная им женщина тайком пробиралась из Нейбурга в Вену и приносила им пищу. Наконец, какой-то Веренгер вывел их из осады и Роман отправился к отцу.

План Данила с этой стороны окончательно рушился.

Удачнее шли дела Данила на севере. Ятвяги, народ воинственный, дикий и жестокий, живший в лесах и болотах нынешней Гродненской губернии, делали опустошительные набеги на русские области и увозили множество пленников, которых держали в тяжелом рабстве. Данило проник в их трупы, разорил их селения и освободил всех русских пленников, наконец, умертвил в битве их князя Стеконта, подчинил их своей власти и наложил на них дань.

Удачно также шли дела его с Литвою. Этот народ, когда-то покорный русским князьям, был выведен из терпения немецкими рыцарями, хотевшими жестокими мерами распространить между ним крещение. Столкновение с этими новыми врагами пробудило спящие силы литвинов, и они не только упорно и мужественно отбивались от врагов, но сделались воинственным и завоевательным народом. Литва начала расширяться на счет Руси. Один из ее князей, Миндовг⁶, заложил свою столицу Новогородок на Русской земле и сделался сильнейшим князем по всей Литве. Двое племянников его, Тевтивилл и Эдивид, сделались князьями — один полоцким, другой смоленским, а дядя их, Викинт, — витебским. Миндовг хотел подчинить их своей власти; тогда они обратились за помощью к Данилу. Данило после смерти первой жены своей Анны женился на сестре Тевтивилла и Эдивиды и теперь горячо принял их сторону. Чтобы усмирить Миндовга, Данило заключил союз с Ригию, вооружил против Миндовга половину жмуди (ветвь литовцев) и ятвягов и стеснил Миндовга так, что последний с намерением разорвать союз Данила с немцами изъявил желание принять католическую веру. В 1252 году он крестился в присутствии папского легата и магистра Немецкого Ордена, и был коронован королем. Крещение его было притворное: он в душе оставался язычником. Вскоре Миндовг убедился, что союз его с немцами приведет его к порабощению и что гораздо лучше будет сойтись с русскими. Он поми-

рился с племянниками и предложил мир и родственный союз Данилу, отдавши свою дочь за сына Данилова, Шварна. Союз этот устроил сын Миндовга, знаменитый Воишелк: сперва кровожадный и жестокий, этот литовский князь потом принял христианство, постригся в монахи и сделался строгим отшельником. Преданный Данилу, он привел к нему сестру свою, будущую жену Шварна. Мир закреплен тем, что старшему сыну Данила, Роману, предоставили Новгородок, Слоним и Волковыйск с обязанностью, однако, признавать первенство Миндовга.

Но все эти успехи были недостаточны для целей Данила. Ему нужно было приобрести значение и силу в Европе, заручиться надеждою на помощь со стороны Запада в то время, когда он открыто решился действовать против татар. Для этой цели нужно было сойтись ему с такою центральною силою, которая двигала всем западным миром. Такою центральною силою казался ему папа. Постоянные и долгие сношения с западными католическими государями неизбежно должны были внушить ему высокое мнение о могуществе духовного римского престола, хотя в то время это могущество в сущности не могло произвести того, что производило столетием ранее. Сношения с папою начались еще с 1246 года. Данило изъявлял желание отдать себя под покровительство св. Петра, чтобы идти под благословением римского престола вместе с западным христианством на монголов. Последствием этого обращения был целый ряд папских посольств и булл. Желая прежде всего устроить присоединение русской церкви, папа Иннокентий IV послал к Данилу доминиканских монахов Алексея Гецелона и других для совещания о вере и для постоянного пребывания при русском князе, писал целый ряд булл, называл в них Данила королем, дозволял русским сохранять ненарушимо служение литургии на просфорах и соблюдать все обряды греческой церкви и предлагал, между прочим, короновать его королем. Но Данило имел в виду только одно: существенную помощь Запада для освобождения Руси от монголов, а потому не поддавался ни на какие уловки. «Что мне в королевском венце? — говорил он папскому послу. — Татары не перестают делать нам зло; зачем я буду принимать венец, когда мне не дают помощи!» В 1249 году, потерявши надежду на помощь папы, Данило изгнал епископа Альберта, которого папа назначил главою духовенства в Южной Руси. Папский легат с неудовольствием выехал из Галиции. Тем и кончились тогда сношения Данила с папою. В 1252 году король венгерский помирил Данила с Римом, и сношения с папою возобновились. В 1253 году папа издал буллу ко всем христианам Богемии, Моравии, Сербии и Померании, призывающую их ко крестовому походу против татар, а в следующем, 1254 году — буллу к архиепископу, епископам и другим духовным особам Эстонии и Пруссии, чтобы они проповедывали крестовый поход против татар. В глазах Данила вся Восточная Европа готова была подняться против завоевателей Руси. Тогда же папа отправил послов к Данилу с коро-

левской короной, но Данило не очень горячо хватался за эту папскую милость. Когда он, возвращаясь из чешского похода, свиделся с этими послами в Кракове, то сказал им: «Не годится мне видаться с вами в чужой земле. После!» В следующем году приехал в Русь папский легат Опизо с королевским венцом, скипетром и с щедрыми обещаниями помощи против татар. Данило и теперь еще колебался; но его убедили принять предложение папы, с одной стороны — его мать, а с другой — польские князья Болеслав и Земовит. Последние со своими вельможами обещали Данилу как только он примет венец тотчас идти против татар. Данило был торжественно коронован в Дрогичине и помазан папским легатом (1255). Его успокоили уверения легата, что «папа уважает греческую церковь, проклинает тех, кто осуждает ее обряды, и намерен скоро собрать собор для соединения церквей».

В том же году начались неприязненные действия с татарами. Неизвестно, дошел ли до монголов слух, что на Западе собираются идти на них, или же их раздражило то, что Данило укреплял свои города. Ханский темник Куремса подступил к Бакоте. Ее сдал татарам Милей, вероятно, русский, и назначен был в ней от татар баскаком. Данило, занятый в то время делами в Литве, послал в Бакоту сына своего Льва. Лев отвоевал Бакоту и привел пленного Милея к отцу. Изменник успел умилостивить князей. Лев сам поручился за него, и Данило, понадеявшись на его уверения в верности, отпустил Милея, а последний тотчас же отдал Бакоту опять татарам. Куремса подступил к Кременцу, но не взял его. Нашелся русский князь, увидавший возможность воспользоваться гневом татар против Данила для своих выгод; то был Изяслав, князь новгород-северский, племянник тех Игоревичей, которые некогда были повешены в Галиче; он предложил татарам овладеть Галичем и просил их помощи. Куремса сказал ему: «Как ты пойдешь на Галич? Лют князь Данило, убьет тебя!» Изяслав не послушался совета и пошел в Галич. Услышавши об этом, Данило послал туда с отрядом сына своего Романа, а сам у Грубешова со своими людьми охотился за вебрями, собственноручно убил троих зверей рогатиной и отдал мясо воинам: «Если встретятся вам хотя бы татары, — говорил он им, — не бойтесь!» Видно, что татары своим одним именем наводили ужас на русских. Роман напал на Изяслава так неожиданно, что тот, не будучи в силах ни защищаться, ни убежать, взобрался на церковь и там сидел три дня, а на четвертый, не стерпев жажды, сдался и был приведен к Данилу.

Куремса, человек слабый и недеятельный, не трогал долго Данила. Это ободрило русского князя. Он решился отобрать у татар русские города до самого Киева. Литовский князь Миндовг дал обещание действовать с ним заодно. Данило отправил войско под начальством сыновей своих, Шварна и Льва, и воеводы Дионисия Павловича. Дионисий взял Межибожье; Лев занял берега Буга и выгнал оттуда татар; отряды Данила и Василька завоевали Бологовский край, а Шварн овладел всеми городами на восток по реке Тетереву до Жидичева. Бело-

березцы, чернятинцы, бологовцы со своей стороны прислали послов своих к Данилу, но город Звягель *, обещавший принять к себе Данилова тиуна, изменил и не сдавался. Данило сам отправился вслед за своим сыном Шварном, взял Звягель приступом и расселил его жителей. В это время литовцы вместо того чтобы помогать Данилу и идти с ним по обещанию к Киеву начали грабить и разорять его владения около Луцка, совершенно неожиданно для Данила. Посланный против них дворский Олекса наказал их жестоко, загнав и потопивши в озере. Но измена литовцев остановила дальнейшие движения Данила.

Вражда татарам была объявлена. Силы Куремсы двинулись на Луцк, но этот город стоял на острове, и жители заранее истребили мост; татары через реку Стырь хотели пускать камни в город, но поднялась сильная буря и изломала их пороки. С тех пор Куремса не нападал на Данила. Но в 1260 году на место Куремсы был назначен другой темник, по имени Бурандай, человек суровый, воинственный.

Вот уже пять лет прошло с тех пор как Данилу обещали крестовый поход, но обещание не исполнялось; Данило между тем, понадеявшись на помощь с Запада, раздражил татар и был теперь предоставлен собственным силам. Бурандай явился с огромным войском на Волынь, не делал никаких укоров Данилу за его последние действия, а послал приказание идти с ним на Литву. Данило рад был и тому, что мог на время избавиться от таких гостей, и отправил на Литву к Бурандаю брата своего Василька. Недавняя измена литовцев, остановившая успехи Данила, оправдывает поступок его. Татары рассеялись по Литве, жгли и опустошали ее. Бурандай, как будто довольный послушанием Василька, ласково отпустил его во Владимир. Но в следующем 1261 году, возвратившись из Литвы, Бурандай послал к Романовичам такое грозное послание: «Встречайте меня, если вы в мире со мною, а кто меня не встретит — с тем я в войне». Василько в то время справлял свадьбу своей дочери с черниговским князем, и, оставивши свадебный пир, должен был ехать на поклон к грозному темнику. Данило не поехал к нему и послал на место сына Льва и холмского владыку Ивана.

Посланные явились к Бурандаю под Шумском и принесли ему дары. Бурандай встретил их грозно и начал кричать на Василька и Льва. Владыка совершенно оторопел от страха. Наконец, Бурандай сказал князьям: «Если хотите жить с нами в мире, размечите все ваши города».

Помощи надеяться было неоткуда; при малейшем упорстве Бурандай задержал бы князей и пустил бы татар истреблять в крае старых и малых. Приходилось уступить.

Лев разметал укрепления города Львова, им самим построенного, и города Стожка, недавно воздвигнутого Данилом, а Василько послал приказание уничтожить укрепления Кременца и Луцка. Сам Бурандай

* Ныне Новгород-Волынский.

отправился с Васильком во Владимир, желая быть свидетелем разрушения укреплений столицы Волынского края. Не дойдя до этого города, татарский темник остановился ночевать на Житане и сказал Васильку: «Иди и размечи свой город».

Василько, прибывши к Владимиру, увидел, что в скором времени нельзя разобрать всех стен до приезда Бурандая, и потому приказал зажечь их. Бурандай, приехавши вслед за ним, с радостью смотрел, как потухали сгоревшие стены, обедал затем у Василька, обошелся с ним милостиво и на ночь выехал из города, а утром послал к Васильку татарина Баймура, который сказал ему так: «Василько, приказал мне Бурандай раскопать твой город».

«Делай то, что тебе приказано!» — отвечал Василько.

Баймур раскопал владимирские окопы: это знаменовало победу татар над русскими.

Вслед за тем Бурандай призвал Василька и приказал, собрав бояр и слуг, идти на Холм.

Данила уже не было тогда в его столице. Владыка Иван приехал туда вперед и рассказал Данилу о том, что слышал от Бурандая в Шумске. Данило бежал в Венгрию. Спротивляться ему против татар было невозможно, а унижаться и раболепствовать было слишком невыносимо.

Город Холм был хорошо укреплен пороками и самострелами; бояре и горожане готовы были отражать приступ. Бурандай сказал Васильку: «Это город твоего брата, ступай к горожанам, уговори их сдаться». Вместе с ним отправил он троих татар и толмача с приказанием наблюдать, что будет говорить Василько с русскими.

Василько набрал в руки камешков и, придя под город с татарами, начал кричать так: «Эй ты, холоп Константин, и ты, другой холоп Лука Иванкович, это город брата моего и мой, сдавайтесь!», и с этими словами трижды бросил камни оземь.

Боярин Константин, стоя на стене с горожанами, понял, что означало это бросание камней: Василько, не смея сказать словами того, что хотел, давал им знак, чтобы они не делали того, что он им приказывал на словах.

«Ступай прочь! — закричал боярин Константин, — а то мы тебя хватим камнем в лицо; ты уже теперь не брат своему брату, а враг его».

Татары рассказали Бурандаю то, что слышали, и Бурандай был очень доволен Васильком. Брать укрепленные города осадой было не в духе татар, и потому-то татары так настаивали, чтобы в покоренной ими земле не было укрепленных мест. Татары отступили.

Бурандай приказал Васильку идти с собою на Польшу. Василько поневоле должен был опять повиноваться и быть свидетелем и участником разорения края. Татары взяли приступом Судомир (Сандомир) и перебили всех жителей, не щадя ни пола, ни возраста, когда последние выбежали в поле из разоренного города. Наделавши опустошений

в Польше, Бурандай удалился в свои становища в приднепровской Украине.

Итак, все задушевные предположения Данила разрушились. Запад обманул его. Он должен был понять, что с этой стороны нельзя ждать Руси спасения от татар. Его сношения с папою не привели ни к какому желанному результату ни для него, ни для папы. Данило хотел помощи против завоевателей и только ради этой помощи искал покровительства папы; папская политика имела в виду одно: обольстить русских и подчинить их церковь своей власти, в каком бы материальном положении они не оставались. Понятно, что Данило, видя себя обманутым со стороны Запада и видя бессилие папы для своих целей, не хотел более знать его. Папа Александр IV еще в 1257 году писал ему буллу с горькими укорами за то, что он не оказывает никакого повиновения папскому престолу, и грозил церковным проклятием. Данило уже не обращал внимания на эти угрозы. В этом деле Данило вел себя вполне честно и безукоризненно: он не хитрил, а говорил открыто, что ему нужна действительная помощь против врагов, и только под этим условием обещал признать духовную власть римского первосвященника, притом не иначе как тогда, когда будет созван собор, долженствующий установить соединение церквей. Ни того, ни другого не было сделано со стороны папы, который в сущности не в состоянии был исполнить того, что обещал. Понятно, что Данило мог считать свою совесть спокойною, отвернувшись от папы.

Обнаженная от своих укреплений, Русь стала более прежнего открытою для литовских набегов. Литовцы, отмщая русским за татарский поход, сделали вторжение в их землю, но были прогнаны и разбиты Васильком. Вслед за тем в 1262 году в Литве произошел переворот: Миндовг, обратившийся опять к язычеству, был убит. Сын его Воишелк, оставив на время монашеский чин, принял звание литовского князя, перебил врагов Миндовга и готовился снова идти в монастырь, предоставляя княжение сыну Данила, Шварну. Среди этих событий в 1264 году Данило, еще прежде впавший в болезнь, скончался в Холме и погребен там в построенной им церкви Богородицы.

В судьбе этого князя было что-то трагическое. Многого добился он, чего не достигал ни один южнорусский князь, и с такими усилиями, которых не вынес бы другой. Почти вся Южная Русь, весь край, населенный южнорусским племенем, был в его власти; но, не успевши освободиться от монгольского ига и дать своему государству самостоятельного значения, Данило тем самым не оставил и прочных залогов самостоятельности для будущих времен. По отношению к своим западным соседям, как и вообще во всей своей деятельности, Данило, всегда отважный, неустрашимый, но вместе с тем великодушный и добросердечный до наивности, был менее всего политик. Во всех его действиях мы не видим и следа хитрости, даже той хитрости, которая не допускает людей попадаться в обман. Этот князь представляет совершенною противоположность с осторожными и расчетливыми

князьями Восточной Руси, которые, при всем разнообразии личных характеров, усваивали от отцов и дедов путь хитрости и насилия и привыкли не разбирать средств для достижения цели.

Не прошло ста лет после Данила, и в то время как в Восточной Руси возникали прочные начала государственного единения, Южная Русь — явившись еще в XIII веке на короткое время в образе государства под властью князя, получившего титул монарха между европейскими государями — не только распалась, но сделалась добычею чужеземцев. К такой судьбе, бесспорно, приводило ее географическое положение — близкое соседство с Европою. Восточную часть Южной Руси завладели литовцы, западную — поляки, и по соединении последних между собою в одну державу Южная Русь на многие века была оторвана от русской семьи, подвергаясь насильственному давлению чуждых стихий и выбиваясь из-под их гнета тяжелыми, долгими и кровавыми усилиями народа. Но личность Данила Галицкого тем не менее остается благородною, наиболее возбуждающею к себе сочувствие личностью во всей древней русской истории.

ИВАН СВИРГОВСКИЙ, УКРАИНСКИЙ КАЗАЦКИЙ ГЕТМАН XVI ВЕКА

В жизни народов являются побуждения, которые не привиты извне, не внушены массе ее двигателями, но образовались долговременным, постепенным ходом обстоятельств и бессознательно управляют народным чувством и волею. Так в XVI веке в русском народе, связанном в продолжение семи веков с восточным христианством духовными и племенными узами, возникло воинственное противодействие разливавшемуся потоку оттоманского могущества и стремление подать руку помощи христианским народам православного исповедания, поработанным мусульманами. Выражением этой национальной идеи было казачество на Днепре и на Дону. Несомненно, что другие причины, которых надобно искать в социальном и политическом положении тогдашнего славянского Севера, способствовали образованию казачества; но верно и то, что главной задачею деятельности этого русского рыцарства была борьба с Турциею и вообще с мусульманским миром и охранение восточного православия. В XVI веке и в первой четверти XVII история казачества состоит из непрерывных нападений на Турцию на суше и на море, которые сопровождались неоднократными вмешательствами в дела Молдавии и Валахии и имели всегдашнюю целью освобождение поработанных и пленных христиан. Борьба эта была тяжела и часто неудачна, но вообще шла прогрессивно, и кто знает, к каким следствиям могла бы она привести, если бы с одной стороны польская политика, управляемая иезуитами, а с другой

непобедимость Иоанна Грозного и слабость Московской державы после него не образовали такого стечения обстоятельств, что казаки должны были остановиться в своем стремлении на Восток и обратить свои силы к защите православия против римского католичества. Эта история борьбы русского казачества с Турцией столь же достойна внимания, сколько темна и сбивчива по недостатку источников. Только в последнее время благодаря просвещенным любителям старины мы начинаем знакомиться с источниками этой эпохи, до нашего времени скрытыми в неизвестных рукописях или старопечатных книгах, драгоценном достоянии немногих библиотек. К любопытным современным сочинениям об этом предмете принадлежат переведенные с латинского г. Сырокомлею¹ и изданные на польском языке сочинения Ласицкого, Горецкого и Фредро*, сообщающие известия о вмешательстве казаков в дела Молдавии и представляющие нам в подробностях поход Ивана Свирговского, о котором мы до издания этих сочинений имели очень слабые сведения.

Ласицкий, шляхтич XVI века, реформат верою, есть тот самый, который написал известное в ученом мире сочинение о литовских богах и брошюру о современной ему борьбе Иоанна Грозного с Стефаном Баторием. В 1855 году открыто и издано еще одно его сочинение — «О вторжении поляков в Волощину в 1572 году». Это сочинение не относится непосредственно к истории казачества, но важно для нее потому, что излагает дела Молдавии, предуготовившие и даже вызвавшие вмешательство казаков, описанное у Горецкого и Фредро. Из последних — Леонард Горецкий был шляхтич, также реформат верою. Он описал современное ему событие — войну молдавского господаря Ивона² с турками и подвиги союзников его, украинских казаков. Книга его была издана в 1578 году во Франкфурте. Пасторий³ в своей польской истории перепечатал целиком латинский оригинал этого сочинения. С этого издания перевел его г. Сырокомля. Подробности жизни Горецкого неизвестны. Книга его начинается краткою географиею Волощины, которую автор сообразно принятому в то время обычаю разделяет на закарпатскую (Валахию) и Мультаны (Молдавию), очень кратко рассказывает историю Молдавии со времени покорения турками Балканского полуострова и переходит к истории Ивона, которая составляет предмет его сочинения. В середине он допускает пространный эпизод о происхождении турков и о развитии их могущества. Рассказ его жив, полон драматических картин, характеры обрисовываются ярко; он, по обычаю историков своего времени, любит вставлять современные речи и разговоры. Фредро не был уже современником описываемых им событий; Андрей Максимилиан

* *Dziejopisowie krajowe*, 1855; Jana Łasickiego *Historia wtargnienia Polaków na Wołoszczyznę z Bogdanem wojewodą*, roku 1573; Leonarda Goreckiego *Opisanie wojny Iwona w roku 1574*; Jędrzeja Maxymiliana Fredro: *Dzieje narodu Polskiego pod Henrykiem Walereuszem*.

Фредро был одним из государственных людей в несчастное царствование Яна Казимира ⁴. Г. Сырокомля издал в свет его «Историю народа польского под правлением Генриха Валуа», которая, по мнению издателя, должна быть частью недоконченной, а может быть затерянной, истории пяти королей польских. В авторе повсюду виден дипломат и политик: он вставляет часто рассуждения и собственные взгляды, касающиеся вообще до политических связей и управления государств, судит поступки правителей и военачальников, отгадывает побуждения, выводит последствия и вообще в своей истории более мыслитель и моралист, чем простой повествователь: с этой точки зрения его история имеет большое достоинство как выражение современных ему взглядов. Фредро — католик и горячий патриот. Война молдавская внесена в его историю как современное событие царствования Генриха: отрываясь от прямого изложения истории польского народа, автор говорит, что приступил к описанию молдавских дел потому, что здесь просияло мужество поляков. В большей части описание его в отношении фактов сходно с описанием у Горецкого, хотя Фредро не упоминает о некоторых событиях, описываемых последним, и вообще картины его сжатее, но речи и разговоры пространнее, носят на себе более печать риторики и удаляются от простоты и правдоподобия рассказа Горецкого.

Со времени завоевания турками Византийской империи придунайские княжества оставались под управлением собственных владетелей, называемых господарями. Харач (дань), наложенный на них султанами, вначале простирался на каждое княжество до 2000 червонцев, но в половине XVI века он достигал уже 60 000 червонцев. Молдавия, находясь между Турцией и Польшею, во влиянии последней искала средства освободиться от власти и насилия первой; к этому побуждала ее духовная связь с Южною Русью, которая находилась тогда в политическом соединении с Польшею. В половине XVI в. в Молдавии произошли замешательства, во время которых Альберт Ласский, богатый и воинственный магнат, распорядился в Молдавии с толпою дворян и, поставляя по желанию господарей, предлагал Сигизмунду Августу дать ему войско и присоединить к Польше оба княжества. Во время этих смут и междоусобий в Молдавии на короткое время сделался господарем Дмитрий Вишневецкий ⁵, предводитель днепровских казаков, но, преданный изменою в руки туркам, погиб мучительною смертью. На господарский трон был посажен Александр ⁶, из туземных князей, с помощью поляков и южноруссов, и чрез то развилась и укрепилась в Молдавии партия польско-русская, составлявшая оппозицию против турецкой партии. По смерти Александра вступил на господарский престол сын его, Богдан ⁷, еще более сблизившийся с Польшею или, лучше сказать, с Русью. Проведши молодость в Южной Руси, он завел родственные и дружественные связи с южнорусскими владельцами: сестра его была за русином — Поневским; сам он посватался на дочери русского магната Ивана

Тарлы; сверх того он готовился купить на Руси имения, чтобы в случае изгнания из отечества мог найти приют и средства к возвращению. Ненавидя турецкое владычество, он хотел втянуть Польшу в войну с Турциею и сделать ее орудием освобождения своего отечества. Он с радостью готов был присоединить Молдавию к Речи Посполитой, где так много было его единоверцев, где Южная Русь еще цвела православием. Поэтому, располагая поляков и русинов в свою пользу, Богдан, в 1572 году разъезжавший по Руси под предлогом искательства невесты, заключил с Сигизмундом Августом оборонительный союз, по которому обязывался в случае нужды выставить двадцать тысяч конницы для польского войска. Такие поступки сделались известны турецкому правительству. Диван увидел необходимость назначить другого господаря. Это было тем удобнее, что в самой Молдавии составила против Богдана сильная партия: многие волохи боялись поляков. Этот народ — замечает Горецкий — непостоянен и вероломен; по ничтожным побуждениям они составляют заговоры, свергают своих господарей и, не обращая большого внимания на знатность рода, готовы посадить на престол человека низкого происхождения, если только он богат.

Скоро нашелся охотник заступить место Богдана. Он назывался Ивон, у малороссийских летописцев Ивония. По-русски — говорит Фредро — его называли Иван. Ласицкий говорит, что он был побочный сын прежнего воеводы молдавского Стефана и в 1561 г. служил в Польше у коронного маршала Фирлея⁸. По известию Горецкого, он только сам себя выдавал за потомка древних правителей Молдавии, а другие почитали его родом из Мазовии; Фредро говорит, что его признавали по происхождению русином. Достоверно только то, что происхождение его неизвестно. Еще при жизни турецкого султана Солимана он пытался сделаться господарем, но неудачно; удалился в Русь, где пребывал несколько лет с другом своим Иеремиею Чарновичем, впоследствии погубившим его, потом ушел в Турцию и там, по единогласному уверению польских историков, принял магометанство. Фредро прибавляет, что он занялся торговлею в обширном размере и нажил себе большое состояние. Когда в Молдавии возникло недовольствие против Богдана, Ивон воспользовался им, явился в Константинополе, окружил себя блеском и великолепием, заметным не только для пашей, но для самого султана, и подкупил членов Дивана в свою пользу: у турков, по замечанию Фредро, все достоинства продавались. Подкупленные члены Дивана представили султану, что Богдан, находя опору в Польше, замышляет свергнуть с себя турецкое иго. Надежда видеть в Молдавии господарем ренегата льстила религиозному магометанскому самолюбию. По свидетельству Ласицкого, недовольная Богданом партия обратилась тогда к Ивону, упрашивая его с помощью турков явиться в Молдавии и, низвергнув Богдана, овладеть его престолом. Таким образом, Ивон вторгнулся в Молдавию с 20 000 турков, греков, сербов. Богдан убежал в Русь, и вскоре

русские паны явились со своими отрядами на выручку его трона. Предприятие не удалось. Русины отступали пред огромною турецкою силою; Ивон остался господарем и, по известию Ласицкого, сдирал с живых кожи, сажал на кол, лишал зрения людей противной партии и чрез это приобрел к себе уважение от народа. Автор приписывает это особенной дикости волохов, которые тем безропотнее повинуются, чем строже кара ожидает их за неповиновение; но, вероятно, казни, которые производил Ивон, постигали лиц, не заслуживших народного сочувствия.

Недолго наслаждался Ивон господарством — у него отняли таким же образом, каким он похитил его у Богдана. Ивон только для вида принял было магометанство. Сделавшись господарем, он снова стал христианином и выказывался пред народом ревностным защитником православной веры. Это не могло не вооружить против него Диван, и таким настроением воспользовался господарь Валахии: он в Константинополе начал искать молдавского престола для своего брата, которого не столько любил, сколько хотел сбить с рук. Соперник обвинял Ивона пред турецким правительством в отступничестве от магометанства и в сношении с поляками; в самом деле Ивон по вступлении на престол посылал в Польшу посольство с целью утвердить дружественные сношения между двумя народами. Наконец, валахский господарь предложил, что если брата его, Петра, возведут на господарство, то последний обязывается платить Турции двойной харач, 120 000 червонцев вместо 60 000. Последнее предложение было сильнее всех представлений и убеждений; к этому содействовали много в пользу господаря Валахии подарки, которыми он осыпал членов дивана.

В Яссах явился посол от султана Селима и потребовал от Ивона двойного харача, прибавляя, что если Ивон на это не согласится, то найдется другой, который даст требуемую сумму, и что во всяком случае Ивон должен следовать в Константинополь для подачи отчета в управлении Молдавию.

Ивон созвал сенат и представил боярам, что опасность угрожает не одному ему, но всему народу. «Если бы я сам, — говорил он, — пожертвовал собою, это бы не спасло моих подданных. У султана есть в запасе другой господарь, который готов платить 120 000 червонцев в год, а плата такой суммы должна разорить Молдавию; притом же если теперь без всякого повода с нашей стороны потребовали двойной харач, то после могут потребовать и тройной, и четверной». Слова Ивона казались очевидною истиною. Сенаторы — говорит Горецкий — как будто пробудились от тяжелого сна. «Лучше смерть, чем поношение!» — восклицали они, и все поклялись защищать оружием свои права и свою собственность. Посол селимов отправлен был хотя с просьбою о сохранении спокойствия, но без подарков, как следовало по молдавскому обычаю. Зная, что жребий брошен, Ивон начал вооружаться и отправил в Польшу посольство просить помощи.

Оно не имело успеха: король Генрих и чины Речи Посполитой не только отказали в помощи господарю, но объявили, что никому из польских подданных не позволено участвовать в войне с Турцией. При этом Фредро, как человек государственный, поместил рассуждение, очень любопытное, как выражение понятий о политике, с какими поляки хотели выказываться в его время. Сознавая выгоды, какие имела бы Польша от вмешательства в дело Ивона, Фредро оправдывает своих соотечественников в том, что они не подали ему помощи: причиною этому он полагает то, будто поляки сообразно с старинным правилом предков не привыкли насильственно расширять свои владения и хотели жить в мире с соседями. В другом месте автор противоречит себе: он укоряет поляков за то, что упустили из виду возможность присоединить к своему королевству Чехию и Венгрию, попавших под власть немецкого императора, к прискорбию Фредро, везде показывающего нерасположение к немцам.

Ивон обратился тогда к украинским казакам. Он пригласил — говорит Горецкий — легкую и малую горсть тех поляков, которые по берегам Днепра и Черного моря приобретали добычу и назывались в Польше казаками. Фредро не употребил вовсе имени казаков, он называет их легкой польскою конницею, охотниками, жившими над Днепром и по берегам Черного моря для добычи, которую отнимали у турков и татар. Главным предводителем этой толпы Горецкий и Фредро называют Сверчовского. В другом месте Фредро говорит, что они были римско-католического вероисповедания. Таким образом, можно бы подумать, что здесь дело идет не о наших украинских казаках, а о каких-то охотниках из природных поляков, если б малороссийские летописи * не указывали прямо, что на помощь Ивону приходили не поляки, а русские под предводительством своего гетмана Свирговского, или Сверговского, однозвучного с именем Сверчовского, упоминаемого у польских писателей. До сих пор имя Свирговского и его поход в Молдавию прославляются в народной южнорусской поэзии, а этого бы не могло быть, если б Свирговский и его сподвижники были поляки и притом римско-католического исповедания. Одна неизданная малороссийская летопись, упоминая очень кратко о походе казаков в Молдавию на помощь Ивону, называет предводителя их Дружко-Сверховский.

К этому-то Свирговскому (или Сверчовскому) Ивон послал посольство, когда казаки возвращались из похода против турков. Воевать с неверными, по понятию казака, была его обязанность, и потому нетрудно было уговорить Свирговского с товарищами. Одна народная песня выражает просьбу молдаван таким образом:

* Лет. Самов. Москва, 1846 г., с. 2. Повесть о том, что случилось на Украине. Москва, 1847 г. 3. О малор. народе, Миллера, Москва, 1846 г. с. 4. Ист. о презельной брани (рукоп.). Лет. пов. о Мал. Рос. Ригельмана, Москва, 1847 г., 1, с. 22. Ист. Русс. Конисс., Москва, 1846 г., с. 22.

Ой, мы волохи, мы христиане,
Та не милуют нас бусурмане,
Вы, казаченьки, за виру дбайте,
Волохам-христианам на помичь прибувайте!

Конисский * говорит ⁹, что Свирговский согласился помогать Ивону с разрешения польского правительства, но Горецкий и Фредро говорят, что казаки пошли в поход несмотря на запрещение правительства. В народной песне о Свирговском упоминается о каких-то *лядских комиссарах* **, приходивших к гетману пред походом. Это не может доказывать справедливости Конисского: могли приходиться с дозволением и запрещением, и, кажется, последнее справедливее, потому что польское правительство старалось всегда соблюдать мир с Турцией по возможности, и непрерывные походы казаков против мусульман навлекали постоянное негодование этого правительства.

Горецкий насчитывает 1200 человек под начальством Свирговского при отправлении его в Молдавию, Фредро — 1300. В летописях Грабянки ¹⁰ и Ригельмана ¹¹ (переписывавшего Грабянку и других летописцев) Свирговский отправился в Молдавию с 1400 человек. Конисский не говорит, сколько было у Свирговского войска, а выражается только, что он пошел в Молдавию с войском малороссийским: во всяком случае Конисский полагает у Свирговского число войска несравненно значительнее того, какое ему дают другие летописцы, ибо до вступления в Молдавию он разделил его на два отряда, из которых половину послал под начальством Ганжи к Бухаресту, а другую половину сам повел к Галацу и в то же время отправил кошевого Покотилу на лодках к устью Дуная, чтобы не пропускать турецких десантов. Но все более старые и достоверные источники полагают у Свирговского небольшой отряд, и поэтому сказание Конисского не может быть принято. Но в таком случае если у Свирговского было не более 1300—1400 человек, то что такое сам Свирговский? Из польских историков не видно, чтобы Свирговский был гетман в том значении этого слова, какое мы привыкли придавать ему и какое дают ему летописцы. При Сигизмунде Августе и Генрихе Валуа число казаков было так велико, что странно покажется, каким образом гетман отправляется в чужую землю с таким малым количеством подчиненных? Однако все историки малороссийские — Самовидец ¹², Грабянка, Ригельман, Миллер ¹³ и другие, неизвестные по имени, утвердительно говорят, что Свирговский был гетман, и между тем дают ему отряд войска менее полуторы тысячи человек. Народная песня также называет его гетманом. Недоумение легко разрешается: польские историки не могли назвать его гетманом, потому что признавали гетманами только тех, которые были утверждены в этом звании правительством, а такие гетманы возникли в Украине

* Ист. Рус., с. 23.

** Укр. песн. Моск., с. 73.

уже позже; что же касается до небольшого числа, ходившего со Свирговским, то в тот воинственный век казацкие предводители часто предпринимали дальние походы с малым войском без больших приготовлений. Свирговский не мог брать с собою большого числа воинов, ибо пределы Украины требовали защиты от непрерывных нападений крымцев. Кажется, народная песня, в которой оплакивается смерть Свирговского, намекает на то, что масса казаков оставалась в Украине во время его похода и даже мало знала, куда ушел ее главный предводитель; в этой песне Украина, тоскующая по своему гетману, или казаки спрашивают у буйных ветров, кречетов и жаворонков: что стало с гетманом и где он простился с жизнью? *

Приглашенные молдавскими послами казаки направились к границам Молдавии. Передовые гонцы от господаря поздравляли их с прибытием в страну и привезли им съестных припасов. Сам Ивон с боярами и войском стоял в поле, готовясь сделать им торжественный и достойный воинов прием. Когда ему дали знать, что казаки приближаются, он с отборною конницею в кругу избранных сенаторов выехал навстречу. Он приветствовал Свирговского речью и не кончил ее, заплакавши,— как говорит Горецкий,— и взяв за руку вождя, пригласил в обоз на походную пирушку; казаки последовали за ними, а когда въезжали в молдавский обоз, их приветствовали выстрелы пушечные. Мгновенно явилось столько пеших молдаван, сколько было конных казаков (а весь отряд казаков состоял из конницы), взяли лошадей и угощали овсом, в то же время самих всадников позвали на роскошный обед. Свирговский и сотники обедали в просторном шатре Ивона, простые казаки в других шатрах. После пира по приказанию господаря казацким старшинам поднесли серебряные мисы, наполненные золотою монетою. После долгого пути — было им сказано — вам надобно денег на баню и на подкрепление изнуренных своих сил. «Не словами, а делами желаем доказать вам,— отвечали казаки,— что не боимся смерти: ценим выше всего рыцарскую славу, и прибыли в ваш обоз не с надеждою получить жалованье, а единственно для того, чтобы доказать вам доблесть нашу, когда явится драгоценный случай сражаться за христианство против неверных». Только после усиленных просьб Ивона и молдавских сенаторов казаки согласились принять денежный подарок. По окончании пира они отправились в приготовленные для них шатры, и тогда новые посланцы Ивона принесли им шестьсот талеров и превосходного вина в шести стогах, в которых обыкновенно волохи хранили воду во время переходов через степи. «Это господарь присылает вам выпить за его здоровье», сказали им.

На другой день утром господарь сам посетил Свирговского и сотников и пригласил их на совет. Когда казаки пришли в его шатер, он проговорил им речь, которую Горецкий передает в таком виде.

* Укр. с., Москва, с. 71.

«Если б я, храбрые, мужественные рыцари, не был убежден в вашей верности, доблести и непоколебимости, никогда бы я не призывал вас из вашей далекой отчизны для трудного и опасного дела. Но, побуждаемый несомнительными свидетельствами, я пригласил вас помочь мне вашими трудами и рыцарскою опытностью в войне с Селимом, жестоким врагом моим. Назначая вам плату, я страшился, чтоб она не была ниже заслуг ваших, но каков бы ни был исход нашей войны со злобным неприятелем, я доставлю вам, рыцари, в изобилии припасов, конского корму, денег. Помня старинные доблести ваши, вы, конечно, поддержите в этой войне славу, которая гремит о вас в свете. Искренне благодарю вас, что, будучи сами христианами, прибыли ко мне, христианину; обещаю всегда быть благодарным за ваше ко мне участие. Хотя число ваше незначительно в сравнении с моею опасностью, но один вид ваш так ободряет меня, как будто бы мне прислали откуда-нибудь двадцать тысяч. Не скажу, чтобы силы турков были непобедимы, но должен сознаться, что счастье удивительно служит им. Некогда они были ничтожны, но возросли не столько чрез мужество, сколько чрез злодеяния и коварства. Верно, бессмертный Бог позволяет злодеям так долго и безнаказанно свирепствовать, приготовляя им тем жесточайшую кару, чем более накопится их грехов. Итак, если турки были до сих пор счастливы, то это происходило по предведению и по воле Бога, дабы тем тяжелее было их падение, чем выше они вознеслись. Не могу более говорить от слез: сами можете отгадать и уразуметь, как расположено мое сердце к вам, а что даст нам судьба — разделю с вами пополам!»

Речь эта — говорит Горецкий — произнесена была по-польски. Всего вернее, речь эта сложена была автором по старому обычаю подражать древним писателям; впрочем, Ивон мог и должен был говорить в таком тоне. В ответ на нее Свирговский, по известию того же историка, говорил господарю так: «Не плата твоя, Ивон, привела нас сюда, — плату мы считаем последним делом; а привел нас к тебе воинственный жар: желаем сражаться с коварным и свирепым врагом христианства. Не станем толковать о плате, а какова будет наша судьба, конец войны покажет. Довольно с нас будет той награды, что мы, если удастся, изгоним своими руками из твоих пределов врага и принудим его к условиям выгодного примирения. Ты же, который пойдешь вместе с нами, видя нашу судьбу, будешь ожидать и себе того, что нас постигнет. Нам не страшны силы турков; предавая будущее в руки Провидения, мы смело идем на врага, чтобы освободить от него твои владения».

Речь Свирговского ободрила Ивона. Веселая пирушка снова скрепила дружбу молдаван с русинами. Это было 20 марта 1574 года.

И в Константинополе готовились. Султан отправил 30 000 турков и 2000 венгров к валахскому господарю, приказывал присоединить к ним его собственные силы и, ворвавшись в Молдавию, посадить на господарстве брата, а Ивона схватить и отправить в Константинополь.

Валахский господарь немедленно собрал свое войско и стремительно перешел через реку, которую Горецкий называет Молдавою, но которая, кажется, была Серет *. Он быстро шел на врага, думая выиграть скоростью. Но эта-то именно скорость — говорит Фредро — повредила ему. Он думал застать неприятеля врасплох, а между тем от дневных и ночных походов воины его утомились, лошади были изнурены; надобно было отдохнуть. Господарь думал, что Ивону вовсе неизвестно, как близки враги его; он надеялся, что во всяком случае победа неизменна, и позволил войску отдыхать на приволье. Но Свирговский, который был главным распорядителем в войске Ивона, давно уже по горам, у вод, везде, где благоприятствовала местность, расставил стражей и узнавал о движении неприятелей, а когда донесли ему, что враги отдыхают на чужой земле, он выступил с двумя отрядами казаков, т. е. четырьмястами, взял шесть тысяч молдаван и в том числе знавших по-турецки, приказывал подчиненным хранить молчание и стремительно бросился на передовой турецкий отряд. Горецкий говорит, что в нем было сорок, Фредро — что в нем было триста человек. Как бы то ни было, казаки принудили его сдаться, и Свирговский выведал о числительности и положении неприятелей. По известию Горецкого, пленные показали в войске валахского господаря 70 000 волохов, 30 000 турков и 3000 венгров. Фредро же говорит, что пленные эти показали все свое войско в числе 60 000 человек. Если пленные говорили тогда правду, то, без сомнения, сказание Фредро в этом случае заслуживает больше вероятия, потому что победа, какую впоследствии одержали казаки и молдаване, должна предполагать меньшее количество неприятельского войска. Свирговский по-прежнему приказал своему отряду хранить молчание и дал знать Ивону, требуя, чтобы он как можно скорее явился со своим остальным войском. Пока Ивон прибыл, Свирговский разослал своих расторопных казаков пешими в кусты, в высокую траву, на холмы; они шли нагнувшись или ползли на брюхе; сам Свирговский действовал с ними и положение неприятеля было им осмотрено, а неприятель вовсе не подозревал близости врагов. По прибытии Ивона Свирговский, не доверяя храбрости молдаван в такой мере, как своим, предложил господарю поставить тяжелую конницу с пешими стрелками в закрытом месте, дабы в случае неудачи молдаване, отступая, могли найти опору. Как опытный и хладнокровный полководец, Свирговский научал их как поступать в случае отступления. «Надобно думать,— говорил он,— не

* У Горецкого эта река представляется как бы служащею границею между двумя владениями, и притом место, где случилось сражение, было не очень далеко от Дуная, как показывает дальше описание о том же; разбитыеплыли чрез озеро, впадающее в Дунай. Очевидно, у Горецкого Серет называется Молдавою, так что Горецкий принимал, что Серет впадает в Молдаву, а не Молдава в Серет. После победы над неприятелями победители тотчас вступили во владения валахского господаря, а Валахия граничит с Молдавиею при Серете, а не при Молдаве.

только о том, чтобы победить, но и о том, чтобы не быть разбитым. Я со своими казаками первый брошусь на врага, и тогда вы, волохи, идите за мною. Счастье служит отважным, изменяет трусам; и вам, казаки, напоминаю о врожденном мужестве и призываю его». Ивон должен был ударить на неприятеля с трех сторон; на четвертую сторону должен был повернуть Свирговский с казаками.

Была ночь. Казаки подкрадывались тихо. Неприятели спали. По данному приказанию казаки с резким криком бросились на них. Разбуженные враги были поражены страхом неожиданности, они никак не предполагали близости тех, против кого воевали... они не могли ни схватить оружия, ни седлать лошадей,— казаки били их наповал. Вслед за тем Ивон с валахами бросился на обоз с других сторон; тут неприятели уже окончательно растерялись; все приказывали, никто не знал, кого слушать, куда бросаться, и начали разбегаться врассыпную, покидая оружие; казаки и молдаване повсюду заступали им дорогу и умерщвляли их. Только господарь Валахии да с ним брат его, которого вели на престол, пользуясь всеобщим смятением, успели сесть на лошадей, бросились в озеро, сообщаемое с Дунаем, и таким образом достигли другого берега Дуная и спаслись от гибели. Все войско было истреблено. Земля была усеяна грудями трупов, оружием; ручьи крови шумели. Но радость о победе — замечает Фредро — едва могла заглушать досаду Ивона, когда он не нашел между павшими господаря Валахии и его брата Петра. Четыре дня победители простояли на поле победы; Ивон напрасно искал трупов главных врагов своих.

Победители вступали в Валахию, во владения врага ивонова. Варварские обычаи войны в тот век извиняли самые неистовые злодеяния в неприятельском крае. Казаки и молдаване опустошали поля, сожигали беззащитные города и селения, умерщвляли старых и малых, насиловали женщин и потом их убивали. Отовсюду испуганные валахи разбегались; замки и крепости оставались без обороны, и победители занимали их, не теряя ни одного человека. Ивон хвалил свирепую ревность своих воинов и казаков и сам поджигал их на неистовства — сам приказывал для забавы умерщвлять беззащитных подданных своего соперника.

Таким образом свирепствуя в Валахии, то расходясь в стороны партиями, то сходясь в одно войско, молдаване и казаки дошли до Браилова. Ивону донесли поселяне, что там скрылся господарь со своим братом. Посреди города Браилова на берегу Дуная находилась сильная крепость, окруженная окопами, рвом и передовыми укреплениями. Ее высокие башни виднелись издали. Самый город был обнесен крепкою стеною. Подступивши к Браилову, союзники поставили обоз свой между гор в таком месте, где его не могли обстреливать с укреплений. Ивон послал коменданту письмо такого содержания: «Отдайте мне беглецов из Молдавии, заклятых врагов моих, господаря Валахии и брата его Петра, которые без всякой причины напали на меня войною, и когда счастье им не послужило, убежали и спрятались здесь.

Я желаю единственно отклонить опасность от головы своей, ибо природа и всем животным даровала заботливость о жизни. Если же не получу требуемого, то не отступлю от стен и силою буду брать их».

Комендант прислал к нему четырех турок с ответом и вместе с тем с подарками: подарки были — десять пушечных ядер и две стрелы. Ответ его, по известию Горецкого, был в следующих словах:

«Зная, что ты слуга султана Селима, не могу удовлетворить твоему желанию, ибо до моего слуха дошло, что ты поразил большое войско султана, которое вело на господарский престол Петра. Приказываю тебе немедленно отступить, а иначе угощу тебя и твоих вот этими лакомствами!»

Раздраженный Ивон приказал четверем посланцам обрезать носы и уши и повесить их вниз головами в виду крепости, чтобы показать, какая судьба по взятии Браилова ожидает всех, кто в нем находится.

Вслед за тем, прежде чем осажденные могли приготовиться к отражению, казаки и молдаване бросились с лестницами к стенам и с криком взобрались на них. Вмиг стены были проломлены — все войско посыпало в Браилов. Никому не было пощады, — говорит современник, — кровь зарезанных лилась ручьями в Дунай; убивали младенцев, отнимая их от матерних грудей. Четыре дня длились убийства; победители искали жертв во всех уютных местах, и не только живой души человеческой — собаки не осталось в городе. Наконец, самые здания города были сожжены до основания.

Ивон и Свиrgовский осадили замок. В то время пришло известие, что 15 000 турков идет на выручку Браилова. Казачий вождь представил Ивону необходимость продолжать осаду браиловской крепости, дабы не дать осажденным опомниться и ободриться, а сам вызывался идти против турков. Ивон присоединил к его казакам около восьми или девяти тысяч молдаван. Свиrgовский опять одержал победу, и обязан был ею своей расторопности, быстроте и умению к стати организовать войско. Только тысяча турков спаслась бегством. Остальные легли на поле.

Беглецы спрятались в Тейне. Свиrgовский погнался за ними, но услышал, что около Тейны собираются свежие силы турков и крымских татар. Казачий предводитель не решался броситься в опасность, когда видел возможность скорее быть побежденным, чем победить, и потому послал к Ивону, советуя ему на этот раз оставить Браилов и спешить к Тейне. Ивон, покорный во всем советам своего союзника, немедленно прибыл. Турецко-татарские силы были разбиты, Тейна взята и сожжена, жители обоого пола истреблены. У Горецкого этот факт представляется неясным: неизвестно, сражение с турками и татарами было прежде ли взятия Тейны, или же после.

Восемь дней после того казаки и молдаване стояли под разрушенными стенами Тейны, между тем шестьсот казаков отправились к Белграду *, которого половину ограбили и сожгли. Но вот распростра-

* Аккерману ¹⁴.

няется слух, что от Белграда двигается новое турецко-татарское войско и, не зная о близости неприятелей, идет в беспорядке. Оно, вероятно, или еще не слышало о поражении господаря Валахии, или же предполагало, что неприятели заняты осадой Браилова. Тогда казацкие старшины просили Ивона отправить их на турков. Ивон, называя их своими покровителями, сначала отговаривал их от смелого предприятия, но потом согласился и дал им 3000 молдаван.

Отправившись в поход быстрым шагом, Свирговский скоро дошел до места, откуда было недалеко до неприятельского стана. Здесь он организовал строй войска: он не перемешивал молдаван с казаками, но, как и прежде, поставил первых позади, а последних впереди, разделив на три отряда: на правой стороне было четыреста лучников с луками, посреди — четыреста человек стрелков с круглыми щитами, а на левой четыреста копейщиков. Ряды волохов замыкали строй сзади. В таком порядке войско стало против неприятелей. Турки, замечая, что число врагов невелико, бросились на них с отвагою и уверенностью. Свирговский приказал стрелкам дать по ним залп, потом правое крыло пустило на левое крыло турецкого войска град стрел, в ту же минуту копейщики спешились и пошли колоть турков копьями. Турки были сбиты в толпу и тем давали возможность казакам разом поражать их. Наконец, волохи по данному знаку налетали на конницу с криком. Конница обратилась назад и смяла пехоту: все побежало. Со стороны союзников убито — по уверению Горецкого — только три казака и 100 молдаван; Фредро увеличивает число последних до 120. Ивон стоял издали и любовался поражением неприятеля. По окончании побоища ему привели — по сказанию Горецкого — двести, а по сказанию Фредро — двести пятьдесят человек. Господарь приказал их провести через два ряда пехоты и изрубить. Сам предводитель турецкого войска был схвачен казаками: он был богат и предложил им большой окуп за себя. Фредро говорит, что он предлагал им золотом весом вдвое против того, сколько весил сам, и втрое столько же серебра и сверх того *вагу* жемчугу. Его благородный вид и гордая осанка — говорит Горецкий — могли бы возбудить сострадание, но толпа более ценила слово, данное Ивону; притом же казаки были обогащены добычею, а потому решились отдать его Ивону. Фредро говорит, что, видя их неподатливость, он в отчаянии просил, по крайней мере, умертвить его, но не отдавать Ивону. Казаки и на то не согласились и привели его к господарю. Ивон несколько дней расспрашивал его о положении турецких дел, наконец приказал изрубить в куски.

После этой победы господарь с казаками двинулись к крепости Уссен, чтобы дать войску отдых. Между тем тайные друзья в Константинополе уведомили его, что новая огромнейшая сила собирается на него. Он рассчитал, что все зависит от переправы через Дунай: если он успеет в пору преградить неприятелю путь чрез эту реку, отделяющую Молдавию от Турецкой земли, то самые огромные силы не могут повредить ему. Поэтому он обратил внимание на этот пункт и по-

ручил стражу на Дунае старому другу своей юности, баркалабу (коменданту) хотинскому Иеремию Чарнавичу: по известию Горецкого, он дал ему для того 30 000, а по известию Фредро — только 12 000 войска, но самого отборного. Чарнавич должен был на левом берегу Дуная расставить караулы, которые обязаны были замечать явление турков на противоположном берегу, следить за их оборотами и давать знать один чрез другого Чарнавичу: днем — посредством пушечных выстрелов, а ночью — посредством зажженных огней.

Отправляя Чарнавича, Ивон с умилением целовал его, а Чарнавич, стоя на коленях, присягнул в верности.

Отрядивши Чарнавича, Ивон распустил свое войско для отдыха, приказав быть готовым по первому звуку трубы, твердо уверенный, что Чарнавич не дозволит туркам переправиться чрез Дунай. В самом деле, говорит Фредро: скорее бы турецкий султан погиб, чем победил Ивона, если б не погубила последнего измена. Чарнавич прибыл к Дунаю и вскоре на противоположном берегу увидел огромные турецкие силы. Оба польские историка полагают число их до 200 000; Фредро говорит, что у них было до ста пушек. Горецкий поясняет, что пушки у них, как и у волохов, были каменные. Сначала турки попробовали было в нескольких местах начать переправу, но тотчас отступили, увидя на другом берегу войско, готовое препятствовать им. Паши разочли, что лучше достигнуть цели посредством золота. К Чарнавичу явились посланцы из турецкого войска, принесли ему в подарок 30 000 червонцев и просили прибыть на тайный разговор с господарем Валахии. Иеремия соблазнился подарками и продал свою присягу: он отправился за Дунай к господарю.

«Ты человек мудрый,— сказал ему господарь,— ты сам видишь и разумеешь, что Ивону невозможно удержаться на господарстве; он разгневал Селима, разбил его войско и заплатит за то во что бы то ни стало собственной головой, а господарство Молдавии достанется иному. Пока еще есть время приобрести себе расположение Селима услугами. Легко начать войну, а трудно вести ее, и та же сила недостаточна в конце войны, какая была достаточно в начале; начать можно как-нибудь, а окончить надобно непременно победой. Следует нам вступить в братство и дружбу: это лучше, чем воевать. Правда, Ивон рассыпает богатства, да не следует верного отметать для неверного. Ты уже получил 30 000 червонцев, скоро получишь более; наконец, если хочешь дружеского совета, то не должно тебе соединять своих добрых обстоятельств с дурными обстоятельствами Ивона. Позволь свободно перейти за Дунай туркам, которых Селим посылает в огромном числе в Молдавию, чтобы поймать Ивона. Если этот край будет завоеван, то ты тогда получишь величайшие почести; теперь нужно только, чтобы переход через Дунай был скрыт до времени от Ивона; когда перейдем Дунай, тогда уже легко будет поймать мятежника, истребить его полчища и в один час отмстить за прежние наши поражения».

Чарнавич, упоенный обещаниями, принял условия, воротившись на левый берег Дуная, снял караулы с берега и оставил туркам свободную переправу.

Об этом свидании Чарнавича рассказывает один Горецкий; Фредро не упоминает о нем, а говорит, что Чарнавича искусили на предательство турецкие послы, заплатили 30 000 червонцев и обещали дать вдвое после переправы.

Когда турецкие силы переправились через Дунай, Чарнавич отправился к Ивону с тем, чтобы заманить в погибель. Он известил его, что никак не мог преградить неприятелю путь через Дунай; но силы его еще пока могут быть сокрушены, если Ивон поспешит со всем войском. Горецкий говорит, что Чарнавич известил Ивона, будто турков всего до 12 000, а Фредро говорит, что он назначил их число в 30 000.

Немедленно войско было собрано; Ивон с молдаванами и казаками 9 июня 1574 года стоял за три мили от турецкого обоза и приказал окапываться шанцами. Господарь объявил, что все должны на завтрашний день ожидать битвы. Какое-то грустное предчувствие распространилось в обозе. Самые казаки, столь отважные, начали задумываться. Собравшись у Свирговского, сотники начали рассуждать о настоящем положении дел. «Волохи часто продавали свое отечество, — говорили казаки. — Волохи по природе изменчивы, Иеремия подозрителен. Малый окоп может быть достаточен для того, чтобы удерживать неприятелей; не удивительно ли, что высокие берега быстрой и широкой реки не были достаточною преградой для них?»

«Мы готовы сражаться, не заботясь о жизни, — говорили другие старшины, — но нельзя идти на явную гибель, когда видим дурные распоряжения; непонятно, почему Ивон доверил такое важное дело Иеремии Чарнавичу и не придал ему товарища, который бы мог быть и советником, и вместе с тем стражем и свидетелем верности».

Они отправились толпою в шатер господаря.

«Достопочтенный господарь! — сказал Свирговский. — До сих пор мы были тебе верны и вместе с тобою сражались против свирепого неприятеля; ты сам знаешь, где и чего мы заслужили. Теперь опять готовы сражаться за тебя до последней капли крови, и враг только по нашим трупам может взойти в Молдавию. Но мы видим необходимость исследовать и обсудить наше положение; бросившись в сечу, не зная ни числа, ни планов неприятеля, мы можем попасть в такую засаду, где нас истребят, как стадо скотов. Итак, объясни нам, как ты думаешь сражаться с врагом».

«О, мужественные рыцари, милейшие мне более собственной жизни, — сказал Ивон, — знаю я доблесть вашу, помню ваши поступки в продолжение всей войны. Никогда не свергну я вас на погибель неприятелю и не позволю торжествовать неприятельским замыслам. Недалеко отсюда стоит Чарнавич: он встретил врага и изведal все его намерения. Я никому не мог столь охотно доверить этого важного дела, как тому, который оказывал мне верность в самых труднейших

обстоятельствах жизни, был товарищем моего изгнания и скитальчества. Он сам донес мне, что турков не более 15 000, да если бы их было и 30 000, то мы можем ополчиться на них с Божиею помощью».

«Я советую тебе, господарь,— сказал Свирговский,— пока удерживать войско на одном месте, а мы, казаки, отправимся на неприятеля, поймаем кого-нибудь из их обоза и узнаем достоверно о числе и планах турков».

Ивон согласился и дал им шесть тысяч молдаванской конницы.

Они наткнулись на шесть тысяч отборной турецкой конницы, содержавшей передовой караул. Казаки и молдаване вступили с ними в битву и разогнали. К несчастью, в руки их попался только один пленник, и тот был смертельно изранен. Он уверял их, что турков ничтожное число, и тотчас испустил дыхание. Казаки поняли, что он солгал.

«Нет сомнения,— сказал Свирговский, вновь явившись в шатер Ивона,— что неприятели пришли несравненно в числе большем того, какое тебе сказал Чарнавич. Это видно ясно из того, что мы встретили такую огромную передовую стражу. Господарь! Советуем тебе подумать о себе и убедиться собственными очами в верности Чарнавича».

Ивон отвечал им:

«Нечего бояться; я знаю кому верить. Мы скоро узнаем о числе неприятелей. Я пришел сюда для того чтобы до последнего дыхания охранять отечество от врагов».

Ивон расположил свой обоз близ озера, вытекающего из Дуная. Всего войска у него, кроме рабочей прислуги, было 30 000. Он разделил его на тридцать рядов: перед каждым рядом поставлены были каменные пушки, которых числом всех было восемьдесят. Пехота была отделена от конницы. Лучшее его войско, в числе 13 000 конницы, находилось у Чарнавича; пехота, которая была в обозе, большую часть состояла из поселян, вооруженных косами и киями. Многие из них, привязанные к Ивону, который умел вообще заслужить расположение простонародья, просили его находиться при казаках как при лучшем войске.

В то время когда Ивон устраивал в боевой порядок войско, турки не показывали своих сил, скрытых за близлежащим возвышением. Ивон пред устройением войска всходил один раз на холм и не увидал ничего. Окончивши устройство, он снова взшел на тот же холм и увидел огромнейшие полчища.

Измена Чарнавича стала для него очевидна.

Ивон закричал, чтобы к нему привели Чарнавича. Но посланный воротился к господарю без Чарнавича и объявил ответ Чарнавича, что он не может явиться, потому что сейчас вступает в битву с турками за своего господаря.

В самом деле, пред глазами Ивона, следившего за движениями Чарнавича, последний повел свой отряд на турков.

Но едва только обе стороны обменялись ударами, как вдруг по приказанию Чарнавича весь отряд понижает знамена, бросает копья и

мечи, снимает шлемы и преклоняет головы. Вероятно, изменник привел своих воинов в такое положение, что они были окружены со всех сторон и как будто принуждены были сдаться. Таким образом Чарнавич мог обмануть своих подчиненных, которые тогда думали, что не измена, а необходимость заставила полководца приказать им положить оружие.

Войско Ивона при виде предательства пришло в смятение — отступило назад. В отчаянии молдаване кричали, что все пропало. Но Ивон не упал духом, ободрял унывающих и приказал ударить на турков. Турки поставили впереди своих рядов изменников-молдаван, передавшихся к ним. Увидя это, Ивон приказал направить преимущественно на них орудия. Они все погибли, но турки, защищаясь их грудьми, успели дойти до неприятельского войска.

Тогда Свирговский ударил на них сбоку. Турки начали бежать. Но опытный казацкий вождь тотчас заметил, что это делается с хитростью, — что турки хотят заманить врагов в засаду, под выстрелы своих пушек. Казаки не погнались за ними.

Снова турки бросились на молдаван, и началась кровопролитная сеча. Пали с лошадей турецкие и молдаванские мужи, — говорит современник, — пыль и дым закрывали клубами солнце; нельзя было слышать человеческого голоса; пушкари не видали, куда направлять выстрелы. Ивон, не теряя ни на минуту бодрости, громким голосом дает команду своим воинам. Турки подались назад, поражаемые выстрелами каменных молдаванских пушек. В эту минуту так походило на поражение турков, что даже жители лежавшего за Дунаем города Облачина, смотря с высоких стен на битву, собирались убежать, думая, что враги по следам разбитых турков появятся на правом берегу Дуная.

Но вдруг свод небесный затмился, загудела порывистая буря и вслед за нею пролился дождь.

Это был несправимый удар для молдаван. Дождь подмочил порох и пушки не могли более действовать.

Когда стало разъясняться, турки и татары, раздраженные бившею неудачею, ударили на молдаван с ужасным бешенством. Густою толпою понеслись они на пушки, которые уже не стреляли: враги врезались в ряды волохов — и волохи побежали. Мусульмане гнались за ними и резали растерянных, как стадо. Казаки храбро погибали в битве; от тысячи двухсот осталось их только двести пятьдесят.

К казакам ехал Ивон, неся в руках знамя, которое служило для войска знаком, куда всем собираться. Молдаванская пехота толпилась в беспорядке, убегая с поля. «Одно присутствие духа, — кричал на молдаван Ивон, — одно только может избавить нас от опасности».

Он обратился к казакам.

«Вижу, доблестные мужи, что измена Чарнавича привела нас к гибели; но где наши тела полягут под неприятельскими мечами, там и я положу свое тело, а душа полетит к небу».

«Смерть неизбежна, Ивон,— отвечал Свирговский,— смерть, достойная рыцарей; я не боюсь ее, лишь бы только головы наши были отомщены; но чтобы не радовались эти псы, враги христианства — отступим далее, пока есть возможность!»

Казачи сошли с коней и смешались с рядами пехоты; сам господарь оставил коня и шел вместе с простыми воинами. Казачи начали тянуть за собой пушки и успели стащить их до шестидесяти; Ивон при этом показал такую телесную силу, что один потянул пушку, которую едва двенадцать человек могли сдвинуть с места,— говорит Горецкий. Значительная часть пушек была набита большим количеством пороха и покинута — в надежде, что турки вздумают стрелять из них и они разорвутся со вредом для стреляющих.

К вечеру 9 июня за тысячу шагов от побоища Ивон остановился на развалинах недавно сожженной деревни. У него оставалось еще двадцать тысяч пехоты. Он приказал окапываться и сделал гибельную ошибку — в окопах не было воды. Вечером 10 июня турецкое войско появилось в таком огромном числе, что взор не мог проследить конца его рядов. Ночью кругом по горизонту поднялось пожарное зарево. Турки жгли соседние села; чтобы отнять у неприятелей продовольствие.

На заре 11 июня турки начали стрелять в молдаванский обоз, но ядра не достигали цели: обоз был очень высок. Напротив, молдаванская пехота, стоя на валах, стреляла в них метко из огнестрельного оружия и луков. Так прошло три дня.

13 июня явились посланцы от главного предводителя турецкого войска в обоз молдаванского господаря.

Они предложили ему сдаться на милосердие турков, положить оружие и не подвергать более напрасной опасности ни своих, ни турецких воинов.

Ивон отвечал:

«Несомненно вижу, до какого положения я приведен, однако есть у меня еще мужественная пехота — могу вам нанести поражение; но во всяком случае моя судьба решена, и потому не отказываюсь сдаться, но только тогда, когда предводители поручатся в моей целостности и сьдмикратно утвердят присягою те условия, какие предложу им я сам».

Он выслал послов за окопы, а сам собрал на совет волохов и казачков.

«Печален для нас настоящий день, мужественные рыцари,— сказал он,— нам остается или сдаться, или умереть в этих окопах. Каков будет ваш совет: сдаться ли нам или запереться в обозе и приготовиться к неизбежной смерти, или, наконец, вступить в славную битву и погибнуть, нанеся вред неприятелю. Смерть, во всяком случае, есть предел страданий; смерть освобождает тело от мучений, очи — от взирания на то, что возбуждает негодование; смерть переносит нас в вечность, где мы будем созерцать лицо Божие».

«Смерть для нас, Ивон,— отвечал Свирговский,— никогда не была и не будет страшною; но если ты решился ударить на неприятеля, мы с большей охотою падем со славою, чем, взятые в неволю, окончим жизнь среди мук и поруганий, тем более что нельзя доверять клятве, данной неверными христианами».

Так думали казаки, но волохи предпочитали условия принять, если только они будут сносны; в противном случае изъявляли готовность положить головы в битве.

Ивон несколько времени колебался, наконец, решился сдаться; к этому его побудило особенно то, что воины его должны были изнывать от жажды в окрестностях, где не было ни капли воды.

«Лучше мне,— сказал он,— отдаться в руки врага и перенести жребий, какой меня ожидает, нежели по моей вине будут умирать тысячи народа. Буду медлить ответом послам, пока они согласятся присягнуть на условия, которые я подам им, а когда присягнут, тогда положим оружие».

Он позвал турецких послов и сказал: «Я сдаюсь, если каждый из ваших вождей и начальников семь раз присягнет на следующие условия: во-первых, даровать свободный возврат казакам через Днестр; во-вторых, меня самого, целого и невредимого, доставить Селиму султану, моему государю. О волохах я не говорю: они подданные султана и должны быть ему верны. Если вы нарушите их свободу или будете их убивать, вред от этого будет султану или тому, кого он назначит правителем Молдавии».

Тогда отправились в турецкий обоз послы Ивона, и в присутствии их турецкие предводители седьмикратно присягнули хранить предложенные условия. После того турецкие вожди приблизились к молдаванскому обозу и пригласили Ивона в свой обоз как приятеля.

Ивон вышел к ним; его провожали казацкие вожди и волохи.

«Если всемогущему Богу угодно предать меня в руки ваши,— сказал Ивон турецким старшинам,— то я прошу вас во имя веры вашей и воинской чести, которою вы поклялись, даровать казакам с их лошадьми и движимостью свободный возврат; они достойны уважения и почтения всех народов. Если же вы против их ожесточены, то отместите им на мне: я готов все перенести за них».

Он оборотился и сказал:

«Тяжелая судьба разлучает меня с вами, а потому каждому из вас даю эту десницу и уверяю, что пока останется дух в этом смертном теле, до тех пор ваше имя буду сохранять в благодарной памяти».

Ивон прощался с волохами, раздавал им золото и драгоценности, потом опять обратился к казакам, раздал им все свое оружие и сказал:

«Если бы горсть ваша была вдвое более или, по крайней мере, была цела, не сомневаюсь, что при Божией помощи я бы избавился от этих неверных псов и выгнал бы их с земли, которую мне Бог назначил. Теперь, если Бог меня избавит от жестоких и свирепых

врагов и если паши, как поклялись, приведут меня к Селиму, я могу поклясться, что опять возвращусь в Молдавию. Прошу вас сохранить меня до того времени в памяти. Тогда я дам важнейшие места в моем владении людям вашего племени, и все, что после меня останется, будет ваше; верность, мужество и непоколебимость ваша мне известны. Возьмите теперь эти драгоценности в награду удивительной вашей преданности, которую вы мне оказали. Вечно сохраняю благодарность в сердце; клянусь творцом-Богом, которому вас поручаю».

Раздавши оружие казакам, он отправился в турецкий лагерь. Это происходило 14 июня 1574 года.

Его привели к главному предводителю Капуд-паше. Во время разговора с ним Ивон резкими выражениями вывел его из себя; паша ударил господаря мечом. Тогда янычары бросились на него и отрубили ему голову. Тело Ивона привязано было к двум верблюдам и разорвано пополам, а голову вложили на копье. Его кровью — говорят Горецкий и Фредро — турки намазывали острия своих мечей, думая чрез то получить силу и мужество Ивона. Горецкий прибавляет, что эту кровь они давали лизать своим лошадям, думая, что через то лошади приобретут бодрость и живость, а кости Ивона употреблены были на оправу оружия.

По смерти Ивона турки бросились на молдаван, вышедших из обоза, и истребляли их без разбора. Видя предательство, казаки, не надеясь на возможность возврата, хотели было броситься снова в окопы, но они были заняты врагами. Тогда, устроившись в ряд, они решились отразить нападение к удивлению турков. Несмотря на данную присягу турки бросились на них с оружием. Почти все казаки, сражаясь геройски против несравненно большего числа врагов, погибли; только немногие попались в плен. Горецкий называет последних по именам; это были: Свирговский, Козловский, Сидорский, Янчик, Копытский, Залеский, Решковский, Соколовский, Либишовский, Цишовский, Суцинский, Богшицкий. Турки пытались обратиться их в мусульманство, именем Селима обещая им богатства.

«Лучше мы будем влачить бедственную жизнь,— отвечали они,— чем пользоваться богатством на пагубу души».

Это благородство тронуло врагов. «В целом Польском королевстве,— сказали они,— нет подобных вам воинственных мужей».

«Напротив,— отвечали казаки,— мы самые последние; между своими нет нам места, и потому мы пришли сюда, чтобы или пасть со славою, или воротиться с военной добычею».

Горецкий говорит, что они были выкуплены от родственников за огромные деньги. Но конец Свирговского изображается не так русскими источниками. Все южнорусские летописи согласно утверждают, что Свирговский не возвратился в отечество. Миллер говорит, что турки запросили за него такую огромную сумму, что в Украине не нашлось людей, которые бы согласились истощать за него свое

достояние. Украинские летописи глухо повествуют, что после нескольких (именно четырнадцати, по Самовидцу) счастливых сражений он чрез измену потерпел поражение и погиб со всем войском. Конисский, *Повесть о том, что случилось на Украине*, и одна не-напечатанная летопись прямо говорят, что Свирговский погиб под Килией.

Народная песня описывает плачевный конец гетмана и тоску о нем в Украине таким образом:

Як того пана Ивана,
Що Свирговського гетьмана
Та як бусурмани пиймали,
То голову ему рубали,
Ой, голову ему рубали
Та на бунчук вишали
Та у сурьми вигравали,
З его глумовали.
А з низу хмара стягала,
Що воронив ключа набигала,
По України тумани слала,
А Украина сумовала,
Свого гетьмана оплакала.
Тоди буйнии витри завивали:
— Де ж ви нашого гетьмана сподивали? —
Тоди кречети налитали:
— Де ж ви нашого гетьмана жалковали? —
Тоди орли загомонили:
— Де ж ви нашого гетьмана схоронили? —
Тоди жайворонки повилися:
— Де ж ви з нашим гетьманом простилися? —
У глубокий могили
Билия города Килии
На турецкий линии.

КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ПЕТР МОГИЛА

Введение церковной унии было началом великого переворота в умственной и общественной жизни Южной и Западной Руси. Переворот этот имел важнейшее значение в нашей истории по силе того влияния, какое он последовательно оказал на умственное развитие всего русского мира.

Униатское нововведение пользовалось особенно любовью и покровительством короля Сигизмунда III; поддерживать его горячо принялись и иезуиты, захватившие в Польше воспитание и через то овладевшие всемогущею польскою аристократиею; а потому было вполне естественно, что униатская сторона тотчас же взяла верх над

православною. План римско-католической пропаганды состоял главным образом в том, чтобы отвратить от древней веры и обратить в католичество русский высший класс, так как в Польше единственно высший класс представлял собою силу. Орудием для этого должны были служить школы, или коллегии, которые одни за другими заводились иезуитами на Руси. В Вильне иезуиты завели академию при Стефане Батории. Затем явилась иезуитская коллегия в Полоцке. В конце XVI века заведены были коллегии в Ярославле (галицком) и во Львове. В первой четверти XVII века возникли последовательно иезуитские коллегии в Луцке, Баре, Перемышле, во многих местах Белой Руси, в 1620 году — в Киеве, в 1624 — в Остроге. Позже они возникли и на левом берегу Днепра. Иезуиты с необыкновенным искусством умели подчинять своему влиянию юношество. Родители охотно отдавали своих детей в их школы, так как никто не мог сравниться с ними в скором обучении латинскому языку, считавшемуся тогда признаком учености. Богатые паны жертвовали им фондуши на содержание их монастырей и школ; но за то иезуиты давали воспитание бедным безденежно и этим поддерживали в обществе высокое мнение о своем бескорыстии и христианской любви к ближнему. Они умели привязывать к себе детей, внушать им согласные со своими целями убеждения и чувствования и так глубоко укоренять их в своих питомцах, что к природе последних как будто прирастало навсегда то, что было приобретено в иезуитской школе. Главною, можно сказать, исключительною, целью иезуитского воспитания в русских краях в то время было как можно более обратить русских детей в католичество и вместе с тем внедрить в них ненависть и презрение к православию. Для этого они употребляли не столько научные доводы и убеждения, сколько разные легкие и действующие на юношеский возраст средства, как, например, показное богослужение, вымышленные чудеса, видения, знамения, откровения, устройство празднеств, игр и сценических представлений, имевших целью незаметно прилепить сердце и воображение детей к римскому католичеству. Иезуиты обращали в свою пользу свойственную молодежи склонность к шалостям и не только не обуздывали в детях дурные побуждения, но развивали их, чтобы обратить в пользу своих заветных целей. Так, иезуитские наставники подстрекали своих учеников делать разные оскорбления православным людям и особенно ругаться над православным богослужением: иезуитские ученики врывались в церкви, кричали, бесчинствовали, нападали на церковные шествия и позволяли себе разные непристойности, а наставники ободряли их за это. Но чтобы не возбудить против себя православных родителей и не загородить дороги к поступлению православных детей в свои училища, иезуиты часто уверяли, что они вовсе не думают обращать русских в латинство, говорили, что восточная и западная церковь одинаково святы и равны между собою, что они заботятся только о просвещении. Иезуиты, когда находили полезным, наружно удержи-

вали даже своих православных питомцев от принятия католичества на том основании, что обе веры равны; но эти питомцы были подготовлены воспитанием так искусно к предпочтению всего католического и к презрению ко всему православному, что сами, как бы вопреки советам своих наставников, принимали католичество; и тогда такое обращение приписывалось наитию свыше. Воспитанные в иезуитской школе и принявшие католичество, русские оставались на всю жизнь под влиянием своих духовных отцов, которыми были те же иезуиты или же действовавшие с ними заодно католические монахи других орденов; духовные отцы поддерживали в них фанатизм на всю жизнь. Следствием того было, что в первой половине XVII века распространение католичества и унии пошло чрезвычайно быстро. Люди шляхетских родов обыкновенно были обращаемы прямо в латинство, а уния предоставлялась собственно на долю мещан и простого народа. Новообращенные, как католики, так и униаты, отличались фанатизмом и нетерпимостью. В городах при покровительстве со стороны короля, воевод и старост все преимущества были исключительно на стороне католиков и униатов; православных не допускали до выбора в должности; делались всевозможные стеснения для православных мещан в их промыслах, торговых и ремесленных занятиях, а православное богослужение подвергалось со стороны фанатиков поруганиям и оскорблениям. Такое положение побуждало тех, которые были послабее в благочестии, мимо своей охоты обращаться в унию. До 1620 года не было у православных митрополита, не стало и епископов, некому было посвящать священников, и во многих приходях униаты заступили место выбывших православных, а в иных местах по смерти священников церкви упразднились и, к соблазну православных, обращались в шинки. В имениях панских, а также в староствах, где судьба подданных находилась в безотчетном распоряжении владетелей, по приказанию последних изгонялись православные священники, заменялись униатскими; подданные обращаемы были в унию, а упорные подвергались всякого рода насилиям и истязаниям. Во многих местах владельцы не управляли сами своими имениями, а часто отдавали их в аренду иудеям. Подданные поступали в распоряжение арендаторов, и вместе с ними к последним поступали и православные церкви. Иудеи извлекали для себя из этого новые источники доходов, брали пошлины за право богослужения, так называемые «дудки» * за крещение младенцев, за венчание, погребение и т. д. Король и католические паны признавали законною греческою верою только унию, а тех, которые не хотели принимать унии, считали и обзывали «схизматиками», т. е. отщепенцами, и не признавали за их верою никаких церковных прав. При отсутствии иерархии число православных священников более и более уменьшалось, и пра-

* Первоначальное престолярное название монеты тройного гроша, по-немецки düttchen.

вославные, не хотевшие принимать унию, вырастали без крещения, не исполняли никаких христианских обрядов.

Но пока еще иезуиты не успели обратить в католичество всего русского высшего класса, у православия оставались защитники между шляхетством. За православие стояли казаки. В 1620 году совершилось важное событие, несколько задержавшее быстрые успехи католичества. Через Киев проезжал в Москву иерусалимский патриарх Феофан. Здесь казацкий гетман Петр Конашевич-Сагайдачный¹ и русские шляхетские люди упросили его посвятить им православного митрополита. Феофан рукоположил митрополитом Иова Борецкого², игумена киевского Золотоверхо-Михайловского монастыря и, кроме того, посвятил еще епископов: в Полоцк, Владимир, Луцк, Перемышль, Холм и Пинск. Король Сигизмунд и все ревнители католичества были сильно раздражены этим поступком. Сначала король по жалобе униатских архиереев хотел объявить преступниками и самозванцами новопоставленных православных духовных сановников, но должен был уступить представлениям русских панов и против своего желания терпеть возобновление иерархического порядка православной церкви, так как в Польше по закону все-таки признавалась свобода совести, по крайней мере для людей высшего класса. Это не мешало происходить по-прежнему самым возмутительным притеснениям там, где сила была на стороне католиков и униатов. Тогда в особенности прославился нетерпимостью к православию униатский полоцкий епископ Иосафат Кунцевич; он приказывал отдавать православные церкви на поругание и мучить священников, не хотевших приступить к унии. Ожесточение народа против него дошло до такой степени, что в 1622 году толпа растерзала его в Витебске. Папа, узнавши о таком случае, убеждал короля Сигизмунда наказать епископов, не признающих унии, и самыми решительными мерами истреблять «гнусную, чудовищную, схизматическую ересь» (православие).

Но все старания римско-католической пропаганды, несмотря на блестящие успехи, не могли, однако, скоро достигнуть конечной цели; за православие, с одной стороны, ополчались казаки, с другой — поддержало его возрождавшееся русское просвещение.

Братства были главнейшим орудием такого возрождения. Братства возникали одно за другим, а где появлялось братство, там появлялось и училище. Братства отправляли лучших молодых людей в западные университеты для высшего образования. С размножением училищ и типографий увеличивалось число пишущих, читающих, думающих о вопросах, касающихся умственной жизни, и способных действовать в ее кругу. Виленское Троицкое братство прежде всех перестало существовать для Руси: оно приступило к унии. Но в Вильне православные тотчас после того образовали другое братство при церкви св. Духа, завели училище и печатание книг в защиту православия. В Киеве братство началось, как полагают, еще в конце XVI века, но его деятельное существование оказалось во втором десятилетии

XVII века; в то же время основалось братство в Луцке. Замечательно, что все русские православные братства со своими учреждениями были явлениями более или менее кратковременными, не достигавшими своей главной цели. Братства эти могли держаться только до тех пор пока католическая пропаганда не успела обратить в латинство все русское шляхетское сословие и вместе с тем оторвать от русской народности. Это совершилось в течение XVII века: весь высший класс русский олатинился, ополячился, и братства исчезли сами собой. Одно киевское имело иную судьбу в русской истории.

Киеву, некогда бывшему уже средоточием русской политической и умственной жизни, опять выпала великая доля сделаться средоточием умственного движения, которое открыло для всей Руси новый путь к научной и литературной жизни. В 1615 году некто Галшка, урожденная Гулевич, жена мозырьского маршалка Стефана Лозки, подарила принадлежавшее ей дворовое место со строениями и площадью в Киеве, на Подоле, с тем чтобы там был основан Братский монастырь с училищем, который бы находился под ведомством одного только константинопольского патриарха. Условием этого дара было то, чтобы это место со своими учреждениями ни в каком случае не выходило из православного владения. Галшка оставила за своими потомками право отнять у братства подаренное ею место, если бы какими-нибудь путями оно перешло в руки неправославных, и обязывала их в таком случае отделить на своей собственной земле другое место для той же цели. Тогда многие особы духовного и светского чина вписались в члены братства и обязались дружно и согласно защищать православную веру и поддерживать училище. Братство это, по церкви, построенной на дворе, подаренном ему Галшкою, назвалось Богоявленским. В 1620 году патриарх иерусалимский Феофан утвердил устав братства и благословил его, чтобы это братство со своею церковью было патриаршею ставропигиею, т. е. не подлежало никакому другому духовному начальству, кроме константинопольского патриарха. В то же время по просьбе волынских дворян и мещан патриарх благословил правом ставропигии Крестовоздвиженскую церковь в Луцке, при которой основано было луцкое братство со школою, а константинопольский патриарх Кирилл Лукарис дал со своей стороны грамоту, которою утвердил уставы братских школ в Луцке и Киеве. При братской церкви должны были жить иноки, члены братства, под начальством игумена, который был пастырем и благочинным всего братства, надзирал с монастырскою братиею за порядком, давал наставления и заступался за братство в разных делах перед судом. Игумен имел также надзор и за школою; из числа монахов выбирался ректор школы, но ни игумен, ни ректор, ни вообще состоявшие в братстве монастырские лица не могли делать никаких распоряжений без согласия светских братьев. Из числа светских братьев выбирались два лица для наблюдения за школою. Школа луцкого братства носила название *Еллино-*

словенской, потому что в ней преподавались два языка. Ученики разделялись на три разряда: в первом учились читать, во втором читали и учили наизусть разные предметы, в третьем разряде объясняли выученное и обсуждали его. В ходе учения обращалось внимание, чтобы ученик как можно более усваивал и понимал выучиваемое; для этой цели по окончании класса ученики должны были пересказывать уроки друг другу, списывать их и повторять перед родными и хозяевами, которым будут поверены, а на другой день перед началом нового урока отвечать учителю вчерашний. Предметами учения были, кроме первоначального чтения и письма, греческая и славянская грамматика с упражнениями, заучивание и толкование мест св. писания, отцов церкви, молитв, богослужения, церковная пасхалия, счетная наука, а также места из философов, поэтов, историков, риторика, диалектика и философия. При этом строго запрещалось читать и держать у себя еретические и иноверческие книги. Для упражнения в языках постановлено было, чтобы ученики говорили не на «простом» языке, а на греческом или славянском. Ученики могли учиться не всем наукам разом, а только некоторым, смотря по их способностям, по совету ректора или по желанию родителей. В школу принимались дети всех сословий и состояний, начиная от зажиточных шляхтичей и мещан до бедняков, просивших милостыню на улицах; воспитателям строго постановлялось не делать между ними никаких различий иначе, как по степени их успехов: все они по очереди обязаны были исполнять должность слуг, топить печи, мести школу, сидеть у дверей и т. п. По отношению к нравственности ученики должны были строго соблюдать правила благочестия, в каждое воскресенье и праздник собираться к богослужению и перед тем выслушивать приличные нравоучения, а после обеда слушать объяснение прочитанных в церкви мест св. писания. Четыре раза в год, в посты, обязаны были они говеть, а более благочестивые, кроме того, причащались и исповедовались в господские праздники. Школьное начальство следило за их поведением, как в школе, так и вне ее, и наказывало розгами. Каждую субботу после обеда учитель читал им длинные нравоучения, как они должны были вести себя, и для памяти давал им испить «школьную чашу». Неисправимых исключали. Над самими учителями имело надзор братство, и они подвергались изгнанию за дурное поведение. Из этого устава видно, что религиозное воспитание ставилось на первом плане, и это вполне естественно, так как самая потребность в школьном воспитании вызвана необходимостью защищать православную веру против иезуитов и униатов. Киевская школа в это время имела, вероятно, такой же устав — с тою только разницею, что при греческом и славянском там преподавались еще и латинский и польский языки, как показывает самое название киевской школы, упомянутое в грамоте Феофана: «школа наук еллино-славянского и латино-польского письма». Кроме главных школ, находившихся при братствах, по всей Южной Руси было

рассеяно множество частных школ при монастырях и церквях; так, об Иове Борецком есть известие, что, будучи священником в Воскресенской церкви на Подоле (в Киеве), он завел школу и отличался ревностью к воспитанию юношества. В старости и он, и жена его постриглись. Иов, в звании игумена Михайловского Златоверхого монастыря, занимался воспитанием детей и впоследствии, сделавшись митрополитом, заботился о процветании школ.

Распространение школьного учения дало Южной Руси ученых людей, способных выступить на литературную борьбу с врагами православной веры, и мы видим в первой половине XVII века возрастающую полемическую литературу в защиту догматов и богослужения православной веры. Одним из ранних писателей этой эпохи был Мелетий Смотрицкий. Еще при жизни Острожского он подвизался в литературе и написал возражения против нового римского календаря, который занимал тогда умы, и «Вирши на отступников», напечатанные в Остроге в 1598 году. Этот человек приобрел обширное ученое образование, дополнил его путешествием по Европе в качестве наставника одного литовского пана и слушал лекции в разных немецких университетах. По возвращении на родину в 1610 году он под именем Феофила Ортолога напечатал в Вильне по-польски «Плач восточной церкви», где в живых, сильных и поэтических образах представил печальное состояние отеческой веры, жалуясь главным образом на то, что знатные шляхетские роды один за другим отступают от нее. Сочинение это вызвало со стороны униатов едкое опровержение под названием «Паригория, или Утоление плача». В 1615 году Смотрицкий сделался учителем в школе, находившейся в Литве в Евью, где была одна из знаменитых русских типографий XVII века. Здесь в 1619 году Мелетий напечатал грамматику славянского языка, замечательную по своему времени и показывающую значительное филологическое образование ее автора, который даже вопреки всеобщему обычаю своего времени писать силлабические стихи угадывал возможность метрического стихосложения для русского языка. Грамматика эта была принята для преподавания в школах и служила для распространения знания старославянского языка между русскими*.

Когда Феофан восстановил русскую иерархию, Смотрицкий был посвящен им в сан архиепископа полоцкого и написал по-польски «Оправдание невинности», где доказывал право русского народа восстановить свою церковную иерархию и опровергал взводимые на него клеветы, будто он хочет изменить Польше и предаться туркам. Против этого сочинения тотчас же появилось на польском языке сочинение «Двойная вина», а вслед за тем началась на польском языке сильная полемика между обеими сторонами. Когда в 1622 году был умерщвлен униат-фанатик Иосафат Кунцевич, враги православия

* По ней учился Ломоносов.

распространяли слухи, что главным поджигателем этого убийства был Смотрицкий. Жизнь его была в опасности; он уехал на Восток, странствовал три года, приехал в Рим и там принял унию. Возвратившись на родину, он написал по-русски «Апологию» своего путешествия, где оправдывал свое отступление и старался доказать, что в православной церкви существуют заблуждения. Митрополит Иов Борецкий созвал собор в 1628 году и пригласил на него Мелетия Смотрицкого. Мелетий приехал в Киев, уверял, что он хотел только подвергнуть критике некоторые неправославные мнения, вкрапившиеся в сочинения православных защитников веры, как равно и злоупотребления, поддерживаемые невежеством духовенства, — что игумен дубенского Преображенского монастыря Кассиан Сакович³, которому он поверил печатание своей книги, прибавил туда лишнее без его ведома, и что он останется по-прежнему в ведомстве православной иерархии. Вскоре, однако, после этого собора Мелетий снова объявил себя униатом и стал распространять свою «Апологию». Это вызвало со стороны православных горячую полемику. Иов Борецкий написал против Смотрицкого опровержение под названием «Аполлия» (погибель). Протоиерей слуцкий Андрей Мужилковский написал против «Апологии» Смотрицкого дельное сочинение на польском языке, называвшееся «Антидот». Были и другие сочинения против Смотрицкого.

Распространившееся в Руси польское влияние было так велико, что русские люди, ратуя за свою веру, писали по-польски и это вредило успехам русской литературной деятельности того времени, — иначе русская письменность была бы гораздо богаче. Самый русский язык в ученых сочинениях, писанных по-русски, страдает более или менее примесью польского. Из более выдающихся русских писателей того времени мы укажем на Захарию Копыстенского, Кирилла Транквилиона, Исаяю Копинского⁴, Памву Берынду⁵ и др. Захария Копыстенский — иеромонах, потом архимандрит Киево-Печерского монастыря — написал обширное сочинение под названием «Палинодия», в котором подробно рассматривал главнейшие пункты отличия восточной церкви от западной и защищал догматы и постановления первой. Это сочинение важно по историческим известиям о церковных событиях того времени. Копыстенский издал, кроме того, по-русски сочинения «О вере единой», «Беседы Златоуста на послания апостола Павла», того же Златоуста «Беседы на деяния» и «Толкование на Апокалипсис Андрея Кесарийского». В своих предисловиях к этим книгам издатель выражает желание, чтобы русские, как духовные, так и светские, поболее читали и изучали св. писание. «Толкование на Апокалипсис», изданное в 1625 году, посвящено пану Григорию Далмату, уже отступившему от православия внуку ревностного православного Константина Далмата, которому автор посвящал прежние свои переводы. Захария убеждает Григория возвратиться к вере отцов своих и говорит, что дед его возрадовался бы такому возвращению; при этом автор не затрудняет-

ся приводить примеры из греческой мифологии. «Если,— говорит он,— между Геркулесом и Тезеем была такая любовь и дружба, что один преемственно наследовал добродетели другого и старался избавить последнего от пленения в Тартаре, то еще большая любовь, не разрываема смертью, должна существовать между вашим дедом и вами». Это может служить образчиком, как языческо-классическая мудрость внедрялась в религиозное воспитание тогдашних книжников. При «Апокалипсисе» приложено несколько переводных Слов, и по поводу «Слова Иоанна Златоуста на пятидесятницу» делается такое замысловатое объяснение известного выражения, которое католики постоянно приводили в подкрепление о папском главенстве («Ты еси Петр, и на сем камне созижду церковь Мою»): «Видите, Христос не сказал «на Петре», а сказал «на камне»; не на человеке, а на вере Христос построит церковь свою, так как Петр сказал с верою: Ты еси Христос, сын Бога живаго. Не Петра, а церковь нареку на камнем». В 1625 г. Захария Копыстенский, будучи уже архимандритом, напечатал речь, произнесенную в день поминовения по своему предшественнику Плетенецком, доказывал в ней необходимость поминовения усопших и опровергал тех вольнодумцев, которые, следуя протестантским толкованиям, отвергали пользу молитв за усопших и поминовений,— из чего видно, что протестантские мнения продолжали волновать умы православных. Но здесь же проповедник счел нужным вооружиться против католического чистилища и доказывал, что учение св. отцов о мытарствах совсем не то, что учение о чистилище. «Мытарства,— говорил он,— состоят только в разных препятствиях и беспокойствах, которые причиняют разлученной от тела душе злые воздушные духи, подобно тому как таможенные чиновники беспокоят проезжего свободного человека на таможах и заставах».

В русской православной церкви была ощутительная потребность в правилах, которыми должны были руководствоваться священники при исполнении своих треб и обрядов и в особенности исповеди. При долговременном невежестве вкрались большие беспорядки. Священники отправляли требы как попало, мало заботились об удержании своих прихожан в правилах благочестия, и это давало свободу всякого рода языческим суевериям. Захария Копыстенский в 1620 году напечатал книгу для руководства священникам, где собрал в сокращении разные правила апостольские, вселенских и поместных соборов и св. отцов. Книга эта называется «Номоканон, или Законоправильник». Здесь, между прочим, встречаются любопытные известия о разных суевериях того времени, распространенных в народе *.

* Женщины надевали на детей своих и на домашних животных чародейские «шолки» или «конуры» с целью предохранить от бед и болезней; принимали внутрь чародейские снадобья, чтобы не рождают детей; надевали на детей своих «усерязи» в великий четверток. Чаровницы употребляли в своих заговорах слова из псалмов, имена мучеников и, написавши их, давали носить на шею, носили змею за пазухой, а потом, содравши с нее кожу, прикладывали к глазам и зубам для здравия. Другие, с целью сделать какое-

Кирилл Транквилион-Ставровецкий, прежде учитель в львовском братстве, а потом черниговский архимандрит, не менее Копыстенского отличался плодovitою литературною деятельностью, хотя сочинения его страдают многословием, риторством и самовосхвалениями. Около 1619 года он издал «Евангелие учительное, или Слова на воскресные и праздничные дни». Книга эта в Московском государстве признана была неправославною. Важнее для нас другое сочинение Кирилла — «Зерцало богословия», напечатанное в Почаеве в 1618 году. Замечательно, что оба сочинения посвящены знатным панам: первое — Чарторыжскому, а второе — молодому Ермолинскому с целью служить для него учебною книгою. Эти посвящения показывают, как литературы нуждались в знатных покровителях. «Мала тебе сдается эта книжечка, — говорит автор в своем предисловии, — но прочитай-ка ее: увидишь высокие горы небесной премудрости!»

«Зерцало богословия» разделено на три части: первая толкует собственно о существе божием *; вторая заключает в себе космографию, третья — о злосливом мире или вообще о зле. Самая любопытная для нас вторая часть, изображающая мировоззрение тогдашних ученых людей.

Мир разделяется на видимый и невидимый. Невидимый есть мир ангелов **. Кирилл принимает древнее разделение ангелов на

нибудь зло или произвести безладуцу в семье (кому зло житием жити или нежительно ему житие сотворити) или продолжить болезнь, призывали бесов над гробами (бесов злотворных призывание окрест гроб... сице чарования преименовашася от еже над гробы плача и вопия), поили лихим зельем или давали в пищу такое, чтобы свести человека с ума, поссорить мѹжа с женою или нагнать любовную тоску. Иные прорицали будущее, предсказывали счастье или несчастье, толковали счастливые и несчастливые дни рождения. Суеверные зазывали к себе цыганок и гадалщиц; гадали на воске, на олове, на бобах. Были и такие, которые славились тем, что разгоняли облака, зачаровывали бури, угадывали, где находится украденная вещь и т. п. Номоканон обличает также пляски на свадьбах, праздник русалок, совершаемый с плясками на улицах, раскладку огней, что делалось в те времена не только на Купала, но и накануне других праздников и в особенности в день Вознесения, с чем соединялось особое гадание о счастье (да от онога счастья свое рассмотрят). Автор вооружается против тех, которые, воображая себе, что мертвец встает из гроба и ходит по земле, выкапывают тело из могилы и сжигают его. Он говорит, что мертвец не может вставать из гроба и ходить, но что диавол принимает образ мертвого и пугает людей мечтами. Бесы, по его толкованию, пугают разными мечтательными призраками тех, которые неосторожно призывают их имя.

* Вот определение бога у Кирилла: «Бог есть существо пресущественное, албо бытность над все бытности, сама истотная бытность през ся стоящая, простая, не сложная, без початку, без конца, без ограничения, величеством своим объемлет вся видимая и невидимая».

** Вот определение ангела: «ангел есть бестелесное, неосязаемое, огневидное, пламеноносное, самовластное... Крепостию мог бы един ангел з розказания Божия увесь свет обвалити во мгновение ока, и борзость его дивна, дух бо вем есть скороходный, яко быстрость блискавицы и помыслу нашего; во мгновение ока з неба на землю сниде и за ся от земли на небо възйде, телом не единым, неударжимым, но скрозе всякое тело без забороны

девять чинов (престолы, херувимы, серафимы, господство, силы, власти, начала, архангелы и ангелы), из них собственно только ангелы распоряжаются видимым миром, и над ними старейшина архистратиг Михаил (той зо всем чином своим страж и справца всего видимаго мира). Одни ангелы поставлены на страже стихий и воздушных явлений: огня, молний, воздуха, ветра, мороза и пр. Другие содержат и обращают круг звездного неба (одного из девяти небес); особые ангелы приставлены к солнцу, луне, морю, иные приставлены к земным государствам, другие находятся при верных людях. Если бог посылает ангелов к людям, то они надевают на себя «мечтательное» тело, иногда с вооружением; но это только призрак, потому что где бы кузнецы взяли на небесах металл ковать ангелам вооружение? Дьяволы, падшие духи, темные и отвратительные, разделяются на три вида: воздушные, водяные и подземные. Воздушные делают человеку зло разными изменениями воздуха: вихрями, бурями, градом, заразою воздуха и пр. Земные искушают людей на всякое зло, но они власти не имеют не только над людьми, но и над свиньями; они только подсматривают за человеком, если у человека обнаруживается побуждение к дурному, они подстрекают его. Они постоянные лгуны (уставичные лгареве), и если прорицают, то им верить не следует. Иногда они мечтательно принимают на себя вид зверей и чудовищ, чтобы пугать людей.

Видимый мир создан из четырех стихий, различных и занимающих одна за другою место по своей тяжести. Низшая и самая тяжелая — земля; выше ее вода; над водою воздух, а выше его — самая легчайшая стихия, огонь. Огонь и вода непримиримые враги, но между ними миротворец — воздух. Вода двух родов: одна — над твердью небесною, другая — под твердью на земле. Твердь небесная сухая, легкая, непроницаемая материя, сверху которой бог разлил воду для предохранения от верхнего эфирного огня, который бы иначе зажег твердь; но чтобы не было темно на земле, бог сотворил на тверди солнце, луну и звезды и вложил в них части эфирного света. Воздух есть та тьмаверху бездны, о которой говорится в Библии: к земле он теплее, согреваемый солнечными лучами; середина его холодна, а верхние слои горячие. Гроза объясняется таким образом: пары поднимаются с моря и достигают верхних слоев горячего воздуха; от того делается шум — подобно тому как раскаленное железо, положенное в воду, производит шум. Кирилл слышал, что земля кругла, как яблоко, и не противоречит этому. Он думает, что земля окружена водою для предохранения от эфирного огня. Море солоно оттого, что вода в нем недвижима, и если бы не была солона, то

приходит, не задержат его ни стены муров каменных, ни двери железные, ни печати. Местом же ангелы описаны суть если будет ангел на небе, на земле его несть, а если на земле, в небе его несть. Языка до мовения и уха до слышания не потребует, и без голоса и зноснаго слова подадут един другому разума своя».

загнилась бы и засмердела. В человеке из пяти чувств четыре соответствуют стихиям: вкус — земле, обоняние — воде, слух — воздуху, зрение — огню, а осязание «почувательную некую, особую силу имать». Как в небе живет бог, так в верхней части человеческого тела, в голове, в бескровном мозгу — ум, важнейшая сила души, а при нем другие силы: воля, память, доброта, мысль, разум, хитрость, мечтание, рассуждение, радость, любовь. Ум и разум у него не одно и то же. Ум — сила внутренняя, а разум приходит извне: «От кого иного научишься и разумеешь — то разум». Кирилл старается уподобить части человеческого тела стихийным явлениям: «во главе очй, яко светила, глас, яко гром, мгновение ока, яко близкавицы».

Под злосливым миром автор разумеет жизнь злых людей, не следующих повелениям Божиим. Подобно миру земному, состоящему из четырех стихий, злосливый мир состоит из четырех стихийных пороков: заздрости (зависти), пыхи (высокомерия), лакомства (алчности), убийства. Лакомство соответствует воде; убийство — земле; заздрость и пыха — воздуху и огню. Дьявол есть творец и содержатель злосливого мира.

Мы привели эти сведения из сочинения одного из видных литературных деятелей того времени, чтобы показать, как далека была тогдашняя ученость от прямого пути в области мирских знаний. Русские ученые выступали в борьбу со своими врагами с запасом многих разных сведений по части церковной истории и богословия, но были невеждами во всем, что касалось природы и ее законов, хотя, как показывают их сочинения, и чувствовали потребность этого знания. Они повторяли только старые средневековые нелепости. Ученость их поэтому носила характер крайней односторонности; с распространением такого рода просвещения развивалась страсть к риторической схоластической болтовне, к легкому и дешевому символизму. Это мы видим на том же Кирилле Транквилионе. В главе о Вавилоне Темном он разбирает апокалипсические образы и дает полную волю всяким сопоставлениям и объяснениям, которые мог он отыскать в изобилии на всякие лады у прежних толкователей. Вавилон — это громада злых людей; дракон — дьявол; семь рогов — семь смертных грехов; воды — народы; жена, сидящая на водах, — «пыха свету сего»; пятно на челе — измены и обманы; чаша, кровью исполненная, — замки будовные, палацы и гмахи (чертоги) спянялые (великолепные); дочь Сиона называется виноградом; вежа (башня), на которой висят сто тарчов (щитов), — это церковь с ее писаниями, она — гора «тучная, упитанная з оброков небесной премудрости» и проч., и проч.

Как распространилась тогда риторическая словоохотливость, показывает вошедший обычай сочинять молитвы. В Вильне издана была книжка «Вертоград душевный», в которой помещаются дневные богослужения, т. е. полунощница, заутреня, часы, вечерня, павечерница, и в них влетены пространные сочиненные вновь молитвы.

Монашеское направление, так долго господствовавшее в православной церкви в Южной Руси, и на этот раз нашло себе представителей: как на замечательнейшее в этом роде сочинение мы укажем на «Духовную лестницу» Исайи Копинского. Автор был печерским монахом, девятнадцать лет наблюдал антониевы пещеры, потом был приглашен князем Михаилом Вишневецким для устройства Густинского монастыря (близ Прилук), впоследствии был киевским митрополитом. Его «Духовная лестница» отлична от известной книги — «Лестницы» Иоанна Лествичника, бывшей в большом ходу у благочестивых людей в старину. Исходная точка суждений в сочинении Исайи очень своеобразна. Автор признает началом греха безумие, незнание, началом добродетели — разум и знание, а истинное познание достигается только путем учения и уразумения природы. Он находит, что, только изучивши природу, мы можем приступить к познанию самих себя, и только изучивши свое существо, можем перейти к познанию бога *. Никогда на Руси не раздавалось из уст русского монаха большего уважения к положительной науке; но после этого автор, так сказать, круто поворачивает на прежнюю торную дорогу монашеских сочинений. У него разум двоякий — внешний и божественный, двоякая мудрость — внешняя и божественная, два знания — внешних и божественных предметов, и оказывается, что бога можно познать только высшим и божественным разумом. Что касается до внешней мудрости, то она делается почти ненужною. Путь к высшему разумению есть «умное делание», подобно тому, как говорил когда-то Нил Сорский, — монашеская созерцательность, воздержание, пост, сокрушение сердца. Монашество — высший образец; все плотское — гной, тлен, прах. Автор думает, что если бы Адам не согрешил, то люди бы не рождались младенцами и рождались бы не так, как теперь рождаются **. «Человек, — говорит он, — рождаясь от женщины, стремится к соединению с нею, но тем самым умирает душою; так, как соль хотя рождается от воды, но, соединяясь с водою вновь, исчезает; так и человек хотя рождается от женщины, но, как соль, растаивает, «когда паки к греховному плотскому соплетению»

* «Никто же не может познати Бога, дондеже не познает перве себе, не придет же совершенно в познание себе, дондеже первие не придет в познание твари и всех вещей в мире зримых и разумеваемых рассмотрению. Егда же придет в познание сих, тогда возможет прийти в познание себе, тоже и Бога, и тако приходит в совершенное з Богом любовию соединение... Первие вся твари рассмотрение от чего и чесого ради сия суть, во ежи ни единой вещи утаенной и недоуменной быти от него... Первие подобает долния вся разумети, таже горняя, не бо от горних на нижняя восходити должни есми».

** «Прилепись же к несвойственному плотскому вожделению, сего ради по нужде подпаде тлению, и смерти нетления бо и жизни отлучися, подпаде в сицевое плотское неразумное сочетанье, от совершеннаго разума и возраста преступлением изведе Адам естество наше в детский возраст безсловесное младоумие, во еже малыми немощесмотрящими отрочаты в мир раждатися нам, по нужде сице раждатися и быши в мир осужденны быхам».

нию лепится». Автор хотя не может отрицать брака, но предоставляет его в виде снисхождения только человеческим существам низшего разряда, тогда как люди высшие, монахи, должны предпочитать безбрачную чистоту.

Далее все сочинение состоит из бесед о том, как следует монаху вести строго-постную жизнь, избегать хвастовства, высокомерия, сребролюбия и других пороков.

Умственное движение, возникшее в Южной Руси, получило новый толчок и новую силу с наступлением деятельности Петра Могилы.

Фамилия Могила принадлежит к древним знатным родам молдавским. В конце XVI века при помощи польского гетмана Яна Замојско-го один из Могила, Иеремия, сделался господарем молдавским, а в 1602 году брат его Симеон — господарем валашским. В 1609 году Симеон стал также господарем и Молдавии, но ненадолго. Сначала он уступил господарство племяннику своему, Константину, а потом турки лишили эту фамилию господарства. Напрасно польские пань: Стефан Потоцкий, князья Корецкий и Вишневецкий, родственники Могила по женам, старались восстановить их на господарстве. Могила должны были искать приюта в Польше. Сын Симеона, Петр, учился, как говорят, в Париже, потом служил в военной службе в Польше, а в 1625 году постригся в Печерской лавре, еще не достигши 30 лет от роду. Вступление в монашеское звание лица такого знатного и притом состоявшего в родстве с могущественными польскими домами давало поддержку православному делу. Через год скончался печерский архимандрит Захария Копыстенский. Тогда возник вопрос о том, чтобы молодому молдаванину Могила сделаться архимандритом. Его связи и богатство представляли в будущем большие надежды для лавры; но не вся печерская братия готова была выбрать его. Многие не возлюбили его; другие соблазнялись его молодостью; но за пределами монастыря у Могила было много сильных сторонников, желавших доставить ему видное и выгодное место архимандрита печерского. Два года шли об этом толки; противникам Могила, как видно, не давали избрать другого; наконец, Могила был избран, тем более что митрополит Иов Борецкий был за него. В 1628 году Сигизмунд III утвердил его. Новый архимандрит тотчас же заявил свою деятельность на пользу монастыря, завел надзор над священнослужителями в селах лаврских именей, незнающих из них приказывал учить, а упрямых и своевольных подвергал взысканиям; подновил церковь, не жалел издержек на украшение пещер, подчинил лавре Пустынно-Николаевский монастырь, основал Голосеевскую пустынь, построил на свой счет при лавре богадельню для нищих и задумал заводить при Печерском монастыре высшую школу. Рассчитывая, что для последней цели необходимы хорошие учителя, он прежде всего начал отправлять молодых людей за границу за собственный счет. В числе их были: Сильвестр Косов, Исая Трофимович, Игнатий

Оксенович-Старушич, Тарасий Земка⁶ и Иннокентий Гизель⁷. Для новой школы он избрал место с огородом и садом близ больничной Троицкой церкви, поставленной над печерскими воротами, и дал от себя фундушевую запись, которою обязывался содержать училище на собственный счет.

В 1631 году скончался митрополит Иов Борецкий. Место его занял Исаяя Копинский, бывший в то время архиепископом смоленским и черниговским. Посланные за границу молодые люди стали возвращаться на родину, но тут записанные в братство православные духовные, дворяне и казацкие старшины с гетманом Петрижицким от лица всего войска запорожского обратились к Петру Могиле с просьбою не заводить особого училища в братстве, а обратить свои пожертвования на существовавшее уже братское училище на Подоле. Просьба эта была вполне разумна: не следовало разрывать сил, полезнее было соединять их. Могила согласился. В декабре 1631 года члены братства составили акт, в котором Петр Могила назывался старшим братом, блюстителем и пожизненным опекуном киевского братства. В марте 1632 года гетман Петрижицкий от лица полковников и всего войска запорожского обещал в случае нужды защищать оружием церковь, монастырь, школы и богадельню братства; а киевские дворяне в лице выбранных из среды своей старост обещали заботиться о содержании училища.

В апреле 1632 года скончался король Сигизмунд III. По польским обычаям, по смерти короля собирался сначала сейм, называемый «конвокационным», на котором делался обзор предыдущего царствования и подавались разные мнения об улучшении порядка; потом собирался сейм «элекционный» уже для избрания нового короля. Остатки православного дворянства сплотились тогда около Петра Могилы с целью истребовать законным путем от Речи Посполитой возвращения прав и безопасности православной церкви. Главными действующими лицами с православной стороны в это время были Адам Кисель, Лаврентий Древинский и Воронич. При их содействии митрополит Исаяя и все духовенство уполномочили ехать на сейм Петра Могилу. Православные требовали уничтожения всяких актов и привилегий, запрещавших православным строить церкви и допускавших вести против них процессы по религиозным делам с наложением секвестрации на их имения, домогались возвращения православным всех запечатанных церковей, всех епархий, требовали безусловного права заводить коллегии, типографии, возвращения отобранных униатами церковных имений и строгого наказания тем, которые будут наносить оскорбления и насилия православным людям. Вместе с просьбою дворян и духовных подали на сейм просьбу казаки в более резких выражениях, чем дворяне и духовные. «В царствование покойного короля, — писали они, — мы терпели неслыханные оскорбления... Униты отстранили от городских должностей добродетельных мещан нашей веры и засмутили сельский народ; дети остаются

некрещенными, взрослые сожительствоуют без брачного обряда, умирающие отходят на тот свет без причащения. Пусть уния будет уничтожена; тогда мы со всем русским народом будем полагать живот за целость любезного отечества. Если, сохрани Боже, и далее не будет иначе, мы должны будем искать других мер удовлетворения». Такой резкий тон сильно раздражил панов, которые вовсе не хотели давать казакам права вмешиваться в государственные дела. «Они называют себя членами тела Речи Посполитой,— говорили паны,— но они такие члены, как ногти и волосы, которые обрезавают». Но голос православного шляхетства не мог быть оставлен без внимания. При посредстве королевича Владислава⁸ составлен был мемориал, в котором предполагалось отдать православным киевскую митрополию, кроме Софийского собора и Выдубецкого монастыря и всех митрополичьих имений, предоставить им сверх того львовское епископство, печерский и жидичевский монастыри с их именами, дать по нескольку церквей в некоторых городах, дозволять братствам распоряжаться школами, мещанам занимать городские должности и пр. Дальнейшее решение дела о свободе православного исповедания отложено было до «элекцийного» сейма. Но и на «элекцийном» сейме казацкие послы вновь появились с резкими требованиями. По поводу этих домогательств начались сильные и горячие прения о вере между панами. Ревностные католики не хотели утверждать даже того мемориала, на который согласился «конвокационный» сейм. Кисель и Древинский пространно и сильно защищали права греческой религии. Православные не были довольны самим мемориалом и хотели еще более широкого. Петр Могила был душою их совещаний и, наконец, вместе с православными дворянами он лично обратился к новоизбранному королю Владиславу. Так как Польша в это время находилась в неприязненных отношениях с Москвою, то Владислав понимал, что расположение казаков и русского народа было чрезвычайно важно для короля и всей Польши; да и вообще Владислав был сторонник свободы совести. Он дал православным «диплом», которым предоставил им более прав и выгод, чем те, какие были написаны в мемориале, составленном на «конвокационном» сейме. Предоставлена была полная свобода переходить как из православия в унию, так и из унии в православие. Митрополит киевский мог по-прежнему посвящаться от константинопольского патриарха. Отдавались православным немедленно луцкая епархия, а перемышльскую положено отдать после смерти тогдашнего униатского епископа; учреждалась новая епархия во Мстиславе; снимались всякие запрещения, стеснения; запрещалось делать оскорбления православным людям. Православные дворяне, бывшие на сейме, тогда же порешили удалить от митрополии Исаяю Копинского как человека уже престарелого и болезненного и избрали вместе с бывшими там духовными в митрополиты Петра Могилу. Король утвердил этот выбор и дал Петру Могиле привилегию на преобразование киевского братского училища в коллегию. Послан-

ный в Константинополь ректор киевских школ Исая Трофимович испросил для Петра Могила патриаршее благословение, и тогда волошский епископ во Львове рукоположил Петра Могила в митрополиты *.

* По известиям одного современника, православного, но ополченного шляхтича Ерлича, Петр Могила, прибывши в Киев в 1633 году, обращался грубо и жестоко со своим предместником Исаяею Копинским: дряхлого и хворого старика схватили в Златоверхо-Михайловском монастыре в одной волосянице, положили на лошадь, словно мешок, и отправили в Печерский монастырь, где он скоро и скончался в нужде. По известию того же Ерлича, Петр Могила был человек жадный и жестокий, истязал бичами монахов Михайловского монастыря, допытываясь, где у них спрятаны деньги; одного печерского монаха Никодима обвинил в наклонности к унии и отослал к казакам, которые приковали его к пушке и продержали таким образом шестнадцать недель. Эти известия не могут быть признаны вполне достоверными. В 1635 году в городском овуцком суде происходил процесс между иноками Михайловского Златоверхого монастыря и Исаяею Копинским. Иноки жаловались, что Исая Копинский в 1631 году, опираясь на то, будто все монахи Михайловского монастыря избрали его игуменом, выгнал при содействии казацкого гетмана Гарбузы игумена Филофея Кизаревича и оставался в монастыре до 10 августа 1635 года, а в этот день, уехавши из монастыря, взял с собою документы на монастырские имени и захватил также разные вещи из ризницы. Это показание противоречит известию Ерлича, относящего выход Исаяи Копинского из Михайловского монастыря к 1633 году, так как из показания монахов видно, что Исаяя оставался в Михайловском монастыре гораздо более 1633 года. Существует протестация самого Исаяи Копинского, который показывает, будто он уехал из монастыря потому, что Могила притеснял монастырь, делал разорение монастырским местностям и после удаления его, Исаяи, неправильно отдал монастырь во власть Филофея Кизаревича, окрестивши его игуменом. Но протестация Исаяи заключает в себе неверность. Не Могила после удаления Исаяи из Михайловского монастыря окрестил игуменом этого монастыря Филофея Кизаревича. Кизаревич был избран михайловским игуменом еще прежде чем Исаяя овладел монастырем в 1631 году. Это несомненно из актов того времени, на которых Кизаревич подписывался игуменом Михайловского монастыря. Оказывается, что в самом монастыре было две партии, из которых одна хотела дать игуменство Кизаревичу, другая — Копинскому, и Могила, как кажется, благоприятствовал первому. После протестации, поданной Исаяею, Могила в феврале 1637 года пригласил Исаяю в Луцк и там в присутствии многочисленного духовенства примирился с ним. Исаяя дал Петру Могиле «квит», т. е. отказался от своего иска. Но вслед за тем Исаяя через своего поверенного возобновил свой иск, заявивши, что Петр Могила насилем принудил дать ему «квит». Жалоба дошла до короля. Исаяя внес в градские владимирские книги королевское письмо к вольнскому воеводе о назначении комиссии для разбирательства спора между Петром Могилою и Исаяею. Из этого письма видно, что к королю поступила жалоба, будто Петр Могила не только ограбил церковное и частное достояние Копинского, но и самого Исаяю бил до крови и подвергал тяжелому заключению. Так как производство дела этой комиссии до нас не дошло, то и нет возможности для истории произнести приговор по этому делу. Но у Ерлича встречается еще одно известие о Могиле, также несправедливое. Ерлич говорит, будто Могила, желая завести школу в Печерском монастыре, выгнал монахов Троицкого больничного монастыря, чтобы отдать под школу занимаемое ими место. Из актов же того времени видно, что Могила, будучи еще архимандритом, назначил под предполагаемую школу место с садом и огородом по одну сторону главных ворот, на которых находилась больничная церковь, между тем как госпиталь с больничными мо-

Назначение Петра Могилы митрополитом в Киеве произвело чрезвычайный восторг. Ученики братского училища сочиняли ему гимны и панегирики. «Если бы ты вздумал,— говорилось в приветствии ему,— отправиться от Киева до Вильно и до пределов русских и литовских, с какою радостью встретили бы тебя те, которыми наполнены суды, темницы и подземелья за непорочную веру восточную?» Типографщики поднесли напечатанную ими стихотворную брошюру под названием «Евфония веселобремячая», а киевские мещане заодно с казаками и православными духовными в порыве восторга бросились отнимать у униатов древнюю святыню русскую — Софийский собор. Униатский митрополит Иосиф Вильямин Руцкий жил не в Киеве, а в Вильне. Софийский собор стоял пустой; богослужение в нем не отправлялось, а ключи находились у шляхтича Корсака. Место, где находится Софийский собор, было тогда за городом и отделялось от жилой части Старого города валом. Близ него расположена была небольшая Софийская слободка. Там жил Корсак, страж покинутого храма. Киевляне под предводительством Баяски, Веремиевка и слесаря Быковца толпою в пятсот человек бросились на дом Корсака. Пан был в отлучке; в доме оставалась его мать, у которой были в то время гости. Киевляне потребовали ключей от собора. Пани Корсакова не дала ключей. Тогда киевляне объявили, что сами найдут ключи, бросились к собору, отбили колодки, которыми запирался собор, выломали двери, отколотили тех, которые хотели помешать им, забрали ризницу и утварь и отвезли в лавру к митрополиту. Затем толпа вновь вернулась в дом Корсака и начала выгонять из дому пани Корсакову и ее родных, сидевших с доминиканами, которых она нарочно позвала, чтобы они впоследствии на суде могли быть свидетелями. Толпа ругала пани Корсакову, прицеливалась ружьями в форточку окна и кричала: «выволочемо ее на двор и розстреляймо!» На другой день киевляне вывели пани Корсакову и ее родных из дому и обязали слобожан повиноваться православному митрополиту. Вместе с церковью св. Софии киевляне тогда же овладели деревянною церковью св. Николая, на месте Десятинной, и древними стенами церкви св. Василия, построенной св. Владимиром на Перуновом холме.

Первым делом митрополита было привести церковь св. Софии в благолепный вид и освятить ее для богослужения; он называл ее «единственным украшением православного народа, главою и матерью всех церквей». Петр Могила старался восстановить древнюю святыню Киева и вместе с тем оживить в народе воспоминание древности. Таким образом он возобновил церковь св. Василия; из развалин Десятинной церкви соорудил новую каменную церковь, причем во

нахами находился на другой стороне от ворот. Таким образом, не было никакой необходимости Могиле выгонять монахов для постройки школы. Притом же сам Могила заботился о госпитале и содержал его на свой счет.

время производства работ нашел в земле гроб св. Владимира и поставил голову его в Печерском монастыре для поклонения, возобновил также древнюю церковь Спаса на Берестове. С особенною любовью относился он к Софийскому собору *, хотя жил постоянно в Печерской лавре, оставаясь ее архимандритом.

Петр Могила обратил внимание на то, что в церковных богослужебных книгах, бывших в употреблении в Южной и Западной Руси, вкрались неправильности и разноречия. Они были в то время тем неуместнее, что противники православия указывали на это обстоятельство как на слабую сторону и утверждали, что в православном богослужении нет единообразия: в одной книге попадаются об одном и том же предмете совсем иные выражения, чем в другой, и каждый священник может употребить тот или другой способ. Этим противники силились доказать, что церковь, не имея единого главы, не в силах удержать правильности в своих богослужебных книгах, а тем самым указывали на необходимость подчинения единому главе в образе папы. Могила постановил, чтобы вперед богослужебные книги не выходили в печать без пересмотра и сличения с греческими подлинниками и без его благословения; сам он лично трудился над их пересмотром. В 1629 году Петр Могила издал «Служебник», одобренный на киевском соборе митрополитом Иовом Борецким и южнорусскими епископами. Этот «Служебник» отличался от прежних тем, что в нем приложено догматическое и обрядовое объяснение литургии, написанное одним из учеников Могилы, Тарасием Земкою. Таким образом, русские священнослужители получили впервые единообразное руководство для совершения литургии, а вместе с тем могли понимать то, что совершали. Через десять лет, в 1639 году, Могила, уже будучи митрополитом, издал вторым изданием свой «Служебник», значительно умноженный ектениями и молитвами, сочиненными на разные случаи жизни.

Приведение в единообразии православного богослужения, надлежащее отправление священниками их обязанностей и улучшение их нравственности сильно и постоянно занимали Петра Могилу.

* Ему приписывают сооружение пристроек к ярославовой стене, укрепление их контрфорсами, закладку куполов на хорах, сооружение над ними других куполов на кровле и даже размалевку стен, которою закрыты были старые ярославовы фрески. Но с этим нельзя согласиться. Архитектура пристроек, и особенно двухглавые орлы, указывают на более позднее время. Сверх того существуют рисунки, оставленные после Могилы, на которых Софийский собор не в том виде, в каком теперь. В «Триоди», изданной во Львове в 1642 году, в посвящении Петру Могиле говорится о возобновлении св. Софии в таком виде: «Церковь св. Софии в богоспасаемом граде Киеве негдысь от святых памяти княжати и самодержца всея России Ярослава сбудованую и на приклад всему свету выставленную, преосвященство ваше в руинах уже будучую знову реставровал и до першей оздобы коштом своим старанем своим привел, а до того и внутрь rozmaитыми иконами святых божиных и аппаратами церковными дивно приоздобил».

С этими целями в 1640 году Могила назначил собор в Киеве и на этот собор приглашал не только духовных, но и светских особ, записанных в братствах; по его взгляду на состав церкви, светские люди, будучи членами церкви как христианского общества, имели право подавать свой голос в церковных делах. «Наша церковь,— писал Могила в своем окружном послании,— оставаясь ненарушимой в догматах веры, сильно искажена в том, что касается обычаев, молитв и благочестивого жития. Многие православные от частого посещения богослужения иноверцев и слушания их поучений заразились ересью, так что трудно распознать: истинно ли они православные или одним только именем? Другие же, не только светские, но и духовные, прямо покинули православие и перешли к разным богомерзким сектам. Духовный и монашеский сан пришел в нестроение; настоятели не заботятся о порядке и совсем уклонились от примера древних отцов церкви. В братствах отвергнута ревность и нравы предков; каждый делает что хочет». Могила заявлял, что он желает возвратить русскую церковь к древнему благочестию, и находил, что цель эта может быть достигнута посредством собора духовных и светских людей. Деяния этого собора не дошли до нас, но, вероятно, плодом его совещаний явилось новое издание «Требника» в 1646 году. Этот «Евхологион», или «Требник» — подробнейший сборник богослужений, относящихся к священным требам, долгое время служивший руководством во всей России, известен под именем «Требника Петра Могилы» *. При составлении его руководствовались требниками греческими, древнеславянскими, великорусскими и отчасти римскими. Могила, защищая православие от католичества, не стеснялся, однако, заимствовать из западной церкви то, что не противно было духу православия и согласовалось с практикою первобытной церкви**. В своем «Требнике» Могила не ограничился одним изложением молитв и обрядов, а прибавил к нему объяснения и наставления как поступать в отдельных случаях, так что этот требник не только служил руководством для машинального отправления треб, но имел

* «Читая эту книгу,— говорит в предисловии к ней Могила,— легко понять, что способ совершения св. таин остается у нас единообразным; стоит только сличить наш «Евхологион» с греческим. Если в требниках, изданных в Остроге, Львове, Стратине, Вильне, есть какие-нибудь описки и погрешности, то такие, которые не отменяют ни числа, ни материи, ни формы, ни силы, ни skutков (последствий) св. таинств; притом отмены произошли от простоты и нерассудительности исправителей; при всеобщем невежестве и при небытности православных пастырей издатели смотрели не на сущность материи или формы, а на одни существовавшие обычаи. И потому иное нужное опустили, а ненужное внесли».

** От времен Могилы остались до сих пор в Малороссии немногие местные отличия в богослужении, не принятые в Великой Руси: так, например, заимствованные из западной церкви «Пассии» — чтения евангелий о страданиях Иисуса Христа с пением страстных церковных стихов на повечерии по пятницам, в первые четыре недели великого поста, причем говорятся иногда и проповеди.

значение научной книги для духовенства. Тем не менее, к досаде Могилы, не все довольствовались этим однообразным руководством, и помимо его издавались другие требники частными лицами. Пока образовалось новое поколение пастырей из преобразованной Могилою коллегии, он обращал внимание, чтобы ставленники по крайней мере не были круглыми невеждами, и постановил, чтобы искатели священнических мест до своего посвящения оставались некоторое время в Киеве и учились у сведущих лиц. Подготовка эта продолжалась иногда и до года. Сам Могила экзаменовал их и содержал во время обучения на свой счет. Могила вскоре увидел необходимость составить полную систему православного вероучения и под своим руководством приказал составить ученому Исаяи Трофимовичу православный катехизис. По составлении его Могила созвал сведущих духовных лиц из всей Южной и Западной Руси, дал им на рассмотрение новую книгу, а потом снесся с патриархами. С целью окончательно рассмотреть и утвердить катехизис созван был в Яссах ученый собор в 1643 году, куда Могила послал Трофимовича вместе с братским игуменом Иосифом Кононовичем и проповедником Игнатием Старушичем. Со стороны константинопольского патриарха послано было два ученых грека. Греки долго спорили с русскими, истребовали отмены кое-каких мест и, наконец, утвердили катехизис, затем книга была отправлена на утверждение всех патриархов; она хотя и была утверждена, но слишком долго рассматривалась, и Могила не успел ее напечатать *. Вместо нее Могила приказал напечатать в 1645 году краткий катехизис. Цель его выражена в предисловии, где говорится: «Книга эта публикуется не только для того чтобы священники в своих приходах каждый день, в особенности в воскресные и праздничные дни, читали и объясняли его своим прихожанам; но также чтобы мирские люди, умеющие читать, преподавали одинаковым способом христианское учение, преимущественно, чтобы родители учили по ней своих детей, а владельцы — подвластных себе людей, а также чтобы в школах все учителя заставляли своих учеников учить наизусть по этой книжечке». Катехизис этот по способу своего изложения послужил первообразом всех катехизисов последующего времени. Он изложен в вопросах и ответах и состоит из трех частей: в первой рассматривается символ веры по членам, во второй — молитва господня, в третьей — заповеди.

Могила, как человек ученый, принял деятельное участие в тогдашней горячей полемике, происходившей между православными и католиками. Некто Кассиан Сакович, прежде православный учитель

* Ей суждено было уже по смерти Могилы быть напечатанной в Европе, сперва на греческом, а потом на латинском языке, заслужить уважение ученых богословов, а на славянском языке явиться уже в 1696 году в Москве, и то в переводе с голландского издания на греческом языке 1662 года.

киевской школы и написавший вирши по-русски на смерть Сагайдачного, отступил от православия сначала в унию, а потом в католичество и сделался ненавистником отцовской веры. Когда Могила в 1642 году собирал собор, Сакович написал против этого собора по-польски едкую сатиру, а вслед за тем разразился обширным сочинением на польском же языке под названием «Перспектива заблуждений, ересей и предрассудков русской церкви». Сакович в этом сочинении держится способа, введенного иезуитами и долгое время сохранявшегося в Польше во всех спорах и нападках католиков на русскую церковь. Способ этот состоял в том, что подмечались и собирались случаи всевозможнейших злоупотреблений, зависевших как от невежества, так и от дурных качеств тех или других личностей, занимавших священнические места, и такие случаи принимались как бы за нормальные признаки, присущие православной церкви. Все сочинение Саковича наполнено подобного рода обличениями. Кроме того, Сакович как ревностный последователь римской церкви старается осуждать все, что в православии несходно с нею. В ответ на это Могила написал обширное сочинение, явившееся в 1644 году под названием «ЛіѠос (Литос) альбо камень». Сочинение Могилы под псевдонимом Евсевия Пимена (т. е. благочестивого пастыря) было написано по-польски, так как главною целью автора было представить в глазах поляков несправедливость нападков их духовных против православия; но в то же время существовала и его русская редакция, до сих пор остающаяся в рукописи*. «Литос», кроме посвящения Максимилиану Бржозовскому и предисловия к читателям, состоит из трех отделов: в первом рассуждается о таинствах и обрядах; во втором — о церковном уставе; в третьем — о двух главнейших догматических различиях восточной церкви от западной: об исхождении св. духа и о главенстве папы. Автор в некоторых местах относится с бранью и резкими остротами к своему противнику, называет его прямо лжецом; или, например, по поводу желанія Саковича ввести в русскую церковь латинские обряды выражается так: «Неудивительно, что тебе, новообращенному рачителю римского костела, хочется весь римский чин перенести в восточную церковь! Как сам ты с одним ухом, так хочешь, чтобы все люди были одноухие и порезали бы себе уши!» Но с совершенным беспристрастием

* Полное заглавие ее следующее: «ЛіѠос или камень с пращы истинны Церкви святяга, православныя российския, на сокрушение ложнопомраченной перспективы или безместнаго оболгания, от Кассиана Саковича, бывшего прежде некогда архимандрита Дубенскаго, унита, аки о блуждениях, ересех и самоумышлениях Церкви Русския, в Унии не сущия, тако в составлениях веры, якоже в служении таин и о инных чинех и законопреданиях обретающихся, лето Божия 1642 в Кракове типом изданнаго, верженный чрез смиреннаго отца Евсевия Пимина в монастыре св. чудотворныя Лавры Печарокиевския, лета Господня 1644».

автор «Литоса» признает справедливость многих злоупотреблений, указанных его противником; только он объясняет их печальным положением церкви, не имевшей долгое время пастырей и умышленно угнетаемой унией, а также невежеством и рабским положением приходских священников под властью панов. Сакович, например, обвиняет православных священников в том, что они совершали насильные и противозаконные браки. На это автор «Литоса» говорит: «Это бывает; но что же делать священнику, когда пан ему говорит: или обручай, поп, или голову подставляй; поневоле поп будет все делать, когда господин города, либо села, или управляющий господина начнет устрашать бедного священника дубиною, а иногда прикажет бросить в тюрьму». Многие нападки Саковича Могила называет ложью и клеветою и прямо свидетельствует, что приводимых Саковичем признаков нет и не было в православной церкви. Вообще во взгляде на значение обрядов Могила отличает существенные, главные признаки от прибавочных. Существенными он называет те, которые при всяких видоизменениях должны оставаться непоколебимо; они, по толкованиям Могила, заключаются: а) в материи, б) в форме или слове и в) в интенции (намерении) совершающего священнодействия. Таким образом, в таинстве крещения вода составляет материю; произнесение слов «крещается во имя Отца, Сына и св. Духа» — форму; наконец, внутреннее намерение или желание совершающего таинство низвести благодать св. Духа — интенцию. Точно так же в литургии существенную часть ее составляют, кроме внутреннего намерения священнослужителя: *материя*, т. е. хлеб и вино, и форма, т. е. освящающие ее слова Спасителя: «примите, ядите и пейте от нея вси». Весь чин богослужения, в который облечены или заключены существенные признаки, может видоизменяться в разных церквях. Смотря по местностям, древним обычаям и преданиям могут существовать различные обряды, — но это не мешает вселенскому единству Христовой церкви, если только при этом нет уклонения от признаваемой церковью догматики. Таким образом, к римскому обрядному чину следует относиться с равным уважением, как и к восточному, несмотря на его различие, насколько этот чин не уклоняется от учения вселенской церкви. Обряды могут в одной и в той же церкви — смотря по временным потребностям — изменяться, дополняться и сокращаться, но не иначе как на основании соборов. Каждый из священников в отдельности должен строго исполнять все поставленное принятыми в данное время богослужебными книгами. Таков был взгляд знаменитого митрополита на весь строй внешнего богослужения; он относится непримиримо к римской церкви, но никак не по причине различия богослужебного чина, а за ее догматические заблуждения, из которых признание абсолютного главы в особе римского папы занимает первое место. Замечательно, что противник Могила, Сакович, между прочим, ставит в упрек православной русской церкви и то, что она лишена «великородных господ».

Могила говорит: «Православные роксоляны (т. е. русские), уверовавши в Христа Господа, не сомневаются в том, что Христос, как мысленный глава, управляет восточную церковь по своему обещанию: «се аз с вами до скончания века». Русь имеет всеильное предстательство своего благочестия в лице Христа Господа, правящего сердцами великих государей. Так и в псалме 145 псалмопевец написал: «не надейтесь на князей, сынов человеческих». А что у Руси нет великородных господ, то что в этом дурного! Ведь и первоначальная церковь начала созидаться не великородными господами, а убогими рыбаками, однако Бог через них преклонил к вере во Христа и монархов, и великородных властителей. Души самых незнатных правоверных христиан также искуплены многоценною кровью Христовою, как и души великородных властителей, а потому и те, и другие должны быть равноценны». Наконец, автор «Литоса» совсем не враг соединения с римскою церковью. «Восточная церковь,— говорит он Саковичу,— всегда просит Бога о соединении церквей, но не о таком соединении, какова нынешняя уния, которая гонит людей к соединению дубинами, тюрьмами, несправедливыми процессами и всякого рода насилиями. Такая уния производит не соединение, а разделение...» Появление «Литоса» вызвало в польской литературе ряд полемических сочинений, в которых авторы почти уже не касались вопроса об обрядности, а главным образом доказывали правильность признания папы главою церкви. Из них иезуит Рутка, давая произвольный смысл разным выражениям «Литоса», делал выводы, что автор его принадлежит скорее к какой-нибудь протестантской, чем восточной церкви.

Более всего Могила сосредоточил свою деятельность на киевской коллегии. Тотчас по вступлении своем в сан митрополита Могила преобразовал киевскую братскую школу в коллегию, основал другую школу в Виннице, завел при киевском братстве монастырь и типографию и подчинил их киевскому митрополиту. Это было нарушением прежнего распоряжения патриарха Феофана, по которому киевское братство с Богоявленскою церковью подчинялось одному патриарху; но это нарушение оправдывалось сделанными переменами: основанием монастыря и преобразованием школы в коллегию, наконец и тем, что коллегия и монастырь содержались главным образом иждивением Петра Могилы. Самый монастырь учрежден был совсем на особых основаниях, чем другие монастыри; он имел тесную связь с коллегией; в нем помещались только те монахи, которые были наставниками: все они взяты были из Печерской лавры. На содержание братской коллегии и монастыря Могила приписал две лаврских волости, подарил коллегии собственное свое село Позняковку и кроме того постоянно давал денежные пособия на постройки и на вспомоществование учителям и ученикам. По его примеру и убеждению записанная в братство шляхта помогала коллегии разными пожертвованиями и ежегодно выбирала старост из своей среды для надзора

и содействия ее содержанию; коллегия устроена была по образцу высших тогдашних училищ в Европе и особенно в Кракове. Цель киевской коллегии была преимущественно религиозная: нужно было образовать поколение ученых и сведущих духовных лиц, а равным образом и светских людей, которые бы могли сознательно видеть правоту восточной церкви и по своему образованию стать в уровень с теми, против которых пришлось бы им защищать права своей церкви путем закона и рассуждения. Но в Польше, как мы указывали, вопросы веры тесно связались с вопросами национальности; понятие о католике сливалось с понятием о поляке, как, с другой стороны, понятие о православном — с понятием о русском; и потому задачей коллегии неизбежно стала поддержка и возрождение русской народности. Идеалом Могилы был такой русский человек, который, крепко сохраняя и свою веру, и свой язык, в то же время по степени образования и по своим духовным средствам стоял бы в уровень с поляками, с которыми судьба связала его в государственном отношении. К этому идеалу направлялись и способы воспитания и обучения, принятые Могилою. Киевская коллегия находилась под управлением ректора, который был вместе с тем игуменом Братского монастыря, распоряжался монастырскими и училищными доходами, творил суд и расправу и в то же время был профессором богословия. Его помощником был префект, один из иеромонахов, занимавший должность, подобную должности нынешнего инспектора. Кроме двух этих начальствующих лиц выбирался на известный срок супер-интендент, имевший ближайший надзор за поведением воспитанников. Под наблюдением последнего между самими воспитанниками устраивалась внутренняя полиция; некоторые более благонаправленные ученики обязаны были смотреть за своими товарищами и доносить супер-интенденту. Часть учеников жила на содержании коллегии в ее доме, называемом бурсою; вся эта бурса в то время содержалась на счет Петра Могилы: то были недостаточные ученики; другие жили вне здания и приходили в коллегю для учения, но и они, живя в своих квартирах, состояли под надзором коллегияльного начальства. Телесное наказание считалось необходимым. Расправа производилась главным образом по субботам.

В учебном отношении киевская коллегия разделялась на две конгрегации: высшую и низшую. Низшая в свою очередь подразделялась на шесть классов: фара, или аналогия, где обучали одновременно чтению и письму на трех языках: славянском, латинском и греческом; инфима — класс первоначальных сведений; за нею класс грамматики и класс синтаксисы: в обоих этих классах шло изучение грамматических правил трех языков — славянского, латинского и греческого, объяснялись и переводились разные сочинения, производились практические упражнения в языках, преподавались катехизис, арифметика, музыка и нотное пение. Далее следовал класс поэзии, где главным образом преподавалась пиитика и писались всевозмож-

ные упражнения в стиходействии, как русском, так и латинском. За пиитикой следовал класс риторики, где ученики упражнялись в сочинении речей и рассуждений на разные предметы, руководствуясь особенно Квинтилианом и Цицероном. Высшая конгрегация имела два класса: первый был класс философии, которая преподавалась по Аристотелю, приспособленному к преподаванию в западных латинских руководствах, и разделялась на три части: логику, физику (теоретическое рассуждение о явлениях природы) и метафизику; в этом же классе преподавались геометрия и астрономия. Другой, самый высший, был класс богословия; богословие преподавалось главным образом по системе Фомы Аквината; в том же классе преподавалась гомилетика и ученики упражнялись в писании проповедей. Преподавание всех наук, исключая славянской грамматики и православного катехизиса, шло на латинском языке. Учеников заставляли не только писать, но и постоянно говорить на этом языке даже вне коллегии: на улице и дома. С этой целью для учеников низшей конгрегации изобретены были длинные листы, вложенные в футляр. Сказавшему что-нибудь не по-латыни давался этот лист и на нем вписывалось имя провинившегося; ученик носил этот лист до тех пор пока не имел возможности навязать его кому-нибудь другому, проговорившемуся не по-латыни; а у кого этот лист оставался на ночь, тот подвергался порке. Предпочтение, оказываемое латинскому языку, скоро после основания коллегии навлекло было на нее опасную бурю. Распространился между православными слух, что коллегия неправославна, что наставники ее, воспитанные за границею, заражены ересью, что в ней преподают науки по иноверческим руководствам, учат более всего на латинском языке, языке иноверческом, делают это для того, чтобы совратить юношество с пути отеческой веры! Подобные толки легко усваивались толпою. Русские привыкли к той мысли, что на латинском языке совершают богослужение и говорят враги их веры, ксендзы, и потому считали самое обучение этому языку неправославным делом. У Могилы не было недостатка в недоброжелателях: таковы были неученые и недостойные своего сана попы, которых он удалил от мест в значительном количестве. Кроме того, недоброжелательствовали ему все сторонники Исайи Копинского, и последний, как видно, сам говорил о неправославии сместившего его с митрополии соперника *. Дурное мнение о Могиле и его учебном заведении распространилось между казаками, всегда

* Так, приезжавший в Москву монах Густынского монастыря Пафнутий в расспросе сообщил, что «епископ Исайя писал в Лубенский и Густынский монастыри, что митрополит Петр Могила королю, всем панам радным и архиепископам лядским присягал, чтобы ему христианскую веру учением своим поправить и уставить все службу церковную по повелению папы римского, римскую веру и церкви хрестьянские во всех польских и литовских городах превратить на костелы лядские и книги русския все вывести». То же показал игумен густынский Василий, перешедший в Москву.

готовыми на суровую расправу с теми, кого считали врагами веры. И вот дело дошло до того, что однажды толпа народа, предводительствуемая казаками, собиралась броситься на коллегия, сжечь ее и перебить наставников. «Мы,— писал потом один из наставников, Сильвестр Косов, тогдашний префект киевской коллегии,— исповедывались и ожидали, что нами начнут кормить днепровских осетров, но, к счастью, Господь, видя нашу невинность и покровительствуя образованию народа русского, разогнал тучу предубеждений и осветил сердца наших соотечественников; они увидели в нас истинных сынов православной церкви, и с тех пор жители Киева и других мест не только перестали нас ненавидеть, но стали отдавать к нам в большом количестве своих детей и величать нас Геликоном и Парнасом». Событие, угрожавшее коллегии, происходило 1635 года; в этом же году, когда минула опасность, Сильвестр Косов издал «Экзегезис, или Апологию киевских школ», сочинение, в котором защищал способ преподавания, принятый в коллегии. Предпочтение, оказываемое латинскому языку, в глазах Петра Могилы и избранных им наставников оправдывалось обстоятельствами времени. Русские, учившиеся в коллегии, жили под польским правлением и готовились к жизни в обществе, проникнутом польским строем и польскими понятиями. В этом обществе господствовало и глубоко укоренилось мнение, что латинский язык есть самый главный, самый наглядный признак образованности, и чем кто лучше владеет латинским языком, тем более достоин названия образованного человека. Под влиянием иезуитов русские уже по самой своей народности подвергались презрению у поляков, и такой взгляд, естественно, содействовал тому, что русское шляхетство так торопливо стремилось избавиться от своей народности и перешедшие в католичество с гордостью признавали себя поляками. Чтобы рассеять такое предубеждение, необходимо нужно было русским, еще сохранившим свою веру и народность, усвоить те приемы и признаки, которые по тогдашним предрассудкам давали право на уважение, подобающее образованному человеку. Латинский язык в тогдашнем житейском круге был необходим не только для споров о вере с католиками, не хотевшими о высоких предметах говорить иначе как по-латыни,— латинская речь употребительна была на судах, сеймах, сеймиках и на всяких общественных сходбищах. Беглость в латинском языке и подготовка учеников к защите православной веры посредством слова достигались в коллегии путем диспутов, классовых и публичных, происходивших на латыни. Для этого одна сторона приводила разные противные православию доводы, бывшие тогда в ходу у католиков, другая — опровергала их и защищала православие. Такие диспуты не ограничивались одним кругом веры, но распространялись и на разные философские предметы. Устройство их показывает практический ум Могилы, стремившегося во всем к главной цели: выставить против католичества ученых и ловких борцов за русскую церковь, умеющих

поражать врагов их же оружием. В соответствии с этими практическими воззрениями Петра Могилы состоит и тот схоластический характер, который он дал всему научному образованию, получаемому юношеством в коллегии. Главный признак схоластического способа учения, развившегося в Западной Европе в средние века и еще господствовавшего в XVII веке, состоял в том, что под наукою разумели не столько количество и объем предметов, подлежащих познанию, сколько форму или сумму приемов, служащих к правильному распределению, соотношению и значению изучаемого. Мало знать, но хорошо уметь пользоваться малым запасом знания — такова была цель образования. Отсюда бесконечный ряд формул, оборотов и классификаций. Этот способ, как показали вековые последствия опыта, мало подвигал расширение круга познаваемых предметов и давал возможность так называемому ученому гордиться своею мудростию, тогда как на самом деле он оставался круглым невеждою или тратил время, труд и дарования на изучение того, что, собственно, приходилось впоследствии забывать как мало применимое к жизни. Но этот способ при всех своих крупных недостатках имел, однако, и хорошую сторону в свое время; он приучал голову к размышлению, к обобщению, служил, так сказать, умственной гимнастикою, подготавливавшею человека к тому, чтобы относиться к предметам знания с научною правильностию. Нельзя сказать, чтобы в Западной Европе во времена Могилы не было уже иного рода науки, иных понятий о знании, но эти начала нового просвещения, которые так быстро и блистательно повели ум человеческий к великим открытиям в области естествознания и к более ясному взгляду на потребности духовной и материальной жизни, были далеки и почти не касались тогдашней Польши, несмотря на то, что еще сто лет назад она была родиною Коперника. Вполне естественно было Петру Могиле остановиться на том способе учения, какой господствовал в стране, где он жил и для которой приготавливал своих русских питомцев, тем более что способ этот в его воззрении удовлетворял его ближайшей цели — образовать поколение защитников русской веры и русской народности в польском обществе. С нашим взглядом на просвещение, образование, получаемое в коллегии Могилы, должно показаться крайне односторонним: студенты, окончившие курс в коллегии, не знали законов природы настолько, насколько они были открыты и исследованы тогдашними передовыми учеными на Западе; мало сведущи были они в географии, истории, правоведении; но довольно было того, что они могли быть не ниже образованных поляков своего времени. Сверх того, чтобы оценить важность преобразования, сделанного Могилою в умственной жизни южнорусского народа, стоит взглянуть на то состояние, в каком эта умственная жизнь находилась на Руси до него, и тогда-то заслуга окажется очень значительною, а успех его предприятия — чрезвычайно важным по своим последствиям. В стране, где в продолжение

веков господствовала умственная лень, где масса народа пребывала по своим понятиям почти в первобытном язычестве, где духовные — единственные проводники какого-нибудь умственного света — машинально и небрежно исполняли обрядовые формы, не понимая их смысла, не имея понятия о сущности религии, где только слабые зачатки просвещения, брошенные эпохою Острожского, кое-как прозябали, подавляемые неравною борьбою с чужеродным и враждебным строем образования; в стране, где русский язык, русская вера и даже русское происхождение клеймились печатью невежества, грубости и отвержения со стороны господствующего племени, — в этой стране вдруг являются сотни русских юношей с приемами тогдашней образованности, и они не краснея называют себя русскими; с принятыми средствами науки они выступают на защиту своей веры и народности! Правда, в Польше, где только высший класс пользовался правом гражданства, а масса простого народа была подавлена гнетом самого бесчеловечного порабощения, высший русский класс так неудержимо изменял своей вере и народности, что его не могла уже остановить никакая коллегия. Польская образованность, направляемая иезуитами, разрушила бы рано или поздно все планы Петра Могилы, если бы вслед за тем не поднялся южнорусский народ против Польши под знаменами Хмельницкого. Киевскую коллегию с ее братством, без сомнения, постигла бы та же участь, какая стерла с лица земли львовские, луцкие, виленские и другие православные школы; но семя, брошенное Могоилою в Киеве, роскошно взросло не для одного Киева, не для одной Малороссии, а для всего русского мира: это совершилось через перенесение начал киевского образования в Москву, как скажем впоследствии. И в этом-то важнейшая и великая заслуга киевской коллегии и ее бессмертного основателя.

Несмотря на господство латинского языка, к сожалению, в ущерб греческого, киевская коллегия, однако, работала над развитием русского языка и словесности. Студенты сочиняли проповеди по-русски; выходявшие из коллегии в священники были в состоянии говорить поучения народу, а в Братском монастыре не проходило ни одной праздничной обедни, когда бы многочисленному собравшемуся в храме народу не говорилось проповеди или не изъяснялся катехизис православной веры. Проповедничество с тех пор стало обычным явлением в малорусских церквах, тогда как в Великой Руси проповедь была тогда явлением еще почти неслышанным. Студенты киевской коллегии занимались также стихотворною литературою и получили к ней особое пристрастие, но, к сожалению, писали по польскому образцу силлабическим размером, совсем не свойственным, как оказалось, природе русского языка по свойству его ударений; главный же недостаток тогдашних стиходеев был тот, что они разумели под поэзиею только форму, а не содержание. Стихотворцы щеголяли разными затейливыми формами мелких стихотворений (как, например, акrostихи, раковидные, или раки, которые

можно было читать с левой руки к правой и обратно, эпиграммы в форме яйца, куба, бокала, секиры, пирамиды и т. п.). В ходу были стихотворения, называемые поэмы и оды; то были панегирические стихотворения к значительным лицам по разным случаям, поздравления с именинами, с бракосочетанием, погребальные, воспевание герба, посвящения и пр. Они по предписанным правилам отличались крайней лестью к воспеваемому лицу и самоунижением автора. Часто стихотворения имели религиозное содержание, и образчиком таких могут служить многие стихотворения, помещенные в изданной в 1646 году книге «Перло многоценное», написанной Кириллом Транквиллионом; во вкусе того времени были стихотворения нравственно-поучительные, в которых олицетворялись разные добродетели, пороки и вообще отвлеченные понятия. Несмотря на сильную страсть к стихоплетству киевская коллегия не произвела ничего замечательного в области поэзии, и это тем более поразительно, что в тот же самый век в малорусской народной поэзии, не ведавшей никаких школьных правил и пиитики, творились истинно поэтические произведения, полные вдохновения и жизни; таковы, напр., казацкие думы, явно принадлежащие XVII веку. Ученики слагали праздничные вирши преимущественно на рождество Христова и пели, расхаживая по домам жителей; вирши этого рода перенимались и обращались даже в народе, но они резко отличаются от народных праздничных песен своею неуклюжестью, вычурностью и отсутствием поэзии. В области драматической поэзии опыты воспитанников киевской коллегии имели более всего значения по своим последствиям, так как они, хотя в отдаленности, стали зародышем русского театра. Начало драматической поэзии в Киеве положено «вертепами». Так назывались маленькие переносные театры, которые ученики носили с собою, переходя из дому в дом на праздник рождества Христова. На этих театрах действовали куклы, а ученики говорили за них речи. Предметами представлений были разные события из истории рождения и младенчества Христова. Такие вертепы существовали до позднейшего времени, и, вероятно, в древние времена они мало чем отличались от позднейших. Кроме представлений религиозных, в вертепах (как можно заключить по примерам позднейших времен) для развлечения зрителей представлялись разные сцены из народной обыденной жизни.

За этую первобытную формою следовали «действия», или представления, взятые из священной истории, где являлись олицетворенными разные отвлеченные понятия. Такого рода представления были в большой моде у иезуитов и в подражание им перешли в киевскую коллегию.

Язык, на котором писались опыты воспитанников киевской коллегии того времени, удален от живой народной речи и представляет смесь славянского языка с малорусским и польским, со множеством высокопарных слов. Достоино замечания, что после Могилы русский

книжный язык стал мало-помалу очищаться от полонизмов, и выработывалась новая книжная речь, которая послужила основанием настоящему русскому языку. В комических произведениях Южной Руси язык книжный приближался к народному малорусскому.

Враги православия при всяком случае старались делать коллегии всякое зло. В 1640 году Могила в своем универсале жаловался, что «наместник киевского замка, потакая злобе врагов коллегии, нарочно подослал своего поверенного, который, стакнувшись в корчме с некоторыми другими лицами, напал на студента Гоголевского, обвинил его в каком-то бесчинстве, а наместник без дальнего рассмотрения казнил его». Это было сделано с тем намерением, чтобы студенты, испугавшись дальнейшего преследования, разбежались. Событие это было так важно, что Могила должен был ехать на сейм и просить от польского правительства законной защиты своему училищу.

Уже в это время Могила, как он сам писал, потратил большую часть своего состояния на устройство училища и церкви. Вотчины, как его собственные, так и Печерского монастыря, с трудом могли доставлять средства на поддержку коллегии по причине разорений, понесенных ими то от татарских набегов, то от междоусобных войн с казаками, и митрополит принужден был просить пособия от разных братств. Несмотря на все это он напрягал все свои силы для поддержки своего любимого детища. В своем духовном завещании, написанном им, как видно, в то время, когда он чувствовал приближение смерти, он говорит: «Видя, что упадок святого благочестия в народе русском происходит не от чего иного, как от совершенного недостатка образования и учения, я дал обет Богу моему — все мое имущество, доставшееся от родителей, и все, что ни оставалось бы здесь от доходов, приобретаемых с порученных мне святых мест, с имений, на то назначенных, обращать частию на восстановление разрушенных храмов Божиих, от которых оставались плачевные развалины, частию на основание школ в Киеве...» Коллегию свою он называет в завещании своим *единственным залогом* и, желая «оставить ее укорененною в потомственные времена», в виде посмертного дара завещает ей 81 000 польских золотых, всю свою библиотеку, четвертую часть своего серебра, некоторые ценные вещи и — на вечное воспоминание о себе — свой серебряный митрополичий крест и саккос.

Петр Могила скончался 1 января 1647 года на пятидесятом году своей жизни, с небольшим за год до народного взрыва, иным путем отстоявшего русскую веру и народность.

ЕПИФАНИЙ СЛАВИНЕЦКИЙ, СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ И ИХ ПРЕЕМНИКИ

Перенесение киевской учености в Москву было важнейшим событием в истории русской образованности XVII века.

Событие это, чрезвычайно плодотворное по своим последствиям, началось постепенно, едва заметно, не сопровождалось никакими новыми учреждениями и ничем торжественным.

Из московских бояр выдавался тогда Федор Михайлович Ртищев¹. Это был человек старой Руси, но лучший человек, какого могла выработать старая Русь. Ревностно благочестивый, хранитель священных преданий и обычаев старины, он не довольствовался, как другие, одним соблюдением внешних приемов набожности; он был из тех, которые ищут внутреннего смысла наружных признаков; учение Христа увлекало его к подвигам христианской добродетели. Ртищев тратил значительные суммы на выкуп пленных, которых тогда было чрезвычайное множество в мусульманских землях, помогал нуждающимся, построил и содержал больницу для убогих. Во время войны с Польшею, сопровождая царя, Ртищев взял на себя попечение о раненых и изнемогавших от зимнего холода, приказывал подбирать их и отвозить для приюта в нанятые для них помещения, пользовал и содержал на свой счет, а по выходе их давал им вспоможение. Ртищев очень любил читать книги духовного содержания и посещать богослужение. Но ни то, ни другое не могло удовлетворять его в своем тогдашнем виде. Не все сочинения святых были ему доступны в славянском переводе, да и списки тех, которые он мог читать, не отличались правильностью и однообразием смысла. Ртищев видел, что нужны новые, более правильные переводы; чтение самогo священного писания возбуждало в нем желание проверить, правильно ли оно переведено в том виде, в каком было доступно для русских. Печатных изданий, кроме острожского, не было; в рукописных были разноречия.

Ртищев пришел к тому, что было бы необходимо в Москве заняться переводами благочестивых книг. Богослужение совершалось в то время, как искони в Москве, небрежно, невежественно, неблагочинно. Ртищев настаивал на том, что надобно привести его в достойный вид и произвести пересмотр богослужебных книг. Царь Алексей Михайлович полюбил Ртищева. Характер этого боярина пришелся по душе тишайшему царю. Бояре же смотрели на Федора Михайловича не совсем дружелюбно, даже с насмешкою; при тогдашнем господстве внешности тот, кто слишком задумывался о внутреннем смысле внешнего благочестия, казался для многих чудачком.

Ртищев знал, что в Киеве уже делается то, о чем он помышлял, и, преданный всецело своей мысли, обратился туда.

Сношения Малороссии с Москвою были частые. Игумены малороссийских монастырей просили у царей милостыни; за тем же обращалось еще к царю Михаилу Федоровичу и киевское братство. В 1640 году Петр Могила уговаривал царя устроить в своей столице монастырь, в котором бы старцы и братия киевского Братского монастыря «детей боярских и простого сана людей грамоте греческой и славянской учили». Таким образом, сам преобразователь воспитания в Южной Руси первый обратился в Москву и просил там сделать то, в чем нуждалась Великая Русь. Достоинно замечания, что в своем письме к царю Петр Могила выразился, что он об этом бьет челом государю паче всяких своих прошений. Так занимала киевского архипастыря мысль распространить начатое им дело на весь русский мир. В 1646 году Петр Могила прислал преемнику Михаила царю Алексею в подарок несколько лошадей и разные вещи, что показывает его постоянное желание связи с Москвою. Но при дружелюбных отношениях православной Малороссии к православной Москве у москвичей, однако, образовалось предубеждение против малорусской образованности и заподозревалась чистота правоверия киевских духовных писателей и наставников. Отчасти сами малоруссы возбуждали эти подозрения. При жизни патриарха Филарета² один киевлянин, званием игумен, доносил на учительное евангелие своего земляка Кирилла Транквилиона-Ставровецкого. Оценка этого сочинения поручена была двум московским книжникам: богоявленскому игумену Илию и соборному ключарю Ивану Швелю. Не зная языка, на котором было написано произведение южнорусского писателя, они находили еретический смысл там, где встречались грамматические особенности и непонятное для них значение слов*.

Москвичи считали себя одним только истинно православным народом в целом свете; греки, давшие России крещение, потеряли над ними прежнее свое обаяние; москвичи не доверяли греческим книгам, потому что греки, живя под властью неверных, воспитывались и печатали свои книги на Западе. Москвичи считали свои старые переводы более правильными, чем греческие подлинники в том виде, в каком последние были напечатаны; такой взгляд особенно утвердили справщики книг при патриархе Иосифе. Сам Никон вначале разделял этот взгляд и говорил, что как «малороссияне, так и греки потеряли веру и крепость добрых нравов; покой и честь

* Так, напр., у Транквилиона о распятии Христа было выражение: «пригвоздили до креста». Московские книжники возмущались этим, увидели здесь ересь, говорили, что следует писать: «ко кресту», не понимая того, что «до креста» по-малорусски и значило ко кресту; или, нашедши слово *речь* — в смысле вещи (по-латыни *res = rzecz*), они приняли это слово в том смысле, в каком оно употреблялось в Великокороссии, и приписали автору такие мнения, каких он вовсе не имел. Густыньские монахи, как мы уже заметили, именем Исаяи Копинского уверяли москвичей, что Могила — изменник православию.

их прельстили, они своему чреву работают, и нет у них постоянства...»

Появление киевских ученых в Москве, очевидно, должно было встретить против себя много враждебного, но боярин Ртищев, поддерживаемый царем, в виде частного предприятия принял на свой счет пригласить и содержать нескольких киевских ученых, «ради обучения словенороссийского народа детей еллинскому наказанию».

Нам, к сожалению, неизвестны первоначальные сношения Ртищева с Киевом по этому поводу, но по его просьбе несколько ученых монахов решились оставить родину и служить делу духовного просвещения в Московском государстве, осуществляя, таким образом, одну из заветных мыслей покойного Петра Могилы. Главным из этих приезжих ученых был иеромонах Братского монастыря Епифаний Славинецкий*.

Воспитанник Киево-Могилянской коллегии, Епифаний окончил свое образование за границей, а потом был преподавателем в той же киевской коллегии, где учился сам. Трудно было найти человека, более годного для того, чтобы открыть собою в Москве ряд ученых. Епифаний обладал большою по своему веку ученостью: отлично знал греческий и латинский языки, имел сведения в еврейском языке; он изучил писания св. отцов и всю духовную, греческую и латинскую литературу, знал хорошо историю и церковную археологию. Он был характера кроткого, сосредоточенного, предпочитал уединенную жизнь кабинетного ученого всяким искательствам почестей, не терпел никаких житейских дрязг, был всем сердцем предан науке, но это не мешало ему применять свою науку к самым насущным потребностям своего времени. Славинецкий был, словом, одним из тех ученых, которые, живя кабинетными затворниками, работают, однако, не бесплодно для современных нужд своего общества. Славинецкий умел уживаться со всеми, никого не раздражал заявлением о своем умственном превосходстве, и своею безукоризненною честностью приобрел всеобщее уважение.

Никон, познакомившись с ним, полюбил его, изменил свое предубеждение против малоруссов и во всем положился на него в важном деле исправления книг.

Первые труды Славинецкого состояли в переводах разных сочинений св. отцов. Ртищев поместил его с братиею в новопостроенном Андреевском Преображенском монастыре³ на берегу Москвы-реки (между Калужскими воротами и Воробьевыми горами, где теперь дом Общественного призрения). Кроме переводов книг, обязанностью киевских монахов было обучение юношей: в том же монастыре было основано училище.

* Подлинно неизвестно число всех прибывших с ним монахов. Впоследствии кружок ученых тружеников, работавших под руководством Епифания, простирался до 30 чел., но в число их входили уже и великоруссы.

Но недолго пришлось Славинецкому проживать в этом уединении. Царь назначил его справщиком типографии и перевел в Чудов монастырь, где также было училище, переведенное туда из здания типографии. Славинецкому главным образом поручили важное дело исправления книг. В постоянных ученых занятиях Епифаний пробыл в Москве 26 лет, проживая со своими сотрудниками также в архиерейском доме, в Крутицах, где был прекрасный сад, изобильно снабженный водою. Он постоянно оставался в том же звании иеромонаха, в котором прибыл из Киева, и только однажды принял участие в общественном деле, именно тогда, когда хотели судить Никона. Заявивши свое мнение, строго подкрепленное церковными законоположениями, верный своему скромному монашескому сану, не стал он спорить с сановитыми противниками Никона и воротился к своему ученому уединению. Жизнь Епифания, как вообще жизнь ученого труженика, протекала однообразно. Он весь отразился только в своих ученых трудах.

Исправление богослужебных книг начал Славинецкий неторопливо, с надлежащею обдуманностью. Для этой цели был отправлен на Восток Арсений Суханов⁴ за разными старыми рукописями. Только окруживши себя громадным количеством греческих и славянских списков, принялся Епифаний за исправление книг. Помощниками ему были приехавшие с ним земляки: Арсений Сатановский и Данило Птицкий, Арсений грек, затем несколько великороссиян, справщиков и книгописцев печатного дела*.

Под руководством Епифания были напечатаны богослужебные книги в исправленном виде, в том виде, в каком до сих пор остались они в употреблении по церквам во всей России и даже в православных краях славянского мира. То были: «Служебник» с предисловием, составленным Епифанием, «Часослов», две «Триоди»: постная и цветная, «Следованная Псалтирь», «Общая Минея», «Ирмолог». К тому же разряду богослужебной литературы, как объяснительную книгу, можно отнести «Новую Скрижаль», переведенную с греческого и напечатанную в 1656 году. Здесь объясняется литургия и другие обряды восточной церкви. К этой книге Епифаний приложил историю начала исправления книг в России, поводы, побудившие к этому предприятию, деяния собора, состоявшегося в Москве по этому поводу, и опровержения против нападок врагов исправления книг. Богослужебная реформа обыкновенно считается делом Никона, как вообще приписываются важные перемены, учреждения, устройства тем лицам, которые занимали правительственные должности, между тем как собственно всю работу исполняли подначальные им труженики, иногда малоизвестные и незаметные. Противники богослу-

* То были: священник Никифор, иеродиакон Моисей, бывший игумен Сергей, Михаил Родостапов, Фрол Герасимов и чудовский монах Евфимий, особенно привязанный к Славинецкому.

жебной реформы окрестили ее последователей именем никониан. Но, если и справедливо принадлежит она патриарху Никону, сознавшему важность и необходимость предпринятых исправлений, то еще с большим правом надобно признать эту реформу делом Славинецкого и работавших под его руководством тружеников, тем более что Никон, человек хотя умный, но мало ученый, на самом деле во всем должен был полагаться на добросовестность и знания Епифания.

Вместе с исправленными богослужебными книгами необходимо было также издание церковных законоположений в исправленном виде. Епифаний перевел «Правила св. Апостол», «Правила вселенских и поместных соборов», Фотиев «Номоканон» с толкованиями византийских юристов Вальсамона и Властаря и «Собрание церковных правил и византийских гражданских законов», составленное по-гречески Константином Арменопулом.

Переводная деятельность Епифания обратилась на писания св. отцов. Он перевел много сочинений, из которых некоторые были уже давно известны и любимы в славянских переводах, но тем нужнее было издать их в более правильном виде *. Переведено было им еще несколько житий святых: Алексея Божия человека, Феодора Стратилата, великомученицы Екатерины. Жития этих святых были уже прежде в ходу у читателей и искажались вымыслами, а потому особенно полезным казалось издать их вновь как следует.

Одними религиозными сочинениями не ограничился Епифаний в своих переводах. Он перевел с латинского несколько светских книг по части педагогики, истории, географии и даже анатомии **: нельзя, однако, сказать, чтобы литературное достоинство переводов Епифания могло привлекать к ним много читателей. Переводчик, большой буквалист, хотел переводить как можно ближе к подлиннику, и вместо того чтобы передать смысл подлинника оборотами, свойственными языку, на который переводится, он кует произвольно славянские слова на греческий лад, дает славянской речи греческую конструкцию, вообще слог его переводов тяжел, темен, иногда непонятен ***. В самом его переводе богослужебных книг также встречаются тяжелые и неудобопонятные обороты.

* Несколько сочинений Афанасия Александрийского (четыре Слова), «Пятьдесят слов Григория Богослова», «Беседа Иоанна Златоустого на пятидесятницу», Иоанна Дамаскина «О православной вере», «Слово о поклонении иконам». Они были печатаемы.

** «Уставы граждано-правительные»; «От Фукидидовы истории книга первая»; «О убиении краля агельского»; «Гражданство и обучение нравов детских»; «Географии две части Европа и Асия»; «Книга врачевская, Анатомия, с латинского от книги Андрея Вессалия Брукселенска».

*** В виде образчика переводов выпишем, напр., объяснение, что такое икона: «Всяка икона изъяснительна есть и показательна, яко что глаголю, понеже человек ниже виднаго, нагое имать знание телом покровенней души, ниже по нем будущих, ниже место разстоящих и отсутствующих, яко местом

Главнейшею мыслью, занимавшею Славинецкого всю жизнь, был новый ученый перевод Библии; к сожалению, эта мысль не осуществилась. Вместо нового перевода в 1663 году напечатана была Библия с острожского издания с некоторыми небольшими поправками явных ошибок (например, вместо «изъядоша седьм крав» — «изыдоша седьм крав» и т. п.). В предисловии к этой Библии, вероятно, написанном самим Славинецким как главным справщиком типографии, приводятся две главных причины, воспрепятствовавшие более ученому изданию Библии. Первая была — господствовавший в то время предрассудок, что у греков повредилось благочестие, что их книги испорчены, и самый правильный текст заключается в старых славянских переводах; вторая причина, по выражению предисловия, еще более важная — «неудобоносимое время, настоятельство браней, вещей в мире оскудение», т. е. неудачные военные обстоятельства и вследствие их скудость средств, которые необходимы были в значительном количестве для этого предприятия. «Всякому легко понять, — продолжает предисловие, — что никак невозможно было начинать и доводить до конца этого предприятия». Но одно уже печатное издание Библии в Москве было новым явлением для своего времени; Славинецкий же не оставил мысли о лучшем издании; и после того как прекратились тяжелые войны, он стал неотступно просить царя, владык и бояр разрешить новый перевод священного писания. «Мы, — говорил он, — не имеем хорошо переведенной Библии; даже в Евангелии есть погрешности; и мы за это терпим укоризну и крайнее бесчестие от иноземных народов». В 1674 году собор, состоявшийся при участии царя Алексея Михайловича, поручил Славинецкому сделать новый перевод Библии под наблюдением Павла Сарского, исправлявшего должность патриарха. Под рукою у Епифания было две печатных греческих Библии и сверх того множество рукописей, как греческих, так и славянских, из которых многие были привезены Сухановым с Востока. Но Епифаний успел перевести только Новый Завет и Пятикнижие. Смерть прекратила его труды.

Славинецкий применил к делу свои филологические знания и создал два лексикона: один филологический, для объяснения слов, встречаемых в церковных книгах и церковном богослужении; другой — греко-славяно-латинский, где помещено до 7000 слов. Оба эти лексикона остались неизвестными.

Епифаний писал проповеди и поучения. Эта деятельность также соответствовала требованиям времени. Проповедь была тогда в Великой Руси новостью. С XV века там никто не говорил проповедей, никто даже не считал полезным делом говорить их, напротив, там

и летом описанный к наставлению знания и явление и народствование сокровенных примыслися икона всяко же к пользе и благоделянию и спасению, яко да столествуем и являемым вещем разнаем сокровенная» и пр.

думали, что они могут подавать повод к вольнодумству и ересям. Патриарх Никон первым из русских иерархов ввел в богослужение проповеди и поручил читать для народа поучения Епифанию, вполне доверяясь как его правоверию, так и учености. Переведенные Епифанием с греческого «Поучения отцов церкви» имели практическое применение и читались им в храмах. Кроме переводных проповедей он написал около 50 Слов собственного сочинения, которые до сих пор остаются в рукописях. Проповеди Епифания походят более на диссертации, чем на поучения народу. Епифаний объясняет догматы и символы церкви, значение праздников и разбирает ученым способом разные стороны христианского учения. Проповеди его испещрены множеством выписок из церковных писателей; эти выписки приводятся в рукописях даже не в переводе, так что в таком виде они могли читаться разве только ученым слушателям. Впрочем, как думают, проповедник переводил эти места во время произнесения проповеди. Нередко Епифаний приводил места из греческих философов и даже поэтов (но гораздо с большей критикой, чем другие малорусские проповедники). Слог его проповедей хотя значительно лучше слога переводов, изданных под его руководством, — страдает, однако, вычурностью и напыщенными метафорами *. Есть несколько проповедей, где Славинецкий захватывает вопросы современной жизни. В одной из таких проповедей, которая начинается словами «Людие, сидящие во тьме», проповедник говорит о пользе знакомства с греческим языком и вооружается против тогдашних ревнителей невежества с негодованием, для примера вспоминает о Марке Катоне, не хотевшем распространения греческого просвещения в Риме. «В нынешние времена, — говорит он, — много видим мы ослепленных людей, которые возлюбили мрак неведения, ненавидят свет учения, завидуют тем, которые хотят озарять им других, вредят им клеветами, лицемерием, обманом; подобно тому как совы по своей природе любят мрак и скрываются, когда засияет солнечная заря, так и эти мысленные совы, ненавистники науки, скроются в любимый ими мрак, когда ясная благодать пресветлого царского величества захочет разрушить тьму, прогнать темный обман и благоизволит воссиять свету науки и просвещать природный человеческий разум». Эта же любовь к просвещению выражается у него в «Поучении к иереям», где он дает священнику такое наставление: «Пекись и промышляй всем сердцем и душою, сколько твоей силы станет, увещай царя и всех могучих людей везде устраивать училища для малых детей,

* Он увещает своих слушателей «изсечь душевредное стволие неправды богоизошренным сечивом покаяния, искоренить из сердец пагубный волчец лукавства, сожечь умовредное терние ненависти божественным пламенем любви, одождать мысленную землю душ небесным дождем евангельского учения, наводнить ее слезными водами, возрастить на ней благопотребное былие кротости, воздержания, целомудрия, милосердия, братолюбия, украсить благовонными цветами всяких добродетелей и воздать благой плод правды».

и за это, паче всех добродетелей, ты получишь прощение грехов своих!» «Поучение к иереям» замечательно также и в других современных отношениях, так как проповедник дает наставление священникам: что они должны говорить своим духовным детям. Здесь касается Славинецкий должного благочестия, приказывает не думать спастись молитвами святых угодников, пребывая самому во грехах, повелевает почитать иконы, но помнить, что это только изображения, чувствовать святых, но только как рабов и слугителей божиих: «те же,— прибавляет проповедник,— которые хотят поклоняться иконам, как богам, достойны вечного огня». Замечательно наставление, которое он вменяет в обязанность священнику делать господам относительно их рабов и подвластных. «Будь для рабов твоих таков, каким хочешь, чтобы был для тебя владыка. Не налагай на земледельцев работ паче их силы, не озлобляй их, дабы вопль и стенанье их не дошли до Господа. Пусть они имеют праведное уравниение в работе и в дани. Лучше получить мало пользы с правдою, чем много с неправдою. Посмотри, как тяжело приобретают они потребное для себя: те отправляются в дальнее путешествие по суше и по воде, приобретают себе достояние долговременною разлукою с домом, другие несут ярмо вседневного страдания в тяжелых земледельческих работах и, собирая земные плоды, дорожат каждым зернышком».

В «Слове о милостыне» проповедник в живых красках рисует разные положения людского страдания, требующего поддержки и пособия. Он не слишком любит просящих милостыни и сердечнее относится к тем, которые стыдятся или не могут просить, не хотят валяться и шататься по улицам, а между тем горько страдают. Таковы вдовы, оставшиеся без мужей в нищете с малыми детьми, с возрастными девицами: «дети хотят хлеба, служители — платы, девицы — одежды, сыновья — ученья или рукоделья, а между тем заимодавцы требуют долгов, заводят тяжбы, берут залого; они же стыдятся просить». Затем проповедник изображает страдания сирот в разных положениях: «Вот покинутый младенец, он плачет; как его не помиловать? Кто может быть достойнее милосердия, как не глупое существо, не знающее своей беды? Вот дети, оставшиеся без родителей; попечителей у них нет, или же попечители не радуют о них; вот девицы без одежды, без научения, в гладе, в нужде... А вот бедные крестьяне: у тех скот пал, у того господин все взял, у другого воин все ограбил, а тут царь дани требует, господин оброку... работать бы ему, да нечем...» К числу достойных страдания проповедник причисляет странника и пришельца: «Не о том пришельце говорим, который идет в чужую страну для обогащения, а о том, который зайдет туда по какой-нибудь нужде, например, ищет себе службы у доброго государя, или женится на чужеземке, и вдруг от разбоя, недуга или какого иного несчастья погубит все свое достояние; нет у него приятелей, нет знакомых,

и языка страны он не знает. Такого надобно пожалеть». Но касаясь раздачи милостыни всякому встречному, проповедник опровергает господствовавшее тогда (и теперь оно существует) на Руси мнение, что следует давать всякому, кто попросит именем Христа. «Если ты видишь просителя здорового и не состарившегося и даешь ему милостыню, то сам делаешься общником греха. Стыдно смотреть, как размножились у нас скитающиеся гуляки, обманщики, как много таскается по улицам здоровых женщин с малыми детьми, а еще более девиц. Иные за деньги нанимают малых детей и через них собирают милостыню, а ночи проводят во всяком бесчинстве». Он вооружается также против шатающихся монахов и монахинь, но вместе указывает и на причины этого шатания. «Настоятели тратят монастырское имение на свое сластопитание, угощают у себя вельмож, содержат откормленных лошадей, готовят себе вкусные и дорогие снеди, а бедной братии дают негодную, суровую и гнилую пищу». Он требует, чтобы архиереи старались прекращать это бесчинство, а мирское правительство, по его мнению, должно устраивать богадельни для престарелых и больных, обеспечивать их и смотреть, чтобы призреваемые не бегали отсюда и не шатались по миру. Наконец, Епифаний предлагает для призрения бедных и для устранения бесчинства составить братство или общество милосердия. Кто будет давать деньги, а кто помогать своим трудом. Каждое воскресенье будут братья сходиться для рассуждения между собою и выберут из среды своей десять распорядителей. Посторонние посетители будут приходить и извещать о человеческих нуждах. Братия будет обсуждать: кому, чем и сколько помочь, смотря по надобности; иным бедным можно давать временное пособие, другим постоянное до самой смерти. Женщины могут составить свое общество милосердия и, собравши пожертвования, еженедельно отсылать в главное «всепрятельище»; наконец, Епифаний предлагает устроить кассу и давать из ней бедным займы, а если много будет денег в кассе, то можно давать и имущим, но в обоих случаях без лихвы.

Мысль эта, по-видимому, внушена была Славинецкому примером юго-западных братств с тою значительною разницею, что общество, предлагаемое Славинецким, было чисто благотворительное, тогда как юго-западные братства имели целью защиту православия и обучение детей. Одна из проповедей Епифания направлена против раскольников, которых он называет непокорниками и обличает не от лица своего, а от лица церкви, касаясь преимущественно тех писателей, которые рассеивали в народе сочинения против исправления книг. «Новоявленные учителя тайно составляют ложные писания и тем в народе производят толки и смятения. Они сами стыдятся или боятся показать лицо свое. А кто призвал их на дело тайного учения, или, лучше сказать, народовозмущения? Не Бог, не архиереи; своим гордым самомнением и тщеславным умом дошли они до этого. Уже не то что мужчины, даже и женщины, которым Апостол

учить не повелевает, пустились на это. Слепые невежды, едва привыкшие читать по складам, не имеющие понятия о грамматике, не то что о риторике, философии и богословии, люди, даже не отвдавшие учения, дерзают толковать божественное писание, или, лучше сказать, извращать его, оговаривают и осуждают благоискусных мужей в славянском и греческом языке. Не видят невежды, что у нас исправлялись не догматы веры, а только кое-какие выражения, измененные недомыслием и описками невежественных писцов или невежеством типографских справщиков».

Кроме всех упомянутых трудов Славинецкий написал еще несколько канонов, похвальных слов, утешительное послание к княгине Радивилловой, сочинение об отшествии с престола Никона патриарха, сочинение «о псалмах, превращенных от Аполлинария» и т. п. Еще не вполне известны и не исследованы все его сочинения.

Славинецкий скончался 19 ноября 1675 года, завещавши киевскому братству свою библиотеку, которая, впрочем, была невелика. Кроме книг после него осталось восемьдесят червонцев и серебряные часы с цепочкою ценою в 20 рублей. Червонцы были разосланы по разным южнорусским монастырям, а большая часть книг оставлена в Москве, кроме 31, отправленных на киевское братство; за остальное выплачены деньги.

Епифаний Славинецкий погребен в московском Чудовом монастыре *.

За Епифанием Славинецким из западнорусских пришельцев в Москву никто не имел такого важного влияния, как Симеон Петровский-Ситиянович⁵; по месту, откуда прибыл в столицу, он обыкновенно называется Симеоном Полоцким.

Жизнь этого человека до переселения его в Москву нам совершенно неизвестна. Есть основание думать, что он родился в 1628 году, учился в Киевской коллегии, потом в заграничных учебных заведениях и по возвращении своем в свое отечество, Белоруссию, поступил в монахи. Алексей Михайлович познакомился с ним в Полоцке. В 1664 году Симеон прибыл в Москву и был помещен в Спасском монастыре за иконным рядом⁶. С ним приехали его служители. Ему приказано было давать из дворца содержание; но остались его письма к царю — любопытные не столько для характера По-

* На гробе его следующая надпись:

«Преходяй человек! zde став да взираеши,
Дондеже в мире сем обитаеши;
Зде бо лежит мудрейший отец Епифаний,
Претолковник изящный Священных Писаний,
Философ и Иерей в монасах честный,
Его же да вселит Господь и в рай небесный
За множайшии его труды в писаниих
Тщанно-мудрословные в претолкованиих,
На память ему да будет
Вечно и не отбудет».

доцкого, сколько по чертам тогдашнего порядка вещей. Несмотря на то что Симеону от самого государя назначено было содержание, Симеон принужден был несколько раз обращаться к царю с письмами и просить, чтобы ему выдавали то, что было положено. Таким образом, кроме содержания для себя и для своей прислуги он просил, чтобы ему согласно обещанию выдавали дрова во время зимней стужи и корм его лошадям. Характер этого человека не был похож на характер Епифания. Симеон не довольствовался скромными келейными учеными трудами; он беспрестанно напоминал о себе при дворе, кланялся государю, писал поздравительные стихи, восхваления всякого рода и вошел в такую милость, что сделался учителем царевича Федора, а пред концом царствования Алексея Михайловича увеселял царя и его двор комедиями своего произведения.

Сочинения Полоцкого не показывают в нем большой учености; он вовсе не знал по-гречески; Епифаний Славинецкий недолюбливал его, как часто не любят добросовестные труженики науки верхоглядов, и когда Симеон набивался к нему в сотрудники по исправлению книг, Епифаний отделался от Симеона, хотя по своему добродушию охотно отвечал ему на разные вопросы, с которыми обращался к нему Симеон, гораздо меньше его ученый. Зато, не успевши приобрести знания у строгого ученого, Симеон поспевал везде и прославлялся как защитник православия против раскола, как богослов, как проповедник, как стихотворец. Замечательного таланта у него не было ни на одно из этих призваний, но его сочинения занимательны, так как касаются современных вопросов жизни и представляют много своеобразного в духе своего времени.

В 1667 году в разгар борьбы против раскольников патриарх Иосиф приказал напечатать составленную Симеоном книгу под названием «Жезл православия». В длинном предисловии, исполненном болтовни, автор обращается с сильными воскурениями к архиереям вообще, восхваляя их великое значение. Само сочинение разделяется на две части. Первая часть есть обличение челобитной попа Никиты Пустосвята, поданной царю против новоисправленных книг и главным образом против книги «Новая Скрижаль»; вторая часть сочинения Полоцкого направлена против челобитной попа Лазаря. Никита Пустосвят старается, на основании произвольно приданного смысла отрывочно взятых фраз, обличать Никона и исправителей книг в ересь. Симеон уличает Никиту, что он не знает грамматики, а потому не понимает того, что читает. Таким образом, взявши одно место перевода, где изображается человек, носящий крест, Никита понял это место так, что там говорится о Христе, тогда как шла речь не о Христе, а о преступнике, осужденном на казнь *. К такому же

* «Видевши сие, годствует в Никите, иже дерзав во богословския глубины ум свой пущати, се на брезе грамматическаго разума и в мелкости ея утопает, солнце хотевый соглядати, стези не видит. Приидите семо и малейши

разряду промахов принадлежит обличение Никиты против молитвы при крещении. Никита доказывал, будто выходит такой смысл, что призывается нечистый дух (несмотря на нелепость этого замечания, опровергнутого еще Симеоном Полоцким, оно до сих пор повторяется раскольниками в числе важных укоров), тогда как все произошло от того, что не ведающий хорошо славянской грамматики ревнитель староверства не знал различия звательного падежа от именительного*.

Спор Симеона с Никитою заходит в богословские тонкости, например — о способе воплощения Христова. Но тут Симеон, пустившись в умствования, невольно выказал влияние католичества, которое отразилось на нем со времени посещения римско-католических училищ. Он, между прочим, признает временем пресуществления святых даров на литургии произнесение священником слов Спасителя: «примите» и проч., тогда как (что и поставлено было впоследствии Симеоу в вину) восточная церковь мудрствовала иначе.

Спор Симеона с Никитою касался также вопросов о двуперстии, о четвероконечном кресте (называемом раскольниками латинским крестом), о сугубом алилуи и проч. Тон, с которым Симеон вооружается против своего противника, переходит в ругательство: Симеон называет его буесловцем, нечестивым, окаянным, смрадным козлицем, свиньей, изрывающею вертоград церкви, разбойником, удом согнившим и проч.

Спор с Лазарем вращается более, чем спор с Никитою, в области приемов внешнего богослужения, либо же касается придирок Лазаря к словам и выражениям в переводах, которыми для буквальной близости к подлиннику или для грамматической правильности речи** в новоисправленных книгах заменены были прежние однозначные выражения. В разных обрядах, принятых и установленных тогда церковью, Лазарь усматривает влияние то латинства, то армянства: зачем, например, плащаницу ставят головою на полдень, зачем на пасху читают диаконы Евангелие в разных местах церкви; зачем

отроцы грамматическая хитрости рачители, виждьте и судите: о Христе Дамаскин монах написал сия! Виждьте, колико умен буесловец Никита! Не о Христе Господе сие есть писано, но о тате и разбойнице или за иный который грех осужденном на смерть крестную человеце».

* «Да не снидет со крещающимся, молимся тебе, Господи, дух лукавый, помрачение помыслов и мятеж мыслей наводяй».

** Напр., вместо «смертию на смерть наступи» — «смертию смерть поправ»; вместо «его же величающе тебе, Дева, ублажаем» — «его же величающе Деву ублажаем»; вместо «яко воистину блажити тя, Богородице» — «яко воистину блажити тя, Богородицу»; вместо «Христос воскресый из мертвых, истинный Бог наш, молитвами пречистыя его Матере» — «молитвами пречистыя своея матере» и тому подобное. Верх детскости взглядов и понятий выразился в том, что в известной песне на литургии «Един свят, един Господь Иисус Христос» в слове Иисус Лазарь читает союз соединительный и видит разделение лица Христова.

поп сидит на исповеди, зачем архиереи благословляют обеими руками, зачем введено пение, напоминающее органы, и проч., и проч.; на все отвечает Симеон объяснительным тоном, но примешивает иногда и ругательства. В особенности озлобился он на то, что Лазарь в своей челобитной представлял царю, что неприлично делают, поминая его «тишайшим и кротчайшим», и слова в ектениях «о всей палате и воинстве» толковал так, как будто здесь говорится не о здравии и спасении царя, не о его боярах и воинах, а о каких-то каменных палатах и палатном воинстве. «О, клеветник Лазарь,— возражает ему Симеон,— как это ты Бога не боишься и людей не стыдишься; будто мы, называя государя тишайшим и кротчайшим, ругаемся над именем великого государя нашего. Невежда! Безумный злобник!.. А что ты клеветтешь, будто мы не творим молитв о боярах, но молимся о каменных палатах и о палатном воинстве, так такое обличение вместо ответа лучше оплевать и обругать и тебе уста заградить жезлом, как псу лаящему!..» Затем объясняет ему Симеон, что слово «палата» заменяет бояр и воинство «через образ грамматический и риторский, именуемый синекдоха, еже различными образами бывает, егда едино из другого коим либо обычаем познавается».

В 1670 году Симеон написал большое богословское сочинение под названием «Венец веры католическия». Он берет так называемый большой апостольский символ веры и по членам его распределяет разные богословские предметы, излагая их в форме вопросов и ответов *. Такой способ дает ему повод наподобие средневековых схоластиков задавать самые затейливые и мелочные вопросы, сообщает различные мнения об этих вопросах, почерпаемые то из восточных, то из западных писателей, а нередко из апокрифических сочинений. Зачем, например, Христос родился в декабре? В какой час дня совершилось благовещение и рождество? Мог ли Христос говорить тотчас после своего рождения? Зачем Христа пригвоздили ко кресту четыремя, а не тремя гвоздями? Всю ли свою кровь, излившую на кресте, восприял Христос при воскресении, или частицы ее остались и смешались с землею? и проч., и проч. Следуя за апостольским символом, когда пришлось говорить о творце и творении, Симеон изложил своеобразную и уродливую систему космографии, показывающую его знакомство с западными астрологическими бреднями: результаты современных ему научных исследований мало до него прикасались. Существует трое небес: эмпирейское, неподвижное, самое высшее; кристальное, движущееся с неизреченною скоростью; и твердь, разделяющаяся на два пояса, первый — звезд неподвижных, а второй — планет. Планетное небо разделяется на

* Три первые главы составляют как бы вступление: здесь говорится о том, что такое христиане, откуда их вера, о ересях, а затем четырнадцать глав посвящены членам апостольского символа.

семь кругов, или поясов, по числу планет, известных тогда (Крон, Дей, Ар, Солнце, Афродита, Ермий, Луна). Симеон приводит баснословные расстояния от каждой планеты до другой. От земли до тверди восемьдесят тем миль (т. е. 800 000), а от верха земли до эмпирейского неба так далеко, что если ехать туда со скоростью восьмидесяти миль в час, то времени понадобится бы 50 000 лет. Звезды описываются так: «веществом чисты, образом круглы, количеством велики, явлением малы, качеством светлы, дольних вещей родительны» (имеют влияние на перемены в воздухе). Планеты по местоположению ниже звезд; иногда они ходят по одному пути со звездами, а иногда по противоположному. Самая малейшая звезда в восемьдесят раз больше Земли, а следующая по величине звезда превосходит пространство Земли в 170 раз. Солнце в 166 раз больше Земли; Луна же в 30 раз меньше. Всякий час Солнце совершает 7160 миль, из которых каждая требует человеческой ходьбы два часа. Земля представляется круглою, черною, тяжелою, холодною; она кентр (центр) всего мира, мрачна и содержит в себе ад. Землетрясение происходит от терзания заключенных в ее недрах духов.

Симеон останавливается с большим вниманием над созданием и грехопадением человека, приводит разные мнения о том, сколько времени пробыл Адам в раю, и более склоняется к тем, которые полагали, что первобытная чета пробыла только три часа и согрешила в шестой час дня, почему и Христос, искупляя человечество от прародительского греха, был распят в шестой час дня. Разбирая вопрос о чадородии, Симеон приходит к такому мнению, что если бы люди не согрешили, то зачинались и рождались бы обыкновенным способом, как теперь, но только с тою разницею, что зачинались бы без необузданной страсти, а рождались без смрада, без болезни. Родители, проживши в земном раю, уступали бы свое место детям, а сами были бы возносимы на небеса, и таким образом умножение человеческого рода восполняло бы число ангелов, так как человек для того и был создан, чтобы заместить отпавших от бога духов. Злые ангелы, возмущившиеся против бога, не принадлежали к одному какому-нибудь чину, который всю свою корпорациею пал и лишился блаженства; они были увлечены сатанюю из разных ангельских чинов, сам же сатана состоял в числе самых высоких и самых близких к богу духов небесных. В главе о воскресении мертвых автору приходят на мысль самые странные вопросы, например, воскреснут ли мертвые с волосами и ногтями, так как у человека, который их в течение своей жизни обрезывал, могло накопиться их очень много? Этот вопрос разрешается так: воскреснут, но настолько, насколько нужно для украшения плоти. Воскреснут ли кишки? Воскреснут, отвечает Симеон, но будут наполнены не смрадным калом, а презрядными влагами. Семени в человеке не будет, так как Христос сказал: в воскресении не женятся, не посягают. Но вот еще вопросы. Все тело человека истлело, но все его части должны воскреснуть.

Как они в то время соединятся между собою? Могут ли разновидности соединиться, например, кость с костью, жилы с кровью и т. п.? Нет, отвечает наш мудрец, только персть одновидных частей может соединиться; то, что было в руке, может очутиться в ноге, ибо это не изменит тождества лица человеческого, но персть разновидных частей не может быть смешана, и то, что составляло жилы, не может образовать крови, или то, что составляло мясо, не может войти в состав крови или костей, иначе все равно: если бы кто разрушил серебряный сосуд с золотою крышкою, потом из крышки сделал сосуд, из сосуда крышку: разве мог бы сосуд назван быть прежним сосудом?

Конец мира возбуждает особенное внимание, и здесь появляются на сцену более всего кстати разные вековые вымыслы религиозной фантазии. Антихрист очень занимает Симеона; автор приводит разные мнения об этом лице; одни признавали его воплощенным дьяволом, другие — человеком, слугою дьявола или, лучше сказать, каким-то полудьяволом, потому что выдумывали рассказы о его чудном происхождении на свет, и при этом дьявол играет важную роль. Симеон думает, что Антихрист будет человек и подобно всем людям будет иметь у себя ангела-хранителя, но предастся злу, отступит от бога, и ангел-хранитель покинет его. Антихрист — человек с необыкновенными умственными способностями, он будет сведуш, как никто, но вместе с тем он чрезвычайный лицемер и свою могучую духовную силу обратит на пагубу, а не на пользу человеческого рода: он весь зло, хотя по наружности будет казаться образцом всех добродетелей. Ему будет помогать какой-то жрец из христианского полка. Антихрист введет поклонение богу Маозею (божество силы и успеха). У него будут лжепророки и лжеапостолы, которых он разошлет по земле привлекать к своей вере. Антихрист достигнет могущества, он сделается царем; столицею его будет Вавилон. Всяк, кто подчинится ему, получит знамение на челе и на руке, а у кого такого знамения не будет, тот не может ничего ни купить, ни продать. Царствуя в Вавилоне, Антихрист будет вести войны и победит трех царей: египетского, африйского и эфиопского; Аравия ему не покорится. Гог и Магог восстанут, но наш богослов сам подлинно, кажется, не знает, что такое эти Гог и Магог. Он приводит только мнение (наиболее распространенное), что под этими именами разумеются народы заклятые и замкнутые в каспийских горах, но, по другим толкованиям, это названия антихристовых ратных людей: Гог — действующие тайно, а Магог — действующие открыто. Не явятся Энох и Илия и станут проповедывать против Антихриста; проповедь их будет (сообразно Апокалипсису) длиться тысячу двести шестьдесят дней. Антихрист убьет их в Иерусалиме. Они воскреснут из мертвых, но вслед за тем постигнет конец и Антихриста. Все царство его продолжится только три с половиною года. После смерти и воскресения Эноха и Илии придется ему сидеть на престоле

только пятнадцать дней. Антихрист притворится умершим, потом будто воскресшим, взойдет на гору Елеонскую и действием дьявола поднимется на воздух, но архистратиг Михаил поразит его. Через сорок пять дней потом начнется Страшный суд.

Загорится земля и будет гореть до половины своей атмосферы; моря не будет, но это не значит, чтобы оно более не существовало: оно не будет только солоно и бурно; явится знамение сына человеческого, вострубят ангелы, воскреснут мертвые.

Наш тайновидец задает вопрос: в какое время дня и в какое время года будет воскресение мертвых, и решает, что это событие произойдет весною в апреле, во время праздника пасхи, ровно в полночь, тогда, когда и Христос воскрес; некоторые говорят напротив, что это должно последовать утром на заре, как и Христос, по их мнению, воскрес с появлением денницы. Симеон соглашает искусно два эти мнения. Христос воскрес в полночь, но в то время солнце нарочно тремя часами ранее обыкновенного восходило, а потому правы и те, которые говорят о заре и солнечном восходе; в день воскресения всех умерших, вероятно, будет так же, как было в день воскресения господня.

Некоторые толковали, будто воскресение произойдет так: прежде ангелы соберут в кучу персть добрых, и демоны в другую кучу персть злых, которых они искушали, и господь воскресит тех и других, но Симеон не доверяет этому: Христос ясно говорит, что отделятся оживленные праведные от неправедных, и, вероятно, по соображениям Симеона, собранием персти и воскресением умерших займутся нарочно для того поставленные ангелы.

Страшный суд будет происходить в Иосафатовой долине близ Иерусалима под Елеонской горою. Но опять представляется вопрос: как же могут поместиться так много воскресших людей на таком малом пространстве? Автор решает и этот вопрос: часть судимых будет стоять на воздухе ярусами одни над другими, а низшие на земле — вот и поместятся. Суд свой господь будет производить вместе со святыми угодниками, и все воскресшие будут разделяться на четыре разряда: одни будут судить со Христом, другие будут судимы, оправданы и войдут во царствие божие, третьи будут отвержены в ад без суда: то язычники, иудеи, мусульмане и вообще не получившие крещения; они незаконно согрешили, незаконно и погибли, к ним отнесены будут и некрещенные дети. Четвертый разряд — грешники, осужденные за их деяния праведным судом в геенну огненную на вечную муку. Страшный суд будет продолжаться три часа, с шестого часа дня до девятого, в те часы, когда Христос висел на кресте.

Солнце перестанет двигаться; земля обновится, станет прозрачна, как стекло; она уже не будет производить ни зверей, ни деревьев, она будет испещрена цветами, но эти цветы следует принимать не в буквальном смысле, а в духовном.

Кроме этого пространного сочинения о вере, Симеон Ситиянович написал еще «Книги кратких вопросов и ответов катехистических» *. Это катехизис, расположенный в таком порядке: сперва излагается символ веры; здесь отчасти сокращение Венца с затейливыми вопросами; далее следует о молитве господней, о поклонении деве Марии, о евангельских блаженствах, о трех богословских добродетелях; затем следуют десять заповедей, потом о таинствах (о евхаристии говорится относительно времени пресуществления то, что признано несогласным с учением православной церкви), затем — примеры вопросов, какие могут задавать исповедующие священники, применяясь к случаям, встречавшимся в то время в обыденной жизни, и подводя их под ту или другую из заповедей божиих. Вопросы и ответы очень коротки.

Это сочинение, в свое время напечатанное, по смерти автора подверглось осуждению церковной власти, а для нас оно составляет один из любопытных памятников XVII века, как по тем случаям житейским, которые вспоминаются в качестве черт общества, среди которого жил автор, так и по взглядам, господствовавшим тогда между людьми книжными. По поводу первой заповеди автор касается замеченного им у русских неправильного мнения, будто всякий человек может спастись по своей вере, лишь бы он был добр и не делал зла своим ближним. «Это грех зело тяжкий,— говорит автор,— и зело часто есть не только между невеждами, но и между теми, которые считаются знающими (иже вежды водятся быти): никто не может спастись вне соборной православной кафолической единой церкви». Добродушная натура невежественного русского человека по своему свойству менее, чем чья-нибудь, была склонна к нетерпимости — нужно было грамотное невежество, чтобы возбуждать в нем фанатизм. Затем автор сделал замечание также о признаке своего времени, о чтении св. писания; возникшая борьба между церковью и расколом распространяла грамотность пуще школы; вкус к чтению и толкам о религиозных предметах стал входить в народ, и вот Симеон, который в других своих произведениях так горячо говорит о необходимости заведения училищ, здесь хотя и признает полезным чтение св. писания, но позволяет его только тем, которые имеют грамматическое знание, и притом с тем условием, чтобы они не отваживались сами излагать библейские места по-своему, а спрашивали бы об этом у лиц, более их сведущих; но он вовсе запрещает читать Библию невеждам и замечает, что, к его сожалению, невежды-то более всего бросаются на чтения такого

* Напр.: Зачем Христос начал свои страдания в ограде? — В ограде зачавшая болезнь и смерть чрез первого Адама, в ограде второй Адам восхотев врачество начати, да вдасть живот. Или: Сколько язв бысть на теле Господа? — Вящше пяти тысящ! Или: Потребно ли было присутствовать бабе при рождении Спасителя? На это дается ответ отрицательный, ибо дева святая родила без болезни, в веселии и без всякой скверны.

рода, хотят быть учителями, высоко думают о своем собственном уме и стыдятся испрашивать советов у других. Наконец, по поводу первой заповеди Симеон говорит о разных суевериях, которые представляются также грехом, оскорбляющим веру в бога. Русские держали у себя и носили на себе разные записки — как врачевство против горячки и разных болезней или же как предохранительное средство против уязвлений. Дозволительно ли (задаются вопросы) чрез решето хотеть узнать тая похищенной вещи? Можно ли снам верити? Первое называется диавольским, второе — суетнейшим делом. Называется суеверием господствовавший обычай по встречам с людьми и с животными гадать о счастии или несчастии, об успехе или неуспехе в предприятии. Осуждаются всякие волхования, как-то: по церковному ключу, по Псалтири. Мы узнаем, что русские современники Симеона для отыскания воров и похищенных ими предметов давали есть сыр, на котором чертили *незнаемые* (тарабарские) словеса, в день усекновения главы Иоанна Предтечи искали зелья, сообщающего большую телесную силу: все это признается грехом. Меньшим грехом считает Симеон, если кто, например, по невежеству отдает почтение одинаким церковным вещам пред другими сообразно их цвету, величине, помещению; например, говорят: пусть чтутся такие-то молитвы, а не другие, пусть будут такой величины свечи, а не более, воск будет пусть белый, а не желтый, и т. п. Проходя вторую заповедь, катехизатор заметил, что невежды поклоняются иконам в большей степени, чем такое поклонение предписано церковью (невежды не возводят ума своего на первообразное), однако не вменяет им этого в грех идолопоклонства, надеясь, что так как они составляют часть церкви, то честь, творимая ими неправильно, делается правильною (возводится к первообразному) чрез общее церковное намерение. По поводу третьей заповеди автор коснулся русского обычая божиться и клясться, который, по его замечанию, был особенно распространен у купцов, говоривших, что им если не побожиться, то не продать, нападает также на привычки русских произносить такие поговорки: «Чтобы меня черт взял, коли я не говорю правду» или «это истина, как бог!». «Ни с кем нельзя равнять бога», говорит Симеон.

Касаюсь четвертой заповеди, автор обличает недостойное препровождение времени в праздничные дни, господствовавшее в его время во всех слоях русского общества. Люди благороднейшие целые дни тратят на ловление (охоту). Их жены и девицы употребляют все утро на суетное украшение своего тела. Ремесленники проводят праздничные дни в пьянстве *. Особенно негодует Симеон

* Замечательно, как автор определяет, что значит быть пьяным: «Тот истинно пьян, кто на другой день не помнит, что он делал и что говорил, с кем шел, как домой добрался и как спать лег, а тот еще не совсем пьян, кто хотя и шатается, но все помнит».

на хороводы — обычное праздничное препровождение времени у простого народа. «От демона или от змия приняли начало эти ликования, ибо он привык вертеться кругом» («яко же он круговождение обыче творити»). Симеон не одобряет даже тех, которые проводят праздничные дни в чтении и «словоположении» (беседах), нападает на господ, которые заставляют своих рабов в праздник работать: это грех смертный; менее грешат те, которые, как вошло в обычай, ходят в лес собирать орехи, грибы, ягоды, но все-таки грешат. Впрочем, автор позволяет и в праздничный день работу в случае крайней нужды: например, соби́рание плодов, когда дожди или другие воздушные перемены требуют поспешности, заклание животных и торгов съестными припасами, когда случатся сряду несколько праздников, но он дозволяет такое занятие в праздник не долее трех часов.

Наибольшее число случаев приводится у Симеона по восьмой заповеди. Против этой заповеди — говорит он — грешат у нас все: и большие, и малые, и убогие, и богатые. Грешат князи, отягощающие несправедно низший народ данями, грешат правители, которые дурно распоряжаются народным достоянием и обращают в свою корысть; грешат начальники, которые бывают обыкновенно хищники и народные кровопийцы; грешат судьи и «законословцы», искажающие смысл закона и часто требующие несправедной «мзды». Далее катехизатор переходит к людям, посвятившим себя низшего рода занятиям и нападает прежде всего на купцов, как они расхваливают продаваемые вещи, скрывая их дурные свойства, как иногда их приятели притворно покупают товары, чтобы поднять цену и заставить настоящего покупателя заплатить дороже, как на торжищах умышленно хулят товар для того чтобы отбить других от покупки, а самим или своим родичам купить подешевле, и т. п. Грешат против восьмой заповеди и ремесленники, обманчиво исполняющие свои работы, грешат стяжатели земли, плутовски захватывающие пределы нив, грешат, наконец, толпы нищих, которые тогда особенно промышляли кражею.

Проповеди Симеона Ситияновича изданы в двух огромных книгах *in folio*. В одной из них, под названием «Обед духовный», помещены поучения на все воскресные дни года и на переходящие праздники, а в другой — «Вечеря духовная» — поучения на праздники непереходящие, господские, богородичные, дни некоторых святых, особенно чтимых, а также поучения на разные случаи. Проповеди Симеона проникнуты схоластическим пустословием сообразно риторическим требованиям своего времени *. Он приводит нередко древних авторов,

* Вот, для примера, до каких крайностей доходит у него страсть видеть во всем символы и объяснять их; напр., по поводу рождества Христова развивается в проповеди такое положение: слово стало плотию, а плоть трава, ибо сказано: человек яко трава. Следовательно, Христос, родившись и ставши человеком, стал травкою, «да мы скоти ту траву, то сено духовное ядуще от внутри таимаго в нем слова восприимем слово совершенное или разум». Или, напр., в «Слове о блудном сыне» Симеон вещественным предметам, упоминаемым

сообщает из них анекдоты (как, например, о Мидасе фригийском, о Фаэтоне и т. п.), черпает без разбора сведения как из св. отцов церкви, так из апокрифических сочинений. Симеон очень любит сравнения, но немногие у него удачны *. Симеон сильно старается сделать свои проповеди живыми и поэтическими, а они наперекор ему отзываются сухостью; автор мало обладал способностью творить образы и в этом отношении стоит ниже Галятовского. Зато едва ли кто из его современников держался в своих проповедях более нравственно поучительного направления, и притом не в одних только общих чертах. Симеон в своих проповедях, как и в своем катехизисе, заглядывал в подробности и особенности современной ему жизни.

Подобно Епифанию Славинецкому Симеон сознавал и необходимость книжного просвещения в Московской земле. В одной из своих проповедей на рождество Христово он от лица вселенских патриархов, съехавшихся тогда в Москву, обращается к царю с молением взыскать премудрость, заводить училища греческие, славянские и другие, умножать спудеев (учащихся), отыскивать благоискусных учителей и всех «честью поощрять на трудолюбие». Как монах, он выше всех знаний ставит богословие; он помнит известное выражение апостола Павла, в котором многие видели роковой приговор всякой науке: «премудрость людская — буйство (глупость) есть у бога». Но Симеон хочет дать этому выражению примиряющий смысл: «Следует знать,— говорит он,— что этими словами не оуждаются свободные художества: грамматика, риторика, философия и проч., они очень полезны в гражданском быту и споспешествуют духовной премудрости; здесь оуждается непокорство божьим словам естественного разума, изощренного хитростью этих художеств; если кто, опираясь на естественные причины, не хочет повиноваться божиему слову — вот мудрость мира сего! — вот буйство перед богом! Величайшее заблуждение пытаться измерять мерою человеческого разума божественное, слишком превосходящее ум человеческий. Как может сова рассуждать о солнечном свете, когда этот свет превосходит силу ее зрения?» Потребность школьного учения в

в евангельской притче, насильно дает аллегорический смысл: «Свиньи, которых принужден пасти промотавшийся блудный сын,— скверные и нечистые помыслы; сапоги, которые сыну дает отец,— это сапоги крепости для путешествия к бесконечной жизни».

* К числу самых удачных, по нашему мнению, можно отнести («Поучение в неделю 9 по пятидесятнице») сравнение житейского пути с плаванием по рекам: люди, благоденствующие в мире, словно сидят на покойном корабле и плывут; им кажется, что мимо их бегут горы, леса, города, а они сидят себе недвижимо; они видят, как одни богатеют, другие беднеют, одни рождаются и возрастают, другие стареются и умирают; здоровье и недуги, слезы и веселость сменяют одно другое, и кажется им, что сами они стоят выше меры, прилагаемой к другим, далеки от того, что постигает других, спокойны, беззаботны — как вдруг все исчезает, и корабль их доходит до пристанища гробного, и приходится душе грешной сходить с покойного корабля.

значительной степени возбуждалась в Симеоне явлением раскола, который он также громит в своих поучениях. Он хотел, чтобы люди правильно рассуждали о предметах веры, а раскол являл пример — чего можно ждать, если возьмутся за эти предметы круглые невежды. «Многие еретики,— говорит он,— потонули в глубине священного писания от неискусного плавания; и наши нынешние лжемудрецы, неискусные в плавании, дерзко ворвались в пучину писаний, думая добывать оттуда жемчуг премудрости... Лучше было бы им стоять на берегу и помалу утолять жажду этой животворной водою... Нет, захотели они славы мира сего и, словно слепцы, пустились рассуждать о шарах, которых никогда не видали. Ныне у нас многие хотят именоваться учителями св. писания, а не учениками. Других учат тому, чему сами никогда не учились. В мирских науках этого не бывает: там прежде сами учатся, а потом других учат, только священное писание таково, что все себе приписывают право учения, и как только человек что-нибудь складно скажет, другие думают, что это божий закон. Что у нас делается: о богословии разглагольствуют и взрослые, и отроки; и в лесах дикие люди беседуют, и на торжищах скотопродавцы, и в корчмах пьяные, и *«буия женища»* (глупое бабье) *словопрение* *деют безумное*, наперекор мужьям своим и церкви. Конечно, чтение св. писания полезно всякому, и мужчине, и женщине. Но оно прилично только тому, у кого есть ключ разумения, а на это дает право одно учение». Мысль о воспитании юношества сильно его занимала и он много раз возвращается к ней в своих проповедях. Качества родителей, по его мнению, не переходят на детей по крови, все зависит от первых укоренившихся привычек. «Но отчего,— задает он себе вопрос,— у несомненно добрых и честных родителей бывают дурные дети?» Симеон приписывает это явление излишеству родительской любви, иначе, говоря нашим языком, баловству: «Если добрые родители не дают своим чадам подобающего наказания, а пускают их вести себя по воле их юности, если не оскорбляют их словом увещания, не налагают на них язв, то от благих родителей произойдет злой плод!» В другой проповеди («неделя расслабленного») Симеон раздражается чрезвычайно суровым наставлением и грозит лишением царства божия тем родителям, которые не возлагают ран на плечи злонравных детей своих: «Кто довольствуется одним словесным увещанием, тот неприятен богу. Не щадите, родители, жезлов ваших, угощайте детей ваших не душевредным лобзанием, а нравоисправительным биением».

Такая суровость в понятиях о воспитании соответствует строго монашескому взгляду, который отражается у Симеона и относительно других явлений жизни. Требуя любви между людьми, он, однако, боится, чтобы любовь эта не была мягкая, не основывалась на приятных беседах, на совместном ядении и питии, на участии в развлечениях (егда собираются на игралища и баснословия). Монашеский аскетизм — для него высший образец нравственного совершенства;

женского сообщества надобно избегать: «пол женск — тля... Одно зрение на женщину заражает человека ядом аспида». В одной проповеди («на 27 неделю по пятидесятнице») он сравнивает грешную душу с женщиною: «Как у женщины,— говорит он,— тонкий голос, так и у грешной души голос тонкий и скудный к хвалению бога. Жена скороглаголива, коснодвижима, скорогневлива, завистлива, нелюботрудна, малонадежна — такова и грешная душа!» Он не смеет не уважать супружеского союза, но, вспомнивши евангельскую притчу о том, который не пошел на званый пир, потому что только что женился, говорит («на 28 неделю по пятидесятнице»): «видите, не только незаконное, но и законное сочетание иногда отклоняет нас от бога излишеством любви к жене... Кто паче меры ревнитель жене, тот блудник; видите ли — и законные супруги иногда блудодействуют!..» Симеон нападает на пристрастие к богатству, замечает, что страсть к обогащению ведет к жестокосердию и к лени, однако боится слишком нападать на богачей, среди которых ему приходилось обращаться, и потому вместе с тем он оправдывает богатство, так как оно доставляет возможность давать милостыню. Пост, которому давало такое важное значение благочестие русских, вызвал также обличения Симеона («Поучения в нед. сыр.»). «У нас,— говорит он,— многие господа во время поста ходят печальные, мрачные, а между тем в домах своих делают особенно злыми: тогда-то у них прямое кажется кривым, сладкое горьким, жена опротивеет, дети им досаждают, слуги станут негодными и без вины виноватыми. В пост они постятся, а перед постом и разговевляясь, безмерно наедаются». Он напоминает, что прежде всего нужно поститься от дурных дел *, вооружается также против лицемерного смирения, которое особенно часто встречалось в приемах знатных лиц при набожном Алексее Михайловиче. «Мы,— говорит он,— беспрестанно слышим, как иные сами называют себя грешниками, блудниками, а если кто другой в чем-нибудь обличит их, то кричат, что это неправда, а иногда и дланью согбенною уста заградят».

Подробнее всего распространяется Симеон против пороков своего века в тех проповедях, которые писаны не по поводу праздников и составляют особое приложение к «Вечере духовной». Из них более всех замечательны «Поучения к иереям» и «Поучения против суевений». Симеон соблазняется разными народными играми, в которых видит остатки древнего язычества и идолопоклонения: таковы скакание через огонь и качели, называемые в то время «рели», — повсеместная народная праздничная забава по городам и селам. Симеон с презрением называет их виселицами и говорит, что в языческие времена кто падал с качель и убивался, тот считался принесенным

* Здесь он приводит басню, ходившую в его время, будто если постящийся человек наступит на змия, то змий издохнет. Не опровергая этой басни, он предоставляет рассуждать о ней «естествословцам».

в жертву богу, т. е. бесу. И теперь, по мнению проповедника, эта потеха была совершаема в честь бесам. Его возмущали суеверные способы врачевания, как, например, ношение детей в баню и мазание их грязью с разными причитаниями с целью предохранить от дурного глаза, ношение наузов (узлов), записок с заговорами, струтионовых костей (?), шептания, дуновения, напевания, произнесения непонятных слов и т. п. «Христос изгоняется, а баба пустословная вводится,— говорит Симеон,— тайна св. крещения попирается, диавол ликует». Он вооружается против гаданий, примет, против народной веры в предвещательное значение встреч волка, кривого или косоного человека, монаха, женщины и проч. «Случится,— говорит Симеон,— человеку, обуваяся, кашлянуть или, выходя из дому, споткнуться, он возвращается и не делает своего дела». Съедят ли мыши платье — суевер боится грядущей беды и заранее оплакивает свою судьбу, не жалея действительного убытка, причиненного ему мышами. Идут двое друзей, на пути встретят камень, пса или ребенка и думают, что эти предметы расстроят их дружбу, топчат камень, колотят пса, бьют по щеке ребенка... «Подобных суеверий тысячи»,— замечает Симеон. К ним причисляет он легковерное признание истинными всяких чудес, которые тогда беспрестанно появлялись и обыкновенно оказывались ложными, вооружается против появления ложных мощей и т. п.*

В проповедях Симеона ошутительно подражание Славинецкому, по крайней мере там, где оба проповедника касались одного и того же предмета, как, например, заведения училищ и обличений раскола: есть одинакие сравнения, одинакие выражения. Если Симеон и не списывал с того, что говорил Славинецкий, то, должно быть, находился под его влиянием.

Стихотворные произведения Симеона Ситияновича писаны силлабическими рифмованными стихами и лишены поэтического достоинства. Можно сказать, что к этому роду литературы Симеон меньше имел природных самобытных дарований, чем к проповедничеству и богословствованию. Важнейшее из его стихотворных сочинений — перевод Псалтыря. Мысль к этому подал Симеону пример польского поэта Яна Кохановского, что, разумеется, умаляло значение труда Симеона в глазах строгих московских ревнителей православия. Псалтырь Симеона, как известно, был, однако, любимым чтением Ломоносова * и потому не остался без значения в нашей

* Приводим образчики из этого перевода:

Иже в помощи вышняго вручится,
В крове небеснаго Бога водворится;
Господу речет: заступник мой еси,
Ты ми надежда, живый на небеси,
Он мя из сети ловащих избавит,
Слово мятежно далече отставит,
Плещма своими будет осеняти,
Крылы своими от бед защищати.

словесности. Кроме Псалтыря Симеон написал «Вертоград многоценный» — собрание мест св. писания и разных описаний, отвлеченных понятий и качеств, «Рифмологион» — собрание разных стихотворений, писанных на торжественные случаи (в том числе высокопарное восхваление России — «Орел Российский в солнце представленный»). По смерти царя Алексея Михайловича Симеон написал «Глас» — разговор умершего Алексея Михайловича с богом и своим наследником. Им потом сложена была «Гусли доброголасная» — поздравление Федору Алексеевичу со вступлением на престол и проч. Из произведений, имеющих притязание на поэзию, заслуживают внимания — если не по внутреннему достоинству, то по значению для своего века — драматические сочинения Симеона. Таковы комедии «О блудном сыне», «О Навуходоносоре царе», «О теле злате и трех отроцех в печи сожженных».

Комедия «О блудном сыне» имеет пролог; затем она разделяется на шесть частей и кончается эпилогом. В восемнадцати стихах пролога объявляется предмет пьесы; слушатели приглашаются ко вниманию и обнадеживаются получить велию пользу. Части пьесы — то же, что сцены или явления.

В первой части отец говорит двум сыновьям своим, что по божией благодати у него много богатства, серебра, золота, рабов, красная палата; все он вручает своим детям и дает им приличное нравоучение. Старший сын по природе домосед, он желает остаться жить с отцом и служить ему; тронутый этим отец дает ему благословение; но меньшего томит тесная домашняя жизнь; он предоставляет брату изживать лета красной юности при отеческой старости, у него на уме другое: он ищет славы *, свободы **, знаний ***. Отец хотя скорбит о таких наклонностях сына, но не хочет удерживать

Или:

Помилуй мя, Боже, по твоей милости,
По множеству щедрот сотри неправости,
От беззакония изволи омыти,
От греха моего мене очисти.

* Вящшая мой ум пользу промышляет,
Славу ти в мир весь простерти желяет,
Иде же восток и где запад солнца;
Славен явлюся во вся мира конца.
Заклочен видит ми си быти,

** В отчинной стране юность погубити.
Бог волю дал есть се птицы летают,
Зверие в лесах вольно пребывают.
И ты мне, отче! изволь волю дати,
Разумну сушу весь мир посещати.

*** Что стяжу в дому? чему изучюся?
Лучше в странствии умом обогачуся.
Юньших от мене отцы посылают
В чуждые страны, потом ся не хаот.

вать его, приказывает рабам приготовить возы и коней, дать сыну в дорогу одежду, серебра, золота; велит оседлать турецких коней и благословляет сына в путь.

Во второй части блудный сын в чужой стране со слугами. Он богат, на свободе; он вырвался из отеческого дома, как птенец из клетки *, и приказывает привести к нему поболее таких слуг, которые бы с ним ели, пили и тешили его пением. Приводят к нему такого рода слуг. Блудный сын приказывает дать им по сту рублей; одного из них сажает с собою играть в зернь (кости), других заставляет играть между собою в карты и тавлеи (шашки), обещая платить за того, кто проигрывает, и, сверх того, награждать выигравшего **. Подобные забавы, вероятно, на самом деле дозволяли себе тогдашние богачи-кутилы, которые при скудности развлечений со скуки заставляли своих служителей тешить себя. Начинается на сцене игра. Зерщик, игравший с блудным сыном, обыграл его; блудный сын сверх выигрыша дарит ему сто рублей. В заключение блудный сын напивается и идет спать пошатываясь; слуги ведут его на постель.

В третьей части сын после вчерашней игры и пьянства — на похмелье, жалуется на головную боль. Слуга советует ему выпить. Другой слуга советует призвать «сладкоигрателей и певцов». Начинается музыка и песни. Здесь в пьесе можно было по желанию включать какую угодно музыку и песни; это разнообразило самую пьесу. По окончании игры и песен блудный сын приказывает заплатить слугам, но слуга-казначей объявляет, что вся сокровищница господина истощилась и едва у него остается столько, чтобы купить утром хлеба. «Не скорби,— отвечает ему блудный сын,— мои слуги дадут мне взаймы». Но слуги один за другим отступаются от него, смеются над ним ***, наконец, расхищают остатки его имущества за

* Бех у отца моего, яко раб плененный,
Во пределех домовых, яко в тюрьме замкненый.

Не что бяще свободно по воли творити;
Ждах обеда, вечери, хотяи ясти, пити,
Не свободно играти, в гости не пушано,
А на красная лица зрети запрещено.

Во всяком деле указ, без того ничто же,
Ах! колика неволя, о мой Святыи Боже!
Отец, яко мучитель, сына си томляше,
Ничесо же творити по воли даяше.

Ныне, слава Богови! от уз освободихся,
Егда в чуждую страну едва отмолихся.

Яко птенец из клетки на свет испущенный,
Желаю погуляти, тем быти блаженный.

** Аще кто проиграется, та мне утрата;

А кто добре выиграет, за труд гривна злата.

*** Господь и мешок, то приятель правый.

Людная приязнь токмо для забавы.

.....
Государь наш! челом бием тебе
За хлеб и за соль, а слуг ищи себе.

недоплату обещанного жалованья и говорят, что еще делают ему милость, оставляя его в живых. Блудный сын в отчаянии плачет.

Поразительна скудость поэтического вымысла у автора. Он не мог изобрести никаких искушений, доведших блудного сына до печальной нищеты, как только заставить его напиться и проигратъся с нанятыми слугами.

В четвертой части блудный сын без крова, без помощи, никем незнаемый на чужой стороне терпит голод, у него осталась последняя одежда — то было единственное средство еще хоть на раз иметь кусок хлеба. Встречается купчик, спрашивает юношу: что за беда ему? Вчера был богат, отвечает юноша, сегодня погибаю от голода. У меня есть хлеб, говорит купчик, я продам. Отдай мне за хлеб свое платье, а я тебе на придачу свое отдам! Блудный сын соглашается. Купчик оказывает ему еще одну услугу. Идет богатый человек; купчик рекомендует ему несчастного юношу. Господин берет блудного сына к себе на работу, но, посмотревши на его руки, находит их слишком мягкими для тяжелой работы и говорит, что такому неженке всего приличнее поручить пасти свиней; с этой целью господин передает блудного сына своему приказчику*.

Свинопасы гонят поросят; приказчик велит им делать свое дело, а сам удаляется. Тогда один пастух приказывает блудному сыну принести корыто с рожками и поставить перед свиньями; блудный сын, томясь голодом, сам начинает есть рожки; свиньи подбегают к корыту; блудный сын ударил одну свинью; пастухи подняли шум. Явился приказчик: пастух доносит, что новый их товарищ не друг, а враг свиней, ест у них рожки, обижает свиней, бьет их, разогнал свиней. Приказчик велит бить нового пастуха плетьюми; за сценой раздается его жалобный крик; потом его приводят на сцену избитого; приказывают отыскать разбежавшихся свиней и грозят убить до смерти, если он их не найдет. Все удаляются; блудный сын остается один, говорит монолог, составляющий распространение известных слов, произносимых блудным сыном в евангельской притче.

В пятой части отец грустит о сыне, не зная, где он и что с ним, как вдруг являются один за другим вестники, извещают, что сын приближается к его дому, но в нищенском виде. Входит сын. Повторяется евангельская сцена прощения в распространенном виде. Отец с сыном уходят, играют органы и проч., на сцене поют. Здесь опять предоставлено на непродолжительное время вставить по желанию музыку и песню. Является старший брат. Разговор его с отцом — не более как распространение евангельской притчи.

* Посмотрев на руке и пощупав, и паки глаголет:
О! несть мозолей, зело мягки длани,
Бодрствуй отселе, лености престани.
Слышишь, приказчик, на село возьмите,
А свиньи пасти ему прикажите.

В шестой части блудный сын, разодетый уже как следует, рассказывает свою историю и благодарит бога.

Затем следует эпилог, где излагается нравоучительная цель представления этой притчи *, а в заключение говорится, что никого не хотели огорчить и на всякий случай просят прощения.

Пьеса кончается музыкою.

Комедия «О Навуходоносоре царе» не разделяется на части. Начало ее называется «предисловиец»; он состоит из обращения к царю Алексею Михайловичу. Восхваляются добродетели царя, а в противоположность им делается указание на неверие и гордость Навуходоносора, объявившего себя богом и повелевшего бросить трех отроков в печь за непослушание. Затем объявляется, что это событие явится «комидийно» перед царем и боярами **.

Навуходоносор со своими боярами, с шестью слугами и шестью вооруженными воинами выходит на сцену, садится на царское место, величает собственное могущество, называет себя богом богов и приказывает казначею выдать золото на изготовление его статуи, которой по его повелению должны поклоняться все народы. Казначей уходит исполнять царское приказание, а царь повелевает другому боярину, Зардану, устроить близ статуи печь, в которую должен быть брошен всякий, кто не захочет поклоняться царскому изображению. В глубине сцены две завесы. Пока за ними приготавливают статую и печь, царь приказывает позвать музыкантов — нужно чем-нибудь наполнить пьесу. Автор оставляет здесь место для так называемых «ликовствований» («зде будут ликовствования»). Публику занимали ими сколько угодно и как угодно.

Затем поднимается одна завеса, показывается статуя, поднимается другая завеса — показывается печь. Боярин Амир докладывает царю, что уже все люди стоят на поле Деире. Царь обращается к «гудцам» и приказывает играть. Начинают «трубить и пискать». Все люди падают ниц, но три отрока не кланяются; Амир велит их изловить. Затем представляется то, что рассказано у Даниила пророка. Разъяренный царь требует поклонения, и отроки не повинуются, их бросают в печь. Является ангел, отроки поют свою песнь теми словами, как в Библии. Царь, видя такое чудо, раскаивается, поклоняется истинному богу и приказывает почитать уцелевших

* Юным се образ старейших слушати,
На младый разум свой не уповати,
Старым — да юных добре наставляють,
Ничто на волю младых не спущають.

** То комидийно мы хоцем явити,
И аки само дело представи
Светлости твоей и всем предстоящим
Князем, боляром, верно ти служащим.
В утеху сердец здрави убо зрите,
А нас в милости своей сохраните.

отроков. Комедия кончается эпилогом. В заключение желают царю мирного царствования, побед, многолетия и небесного венца.

Значение Симеона Ситияновича в русской истории, помимо его ученых трудов, имеет важность тем, что с его именем соединяется зародыш Московской духовной академии — первого высшего учебного заведения в Северной Руси. Ему приписывают составление проекта, или «привилегии» на основание духовной академии: этот проект был написан при царе Федоре Алексеевиче от царского имени; но осуществиться ему было суждено уже по смерти царя*.

В этом проекте государь, вспоминая благословение, данное святейшими патриархами восточными, бывшими в Москве при отце его Алексее Михайловиче, на заведение училищ, соизволяет на заведение академии, в которой преподаваться должны науки гражданские и духовные начиная «от грамматики, пиитики, риторики, диалектики, философии разумительной, естественной и нравной даже до богословии, учащей вещей божественных». Место для новой академии отводилось в монастыре Заиконоспасском в Китай-городе, и на содержание ее приписывалось несколько монастырей и пустынь**. Кроме того, не возбранялось частным благодетелям давать пожертвования на пропитание и на одежду учеников. Начальник заведения должен был называться «блюстителем». Как блюститель, так и учителя должны быть из православных русских или же греков, но греки допускались не иначе как по свидетельству о своей непоколебимости в православии, подписанному вселенскими патриархами. Ученых из Малороссии и Литвы дозволялось допускать в звание блюстителя и учителей не иначе как с большою осторожностью, сделавши о них строгое исследование, а отнюдь не доверять их словесным и письменным удостоверениям. Новообращенных из других вер в православную полагалось вовсе не допускать в эти звания. Лица, вступавшие в должности блюстителя и учителя, должны были приносить присягу в том, что они неизменно пребудут в православной вере. Все при-

* До сих пор еще вполне не доказано, что действительно Симеон был автором этого проекта, тем более что проект был подписан Федором уже по смерти Симеона. Но в доказательство, что проект этот был еще ранее составлен Симеоном, можно привести то, что в этом проекте есть целиком места из Симеоновых проповедей, заключающиеся в его книге «Вечера духовная»; кроме того, в проекте предполагается поместить академию в Заиконоспасском монастыре, где постоянно жил Симеон (См. Ист. М. Ак. Смирнова, стр. 16). Во всяком случае, если бы даже не Симеон писал этот проект при его жизни (писать помимо его было некому, потому что ближе Симеона никто не был к царю), то влияние Симеона на этот проект несомненно уже и потому, что он был учителем царя Федора, наконец, весь проект пропитан нетерпимостью, свойственною духу западной церкви, а во влиянии католичества современники не напрасно обвиняли Симеона.

** Андреевский (где заводил прежде училище Ртищев), Данилов, Строминский, Песножский, Борисоглебский и Медведева пустынь со всеми крестьянскими и бобыльскими дворами и угодьями.

надлежавшие к академии, как блюститель с учителями, так и ученики, получали изъятие от обычного для всех суда в приказах. Учеников во всех делах, исключая уголовных, судил блюститель с учителями, и даже по уголовным делам нельзя было их требовать в приказ без ведома блюстителя. Блюститель и учителя во всех делах были судимы собственным судом, в присутствии уполномоченных от царя и патриарха. Учителя без разрешения блюстителя и своих товарищей не могли переходить в другую службу, а после долгой службы в академии они награждались особым жалованьем. Лучшим ученикам обещана по окончании курса от царя награда, а для поощрения⁷ обещано «неучившихся свободным учениям лиц», кроме только «благородных детей», не возводить в значительные должности. Затем, кроме ново-заводимого училища в Москве, никому не дозволялось без ведома блюстителя и учителей держать в своих домах домашних наставников для обучения греческому, латинскому, польскому и другим иностранным языкам.

Учреждаемая академия не была, однако, одним только учебным заведением. По проекту она должна была быть чем-то в роде инквизиции или тайной полиции по религиозным делам. Блюстители и учителя должны были наблюдать, чтобы не являлись «неправомудрствующие» в вере, не заводили распри и раздоров, а если такие люди явятся, то доносить о них царю. Царь с совета патриарха, по одному только свидетельству блюстителя и учителей, не принимая никаких «словес и рассуждений», обещал судить обвиненных без всякого помилования. Равным образом блюститель и учителя наблюдали, чтобы никто не держал у себя польских и латинских, лютерских, кальвинских, еретических книг, а также волшебных, чародейных, гадательных и всех вообще возбраняемых церковью писаний. По доносу, сделанному блюстителем и учителями, виновный подвергался сожжению без всякого милосердия. В числе возбраняемых церковью учений особенно боялись так называемой «естественной магии». Блюститель и учителя должны были наблюдать, чтобы где-нибудь не проявились преподаватели этой науки, и по их доносу такие преподаватели вместе со своими слушателями предавались сожжению. Все переходящие из других вер в православную состояли под надзором блюстителя с учителями и записывались в особые книги. Стоило только донести на них, что они не вполне хранят православную веру и церковные предания, — их ссылали на Терек или в Сибирь, а если бы оказывалось, что они держатся своей старой веры, из которой перешли в православие, то они осуждались на сожжение. Равным образом чужеземцы, пришедшие из других государств, будучи прежде православной веры, за принятие в России какой-нибудь другой веры осуждались на сожжение. Если кто из русских или чужеземцев произнесет какое-нибудь укоризненное слово против православной веры или церковных преданий или, например, скажет что-нибудь против призывания святых, поклонения иконам, почи-

тания мощей, тот предавался суду блюстителя и учителей и осуждался на сожжение. Наконец, все иностранцы иных вер, приезжавшие в Россию, так называемые тогда «ученые свободных наук люди», состояли под надзором блюстителя и учителей академии, подвергались их испытанию, получали от них свидетельство на право свободно проживать, поступать на службу, получать царское жалованье, достигать почестей; и если блюститель с учителями находили их негодными пребывать в России, то их высылали за границу. Таков был проект первого высшего училища в Московском государстве, такова была заря ученого образования, которое грозило худшим мраком, чем прежнее невежество.

Симеон Петровский-Ситиянович скончался 25 августа 1680 года на пятьдесят втором году от рождения и погребен в Заиконоспасском монастыре. Если при жизни он пользовался царскою милостью и почетом, то вскоре после смерти имя его подверглось гонению. Вопрос, касавшийся его личности и сочинений, был вместе вопросом о судьбе и значении западнорусских, преимущественно киевских, ученых в Москве, а вместе с ними шло дело и о принесенной ими с собою науке. Как ни слабыми могут нам теперь казаться их научные средства, но в Московской Руси и они произвели потрясение. Уже важно то, что богослужбная реформа была делом, тесно связанным с их прибытием; но не одна она восстановила против них целую массу народа, отпавшего от церкви в недрах православной церкви, принявшей сделанными трудом этих пришельцев исправления; многие их не любили. Их знания, их ученость отзывались чем-то чуждым, не истинно православным, и притом явное превосходство их сведений задевало гордость московских книжных людей; тайное нерасположение гнездилось в сердце многих, и сам патриарх Иоаким, живший долго в Киеве и вообще знавший малороссийских ученых на их родине, относился к ним недружелюбно. В Москве возникала такая мысль: уж если по недостатку ученых великоруссов заменять их иноземцами, то лучше приглашать греков, чем киевлян. Беспрестанные смуты и измены и без того бросали в глазах великоруссов дурную тень на малороссыян вообще: их привыкли считать народом двудушным, непостоянным и ненадежным. Такой взгляд невольно переносился и на прибывавших в Москву ученых. При Алексее, а еще больше при Федоре они пользовались поддержкою царей, но после смерти Федора они лишились ее, когда в церковных делах стал их недруг Иоаким. Нужен был с их стороны какой-нибудь повод к явному обличению их в неправославии, чтобы поднялась против них буря.

У Симеона был между учениками Семен Медведев, подъячий приказа тайных дел. Это был человек от природы способный и горячий. Жизнь с книгами увлекала его. Он постригся в монахи и по смерти Симеона Ситияновича получил важное в то время место в Заиконоспасском монастыре. Оно было особенно важно потому,

что, как мы говорили, существовало уже предположение основать академию и поместить ее в Заиконоспасском монастыре. Семен Медведев, получивший в монашестве имя Сильвестра, во всем верный своему учителю, подобно ему выказывался при дворе своим умением стиходействовать. Когда царь Федор женился на Апраксиной, Медведев явился с брачным приветствием (напеч. 1682), а когда скоро после того царь отошел в вечность, Сильвестр написал «Плач и утешение» — длинное стихосплетение, состоящее из многих «плачей» и многих соответствующих им утешений. Начал прежде всего плакать сугубоглавый орел российский, за плачем следует двенадцать стихов утешения орлу, затем воин — тот воин, который начертан в российском орле, — излил двадцать стихов плача; за это воину следует шестнадцать стихов утешения; за воином уже следует плач царицы; ей огромное утешение в сорок восемь виршей; за царицею заплакали царевны, но они плачут немного, им не каждой особо, а разом всем одно длинное утешение; затем плачут все России одна за другою, Великая, Малая, Белая, каждая плачет особо и каждой особое свое утешение.

Сильвестру очень хотелось быть начальником новой академии. Но патриарх Иоаким, не терпевший Симеона Ситияновича, недолго любил и ученика его Сильвестра. Патриарх уже отправил Прокопия Возницына в Турцию искать просветителей российского юношества между греками, более, по его мнению, надежными, чем были малоруссы и их питомцы.

В Константинополе в 1683 году патриарх Дионисий указал русскому посланцу на двух ученых греков, братьев, которые были, по убеждению патриарха, способны положить основание школьному просвещению в Московском государстве. Случайно повторялось древнее событие IX века: подобным образом константинопольский патриарх указал на двух братьев, греков солунских, способных ввести между славянами крещение и с ним вместе книжную грамотность. Братья, на которых указал тогда патриарх Дионисий, назывались Лихудами. Если верить показаниям их самих, они происходили из очень древнего, знатного рода: предок их, по имени Константин, в XI веке был зятем императора Константина Мономаха; тесть хотел сделать его даже своим преемником. Но тогда счастливее повезло Комнинам, чем Лихудам. Лихуды, не получивши престола, продолжали быть знатным родом Византийской империи. В 1453 году Лихуды, не желая подчиняться неверным завоевателям, ушли и поселились в Кефалонии. На этом-то острове родились и упомянутые два брата: старший (род. в 1633 г.) назывался Иоанн, второй (девятинадцатю годами моложе брата) — Спиридон. По обычаю, которому тогда следовали многие богатые греки, Лихуды после первого образования, полученного на родине от священника, учились в Венеции, потом в Падуе и пробыли долго в Италии. Иоанн по возвращении на родину был посвящен в сан иерейский; Спиридон почувствовал

наклонность к монашеской жизни и постригся под именем Софрония. За ним вскоре овдовел старший брат его и также постригся под именем Иоанникия, оставивши миру двух сыновей.

Старший брат получил важное место начальника школ в двух городах, меньшей в одном. Если верить им, они уже имели важную власть и значение. В 1683 году они отправились в Константинополь, как видно, показать перед патриархом свои знания. Патриарх заставлял их говорить поучения. В это-то время он представил их русскому посланцу.

В июле 1683 года они отправились в Россию; они были на пути задержаны в Польше. Король Ян Собесский принял их отлично, но иезуиты, смекнувши, что эти греки готовятся быть водворителями книжного высшего воспитания в той Московии, куда сами иезуиты так напрасно хотели пробраться под тем же предлогом, упростили короля задержать Лихудов под какими-нибудь благовидными предложениями. Кажется, иезуитам хотелось попытаться склонить ученых греков на свою сторону. Король возил Лихудов с собою в поход против турок и заставлял их вести диспуты с иезуитами. Когда, наконец, братьям Лихудам надоело это праздное препровождение времени, они тайно ушли из Польши, добрались до Киева, оттуда прибыли к гетману Самойловичу и при содействии последнего благополучно явились в Москву 6 марта 1685 года. Приезд этих ученых иностранцев был не по сердцу Сильвестру Медведеву. В конце того же года он подал царевне Софии тот самый, составленный, как думают, Симеоном при Федоре Алексеевиче, проект, или привилегию на основание академии, о содержании которого мы говорили выше. Надежды Сильвестра не сбывались. София была благосклонна к Сильвестру; но глава духовенства не променял бы Лихудов на десяток учеников Ситияновича. Лихудов поместили в Богоявленский монастырь. Там Лихуды тотчас открыли школу, им дали учеников; вслед за тем на деньги две тысячи рублей, пожертвованные одним греком Мелетием, начали строить большое здание для академии в Заиконоспасском монастыре; могучий тогда любимец царевны Софии Василий Голицын давал на это дело пожертвования. В 1686 году по окончании постройки здания Лихуды перешли в Заиконоспасский монастырь. Так открылась Московская духовная академия, названная греко-латино-славянскою. Кроме прежних учеников, которые поступили к Лихудам с самого их приезда, в академию были переведены все ученики прежней типографской школы, и, сверх того, по царскому повелению поручено Лихудам учить «до сорока детей знатных родов, а затем немало из детей всяких чинов» поступало к ним. Больших успехов можно было на будущее время ожидать от преподавания новоприбывших наставников: ученики чрезвычайно скоро научались объясняться по-гречески и по-латыни.

Теперь уже киевляне и их ученики должны были ожидать, что ученые греки не только подорвут их вес и значение в Москве, но и

постараются представить неправославным их воспитание, опиравшееся более на латинских книгах, чем на греческих. Уже один из западнорусских пришельцев, Бялободский, написавший сочинение о безразличии церквей, в присутствии обеих царей, Ивана и Петра, держал диспут с Лихудами и потерпел поражение. Вслед за тем Сильвестр Медведев, ненавидевший приезжих греков за то, что ему через них не удалось быть начальником академии, вздумал обвинить Лихудов в неправославии. Были у Сильвестра друзья и сообщники и между ними окольный Шакловитый, находившийся в милости у царевны Софии⁸. Медведев написал книгу под названием «Манна»; в ней доказывалось, что в таинстве евхаристии хлеб и вино претворяются в тело и кровь в момент произнесения священником слов Христа: «приимите и ядите...» Лихуды отвечали на это сочинение опровержением, которое названо «Акос, или Врачевание, противоположаемое ядовитым угрызениям змиевым». В этом сочинении, написанном с большою ученостью, Лихуды доказывали, что по учению православной церкви одного произнесения Христовых слов недостаточно для великого действия, и св. дары прелагаются в момент последующего затем призывания св. духа и произнесения слов «преложи я духом твоим святым». После этих двух сочинений открылась жаркая полемика по поводу вышеозначенного вопроса. Медведев и его сторонники пустили в ход сочинение киевского игумена Феодосия Сафоновича «Выклад о церкви святой» и от себя написали «Тетрадь на Иоанникия и Софрония Лихудов», а монах Евфимий, бывший ученик Славинецкого, приставший к Лихудам, разразился против Медведева ругательным сочинением под названием «Неистовное брехание». Затем Лихуды написали «Мечец духовный», сочинение, в котором изложили в форме диалогов свой спор, происходивший во Львове с иезуитом Руткою, о всех различиях между православною и римско-католическою церквами. Толки о времени пресуществления из монашеских келий перешли в мирские дома и даже на улицу. Люди, мало понимавшие суть богословских тонкостей, увлекались этим вопросом; торгаши, ремесленники и даже женщины стали спорить о времени пресуществления. Церкви грозил новый раскол. Патриарх Иоаким принял сторону Лихудов. Нужно было заставить малороссийских духовных заявить со своей стороны голос в пользу Лихудов. Иоаким отнесся с этим к киевскому митрополиту Гедеону и к Лазарю Барановичу. Малороссийские архиереи были этим вопросом поставлены в весьма неловкое положение: в Киевской коллегии давно уже учили о пресуществлении так, как писал Медведев; в «Литосе» Петра Могилы изложено то же учение. Гедеон и Лазарь сперва было уклонялись от прямого ответа, но патриарх пригрозил им собором и приговором четырех прочих вселенских патриархов. Тогда оба архипастыря дали ответ в смысле учения, проповедуемого Лихудами.

Заручившись таким заявлением, патриарх Иоаким созвал собор.

В это время началось дело Шакловитого, повлекшее за собою падение Софии. Медведев также запутан в это дело. Он бежал с намерением укрыться в Польше, но был схвачен на пути, привезен в Москву, принес перед собором покаяние и, отрекшись от своих мнений, сам переименовал свою книгу вместо «Манна» — «Обмана». В январе 1690 года Медведева сослали в Троицкий монастырь, но через год по доносу одного из соучастников казненного уже Шакловитого он обвинен был в соумышлении с Шакловитым и после страшных пыток огнем обезглавлен 11 февраля 1691 года.

Патриарх Иоаким, осудивши Медведева и киевское учение о пресуществлении, велел составить от своего имени книгу под названием «Остен». Книга эта написана Евфимием. В ней изложена вся история происходившего спора. В добавление к ней патриарх иерусалимский Досифей прислал собрание свидетельств, доказывающих справедливость учения Лихудов. Киевская партия потерпела жестокое поражение. Московский собор признал неправославными не только сочинение Медведева, но и писания Симеона Полоцкого, Галятовского, Радивиловского, Барановича, Транквиллиона, Петра Могилы и др. О «Требнике» Петра Могилы сказано, что эта книга преисполнена латинского зломудренного учения, и вообще о всех сочинениях малорусских ученых замечено, «что их книги новотворенные и сами с собою не согласуются, и хотя многие из них названы сладостными именами, но все, даже и лучшие, заключают в себе душетлительную отраву латинского зломудрия и новшества». В Москве утвердилось было мнение, что приходящие из Малороссии и Белороссии ученые заражены латинскою ересью, что, путешествуя за границу и довершая там свое образование, они усваивают иноземные понятия и обычаи, что не следует слушать их и ездить к ним учиться. Говорили, что «вместо благословенного еллино-славянского учения они преподают латинское учение, от которого ничего доброго нельзя надеяться, кроме противности и рати на святую церковь. В давние времена в Малороссии процветало восточное благочестие, как и у нас, великороссиян, оно благодатию божиею, яко солнце, сияет, а когда вошли туда злохитрые иезуиты и принесли туда учение латинское, что случилось? Куда девались тамошние князья великие, православные: Острожские, Чарторийские, Четвертинские и иные?».

Через несколько времени сила Лихудов поколебалась. Патриарх иерусалимский Досифей, прежде благоволивший к ним, не получивши от них требуемой суммы в пользу гроба господня, в 1693 году написал к обоим царям и к патриарху Адриану, заступившему место умершего Иоакима, что Лихуды — обманщики, тайные латинники, что они, получивши от патриарха благословение на обучение греческому языку, учат латинскому и вместо богословских наук «завлаваются» физикою и философию; доносил на них, что они фальшиво называют себя князьями, что на самом деле они люди незнатного

происхождения, убогие, ремесленные и проч. Справедливость патриаршего донесения поддерживали проживавшие тогда в Москве греки, завидовавшие Лихудам. По этим наветам Лихуды в 1694 году были удалены от заведования академией и от преподавания.

Вместо них стали управлять академиею двое из их учеников *, а в 1699 году назначен был первый ректор академии Палладий Роговский. Лихуды оставались несколько лет в Москве и учили латинскому и итальянскому языкам. Царь Петр нашел, что они могут быть ему полезными, назначил им жалованье и приказывал родителям отдавать Лихудам детей для обучения итальянскому языку, но греки не оставили их в покое: они вооружили против них патриарха Адриана и обвиняли их уже в политических преступлениях. Адриан донес царю, что Лихуды пересылают в Константинополь сведения о Московском государстве. Враги Лихудов добились-таки, что в 1701 году они были удалены в Ипатьевский костромской монастырь.

Удаление Лихудов из академии ободрило киевскую партию. В числе переселившихся в Москву малоруссов был некто Гавриил Домецкий. Он был архимандритом Симонова монастыря и составил для своей обители устав под названием «Киновион, или Изображение иноческого жития». Устав этот соблазнял строгих великорусских ревнителей древнего аскетизма. В этом уставе монахам вменялись в обязанность опрятность и чистота; больным и недужным монахам позволялось вкушать какую угодно пищу, хотя бы даже и в пост, потому что для нездорового человека не должно быть поста, да и самый пост, по уставу Домецкого, должен состоять более в количестве, чем в качестве принимаемой пищи и питья, а потому братии подавалось вино, пиво, мед, только некрепкие и в умеренном количестве. Трапеза братии полагалась здоровая и вкусная; признавались необходимым даже для иноков развлечения, только приличные и небыстрасветные. Такая снисходительность не мешала Домецкому вооружаться против пьянства, о чем от него осталась даже проповедь. «Что это за монашество,— говорили про этот устав великороссияне,— когда в монастыре ставят ушаты с пивом и медом, а монахи между собою в шахарду играют. Латинские штуки! Польский закон!»

На соборе, поразившем анафемою Медведева, во время общего гонения на киевлян Домецкий лишился звания архимандрита, но в 1694 году новгородский митрополит Иов пригласил его в Новгород и дал в управление Юрьевский монастырь. Тогда Домецкий попытался выступить на защиту своих земляков и написал опровержение против книги «Остен». «Можно ли давать такое название книге,— выражался он,— остен значит кол прободающий, как будто церковь может так сурово поступать! Неприлично обращаться к архиереям неведомо от кого и говорить словно к малым детям: бей! коли! Несправедлив «Остен» к ученым киевским: они первые и лучшие защитники православной церкви. Патриарх Никон хорошо сознавал это,

* Николай Семенов и Федор Поликарпов.

когда вызывал их из Киева и все делал при их помощи». Затем Домецкий снова доказывал, что латинская церковь всегда была согласна с греческою по вопросу о пресуществлении, и подтверждал свою мысль свидетельством многих отцов церкви, особенно Златоуста.

Против Домецкого поднялся инок Дамаскин, земляк и давний приятель митрополита Иова; он нападал на киевских ученых вообще. «По чему можно познать киевлянина? — говорит он. — По тому, что слышим от него хулу на четырехпрестольных патриархов, на греческие монастыри и на всех греков; он читает польские и литовские книги и подражает обычаем и нравам, которые, по нашему разумению, не восточной части... Он Киев паче меры хвалит, а в Великой России книг не сказывает (т. е. не признает, чтобы были книги), учения греческого не любит, а латинское принимает; сам собою, как сатана, стоять хочет». Обращая речь к малорусским ученым, он говорит: «Вы, новые мудрецы, выучите по латыни b, c, d или немного поболее этого, да и величаетесь; других унижаете, всякий сан, и архиерейский, и священнический ни во что вменяете, людей искусных в св. писании обзываете неучами и невеждами. Мы уважаем свободные науки, но пусть они передаются нам такими людьми, которые со страхом слушают и исполняют божественные повеления, а кто в бесстрашии пребывает и в сластях, тому схоластические науки не только не приносят пользы, но и вредны. У такого помысел свирепеет, обращается на то, что свыше меры; такой схоластик скорее, чем всякий неученый, сделается пакостником церковным и ересеизобретателем».

Но этим не ограничился Дамаскин: он писал Иову послание за посланием, убеждал прогнать Домецкого, не знаться с малоруссами. «Призови, — говорил он, — лучше людей греческого воспитания, изволь поискать оного красносоделанного монастырского благочиния, которое ныне обретается на Афонской горе, а не в польских, литовских и малороссийских странах; киевляне все древнее благочестие изменили, перешли от смиренного на гордое, от скромного на пышное; и в одеждах, и в поступках, и в нравах — все у них латиноподобно. Если хочешь насладиться божественными книгами, вызови греческих переводителей и писцов и увидишь чудо преславное, а в этих латинниках нам нет никакой нужды. Можно, очень можно обойтись без киевлян: не бог посылает их на нас, а сатана на прельщение...» Наветы Дамаскина наконец подействовали: Иов удалил Домецкого. Домецкий уехал в Киев, где оставался до смерти.

Но киевской науке этим не был нанесен удар. Дамаскин мог вытеснить Домецкого из Новгорода, а между тем в Москве с наступлением XVIII века окончательно восторжествовали киевляне. Малорусс Стефан Яворский⁹, назначенный местоблюстителем патриаршего престола после умершего Адриана, внушил царю Петру, что киевские ученые могут быть всего полезнее для русского просвещения, и царь, задавшись мыслью пересадить в Россию западное просвещение, «увидел в малорусских духовных превосходное орудие для своих

целей; с тех пор малоруссы заняли места преподавателей в Московской академии; преподавание шло по киевскому образцу; даже большинство учеников в Москве было из малороссиян *; наконец, на все важнейшие духовные места возводимы были малороссияне. Так не бесплодным осталось для русского просвещения перенесение киевской образованности в Москву в половине XVII века **.

МАЛОРОССИЙСКИЙ ГЕТМАН ЗИНОВИЙ-БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Древняя Киевская земля, находившаяся под управлением князей Владимирова дома, ограничивалась на юге рекою Росью. Пространство южнее Роси, начиная от Днепра на запад к Днестру, ускользает из наших исторических источников. Наш древний летописец, перечитывая ветви славяно-русского народа, указывает на угличей и тиверцев, которых жилища простирались до самого моря. Угличи представляются народом многочисленным, имевшим значительное количество городов. Бесчисленное множество городищ, валов и могил, покрывающих Юго-Западную Россию, свидетельствует о древней населенности этого края. Почти непонятно, каким образом киевские, волынские и галицкие князья, владея множеством городов, возникавших один за другим в их княжениях, занимавших северную половину нынешней Киевской губернии, Волынь и Галицию, упустили плодороднейшие соседние земли. Из нашей летописи мы узнаем, что языческие князья вели упорную войну с угличами. После сильного сопротивления князья одолевали их, брали с них дань, а потом, со времен Владимира, угличы со своим краем как будто исчезают куда-то. Только в XIII веке, во время Данила, в краю между Бугом и Днестром являются какие-то загадочные боголовские князья, владевшие городами и поладившие с покорившими их татарами. В так называемой Литовской летописи мы находим смутное известие, что в XIV веке Ольгерд¹, покоривши Подоль, нашел там местное население, живущее под начальством атаманов. Из польских и литов-

* Напр., в 1764 году в классе философии из 34 учеников только было три великороссиянина.

** Лихуды в 1706 году, прибывши в Новгород, заменили Домецкого для митрополита Иова и завели по его повелению два училища: одно — греко-латинское, другое — славянское для детей всех званий и, кроме того, четырнадцать так наз. грамматических школ в уездах Новгородской епархии. В 1709 году Софроний поступил на должность префекта Московской духовной академии. Иоанникий проживал в Новгороде до 1716 года, когда умер митрополит Иов; затем он перешел в Москву и в следующем году скончался. В 1722 году Софроний был назначен архимандритом в Рязань и прожил там до своей смерти, случившейся в 1730 году. У Иоанникия осталось двое сыновей, за которыми признано княжеское достоинство.

ско-русских источников узнаем, что в XV столетии нынешний край Юго-Западной России был уже значительно населен сплошь до самого моря; в южных его пределах были обширные владения знатных родов: Бучацких, Язловецких, Сенявских, Лянскоронских и пр. Плодородные земли изобиловали хлебопашеством и скотоводством; велась постоянная торговля с Грециею и Востоком; ходили купеческие караваны в Киев.

Но после разрушения Греческой империи и после основания в Крыму хищнического царства Гиреев беспрестанные грабежи и набеги татар не допустили свободного мирного развития жизни в этом крае и вызвали в нем необходимость населения с чисто воинственным характером. В конце XV века введен был в Руси польский обычай отдавать города с поселениями под управление лиц знатного рода под названием старост. В начале XVI века являются староства черкасское и каневское, а в них военное сословие под названием казаков. Самая страна, занимаемая этими староствами, названа Украиной; название это переходит на все пространство до Днестра, именно на землю древних угличей и тиверцев, а потом, по мере расширения казачества распространяется и на Киевскую землю, и на левый берег Днепра*.

Мы уже объясняли происхождение слова «казак» в жизнеописании Ермака. Положение Южной Руси было таково, что здесь казак, чем бы он ни был, вначале должен был сделаться воином. Черкасские и каневские старосты, а за ними и другие старосты в Южнорусском крае, например, хмельницкие и брацлавские, для безопасности своих земель по необходимости должны были учредить из местных жителей военное сословие, всегда готовое для отражения татарских набегов. Необходимо было вместе с тем дать этому сословию права и привилегии вольных людей, так как по понятиям того века воин должен был пользоваться сословными привилегиями перед земледельцами. Организаторами казачьего сословия в начале XVI века являются преимущественно два лица: черкасский и каневский староста Евстафий Дашкович и хмельницкий староста Предислав Лянскоронский.

Но в то время, когда собственно в Украине образовывалось местное военное сословие под названием казаков и состояло под начальством старост, началось и в других местах Южной Руси стремление народа в казаки. Таким образом, из Киева плавали вниз по Днепру за рыбою промышленники и также называли себя казаками. Они, будучи промышленниками, были вместе с тем и военными людьми, потому что пребывание их в низовьях Днепра для своего промысла было небезопасно и требовало с их стороны умения владеть оружием для своей защиты от внезапного нападения татар.

Развитию казачества более всего содействовал предприимчивый

* Слово угличи от слова «уголь», вероятно, однозначительно со словом Украина: «у края». Украина слово древнее, встречается в XII веке.

и талантливый преемник Дашковича, черкасский и каневский староста Димитрий Вишневецкий. Он увеличивал число казаков приемом всякого рода охотников, прославился со своими казаками геройскими подвигами против крымцев и поставил себя по отношению к польскому королю почти в независимое положение. Его широкие планы уничтожить крымскую орду и подчинить черноморские края Московской державе разбились об ограниченное упрямство царя Ивана Грозного. В 1563 году Вишневецкий со своими казаками овладел было Молдавией, но затем изменнически был схвачен турками и замучен*. Поход Вишневецкого на Молдавию проложил путь другим казацким походам в эту страну под начальством Сверчовского² и Подковы. Польские паны Потоцкие и Корецкие также покушались овладеть Молдавией при помощи казаков. Походы эти усиливали и развивали казачество. Еще более поднимали его начавшиеся со второй половины XVI века казацкие морские походы, предпринимаемые из Запорожской Сечи на турецкие владения.

Еще в 1533 году Евстафий Дашкович на польском сейме в Пиотркове представлял необходимость держать от правительства казацкую сторожу на днепровских островах. Но на сейме не последовало по этому поводу решения. В пятидесятых годах XVI века Димитрий Вишневецкий построил укрепление на острове Хортице и поместил там казаков. Появление казацкой селитбы поблизости к татарским пределам не понравилось татарам, и сам хан Девлет-Гирей приходил выгонять казаков оттуда. Вишневецкий отразил хана, но, покинутый в своих предприятиях царем Иваном, покорился воле Сигизмунда Августа и затем вывел казаков с низовья Днепра. Тем не менее казаки не оставили пути, намеченного Дашковичем и Вишневецким, и через несколько лет после того явилась Запорожская Сечь**.

Река Днепр хотя и своенравная в своем течении, представляет, однако, возможность безопасного плавания вплоть до порогов; но вслед за тем плавание на протяжении 70 верст делается очень опасным, иногда и совершенно невозможным. Русло Днепра в разных местах пересекается грядою скал и камней, через которую прорывается вода с различною силою падения***. По окончании порогов

* О нем сохранилась такая легенда, что султан приказал его повесить ребром на крюк, и Вишневецкий, повиснув на крюке, славил Иисуса Христа и проклинал Магомета. В одной малорусской думе он является под именем казака Байды. Он висит на крюке, а султан предлагает ему принять магометанскую веру и жениться на его дочери. Байда просит себе пук стрел убить голубя на ужин своей невесте и поражает стрелою царскую дочь в голову, проклиная неверных.

** Т. е. засека. В 1568 году она уже существовала.

*** Всех порогов на Днепре считается до десяти: Койдацкий, Сурский, Лоханский, Звонецкий, Тягинский, Ненасытицкий (самый значительный и опасный), Волнигский, Будило, Лишний и Гадючий, или Вильный и, кроме того, несколько «забор»: так называются камни, которых гряда не доходит от одного берега до другого. Из них самая значительная Воронова забор в 6 верстах от Ненасытицкого порога.

Днепр проходит через гористое ущелье, называемое Волчьим Горлом (Кичкас), а потом разливается шире и делается уже судоходен до самого устья, но по всему своему течению разбивается на множество извилистых рукавов, образующих бесчисленные острова и плавни (острова и луга, заливаемые в половодье и покрытые лесом, кустарником и камышом). Первый из островов вслед за Волчьим Горлом есть возвышенный и длинный остров Хортица. За ним следуют другие острова различной величины и высоты. Острова эти представляли привольное житье для удалцов того времени по чрезвычайному изобилию рыбы, дичины и отличных пастбищ. И вот с половины XVI века этот край, называемый тогда вообще Низом, стал более и более делаться приютом всех, кому только почему-нибудь было немилым житье на родине, и всех тех, кому по широкой натуре были по вкусу опасности и удалые набеги. Запорожская Сечь установилась прежде всего на острове Томаковке, близ впадения в Днепр реки Конки. Против этого острова на левом берегу рос огромный лес, называемый Великий Луг. Через несколько времени Сечь переносилась ниже на Микитин Рог (близ нынешнего Никополя), а потом еще несколько ниже и надолго основалась близ нынешнего села Капуловки. Главный центр ее был на одном из островов, до сих пор называемом Сечью. Казаки, поселившиеся в Сечи, носили название запорожцев; а весь состав их назывался кошем. Они выбирали вольными голосами на раде (сходке) главного начальника, называемого кошевым атаманом. Кош разделялся на курени, и каждый курень состоял под начальством выбранного куренного атамана. Поселения низовых казаков не ограничивались одною Сечью. В разных местах на днепровских островах и на берегах образовывались казацкие селитьбы и хутора. Таким образом, за порогами слагалось новое людское общество с военным характером, населенное выходцами и беглецами из Южной Руси, совершенно независимыми от властей, управлявших Южной Русью: пороги препятствовали этим властям добраться до поселенцев. Сначала жители Запорожья состояли из одних только мужчин, так как война была главною целью переселения за пороги; притом же значительная часть людей, прибывших туда, не имела намерения оставаться там навсегда; побывавши на Запорожье, повоевавши с татарами в степи или совершивши какой-нибудь поход, они возвращались на родину. Другие же по-прежнему отправлялись на Запорожье не с целью войны, но для звериной охоты и рыбной ловли и, следовательно, также на время. Только мало-помалу стали переселяться туда семьями и заводить хутора, или «зимовники». В самую Сечь никогда не дозволено было допускать женщин.

Таким образом, казаки разделились на два рода: городовых, или украинских, и запорожских, или сечевых. Первые по месту своего жительства должны были над собою признавать польские власти; вторые были совершенно независимы. Между теми и другими

была тесная связь: очень многие из городских казаков проводили несколько лет в Сечи и вменяли это себе в особую доблесть и славу. Польские паны своими поступками содействовали расширению казачества, не предвидя губительного влияния, какое оно при тогдашних условиях носило в себе для строя польского общества. Один из знатнейших польских панов, Самуил Зборовский, был казацким предводителем. Паны приглашали казаков в своих походах; так Мнишки и Вишневецкие с их помощью водили в Московское государство самозванцев. Польские короли не раз пользовались их услугами. Еще Сигизмунд Август изъезжал украинских казаков из-под власти старост и поставил над ними особого «старшого». При Стефане Батории заведены были реестры, или списки, куда записывались казаки; и только вписанные в эти реестры должны были называться казаками. Старшой над казаками, назначенный королем, назывался гетманом. Вероятно, в это же время последовало разделение казаков на полки (которое, собственно, известно нам в несколько позднее время). Полков было шесть: Черкасский, Каневский, Белоцерковский, Корсунский, Чигиринский, Переяславский (последний на левой стороне Днепра); каждый полк находился под начальством полковника и его помощника асаула; полк делился на десять сотен. Каждая сотня была под начальством сотника и его помощника сотенного асаула. Гетману, или старшому, дан был для местопребывания город Трехтемиров. При гетмане были чины: асаул, судья, писарь, составлявшие генеральную старшину. Всех реестровых казаков было только шесть тысяч. Они пользовались свободным правом владения своими землями, не несли никаких податей и повинностей и получали жалованья по червонцу на каждого простого казака и по тулупу. Кроме этих реестровых казаков польское правительство долго не хотело знать никаких других казаков. По закону только реестровые были казаками. Но такой взгляд шел вразрез с народным стремлением. В Южной Руси, напротив, все хотели быть казаками, т. е. вольными людьми; все искали путей и средств обратиться в казаков. Одним из таких путей была Запорожская Сечь. Жители, бывшие по закону панскими хлопами в имениях наследственных или коронных, бегали на Запорожье, возвращаясь оттуда, не хотели уже служить своим панам, называли себя казаками и, как вольные люди, считали своею собственностью ту землю, на которой жили и которую обрабатывали, тогда как владелец признавал эту землю своею. Владельцы и их управители ловили таких беглецов и казнили смертью, но не всегда можно было это исполнить. Многие землевладельцы заводили тогда слободы и приглашали к себе всякого, давая льготы. В такие слободы убегали те, которых преследовали на их прежнем жительстве. Между самими владельцами возникали за это ссоры, часто происходили наезды друг на друга. Иногда и сами паны приглашали к себе своевольных чужих хлопов, называли их казаками и с их помощью бесчинствовали против своей же братии. Такие казаки при первом неудовольствии

готовы были поступать со своими новыми панам, как с прежними. Реестровые казаки мало имели охоты замыкать свое сословие и охотно принимали в него новых братьев, так что количество реестровых было на деле гораздо больше, чем на бумаге. Иногда такие польские подданные, назвав себя казаками, не пытались ни вступать в реестр, ни примыкать к панам, а собирались вооруженными толпами и выбирали себе предводителя, которого называли гетманом. Так поступали в особенности те, которые бывали на Сечи, воевали против турок и татар и приобретали себе там — как выражались тогда — «рыцарскую славу». Эти так называемые «своевольные купы» (шайки) уже в конце XVI века стали страшны для Польши и возбуждали против себя строгие постановления сейма. На деле эти постановления не исполнялись, тем более что и польский король, и польские паны, объявивши шайки самозванных казаков противозаконными скопищами, сами употребляли их в войнах с Москвою, Швециею и Турциею. Таким образом, кроме казаков городских, записываемых в реестры, и казаков сечевых, беспрестанно то пополняемых беглецами из Украины, то убавляемых уходившими назад в Украину, было еще множество казаков своевольных, состоявших из панских хлопов, выбиравших себе гетманов. Правительство делало пересмотры реестрам; из них исключались лишние казаки; эти лишние носили название «выписчиков», но выключенные из реестра продолжали называть себя казаками.

Понятно, что при таких условиях южнорусского общества того времени у польского правительства, а главное, у польских панов явилось среди простого народа много врагов; эти враги становились тем ожесточеннее и опаснее, чем сильнее выказывалось с польской стороны стремление удержать наплыв народа в казачество. Польское право предавало хлопа в безусловное распоряжение его пана. Понятно, что такое положение не могло быть приятным нигде; но там, где народу не было никакой возможности вырваться из неволи, он терпел, из поколения в поколение привыкал к своей участи до такой степени, что перестал помышлять о лучшей. В Украине было не то. Здесь для народа было много искушений к приобретению свободы. Перед глазами у него было вольное сословие, составленное из его же братьев; по соседству с ним были днепровские острова, куда можно было убежать от тяжелой власти; наконец, близость татар и опасность татарских набегов приучали украинского жителя к оружию; сами паны не могли запретить своим украинским хлопам носить оружие. Таким образом, в народе южнорусском поддерживался бодрый воинственный дух, несовместный с рабским состоянием, на которое осуждал его польский общественный строй. Между тем, как способы панского управления в Украине, так и свойство отношений, в какие поставлен был высший класс к низшему, никак не мирили русского хлопа с паном и не располагали его к добровольной зависимости.

Стремление народа к оказаченью, или так называемое поляками «украинское своеволие», начало принимать религиозный оттенок и получать в собственных глазах русского народа нравственное освящение. Уже восстания Наливайка и Лободы в 1596 г. прикрывались до некоторой степени защитой религии. Вслед за введением унии последовало быстрое отступление русского высшего класса от своей религии, а вместе с тем и от своей народности. Русские паны стали для русского народа вполне чужими, и власть их получила вид как бы иноземного и иноверного порабощения. Мещане и хлопы только от страха, а не по убеждению принимали унию, и пока не свыклись с нею в течение многих поколений, долго были готовы отпасть от нее. В Украине, где народ был бодрее и менее подвергался рабскому страху, уния трудно пускала свои корни. Реестровые казаки не принимали ее вовсе, потому что не боялись панов; знакомство с войною делало их отважными. Самовольные казаки еще более возненавидели унию как один из признаков панского насилия над собою. Таким образом, православная религия сделалась для русского народа знаменем свободы и противодействия панскому гнету.

Согласное свидетельство современных источников показывает, что в конце XVI и первой половине XVII века безусловное господство панов над хлопами привело последних к самому горькому быту. Иезуит Скарга, фанатический враг православия и русской народности, говорил, что на всем земном шаре не найдется государства, где бы так обходились с земледельцами, как в Польше. «Владелец или королевский староста не только отнимает у бедного хлопа все, что он зарабатывает, но и убивает его самого когда захочет и как захочет, и никто не скажет ему за это дурного слова». Между панами в это время распространилась страсть к непомерной роскоши и мотовство, требующее больших издержек. Один француз, живший тогда в Польше, заметил, что повседневный обед польского пана стоит больше, чем званый во Франции. Тогдашний польский обличитель нравов Старовольский говорит: «В прежние времена короли хаживали в бараньих тулупах, а теперь кучер покрывает себе тулуп красною материею, чтобы отличаться от простолюдина. Прежде шляхтич ездил на простом возе, а теперь катит шестернею в коляске, обитой шелковою тканью с серебряными украшениями. Прежде пивали доброе домашнее пиво, а теперь и конюшни пропахли венгерским. Все наши деньги идут на заморские вина и на сласти, а на выкуп пленных и на охранение отечества у нас денег нет. От сенатора до последнего ремесленника все проедают и пропивают свое достояние и входят в неоплатные долги. Никто не хочет жить трудом, а всякий норовит захватить чужое; легко достается оно, и легко спускается. Заработки убогих подданных, содранные иногда с их слезами, а иногда со шкурою, потребляются господами, как гарпиями. Одна особа в один день пожирает столько, сколько зарабатывают много бедняков в долгое время. Все идет в один дырявый мешок — брюхо.

Верно, пух у поляков имеет такое свойство, что они могут на нем спать спокойно, не мучась совестью». Знатный пан считал обязанностью держать при своем дворе толпу ничего не делающих шляхтичей, а жена его — такую же толпу шляхтянок. Все это падало на рабочий крестьянский класс. Кроме обыкновенной панщины, зависевшей от произвола владельцев, они были обременены множеством разных мелких поборов. Каждый улей был обложен налогом под именем очкового; за вола платил крестьянин роговое; за право ловить рыбу — ставщину; за право пасти скот — спасное; за измол муки — сухомельщину. Крестьянам не позволялось ни готовить себе напитков, ни покупать их иначе как у жидов, которым пан отдает корчму в аренду. Едет ли пан на сейм или на богомолье или на свадьбу — на подданных налагается какая-нибудь новая тягость. В королевских имениях, управляемых старостами или же управителями, положение хлопов было еще хуже, хотя закон предоставлял им право жаловаться на злоупотребления; никто не смел жаловаться, — по замечанию Старовольского, — потому что обвиняемый будет всегда прав, а хлоп виноват. «В судах у нас, — говорит тот же писатель, — завелись неслыханные поборы, подкупы; наши войты, лавники, бурмистры — все подкупны, а о доносчиках, которые подводят невинных людей в беду, и говорить нечего. Поймают богатого, запутают и засадят в тюрьму, да и тянут с него подарки и взятки». Кроме безграничного произвола старосты или его дозорцев, в коронных имениях свирепствовали жолнеры (солдаты), которые тогда отличались буйствами и своеволием. «Много, — замечает Старовольский, — толкуют у нас о турецком рабстве; но это касается только военнопленных, а не тех, которые, живя под турецкою властью, занимаются земледелием или торговлей. Они, заплативши годовую дань, свободны, как у нас не свободен ни один шляхтич. В Турции никакой паша не может последнему мужику сделать того, что делается в наших местечках и селениях. У нас в том только свобода, что вольно делать всякому, что вздумается; и от этого выходит, что бедный и слабый делается невольником богатого и сильного. Любой азиатский деспот не замучит во всю жизнь столько людей, столько их замучат в один год в свободной Речи Посполитой».

Но ничто так не тяготило и не оскорбляло русского народа, как власть иудеев. Паны, ленясь управлять имениями сами, отдавали их в аренды иудеям с полным правом панского господства над хлопами. И тут-то не было предела истязаниям над рабочею силою и духовною жизнью хлопа. Кроме всевозможнейших проявлений произвола иудеи, пользуясь унижением православной религии, брали в аренды церкви, налагали пошрины за крещение младенцев («дудки»), за венчание («поемщина»), за погребение и, наконец, вообще за всякое богослужение; кроме того и умышленно ругались над религией. Отдавать имения на аренды казалось так выгодным, что число иудеев-арендаторов увеличивалось все более и более, и Южная

Русь очутилась под их властью. Жалобы народа на иудейские насилия до сих пор раздаются в народных песнях. «Если,— говорится в одной думе,— родится у бедного мужика или казака ребенок, или казаки либо мужики задумают сочетать браком своих детей,— то не иди к попу за благословением, а иди к жиду и кланяйся ему, чтобы позволил отпереть церковь, окрестить ребенка или обвенчать молодых». Даже римско-католические священники, при всей своей нетерпимости к ненавистной для них «схизме», вопияли против передачи русского народа во власть иудеев. Так, в одной проповеди, сказанной уже тогда, когда Хмельницкий разбудил дремавшую совесть панов, говорится: «Наши паны вывели из терпения своих бедных подданных в Украине тем, что, отдавая жидам в аренду имения, продали схизматиков в тяжелую работу. Иудеи не позволяли бедным подданным крестить младенцев или вступать в брак, не заплатив им особых налогов».

Понятно, что народ, находясь в таком положении, бросался в казачество, убегал толпами на Запорожье и оттуда появлялся вооруженными шайками, которые тотчас же разрастались. Восстания следовали за восстаниями. Паны жаловались на буйство и своеволие украинского народа. Вместе с этим шли непрерывные набеги на Турцию. Толпы удалцов, освободившись бегством от тяжелого панского и иудейского гнета, убегали на Запорожье, а оттуда на чайках (длинных лодках) пускались в море грабить турецкие прибрежные города. Жизнь на родине представляла так мало ценного, что они не боялись подвергаться никаким опасностям; а нападать на неверных по понятиям того времени считалось богоугодным делом, тем более что целью этих набегов было столько же освобождение пленных христиан, сколько и приобретение добычи от неверных. Турецкие послы постоянно жаловались польскому правительству на казаков. Поляки при возможности ловили виновных и казнили их, но когда сами ссорились с турками или татарами, то давали волю тем же украинским удалцам. Эти походы были особенно важны тем, что послужили дальнейшею военною школою для украинского народа и способствовали ему дружно и решительно подниматься против поляков; на это не отваживался в других местах русский народ, страдавший под таким же гнетом.

Частные местные восстания народа были многочисленны и не все нам известны. Правительство то и дело что производило новые реестры, желая ограничить число казаков. Но после каждого реестрования число казаков удвоивалось, утроивалось; лишних снова исключали из списков, а эти лишние не повиновались и увеличивали число свое силами охотников. По временам хлопы возмущались против владельцев, собирались в шайки, нападали на владельческие усадьбы. Жестокие казни следовали за каждым укрощением; но мятежи вспыхивали снова. Все хотели быть казаками; невозможно было разобрать, кто настоящий казак и кто только называет себя казакom.

В 1614 году коронный гетман Жолкевский разогнал в Брацлавщине большую шайку, называвшую себя казаками, а 15 октября под Житомиром заключил с реестровыми казаками договор³, по которому они обязались не принимать в свое товарищество своевольных шаек, называвших себя казаками и нападавших на шляхетские имения, не собирать народа на рады; всем тем, которые самовольно называли себя казаками, велено оставаться под властью панов. Этот договор тотчас же был нарушен. Шляхта жаловалась королю; король писал универсалы; но в этих универсалах уже проглядывало сознание бессилия. «Несмотря на все прежние наши меры,— писал король в 1617 году,— казачье своеволие дошло до ужасающих крайностей; громады казаков не дают Речи Посполитой покою; шляхта не может безопасно проживать в своих имениях». Впрочем, в первой четверти XVII века казацкая удаль находила себе поле деятельности то в Московском государстве, то на Черном море, то в Турции и Молдавии. Под начальством Сагайдачного казаки помогали полякам в войне с Турциею. Но когда кончилась эта война, казацкие восстания стали принимать значительно более широкий размер. В 1625 году казаки отправили своих депутатов на сейм с требованием признать законными духовных, посвященных иерусалимским патриархом, удалить унитов от церквей и церковных имений, уничтожить всякие стеснительные постановления против казаков и не ограничивать их числа. Они при своей просьбе послали перечень разных утеснений, которые терпели русские в Польше и Литве, указывали, что повсюду отнимают у православных церкви, тянут в суды православных под разными предлогами, отдаляют их от цеховых ремесел, сажают в тюрьмы и бьют священников; жаловались, что православные дети вырастают без крещения, люди живут без венчания и отходят от мира без исповеди и св. причащения. Просьба эта не имела никаких последствий, и казаки под начальством гетмана Жмайла⁴ стали расправляться сами собою: ворвались в Киев, убили киевского воята Федора Ходьку за ревность к уни; ограбили католический монастырь, убили в нем священника и отправили к московскому царю посольство с просьбою принять казаков под свое покровительство. Этого не хотели им простить поляки, и коронный гетман Станислав Конецпольский получил повеление укротить казаков оружием. Казаков было тысяч до двадцати; но между ними происходили несогласия, так что часть их разошлась. Конецпольский прижал их к Днепру недалеко от Крылова; реестровые казаки решились мириться; сменили Жмайла, выбрали гетманом Михайла Дорошенка⁵ и заключили с польским гетманом на урочище Медвежьи Лозы договор, по которому казаки должны были оставаться в числе шести тысяч и находиться под властью коронного гетмана; затем все, называвшие себя казаками, должны были подчиняться своим старостам и панам; все земли, которые они себе присвоили и считали казацкими, должны быть возвращены владельцам. Договор этот не мог разрешить спорных

вопросов по желанию поляков. Число исключенных из казацкого звания значительно превышало число реестровых и еще увеличивалось вновь составляемыми шайками. Непокорные хлопы бежали толпами в Сечь. По смерти Дорошенка, убитого в битве с татарами, поляки назначили над реестровыми казаками предводителем Грицка Черного,⁶ человека, преданного полякам; но самовольные казаки, собравшись в Сечи, избрали гетманом Тараса⁷ и двинулись в Украину. Реестровые казаки выдали Грицка Черного Тарасу; запорожцы совершили над ним жестокую казнь за то, что он принял унию. Тарас, признанный реестровыми, распустил по Украине универсал и убеждал весь народ подняться и идти на поляков во имя веры. Многие духовные возбуждали русских к защите веры и жизни, потому что в те времена раздраженные поляки кричали, что надобно уничтожить схизму и истребить весь мятежный народ, а Украину заселить поляками. Польские историки уверяют, будто и Петр Могила, будучи еще печерским архимандритом, возбуждал народ к восстанию.

Поляки совершали тогда ужаснейшие варварства. Самуил Лащ, коронный стражник (блюститель пограничных областей), обрезывал людям носы и уши, отдавал девиц и женщин на поругание своим солдатам и в первый день пасхи 1639 года в местечке Лысянке вырезал поголовно всех жителей, не разбирая ни пола, ни возраста; многие из них были побиты в церкви. Для внушения народу страха и в других местах делалось то же. Тарас сосредоточил свои силы на левой стороне Днепра, у Переяславля. Конецпольский вступил с ним в битву, которая была так неудачна для поляков, что, по свидетельству их самих, у Конецпольского в один день пропало более войска, чем за три года войны со шведами. К сожалению, исход этой войны для нас остался неизвестным. Тарас каким-то образом попал в руки поляков и был казнен.

Через два года умер Сигизмунд III. Реестровые казаки при сыне его Владиславе участвовали в походе против Москвы, но зато другие казаки самовольно спустились в Черное море, делали нападения на турецкие владения и собирались на днепровских островах, чтобы снова идти войною на поляков. Чтобы пресечь бегство народа за пороги, коронный гетман Конецпольский заложил на Днепре перед самыми порогами крепость Кодак и оставил там гарнизон под начальством француза Мариона. Но в августе 1635 года предводитель самовольных казаков Сулима⁸ разорил эту крепость, перебил гарнизон и стал призывать народ к восстанию. Ему не удалось предприятие. Подсланные Конецпольским реестровые казаки схватили Сулиму, еще не успевшего собрать большого ополчения. Ему отрубили голову в Варшаве.

Вслед за тем объявлено снова строгое приказание самовольным казакам повиноваться своим панам, а чтобы привести эту меру в исполнение, расставили в Украине польские войска, которые тотчас же начали делать народу всякие насилия. Это вынудило реестровых

казаков в 1636 году обратиться с жалобой к королю; они избрали своими послами двух сотников: черкасского Ивана Барабаша⁹ и чигиринского Зиновия-Богдана Хмельницкого.

Зиновий-Богдан был сын казацкого сотника Михайла Хмельницкого. В юности он учился в Ярославле (галицком) у иезуитов и получил по своему времени хорошее образование. Отец его был убит в Цецорской битве, несчастной для поляков, где пал их гетман Жолкевский. Зиновий, участвовавший в битве вместе с отцом, был взят турками в плен; он пробыл два года в Константинополе, научился там турецкому языку и восточным обычаям, что ему впоследствии пригодилось. После примирения Польши с Турцией Зиновий возвратился в отечество, служил в казацкой службе и получил чин сотника. Есть известие, что он был под Смоленском в 1632 году и получил от Владислава саблю за храбрость*.

Для рассмотрения казацких жалоб назначен был сенатор и воевода брацлавский Адам Кисель, православный пан, считавший себя отличным оратором и искусным дипломатом. Он начал хитрить с казаками и водить их, стараясь успокоить реестровых обещаниями денег, а главное, добиваясь исключения из реестра лишних казаков и возвращения их под власть своих панов. Старшим над реестровыми казаками был тогда Василий Томиленко, человек старый, нерешительный, но тем не менее сердечно преданный казацкому делу. В то время как он в Украине толковал с Киселем, новый предводитель самовольных казаков Павлюк ворвался из Сечи в Украину с 200 человек, захватил в Черкассах всю казацкую артиллерию и ушел обратно в Сечь, а оттуда писал убеждение к реестровым казакам соединиться с «выписчиками» и дружно защищаться против поляков. Томиленко колебался, а Кисель, который, по собственному его признанию, производил между казаками раздоры, подобрал кружок реестровых казаков и составил из них раду на реке Русаве. Эта рада низложила Томиленка и выбрала в гетманы переяславского полковника Савву Кононовича, родом великорусса, преданного панским видам. Вместе с Томиленком отрешили других старшин, и только лукавый писарь Онушкевич остался в своем звании. Павлюк, узнавши о таком перевороте, послал своего друга, чигиринского полковника Карпа Скидана¹⁰, с отрядом в Переяславль, а сам стал с войском у Крылова. Скидан вошел ночью в Переяславль, схватил Кононовича, писаря Онушкевича, новопоставленных старшин и привез их в Крылов. Казаки осудили их и расстреляли. Гетманом выбрали Павлюка. Томиленко, добровольно уступая ему первенство, остался его товарищем и другом.

Павлюк разослал универсал по всем городам, местечкам и селам и призывал весь русский народ к восстанию: «Повелеваем вам и

* Так говорит одна малорусская летопись, прибавляя, что через двадцать два года, когда он сделался подданным Алексея Михайловича, то говорил: «сабля эта порочит Богдана».

убеждаем вас, чтобы вы все единодушно, от мала до велика, покинувши все свои занятия, немедленно собрались ко мне».

На призыв Павлюка прежде всего отозвались на левой стороне Днепра так называемые новые слободы, а потом и на правой раздался, говорит современник, крик: «на свободу! на свободу!» Одни бежали к Павлюку; другие составляли шайки, бросались на панские дворы и забирали там запасы, лошадей, оружие... Сам Павлюк, разославши универсал, уехал в Сечь собирать запорожцев, а начальство в Украине поручил Скидану.

Все реестровые полки один за другим перешли на сторону восстания. Скидан заложил свой стан в Мошнах (Черкасского уезда). Конецпольский послал против казаков своего товарища Потоцкого.

6 декабря 1637 года произошла битва близ деревни Кумейки¹¹. Русские бились отчаянно; но сильный холодный ветер дул им в лицо; они были разбиты, ушли к Днепру и стали в местечке Боровицах. Прибыл Павлюк; но казаки возмутились против него за то, что он не в пору ушел в Сечь и пропустил удобное время. Кисель, находившийся с Потоцким, уговорил казаков выдать Павлюка с товарищами, поручившись, что король дарует им прощение. Реестровые казаки низложили Павлюка с гетманства, провозгласили было гетманом одного из старшин Дмитра Томашевича-Гуню, но Гуня не согласился получить старшинство ценою выдачи своих товарищей. Тогда реестровые казаки схватили Павлюка, Томиленка и какого-то Ивана Злого и привели к Потоцкому.

Заключен был с польским военачальником договор: казаки обещали повиноваться польскому правительству. Договор этот был подписан Зиновием-Богданом Хмельницким, носившим уже звание генерального писаря. Потоцкий назначил над казаками старшим Ильяна Караимовича¹². Гуня, Скидан и другие убежали.

Павлюка, Томиленка и Злого привезли в Варшаву. Напрасно Кисель перед сеймом умолял даровать им жизнь, ссылаясь на свое поручительство..Его протеста не уважили. Казацким предводителям отрубили головы.

Потоцкий между тем, покончивши в Украине, начал безжалостно казнить мятежников. Вся дорога от Днепра до Нежина уставлена была посаженными на кол хлопями. Но в то время, когда Потоцкий казнил сотнями мятежников и кричал: «я из вас восковых сделаю!», русские смело говорили ему: «Если ты, пан гетман, хочешь казнить виновных, то посади на кол разом всю правую и всю левую сторону Днепра».

Как только началась весна 1638 года, по всей Украине разнеслась весть, что с Запорожья идет новое ополчение. Там выбрали гетманом полтавца Острина. С ним шел Скидан. Толпы народа бросились к ним со всех сторон. Потоцкий выступил против них и потерпел поражение под Голтвою. Но между казацкими предводителями не было ладу. Поляки, поправившись от поражения, атаквали Остра-

нина под Жовнином, близ Днепра. Остранин убежал из войска в Московское государство. Казаки избрали старшим Дмитра Томашевича-Гуню. Реестровые тогда не пристали к восстанию, потому что находились с польским войском под начальством чиновников, назначенных поляками. Гуня с половины июня до половины августа упорно стоял против поляков, соглашался мириться, но не иначе как на сколько-нибудь выгодных условиях. Наконец, казаки положили оружие. Гуня ушел в Московское государство. Скидан, еще прежде отправившийся за Днепр для собрания новых сил, попался в плен.

С этих пор поляки хотя оставили реестровых казаков в прежнем числе, но давали им начальников из лиц шляхетского звания. Вместо гетмана у них был назначен комиссар, некто Петр Комаровский; генеральный писарь Зиновий-Богдан Хмельницкий лишился своей должности и остался по-прежнему чигиринским сотником. Чтобы преградить побегу народа за пороги, возобновлен был Кодак. Рассказывают, что Конецпольский, приехавши осматривать восстановленную крепость, созвал к себе казацких старшин и насмешливо спросил их: «как вам кажется Кодак?» «Manu facta, manu destruo» (что человеческими руками создается, то и человеческими руками разрушается),— отвечал ему Хмельницкий.

Поляки пришли к убеждению, что для укрощения страсти к мятежам, овладевшей русским народом, надобно принимать самые строгие меры; за малейшую попытку к восстанию казнили самым варварским образом: «И мучительство фараоново,— говорит малорусская летопись,— ничего не значит против ляхского тиранства. Ляхи детей в котлах варили, женщинам выдавливали груди деревом и творили иные неисповедимые мучительства»*.

Казакам уже трудно было начинать восстание. Сами реестровые казаки были почти обращены в хлопов и работали панцину на своих начальников шляхетского звания. Иной поворот всему русскому делу дан был во дворце короля Владислава.

Этот король, от природы умный и деятельный, тяготился своим положением, осуждавшим его на бездействие; тяжела была ему анархия, господствовавшая в его королевстве. Его самолюбие постоянно терпело унижение от надменных панов. Королю хотелось начать войну с Турциею. По всеобщему мнению современников, за этим желанием укрывалось другое: усилить посредством войны свою королевскую власть. Хотя нет никаких письменных признаний с его стороны в этом умысле, но все шляхетство от мала до велика было в этом уверено и считало соумышленником короля канцлера Оссолинского. Впрочем, последний если и потакал замыслам короля,

* Достоверность этих известий подтверждается и современными великорусскими известиями: «польские и литовские люди их христианскую веру нарушили и церкви их, людей собирая в хоромы, пожигали, и пищальное зелье, насыпав им в пазуху, зажигают, и сосцы у жен их резали...»

то вовсе не был надежным человеком для того, чтобы их исполнить. Это был роскошный, изнеженный, суетный, малодушный аристократ, умел красно говорить, но не в состоянии был бороться против неудач, и более всего заботясь о самом себе, в виду опасности всегда готов был перейти на противную сторону.

В 1645 году прибыл в Польшу венецианский посланник Тьеполо побуждать Польшу вступить с Венециею в союз против турок; он обещал с венецианской стороны большие суммы денег и более всего домогался, чтобы польское правительство дозволило казакам начать свои морские походы на турецкие берега. Папский нунций также побуждал польского короля к войне. Надеялись на соучастие господарей молдавского и валашского, на седмиградского князя и на московского царя. В начале 1646 года польский король заключил с Венецией договор; Тьеполо выдал королю 20 000 талеров на постройку казацких чаек; король пригласил в Варшаву четырех казацких старшин: Ильяша Караимовича, Барабаша, Богдана Хмельницкого и Нестеренка. Хмельницкий незадолго был во Франции, где совещался с графом Дебрежи, назначенным посланником в Польшу, насчет доставки казаков во французское войско. Затем 2400 охочих казаков отправились во Францию и в 1646 году участвовали при взятии Дюнкерка у испанцев.

Король виделся с казацкими старшинами ночью, обласкал их, обещал увеличить число казаков до 20 000, кроме реестровых, отдал приказание построить чайки и дал им 6000 талеров, обещая заплатить в течение двух лет 60 000.

Все это делалось втайне, но не могло долго сохраняться втайне. Король выдал так называемые приповедные листы для вербовки войска за границу. Вербовка пошла сначала быстро. В Польшу стали прибывать немецкие солдаты, участвовавшие в Тридцатилетней войне и не привыкшие сдерживать своего произвола. Шляхта, зорко смотревшая за неприкосновенностью своих привилегий, стала кричать против короля. Сенаторы также подняли ропот. Королю ничего не оставалось, как предать свои замыслы на обсуждение сейма.

В сентябре 1646 года открылись предварительные сеймики по воеводствам. Шляхта повсюду оказалась нерасположенною к войне и толковала в самую дурную сторону королевские замыслы. «Король, — кричали на сеймиках, — затевает войну, чтобы составить войско, взять его себе под начальство и посредством его укоротить шляхетские вольности. Он хочет обратить хлопов в шляхту, а шляхту в хлопов». Возникали самые чудовищные выдумки; болтали, что король хочет устроить резню вроде Варфоломеевской ночи; Оссолинского обзывали изменником отечества.

В ноябре собрался сейм в Варшаве. Все единогласно закричали против войны. Королю оставалось покориться воле сейма и приказать распустить на вербованное войско, а казакам запретить строить чайки.

Короля обязали вперед не собирать войск и не входить в союзы с иностранными державами без воли Речи Посполитой *.

Казачьи чиновники Караимович и Барабаш, видя, что предприятие короля не удастся, припрятали королевскую привилегию на увеличение казацкого сословия и на постройку чаек. Хмельницкий хитростью достал эту привилегию в свои руки. Рассказывают, что он пригласил в свой хутор Субботово казацкого старшого (неизвестно, Караимовича или Барабаша) и, напоивши его допьяна, взял у него шапку и платок и отправил слугу своего к жене старшого за привилегиею. Признав вещи своего мужа, жена выдала важную бумагу.

Вслед за тем с Хмельницким произошло событие, вероятно, имевшее связь с похищением привилегии. Его хутор Субботово (в 8 верстах от Чигирина) был подарен отцу его прежним чигиринским старостою Даниловичем. В Чигирине был уже другой староста Александр Конецпольский, а у него подстаростою (управителем) шляхтич Чаплинский. Последний выпросил себе у Конецпольского Субботово, так как у Хмельницкого не было документов на владение. Получивши согласие старосты Конецпольского, Чаплинский по польскому обычаю сделал наезд на Субботово в то время, когда Хмельницкий был в отсутствии; и когда десятилетний мальчик — сын Хмельницкого ему сказал что-то грубое, то он приказал его высечь. Слуги так немилосердно исполнили это приказание, что дитя умерло на другой день. Кроме того, Чаплинский обвенчался по уставу римско-католической церкви с женщиною, которую любил Хмельницкий: некоторые говорят, что она уже тогда была его второю женою, которую Хмельницкий взял после смерти первой своей супруги, Анны Сомко **.

Хмельницкий искал судом на Чаплинского, но не мог ничего сделать, потому что не имел письменных документов на имение. В польском суде того времени трудно было казаку тягаться с шляхтичем, покровительствуемым важным паном ***.

Тогда Хмельницкий собрал сходку до тридцати человек казаков и стал с ними советоваться, как бы воспользоваться привилегией, данной королем, восстановить силу казачества, возвратить свободу православной вере и оградить русский народ от своеволия польских панов. Один сотник, бывший на этой сходке, сделал донос на Хмель-

* По замечанию Тьеполо, королю стоило только подкупить нескольких послов, чтобы созвать сейм, так как в Польше голос одного посла уничтожал решение целого сейма. Но король не решился на эту меру, потому что боялся междоусобий. Притом он старался поддерживать к себе расположение нации в надежде, что поляки со временем выберут на престол его сына.

** Матери сыновей Хмельницкого, Тимофея и Юрия, и дочерей: Стефаниды и Екатерины.

*** Осталось предание, записанное в современных летописях, за достоверность которого поручиться нельзя. Рассказывается, будто Хмельницкий обращался к королю, и Владислав сказал ему: «вы воины и носите сабли; кто вам за себя стать запрещает?»

ницкого. Коронный гетман Потоцкий приказал арестовать Хмельницкого. Но переяславский полковник Кречовский¹³, которому был отдан Хмельницкий под надзор, освободил арестованного. Хмельницкий верхом убежал степью в Запорожскую Сечь, которая была тогда на Микитином Роге.

Здесь застал Хмельницкий не более трехсот удалцов, но они кликнули клич и стали собирать с разных днепровских островов и берегов проживавших там беглецов. Сам Хмельницкий отправился в Крым. Он показал привилегию короля Владислава хану. Хан Ислам-Гирей¹⁴ увидел ясные доказательства, что польский король затевал против Крыма и против Турции войну; кроме того, хан был уже зол на короля за то, что уже несколько лет не получал из Польши обычных денег, которые поляки называли подарками, а татары считали данью. Представился татарам отличный и благовидный повод к приобретению добычи. Однако хан сам не двинулся на Польшу, хотя обещал сделать это со временем, но дозволил Хмельницкому пригласить с собою кого-нибудь из мурз. Хмельницкий позвал Тугай-бея, перекопского мурзу, славного своими наездами: у Тугай-бея было до четырех тысяч ногаев.

Это делалось зимою с 1646 на 1647 год. Коронный гетман Николай Потоцкий и польный (его помощник) Мартин Калиновский¹⁵ собирали войско, приглашали панов являться к ним на помощь со своими отрядами, которые по тогдашнему обычаю паны держали у себя под названием надворных команд. Потоцкий пытался как-нибудь хитростью выманить Хмельницкого из Сечи, отправлял к нему письма в Сечь. Но попытки его в этом роде не удались.

Между тем русский народ готовился к восстанию. Казаки, переодетые то нищими, то богомольцами, ходили по городам и селам и уговаривали жителей — то отворить казакам Хмельницкого ворота города, то насыпать песку в польские пушки, то бежать в степь в ряды воинов запорожских. Поляки принимали строгие меры: запрещали ходить толпами по улицам, собираться в домах, забирали у жителей оружие или отвинчивали у их ружей замки, жестоко мучили и казнили тех, кого подозревали в соумышлении с Хмельницким. Потоцкий объявил своим универсалом, что всякий убежавший в Запорожье, отвечает жизнью своей жены и детей. Такие меры обратились во вред полякам и раздражили уж и без того ненавидевший их русский народ. С левой стороны Днепра убежать было удобнее, и толпы спешили оттуда к Хмельницкому. Весною у него образовалось тысяч до восьми. В апреле до предводителей польского войска дошел слух, что их враг выступает из Сечи; вместо того чтобы идти на него всем своим войском, они отправили против него реестровых казаков с их начальниками по Днепру на байдаках (больших судах), а берегом — небольшой отряд конницы под начальством молодого сына коронного гетмана, Стефана, с казацким комиссаром Шембергом. «Стыдно, — говорил тогда коронный гетман, — посылать боль-

шое войско против какой-нибудь презренной шайки подлых хлопов».

Казаки, плывшие на байдаках по Днепру, достигли 2 мая урочища, называемого Каменным Затонам, и остановились, ожидая идущего берегом польского отряда. Часть казаков вышла на берег. Ночью с 3 на 4 мая явился к ним посланец Хмельницкого, казак Ганжа, и смелою речью воодушевил их, уже и без того расположенных к восстанию. Полковник Кречовский, находившийся в высланном реестровом войске, со своей стороны возбуждал за Хмельницкого казаков. Реестровые утопили своих шляхетских начальников, угодников панской власти; в числе их погибли Караимович и Барабаш. Утром все присоединились к Хмельницкому.

Усиливши реестровыми казаками свое войско, Хмельницкий разбил 5 мая польский отряд у протока, называемого Желтые Воды. Сын коронного гетмана Стефан умер от ран; других панов взяли в плен: в числе пленных было тогда два знаменитых впоследствии человека: первый был Стефан Чарнецкий, которому суждено было сделаться искусным польским полководцем и свирепым мучителем русского народа; второй был Иван Выговский, русский шляхтич: попавшись в плен, этот человек до того сумел подделаться к Хмельницкому, что в короткое время стал генеральным писарем и важнейшим советником гетмана.

Главное польское войско стояло близ Черкасс, когда один раненый поляк принес туда известие о поражении высланного в степь отряда. Потоцкий и Калиновский не ладили друг с другом, делали распоряжения наперекор один другому; согласились, однако, на том, что надобно им отступить поближе к польским границам. Они двинулись от Черкасс и достигли города Корсуня на реке Роси; здесь они услышали, что Хмельницкий уже недалеко, и решили остановиться и дать сражение; но 15 мая появился Хмельницкий под Корсунем: пойманные поляками казаки насажали им много преувеличенных известий о количестве и силе войска Хмельницкого. Калиновский готов был дать битву; Потоцкий не дозволил и велел уходить по такому пути, по которому удобно было бы ускользнуть от неприятеля. Поляки взяли себе в проводники одного русского хлопа, который, как видно, с намерением был подослан Хмельницким. Между тем, рассчитывая наперед, куда поляки пойдут, казацкий предводитель заранее услали своих казаков и приказал им при спуске с горы в долину, называемую Крутая Балка, обрезать гору и сделать обрыв, преграждающий путь возам и лошадям. План удался как нельзя лучше. Поляки со всем своим обозом наткнулись прямо на это роковое место, кругом поросшее тогда лесом, и в то же время на них ударили со всех сторон казаки и татары; их постигло полное поражение. Оба предводителя попались в плен; вся артиллерия, все запасы и пожитки достались победителям. Шляхтичи, составлявшие войско, не спасли себя бегством. Хлопы ловили их, убивали или приводили

к казакам. Хмельницкий отдал польских предводителей в плен татарам, с тем чтобы заохотить их к дальнейшей помощи казакам.

Корсунская победа была чрезвычайно важным, еще небывалым в своем роде событием; русскому народу как бы разом открылись глаза: он увидал и понял, что его поработители не так могучи и непобедимы; панская гордыня пала под дружными ударами рабов, решившихся наконец сбросить с себя ярмо неволи.

После этой первой победы Хмельницкий приостановился и отправил в Варшаву казацких послов с жалобами и объяснениями, но в это самое время короля Владислава постигла смерть в Мерече, подавшая повод к толкам об отраве. В Польше наступило бескорольевье, предстоял новый выбор короля.

По усиленной просьбе брацлавского воеводы Адама Киселя, хотевшего как-нибудь протянуть время, Хмельницкий согласился вступить в переговоры и до сентября не шел с войском далее на Польшу, но мало доверяя возможности примирения с поляками, написал грамоту к царю Алексею Михайловичу, в которой изъявлял желание поступить под власть единого русского государя, чтобы исполнилось, как он выражался, «из давних лет глаголемое пророчество». Он убеждал царя пользоваться временем и наступить на Польшу и Литву в то время, когда казаки будут напирать на ляхов с другой стороны. Московский царь не воспользовался тогда удобным случаем, а сам Хмельницкий напрасно потерял несколько месяцев в бесполезных переговорах с Киселем и его товарищами, облеченными званием комиссаров.

Южнорусский народ смотрел совсем не так на обстоятельства, постигшие его. Как только разошлась весть о победе над польским войском, во всех пределах русской земли, находившейся под властью Польши, даже и в Белоруссии, более свыкшейся с порабощением, чем Южная Русь, вспыхнуло восстание. Хлопы собирались в шайки, называемые тогда загонами, нападали на панские усадьбы, разоряли их, убивали владельцев и их дозорцев, истребляли католических духовных; доставалось и унитам, и всякому, кто только был подозреваем в расположении к полякам. «Тогда,— по замечанию современника-летописца,— гибли православные ремесленники и торговцы за то единственно, что носили польское платье, и не один щеголь заплатил жизнью за то, что по польскому обычаю подбривал себе голову». Убийства сопровождалась варварскими истязаниями: сдирали с живых кожу, распиливали пополам, забивали до смерти палками, жарили на углях, обливали кипятком, обматывали голову по переносице тетивою лука, повертывали голову и потом спускали лук, так что у жертвы выскакивали глаза; не было пощады и грудным младенцам. Самое ужасное остервенение показывал народ к иудеям: они осуждены были на конечное истребление, и всякая жалость к ним считалась изменою. Свитки Закона были извлекаемы из синагог, казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них иудеев и

резали без милосердия; тысячи иудейских младенцев были бросаемы в колодцы и засыпаемы землею *. По сказанию современников, в Украине их погибло тогда до ста тысяч, не считая тех, которые померли от голода и жажды в лесах, болотах, подземельях и потонули в воде во время бесполезного бегства. «Везде по полям, по горам лежали тела наших братьев,— говорит современный иудейский раввин,— не было им спасения потому, что гонители их были быстры, как орлы небесные». Только те спасли себя, которые из страха за жизнь приняли христианство: таким русские прощали все прежнее и оставляли их живыми с их имуществами; но перекресты скоро объявили себя снова иудеями, как только миновала опасность и они могли выбраться из Украины.

Все польское, все шляхетское в Южной Руси несколько времени поражено было каким-то безумным страхом, не защищалось и бежало. Паны, имевшие у себя вооруженные команды, не в силах были и не решались противостоять народному восстанию. Только один из панов не потерял тогда присутствия духа: то был Иеремия Вишневецкий¹⁶, сын Михаила и молдавской княжны из дома Могил. Он родился в православной вере, но соvrащен был иезуитами в католичество и сделался жестоким ненавистником и гонителем всего русского. При начале восстания Вишневецкий жил в Лубнах, на левой стороне Днепра, где у него, как и на правой, были обширные владения; он принужден был со своею командою, состоявшею из шляхты, содержимой на его счет, перейти на правый берег и начал в своих имениях казнить мятежников с таким же зверством, какое выказывали ожесточенные хлопы над поляками и иудеями, выдумывал самые затейливые казни, наслаждался муками, совершаемыми перед его глазами, и приговаривал: «мучьте их так, чтобы они чувствовали, что умирают!» Своим примером увлек он за собою несколько панов и вместе с ними начал давать отпор народу, сражался несколько раз с многочисленным отрядом русских хлопов и казаков, бывших под начальством полковника Кривоноса, но несмотря на всю свою горячность, не мог сломить его и уехал в Польшу. Хмельницкий считал его своим первейшим врагом, и жестокости, совершенные Вишневецким над русским народом, ставил поводом к разрыванию начатых переговоров.

* В Ладыжине, по известию современника, казаки положили несколько тысяч связанных иудеев на лугу, сначала предложили им принять христианство и обещали пощаду, но иудеи отвергли эти предложения; тогда казаки сказали: так вы сами виноваты, мы перебьем вас за то, что вы ругались над нашею верою. И потом всех истребили, не щадя ни пола, ни возраста. Страшное избиение постигло иудеев в Полонном, где так много их перерезали, что кровь лилась потоками через окошки домов. В другом месте казаки резали иудейских младенцев и перед глазами их родителей рассматривали внутренности зарезанных, насмехаясь над обычным у евреев разделением мяса на кошер (что можно есть) и трэф (чего нельзя есть), и об одних говорили: это кошер — ешьте!, а о других: это трэф — бросайте собакам!

Паны сенаторы, заправлявшие делами во время бескоролья, составили ополчение из шляхты; начальства над этим ополчением добивался себе Вишневецкий, но вместо него назначены были три полководца: князь Доминик Заславский¹⁷, Александр Конецпольский¹⁸ (сын недавно умершего гетмана Станислава) и Остророг¹⁹. Хмельницкий, пропустивши лето, в сентябре отправился против них.

Всего войска, выставленного против Хмельницкого, было тридцать шесть тысяч. Польское шляхетство в это время не отличалось воинственностью, проводило в своих имениях спокойную и веселую жизнь, пользуясь изобилием, которое доставляли ему труды порабощенного народа; в войске, выставленном против Хмельницкого, большая часть была таких, которые только в первый раз выходили на войну. Привычка считать хлопов полускотами побуждала поляков смотреть легкомысленно на войну. «Против такой сволочи,— говорили паны,— не стоит тратить пулю; мы их плетью разгоним по полю!» Другие были до того самонадеянны, что произносили такую молитву: «Господи, не помогай ни нам, ни им, а только смотри, как мы разделяемся с этим негодным мужичьем!» Польский военный лагерь сделался сборным местом, куда поляки ехали не драться с неприятелем, а повеселиться и пощеголять. Друг перед другом они старались выказать ценность своих коней, богатство упряжи, красоту собственных нарядов, позолоченные луки на седлах, сабли с серебряною насечкою, чепраки, вышитые золотом, бархатные кунтуши, подбитые дорогими мехами, на шапках кисти, усеянные драгоценными камнями, сапоги с серебряными и золотыми шпорами; но более всего паны силились отличиться один перед другим роскошью стола и кухни. За ними в лагерь везли огромные склады посуды; ехали толпы слуг; в богато украшенных панских шатрах блистали чеканные кубки, чарки, тарелки, даже умывальники и тазы были серебряные; и было в этом лагере, по замечанию современников, больше серебра, чем свинцу. Привезли паны с собою бочки с венгерским вином, старым медом, пивом, запасы варенья, конфект, разных лакомств, везли за ними богатые постели и ванны; одним словом, это был увеселительный съезд панов. С утра до вечера отправлялись пиры с музыкою и танцы. Между тем многочисленная прислуга, прибывшая с панами для служения их затеям, и наемные солдаты, которые, получив жалованье вперед, истратили его, бесчинствовали над окрестными жителями, грабили их, и жители говорили, что защитники, какими выставляли себя эти военные люди, хуже их разоряют, чем казаки, которых поляки старались выставить неприятелями и разорителями народа.

20 сентября приблизился Хмельницкий к этому роскошному польскому стану; маленькая речка Пилявка отделяла казаков от поляков. После незначительной схватки русские пленники напугали поляков, что у Хмельницкого шло огромное войско и он с часу на час дожидается хана с ордою. Это призвало такой всеобщий и внезапный

страх, что ночью все побежали из лагеря, покинув свое имущество на волю неприятеля. Утром рано Хмельницкий ударил на бегущих: тогда смятение усилилось, поляки кидали оружие, каждый кричал «стойте», а сам бежал; покидали раненых и пленных; иные погибли в толпе от давки. Победителям почти без выстрела досталось сто двадцать тысяч возов с лошадьми; знамена, щиты, шлемы, серебряная посуда, собольи шубы, персидские ткани, рукомойники, постели, кушанья, сласти — все лежало в беспорядке; вин и водки было так много, что при обыкновенном употреблении стало бы их для всего войска на месяц... Хлопы набросились на драгоценности, лакомства, вина — и это дало возможность убежать полякам. Хмельницкий двинулся ко Львову, не стал добывать этого города приступом, а только истребовал с жителей окуп в двести тысяч злотых для заплаты татарам, помогавшим казакам *. 24 октября из-под Львова двинулся Хмельницкий к Замостью, в глубину уже настоящей Польши. Под Замостью стоял он до половины ноября.

В Варшаве между тем происходило избрание нового короля. На этот раз близость казаков не позволила панам тянуть избрание целые месяцы, как прежде случалось: потребность главы государства слишком была очевидна. Хмельницкий со своей стороны отправил на сейм депутатов от казаков.

Было тогда три кандидата на польский престол: седмиградский князь Ракочи и двое сыновей покойного короля Сигизмунда III, Карл и Ян-Казимир. Седмиградский князь был устранен прежде всех; из двух братьев-королевичей взяла верх партия Яна-Казимира; казацкие депутаты стояли также за него; Оссолинский склонил многих на сторону Яна-Казимира, уверяя, что иначе Хмельницкий будет воевать за этого королевича. Дело между двумя братьями уладилось тем, что Карл добровольно отказался от соискательства в пользу брата. Ян-Казимир был избран — несмотря на то, что был прежде иезуитом и получил от папы кардинальскую шапку. Что располагало Хмельницкого быть на стороне этого государя — неизвестно, как равным образом трудно теперь определить, в какой степени участвовало желание Хмельницкого в этом избрании. Тем не менее Хмельницкий показывал большое довольство, когда услышал о выборе Яна-Казимира. 19 ноября ему привезли от короля письмо с приказанием прекратить войну и ожидать королевских комиссаров. Хмельницкий тотчас потянулся от Замостья со всем войском назад в Украину.

Хмельницкий в последнее время действовал противно всеобщему

* Город, который был только что перед тем порядочно обобран панами, бежавшими из-под Константинова, не мог дать чистою монетою более как на шестнадцать тысяч злотых, а все остальное доплатил товарами и вещами по раскладке между жителями; причем приходилось бедняку расставаться с последнею дорогою вещицею, которую он берег про черный день.

народному желанию. Восставший народ требовал, чтобы он вел его на Польшу. Хмельницкий уже из-под Львова думал было воротиться и только уступая народному крику ходил к Замостью. Хмельницкий мог идти прямо на Варшаву, навести страх на всю Речь Посполитую, заставить панов согласиться на самые крайние уступки; он мог бы совершить коренной переворот в Польше, разрушить в ней аристократический порядок, положить начало новому порядку, как государственному, так и общественному. Но Хмельницкий на это не отважился. Он не был ни рожден, ни подготовлен к такому великому подвигу. Начавши восстание в крайности, спасая собственную жизнь и отомщая за свое достояние, он, как сам потом сознавался, очутился на такой высоте, о которой не мечтал, и потому не в состоянии был вести дело так, как указывала ему судьба. Эпоха Хмельницкого в этом отношении представляет один из тех случаев в истории, когда народная масса по инстинкту видит, что следует в данное время делать, но ее вожаки не в состоянии облечь в дело того, что народ чувствует, чего народ требует. Хмельницкий был сын своего века, усвоил польские понятия, польские общественные привычки, и они-то в нем сказались в решительную минуту. Хмельницкий начал дело превосходно, но не повел его в пору далее, как нужно было. На первых порах совершил он историческую ошибку, за которою последовал ряд других, и таким образом восстание Южной Руси пошло по другому пути, а не по тому, куда вели его вначале обстоятельства. Увидим, как Хмельницкий стал вразрез с народом и в отношении общественного идеала, созданного народною жизнью в его время.

Хмельницкий, возвратившись из-под Замостья, прибыл прежде всего в Киев. При звоне колоколов и громе пушек он въехал в полуразрушенные ярославовы Золотые ворота и у стен св. Софии был приветствуем митрополитом Сильвестром Косовым²⁰, духовенством и киевскими гражданами. Бурсаки пели ему русские и латинские песни, величали его спасителем народа, русским Моисеем. Здесь дожидал его дорогой гость, Паисий, иерусалимский патриарх, ехавший в Москву. Он от лица православного мира на Востоке приносил Хмельницкому поздравление с победами, дал ему отпущение грехов, возбуждал на новую войну против латинства. Гетман был в это время почему-то грустен. В его характере начало проявляться что-то странное: он то постился и молился, то предавался пьяному разгулу и пел думы своего сочинения; то был ласков и равен в обращении со всеми, то вдруг делался суров и надменен; то молился богу, то советовался с чаровницами.

Из Киева он уехал в Переяславль и там женился. Женою его, как говорят, сделалась Чаплинская; о прежнем муже ее разноречат источники: по одним он был еще жив, по другим убит. Прибавляют к этому, что Чаплинская была Хмельницкому кума и что патриарх Паисий разрешил ему такой недозволенный брак. Но есть также известие одного из современников, что подлинно неизвестно: дей-

ствительно ли эта Чаплинская была жена того, который отнял у Хмельницкого Субботово, или другая, сходная с нею по фамилии?

В Переяславле съехались к Хмельницкому послы соседних государств, искавших своих выгод в связи с начинавшимся могуществом казаков. Из Турции прибыл посол от визиря, управлявшего государством за малолетством султана, и предлагал Хмельницкому союз против Польши. Тогда заключен был договор, по которому казакам предоставлялось свободное плаванье по Черному морю и Архипелагу с правом беспопытной торговли на сто лет. Казаки обязывались не нападать на турецкие города и защищать их. Седмиградский князь Юрий Ракочи предлагал Хмельницкому вступить в союз и двинуться вместе на Польшу, чтобы доставить корону Юрию; за это Юрий обещал во всех польских областях свободу православной веры, а самому Хмельницкому — удельное государство в Украине с Киевом. Прислали к Хмельницкому послов господари молдавский и валашский, также с предложением дружбы. Хмельницкий, узнавши, что у молдавского господаря есть дочь, просил руки ее для своего сына. Прибыл посланник царя Алексея Михайловича, Унковский, привез по обычаю в подарок меха и ласковое слово от царя; но царь уклонялся от разрыва с Польшею и желал успеха казакам только в том случае, когда поводом к восстанию у них действительно была одна только вера. Наконец, в феврале прибыли в Переяславль обещанные от нового короля комиссары: сенатор Адам Кисель, его племянник — новгород-северский хорунжий Кисель, Захарий князь Четвертинский и Андрей Мясковский с их свитою. Последний оставил очень любопытное описание свидания с Хмельницким.

Комиссары привезли Хмельницкому от короля грамоту на гетманство, булаву, осыпанную сапфирами, и красное знамя с изображением белого орла. Хмельницкий назначил им аудиенцию на площади, собрал казацкую раду; здесь-то высказался народный взгляд, не хотевший никаких сделок, стремившийся к решительному разрешению вопроса между Русью и Польшею.

«Зачем вы, ляхи, принесли нам эти детские игрушки,— закричала толпа,— вы хотите нас подманить, чтобы мы, скинувши панское ярмо, опять его надели! Пусть пропадут ваши льстивые дары! Не словами, а саблями расправимся. Владейте себе своею Польшею, а Украина пускай нам, казакам, остается».

Хмельницкий с сердцем останавливал народный говор; но потом за обедом, в разговорах с Адамом Киселем и его товарищами, подпивши, выразил такие же душевные чувства:

«Что толковать,— говорил он,— ничего не будет из вашей комиссии. Война должна начаться недели через две или четыре. Переверну я вас, ляхов, вверх ногами, а потом отдам вас в неволю турецкому царю. Пусть бы король был королем: чтобы король казнил шляхту, и дуков, и князей ваших. Учинит преступление князь, отруби ему голову; а учинит преступление казак — и ему то же

сделай. Вот будет правда! Я хоть себе небольшой человек, да вот бог мне так дал, что я теперь единовластный самодержец русский! Если король не хочет быть вольным королем, ну как ему угодно».

Адам Кисель истощал пред казацким вождем все свое красноречие, обещал увеличение казацкого войска до пятнадцати и даже до двадцати тысяч, наделение его новыми землями, давал позволение казакам идти на неверных; но Хмельницкий на все это сказал ему:

«Напрасные речи! Было бы прежде со мною об этом говорить; теперь я уже сделал то, о чем не думал. Сделаю то, что замыслил. Выбью из ляцкой неволи весь русский народ! Прежде я воевал за свою собственную обиду; теперь буду воевать за православную веру. Весь черный народ поможет мне по Люблин и по Краков, а я от него не отступлю. У меня будет двести тысяч, триста тысяч войска. Орда уже стоит наготове. Не пойду войною за границу; не подыму сабли на турок и татар; будет с меня Украины, Подоли, Волыни; довольно достаточно нашего русского княжества по Холм, Львов, Галич. Стану над Вислою и скажу тамошним ляхам: «Сидите, ляхи! молчите, ляхи! Всех тузов ваших, князей, туда загоню, а станут за Вислою кричать — я их и там найду! Не останется ни одного князя, ни шляхтишки на Украине; а кто из вас с нами хочет хлеб есть, тот пусть войску запорожскому будет послушен и не брыкает на короля».

Слушая эту речь, паны, как сами потом говорили, подеревенели от страха.

Окружавшие Хмельницкого полковники при этом говорили:

«Уже прошли те времена, когда ляхи были нам страшны; мы под Пилявцами испытали, что это уже не те ляхи, что прежде бывали. Это уже не Жолкевские, не Ходкевичи, это какие-то Тхоржевские да Заенчковские (Хорьковские — от хорька — tchorz и Зайцовские от зайца — zając), дети, нарядившиеся в железо! Померли от страху, как только нас увидели».

Однако по усиленной просьбе польских комиссаров Хмельницкий подал Адаму Киселю условия мира в таком смысле: во всей Руси уничтожить память и след унии; униатским церквам не быть вовсе, а римским костелам оставаться только до времени; киевскому митрополиту дать первое место в сенате после примаса польского; все чины и должности в Руси должны быть замещены православными; казацкий гетман должен зависеть только от одного короля; жидам не дозволять жительствовать в Украине. Наконец, в условия было включено, чтобы Иеремия Вишневецкий не получал начальства над польским войском.

Комиссары отказались подписать эти условия, в сущности довольно умеренные, и уехали. Предложения Хмельницкого возбудили негодование в польском сенате. В те времена поляки по фанатизму ни за что не решались на уничтожение унии. Кроме того, требования Хмельницкого угрожали панам в будущем лишением их имений и владельческих прав на Руси.

Поляки выставили войско под начальством трех предводителей: Лянскоронского, Фирлея и Иеремии Вишневецкого. Сверх того, королю дали право на собрание посполитого рушения, т. е. всеобщего ополчения шляхты: мера эта предпринималась только тогда, когда отечеству угрожала крайняя опасность.

В Украине происходил сбор целого народа на войну. Пустели хутора, села, города. Поселянин бросал свой плуг, надеясь пожить на счет панов, на которых прежде работал; ремесленники покидали свои мастерские, купцы свои лавки; сапожники, портные, плотники, винокуры, пивовары, могильники (копатели сторожевых курганов), банники — бежали в казаки. В тех городах, где было Магдебургское право, почтенные бургомистры, райцы, войты и канцеляристы побросали свои уряды и пошли в казаки, обривши себе бороды (по обычаю того времени военные брили себе бороды). «Так-то,— замечает современник,— дьявол учинил себе смех из почтенных людей». Презрение и насмешки ожидали людей, не участвовавших в восстании; только калеки, старики, женщины и дети оставались дома, да и то по большей части больной человек или бездетный старик, стыдясь оставаться безучастным в деле освобождения отечества, ставил за себя наемщика. Хмельницкий разделял их на полки, которых тогда составилось двенадцать на правой стороне Днепра * и двенадцать на левой **. Но не все войско было с Хмельницким; он отправил часть его в Литву возмущать белорусских хлопов.

Хмельницкий выступил из Чигирина в мае и шел медленно, ожидая крымского хана. Ислам-Гирей соединился с ним в июне на Черном шляху²¹. В его ополчении были крымские горцы, отличные

* Чигиринский, Черкасский, Корсунский, Лысянский, Белоцерковский, Павлоцкий, Уманский, Калницкий, Каневский, Животовский (иначе Брацлавский), Полесенский и Могилевский. Пространство, занимаемое этими полками, составляло нынешние губернии: Киевскую, Волынскую по р. Горынь, Подольскую, часть Червоной Руси и часть Минской губернии. Каменец, твердая, неприступная крепость, оставался еще в руках поляков.

** Переяславский, Нежинский, Черниговский, Прилуцкий, Ичанский, Лубенский, Ирклеевский, Миргородский, Кропивянский, Галицкий, Полтавский и Зенковский. Они занимали нынешние Полтавскую и Черниговскую губернии и часть Могилевской по Гомель.

Полки разделялись на сотни: сотня заключала в себе села и города и носила название по имени какого-нибудь значительного местечка. Иная сотня заключала в себе до тысячи человек; сотня делилась на курени. Верховное место управления называлось войсковою канцеляриею; там вместе с гетманом заседала генеральная, или войсковая, старшина: обозный (начальник артиллерии и лагерной постройки), асаул, писарь, судья и хорунжий (главный знаменосец). В каждом полку была полковая канцелярия и полковая старшина: полковник, обозный, писарь, судья и хорунжий. В сотне была сотенная канцелярия и сотенная старшина. Куренями начальствовали атаманы. Чиновники избирались на радах и утверждались гетманами. Этот порядок в сущности издавна велся в казацком войске, но на этот раз распространился на целый народ, так что слово «казак» перенеслось на всю массу восставшего южнорусского населения.

стрелки из лука; степные нагаи в вывороченных шерстью вверх тулупах, питавшиеся кониною, согретою под седлом; буджацкие татары, сносившие с удивительным терпением жар и холод, изумлявшие своим знанием бесприметной степи, способные, как говорили о них, подолгу оставаться в воде; были с ханом черкесы с бритыми головами и длинными чубами. Явились по зову Хмельницкого удалцы с Дона. Никто не просил жалованья вперед; каждый без торга шел на войну, надеясь разгромить богатую Речь Посполитую.

Хмельницкий со своим полчищем осадил польское войско под Збаражем 30 июня (10 июля нового стиля) и держал его в осаде, надеясь принудить к сдаче голодом и беспрестанною пальбою. Поляки заготовили себе так мало запасов, что через несколько недель у них сделался голод. Роскошные паны принуждены были питаться конским мясом; простые жолнеры пожирали кошек, мышей, собак, а когда этих животных не хватало, то срывали кожу с возов и обуви и ели, разваривая в воде. Много умирало их; казаки нарочно бросали в воду трупы, чтобы испортить ее. Поляки доходили до такого положения, в каком были их отцы в Москве. Русские хлопы насмеялись над ними и кричали:

«Скоро ли вы, господа, будете оброк собирать с нас? Вот уже целый год, как мы вам ничего не платим; а может быть, вздумаете заказать нам какую-нибудь барщину?.. Сдавайтесь-ка лучше! а то напрасно кунтуши свои испачкали, лазячи по панцам! Ведь это все наше, да и сами вы попадете в добычу голодным татарам! Вот что наделали вам очковые да панцины да пересуды да сухомельщины! Хороша вам была тогда музыка, а теперь так славно вам дудку заиграли казаки!»

Несколько раз уже распространялось между жолнерами намерение разбежаться, хотя это значило идти всем на явную смерть, потому что хлопы не оставили бы в живых никого,— но весь обоз удерживал тогда воинственный князь Иеремия Вишневецкий. По его совету один шляхтич по имени Стомпковский, причесавшись по-мужицки, взял с собою письмо к королю; ночью он перелез окопы, бросился в пруд, примыкавший с одной стороны к польскому обозу, переплыл пруд, прополз среди спящих неприятелей, к свету пробрался до болотистого места, где просидел целый день; следующую ночь опять полз среди спящих неприятелей, при малейшем шуме припадая к земле и затаивая дыхание, как делают охотники за медведем. Минувши неприятельский стан, он пустился бежать, выдавая себя за русского хлопа, потом взял почтовых лошадей и прискакал в местечко Топоров, где застал Яна-Казимира.

Король, получивши от папы благословение, освященное знамя и меч, выехал из столицы и следовал медленно, ожидая прибытия из разных воеводств ополчений посполитого рушения. У него было регулярного войска тысяч двадцать (а может быть, несколько более). Посполитое рушение беспрестанно прибывало по частям. Получивши

письмо от осажденных и расспросивши Стомпковского о положении войска, король двинулся на выручку осажденным; но путь его был труден по причине дождей, испортивших дороги. Поляки потом жаловались, что никак не могли добыть точных сведений о неприятеле: «эта Русь — все наголо мятежники,— говорили они,— хоть жги их, а они правды не скажут!» Хмельницкий, напротив, знал о всех движениях своего неприятеля. Русские хлопы, привозившие припасы в королевское войско, отправлялись после того к своим братьям-казакам рассказывать о положении неприятельского войска. Много слуг перебежало от своих панов к казакам.

Король прибыл, наконец, к местечку Зборову, уже недалеко от Збаража. Зборовские мещане тотчас же дали знать Хмельницкому о королевском приходе и обещали помогать ему. Оставивши пешее войско под Збаражем, Хмельницкий взял с собою конницу и в сопровождении крымского хана и татар отправился к Зборову.

В воскресенье, 5 августа (15 нов. ст.) поляки стали переправляться через реку Стрипу. День был пасмурный и дождливый. Казаки из лесу видели, что делается у неприятеля. Когда половина посполитого рушения успела переправиться, а другая оставалась на противоположном берегу и шляхтичи, не ожидая нападения, расположились обедать; казаки и татары ударили на них и истребили всех до последнего из бывших на одной стороне реки. Вслед за тем началось сражение на противоположном берегу. Король выказал большую деятельность и подвергал себя опасности; но в сумерки поляки сбились в свой обоз и неприятель окружил их со всех сторон.

Ночью паны хотели было каким-то способом вывести короля тайно из обоза, но Ян-Казимир отвергнул это постыдное предложение. По совету канцлера Оссолинского король написал крымскому хану письмо, предлагая ему дружбу, с тем чтобы отвлечь его от Хмельницкого.

С солнечным восходом битва возобновилась. Казаки ударили на польский лагерь с двух сторон. Сражение было кровопролитное. Казаки ворвались в польский стан и достигали было уже до короля. Вдруг все изменилось. Из казацкого стана раздался крик: «Згода!» Победители отступили. Нужно было, однако, еще много времени, чтобы унять расвирепевших воинов.

Вслед за тем явился в польский обоз татарин с письмом от крымского государя. Ислам-Гирей желал польскому королю счастья и здоровья, изъявлял огорчение за то, что король не известил его о своем вступлении на престол, и выразился так: «Ты мое царство ни во что поставил и меня человеком не счел; поэтому мы пришли зимовать в твои улусы и по воле господ бога останемся у тебя в гостях. Если угодно тебе потолковать с нами, то вышли своего канцлера, а я вышлю своего». Прислал королю письмо и Хмельницкий, уверял, что он вовсе не мятежник, и только прибегнул к великому хану крымскому, чтобы возвратить себе милость короля. «Вашему величеству,—

писал Хмельницкий, — угодно было назначить вместо меня гетманом казацким пана Забусского; извольте прислать его в войско; я тотчас отдам ему булаву и знамя. Я с войском запорожским при избрании вашем желал и теперь желаю, чтобы вы были более могущественным королем, чем был блаженной памяти брат ваш».

Трудно решить, что было причиной этого внезапного прекращения сражения. Украинский летописец того времени говорит, что Хмельницкий не хотел отдавать христианского государя в бусурманскую неволю; поляки приписывают это дело главным образом хану.

Прежде заключен был договор с ханом. По этому договору польский король обязался платить крымскому хану 90 000 злотых ежегодно и сверх того дать 200 000 злотых единовременно. Татары называли это данью; поляки оскорблялись и говорили, что это «не дань, а подарок». Татары отвечали: «все равно, как ни называйте, данью или даром, лишь бы деньги были».

Затем был заключен договор с казаками. Войска казацкого положено быть 40 000 с правом записывать их из королевских и шляхетских имений на пространстве, занимаемом Киевским, Брацлавским и Черниговским воеводствами (нынешними губерниями: Киевскою, Полтавскою, Черниговскою и частью Подольскою). В черте, где будут жить казаки, не позволяется квартировать коронному войску и проживать иудеям: все должности и чины в означенных воеводствах будут даваться только православным; иезуитам не дозволяется жить в Киеве и других местах, где будут русские школы; киевский митрополит будет заседать в сенате; а относительно уничтожения унии — как в королевстве Польском, так и в Великом княжестве Литовском — будет сделано сеймовое постановление. Обещана всем полная амнистия за все прошлое.

После заключения договора Хмельницкий 10 августа (20 н. с.) был допущен к королю (взявши, однако, заложников на то время, когда отправится в польский лагерь). Он держал себя с достоинством, говорил хотя почтительно, но смело, изложил в кратком виде насилия и оскорбления, которые были делаемы польскими панам и довели народ до восстания. «Герпение наше потерялось, — выразился Хмельницкий, — мы принуждены были призвать чужеземцев против шляхетства. Нельзя осуждать нас за то, что мы защищали нашу жизнь и наше достояние! И скот бодается, если его мучат!»

Литовский подканцлер Сапега от имени короля, тут же присутствовавшего, объявил ему забвение всего прошлого.

Мирный договор избавил остаток войска, погибавшего от голода под Збаражем. Вслед за тем дано было приказание прекратить войну и в Белоруссии. Восстание приняло было в этой стране уже значительный размер, когда туда явились с казаками два предводителя: Подобайло²² и Кречовский. Они успели поднять несколько десятков тысяч хлопов, но польский литовский гетман Радзивилл после упорного с их стороны сопротивления уничтожил их скопище близ

Речицы. Раненый Кречовский попался в плен и, чтобы не доставаться на поругание победителю, разбил себе голову о воз, на котором его везли взявшие в плен неприятели.

Первое время после заключения мира было временем всеобщего восторга, эпохою небывалой народной славы. Скоро осмотрелись русские, опомнились от упоения победы; настали для них опять скорби, заботы и беды. Весь прошлый год поселяне не пахали полей, находясь в рядах казацкого войска, много набрали они добычи, но все это продавалось дешево, московским и турецким купцам; хлеб поднялся в цене; тяжело стало бедным. Но то было начало скорбей — только цветики, как говорится. Оказалось, что Хмельницкий не так-то благодетельно для народа устроил его дело и что Зборовский договор по своему содержанию представлял решительную невозможность — как для русских, так и для поляков — соблюдать его; обе стороны должны были его нарушить.

По силе Зборовского договора митрополит Сильвестр Косов явился в Варшаву занять свое почетное место в сенате. Но римско-католические духовные подняли ропот и объявили, что они сами оставят сенат, если рядом с ними будет допущен схизматик, враг апостольской столицы. Митрополит должен был удалиться. Еще менее возможно было уничтожение унии. Король 12 января дал грамоту, утверждающую права православной церкви и неприкосновенность церковных и монастырских имений; ведомству киевского митрополита возвращались епархии: Луцкая, Холмская и Витебская, соединенная с Мстиславскою. Дозволялось возобновлять православные церкви; предоставлялись надзору русского духовенства школы, типографии и цензура духовных книг. Эта грамота короля Яна-Казимира мало могла иметь силы, как и те, которыми наделял православную церковь король Владислав. Пока существовала уния, православная церковь не могла быть свободною.

Права, предоставленные русскому народу Зборовским договором, не могли удовлетворить народа. Можно сказать, что договор этот был бы уместен, если бы заключен был лет двадцать назад; но условия, в которые поставила русский народ сцена недавних бурных событий, не соответствовали статьям этого договора. Сообразно Зборовскому договору Хмельницкий занялся составлением реестра казацкого войска; нужно было записать в него сорок тысяч казаков. Хмельницкий записал туда несколькими тысячами более, чем следовало. Каждый казак поступал в казачество со своею семьею. Гетман набирал казаков преимущественно из имений Вишневецкого и Конецпольского. Вместе с казаком отходил от пана и земельный участок, занимаемый и обрабатываемый казаком. Хмельницкий отбирал у панов целые волости под предлогом, что паны захватили коронные владения, и отдавал их генеральной старшине и полковым чиновникам. Таким образом, на будущее время образовался класс ранговых поместий, таких, которыми владели казацкие чиновники, пока носили свой чин.

Для гетманского чина — на булаву, как говорилось, — отдано было королем Чигиринское староство. Кроме него Хмельницкий захватил в свою пользу богатое местечко Млиев, доставлявшее бывшему своему владельцу Конецпольскому до двухсот тысяч талеров дохода. Каждый казак был самостоятельный владелец своего участка, обязан был за то нести военную службу и был освобожден от всяких других тягостей и поборов. Казаки разделены были по полкам: всех полков в 1650 г. было устроено шестнадцать *, и каждый полк означал край

* Брацлавский, под начальством Данила Нечая, в нынешних уездах: Могилевском, Ямпольском, значительной части Винницкого и Брацлавского уездов. В нем заключалась двадцать одна сотня; 2) Уманский, под начальством Иосифа Глуха, в нынешнем уезде Уманском, в восточной части Гайсинского и Липовецкого и западной части Звенигородского. Эта земля носила название Уманщины. В нем было тринадцать сотен. Умань была его полковой город; 3) Кальницкий, под начальством Ивана Федоренка, в нынешнем уезде Липовецком, в северной части Брацлавского, в северо-восточной Винницкого, в западной части Таращанского и в южной половине Махновского. Всех сотен было в нем восемнадцать; 4) Чигиринский, под начальством Федора Якубовича-Вешняка, в нынешних уездах: Чигиринском, Звенигородском и в западной части Кременчугского. В нем было восемнадцать сотен; 5) Корсунский, под начальством Лукьяна Мозыры, в нынешних уездах Таращанском и Каневском. Его главным городом был Корсунь, возобновленный от пожара. В этом полку было девятнадцать сотен; 6) Черкасский, под начальством Яска Воронченка, в нынешнем Черкасском уезде и в западной части Золотоношского. В нем было девятнадцать сотен с полковым городом Черкасы; 7) Каневский, под начальством Семена Савича, занимал правый берег Днепра, уезд Каневский и южную часть Киевского, с полковым городом Каневом. В нем было пятнадцать сотен; 8) Киевский, под начальством Антона Ждановича, занимал большую часть Киевского уезда, восточную часть Васильковского, Радомысльский, Овручский уезды и западную часть Остерского. Его полковым городом был Киев. Всех сотен было семнадцать; 9) Белоцерковский, под начальством Михайла Громьки, в уездах: Сквирском, в западной части Васильковского и в северной Таращанского. Местечко Белая Церковь было его полковым городом; 10) Кропивинский, под начальством Филона Джеджалыка, занимал земли в восточной части Золотоношского уезда, в западной части Лубенского, в восточной части Пирятинского. Полковой его город был Кропивна. Всех сотен было в нем одиннадцать; 11) Переяславский, под начальством Феодора Лободы, на левой стороне вдоль Днепра, в нынешних уездах: Переяславском, Остерском и южной половине Козелецкого. Всех сотен было восемнадцать; полковой город был Переяславль; 12) Прилуцкий, под начальством Тимофея Носача, в нынешнем Прилуцком уезде, захватывал небольшую часть Нежинского. В нем было девятнадцать сотен; 13) Миргородский, под начальством Матвея Гладкого, в нынешних уездах: Миргородском, восточной части Лубенского, в Лохвицком, Роменском, Хорольском. В нем было шестнадцать сотен; 14) Полтавский, под начальством Мартына Пушкаренко, в нынешних уездах: Полтавском, Гадяцком, Зеньковском и Кобыляцком. В нем считалось семнадцать сотен; 15) Нежинский, под начальством Прокопа Шумейки, в нынешних уездах Нежинском и Козелецком. Всех сотен было в нем девять; 16) Черниговский, под начальством Мартына Небабы, в уездах: Черниговском, Борзенском, Сосницком, Конотопском. Сотен было шесть.

В нынешней же Черниговской губернии, в уездах: Стародубском, Мглинском, Городнецком, Новгород-Северском, Глуховском, Суражском казаков тогда не было. Эта часть Южнорусской земли обращена в казачество уже после Хмельницкого.

с полковым городом и сотенными городами и селами. В городах (Брацлаве, Виннице, Черкассах, Василькове, Овруче, Киеве, Переяславле, Остре, Нежине, Мглине, Чернигове, Почепе, Козельце, Новгород-Северском, Стародубе) оставлено было прежде Магдебургское право для мещан — с общинным самоуправлением и самосудом, с разделением ремесленников по их занятиям на цехи, с предоставлением цехам права иметь свои гербы и печати.

Все остальное народонаселение под именем «посполства» должно было поступать снова под власть панов. В этом была вопиющая несправедливость. Все народонаселение было призвано к борьбе за общую свободу; все равно участвовали в этой борьбе; а теперь оказалось, что они боролись и проливали кровь только для каких-нибудь сорока тысяч избранных, сами же должны были поступать в прежнюю неволю. По окончании реестрования Хмельницкий дозволял владельцам возвращаться в свои имения и приказывал всем, не вошедшим в реестр, повиноваться господам под опасением смертной казни. Вместе с этим и король издал универсал ко всем жителям Украины, в котором извещал, что в случае бунтов хлопов против владельцев коронное войско вместе с запорожским будет укрощать их. Как только об этом услышал народ, вспыхнуло всеобщее волнение. «Как! — кричал народ, — где обещание гетмана? Разве мы не все были казаками!» Владельцы, едва вступивши в свои владения, должны были снова бежать из них, а иным пришлось поплатиться жизнью. Беглецы столпились в Киеве под покровительство Адама Киселя, сделанного киевским воеводою, и чуть не пропадали с голода, достигшего ужасающих размеров. Богатые паны стали приезжать в свои имения с командами, отыскивать зачинщиков прежнего мятежа и казнить их. Где только паны чувствовали силу, там поступали жестоко с непокорными хлопами: отрезывали им уши, вырывали ноздри, выкалывали глаза и т. п. Хмельницкий по жалобе владельцев вешал, сажал на кол непослушных. Хлопы со своей стороны, где только было возможно, жгли панские усадьбы, убивали и мучили владельцев. Жители берегов Буга и Днестра отличались перед всеми буйством и отвагою*.

Сами реестровые казаки недовольны были исключительностью своих привилегий. Когда Хмельницкий в первых числах марта 1650 года собрал в Переяславле казаков на генеральную раду для утверждения реестра, то, по собственным его словам, претерпевал большие затруднения.

После этой рады Хмельницкий отправился в Киев для совета с Киселем и готовился у него обедать в замке, как вдруг вооруженная

* По известиям малороссийской летописи, брацлавский полковник Не-чай отличался смелостью и заступился за народ. «Разве ты ослеп, — говорил он гетману, — не видишь, что ляхи обманывают тебя и хотят поссорить с верным народом?»

толпа посольства бросилась с яростными криками на замок и кричала, что пора расправиться с Киселем. Хмельницкий бесстрашно вышел к народу, клялся, что за Киселем нет никакой измены, и обещал не пускать панов в их имения. Толпа на этот раз послушалась, но Хмельницкий после того говорил Киселю так: «Паны поддели меня; по их просьбе я согласился на такой договор, какого не могу исполнить никаким образом. Сами посудите: сорок тысяч казаков — а с остальным народом что я буду делать? Они меня убьют, а на поляков все-таки подымутся». Уступая народному волнению, Хмельницкий позволил идти в казаки всякому — под тем предлогом, что, кроме реестровых, могут быть еще охочие казаки, а между тем отправил посольство к королю: напоминал, что следует уничтожить унию, и просил, чтобы паны являлись в свои украинские поместья не иначе как без военных команд.

Землевладельцы, которые были победнее, решались покориться судьбе. Хлопы собирались на сходки и рассуждали, как им жить с панами. В Немирове на подобной сходке какой-то атаман Куйка подал такой совет: «Дадим своему пану плуг волов * да четыре меры солода. Довольно с него, лишь бы не умер с голоду!» В других местах хлопы уговаривались давать панам «поклоны» по большим праздникам и отказывались от всякой барщины. Самые богатые паны не получали ни гроша с огромных имений. Шляхтичи принялись сами за полевые работы. «Не было деревни,— говорит современный польский историк-стихотворец Твардовский,— где бы бедный шляхтич мог зевнуть свободно. Чуть мало кто погорячится — тотчас бунт; а сорок тысяч реестровых, словно горох из мешка рассыпавшись по Украине, производили страшный для нас шорох».

Гетману очень хотелось затянуть Московское государство в войну с Польшею. После Зборовского договора он был огорчен отказом царя помочь ему. Когда приехал к нему гонец толковать о пограничных делах, Хмельницкий, по своему обычаю сдержанный в трезвом виде и откровенный в пьяном, бывши тогда навеселе, произнес ему такие речи:

«Что вы мне про дубье и про насеки толкуете? Вот я пойду, изломаю Москву и все Московское государство; да и тот, кто у вас на Москве сидит, от меня не отсидится: зачем не дал он нам помощи на поляков ратными людьми?»

Казаки говорили великорусским гонцам так:

«Мы пойдем на вас с крымцами. Будет у нас с вами, москали, большая война за то, что нам от вас на поляков помощи не было».

Московское правительство поняло, что если оно не будет заодно с Хмельницким, то наживет себе в Хмельницком врага, и начало, по выражению того времени, «задирать Польшу». В июле 1650 года приехал в Варшаву послом Гаврило Пушкин с жалобой на то, что,

* Плуг волов у малороссиян — три пары волов.

во-первых, в некоторых официальных бумагах неточно был написан царский титул, а во-вторых, на то, что в Польше печатались «бесчестные книги», в которых с неуважением отзывались о царе и московском народе. Так, например, между прочим, в латинской истории Владислава IV, написанной Вассенбергом, было сказано: «Москвитяне только по одному имени христиане, а по делам и обычаям хуже всяких варваров; мы их часто одолевали, побивали и лучшую часть их земли покорили своей власти». Московский посол требовал, чтобы все «бесчестные книги» были собраны и сожжены; чтобы не только слагатели их, но и содержатели типографий, где они были напечатаны, наборщики и печатальщики и самые владельцы имений, где находятся типографии, были казнены смертию. «Из таких требований,— сказали сенаторы послу,— мы видим, что его царское величество ищет предлога к войне; несколько строк, которыми погрешали литераторы, не дают повода к разрыву мира. Стоит ли из-за того проливать кровь!»

Московское посольство настаивало на своем. Несколько книг было сожжено в их присутствии, но это их не удовлетворило. Они уехали, сказавши последнее слово, что только наказание слагателей «бесчестных книг» и людей, писавших царский титул с пропусками, может отклонить Польшу от разрыва с Московским государством.

Хмельницкий между тем, сдружившись с крымским ханом, отправил казаков с татарами на Молдавию мстить молдавскому господарю Василию Лупуле²³ за то, что последний не хотел исполнять своего обещания отдать дочь свою за сына Хмельницкого. Казаки и татары навели такой страх на молдавского господаря, что он просил мира и союза. Во время этого похода коронный гетман Потоцкий, воротившись из крымского плена, расположился на Подоли. Он не решался помогать молдавскому господарю, но занимался укращением подольских хлопков, которые образовали тогда шайки под названием «левенцов» и открыто вели войну с коронными жолнерами. Польский отряд под начальством Кондратского разбил их и привел к Потоцкому главного их предводителя Мудренка с двадцатью другими атаманами. Потоцкий приказал их изуродовать и распустить, чтобы они навели страх на всякого, кто не захочет повиноваться панам. Этих изуродованных привели к Хмельницкому. Хмельницкий отправил к Потоцкому полковника Кравченко.

— Или ты еще не напился крови нашей, пан гетман,— сказал Потоцкому Кравченко.— Зачем нарушаешь договор? Зачем переходишь за черту на казацкую землю, когда не слышно неприятеля?

— Земля никогда не была казацкою! — гневно закричал Потоцкий, схватившись даже за саблю.— Земля принадлежит Речи Посполитой. Имею право стоять и на черте, и за чертою.

— Речь Посполитая,— сказал Кравченко,— может положиться на казаков; мы защищаем отечество.

— Какие вы защитники,— сказал Потоцкий,— когда вы делаете

насилие шляхетству и вынуждаете владельцев бежать из своих имений?

— А зачем паны мучат и утесняют народ? — сказал Кравченко. — Владельцы должны ласково и кротко обращаться с поселянами, потому что они хотя и подданные ваши, а в ярмо шеи класть не станут.

После этого крупного разговора коронный гетман Потоцкий доносил королю, что Хмельницкий обманывает поляков, и полякам остается напасть на Хмельницкого и уничтожить казачество.

Предвидя, что война неизбежна, Хмельницкий начал подготавливать себе союзников: сноситься с Турцией, с седмиградским князем Ракочи, убеждал их действовать вместе против Польши, наконец, завел сношения и с Швецией.

Эти сношения сделались известны в Варшаве. Король в конце 1650 года издал универсал для предварительных сеймиков; король извещал в нем все польское шляхетство, что Хмельницкий строит козни против Речи Посполитой; что в Украине чернь неистовствует против шляхетства; что на будущую весну надобно ожидать войны с казаками.

В декабре собрался сейм. Хмельницкий прислал на него депутатов: Маркевича, Гурского и Дорошенка. Они привезли требование: во-первых, уничтожить унию; во-вторых, чтобы знатнейшие чины Польского государства утвердили присягою Зборовский договор; в-третьих, чтобы четыре знатнейших пана: Вишневецкий, Конецпольский, Любомирский и коронный обозный Калиновский, оставались заложниками мира и жили в своих украинских имениях без дворни и ассистенции; в-четвертых, чтобы русский народ не терпел никаких стеснений от панов духовных и светских.

Это требование произвело чрезвычайное волнение как в сенате, так и между послами. Адам Кисель стал было доказывать, что поляки действительно обязаны уничтожить унию, представляя, что тогда и сами православные будут поддерживать Речь Посполитую. Но заявление Киселя еще сильнее взволновало поляков. Они закричали: «Как козел не станет бараном, так и схизматик не будет искренним защитником католиков и шляхетских вольностей, будучи одной веры с бунтовщиками хлопами. Как! для схизматиков, для глупого хлопства не позволять шляхте верить, как повелевает Дух святой, а пусть верит, как предписывает пьяная, сумасшедшая голова Хмельницкого! Вот какой проявился доктор чертовской академии, хлоп, недавно выпущенный на волю! Хочет отнять у поляков веру святую! Им не нравится слово «уния», а нам не нравится слово «схизма». Пусть отрекутся от своего безумного схизматического учения. Пусть соединятся с западною церковью и назовутся правоверными».

Таков был голос всей католической и шляхетской Польши того времени. Домогательство русских уничтожить унию затронуло религиозную струну польского сердца. 24 декабря война была решена

единогласно. Положили собрать посполитое рушение и сделать временный налог для платы регулярному войску.

Тем не менее казацкие депутаты получили шляхетское достоинство.

Неприятные действия начались в феврале 1651 года, неудачные для казаков*.

Между тем вся Польша вооружилась. Папский легат привез королю первосвященническое благословение, мантию и освященный меч, а королеве золотую розу. Этим не совсем был доволен король, потому что папа не прислал ему денег, которых он просил; но когда король обнародовал, что святой отец благословляет отправлявшихся на брань и посылает отпущение грехов, то это сильно воодушевило поляков. Король назначил сборное место под Сокалем и прибыл туда в мае.

У казаков было также религиозное побуждение. Приехал к ним из Греции коринфский митрополит Иоасаф. Он препоясал Хмельницкого мечом, который был освящен на самом гробе господнем. Сам константинопольский патриарх прислал Хмельницкому грамоту, в которой одобрял войну, предпринятую против врагов православия. Но войска в этом году у Хмельницкого было меньше, чем прежде. За ним уже было меньше той нравственной силы, какую он прежде имел в глазах народа; хлопы стали не доверять ему за потачку панам, за казнь мятежников. Союз с татарами не по душе был народу, потому что эти союзники, вступая в русскую землю под видом дружбы, уводили в плен женщин и детей. Многие реестровые казаки, пользуясь своими правами, охотнее бы хотели идти на турок. Находились даже такие, хотя в небольшом количестве, которые предложили свои услуги полякам. Притом Хмельницкий имел повод опасаться вторжения литовского войска и должен был оставить часть войска на северной границе, чем развлекал свои силы.

Хмельницкий долго дожидался хана и дал время своим неприятелям собраться. Двинувшись на Вольнь, он стоял под Збаражем, не отваживаясь один нападать на короля; а между тем в его стане распространились повальные болезни, так что казаки в одно время вывезли из своего стана двести шестьдесят возов с больными и умершими.

Простоявши несколько недель под Сокалем, поляки перенесли свой стан на реку Стырь и избрали обширное поле под Берестечком. Хмельницкий, все еще ожидая хана, упустил удобное время напасть на неприятеля, когда поляки проходили по болотистым местам и

* Коронный обозный, гетман Калиновский в местечке Красном напал внезапно на полковника Данила Нечая и разбил его. Сам Нечай погиб в битве. Вслед за тем Калиновский разорил несколько подольских городов, но сам потерпел неудачу под Винницею против полковника Богуна, который приказал сделать на льду реки Буга проруби и покрыть их соломой. Поляки бросились на лед и во множестве потонули.

переправлялись через реку Стырь. Ислам-Гирей прибыл наконец со своей ордой, но на этот раз крымский хан шел на войну поневоле и только по приказанию турецкого султана. Ему невыгодно было нарушать Зборовский договор; ему хотелось, напротив, идти войною на Москву, с которою Хмельницкий, к досаде его, дружил. Между татарскими беями были враги, недоброжелатели Хмельницкого*. 19 июня (29 нов. стиля) появились казаки и татары в виду польского войска. 20 июня в два часа пополудни началось сражение; и вдруг хан стремительно бросился в бегство; за ним побежали все его мурзы и беи. Это бегство до того поразило всех татар, что они, не будучи никем преследуемы, побросали в беспамятстве свои арбы с женами и детьми, больных и даже мертвых — в противность Алкорану, запрещавшему оставлять правоверных без погребения. Хмельницкий поручил начальство полковнику Джеджалыку, а сам погнался за ханом, думая остановить его. Хан, остановившись в трех верстах от поля битвы, сказал Хмельницкому: «На нас на всех страх напал. Татары биться не будут. Останься со мной, подумаем. Завтра я пошлю своих людей помогать казакам». Но вместо того на другой день он двинулся к Вишневу и потащил за собою Хмельницкого. Писарь Выговский поехал просить хана освободить Хмельницкого; хан и его задержал. Таким образом, гетман с писарем очутились в плену у хана:

Поляки заняли все поле, где стояли татары, и начали теснить казаков. Джеджалык храбро отбивал натиски и отступил к реке Пляшевой. Здесь казаки сбили свои возы в четвероугольник: с трех сторон сделали окопы, а с четвертой большое болото защищало их лагерь. Десять дней выдерживали они неприятельскую пальбу, вступали с поляками в переговоры, но соглашались мириться с ними не иначе как только на условиях Зборовского договора. Поляки знать этого не хотели, требовали совершенной покорности. Между тем в русском стане началась безурядица и смятение. Начальство перешло от Джеджалыка к полковнику Богуну. Между хлопам на сходках стали ходить такие речи: татары разоряют край наш; выдадим королю старшину и будем свободны. Богун, услышавши эти толки, составил план устроить наскоро плотину и уйти с казаками. Ночью с 28 на 29 июня казаки свозили на болото возы, кожухи, шатры, кунтуши, мешки, седла, устроили три плотины и стали уходить отрядами один за другим, незаметно ни для поляков, ни для толпы хлопов в своем стане. Утром 29 июня, когда русские стали завтракать, вдруг кто-то закричал: братцы, все полковники ушли! По всей массе пробежал внезапный страх; все бросились врассыпную; плотины не выдержали и люди начали тонуть. Хлопы метались в разные стороны и

* Прежде своего соединения с Хмельницким Ислам-Гирей посылал к польскому королю тайное посольство; неизвестно содержание его: впоследствии подозревали, что тогда дано было обещание изменить казакам.

впопыхах стремглав бросались в реку. Поляки долго не понимали, в чем дело, и только спустя несколько времени бросились в казачий лагерь и стали добивать бегущих. Митрополит Иоасаф удерживал бегущих и был убит каким-то польским шляхтичем. Королю принесли его облачение и освященный меч.

После разгрома казачьего лагеря король распустил посполитое рушение и уехал в столицу, а регулярное (иначе кварцянное) войско двинулось в Украину уничтожать казачество, как поляки надеялись.

Хан продержал Хмельницкого до конца июля под Вишневецом и отпустил, вероятно, взявши с него деньги в виде окупа, как сообщают о том польские источники. Хмельницкий по своем освобождении поехал прямо в Украину и, прибывши в местечко Паволочь, три дня и три ночи пил без просьбу. Тут начали сходиться к нему полковники с остатками растрепанных своих полков. Но никогда не показал Хмельницкий такого присутствия духа, такого мужества, неутомимой деятельности и силы воли, как в это ужасное время. Народ волновался, обвинял его. В народе было много недовольных за прежнюю потачку панам; сердились на него и за союз с татарами, которые разоряли край. В разных местах были мятежные сходбища, на которых думали выбирать иного гетмана. Хмельницкий на Масловом Броде явился пред народным сборищем, успокоил толпу, уверял ее, что не все еще потеряно, что дела поправятся; собирал, одушевлял народ, пополнял полки, сносился снова с ханом, который опять обещал Украине помощь. В то же время Хмельницкий продолжал сноситься с московским правительством; к нему беспрестанно ездили разные подъячие и дети боярские; всем он говорил одно и то же о желании своем поступить под высококую руку православного государя. Но разом он и угрожал Москве, говоря, что если царь не примет его под свою руку, то казаки поневоле пойдут с поляками и крымцами на Московское государство. В минуты, когда гетман, любивший выпить, был навеселе, он говорил резко: «Я к москалям с искренним сердцем, а они надо мною насмежаются. Пойду и разорю Москву хуже Польши!» В эти дни, к удивлению поляков, Хмельницкий вновь женился, третья жена его была Анна Золотаренко; брат ее сделан был нежинским полковником*.

Народ южнорусский, несмотря на понесенный удар и на новые усилия врагов покорить его, казался готовым лучше погибнуть, чем поступить в прежнее порабощение. Казачьи полки быстро наполнялись новыми охотниками: жители поголовно вооружались, за недостатком оружия косами и ножами.

* По одним известиям, вторая жена была убита его сыном Тимофеем, по другим — казнена им самим за преступную связь с часовым мастером, приставшим к нему в 1648 г. под Львовом, бывшим потом его домовым казначеем и обкрадывавшим гетмана. По третьим — он услышал о ее смерти в мае 1651 г. и тосковал.

Польское войско вступило в Украину и встретило сильное и единодушное сопротивление. Жители истребляли запасы, жгли собственные дома, беспрестанно нападали на поляков отдельными шайками, отнимали у них возы, лошадей, портили дороги, ломали мосты. Польское войско стало терпеть недостаток продовольствия. Лишившись в Павлочи скоропостижно умершего лучшего из польских военачальников Иеремии Вишневецкого, поляки 13 августа пришли к местечку Трилисы. Казаки, засевшие там под начальством храброго сотника Александренка, вместе с жителями местечка защищались до последнего и все погибли; женщины дрались наряду с мужчинами, и одна женщина убила косою полковника Штрауса. Поляки за это сопротивление пришли в такое неистовство, что, рассеявшись по окрестным хуторам, истребляли всех русских, не щадя даже грудных младенцев. За то с своей стороны русские с особенным зверством мучили попавшихся к ним поляков и служивших в польском войске немцев. Приведя пленников куда-нибудь в лес или ущелье, они сначала для поругания угощали их вином или медом, вели с ними приятельскую беседу, а потом прокалывали их рожнами, сдирали с живых кожи и тому подобное.

С северной стороны нахлынула на Украину другая военная сила: предводитель литовского войска Радзивилл послал отряд против Черниговского полка, которому Хмельницкий поручил беречь границу. По причине оплошности черниговского полковника Небабы²⁴ казаки потерпели поражение. Радзивилл занял Чернигов, а потом, в последних числах июля, подступил к Киеву. Киевский полковник Жданович²⁵ вышел из города в надежде напасть на литовцев, когда последние будут находиться в Киеве. Город был занят литовцами 6 августа; казаки с двух сторон — сухопутьем от Лыбеди и на судах по Днепру — стали приближаться к городу. Тут киевские мещане сами зажгли город, чтобы произвести в литовском войске замешательство и тем пособить нападавшим на него казакам. Но корсунский полковник Мозыра²⁶ не послушался Ждановича, начал давать не в пору огнем сигналы плывшим по Днепру и тем испортил план Ждановича. Литовцы не могли быть застигнутыми врасплох и отбили нападение. Киев сильно пострадал от пожара. После этого Радзивилл снесся с Потоцким, и оба войска — по состоявшемуся между их предводителями договору — с двух противоположных концов в конце августа сошлись под Белою Церковью, близ которой находился Хмельницкий со своим войском.

Хмельницкий предложил мир. Положение казаков было печально. Но поляки, с одной стороны, видели отчаяние русского народа, способного вести борьбу на жизнь и на смерть, с другой — затруднялись добывать продовольствие. Поэтому польские предводители согласились мириться и выслали для переговоров с гетманом и старшиною комиссаром Адама Киселя с товарищами в белоцерковский замок.

Народ узнал, что идет дело о сокращении казачества и о сужении границ казацкой земли. Толпа собралась под замок. Раздались яростные крики: «Ты, гетман, ведешь трактаты с ляхами и нас покидаешь, себя самого и старшину спасаешь, а нас знать не хочешь, отдаешь нас под палки, батоги, на колы да на виселицы! Нет, прежде чем до этого дойдет — и ты положишь голову, и ни один лях отсюда живым не уйдет!» Они хотели схватить и убить комиссаров. Хмельницкий не устранился, вышел к толпе, которая грозила ему саблями и дубинами, уговаривал ее, представлял, что послов трогать нельзя, и, наконец, собственноручно положил своей булавою нескольких смельчаков, выдвинувшихся вперед*.

Решительность Хмельницкого и влияние, которым он все еще пользовался несмотря на разлад с народными требованиями, удержали на время народ от дальнейшего взрыва. Переговоры тянулись не один день. Хмельницкий посылал то одно, то другое добавление; между тем казаки делали нападения на польское войско; гетман отговаривался, что это происходит не по его желанию. Хмельницкому опасность угрожала с обеих сторон. Он не решался вступить в решительную отчаянную битву, не надеясь выиграть победы; не решался и заключить мир, потому что народная толпа, по-видимому, готова была растерзать его за это. Так прошло время до 16 сентября. В это время появилось моровое поветрие — как в польском, так и в казацком войске. Обстоятельство это ускорило заключение мира. По договору, называемому в истории от места его составления Белоцерковским, у Хмельницкого вместо трех воеводств в пределах казацкой черты осталось одно Киевское воеводство, и в силу этого сужения границ число реестрового войска было уменьшено до двадцати тысяч. Шляхетство вступало в свои владения с прежним правом; жида тоже могли жить везде.

По окончании договора Хмельницкий посетил своих победителей, и, по сознанию самих польских историков, его хотели было отравить, но он догадался, не пил предложенного вина и ускакал в свой стан.

Само собою разумеется, что такой мир не мог продержаться долго. Жители Южной Руси, не желая быть в порабощении у панов, во множестве бежали в Московское государство на слободы. Уже в прежние годы совершались такие переселения и появились слободы около Рыльска, Путивля, Белгорода. В этот год переселение произошло в несравненно большем размере. Первый пример показали волынцы. Казаки возникшего было Острожского полка под предводительством Ивана Дзинковского основали с царского дозволения на берегу реки Тихой Сосны Острогожск и перенесли с собой все

* Кисель, едучи с товарищами чрез ряды русского полчища, кричал: «Друзья мои, мы не ляхи; я русский, мои кости такие же русские, как и ваши!» «Твои русские кости обросли польским мясом!» — отвечали ему казаки.

казацкое устройство. Таким образом явился первый слободский полк. За ним малоруссы начали переселяться в огромном количестве в привольные южные степи Московского государства с берегов Днепра, Буга и других мест. Они сожигали свои хаты и гумна, чтобы не доставались врагам, складывали на возы свои пожитки и отправлялись огромными ватагами искать новой Украины, где бы не было ни ляхов, ни жидов. Отряды польского войска заступали им дорогу; украинцы пробивались с ружьями и даже пушками на новое жительство. Тогда менее, чем в полгода, появились в пограничных областях многие малорусские слободы, из которых некоторые дали начало значительным городам: так основаны были Сумы, Короча, Белополье, Ахтырка, Лебедин, Харьков и другие. Поселенцы выбирали места по возможности безопасные — и потому большею частью вблизи болот, мешавших татарским внезапным нападениям.

По окончании реестрования литовское войско вошло в Черниговское воеводство, а часть коронного пришла на левый берег Днепра, с тем чтобы не пропускать переселенцев в Московское государство. Сам Хмельницкий своим универсалом запрещал народу дальнейшие выселения и строго приказывал не вошедшим в реестр повиноваться панам.

Но русский народ не думал повиноваться панам. Весною 1652 года вся Украина была уже в огне. По Бугу и Днестру жители бросали свои жилища, скрывались в ущельях и лесах, составляли шайки, нападали на поляков. На правой стороне русский шляхтич Хмелецкий собирал и возбуждал недовольных как против поляков, так и против своего гетмана. На левой — составлял ополчение бывший корсунский полковник Мозыра, смененный Хмельницким. В Миргородском полку полковник Гладкий²⁷ пристал к народному заговору против расставленных польских жолнеров, и в день светлого воскресенья все они были перебиты. Таковую же резню произвели над литовцами около Мглина и Стародуба. Около Лубен мятежные хлопы низлагали с гетманства Хмельницкого и выбрали какого-то Бугая своим предводителем.

Хмельницкий не был безопасен в собственном Чигирине. Пришедшая в отчаяние народная громада готова была нагрязнуть на него и убить. Гетмана повсюду стали называть изменником, продавшим ляхам Украину. В таком положении Хмельницкий дозволил записываться в реестр более определенного числа. Польский военачальник Калиновский упрекал его за это. Хмельницкий объяснял, что сделал это распоряжение для пользы самих поляков, потому что иначе усмирить народ невозможно.

По требованию короля Хмельницкий, однако, подписал смертный приговор Гладкому, Хмелецкому и Мозыре; им отрубили головы. Кроме этих жертв было совершено еще несколько смертных казней. Но скоро после того обстоятельства повернулись так, что Хмельницкий снова стал заодно с народом.

Молдавский господарь Василий Лупула обещал в 1650 году дочь свою Домну Локсандру в жены Тимофею Хмельницкому, но, извиняясь молодостью невесты, просил отсрочки на год. Потом он не только не хотел исполнять данного обещания, а еще и тайно вредил Хмельницкому во время второй войны последнего с поляками. В 1652 году Хмельницкий напомнил господарю его обещание и выслал своего сына с казаками к границам Молдавии, давая знать этим, что если господарь не захочет исполнить данного слова добровольно, то принужден будет исполнить его поневоле.

По уверению польских историков, Лупула известил об угрожающем ему насилии предводителя польского войска Калиновского, а Калиновский, расположивший свое войско над рекою Бугом, вздумал пресечь путь сыну Хмельницкого, идущему в Молдавию.

Гетман Хмельницкий предупредил Калиновского письмом, просил не трогать Тимофея и отступить с дороги, так как Тимофей идет себе жениться и не имеет никаких враждебных намерений против поляков; иначе не ручался, чтобы казаки, которых он называл свадебными боярами, не завели ссоры и не вышло бы нарушение мира. Но Калиновский назвал Хмельницкому нарочно поступил против его предостережения и сам напал на Тимофея Хмельницкого, который шел не только с сильным казацким отрядом, но еще и в сопровождении татарского Карача-мурзы с его ордою. Во время нападения русские хлопы, бывшие на работе в польском обозе, умышленно зажгли сено, распространился пожар... Казаки и татары стеснили поляков и совершенно разбили. Калиновский пал в битве. Поляки бежали во все стороны, казаки и окрестные хлопы гонялись за ними, не слушали никаких молений о пощаде и без сострадания убивали, приговаривая: «вот вам за унию! вот вам за Берестечко! вот вам за ваши поборы!» и т. п. Все польское войско в числе двадцати тысяч погибло в этой знаменитой битве, прозванной по урочищу, где она происходила, Батогскою. Удар, нанесенный Польше, был не легче корсунского. Тимофей Хмельницкий благополучно достиг пределов Молдавии, по просьбе господаря оставил свое войско на границе, сам приехал в Яссы и сочетался браком с молдавскою принцессою.

Таким образом, недавно заключенный мир, тяжелый для Хмельницкого, был нарушен самими поляками. Жолнеры, стоявшие в других местечках, были немедленно изгнаны.

Хмельницкий известил короля о случившемся под Батогом, доказывал, что виною всему Калиновский, а о своих казаках выразился так: «Простите их, ваше величество, если они, как люди веселые, далеко простерли свою дерзость». В Польше это приняли за насмешку.

Польша не имела войска и поневоле должна была отложить военные действия до следующего года. Весною 1653 года польский военачальник Чарнецкий, ворвавшись в Брацлавщину по берегу Буга, истреблял села и местечки: поляки резали жителей без разбора.

По выражению их же соотечественника, не щадили ни красивой девушки, ни беременной женщины, ни грудного младенца. Храбрый винницкий полковник Богун остановил этот варварский набег и обратил Чарнецкого в бегство.

Вслед за тем собралось большое польское войско под Глинянами с намерением идти в Украину и предать ее окончательному разорению; между тем война разыгрывалась и в другом краю, в Молдавии. Там между Лупулою, тестем Тимофея Хмельницкого, и Стефаном Бурдуцом, купившим себе в Константинополе право на господство, происходила борьба. Тимофей с казаками защищал тестя; венгерцы и поляки подали помощь врагу его из нежелания, чтобы родственник и союзник Хмельницкого владел Молдавиею.

Гетман Хмельницкий обратился опять к царю Алексею Михайловичу, умолял принять его с казаками под свою руку. Царь на этот раз хотя все еще не дал согласия, но отвечал, что принимает на себя посредничество примирить польского короля с Хмельницким.

20 июля явился в Польшу царский посланник боярин Репнин-Оболенский с товарищами, припомнил прежнее требование о наказании лиц, делавших ошибки в царском титуле, и объявил, что царь простит виновных в этом, если поляки со своей стороны помирятся с Хмельницким на основании Зборовского договора и уничтожат унию.

Паны на это отвечали, что уничтожить унию невозможно, что это требование равняется тому, если бы поляки потребовали уничтожить в Московском государстве греческую веру, что греческая вера никогда не была гонима в Польше, а с Хмельницким они не станут мириться не только по Зборовскому, но даже и по Белоцерковскому договору, а приведут казаков к тому положению, в каком они находились до начала междоусобия.

Тогда московский посол сказал, что если так, то царь не будет более посылать в Польшу послов, а велит писать о неправдах польских и о нарушении поляками мирного договора во все окрестные государства и будет стоять за православную веру, за святые божие церкви и за свою честь, как ему бог поможет!

Поляки, соображая, что Хмельницкий пойдет с войском на помощь к сыну, который находился в стесненном положении в Молдавии, двинулись с войском на Подоль к Каменцу. Король предводительствовал войском. Поляки надеялись перерезать путь Хмельницкому, который собирался идти в Молдавию на выручку сына; отправляясь в поход, он известил царя, что поляки идут на поругание веры и святых церквей, и прибавил: «Турецкий царь прислал к ним в обоз в Борки своего посланца и приглашает к себе в подданство. Если, ваше царское величество, не сжалишься над православными христианами и не примешь нас под свою высокую руку, то иноверцы подбьют нас и мы будем чинить их волю. А с польским королем у нас мира не будет ни за что».

Тесть Тимофея Лупула ушел из Молдавии, а Тимофей с тещею заперся в сочавском замке. С Тимофеем были казаки. Огромное войско, состоявшее из валахов, молдаван — сторонников Стефана Бурдуца, венгерцев и поляков, осадило Сочаву. Осажденные храбро отбивались, ожидая выручки от Хмельницкого. Но однажды осколок от дерева разбитой ядром повозки смертельно ранил Тимофея в голову и в ногу; Тимофей умер. Казацкий полковник Федоренко продолжал несколько времени отбиваться, но голод принудил его сдать крепость. 9 октября казаки вышли из сочавской крепости, выговорив себе свободный проход на Украину с телом Тимофея Хмельницкого. Богдан Хмельницкий встретил на дороге тело сына, приказал везти его на погребение в Чигирин, а сам пошел на поляков.

К нему пристал тогда крымский хан. Поляки, считая себя победителями татар под Берестечком, перестали ему платить сумму, постановленную под Зборовом. Хану захотелось возвратить себе этот доход.

Враги встретились на берегу Днестра под Жванцем, в пятнадцати верстах от Каменца, против Хотина. Была уже поздняя осень. Положение поляков было печальное. Войско их, составленное из непривычных к ратному делу воинов, разбежалось. Но хан наблюдал только одну свою выгоду и предложил полякам мир с условием, если ему заплатят единовременно сто тысяч червонных, а потом станут платить ежегодно на основании Зборовского договора и вдобавок дадут татарам право на возвратном пути брать сколько угодно пленников в польских областях.

Как ни диким казалось последнее требование, но поляки согласились и на него, выговоривши себе только то условие, чтобы татары брали в плен в продолжение сорока дней одних русских и не трогали поляков.

Ханский визирь договорился с поляками и в том, что с этих пор хан отступит от казаков, но в настоящее время просил для вида обещать им утвердить Зборовский договор, чтобы не раздражить казацкую толпу; впоследствии же хан сам обещал помогать полякам укротить казаков.

Хмельницкий узнал об этом тайном условии, умолял хана не покидать его — все было напрасно. Союз с поляками, по расчету хана, был выгоднее, чем с казаками. Хмельницкому невозможно было отвязаться в данную минуту на борьбу разом и с поляками, и с татарами. Он принужден был молчать. Одна надежда у него осталась тогда на царя московского. 16 декабря ушел король; за ним разошлось польское войско. Вслед за тем татары, по условию, страшно опустошили Южную Русь до самого Люблина. Однако и поляки не остались без наказания за постыдный договор с ханом, которым они, всегда гордившиеся званием свободной нации, избавили себя от печальной для них необходимости предоставить свободу русскому народу:

татары, не разбирая своих жертв, сожигали шляхетские дома и увели в плен множество шляхты обоего пола.

Между тем после решительного ответа, данного панам московскому послу боярину князю Репнину-Оболенскому, московское правительство приступило, наконец, к решительному шагу. Остаться зрителями того, что делалось по соседству, далее было невозможно; предстояла опасность, что казаки отдадутся Турции и вместе с крымскими татарами начнут делать опустошения в пределах Московского государства.

Дело было первой важности, и царь Алексей Михайлович 1 октября 1653 года созвал земский собор всех чинов Московского государства в Грановитой палате.

Думный дьяк изложил все дело о пропусках в титуле, о «бесчестных книгах», о том, как гетман Богдан Хмельницкий много лет просил государя принять его под державную руку, о том, как царь предлагал полякам прощение виновных в оскорблении царской чести, с тем чтобы поляки уничтожили унию и перестали преследовать православную веру, и как поляки отвергли это предложение. Извещалось, наконец, что турецкий царь зовет казаков под свою власть.

Потом отбирался ответ на вопрос: принимать ли гетмана Богдана Хмельницкого со всем войском запорожским под царскую руку?

Бояре дали такое мнение: Ян-Казимир при избрании на королевство присягал оберегать и защищать всех христиан, которых исповедание отлично от римско-католического, не притеснять никого за веру и другим не позволять, а если своей присяги не сдержит, то в таком случае подданные его освобождаются от верности ему и послушания. Король Ян-Казимир присяги своей не сдержал: восстал на православную христианскую веру, разорил многие церкви, обратил в униатские. Стало быть, гетман Хмельницкий и все войско запорожское после нарушения королевской присяги — вольные люди: от своей присяги свободны. А потому, чтобы не допустить их отдаться в подданство турецкому султану или крымскому хану, следует принять гетмана Богдана Хмельницкого со всем войском запорожским, со всеми городами и землями под высокую государеву руку.

Гости и торговые люди вызвались участвовать вспоможениями в предстоявшей войне; служилые люди обещались биться против польского короля, не щадя голов своих, и умирать за честь своего государя. Патриарх и все духовенство благословили государя и всю его державу и сказали, что они будут молить бога, пресвятую богородицу и всех святых о пособии и одолении.

После такого земского приговора царь послал в Переяславль боярина Бутурлина, окольничего Алферьева и думного дьяка Лопухина принять Украину под высокую руку государя. Послы эти прибыли на место 31 декабря 1653 года. Гостей с достою почестью принял переяславский полковник Павел Тетеря.

1 января прибыл в Переяславль гетман. Съехались все полковники, старшина и множество казаков. 8 января, после предварительного тайного совещания со старшиною, в одиннадцать часов утра гетман вышел на площадь, где была собрана генеральная рада.

Гетман говорил:

«Господа полковники, асаулы, сотники, все войско запорожское! Бог освободил нас из рук врагов нашего восточного православия, хотевших искоренить нас так, чтобы и имя русское не упоминалось в нашей земле. Но нам нельзя более жить без государя. Мы собрали сегодня явную всему народу раду, чтобы вы избрали из четырех государей себе государя. Первый — царь турецкий, который много раз призывал нас под свою власть; второй — хан крымский; третий — король польский; четвертый — православный Великой Руси, царь восточный. Турецкий царь бусурман, и сами знаете, какое утеснение терпят братья наши христиане от неверных. Крымский хан тоже бусурман. Мы по-нужде свели было с ним дружбу и через то приняли нестерпимые беды, пленение и нещадное пролитие христианской крови. Об утеснениях от польских панов и вспоминать не надобно; сами знаете, что они почитали жида и собаку лучше нашего брата-христианина. А православный христианский царь восточный одного с нами греческого благочестия; мы с православием Великой Руси единое тело церкви, имущее главою Иисуса Христа. Этот великий царь христианский, сжалившись над нестерпимым озлоблением православной церкви в Малой Руси, не презрел наших шестилетних молений, склонил к нам милостивое свое царское сердце и прислал к нам ближних людей с царскою милостью. Возлюбим его с усердием. Кроме царской высокой руки, мы не найдем благоотышнейшего пристанища; а буде кто с нами теперь не в совете, тот куда хочет: вольная дорога».

Раздались восклицания:

«Волим под царя восточного! Лучше нам умереть в нашей благочестивой вере, нежели доставаться ненавистнику Христову, поганому».

Тогда переяславский полковник начал обходить казаков и спрашивал:

— Все ли тако соизволяете?

— Все! — отвечали казаки.

«Боже, утверди, боже, укрепи, чтобы мы навеки были едино!»

Прочитаны были условия нового договора. Смысл его был таков: вся Украина, казацкая земля (приблизительно в границах Зборовского договора, занимавшая нынешние губернии: Полтавскую, Киевскую, Черниговскую, большую часть Волынской и Подольской) присоединялась под именем Малой России к Московскому государству с правом сохранять особый свой суд, управление, выбор гетмана вольными людьми, право последнего принимать послов и сношаться с иноземными государствами (кроме крымского хана и польского

короля), неприкосновенность прав шляхетского, духовного и мещанского сословий. Дань (налоги) государю должна платиться без вмешательства московских сборщиков. Число реестровых увеличилось до шестидесяти тысяч, но позволялось иметь и более охочих казаков.

Когда приходилось присягать, гетман и казацкие старшины домогались, чтобы московские послы присягнули за своего государя так, как всегда делали польские короли при избрании своем на престол. Но московские послы уперлись, приводя, что «польские короли неверные, несамодержавные, не хранят своей присяги, а слово государево не бывает переменным», и не присягнули. Когда после того послы и приехавшие с ними стольники и стряпчие поехали по городам для приведения к присяге жителей, малороссийское духовенство неохотно соглашалось поступать под власть московского государя. Сам митрополит Сильвестр Косов хотя и встречал за городом московских послов, но внутренне не был расположен к Москве. Духовенство не только не присягнуло, но и не согласилось посылать к присяге шляхтичей, служивших при митрополите и других духовных особах, монастырских слуг и вообще людей из всех имений, принадлежащих церквам и монастырям. Духовенство смотрело на московских русских как на народ грубый, и даже насчет тождества своей веры с московской происходило у них сомнение. Некоторым даже приходило в мысль, что москали велят перекрещиваться. Народ присягал без сопротивления, однако и не без недоверия: малоруссы боялись, что москали станут принуждать их к усвоению московских обычаев, запретят носить сапоги и черевки, а заставят носить лапти. Что касается до казацкой старшины и приставших к казакам русских шляхтичей, то они вообще скрепя сердце, только по крайней нужде отдавались под власть московского государя; в их голове составилась идея независимого государства из Малороссии. Хмельницкий отправил своих послов, которые были приняты с большим почетом. Царь утвердил Переяславский договор, и на основании его выдали жалованную грамоту*.

Московское правительство формально объявило Польше войну. Она вспыхнула разом и в Украине, и в Литве. Весною 1654 года польское войско вступило в Подоль и начало производить убийственную резню. Город Немиров был истреблен до основания. 3000 жителей столпились в большом каменном погребе; поляки стали выкуривать их оттуда дымом, предлагали пощаду, если выдадут старших. Никто не был выдан, и все задохлись в дыму. Отсюда поляки разошлись по разным путям отрядами и где только встречали местечко, деревню, истребляли там и старого, и малого, а жилища сжигали. Везде

* В это время вообще малорусских послов принимали с большим почетом, потому что малороссиян, как недавно поступивших в подданство, хотели расположить к себе ласковым обхождением.

русские защищались отчаянно косами, дубьем, колодами; все решались лучше погибнуть, чем покориться ляхам. На первый день пасхи поляки вырезали 5000 русского народа в местечке Мушировке; и там русские не слушались никаких увещаний и погибали, защищаясь до последней капли крови. Но казаки отбили поляков от крепких городов Брацлава и Умани, и они до времени вышли из Украины.

В Литве дела пошли счастливо для русских. Царь разослал грамоту ко всем православным Польского королевства и Великого княжества Литовского, убеждал отделиться от поляков, обещая сохранить их дома и достояние от воинского разорения. В грамоте уговаривали православных постричь на головах хохлы, которые носили по польскому обычаю: так много придавали в Москве значения внешним признакам. Едва ли эта грамота имела большое влияние; гораздо более помогало успехам царя чувство единства веры и сознание русской единородности. Могилев, Полоцк, Витебск сами добровольно отворили ворота и признали власть царя. Смоленск держался упорнее; но князь Радзивилл, шедши на выручку Смоленска, 12 августа был разбит наголову князем Трубецким и казацким полковником Золотаренком. Смоленск держался еще до конца сентября; наконец, воевода Филипп Обухович, видя, что ему нет ниоткуда помощи, сдал город, выговоривши себе с гарнизоном свободный пропуск; царь вступил в Смоленск и приказал обратить в православные церкви костелы, которые были поделаны поляками из церквей.

Между тем поляки нашли себе союзников в крымцах. Ислам-Гирея уже не было на свете: одна малороссиянка, взятая в его гарем, отравила его в отомщение за измену ее отечеству. Новый хан Махмет-Гирей, ненавистник Москвы, заключил договор с поляками. Зимой, в ожидании вспомогательных татарских сил, поляки опять ворвались в Подоль и начали резать русских. Местечко Буша первое испытало их месть. В этом местечке, расположенном на высокой горе и хорошо укрепленном, столпилось до 12 000 жителей обоего пола. Никакие убеждения польских военачальников, Чарнецкого и Лянскоронского, не подействовали на них, и когда, наконец, поляки отвели воду из пруда и напали на слабое место, русские, видя, что ничего не сделают против них, сами зажгли свои дома и начали убивать друг друга. Женщины кидали в колодцы своих детей и сами бросались за ними. Жена убитого сотника Завистного села на бочку пороха, сказавши: «не хочу после милого мужа достаться игрушкой польским жолнерам», и взлетела на воздух. Семьдесят женщин укрылись с ружьями недалеко от местечка в пещере, закрытой густым терновником. Полковник Целарий обещал им жизнь и целостность имущества, если они выйдут из пещеры; но женщины отвечали ему выстрелами. Целарий велел отвести воду из источника в пещеру. Женщины все потонули; ни одна не сдалась. После разорения Буши поляки отправились по другим местечкам и селам: везде русские обоего пола защищались до последней возможности; везде поляки вырезывали их,

не давая пощады ни старикам, ни младенцам. В местечке Демовке происходила ужаснейшая резня: там погибло 14 000 русского народа. Коронный гетман писал королю: «Горько будет вашему величеству слышать о разорении вашего государства; но иными средствами не может усмириться неукротимая хлопская злоба, которая до сих пор только возрастает».

Вслед за тем прибыла к полякам на помощь крымская орда, и они вместе с татарами двинулись далее в глубь Украины. Полковник Богун отбил их от Умани. Поляки с татарами пошли на Хмельницкого, который с боярами Бутурлиным и Шереметевым стоял под Белою Церковью. Взявши с собою Шереметева, Хмельницкий пошел навстречу неприятелю. Близ деревни Бавы встретились неприязненные войска; оказалось, что у Хмельницкого и Шереметева войска было меньше. Русские отступили, но чрезвычайно храбро и стойко отбились от преследовавших их поляков и татар*. Не отваживаясь нападать на русский обоз под Белою Церковью, поляки опять пустились разорять украинские села и местечки.

Но вслед за тем, в 1655 году, московские русские получили чрезвычайный успех в Литве. Они взяли Минск, Ковно, наконец, Вильно. Алексей Михайлович въехал в столицу Ягеллонов и повелел наименовать себя великим князем литовским. Города сдавались за городами, большею частью без всякого сопротивления. Мещане и шляхтичи, сохранившие православие, а еще более — угнетенные владычеством панов поселяне принимали московских людей как освободителей. Успех был бы еще действительнее, если бы московские люди вели войну с большим воздержанием и не делали бесчинств и насилий над жителями.

В то время, когда уже вся Литва была в руках московского государя, Польшу наводнили шведы. Уже несколько лет Хмельницкий сносился со шведами и побуждал их к союзу против поляков. В 1652 году вместе с Хмельницким действовал с этой же целью изменник, польский подканцлер Радзиевский; но пока царствовала королева Христина, предпочитавшая классическую литературу и словесность военной славе, трудно было впутать шведов в войну. В 1654 году она отреклась от престола: племянник и преемник ее Карл X объявил Польше войну за присвоение польским королем титула шведского короля. Летом 1655 года он вступил в Польшу. Познань, а потом Варшава сдались без бою. Краков, защищаемый Чарнецким, держался до 7 октября и все-таки сдался. Король Ян-Казимир убежал в Силезию. В это время Хмельницкий с Бутурлиным двинулись в Червоную Русь, разбили польское войско под Гродеком, осадили Львов; но этот город, несмотря ни на какие убеждения, не хотел нарушить верности Яну-Казимиру и присягнуть Алексею Михайловичу. Между

* Поле, где происходило это дело, получило название Дрижи-поле (поле дрожи, в воспоминаниях бывшей тогда жестокой стужи).

казацкими вождями и московскими боярами тогда уже происходили недоразумения. Хмельницкий ни за что не позволял брать штурмом Львова.

Здесь явился к Хмельницкому 29 октября посланец от Яна-Казимира Станислав Любовицкий, давний знакомый Хмельницкого, и привез от своего короля письмо, исполненное самых лестных и даже униженных комплиментов, хотя у Любовицкого было в это время другое письмо к татарскому хану, враждебное Хмельницкому. Беседа с Любовицким в высшей степени замечательна — как по отношению к характеру Хмельницкого, так и по духу времени.

«Любезный кум,— сказал ему Хмельницкий,— вспомните, что вы нам обещали, и что мы от вас получили? Все обещания ваши давались по науке иезуитов, которые говорят: не следует держать слова, данного схизматикам. Вы называли нас холопами, били нагайками, отнимали наше достояние, и когда мы, не терпя ваших насилий, убегали и покидали жен наших и детей, вы насилывали жен наших и сожигали бедные наши хаты, иногда вместе с детьми... сажали на колья, в мешках бросали в воду, показывали ненависть к русским и презрение к их бессилию; но что всего оскорбительнее — вы ругались над верою нашею, мучили священников наших. Столько претерпевши от вас, столько раз бывши вами обмануты, мы принуждены были искать для облегчения нашей участи такого средства, какого никаким образом нельзя оставить. Поздно искать помощи нашей! Поздно думать о примирении казаков с поляками!»

Любовицкий, поддельваясь к Хмельницкому, стал бранить польское шляхетство за то, что оно оставило короля своего в беде, и сказал: «Теперь король будет признавать благородными не тех, которые ведут длинный ряд генеалогии от дедов, а тех, которые окажут помощь отечеству. Забудьте все прошедшее, помогите помазаннику божьему. Вы будете не казаками, а друзьями короля. Вам будут даны достоинства, коронные имения; король уже не позволит нарушать спокойствия этим собакам, которые теперь разбежались и покинули своего господина».

«Господин посол,— сказал Хмельницкий, поговоривши с казакою старшиною,— садитесь и слушайте; я вам скажу побасенку. В старину жил у нас поселянин, такой зажиточный, что все завидовали ему. У него был домашний уж, который никого не кусал. Хозяйева ставили ему молоко, и он часто ползал между семьею. Однажды хозяйскому сыну дали молока; приполз уж и стал хлебать молоко; мальчик ударил ужа ложкою по голове, а уж укусил мальчика. Хозяин хотел убить ужа; но уж всунул голову в нору и хозяин отрубил только хвост. Мальчик умер от укушения. Уж не выходил после того из норы. С этих пор хозяин начал беднеть и обратился к знахарям узнать причину этого. Ему отвечали: в прошлые годы ты хорошо обходился с ужом, и уж принимал на себя все грозившие тебе несчастия, а тебя оставлял свободным от них. Теперь, когда между вами

стала вражда, все бедствия обрушились на тебя; если хочешь прежнего благополучия, примиришься с ужом. Хозяин стал приглашать ужа заключить с ним прежнюю дружбу, а уж сказал ему: напрасно хлопчешь, чтобы между нами была такая дружба, как прежде. Как только я посмотрю на свой хвост, тотчас ко мне возвращается досада; а ты как только вспомнишь сына — тотчас закипит в тебе отцовское негодование, и ты готов разможжить мне голову. Поэтому достаточно будет дружбы между нами, если ты будешь жить в твоём доме как тебе угодно, а я в своей норе, и будем помогать друг другу. То же самое, господин посол, произошло, между поляками и русскими. Было время, когда мы вместе наслаждались счастьем, радовались общим успехам. Казаки отклоняли от королевства грозящие ему опасности и сами принимали на себя удары варваров. Тогда никто не брал добычи из Польского королевства. Польские войска совокупно с казацкими везде торжествовали. Но поляки, называвшие себя детьми Королевства польского, начали нарушать свободу русских, а русские, когда им сделалось больно, стали кусаться. Случилось, что и русских большая часть отсечена, и сынов королевства немало пропало. С тех пор как этим народам придут на память бедствия, нанесенные друг другу, тотчас возникает досада, и хотя начнут мириться, а дела не доведут до конца! Мудрейший из смертных не может восстановить между нами твердого и прочного мира, как только вот как: пусть Королевство польское откажется от всего, что принадлежало княжествам земли Русской, пусть уступит казакам всю Русь до Владимира, Львов, Ярославль, Перемышль, а мы, сидя себе на своей Руси, будем отклонять врагов от Королевства польского. Но я знаю: если бы в целом королевстве осталось только сто панов, и тогда бы они не согласились на это. А казаки, пока станут владеть оружием, также не отстанут от этих условий. Поэтому — прощайте».

Любовицкий передал Хмельницкому украшение с драгоценным камнем, подарок жене Хмельницкого от польской королевы Марии-Людвики. «Боже всемогущий, — воскликнул Хмельницкий, — что я значу перед лицом твоим, но вот как возвысила меня милость твоя, что к моей Ганне наияснейшая королева польская пишет письма и просит у ней заступничества перед мной!» Однако, обратившись к Любовицкому, Хмельницкий сказал: «Не могу исполнить желанья ее величества; не могу нарушить тесного договора с русскими и шведами».

Взявши со Львова небольшую сумму в 60 000 злотых, Хмельницкий отступил от этого города под предлогом, что татары разоряют Украину; но, кажется, к отступлению расположило его тайное посольство шведского короля, который обещал ему русские земли, когда утвердится в Польше. Московские войска вместе с казацкими взяли Люблин. Этот город присягнул Алексею Михайловичу, вскоре потом присягнул шведскому королю, а затем — прежнему своему государю Яну-Казимиру.

Весною 1656 года поляки снова попытались примириться с Хмельницким и просили помощи против шведов. С этой целью приехал к Хмельницкому пан Лянскоронский.

Хмельницкий отвечал: «Полно, господа, обманывать нас и считать глупцами; полякам за их всегдашнее вероломство никто в мире не верит; было время, мы соглашались на мир в угождение королю; а король таил в душе противное тому, что показывал на вид. Мы не войдем с Польшею ни в какие договоры, пока она не откажется от целой Руси. Пусть поляки формально объявят русских свободными, подобно тому как испанский король признал свободными голландцев. Тогда мы будем жить с вами как друзья и соседи, а не как подданные и рабы ваши; тогда напишем договор на вечных скрижалях; но этому не бывать, пока в Польше властвуют паны. Не быть же и миру между русскими и поляками».

Поляки успешнее обделали свои дела в Москве, чем в Чигирине. Посланник немецкого императора Алегретти, природный славянин, знавший по-русски, прибывши в Москву, умел расположить к миру с Польшею бояр и духовных, указывал надежду обратить оружие всех христианских государей против неверных. Патриарх Никон убеждал царя помириться с поляками и обратить оружие на шведов, чтобы отнять у них земли, принадлежащие Великому Новгороду. Царь прельстился возможностью сделаться королем польским мирным образом; царь отправил своих уполномоченных в Вильну, где после многих споров и толков с уполномоченными Речи Посполитой в октябре 1656 года заключен был договор, по которому поляки обязывались после смерти Яна-Казимира избрать на польский престол Алексея Михайловича; Алексей Михайлович со своей стороны обещал защищать Польшу против ее врагов и обратить оружие на шведов. Хмельницкий, узнавши, что в Вильне собираются уполномоченные для восстановления мира, отправил туда своих посланников; но московские послы напомнили им, что Хмельницкий и казаки — подданные, а потому не должны подавать голоса там, где решают их судьбу послы государей. Казацкие посланники, воротившись в Украину, в присутствии всей старшины говорили гетману: «Царские послы нас в посольский шатер не пустили; мало того: до шатра издали не пускали, словно псов в церковь божию. А ляхи нам по совести сказывали, что у них учинен мир на том, чтобы всей Украине быть по-прежнему во власти у ляхов. Если же войско запорожское со всею Украиною не будет у ляхов в послушании, то царское величество будет помогать ляхам ратью своею бить казаков».

Хмельницкий, услышавши это, пришел в умоисступление. «Дитки,— сказал он,— треба отступити от царя, пойдём туда, куда велит вышний владыка! Будем под бусурманским государем, не то что под христианским!»

Успокоившись от первого волнения, Хмельницкий написал царю письмо и высказывал ему правду так: «Ляхи этого договора никогда

не сдержат; они его заключили только для того, чтобы немного отдохнуть, уговориться с султаном турецким, татарами и другими и опять воевать против царского величества. Если они в самом деле искренно выбирали ваше царское величество на престол, то зачем они посылали послов к цезарю римскому просить на престол его родного брата? Мы ляхам верить ни в чем не можем. Мы подлинно знаем, что они добра нашему русскому народу не хотят. Великий государь, единый православный царь в Подсолнечной! Вторично молим тебя: не доверяй ляхам, не отдавай православного русского народа на поругание!»

Но Москва была глуха к этим советам. Хмельницкий видел, что пропускается удобный случай освободить русские земли из-под польской власти; а между тем не только одна Москва, но и другие соседи мешали его намерениям. Немецкий император с угрозами требовал от Хмельницкого мира с Польшею. Крымский хан и турецкий султан были в союзе с Польшею и не боялись ее трактатов с Москвою, зная, что со стороны поляков это не более как обман; напротив, им страшнее были успехи Хмельницкого, которые вели к объединению и усилению Русской державы. Хмельницкий впал в тоску, в уныние и, наконец, в болезнь. Он видел в будущем прежнее порабощение Украины ляхами и прибегал к последним мерам, чтобы предупредить его. В начале 1657 года Хмельницкий заключил тайный договор со шведским королем Карлом X и седмиградским князем Ракочи о разделе Польши. По этому договору королю шведскому должна была достаться Великая Польша, Ливония и Гданьск с приморскими окрестностями; Ракочи — Малая Польша, Великое княжество Литовское, княжество Мазовецкое и часть Червоной Руси; Украина же с остальными южнорусскими землями должна быть признана навсегда отделенною от Польши.

Сообразно с этим договором Хмельницкий послал на помощь Ракочи 12 000 казаков под главным начальством киевского полковника Ждановича. Ян-Казимир дал знать о кознях Хмельницкого московскому государю. Договор, заключенный гетманом с венграми и шведами, стал подлинно известен в Москве, и царь снарядил в посольство окольникы Федора Бутурлина и дьяка Василия Михайлова со строгим выговором Хмельницкому.

Прежде чем это посольство достигло Чигирина, Хмельницкий, чувствуя, что его здоровье день ото дня слабеет, собрал раду и предложил казакам избрать себе преемника. Казаки из любви к гетману и притом желая сделать ему угодное, избрали его шестнадцатилетнего сына Юрия. Хмельницкий хотя сначала отговаривал их, указывая на его молодость, но потом согласился. Это была величайшая ошибка Хмельницкого.

В начале июля прибыли царские послы с выговором и застали гетмана до того ослабевшим, что он едва мог вставать с постели. Послы по царскому приказанию сказали ему, что он забыл страх

божий и присягу, дружась со шведами и Ракочи. Хмельницкий отвечал в таком смысле: «У нас давняя дружба со шведами, и я никогда не нарушу ее. Шведы — люди правдивые: держат свое слово; а царское величество помирился с поляками, хотел нас отдать им в руки; и теперь до нас слух доходит, что он послал свое войско на помощь полякам против нас, шведского короля и Ракочи. Мы еще не были в подданстве у царского величества, а ему служили и добра хотели. Я девять лет не допускал крымского хана разорять украинные города царские. И ныне мы не отступаем от высокой руки его как верные подданные и пойдем на царских неприятелей бусурманов, хотя бы мне в нынешней болезни дорогою и смерть приключилась — и гроб повезу с собою! Его царскому величеству во всем воля; только мне дивно то, что бояре ему ничего доброго не посоветуют: короною польскою не овладели, мира не довершили, а с другим государством, со Швециею, войну начали!»

Выслушавши новые упреки от царского посла, Хмельницкий не стал отвечать, извиняясь болезнью; а в другой день, 13 июня, Хмельницкий, призвавши к себе послов, сказал: «Пусть его царское величество непременно помирится со шведами; следует привести к концу начатое дело с ляхами. Наступим на них с двух сторон: с одной стороны войска его царского величества, с другой — войска шведского короля. Будем бить ляхов, чтобы их до конца искоренить и не дать им соединиться с посторонними государствами против нас. Хоть они и выбирали нашего государя на польское королевство, но это только на словах, а на деле того никогда не будет. Они это затеяли по лукавому умыслу для своего успокоения. Есть свидетельства, обличающие их лукавство. Я перехватил их письмо к турецкому цезарю и отправил его к царскому величеству со своим посланцем».

Тем не менее Хмельницкий по требованию царских послов выдал приказ Ждановичу оставить Ракочи; это повредило последнему: успевши уже завоевать Краков и Варшаву, Ракочи был побежден поляками и отказался от своих притязаний.

Ян-Казимир попытался еще раз сойтись с Хмельницким и отправил к нему пана Беневского.

— Что мешает вам, гетман, — говорил Хмельницкому польский посланник, — сбросить московскую протекцию? Московский царь никогда не будет польским королем. Соединитесь с нами, старыми соотечественниками, как равные с равными, вольные с вольными.

— Я одной ногой стою в могиле, — отвечал Хмельницкий, — и на закате дней не прогневолю бога нарушением обета царю московскому. Раз я поклялся ему в верности, сохраню ее до последней минуты. Если мой сын Юрий будет гетманом, никто не помешает ему заслужить военными подвигами и преданностью благосклонность его величества, но только без вреда московскому царю, потому что как мы, так и вы, избравши его публично своим государем, обязаны ему сохранять постоянную верность!»

Скоро после того скончался Хмельницкий. В письме писаря Выговского день его смерти означен 27 июля. Летопись Самовида говорит, что он умер «о Успении св. Богородицы».

23 августа тело Хмельницкого было погребено по его завещанию в Субботове, в церкви, им построенной. Церковь эта с замечательно толстыми каменными стенами существует до сих пор; но путешественник не найдет в ней могилы Хмельницкого: польский полководец Чарнецкий в 1664 году, захвативши Субботово, приказал выбросить на поругание кости человека, так упорно боровшегося против шляхетского своеволия.

Несмотря на важные промахи и ошибки Хмельницкий принадлежит к самым крупным двигателям русской истории. В многовековой борьбе Руси с Польшею он дал решительный поворот на сторону Руси и нанес аристократическому строю Польши такой удар, после которого этот строй не мог уже держаться в нравственной силе. Хмельницкий в половине XVII века наметил то освобождение русского народа от панства, которое окончательно совершилось в наше время. Этого мало: его старанием Западная и Южная Русь были уже фактически под единою властью с Восточною Русью. Не его вина, что близорукая, невежественная политика боярская не поняла его, свела преждевременно в гроб, испортила плоды его десятилетней деятельности, и на многие поколения отсрочила дело, которое совершилось бы с несравненно меньшими усилиями, если бы в Москве понимали смысл стремлений Хмельницкого и слушали его советы.

ПАВЕЛ ПОЛУБОТОК

Вопрос о родовом происхождении замечательной в истории Малороссии личности всегда представляет затруднение к ответу: демократический строй казацкого общества не допускал ни родовых отличий, ни фамильного чванства. Люди достигали высоких должностей не по преимуществам породы, а по личным заслугам и по выбору громады; простой рядовой казак при уменьи, дарованиях и счастливом сочетании обстоятельств жизни мог достигнуть чина полковника или генерального старшины. Это не значило, однако, чтобы из массы казацкого общества не выдвигались семьи и роды, так как при сословном равенстве малоруссы все-таки признавали естественное право преемничества по наследству: казак, возвышаясь посредством своих достоинств, поднимал вместе с собою свою семью и своих потомков, а богатея, — передавал им свое достояние. Таким образом, после изгнания из Малороссии прежнего ополченного высшего сословия из недр народа фактически выступали вперед роды, стремившиеся образовать в известном смысле высший класс, отличаясь по образу жизни и потребностям от уровня простого народа; но зато непрочно было их значение: они так же легко опускались,

как поднимались. Так было в XVII и в XVIII веках, до тех пор пока в Малороссию не введено было на великорусский образец дворянство; часто бывало, что после полковника в том же полку занимал полковой уряд сын его и даже внук; но если на кого-нибудь из этого рода судьба поглянет неприветливо, то уже другим из того же рода не всегда легко было получить полковничий чин.

Роды, которым в общественной жизни счастливилось, носили название значных; простые казаки, чернь, глядели на них с досадою и нередко со злобою, но путь к помещению в рядах значных не был никому еще юридически прегражден: не было между значными и чернью такого средостения, какое возможно между двумя различно-правными сословиями; значный по условиям судьбы выбывал из значных и смешивался с чернью.

В числе родов, возвысившихся над массою казачества во второй половине XVII века на левой стороне Днепра, был род Полуботков. Более в старое время судьба этого рода нам неизвестна. Прозвище Полуботок есть, конечно, насмешливая кличка; полуботок по-малорусски значит полусапожек; фамильные названия у малоруссов чаще всего возникали от насмешливой клички, данной в свое время человеку, который передавал мимо собственной воли эту кличку своим потомкам; соответственно прозвищу Полуботок мы знаем фамильные прозвища Чоботок (сапог), Черевик (башмак), Сиряк (серая суконная одежда). При Многогрешном в Черниговском полку был сотник Артемий Полуботок. Его сын Леонтий Артемьевич владел землем в Черниговском полку и был сделан при Самойловиче¹ переяславским полковником и генеральным бунчужным. Леонтий Полуботок находился в родстве с Самойловичами. Когда после падения гетмана Самойловича гетманская власть досталась Мазепе, новый гетман, по-видимому, благоволил Полуботку: по крайней мере, вслед за ссылкой гетмана Самойловича ссылка постигла бывшего переяславского полковника Дмитрашку Райчу, а Полуботка не тронули; но в 1691 году племянник сосланного в Сибирь гетмана Ивана Самойловича бывший гадяцкий полковник Михайло Самойлович, удаленный по настоянию Мазепы из Украины и проживавший в Москве, был притянут к возникшему тогда делу о чернце Соломоне. Этот Соломон был личность странная, до сих пор не объясненная историею. Он составил фальшивые письма от Мазепы к польскому королю Яну Собескому такого содержания, за которое со стороны России могло Мазепе угрожать обвинение в государственной измене. Вероятно, чернец Соломон был орудием какой-нибудь враждебной Мазепе партии в Малороссии — партии, желавшей очернить Мазепу пред верховною властью в Москве и спихнуть его с гетманства. Коварная попытка не удалась: Соломон поймался в Польше в обмане, сознался в собственной вине, был выдан московскому правительству и казнен, доставивши — вопреки тайным целям сделать зло гетману — полное торжество Мазепе; доверие к гетману укрепилось в Москве. По делу,

производившемуся в Москве об этом Соломоне, повели в застенки Михайла Самойловича, а потом сослали в Сибирь. Мазепа узнал, что сын переяславского полковника Павел Полуботок, находясь тогда в Москве, сносился с Михайлом Самойловичем, а отец его Леонтий, благоприятствуя намерениям Самойловича произвести в Малороссии возмущение, помышлял сделаться гетманом. Мазепа приказал взять под караул и отца, и сына и предал их обоих суду старшин и совета полковников. При разбирательстве этого дела оказалось, что Павел Полуботок, услышавши от Михайла Самойловича недобрые речи о Мазепе, сообщил об этом находившемуся в Москве миргородскому полковнику Апостолу², а последний известил Мазепу. Но гетман все-таки придирался к Павлу Полуботку: зачем он сам прямо не предостерег своего гетмана. Старшина в своем суде над Полуботками поступила так, как хотелось Мазепе. У них были отняты маетности. Часть этих маетностей повернули к городу Чернигову, нашедши по документам, что в старинное время они принадлежали этому городу; другие маетности обращены были в достояние войсковой казны для раздачи иным лицам. Этот страшный для Полуботков приговор приведен был в исполнение без предварительного представления его на утверждение верховным правительством; только по совершении всего Мазепа сообщил о том царям Иоанну и Петру. На место Леонтия Полуботка назначен был переяславским полковником Иван Мирович.

Семья Полуботков была, таким образом, низвержена, лишена материальных средств и должна была, по-видимому, испытать участь многих других, быстро возвышавшихся и быстро сходявших в общий уровень народной массы. Но с Полуботками случилось не так. Род этот в лице Павла скоро опять стал подниматься, и сам Мазепа помогал его возвышению. Вместо умершего черниговского полковника Лизогуба³ полковником в Черниговском полку сделан Павел Полуботок, когда именно — не знаем, но в 1708 году он уже занимал эту должность. Когда открылась измена Мазепы и Батурин, столицу его, постигло разорение от Меншикова, Петр потребовал всю малороссийскую старшину и начальствующих лиц со всех полков на раду в Глухов для выбора нового гетмана. Полуботок был одним из первых, явившихся на призыв государя. Уже тогда он был в большом уважении во всем казачестве. Избираемый сообразно царскому желанию на гетманский уряд стародубский полковник Скоропадский начал отказываться от предлагаемой чести: так следовало по старинному казацкому обычаю. Тогда казаки заявили было стремление провозгласить главою казачества Павла Полуботка. Но Петр со своей стороны уже высказал о нем мнение, показывавшее, что царь не утвердит казацкого выбора, если этот выбор падет на Полуботка. «Этот человек хитер; с него может выйти другой Мазепа». Так отозвался о Полуботке государь. Само собою разумеется, что никто, узнавши о таком отзыве государя, не решался настаивать на избрании Полуботка, и в гетманы выбран был Скоропадский.

В то время когда Мазепа передался шведскому королю и старался потянуть за собою Малороссию, Петру для спасения целости своего государства нужно было ласкать малоруссов и удержать их в повиновении Русской державе. Карл XII мог быть очень опасен Петру, если бы сумел стать твердо в те выгодные условия, которые независимо от его собственных усилий приготавлила судьба для безрассудного героя. От Малороссии теперь зависел исход всей Северной войны: за кем пойдет этот край — на сторону того будет склоняться перевес. Петр понимал, что важнее всего в те минуты, которые он переживал, было не допустить малоруссов искушаться подушениями Мазепы и обещаниями Карла XII. И вот Петр в своих манифестах напоминает всем малоруссам, что московское правительство до сих пор держало малорусский народ во льготах; царь дает обещание держать его так же и вперед, свято соблюдать те вековые права, с которыми край Малороссийский поступил под власть московских царей. Но миновали опасности, угрожавшие русскому самодержцу. Малоруссы не пошли туда, куда манил их и зазывал их старый гетман; напротив, они заявили полную враждебность к тем иноземцам, которые вступили в их отечество, выставляя себя их призванными освободителями. Полтавская победа сделала Карла надолго не опасным Петру, и Петр тотчас переменял свой тон по отношению к Малороссии.

17 июля 1709 года Скоропадский в местечке Решетилровке подал царю просительные пункты ⁴ о разных льготах для Малороссийского края и чуть не на все получил отказ. Царь не соглашался, по просьбе Скоропадского, изъять малороссийские войска во время походов от зависимости великорусских полковых воевод и генералов, не возвращал в войсковое достояние взятых у малорусских изменников орудий, не позволял возобновлять черниговских дворов, не дозволял малоруссам, вопреки домогательству Скоропадского, вести торговые сношения с запорожцами и проч. Скоропадский по поводу разорения, постигшего Малороссийский край в предшествовавшее военное время, испрашивал на несколько лет льгот казакам от служб. Царь соизволил дать им льготу только на одно лето. Гетман доносил Петру, что войсковая казна оскудела и нечем платить жалованье охочим полкам, существовавшим в Малороссии на определенном жалованье, отдельно от тех казачьих полков, на которые, как на области, была разбита страна; гетман ожидал, что царь по своей богатой милости соизволит уделить что-нибудь от своих щедрот на указанные издержки; но государь велел только доставить ему роспись собираемым в Малороссии доходам, с которых надобно было содержать состоявшие на жалованье полки. Вообще в это время новый малороссийский гетман мог уразуметь, что царь тем будет несговорчивее и упорнее, чем далее будет отходить то время, когда Малороссию нужно было ласкать для собственного спасения. Тогда, между прочим, Петр в ответе на просительные пункты малороссийского гетмана выразился,

что малорусский народ должен быть признателен за великое благодеяние, оказанное ему защитой против шведов.

После того, в течение последующих лет гетманства Скоропадского мы видим ряд мер, явно клонившихся к наложению на Малороссию одинаковой тягости, какую терпела под железной рукой Петра вся Русская держава. В 1715 году царь сделал изменение в способе поставления полковых старшин по всем полкам. До того времени выбор их совершался исключительно в своем полку, но Петр нашел, что полковники делали из этого злоупотребления: они не доводили высшему начальству до сведения о совершавшихся выборах, направляли самые выборы в видах собственного корыстолюбия и допускали выбирать лиц, на верность которым престолу трудно было положиться. Петр определил: вперед полковую старшину назначать гетману при участии великорусского чиновника, находившегося постоянно близ гетмана в качестве органа верховного правительства Русской державы в крае, пользующимся преимуществами местного самоуправления. В тот же год Петр стал посылать малороссию на работы за пределы Малороссии. Возобновляя свой давний проект о соединении Дона с Волгой, Петр приказал выслать из Малороссии несколько тысяч казаков английскому инженеру Джону Перри, заведовавшему канальным делом в Волжско-Донском крае. То были, как говорит пословица, еще только цветики: надобно было ждать ягодок.

В 1717 году Скоропадский снова просил государя о разных облегчениях для Малороссии; царь, бывший в то время за границей, долго не отвечал Скоропадскому «за дальностию походу и многих нужнейших дел», а в 1719 году дал ответ, в котором вместо ожидаемых милостивых льгот заметил, что великорусский народ несет разные тягости в податях и в людях и во всем прочем, а малороссийский народ по царской милости не знает таких тягостей. В следующем, 1720 году царь показал Малороссии, что ей готовится не льгота и не обособление от прочих частей государства, а, напротив, теснейшее соединение на основании равного с другими частями государства принятия на себя неизвестных ей до того времени тягостей. Царь потребовал двенадцать тысяч казаков на работу Ладожского канала, в край более далекий и более непривычный малоруссам по климату, чем берега Дона и нижней Волги.

В 1722 году приехал Скоропадский в Петербург, посещая его уже не в первый раз. Гетман был принят очень почетно и ласково, царь целовал его; Скоропадский удостоился даже сидеть за столом государя рядом с его высокою особою; но тогда же Скоропадского поразила иного рода неожиданная милость. Царь издал указ об основании Малороссийской коллегии: там должен был председательствовать бригадир Вельяминов, а при нем заседать шесть штаб-офицеров; все были из великоруссов. Управление Малороссию подводилось под общую систему учрежденного в 1719 году коллегиального управления по всей России, место бывшего некогда Малороссийского приказа

должна была занять Малороссийская коллегия⁵, но с тою важною разницею, что этой коллегии надлежало находиться не в столице, а в Малороссии, в городе Глухове. Она была верховным местом в Малорусском крае и выше самого гетмана; за последним оставалось право совета в этой коллегии. Малороссийская коллегия учреждалась под благовидным предлогом защищать народ от притеснений и злоупотреблений со стороны генеральной старшины, полковников и всяких других властей; она имела право производить дела по поступившим к ней жалобам, вести приходные и расходные книги и доставлять их в сенат. Без сношения с нею гетман и старшина не должны были предпринимать каких бы то ни было всенародных распоряжений и рассылать универсалов. Тяжело показалось Скоропадскому. Он попытался сделать государю представление и сослаться на права Малороссийского края, утвержденные царем Алексеем Михайловичем в силу Переяславского договора, заключенного с гетманом Богданом Хмельницким во время присоединения Малороссии,— права, подтвержденные и наследниками царя Алексея Михайловича и в числе их самим Петром. Царь дал ответ, что учреждение Малороссийской коллегии не делает нарушения пунктов, постановленных с Хмельницким, потому что и прежде дозволялось подавать апелляции воеводам великорусским.

Скоропадский не слышал о таком пункте договора, на какой указывал Петр, и во всей Малороссии не знали и не слышали, чтобы договор Переяславский давал право апелляции великорусским воеводам. Но делать было нечего. Скоропадскому оставалось молчать. Он уехал на родину, обласканный царем, но со смертельною ранюю в сердце. Он жил недолго.

Гетманский уряд остался незанятым. Надобно было избрать нового главу малороссийского казачества, но пока совершится выбор и последует утверждение от царя, казаки избрали временным наказным гетманом черниговского полковника Павла Полуботка.

Первым делом временного малорусского правительства было отправить посланцев Рубца и Быковского с челобитьем в сенат о выборе настоящего гетмана. Это было в конце 1722 года, когда Петр готовился идти в персидский поход. Полуботок обратился к императрице с просьбою о ходатайстве у императора, чтобы малороссийские права и преимущества были сохранены, а в сенат подавал прошение об отмене пошлин с меда, воска и табака.

Сенат отправил присланных к нему малоруссов в Астрахань и велел там дожидаться государя, который был в Москве, собираясь идти на Персию.

По прибытии государя в Астрахань представились ему малорусские посланцы. Петр, отпуская их, письменно благодарил Полуботка и старшину за их верную службу и обещал устроить по их желанию выбор нового гетмана после своего возвращения из похода. Между тем Петр приказал нарядить пятнадцать тысяч малороссиян на

работы в Ладугу, а десять тысяч в крепость Св. Креста. Вместо ожидаемой Полуботком и старшинами льготы от налогов царь издал новый именной указ о налогах на пчельники и табачное производство в Малороссии. Вслед за тем в начале 1723 года Петр дал указ сенату объявить малороссийским казакам, что по их желанию будут к ним в полки определяться полковники из великоруссов, как уже был тому пример при Скоропадском; зять этого гетмана, Толстой, получил полковничий уряд в Нежине. Благовидный предлог расширить эту меру подал Стародубский полк, в котором казаки изъявили неудовольствие против своего полковника Журавки и просили им прислать другого полковника. Царь назначил к ним в полковники великорусса Кокошкина и показал вид, что смотрит на такое заявление Стародубского полка как на свидетельство того, что все малоруссы желают иметь полковников, назначенных им из великоруссов.

По окончании персидского похода воротившись в Петербург, государь застал новое посольство из Малороссии с повторением просьбы о выборе нового гетмана согласно данному царем обещанию.

В челобитной, обращенной к царю, говорилось так: «Повелитель неба и земли Христос Господь в нынешнем с небес пришествии своем хотящ победити враги В. И. В-ву⁶, всея России повелителю, победу на иноплеменники даровал и с оною торжественно в великий град Москву возвратится удостоил, того убо Христа в мир для победы и В. В-ва в царствующий град с победой пришествия мы, с рабской должности нашей, вам, великому государю В. И. В-ву, в начале сего года всеподданнейше виншуючи *, верно желаем, дабы оной победотворец Христос и в предбудущие многочислимые годы и лета дражайшее В. И. В-ва здоровье на ограждение и победу супротивных силою благодти своея цело, состоятельно и крепко сохранил, величие и славу имени вашему великому во всех ближних и далечайших странах иноплеменнических умножая составил. Мы обнадежены высокою В. И. В-ва милостию, выраженною в премощнейшей грамоте, с правительствующего сената принесенной через наших в низовой поход посыланных с найпокорнейшим прошением о избрании по давном обыкновении вольными голосами нового гетмана, на место умершего господина Скоропадского, что тое нового гетмана избрание, заблагочасным В. В-ва с оного походу возвращением сбудется; ныне за тую премногую В. В-ва милость достодолжное наше обсылаем благодарствие и о исполнении той же высокомонаршей милости В. И. пресв. В-ву с дозволенным нашим челобитствием раболепное приносим прошение, при чем скипетродержавную В. В-ва монаршую духом лобызаем десницу». Подписали челобитную Полуботок, Савич и Бунаковский.

Вместе с тем Полуботок послал письмо кабинет-секретарю Макарову и просил его ходатайства «о неотлагательном исполнении

* Поздравляя.

высокомонаршей милостивой декларации в общенародном всей Малой России интересе, понеже нам и всей Малой России без гетмана, яко без совершенного малороссийского правителя, обходиться трудно и неудобно».

На просьбу о выборе гетмана Петр дал такой ответ: «Всем ведомо, что с Богдана Хмельницкого до Скоропадского все гетманы явились изменниками, от чего много потерпело государство Русское, особенно Малороссия, и потому надобно приискать в гетманы верного и надежного человека, а пока такой найдется, определено правительство, которому надлежит повиноваться и не докучать насчет гетманского выбора».

Это малороссийское правительство, на которое указывал Петр, была Малороссийская коллегия, до крайности ненавистная для малорусских начальных людей. Между нею и генеральною старшиною произошло тогда жестокое столкновение. Старшина толковала, что коллегия должна была производить только дела по апелляциям, поданным на приговор генерального суда; старшина находила несправедливым, что коллегия разбирает всякие дела, даже не бывшие в генеральном суде, и берет на себя право делать распоряжения мимо туземной власти. Главное, что произошло тогда между коллегиею и старшиною, было то обстоятельство, что коллегия по приказу государя оповестила универсалом по всей Малороссии, чтобы все, которые имеют какое-нибудь неудовольствие против старшин и какого бы то ни было начальства в Малороссии, подавали жалобы в коллегия, установленную государем с той целью, дабы защищать бедных против богатых и вообще простой народ против малороссийских властей. Малорусские старшины увидели в этом тайное желание поднять против них подчиненных и таким путем привести к переменам, по их взгляду, нарушающим права и привилегии Малорусского края. Они поняли, что стоит объявить, чтобы недовольные шли жаловаться,— за недовольными дело не станет, хотя бы со стороны тех, на кого подаются жалобы, не было вовсе никаких злоупотреблений; в особенности старшины, знавшие свой край и дух своего народа, ожидали, что объявлением коллегии воспользуются крестьяне, чтобы заволноваться против землевладельцев, своих помещиков, потому что со времен восстания против польских панов при Хмельницком крестьяне составляли в Малороссии горючий материал, готовый вспыхнуть от малейшего возбуждения. Чего старшины ждали, то и случилось. На Полуботка появились от разных лиц жалобы. Во многих местах крестьяне забунтовали, не хотели слушаться своих помещиков; одного из последних, Данилу Забелу, драли за волосы и чуть не убили; другой, Андрей Лизогуб, жаловался старшине, что в селе его Погребах крестьяне исколотили до полусмерти старосту. Тогда Полуботок вместе со старшиною выдал универсал, предписывавший посполитым людям, живущим на помещичьих землях, оказывать своим помещикам законное послушание под страхом наказания.

По этому поводу между членами коллегии и старшинами произошли сцены ссор и несогласия. Бригадир Вельяминов говорил, что малорусское правительство не смеет без ведома коллегии посылать универсалов и, вдобавок, противных по своему смыслу распоряжениям коллегии. Полуботок ссылался на свой сан наказного гетмана, который признал за ним сам царь. Вельяминов на это сказал ему:

— Я бригадир и президент, а ты что такое передо мною? Ничто! Вот я вас согну так, что и другие треснут. Государь указал переменить ваши давнины и поступать с вами по-новому!

Полуботок заметил непристойность его выходок при чтении указа.

— Я вам указ! — закричал Вельяминов.

Полуботок отправил государю жалобу на Вельяминова и всю коллегию и привел в своем прошении государю статью договора, заключенного с Богданом Хмельницким московскими боярами во время присоединения Малороссии к России; Полуботок указывал, что московский царь Алексей Михайлович тогда утвердил старый порядок судопроизводства в новоприсоединенной стране: ни воеводы, ни стольники не должны были вступаться в войсковые суды, и все товариство судимо было своею генеральною старшиною; где три казака, — там двое третьего должны были судить. Полуботок смело припомнил Петру, что преемники Алексея Михайловича подтверждали этот договор, и сам Петр подтвердил его при избрании гетмана Скоропадского.

Но со своей стороны коллегия жаловалась государю, что наказной гетман и старшины посылают самовольно универсалы, противодействуя коллегии, поступающей по царскому указу; и вместе с тем Вельяминов прислал жалобы, возникшие от разных лиц на Полуботка и старшину. Государь приказал призвать к себе в Петербург Полуботка, генерального судью Ивана Чарныша и генерального писаря Семена Савича.

Позванные к ответу малоруссы явились в Петербург 3 августа 1723 года и поместились в доме Бутурлина (князя-папы). Сначала их приняли ласково и милостиво; августа 6-го они представлялись государю на острове Котлин, потом несколько времени оставались без спросов, посещая разных вельмож; везде их принимали радушно и приветливо.

В сентябре начался над ними допрос в Тайной канцелярии, сохранившийся в делах государственного архива. Прежде всего и более всего налегали на универсалы о повиновении крестьян помещикам, разосланные без ведома коллегии. Полуботок и Чарныш объясняли, что это сделано ради того, чтобы в посольстве не учинилось опасного смятения. «Вельяминов, — говорили они, — разослал своих офицеров внушать посольству, чтобы оно не боялось ни своих владельцев, ни старшин, а мы знаем, что наше посольство всегда готово подняться на панов, и потому, чтобы не допустить до большого

мятежа, мы разослали универсалы, иначе с нас бы самих взыскивалось, если бы вышло общее волнение». Савич уклонился от всякого объяснения, отговариваясь, что был болен в то время, когда посылались универсалы.

— Вы,— спрашивали малоруссов,— посылали в Кролевец казака Уманца предлагать казакам для выбора в сотники подозрительных людей: Семена Григоровича и Захара Колесниченка; первый был зять изменника Кожуровского, а второй — шурин прилуцкого полковника Горленка, приставшего к Мазепе, между тем как нежинский полковник Толстой, зять покойного Скоропадского, писал вам, что по приговору и желанию кролевцевких казаков и поспольства надобно было оставить прежнего сотника Головаревского, верного слугу государя, на занимаемом им месте. Вы же не учинили по его письму и велели выбирать нового из подозрительных людей, а Григорович со своими товарищами бил и сажал в тюрьму казаков.

Полуботок отвечал:

— Мы предлагали на выбор трех персон: Григоровича, Агиенка и Колесниченка, и посылали узнать, какое будет согласие кролевцевких казаков; мы сделали так потому, что казаки из Кролевца приезжали к нам и требовали для выбора наметить нескольких лиц, а не одну персону; старшины никого не назначили, а предоставили выбор казакам. Нежинский полковник Толстой писал нам об определении Головаревского, но мы не сделали этого по одному письму Толстого, а прежде послали казака Уманца проведать: точно ли хотят его кролевцевкие казаки и за кем окажется более голосов? На Головаревского были челобитчики: и мещане, и казаки, а кто именно, того не припомню; его винили, что он разоряет и отнимает грунты у некоторых лиц; так делал он, когда был сотником. По этой-то причине мы и не определили Головаревского. О том, чтобы Григорович кого-нибудь бил или сажал в тюрьму, я ничего не знаю.

Спрошенный по этому пункту, Савич прибавил, что еще гетман Скоропадский отставил Головаревского от должности сотника за нанесенные людям обиды. Чарныш отозвался полным неведением по делу о выборе сотника в Кролевце.

Тайная канцелярия задала потом следующий вопрос:

— Бригадир Вельяминов писал, что вы без указа коллегии раздавали в работу деревни, приписанные прежде к ратуше. Кому раздавали вы деревни и какие именно?

Савич и Чарныш отозвались незнанием. Один Полуботок дал на этот вопрос такой ответ:

— Мы отдали одну деревню в тридцать или сорок дворов новгород-северскому сотнику Голезному, потому что этот сотник по сенатскому указу был переведен из Полтавского полка в Новгород-Северский, а прежнего сотника деревня была уже отписана к гетманским маестностям. Потом мы отдали небольшую деревню бунчуковому товарищу Кушневскому ради отъезда его в Петербург, как прежде

делалось у нас в подобных случаях; когда же бригадир сказал, что не следует давать деревню Кушневскому, тогда мы снова отобрали ее и приписали к рагуше. Наконец, дана была небольшая деревня канцеляристу Хоменку в Стародубском полку, в Баклановской сотне, потому что этому канцеляристу дано было обещание еще гетманом Скоропадским по тому поводу, что Хоменко перешел на его сторону из-за Днепра и там покинул бывшую за ним деревню. Более этих трех деревень мы никому не давали.

Был затем сделан малоруссам такой вопрос:

— В Малороссийской коллегии определено иметь счетчика и комиссара для приема денежной казны. В 1722 году велено было выбрать счетчика из гарнизонных солдат, но на указ об этом получено донесение, что счетчик и комиссар уже выбраны и не из гарнизонных солдат, потому что из гарнизонных солдат выбрать некого: они все бедны. Зачем оставили счетчиков и комиссара, не дождавшись указа?

Полуботок и Савич объявили, что это неправда, а Чарныш добавил, что бригадир Вельяминов писал ложно, будто гарнизонные солдаты бедны и выбрать из них некого, тогда как многие из гарнизонных солдат имеют лавки и занимаются торгами.

Далее от Тайной канцелярии был предложен следующий вопрос:

— Прошлый год в малороссийские полки были определены сборщики, которым велено собрать денег, хлеба и меда, и этих денег не следовало употреблять никуда без указа, а полковники Полуботок, Танский, Апостол и Милорадович отобрали у сборщиков 2264 рубля и хлеба 628 четвертей.

Полуботок отвечал:

— Без указа ничего не брали, но по силе сенатского указа, которым велено было полковникам довольствоваться теми сборами, какие получались прежде, в Черниговском полку собрано не коллежскими, а полковыми сборщиками всего 70 или 80 рублей. Савич заметил, что из коллегии прислан был к старшине указ об одном меде, взятом миргородским полковником Апостолом, а о хлебе и деньгах не было никакой переписки, кроме только о хлебе, собираемом в раздачу коллежским служителям.

Представили допрошаемым такое донесение Малороссийской коллегии:

— Был послан в Стародубский полк, в маестности полковничьего уряда Пекалицкий для сбора доходов на полковничий ранг. Из коллегии ему послан был указ, чтобы он явился с деньгами в коллегию, а он не явился, и когда потом был сыскан, то сказал, что старшина не велела отдавать этих денег в коллегию. Что это значит (спрашивала Тайная канцелярия), сколько было денег и куда их израсходовали?

Полуботок на это сказал:

— В виду у нас имелся указ сената хранить собранные деньги там, где они были собраны, и потому мы, старшина, определили не

отдавать собранных Пекалицким денег, а приказали положить их в Стародубе за неимением полковника при полковой старшине, чтобы, когда будет в Стародубском полку новый полковник и потребует этих денег, они были налицо, потому что такие расходуются на покупку лошадей и на другие нужды полка. Денег было налицо рублей сто с небольшим; а чтобы бригадир Вельяминов требовал этих денег и приказывал Пекалицкому явиться в коллегия и мы будто не велели Пекалицкому являться и доставлять в коллегия денег — того мы не знаем и от нас такого приказа не было.

И Савич, и Чарныш показали то же, что и Полуботок.

Тайная канцелярия сделала такой спрос:

— Когда у вас бывают между собою советы о важных делах, вам велено давать знать бригадиру Вельяминову, и последний должен находиться при таких ваших советах; вы должны были сообщать ему сентенции и копии универсалов; вы же о своих советах ему не объявляли, а присылали копии с универсалов и известия о всяких делах уже в то время, когда дело окончится и состоится решение.

Полуботок дал такой ответ:

— О важных делах мы письменно не держали совета с Вельяминовым и знать ему на письме не давали, потому что такие важные дела не часто случаются. Сочиняя универсалы и подписывая их, мы посылаем их в коллегия и до просмотра коллегии их не публикуем; иногда же о нужнейших делах имеем разговор с бригадиром Вельяминовым. Копии с универсалов сообщаем в коллегия, а сентенций не посылаем, потому что у нас не было такого обыкновения, чтобы подписывать и крепить по листам приговоры всем старшинам. Не важные же дела мы решаем сами собою и по решению доносим коллегии. Всем этим мы не чинили коллегии противности и не нарушали надлежащего ей послушания.

То же сказал Савич, а Чарныш отговорился незнанием по причине болезни, постигшей его.

Спрашивали:

— Для чего вы, не объявля Вельяминову, устроили у себя кроме генерального суда еще какой-то свой суд и какие дела производились в этом суде? Были ли такие суды при прежних гетманах и если не было, то для чего вы их выдумали без указа?

— Мы, — сказал Полуботок, — учинили в Глухове суд с совета старшин и сказывали о том ранее бригадиру Вельяминову, что наш генеральный судья заболел, а челобитчиков много и дел накопилось довольно. Бригадир не сказал нам, чтобы не быть такому суду, а, напротив, сказал «хорошо». Суд этот вовсе не был иной кроме генерального, он был учрежден временно вместо генерального; и при прежних гетманах делалось так, что если генеральный судья отлучится или заболит, то по гетманскому приказу выбирались временные судьи из полковых старшин или из других лиц, кто прилучится, по четыре человека для судопроизводства. Из такого суда мы отсылали

дела в коллегию, а в коллегии, продержав дело месяца три, отсылали его снова в наш суд для решения.

То же показали Савич и Чарныш.

Был затем сделан вопрос о глуховском сотнике Мануйлове. Бригадир Вельяминов не велел его высылать в низовой поход, но объявление Вельяминова не было принято во внимание старшинами: Мануйлов был выслан.

— За какую вину,— спрашивали в Тайной канцелярии,— держали вы на пушке племянника этого Мануйлова, Оболонского, бывшего у нас канцеляристом?

— Мануйлова выслали не мы,— отвечал Полуботок,— а нежинский полковник Толстой, и бригадир Вельяминов не говорил нам, чтобы его не высылать. Оболонский же был наказан за то, что когда Вельяминов сверх определенных для него маетностей требовал с нас еще 300 четвертей хлеба, а у нас хлеба в сборе не было, то мы приказали Оболонскому написать донесение в сенат, а Оболонский потерял черновой отпуск: за это по нашему давнему обыкновению мы подвергли его штрафу, и Вельяминов за то на нас озлобился.

То же показали Савич и Чарныш.

Все это до сих пор были обвинения в злоупотреблениях по общей текущей администрации. Начались потом допросы по жалобам разных лиц на Полуботка и старшину.

— Стародубский мещанин Федор Сухота искал на стародубском войте Спиридоне Ширяе издержек в проестях и волокитах по посланным из Иностранной коллегии грамотам. Иск простирался до 809 рублей.

— Помню,— сказал Полуботок,— что была прислана из Иностранной коллегии грамота о взыскании 809 рублей по челобитию Сухоты; эти деньги остались невзысканными за челобитием ответчика, доказавшего, что истец ищет за него напрасно, и потом дело взято было на решение в Малороссийскую коллегия.

Чарныш сказал:

— Иное дело генеральным судом решено, написана сентенция еще при Скоропадском и послана была в Иностранную коллегия.

— Казак Никифор Ломака жаловался, что отец его бил челом на Пилатовича о затоплении мельницы; был дан декрет обвинительный на Пилатовича, но не приведен в исполнение.

Полуботок заявил, что не знает этого дела.

Ему сказали: «Пилатович обвинен был при гетмане Скоропадском и выдан по гетманскому приказу, против него обвинительный декрет, но генеральный суд, взявши взятку с Пилатовича, обвинил Ломаку и отдал остальные его мельницы Пилатовичу». По этому делу Чарныш сказал:

— Пилатович бил челом напрасно, будто посланные по челобитию Ломаки розыщики вели розыск неправильно; потом посланы были вновь розыщики, и по вторичному розыску явился виноват Ломака;

тогда прежние розышки были наказаны гетманом и остальные мельницы были отданы Пилатовичу. Взятки с Пилатовича не брали; правда, он положил пред судом деньги, но эти деньги были ему возвращены.

— Но по челобитию Ломаки, — возразили малоруссам в Тайной канцелярии, — дело было требовано в Москву и не прислано. Отчего вы его не прислали?

— Я за болезнию не присутствовал на суде, — сказал Чарныш, — а потом, когда старшина сообщила мне, что это дело требуют в коллегию, я передал его в войсковую канцелярию для отсылки в коллегию.

Савич объяснил, что он не занимался этим делом, собираясь ехать в Петербург.

— Города Любеча церкви Рождества Богородицы поп Гаврило жаловался, что Полуботок сделал нападение на церковную землю и другие маестности и овладел ими насильно, не обращая внимания на крепостные акты.

Полуботок против этого обвинения дал такой ответ:

— Я не отнимал насильно имущества и земель церковных, а, быть может, поступил так мой приказчик Семен Калмыков; думаю так потому, что тот поп бил челом в коллегии на него и приказчик после его челобития взят в коллегию, а от меня не давалось приказания обижать этого попа, и сам поп на приказчика мне не жаловался. Впрочем, приказчик взят в коллегию по донесению любецкого сотника Савченка, а не по донесению попа. Бригадир объявлял мне о челобитной попа, и я хотел послать для розыска, но не послал, потому что сам я поехал в Петербург, а приказчика из коллегии до сих пор не освободили. Я приказывал приказчику, чтобы он не чинил обиды попу.

Полуботку представили вопросы о разных обидных поступках, учиненных этому попу Гавриле, а именно:

«Овладел десятью крестьянскими дворами и садом; приказал взять с попова двора двадцать три воза сена; велел выбрать два улья пчел в бортях; на Днепре велел вырубить яз; через принадлежащие попу сады и огороды проложил дорогу к своему двору; отнял в семи рублях огород; взял у попова крестьянина избу с сеньми и положил за нее своевольно восемь рублей; взял за долг у попа крестьянина; овладел церковною землею с санными полосами; отнял положенную церковникам в пропитание дань с двух островов по пяти рублей и по два пуда меда; отнял четырех крестьян, с которых шло оброка по шести рублей и овса по шести четвертей; поставил на купленной земле корчму» и проч.

На все эти вопросы Полуботок отвечал отрицанием.

На этом обрывается в деле, хранящемся в государственном архиве, допрос, сделанный Тайной канцелярией Полуботку с товарищами. Затем там читаем мы роспись колодникам, которых император приказал отвезти в Гварнизон (Петропавловскую крепость) лейб-

гвардии Преображенского полка адъютанту Артемию Максимовичу. Это совершилось 10 ноября 1723 года в 9 часов пополудни. Поименованные колодники были: Черниговского полка полковник Павел Полуботок, генеральный судья Иван Чарныш, генеральный писарь Семен Савич, сыновья генерального судьи Иван и Петр Чарныши, Черниговского полка полковой писарь Иван Янушкевич, того же полка казак Иван Рыкша, Стародубского полка войсковой товарищ Степан Косович, Гадяцкого полка судья Григорий Грабянка, канцелярист генеральной канцелярии Николай Ханенко, Переяславского полка есаул и наказной полковник Иван Данилович, Стародубского полка наказной полковник Петр Корецкий, бунчуковый товарищ Дмитро Володковский, войсковой товарищ Василий Быковский, канцелярист генеральной канцелярии Иван Романович. На дворе бывшего князь-папы Бутурлина остались: священник Василий Петров и одиннадцать служителей Полуботка, из которых один был бандурист, а другой — кухмистер-поляк, шесть служителей Чарныша, семь — Савича и несколько служителей других арестованных.

Причина арестования Полуботка и его товарищей не вполне разъяснена историею. В Малороссии сохранилось предание, что Полуботок раздражил царя смелую речь, которую произнес на улице при выходе государя из Троицкой церкви. Бантыш-Каменский в своей «Истории Малой России» сообщает, что у малороссийского старожилы Тарновского был список этой речи, но он кому-то отдал его *. В «Истории руссов», несправедливо приписываемой архиепископу Конисскому, приводится длинная речь, будто бы говоренная Петру Полуботком, но склад этой речи сразу обличает подделку, как и вообще все приводимые в этой истории речи. Правдоподобнее приводится речь Полуботка, произнесенная в это время Петру, в сочинении Шерера «Annales de la Petite Russie»:

«Знаю и вижу, государь, что вы хотите погубить мою родину без всякой причины, единственно по злобным наветам гордого Меншикова; вы считаете себя выше всех законов и хотите уничтожить все привилегии, утвержденные торжественно вашими предшественниками и вашим величеством; вы хотите подчинить произволу народ, которого свободу вы сами признали; вы не затрудняетесь послать его на тяжелые и унижительные работы, принуждаете казаков, как рабов, копать каналы в ваших владениях, а что всего для нас оскорбительнее — лишаете нас драгоценнейшего нашего права избирать вольными голосами гетманов и прочих начальников; вместо того, чтобы оставить судьям из нашего народа власть судить своих соотече-

* Отрывок из этой речи напечатан под портретом Полуботка в первом издании «Истории Малой России» Бантыш-Каменского: «вступаючися за отчизну, я не боюсь ни кандалов, ни тюрьмы, и для меня лучше найгоршою смертию умерти, як дивитися на повшехну гибель моих земляков...» Такой портрет с тою же надписью, писанный масляными красками и от старости потемневший, видел я у одного казака в мест. Монастырище Нежинского уезда.

ственников, вы поставили нам судьями великоруссов, которые не знают или прикидываются незнающими наших прав и привилегий и не перестают всякими способами нас насиловать и оскорблять. Неужели, отказывая нам в правосудии, ваше величество думаете принести Богу благодарность за все успехи, которые он вам соизволил послать? Вы ослеплены величием и могуществом, которые дали вам щедроты божеские, а не думаете о божеском правосудии. Позвольте, ваше величество, объявить вам в последний раз, что вы не получите никакой пользы от разорения целого народа: гораздо менее вам славы властвовать силою и казнями над низкими рабами, чем быть главою и отцом такого народа, который за все ваши благодеяния всегда готов всем жертвовать и проливать кровь ради вашей пользы и славы. Знаю, что меня ожидают оковы, что меня посадят в мрачную тюрьму на голодную смерть по московскому обычаю, но мне все равно: я говорю за свою родину и добровольно предпочитаю самую мучительную смерть ужасному зрелищу окончательного разорения моего края. Подумайте, великий государь, и будьте уверены, что вы отдадите некогда отчет господу всех господствующих за несправедливости, которые вы учиняете народу, принятому вами под ваше покровительство».

Соображая тогдашние обстоятельства, едва ли можно признать сообщаемую в книге Шерера речь действительно сказанною Полуботком. Мы знаем вспльчивый, раздражительный и вместе крутой нрав Петра. Возможно ли допустить, чтобы он спокойно в продолжение нескольких минут стоя на улице, слушал это укорительное красноречие малороссийского наказного гетмана? Мы уверены, что этой речи Полуботок не говорил, но она тем не менее имеет для нас значение как отголосок происшедшей с Полуботком катастрофы и проявление сочувствия к Полуботку у малоруссов его времени, потому что речь эта, по всем соображениям, сочинена и приписана Полуботку в Малороссии. В бумагах государственного архива мы не нашли ни малейшего намека на какую бы то ни было речь, произнесенную Полуботком государю; но из тех же бумаг мы узнаем, что в то время, когда Полуботок с товарищами находился в Петербурге и еще не был подвергнут в Тайной канцелярии допросу, который мы привели выше, над ним начиналось тайно другое дело — по обвинению в государственной измене. Дело это возникло августа 31-го 1723 года по донесению псковского епископа Феофана Прокоповича, сообщившего письмо к нему Иродиана, епископа черниговского, о черниговском полковнике Полуботке, где показано было, что Полуботок имел сношения с изменником Орликом, бывшим писарем Мазепы, возведенным по смерти последнего от шведского короля Карла XII в сан малороссийского гетмана и приходившим с татарскою ордою в пределы Малороссии. Иродиан препроводил присланное к нему письмо Нила, архимандрита елецкого, 12 декабря 1722 года следующего содержания:

«Превелебный отец Самборович с архимандритии елецкой отдален отъезжаючи в Киев, ездил жегнати * своих благодетелей черниговских и в небытности мости-пана полковника черниговского был у самой паньи полковниковой в доме; оттуда повернувши, был у меня, Нила архимандрита, только в той обители новоизбранного, где хвалячися ласкою еи милости паньи полковниковой, что его довольно з дому своего путешествовала, и тое предлагал якобы ему, отцу Самборовичу, презентовала лист своего пана, в котором его милость, пан полковник, пишучи з Глухова, хвалился ласкою князя светлейшего: повелел ему, пану полковнику, в нуждах своих списываться, обещаючися во всем пособствовать; также поведал, якобы чул з уст паньи полковниковой, что пана миргородского полковника мощно ранено на баталии, и также полковника Танского рассечено и пана Галагана разрублено, а сын пана полковника миргородского гдесь поделся — неизвестно; также похвалял ростропность его милости пана полковника черниговского, который, чуючи Орлика с 30.000 кочующого за Васильковым в степи, не писал к нему, токмо изустным выговором посылал казаков уведомляючися, для чего бы Орлик зближился з ордою под Киев, на что якобы то отвечивал Орлик: «того ради я здесь кочую з ордою, бо в наших сторонах многолюдно, а поветрие тяжкое, абым я ся не заразил». Я как в ту пору казал отцу Самборовичу, что то байка щирая, а не-правда, так и теперь принужден повелением преосвященного моего пастыря его милости господина Иродиана Жураковского мусилем ** дати на письме подлинные его отца Самборовича слова».

Уже до приезда Полуботка в Петербург по этому поводу возникла переписка между Полуботком и Самборовичем, переведенным тогда из Чернигова в Киев в сане игумена Кирилловского монастыря. Полуботок от 29 мая 1723 года писал Самборовичу такое письмо:

«Донеслося мне ведомо из Чернигова о некоторых плетках ***, что якобы оныя произошли на контемпт **** и на некуюсь шкодливость моей особы от вас, мости-пана, чего весьма не сподевалемся ***** , которые отец Нил, от вашей мости-пана чуючи, донесл преосвященному его милости епископу черниговскому, яко же, по требованию его преосвященства, о тых за рукою своею дал его пастырской милости сказку, которой копию в объявление через сего листа подавцу до вашей милости пана посылаючи, вельце ***** прошу на всякой пункт мне в самой скорости учините ответ: есть ли тые плетки от вашей милости-пана вышли, чили не ***** , абым я мог ведати на ким при невинности моей моего бесчестия и обругательства доходити *****; при том всегдашним мя вашей милости полекаю ***** молитвам».

В ответ на это письмо кирилловский игумен 4 июня 1723 года писал черниговскому полковнику:

* Прощаться. ** Должен был. *** Сплетнях. **** Для унижения. ***** Не надеялся. ***** Очень. ***** Или нет. ***** Искать. ***** Поручаю.

«Презентовано мне сказку превелебного отца Нила, теперешнего архимандриты елецкого, который написал якобы по приезде моем в Чернигов, будучи мне в доме вашем панском давано читати лист, писанный от вашей мости-пана. Там листа мне не презентовано, только цидулку, чинячи мне сожаление, а потешаючи веселою вестью о милостивом монаршем призрении на Малую Россию, то есть повелено всякому началу и гражданству владети добрами и доходами належными по-прежнему, наконец в той цидуле доложено, что князь светлейший много ходатайствовал до императорского величества в том деле нашим посланным и впредь обещался. Напущением з дому вашего панского от ее милости паньи полковниковой мне учиненным не хваливался я того дня пред отцом Нилом, бо аж на утренний день мне прислано по милости своей, что была благодетельская ласка ко изгнанному, и боя мя нагло * отец Нил выправил ** з Елецкого в Киев хотя накрепко складалемся писанием *** преосвященного архипастыря тутейшего киевского персвадующим, чтобы я не рушался з месца. О тому полковнику миргородском, о пану Галагану и о пану Танском, жадного **** в дому вашей милости не было разговору, боледво с полквадранса там бавилисьмыся на пожегнанию *****. Тое добре памятую, что еще выездячемо мне на устречу к архиерею теперешнему черниговскому в Новгородок, сказали мне за монастырем Елецким на дворце пришедший з города иеромонах Фаддей Какойлович и диакон Андрей Дембицкий, будто слышали они, что под шопою ***** там у Чернигову читано письмо яко бы пана миргородского постреляно, Галагана и Чесника рассечено и пана Танского порубано, не ведать чи живы будут; тую весть на ночлезе у вечеру за Сновом на лузе объявил был я его милости отце архимандриту Свято-троицкому, в то время сопутнику моему, а больше никому, бо не подлинно было чи так, или нет. О Орлику и о орде за Васильковым ани в дому вашей мости, ани в Чернигове я и не слыхал и не розмовлял о нем с отцом Нилом, о посылке вашей милости к нему не ведаю и жадного словесного вашей мости пану не чинилем аплязузю ***** , разве могл он слышати от людей посполитых, а не от мене, бо и о мне тут пронеслось было яко бы я давно уже поехал до святейшого синода, и минувши Чернигов ктось мене видел в Седневе и в Новгородку, а я здесь недвижим пребываю, имеючи место пристойное. Пронеслася было зимою тут тревога, будто орда в степи за Васильковым, или уже по сем боку Василькова, а от кого — в то время не ведал я, аж теперь спросился отца наместника святософийского, отца писаря, отца инстигатора консистории, и они поведали, что некийсь мужик прибег до Рославич, села митрополитанского, сказал о той тревоге попу, поп з городничим тамошним ударили в колокол на гвалт, людей потревожили и по околичных селах; однако за тое и поп и городничий

* Внезапно. ** Выпроваживал. *** Усиленно ссылался на письмо.
**** Никакого. ***** Ибо едва полчетверти часа мы провели на прощании.
***** Под навесом. ***** Не одобрял.

-приняли в цепи наказание, а мужик в крепости печерской имел наказание, а понеже отец Нил по повелению на мене неправдивую дал сказку, то мусил писати и тое, чего от мене не слышал: може он по нелюбови ко мне сие творит, хотя я ни в чем его милости не перешкожую *, или хотел крайнего моего благодетеля, вашу панскую милость, подвинути на меня старца до уразы **, до ненависти, что кольвек *** делает, Бог ему да простит, а я всегда в надлежащей чести доброе имя и славу так самого вашей мостипана, яко и всего богодарственного домовства пестуючи и заховаючи всегдашние молитвы и готовность услуг доживотных **** при нижайшем поклонении залецаю *****. Вельми ваш во всем зычливый ***** богомолец и слуга нижайший Евстратий Самборович, архимандрит елецкий, игумен общества Святотроицкого Кирилловского киевский рукою власною».

По этим полученным известиям Тайная канцелярия отправила в Киев к тамошнему генерал-губернатору князю Трубецкому указ произвести розыск о сношениях Полуботка с Орликом. Указ этот отправлен был с нарочным, лейб-гвардии сержантом Мордвиновым, которому велено было самому находиться при следствии и, окончивши следствие, отослать все дело для окончательного решения в вышний суд. Но князь Трубецкой, начавши производить розыск, встретил затруднение и доносил, что никак не может довести дело до конца, потому что люди, которых он привлекал к допросу, боясь Полуботка или потакая ему, не говорили правды. Дело в том, что в Петербурге находившиеся малоруссы проведали собирающуюся над ними грозу: сенатские подъячие сообщили им секретное дело, производившееся об них, и Полуботок написал в Малороссию наставление, как следует поступать и отвечать, когда будут делать розыск. Это сделалось известным государю, и, по-видимому, это обстоятельство и было поводом внезапного ареста, наложенного на малороссиян в Петербурге. У Соловьева, кроме тех бумаг, которые были в наших руках из государственного архива, были еще документы московского Архива иностранных дел, из которых оказывается, что 10 ноября, в день, когда арестовали Полуботка с другими малоруссами, Петру при выходе из церкви св. Троицы приехавший из Малороссии канцелярист Иван Романович подал две челобитные; государь распечатал их в доме, называемом «Четыре фрегата», и нашел в этих челобитных «неосновательные и противные прошения». Из указа, последовавшего уже после кончины Петра (П. С. З., ст. 4651), видно, что в одной из этих челобитных, написанной старшинами, оставшимися в Малороссии, они просили государя, будто бы по желанию всего малороссийского народа, уничтожить Малороссийскую коллегию и устроить вместо нее генеральный суд из семи особ. По поводу этой челобитной Петр приказал арестовать Полуботка и всех его товарищей и захва-

* Не препятствую. ** К оскорблению. *** Что-нибудь. **** Пожизненных. ***** Поручаю. ***** Доброжелательный.

тить все их бумаги; в этих бумагах найдена «промемория» отправлявшемуся в Малороссию посланцу с наставлением, какие ответы следует давать, когда будут делать вопросы, и вместе с тем научать жаловаться на притеснения со стороны Малороссийской коллегии. Петр ясно узнал, что малоруссы провели секретное дело, производившееся о них, и 16 января 1724 года дал такой указ сенату, что «секретные дела вынесены от подъячих черкасам... того ради, получасие, учините, по примеру Иностранной коллегии, чтобы секретные дела были особливо у надежных людей, чтобы впредь такого скаредства не учинилось».

Как бы то ни было, но еще в декабре 1723 года отправлен был в Малороссию Румянцев, доверенный человек Петра, сослуживший ему важную службу вместе с Толстым по делу о вызове царевича Алексея из-за границы. Государь дал ему инструкцию поверить и докончить розыск, начатый и неконченный князем Трубецким. Румянцев должен был собрать всех тех людей, которые были в прежнем розыске, обнадежить их, что им не будет ничего дурного, убедить их, чтобы они безо всякой опасности объявили о преступлениях Полуботка и всей старшины, и, снявши с них допрос, отправить их в Петербург не под арестом, но с офицером. Вместе с тем Румянцеву предписывалось собирать в городах казаков, убедить их в том, что им будет лучше, когда вместо прежних полковников будут им назначены новые полковники из великороссиян, и узнать, что казаки вовсе не участвовали в составлении челобитной об избрании гетмана, а что такую челобитную выдумала старшина от имени всего казачества, без желания подчиненных.

Румянцев в январе 1724 года доносил из Чернигова, что, приехавши в Стародуб, он собрал на сход полковую старшину, сотников и по несколько десятков казаков от каждой сотни, а также и членов магистрата. Он спрашивал их: знают ли они о челобитной, поданной генеральной старшиною об избрании гетмана, и с их ли желания генеральная старшина составила эту челобитную? Иные сказали, что знают; другие — что не знают подлинно. Но, по замечанию Румянцева, они говорили так, что верить им нельзя: сразу видно, что их научали другие. Румянцев спросил: довольны ли они определенным в их полк полковником Кокоскиным? Казаки сообразили, какого ответа хочется тем, которые задавали им такой вопрос, и сказали, что они «по высокой милости царской зело удовольствованы». Когда Румянцев из Стародуба приехал в Чернигов, то собрал сход и объявил черниговским казакам, что у них полковником будет назначенный от царя Богданов. Казаки приняли эту новость «с великим благодарением». Румянцев спросил про челобитную об избрании гетмана, посланную государю будто бы от всего казачества. Черниговские казаки отвечали, что ничего об этом не ведают, что старшина составила эту челобитную «воровски без их позволения». Содержавшийся под караулом канцелярист Банкевич подал на старшину донос, и

Румянцев препроводил этот донос в Тайную канцелярию. Из Чернигова Румянцев собрался ехать в другие малороссийские полковые города и испрашивал дальнейших для себя инструкций. Этих инструкций мы не нашли, но из указа Екатерины I (П. С. З., ст. 4651) оказывается, что Румянцев ездил во все полковые города и везде собирал на сход полковую старшину и по несколько сот казаков. Он делал на сходах те же вопросы, что в Чернигове и Стародубе. Везде казаки показали, что они не просили ни об упразднении Малороссийской коллегии, ни об избрании гетмана, что это вымыслила сама собою старшина, а других принуждали прилагать руки к челобитной. Румянцев вместе с тем донес в Тайную канцелярию, что, как он узнал, находившиеся в Петербурге малоруссы посылали к оставшейся в Малороссии старшине, к Жураковскому и Лизогубу, наставление, а Жураковский и Лизогуб по смыслу этого наставления разослали от себя письма в три полка, чтобы побудить малороссийский народ заявлять нежелание иметь у себя великорусских судей и великорусских полковников. Потом Полуботок послал из Петербурга в Малороссию своего доверенного человека Лаговича передать генеральной старшине, чтобы полковники в разных полках внушили своей полковой старшине и сотникам, дабы они постарались поскорее помириться со всеми теми, с кем находились в ссоре, и вознаградили бы тех, кого оскорбили, чтобы не было более жалоб на причиненные обиды. Когда правительство узнало об этом обо всем из донесения Румянцева, Лаговича подвергли очной ставке с Полуботком, и Полуботок сознался, что посылал Лаговича делать надлежащие внушения, чтобы расположить казаков давать на вопросы такие ответы, которые бы не шли вразрез с их задушевным желанием удержать в Малороссии старый порядок и не допускать нововведений.

Полуботок умер в Петропавловской крепости в 1724 году. Его товарищи были освобождены Екатериною I.

Тогдашнее русское правительство не только при Петре, но и после его кончины старалось представить Полуботка и его товарищей людьми, которые, заботясь о своих личных и сословных целях, были утеснителями «подлого», как выражались в те времена, народа, а государь являлся защитником и охранителем этого народа от эксплуатации сильных и богатых лиц, занимавших начальнические места. В Малороссии между тамошнюю интеллигенцию составилось и укрепилось мнение о Полуботке как о смелом, благородном и решительном, тем не менее непоколебимо верном престолу и своему долгу герое, пожертвовавшем своею свободою и даже самою жизнью за права своей родины. Мы не имеем подробных данных, чтобы произвести верный приговор и, так сказать, последнее слово истории о печальном событии, изложенном нами. Все, в чем в оное время обвиняли Полуботка и вообще старшину, останется недоказанным. Читатели наши могут ясно видеть, что обвинения, на которые их заставляли давать ответы в Тайной канцелярии, голословны и не

подтверждались никакими фактическими уликами, а от обвиняемых ни в чем не последовало сознания. Притом способ, каким возбуждены все противные для Полуботка и старшины жалобы, по самому существу своему внушает подозрение в справедливости самих жалоб. Малороссийская коллегия рассылает приглашения подавать жалобы на старшин. Нет и быть не может в свете человека, который бы всем угодил. Понятно, если оповестить всем и каждому, чтобы шли с жалобами на то или другое лицо, то непременно явится целая куча жалоб. Делать подобные приглашения к подаче жалоб можно только с предвзятым желанием повредить во что бы то ни стало тем, на которых будут приноситься жалобы. Так на самом деле и было. Петр, в видах государственного единства, находил неуместным сохранять областную самобытность Малороссийского края и желал теснее слить его с остальным государством своим. При таком взгляде ему до крайности неприятно было домогательство старшин об избрании нового гетмана и их недовольство учреждением Малороссийской коллегии — нового, еще небывалого органа предполагаемого государем слития Малороссии с Россиею. Петр знал и верно понимал, что этого желают одни старшины, — как люди, сравнительно более других политически развитые, и потому на них-то устремил свои удары. Петр знал в то же время, что в Малороссии существуют уже издавна враждебные отношения между казацким начальством и простыми казаками, между значными и чернью, между богатыми и бедняками, между владельцами земли и безземельными наймитами, между привилегированным казачеством и осужденным на поборы и повинности посольством, одним словом, между тем, что на каких бы то ни было отношениях и какими бы то ни было путями поднималось из народной массы и остальною массою. Петр воспользовался этим общественным положением в Малороссии для своих политических целей. В таких видах ему было полезно, когда явятся из народной массы жалобы на старшину, на значных людей; в таких видах он отправил Румянцева вызывать у простых казаков согласие и сочувствие к нововведениям, которые, как Петру было известно, приходились не по сердцу старшине и вообще значным людям. Может ли историк верить искренности того, что могли отвечать казаки и простолюдины на вопросы человека, приехавшего от царя и своим тоном показывавшего им, чего хочет царь? Может ли, кроме того, верить беспристрастной правдивости донесений человека, прибывшего в Малороссию с заранее задуманным планом услышать там такое народное желание, какого хотелось получить самодержавному царю? Мы не можем признать ни справедливости тех обвинений, которые были искусственно возбуждены против Полуботка и старшин, ни обвинять последних в их домогательствах удерживать в Малороссии старый порядок, не нравившийся царю. Полуботок был одною из жертв, принесенных для государственных целей, которые во всей деятельности Петра всегда были на первом плане.



АВТОБИОГРАФИЯ

Посвящается любий мой жинци
Галини Леонтьевни Костомаровой
от Иер. Галки ¹

I

Детство и отрочество

Фамильное прозвище, которое я ношу, принадлежит к старым великорусским родам дворян, или детей боярских. Насколько нам известно, оно упоминается в XVI веке; тогда уже существовали названия местностей, напоминающие это прозвище, — например, Костомаров Брод на реке Упе. Вероятно, и тогда уже были существующие теперь села с названием Костомарово, находящиеся в губерниях Тульской, Ярославской и Орловской. При Иване Васильевиче Грозном сын боярский Самсон Мартынович Костомаров, служивший в опричнине, убежал из Московского государства в Литву, был принят ласково Сигизмундом Августом и наделен поместьем в Ковельском (?) уезде. Он был не первый и не последний из таких перебежчиков. При Сигизмунде III по смерти Самсона данное ему поместье разделилось между его сыном и дочерью, вышедшею замуж за Лукашевича. Внук Самсона, Петр Костомаров, пристал к Хмельницкому и после Берестецкого поражения подвергся банниции и потерял свое наследственное имение сообразно польскому праву кадука, как показывает современное письмо короля к Киселю² об отобрании имений, подлежащих тогда конфискации. Костомаров вместе с многими волынцами, приставшими к Хмельницкому и поступившими в звание казаков, ушел в пределы Московского государства. То была не первая колония из южноруссов. Еще в царствование Михаила Федоровича появились малорусские села по так называемой Белгородской черте³, а город Чугуев был основан и заселен казаками, убежавшими в 1638 году с гетманом Остраниным⁴; при Хмельницком же упоминаемое переселение казаков на московские земли было, сколько нам известно, первое в своем роде. Всех перешедших в то время было до тысячи семей; они состояли под начальством предводителя Ивана Дзинковского⁵, носившего звание полковника. Казаки эти хотели поселиться поблизости к украинским границам, где-нибудь недалеко от Путивля, Рьльска или Бельска, но московское правительство нашло это неудобным и определило поселить их подалее к востоку. На их просьбу им дан был такой ответ: «Будет у вас с польскими и литовскими людьми частая ссора, а оно лучше, как подалее от задора». Им отвели для поселения место на реке Тихой Сосне, и вслед за тем

был построен казачий городок Острогожск. Из местных актов видно, что название это существовало еще прежде, потому что об основании этого городка говорится, что он поставлен на Острогожском городище. Так начался Острогожский полк, первый по времени из слободских полков⁶. В окрестностях новопостроенного города начали разводиться хутора и села: край был привольный и плодородный. Костомаров был в числе поселенцев, и, вероятно, эта фамилия оставила своим прозвищем название Костомаровой на Дону, теперь многолюдной, слободе. Потомки пришедшего с Волыни Костомарова укоренились в острогожском крае, и один из них поселился на берегу реки Ольховатки и женился на воспитаннице и наследнице казацкого чиновника Юрия Блюма, построившего во имя своего ангела церковь в слободе, им заложеной и по его имени названной Юрасовкою. Это было в первой половине XVIII столетия. Имение Блюма перешло к Костомаровой. К этой ветви принадлежал мой отец.

Отец мой родился в 1769 году, служил с молодых лет в армии, участвовал в войске Суворова при взятии Измаила, а в 1790 году вышел в отставку и поселился в своем имении Острогожского уезда в слободе Юрасовке, где я родился *. Отец мой сообразно тому времени получил недостаточное образование и впоследствии, сознавая это, постоянно старался пополнить эту недостаточность чтением. Он читал много, постоянно выписывал книги, выучился даже по-французски настолько, что мог читать на этом языке, хотя и с помощью лексикона. Любимыми сочинениями его были творения Вольтера, Даламбера, Дидро и других энциклопедистов XVIII века; в особенности же он оказывал к личности Вольтера уважение, доходившее до благоговения. Такое направление выработало из него тип старинного вольнодумца. Он фанатически отдался материалистическому учению и стал отличаться крайним неверием, хотя согласно своим учителям ум его колебался между совершенным атеизмом и деизмом. Его горячий, увлекающийся характер часто доводил его до поступков, которые в наше время были бы смешны; например, к стати и некстати он заводил философские разговоры и старался распространять вольтерианизм там, где, по-видимому, не представлялось для того никакой почвы. Был ли он в дороге — начинал философствовать с держателями постоялых дворов, а у себя в имении собирал кружок своих крепостных и читал им филиппики против ханжества и суеверия. Крестьяне в его имении были малоруссы и туго поддавались вольтерианской школе; но из двора было несколько человек, переведенных из Орловской губернии, из его материнского имения; и последние, по своему положению дворянских людей имевшие возможность пользоваться частыми беседами с барином, оказались более понятливыми

* Острогожский уезд со всю южной частью Воронежской губернии в то время принадлежал к Слободско-Украинской губернии — ныне Харьковской.

учениками. В политических и социальных понятиях моего покойного родителя господствовала какая-то смесь либерализма и демократизма с прадедовским барством. Он любил толковать всем и каждому, что все люди равны, что отличие по породе есть предрассудок, что все должны жить как братья: но это не мешало ему при случае показывать над подчиненными и господскую палку или дать затрещину, особенно в минуту вспыльчивости, которой он не умел удерживать: зато после каждой такой выходки он просил извинения у оскорбленного слуги, старался чем-нибудь загладить свою ошибку и раздавал деньги и подарки. Лакеям до такой степени это понравилось, что бывали случаи, когда с намерением его сердили, чтобы довести до вспыльчивости и потом сорвать с него. Впрочем его вспыльчивость реже приносила вред другим, чем самому. Однажды, например, рассердившись, что ему долго не несут обедать, он в припадке досады перебил великолепный столовый сервиз саксонского фарфора, а потом, опаматовавшись, сел в задумчивости, начал рассматривать изображение какого-то древнего философа, сделанное на сердолике, и, подозревая меня к себе, прочитал мне со слезами на глазах нравоучение о том, как необходимо удерживать порывы страстей. С крестьянами своего села он обходился ласково и гуманно, не стеснял их ни поборами, ни работами; если приглашал что-нибудь делать, то платил за работу дороже, чем чужим, и сознавал необходимость освобождения крестьян от крепостной зависимости, в чем и не скрывался перед ними. Вообще надобно сказать, что если он позволял себе выходки, несогласные с проповедываемыми убеждениями свободы и равенства, то они происходили помимо его желания, от неумения удерживать порывы вспыльчивости; поэтому-то все, которые не поставлены были в необходимость часто находиться при нем, любили его. В его характере не было никакого барского тщеславия; верный идеям своих французских наставников, он ни во что не ставил дворянское достоинство и терпеть не мог тех, в которых замечал хотя тень щегольства своим происхождением и званием. Как бы в доказательство этих убеждений он не хотел родниться с дворянскими фамилиями и уже в пожилых годах, задумавши жениться, избрал крестьянскую девочку и отправил ее в Москву для воспитания в частное заведение, с тем чтобы впоследствии она стала его женою. Это было в 1812 году. Вступление Наполеона в Москву и сожжение столицы не дало ей возможности продолжать начатое образование: отец мой, услышавши о разорении Москвы, послал взять свою воспитанницу, которая впоследствии и сделалась его женою и моею матерью.

Я родился 4 мая 1817 года. Детство мое до десяти лет протекало в отеческом доме без всяких гувернеров, под наблюдением одного родителя. Прочитав «Эмиля» Жан-Жака Руссо, мой отец прилагал вычитанные им правила к воспитанию своего единственного сына и старался приучить меня с младенчества к жизни, близкой с природою: он не позволял меня кутать, умышленно посылал меня бегать в сырую

погоду, даже промачивать ноги, и вообще приучал не бояться простуды и перемен температуры. Постоянно заставляя меня читать, он с нежных моих лет стал внушать мне вольтеррианское неверие, но этот же нежный возраст мой, требовавший непрестанных обо мне попечений матери, давал ей время и возможность противодействовать этому направлению. В детстве я отличался необыкновенно счастливою памятью: для меня ничего не стоило, прочитавши раза два какого-нибудь вольтерова «Танкреда» или «Заиру» в русском персводе, прочитать ее отцу наизусть от доски до доски. Не менее сильно развивалось мое воображение. Местоположение, где лежала усадьба, в которой я родился и воспитывался, было довольно красиво. За рекою, текшею возле самой усадьбы, усеянную зелеными островками и поросшею камышами, возвышались живописные меловые горы, испещренные черными и зелеными полосами; от них рядом тянулись черноземные горы, покрытые зелеными нивами, и под ними расстился обширный луг, усеянный весною цветами и казавшийся мне неизмеримым живописным ковром. Весь двор был окаймлен по забору большими осинами и березами, а обок тянулась принадлежавшая ко двору тенистая роща с вековыми деревьями. Отец мой нередко, взявши меня с собою, садился на земле под одной старой березой, брал с собою какое-нибудь поэтическое произведение и читал или меня заставлял читать; таким образом помню я, как при шуме ветра мы читали с ним Оссиана и, как кажется, в отвратительном прозаическом русском переводе. Бегая в ту же рощу без отца, я, натываясь на полянки и на группы деревьев, воображал себе разные страны, которых фигуры видел на географическом атласе; тогда некоторым из таких местностей я дал названия. Были у меня и Бразилия, и Колумбия, и Лапландская республика, а бегая к берегу реки и замечая островки, я натворил своим воображением Борнео, Суматру, Целебес, Яву и прочее. Отец не позволял моему воображению пускаться в мир фантастический, таинственный, он не позволял сказывать мне сказок, ни тешить воображение рассказами о привидениях; он щекотливо боялся, чтобы ко мне не привилось какое-нибудь вульгарное верование в леших, домовых, ведьм и т. п. Это не мешало, однако, давать мне читать баллады Жуковского, причем отец считал обязанностью постоянно объяснять мне, что все это — поэтический вымысел, а не действительность. Я знал наизусть всего «Громобоя»; но отец объяснял мне, что никогда не было того, что там описывается, и быть того не может. Жуковский был любимым его поэтом; однако же отец мой не принадлежал к числу тех ревнителей старого вкуса, которые, питая уважение к старым образцам, не хотят знать новых; напротив, когда явился Пушкин, отец мой сразу сделался большим его поклонником и приходил в большой восторг от «Руслана и Людмилы» и нескольких глав «Евгения Онегина», появившихся в «Московском вестнике» 1827 года⁷. Когда мне минуло десять лет, отец повез меня в Москву. До того времени я нигде не был, кроме деревни, и не видал даже своего уездного города.

По приезде в Москву мы остановились в гостинице «Лондон» в Охотном ряду, и через несколько дней отец повел меня в первый раз в жизни в театр. Играли «Фрейшютца». Меня до такой степени перепугали выстрелы и потом сцена в волчьей долине с привидениями, что отец не дал мне дослушать пьесы и после второго действия вывел из театра. Несколько дней меня занимало виденное в театре и мне до чрезвычайности снова хотелось в театр. Отец повез меня. Давали «Князя Невидимку» — какую-то глупейшую оперу, теперь уже упавшую, но тогда бывшую в моде. Несмотря на мой десятилетний возраст я понял, что между первойю виденною мною оперою и второю — большое различие и что первая несравненно лучше второй. Третья виденная мною пьеса была «Коварство и любовь» Шиллера. Роль Фердинанда играл знаменитый в свое время Мочалов⁸. Мне она очень понравилась, отец мой был тронут до слез; глядя на него, и я принялся плакать, хотя вполне не мог понять всей сути представляемого события.

Меня отдали в пансион, который в то время содержал лектор французского языка при университете, Ге. Первое время моего пребывания после отъезда отца из Москвы проходило в беспрестанных слезах; до невыносимости тяжело мне было одинокому в чужой стороне и посреди чужих людей; мне беспрестанно рисовались образы покинутой домашней жизни и матушка, которой, как мне казалось, должна была сделаться тяжелой разлука со мною. Мало-помалу учение начало меня охватывать и тоска улеглась. Я приобрел любовь товарищей; содержатель пансиона и учителя удивлялись моей памяти и способностям. Один раз, например, забравшись в кабинет хозяина, я отыскал латинские разговоры и в каких-нибудь полдня выучил все разговоры наизусть, а потом начал говорить вычитанные латинские фразы пансионосодержателю. По всем предметам я учился хорошо, кроме танцев, к которым, по приговору танцмейстера, не показывал ни малейшей способности, так что в одно и то же время одни меня называли «*enfant miraculeux*»⁹, а танцмейстер называл идиотом. Через несколько месяцев я заболел; отцу написали об этом, и он внезапно явился в Москву в то время, как я не ждал его. Я уже выздоровел, в пансионе был танцкласс, как вдруг отец мой входит в зал. Поговоривши с пансионосодержателем, отец положил за благо взять меня с тем, чтобы привезти снова на другой год после вакаций. Впоследствии я узнал, что человек, которого отец оставил при мне в пансионе в качестве моего дядьки, написал ему какую-то клевету о пансионе; кроме того я слышал, что сама болезнь, которую я перед тем испытал, произошла от отравы, поданной мне этим дядькой, которому, как оказалось, был в то время расчет во что бы то ни стало убраться из Москвы в деревню. Таким образом, в 1828 году я был снова в деревне — в чайнии после вакаций снова ехать в московский пансион; между тем над головой моего отца готовился роковой удар, долженствовавший лишить его жизни и изменить всю мою последующую судьбу.

Выше сказано было, что в имени моего отца было несколько переселенцев из Орловской губернии; из них кучер и камердинер жили во дворе, а третий, бывший также прежде лакеем, был за пьянство изгнан со двора и находился на селе. Они составили заговор убить моего отца с намерением ограбить у него деньги, которые, как они доведались, у него лежали в шкатулке. К ним пристал еще и человек, бывший моим дядькой во время пребывания моего в московском пансионе. Злодейский умысел крылся уже несколько месяцев, наконец, убийцы порешили исполнить его 14 июля. Отец мой имел привычку ездить для прогулки в леса на расстоянии двух-трех верст от двора, иногда со мною, иногда один. Вечером в роковой день он приказал заложить в дрожки пару лошадей и, посадив меня с собою, велел ехать в рощу, носившую название Долгое. Усевшись на дрожки, я по какой-то причине не захотел ехать с отцом и предпочел, оставаясь дома, стрелять из лука, что было тогда моею любимую забавою. Я выскочил из дрожек, отец поехал один. Прошло несколько часов, наступила лунная ночь. Отцу пора было возвращаться, мать моя ждала его ужинать — его не было. Вдруг вбегает кучер и говорит: «барина лошади куда-то понесли». Сделался всеобщий переполох, послали отыскивать, а между тем два лакея, участники заговора, и — как есть подозрение — с ними и повар обдeldывали свое дело: достали шкатулку, занесли ее на чердак и выбрали из нее все деньги, которых было несколько десятков тысяч, полученных моим отцом за заложенное имение. Наконец, один из сельских крестьян, посланный для отыскания барина, воротился с известием, что «пан лежит неживый, а у его голова красие и кровь дзюрчить». С рассветом 15 июля мать моя отправилась со мною на место, и нам представилось ужасное зрелище: отец лежал в яру с головой обезображенной до того, что нельзя было приметить человеческого образа. Вот уже 47 лет прошло с тех пор, но и в настоящее время сердце обливается кровью, когда я вспомню эту картину, дополненную образом отчаяния матери при таком зрелище. Приехала земская полиция, произвела расследование и составила акт, в котором значилось, что отец мой несомненно убит лошаадьми. Отыскали даже на лице отца следы шипов от лошадиных подков. О пропаже денег следствия почему-то не произвели.

Многое изменилось с тех пор в моей судьбе. Мать моя не жила уже в прежнем дворе, а поселилась в другом, находившемся в той же слободе. Меня отдали учиться в воронежский пансион, содержимый тамошними учителями гимназии Федоровым и Поповым. Пансион находился в то время в доме княгини Касаткиной, стоявшем на высокой горе на берегу реки Воронеж, прямо против корабельной верфи Петра Великого, его цейхгауза и развалин его домика. Пансион пробыл там год, а потом по поводу передачи дома в военное ведомство на школу кантонистов переведен был в другую часть города неподалеку от Девичьего монастыря, в дом Бородина. Хотя из нового помещения не представлялось такого прекрасного вида, как из предыду-

щего, но зато при этом доме находился огромный тенистый сад с фантастическою беседкою; в ней молодое воображение учеников пансиона представляло себе разные чудовищные образы, почерпнутые из страшных романов, которые были тогда в большой моде и читались с большим наслаждением тайком от менторов, хлопотавших о том, чтобы ученики читали только полезные книги. Пансион, в котором на этот раз мне пришлось воспитываться, был одним из таких заведений, где более всего хлопочут показать на вид что-то необыкновенное, превосходное, а в сущности мало дают надлежащего воспитания. Несмотря на свой тринадцатилетний возраст и шаловливость я понимал, что не научусь в этом пансионе тому, что для меня будет нужно для поступления в университет, о котором я тогда уже думал как о первой необходимости для того, чтобы быть образованным человеком. Большая часть детей, обучавшихся в этом пансионе, принадлежала к семействам помещиков, в которых укоренено было такое понятие, что русскому дворянину не только незачем, но даже как бы унижительно заниматься наукою и слушать университетские лекции, что для дворянского звания приличная карьера — военная служба, которую можно было проходить короткое время, чтобы только дослужиться до какого-нибудь чина и потом зарыться в свою деревенскую трущобу к своим холопам и собакам. Вот поэтому в пансионе не учили почти ничему, что нужно было для поступления в университет. Самое преподавание производилось отрывочно; не было даже разделения на классы; один ученик учил то, другой иное; учителя приходили только спрашивать уроки и задавать их вновь по книгам. Верхом воспитания и образования считалось лепетать по-французски и танцевать. В последнем искусстве и здесь, как некогда в Москве, я был признан чистым идиотом; кроме моей физической неповоротливости и недостатка грации в движениях я не мог удержать в памяти ни одной фигуры контрданса, постоянно сбивался сам, сбивал других и приводил в смех и товарищей, и содержателей пансиона, которые никак не могли понять, как это я могу вмещать в памяти множество географических и исторических имен и не в состоянии заучить такой обыкновенной вещи, как фигуры контрданса. Я пробыв в этом пансионе два с половиною года и к счастью для себя был из него изгнан за знакомство с винным погребом, куда вместе с другими товарищами я пробирался иногда по ночам за вином и ягодными водицами. Меня высекли и отвезли в деревню к матери, а матушка еще раз высекла и долго сердилась на меня.

По просьбе моей в 1831 году матушка определила меня в воронежскую гимназию. Меня приняли в третий класс, равнявшийся по тогдашнему устройству нынешнему шестому, потому что тогда в гимназии было всего четыре класса, а в первый класс гимназии поступали после трех классов уездного училища. Впрочем, принимая меня в гимназию, мне сделали большое снисхождение: я очень был слаб в математике, а в древних языках совсем несведущ.

Меня поместили у учителя латинского языка Андрея Ивановича Белинского. То был добрый старик, родом галичанин, живший в России уже более тридцати лет, но говоривший с сильным малорусским пошибом и отличавшийся настолько же добросовестностью и трудолюбием, насколько и бездарностью. Воспитанный по старой бурсацкой методе, он не в состоянии был ни объяснить надлежащим образом правил языка, ни тем менее внушить любовь к преподаваемому предмету. Зная его честность и добродушие, нельзя помянуть его недобрым словом, хотя, с другой стороны, нельзя не пожелать, чтобы подобных учителей не было у нас более. Вспоминая прежние бурсацкие обычаи, Андрей Иванович серьезно изъявлял сожаление, что теперь не позволяют ученикам давать субитки *, как бывало на его родине у дьячков, принимавших на себя долг воспитателей юношества.

Другие учителя гимназии мало представляли из себя педагогических образцов. Учитель математики Федоров, бывший мой хозяин в пансионе, был ленив до невыразимости и, пришедши в класс, читал, занеся ноги на стол, какой-нибудь роман про себя, либо ходил взад и вперед по классу, наблюдая только, чтобы в это время все молчали; за нарушение же тишины без церемонии бил виновных по щекам. И в собственном его пансионе нельзя было от него научиться ничему по математике. Трудно вообразить в наше время существование подобного учителя, хотя это был человек, умевший отлично пускать пыль в глаза и тем устраивать себе карьеру. Впоследствии, уже в сороковых годах, он был директором училищ в Курске и, принимая в гимназии посещение одного значительного лица, сообразил, что это значительное лицо неблагосклонно смотрит на многоучение, и когда это значительное лицо, обозревая богатую библиотеку, пожертвованную гимназии Демидовым, спросило его, как он думает, уместно ли в гимназии держать такую библиотеку, Федоров отвечал: «нахожу это излишнею роскошью». Этот ответ много пособил ему в дальнейшей его карьере.

Учитель русской словесности Николай Михайлович Севастьянов был тип ханжи, довольно редкий у нас на Руси, как известно мало отличающейся склонностью к деотизму; он сочинял акафисты св. Митрофану, постоянно посещал архиереев, архимандритов и, пришедши в класс, более поучал своих питомцев благочестию, чем русскому языку. Кроме того, в своих познаниях о русской словесности это был человек до крайности отсталый: он не мог слушать без омерзения имени Пушкина, тогда еще бывшего, так сказать, идолом молодежи; идеалы Николая Михайловича обращались к Ломоносову, Хераскову, Державину и даже к киевским писателям XVII века. Он преподавал по риторике Кошанского и задавал по ней писать рассуждения и впечатления, в которых изображались явления природы — восход

* Обычай сечь всех учеников по субботам, не обращая внимания, кто из них в чем виноват или нет.

солнца, гроза, — риторически восхвалялись добродетели, изливалось негодование к порокам и т. п. Всегда плотно выбритый, с постною миною, с заплаканными глазами, со вздыхающею грудью являлся он в класс в синем длинном сюртуке, заставлял учеников читать ряд молитв, толковал о чудесах, чудотворных иконах, архиереях, потом спрашивал урок, наблюдая, чтобы ему отвечали слово в слово, а признавая кого-нибудь незнающим, заставлял класть поклоны.

Учитель естественной истории Сухомлинов, брат бывшего харьковского профессора химии, был человек неглупый, но мало подготовленный и мало расположенный к науке; впрочем, так как он был умнее других, то несмотря на его недостатки как учителя в полном смысле этого слова, он все-таки мог передать своим питомцам какие-нибудь полезные признаки знания.

Учитель всеобщей истории Цветаев преподавал по плохой истории Шрекка, не передавал ученикам никаких собственноустных рассказов, не освещал излагаемых в книге фактов какими бы то ни было объяснениями и взглядами, не познакомил учеников даже в первоначальном виде с критикою истории и, как видно, сам не любил своего предмета: всегда почти сонный и вялый, этот учитель способен был расположить своих питомцев к лени и полному безучастию к научным предметам.

Греческий язык преподавал священник Яков Покровский, бывший вместе и законоучителем. Он отличался только резкими филиппиками против пансионского воспитания; вообще оказывал нерасположение к светским училищам, восхвалял семинарии и поставил себе за правило выговаривать так, как пишется, требуя того же и от учеников, чем возбуждал только смех. Это был человек до крайности грубый и заносчивый, а впоследствии, как мы узнали, овдовевши, был судим и лишен священнического сана за нецеломудренное поведение.

Учитель французского языка Журден, бывший некогда капитан наполеоновской армии и оставшийся в России в плену, не отличался ничем особенным, был вообще ленив и апатичен, ничего не объяснял и только задавал уроки по грамматике Ломонда, отмечая в ней ногтем места, следуемые к выучке и произнося всем одно и то же: *jusqu'ici*¹⁰. Только когда припоминались ему по какому-нибудь случаю подвиги Наполеона и его великой армии, обычная апатичность оставляла его и он невольно показывал неизбежные свойства своей национальности, делался живым и произносил какую-нибудь хвастливую похвалу любимому герою и французскому оружию. Считаю при этом кстати вспомнить случай, происшедший у меня с ним еще в пансионе Федорова, где он, по выходе Попова, был помощником содержателя и имел жительство в пансионе. Я не поладил с гувернером, немцем по фамилии Праль; Журден поставил меня на колени и осудил оставаться без обеда. Желая как-нибудь смягчить его суровость, я, стоя на коленях во время обеда, сказал ему: *monsieur Jourdin*, ведь *Prahler* по-немецки значит хвастун. «*Chut! tenez vous!*» — прошипел Журден¹¹. Но я продолжал: эти немцы большие хвастуны, ведь как их Наполеон

бил! «Ох как бил!» — воскликнул Журден и, пришедши в восторг, начал вспоминать Иенскую битву. Воспользовавшись его одушевлением, я попросил у него прощения, и строгий капитан смягчился и позволил мне сесть обедать.

Немецким учителем был некто Флямм, не отличавшийся особым педагогическим талантом и плохо понимавший по-русски, отчего его предмет не процветал в гимназии. Ученики, как везде бывало на Руси с немцами, дурачились над его неумением объясняться по-русски. Так, например, не зная, как произнести по-русски слово «акцент», он вместо того, чтобы сказать «поставить ударение», говорил «сделайте удар», — и ученики, потешаясь над ним, все залпом стучали кулаками о тетрадь. Немец выходил из себя, но никак не мог объяснить того, что хотел, и весь класс хохотал над ним.

Остается сказать еще несколько слов о тогдашнем директоре гимназии фон Галлере. Он отличался тем, что каждый ученик, приезжая с домового каникулярного отпуска, считал обязанностью своею принести посильный подарок: кто пару гусей, а кто фунт чаю или голову сахару; директор выходил к ученику в прихожую, распекал его за дерзость, говорил, что он не взяточник и прогонял ученика с его подарком; но в сенях, куда уходил с прихожей ученик, являлась женская прислуга, брала подарок и уносила на заднее крыльцо. Ученик приходил в класс и замечал, что директор во время своего обычного посещения классов показывал к нему особенную ласку и благоволение. Директор несколько лет занимал лично для себя весь бельэтаж гимназического здания, а классы помещались по чердакам; это побудило учителей подать на него донос: приехал ревизор, и директор должен был перейти из гимназического здания на наемную квартиру. Скоро после того начальство устранило его от должности.

Число учеников гимназии в то время было невелико и едва ли простиралось до двухсот человек во всех классах. По господствовавшим тогда понятиям родители зажиточные и гордившиеся своим происхождением или важным чином считали как бы унижительным отдавать сыновей своих в гимназию: поэтому заведение наполнялось детьми мелких чиновников, небогатых купцов, мещан и разночинцев. Плебейское происхождение выказывалось очень часто в приемах и способе обращения воспитанников, как равно и в упущенности первичного воспитания, полученного в родительском доме. Грубые ругательства, драки и грязные забавы были нипочем в этом кругу. Между учениками было довольно лентяев, почти не ходивших в гимназию, а те, которые были поприлежнее, заранее приучены были смотреть на учение только как на средства, полезные в жизни для добывания насущного хлеба. Об охоте к наукам можно судить уже из того, что из окончивших курс в 1833 году один я поступил в университет в том же году, а три моих товарища поступили в число студентов тогда, когда я был уже на втором курсе.

Во время своего пребывания в гимназии в вакационные сроки

я ездил домой к матери; иногда за мною присылали своих лошадей и экипаж, летом — бричку, а зимою — крытые сани; иногда же я следовал на почтовых. В том и в другом случае путь лежал до Острогжска по столбовой почтовой дороге через села Олений Колодезь, Хворостань и город Коротоаяк, где переправлялись через Дон. Не доезжая до Коротоаяка дорога на протяжении верст сорока шла в виду Дона на левой стороне; вблизи Хворостани виднелось живописное село Оношкино, в 1827 году сползшее с горы, подмытой Доном. Этот феномен природы, как говорят, никому не стоил жизни, потому что почти все люди были в поле. От Острогжска, если ехал я на своих лошадях, мне приходилось пробираться до своей слободы по хуторам, которых множество в этой стороне. До самой слободы я не встречал ни одной церкви. Хуторки, по которым я проезжал, все были вольные, населенные так называемыми войсковыми обывателями, потомками прежних острогжских казаков и их подпомощников. Весь этот край носил название Рыбьянского, и обитатели хуторов, как и города, как бы в отличие от прочих малоруссов назывались рыбаками. У них был отличный от других говор и костюм. Впоследствии, побывавши на Волыни, я увидал, что то и другое обличает в рыбаках чисто волыньских переселенцев, тогда как жители других краев Острогжского уезда поужнее обличают своим выговором, одеждою и домашнею обстановкою происхождение из других сторон Малорусского края. Рыбаки жили тогда вообще зажиточно; земли у них было вдоволь, а иные отправляли разные промыслы и ремесла.

Если приходилось ехать на почтовых, то путь лежал несколько восточнее, на Пушкин хутор, где переменялись лошади; там была обывательская почта, и нанявши почтовых, можно было ехать в Юрасовку. Обыкновенно, выезжая из Воронежа, я достигал Юрасовки на другой день, но если ехал на почтовых, то и ранее. Новый дом моей матери был о пяти покоях, крытый камышом и стоял в оконечности слободы на огромном дворе, где кроме дома, амбаров, сараев и конюшен было три хаты, а в глубине двора лежал фруктовый сад, десятинах на трех, упиравшийся в конопляник, окаймленный двумя рядами высоких верб, за которыми тянулось неизмеримое болото. Прежде, как говорят, здесь текла река, но в мое время она вся поросла камышом и осокой, за исключением нескольких плес, и то летом густо покрытых лататьем *. В саду было значительное число яблочных, грушевых и вишневых деревьев, родивших плоды вкусных сортов. В одном углу сада был омшеник для пчел, которых моя мать очень любила. Сад по забору был обсажен березами и вербами, а я кроме того насадил там кленов и ясеней. Любимым препровождением времени во дни пребывания у матери была езда верхом. Был у меня серый конь, купленный отцом на Кавказе, чрезвычайно быстрый и смирный, хотя и не без капризов: стоило только сойти с него, он сейчас вырывался из рук, брыкал задними ногами и во всю прыть убегал в ко-

* Водяное растение *Nymphaea* — кувшинник.

нюшно. Я скакал на нем и по своим, и по чужим полям. Кроме этой забавы я иногда ходил стрелять, но по своей близорукости не отличался особенным искусством; притом же мне и жаль было истреблять невинных тварей. Помню, как один раз я выстрелил в кукушку и убил ее; мне так стало жаль ее, что несколько дней меня словно томила совесть. В летние вакации мои охотничьи подвиги успешнее всего обращались на дроздов, которые густыми тучами садились на вишни и объедали ягоды. Здесь незачем было целиться: стоило пустить заряд дроби по вершинам вишен и подбирать убитых и подстреленных птичек кучами, отдавая потом их в кухню для приготовления на жаркое.

Кроме охоты и верховой езды меня увлекло плавание по воде. За неимением настоящего челна я устроил себе корабль собственного изобретения: то были две связанные между собою доски, на которых ставились ночвы¹². Я садился в эти ночвы с веслом и отправлялся гулять по камышам. Так как вблизи моего дома плеса не были велики и притом густые корни лататя преграждали путь моему импровизованному судну, то я перевез его за семь верст в чужое имение, где река была шире и чище, ездил туда плавать и часто проводил там целые дни, нередко забывая и обед.

В 1833 году, когда я ожидал уже окончания курса гимназии, случилось в моем доме неожиданное и крайне неприятное событие. Мать моя уехала ко мне в Воронеж на зимних святках. В это время на наш деревенский дом напали ночью разбойники: связали сторожа, покалечили нескольких дворовых людей, забивая им под ногти шилья, жгли свечкою, допрашивая, есть ли у барыни деньги; потом пошли в дом, потбивали замки в комодах и шкафах и ограбили все. Когда начало производиться следствие, оказалось, что виновником этого разбоя был помещик Валуйского уезда, отставной прапорщик Заварыкин, а в соумышлении с ним был один из наших крестьян-малоруссов, другой — из чужих в той же слободе. Виновные были сосланы в Сибирь.

В тот же год открылась и настоящая причина смерти отца моего. Кучер, возивший его в лес, явился к священнику и потребовал, чтобы был собран звоном народ: он на могиле барина объявит всю правду о его смерти. Так было сделано. Кучер всенародно, припадая к могиле, находившейся близ церкви, возопил: «Барин, Иван Петрович, прости меня! А вы, православные христиане, знайте, что его убили не лошади, а мы, злодеи, и взяли у него деньги, а ими суд подкупили». Началось следствие, потом суд. Кучер обличил двух лакеев, которые, однако, от убийства упорно запирались, но не могли скрыть того, что грабили деньги и ими подкупали суд. К делу привлечен был и повар, но тот запирался во всем и за неимением улик был оставлен в покое. Главнейший же из убийц был уже в могиле. Замечательно, что когда виновных стали допрашивать в суде, кучер говорил: «Сам барин виноват, что нас искусил; бывало начнет всем рассказывать, что бога нет, что на том свете ничего не будет, что только дураки боятся загробного наказа-

ния, — мы и забрали себе в голову, что коли на том свете ничего не будет, то значит все можно делать». Убийцы сосланы в Сибирь. Члены земской полиции были также привлечены к ответственности и приняли достойное наказание, но виновнейший из них, заседатель, во избежание грозящей судьбы отравился.

II

Студенчество и юность. Первая литературная деятельность

По окончании курса гимназии мне шестнадцать лет от роду приходилось вступать в университет; но тут-то я почувствовал, что слаб в математике, да и при всем желании не мог быть в ней силен, когда учитель ничего не преподавал. Я пригласил для своей подготовки соседа, бывшего инженера, женившегося в то время на дочери помещика в той же слободе. Мой новый учитель оказался вполне хорошим, и в продолжение трех месяцев занимаясь каждый день с утра до вечера, я успел выучить почти весь курс того, что нужно было для вступительного экзамена в университет. Учитель прошел со мною и конические сечения, которые тогда требовались. В половине августа 1833 года со страхом и трепетом я отправился в Харьков с матерью и моим учителем. Вступительный экзамен сошел как нельзя более благополучно. Профессор математики Павловский, отличавшийся, как о нем говорили, большою строгостью и неснисходительностью, пропустил меня, записавши мне хороший балл. Радость моя была непомерная. Меня поместили у профессора латинского языка Петра Ивановича Сокальского. Я попал к нему совершенно случайно. Не предполагая прежде поместиться у этого профессора, я отправился к нему вместе со своим учителем поговорить насчет вступительного экзамена из латыни, в которой я себя чувствовал недостаточно крепким после уроков Андрея Ивановича Белинского. И мне и моему учителю Петр Иванович так понравился, что, выходя от него, мы рассудили, что всего лучше мне поместиться у этого профессора. Передавши нашу мысль моей матери, мы снова отправились к Сокальскому и договорились с ним о квартире. Окончив вступительный экзамен по всем предметам, я простился с матерью и моим деревенским учителем, уехавшими домой, а сам остался в доме Сокальского. Мне дали отдельную комнату в особом флигеле, в котором кроме меня было четверо студентов, проживавших у Сокальского также в отдельных комнатах. Содержание и обращение с нами было очень хорошее; одно только несколько беспокоило меня: Сокальский не дозволял курить табак, и это побуждало нас курить в печную трубу. Однажды я, всунувши для курения трубку в верхний душник печки, нечаянно зажег сажу и сам испугался; едва потушили и не допустили

до пожара, но после того Сокальский махнул рукою и сказал: «лучше курить, а то вы мне и дом сожжете!»

В первый год моего пребывания в университете я усиленно занялся изучением языков, особенно латинского, который я очень любил, и вообще меня стал сильно привлекать антический мир. Воображение мое постоянно обращалось к Греции и Риму, к их богам, героям, к их литературе и памятникам искусств. Однажды, читая «Илиаду» в подлиннике с переводом Гнедича, мне вздумалось разыграть в лицах сцену, как Ахилл волочил тело Гектора вокруг стен Илиона. Я подговорил своих товарищей, мы нашли маленькую повозочку, на которой няньки возили детей Сокальского, я упросил привязать меня за ноги к этой повозочке; один из моих товарищей стал играть роль Ахилла и потащил меня вниз по деревянной лестнице флигеля, где мы жили, а двое других, покрывши головы по-женски, стали на террасе того же флигеля и представляли Гекубу и Андромаху. Меня поволокли с лестницы по двору. Стук, гам и крик дошли до ушей Сокальского, который в то время сидел с гостями; он выбежал на двор, за ним его гости — профессора, бывшие у него. Увидавши неожиданную сцену, Сокальский сначала принял менторский суровый вид, но потом, узнавши в чем дело, не вытерпел и захохотал во все горло. За ним начали смеяться и его гости. Меня развязали и заметили, что голова моя была в крови, как, впрочем, и следовало по Илиаде, где говорится: «...глава Приаида, прежде прекрасная, бьется во прахе...»

Когда после того мы пошли к нему обедать, он во все продолжение стола, глядя на меня, не мог удержаться от смеха и говорил своим домашним: «вот угостили меня! дали возможность повидать древность в лицах!»

Семейство Сокальского состояло тогда из жены, трех малолетних сыновей (из них один теперь харьковский профессор, другой — редактором «Одесского вестника» и замечательный пианист, а третий недавно скончался) и старой тещи, женщины чрезвычайно доброй и любимой всеми студентами. Эта последняя, по имени Надежда Емельяновна, осталась у меня в памяти как тип старой добродушной малороссиянки. Она говорила со всеми не иначе как по-малорусски, очень заботилась о выгодах квартирантов и по воскресеньям сама пекла и приносила нам на завтрак превосходные пирожки. Уже много лет, еще до женитьбы Сокальского на ее дочери, она содержала у себя квартирантов-студентов и хвалилась тем, что ее называли «студентська мати». В числе ее бывших нахлебников был знаменитый Остроградский, о котором она сохраняла благоговейное воспоминание как о лучшем из юношей, у нее проживавших.

В то время Харьковский университет был в большом упадке. Профессорские кафедры занимались отчасти людьми бездарными, отчасти же хотя и талантливыми, каким был, например, Кронеберг¹³, но ленивыми. В нашем историко-филологическом факультете русская словесность была в руках некоего Якимова. Он в свое время

прославился бездарнейшим переводом Шекспира, из которого студенты приводили места в пример бессмыслицы. Русскую историю читал Гулак-Артемовский ¹⁴, человек, бесспорно, с поэтическим дарованием, как показали его малорусские стихотворения, но в своих лекциях по русской истории отличавшийся пустым риторством и напыщенностью. Профессор всеобщей истории Цых ¹⁵ был вскоре переведен в Киев. Он читал древнюю историю по Герену и почти не прибавлял к ней ничего своего. Философию преподавал некто Чанов, бывший прежде того частным приставом. Греческий язык читал какой-то немец Маурер, знавший свой предмет в совершенстве, но плохо владевший русским языком и даром изложения на каком бы то ни было языке. Французский язык читал Паки де Совиньи, бывший недавно перед тем профессором латинского языка. Это был шут в полном смысле слова; на лекциях он либеральничал в вольтерианском духе, но у него нельзя было научиться ни его языку, ни литературе; студенты ходили на его лекции только для потехи. Он представлял, как в праздник богоявления архиерей святит воду и «суеве́ры» бросаются к реке с кувшинами, а «philosophe» думает себе иное; вооружался против крепостного права и копировал разговор с помещиком таким образом: «Пожалуйте, за што ви бьет ваш мальшик?» «О! он мой холёп?» «Qu'est-ce que c'est холёп?» Помещик отвечает: «Ми при государиня Катерина Алексеевна шили и били свой шелювек». «Ah, monsieur! при Катерина Алексеевна биль одно время, теперь — другое!» Начинались сто раз повторяемые анекдоты о Вольтере, о достоинствах его произведений, цитировались стихи из какой-нибудь «Альзиры», потом снова следовало обращение к России с указанием разных недостатков ее; впрочем, доставалось на долю и немцам. Паки де Совиньи как истый француз считал французский народ самым образованным в свете и говорил, что хотя у немцев есть стихотворцы, как Шиллер и Гете, но куда им до Расина, Кребильона и Вольтера. Ему известна была только старая французская литература, о новой, современной, он не имел никакого понятия да и знать об ней не хотел.

Попечителем Харьковского университета был тогда некто Филатьев, который в первых месяцах 1834 года был переведен на какую-то другую должность и уехал, не подписавши утверждения в звании студентов более ста лиц, выдержавших вступительный экзамен в текущем академическом году. В числе этих неутвержденных студентов был и я. Сокальский объявил мне, что по силе университетского устава я не имею права ни слушать лекции, ни держать переходного экзамена; впрочем, польстил меня надеждою, что, вероятно, будущий попечитель утвердит нас всех и нам позволят держать переходный экзамен. Но так как слушать лекции более нельзя было, то я уехал из Харькова к матери незадолго до святой недели и пробыл в деревне до августа того же года. Никогда в жизни я до такой степени не сближался с сельскою природою, как в это время, тем более что со времени смерти моего отца никогда не жил в деревне в весенние месяцы и в начале

лета. Меня занимала каждая травка, каждый цветок, каждая птичка и букашка. Между тем я в деревне продолжал учиться по-латыни и по-французски, так что в конце лета мог уже свободно читать *à livre ouvert*¹⁶ всякие французские книги и прочел в это время «Notre Dame» Гюго, книгу, известную по трудности языка, наполненную разными архаизмами. Эта книга сделала на меня большое впечатление; я полюбил ее автора и принялся жадно за чтение других его сочинений.

В августе я отправился в Харьков. Там был уже новый попечитель граф Головкин, восьмидесятилетний старец, прошедший жизнь за границей и объяснявшийся по-русски очень плохо. Первым его делом по вступлении было утвердить всех неутвержденных его предшественником студентов. Нам позволили держать экзамен и через несколько дней я был переведен на второй курс. В этот академический год я проживал по-прежнему у Сокальского, хотя уже в другом доме, только что им отстроеном. Любовь к латинскому языку и античному миру стала у меня охладевать. Я с жаром увлекся французским языком, а с зимы начал заниматься и итальянским. Между тем мне пришло желание взяться и за музыку; я купил себе фортепиано за триста рублей ассигнациями и договорил себе учителя; но через несколько месяцев желание к музыке стало проходить, тем более что музыка требовала занятий по крайней мере на несколько часов в день, а я на то совсем не имел времени. С большим постоянством я испытывал свои силы в стихотворстве, которым начал заниматься еще во время своего пребывания в деревне, куда удалился было, оставшись неутвержденным в звании студента. Перед тем любимейшим занятием моим было изучение древних авторов и особенно Вергилия. Я получил вкус к античному изображению сельской природы и писал на русском языке идиллические стихотворения, употребляя гекзаметр, который из всех размеров мне особенно нравился. Эти первые опыты остались ненапечатанными, а впоследствии, увлекшись историей, я совершенно оставил стихописание на русском языке.

1835 год был знаменателен в истории Харьковского университета: в нем показывалось какое-то обновление. По разным кафедрам присланы были свежие молодые силы, новые люди, возвратившиеся из-за границы, куда были посылаемы министром для окончания образования. Наш историко-филологический факультет был обновлен появлением двух талантливых и ученых профессоров. Первый был по кафедре всеобщей истории — Михаил Михайлович Лунин¹⁷; второй — по кафедре греческой словесности — Альфонс Осипович Валицкий. Первый был, бесспорно, один из лучших преподавателей всеобщей истории, какие когда-либо являлись в наших университетах. Он был вооружен всею современною ученостию, получив ее в германских университетах, где несколько лет слушал лекции. Нельзя сказать, чтобы он был одарен счастливым даром слова; грудь у него была слабая, голос негромкий, дикция монотонная и будто жеманная; но эти недостатки вы-

купались богатством содержания и критическим направлением, к которому он умел расположить влечение своих слушателей. Его лекции по древней истории, преимущественно Востока, и по средней истории, особенно лекции о распространении христианства и о борьбе его с язычеством, были столько же глубокомысленны, как и увлекательны. Историю новых веков читал он слабее и, как кажется, сам менее ею занимался. Вообще лекции этого профессора оказали на меня громадное влияние и произвели в моей духовной жизни решительный поворот: я полюбил историю более всего и с тех пор с жаром предавался чтению и изучению исторических книг. Валицкий менее имел на меня влияние, чем Лунин, так как я не имел ни надлежащей подготовки, ни особого стремления, чтобы сделать греческую литературу и древности для себя специальностью; но я посещал его лекции и слушал их с большим наслаждением. Заметим, что Валицкий имел отличный дар слова и был вообще в изложении своего предмета гораздо живее Лунина.

Съездивши на вакации в деревню и приехавши снова в Харьков в августе 1835 года, я уже не стал жить у Сокальского и поместился у Артемовского-Гулака. Здесь я с большим увлечением занимался историею и проводил дни и ночи над чтением всевозможных исторических книг. Мне хотелось знать судьбу всех народов; не менее интересовала меня и литература с исторической точки ее значения.

Двор Артемовского-Гулака помещался почти при оконечности города на одной из улиц, выходивших к полю. Проминувши несколько дворов, можно было достигнуть старого кладбища с небольшою церковью; в ясные весенние и осенние дни ходить туда сделалось для меня обычною прогулкою. Узнавши об этом, мой хозяин растолковал это припадком меланхолии и стал уговаривать меня избирать для прогулок более веселые и людные места. Сам он помещался в одноэтажном деревянном доме, выходившем фасадом на улицу, а внутри довольно нарядно убранном. Студенты были размещены в двух флигелях, стоявших на дворе; в одном из них, состоявшем из двух комнат, жило двое студентов: Деревицкий и я. Вообще во все время своего студенчества я мало сближался с товарищами, хотя с теми, с которыми случай доставил возможность быть знакомым, находился в хороших отношениях. О характере студенческой корпорации того времени можно заметить, что она не имела крепкой солидарности; кроме слушания лекций не было между студентами взаимных интересов, и потому не на чем было образоваться связи, которая бы привязывала каждого ко всему кругу товарищей по принадлежности его к студентскому званию. Студенты знакомились и дружились между собою по случаю или по особым личным сочувствиям, и потому можно было пробыть в университете несколько лет сряду и не быть знакомым с товарищами одного курса; не говорю уже о студентах разных факультетов, между которыми не было даже единения по поводу лекций.

Вообще студентов тогдашних по их склонностям и развитию

можно разделить на следующие разряды: 1) Сынки богатых родителей, обыкновенно помещенные ими у профессоров и отличившиеся франтовством и шалопайством; вся цель их состояла в том, чтобы какими бы то ни было средствами, хотя бы и недостойными, получить в свое время диплом на степень кандидата или действительного студента; при господствовавшей издавна продажности в Харьковском университете это было нетрудно: профессора были снисходительны к пансионерам своих товарищей, так как у них самих были пансионеры, нуждавшиеся в протекции; «Manus manum lavat» (рука руку моет), говаривали они по этому поводу. Проболтавшись три года в Харькове, батюшкин или матушкин сынок получал ученую степень, дававшую право на классный чин, и потом уезжал в родительскую берлогу и выхлопывал себе какую-нибудь номинальную должность, например, почетного смотрителя училищ, либо депутата в дворянском собрании, или что-нибудь подобное, чем, как известно, была обильна наша Русь-матушка; иногда же вступал в военную службу, делался адъютантом у какого-нибудь генерала, а послуживши несколько, удалялся в свое имение. 2) Молодые люди, видевшие вперед для себя целью службу; они до известной степени учились порядочно, но прямой любви к науке у них было мало. Кроме медиков, которые естественно шли своею дорогою, сюда следует причислить всех тех, которые по окончании курса шли в гражданскую службу и стремились в Петербург, который для них был, так сказать, обетованною землею: Харьковский университет доставлял большой контингент всяким канцеляриям и департаментам. 3) Молодые люди, действительно занимавшиеся наукою с любовью; из них, особенно из казеннокоштных, набирались учителя гимназий. Этого рода студенты были, так сказать, интеллигенциею университета. В те времена между ними господствовала наклонность к идеализму и в большой моде было заниматься философией; успевшие познакомиться с немецким языком с жадностью читали немецких философов, хотя — по темноте последних — не всегда ясно постигали читаемое и увлекались во всевозможные произвольные толкования и системы. Наконец, 4) люди не настолько богатые, чтобы помещаться у профессоров, и не настолько трудолюбивые и даровитые, чтобы успешно заниматься наукою; они жили и вели себя как попало: многие предавались кутежам всякого рода, иные сидели скромно за книгами в уютных квартирах, стараясь пробираться на экзаменах вслед за богатыми пансионерами; их судьба часто зависела от случая: иному вывозило и он кончал курс счастливо, другой обрезывался на экзамене и должен был сидеть лишний год на одном курсе, жалуясь на несправедливость профессоров, выпускавших в действительные студенты или кандидаты профессорских пансионеров и строго относившихся к тем, у кого не было протекции. Заметим, что в те времена не было между студентами такой поражающей бедности, какую мы встречаем теперь, — быть может, по причине сравнительной дешевизны того времени.

Несмотря на то что я жил у профессора, любовь к занятиям была у меня настолько сильна, что мне не приходилось пользоваться протекцией моего хозяина профессора. Я постоянно сидел за книгами, не имел в городе почти никаких знакомых и самих товарищей принимал редко. Такой образ жизни вел я до самых рождественских святок, когда отправился в деревню к матери. Накануне крещения, собираясь возвращаться в Харьков, я поехал в свой уездный город взять подорожную и, возвращаясь к вечеру в слободу, почувствовал себя больным. Приехавши домой, я заболел оспой и пролежал более месяца, а потом выздоравливал до конца марта. Болезнь моя была так сильна, что несколько дней боялись смерти или, что еще хуже, слепоты. Глаза мои, и без того уже требовавшие очков для близоруких, с этих пор еще более ослабели. 25 марта я пустился в дорогу еще с красными пятнами на лице и со слабыми мускулами; меня останавливали, но мне ни за что не хотелось пропустить экзамена и оставаться в университете лишний год. Оказалось, что в мое отсутствие разнеслась весть о моей смерти и какой-то студент в ответ профессору, переключавшему студентов на репетиции и упомянувшему мое имя, заявил, что я умер, а профессор перечеркнул в списке мое имя. После святой недели я принялся сильно готовиться с экзамену и в июне выдержал его. Все отметки были вполне удовлетворительны; я был в уверенности, что получу степень кандидата за отличие.

Вспомню при этом забавный случай, бывший с профессором Паки де Совиньи. Так как этот наставник по старому обыкновению своему не преподавал никакой науки, а только либеральничал в аудитории, то трудно было кому бы то ни было сдавать экзамен из преподаваемого им предмета. Заведено было, что пред экзаменом студенты ходили к нему на дом брать «лесоны» и платили за каждый по красненькой (10 рублей ассигнациями); и я отправился к нему брать лесон. Профессор дает мне свою собственную историю литературы и заставляет меня прочитать одну страничку, где помещалась рубрика «De la littérature française sous Henri IV». Я прочел и дал ему красненькую. «Bien, monsieur: vous aurez *optime*»¹⁸. Но я заметил ему, что «*optime*» для меня мало, что для меня нужно «*eminenter*», потому что если я получу из нескольких предметов «*optime*» *, то мне не дадут степени кандидата; я же не надеялся получить «*eminenter*» из греческого языка. Профессор на это сказал: «pour l'*eminenter* il faut prendre encore une leçon»¹⁹. Я дал ему еще одну красненькую. Паки де Совиньи заставил меня прочесть то же самое, что я только что читал, и обещал поставить «*eminenter*»; но когда я пришел на экзамен и был вызван, Паки де Совиньи перепутал мою фамилию с фамилией другого студента и спросил меня «de la littérature française en général»²⁰. Я приостановился, а профессора, члены факультета, знавшие проделки француза, поняли, в чем дело, и начали закрывать себе рты от смеха. Студенты, сидев-

* Optime — очень хорошо, eminenter — превосходно.

шие на скамье сзади меня, также смеялись. Наконец, постоявши немного молча, я начал говорить ему заданный мне условно урок о литературе при Генрихе IV. Паки де Совиньи, как видно, не догадываясь, остановил меня и заметил, что я говорю не то; я, не обращая внимания, продолжаю заученное, и в заключение профессор хотел писать мне «ortime», но декан факультета, знавший все это, шепнул ему на ухо, и француз только тогда понял свою ошибку и записал мне «emipenteg», насмешивши и профессоров, и студентов. Но мне не помогло ничто. Когда я в полной уверенности, что буду кандидатом, уехал домой на вакацию, Артемовский-Гулак написал мне, что я не получу степени кандидата, потому что законоучитель, экзаменовавший меня при переходе из первого курса во второй, записал мне по предмету богословия «bene» (хорошо), и так как при окончательном экзамене не спрашивали из богословия, то прежде выставленная аттестация служила и при окончательном экзамене, а имеющему хотя одно «bene» не давалась степень кандидата за отличие. Нечего было делать: приходилось ехать в Харьков и держать особый экзамен на степень кандидата.

После вакаций я отправился снова, поместился у того же Артемовского-Гулака, но уже на других условиях: он отказался брать с меня деньги за помещение и предложил мне преподавать историю его сыновьям. В таком положении я прожил до января 1837 года, когда был подвергнут экзамену. Случилось странное обстоятельство, показывающее, до какой степени соблюдение формальностей шло вразрез с здравым смыслом. Казалось бы, если богословие помешало мне получить степень кандидата, то стоило подвергнуть меня экзамену из одного богословия; меня напротив того экзаменовали из всех предметов, исключая богословия, так как последняя наука не входила в программу на степень кандидата. На этом же экзамене со мною произошел опять забавный случай. Я экзаменовался из философии. Профессор этого предмета Протопопов давал студентам свои записки, написанные туманными фразами из немецких философов; были места, в которых по-русски никак нельзя было добраться смысла, а учить его философию было истинное мучение для студентов. Я в это время уже немного ознакомился с немецкими философами и часто между товарищами для потехи говорил по-русски философским языком совершенную чепуху, показывая, как можно при помощи этого философского тумана озадачить других и показаться глубоко ученым именно потому, что слушающий ничего не поймет. Будучи уверен, что сам многоученный профессор не совсем ясно понимал то, чему его научили немцы, которых язык он знал с грехом пополам, я умышленно занес ему на экзамене бессмыслицу, уснащая ее всевозможными «абсолютами», «абстрактами» и тому подобными терминами, бывшими тогда в моде в философском языке. Протопопов выслушал со вниманием и записал мне «превосходно», воображая, что я верно говорил ему то, что прочитал в какой-нибудь немецкой книге.

По окончании экзамена и получив степень кандидата, я уехал в деревню и вскоре определился в Кинбурнский драгунский полк²¹ юнкером. К этому меня побудило желание узнать людей и всякое общество, между прочим и военное, мне совершенно неизвестное; но нести военную службу мне помешало воспрещение носить очки, и кроме того не прошло еще месяца, как мне уже стали надоедать военные учения и тогдашние военные товарищи, которых крайнюю пустоту я увидел. Вдобавок в городе Острогожске, где стоял тогда полк, был очень богатый архив уездного суда, сохранивший все старые дела бывшего казачьего полка со времен основания города. Я стал заниматься этими делами и увлекся этим занятием. Это был мой первый опыт в занятиях русской историей по источникам и первую школою для чтения старых бумаг. Археологические занятия стали отвлекать меня от военной службы: вахмистр жаловался на мое нерадение, наконец, командир полка пригласил меня к себе и советовал оставить военную службу, представляя, что я не одарен к ней никакими способностями и, вероятно, принесу более пользы обществу в другой сфере. Я удалился и всецело принялся за свою археологию. Поработав целое лето над казачьими бумагами, я составил по ним историческое описание Острогожского слободского полка, приложил к нему в списках много важнейших документов и приготовил к печати; но потом задумал таким же образом перебрать архивы других слободских полков и составить историю всей Слободской Украины. Намерение это не приведено было к концу: мой начатый труд со всеми документами, приложенными в списках к моему обзору, попался в Киеве между прочими бумагами при моей арестации в 1847 году и мне возвращен не был.

Осенью 1837 года я отправился в Харьков. Чувствуя, что в моем образовании многое было упущено, и желая дополнить его, я принялся прилежно слушать лекции Лунина, иногда же я посещал лекции Валицкого. История сделалась для меня любимым до страсти предметом; я читал много всякого рода исторических книг, вдумывался в науку и пришел к такому вопросу: отчего это во всех историях толкуют о выдающихся государственных деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают жизнью народной массы? Бедный мужик, земледелец, труженик как будто не существует для истории; отчего история не говорит нам ничего о его быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях, способе проявлений его радостей и печалей? Скоро я пришел к убеждению, что историю нужно изучать не только по мертвым летописям и запискам, а и в живом народе. Не может быть, чтобы века прошедшей жизни не отпечатались в жизни и воспоминаниях потомков: нужно только приняться поискать — и, верно, найдется многое, что до сих пор упущено наукою. Но с чего начать? Конечно, с изучения своего русского народа; а так как я жил тогда в Малороссии, то и начать с его малорусской ветви. Эта мысль обратила меня к чтению народных памятников. Первый раз в жизни добыл я малорусские песни издания Максимовича 1827 года²², вели-

корусские песни Сахарова²³ и принялся читать их. Меня поразила и увлекла неподдельная прелесть малорусской народной поэзии; я никак и не подозревал, чтобы такое изящество, такая глубина и свежесть чувства были в произведениях народа, столько близкого ко мне и о котором я, как увидел, ничего не знал. Малорусские песни до того охватили все мое чувство и воображение, что в какой-нибудь месяц я уже знал наизусть сборник Максимовича, потом принялся за другой сборник его же, познакомился с историческими думами и еще более пристрастился к поэзии этого народа. Когда же я прочел «Запорожскую старину»²⁴ Срезневского и наивно верил как подлинности помещенных там песнопений под именем народных, так и историческим объяснениям издателя этой книги, то книга эта ввела меня в заблуждение. Впрочем, не меня одного она соблазнила: многие знатоки и любители народной поэзии верили в то, что в ней выдавалось за народное произведение и за историческую истину. При посредстве Амвросия Лукьяновича Метлинского²⁵, с которым сошелся еще живучи у Артемовского-Гулака, где он жил в качестве домашнего учителя, я познакомился с издателем «Запорожской старины» Измаилом Ивановичем Срезневским, тогда уже получившим должность адъюнкт-профессора по статистике в университете. Знакомство это возымело надолго сильное на меня влияние. Измаил Иванович, в то время хотя еще очень молодой человек, был глубоко начитан, замечательно умен и с большим жаром и охотой к научному труду. Я стал часто посещать его, и дом его сделался для меня любимым местом отдыха и обмена мыслей. И. И. Срезневский жил тогда за Лопанью в доме Юнкфера вместе с матерью, женщиною очень развитою, доброю, гостеприимною и хорошею музыкантшею. Хотя специальностью его была статистика, но он не чуждался изящной литературы и поэзии, питал особенную любовь к славянским языкам и литературам, любил также малорусскую народность, с которою имел случай близко познакомиться, найдясь перед тем учителем у одного помещика Екатеринославской губернии, Подольского, недалеко от днепровских порогов. Вообще сближение мое с этим человеком сильно содействовало моему стремлению к изучению малорусской народности. В это время от народных малорусских песен я перешел к чтению малорусских сочинений, которых, как известно, было в то время очень мало. До тех пор я не читал ни одной малорусской книги, кроме «Энеиды» Котляревского²⁶, которую еще в детстве, при отце, вздумал было читать, но, мало понимая, бросил ее. Теперь, вооружившись новыми взглядами, я достал повести Квитки, изданные в то время под псевдонимом Грицька Основьяненка²⁷. Мое знание малорусского языка было до того слабо, что я не мог понять «Солдатского портрета» и очень досадовал, что не было словаря; за неимением последнего служил мне мой слуга, уроженец нашей слободы по имени Фома Голубченко, молодой парень лет шестнадцати. Кроме того, где только я встречался с коротко знакомыми малороссами, то без церемонии

осаждал их вопросами: что значит такое-то слово или такой-то оборот речи. В короткое время я перечитал все, что только было печатного по-малорусски, но этого мне казалось мало; я хотел поближе познакомиться с самым народом не из книг, но из живой речи, из живого обращения с ним. С этой целью я начал делать этнографические экскурсии из Харькова по соседним селам, по шинкам, которые в то время были настоящими народными клубами. Я слушал речь и разговоры, записывал слова и выражения, вмешивался в беседы, расспрашивал о народном житье-бытье, записывал сообщаемые мне известия и заставлял себе петь песни. На все это я не жалел денег и если не давал их прямо в руки, то кормил и поил своих собеседников.

Зимую съездил я из Харькова в Полтаву, осмотрел город и посетил его окрестности. Тогда же обозрел я поле сражения со шведами, сходил на шведскую могилу, где стоял крест с написанными на нем словами, произнесенными Петром Великим в день Полтавской битвы: «а о Петре выдайте, что ему жизнь недорога, только бы жила Россия, слава, честь и благосостояние ваше». Прямо против могилы находился шинок, содержимый евреем. Заехавши туда, встретил я старика, служившего некогда, как он говорил, в ополчении 1812 года. Этот старик повел меня к огромному дубу, под которым по преданию отдыхал Петр после Полтавской битвы. Оттуда проехал я в Диканьку, имение Кочубея²⁸. Меня влекло туда то обстоятельство, что в то время я начал писать драму, которой сюжет составляла известная история Матрены Кочубей. В Диканьке священник показал мне рубашку с кровавыми пятнами, снятую с тела Василия Леонтьевича Кочубея в день его мученической смерти. Эту вещь хранили потомки как святыню, но никаких преданий, относящихся к трагическому событию, тогда меня занимавшему, я не услышал. В Диканьке случилось со мною происшествие, характерное как черта народных приемов малороссов. Я приехал в село поздно и нигде не мог допроситься ночлега; между тем мороз был жестокий, приходилось замерзать на улице, и я обратился к сельскому начальству с просьбой доставить мне какой-нибудь приют. Сельский старшина отвел мне помещение в хате одного крестьянина, но меня упорно не хотели пускать и только при настоянии начальства должны были пустить. Хозяин, лежа на печи, ворчал; хозяйка смотрела на меня исподлобья и ни за что не хотела разложить огня и сварить мне яиц; но, расположившись против их воли в их хате, я пытался разговориться с неприветливым хозяином и это мне удалось не иначе как после долгого упрямства с его стороны. Мало-помалу он разговорился, и дело кончилось тем, что мы с ним подружились и сама суровая хозяйка стала радушною, гостеприимною. Уже было около полуночи, и сами хозяева предложили развести огонь и сварить мне вареников. Вдобавок у хозяина нашлась водка; мы с ним выпили и закусили, а на другой день хозяева стали ко мне еще услужливее и при выезде из села прощались дружески и просили не забывать их, если мне случится быть в Диканьке.

О прошедшей истории Малороссии я имел сведения преимущественно по Бантышу-Каменскому²⁹. Несмотря на малое знакомство мое с малорусскою речью и народностию я задумал писать по-малорусски и начал составлять стихи, которые впоследствии явились в печати под названием «Украинских баллад»³⁰. Когда я пробовал читать мои произведения знакомым малоруссам, бывшим своим товарищам, то встретил очень неодобрительные отзывы; одни смеялись над моим малознанием и указывали мне промахи, другие поднимали на смех самую идею писать на малорусском языке. Замечательно, что Амвросий Лукьянович Метлинский, который сам впоследствии писал и печатал по-малорусски, был в числе противников моих идей о малорусском писательстве. Я не поддавался ничему и, напротив, увлечение более и более овладевало мною.

В феврале 1838 года я принялся писать драматическое произведение и в течение трех недель сотворил «Савву Чалого»³¹, взявши содержание из известной народной песни, но сделал большую историческую ошибку, произвольно отнесши событие, воспеваемое в этой песне, к первой половине XVII века, тогда как оно относилось к первой половине XVIII. Когда я прочел своего «Савву Чалого» И. И. Срезневскому в присутствии нескольких знакомых малоруссов, он очень похвалил мое произведение, а другие находили в нем разные промахи.

Вслед за тем, не печатая своих малорусских произведений, раннею весною 1838 года я отправился в Москву вместе с Метлинским, получившим какую-то командировку по должности библиотекаря, которую он занимал в Харьковском университете. Пребывание мое в Москве продолжалось несколько месяцев. Я слушал университетские лекции тамошних профессоров и имел намерение держать экзамен на степень магистра русской словесности; но отложивши этот план на будущее время, в начале лета отправился вместе с Метлинским в Воронежскую губернию, пробыл недели две у матери; потом, проводивши от себя Метлинского, остался в слободе и с жаром принялся учиться немецкому языку, в котором чувствовал себя малознающим. Я занимался очень прилежно все лето, выучил всю грамматику и целый словарь, так что мог утешать себя, раскрывая наудачу книгу и поверяя знание немецких слов, встречающихся в словаре. Вооружившись таким приобретением, я стал читать Гете и в продолжение двух месяцев прочел его всего в парижском издании в 1/8 л. в два столбца. То же сделал я и с сочинениями Шиллера.

Между тем наступала осень; я снова отправился в Харьков и принялся печатать своего «Савву Чалого». Печатание протянулось почти всю зиму, а я в это время учился по-польски у одного студента и по-чешски — самоучкой, причем тогда же перевел малорусскими стихами старочешские стихотворения, известные тогда под именем Краледворской рукописи.

За «Саввой Чалым» я отдал в печать и свои стихотворения, давши им общее название украинских баллад, название. не вполне под-

ходившее к содержанию всех помещенных там стихотворений. Обе книги после всех цензурных мытарств явились в свет весною 1839 года. Любовь к малорусскому слову более и более увлекала меня; мне было досадно, что такой прекрасный язык остается без всякой литературной обработки и сверх того подвергается совершенно незаслуженному презрению. Я повсюду слышал грубые выходки и насмешки над хохлами не только от великоруссов, но даже и от малоруссов высшего класса, считавших дозволенным глумиться над мужиком и его способом выражения. Такое отношение к народу и его речи мне казалось унижением человеческого достоинства, и чем чаще встречал я подобные выходки, тем сильнее пристращался к малорусской народности. Ездя из Харькова в свое имение и обратно в Харьков, я по дороге завел себе в разных местах знакомых поселян, к которым заезжал и при их помощи сходил с народом. При этом я записывал множество песен и сведений о народных обрядах и обычаях.

Летом 1839 года начался со мною ряд несчастий, значительно подорвавших мое здоровье. Вместе с И. И. Срезневским и несколькими знакомыми из бывших моих товарищей и молодых профессоров я был в женском монастыре Хорошеве, в 18 верстах от Харькова, окруженном красивою рощею. Мы пробыли там двое суток и лунные ночи проводили на воздухе; вследствие этого я схватил горловую болезнь и, возвратившись в Харьков, обратился к неизвестному мне медику, жившему в одном дворе со мною. До тех пор в Харькове я никогда не болел и потому не запасся постоянным врачом; тот же, которому я себя вверил, был отъявленный шарлатан и, осмотревши меня, нашел во мне какие-то ужасные болезни, страшно напугал меня и начал пичкать лекарствами, приказавши мне сидеть дома и на строжайшей диете. Через четыре дня зашел ко мне случайно один молодой доктор, преподававший в университете, и увидя, что я сижу в духоте, стал расспрашивать, а когда я ему сообщил то, что мне наговорил мой эскулап, он расхохотался, уверил меня, что делаюсь предметом эксплуатации для шарлатана, и убедил бросить все лекарства, покинуть назначенную мне строгую диету и вместе с ним идти гулять в сад. Я послушался, пошел в сад, а оттуда, желая более рассеять меня от внутренних страхов, он пригласил меня в ресторацию, где мы вместе поужинали и выпили вина. На другой день мой эскулап, узнавши об этом, сказал мне: «Ну, теперь вы пропали; через месяц увидите, что с вами будет!» Это запало мне в воображение.

Со мною долго не было ничего дурного и я отправился в свое имение; но как только кончился месяц и наступил роковой срок, назначенный эскулапом, так мне начали представляться самые возмутительные болезненные признаки. Я обратился к одному полковому врачу, который мне сказал то же, что и харьковский профессор. Недовольный этим, я прибегнул к совету другого врача — и тот сказал мне то же. Я обратился к третьему, который нашел у меня такие же болезни, как и харьковский эскулап. Тут уже ничто не могло победить

моей мнительности; я поторопился в Харьков, начал обращаться то к одному, то к другому из медицинских профессоров, наконец, один из них принял меня и поручил наблюдать за мною какому-то студенту из евреев. Попринимавши пилюли с месяц, я узнал, что мне не давали лекарств, а считая болезнь мою плодом воображения, пичкали совершенно невинными средствами. Мнительность опять одолела меня. Я еще раз обратился к новому врачу, который уже начал меня лечить действительно. От его лечения не произошло ничего. Мне все казалось, что я болен. Весною 1840 года, готовясь к экзамену на степень магистра, я обратился еще к одному медику, который закатил мне такую кладь, что после нее у меня сделались частые головные боли. Наконец, я перестал лечиться, испытавши, что ничто не помогает тем недугам, которые мне тогда представлялись.

Все лето 1840 года я провел в Харькове, занимаясь историей с целью держать экзамен на степень магистра, сидел буквально дни и ночи и, наконец, подал прошение о допущении меня к экзамену, и в то же время печатался новый сборник моих украинских стихотворений под названием «Ветка»³². Меня позвали в заседание 24 ноября. Профессор Луин экзаменовал меня из всеобщей истории очень строго; испытание продолжалось час и три четверти; я выдержал счастливо. Затем Артемовский-Гулак экзаменовал меня из русской истории до такой степени поверхностно, что я мог бы, не прочитавши ни одной книги, отвечать на его вопросы. Через десять дней позвали меня снова на экзамен из прибавочных предметов: политической экономии и статистики. Из первой экзаменовал меня Сокольский, из второй — мой товарищ по студентству Рославский. Из обоих предметов я отвечал удовлетворительно. За экзаменом следовало письменное испытание; меня заставили во время заседания совета в университетском зале сочинить два рассуждения на заданные темы, одно по всеобщей, другое по русской истории. Во время писания я случайно был свидетелем чрезвычайно скандальной сцены. В заседании совета профессор Луин сцепился с Артемовским-Гулаком и наговорил ему таких резких, обличительных замечаний, что мне показалось странным, как Артемовский-Гулак мог отбиваться от него своею обычною высокопарною риторикою. Наконец, заметивши мое присутствие и находя неуместным допускать постороннего свидетеля таким семейным сценом в ученом сословии, мне велели уйти в другую комнату. Мои письменные ответы были признаны удовлетворительными, и мне дозволили писать и представить диссертацию на избранную мною самим тему. Я избрал о значении унии в истории Западной Руси и весною 1841 года подал написанную диссертацию в факультет. Отдавши свое сочинение на рассмотрение, я отправился в Крым для морского купанья, так как по совету врачей недавние избыточные приемы лекарств и усиленная головная работа по приготовлению к магистерскому экзамену требовали поправления моего здоровья.

Я купался в Феодосии, где испытал ужаснейшую скуку, тем более что в то время я не мог найти удобного помещения в городе и жил в очень плохой гостинице. Протерпевши четыре недели, я отправился на Южный берег верхом с проводником татаринном, имел намерение объехать весь берег до самого Севастополя, но, доехавши до Ялты, утомился и поворотил назад к Алуште; оттуда ездил на вершину Чатырдага и, спустившись с горы, проехал в Симферополь, посетивши по указанию моего проводника исток Салгира.

В первый раз в жизни видел я высокие горы и морские берега. Восхождение на Чатырдаг оставило на мне неизгладимое впечатление. На вершине горы представился мне поразительный вид горных вершин Яйлы и безбрежной синевы Черного моря. Несмотря на то что день был ясный и очень знойный, на вершине Чатырдага меня пробирал такой холодный ветер, что впору было надевать теплое платье. Пробывши там несколько часов, я стал спускаться уже при солнечном закате и когда был на половине спуска с горы, небо уже темнело. Спускаться с Чатырдага для непривычного человека кажется очень страшно: склона горы не видно сверху вниз и беспрестанно кажется, как будто летишь в пропасть. Потерявши из вида своего проводника, я до того пришел в страх, что соскочил с лошади и намеревался сходить пешком; лошадь карабкалась по каменной почве такими неровными шагами, что казалось — вот упадет и я с нее полечу вниз; но мой татарин, завидя, что со мною делается, подъехал ко мне, помог снова сесть на лошадь и успокоил меня, уверяя, что крымские лошади привыкли, как кошки, лазить по горам и никогда не сбросят седока. В темноте съезжать было бесстрашнее, потому что глаз не видел пред собою мнимой пропасти. Съехавши с крутизны, приходилось пробираться лесом, и тут новое неудобство: древесные ветви больно стегали меня по лицу. Дорога, ведущая от Чатырдага к Симферополю, пробирается посреди высоких гор, затейливо поросших кустарниками и деревьями. На дороге встречались фонтаны, устроенные благочестивыми мусульманами, так как вообще по мусульманской вере постройка фонтана на дороге считается богоугодным делом. Из Симферополя я съездил в Бахчисарай, обозрел тамошний дворец, который тогда содержался бережно и красиво; комнаты были меблированы в восточном вкусе; меня в особенности пленил огромный зал с тремя фонтанами, из которых один был знаменитый «Фонтан слез», воспетый Пушкиным. Рядом с этим залом — павильон из разноцветных стекол с большим фонтаном посредине, а из павильона — выход к каменному бассейну, куда втекала чрезвычайно холодная вода из двух фонтанов, устроенных один против другого на противоположных краях бассейна. Вся стена около этого бассейна покрыта вьющимся виноградом, а по берегу бассейна посажены мирты. Я с удовольствием выкупался в этом бассейне, бывшем некогда ханскою купальнею. В Бахчисарае я познакомился с одним греком, занимавшим должность учителя и смотрителя в уездном училище, и вместе с ним совершил путешествие

верхом в Чуфут-Кале. Двухдневное пребывание в Бахчисарае оставило следы в моей литературной деятельности: я написал несколько малорусских стихотворений, из которых два «До Марьи Потоцкий» и «Аглае-Чесме»³³ напечатаны были (?) в «Молодике» Бецкого³⁴.

Воротившись снова в Симферополь, я поехал оттуда в Керчь. Здесь я с любопытством осматривал боспорские могилы и музей, в котором в то время хранилось множество древностей, впоследствии пересланных в императорский Эрмитаж. Керченские могилы и найденные в них остатки сильно заняли мое воображение: я написал по-малорусски стихотворение, напечатанное впоследствии в «Молодике» Бецкого*. Я изобразил блуждающую тень одного из боспорских царей, которого прах выбросили из могилы древлеискатели, и тень не находит себе покоя, что представлено сообразно известному антическому верованию о беспокойном блуждании умерших, лишенных погребения. Случайно познакомившись в Керчи с тамошними обывателями, я услышал возмутительные вещи о злоупотреблениях, совершавшихся при раскопке керченских курганов. Так, например, рассказывали, что, раскопавши «Золотой курган», но не выбравши из него всех вещей, оставили на ночь без караула, и толпа жителей, проведавши это, бросилась туда и разграбила сокровища, которых не успели прежде вынести археологи. Говорили, что после иудеи продавали обломки украшений, куски разрубленного золотого царского скипетра и множество золотых монет. Кроме того о самых археологах, раскапывавших курганы, ходили неодобрительные отзывы. Говорили, будто бы они утаивали найденные в курганах драгоценности и тайно продавали их англичанам.

Из Керчи я поплыл пароходом до Таганрога, где оставались мои лошади, и поехал сухопутьем в свое имение, из которого скоро опять выехал в Харьков. По приезде в Харьков я узнал, что моя диссертация утверждена факультетом, но не всеми его членами. Ее не нашли достойною Артемовский-Гулак и профессор Протопопов. Первый из них находил, что само заглавие ее по близости к современным событиям не должно служить предметом для ученой диссертации; но так как большинство членов утвердило ее, то она была признана и я начал ее печатать. В это время я сблизился с целым кружком молодых людей, так же, как и я, преданных идее возрождения малорусского языка и литературы; это были: Корсун³⁵, молодой человек, воспитанник Харьковского университета, родом из Таганрога, сын довольно зажиточного помещика; Петренко³⁶, бедный студент, уроженец Изюмского уезда, молодой человек меланхолического характера, в своих стихах всегда почти обращавшийся к месту своей родины, к своим семейным отношениям; Щоголев³⁷, студент университета, молодой человек с большим поэтическим талантом, к сожалению, рано испарившимся; его живое воображение чаще всего уносилось в старую

* «Пантикапея».

казацкую жизнь; Кореницкий ³⁸, сельский дьякон, в его стихотворной поэме «Вечерниці» заметна сильная склонность к сатире и влияние «Энеиды» Котляревского; самое его произведение написано тем же размером и складом, как «Энеида»; наконец, семинарист Писаревский ³⁹, сын священника, уже написавший по-малорусски и издавший драму «Купала на Ивана»; этот молодой человек владел хорошо языком, стих его был правилен и звучен, но большого творческого таланта он не показывал. Корсун затеял издание малорусского сборника («Снип») и наполнил его стихами, как собственными, так и своих сотрудников; самому издателю принадлежали стихотворные рассказы, взятые из народного вымысла о хождении Христа с апостолом Петром по свету и о разных приключениях, происходивших с ними; рассказы переданы верно, но цензура не позволила печатать имен Христа и апостола Петра, и Корсун должен был заменить их именами Билбога и Юрка. Я поместил там перевод нескольких «Еврейских мелодий» Байрона и трагедию «Переяславська ніч» ⁴⁰, написанную пятистопным ямбом без рифм, не разбивая на действия, со введением хора, что придавало ей вид подражания древней греческой трагедии. Сюжет трагедии взят из эпохи Хмельницкого при самом начале его восстания, но мне значительно повредило доверие, оказанное таким мутным источникам, как «История руссов» Конисского ⁴¹ и «Запорожская старина» Срезневского; кроме того я уклонился от строгой сообразности с условиями века, который взялся изображать, и впал в напыщенность и идеальность, развивши в себе последнюю под влиянием Шиллера. Вслед за тем явился другой деятель по части возрождающейся малорусской словесности: то был некто Бецкий, приехавший в Харьков из Москвы. Он начал готовить сборник, который предполагал наполнить статьями, писанными по-малорусски или относящимися к Малороссии. Познакомившись со мною, он заявил доброе желание собрать воедино рассеянные силы духовных деятелей и направить их к тому, что имело бы местный этнографический и исторический интерес. Я обрадовался такому появлению, видя в этом зарю того литературного возрождения, которое давно уже стало моею любимую мечтою. В это время я познакомился с Григорием Федоровичем Квиткою и стал довольно часто ездить к нему в село Основу вблизи Харькова, где он жил в имении своего брата, сенатора, занимая небольшой домик, стоявший отдельно от господских построек. Я очень полюбил этого старика, искренним сердцем любившего свою народность; равным образом его жена сделала на меня приятное впечатление: она не была уроженкой Малороссии, но отзывалась не иначе как с большой любовью обо всем малорусском. Иногда я ездил к нему с Бецким, иногда с Корсуном. То было время самого большого развития таланта Квитки, поступившего в малорусские писатели уже около шестидесяти лет от рождения. Кроме повестей, изданных в двух частях, он готовил к печати третью часть, где, как и в первых двух, предполагалось поместить три повести. Одна из этих предполагаемых по-

вестей — «Сердешна Оксана» явилась в альманахе «Ластивка», напечатанном Гребенкою в Петербурге; другая — «Покоти-поле» отдана была Бецкому, и третья — «Божьи дити» напечатана в переводе в «Современнике», а по-малорусски никогда не выходила. Кроме того у Квитки была в то время в рукописи большая повесть «Щира любовь», из которой он составил драматическое произведение, игранное на харьковском театре и напечатанное в позднейшем издании сочинений Квитки. Была у него шуточная комедия под названием «Бой-жинка», которой содержание взято им из народной сказки и состоит в том, что жена дурачит и проводит ревнивого и глуповатого мужа. Пьеса эта, как и «Щира любовь», игралась когда-то на харьковском театре, но большого успеха не имела.

Независимо от этого круга украинских деятелей я имел круг других близких знакомых. И. И. Срезневского долго не было в Харькове: он был за границу, куда отправился для изучения славянских языков; из других близких со мною личностей, принадлежавших к университетскому кругу, я вспомню профессора Александра Петровича Рославского-Петровского, с которым я проживал несколько лет на одной квартире и держал с ним общий стол. В то время он читал статистику, уже после моего отъезда из Харькова взялся за историю, был несколько времени ректором и скончался не в очень старых летах. Это был человек с большою начитанностью, огромною памятью, но ленивый, рассеянный и преданный карточной игре, зато очень добросовестный и правдивый. А. Л. Метлинский читал в то время русскую словесность; он был очень трудолюбив, но неталантлив и притом болезнен, страдал грудью и говорил тихо и вяло. Как профессор он не пользовался большим уважением. Прежде постоянно споривший со мною против моих идей об украинской литературе, он, наконец, поддался той же идее, стал писать малорусские стихи и напечатал их под псевдонимом Амвросия Могилы, назвавши свой сборник «Думки и писни та еще дещо». Стихи его казались хорошими, плавными, но творческого таланта за ним не признавали. К таким же близким знакомым надобно причислить Поликарпа Васильевича Тихоновича, бывшего тогда учителем латинского языка в Первой гимназии, человека трудолюбивого, отлично знающего как латинскую, так и греческую словесность, и превосходного педагога. Последний хотя был со мною постоянно дружен, но оставался совершенно холоден к украинской народности и, занятый своим античным миром, как будто ни во что не ставил все современное. Это был классик в полном смысле этого слова. Впоследствии он был профессором в университете и в настоящее время занимает должность директора той гимназии, в которой начал свое учительство.

В 1842 году, в то время как я готовил кое-что для Бецкого в предполагаемый сборник, печаталась моя диссертация, и на шестой неделе поста назначено было ее защищение. В это же время перевели куда-то харьковского архиепископа Смарагда, и вместо него прибыл в

Харьков архiereем знаменитый духовный оратор Иннокентий Борисов. Ко мне приезжает декан историко-филологического факультета Валицкий, и сообщает, что Иннокентий, узнавши о моей диссертации, выразил какое-то неудовольствие и неодобрение; затем Валицкий советует мне ехать вместе с ним к архiereю, поднести ему экземпляр моей диссертации и в разговоре проведать, в чем состоит его неудовольствие. Мы поехали. Иннокентий сказал, что уже читал ее и заметил несколько мест, о которых может сказать, что лучше было бы, если бы их не было. На одно место указал он, где о споре константинопольского патриарха с папою было сказано, что властолюбие иерархов посеяло вражду и раздвоение в миролюбивой церкви Христовой. Это показалось архiereю несправедливым: о папе можно так говорить, но о патриархе не следует. В другом месте его неприятно задело то, что я напомнил о безнравственности духовенства в Западной Руси пред унией, о тяжелых поборах, которые брал с русских константинопольский патриарх; наконец, не понравилось ему и то, что я выразился, что уния принесла отрицательную пользу православию именно потому, что возбудила против себя оппозицию, которая произвела Петра Могилу и всю его преобразовательную реформу. Я начал доказывать историческую справедливость моих мнений, а Валицкий спросил Иннокентия, как понимать его возражения — в цензурном или же только в ученном смысле. Иннокентий сказал, что единственно в ученном, а никак не в цензурном. Тогда, отвечал Валицкий, дефенденту предоставляется защищать свои положения на кафедре во время защиты. Тем и кончилось первое свидание. Иннокентий, увидевши меня потом в церкви, пригласил меня к себе и начал толковать снова, советуя мне после защищения диссертации ехать в Петербург и посвятить свои труды на более дельную и ученую разработку вопроса об унией. Я сказал, что намерен заниматься другим, но с той поры стал бывать у архiereя, который вообще был человек разносторонне образованный и очень приятный в беседе, не говоря уже о его проповеднической деятельности, которая с его приезда вдруг оживила Харьков. Толпы публики всякого звания и воспитания стекались в церковь к его слушению, и я также не упускал случая слушать его проповеди, произносимые с признаками большого таланта.

Между тем наступал день защищения моей диссертации. Накануне этого дня является прибитое к стенам университета объявление, в котором говорится, что по непредвиденным обстоятельствам защищение диссертации Костомарова отлагается на неопределенное время. Декан факультета на мой вопрос об этом сообщил мне, будто Иннокентий написал какую-то бумагу помощнику попечителя, в которой предлагает остановить мое защищение до сношения с министром. Так как тогдашний попечитель граф Головкин был очень стар и не занимался делами, то все управление делами округа находилось в руках его помощника князя Цертелева. Я отправился к нему и узнал, что действительно Иннокентий сделал такое заявление. Я обратился к

Иннокентию. Архирей сказал мне, что он не имеет против меня ничего в цензурном отношении, а только готовится оспаривать меня ученым образом. Я видел в словах архирея скрытность. Прошло между тем более месяца; меня известили, что министр народного просвещения, которым был тогда граф Сергей Семенович Уваров ⁴², прислал написанный профессором Устряловым ⁴³ разбор моей диссертации и вместе с тем предписал уничтожить все экземпляры, которые были напечатаны, а мне позволить писать иную диссертацию. Так как кроме профессоров и коротких знакомых я не успел ее пустить в публичную продажу, то мне поручили самому объездить всех тех, у кого находилась или могла найтись моя диссертация, отобрать все экземпляры и представить в совет университета для сожжения. Все это я сделал; но большая часть профессоров, к которым я ездил, отговорились неимением у себя экземпляров под разными предлогами, и вместо ста экземпляров, которые были розданы, мне удалось возвратить в правление менее двадцати. Все возвращенные были преданы огню. Я был в полной уверенности, что все это дело Иннокентия, и в такой уверенности оставался очень долго; в Петербурге же в шестидесятых годах мне говорили занимавшиеся архивными делами в министерстве Уварова, что не Иннокентий был причиною сожжения моей диссертации, а один из харьковских профессоров, пославший на меня извет министру. Однако из биографии Иннокентия, напечатанной в «Русской старине» ⁴⁴ 1878 года, оказывается главное участие преосвященного Иннокентия в тогдашнем задержании моей диссертации. Будучи в то время убежденным в виновности Иннокентия, я, однако, не прекратил с ним знакомства; он говорил мне, что нимало не причастен в этом деле, был со мною постоянно ласков и приглашал к себе. Так было до моего выезда из Харькова.

Мне позволили писать новую диссертацию, я выбрал тему «Об историческом значении русской народной поэзии» ⁴⁵. Предмет этот был давно уже близок моему сердцу; уже несколько лет я записывал народные песни, и у меня их накопилось довольно. Теперь-то я предположил провести мою задушевную мысль об изучении истории на основании народных памятников и знакомства с народом, его преданиями, обычаями и способом выражения мыслей и чувствований. Я подал свою тему в факультет и тотчас встретил неодобрительные отношения к ней некоторых лиц. Профессор философии Протопопов первый не одобрил ее и находил, что такой предмет, как мужицкие песни, унижителен для сочинения, имеющего целью приобретение ученой степени; но всего страннее покажется, что против этой темы был и Артемовский-Гулак, несмотря на то что по правде считался лучшим знатоком малорусской народности, как это и доказывали его собственные малорусские сочинения. Он писал их еще в молодости, в конце 20-х годов, а потом совершенно оставил этот род занятий до глубокой старости, когда опять написал несколько малорусских стихотворений, но уже с меньшими признаками таланта. Одним из

превосходнейших его малорусских произведений была басня «Панта собака», явно обличавшая темные стороны тогдашнего крепостного права. По поводу этого сочинения кто-то, желая подсмеяться над ним, как бы в пародию того, что говорилось некогда о Хераскове по поводу его поэм, написал такое четверостишие:

Пушай в Зоиле сердце ноет,
Но Гулаку оно вреда не нанесет.
Рябко его хвостом покроет
И в храм бессмертия введет.

Написанное в насмешку, мимо желания автора насмешки сделалось лучшею оценкою и похвалою поэтического таланта Гулака-Артемовского. Старавшись целый век играть какую-нибудь роль, — как профессор русской истории, как ректор университета и как попечитель двух женских институтов, — он не достиг своей цели: он не приобрел ни знаменитости, ни памяти потомства на этом поприще, но остался бессмертен как народный малорусский поэт; никто не превзошел его в знании всех изгибов малорусской народности и в неподражаемом искусстве передавать их поэтическими образами и превосходным народным языком. А между тем во всю свою жизнь он и не подозревал, в чем действительно мог быть он выше всех и приобрести знаменитость как литератор! Свои малорусские стихотворения писал он ради шутки и считал их не более как шуткою. Артемовский-Гулак как поэт и человек был иное лицо, чем профессор. Верный старым предрассудкам, он не понимал, что история как наука обязана заниматься более народною жизнью, чем внешними событиями. Протест Артемовского-Гулака был, однако, не настойчив, и когда я подал свою диссертацию уже написанную, он был в числе утвердивших ее. Профессор Протопопов, напротив, продолжал оставаться при прежнем взгляде и выразился, что считает даже неприличным ходить на защиту такой диссертации.

С целью увеличить средства к жизни, которые оказывались недостаточными от присылок из материнского имения, я начал искать себе службы и определился в должность помощника инспектора студентов в Харьковском университете. Помощников было пять, и мне приходилось не более одного раза в неделю ходить на дежурство в корпус казеннокоштных студентов и пробывать там целые сутки, от утра одного дня до утра другого; все остальное время я употреблял на писание своей диссертации. В это время я квартировал вместе с профессором Рославским-Петровским в доме Альбовской, недалеко от театра; но квартира моя, находясь в нижнем этаже, оказалась сырою и нездоровою; тем не менее я пробыл в ней всю осень и зиму. При этом я считаю нелишним вспомнить о тогдашнем театре в Харькове. Еще ранее, до 1840 года, театр помещался в деревянном здании на длинной площади, носившей название Театральной. Труппу содер-

жал сначала Штейн ⁴⁶, а потом передал ее Млотковскому ⁴⁷. С 1840 года театр стал помещаться во вновь отстроенном каменном здании на другом конце той же площади и находился под заведыванием дирекции. Во все продолжение времени пребывания моего в Харькове я довольно часто посещал спектакли, а во время моей службы помощником инспектора даже по обязанности должен был часто бывать в них. Харьковский театр во все известные мне годы не лишен был появлявшихся на его сцене более или менее даровитых актеров и актрис. Между ними стоит вспомнить Млотковскую, прекрасно игравшую в комедиях и водевилях, но иногда не без успеха бравшуюся и за драматические роли. Соленик был артист, который занимал бы блестящее место и на столичной сцене, и держался в Харькове единственно потому, что был харьковский домовладелец и вступил на сцену из любви к искусству. Он был превосходен во всяких комических ролях и несколько напоминал московского Шумского, появившегося на сцене в более позднее время. Не лишен был дарования и Домбровский, также комический актер, особенно отличавшийся в малорусских ролях. Надобно отдать честь режиссерам харьковской сцены, что пьесы, назначаемые для представлений, брались большею частью сообразно местным условиям театра; не решались представлять того, что по средствам театра трудно было поставить надлежащим образом, как это обыкновенно делалось в провинциальных театрах других городов, где нипочем казалось угощать публику такими спектаклями, которые и по декорациям, и по музыке, и, наконец, по костюмам и искусству артистов не подходили к провинциальной сцене.

Весною 1843 года моя диссертация была готова и подана на факультет. Тогда же Бецкий выпустил в свет одну за другою три книжки своего «Молодика». Первая из них заключала в себе беллетристические сочинения, стихотворные и прозаические, на русском языке; там я не поместил ничего. Вторая вмещала в себе исключительно сочинения в стихах и прозе на малорусском языке; здесь поместил я свои стихотворения, написанные в Крыму, и перевод нескольких пьес из старочешской Краледворской рукописи. Третья, на которой означен был уже 1844 год, посвящена была русским статьям, относящимся к истории и этнографии Малороссии; здесь появились мои первые исторические опыты, касавшиеся прошедшей судьбы Малороссии: описание восстания Наливайка и биографический очерк фамилии князей Острожских.

Находя, наконец, для себя нездоровым оставаться в сырой квартире, я расстался с Рославским и нанял себе квартиру за Лопанью, в доме одной священнической вдовы, недалеко от церкви Благовещения. Это была моя последняя квартира в Харькове и самая лучшая; я занимал две светлых комнаты во дворе, засаженном большими деревьями, при фруктовом саде, за которым начинался луг. Это был конец города. В это же время я вынужден был подать в отставку из должности помощника инспектора, к которой не чувствовал ни спо-

собностей, ни расположения. Задумавши жениться на гувернантке в доме г-жи Тизенгауз, я вызвал на дуэль моего соперника, отбившего у меня невесту и затем покинувшего эту девицу: понятно, что такому пылкому господину не сочли возможным доверять наблюдение за студентами. Я занялся преподаванием истории в мужском пансионе Зимницкого, а между тем тогда же мне явилась мысль писать историю эпохи Богдана Хмельницкого. В мае 1843 года я начал работать над нею. Харьков не представлял богатых источников для такого труда, и я принужден был ограничиваться печатными польскими, русскими и латинскими сочинениями, но уже случайно приобрел и несколько рукописных. Таким образом один из моих знакомых, Сементовский ⁴⁸, сообщил мне Грабянкину летопись в двух частях: первая, называвшаяся «История о презельной брани», заключала в себе повествование о войнах Хмельницкого до его кончины, вторая начиналась гетманством Выговского и велась до 1721 года. Заметно было, что эти две части составлены были различными лицами, да и в летописи, которая мне досталась, вторая была писана иною рукою, чем первая. Списки принадлежали, как показывал почерк, к первой половине XVIII века. Учитель Второй гимназии Третьяков, бывший мой товарищ, уделил мне другую летопись, также в списке XVIII века; то был Самовидец. Затем я получил несколько рукописных источников от И. И. Срезневского; то были те, которые впоследствии Бодянский ⁴⁹ напечатал в «Чтениях», именно: Симоновский ⁵⁰, Зарульский ⁵¹ и повесть «Еже содеяся», или сказание о гетманах малорусских до Богдана Хмельницкого; наконец, большое сочинение Ригельмана, которое также впоследствии появилось в печати в «Чтениях»: «Летописное повествование о Малой России». В библиотеке Харьковского университета я нашел также несколько рукописных летописей и один рукописный сборник актов, относящихся к истории Малороссии. От моего знакомого Варзина я достал список Конисского. С таким незначительным запасом источников принялся я описать своего Богдана Хмельницкого. Работа увлекла меня в сильной степени, и, вспоминая это время, я могу назвать его одним из приятнейших в жизни. По временам я прочитывал написанные части моего сочинения своим знакомым, в числе которых первое место занимал И. И. Срезневский, воротившийся из-за границы и вступивший тогда на кафедру славянских наречий. Так прожил я до конца 1843 года. Диссертация моя была рассмотрена, одобрена и зимою напечатана. По ее поводу я сошелся с профессором Луниным; хотя прежде я часто слушал его на лекциях и глубоко уважал, но домашним образом не был с ним знаком. Теперь меня свело с ним то, что моя диссертация ему особенно понравилась и он вполне сочувствовал моей мысли о введении народного элемента в науку истории. Как человек с европейским образованием, он способен был смотреть шире других ученых мужей старого закала.

День защищения моей диссертации назначен был 13 января 1844 года. Моими оппонентами были профессора Якимов и Срезнев-

ский. Якимов, вырвавши из моей диссертации два песенных стиха, потребовал от меня доказать, что здесь есть какая-нибудь поэзия. Прежде чем я собрался отвечать ему, Лунин засмеялся и сказал: «Это все равно, если бы рассечь человека по частям и потребовать, чтобы показали, где у него душа; ни в ноге, ни в руке, ни в ухе, ни в носу нет души, а весь человек живой — с душою». В конце защищения прибыл преосвященный Иннокентий, вмешался в спор и начал приводить сравнения народной поэзии вообще с Библиею; но Артемовский-Гулак, бывший ректором, сделал такое замечание: «Ваше преосвященство! евреи были народ, состоявший под особым покровительством Божиим, а потому мы о нем и его поэтических произведениях касаться считаем неуместным». После официальных диспутов профессор ботаники Черняев вступил в толкование названий растений, которые встречались в моем сочинении в качестве народных символов, но ректор заметил, что диссертация моя не по предмету ботаники и вдаваться собственно в ботанические прения здесь неуместно. По окончании защищения меня провозгласили получившим степень магистра исторических наук.

Пущенная в публику, моя диссертация получила сочувственный отзыв только в одном «Москвитянине», в статье, написанной Срезневским; в других журналах — «Библиотеке для чтения» и «Отечественных записках» — ее приняли не так ласково. В «Библиотеке для чтения», которою заправлял тогда Сенковский, мои мнения о важности народной поэзии для историка подали только возможность поглотиться и позабавиться над моею книгою; в «Отечественных записках» перо знаменитого тогда Белинского выразилось, что народная поэзия есть такой предмет, которым может заниматься только тот, кто не в состоянии или не хочет заняться чем-нибудь дельнее. Видно было, что знаменитый и впоследствии так прославленный русский критик не в состоянии был видеть важности народной поэзии, важности, в наше время уже безусловно признанной наукою. Впрочем замечательно, что тот же Белинский, еще в 1839 году разбирая в «Отечественных записках» моего «Савву Чалого» и «Украинские баллады», отнесся обо мне совсем иначе и признал за мною несомненный талант.

III

Учительство и профессура в Киеве

После защищения диссертации я несколько месяцев продолжал оставаться в Харькове и занимался обработкою истории Богдана Хмельницкого. Это занятие, увлекая меня, внушало сильное желание побывать в тех местностях, где происходили описываемые мною

события, и с этою целью я обратился к князю Цертелеву⁵² с просьбою написать киевскому попечителю о моем желании получить место в Киевском учебном округе; вместе с тем я просил прописать главную ученую цель этого желания. По такой просьбе в конце сентября 1844 года князь Цертелев известил меня, что киевский попечитель предлагает мне взять на первых порах должность учителя истории в ровенской гимназии и для этого предоставляет мне приехать в Киев. Я тотчас списался с матерью, известил ее, что через две недели уеду в Киев; мать моя поспешила приехать в Харьков. 7 октября вечером я выехал из Харькова на почтовых, провожаемый матерью и толпою харьковских знакомых, изъявлявших мне желание найти счастье в ином крае.

По прибытии в Киев явился я к попечителю Давыдову, но тот на мое объяснение о приглашении меня сказал, что ничего об этом не знает, и поручил обратиться к его помощнику Юзефовичу. Я отправился к последнему. Он принял меня радушно, говорил, что читал мою диссертацию, наговорил по ее поводу множество комплиментов и подтвердил о назначении меня учителем гимназии в Ровно, где свободное от преподавания время я могу посвятить на обзор исторических местностей и памятников местной истории. Во время моего посещения входит молодой человек, которого Юзефович знакомит со мною. То был Пантелеймон Александрович Кулиш⁵³. Разговор зашел об источниках малорусской истории, и мы обоюдно с удовольствием узнали, что нам обоим были знакомы одни и те же источники. Выходя от Юзефовича вместе с Кулишом, я отправился в соборную церковь св. Софии и осматривал ее с большим любопытством; в то время она еще не была реставрирована, старые фрески не были открыты, а стены ее были испещрены живописью на штукатурке, которую впоследствии ободрали; только в некоторых местах начато было открытие фресок; правая лестница на хоры со стенными изображениями старинной княжеской жизни не была вовсе открыта для публики. Походивши в Софиевском соборе, я отправился к Кулишу, который занимал тогда должность смотрителя уездного училища на Подоле. Когда мы заговорили о собрании песен, Кулиш вынул огромный ворох бумаг: то было его собрание народных песен. Сам я в ожидании подорожной и подъемных денег для следования в Ровно поселился на Подоле у какого-то мещанина, неподалеку от Братства. С тех пор я виделся с Кулишом почти каждый день; мы ходили с ним по Киеву и осматривали разные киевские достопримечательности; он же познакомил меня с М. А. Максимовичем, жившем на Старом городе, близ упраздненной ныне церкви св. Троицы, занимая небольшой деревянный домик с садом.

Припоминая тогдашнее мое обозрение Киева, я не могу без удивления не заметить, какую разницу представлял этот город в то время с тем видом, какой он имеет в настоящее время. Печерск был центром торговой деятельности; в той местности, которая теперь вошла в кре-

пость, были ряды лавок, наиболее посещаемых публикою; университет стоял почти в поле, посреди неудобопроходимых бугров и песчаных насыпей; Старый город был немощен, усеян некрасивыми мазанками и лачугами и кроме того представлял большие пустыри; Крещатик не имел тогда ни магазинов, ни лавок, ни отелей. Большая часть построек была деревянная, мостовой совсем не было, в сырое время была там большая грязь и слякоть. Набережной по Днепру вовсе не было; берег его от Подола под горою был буквально непроходим, и я, затеявши пойти по берегу с Подола с намерением добраться до Лавры, принужден был воротиться за невозможностию идти по косоугру, особенно в дождливое осеннее время. Город плохо освещался, так что ходить ночью было истинным наказанием. Мне, приехавшему из Харькова, Киев показался как город гораздо хуже последнего.

Пробывши в Киеве дней десять и получив третное жалованье не в зачет, я отправился в Ровно. Дорога шла посреди дремучих лесов; погода была все время необыкновенно дождлива; от Киева до Ровно я не видал солнца, и платье мое не обсыхало; несмотря на то я остановился в Корце, где обозрел развалины старого замка, — потом был в Остроге. Здесь я ходил в развалины иезуитского монастыря, сходил в двойное подземелье и видел там множество разбросанных скелетов; некоторые удивительно сохранили на себе кожу и засохшее тело. Квартировавшие в Остроге солдаты ходили в эти развалины и обдирали с мертвецов платье, отдавая его своим женам на одежду. Затем я посетил капуцинский монастырь, который не дошел еще до таких развалин, как иезуитский. Монахи были удалены из него недавно; костел оставался с деревянною утварью, образами и лавками, хотя служить в нем уже было некому; я застал в середине его прогуливающегося в шапке иудея, который оказался снимавшим от казны монастырский сад, и здесь я спускался в погреб, служивший некогда усыпальницею. Вошедший туда прежде меня солдат отбивал одну могилу, замурованную в стене; по надписи видно было, что здесь была погребена г-жа Сосновская, умершая в 1633 году. Солдат отбил доску и вытащил гроб, открывавшийся с одной стороны как сундук: предо мною лежала особа средних лет в плотном шелковом платье вишневого цвета; не прошло трех минут, как образ ее изменился, рассыпался прахом — остался один скелет. Шелковое платье удивило меня чрезвычайною плотностью ткани: оно было по толстоте похоже на драп. Из капуцинского монастыря я отправился на гору, где стояли развалины православной церкви Богоявления, а около нее башни, бывшие по ограде двора князей Острожских, и остаток их дома, занимаемый тогда каким-то присутственным местом. На церкви не было крыши, и самые стены во многих местах грозили падением, так что ходить между этими развалинами было небезопасно. На вершине башен живописно поросли случайно насажившиеся деревья. Говорили, что под холмом находятся подземные ходы, но я не нашел никого, кто бы

меня повел туда. Осмотревши Острог, я отправился далее в путь и в тот же день ночью прибыл в Ровно. Этот грязный иудейский городок, где суждено мне было проживать, с первого же вида показался мне очень неприветливым, особенно при страшной грязи и при совершенном отсутствии наемных лошадей; к счастью, он так мал, что куда бы ни пойти, все не будет далеко.

Наутро явился я директору Абрамову, будущему моему начальнику, был им принят довольно сухо, хотя и вежливо, и принялся искать себе квартиры для помещения. Хозяин единственной гостиницы, куда я пристал, порекомендовал мне еврея-фактора, а последний известил, что можно иметь квартиру со столом у некоего пана Самарского, которого дочь находилась замужем за учителем гимназии Елифановичем и жила вместе с мужем во дворе отца. Отправившись с иудеем, я завел с ним разговор и услышал от него забавные сведения о его житье-бытье. «Я, — говорил он, — был богатый торговец, торговал шелковыми материями, да пан ассессор (исправник) меня обобрал до нитки, поймавши в контрабанде; уже два раза я был в переделке и после третьего раза приходилось идти в Сибирь, поэтому ассессор что хотел, то и мог с меня сорвать; с нами, с жидами, все так поступают: ассессоры следят за нами, дадут время навозить контрабанды и обогатиться, а потом накроют и оберут; потом снова пускают наживаться, а как наживемся, они снова накроют и снова оберут, и так мы работаем на них». Этот иудей довел меня к Самарским. Я нашел очень приветливых хозяев, старика и старуху, говоривших чистым малорусским языком; с ними в одном дворе, только в другом доме жил их зять, учитель латинского языка. Я нанял квартиру, которая поразила меня необыкновенною дешевизною: с меня взяли десять рублей в месяц за две комнаты со столом и стиркою белья. Когда я перебрался в свое новое помещение и отправился к моим новым хозяевам на трапезу, меня поразило обилие яств и радушие хозяев. Каждый раз было разливное море «старой водки» и домашней наливки превосходного качества; кушанья были приготовлены довольно грубо на сале, но в большом изобилии и из хорошего материала. Так начал я жить изо дня в день, посещая уроки.

В гимназии было до трехсот учеников; большинство составляли поляки или местные уроженцы римско-католического исповедания, православных было всего тридцать пять человек, но они по образу первоначального воспитания, кроме вероисповедания, ничем не отличались от остальных. Сверх того было несколько учеников иудейского происхождения. Большая часть училась хорошо, лентяи составляли значительное меньшинство, все вели себя благочинно: не происходило никаких грязных шалостей, которыми, как известно, отличались многие гимназии в центре России. Учеников польского происхождения, живших в пансионе или на общих квартирах, устроенных при гимназии, обязывали непременно говорить между собою по-русски, но это соблюдалось ими только по нужде и с явною неохотою. Учителя

все были русские, исключая немца и француза; большая часть учителей принадлежала к малоруссам левой стороны Днепра.

Иногда для развлечения я ходил с товарищами-учителями играть на билиярде в ресторацию. Из учителей я сблизился наиболее с учителем латинского языка Чуйкевичем и математики — Яновским; первый знал много малорусских песен и, часто приходя ко мне, пел их, доставляя мне большое удовольствие, а последний почти каждый день играл со мною на билиярде. На рождественских святках, сговорившись со священником единственной ровенской церкви Омелянским, я совершил в несколько дней путешествие по соседним местностям, известным по истории, а именно: посетил Дерманский монастырь⁵⁴, в котором проживал Отрепьев, и Гошу⁵⁵, где в XVI веке в имении Гойского был главный притон арианской секты с училищем в духе арианского учения и где в числе учеников был и наш Самозванец. Затем я посетил Пересопницу⁵⁶, бывшую когда-то удельным княжеством, Межирич и Тайкуры с развалинами замков.

Возвратившись в город, я снова принялся за свое педагогическое дело, а перед праздником пасхи 1845 г. предпринял новое путешествие уже подальше. Я нанял пару лошадей у еврея; со мной поехал учитель Маловский, уроженец тамошнего же края и потому знакомый как с местностью, так и с житейскими обычаями. Мы приехали в Кременец в день великой пятницы. Первым делом моим было взойти пешком на вершину крутой и высокой горы, где виднелся обвалившийся замок, приписываемый преданием королеве Бонне, жене короля Сигизмунда I. Восток был труден и утомителен. Достигши вершины, я увидел великолепное зрелище раскинутого у подножия города, а вдаль рассыпались разнообразные холмы горных вершин, покрытые лесом. Ко мне доносился звон колоколов в церквях, призывавший к вечерне. Ветер на горе был так силен, что едва можно было устоять на ногах. Я осматривал кратер колодца, как говорят местные жители, невероятной глубины; по их словам, смельчаки пробовали спускаться в это отверстие в корзинах на цепях, доходили до такой глубины, что могли среди солнечного дня видеть звезды, но до дна не достигли. Издавна уже существовал обычай приходящим бросать в этот колодезь камни, чтобы соображать о глубине по времени долетаемого от падения звука. Не видно никакого следа сруба, и трудно решить, был ли в самом деле это колодезь или же подземелье для тайника. Приступ на вершину горы более удобен в одном только месте, где существовал подъемный мост. Пространство, занимаемое замком, не очень велико и все изрыто буграми, обличающими бывшие строения. В полуобвалившихся стенах и башнях устроены амбразуры для стрельбы из пушек и пищалей. Возвратившись с горы, я отправился осмотреть бывший Кременецкий лицей, обращенный в православную семинарию. Один из учителей, брат ровенского учителя, моего товарища Тихомирова, снабдил меня рекомендательным письмом к архимандриту в Почаев⁵⁷, куда я намеревался следовать из Кременца. Переночевавши на постоялом

дворе, утром в великую субботу я отправился к заутрени в собор, обращенный недавно перед тем из францисканского католического монастыря. В тот же день я выехал в Почаев. Дорога шла по живописной местности; по бокам виднелись холмы, покрытые рощами, это были отроги Карпатских гор, заходящие из Галиции в наши пределы. К вечеру мы прибыли в Почаев, остановились в жидовском постоялом дворе и отправились к архимандриту. Архимандрит был веселый, радужный старик; некогда он занимал место протоиерея в Каневе и, овдовевши, поступил в монашество. С первого раза он разговорился о местной старине, о постройке Почаевской обители, воздвигнутой старостою каневским Потоцким, известным безобразником и забиякою. По рассказу архимандрита Потоцкий однажды ехал по горе в виду Почаева, видневшегося издали, вдруг кучер его по неосторожности перевернул его экипаж. Рассерженный пан приказал кучеру остановиться, взял ружье и хотел стрелять в него; кучер в ужасе обратился к видневшемуся монастырю и начал просить спасения у Почаевской божией матери. Пан спустил курок, сделалась осечка; пан снова взвел курок, спустил его — в другой раз осечка. Это поразило буйного пана; он бросил ружье и начал у кучера допрашивать, кто такая эта Почаевская богородица, которую тот призывал. Пан мало занимался предметами благочестия, а потому и не имел понятия о чудотворной иконе, существовавшей в монастыре, находившемся недалеко от него. Когда кучер, чудесно избавленный от смерти, сказал ему все, что знал и насколько умел, пан пришел в задумчивость. Внезапно пробудилась в нем совесть, начал он скорбеть о множестве совершенных им в жизни бесчинств и злодеяний, явилась наклонность к покаянию. Он велел везти себя в Почаевский монастырь и поклонился чудотворной иконе. С этих пор чувство раскаяния овладело им более и более; гнусною показалась ему протекшая жизнь, и он принял намерение окончить ее где-нибудь в монастыре; но чтобы испытать, в какой монастырь укажет ему идти высший промысел, он нарядился нищим и в таком виде посетил несколько католических монастырей. Везде его принимали дурно, ограничиваясь ничтожным подаванием; но когда он явился в Почаевский униатский монастырь, бывший беднее других, там его приняли радушно, накормили, напоили, дали приют для ночлега. Потоцкий счел это небесным указанием и через несколько времени прибыл туда, только уже не в нищенском платье, а в великолепной карете, и принес большую сумму на построение каменного храма — того самого, который существует до сих пор. Здесь он и поселился в качестве послушника, произвольно смирял себя, исполнял черные работы, но иногда невольно выказывал и прежние панские замашки: так, например, подметая коридоры келий, он будил к заутрени монахов, и чуть только заметит в ком-нибудь леность, того потянет по спине метлою. Здесь он умер и был погребен в церкви; тело его, долго оставаясь нетленным, показывалось богомольцам, одетое в польский кунтуш и обутое в ог-

ромных сапогах. После обращения монастыря в православие это тело повелено схоронить и не показывать никому, чтобы народ не признавал его святынею.

Архимандрит приглашал нас прибыть ночью к богослужению, а после обедни разговляться вместе с братиею в трапезе. В полночь мы отправились в церковь и прослушали пасхальную заутреню. Напев в Почаевском монастыре показался мне отличным от обыкновенного русского, он был особенно веселый и напоминал мне мотивы экоссеса, знакомые с детства. Церковь почаевская — одна из просторнейших, какие я видел в России, — сохранила сильные следы прежнего католичества. За низеньким иконостасом, приделанным по присоединению к православию, виднелся высокий католический иконостас; по другую сторону престола, у капитальной стены, во многих местах у столбов стояли алтарики, употребляемые католиками и униатами для тихой обедни и никак не мыслимые в православном храме, так как они обращены были не на восток и самый престол примыкался прямо к стене, а вместо образов были скульптурные вещи; на хорах оставался еще большой орган, хотя совершенно без употребления. После обедни вслед за архимандритом мы пошли в обширную залу с накрытыми столами, на которых были расставлены пасхальные снеди, но без мясных кушаньев. После хорового пения «Христос воскрес» все принялись закусывать, а потом тут же начался обед, несмотря на то что было время только солнечного восхождения. Обед состоял из двух рыбных кушаньев и сливочного крема; я заметил, что братия, которой я насчитывал восемнадцать человек, ничего не ела. После обеда архимандрит пригласил нас в келию, и там увидели мы расставленный на столе обильный запас всяких мясных кушаньев, колбас, поросят, индеек и множество бутылок с наливкою и вином. Архимандрит объяснил нам, что у них трапеза бывает только для приличия, а все они утешаются по кельям; при этом он объяснил, что в западном крае, где еще свежи униатские и католические обычаи, такое нарушение принятых в православном монашестве обычаев и терпится, и дозволяется. После того мы пробыли в монастыре трое суток и испытали большое гостеприимство и радушие от архимандрита и братии. В понедельник мы обедали у архимандрита в его келье и должны были отдать честь его повару, изготовившему очень вкусный обед. Монахи, которых большая часть была из уроженцев великорусских губерний, зазывали нас поодиночке друг перед другом и старались угостить как можно обильнее, так что мы принуждены были отделяться от них. Я осмотрел монастырскую библиотеку, которая оказалась очень богатою старопечатными русскими книгами благочестивого содержания, но я не имел времени ознакомиться с ними подробнее.

В главной почаевской церкви показывают стопку божией матери; из этой стопки сочится вода; чтобы видеть эту стопку, надобно наклониться и вложить голову в отверстие, находящееся в стене ниши. По сведению, сообщенному архимандритом, этой воды насчитывается в

день половину чайной ложечки, иногда немного больше; а так как богомольцев приходит много и много желающих иметь эту воду, то мы, как говорит архимандрит, прибегаем к гомеопатическим растворениям и выпускаем пол-ложечки чудотворной воды в целую кадь с обыкновенною простою водою. Предание говорит, что еще в то время, когда не существовало монастыря, в XIII веке, какие-то пастухи увидели на том месте, где теперь стопка, стоящую Божию Матерь. След ноги от изображения остался на земле и из него начала сочиться вода. Монастырь построен на скале, воды кругом близко нет, и появление воды в стопке признается удивительным делом. В большом коридоре, идущем от главной церкви, по стене написана история чудесного освобождения Почаева в 1672 году от турецкого нападения. Монастырь в то время еще был православный, игуменом там был Иов Зализо; турецкий паша сделал нашествие на польские пределы, множество соседней шляхты убежало в Почаевский монастырь, решаясь там давать отпор неприятелю, но осажденные стали терпеть недостаток съестного и в отчаянии решились выйти, вступить в бой с врагами и погибнуть в сече. Отец Иов служил последнюю обедню, приготовляя осажденных к их решительному подвигу. В эту самую минуту, когда он провозгласил «изрядней о пресвятей, пречистой и преблагословенней, славней владычице нашей богородице», на кресте монастырского храма явилось изображение Божией Матери: она грозила рукою турецкому войску. Турки по приказанию своего пашы пустили в изображение ядро, но это ядро обратилось назад и положило многих турок. Событие это произвело такой панический страх, что все турецкое войско убежало, а польское, ободрившись, стало его преследовать и нанесло ему поражение под Вишневецом. В том же монастыре показывают яму, вырубленную в скале, куда преподобный Иов иногда влезал, желая предаться уединенному богомыслию.

Почаевский монастырь пользуется большим уважением не только у православных, но и у католиков и униатов. Я видел там множество пришельцев обоего пола из Галиции, заговаривал с ними и нашел, что у них наречие и говор ничем не отличаются от волынцев. Почаев лежит на границе Австрии. С монастырской террасы живописно виднеется Подкамель с католическим монастырем, находящимся уже в пределах Галиции.

Из Почаева мы направились в Вишневец⁵⁸ с целью осмотреть там замок, замечательную картинную галерею с фамильными портретами князей Вишневецких, библиотеку с рукописями и множество древних вещей.

Выехавши из Почаева рано утром, мы были в Вишневец к полудню, так как до него от Почаева не более двадцати верст с небольшим. В то время Вишневец принадлежал графу Мнишку: после прекращения фамилии князей Вишневецких в половине XVIII века их имение пошло в раздел между разными наследниками, и главное их гнездо с фамильным замком досталось фамилии Мнишков, которая несколько

ко раз уже роднилась с Вишневецкими и тогда находилась с ними в самом близком родстве. Замок составляет большое каменное здание в два этажа с заворотами. Я имел рекомендательное письмо к владельцу его, полученное мною от владельца Ровно, князя Любомирского. Первый предмет, поразивший меня при входе в сени замка, было несколько громадных картин, выставленных на стене и изображавших сцены из жизни нашего Самозванца. Тут было первое появление его у Мнишка, обручение с Мариною и, не помню, еще что-то; надобно было обратить особое внимание на эти картины, очевидно, старые и снять с них копии, тем более что они совсем не те, какие хранятся в Оружейной палате и изображают сцены, происходящие в Москве. Граф Мнишек допустил нас к себе, принял довольно холодно и на просьбу мою осмотреть его замок сказал, что там нет ничего любопытного; потом призвал служителя и, отдав ему ключи, велел вести нас по комнатам замка, но приказал не заводить нас в библиотеку, где, как он сказал, рукописи находятся в беспорядке. Это мне показалось очень прискорбным; я понял, что не увижу того, что меня особенно интересовало и побудило искать знакомства с польскими магнатами. Нас повели по комнатам, расположенным анфиладою; комнаты были однообразно убраны зеркальными стенами, на дверях и окнах висели шелковые портьеры, вышитые, как говорил проводник, последнею из Вишневецких, оставшеюся в девицах и до смерти проживавшею в этом замке. С особенным любопытством и с участием рассматривал я портреты Вишневецких, развешанные по зеркальным стенам, и с сердечным участием встречал многие знакомые мне по истории лица. В угольной комнате, которою кончалась эта анфилада, показывали вырезанные на зеркале слова: *comte du Nord*; эта надпись сделана была императором Павлом Петровичем, который, будучи еще великим князем, путешествовал под именем Северного графа и заезжал в Вишневец, где не застал хозяев.

Обойдя замок, насколько это было позволено, мы отправились к хозяину и получили приглашение идти к нему в сад, куда он ушел. Этот сад был некрасив и запущен. Мнишек сидел под деревом с книгою в руках, выслушал мою благодарность и пригласил к четырем часам обедать. Время, оставшееся до обеда, я употребил на осмотр старой православной церкви, где погребен Михаил Вишневецкий, последний из Вишневецких, умерший в православной вере: это был отец знаменитого Иеремии и муж Раины Могилянки, родственницы митрополита Петра Могилы и ревностной православной, основавшей Густынский монастырь в Прилукском уезде Полтавской губернии. Эта деревянная церковь в Вишневце хотя не отличается большим благообразием, но и не имеет того нищенского вида, какой я встречал по деревянным православным церквам Волыни в тогдашнее время. Оттуда я отправился в другую церковь — каменную, обращенную из бывшего некогда иезуитского монастыря, где в склепе находится усыпальница князей Вишневецких со времени их обращения в като-

личество. Священник этой церкви сказал мне, что, поступивши на это место, он представлял архиерею, что с обращением костела в православную церковь нужно выбросить из склепа прах Иеремии Вишневецкого, заявившего себя жестоким фанатиком и непримиримым врагом православной веры и русского народа; но представление священника не было уважено и ему сделали замечание, что не следует трогать мертвых.

Мы отобедали у графа Мнишка не в парадных комнатах замка, а в пристройке, сделанной внизу к первому этажу, где он постоянно помещался; с нами обедал один из сыновей его. После обеда хозяин завел со мною разговор об истории эпохи Хмельницкого и изъявлял мнение, что польские историки неверно относятся к этой эпохе и что Хмельницкий вовсе не такой дурной человек, каким его представляли поляки по причине бывшей вражды. Он велел принести портрет Хмельницкого и уверял, что это самый вернейший, какой где-либо найти можно. Замечательно, что когда переходя то к той, то к другой эпохе русской и польской истории я коснулся Самозванца, ему, как видно, было неприятно говорить об этом предмете и он вполголоса сказал: «это было уж очень давно!» Прощаясь со мною, Мнишек сообщил мне, что в Кременце есть некто Радзиминский, которого отец занимался специально эпохою Хмельницкого и оставил рукописные сочинения. Мнишек советовал мне обратиться к Радзиминскому и попытаться узнать — не сохранилось ли в бумагах отца каких-нибудь любопытных материалов, могущих служить источниками для истории казацкой революции.

Из Вишневца я направился обратно в Кременец и посетил Радзиминского по рекомендации Мнишка. К моему удивлению, в Радзиминском я встретил человека, который от моей просьбы познакомить меня с сочинениями его отца пришел в испуг; он рассказал мне, что по какому-то доносу о существовании этой истории, писанной его отцом, его арестовали, взяли его бумаги и повезли самого в Киев, держали несколько месяцев, потом возвратили ему отцовскую рукопись и отпустили домой; но по приезде он узнал, что его беременная жена в испуге за участь мужа заболела и преждевременно разрешилась мертвым младенцем. Я уверял его, что вовсе не принадлежу к администрации и обратился к нему с чисто ученым намерением, да притом и не осмелился бы обратиться, если бы знал, что рукопись, о которой идет речь, оставляет для него такое тяжелое воспоминание. Лицо Радзиминского несколько прояснилось, он предложил мне завтрак, но несмотря на мою повторенную просьбу не показал мне отцовской рукописи. Впрочем, по тем сведениям, которые на основании этой рукописи мне передавал Радзиминский, я могу заключить, что и не нашел бы в ней много нового и интересного, так как Радзиминский, уверяя, что его отец был великий ученый, говорил на основании отцовских показаний, что Хмельницкий принял турецкую веру.

Из Кременца мы отправились в Берестечко, куда и прибыли на дру-

гой день рано утром. Местность знаменитой битвы Хмельницкого была мне очень известна по письменным источникам, и я с особенным рвением старался поверить мои о ней представления, старался отыскать следы давно минувших событий, о которых столько читал, писал и думал. Берестечко лежит на равнине вдоль реки Стыри — реки, чрезвычайно извилистой; в нее впадает, версты за четыре не доезжая местечка, болотистая речка Пляшева, известная гибелью казацкого войска, которого множество потонуло при беспорядочном переходе через нее во время несчастного бегства из лагеря. Приближаясь к местечку и переехавши уже через Пляшеву, я наткнулся на старую линию окопов в виде полумесца и понял, что это следы бывшего польского лагеря, сделанного тогда, когда поляки перешли с правой стороны Стыри на левую. Вправо от дороги змеилась извилистая Стырь, налево — глаза упирались в густой высокий лес. Прибывши в местечко, мы остановились в жидовской корчме. Я вынул из портфеля свои бумаги и начал толковать с товарищем о Хмельницком; потом позвал иудея и просил его, нельзя ли достать мне старых людей, знающих хорошо местность, чтобы они показали мне поле и разные признаки на нем. Иудей посмотрел на меня подозрительно и исчез. Я продолжал свой разговор с товарищем, пока спустя полчаса не вошел к нам в комнату господин в мундирном сюртуке с красным воротником, при шпаге; он потребовал от нас паспорта и увидавши из них, кто мы такие, ласково сказал: «Вам, господа, угодно осмотреть поле битвы, происшедшей между казаками и поляками; я могу доставить все, что вам нужно и покорнейше прошу перебраться ко мне в дом, у меня вам будет спокойнее и удобнее». Меня очень удивила уверенность, с какою этот господин выразился, что ему вполне известно, зачем мы приехали и чего ищем. Мы вышли с ним и сели в его экипаж, иудей по его приказанию положил туда же все наши пожитки. Дорогою этот господин объяснил нам, что он становой пристав и, предуведомленный иудеем о прибытии каких-то господ, желающих зачем-то осматривать поле, пришел к нам в намерении, если окажется нужным, арестовать нас; но, подслушавши наш разговор, понял, что мы не какие-нибудь польские эмиссары, которых ему предписывали беречься, а ученые, отыскивающие следы давно минувших событий. Мы нашли у него самый гостеприимный прием, вместе с ним объезжали поле и все окрестности Берестечка и через его посредство делали расспросы и вели беседы с народом. Поехавши снова на поле, где была битва, я увидел ясно на одной стороне ближе к лесу небольшое возвышение, где стоял крымский хан, а вправо от него, через дорогу, ближе к Стыри — следы кругловидных окопов, где был казацкий лагерь, укрепленный после ухода Хмельницкого за ханом. Тут я нашел и остров на Стыри, тот самый, где, по известию Пастория, защищались триста храбрых казаков, не хотевших сдаться врагам и мужественно погибших в упорной битве. Этот остров весь порос большим лесом; вправо от него, при впадении реки Пляшевы было место рокового перехода казаков

через реку — перехода, в котором потонуло множество казацкого войска. Что это событие происходило именно в этом месте, я заключил по поводу собранных известий, что до сих пор в упомянутом месте на дне реки отыскиваются обломки седел, оружия, стремян и перетлевшие куски попон. Все это, как известно, бросали казаки в воду, чтобы устроить плотину для своего перехода. На противоположной стороне Стыри, за местечком Берестечком находится холм со сложенною из кирпича часовнею, в которой поставлена статуя св. первомученицы Феклы. Здесь, по преданию, погребена толпа женщин, убежавших из окрестностей под защиту польского войска и остававшихся на правой стороне Стыри в то время, когда поляки выступили в бой на левой стороне той же реки. Татары неожиданно перешли реку и перебили всех этих женщин, которых число предание показывает до трех тысяч. На самом деле, вероятно, холм с часовнею есть место, где погребены были польские воины, убитые в бою. На этой же стороне Стыри, версты за две от местечка стоит высокий памятник, поставленный, как гласит на нем надпись, над телом князя Пронского, умершего в 1533 году. Он, как говорит предание, был еретик и, зная, что по смерти достанется во власть дьяволу и будет ходить мертвецом, пугая живых людей, приказал прибить свой гроб во внутренности верхней части памятника на цепях. Я влезал по подставленной лестнице в отверстие, пробитое в этой верхней части, и видел действительно обломки цепей со вбитыми в своды кольцами. Этот князь Пронский был один из рязанских князей, бежавший в Литву после насильственного завладения Рязанской землею со стороны Москвы. Само собою разумеется, что народная легенда о его еретичестве не имеет исторического основания.

Осмотревши Берестечко, мы через два дня выехали назад в Ровно, напутствуемые добрыми пожеланиями гостеприимного нашего хозяина и снабженные от него на дорогу съестными припасами.

Наступил в гимназии экзамен, и тут я получил из Киева известие, что меня переводят учителем истории в Первую киевскую гимназию. Приходилось прощаться с Ровно и Вольнью. Я уехал оттуда с большим ворохом народных песен и записанных преданий и рассказов; некоторые были собраны мною лично, другие доставлялись моими учениками, которых я заохотил по случаю поездок их к родным на вакационное время собирать и доставлять мне народные памятники.

Приехавши в Киев, я узнал, что уже все было сделано относительно моего перевода, и, пользуясь наступлением летних вакаций, отправился в Воронежскую губернию к матери на почтовых через Глухов и Курск.

Во время вакаций я съездил в Дивногорский монастырь, расположенный в чрезвычайно красивой местности над Доном, близ устья Тихой Сосны. Это одна из живописнейших местностей, которые мне случалось встречать в России. Меловые горы, составляющие берег

Дона, по своей природной конструкции приняли здесь фантастические фигуры столбов, колонн, каменных скамей, пристенков, башен и т. п. В меловых горах тянется углубление, покрытое лесом; здесь построен монастырь. Он был беден и заключал в себе не более пяти братий, из которых один, бывший некогда армейским капитаном, теперь иеромонах, носил звание настоятеля. В меловой горе, выше леса, которым обросла ее подошва, есть пещера, выкопанная в виде коридора; начало ее по преданию относится к XVII веку. Настоятель, показывая мне эту пещеру, рассказал мне, что на троицын день в Киево-Печерской лавре было чудное видение: во время обедни явилась богородица за престолом и осенила народ крестным благословением. Говорили ему об этом богомолки, недавно прибывшие из Киева, и уверяли, что сами были в церкви и видели явление богородицы. Я объяснил ему, что сам на первый день троицы был у обедни в лавре и, однако, не видал богородицы. «Значит, господь не сподобил вас увидеть чудо, а женщины его увидели», сказал настоятель.

В августе я отправился снова в Киев и по приезде туда вступил в свою новую должность учителя Первой киевской гимназии. Сначала я поместился на Старом Городе, потом перешел на Крещатик и нанял квартиру вместе со студентом Афанасием Маркевичем⁵⁹, горячим любителем южнорусского языка и ревностным местным этнографом. Прошло несколько месяцев. В ноябре я получил от матери письмо, в котором она жаловалась на упадающее здоровье и изъявила желание продать имение и переехать ко мне в Киев. Я сообразил, что держать имение за девятьсот верст от Киева и ездить в него на перекладных не совсем удобно, и предположил продать имение в Острожском уезде, а вместо него купить где-нибудь по соседству с Киевом. С этою целью я отправился к матери в декабре 1845 года. Медлить было нечего, потому что находился хороший покупатель имению. По приезде в свою слободу я немедленно послал нарочного к помещику, желавшему купить имение, а тот прислал ко мне своего поверенного, дворового человека, с деньгами. Мы отправились в Воронеж и в течение нескольких дней совершили купчую крепость. Возвратившись назад, я попрощался с углом, который считал своим много лет, и отправился на почтовых через Харьков в Киев. На дороге между Полтавою и Киевом я простудил себе горло и получил нарыв; а таком состоянии прибыл я в Киев на первый день рождества. Квартира моя оказалась нетопленою: товарища моего Маркевича не было в городе, и я принужден был приютиться в какой-то грязной гостинице, находившейся на Крещатике на углу Бессарабской площади. Здесь мой знакомый, проживавший в Киеве кандидат Дерптского университета Н. И. Гулак⁶⁰, пригласил меня переехать к нему и жить до приезда ко мне матушки, после чего я собирался уже отыскать себе особую квартиру. Болезнь горла потребовала операции, мне сделал ее профессор Караваев⁶¹, проколовший нарыв в горле, и я оставался в квартире у Гулака до февраля. Так как выздоровление не позволяло мне выезжать,

то я проводил время с Гулаком и учился вместе с ним сербскому языку. К нам часто приходил наш общий приятель Василий Михайлович Белозерский⁶², по окончании курса в университете проживавший в Киеве в надежде найти себе служебное место. Потом стал ходить к нам Афанасий Маркевич, возвратившийся в город от брата, у которого несколько времени гостил. Наши дружеские беседы обращались более всего к идее славянской взаимности. Надобно сказать, что то было время, когда сознание этой идеи было еще в младенчестве, но зато впечатлевалось такую свежестью, какую она уже потеряла в близкое к нам время. Чем тусклее она представлялась в головах, чем менее было обдуманых образов для этой взаимности, тем более было в ней таинственности, привлекательности, тем с большею смелостью создавались предположения и планы, тем более казалось возможным все то, что при большей обдуманности представляло тысячи препятствий к осуществлению. Взаимность славянских народов в нашем воображении не ограничивалась уже сферою науки и поэзии, но стала представляться в образах, в которых, как нам казалось, она должна была воплотиться для будущей истории. Мимо нашей воли стал нам представляться федеративный строй как самое счастливое течение общественной жизни славянских наций. Мы стали воображать все славянские народы соединенными между собою в федерации подобно древним греческим республикам или Соединенным Штатам Америки, с тем чтобы все находились в прочной связи между собою, но каждая сохраняла свято свою отдельную автономию. Федерация только по одним народностям не оказалась для нас вполне удобною по многим причинам, а в особенности по количественному неравенству масс, принадлежавших к народностям. Какое в самом деле союзничество на основаниях взаимного равенства могло существовать между ничтожными по количеству лужичанами и огромною массою русского народа с неизмеримыми пространствами его отечества? Мы пришли к результату, что с сохранением права народностей необходимо другое деление частей будущего славянского государства для его федеративного строя. Таким образом составила мысль об административном разделении земель, населяемых славянским племенем, независимо от того, к какой из народностей принадлежит это племя в той или другой полосе обитаемого им пространства. Мы не могли уяснить себе в подробности образа, в каком должно было явиться наше воображаемое федеративное государство; создать этот образ мы предоставляли будущей истории. Во всех частях федерации предполагались одинакие основные законы и права, равенство веса, мер и монеты, отсутствие таможен и свобода торговли, всеобщее уничтожение крепостного права и рабства в каком бы то ни было виде, единая центральная власть, заведующая сношениями вне союза, войском и флотом, но полная автономия каждой части по отношению к внутренним учреждениям, внутреннему управлению, судопроизводству и народному образованию. Ближайшим и вернейшим путем к достижению этой

цели в далеком будущем предполагалось воспитание общества в духе таких идей, а потому считалось необходимым, чтобы в университетах и прочих учебных заведениях были люди искренно преданные этим идеям и способные внедрять их в юные поколения. С этой целью явилась мысль образовать общество, которого задача была бы распространение идей славянской взаимности — как путями воспитания, так и путями литературными. В виде предположения мною начертан был устав такого общества, которого главными условиями были: полнейшая свобода вероисповедания и национальностей и отвержение иезуитского правила об освящении средств целями, а потому заранее заявлялось, что такое общество ни в коем случае не должно покушаться на что-нибудь имеющее хотя тень возмущения против существующего общественного порядка и установленных предрешающих властей. Изучение славянских языков и литератур ставилось главнейшим делом в образовании. Товарищи мои искренно приняли эти идеи; самому обществу предположено было дать название общества св. Кирилла и Мефодия, славянских апостолов. Мысль об основании общества вскоре была забыта после того как я, оправившись от недуга, стал ездить в гимназию на должность и с приездом ко мне матушки на постоянное жительство нанял другую квартиру; но мысль о славянской взаимности и славянской федерации глубоко оставалась у всех нас как заветная в жизни.

1 февраля 1846 года мать моя приехала в Киев, и с этих пор начался для меня иной род домашней обстановки. Вместе с матушкой я поселился на Крещатике в доме Сухоставской. Через несколько домов, на противоположной стороне, в той самой гостинице, куда я прибыл на праздник рождества по возвращении с продажи моего имения, квартировал Тарас Григорьевич Шевченко, приехавший тогда из Петербурга в Малороссию с намерением приютиться здесь и найти себе должность. Узнавши о нем, я познакомился с ним и с первого же раза сблизился. Тогда была самая деятельная пора для его таланта, апогей его духовной силы. Я с ним видался часто, восхищался его произведениями, из которых многие, еще неизданные, он дал мне в рукописях. Нередко мы просиживали с ним длинные вечера до глубокой ночи, а с наступлением весны часто сходились в небольшом садике Сухоставских, имевшем чисто малорусский характер: он был насажен преимущественно вишнями; было там и несколько колод пчел, утешавших нас своим жужжанием.

Кроме Шевченко частыми собеседниками моими были Гулак, Белозерский, Маркевич и учитель Пильчиков⁶³; нередко заходил ко мне старый профессор бывшего Кременецкого лицея Зенович, добродушный старичок, занимавшийся химиею и некогда сочинивший какую-то теорию о сотворении мира посредством электричества и магнетизма; он имел слабость проповедывать ее кстати и некстати всякому встречному и поперечному. Кулиша в то время не было в Киеве: он находился в Петербурге.

В конце мая меня известили, что университет св. Владимира желает избрать меня в преподаватели русской истории вместо недавно умершего Домбровского, но с тем чтобы я прочитал в совете пробную лекцию, так как большая часть членов совета меня не знала и даже не видала в глаза. Я согласился на это условие. 4 июня меня пригласили в заседание совета и предложили мне прочитать лекцию о том, с какого времени следует начинать русскую историю. Я прочитал. Содержание моей лекции основывалось на том, что история русская есть история славянского племени, живущего в России, и потому начинать ее надобно с тех времен, в которые являются признаки поселения славян на русском материке. Задача моя повлекла меня в эпоху владычества готов и гуннов. Я изложил со своей точки зрения теорию происхождения гуннов от смеси разных племен, обитавших в России, и в том числе славян, поработанных готами и бежавших в заволжские степи вместе с беглецами из других племен. Так как я недавно перед тем читал Аммиана Марцеллина, Иорнанда, Лиутпранда, Приска и других писателей древнего времени, оставивших повествование о гуннах, то лекция моя вышла настолько богата сведениями, сколько и примерами свидетельств, приводимых мною в подлинниках: она произвела самое хорошее впечатление. По удалении моем из зала совета произведена была баллотировка, а через час ректор университета, профессор астрономии Федоров прислал мне записку, в которой известил, что я принят единогласно и не оказалось ни одного голоса, противного моему избранию. То был один из самых светлых и памятных дней моей жизни. Университетская кафедра давно уже для меня была желанною целью, которой достижения, однако, я не надеялся так скоро.

Через день или два после моего избрания я переехал на другую квартиру, на Старый Город, на Рейтарскую улицу и, оставивши в ней свою матушку, отправился на почтовых в Одессу с целью морского купанья. Я пробыл в Одессе до половины августа и возвратился в Киев, а через несколько дней был приглашен читать вступительную лекцию в университете. Моя первая лекция прошла как нельзя лучше; слушателей было огромное число, и кроме того ее посетили несколько профессоров университета.

Так началась моя кратковременная профессорская карьера. С тех пор я начал жить в совершенном уединении, погрузившись в занятия историею; время мое поглощалось писанием лекций по русской истории, которых надобно было каждую неделю приготовить четыре. Кроме того я иногда принимался за Богдана Хмельницкого, дополняя написанное мною некоторыми источниками, отысканными в университетской библиотеке. Потом я принялся писать «Славянскую мифологию», что, впрочем, было частию читаемых мною лекций. Вместе с гимназическими уроками покинул я бывшие у меня уроки в пансионах, оставивши за собою только один из уроков в Образцовом пансионе г-жи Де-Мельян. За то профессор Иванишев⁶⁴, бывший вместе

инспектором Института благородных девиц, уговорил меня читать две лекции в этом заведении, на что я согласился с большою неохотою.

В кругу профессорском я вообще мало вращался, будучи сильно поглощен кабинетною деятельностью. О тогдашнем состоянии университета св. Владимира могу сказать только, что он в то время не избегал недостатков, общих всем нашим провинциальным университетам того времени, но в нем меньше вкралось той нравственной язвы, которая одолевала Харьковский университет, где большая часть профессоров держали у себя на квартирах студентов, брали с них тройную цену и за то проводили их на степени обыкновенно недостойным образом, так как всегда почти у профессоров квартировали плохие студенты. Нельзя сказать, чтобы Киевский университет был совсем чист от этих злоупотреблений, но в меньшей степени был заражен ими, чем Харьковский: по крайней мере, число профессоров, державших у себя на квартирах студентов, в Киеве не составляло большинства, как в Харькове. Собственно по отношению к достоинству преподавания в Киеве можно было указать на несколько бездарностей, но также отметить между профессорами и несколько лиц, с честью занимавших кафедры. В нашем факультете нельзя было без уважения отнести о профессоре Нейкирхе⁶⁵, читавшем греческий язык и греческую словесность; это был истинный немец, «Gelehrter», вечно преданный науке, честный человек и чрезвычайно строгий ценитель студентских дарований и успехов. Студенты, занимавшиеся его предметом, очень уважали эту личность. Почти то же можно сказать о профессоре латинского языка, также немце, Деллене⁶⁶. Русская словесность была в руках Селина⁶⁷, ученика и последователя Шевырева; он высказывал московско-славянофильские идеи, которые, впрочем, мало находили себе сочувствия у его слушателей, а тон его чтения, постоянно старавшийся казаться восторженным, принимался за аффектацию. Профессор всеобщей истории Ставровский⁶⁸ был человек, обладавший большою памятью, но почти не знакомивший своих слушателей с современными способами обработки истории и критикою источников; в его преподавании, как замечали студенты, слышалось что-то семинарское. Профессор философии Новицкий⁶⁹ пользовался между студентами хорошою репутациею знатока своего предмета и способного передавателя сведений. Бывший профессор русской словесности М. А. Максимович в то время уже выбыл из университета, но, живя в своем хуторе близ Золотоноши, часто приезжал в Киев, где виделся со мною. Это был человек, правду сказать, небольшой учености, но очень умный и беспристрастный в тех частях, которые были ему хорошо знакомы. Беседы с ним были вообще приятны и вовсе не давали повода сделать такой приговор о бездарности, каким уже после его смерти так несправедливо угостил его Кулиш, имевший, по личным отношениям к нему, менее, чем кто-нибудь, права наложить на него серое пятно бездарности. В юридическом факультете видное место занимал Иванишев, впрочем, не столько по преподаванию, сколько по издательской своей

деятельности, так как он занимался редакцией письменных памятников, которые начала печатать Временная комиссия для разбора актов ⁷⁰, учрежденная в Киеве при генерал-губернаторе, которой членом сделан был и я, взявши на себя издание летописей Величка ⁷¹. Попечителем университета был генерал Траскин, ничем особенно не выдававшийся, а помощником его — Юзефович, малорусс, любивший свою старину, но с дворянским чиновническим пошибом. Студенты по своему настроению резко выделялись в две партии: русскую и польскую. Симптомы национальной враждебности, которые так резко отличали Киевский университет впоследствии, тогда еще были в зародыше или по крайней мере не смели проявляться слишком рельефно при зорком наблюдении генерал-губернатора Д. Г. Бибикова ⁷².

Однажды этот генерал-губернатор на университетском акте после ухода из зала публики приказал остаться всем, принадлежавшим к составу университета, как профессорам, так и студентам, и проговорил грозную и вместе странную речь. Он объявил, что до него дошли слухи о тайных собраниях студентов, дерзающих обсуждать политические вопросы, и по этому поводу делал угрозы, что если он еще услышит что-либо подобное, то по данному ему от государя праву закроет университет, а виновных разошлет в ссылку. При этом он шутил советовал студентам вместо политических вопросов заниматься лучше женщинами и кутежами, и что за это он не будет никого преследовать. Эту милую шутку, выраженную, правда сказать, довольно цинически, университетская молодежь приняла вовсе не так сочувственно, как, по-видимому, ожидал оратор; напротив, когда студенты расходились по домам, то я слышал между ними замечания о совершенной непристойности такой выходки из уст начальника края в стенах высшего учебного заведения.

Тогдашнее стремление правительственных элементов к обрусению края произвело то, что поляки не смели себя называть поляками, а называли католиками, что выходило забавно: слово «католики» в Киевском крае теряло свое повсеместное значение вероисповедания и стало означать как бы какую-то национальность; но, отличая себя католиком, поляк, однако, ни за что бы не назвал себя русским, потому что в этом крае и слово «русский», наоборот, перешло как бы в значение вероисповедания. Этим, собственно, только и ограничивалось тогдашнее обрусение. Поляки все-таки исключительно говорили по-польски и не хотели знать по-русски; приобретая знание русского языка поневоле в училище, поляк считал как бы нравственной необходимостью поскорее забыть его. Интеллигентный язык во всем крае был исключительно польский, и даже крестьяне поневоле должны были усваивать его. Иначе и быть не могло там, где огромная масса малорусского православного народа оставалась в порабощении у польских панов-католиков и где самый закон империи давал последним столько прав над первыми.

Судя по экзаменам, как вступительным, так и переводным, я имел

случай вывести заключение, что поляки вступали в университет с лучшей подготовкой, чем русские, и это зависело уже не от школьного учения, а от первоначального домашнего воспитания. Малорусское юношество, уроженцы левой стороны Днестра, за исключением немногих, одаренных особыми выдающимися талантами, отличались какою-то туповатостью, ленью и апатией к умственному труду. Вообще киевские студенты того времени мало принимаемы были и в обществе, за исключением немногих сыновей богатых помещиков или влиятельных особ. Между профессорами и студентами также мало было интимного сближения, да и начальство, видимо, не желало его, а поддерживало в профессорах потребность держать себя с начальническим тоном. Были даже примеры, что профессорам делались замечания, что они обращаются запанибрата со студентами, указывалось профессорам, что этим они роняют свое достоинство. Такое замечание получил и я вследствие того, что начал приглашать к себе по вечерам студентов, в которых замечал особую склонность к читаемому мною предмету. Причиной тому был господствующий тогда дух субординации и боязнь возникновения политического вольнодумства, которое, как полагали начальствующие лица, могло явиться в молодежи, близко познакомившейся с духом и задушевными идеями своих наставников. Понятно, что при таком натянутом отношении между профессорами и студентами нельзя было ожидать никакого утешительного влияния наставников на учащихся. Профессор довольствовался тем, что отбарабанил свою лекцию, мало обращая внимания, как легла на душу слушателей эта лекция и что она пробудила в их сердце и уме, а студент считал себя выполнившим свою обязанность тем, что вызубрил записанную им профессорскую лекцию и буквально проговорил ее на экзамене или на репетиции. Таким образом, из этого очерка духа, господствовавшего в университете того времени, даже и при некоторых профессорах, отличавшихся дарованием и преданных науке, не могло возникнуть ничего живого и богатого задатками для будущего.

Наступили рождественские святки. В Киев приехал старинный мой знакомый, бывший некогда студент Харьковского университета Савич, помещик Гадячского уезда. Он ехал в Париж. В первый день рождества мы сошлись с ним у Гулака на Старом Городе в доме Андреевской церкви. Кроме него гостем Гулака был Шевченко. Разговоры коснулись славянской идеи; естественно выплыла на сцену заветная наша мысль о будущей федерации славянского племени. Мы разговаривали не стесняясь и не подозревая, чтобы наши речи кто-нибудь слушал за стеной с целью перетолковать их в дурную сторону, а между тем так было. У того же священника квартировал студент по фамилии Петров⁷³; он слушал нашу беседу и на другой же день, сошедшись с Гулаком, начал ему изъяснять горячие желания славянской федерации и притворился великим поборником славянской взаимности. Гулак имел неосторожность со своей стороны открыть

ему задушевные свои мысли и рассказал о бывшем нашем предположении основать общество. Этого только и нужно было. Около этого же времени я написал небольшое сочинение о славянской федерации, старался усвоить по слогу библейский тон. Сочинение это я прочитал Гулаку; оно ему очень понравилось и он списал его себе, а потом, как я узнал впоследствии, показал студенту Петрову. Белозерского уже не было в Киеве; он отправился в Полтаву учителем в кадетский корпус. У него был также список этого сочинения.

Около этого же времени познакомился со мною известный польский археолог, граф Свидзинский, и, узнавши, что я занимаюсь Хмельницким, привез мне в подлиннике и в списке с подлинника летопись Иерлича⁷⁴, позволив мне пользоваться ею для своей истории, а затем дал обещание и на будущее время доставлять мне рукописные материалы, относящиеся к истории казаков, а этих материалов у него было много.

В конце января я расстался с Гулаком и с Шевченко; первый уехал в Петербург с намерением держать там магистерский экзамен, второй — к своему приятелю Виктору Забелле в Борзну.

Февраля 13-го я обручился с девицею Алиною Леонтьевною Крагельскою, которую знал еще в пансионе г-жи Де-Мельян, где преподавал с 1845 года. После выхода ее из пансиона увиделся я с нею и познакомился с ее матерью в Одессе, куда летом ездил купаться в 1846 году, а по возвращении в Киев несколько времени посещал их дом, сблизился и узнал ее покорооче. Свадьба наша назначена была после пасхи в Фоминое воскресенье, 30 марта 1847 года.

Между тем в начале марта приехал в Киев Кулиш, который перед тем только что женился на девице Белозерской, сестре моего приятеля Василия. За Кулишом через несколько времени приехал из Полтавы и Белозерский; он покинул должность учителя в корпусе и вместе с Кулишом собрался ехать за границу, куда Кулиша посылали от Академии наук для изучения славянских языков с целью приготовления его к кафедре. Оба, пробывши несколько дней в Киеве, уехали в предначертанный путь через Варшаву.

Находя бывшую свою квартиру тесною и неудобною для предстоящей семейной жизни, я перешел на другую на Старом же Городе, в дом Моньки, близ Андреевской церкви. Квартира эта отличалась превосходным видом, с галереи открывался прекрасный пейзаж; внизу расстилался Подол, далее — светлая полоса Днепра, а за нею — обширная панорама лугов и лесов. Дом этот, деревянный, был только что отстроен.

Наступила пасха. Весна была в то время ранняя: благовещение приходилось во вторник пасхи и уже в то время можно было ходить в одних сюртуках; луга зеленели, развивались вербы. Приближался день моей свадьбы, и я к нему готовился не подозревая, что над моей головой собирается туча, из которой должен постигнуть меня удар.

Арест, заключение, ссылка

В пятницу на пасхе вечером я ездил в университет и дал экзекутору деньги для освещения церкви на время моего венчания, которое, должно было совершиться в предстоящее воскресенье. Возвратившись оттуда домой и напившись чаю, я отправился в свою спальню, но не успел раздеться, как вошел ко мне помощник попечителя учебного округа Юзефович и сказал: «На вас донос, я пришел вас спасти; если у вас есть что писанного, возбуждающего подозрение, давайте скорее сюда». За свои бумаги в кабинете мне нечего было бояться, но я вспомнил, что в кармане моего наружного пальто была черновая полуизо-рванная рукопись того сочинения о славянской федерации, которую еще на святках я сообщил для переписки Гулаку. Я достал эту рукопись и искал огня, чтобы сжечь ее, как вдруг незаметно для меня она очутилась в руках моего мнимого спасителя, который сказал: «Soyez tranquille, ничего не бойтесь». Он вышел и вслед за тем вошел снова, а за ним нахлынули ко мне губернатор, попечитель, жандармский полковник и полицеймейстер. Они потребовали ключей, открыли мой письменный стол в кабинете, и попечитель, увидя в нем огромный ворох бумаг, воскликнул: «*Mon Dieu! il faut dix ans pour déchiffrer ces brouillons*»⁷⁵. Потом забрали мои бумаги и, завязавши их в потребованные простыни, опечатали кабинет, вышли из моей квартиры и велели мне ехать вместе с ними. Я едва успел подойти к матери, поцеловать ее оледеневшую от страха руку и сказать «прощайте». Я сел в дрожки вместе с полицеймейстером Галяткиным. Меня привезли на квартиру губернатора и сказали: «Вы знаете Гулака?» Знаю, отвечал я. «Он сделал на вас донос, явился в III отделение собственной его величества канцелярии и представил рукопись, в которой излагалось о будущем соединении славян». Я не знаю этой рукописи, сказал я. Но черновая рукопись, взятая у меня помощником попечителя, предстала предо мною в обличие моих слов: улика была налицо. Меня отправили в Подольскую часть и посадили в отвратительной, грязной комнате, поместивши меня с двумя полицейскими солдатами. Через день, в воскресенье утром, полицеймейстер Галяткин вошел ко мне и, злобно потирая руки, сказал: «Какое тут вам, г. профессор, не совсем удобно? Оно было бы приятнее дома с молодой женой». Частный пристав Подольской части обращался со мною добродушнее и принимал во мне сердечное участие. Вечером в воскресенье меня повезли в закрытом экипаже на мою квартиру, где я простился с матерью и невестою. Сцена была раздирающая: мне неожиданно приходилось ехать в неведомый путь и на неведомую судьбу в то самое время, когда, по моему ожиданию, должно было происходить в церкви мое венчание. Затем я воротился в часть: немедленно меня посадили на перекладную и повезли в Петербург. Моими провожатыми были

квартирный надзиратель Старокиевской части Лобачевский и жандарм из нижних чинов, родом малорусс. Меня везли через Могилев и Витебск на перекладных. Состояние моего духа было до того убийственно, что у меня явилась мысль во время дороги заморить себя голодом. Я отказывался от всякой пищи и питья и имел твердость проехать таким образом пять дней. Слабость телесных сил дошла до такой степени, что я не мог без чужой помощи ни встать с повозки, ни влезть на нее; но мы скакали день и ночь, уже до Петербурга оставалось недалеко, и я увидел, что не буду иметь возможности умереть до приезда в столицу. Мой провожатый квартирный, заметивши, что я ничего не ем, понял, что у меня на уме, и начал советовать оставить намерение. «Вы,— говорил он,— смерти себе не причините, я вас успею довести, но вы себе повредите: вас начнут допрашивать, а с вами от истощения делается бред и вы наговорите лишнего и на себя, и на других». Я поддался этому совету и в Гатчине позавтракал в первый раз после пятидневного поста. Через несколько часов меня привезли в Петербург. Это было 7 апреля. Здесь еще стояла зима, мы въехали на санях; не только Нева, но еще и Фонтанка, по берегу которой шел наш путь, не трогалась с места. Меня привезли прямо в III отделение канцелярии его величества, ввели в здание и длинными коридорами провели в комнату, где кроме кровати с постелью стояла кушетка, обитая красною шерстяною материею, а между двумя окнами помещался довольно длинный письменный стол. Первым делом было раздеть меня донага; мое платье унесли, а меня одели в белый стеганный пикейный халат и оставили под замком. В верхней части двери были стекла, за которыми виднелись стоявшие на часах жандармы с ружьями. Не прошло и часа, как вахмистр принес мое платье, велел одеваться и объявил, что меня требует к себе граф Алексей Федорович Орлов, бывший тогда шефом жандармов. Меня повели в один зал, где я увидел великородного красиво сложенного старика, увешанного орденами. «Государь очень жалеет,— сказал он,— что вы попались в эту неприятную историю, тем более что мы получили от вашего начальства самый лестный об вас отзыв; но я надеюсь, что вы оправдаетесь; конечно, вы награды от государя не получите, потому что вы все-таки виноваты: у вас взяли гнусную вещь». Затем он начал вкратце излагать содержание рукописи, взятой у меня в Киеве. «Что же за такие штуки? — прибавил он.— Эшафот! Но я уверен, что не вы написали эту мерзость; будьте откровенны и дайте возможность спасти вас. У вас есть старуха-матушка, подумайте о ней; да вы же притом и жених; от вас будет зависеть снять со своей спины хотя половину той кары, которую вы заслужили». Близ него стоял генерал-лейтенант Дубельт, человек лет пятидесяти с седыми бакенбардами и усами, с кругловатым лицом и с бегающими глазами, возбуждавшими с первого раза неприятное впечатление. Меня увели вновь в мой номер, а вслед за тем принесли на бумаге вопросные пункты. С этого дня начались допросы. От меня добивались: знаю ли я о существовавшем

обществе Кирилла и Мефодия. Я отвечал, что не считаю его существовавшим когда-либо иначе как только в предположении, которое могло сбыться и не сбыться; я давал ответы, что такого общества не знаю и что только говорено было о пользе учреждения учено-литературного общества, а само общество не сформировалось; но оказывалось, что от нас хотели непременно признания в том, что общество было, и потому, видимо, были недовольны моими ответами.

Скучая в заключении, я однажды воспользовался посещением Дубельта, обходившего наши камеры, и просил его позволить мне читать книги и газеты. «Нельзя, мой добрый друг, — сказал он, — вы чересчур много читали, ну а когда кто обопьется воды, надобно давать уже понемногу; вы, мой добрый друг, много знаете, больше, чем сколько следует, и хотите все больше и больше знать». «Адамов грех, ваше пр-во!» — сказал я. Ни книг, ни газет мне все-таки не дали. Из Киева присылали в III отделение разные вырезанные части моих бумаг и в том числе университетские лекции; это были места, которые, по взглядам местных властей, возбуждали сомнение в моей благонамеренности. По поводу одного такого места, соблазнившего генерала Дубельта, он призвал меня в канцелярию и, указывая на мое писание, говорил: «А ваши лекции, мой добрый друг, хороши?! — вишь, какие завиральные идеи! Читали бы им (студентам) грамматику да арифметику, а то занесли им какие премудрости!»

В числе таких бумаг было четверостишие начатого мною и никогда не оконченного стихотворения:

Где ты, Новограда память нетленная,
Слава полунощных стран?
Встань, пробудись, старина незабвенная,
Древняя вольность славян!

И это не обошлось без обличительного замечания.

В начале мая делопроизводитель в канцелярии с разрешения Дубельта принес ко мне показание Белозерского и объяснил, что такого рода показание понравилось моим судьям, а потому и мне следует написать в таком духе. Собственно, Белозерский говорил сущность того же, что и я, но выразился, что общество было, однако не успело распространиться. Видя, чего хотят от нас, и сообразив, что плетью обуха не перешибешь, я написал в новом своем показании, что хотя мне казалось, что нельзя назвать обществом беседу трех человек, но если *нужно* назвать его таким образом ради того, что оно было как бы в зародыше, то я назову его таким образом. Я изменил свое прежнее показание, тем более что оно было написано под влиянием сильного нравственного потрясения и, как находили мои судьи, заключало в себе невольное противоречие. Затем мне делали вопросы относительно колец с именем Кирилла и Мефодия, найденных у меня, Гулака и Белозерского. Я объяснил, что это не имело никакого отношения к предполагаемому обществу и кольца надеты были только из

уважения к священной памяти просветителей славянства. Обратила внимание и найденная у меня печать с текстом из Евангелия от Иоанна, глава 8, стих 32; но на той же печати поставлен был год, показывавший, что печать сделана была в начале сороковых годов, то есть гораздо ранее того времени, когда предполагалось учреждение общества. Вопросы об этих двух знаках были оставлены: по-видимому, им не придавали большого значения.

Мая 15-го созвали нас на очные ставки. Здесь увидел я студента Петрова, который наговорил на меня, между прочим, что я в своих лекциях с особенным жаром и увлечением рассказывал будто бы такие события, как убийства государей. На это я дал ответ, что, читая русскую историю, я не имел возможности заявить в своих чтениях того, в чем меня обвиняют, потому что читал историю древнюю, а в те времена кроме Андрея Боголюбского, умерщвленного одною партией, никто из князей не был убит народом и не происходило таких событий, о которых толкует мой обвинитель. Мой ответ был до того логичен, что не возбудил от моих судей никакого возражения. Здесь я встретил другого студента, Андрузского ⁷⁶, уже не в звании обвинителя, но в качестве соучастника, по неизвестной мне причине привлеченного к следствию. Этот студент, молодой, низенького роста и с большими глазами, написал в своем обо мне показании множество самых ужасных и до крайности нелепых вещей; между прочим, обвинял меня в намерении восстановить Запорожскую Сечь; но когда его показание было прочитано и я при нем объявил, что все это ложь и бред больного воображения, он заплакал и произнес: «Все это ложь, я сознаюсь в этом».

Третья очная ставка была иного рода — между мной и Гулаком. Я писал, что дело наше ограничивалось только рассуждениями об обществе, и найденные у нас проект устава и сочинение о славянской федерации признал своими. Вдруг оказалось, что в своих показаниях Гулак сознавался, что и то и другое было сочинено им. Видно было, что Гулак, жалея обо мне и других, хотел принять на себя одного все то, что могло быть признано преступным. Я остался при прежнем показании, утверждая, что рукопись дана была Гулаку мною, а не мне Гулаком. Гулак на очной ставке упорствовал на своем, и граф Орлов с раздражением сказал о нем: «Да это корень зла!» Впоследствии Гулак написал, что рукопись действительно написана была не им, так как принимая чужую вину на себя, он уже не мог сделать никакой пользы другим. Тем не менее его попытка выгородить товарищей принята была за обстоятельство, увеличивавшее его преступление, и он был приговорен к тяжелому заключению в Шлиссельбургской крепости на три с половиною года. Как бы ни судить справедливость или несправедливость наших тогдашних убеждений, подвигнувших нас на неосторожное и, главное, на несвоевременное дело, всякий честный человек не может не признать в этом поступке молодого человека этого порыва самоотвержения, побудившего его для спасения друзей с

охотою подвергать себя самого страданиям наказания. Он был настоящий практический христианин и осуществил в своем поступке слова Спасителя: «Больше сея любви никто же имеет, да еще положить душу свою за други своя». С прочими лицами очной ставки для меня не было. Из всех привлеченных к этому делу и в этот день сведенных вместе в комнате перед дверью, той, куда нас вызывали для очных ставок, Шевченко отличался беззаботною веселостью и шутливостью. Он комически рассказывал, как во время возвращения его в Киев арестовал его на пароме косой квартальный; замечал при этом, что недаром он издавна не терпел косых, а когда какой-то жандармский офицер, знавший его лично во время его прежнего житья в Петербурге, сказал ему: «Вот, Тарас Григорьевич, как вы отсюда вырветесь, то-то запоет ваша муза», — Шевченко иронически отвечал: «Не який чорт мене сюди заніс, коли не та бісова муза». Когда нас развели по номерам, Шевченко, прощаясь со мною, сказал: «Не журись, Микола, ще колись будем у купі добре жити». Эти последние слова, действительно, через много лет оказались пророческими, когда последние годы своей жизни освобожденный поэт проводил в Петербурге и часто виделся со мною.

30 мая утром, глядя из окна, я увидел, как выводили Шевченко, сильно обросшего бородой, и сажали в наемную карету вместе с вооруженными жандармами. Увидя меня в окне, он приветливо и с улыбкой поклонился мне, на что я также отвечал знаком приветствия, а вслед за тем ко мне вошел вахмистр и потребовал к генералу Дубельту. Пришедши в канцелярию, я был встречен от Дубельта следующими словами: «Я должен объявить вам не совсем приятное для вас решение государя императора; но надеюсь, что вы постараетесь заглядеть прошлое вашу будущую службу». Затем он развернул тетрадь и прочитал мне приговор, в котором было сказано, что «адъюнкт-профессор Костомаров имел намерение вместе с другими лицами составить украино-славянское общество, в коем рассуждаемо было бы о соединении славян в одно государство, и сверх того, дал ход преступной рукописи «Закон Божий» *, а потому лишить его занимаемой им кафедры, заключить в крепость на один год, а по прошествии этого времени послать на службу в одну из отдаленных губерний, но никак не по ученой части, с учреждением над ним особого строжайшего надзора». Сбоку карандашом рукою императора Николая было написано: «В Вятскую губернию».

По прочтении этого приговора меня вывели, посадили в наемную карету и повезли через Троицкий мост в Петропавловскую крепость. Прежде всего ввели меня к коменданту, которым был тогда старый безрукий генерал Скобелев. Он передал меня смотрителю Алексеев-

* Это была рукопись, взятая у меня помощником попечителя и отысканная, кроме того, в иных списках у Гулака и Белозерского; но почему она названа «Закон Божий» и кто назвал ее таким образом, мне и до сих пор не известно, потому что о таком названии я и услышал впервые в III отделении.

ского рavelина, не менее коменданта старому и седому майору, который и повел меня мимо Монетного двора в калитку, сделанную в воротах; за калиткою я очутился на мосту, устроенном через один из протоков, проведенных в Неву, а за мостом было каменное одноэтажное здание совершенно круглого вида с садом внутри. Меня повели по каменному помосту коридора, освещенного рядом окон, сделанных вверху и выходявших в сад, и привели в седьмой номер. Это была просторная комната с койкой, простым дубовым столом, покрытым грубою скатертью, и с деревянным стулом при столе. Комната эта тускло освещалась одним окном, замазанным снаружи белилами; только два верхних стекла оставлены были незамазанными. На окне стояла большая оловянная кружка для воды с вырезанными на ее крышке буквами А. Р. Стены комнаты были чрезвычайно толсты. Меня заперли в этой комнате, а часа через два вошел помощник смотрителя, офицер внутренней стражи, с четырьмя солдатами, и велел раздеваться. С меня сняли все платье и белье, не оставили даже и очков, нарядили в казенное толстое белье с огромными чулками и туфлями; сверху белья надели полосатую пестрядинную блузу, а на голову — длинный белый колпак. В таком костюме меня и оставили. На другой день привели цирюльника, который меня обрил и остриг чрезвычайно плотно, а потом повели в баню. По возвращении из бани солдат, вскочивший наскоро, принес мое платье и велел одеваться; вслед за ним вошел смотритель и объявил, что я должен идти к коменданту. Я отправился за ним в комендантский дом и увидел там свою матушку; потом вышел комендант и сказал, что мне позволяется видеться с матерью, но только в присутствии коменданта. В определенный недельный день, а именно по пятницам, будет ко мне приходить матушка, а смотритель будет меня приводить в комендантский дом на свидание с нею.

14 июня меня снова позвали к коменданту; я увидел опять свою матушку и вместе с нею мою бывшую невесту, приехавшую в Петербург со своею матерью. Мне дозволили проститься с нею. Мать моей невесты утешала меня надеждами, что брак мой состоится, когда окончится срок моего заточения в крепости; невеста же, уезжая из Петербурга, передала моей матери записку ко мне, в которой умоляла меня беречь свое здоровье и надеяться. К сожалению, надежды наши не состоялись — никак не по ее вине.

С тех пор потекли дни за днями, недели на неделями, месяцы за месяцами. Комендант — в качестве особого ко мне снисхождения — разрешил мне пить чай, курить сигары и читать книги, которые доставлялись мне матушкой. Каждую пятницу приходила ко мне матушка и видалась со мною сперва в комендантском доме, а потом в другом, по соседству с комендантским, в присутствии смотрителя рavelина. Писать чернилом мне не дозволяли, но дозволили писать карандашом. По ночам у меня в комнате зажигался ночник, от которого шла нестерпимая вонь. На содержание отпускалось мне по чину двадцать

копеек в день; мне давали один раз щи, другой раз суп; иногда к этому прибавлялась каша с маслом, а по праздникам пирог. За недостатком привычного стола я стал пить чай в двенадцать часов дня и с той поры приучил себя к этому так, что не только по выходе из крепости, но и до настоящего времени питье чая в полдень стало для меня обычным делом. До февраля 1848 года я был здоров и занимался греческим языком, в котором чувствовал себя и прежде слабым: мне хотелось пополнить этот недостаток в моем образовании. После усилий, продолжавшихся несколько месяцев, я наконец дошел до того, что читал свободно Гомера, хотя по временам заглядывал в подстрочный латинский перевод в издании Дидо. В то же время в виде отдыха от головоломки над греческим языком я занимался испанским языком и при сравнительной его легкости успел прочитать несколько пьес Кальдерона и почти всего «Дон Кихота». В феврале меня одолела невыносимая головная боль и нервные припадки, сопровождаемые галлюцинациями слуха. К этому, как кажется, расположило меня то, что, бывши перед тем в бане, я по совету смотрителя дозволил окатить себе голову ледяной водой и в то же самое время — парить свое тело вениками. Доктор, призванный ко мне, сказал, что по моем освобождении мне будет полезно гидропатическое лечение холодной водой, а я, не желая откладывать надолго такого рода пользование, стал лечиться водою в крепости. Каждый день меня выпускали в сад на полчаса, а потом и на долее; я раздевался, становился под желоб и пускал себе водяную струю на спину. Смотритель, большой поклонник гидропатии, не только не препятствовал мне делать эти эксперименты, но еще одобрял их, — и в самом деле, в марте здоровье мое стало поправляться. Этому пособило еще и то, что по совету доктора я перестал заниматься греческим языком как занятием чересчур тяжелым для заключенного, и стал читать французские романы. Я прочел тогда все сочинения Жорж Санд. Весною, с появлением зелени мне еще стало лучше и я с нетерпением ожидал 30 мая, когда оканчивался срок моего заточения и меня, как я надеялся, должны были вывести из крепости.

Долгожданный день наступил. Часов в семь утра ко мне в комнату принесли мой чемодан; пришел смотритель и предложил расписаться в обратном получении моих вещей и утверждении счета издержкам, делаемым из находившихся у него моих денег, потраченных на сахар, чай, сигары, сливки и хлеб к чаю. По окончании расчетов смотритель объявил, что пора ехать. Мы вышли, перешли мост, за воротами рavelина стояла уже карета; мы сели в нее и поехали, направляясь к III отделению. Это был праздник св. троицы. Мы застали в канцелярии делопроизводителя секретной экспедиции, который объявил мне, что я пробуду несколько дней в III отделении, а потом буду отправлен к месту ссылки. Мне отвели в верхнем этаже светлую комнату, хорошо меблированную, с окном, выходящим на улицу. За дверьми в коридоре посадили солдата, но без ружья. Через час посетил меня генерал Дубельт. Здесь я прожил четырнадцать дней.

Каждый день ко мне приходила матушка. Стол давали мне хороший, из лучшего ресторана; за каждым обедом приносили хорошее вино; дали также целый ящик гаванских сигар. Окно было постоянно открыто.

Однажды позвали меня в канцелярию и сказали, что император изволил приказать графу Орлову спросить меня, не хочу ли я куда-нибудь потеплее вместо Вятки и не нужно ли мне денег. Я поблагодарил и сказал, что если такова милость государя, то я бы просил отправить меня в Крым, так как по совету врача для моего здоровья было бы полезно морское купанье. Эта просьба передана была графу Орлову, а потом мне объявили, что граф сказал: «Там поэзии много, пусть лучше едет по выбору в какой-нибудь из четырех городов Юго-Восточной России: Астрахань, Саратов, Оренбург или Пензу». Подумавши, я избрал Саратов, так как сообразил, что там пригоднее будет купаться. Мне дали триста рублей вспоможения. При заключении меня в крепость матери моей выдали уже сумму, составляющую мое годовое жалованье по должности адъюнкт-профессора. В день, назначенный к отъезду, генерал Дубельт призвал меня в свой кабинет и показал отношение обо мне к саратовскому губернатору, в котором после официального содержания было прописано рукою графа Орлова: «Прошу вас быть к нему милостиву, он человек добрый, но заблуждался, но теперь искренно раскаялся». Затем генерал Дубельт сказал мне, что если я где захочу остановиться, то могу. Я изъявил ему желание остановиться в Новгороде, которого я никогда не видал и который привлекал меня своим историческим значением. Дубельт передал мое желание офицеру, назначенному для поездки со мною, и приказал остановиться в Новгороде на столько времени, на сколько я сочту нужным для его обозрения, и со своей стороны велел употребить все зависящие меры для доставления мне возможности видеть все, что я сочту интересным.

Просясь со мною, Дубельт сказал: «Для вас сделали все, что могли, но, конечно, вы не должны ожидать себе больших благ. Знаете, мой добрый друг, люди обыкновенные, дюжинные стараются о собственной пользе и потому добиваются видных мест, богатств, хорошего положения и комфорта; а те, которые преданы высоким идеям и думают двигать человечество, те, вы сами знаете, как сказано в священном писании: ходят в шкурах козьих и живут в вертепах и пропастях земных».

15 июня в четыре часа пополудни я простился с матушкой, условившись с нею, что она приедет в Саратов вслед за мною. Я поехал с офицером и жандармским солдатом на перекладной. Только что я выехал из Петербурга, как на моем лице показались капли крови: то было следствие долговременного сидения взаперти и малого пользования свежим воздухом. В Новгороде мы остановились и отправились в Софийский собор, где осматривали ризницу; потом — Юрьев монастырь, где делали то же; затем сделали экскурсию по разным город-

ским церквам, достопримечательным в истории, и объехали весь город. По краткости времени я не имел возможности познакомиться с Новгородом так основательно, как имел случай впоследствии, но посещение этого старого города сильно охватило мое воображение, так что я тогда же написал гекзаметром стихотворение, в котором изобразил явление разных исторических лиц страннику, взошедшему на Ефимьевскую колокольню. Стихотворение это я тогда же прочитал своему проводнику (оно не сохранилось).

В этот же год (1848) по всей России свирепствовала холера. В Твери при моих глазах умер привезший нас на станцию ямщик, с которым на дороге сделал холерный припадок. Въезжая в Москву, мы встретили целый обоз с покойниками. Везде по дороге тревожили нас угрожающие известия о холере. В некоторых селах слышали мы благовест, и на вопросы наши ямщики говорили, что «люди умирать собираются и богу каются».

24 июня вечером мы прибыли в Саратов. Офицер, провожавший меня, привез меня прямо к губернатору Кожевникову и получил от него квитанцию в передаче такой казенной вещи, какую я тогда сделался. Уже более года я находился под присмотром дядек и по выходе из губернаторского дома очутился, наконец, с правом находиться без конвоя. Офицер, привезший меня, приглашал ехать с ним в гостиницу, но я так обрадовался своей физической свободе, что захотел прежде побегать по незнакомому городу и потом уже явиться в гостиницу. Так я и сделал и, не зная города, забрел совсем в другую сторону от места, где была гостиница, и потом уже по расспросам нашел ее. Провожавший меня до Саратова жандармский офицер на другой день уехал. Я остался один в совершенно неведомом городе, в чужом крае, где у меня не было ни близких, ни знакомых. Несколько дней я прожил в гостинице и в это время за стеною моего номера услышал однажды шум, суетню и стоны; потом мне объяснили, что в соседстве со мною заболел холерою и, проболевши два часа, скончался приезжий из Петербурга флигель-адъютант Столыпин. Этот случай очень поразил меня. Когда я выходил гулять и заходил в церковь, то глаза мои неприятно поражались видом приносимых гробов, а на мои вопросы мне сообщали, что в городе свирепствует сильная холера, но не такая, какая была здесь прошлый год: умирает человек до ста в день, тогда как прошлый год число умиравших доходило до нескольких сот в день; зато в настоящий год заболевших смерть постигает скорее, чем прошлый год. Я не очень боялся холеры, покупал себе ягоды и ел их со сливками, что считалось тогда опасным.

Через несколько дней я начал искать себе квартиру и нашел.

Жизнь в Саратове

В Саратове я был определен в должность переводчика при губернском правлении с жалованьем 350 рублей в год; переводить было нечего, и я только числился на службе. Губернатор поручил мне в своей канцелярии заведование сначала уголовным столом, а потом секретным; в последнем производились дела преимущественно раскольничьи, что для меня было довольно любопытно. Тут я увидел строгие преследования и стеснения раскольников, бывшие в силе при архиерействе Иакова, недавно перед тем переведенного в Нижний. Занятие сектантскими делами влекло меня к ознакомлению с миром раскольничьим, но это было не так-то легко: с одной стороны, при крайней сосредоточенности, какую отличают сектанты в сношениях с чиновниками; с другой — при моем положении ссыльного близкие сношения с раскольниками могли бы возбудить подозрение начальства. Я успел, однако, на первых порах познакомиться с одним раскольничьим семейством, имевшим под городом сад, куда я стал ездить для прогулки. Раскольники эти принадлежали к поморской секте, и здесь-то я впервые узнал об основаниях, на которых держится эта секта и вообще вся беспоповщина.

Мало-помалу случай сводил меня на знакомство с жителями города, в среде которых нашел я несколько образованных семей, где были люди с университетским образованием. На следующий год я познакомился и сошелся с кружком сосланных поляков. Эти были люди развитые, и мне было приятно в их обществе, хотя их польский патриотизм не раз наталкивался на мои русские симпатии и подавал повод к горячим, хотя и приятельским, спорам. Один из этих поляков, Мелянтович, стал моим задушевным приятелем, потому что в нем одном польский патриотизм уступал место идее славянской взаимности и не доходил до той враждебности ко всему русскому, какою вообще отличались поляки. Этот молодой человек, впоследствии умерший от холеры, не дождавшись своего освобождения, представлялся мне типом того поляка, который, как мне казалось, мог быть только до введения иезуитов, искаживших польское воспитание и создавших в поляках хитрость и двоедушие, что так несвойственно было их прежней славянской натуре.

Между тем пришла мне мысль продолжать историю Богдана Хмельницкого, и я написал письмо к графу Свидзинскому, зная, что он имеет богатую библиотеку, и просил его присылать мне материалы для окончания известного ему моего труда. Граф принял мою просьбу так любезно, как я и не надеялся: присылал мне одну за другою из своей библиотеки латинские и польские книги, служащие источниками для эпохи Хмельницкого. С помощью этих сочинений я имел возможность не только продолжать свое историческое сочинение, но

даже и привести его в такой вид, в каком оно нуждалось только в дополнительной обработке, а это последнее дело я оставлял на то время, когда буду свободен и найду возможность ехать в такие места, где находятся библиотеки и архивы.

Несмотря на все тогдашние занятия я сильно хандрил, и хандра отозвалась на моих нервах: у меня возобновилась прежняя мнительность и склонность преувеличивать свои недуги или же даже создавать небывалые. Я стал лечиться; но так как в Саратове не было опытных и искусных врачей, то я попался в руки таким эскулапам, которые стали меня пичкать произведениями латинской кухни, и я от страха болезней, каких у меня не бывало, нажил себе действительные болезни — неизбежные следствия ядовитых веществ, какими меня угощали. Таким образом однажды мне дали чай из валерианы; после двух стаканов у меня началось головокружение; я выскочил на воздух и упал на землю; кругом меня все вертелось: крыши домов, вершины колоколен и даже отдаленные горы; на мое счастье, шедшая мимо женщина догадалась, что мне дурно, и дала мне несколько ударов в спину; со мною началась сильная рвота, возобновлявшаяся раза четыре, и только это спасло меня — иначе, как говорили потом врачи, у меня сделался бы прилив крови к мозгу и апоплексический удар.

С этих пор на некоторое время я устранил себя от занятий историей, вдаваясь в чтение физических и астрономических сочинений, прочел с большим наслаждением Гумбольдта и до крайности увлекся астрономиею. Весною в 1852 году я познакомился с Анной Никаноровной Пасхаловой, впоследствии вышедшей замуж за Д. Л. Мордовцева. Это была женщина чрезвычайно любознательная и увлекающаяся; ее, как и меня, занимала в то время астрономия. К нашему удовольствию, в Саратове временно проживал странствующий оптик Эдельберг (в настоящее время жительствующий в Харькове). У него, между прочим, был очень хороший астрономический телескоп, и, пользуясь этим обстоятельством, мы ездили к нему практически наблюдать и поверять прочитанные нами сведения о строении и течениях небесных тел. Летом по представлению губернатора я был отпущен в Крым, чем был обязан милости нынешнего государя императора, который во время отсутствия родителя управлял делами государства. Я ехал через Таганрог, где, опоздавши к отплытию парохода, принужден был дожидаться нового пароходного рейса целых десять дней. На пароходе от Таганрога до Керчи я встретил харьковского профессора-медика Альбрехта с одним французом, пансионосодержателем в Харькове, и с одним помещиком из Харьковской губернии. Мы условились проехать вместе по Южному берегу; к нам пристал учитель французского языка в екатеринодарской гимназии Аморетти, родом итальянец из Милана, приехавший в отрочестве в Россию и потом учившийся в Харьковском университете. Он владел в совершенстве русским языком, познакомился с малорусскою народностью и сердеч-но полюбил ее.

В Керчи мы остановились на четыре дня и получили приглашение присутствовать при раскопке одного древнего кургана. Раскопкой заведовал тогда художник Бегичев; при той же раскопке был приехавший в Керчь одесский профессор Н. Н. Мурзакевич ⁷⁷. Когда раскопан был один курган и открылся в глубину его склепа узкий вход, через который можно было только пролезть ползком, я вместе с Мурзакевичем спустился туда. Мы очутились в подземном склепе, настолько высоким, что можно было безопасно стоять в нем; мы увидели груды жженных костей, разложенных на земляном прилавке; в головах скелета была глиняная амфора, которую мы вынесли с собою и передали Бегичеву для музея. Более ничего там не найдено. Мы объездили окрестности Керчи, посетили Царский курган, давно уже разрытый, и входили в его средину, представляющую пещеру с винтообразным сводом; потом посещали Золотой курган, находящийся за городом на противоположной стороне от Царского, но не могли спуститься в его внутренность, потому что она недавно завалилась. Разъезжая по окрестностям Керчи, мы заехали в Еникале, где попробовали знаменитого еникальского балыка, который действительно отличается необыкновенно хорошим вкусом. Из Керчи отправились мы в Феодосию, где пробыли только несколько часов, и следовали далее по морю до Ялты. Не останавливаясь в этом городе, мы взяли почтовую тройку, наняли сверх того верховых лошадей и двинулись в путь на запад, предполагивши заезжать в более живописные дачи, расположенные по берегу Черного моря.

Первым местом, куда мы заехали, была Ливадия, принадлежавшая тогда графу Северину Потоцкому; дворец его был устроен в античном, греческом вкусе. Перед крыльцом дворца был разведен цветник, чрезвычайно богатый видами растений и изящный. Из Ливадии мы проехали в обе Ореанды, заехали на дачу князя Мещерского, где гостеприимный хозяин угостил нас завтраком, а оттуда прибыли в Алупку. В то время не было еще там построенной после гостиницы; содержал нечто в роде таверны какой-то француз, страдавший страстью к запою. Здесь с нас содрали неимоверно дорогую цену за плохо приготовленный обед и за ночлег на сене и соломе. Наше неудобство помещения выкупалось наслаждением, какое мы испытывали в превосходном саду, устроенном чрезвычайно изящно и с соблюдением необыкновенной близости к природе и совершенного отсутствия искусственности. Я пожалел только, что не мог остаться в этом очаровательном месте по крайней мере на несколько дней. На другой день, еще раз обошедши значительную часть сада и любовавшись всеми его прелестями, мы отправились на почтовых далее и таким образом проехали через Байдарские ворота и Байдарскую долину до Балаклавы, куда прибыли на восходе солнца в следующий день. Наша медленность произошла оттого, что мы в дороге почти на каждом сколько-нибудь живописном месте вставали и любовались видами. Взошедши на гору в Балаклаве, мы осмотрели стоящие на ней

генуэзские башни; потом спустились вниз, искупались в заливе и, севши на тележку, отправились в Севастополь.

В этом городе мы нашли самый радушный прием; познакомившийся с нами на пароходе во время плавания от Керчи до Ялты лейтенант Варницкий (впоследствии убитый во время войны), сын одного из адмиралов, доставил нам возможность осмотреть несколько кораблей. На каждом из них мы были приветствуемы обществом флотских офицеров, оказывавших нам чрезвычайное радушие и внимательность. Затем мы осмотрели библиотеку и обсерваторию; потом обходили сухие доки и пошатались по улицам. Город был красив, хотя белая пыль, покрывавшая его улицы, невольно наводила скуку. Никто из нас не мог в то время предчувствовать, что от всего виденного нами через три года не останется ничего, кроме развалин и печальных следов разрушения, какие мне привелось увидеть спустя после того восемнадцать лет. Харьковские товарищи моего путешествия уплыли из Севастополя в Одессу, а я вместе с Аморетти уехал на почтовых в Бахчисарай, где мы переночевали и, осмотревши ханский дворец, пустились в Феодосию. У Аморетти там жили родные, а я хотел там купаться. Мое купанье в Феодосии продолжалось, однако, недолго: скука и грусть, возбуждаемые чрезвычайным зноем, одиночеством и пустынной местностью, до того вывели меня из терпения, что я покинул купанье и уехал через Керчь и Таганрог назад в Саратов, куда и прибыл в первых числах августа.

По приезде в Саратов симпатии мои от астрономии обратились к этнографии, и мы с г-жою Пасхаловой вздумали собирать местные народные песни. Таким образом во мне разом пробудилась склонность к тому, к чему я с таким же увлечением предавался назад тому лет десять в другом крае. Я очень часто ездил к г-же Пасхаловой в деревню, отстоявшую от города за восемь верст, где мы приглашали простонародных мужчин и женщин, заставляли петь песни и записывали их; кроме того, в самом городе я преусердно ходил всюду, где только мог найти себе песенную добычу, и таким образом познакомился с народною великорусскою поэзиею, которую до того времени знал только по книгам.

Весною 1853 года Анна Никаноровна уехала в Петербург, а я с тех пор принялся за иную работу; я перебрал все, что мог найти печатного из актов и документов, касающихся внутреннего русского быта прошедших времен, и делал выписки и заметки на особых билетах, составляя из них отделения, касающиеся разных отраслей исторической жизни. Это занятие потянулось на года и увлекало меня до конца моего пребывания в Саратове. В это время, по случаю продажи дома моим бывшим хозяином, я перешел на иную квартиру, в дом консульторского чиновника Прудентова, и оставался там уже до конца, занимая за сто рублей серебром в год шесть светлых комнат во втором этаже с прекрасным видом на Волгу и на далекое живописное городище бывшего некогда татарского города Увека или Укека. Моя

квартира вся была заставлена превосходными тепличными растениями: бананами, спарманиями, пальмами и другими; все это я купил в прекрасной оранжерее Стобеуса и довольно дешево, как и вообще жизнь в Саратове отличалась чрезвычайною дешевизною. Ассигнуя какой-нибудь рубль, можно было иметь отличный обед с ухой из свежих стерлядей, с холодной осетриной, жареными цыплятами и фруктами для десерта. Стерляди и осетры продавались живыми.

С 1853 года начались для меня некоторые неприятности. В Саратове произошло замечательное событие: пропало один за другим двое мальчиков, оба найдены были мертвыми с видимыми признаками истязания: один в марте на льду, другой — в апреле на острове. Всеобщее подозрение падало на евреев, вследствие старинных слухов о пролитии евреями христианской детской крови. Присланный из Петербурга по этому делу чиновник Дурново потребовал от губернатора чиновника, знающего иностранные языки и кроме того знакомого с историей. Губернатор откомандировал к нему меня. Прежде всего мне дали для перевода странную книгу: это были переплетенные вместе печатные и писанные отрывки неизвестно откуда на разных языках, заключающие в себе официальные документы о неосуждении иудеев в возводимом на них подозрении в пролитии христианской крови. Тут были и папские буллы, и декреты разных королей, и постановления сенатов, и циркуляры министров. Книгу эту нашли у одного еврея. После перевода этой книги меня просили составить ученую записку — опыт решения вопроса: есть ли какое-нибудь основание подозревать евреев в пролитии христианской детской крови. Так как для этого нужны были пособия, то при посредстве Дурново я и получил их от саратовского преосвященного Афанасия. Рассмотрев предложенный мне вопрос, я пришел к такому результату, что обвинение евреев хотя и поддерживалось отчасти фанатизмом против них, но не лишено исторического основания, так как еще до христианской веры уже существовало у греков и римлян подобное подозрение, как это показывают свидетельства Анпиона, говорившего, что Антиох Епифан, сирийский царь, нашел в иерусалимском храме греческого мальчика, приготавливаемого иудеями к жертвоприношению, состоявшему в источении крови из жертвы, и Диона Кассия, по известию которого в городе Кирене, в Африке, греки перебили евреев за то, что последние крали греческих мальчиков, приносили их в жертву, ели их тело, пили их кровь. Я указал сверх того на то обстоятельство, что евреи еще в библейской древности часто отпадали от религии Моисея и принимали финикийское идолопоклонство, которое отличалось священным детоубийством. Наконец, я привел множество примеров, случившихся в средние века и в новой истории в разных европейских странах, когда находимы были истерзанные дети и всеобщее подозрение падало на евреев, а в некоторых случаях происходили народные возмущения и избиения евреев. Множество папских булл и королевских декретов, которые евреи собирали и хранили так усердно, пока-

зывает, что было нечто такое, что вынуждало явления этих документов, тем более что значительная часть этих официальных памятников, которыми евреи себя оправдывали, давалась тогда, когда дававшие их явно нуждались в деньгах, и т. д. Но когда губернатор узнал о том, что я написал, то призвал меня к себе и начал грозить, что он меня засадит в острог и напишет куда следует о моей неблагонадежности, чтобы меня послали куда-нибудь подальше и в худшее место. Дело в том, что губернатор допустил противозаконно проживать евреям в великорусской губернии, где им не дозволялось жить, опасаясь со стороны присланного чиновника под себя подкопа и не хотел, чтобы правительство признало подозрение на евреев сколько-нибудь основательным. В то же время он написал к Дурново отношение, в котором очернил меня и поставил ему в непристойность доверие ко мне как к лицу, дурно себя заявившему и находящемуся под надзором полиции. Я принужден был оставить еврейский вопрос.

На следующий год в саратовской администрации произошла большая перемена: губернатор был отставлен; за ним то же последовало со многими другими чиновниками; приехал новый губернатор Игнатъев и новый вице-губернатор; последним назначен тот же самый Дурново, который в предшествовавшем году производил следствие; к достижению этой должности ему, как я слышал, помогло мое сочинение, которое в министерстве признали за его собственное и сочли его ученым человеком. Но в должности вице-губернатора ему пришлось быть недолго: не более как через год он был замещен другим.

В 1854 году надо мною собиралось новое несчастье, которое, однако, миновало меня. Я отдал напечатать собранные мною песни в «Саратовские губернские ведомости»⁷⁸, не подписывая моего имени. Печатаение всех песен еще не было окончено, как вдруг из Петербурга получается бумага, где извещается, что высшая правительственная власть заметила, что в «Саратовских губернских ведомостях» печатаются некстати народные песни непристойного содержания, причем против одной песни было замечено: «мерзость, гадость; если такие песни существуют, то дело губернского начальства искоренять их, а не распространять посредством печати». Это замечено против следующих стихов в одной песне:

Девчоночка молода раздогадлива была,
Черноброва, черноглаза парня высушила,
Присушила русы кудри ко буйной голове,
Заставила шататься по чужой стороне,
Приневолила любить чужемужних жен.
Чужемужни жены — лебедушки белы,
А моя шельма жена — польнь горькая трава.

Вследствие этого повелено было цензора, пропустившего песни, отставить от должности с лишением пенсионера. Цензором был директор саратовской гимназии, который, однако, сумел отписаться и оправдаться. Я думал, что доберутся и до меня, но меня не спрашива-

ли. Вслед за тем случились новые неприятности. Приехал в Саратов новый полицеймейстер, отличившийся тем, что на первых же порах, желая угодить начальству, неблагосклонно взглянувшему на песни, ездил по городу с казаком и приказывал бить плетью людей, которых заставлял с гармониками поющих песни. В начале 1855 года вскоре после своего приезда он приказал собраться в полицию всем состоящим под ее надзором; я был позван в числе прочих и увидел кроме знакомых мне сосланных поляков несколько мужчин и женщин, содержащихся под надзором не за политические дела, но за всякого рода преступления и проступки. Тут были, как я узнал, и содержательницы домов терпимости, и оставленные в подозрении по разным уголовным делам, между прочим, и по тому еврейскому делу, которое не так давно принесло мне столько неудовольствия. Полицеймейстер, вошедши с грозным начальническим видом, начал читать всем составленные им правила, заключающие в себе разные наставления о добропорядочном поведении, например: не ходить по кабакам, по зазорным домам, не буяннить, не пьянствовать до безобразия и т. п.; но вместе с тем навязывал на всех обязанность не выезжать за городскую черту, ни с кем не сноситься и не вести корреспонденции иначе как с его ведома и разрешения. Прочитавши такое нравоучение, он требовал, чтобы все давали подписку в соблюдении начертанных им правил. Призванные стали подписываться. К удивлению моему я увидел, что поляки, содержащиеся по политическим делам, также безропотно подписывались. Когда же очередь дошла до меня, я сказал, что давать такой подписки не стану, потому что хотя я и состою под надзором, но под особым, и по высочайшему повелению определен на службу, в которой я нахожусь. «Все ваши товарищи подписали», — загремел полицеймейстер, указывая на собранную им разнообразную публику. «Я не могу, — сказал я, — обязываться не выезжать без вашего позволения из города, когда, быть может, губернатор пошлет меня по какому-нибудь делу, секретному и для вас; также и переписки своей не буду открывать вам». Полицеймейстер разъярился и затопал на меня ногами, но я сказал ему: «Г. полицеймейстер, вы на меня не топайте; я вижу, что вы не совсем понимаете вашу обязанность по отношению ко мне: я прислан сюда под особый надзор и в совершенном секрете, следовательно, вы можете секретно следить за мною, но не должны были призывать меня сюда в присутствии многих незнакомых мне лиц и таким образом публиковать о моем секретном нахождении под надзором; если вам угодно, спросите прежде губернатора, и когда мне он прикажет давать вам какую-нибудь подписку, тогда дело иное». «Поедьте к губернатору», — сказал он, вышел, мы сели с ним в сани и отправились к губернатору Игнатьеву. Полицеймейстер вошел к нему в кабинет, оставив меня в зале. Через несколько минут вышел губернатор и пригласил меня в кабинет, а полицеймейстер уехал. Губернатор принял меня ласково и просил извинить полицеймейстера, «кото-

рый еще внове и не знает вашего положения», сказал он. Затем губернатор предложил мне принять на себя звание делопроизводителя статистического комитета, что мне должно было дать 300 рублей прибавки к получаемому мною содержанию. В заключение всего губернатор по моей просьбе обещал исходатайствовать мне если не совершенную свободу от всякого надзора, то по крайней мере право съездить в Петербург на четыре месяца для получения денег моей матери, хранящихся в Опекунском совете. Надобно сказать, что еще в 1848 году мать моя положила в Опекунский совет 1500 рублей; в то же время какой-то крестьянин Правдин, стоявший за нею, увидел номер безыменного билета и подал объявление о его утрате, будто бы случившейся в самом Опекунском совете в день взятия билета. Пошло уголовное дело и кончилось в пользу моей матери. Постановлением уголовной палаты определено было отдать билет моей матери. Теперь надлежало взять из уголовной палаты копию с решения дела и с этой копией потребовать денег из Опекунского совета с накопившимися процентами.

После этого свидания с губернатором я начал заниматься статистикою Саратовского края в звании делопроизводителя статистического комитета, а между тем продолжал мои занятия по внутренней русской истории, по-прежнему выписывая места из актов и всяких документов, какие только мог найти в печатном виде в Саратове. Тогда же я занялся разбором рукописей, находившихся в саратовском соборе, забранных в разное время у раскольников, и в числе этих рукописей нашел превосходный и полный список «Стоглава», самый старейший и самый правильный из всех, какие мне случалось видеть после того. В мае, в том же году, возвратилась из Петербурга моя давняя знакомая Анна Никаноровна, уже не г-жа Пасхалова, а г-жа Мордовцева; она приехала с молодым мужем, только что кончившим курс в С.-Петербургском университете с званием кандидата и с золотой медалью. Первое знакомство с ним сделало на меня самое приятное впечатление; я скоро с ним сблизился и навсегда подружился. Близость наша поддерживалась тогда и тем, что он скоро после своего приезда получил место помощника делопроизводителя в статистическом комитете, а как делопроизводителем был я, то у нас явились общие интересы.

В июле того же года Саратов был поражен замечательным несчастием. 21 июля разнесся в городе слух, что город будут жечь в продолжение недели и сожгут дотла. И в самом деле, 24 числа вспыхнул пожар на краю города у машинной фабрики, и не успела пожарная команда явиться туда, как огонь показался на противоположной части города разом в нескольких местах. С восьми часов утра до четырех часов вечера истреблено было 500 дворов. Это произвело такой панический страх на жителей, что они стали выбираться из домов и располагаться за городом в поле, а некоторые — в лодках на Волге. Рано утром 25 числа вспыхнул пожар рядом с моей квартирой, и дому, где я жил, угрожало пламя. Моя матушка, подчиняясь общему страху

и желая спасти более ценную движимость, вместе с прислугою выехала в поле, а я пока остался в квартире. В тот же день было несколько пожаров в разных местах города. 26 июля на солнечном восходе опять загорелось по соседству со мною, в том же дворе, где и прежде, но в другом строении. На этот раз пламя уже достигло до окон моей квартиры. Ко мне вбежали незнакомые люди, предлагая выносить пожитки, но в моей квартире оставалось только немного мебели и кадки с растениями; я не позволил ничего выносить, соображая, что если растения вынесут, то их переломают и они все равно пропадут. Ожидая с секунды на секунду, что огонь ворвется ко мне в окно, я связал свои бумаги, именно: тетрадь с историею Хмельницкого и кипу выписок из актов, и собирался уходить со своею ношею за город к матушке, как прибежали ко мне несколько знакомых; они удивлялись, что я так хладнокровно остаюсь в своем помещении, когда мне угрожает огонь, но я, засмеявшись, указал им на свои бумаги и припомнил известное выражение бежавшего из пылающего города греческого ученого: «*Omnia mea mecum porto*» (все свое несу с собою). Однако пожар был потушен; дом, в котором я жил, не сгорел. Я вышел на улицу и был свидетелем забавной сцены: частный пристав рассказывал народу, что пожары производят враги наши «англо-французы» и что одного англо-француза поймали на прибывшем пароходе. Народ слушал с доверчивостью, воображая, что в самом деле существует народ, называемый англо-французы.

В течение этого дня опять случилось несколько пожаров. Часов в шесть пополудни я отправился купаться и на улице встретил дикую толпу мешан, которые вели связанным какого-то молодого человека, избитого и залитого кровью. Двое из этих мешан, жительствовавших на одной со мною улице, знали меня и обратились ко мне в качестве посредника или третейского судьи в их деле. По расспросу моему оказалось, что избитый и связанный молодой человек был грузин, учившийся в саратовской семинарии; он был именинник, пригласил к себе товарищей и начал с ними курить; хозяйка дома вошла к веселой компании и начала читать нравоучения, что грешно пить и веселиться в то время, когда всех постигло божие посещение; горячий грузин не вытерпел и начал ее выталкивать; она подняла тревогу, сбежался народ, несчастного грузина сочли поджигателем, «англо-французом», и увидя, что в одном месте начинается пожар, вели его туда с намерением, как сами сознавались, бросить его в огонь, а по дороге к месту расправы наносили ему удары. Я объяснил им, что нельзя так самовольствовать, что если они его подозревают, то должны препроводить к начальству — и то без побоев; начальство разберет, виноват ли он, и если окажется виновным, то виновного и постигнет наказание, указанное законом. Мои слова подействовали на разъяренную толпу более, чем я хотел: грузина развязали и не повели в полицию, но отпустили на свободу, наградивши его только крепкими русскими словами.

Пожары стали прекращаться только в начале августа. На счастье, приехал в Саратов новый полицеймейстер, человек очень энергичский, принявшийся за дело спасения города усерднее, чем это делалось прежде. Подкидывались записки такого рода: «Сергей Иванович! (один из купцов-домовладельцев) Хоть стереги свой дом, хоть не стереги, а мы тебя сожжем. Васька-белый писал рукой смелой». Однако дом этого Сергея Ивановича остался цел. Из произведенного следствия открылось только два поджога: один произвел мальчик, учившийся у сапожника; перелезши через забор в соседний двор, он воткнул спичку с огнем в ясли, где было положено сено; произошел пожар. Впоследствии мальчик, обличенный другим мальчиком, которому он открыл о своем преступлении, показал, что он сделал это для того, чтобы посмотреть и полюбоваться как будет гореть. В другом доме пожар был произведен четырнадцатилетней девочкой, которую барыня жестоко избила, и та в припадке досады сделала поджог на чердаке дома своей барыни. Не найдено было никакого следа партии каких-нибудь злоумышленников, действующих заговором по предначертанным целям. В народе, с голоса полицейских чиновников, толковали об англо-французах, а в высших кругах подозревали поляков. Один господин, занимавший тогда должность советника, находясь в одном доме, изъявлял подозрение на меня, хотя никогда не видал меня в глаза, как и я его, и когда ему сказали, что я не поляк, он отвечал, что наверно знает, что я поляк и притом католического исповедания.

Осенью на представление губернатора прислано было дозволение отправиться мне в Петербург во временный отпуск для окончания моих дел. С первым зимним путем я пустился в дорогу вместе с одним чехом, занимавшим до того времени должность управляющего в одном именин Саратовской губернии. Мы ехали на почтовых через Пензу, Арзамас, Муром и Владимир до Москвы, а оттуда по железной дороге в Петербург. С нами съезжались на почтовых станциях всякого рода лица, заводили разговоры и знакомства. Это было время всеобщих надежд на обновление России, которого все тогда чаяли при наступившем новом царствовании; толковали о скором заключении мира и об обращении деятельности правительства и общества ко внутреннему благоустройству России. Это было истинно поэтическое время; казалось, всякие эгоистические стремления улеглись, люди переставали думать о собственных выгодах, у всех на уме и на языке было возрождение русского общества к иной жизни, которой оно только желало, но еще не испытывало. У всех слышалась вера в доброжелательство и ум нового государя, и уже тогда наперерыв говорили как о первой необходимости об освобождении народа из крепостной зависимости. В одном месте на дороге с нами встретился помещик Нижегородской губернии, который сознавался, что если последует освобождение, то оно принесет дворянству сильный удар и подорвет его материальные выгоды; но «нечего делать», говорил он, «надобно принести в жертву все для пользы народа; ведь жертво-

вали же и достоинством, и самую жизнь в минуты угрожавшей отечеству опасности, тем более обязаны послужить ему в таком важном деле, которое обновит его на многие поколения». Говорили даже о заведении школ для народа и считали дело народного образования столько же важным, как и дело освобождения. По приезде в Петербург я поместился в *chambres garnies*⁷⁹ на Малой Морской в доме Митусова и за 25 рублей в месяц получил удобно меблированную комнату с перегородкой для спальни и с прислугой. Дело моей матери было окончено скоро, и я получил следуемые ей деньги.

Важнейшим моим занятием я положил себе привести в окончание свою историю Хмельницкого и дополнить новыми выписками из книг и рукописей Публичной библиотеки давно уже собираемые мною данные для «внутреннего быта древней России». С декабря 1855 года я начал ходить в императорскую Публичную библиотеку, занимался печатными источниками в отделении *Rossica* и рукописями славянскими и польскими. Не проходило дня, в который бы я не сидел в библиотеке, отправляясь туда к десяти часам утра и возвращаясь вечером, обыкновенно в девять часов, если не посвящал вечера на посещение театра. На обед тратил я не более получаса, отправляясь из библиотеки в один из ближайших ресторанов. Так прошло до четырех месяцев. Я почти ни у кого не бывал и погрузился всецело в мир минувшего. Таким образом в этот период моей жизни я успел переписать множество томов и брошюр по истории Малороссии при Богдане Хмельницком, пересмотрел несколько книг, польских рукописей и перебрал путешественников, писавших о России, из которых сделал себе отметки, относившиеся к чертам нравов и быта, подмеченным путешественниками.

В марте 1856 года я отнес экземпляр истории Богдана Хмельницкого к цензору Фрейгангу, как вдруг неожиданно для меня услышал от него, что при покойном государе состоялось секретное запрещение допускать мои сочинения к напечатанию. Я отправился к генералу Дубельту с просьбою об исходатайствовании снятия с меня этого запрещения. Дубельт принял меня очень ласково, обнадежил исполнением моего желания и обещал поговорить с цензором, чтобы он был ко мне снисходителен. Когда через неделю после того приехал я к Фрейгангу, он сообщил мне, что Дубельт призывал его и толковал с ним обо мне, но не просил, как обещал, быть ко мне снисходительным, а напротив, предостерегал быть особенно строгим и внимательным; тем не менее разрешение было мне выдано и путь к литературной деятельности открыт⁸⁰.

Моего «Богдана Хмельницкого» я предназначал для печатания в «Отечественные записки», которые цензировал Фрейганг. Верный наставлению Дубельта, этот цензор был действительно ко мне очень строг: вымарал множество мест, не представлявших ничего подзрительного, если не прилагать особого желания толковать их с натяжкою в дурном смысле. Мой «Богдан Хмельницкий», однако, про-

шел и поступил в распоряжение Краевского, издателя «Отечественных записок». В то же время я поместил в «Современнике» статью о «Горе-Злочастии», изложив содержание этого памятника великорусской поэзии XVII века, отысканного при моих глазах А. Н. Пыпиным в одном из погодинских сборников. Обделав свои дела и не дожидаясь напечатания «Хмельницкого», которое должно было идти на многие месяцы, с весною я уехал в Саратов, где принялся приводить в порядок собранные в Публичной библиотеке выписки о внутренней истории древней России и стал обрабатывать, как одну часть обширного труда, историю русской торговли XVI и XVII века, уделяя, кроме того, время и на занятия статистикою Саратовской губернии, как того требовала занимаемая мною должность делопроизводителя статистического комитета. В этом звании по поручению губернатора съездил я в город Вольск, осмотрел его и составил его описание, которое было напечатано в 1857 году в «Саратовских ведомостях» и перепечатано в «Памятной книжке Саратовской губернии» Мордовцевым.

Пришла очередь и песням, собранным некогда в Волынской губернии; я передал их Мордовцеву для напечатания в «Малорусском сборнике», который он тогда задумал издать. К сожалению, цензор Мацкевич, которому Мордовцев послал мою рукопись, обошелся с песнями истинно вандальским способом: все, что ему не нравилось, он марал без зазрения совести, не обращая внимания на то, что песня иногда теряла через то мысль. Кажется, приключение с моими саратовскими народными песнями было ему известно и послужило для него как бы нравоучением, потому что этот цензор затирал красным чернилом особенно такие места, которые могли бы показаться неудобными для чтения молодых девиц. Песни эти жестоко пострадали и хотя были напечатаны, но я остался до крайности недоволен такого рода изданием собранных мною народных памятников.

В том же «Малорусском литературном сборнике» поместил я несколько малорусских стихотворений под псевдонимом Иеремии Галки, оставшихся от ранней эпохи моего писательства.

VI

Освобождение. Поездка за границу. Возвращение. Участие в трудах по крестьянскому делу

Высочайший манифест, последовавший после коронации государя императора, освободил меня от надзора, под которым я находился со времени моего прибытия в Саратов. Необыкновенно радостною и памятною останется для меня та минута, когда меня пригласили в канцелярию губернатора и дали прочесть присланную обо мне бумагу от министра внутренних дел, в которой было, однако, сказано в конце,

что «прежнее распоряжение в бозе почившего государя о восприимчивости Костомарову служить по ученой части должно оставаться во всей силе». Итак, я стал свободен, не привязан более к одному месту и мог ехать куда угодно. Первым желанием моим в то время было поехать за границу. Я условился ехать на следующую весну с доктором Стефани, имевшим тогда служебное место в Саратове. До того времени я не считал нужным куда-нибудь ехать, так как хотел окончить и приготовить к напечатанию мой «Очерк торговли»⁸¹. Это занятие поглотило у меня всю зиму.

В начале мая 1857 года я вместе со Стефани отправился сначала в Петербург, с тем чтобы там устроить к напечатанию мое сочинение. Так как в то время я чувствовал глазные боли, то, проезжая через Москву, обратился за советом к доктору Иноземцеву, и тот, осмотревши мои глаза, сказал, что у меня начинается катаракт. Это привело меня в испуг. По приезде в Петербург я обратился к окулисту Кабату, и тот сказал то же, что Иноземцев, что я должен ожидать себе катаракта. Свидетельства двух знаменитых врачей надобно было считать очень вескими доказательствами, и я вместо того, чтобы ехать за границу для отдыха и прогулки, должен был ехать для лечения, с тем чтобы искать спасения от угрожающей мне слепоты. И Кабат, и Иноземцев, как бы сговорившись, советовали мне попользоваться киссингенскими водами, а потом ехать купаться на море. Я отправился на пароходе в Швецию вместе с доктором Стефани.

Прежде всего привелось мне посетить Ревель, а оттуда плыть в Гельсингфорс. Там я пробыл только одну ночь, не успевши ничего видеть, а наутро пароход поплыл в Або. Путь наш лежал посреди бесчисленного множества островков, между которыми попадались довольно высокие, утесистые и живописные. Некоторые из них были покрыты зеленью, другие представляли собою дикие скалы. Так плыли мы до самого вечера и на солнечном закате повернули в залив, в котором расположен город Або. На левой стороне входа в залив лучи заходящего солнца золотили стены старого замка, известного в истории тем, что он был некогда темницей низложенного шведского короля Эрика XIV. Город Або не представляет ничего особенно красивого по своей постройке, но бросается в глаза своим живописным местоположением совершенно в северном вкусе. На берегу реки, впадающей в залив, возвышаются горы, покрытые между камнями яркою зеленью, свойственною холодным краям, и кое-где кустарниками. Мне удалось немного походить по городу и его окрестностям уже почти ночью, которая была до того светла, что, казалось, можно было читать.

Утром я снова пошел знакомиться с местоположением города, но погода была хотя ясная, но очень холодная, несмотря на то что тогда был конец мая. Около полудня мы отправились в путь. До вечера мы продолжали плыть между островами, что было очень удобно потому, что по этому пути качки не бывает. К ночи мы достигли Аландских островов, и там пароход остановился на якоре. На другой день

утром мы плыли уже по открытому морю в Ботническом заливе и около часа пополудни увидели шведский берег, а потом в зрительную трубу можно было разглядеть Стокгольм. Приближаясь к берегу, пароход зашел в ворота, образуемые двумя скалами, а за этими воротами расстиралось опять открытое море — сплошь до самого стокгольмского берега. Через час мы пристали к Стокгольму. Пристань расположена в середине столицы, почти против королевского дворца, и, вступая на берег, путешественник очутится в самой лучшей ее части. Гостиниц в Стокгольме в то время было немного; все они расположены на пристани и были до того переполнены, что я не нашел себе ни в одной нумера и остановился поблизости в *chambres garnies*, содержимых одною старою шведкою. Мое положение было незавидно: я не знал шведского языка, а бывшая в кармане у меня книжечка со шведскими словами и разговорами недостаточно меня приготовила для того, чтобы не встречать больших затруднений в неизвестном крае. На мое счастье, в то время когда пароход приставал к берегу, я познакомился с пономарем русской церкви, исполнявшим в то же время должность секретаря у русского консула и вместе с последним приехавшим на пароход для освидетельствования паспортов. Этот господин с обязательною любезностию сам вызвался быть мне во всем полезным и служить мне проводником и указателем в Стокгольме, который был ему хорошо известен, так как он жил здесь уже двенадцать лет и женился на шведке. На другой день я отдавал хозяйке свое белье для мытья: нечаянно она увидела на мне крест, радостно вскрикнула «*catholique*» и немедленно принесла ко мне в комнату и поставила у моей постели гравюру Благовещения. Не владея шведским языком, я не понял ее речей, но заметил, что она произносила их со взволнованным видом; когда же пришел ко мне мой добрый пономарь, то, поговоривши с хозяйкой, объяснил мне, что она католичка, а так как католики в Швеции не пользуются никакими гражданскими правами и подвергаются угнетениям и презрению от народа, фанатически преданного лютеранизму, то это заставляет их особенно сочувственно относиться к тем иностранцам, которых они признают за своих единоверцев. Старуха сочла меня католиком, и хотя впоследствии ей объяснили, что я русский и православный, но религиозные познания моей хозяйки не простирались так далеко, чтобы отличать православие от католичества, и она продолжала меня считать единоверцем.

При помощи русского посланника князя Дашкова я получил доступ в шведский государственный архив⁸² и занимался там русскими бумагами, оставшимися с того времени, когда Новгород с частию своих земель находился под властью шведской короны; но в этих бумагах, правду сказать, я нашел мало любопытного. Гораздо интереснее показались мне кое-какие латинские, французские и немецкие бумаги, относившиеся к эпохе Северной войны. Тут я пожалел, что заранее не учился по-шведски. Доступ в архив был открыт самым

гостеприимным образом; чиновники так были любезны, что старались услужить чем-нибудь, и, кроме того, посланник передал меня особому покровительству одного из служивших там, бывшего профессора Нордстрема, знавшего порядочно по-французски и потому дававшего мне возможность вести с ним беседы. При его посредстве я съездил в Упсалу и осмотрел тамошний музей древностей местной истории.

Замечу при этом следующий случай, очень занимательный и поучительный. Всем известно предание о таинственном видении, бывшем с королем Карлом XI: много раз было писано о нем. Рассказывали, что этот король, занимаясь наблюдением звезд, увидал свет, выходявший из пустой залы Национального собрания. Король отправился туда, нашел двери запертыми и, отомкнувши их, увидел сидящих за столом, покрытым черным сукном, неизвестных лиц, показавшихся ему судьями. В залу ввели какое-то лицо; один из судей прочитал приговор; осужденному отрубили голову, и кровь с его отрубленной головы брызнула на башмак короля. Сидевший за столом председатель суда сказал королю: «То, что ты видел, случится не с тобою, а с одним из твоих преемников». Вслед за тем все исчезло, король остался в темноте, но кровавое пятно на его башмаке было свидетельством, что король видел это не во сне; и этот башмак, как писали, сохраняется в Упсале. Когда я, вспомнивши о читанном мною, стал спрашивать о башмаке, на мой вопрос засмеялись и отвечали, что эту сказку выдумали не в Швеции, а где-то на континенте, и никакого башмака не было в Упсале, и ни о каком видении не записывалось в шведских бумагах. «Правда,— говорили мне,— что нынешние камер-лакеи во дворце, поддельваясь ко вкусу путешественников, покажут вам то окно во дворце, чрез которое король Карл XI увидал таинственный свет, но это не более как повторение чужеземной сказки, зашедшей к нам из иностранных книг». И в самом деле, потом я осматривал в Стокгольме королевский дворец, и придворный служитель показал мне это окно, точно так же, как в Москве показывают в Кремлевском дворце окно, откуда будто бы выскочил Самозванец, тогда как здание нынешнего Кремлевского дворца в его настоящем виде — произведение эпохи императора Николая.

Стокгольм разделяется на три части, составляющие каждая как бы отдельный город. Одна из них, где находится королевский дворец, носит название Норд-Мальм. Это лучшая часть города. Здесь находится театр и разные торговые помещения. Начиная от площади до оконечности города тянется самая красивая улица Стокгольма, Дротинг-Гатинг (улица королевы). Южная часть города, рассыпанная по холму, Зюд-Мальм, не имеет таких красивых построек; мостовая в ней неудобная, но зато здесь глаз встретит множество старинных средневековых построек. Третья часть — на острове, образуемом озером Мелар. Здесь находится дом Национального собрания — красивое большое здание, выкрашенное красною краскою, — любимый цвет шведов. Из церквей бросается в глаза по своей относительной старине

собор св. Олафа, построенный в XIII веке знаменитым правителем Швеции Биргер Ярлом. Обычным гуляньем для столиц служит находящийся за городом сад, называемый Дир-Гарден, с огромными вековыми деревьями и со множеством аллей, из которых по одним можно ходить, а по другим и ездить экипажами. Достаточно пожить в Стокгольме недели две, чтобы признать за шведами характеристические их качества: большое трудолюбие и опрятность почти щепетильную. В продолжение всей недели на заметишь на улице праздной толпы, но зато в воскресный день все высыпает гулять в Дир-Гарден, а иные прохлаждаются катаньем на лодках по озеру и морю, причем раздаются веселые песни. Тогда, как мне объяснил мой указатель, было в моде распевать патриотическую песню, в которой шведы прославляли свою Скандинавию. Если бы меня не тревожило угрожающее положение моих глаз, я бы, вероятно, остался в Швеции надолго и принялся бы основательно изучать шведский язык; но предписания врачей, назначивших мне киссингенские воды, торопили меня в Германию. Мое незнание шведского языка на каждом шагу служило мне источником неприятностей и однажды заставило меня проночевать на улице под ночным холодом. Когда я выходил из своей квартиры, хозяйка дала мне какой-то ключ; не разобравши, что она говорила и не понимая, зачем мне этот ключ, я повесил его на колку, вбитом в стену в своей комнате; когда же, воротившись поздно домой, я начал звонить у ворот подъезда, мне не отпирали; я слышал голос дворника, по которому понял, что он сердится. Нечего было делать, я отправился на площадь, лег у памятника Густава Адольфа и пролежал там всю ночь до солнечного восхода. Потом уже пономарь, поговоривши с хозяйкой, объяснил мне, что по здешнему обычаю всякому жильцу дается ключ от ворот подъезда и он может, никого не беспокоя, отпереть подъезд и, вошедши, запереть его снова.

Покидая Стокгольм, я решил плыть на купеческом пароходе, отправлявшемся в Любек, и нанял себе место в первом классе этого парохода. Пассажиров было немного, и все без исключения шведы, не умевшие говорить иначе как на своем языке, которого я не понимал. Путь оказался очень медлен: отплывши утром в субботу, к вечеру мы прибыли в Норд-Чопинг, самый промышленный город во всей Швеции, прозванный за то шведским Манчестером. Шведы чрезвычайно строго соблюдают воскресные дни, и потому пароход должен был стоять на якоре до понедельника. От нечего делать утром в воскресенье я вышел на берег и пошел странствовать по незнакомому городу. Увидя церковь, красиво обсаженную деревьями, я вошел в нее и сел на лавку. Через несколько времени раздался колокольчик; сторож сделал какой-то оклик, которого я по незнанию шведского языка не понял; некоторые вышли из церкви, а я продолжал оставаться на своем месте. Церковь заперли на засов. Взшел пастор на кафедру, начал читать проповедь, в которой я ничего не мог уразуметь, кроме долетавших до моего слуха имен Иисуса Христа и апостола Павла. Я было

попытался уйти, но придверник меня не пустил. Тут я понял, что у них в обычае запирают церковь во время проповеди и до ее окончания никого не выпускают из церкви и никого не впускают, а оклик, которого я не понял, был предложением тем, которые не желают слушать проповеди, уйти заранее. Я сел на свое место и протомился битых полтора часа, зевая под звуки неизвестных мне слов. Наконец, пастор произнес давножданное мною «ашеп», церковь отперли, и я поскорее выскочил из нее. Долго ходил я по городу, видел множество фабричных строений с трубами, остававшихся в бездействии по причине воскресного дня, наконец, почувствовал голод и стал отыскивать какой-нибудь ресторан. Я встретил их несколько, но ни в один меня не пустили: в воскресные дни они запираются так же, как и лавки; встречались вывески с кондитерскими, но и там двери были закрыты. И так проходил я по плохо вымощенным улицам Норд-Чопинга до солнечного заката и, решившись возвратиться на свой пароход, стал искать выхода из города. В это время увидел я одну открытую кондитерскую и зашел туда. Первый предмет, попавшийся мне на глаза, был кипящий самовар; русская надпись, вырезанная на его крышке: «Иван Прокофьев в Туле», повеяла на меня дорогим отечеством. Я попросил чаю, но увы! шведка приготовила мне такой ужасный напиток, которого я при всем томившем меня голоде не мог пить. Явно было, что в Норд-Чопинге не имеют понятия о русском чае. Заплатив деньги ни за что ни про что, я вышел из кондитерской и уже не искал более никакой яствы в Норд-Чопинге, а спешил на пароход, куда и добрался уже ночью.

Отплывши утром далее, я воспользовался двухчасовым стоянием парохода в Кольмаре и посетил тамошний собор, знаменитый в истории заключением Кольмарской унии⁸³. Здание это с толстыми черными стенами и узкими длинными окнами — не готической архитектуры: своды его имеют закругленную форму. Обозреть город не доставало времени, и, осмотревши собор, я отправился на пароход. Будучи всегда восприимчив к морской болезни, я подвергся ей в жестокой степени. Мы плыли всю ночь, потом целый день, и только к вечеру другого дня качка стала утихать. Мы прошли мимо острова Рюгена, и я с большим любопытством смотрел на белый высокий берег — место, где когда-то находилась божница Свантовита, важнейшее религиозное место языческого славянства, столь наглядно описанное у Саксона Грамматика и Адама Бременского⁸⁴. Мне было жаль, что я не имел возможности взойти на берег и посмотреть на это священное место наших предков. С солнечным заходом мы вступили уже в Травемюнде — залив с зелеными берегами, по которому пришлось нам плыть с добрый час. Наконец, стало смеркаться, пароход зашвистал и бросил якорь.

Мы прибыли в Любек. Ночь была значительно темнее шведских ночей; чувствовалось, что мы далеко отшатнулись к югу. Взявши извозчика, я приказал везти себя в одну из гостиниц, которой адрес

узнал по своему печатному путеводителю. Мне отвели удобную, покрытую коврами комнату. Утром вставши, я пошел ходить по городу. Первое, что поражает путешественника в Любеке, это средневековый характер постройки многих из его домов, из которых иные сооружены в XIII и даже XII веке и оставались до сих пор без значительных перестроек. Впоследствии, через несколько лет удалось мне посетить Нюренберг, и я могу сказать, что два города, Любек и Нюренберг, особенно замечательны архитектурным средневековым характером своих домов. Я посетил ратушу, бывшее место главного управления всего Ганзейского союза⁸⁵, которого столицей был Любек в течение нескольких веков, заходил в Maria-Kirche, бывший некогда патрональный храм Любека во время его величия. Церковь построена в готическом стиле, очень высока и светла. Мне показали две картины Овербека, несколько картин Гольбейна — образцы старонемецкой живописной школы и одну замечательную фреску, на которой изображен танец смерти. Этот сюжет встречается на многих старых церквях Германии, но нигде я не видал его в такой полноте и с яркостью красок, как в Любеке. Представляется смерть в обычном виде скелета: множество раз она танцует с разными лицами, и под этими лицами подписывается их звание и положение в свете. Смерть танцует с императором, епископом, монахами разных орденов, с рыцарем, с дамою, с бургомистром, с мещанином, мещанкою, со старыми и малыми, со знатными и с нищими. Всякое лицо, танцующее со смертью, одето в принадлежащий ему парадный костюм, и потому-то этого рода средневековое изображение составляет очень важный материал для средневековой археологии, давая возможность изучать уборы всех сословий средневекового общества. Церковь св. Марии установлена множеством статуй, которые не были уничтожены и изгнаны во время обращения ее в лютеранство. Вообще это один из замечательных храмов средневекового зодчества в Германии.

Вечером в тот же день я выехал из Любека в Гамбург и, простоявши там сутки, погладил по городу, который отличается богатством домов, но мало заключает в себе остатков старины. Я двинулся из Гамбурга чрез Ганновер вплоть до Кельна и прибыл в этот город утром на рассвете. Величественная, хотя и безобразная издали масса недостроенного Кельнского собора виднелась уже на железной дороге и представлялась вдали каменной горою. Первым делом моим было по приезде в город бежать в собор. Был, кстати, воскресный день. Я отслушал обедню, которую отправлял тогда архиепископ. Один из служивших при церкви, заметивши, что я иностранец и с любопытством осматриваю собор, пригласил меня взойти на хоры, поближе к органу. Обедня служилась с большим торжеством: кроме органа был целый оркестр музыкантов и большая стройная певческая капелла. По окончании богослужения архиепископ с духовенством отправился процессией по городу. Я пошел за толпою и увидел множество молодых девочек в белых платицах с венками на головах из живых цветов;

они несли впереди образа и разные священные вещи. Я узнал, что это был день публичного экзамена в городском училище. Пообедавши, я отправился снова в собор и на этот раз сошелся с одним русским, уроженцем Курляндии, исправлявшим при соборе должность в роде сторожа или швейцара; он начал обводить меня по всем закоулкам и водил на самый верх, откуда чрез отверстие недостроенного свода приятно долетали снизу звуки органа и церковное пение отправлявшейся вечерни. С вершины собора глаз видит весь Кельн как на ладони. Мой путеводитель указал мне разные церкви, рассеянные по городу. Спустившись вниз в собор, я начал осматривать ризницу, которую путешественникам показывал священник; здесь множество драгоценной утвари, подаренной в разные времена в собор императорами. Привыкши в отечестве слышать рассказы о богатствах наших монастырей и церквей и повидавши это богатство, я был поражен тем, что увидел в Кельнском соборе. Все наши церковные богатства так же мелки и ничтожны перед здешними, как мелка архитектура наших наиболее знаменитых храмов перед поражающим величием готического собора. Один из самых замечательных предметов кельнской ризницы — мощи трех волхвов, поклонявшихся Христу при его рождении в Вифлееме. Когда я заметил священнику, что те же мощи показываются и в Константинополе, он объяснил, что эти самые были когда-то в Константинополе, но перевезены и поставлены в Кельнском соборе императором Фридрихом Барбаруссою. Самая внутренность собора представляет в начале по обе стороны готическую колоннаду со сложными колоннами, так, что несколько колонок, соединенных одна с другою, составляют одну целую. Вверху эти колонны соединяются между собою стрельчатыми перемычками. Собор освещен разрисованными стеклами в больших окнах; на левой стороне живопись старая, средневековая, а на правой — новая, дар баварского короля Людовика, отличается превосходною работою. Готическая колоннада приводит к капелле, освещенной огромным куполом с цветными окнами, устроенными между колонками и арками готического стиля. По всей капелле вокруг стен устроены кругообразно покрытые коврами места для сиденья; прямо перед алтарем ряд скамей; алтарь во время богослужения очень обильно освещался большими свечами; над капеллою прямо против алтаря — хоры с органом, на котором, как говорили мне, некогда играл знаменитый Бетховен. Нельзя представить себе что-нибудь изящнее, великолепнее этого собора. Религиозное благоговение невольно овладевает душою при входе в это святилище.

Из собора я с одним молодым человеком, студентом одного из немецких университетов, с которым случайно разговорился и познакомился в соборе, отправился в одну из церквей, где показывали мне в сделанных в стене нишах за стеклом множество человеческих костей, уверяя, что это остатки девиц, избитых гуннами во время нашествия Атиллы. Оттуда студент провел меня взглянуть на здание кельнской гимназии, которой внутренность отделана в готическом

стиле; наконец, по его же предложению отправился в театр, где играли недавно появившуюся оперу Вагнера «Лоэнгрин». Как на одну из особенностей Кельна можно указать, что в нем на каждой улице можно видеть несколько вывесок, гласящих, что здесь находится фабрика одеколона под фирмою «Johann-Maria Farina». Невольно придешь в тупик, где же между этими Фаринами настоящий Фарина? Мне объяснили, что из них нет ни одного настоящего, что настоящая фирма давно уже прекратила свое существование, а теперь кто хочет, тот и употребляет ее; в достоинстве же они все равны и все хороши. Обилие одеколона не мешает, однако, улицам Кельна отличаться нечистотами и даже вонью, что составляет признак прирейнских городов, вообще уступающих в чистоте городам Северной Германии. Враги католичества, указывая на этот признак, приписывают его, между прочим, более низкому уровню образованности в католическом обществе пред протестантским. Как бы ни было, но мне лично в Кельне, как и вообще в католических городах, казалось гораздо отраднее, чем в протестантских, где господствует какая-то сухость духовной жизни. Быть может, это происходит от относительной близости католичества с нашим русским православием; по крайней мере, как только приедешь в католический город и услышишь звон, то чувствуешь что-то родное, близкое сердцу.

На другой день я сел на пароход и поплыл вверх по Рейну, взявши билет до Майнца. Путь по Рейну шел в виду необыкновенно живописных гор с обеих сторон реки, усеянных развалинами рыцарских замков. Нельзя сказать, чтобы по красоте самой природы рейнские берега представляли что-то невиданное и ни с чем не сравнимое: я думаю, у нас на Руси Жигули на Волге (между Симбирском и Саратовом) и днепровский берег от Киева до Черкасс не уступают рейнским берегам, не говоря уже о южном берегу Крыма, который несравненно изящнее десяти Рейнов; но чего у нас нет и что составляет неотъемлемую прелесть прирейнского края — это его полуобвалившиеся замки с их историческими и легендарными воспоминаниями. Плыв по Рейну, я имел в руках купленные в Кельне «Rhein-Sagen» и читал их, поверая упоминаемые в них местности на самой природе. Так проплыли мы величественный Драхенфельс, впечатленный в народной немецкой поэзии битвою со змеем; Фюрстенберг, где являлась умершая мать лелеять свое дитя, доставшееся сменившей ее мачехе, — замок, куда приплыл таинственный рыцарь на челне, везомом белым лебедем; «Кошку» и «Мышку» — две развалины, стоящие одна близ другой, о которых сохранилось предание, что здесь жили непримиримые враги и вели между собою долгие взаимные драки; Зоненштейн-Зоннек, возобновленный в недавнее время; Иоганнесберг с его вином, пользующимся всесветною знаменитостию; наконец, уже близ Майнца — Мышиную башню, соединенную с историей епископа Гаттона, воспетою немецким поэтом Уландом и всем нам знакомую по прекрасной переделке Жуковского.

Наконец, мы прибыли в Майнц. На другой день я побежал осматривать Майнцкий собор, драгоценный памятник X века романской архитектуры, и накупивши себе на память рейнских видов, отправился по железной дороге во Франкфурт, а оттуда в дилижансе в Киссинген — место, назначенное для моего лечения. В Киссингене я пробыл пять недель, аккуратно пивши «Рагоцци» и «Пандура» и каждый день принимая ванну. Несмотря на убийственную скуку — неразлучную спутницу немецких водяных лечений, я насколько можно разнообразил свою жизнь прогулками по обширному и прекрасному лесу, окружающему холмистые окрестности Киссингена. По истечении срока лечения отправился я снова во Франкфурт, где сошелся снова с доктором Стефани, с которым расстался еще в Стокгольме, и вместе с ним поехал в Париж. Там пробыл я около месяца, каждый день без устали осматривая всякого рода достопримечательности. Я не стану распространяться о своем пребывании в Париже, так как все виденное мною было сто раз описано и многим из читателей известно по личному опыту.

В последних числах июля расстался я снова с Стефани, который направил путь свой в Швейцарию, условившись съехаться со мною в определенный срок в Люцерне, а я отправился для морских купаний в Дьепп. Проезжая через Руан, я не утерпел, чтобы не выйти из вагона и не остаться здесь на полдня, осмотрел город и между прочим площадь, на которой некогда происходило сожжение Орлеанской девы. Оттуда я приехал в Дьепп. Этот небольшой городок живет почти исключительно купающимися, так что большинство домов круглый год стоят пустыми и отдаются только на время купального сезона, продолжающегося какой-нибудь месяц с небольшим. Купанье в море здесь хорошо, но каменистое дно у берега и сильный прибой волн океана часто заставляют приостанавливать купанье, что возмещается снятием флага. Здесь встретил я несколько русских, подобно мне приехавших пользоваться морскою водою, и с некоторыми познакомился. Пробыв в Дьеппе месяц, я уехал снова в Париж, где обратился к одному окулисту, который напугал меня тем же, чем и русские врачи. Не доверяя, однако, французскому окулисту, который по своим приемам и чрезвычайному самохвалству сделал на меня неприятное впечатление, я решился отправиться в Гейдельберг к доктору Хелиусу и поехал чрез Страсбург, позволив себе на пути в этом городе осмотреть собор и взойти на его знаменитую колокольню. Через несколько часов после того я был уже в Гейдельберге. Доктор Хелиус произвел посредством блядонны расширение моего зрачка, чем сначала страшно напугал меня; но когда через день мои зрачки пришли в нормальное положение, он очень утешил меня, сказавши, что никакого расположения к катаракту не видит, и советовал мне ехать в Италию, уверяя, что как только я перевалюсь через Альпы, тотчас почувствую облегчение. Мои боли в глазах он приписывал геморрою. Я пробыл в Гейдельберге четверо суток, гуляя по превосходным окрестностям

этого города и два раза посетивши его знаменитый замок, которого развалины сохранились в лучшем виде, чем большая часть средневековых замков Германии.

Из Гейдельберга я поехал в Швейцарию. Уже от самого Баден-Бадена можно чувствовать и наблюдать приближение к горной полосе Альп: почва становится более и более неровною и холмистою, и с каждым шагом горы становятся выше и выше. Я прибыл в Базель, бегло осмотрел его и приехал в Люцерн. Своего товарища доктора я не застал по обещанию, и в надежде, что он постарается прибыть сюда через день или через два, решил употребить свое одиночество на плавание по озеру Четырех лесных кантонов. Виды на этом озере показали мне до того живописны, что воображение едва ли могло создать что-либо прекраснее. Нанятые мною лодочники возили меня на пункты; с которыми соединялись исторические предания, священные для памяти швейцарцев: место, где, как говорят, собирались заговорщики, предпринявшие дело освобождения отечества, и капеллу Вильгельма Телля, построенную на том месте, где это лицо, чуть не мифическое, взятое в неволю, успело соскочить с лодки и выпрыгнуть на берег. Вслед за тем мне захотелось совершить восхождение на вершину Риги, высокой горы над Швицом: я нанял лошадь с проводником за двадцать франков и поехал. Путь, лежащий туда, чрезвычайно живописен. Въехавши на высоту, но еще не достигая вершины, можно любоваться бесконечною грядою Альп с самыми разнообразными очертаниями их снежных верхов; но когда мы начали подыматься уже к самой вершине Риги, нас покрыло густое облако и, достигши вершины, мы ничего не могли видеть. У построенной там гостиницы встретил я целый табор путешественников-англичан обоего пола, приехавших сюда за тем же, за чем и я, так же, как и я, обманутых в своих надеждах. В гостинице не было для меня помещения, и потому, не оставаясь там ночевать, я повернул с горы и уже поздно прибыл в Швиц, где остановился в очень плохой гостинице, а переночевавши там, на пароходе поплыл в Люцерн. Там встретился я с ожидаемым товарищем, и мы в тот же день отправились по озеру на Флюэлен и там наняли себе экипаж, который должен был нас провезти через Альпы до берега Лаго-Маджоре. Мы проехали через Альтдорф, где увидели статую Вильгельма Телля, поставленную на том месте, где по преданию он по приказанию Геслера стрелял из лука в яблоко, положенное на голову своего сына. К вечеру мы достигли до Чертова моста, столь знаменитого в русской истории по переходу Суворова. Местность чрезвычайно мрачная и дикая: с горных вершин бьет водопад, шум которого слышен за несколько верст; вокруг на скалах нет ни стебелька. Подвигаясь все выше и выше, мы начали чувствовать сильный холод и к свету были на вершине Сен-Готарда. С солнечным восходом увидали мы, что стоим на ледяной коре, а по всем сторонам розовый блеск восходящего солнца румянил снежные вершины Альп. На несколько времени мы пристали к францисканским монахам,

содержавшим там нечто вроде пристанища для путников. Несмотря на солнечный свет, холод был до того пронзителен, что напоминал нам конец русского ноября. С этих мест дорога наша пошла вниз и делалась особенно привлекательною; беспрестанно съезжая с Альпийского хребта, мы следовали зигзагами, и нередко мне казалось, что мы летим в пропасть, так как внизу ничего не было видно и гора представлялась отвесною; но сделавши несколько шагов, в виду падения мы всегда останавливались и потом поворачивали, делая угол для того, чтобы снова, видимо, падать и опять останавливаться. Вместе с тем перед нашими глазами проходили один за другим разные климаты: находясь на горных вершинах, мы видели только мох и лишай на камнях; спустившись пониже, мы ехали посреди мелкорослого кустарника северных пород, какие можно встречать только в Лапландии; спустившись ниже, мы очутились посреди хвойных деревьев; еще ниже — появились березы и осины; потом — липы, клены, наконец дубы, а еще ниже — буки, чинары и виноградные лозы. Температура все делалась выше и выше. При солнечном восходе было так холодно, что впору было одеться в шубу, а в полдень солнечный зной возбуждал жажду.

Мы ехали по Тессинскому кантону, населенному итальянским народом, хотя принадлежавшим по политической связи к Гельветическому союзу; проминули живописную Беллинсону, красовавшуюся своим средневековым замком; наконец, все спускаясь ниже и ниже, уже после солнечного заката прибыли мы в Лугано на самом берегу Лаго-Маджиоре. Мы поместились в гостинице, где нам дали хорошо убранные комнаты со стеклянною дверью на балкон, выходивший прямо на озеро. Полная луна осеребрила волны озера; в городке отпразднелся какой-то национальный праздник; слышно было веселое пение, разгульные крики; пели какую-то хоровую песню, которой куплеты оканчивались много раз повторяемым припевом:

Noi siamo piccoli,
Ma grande le nostra liberta *.

При этом раздавались звуки инструментов. Целую ночь продолжалась эта народная гулянка. Утром, проснувшись, я был поражен великолепнейшим зрелищем голубых волн озера и яркою зеленью, покрывавшею холмы, окаймлявшие его берег. Отсюда мы поплыли по озеру до Лявино — городка, находящегося в Италии. Из Лявино мы сделали поездку на Барромейские острова и там осматривали замок, принадлежавший князьям Барромеям. Здесь в первый раз я увидел апельсиновые и лимонные деревья, которые могут расти в этой местности благодаря тому, что она защищена с севера Альпами, тогда как на равнине Ломбардии они уже не растут. Вода в Лаго-Маджиоре, как и во всех озерах Северной Италии и Швейцарии, до того светится голубым отливом, что он заметен даже и в стакане, если в него зачерпнуть этой воды. Отсюда мы поплыли на Комское озеро, которое хотя и уже

* Мы малы, да велика наша свобода.

Лаго-Маджиоре, но отличается еще более красивыми берегами, живописно усеянными затейливыми виллами разнообразной постройки. Мы причалили к Комо и здесь сели в вагон железной дороги, которая часа через три доставила нас в Милан. Пробыв в Милане три дня, полюбовавшись Миланским собором с его затейливою архитектурою и тремя тысячами мраморных статуй, уставленных на краю его мраморных стен, мы всходили на вершину его купола под колоссальную статую богородицы, посетили также церковь Амвросия, в которой нам показывали за деньги мощи св. епископа этого имени, побывали в громадном театре Della Scala и пустились в Верону. Здесь было также кое-что посмотреть. Нас водили в дом, где жил Данте, показывали его карету, указали на дом, в котором будто бы жили Капулетти, но всего интереснее было обозреть огромный римский амфитеатр, сохранившийся в целости со всеми признаками старой архитектуры этого рода зданий; весь он представляет полукруглую каменную лестницу, которой ступени служили для зрителей; внизу было открытое место для арены, а под нею подземелье, из которого выпускали зверей и выводили несчастных осужденных драться с ними и утешать дикую римскую публику своими страданиями.

Из Вероны мы отправились в Венецию, прибыли в нее железною дорогою по великолепному мосту, устроенному через море. Наступала уже ночь. Высадившись из вагона, мы достигли в гондолах до площади св. Марка, которая в то время была освещена множеством разноцветных огней, кишела бесчисленными толпами веселившегося народа и оглашалась оркестром, увеселявшим танцующих на мостовой под открытым небом. Луна была в своем полном блеске, и ее свет, сливаясь со светом городских и увеселительных огней, представлял необычное, удивительное зрелище. Я пробыл в Венеции пять дней. Нельзя себе представить города, к которому так трудно было причиться: чуть ни на каждом шагу мостики через каналы, витые узкие улицы с такими огромными домами, что солнцу невозможно проникать между ними, и — ни одной лошади. Первым делом моим было пойти в церковь св. Марка, и мне представилось в ней что-то давно знакомое: это мозаика стен, припоминавшая мне киевскую Софию, но несравненно в богатейшем виде. На наружных стенах входа и в сенях — символические изображения, относящиеся собственно к Венеции. Венеция изображена в виде женщины-красавицы, *la bella Venetia* дает власть своему дожу. Архитектура церкви византийская и напоминает нашу православную церковь. Все ее столбы и стены покрыты мозаикою превосходной работы. В числе священных вещей показывают кусок испанного пергамента и говорят, будто это часть собственноручного Евангелия св. Марка. Я всходил на колокольню, куда восход очень отлог и потому удобен. На вершине колокольни увидел я всю чудную Венецию с бесчисленным множеством каналов и островков, ее окружающих. Палац дождей, находящийся близ самой церкви, был также обойден мною. Кроме превосходной галереи живописи и портретов

всех венецианских дождей, за исключением Марино Фальери, казненного и потому выброшенного из списка дождей, видел я залу «совета пятисот», страшную комнату «совета десяти». Внизу здания — темные «pozzi» — тюрьмы, где содержались преступники; близ этих тюрем — выход в море, куда по приговору суда выводили их топить, а сверху здания дворца не менее ужасные «riombi» — низкие чердаки под свинцовою крышею, куда в виде пытки засаживали осужденных и томили невыносимую духотою от раскаленной металлической крыши. Осмотревши все достопримечательности и прокатившись на гондоле вдоль Canale Grande, унизанного торчащими в воде дворцами с крыльцами, на которые плескала вода канала, я сел на пароход и отплыл в Триест.

Город этот показался мне с типическим характером новых торговых городов и во многом напомнил мне нашу Одессу. Итальянский язык в нем господствует повсюду. На улицах поразили меня ехавшие на волах поселяне, по костюму и всему наружному виду похожие на наших малорусских чумаков. Остановившись, я прислушался к их речи, но услышал итальянский язык. Из расспросов о том, кто они, я узнал, что они славяне из окрестных селений, усвоившие при частом посещении города итальянский язык. Пробыв в Триесте день, я выехал на ночь и взял нарочно место в вагоне III класса, чтобы находиться в общении с простым народом, так как знал, что путь лежал через славянский край, и мне хотелось видеть не публику, везде одинаковую, но народ, удерживающий признаки своих вековых особенностей. Я не обманулся. В вагон беспрестанно прибывали и убывали из него лица обоего пола, принадлежащие к местному народу. Я повсюду слышал славянскую речь, которой, однако, хорошо понимать не мог, так как все говорили на местном иллирском наречии, а я ему никогда не учился. Тем не менее невыразимо приятно после долгих месяцев пребывания в краях, говорящих языками чужих корней, услышать более или менее родные слова, по крайней мере предметов общих, как, например, название воды, хлеба и т. п. Что мне бросилось особенно в глаза, это была опрятность в одежде иллирских славян и замечательная красота лиц молодых женщин и девиц. Тогда мне пришло в голову, что славянское племя, должно быть, самое красивое между европейскими племенами, и это бросалось в глаза особенно после Италии, где простонародные женщины никак не могут пощеголять ни красотою, ни опрятностью.

Я остановился на день в Любляне, носящей по-немецки название Лайбаха. Город лежит на значительной высоте от уровня моря, и потому в нем показалось мне прохладнее, чем того можно было ожидать сообразно с первою половиною сентября. Я зашел в книжную лавку и стал спрашивать славянских книг. Книгопродавец был, как видно, ультра-немец и окинул меня подозрительным взглядом, насмешливо сказал: «*Oh! die slawischen Dummheiten sind schon längst vorbei!*» *

* «Эти славянские глупости давно уже прошли!»

Однако же он дозволил мне самому отобрать что мне угодно на указанной им полке, где лежали книги на местном славянском наречии. Я отобрал себе несколько брошюр и отправился из лавки бродить по городу. Все отзывалось здесь немецчиной; но когда я забрел на рынок, там увидел толпу простонародия в тех же одеждах, с которыми познакомился на железной дороге, и услышал хотя почти незнакомую, но все-таки не совершенно чуждую мне славянскую речь. И так я понял, что славянство не умерло здесь, но прозябает в одной низменной сфере рабочего народа — удел, одинакий для многих из славянских народностей.

Я выехал из Любляны в Гратц, остановился там на полдня и отправился в Вену. Путь лежал через знаменитый Земмеринг. Железная дорога подымается на огромную высоту, и ряд вагонов идет по окраине пропастей, в которые заглянуть так страшно, что делается головокружение. Я воображал себе, что должно было сделаться со всеми нами, если бы в этих местах вагоны сошли с рельсов. Но все обошлось благополучно, как всегда, и достигши самой большой высоты, мы стали спускаться. Этот подъем на неприступные высоты и спуск с них показались мне дивом современного искусства. Наконец, я достиг Вены. В Вене я пробыл две недели, каждый день осматривая всякие достопримечательности, которые описывать считаю лишним как более или менее известные; скажу только, что меня особенно поразило в столице Австрийской империи необыкновенные для большого города чистота и свежесть воздуха. Дни были ясные и теплые, и несмотря на приближение к концу сентября я каждое утро ходил из «Мачакергоф» — гостиница, где я остановился, купаться в «Дианабад» — превосходное заведение с большим бассейном, разнообразными душами и паровыми банями. Пропотевших в этих банях пускают под холодные души.

Из Вены отправился я в Прагу, где пробыл около недели. Здесь первым делом моим было обратиться к почтенному блаженной памяти патриарху чешского славянства Вячеславу Вячеславовичу Ганке. Узнавши, что я русский и притом припомнивши мою фамилию как переводчика на малорусский язык Краледворской рукописи, Ганка принял меня как самого близкого человека, водил меня по всей Праге, ездил со мною на Петчин любоваться видом на город, в Градчин, где мы с ним осматривали собор св. Вита с могилами чешских королей, дворец, находящийся близ собора, посетили вместе с ним университетскую библиотеку, побывали и в чешском театре. Тогда Прага казалась еще совершенно немецким городом; не было в ней и тени той славянской или, лучше сказать, славянствующей физиономии, какую она приняла после последней конституции и какую я застал в ней, вторично посетивши ее в 1864 году. По-славянски никто не отваживался говорить, и большинство считало это признаком невоспитанности. В. В. Ганка любезно наделил меня всеми своими произведениями и изданиями, а я вдобавок накупил чешских книг и отправился в Дрез-

ден. Здесь сошелся я с моим товарищем доктором, с которым расстался еще в Триесте. Мы вместе осмотрели дрезденские достопримечательности: картинную галерею и «Зеленый свод» (Grüne Gewölbe) — хранилище разных регалий и королевских украшений, и затем отправились в Берлин, а через неделю уехали из Берлина в Штеттин, где сели на русский пароход, доставивший нас благополучно в Петербург.

Первою и отрадною вестью, приятно поразившею меня в отечестве, был слух о том, что готовится освобождение крестьян от крепостной зависимости и что на днях должен выйти манифест об учреждении по этому предмету комитетов во всех губерниях. Пробывши в Петербурге неделю, я уехал в Москву и там согласился со встретившимся саратовским купцом ехать вместе с ним до Саратова. В назначенное заранее время мы поехали туда на половинных издержках в его экипаже, и ехали медленно, хотя и на почтовых, потому что дорога, как и надобно было надеяться, по причине поздней осени была до крайности негостеприимна. В городе Саранске я встретил на станции случайно проезжавшего жителя того края, который рассказал мне событие, случившееся в Саранском уезде во время Пугачева. Один боярин заколотил свою жену для того чтобы иметь возможность жениться на своей любовнице. В то время когда жена лежала мертвая на столе, прибыл к отцу в гости сын, служивший где-то в полку, и, догадавшись, что мать его умерла насильственной смертью от руки отца, решился мстить отцу: ушел к разбойникам, сделался предводителем шайки и ночью напал на отцовский двор. Предупрежденный заранее отец успел убежать с новою женою, а сын в досаде сжег отцовскую усадьбу, но скоро был застигнут войском, взят в плен и казнен. Рассказчик объяснил мне, что двор, в котором все это происходило, находился за несколько верст от Саранска, и я, едучи туда, проминул это место. Рассказ этот внушил мне мысль изложить это событие в виде повести, но отнести его вместо XVIII века в XVII, к эпохе Стеньки Разина, для того чтоб иметь возможность изобразить быт и нравы XVII века, мне более знакомого по занятиям, чем XVIII.

Наконец, я прибыл в Саратов. Не стану описывать радости свидания с матерью после долгой разлуки. От матушки я узнал, что в мое отсутствие проезжал через Саратов и заезжал ко мне освобожденный из ссылки Шевченко. Спустя немного времени до меня дошла весть, что его не пустили в Петербург, а велели ему оставаться в Нижнем Новгороде⁸⁶. Члены пароходной компании там его дружелюбно приняли и приютили.

В Саратове я принялся за свои обычные занятия и, перебравши свои выписки о внутренней истории древней России, начал писать очерк домашнего быта и нравов великорусского народа⁸⁷, чем и занимался всю зиму. В апреле 1858 года я принялся писать «Бунт Стеньки Разина»⁸⁸, а в мае, согласившись с директором саратовской гимназии Мейером, предпринял путешествие на юг губернии. Мы при-

были в Дубовку, проехавши туда по немецким колониям, которых было так много, что мне показалось, будто я очутился в Германии. В Дубовке меня увлекло знакомство с раскольниками разных толков и преимущественно с молоканами⁸⁹. Хозяин, у которого мы квартировали, познакомил меня с тамошним купцом Онуфрием Ивановичем Козеевым, который был некогда главою молокан, но потом обратился в православие и, по свидетельству местного протоиерея, был человек примерного благочестия и нравственности. Я нашел в этом купце необыкновенно умного и глубоко начитанного в священном писании старика лет шестидесяти с лишком. Он сознавался, что был ревностнейший молокан и своими убеждениями совратил очень многих в свою секту; прочитал мне сочиненное им некогда прошение государю Александру Павловичу от лица всего молоканского общества о позволении молоканам свободно отправлять свою религию и послать в Дерпт молодых людей для изучения богословия в протестантском духе. «Однажды,— говорил он,— узнавши, что сарептские немцы верят подобно нам, я ездил в Сарепту потолковать с тамошним пастором; но пастор, выслушавши меня, сказал: ты мужик — и никакой науке не учился, а рассуждаешь о том, чего сам не понимаешь; какой веры быть приказывает тебе царь, такой и будь; нам позволяет царь быть своей веры, а вам не позволяет,— стало быть, вам и не нужно, и что приказывает тебе царь, то и делай, а на нас не смотри: мы — немцы, иностранцы, у нас своя вера, а у вас своя, русская, и вы не затевайте иной, а верьте так, как вам велят верить». Времена царствования Александра I были блаженными временами для сектантов; но с наступлением нового царствования стали их стеснять и преследовать. Многие, объявленных распространителями лжеучения, высекли кнутом, пометили клеймами и сослали в каторгу; других за упорство стали выселять на Кавказ. Тем, которые оставались пока на родине, запрещалось выезжать далее тридцати верст, записываться в гильдии, отдавать детей в училища; не принимали их свидетельств в судебных делах. Козеев — из страха, чтобы не открылись его дела по возвращению православных, принял православие сам, но потом, мало-помалу, вошел во вкус к новому своему вероисповеданию и пришел к убеждению, что многое, за что стоят молокане, хотя имеет основание, но вполне совместимо с православием, а иное толкуется молоканами превратно. В порыве своей преданности к православию Козеев написал большое сочинение о необходимости принимать обрядовое крещение и привел в своем сочинении из священного писания Ветхого и Нового Завета множество мест, где говорится о воде. Он читал мне свое сочинение. Я заметил, что иные места приведены им совсем некстати, так что хотя там и говорится о воде, но ко крещению это не имеет никакого отношения. Относительно ненависти, какую молокане питают к святым иконам и вообще к признакам наружного благочестия, Козеев стал на такую точку зрения, что хотя считал дозволительным и не противным христианству то, что в этом случае допускает православная

церковь, но не признавал внешности главным делом спасения и называл невежеством те взгляды на наружное благочестие, которые распространены в массе православного простонародия. Из всего оказывалось, что хотя Козеев искренно обратился к православию, но его православие осталось сильно пропитанным взглядом секты духовных христиан, как называют себя молокане. Кроме Козеева познакомился я с молоканским домом купцов Крючковых, от которых слышал горькую жалобу на клеветы, какими чернят молокан, рассказывая, будто их учение позволяет делать фальшивую монету и пердерживать беглых солдат, а также будто молокане по принципу не признают достойными уважения никаких властей. В опровержение этих клевет мне указали на дубовского молокана, возвратившегося с Крымской войны с Георгиевским крестом, полученным при обороне Севастополя. «Вот,— говорили они,— наш человек, а служил государю и защищал отечество». Кроме молокан я имел случай познакомиться с раскольниками других сект. Приводили ко мне одного субботника, рыбного торговца, большого фанатика, доказывавшего, что теперь следует совершать ветхозаветные жертвы; потом одного табачного торговца, рассказывавшего, что, углубившись в размышления о духовных вопросах, он переходил из одной секты в другую, пока наконец ему бог послал видение: явилась божия мать — и ум его направился к православию.

Потолковавши несколько дней с дубовскими сектантами, мы отправились в Царицын, где я забрал по поручению губернатора дела, относящиеся к эпохе пугачевского бунта. Услыхавши, что за несколько верст от Царицына живет престарелый поселянин более ста лет от роду, бывший уже взрослым во время Пугачева и выдавший лично этого знаменитого мятежника, я отправился к нему и увидел истинную ходячую древность. Он рассказал, что помнит тот день, когда Пугачев прибежал в Царицын, пытался его взять, но храбрый комендант Цыплятов отбил его шайку, уже по пятам преследуемую Михельсоном, и как Пугачев со своими товарищами переправлялся на другой берег Волги. Когда я завел речь о Стеньке Разине, старик сообщил мне слышанные им давно уже предания, помещенные мною в конце моей книги. Какая-то старуха, сидевшая здесь в качестве гостыи, услышавши, что я спрашиваю о Стеньке Разине, принялась было лгать и уверять, что видела Стеньку Разина, не зная, как видно, подлинно, когда это известное народу лицо жило на свете.

Из Царицына поехали мы в Сарепту. Эта гернгутерская колония представляет необыкновенное зрелище: посреди калмыцких степей — дикой пустыни пред вами как из-под земли вырастает чисто немецкий городок, красивый, благоустроенный, с улицами, обсаженными тополями, со сквером и фонтаном посреди его, с чистыми домами немецкой архитектуры и с европейским хозяйством огородов и принадлежащих колонии полей. Мы остановились в гостинице, устроенной от общества и содержимой на общественный счет. В этой гостинице

стол очень удовлетворителен, но нас мучили всю ночь клопы, чего я никак не мог ожидать, так как, путешествуя по немецкой земле, нигде не попадал на это насекомое и привык воображать, что у немцев не может быть такого признака неопрятности. Утром в воскресный день я отправился в церковь, построенную в форме дома против тенистого сквера с фонтаном. Там узнал я, что в этот день будет отправляться погребение скончавшегося форштегера колонии. Походивши по колонии и дождавшись начала богослужения, я направился к церкви, но не мог в нее пробраться: тело усопшего форштегера уже внесли туда, и за ним толпами валили колонисты в своих праздничных и как бы форменных нарядах: мужчины были одеты в черных сюртуках и белых панталонах и жилетах, женщины — в голубых юбках, белых пелеринках и чепчиках с голубыми лентами. На паперти я разговорился и познакомился с директором училищ колонии, который предложил мне осмотреть мужское и женское училища. Мы отправились в их помещение. Судя по предметам преподавания оба училища имели вид гимназий и содержались в большой опрятности; все учебные пособия были разложены и сберегаемы в образцовом порядке. Преподавание шло по-немецки, но на русский язык обращалось большое внимание, и его основательное знание признавалось необходимым для получения аттестата. Сам директор говорил правильно по-русски и объяснял мне некоторые особенности религиозного и общественного быта гернгутеров. Секта эта ведет свое начало не от лютеровской реформации, а от Гуса, и поэтому у них празднуется день сожжения Гуса. Главным основанием их учения есть братская любовь. Прежде у них общество держалось на коммунистических началах: не было собственности; все должны были трудиться в пользу общества и получать от него средства к жизни; брак считался необходимым делом, а вступающий в него получал от общества дом со всем хозяйством и за то был обязан работать на общество сообразно своей подготовке; в случае смерти хозяина вдова его если не выходила замуж в другой раз, помещалась на жительство во вдовьем доме; безбрачными оставались только больные или слабоумные. В прежние времена браки у них совершались не по взаимному желанию, а по жребию: пастор вынимал из урны написанные имена юношей и девиц, и чьи имена совпадали при вынутии их, те обязаны были сочетаться браком. Такой странный для нас способ соединения оправдывался тем взглядом, что все люди — братья, все равны между собою и не должны предпочитать одних другим, а в устройении своей судьбы должны положиться на волю бога, который лучше нас самих устроит для нас то, что нужно для нашего спасения. Не допускались никакие суды и тяжбы, кроме приговора пастора или целого общества; впрочем, при отсутствии собственности тяжбы становились немислимыми. Труд считался делом необходимым для христианина; все дни в неделе, исключая воскресенья, гернгутер обязан был работать без усталости; всякие светские забавы возбранялись вступающему в братство: ни театров, ни танцев не позволялось; даже

чтение легкого содержания книг считалось неодобрительным делом. Чистота такого общественного строя не могла удержаться долго и уже нарушилась: сохранялась более одна формальность старых принципов; существовал, правда, общественный капитал, употребляемый по приговору общества, но многие из братьев завели на собственный счет хозяйственные и ремесленные заведения и вели сами свою торговлю. Общество разлагалось не без важных злоупотреблений: бывали случаи, что члены братства, получивши от общества какое-нибудь поручение, вместо того чтобы трудиться для общественных выгод, стали обращать в свою пользу то, что должно было вноситься в общественный склад, и такие случаи подали повод к тому, что гернгутеры утратили прежнее доброе о себе мнение; их стали называть протестантскими иезуитами и ханжами, так как в наружном виде гернгутера и в речах его все, по-видимому, дышало благочестием, а тайные поступки его часто были вовсе не благочестивы. Теперь в колонии есть и богатые и бедные, а многие ведут промыслы чисто от самих себя. Зато и самая культура колонии с падением строгой общинности значительно умалилась; лет сорок, например, назад колония славилась производством бумажных тканей, по всей России известных под именем сарпинок; в колонии в большом изобилии работалась глиняная посуда очень красивой отделки; оттуда вывозились пряники, славившиеся своим вкусом, — теперь все это упало, тем более что и в других колониях, не гернгутерских, стали производить то же. В старину был в большой славе сарептский табак курительный и нюхательный, теперь эта промышленность также упала; осталось в более цветущем состоянии одно: добывание и приготовление горчицы и горчичного масла, но и этим занимается менее общество, чем один из членов его, Глич, ведущий дела на собственный счет. Колония существует уже более ста лет, но ее население почти не увеличивается, потому что очень многие, нажившись, выходили из братства, заводили себе торговлю по разным городам, а иные уезжали за границу. Самое образование юношества хотя ведется в порядке, но уже не с таким блеском, как бывало прежде. Некогда сюда отдавали учиться детей богатые русские помещики — теперь это совершенно прекратилось. Директор сообщил мне, что это произошло оттого, что правительство стало смотреть неблагосклонно на такие случаи, опасаясь, чтобы гернгутеры не совращали русское юношество с православия. Гернгутеры, поселившись в Сарепте, думали принять на себя миссию распространения христианства между калмыками, но и того правительство им не дозволило, желая, чтобы калмыки, если захотят креститься, поступали в православную церковь, а не в иноверческую.

Потолковавши с директором и осмотревши училище, я снова направился к церкви и дождался, пока тело форштегера вынесли из нее. Вслед за ним и за шедшим позади тела пастором шли попарно колонисты обоего пола на кладбище, находящееся неподалеку от церкви и огороженное каменною стеною. Мне представился ряд могил на

равном одна от другой расстоянии, с одинаковыми камнями, на которых вырезаны были слова, заключающие имя погребенного, потом год и день его рождения и кончины. Усопшего форштегера опустили в могилу и стали зарывать землю; пастор отправился в церковь, а за ним все братья. И я вошел туда же. Церковь представляла вид университетской аудитории: посреди стояла кафедра, амфитеатром устроены были лавки с приделанными к ним столами; сверху на хорах был орган. Когда все уселись, девушки, опрятно одетые, стали разносить кофе с сухарями и сливками; подали пастору, потом подавали слушателям. Пастор, обмакая сухари в кофе, говорил с жаром и аффектацией что-то вроде проповеди, восхвалял добродетели усопшего форштегера, уверял, как хорошо ему будет на том свете, и всех добрых христиан уговаривал принять его за образец честной и трудолюбивой жизни, чтобы по кончине сподобиться вечного блаженства. По окончании речи пастор встал, за ним встали все предстоящие, заиграл орган, все стали молиться; тем и кончилось это оригинальное богослужение. «Что значит этот кофе?» — спросил я потом у директора. «Это поминовение, — сказал он. — Братья собрались вместе почтить беседою покойника, а при беседе, вспоминая его, выпили кофе от трудов; вот и все».

Из Сарепты мы уехали обратно в Саратов прежнею дорогою. В июне 1858 года я усиленно занимался окончанием «Бунта Стеньки Разина». Написавши его вчерне и оставляя на дальнейшее время дополнять и поправлять свое сочинение, я отправился в июле в Петербург через Нижний, до которого прибыл с одним саратовским купцом, ехавшим на Нижегородскую ярмарку. В Нижнем я пробыл несколько дней, с любопытством осматривая помещение ярмарки, которая только что начиналась. Я прибыл в Петербург 20 июля и через два дня по приглашению Николая Васильевича Калачева⁹⁰ переселился в его квартиру, так как, отправивши семейство за границу, он жил один. Каждый день ходил я в библиотеку и занимался там рукописями с целью дополнить мой очерк домашнего быта и нравов великорусского народа. Вечера проводили мы вместе с Н. В. Калачевым в беседах, постоянно касавшихся русского старинного быта, которым он занимался и был замечательным знатоком его. Суждения и замечания этого археолога были всегда полезны по причине его рассудительного и трезвого взгляда. В то же время, подстрекаемый Николаем Васильевичем, я начал писать своего «Сына», обещавши поместить его в издаваемом Калачевым журнале, называемом «Архив исторических и практических сведений, относящихся до России»⁹¹.

Между тем, узнавши, что Шевченко живет в Академии художеств, где ему отвели мастерскую комнату, я в одно утро после купанья отправился к нему. Здание академии было мне в то время еще не знакомо, и я долго путался по его коридорам, пока достиг цели. Мастерская Шевченко находилась рядом с академической церковью, была просторная светлая комната, выходившая окнами в сад. «Здрав-

ствуй, Тарас», — сказал я ему, увидевши его за работой в белой блузе с карандашом в руках. Шевченко выпучил на меня глаза и не мог узнать меня. Напрасно я, все еще не называя себя по имени, припомнил ему обстоятельство, которое, по-видимому, должно было навести его на догадку о том, кто пред ним. «Вот же говорил ты, что свидимся и будем еще жить вместе в Петербурге — так и случилось!» Это были слова его, произнесенные в III отделении в то время как после очных ставок, на которые нас сводили, мы возвращались в свои камеры. Но Шевченко и после того не мог догадаться: раздумывая и разводя пальцами, сказал решительно, что не узнает и не может вспомнить, кого перед собою видит. Должно быть, я значительно изменился за одиннадцать лет разлуки с ним. Я, наконец, назвал себя. Шевченко сильно взволновался, заплакал и принялся обнимать меня и целовать. Через несколько времени, посидевши и поговоривши о нашей судьбе в долгие годы ссылки и о том, как я отыскивал его в Нижнем, где и узнал о его переселении в Петербург, мы отправились пешком в ресторан завтракать и с тех пор несколько раз сходились то у него, то у меня, а чаще всего в ресторане Старо-Палкина.

Незаметно прошло время до 22 августа. В этот день приехал ко мне саратовский губернский предводитель дворянства князь Владимир Алексеевич Щербатов и стал приглашать меня от имени саратовского дворянства взять временно место делопроизводителя в предпологавшемся тогда губернском комитете по улучшению быта крестьян. Мне предложили за мой труд три тысячи рублей серебром и сверх того по двести рублей в месяц на канцелярию во все время существования комитета, которому надлежало открыться на шестимесячный срок. Условия показались мне выгодными; я согласился и через несколько дней отправился в путь. В Нижнем я сел на пароход, который возил на буксире баржи. В то время легких пароходов не случилось, и мне пришлось проскучать в бездействии на пароходе десять дней. К счастью, капитан парохода Иванов был человек очень любезный и занимательный собеседник, прослуживший много лет в американской компании в Ситхе и посетивший Сандвичевы острова, о которых сообщал очень любопытные сведения. В первых числах сентября причалили мы к Саратову, и на другой же день я вступил в исправление своей новой должности. Каждый день приходилось мне со своей квартиры, бывшей в доме Прудентова почти на краю города, ездить в Дворянское собрание, где отправлялись заседания комитета: там у меня была канцелярия, состоявшая из двух писцов и одного помощника. Комитет продолжался вместо шести месяцев семь. Членов комитета — относительно их убеждений и способов заявления мнений о предлагаемых вопросах — можно было разделить на три рода. Первые — строгие защитники дворянских интересов, имевшие в виду исключительно выгоду дворянства; вторые — умеренные либералы, которые хотя и стояли за дворянские выгоды, но показывали заботы и о том, чтобы и крестьянам было по возможности выгодно; третьи —

составлявшие, как и везде, меньшинство, стояли за крестьян с готовностью принести жертвы и со стороны дворянства. Но справедливость требует заметить, что из последних были и такие, которые, прослышавши наперед о том, что правительство дает крестьянам свободу, поспешили предложить крестьянам свободу сами, постаравшись удержать за собою землю и освободивши крестьян на таких условиях, на каких сами крестьяне спустя несколько месяцев позже не согласились бы принять этой свободы. С другой стороны, можно было указать и на таких, которых во время комитетских заседаний, судя по их отзывам, надобно было поместить в число крайних крепостников, но которые впоследствии рассчитались со своими крестьянами самым гуманным образом и даже безденежно подарили им земельный надел. Видя это близко, я вполне убедился, что русский человек способен действовать по сердцу так человеколюбиво, как не способен по своим убеждениям. Вообще же саратовский комитет постановил отпустить безвозмездно всех дворовых людей и не удерживать крестьянского имущества в пользу дворянства.

VII

Избрание на петербургскую кафедру. Переезд в Петербург. Приготовление к профессуре. Профессорская карьера. Литературные занятия эпохи петербургского профессорства. Вторая поездка за границу

Уже в апреле 1859 года, когда саратовский комитет по освобождению крестьян приводил к окончанию свои занятия, я получил приглашение от Петербургского университета занять кафедру русской истории после удалившегося в отставку профессора Устрялова. Радость моя была чрезвычайная. Покончивши в последних числах апреля все заседания и отпраздновавши с членами закрытие комитета, я снарядился в путь, предполагая проститься с Саратовом на этот раз уже навсегда. Накануне моего отъезда архимандрит саратовского монастыря (ныне уфимский епископ) пригласил меня к себе в монастырь на вечер, куда позвано было большое общество моих знакомых. Прекрасную весеннюю лунную ночь мы провели вместе. Угощение было обильное, а добрые знакомые усердно пили за мое здоровье и за благополучное течение нового жизненного пути, который предстоял мне. На другой день я уехал, провожаемый до монастыря большою группою знакомых, и, захавши в монастырь в последний раз, отслушал в нем напутственный молебен. Этот монастырь был мне особенно дорог: со времени моего первого приезда в Саратов любимым моим летним препровождением времени было ездить в монастырскую рощу с самоваром и книгами и пробывать там по несколько часов.

Я простился со своею матерью, которую обещал пригласить к себе, когда совершенно устроюсь в Петербурге. На пути, едуци через Коломну, я осмотрел полуразрушенные стены старого города. Местные жители сообщали мне, что по преданию здесь в подземелье была заключена и умерла Марина Мнишек после поимки ее на Яике с Заруцким; но это сведение едва ли верно, так как в одном ответе, данном русскими послами польским панам, говорится, что Марина умерла в Москве с тоски по своей воле.

В Москве остановился я на несколько дней, чтобы порыться в Архиве иностранных дел⁹² с целью отыскать кое-что для истории бунта Стеньки Разина. Я нашел несколько бумаг более или менее любопытных; но нельзя сказать, чтобы тогдашнее начальство архива, которым заправлял покойный князь Михаил Андреевич Оболенский, было особенно милостиво к моим просьбам. В половине мая я прибыл в Петербург и остановился в гостинице, существовавшей в доме Балашина, рядом с императорской Публичной библиотекой.

Первым делом моим было отправиться к министру народного просвещения Евграфу Петровичу Ковалевскому, который принял меня очень любезно, однако сказал, что он уже представлял государю о снятии с меня наложенного еще в 1847 году запрещения служить мне по ученой части и утвердить меня в звании профессора Петербургского университета, который меня тогда избрал. Государь император сказал, что ему сообщили, будто я написал какую-то неблагонамеренную книгу о Стеньке Разине. Когда министр представил, что это сочинение вовсе не отличается дурным направлением, то государь император сказал, что сам прочтет эту книгу, и приказал доставить ее к себе. Таким образом, дело мое остановилось. Дожидаюсь решения судьбы своей, я погрузился в занятия рукописями и книгами императорской Публичной библиотеки и благодаря любезности библиотекарей и тогдашнего директора библиотеки барона Модеста Андреевича Корфа получил такой доступ в отделение библиотеки, что сделался в ней домашним человеком. Пользуясь близостью помещения, каждое утро из номера своей гостиницы, находившейся рядом с библиотекой, уходил я туда и несмотря на длинные летние дни просиживал там до ночи. Так как у меня в виду было преподавание науки в университете, то я читал все, что только могло по моим соображениям послужить мне для будущих лекций. Так прошло лето. Ни одного дня не пропустил я, чтобы не посещать библиотеки; читал много и печатного, и рукописного. Занятия эти до того меня увлекали, что я не находил времени нанять себе квартиру и оставался в гостинице, где, однако, мне было неудобно, потому что за стеною моего номера, в трактире, играл день и ночь орган, и в это время некоторые музыкальные пьесы, как, например, «*La donna e mobile*» из «Риголетто» или «*Addio, Lenoga*» из «*Trovatore*»⁹³, до того мне омерзели, что я долго без содрогания не мог их услышать. Моими частыми собеседниками в эти дни были: книгопродавец Кожанчиков⁹⁴, которому я продал «Бунт Стеньки

Разина» (первое издание его явилось в «Отечественных записках» еще в конце 1858 года), Котляревский — впоследствии профессор, тогда еще молодой человек, отличавшийся чрезвычайною любознательностью и большими сведениями в библиографии, и поляк Виктор Калиновский, занимавшийся по целым дням в библиотеке польскими рукописями и скоро наживший себе от усиленных занятий чахотку, положившую его в гроб. Мне не случилось в жизни видеть человека, с таким увлечением преданного археологии и истории, впрочем, только в специальном смысле. Его знания не шагали дальше Литвы и Польши, но зато его можно было назвать ходячим каталогом самых мелочных сведений о минувшем быте этих краев. Человек этот отличался сверх того большим добродушием и бесконечною услужливостью. Памятником знакомства с ним осталось у меня богатейшее собрание выписок с указанием на нумера и форматы тех рукописей, из которых они извлечены. Родной брат его впоследствии попался в польском мятеже, как один из важнейших деятелей в Литовском крае, и был повешен; мой же приятель был человек иного закала: он весь жил в прошедших веках и почти не интересовался текущими событиями. Будучи знаком с историею своего отечества гораздо глубже тех верхоглядных патриотов, которые, не изучая основательно прошедшего, составляли себе о нем мечтательные образы, Калиновский в обществе своих соотечественников возбуждал даже неудовольствие за то, что смело говорил такие вещи, которые тогдашним польским патриотам были не по вкусу. Всегда в истасканном платье, питавшийся скудною трапезою у какой-то польки-кухмистерши, Калиновский мало заботился о своем житейском комфорте и, можно сказать, во всех отношениях был человек «не от мира сего».

С сентября, когда в столицу возвращались с дач, с деревень и со всяких поездок, круг знакомых стал для меня расширяться. Из близких, старых знакомых явились в то время в город Белозерский и Шевченко; последнего видел я еще в мае, но потом он уехал в Малороссию и возвратился к осени. По-прежнему стал он мне близким человеком. Хотя после своего освобождения он вдавался в большое употребление вина, но это не вредило никому, разве только его физическому здоровью. Напрасно г. Кулиш в последней своей книге «История воссоединения Руси»⁹⁵ презрительно обругал музу Шевченка «пьяною» и риторически заметил, что тень поэта «на берегах Ахерона скорбит о своем прежнем безумии». Муза Шевченка не принимала на себя ни разу печальных следствий, расстраивавших телесный организм поэта; она всегда оставалась чистою, благородною, любила народ, скорбела вместе с ним о его страданиях и никогда не грешила неправдою и безнравственностью. Если упрекать Шевченка за то, за что его наказывало некогда правительство, изрекшее потом ему прощение, то уже никак не г. Кулишу, который был соучастником Шевченка и в одно с ним время подвергся наказанию от правительства, хотя и в меньшей противу Шевченка степени.

Белозерский тогда уже делал предположения об издании журнала «Основа», надеясь на материальную помощь, обещанную родственником его жены Н. И. Катениным.

Наконец, я дождался решения своего дела. В октябре министр народного просвещения Е. П. Ковалевский пригласил меня к себе и сообщил мне, что государь император изволил разрешить мне служение по ученой части и что поэтому я буду утвержден в звании экстраординарного профессора при С.-Петербургском университете. Мне особенно было приятно, что государь император, как сказал мне министр, отозвался очень одобрительно о моем сочинении «Бунт Стеньки Разина», которое прочитал.

Готовясь вступить на кафедру, я продолжал сидеть по целым дням в Публичной библиотеке. Ноября 20-го назначена была мне вступительная лекция в университете. Стечение публики было большое; несколько государственных лиц посетили мою лекцию. По окончании чтения последовали громкие рукоплескания, а потом толпа молодых людей подхватила меня на руки и вынесла из университетского здания к экипажу. Тут встретил я одного молодого доктора, который служил в Саратове и был там со мною знаком. Мы поехали вместе. «Вот,— говорит он,— совершилась такая минута, которой никто из нас не воображал, когда мы жили с вами в Саратове; вот как судьба играет человеком. Сравните теперь то положение, когда вас унижал саратовский полицеймейстер, поставивши вас наряду с содержателями публичных домов и называя их, а также и поклонников Бахуса, вашими товарищами; сравните его с настоящею минутою вашей жизни, которой очень многие позавидовали бы, а иные согласились бы перетерпеть все то, что вы перетерпели, лишь бы ее пережить». В тот же вечер мы вместе с ним были в итальянской опере. Давали «Пророка».

Во время сцены в соборе я обратился к своему товарищу и сказал: «Видите, что значит овации толпы? Что если и со мною после нынешнего утра будет что-либо подобное, напоминающее расположение публики к этому пророку? Не нужно придавать большого значения никаким заявлениям симпатии толпы, а надобно помнить, что всяк человек ложь, как сказано в священном писании».

«Вы никого не надували,— отвечал мне товарищ,— не выставались тем, чем на самом деле не были, а потому вам и не угрожает судьба Иоанна Лейденского».

С тех пор начались мои обычные чтения лекций. Стечение публики не только не уმაлялось, но с каждою лекциею возрастало: аудитория моя всегда была битком набита лицами всякого звания, и между ними было множество женщин и девиц. Я продолжал заниматься и в Публичной библиотеке: готовил лекции и писал другие сочинения. Моя вступительная лекция отдана была для напечатания в журнал «Русское слово». В «Современник» отдал я отрывок из своих лекций «О начале Руси». Кроме того я по читанным тогда лекциям предположил составить статью о русских инородцах, изложив их историю и на-

стоящее этнографическое их положение. Я начал с литовцев, изложив древнюю историю событий, составил описание внутреннего быта литовского племени и приложил разбор их современной народной поэзии. Статья эта отдана была в «Русское слово», где и напечатана в следующем году.

Вступая на кафедру, я задался мыслию в своих лекциях выдвинуть на первый план народную жизнь во всех ее частных видах. Долговременное занятие историею развило во мне такие взгляды. Я видел, что государства являлись более случайным плодом завоеваний, чем необходимым последствием географических и этнографических особенностей народной жизни. Всегда почти поэтому государство составлялось не из одной народности; сильнейшая подавляла слабейших, стремилась подчинить, а иногда и ассимилировать их, считала за собою право власти над ними, которое освящалось давностию, допускала над ними насилие и всякую с их стороны попытку к самосохранению признавала преступлением. Жизнь, однако, продолжала развиваться иным путем, и государство оставалось только внешнею формою объединяющей полицейской власти. Там, где не было завоевания или где оно не являлось достаточно могучим, там не могло составиться и государство. Свободные человеческие общества ради взаимных выгод, а более всего ради собственной защиты стремились к союзности (федерации). Так мы видим в Древней Греции. Отдельные небольшие республики стремились войти между собою и удерживать взаимную племенную связь на основании сходств языка, религии, общественного и домашнего быта, но согласия между ними не было: сколько мы знаем, все они исстари между собою вели войны. Вероятно, причиною тому было, что они не додумались до центрального соединительного органа, который бы прочно их связывал между собою. Олимпийские игры, которые считают обыкновенно одним из таких органов, не имели юридического значения, а Амфикионово судилище было бессильно и малообязательно в вопросах, порождавших междоусобия, и оттого, вероятно, деятельность его нам слишком мало известна. Как бы то ни было, из греческих земель две — Афины и Спарта — проявили стремление властвовать над другими и оттого между собою находились в соперничестве, порождавшем кровопролитные распри. Ни Афины, ни Спарта не сделались, однако, всегреческим государством. Государство составилось только со вступлением Македонии в число частей Греции из завоеваний Филиппа и Александра. Что в древнем мире являлось в формах республик, то в новом, христианском мире явилось в форме отдельных земель, подвластных в большей или меньшей степени мелким владетелям. Отсюда — на западе Европы — феодальная система баронов, а в славянском мире — земель с избранными князьями. И те, и другие вели между собою распри, при недостатке и слабости связывающих их органов, пока, наконец, сильнейшие из них завоеванием подчинили слабейших, и так составлялись государства, которые потом преобразовывались и пере-

дельвались большею частью случайно, на правах большей силы. И русская история представляла то же, хотя с своеобразными особенностями. Русское государство складывалось из частей, которые прежде жили собственно независимую жизнь, и долго после того жизнь частей высказывалась отличными стремлениями в общем государственном строе. Найти и уловить эти особенности народной жизни частей Русского государства составляло для меня задачу моих занятий историею. Насколько это могло мне удалиться — должен был показать опыт, но я взял на себя задачу чрезвычайно трудную и, как показалось мне самому на деле, малоудобоисполнимую по причине моей малой подготовки к работам над этой задачей. Меня утешало только то, что я мог хотя сделать мало, но по крайней мере наметить дорогу другим, более меня способным и сведущим. Во всяком случае я был уверен, что и любой из наших ученых не был еще в состоянии более меня приняться за это дело. В таком духе я и начал читать свои лекции, обративши внимание на черты местной истории русских земель и княжеств и на отличную жизнь инородцев, вошедших в состав Русской державы.

В последних месяцах 1859 года я через посредство Шевченка познакомился с домом покойного вице-президента Академии художеств графа Федора Петровича Толстого⁹⁶ и нашел там самый любезный прием. Трудно представить себе старика более доброго, горячо преданного искусству и равнодушного к всему входящему в область умственного труда. В то время он, хотя и старый, за 80 лет, но еще был бодр и свеж, и его дом был постоянным местом соединения художников и литераторов. Одновременно случай свел меня с другим старцем, столько же почтенным, хотя совершенно в другой сфере: это был граф Димитрий Николаевич Блудов, тогдашний председатель Государственного совета, человек столько же развитой и хорошо образованный, как и вполне прогрессивный, преданный душою делу возрождения России — делу, которое тогда было в умах и сердцах всех развитых людей. Мне часто случалось обедать у графа и после обеда просиживать до поздней ночи. Его разнообразные познания, близость к русским литераторам прежних времен, многолетний опыт, здравый ум и замечательное остроумие оживляли беседу и заставляли всех посещавших его дом вспоминать с большим удовольствием о минутах, проведенных с этим стариком. Его дочь, графиня Антонина Дмитриевна, особа очень начитанная, увеличивала своим присутствием приятность таких бесед. В доме Блудова можно было встретить как государственных людей, так и ученых, к которым покойный граф Димитрий Николаевич питал большое сочувствие.

В 1860 году напечатанная в первом номере «Современника» моя статья «Начало Руси» вооружила против меня Михаила Петровича Погодина⁹⁷. Старый ветеран истории никак не мог переварить смелости, с какою я отважился на разбитие системы происхождения Руси из норманнского мира. Он прибыл в Петербург и, встретив меня в Публичной библиотеке, предложил мне вступить с ним в публичный

диспут по этому вопросу. Я, погорячившись, тотчас согласился, хотя впоследствии и не вполне был доволен тем, что позволил себе выставить такой специальный предмет на праздную потеху публики. Некоторые приятели тогда уже говорили мне об этом, но, давши слово и допустивши огласить в печати наше намерение, я не мог выдумать какие-нибудь предлоги к тому, чтобы это намерение не исполнилось; притом же доход с билетов, которые будут братья на этот диспут, предназначался в кассу для бедных студентов: самое наше намерение представлялось полезным делом в благотворительном отношении. Диспут наш состоялся 19 марта. Как и следовало ожидать, он кончился ничем: каждый из нас остался при своем мнении; впрочем, как я имел случай слышать мнение публики, большинство ее склонялось на мою сторону, тем более что покойный Добролюбов напечатал в «Свистке», составлявшем приложение к «Современнику», очень остроумное и едкое описание нашего диспута, выставляя на вид несостоятельность норманнской системы и стараясь представить самого Погодина в комическом виде. М. П. Погодин был очень недоволен этим и даже винил меня, подозревая, как будто бы у меня была какая-нибудь солидарность с тем, что печаталось о нем в «Свистке», которого сотрудником он дал тогда печатно кличку «рыцарей свистопляски». Собственно говоря, ни Погодин, ни я не были абсолютно правы, но на моей стороне было по крайней мере то преимущество, что я понимал чтение летописей в более прямом смысле и притом таком, какой, по предмету нашего спора, существовал издавна и какой, вероятно, имелся у самых летописцев. Впоследствии, вдумавшись в состав наших летописей, как и в дух сообщаемых ими известий, я пришел к такому результату, что самая история призвания князей есть не что иное как басня, основанная на издавна внедрившихся взглядах, почерпнутых из мифического сказочного мира. Моя теория о происхождении Руси из литовского мира если и не имела за собой неоспоримой исторической истины, по крайней мере доказывала норманистам, что происхождение князей наших и их дружин еще с большею вероятностью, чем из Скандинавии, можно выводить из других земель, и таким образом подрывала авторитет мнений, до того времени признававшихся неоспоримыми и занесенных в учебники как несомненная истина.

В апреле я был приглашен сделаться членом Археографической комиссии и принять на себя специально издание актов, относящихся к Южной и Западной России. В том же месяце я был приглашен в действительные члены Русского географического общества.

В мае того же года ко мне в Петербург прибыла матушка, изъявившая желание оканчивать век свой при мне. Из гостиницы, находившейся в доме Балабина, я должен был теперь перейти на квартиру и устроиться в ней хозяйством, а потому и принялся искать себе удобного помещения. Случайно нашел я квартиру на Васильевском острове в 9 линии, в доме, принадлежавшем Карманову, и 1 июня перебрался

на новоселье. Квартира была в бельэтаже, довольно поместительна, но имела тот недостаток, что в ней сильно отражались звуки городского шума в летнюю пору, мешавшие заниматься. Установившись в новом помещении и положивши начало домашнему хозяйству, я уехал на дачу к Толстым близ Выборга и пробыл там до половины июля, по временам приезжая к матушке. В конце июля я съездил в Новгород и, познакомившись там с известным в то время знатоком местной старины Иваном Куприяновичем Куприяновым, в течение десяти дней осматривал город, посетил все его церкви, обозрел в них все остатки старины, отыскивал следы старинной типографии Новгорода для того, чтобы уяснить себе состояние города в древности, так как я намеревался читать курс о Новгороде и Пскове и потом составить их историю. Возвратившись в Петербург, я через несколько дней, в начале августа, снова ездил в Новгород и дополнял в нем осмотр того, чего не успел окончить в первый приезд. По возвращении из Новгорода я начал по-прежнему заниматься в библиотеке, перебирая старорусские рукописи Погодинского собрания; а после 15 числа прибыли в Петербург Толстые из выборгской дачи и, собираясь уезжать за границу, пригласили меня проводить их до Пскова. Первый раз в жизни отправился я в знаменитый древний русский город, осмотрел его стены, его церкви и три старых дома, составляющие большую драгоценность в своем роде при недостатке такого рода архитектурных памятников. Расположение домов этих описано мною в «Севернорусских народоприваствах».

По возвращении из Пскова, занявшись еще с неделю в библиотеке, я отправился в Москву, а оттуда в Троицко-Сергиеву лавру с намерением познакомиться с рукописями как этого монастыря, так равно и Волоколамского, которого рукописное собрание было привезено в Московскую духовную академию. Почтенный профессор академии, ныне умерший ее ректор Александр Васильевич Горский⁹⁸ любезно пригласил меня поместиться у него в казенной квартире и там заниматься рукописями. Я пробыл у него без малого три недели и могу сказать, что об этом времени осталось у меня самое приятное воспоминание. Мой любезный хозяин был такой знаток богословской литературы вообще и русских рукописей в особенности, какому подобного едва ли где можно сыскать. Недаром подарил он русской литературе свое знаменитое описание синодальных рукописей. Меня в то время интересовали черты, пояснявшие быт, нравы, понятия, взгляды и приемы жизни наших предков. Всего этого можно было более, чем где-нибудь, отыскать в таких рукописях, которые не пользуются авторитетом богословской истины, и даже в таких сочинениях, которые отвержены церковью и носят в литературе название «отреченных». К ним в то время я преимущественно обращался. Тогда, между прочим, меня занимало не признанное церковью «Житие блаженного Нифонта», славянский перевод которого, писанный в Ростове в первых годах XIII века, находился в библиотеке

Троицко-Сергиевой лавры, писанный на пергаменте уставом и сохранившийся в замечательной целости. Хотя произведение это не русское, но оно, несомненно, было очень знакомо русским: отрывки из него расходились во множестве и теперь встречаются в различных сборниках всех веков; но экземпляр, которым я пользовался, составлял целостное сочинение. Перевод сделан с греческого языка, и в Синодальной библиотеке хранится один старый рукописный список подлинника, как говорят, не позже VIII века. Содержание этого сочинения в высшей степени замечательно и занимательно; это, так сказать, роман, где представлено внутреннее действие человеческой души, ее борьба со всякого рода дурными помыслами и с неверием. Эта борьба представлена в фантастическом образе борьбы со злыми духами, или бесами. Я тогда же сделал из этого сочинения извлечение и, описав его содержание, поместил в статье под названием «Мистическая повесть о Нифонте», которая была потом напечатана в журнале «Русское слово»⁹⁹.

По возвращении из Троицко-Сергиева монастыря в Москву я посвятил там несколько дней на занятия рукописями в Синодальной библиотеке и в Архиве иностранных дел, где перебрал дела, относящиеся к истории Малороссии после Богдана Хмельницкого, и по распоряжению Археографической комиссии назначил их к отправке в комиссию. Затем я возвратился в Петербург.

Я принялся за издание «Памятников старинной русской литературы» по предложению покойного графа Григория Александровича Кушелева-Безбородко, помещая там по своему усмотрению рукописные статьи, отыскиваемые в письменных хранилищах. Первый том этих «Памятников» вышел в 1860 году, второй готовился выйти на следующий год. Это занятие побуждало меня для искания памятников испросить у с.-петербургского митрополита дозволения перебрать хранящиеся в Духовной академии рукописи, привезенные туда из новгородского Софиевского собора и из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря. Несмотря на мои усиленные занятия, каких требовало чтение лекций об истории Новгорода и Пскова, чрезвычайно мало разработанной и вызывавшей на основательное ознакомление со множеством источников, писанных на старом нижненемецком наречии, которому я должен был тогда же учиться, я в те дни, когда не читал лекций, совершал путешествия с Васильевского острова в Александро-Невскую лавру, при которой находится Духовная академия, являлся туда часам к девяти утра и просиживал за разбором рукописей до пяти часов пополудни. Так продолжалось осенью и зимою 1860—61 годов. Я имел возможность сделать там множество выписок из рукописей на отдельных листочках, надписывая на них, к какой стороне жизни относится выписка. Иныегодились мне для дополнения к «Очерку быта и нравов великорусского народа», а другие были оставлены до будущего времени, чтобы послужить источниками для дальнейших занятий по внутренней русской истории.

Принявши на себя звание члена Археографической комиссии и выписав из Москвы дела бывшего Малороссийского приказа, я, пригласивши к участию с собою явившегося в Петербург П. А. Кулиша, приступил к изданию актов, относящихся к эпохе Хмельницкого, отдал их сначала для переписи, а потом, постоянно выбирая из них более годные, отсылал постепенно в печать. Между тем другие акты, которые относились к годам, последующим за смертью Богдана Хмельницкого, я взял себе за источник для написания статьи о Выговском, которую предполагал читать на рождественских святках в виде публичных лекций.

Обращение моих занятий отчасти к Малороссии вызвало у меня появление напечатанной в «Современнике» небольшой статьи «О казачестве», где я старался установить надлежащий взгляд на это историческое явление и опровергнуть возникавшее в тогдашней литературе мнение о том, что казаки сами по себе были обществом антигосударственным, что душою этого общества была анархия, и потому на попытки как Польши, так впоследствии и России, к обузданию казацкой воли надобно смотреть как на защиту государственного элемента против вторжения диких, разрушительных побуждений. Такая точка зрения, давно уже поддерживаемая поляками, начинала переходить и в русскую ученую литературу, и я принимал на себя призвание доказать ее несостоятельность и уяснить, что казачество при всех временных уклонениях было последствием идей чисто демократических. Статья моя возбудила против меня возражения в польских повременных изданиях, и тогда особенно выступило против меня лицо, укрывавшееся под псевдонимом Зенона Фиша. Его возражения вызвали с моей стороны новую статью в защиту своего мнения. Поляк хотел доказать, что отношения польской народности к южнорусской были нравственно благодетельны, что задача польского шляхетства была «ушляхетнение» русского народа; а я возражал, что это «ушляхетнение» вело не более как к порабощению народа. Замечательно, что наши русские ученые, задаваясь идеею государственности, невольно в то время совпадали с польскими учеными; а я, защищая законность и плодотворность побуждений, двигавших народною массою независимо от государственных условий, возбуждал против себя обвинение в так называемом «казацком взгляде», как некоторые тогда выражались, не желая вникнуть в вопрос поглубже рутинных форм, которых привыкли держаться.

В первых числах января 1861 года я читал публичные лекции в университетском зале в пользу бедных студентов. Содержанием этих лекций была история эпохи гетманства Выговского. Всех лекций было четыре. Несмотря на страшный мороз, доходивший в те дни до 30 °, лекции мои были посещаемы значительным приливом публики.

С этого года начала издаваться «Основа», и я сделался одним из ревностнейших и плодовитейших ее сотрудников. Я поместил здесь несколько статей по русской истории, написанных на основании

того, что я имел случай читать в университете. Таковы статьи «О федеративном начале древней Руси», «Две русские народности», «Черты южнорусской истории»; последняя из них заняла несколько номеров и заключала в себе сплошное историческое повествование событий удельно-вечевого периода в Южной Руси до татар.

Там же в «Основе» помещены были две моих полемических статьи против краковской газеты «Czas» и французского журнала «Revue Contemporaine». Эти статьи имели целью опровергнуть лживые польские теории о неславянском происхождении всего великорусского народа, теории, опиравшиеся, как известно, на учение Духинского, получившее в свое время большое значение во Франции. Правду сказать, Духинский брался не за свое дело и вовсе не был подготовлен к решению таких важных вопросов: он вовсе не был знатоком ни финских наречий, ни восточных языков, ни русской археологии, тогда как основательные познания во всем этом были делом первой необходимости для решения тех задач, за какие принялся автор. Его теории льстили польским мечтаниям, и потому неудивительно, что принимались с большою верою поляками, которые в ту эпоху национального раздражения склонны были ухватиться за все, что, по их мнению, набрасывало какую бы то ни было тень на русский народ. Теории Духинского нашли себе сочувствие и в Западной Европе, особенно во Франции, и это доказывало только невысокий уровень сведений, которыми обладали вообще о нашем отечестве многие из ученых людей Западной Европы. Я имел целью доказать всю слабость и неосновательность исторических взглядов на наше прошедшее и в особенности на основание и состав великорусского народа — взглядов, в то время довольно укрепившихся в Европе. Но если приходилось мне писать в «Основе» то, что должно было раздражать поляков, то не обошлось и без того, чтобы тогдашнее перо мое не возбуждало против моих писаний многих умов и в нашем русском обществе. Мои статьи «О федеративном начале древней Руси», «Две русские народности» и, наконец, «Черты южнорусской истории», статьи, написанные на основании задачи, которую я предположил себе в чтении лекций по русской истории, возбудили против меня невыгодные толкования, проявившиеся не раз в печати впоследствии. Моя идея о том, что в удельном строе Руси лежало федеративное начало, хотя и не выработалось в прочные и законченные формы, заставляла подозревать — не думаю ли я применять эту идею к современности и не основываю ли на ней каких-нибудь предположений для будущего. Это подозрение много раз высказывалось там и сям намеками, большею частью неясными, потому что не у всякого доставало отваги обвинять меня в том, на что я сам не дал явных указаний. Независимо от печатных намеков, появлявшихся кстати и некстати в периодических наших изданиях, я тогда же получал письма с укором за мою статью и с отысканием в ней такого смысла, какого я не заявлял и какого она, конечно, не имела. Еще более возбуждала раздражение моя статья «Две русские народности»,

которую через несколько лет, вспомнивши о ней, «Русский вестник» назвал «позорною». Дело в том, что много открылось политических мыслителей, хотевших во что бы то ни стало, чтобы на Руси существовала только одна русская народность, и не терпевших, если им указывали не одну, а несколько, хотя бы даже существовавшие в прошедшие времена. Привычка отыскивать в рассуждении о прошедшем быте каких-нибудь отношений к настоящему или будущему заронилась в некоторой части читающего русского общества. Это было естественно при цензурной строгости, когда многие писатели поневоле принуждены бывали не досказывать своих мыслей, предоставляя читателям читать их у себя между строками. Эта привычка послужила против меня источником уже крайне смешных и нелепых догадок по поводу моей литовской системы происхождения Руси; она же действовала и по поводу мыслей о двух русских народностях. Впрочем, после выхода моей статьи в первое время не раздавалось крупных обвинений в «сепаратизме», которыми так щедро награждали меня после того как вспыхнуло польское восстание и русские стали горячо хвататься за идею своего национального единства. Многие часто не знали, что, говоря об Украине, повторяли сказанное их врагами-поляками по отношению к себе. Пока польское восстание не встревожило умов и сердец на Руси, идея двух русских народностей не представлялась в зловещем виде и самое стремление к развитию малорусского языка и литературы не только никого не пугало признаком разложения государства, но и самыми великороссами принималось с братскою любовью. Притом же содержание моей статьи о двух русских народностях ясно отклоняло от меня всякое подозрение в замыслах «разложения отечества», так как у меня было сказано и доказываемо, что две русские народности дополняют одна другую и их братское соединение спасительно и необходимо для их обеих. Достоинно замечания, что через пятнадцать лет после того патриотический «Киевлянин», обличая меня в «украинофильстве», в виде нравоучения и в назидание своих читателей привел мою мысль (выдавая ее за собственную) о необходимости и пользе соединения двух русских народностей из моей же статьи «Две русские народности» и притом почти буквально в тех же выражениях, в каких эта мысль была высказана у меня. В таком же духе, нимало не обличая меня в украинофильстве и даже относясь с сочувствием к малорусской народности, высказался Юрий Федорович Самарин¹⁰⁰ в своем дневнике.

Читая в это время в университете историю Новгорода и Пскова, я между прочим занимался печатанием некоторых статей и сочинений в журналах. Так, в «Современнике» печатался тогда мой «Очерк быта и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях», сочинение, написанное мною еще в Саратове и только дополненное в Петербурге; в «Архиве Калачева» печаталась повесть «Сын»; в «Русском слове» — «Русские инородцы» и «Повесть о Нифонте». Мои лекции о Новгороде и Пскове привлекали в мою аудиторию слушателей еще

более, чем в прошлом 1860 году, что меня чрезвычайно радовало и обязывало с большим рвением предаваться своему труду: я видел, что в публике зародилась серьезная любовь к отечественной истории, а не пустая мода, как толковали многие. В самом деле, едва ли мода могла бы на данное время увлекать к слушанию предметов, не представляющих ничего для праздного развлечения и, напротив, неизбежно возбуждавших скуку во всяком, кто приступал к ним без расположения и без подготовки. Притом же в то время не у одного меня стекались толпы слушателей: некоторые другие профессора также привлекали их своими чтениями. В то горячее время моих разносторонних занятий меня часто отвлекали посещения студентов, появившихся ко мне под разными предлогами и в разное время дня. Чтобы избавиться от таких несвоевременных посещений, я выставил на входной двери моей квартиры такое объявление: «Елицы от юнейшия братии честныя науковещательницы сущия во граде сем восхошут, некоего ради орудия, прийти в дом мой, да благоволят посетити мя в дни... и часы...» Здесь я указал определенные часы.

В феврале, на день, назначенный для университетского акта (8 числа), на мою долю выпало читать речь. Я взял себе предметом «О значении в обработке русской истории трудов Константина Аксакова», перед тем недавно умершего¹⁰¹. Перед самым актом помощник попечителя И. Д. Делянов сообщил мне, что министр не желает, чтобы я читал свою речь на акте, а что, если мне угодно, то я могу ее прочесть на каком-нибудь литературном вечере. Причиной такого распоряжения со стороны министра было, как мне сказано, желание не слишком утомлять университетским актом старых архиереев, приглашенных на акт. Когда я вошел в актовъй зал в день отправления акта, г. Делянов, подошедши ко мне, просил меня удалиться, не показываясь на глаза студентам. Я поступил так, как мне было сказано, а потом узнал, что после моего ухода в университетском зале произошел большой беспорядок. Студенты подняли шум, стук, требовали чтение моей речи и просили явиться ректора и дать им ответ. Бывший тогда ректором Плетнев¹⁰² явился по такому требованию на кафедру и объяснил студентам причину, побудившую начальство отложить чтение моей речи, причем уверил их, что речь моя будет прочитана на днях на публичном литературном вечере. Действительно, спустя три или четыре дня я читал публично свою речь при многочисленном стечении публики, министр слушал мою речь. Между тем тогда же до меня дошло, что во многих высших кругах общества беспорядок, произведенный студентами на акте по поводу отмены чтения моей речи, возбудил неодобрительные толки, возымевшие влияние на правительственные лица, и что вследствие этого события правительство вознамерилось принять меры к обузданию своевольтва студентов и учредить для хода университетских лекций более строгие правила. Через несколько времени произошло в Петербурге событие, подавши большой повод к желанию обуздать студентов. В Варшаве происходи-

ли уличные беспорядки, последствием которых были выстрелы со стороны войска, положившие на месте пятерых поляков. В Петербурге поляки устроили по этому поводу в костеле св. Екатерины на Невском проспекте панихиду по убиенным, которая должна была служить демонстрацией против мер правительства. Желая привлечь в костел побольше публики, поляки заманивали ее туда под разными предложениями. В то время я занимался в Публичной библиотеке. Кулиш передал мне, что общий наш знакомый, поляк Круневич, сообщил ему, что в костеле будут кого-то хоронить и итальянские певцы будут петь «Requiem» Моцарта. Так как этой музыкальной пьесы я никогда не слышал, то и поспешил в костел. К моему удивлению я услышал там не «Requiem» Моцарта, а революционные песни, которые пели хором стоявшие на коленях поляки. Не желая быть участником какой бы то ни было демонстрации и не сочувствуя им вообще, я поспешил уйти; но не без труда выбрался из костела, пробираясь между стоящих на коленях. Тотчас после того началось производство следствия. Меня видели в костеле, и Делянов приехал ко мне с расспросами. Я рассказал ему как было. Правительство не наложило на меня подозрения, тем более что и некоторые государственные лица подобно мне были завлечены в костел ложными слухами об итальянском пении музыкального произведения Моцарта.

Над студентами началась переборка, и некоторые из них, не поляки, но чисто русские, позволяли себе ради бравады дерзкие ответы. Так, например, один студент, спрошенный — был ли он в костеле и пел ли, — ответил «был, но не пел, потому что не знаю по-польски, а если бы знал, то непременно бы пел». Правительство прекратило следствие, однако дерзкие ответы, данные студентами, не могли не отозваться дурно вообще на мнении о студентах и укрепили желание правительства ввести в университете строгие правила.

Через несколько дней после события в костеле, 25 февраля, скончался Тарас Григорьевич Шевченко¹⁰³. Смерть его была скоропостижная. Уже несколько месяцев страдал он водянкою. Не без основания говорили врачи, что болезнь эту нажил он от неумеренного употребления горячих напитков, особенно рома, который он очень любил. Накануне его смерти я был у него утром; он отозвался, что чувствует себя почти выздоровевшим, и показал мне купленные им золотые часы. Первый раз в жизни завел он себе эту роскошь. Он жил в той же академической мастерской, о которой я говорил выше. На другой день утром Тарас Григорьевич приказал сторожу поставить ему самовар и, одевшись, стал сходить по лестнице со своей спальни, устроенной вверху над мастерской, как лишился чувств и полетел со ступеней вниз. Оказалось по медицинскому осмотру, что водянка бросилась ему к сердцу. Сторож поднял его и дал знать его приятелю, Михаилу Матвеевичу Лазаревскому¹⁰⁴. Тело Шевченка лежало три дня в церкви Академии художеств. В день погребения явилось большое стечение публики. Над усопшим говорились речи по-русски, по-

малорусски и по-польски. Я также произнес небольшое слово по-малорусски. Из речей особенно обратила всеобщее внимание польская речь студента Хорошевского¹⁰⁵. «Ты не любил нас,— говорил он, обращаясь к усопшему,— и ты имел право; если бы было иначе, ты бы не был достоин той любви, которую заслужил, и той славы, которая ожидает тебя как одного из величайших поэтов славянского мира». Гроб Шевченка несли студенты университета на Смоленское кладбище. По возвращении с похорон бывшие там малороссы тотчас порешили испросить у правительства дозволение перевезти его тело в Малороссию, чтобы похоронить так, как он сам назначал в одном из своих стихотворений:

Як умру, то поховайте
Мене на могили
Серед степу широкого
На Вкраїни милиї;
Щоб лани широкополю,
І Дніпро, і кручі
Були видні...

В то время видно было большое сочувствие и уважение к таланту скончавшегося украинского поэта. Большинство окружавших его гроб состояли из великоруссов, которые относились к нему, как относились бы к Пушкину или Кольцову, если бы провожали в могилу последних. В марте в университетском зале на литературном вечере, устроенном в память Шевченка, я читал статью «Воспоминание о двух малярах», из которых один был знакомый мне в юности крепостной человек, лишенный возможности по поводу неволи развить данный ему от бога талант, а второй был недавно скончавшийся Шевченко. Статья эта принята была публикой с восторгом и напечатана вслед за тем в «Основе». Бедный Шевченко несколькими днями не дождался великого торжества всей Руси, о котором только могла мечтать его долготрадавшая за народ муза: менее чем через неделю после его погребения во всех церквах Русской империи прозвучал высочайший манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Этот манифест давно уже был готов, но опубликование его приостановлено до поста, чтобы дать народу возможность отпраздновать великое событие не в кабаках, а в церквах и в домашних кружках. Вспоминая эти минуты, могу сказать, что тогда была видима и ощущаема безмерная радость между людьми всякого звания и образования: чувствовалось, что Россия свергала с себя постыдное бремя, висевшее на ней в продолжение веков, и вступала в новую жизнь свободной христианской нации. Казалось, после отдаленной от нас эпохи крещения при Владимире еще не переживал русский народ такой важной минуты. После того оставалось желать одного — просвещения освобожденного народа, и действительно, это желание слышалось в устах всех образованных людей той эпохи.

Пришел праздник пасхи. Лекции мои были закончены; студенты держали экзамены, и мой предмет был один из ранних. Я предполагал ехать за границу и заранее подал об этом прошение. В конце апреля я получил из Новгорода просьбу прочитать публичную лекцию в пользу народного училища. Я согласился и отправился в Новгород. Замечательно, что училище, для которого мне пришлось читать лекцию, было устроено в башне, по преданию, той самой, где некогда висел вечевой колокол и помещалась вечевая изба, то есть канцелярия. Лекцию мою «О значении Новгорода в русской истории» я прочитал в зале Дворянского собрания 30 апреля. Она была принята с большим сочувствием. На другой день я отплыл из Новгорода, торопясь ехать за границу.

В первых числах мая, простившись с матушкой, я отправился с П. А. Кулишом в Берлин, а оттуда, спустя один день, мы направили путь наш к Швейцарии через Лейпциг, Нюрнберг и Аугсбург. В Нюрнберге мы остановились на два дня и осматривали этот замечательный город, в котором все дышит средними веками, как едва ли в каком-нибудь другом городе Германии. Я познакомился на железной дороге с одним немцем — студентом, ехавшим к родным, у которых был свой дом в Нюрнберге. Обязательный молодой человек предложил мне доставить способ побывать в нескольких домах, в которых сохранилась не только средневековая постройка, но и средневековая мебель и обстановка. Мы заходили также в знаменитую пивную, помещаемую в нижнем этаже средневекового здания, где посетителей угощают превосходнейшим старым пивом, но не продают ни одной бутылки на вынос. Сам Нюрнберг разделяется на две части; средоточие его — старый город — окружен каменной стеною со множеством башен и весь наполнен старыми зданиями; город, лежащий за пределами стены, — Нейштадт, носит противоположный характер нового города. В старом городе не только дома и церкви построены в средние века, но и самая мостовая улиц — памятник прошедших времен. Из Нюрнберга мы отправились на Констанцское озеро и парохомом прибыли на швейцарский берег в Рорбах. На самом берегу озера нашли мы прекрасное помещение в гостинице. В нашем номере был балкон, выходивший прямо к озеру. Хозяин гостиницы, венский уроженец, был прежде хозяином гостиницы в Милане и сообщил нам любопытный рассказ о подробностях возмущения в этом городе в 1859 году, когда из него фанатически изгоняли всех немцев и немец, хозяин гостиницы, понес большие убытки, потому что толпа итальянцев ворвалась к нему и истребила у него всю буфетную и кухонную посуду. Как истый немец, он старался нас уверить, что Ломбардия пользовалась большим благодеянием под австрийским владычеством, чем теперь, после поступления ее под власть сардинского короля, провозглашенного королем всей Италии. О Гарибальди этот немец отзывался не иначе как об атамане разбойников.

Полюбовавшись прекрасным вечером и переночевавши, мы пустились поутру железною дорогою в Кур — главный городок Граубинден-

ского кантона и пробыли в нем два дня. Трудно себе представить местность более поэтическую и приятную для жизни: воздух дышит особенною свежестью и прохладой с высоких гор, окружающих город; шум горных потоков приятно щекочет ухо и располагает к сладкой дремоте и мечтательности. За маленьким городком тянется живописная роща, усеянная красивыми швейцарскими хуторками и водяными мельницами, построенными на потоках. Простой народ говорит здесь своеобразным местным наречием латинского корня, известным под именем романского. Попытавшись заговорить с крестьянином, я не мог разобрать его, хотя несколько произнесенных им слов напоминали латинские и итальянские.

Так как я имел в виду купанье в море, то не решался надолго останавливаться в этой местности, оставившей по себе чрезвычайно милое воспоминание. В Куре наняли мы лошадей с экипажем и отправились, по пути в Италию, по дороге, которая носит название «Via mala», то есть дурная дорога. Несмотря на такое название дорога эта своим устройством не соответствовала ему. Это один из самых живописных путей по швейцарским горам. Мы встречали затейливые вершины с глетчерами и множество шумевших водопадов. Вспоминая дорогу через Сэн-Готард, по которой я проезжал в 1857 году, я должен был отдать преимущество — по красоте представляемых впечатлений — пути, по которому ехал теперь. Так как в то время был еще конец мая, то снега на вершинах не успели растаять, и когда мы достигли верхних слоев горного хребта, то в одной устроенной там гостинице извозчик достал полозья, прикрепил их к экипажу, и мы покатали на санях. Кругом была необозримая снежная равнина, напоминавшая нашу Русь в зимние месяцы. Мороз пробирал нас, так как мы были одеты по-летнему. Проехавши таким образом версты полторы, мы встретили швейцарскую таможню, где с нас потребовали паспорта, записали их и взяли с нас по два франка. Собственно, в Швейцарии не нужно никаких паспортов, но этот прием выдумало швейцарское союзное правительство для того, чтобы иметь особого рода доход с путешественников. Оттуда немного спустя снег исчезал; полозья отвязали, и мы снова поехали на колесах, уже направляясь под гору. Мы ехали сутки и на следующее утро приблизились к Комскому озеру; там сели на пароход и поплыли по голубой воде озера в виду живописнейших гор, окаймлявших озеро с обеих сторон и усеянных множеством разбросанных дач самой затейливой постройки. Подплывая ранним утром то к той, то к другой даче или городку, корабельщики по приказанию капитана стреляли из пушек. Наш пароход был увит разноцветными флагами; такие же флаги встречали мы на дачах и городках. На вопрос мой, что это значит, нам объяснили, что наступил день годовщины освобождения Италии, и в Милане будет отправляться большое национальное торжество. Приставши к городу Комо, мы увидели повсюду флаги, праздничную обстановку и праздничный шум, несмотря на то, что было тогда не позже семи часов утра.

Севши на железную дорогу, мы прибыли через полтора часа в Милан, и первое, что мы встретили на городских улицах, по которым с дебаркадера поехали в гостиницу, было множество флагов на домах. Национальная гвардия спешила в собор в красивых мундирах; повсюду раздавалась музыка. Наша гостиница «Великобритания» находилась недалеко собора, мимо которого мы к ней ехали и встретили на соборной площади большую толпу сновавшего народа. На соборном портале крупными буквами красовалась надпись патриотического содержания, в которой прославлялась память участвовавших в великом деле освобождения отечества. Приставши в гостиницу, первым делом нашим было спешить в собор, где уже раздавался звон колоколов, призывавший народ к обедне. В главном входе собора нас остановили полицейские и вежливо объявили, что дверь, куда мы входим, назначается исключительно для официальных лиц и национальной гвардии. Полицейские вызвались сами проводить нас другою дверью и поместить так удобно, чтобы нам было видно все богослужение и церемония. Место, избранное нами, было тем удобно, что мы стали на стулья, за которые, однако, с нас не брали денег, как это делается во Франции, где в церквях производится настоящая торговля стульями. Церковь была блистательно освещена; священнодействовал миланский архиепископ с огромным клиром. Кроме обычных лавок и стульев, наполнявших широкую площадь внутренности собора, у стен его и у колонн были устроены ложи, где сидело множество нарядно одетых дам. По окончании литургии архиепископ благословлял народ, а национальная гвардия разразилась шумною военною музыкаю. Около часа пополудни кончилось богослужение со всеми церемониями молебствия, и мы отправились в свою гостиницу. На дороге пристал к нам какой-то молодой человек и завел разговор о текущих событиях. Я выразил ему, что это торжество освобождения народа до такой степени трогательно, что я, пришелец из далекой России, невольно проникаюсь тем чувством, которое в настоящее время волнует сердца итальянского народа. При этом я заметил еще, что великая историческая судьба Италии по своим воспоминаниям принадлежит не только одной Италии, но и всему образованному, миру, сообразно тем плодам умственного и общественного труда, которые оставила Италия для истории просвещения всего человеческого общества. Мой собеседник заговорил не совсем таким восторженным языком, какого я ожидал от него. Он объявил, что он приезжий неаполитанец и что Ломбардия не его отечество. При этом он сообщил, что был студентом и готовился к духовному званию. Когда мы сели вместе обедать, он, продолжая этот разговор, высказал себя клерикалом, не совсем довольным тем либеральным направлением умов, которое тогда охватывало итальянское общество, причем заметил, что служивший в соборе архиепископ должен поневоле играть роль патриота в сардинском духе и в угоду графу Кавуру, а сам совершенно других чувствований. После обеда мы снова отправились в собор, ходили по его

внутренности, любовались цветною живописью его стекол на окнах, а потом взошли на его мраморную крышу и по узкой лестнице поднялись на вершину башни, увенчанной статуею богородицы, и там на память записали наши имена и день нашего посещения.

Пробыв в Милане два дня, мы посетили несколько церквей и слушали богослужение, побывали в картинной и скульптурной галереях, где повидали недавно выставленную мраморную статую символического изображения Италии в виде женщины, изящно сделанную современным художником. Миланское богослужение в церквях сильно бросается в глаза своею особенностью: здесь отправляется необычная католическая обедня, а литургия св. Амвросия (местного святого и патрона Ломбардии) ближе подходящая к нашей православной обедне. Как еще в то время мало укоренилось в итальянцах чувство национального единства — кроме беседы с молодым неаполитанским клерикалом меня поразил разговор с торговками, продававшими на рынке ягоды. Показывая мне землянику, на вопрос мой: как называется у них эта ягода, «*mauale*» ли, она отвечала: «так по-итальянски она называется, а у нас, по-ломбардски — «*mauste*». Таким образом, простой народ считал себя ломбардцами и не сознавал итальянцами.

Из Милана по железной дороге поехали мы в Геную. Сначала у меня была мысль там купаться, но через день я должен был оставить ее: в Генуе нет вовсе купален, потому что дно моря у пристани чрезвычайно глубоко. На вопрос мой об этом у одного лодочника он отвечал, что здесь глубины будет «одинадцать человек» (*undici uomini*) — старинный способ определять глубину представлением о том, сколько бы могло стать людей на головах один у другого. Вместо купален на берегу устроены только купальные заведения «*stabilimenti*» с мраморными ваннами в комнатах, куда проводится вода с моря. Вдобавок итальянцы так боятся холода, что в гостинице на мои вопросы о купанье мне сказали: «как можно теперь купаться, еще холодно», хотя ощущения моего тела не соглашались с таким замечанием.

Не останавливаясь более в Генуе, мы отправились на наемных лошадях в Ниццу. Дорога шла по Корнишу, посреди множества лимонных и апельсиновых садов. Что касается до живописности Корниша, приобретенного, как известно, всемирную славу, то мне показалось, что итальянский Корниш в этом далеко уступает нашему крымскому берегу. Только ночи представлялись там чем-то волшебным от множества летающих ярко-зеленых огоньков: то были насекомые, издающие свет, напоминающий свет наших ивановских червячков. Ницца была для меня целью морского купанья; но вскоре я увидел, что слишком много доверился тому, что читал и слышал о ней. Трудно найти место более скучное и более некрасивое, как Ницца летом. Морской берег лишен всякой растительности: жар невыносимый, белая пыль, портящая платье и производящая глазные болезни, а в середине городка — нестерпимые миазмы: совершенное отсутствие пресной воды; наконец, самое купанье в море вовсе не представило мне того,

чего я желал и ждал: почва под водою у берега камениста; можно пройти безопасно только несколько шагов, и то держась за канат, чтобы не быть отброшенным волною и не удариться о камень. Мы поместились у берега близ купальни в так называемом пансионе, как во Франции называются квартиры, отдаваемые жильцам с обедом, кофе, завтраком и прислугой. Плата была вообще умеренная, стол хороший, но скука неодолимая. Я протерпел в Ницце три недели, наслушавшись возмутительнейших рассказов о свирепстве Наполеона III, тайная полиция которого почти каждую ночь делала у жителей обыски и многих по одному лишь подозрению увозила невесть куда без суда и следствия, заставляя покидать и семейство, и хозяйство. Достаточно было малейшего подозрения на тамошнего уроженца, что он недоволен присоединением Ниццы и Савойи ко Французской империи — и подозреваемый мгновенно исчезал. Со времени пребывания покойной императрицы Александры Федоровны Ницца год от году более и более делалась любимым местопребыванием русских аристократов и становилась, так сказать, русскою колониею, в особенности в зимнее время. Летом там оставалось русских немного. Это расположение русских к Ницце подало повод к построению там русской православной церкви. Она очень красива: благодаря изобилию мрамора в Италии церковное крыльцо и сени выстроены из этого камня; в середине иконостас резной работы; мраморный пол устлан коврами. Церковь помещается в верхнем этаже, а в нижнем — помещение для священника.

После трехнедельного купанья в Ницце мы для разнообразия переселились в Монако, бывшее тогда маленьким независимым княжеством. Главный доход владельца этого княжества составляла рулетка, привлекавшая туда празднующихся и разных искателей фортуны в зимнее время; зато летом Монако остается почти пустынею, и именно такой вид имел он, как я посетил его. Местоположение его гораздо красивее Ниццы. С одной стороны он примыкает к Средиземному морю, берег которого густо покрыт темною зеленью безобразных рожковых деревьев и лесом кактусов; с другой — под городом простирается залив моря, превращающийся как бы в озеро и зеленеющий множеством водорослей. Сход к этому заливу от города идет по очень крутой горе. По причине летнего времени и обычной в это время пустоты мы нашли себе помещение за баснословно дешевую цену: за один червонец в месяц мы имели три прекрасных комнаты со входом на террасу, которая тянулась под тенью огромных перцевых деревьев над лимонною и апельсинною рощею, которой верхи достигали террасы. С этой террасы открывается безбрежный вид Средиземного моря. Дневной зной был невыносим, зато ночи, необыкновенно ясные, освещаемые полною луною, были очаровательны. Только глубокая тишина, царствовавшая и в воздухе и в воде, возбуждала какое-то томительное, тяжелое чувство и невольно наводила меланхолию и грусть. Проживши десять дней в Монако, мы ушли оттуда, боясь, что если проживем там долее, то наши нервы придут в такое рас-

стройство, что нам, как фиваидским пустынноикам, будут представляться какие-нибудь привидения. Мы вернулись в Ниццу, а через несколько дней отправились в Геную для перемены места.

На этот раз я пробыл в Генуе две недели, каждый день купаясь привязанным к канату, который держал лодочник. Однажды, выкупавшись и одеваясь, я позабыл в лодке мешок с червонцами, который всегда носил при себе за границей. Я спохватился, пришедши домой, и в испуге побежал к берегу. Вдруг на дороге встречает меня лодочник, у которого я купался, и несет мой мешок с червонцами; он слышал, что, разговаривая со своим товарищем, я часто упоминал название «Hôtel Smitt»; он понял, что мы квартируем в этом отеле и нес туда мои деньги. Я выразил ему свое удивление и уважение к такой честности, но лодочник, по наружности казавшийся с первого раза свирепым разбойником, с гордостью ударил себя в грудь и произнес: «Да ведь я служил в войсках Гарибальди!», давая тем знать, что человек, служивший у такого великого героя, не может сделать такого бесчестного дела.

Мы посетили знаменитый сад Паллявичини, приобретший европейскую славу. Этот сад отличается большими вычурами; в таких местах, где вы никак не могли подозревать появления воды, начинают под вашими ногами брызгать фонтаны; вы встречаете сталактитовые гроты, в которые плывете на лодке, и тому подобные фокусы; но этот сад, как мне показалось, далеко уступал Воронцовскому саду в Алушке, в котором искусство, богато расточенное, превосходно укрылось под обликом природы, так что вы готовы признать, что здесь вовсе не работала рука человеческая, а все, что видится теперь, исключая строений, также было и при сотворении мира.

Оставивши П. А. Кулиша в Генуе, я отправился с одним русским офицером в Пизу, а потом во Флоренцию; бегло осмотрел тамошние достопримечательности, хотел ехать в Рим, но ужасающий жар отбил у меня эту охоту и я отложил поездку в Вечный город до того времени, когда в состоянии буду поехать зимою. Меня манило поскорее куда-нибудь в холод, и вместе с моим товарищем я поехал по железной дороге к Лаго-Маджиоре и оттуда, нанявши пару лошадей с итальянским «vetturino»¹⁰⁶ — через Альпы, пробираясь к Женеве. Проехавши сутки, терпя обычный южный зной, я наконец добрался до холодного пояса гор и на заре прибыл в бернардинский монастырь, где встречен был монахами в черных одеяниях с белыми поясами и стаею огромных собак, приобретших всемирную славу спасителей путешественников, застигнутых снегами в Альпийских горах. Близ самого монастыря видна пещера, в которой недавно погребались несчастные путешественники, найденные уже мертвыми. Самая окрестность, чрезвычайно угрюмая и дикая, носит зловещее прозвище Долины мертвых (Vallée des morts). Я пробыл в монастыре несколько часов, угощаемый молоком и сыром. Это было в июне. Почва была покрыта льдинами; кругом, кроме жалкого мха, не было никакой раститель-

ности; но внизу гор были монастырские дачи, откуда доставляются в монастырь всякого рода припасы. Путь из монастыря шел вниз; повторялись те же виды и те же приемы езды, какие встречал я в прежнюю свою поездку по Альпам. К двум часам пополудни мы были уже в городе Сионе, где собирались сесть в вагон железной дороги, ведущей к берегам Женевского озера. Так как нам оставалось ждать еще два часа прибытия поезда, то мы отважились употребить это время на осмотр развалин старого замка, живописно гнездившихся на высокой горе. Мы пошли туда пешком по старой, давно уже оставленной дороге, ведущей вверх крутой горы и огражденной справа парапетом, за которым шла вниз совершенно отвесная скала чрезвычайной высоты. В одном месте парапет обломился и надобно было перешагнуть почти через пропасть. Идя вверх, я не ощутил никакого страха, сделал один шаг и потом пошел безопасно, так как по правую сторону защищал меня парапет. Мой товарищ последовал за мною. Мы взошли на гору, посмотрели на развалины замка, от которого торчало несколько башен и стен, и стали искать иного схода с горы; но оказалось, что на вершину этой горы не было иного пути кроме того, по которому мы прошли, и нам приходилось нехотя идти назад. Только что я дошел до того места, где парапет обломился и нужно было сделать один шаг через пропасть, я никак не имел смелости этого сделать, тем более что руками нельзя было придержаться ни за что. Сколько я ни пробовал, каких усилий ни делал, снимал даже с себя сапоги — никак не мог перейти: едва я заносил ногу, как чувствовал, что силы меня оставляют, голова кружится, ноги дрожат — и я полечу в пропасть. Товарищ мой сначала похрабрился и, как военный человек, хотел показать свою удаль; но отвага оставила его, как только он занес ногу над пропастью. На счастье наше мы увидели внизу женщину, которая махала нам платком и шла к нам по дороге вверх. «Вы не можете сойти, — сказала она, — вы уже не первые; дайте я вас сведу». Спасительница наша оказалась дряхлая старушка, лет около восьмидесяти. Она взяла у меня руку, велела, обратившись к горе, не оглядываться назад и сделать движение ногою. Я послушался ее и перешагнул; товарищ мой сделал то же, и мы благополучно сошли вниз и прибыли в свое помещение; но последствия этого приключения мне суждено было чувствовать еще продолжительное время. Когда я сидел в вагоне, едуци по дороге в Веве, воображение мое беспокоил образ страшной пропасти, которая невольно представлялась мне в мысли за стеною вагона. На дороге разговорился я с ехавшим лозаннцем, который убедил меня выйти из вагона, чтобы осмотреть на дороге Шильонский замок, уверяя, что мы найдем там лодку, на которой благополучно доберемся до Веве по озеру. Я так и поступил и вместе с лозаннцем, взявшимся быть моим путеводителем, сошел у Шильона и отправился в замок через узенький мостик, которым соединялся с берегом замок, построенный на острове Женевского озера.

Шильонский замок — одно из любопытнейших мест в Европе, дра-

гоценных в историческом и археологическом отношении. Мне показывали страшные и затейливые орудия пыток и казней, некогда здесь совершавшихся. На одном деревянном столбе осталось видно обугленное дерево — следы огня, которым припекали подвергнутых пытке. В одном месте пред моими глазами открыли люк, в котором была устроена лестница, опускавшаяся в волны озера. Преступника посылали сходить вниз по этой лестнице; ее ступени внезапно прекращались; неожиданно для осужденного он оступался и летел вниз в воду, а в воде были устроены длинные железные полосы острою стороною кверху, несчастный падал на них и был разрезываем на куски. Показавши в замке разные памятники прошедшего варварства, меня повели в подземелье — то самое, которое так поэтически описал Байрон. У семи толстых колонн остались кольца, на которых некогда висели цепи. Около одной колонны земля была глубоко вытоптана. Здесь, говорили, страдал прикованный Боннивар. Я поднялся до небольшого окна, устроенного вверху подземелья, и, глянув туда, встретил тот самый ландшафт, который, по описанию Байрона, увидал его страдалец, когда, освободившись от цепи, ходил уже неприкованный по своей темнице. Обок темницы, служившей местом заключения Боннивара с братьями, находится темный застенок с каменною лежанкою. Мне объяснили, что здесь проводили последние ночи те заключенные, которым на следующее утро грозила смертная казнь. По осмотре Шильона я поплыл на лодке по озеру. До Веве будет от Шильона добрых верст десять. Мы плыли вдоль берега в виду живописных мест, с которыми соединялось столько поэтических воспоминаний; проплыли мимо байроновой отели, мимо Монтре — любимого местопребывания Жан-Жака Руссо и мимо Кляранса, где воображение Руссо поместило его Новую Элоизу; наконец, прибыли в Веве, где мне пришлось поместиться в отвратительном номере одной из незначительных гостиниц. Приезжих было чрезвычайно много, и трудно было найти порядочное помещение. Посещение Шильона еще более расстроило мои нервы, уже сильно потрясенные приключением в Сионе. Со вступлением в свой номер я был сам не свой. Страшная пропасть не выходила у меня из головы, а шильонские пытки, которых следы я только что видел, до того сделали впечатление на мое воображение, что в моем теле чувствовались те ощущения, которые переносили некогда страдалцы. К ночи я заболел — и не на шутку. В теле у меня делались судороги; жар томил мою голову; начался бред. Я прохворал несколько дней и не могу при этом забыть обязательного моего соседа англичанина, который, услыша мои стоны, прибежал ко мне в номер и принимал живое и христианское участие в моем положении. Когда мне стало лучше, я выехал из Веве в Женеву, пробыл там три дня, а потом отправился в Россию через Баден, Франкфурт и Берлин. В Берлине я обратился к знаменитому окулисту Греффе, которого не удалось мне увидеть в первую мою поездку за границу. Осмотревши мои глаза, он совершенно успокоил меня,

уверивши, что у меня не было никакого предрасположения к катаракту, которым так напугали меня; он нашел глаза мои сильно утомленными, переменял мне очки и дал примочку, которая тогда же оказала спасительное действие на мои больные глаза. Затем я воротился в Петербург. Было начало августа. Я недолго на этот раз оставался в Петербурге, и 15 числа, встретившись в библиотеке С.-Петербургской духовной академии с московским профессором Тихонравовым, отправился вместе с ним в Москву для занятия рукописями в Синодальной библиотеке и в Архиве иностранных дел. В этот проезд я прожил в Москве до 20 сентября, изо дня в день занимаясь то в Синодальной библиотеке, то в архиве.

VIII

Студенческие смуты. Закрытие университета.

Публичные лекции. Скандал в Думе.

Выход в отставку от университетской кафедры

Я возвратился в Петербург 20 сентября. Еще на дороге я услышал, что в петербургском университете, как и в учебном округе, произошли важные перемены. Министр Ковалевский удалился в отставку, за ним последовал и попечитель Петербургского округа И. Д. Делянов. Между студентами распространилось сильное волнение. На другой день после моего приезда я отправился в университет с целью начинать курс, но, к удивлению, заметил, что аудитория моя не в пример против прошлого года была бедна слушателями, да и те, которых я застал, стали расходиться один за другим.

Я узнал, что в это самое время в университетском парадном зале происходила бурная сходка; студенты выломали дверь и шумно требовали отмены установленных для них стеснений, объясняясь с новым ректором И. И. Срезневским, заступившим место выбывшего и уехавшего за границу Плетнева. На другой день произошло знаменитое, наделавшее в свое время шуму путешествие нескольких сот студентов в Колокольную улицу, в квартиру нового попечителя университета Филипсона, которого студенты потянули за собой через весь Невский проспект до университета. На следующий день новый министр народного просвещения граф Путятин сделал распоряжение о временном закрытии университета.

Более двадцати студентов, сочтенных зачинщиками, были арестованы и посажены в крепость. С этих пор в Петербурге чуть не каждый день повторялось волнение молодежи, выражавшееся сходками на улицах, которые разгонялись солдатами. Дух волнения, выходя из Петербургского университета, сообщался в другие высшие заведения столицы и отражался на провинциальных русских университетах. Между профессорами университета также господствовали недоразу-

мения и несогласия. Дело в том, что летом, во время бытности моей за границей, образована была из профессоров комиссия для составления правил, имевших целью приведение всей корпорации студентов к подчинению и порядку. Люди, враждебные лицам, составлявшим эту комиссию, упрекали их за начертания правил, произведших волнение, а сами эти лица объясняли, что правила, которые были ими написаны, явились измененными от начальства. Как бы то ни было, студентов приводили в негодование некоторые новые распоряжения, а именно: 1) назначение ценза для поступления в университет, простиравшегося до пятидесяти рублей ежегодного взноса без всякого изъятия для бедных, так что в университет могли поступать только люди зажиточные; 2) запрещение студенческих сходок и уничтожение студенческих касс для вспомоществования бедным студентам; 3) запрещение устраивать в здании университета концерты, спектакли и литературные вечера с целью пополнения студенческой кассы; 4) закрытие университетских аудиторий для особ женского пола и допущение посторонних мужчин не иначе как с особою платою и особыми билетами; 5) обязательство, возложенное на студентов, при вступлении в университет брать печатные правила, называемые матрикулами. Студентам до крайности были не по сердцу эти распоряжения, в которых они видели стеснение своей свободы.

Ожесточение их дошло до такой степени, что многие толпами собирались на улицах, с тем чтобы их арестовали и увели в крепость, что и делалось чуть ли не каждый день, а 12 октября громадная толпа студентов, человек более трехсот, у здания университета была окружена войском и отправлена в казематы, причем двум студентам нанесены были удары в голову. В Петропавловской крепости недоставало места, и половина арестованных была отправлена в Кронштадт. Я не принимал ни малейшего участия в тогдашних университетских вопросах, и хотя студенты часто приходили ко мне, чтобы поговорить со мною, что им делать, но я отвечал им, что не знаю их дел, что знаю только науку, которой всецело посвятил себя, и все, что не относится непосредственно к моей науке, меня не интересует. Студенты были очень недовольны мною за такую постановку себя к их студенческому делу, но мне не удалось тогда уйти от клевет, ничем не заслуженных. Однажды я пришел по обыкновению заниматься в Публичную библиотеку, и там один ученый-немец сообщил мне, что в каком-то немецком периодическом издании описываются петербургские смуты и в этом описании мое имя играет незавидную роль: «Professor Kostomarov die Studenten aufwiegelt» (профессор Костомаров волнует студентов). Такая весть очень меня растрожила, тем более что с моей стороны не подано к тому никакого повода. Закрытый университет был вновь открыт для тех, которые покорились воле правительства и взяли матрикулы, повинувшись предписанным в них правилам, которые не принявшими матрикул считались стеснительными. Таких — противники их прозвали матрикулистами. Количество по-

корных властям не составляло и трети студенческого сословия, да и взявшие матрикулы не посещали аудитории, так что хотя университет объявлен был открытым, но читать в нем было не для кого.

Между тем грозные слухи приходили о студенческих смутах, совершающихся в других университетских городах. В Москве волнение перешло из университетских стен на улицы. Народ, рассерженный слухами, будто бы студенты, дворянские дети, оказывают недовольство против правительства за уничтожение крепостного права, поколотил некоторых студентов на улице, а иных даже изувечил. В Харькове и Казани, как слышно, происходили большие волнения в стенах университетов. В университете св. Владимира студентский вопрос сталкивался уже с национальным, примешивая вражду между поляками и русскими. Впоследствии явилось мнение, что и в Петербурге волнению молодежи содействовали поляки, готовившие у себя восстание и желавшие произвести всеми силами беспорядок в русском обществе. Насколько я мог следить и заметить, это мнение едва ли основательно. Польская молодежь держалась в стороне от русской и при всяком удобном случае не скрывала национальной антипатии ко всему русскому. Притом же в русских умах, как и в русской литературе того времени, было и без польского влияния достаточно либеральных тенденций, которые могли вскружить головы молодым русским людям и довести их до непослушания и беспорядков. Почти одновременно с студентским волнением стали появляться печатные листки, имевшие смысл прокламаций, призывающих общество к политическим и социальным переменам, иные по своему содержанию были проникнуты умеренным либерализмом, в других делались воззвания к революции и даже к резне. Судя по шрифту, эти прокламации печатались в России, хотя, как говорят, впоследствии были попытки производить их за границею и привозить в пределы империи контрабандным способом. В самом Петербурге эти прокламации разносились по домам молодыми людьми, которые или затыкали их за двери квартир, или же, позвонивши, передавали печатные листки прислуге, приказывали подать хозяину, а сами немедленно убегали на улицу. Что в составлении и распространении таких прокламаций вовсе не было польского влияния, как некоторые подозревали, это всего лучше показывает содержание русских прокламаций, в которых никогда не заявлялось симпатий к Польше и, напротив, они были проникнуты таким духом, который совершенно был не свойствен ни польским сочувствиям, ни польским привычкам. Поляки того времени при всем своем кажущемся либерализме и патриотизме не могли ни на шаг отрешиться от католицизма, тогда как русская молодежь отличалась не только холодностью к вопросам религии, но и склонностью к отрицанию всякого догматического авторитета. Поляки при всех своих тенденциях к восстановлению отечества были всегда шляхетны: у них много говорилось о народе, но под народом разумелось дворянство или люди, приближающиеся к дворянам, тогда как русский, если был либерален,

то вместе с тем делался ярким демократом и относился к дворянскому достоинству не только презрительно, но даже с ненавистью. Поляки хорошо понимали бездну, разделявшую их от русских по понятиям и симпатиям, и потому совершенно справедливо со своей точки зрения задавались необходимостью провести строгую, непроходимую между между Русью и Польшею, приписывая, впрочем, своей Польше всю ту часть Руси, в которой успели провести свой шляхетский элемент. Каков бы ни был москаль, либерален ли он или консервативен — для них было все равно: достаточно того, что он москаль и не католик — он уже им чужой. При таком положении дел, при совершенном отчуждении поляков от русских можно ли приписывать какие бы то ни было явления в русской жизни польскому влиянию? С другой стороны, и у русских не видно было большой охоты к сближению с поляками и сердечной любви к ним. Несмотря на то что в русских университетах уже давно преподавали славянские наречия, очень мало можно было встретить молодых людей из великоруссов, сколько-нибудь знающих по-польски и интересующихся польскою литературою. Гораздо чаще можно было найти молодого человека, учившегося по-сербски, по-чешски, но не по-польски. Правда, в начале последнего польского восстания, когда поляки тайными убийствами вооружили против себя русское общество, русские либералы были того мнения, что Польше в пределах ее народности следует предоставить самобытное развитие, но с этим вместе не соединялось ни малейшего желания заимствовать что-нибудь для себя из явлений польской жизни. Что же касается до известных польских претензий на принадлежность к Польше всего западнорусского края и даже таких коренных русских местностей, как Киев или Смоленск, то уже и тогда русская молодежь вооружилась против этого с известною долею фанатизма. Мне рассказывали бывшие в заключении в Кронштадтской крепости студенты, что у них там происходили беспрестанные столкновения с поляками, готовые даже разразиться дракою, если бы начальство не принимало мер к прекращению споров и ссор. Студенческое дело производилось до конца 1861 года. В декабре произошли две важные перемены в администрации. Министр народного просвещения Путятин удалился от должности; вместо него назначен Головнин, и в то же время с.-петербургским генерал-губернатором сделался светлейший князь Суворов. С тех пор наступил решительный поворот в вопросе о студенческих волнениях и об университетских порядках. За несколько дней до праздника рождества Христова университет вторично был закрыт и уже на долгое время.

Головнин предложил посредством выборных лиц ученого сословия составить новый университетский устав, намереваясь дать университетам возможно большую автономию. Всех студентов, заключенных в крепости, освободили и дозволили им держать окончательные экзамены, что неизбежно подало повод к большому злоупотреблению, так как молодые люди, не выслушавшие всего курса наук,

являлись на окончательный экзамен и были пропускаемы со степенью кандидата: от начальства было сообщено профессорам, чтобы они были возможно снисходительнее к этим юношам. Я сам экзаменовал этих недоучившихся юношей и не мог без смеха слушать их ответов, обличавших такое невежество, какое непрослительно было бы и для порядочного гимназиста. Так, например, один студент, сознавший, что слушал в прошедшем году мои лекции о Новгороде и Пскове, не мог ответить, на какой реке лежит Новгород; другой не слышал никогда о существовании самозванцев в русской истории; третий (это был впоследствии составивший себе известность в литературе Писарев) не знал о том, что в России были патриархи, и не мог ответить, где погребались московские цари. Кандидаты Петербургского университета 1861 года составили надолго своего рода знаменитость в истории русского просвещения. Правительство было чрезвычайно щедро и к материальным нуждам выпущенных из крепости студентов; каждый недостаточный студент, отправляясь по случаю закрытия университета к родителям, получал из рук генерал-губернатора до ста рублей вспомоществования.

Министр Головнин вскоре по своем вступлении в должность пожелал со мной познакомиться и пригласил вечером к себе. Я нашел в нем очень образованного и благонамеренного деятеля; лично же ко мне он был чрезвычайно любезен. Так как университет был закрыт и неизвестно было, когда он откроется, то, желая сохранить за мною профессорское содержание, министр Головнин оставил меня при должности члена-редактора в Археографической комиссии с сохранением профессорского жалованья на три года. В то же время я познакомился с князем Суворовым, который принимал меня очень радушно. К университетскому делу князь относился с особенным добродушием.

В начале 1862 года студенты, выпущенные из крепости, составили план публичных лекций. Устроено было так, чтобы эти лекции не представляли чего-нибудь отрывочного, но имели бы вид полного университетского курса. Несколько профессоров, а в том числе и я, согласились читать лекции, каждый по своему предмету в определенные часы в неделю и без всякого вознаграждения за труд, принося таким образом свои ученые занятия в жертвление в пользу бедных студентов; слушатели из общества обязывались платить по два рубля за весь курс каждого предмета, а посещение одной лекции по билету стоило 25 копеек. Весь этот сбор шел в студенческую кассу, которою заведовали десять распорядителей лекций из бывших студентов. С февраля я начал чтение русской истории с периода XV века, именно с того периода, до которого довел свое чтение в прошлом году в университете. Вообще я разделял русскую историю по времени на два отдела: первый заключал историю Руси удельно-вечевого уклада; второй — обнимал Русь единодержавную. Первый отдел был уже мною прочитан в университете, теперь я предложил читать второй отдел.

Лекции читаемы были в большом зале городской Думы, очень просторном и светлом, в два света, с галереями наверху. Таким образом, после закрытия университета сам собою возникал новый, совершенно свободный университет, открытый для лиц обоего пола всех званий и без всякого официального начальства.

Февраль прошел благополучно, но в начале марта наступило неожиданное потрясение. В доме Руадзе на Мойке происходил литературный вечер 5 марта. На этом вечере между прочими участниками читал небольшую статью профессор Платон Васильевич Павлов¹⁰⁷. Статья называлась «Тысячелетие России» и была небольшим сокращением той статьи, которая в том же году была напечатана в календаре*. Перед началом вечера Павлов, увидя меня, подошел ко мне и дал мне прочитать написанную им статью, спрашивая моего мнения, годится ли она для чтения на вечере. Пробежавши ее, я отвечал, что, по моему мнению, она не заключает в себе ничего, способного обратить неблагосклонное внимание властей, и что я вполне разделяю его взгляд на русскую историю. Когда Павлов взошел на кафедру читать свою статью, студенты и другие лица из публики встретили его такими громкими рукоплесканиями, которые с первого раза показывали чрезвычайное сочувствие публики к его личности, сочувствие, которого, правду надобно сказать, он вполне заслуживал как по своей многолетней профессорской деятельности, так и по направлению в науке, весьма нравившемуся тогдашней публике, в особенности же молодой. Профессор несколько раз был останавливаем и прерываем рукоплесканиями, более на таких местах, которые могли иметь либеральный смысл и которые могли подать повод к толкованиям в дурном смысле. По окончании чтения, когда Павлова стали вызывать, он произнес текст из Евангелия: «имеющие уши слышати, да слышат». Это до чрезвычайности понравилось публике: его наградили самыми бешеными рукоплесканиями, которые побудили его в другой раз повторить то же изречение. На другой же день мы все узнали, что Павлов арестован и ссылается в Кострому. Студенты-распорядители заволновались и стали ходить к профессорам, представляя, что по этому поводу в виде демонстрации следует прекратить чтение лекций. Некоторые профессора поддались голосу студентов, но я энергически доказывал и тем и другим, что прекращение лекций не имеет никакого смысла, тем более что Павлов навлек на себя нерасположение правительства вовсе не за эти лекции, а по поводу тона чтения, не имевшего к лекциям никакого прямого отношения, и что делать демонстрации вообще в нашем положении нелепо. Я успел отклонить некоторых профессоров от прекращения лекций; по поводу этого вопроса студенты-распорядители собирали несколько раз профессоров в их квартирах и уговаривали прекратить лекции; но я и некоторые другие профессора, принявшие мое мнение, упорно не хотели поддаваться студентам. Тогда

* «Академический месяцеслов» за 1862 год.

студенты-распорядители сильно озлобились против меня, видя, что я становлюсь их главной помехой к произведению демонстраций, до которых у них родилась большая охота со времени студенческих смут, поведших к закрытию университета. Надобно заметить, что я, некогда пользовавшийся у студентов большою любовью, стал уже прежде терять многое в глазах их. Меня почему-то считали вначале отъявленным либералом, даже революционером, и это было одною из причин того горячего сочувствия, каким я пользовался у молодежи. Вероятно, к тому мнению обо мне располагало мое долгое пребывание в ссылке за политическое дело, которого значения они хорошо не знали.

Еще в предшествовавшем году после святой недели ко мне явилась странная депутация из студентов с требованием объяснения: что значит, что они видели меня в день великой субботы прикладывавшимся к плащанице и причащавшимся св. таин. «Неужели, — спрашивали они, — я поступал с верою?» Я отвечал им тогда же, что ничто не дает им права вторгаться в мою духовную жизнь и требовать от меня отчета, а их вопрос: поступал ли я так с верою и сознанием, меня огорчает потому, что я не из таких людей, которые бы без веры и убеждения притворялись для каких-то посторонних целей в священной сфере религии. Студенты объяснили, что они обратились ко мне с таким вопросом оттого, что мои лекции, пропитанные свободными воззрениями, слушанные ими долгое время, не заключали в себе ничего такого, после чего можно было бы ожидать от меня уважения к церковным обрядам, свойственного необразованной толпе. На это я заметил им, что читал им русскую историю, а не церковную и еще менее богословие, следовательно, не мог по совести высказать им относительно своей собственной веры никаких ни приятных для них, ни неприятных убеждений; если же, по их словам, мои лекции отличались свободными воззрениями, то это одно понуждает меня требовать от них уважения к свободе совести. Я прибавил, что если меня возмущали и теперь возмущают темные деяния католической инквизиции, преследовавшие безверие, то еще более возмущала бы наглость безверия, преследующая, как нравственное преступление, всякое благочестивое чувство. «Если вы, господа, сторонники свободы, то научитесь сами уважать ее для тех мнений, которые вам не нравятся и которых вы опровергнуть положительно научным способом не в состоянии». Эта выходка студентов уже показала, что они во многом ошиблись относительно моей личности. Не нравилось им и то, что в моих лекциях они не могли отыскать никаких признаков либеральничанья, намекающего на что-либо современное, так как все лекции мои имели строго научный характер. Наконец, строгое неучастие мое в недавних их студенческих смутах и много раз заявленное нежелание входить в рассмотрение вопросов, их волновавших, еще более вооружили против меня молодежь. Теперь мое нежелание прекращать лекции и мое увещание, обращенное к профессорам,

о том же сделали меня в глазах молодежи решительным противником всякого модного либерализма. Затаивши против меня злобу, студенты-распорядители сказали мне, что они покинули свое намерение прекратить публичные лекции, и, обнадеженный их уверениями, я приехал 9 марта на свою лекцию.

На лестнице при входе в зал один из молодых профессоров сообщил мне, что студенты, злясь на меня, устраивают противу меня какой-то скандал. Назад я уже не мог воротиться и смело вошел в зал. Вступая на кафедру, я был озадачен вопросом одного из распорядителей, Утина: «Все Ваши товарищи согласились прекратить лекции, и мы сегодня заявим об этом публично; как угодно будет Вам?» «Если вы заявите публично, — отвечал я, — то и я со своей стороны заявлю публике собственное мнение». Я взошел на кафедру и прочитал лекцию о «Стоглаве», известивши публику в конце о том, какого содержания будет моя следующая лекция. Не успел еще я сойти с кафедры, как на нее вскочил один из распорядителей и объявил публике, что по поводу арестации профессора Павлова все профессора единогласно порешили прекратить чтение публичных лекций. Мое положение было странное — после того, как я за минуту перед тем объявил публике, в чем будет состоять содержание моей следующей лекции. Притом заявление о прекращении лекций всеми профессорами, читавшими в этом зале, было несправедливо, так как мне было достоверно известно, что многие подобно мне не соглашались из угождения студентам-распорядителям прекращать свое чтение. Наконец, я считал себя и не вправе по воле каких-нибудь десяти человек лишать многочисленную публику возможности слушать мой курс, который был почтен большим сочувствием. Я объявил с кафедры, что другим как угодно, а я не считаю себя вправе прекращать чтение иначе как только тогда, когда услышу от публики желание этого прекращения. На мое заявление раздалось множество голосов: «читайте, непременно читайте»; но в это же время раздалось студенческие свистки и посыпались ругательные слова. Давши время этому шуму успокоиться, я сказал публике: «Эти крики и свистки меня не огорчают; я служу науке и высоко ценю всякую свободу мнений, но подчиняюсь законным действиям; но я не могу сочувствовать этому псевдолиберализму, который пытается насиловать совесть и убеждения других. Скажу вам, милостивые государи, что эти либералы, которые так меня награждают, не более как Репетиловы, из которых лет через десять выйдут Расплюевы». Снова раздалось свистки и ругательства, но их заглушали рукоплескания и одобрительные возгласы публики. Я вышел из зала провожаемый и тем и другим: в одном месте я слышал: «браво, Костомаров», в другом — ругательства.

Вышедши из здания, я отправился вместе с профессором Бекетовым в трактир Балабина пить чай, куда пришел также книгопродавец Кожанчиков. Не успели мы усесться, как является обер-полицеймейстер Паткуль и требует меня к генерал-губернатору. Я вышел,

полицеймейстер предложил мне сесть в его сани: я догадался, что он меня считает арестованным. Когда я вошел в квартиру князя Суворова, генерал-губернатор, рассмеявшись, сказал по-латыни: «Quousque tandem abutere, academia Petropolitana, patientia nostra!» (Доколе, Петербургский университет, будешь ты употреблять во зло наше терпение!). «Что у вас там вышло? Ко мне приехал голова и наговорил мне такого, что я понять не мог». Я рассказал ему все как было. Через несколько минут явился шеф корпуса жандармов князь Долгорукий и, увидевши меня, стал также расспрашивать. Я рассказал и ему как было дело. Он требовал назвать имена распорядителей, угрожая посадить их тотчас в крепость. Тогда я стал просить князя не делать этого, так как весь этот беспорядок произошел из-за меня. Студенты стали мною недовольны и хотели учинить собственно мне пакость — и если по такому поводу, да еще вследствие моих показаний их заключат в крепость, то у меня это будет на совести, и, кроме того, на меня падет незаслуженное и ничем не смываемое пятно. Поэтому я просил, если нужно по поводу случившихся беспорядков предпринять что-нибудь, то, по крайней мере, отстранив совершенно из следствия случай, происшедший со мною, и не поставив им в виду нанесенное мне оскорбление. Князь Долгорукий сказал, что из уважения к моей просьбе он не предпримет следствия, касающегося собственно того, что произошло по поводу моей лекции, но если узнает что-нибудь за ними, не относящееся ко мне, то не оставит их без преследования. Оказалось, что после моего ухода из зала беспорядок продолжался: кто-то из молодежи говорил пламенную речь, в которой требовал предать меня суду общественного мнения и наказать всеобщим презрением. Наконец, составляли какую-то подписку о подаче адреса в пользу Павлова. Князь Долгорукий исполнил свое обещание: ни один из студентов-распорядителей не был арестован и даже привлечен к расспросам насчет случившихся на моей лекции беспорядков. Между тем несколько профессоров составили адрес и подали его министру Головнину. В этом адресе просили снисхождения их товарищу Павлову; текст адреса был написан мною, и я вместе с двумя профессорами ездил к министру подать его. Ходатайство наше не имело успеха, хотя министр отнесся с большим сочувствием к судьбе осуждаемого профессора. Князь Суворов также уверял нас, что при всем его желании не в его силах добиться возможности спасти Павлова от ссылки. Спустя несколько недель Павлов был отправлен на жительство под надзор полиции в Кострому.

Я собирался продолжать свои публичные лекции и только искал места для чтения, так как Дума после случившегося скандала не соглашалась уступать своего зала. Тут приехал ко мне Чернышевский и стал просить меня не читать лекций и не раздражать молодежь, потому что, как ему известно, молодежь, сильно негодуя против меня, собирается устроить мне в моей аудитории скандал похуже прежнего. Я отвечал, что если ему это известно, то гораздо справедли-

вее было бы обратиться не ко мне, а к тем, которые думают устроить скандал, и уговорить их не делать этого. Чернышевский уехал от меня рассерженный и сказал, что постарается приостановить мои лекции просьбою у министра и у генерал-губернатора. Я заявил ему, что если правительственные лица, облеченные правом, приостановят чтение лекций во избежание беспорядков, то я подчиняюсь этому; притворяться же больным, когда я не болен, не стану, потому что это значило бы, заявивши публике о будущем моем чтении, вдруг испугаться молодежи и волею-неволею примкнуть к их партии и участвовать в программе их действий. Через день после этого я получил от министра извещение о том, что чтение публичных лекций приостанавливается. Мне неизвестно: сделано ли это было при ходатайстве Чернышевского или без него, но дело тем для меня не кончилось. Я начал получать одно за другим анонимные письма, составляемые с явным желанием оскорбить и раздражить меня. В них, между прочим, меня укоряли в том, что на желание студентов закрыть лекции я не поддался с намерением подделаться к правительству в милость и получить орден. Кроме того в газетах начали появляться летучие статейки, в которых задевали меня, иногда даже не касаясь происшедшего в Думе беспорядка, а придираясь то к тому, то к другому из моей литературной деятельности с явным желанием тем или другим задеть и уязвить меня. Наконец, все незаслуженные укоры и клеветы, распространяемые про меня и доходившие до моего слуха, привели меня в такую досаду, что я поехал к министру и объявил ему о своем нежелании быть более профессором Петербургского университета. Тогда я невольно вспомнил день, в который читал вступительную лекцию в университете, а вечером был в театре на представлении «Пророка» и заметил тогда же моему знакомому доктору, что не следует слишком обольщаться расположением толпы, которая легко может нанести незаслуженное оскорбление тому, кого недавно возносила, если услышит от него неприятный ее самолюбию голос правды. Министр принял от меня прошение, заметивши, что, быть может, я передумаю, и во всяком случае он будет иметь меня в виду для одного из русских университетов. Несмотря на оскорбления, нанесенные мне университетской молодежью, я тогда же получил свидетельство о том, что направление, заявленное этою же молодежью, не разделяется публикою, и, напротив, много таких лиц, которые иными глазами смотрят на мои действия. Ко мне принесли адрес, подписанный более чем двумястами особ обоого пола, бывших моими слушателями в зале городской Думы. Между ними было большинство студентов. В этом адресе сознавали справедливость моего поступка и изъявляли, что оценили мою любовь к науке и мою готовность служить всеми средствами обществу. Впоследствии я узнал, что этот адрес подписал в числе прочих один из бывших студентов, награждавший меня свистками и ругательствами. Он сам сознавался мне в прежней своей проделке против меня и объяснял ее

тем, что товарищи возымели над ним влияние, постаравшись представить меня в дурном свете — как заклятого врага молодежи и всех современных прогрессивных движений. Эта думская история оставила на меня глубокое впечатление, которое переменяло многое в моих убеждениях. Я увидел, что большинство русской того времени молодежи, в научные силы которой я простодушно верил, легко могло быть увлекаемо трескучими фразами, шумихой, но оно мало ценило посвящение себя науке.

Все это делалось в эпоху самого крайнего развития либерального движения умов в России. В образованной молодежи начиналось направление, которое так характеристично прозвано нигилизмом. То было недовольство всем существующим общественным, семейным и политическим строем, у иных переходившее уже в мечтания о перестройке общественного здания, — у других ограничивалось либеральными осуждениями всего того, что нравилось правительству и пожилым людям. Начало этого направления можно проследить еще с 50-х годов — в период предшествовавшего царствования. Сочинения Прудона читались с наслаждением мыслящей молодежью. Собственно, Прудон не мог своим влиянием повести к созданию какой бы то ни было общественной теории; Прудон был только критик общества, критик часто ловкий и безжалостный, но он был настолько благоразумен, что, указывая болезненные стороны общественного быта, не решался прописывать против них лекарства, не в состоянии будучи сказать наверное, что такие лекарства окажутся действительными. В этом-то отсутствии утопий и заключается сила и достойная уважения сторона французского мыслителя; зато, не прописывая сам целебных средств против общественных язв, но открывая пред взорами всех эти язвы, Прудон подал широкий повод другим брать на себя должность общественных врачей и создавать всякого рода мечтательные теории об улучшении условий жизни человеческого общества. В предшествовавшее царствование при чрезвычайном стеснении мысли в печати навеянные чтением Прудона идеи не смели явно кружиться в публике. Настало новое царствование, а с ним — иные времена. Само правительство рядом предначатых реформ показало, что у нас накопилось много требующего изменения. Русские умы стали проникаться мыслью, что в России слишком много дурного и наше общество требует радикального возрождения. Как всегда и везде бывает, мыслящая молодежь несется без удержу вперед; все, что делается вокруг нее хотя бы с явными целями улучшений, ей кажется малым, недостаточным; ей хотелось бы видеть совершившимся в несколько месяцев то, на что по неизменным законам истории потребны годы, десятки лет и даже века! «У нас все дурно!» — такая фраза сделалась модною и стереотипно произносилась всяким, кто не хотел быть или казаться отсталым. Что в нашем общественном строе, как и вообще во всех человеческих обществах, есть темные стороны — это ни для кого не новость, и иначе быть никогда не могло, пока человечество проходит

свое земное поприще; но пылкая молодежь редко умеет отличать злоупотребления от сущности того, чем злоупотребляет, склонна бывает смешивать то и другое, и вместо того чтобы обрезать ветви дерева, мешающие его росту, посягает на самый корень. В ту эпоху, о которой идет речь, молодежь стала попирать все, пред чем старое поколение благоговело: религию, государственность, нравственность, закон, семейство, собственность, даже искусство, поэзию и таланты. Наука имела для нее важность только в утилитарном отношении, насколько она могла содействовать улучшению материального быта человека. Все, что прежде считалось достоянием духовного мира, отвергалось как праздное занятие, и самый духовный мир назывался мечтою. Нет сомнения, что во всех исчисленных сферах были всегда и везде темные стороны, возбуждавшие ум к критике. Религия, в вульгарном смысле, нисходила до ханжества или бессмысленной приверженности к символической букве; государственность, как показывала история, нередко являлась в форме бессмысленного насилия над массами народа, люди государственные придавали ореол святости тому, что держалось на обмане, создавали права, основанные вначале на дикой силе, закон часто выказывался бессильным против людских пороков или служил им благовидною прикрышкой; права собственности, упорно защищаемые собственниками, обличали свою несостоятельность, как только подвергались критике средства возникновения и упрочения собственности; семейство представляло слишком частые случаи, показывающие, что на деле происходило совсем не то, что признается пред-рассудками общества; нравственность вообще имела очень шаткое и неточное применение: что в одно время или в одном месте считалось нравственным, то в иных временах и местах признавалось противным; наконец, искусство, поэзия и свободная наука оказывались по большей части привилегиями счастливцев мира сего, эксплуатировавших бедную, невежественную массу народа. Такой мрачный взгляд на человеческие отношения не был новостью: сам Спаситель Христос положил ему начало для своих последователей. Его пламенная проповедь против фарисеев была осуждением и приговором для ханжества всех веков. В противоположность земному величию владык и царей, требовавших себе поклонения, Спаситель указал правила признавать старшим над всеми того, кто будет всем слугою.

Как мало Спаситель ценил важность наших имущественных прав, которые мы привыкли считать делом первой важности, показывает ответ его человеку, просившему его разрешить спор о наследстве. Суровость и вместе несостоятельность карательного правосудия наглядно обличены Христом в его приговоре над женою-прелюбодейницею. Слова, сказанные Петру, хотевшему в порыве любви защищать ножом своего учителя, послужили решительным неодобрением всякого военного права. Наконец, христианское общинное устройство, возникшее у Христовых последователей в первый же день основания Христовой церкви, когда все имущие сносили свое достояние к ногам

апостолов, — все это признаки, показывающие, что в духе христианства лежало иное начало общественного строя, что цель Христовой проповеди была радикальное возрождение человека или, как выражался апостол, преобразование ветхого человека в нового. Но в том-то и высота христианского учения, что оно, указывая человеку идеал, с одной стороны, не думает принуждать его насильем к восприятию этого идеала на земле, но показывает только путь к достижению его на небе, а самое стремление к нему на земле ставит только условием к получению небесного блаженства. Христос как богочеловек знал слишком человеческую натуру и не задавал для нее несбыточных утопий; напротив, в своих предсказаниях о будущей судьбе человечества напоминал, что в мире всегда будут и войны, и всякие физические бедствия, нарушающие материальное благосостояние человека. От этого, если черты, показывавшие, что христианство требовало от человеческого общества иных условий против тех, с какими оно существовало прежде, ласкали воображение голов, задававшихся всякими мечтаниями о преобразовании человеческих обществ, то, с другой стороны, строгий и нелестливый приговор Христа о непрекращаемости всякого рода бедствий, мешавших полному счастью на земле, отталкивал их от Христовой веры. Так случилось на Западе в XVIII веке; тот же процесс происходил и у нас в описываемое время. Наши либералы стали с первого же раза во враждебное отношение к христианству и всем его догматам и нравственным правилам, тем более что положительная религия в форме церкви освящала законность всех условий общественного и политического быта, в которых виделись темные стороны. С отвержением христианства отвергалась идея будущей жизни; человек признавался существующим только на земле до могилы, и вся цель его ограничивалась материальным миром. Мыслящая молодежь наша пропиталась самым крайним господством материалистических учений и побуждений. С отвержением бога и духовного мира не оставалось уже вечных нравственных исторических законов; все казалось возможным в человеческом мире по желанию человека. Не нужно было ни постепенности, ни разъяснения подробностей, при которых могло совершаться возрождение общества. «Мы хотим; нужно только внушать, чтобы и другие того же хотели, чего мы, — а кто станет упорствовать, того большинство, склоненное к нам, станет безжалостно истреблять». Такой был девиз тогдашних либералов, возомнивших стать преобразователями общества. Им дали кличку «нигилистов», и сами они не стыдились этой клички, а еще хвалились ею.

Нигилизм сильно стал охватывать умы молодежи, и каждый день увеличивались сотнями полки его последователей. От прежних либералов нигилисты, как я сказал уже выше, стали отличаться крайним неуважением к положительной науке, признавая полезным только утилитарную часть реальных наук, содействующих материальному благосостоянию человека. Отсюда возникла в молодежи видимая

наклонность к естествознанию, но эта наклонность мало произвела между ними полезных деятелей в сфере естественных наук. Возникла мода заниматься естествознанием; но замечательно, что никто столько не возмущался этой модой и не признавал за нею дурных сторон, как люди, действительно посвятившие себя специальному изучению естествознания в различных его сферах. Гимназисты и недорослые девочки с увлечением бросались собирать насекомых и изучать формы и названия растений, но действительного плодотворного изучения природы за ними не было. Это была какая-то игра в естествознание. Задавались мыслью, что общественные связи и условия подлежат коренному изменению; молодежь бросилась на мечтания об общинном житии. Стали заводиться кружки, куда входили молодые лица обоего пола, и составлялись коммуны, где жили общим трудом и общими средствами мужчины и женщины. Несостоятельность такого способа жития сказалась на первых же порах, так что большая часть этих коммун расстраивалась сама собою скоро после своего основания. Брак признавался делом эгоистичным и потому безнравственным. Девушки стали переходить от сожития с одним к сожитию с другим без всякого стеснения совести и даже хвастаясь этим, как подвигом нового строя жизни, достойным человеческой природы. Возникли мечтания о расширении нигилистического учения в массе, и средством для того считали тайное печатание и распространение листовок, или прокламаций, призывавших общество к преобразованию путем кровавой революции. Молодое поколение при таком направлении, естественно, становилось вразрез со старым; отсюда начались враждебные отношения детей к родителям и вообще молодых к старым. Вместе с тем в молодежи развивалась мысль, что для благой цели общественного преобразования не нужно стесняться ни в каких средствах; все меры признавались хорошими, если только в виду имелась желанная цель. Это была самая черная и возмутительная сторона современного нигилизма. Пусть бы у нигилистов были какие угодно идеалы об устройстве общества, но если бы путь к достижению этих идеалов согласовался со враждебными душе человека принципами нравственности, нигилисты не представляли бы слишком опасных элементов, так как ничто не может поставить отпора беспощадной силе логики и убеждений. Что бы ни взяло верх в человеческом обществе, со всем пришлось бы мириться, лишь бы только это совершилось тою неотразимою силою признанной истины, которая всегда двигала и вечно будет двигать историею рода человеческого; но как скоро допустится столь известное у иезуитов правило — для доброй цели позволять дурные средства, то самая добрая цель превращается во вредную, а злые меры, от которых общество не в силах будет уберечься, принесут свои злые плоды, и последние непременно окажут вредоносное влияние, хотя бы и временное. Впрочем, все эти нигилистические теории и попытки, тем или другим способом применяемые к жизни, не могли иметь слишком продолжительного и широковлиятельного последствия на дух и жизнь

русского народа. Они были вредны и опасны потому, что увлекали интеллигентное юношество обоего пола в те нежные годы жизни, когда приобретаются научные знания и устанавливаются воспитанием нравственные жизненные приемы. Вместо полезных общественных деятелей в той или другой форме вырабатывались разные либеральные болтуны, заносчивые хвастуны, воображавшие за собою такие достоинства, каких на самом деле не было, а в конце концов — вредные ленивцы, твердившие о труде, а на самом деле бегавшие истинно полезного труда или своим порочным отношением портившие его, когда за него принимались. Венцом всего был страшный эгоизм, выразившийся впоследствии тем, что значительная часть таких юных преобразователей общества, возмужавши, переродилась в биржевых игроков и эксплуататоров чужой собственности всеми возможными средствами; те же, которые остались энергически преданными своим нигилистическим теориям, оправдывающим всякое средство для цели, нравственно произвели поколение безумных фанатиков, отваживающихся проводить свои убеждения кинжалами и пистолетами. Таковы были неизбежные последствия учения, главным образом задававшегося материализмом и отвержением нравственного закона, вложенного в сердце человека высочайшим вечным разумом, управляющим по неизвестным нам путям всю судьбою истории человечества.

IX

Петербургский университет начала 1860-х годов

Измаил Иванович Срезневский некогда был в Харькове и в очень близких со мной отношениях. По прибытии в Петербург я узнал, что при предложении меня на кафедру он, как человек, знавший меня, отнесся обо мне очень одобрительно вместе с профессором Сухомлиновым, поэтому я и хотел сойтись с Срезневским по прежним дружеским отношениям, но скоро заметил некоторую холодность в отношении ко мне или недостаток той сердечности, какую я привык в прежней харьковской жизни встречать в нем к себе. Это невольно положило между нами какую-то тонкую преграду. Впрочем, он никогда не заявлял чего-нибудь неприязненного или враждебного ко мне, но отношения его выражались, например, так, что я бывал у него часто, а он у меня редко; иногда в разговорах принимал какой-то педантический тон, который мне не нравился, и я мало-помалу начал расходиться с ним. Мне не нравилось в нем направление или желание сделать науку, которою он занимался, не только сухою, но и набором подробных фактов без одухотворения; внушалась боязнь мышления. Например, он нападал на современную молодежь, занимавшуюся наукою и ставил ей в виду охоту к размышлению и к составлению выводов, оправдывая это тем, что при недостаточности подготовки и обработки

фактов можно впасть в ошибочные заключения. В сущности это было верно, и он справедливо нападал на тех, которые с малым количеством знаний свысока обо всем судили. Но все имеет свою крайность. Ему не нравились легкие мыслители, недостаточно углубляющиеся в изучение фактов, но, покровительствуя противоположное направление, он располжал пустых кропателей над мелочами. Молодые люди даже смеялись над ним и говорили, что можно написать диссертацию, в которой бы у автора не было никакой руководящей идеи, а зато было бы много выписок, свидетельств, ссылок, сопоставлений. По его харьковской жизни я знал, что он нередко брался сам за такие предметы, которые недостаточно изучил, и умело прикрывал это ученою мантиею, что нетрудно было, когда в те времена так мало находилось конкурентов, занимавшихся тем же предметом. В Петербурге ясно было видно, что он относился к делу фундаментальнее и при его несомненных способностях ума приобрел более действительных знаний, но вдался в академическую сухость подробностей и мелочей, как мне казалось, именно потому, что на этом пути мог быть первым и руководить другими. Это сделалось особенно после 1862 года, когда вследствие студенческих беспорядков между серьезными людьми, так сказать, распространилась мода уважать особенно сухие исследования. Срезневский, каким я его знал и смолоду и впоследствии, был всегда человек самолюбивый и честолюбивый; его, как видно, утешало признание за ним достоинства строго научного труженика, и, надобно сказать, что многие с этой стороны стали ему курить фимиам. Я помню уже в более позднее время, в 1870 году, когда у графа Уварова было предварительное совещание об археологическом съезде в Петербурге, уважение к Срезневскому доходило до того, что когда он пришел вечером к графу и несколько опоздал, то профессор Бестужев-Рюмин требовал, чтоб было перечитано вновь уже прочитанное, в видах того что Срезневский этого не слышал, и Бестужев адресовался к нему с таким почтением, которое уже переходило в раболепство. Очень многие относились к нему точно так же, и, как казалось, это ему нравилось. Из профессоров филологического факультета один только Орест Миллер стоял как-то ребром к нему. Срезневский был человек очень ловкий и изворотливый, умел в университете держать своих товарищей так, что некоторые, даже вообще недолюбливая его, в сущности ему повиновались.

Тайна этого состояла в том, что он подмечал слабые стороны других, и именно такие, которые старались скрыть, а он как бы мимоходом давал замечать, что понимает их, и таким образом держал других в некоторого рода страхе, как бы угрожая сказать более того, что он сказал и чего другие не хотели слушать.

К студентам он был вообще добр и только во время своего кратковременного ректорства вооружил против себя молодежь тем, что, исполняя волю начальства, хотел проводить принятые последним меры, не нравившиеся студентам. О доброте его замечу, что во время

студенческих экзаменов, бывши у меня ассистентом, он постоянно просил прибавлять студентам баллы, хотя в то же время очень преследовал на словах легкость молодежи в занятиях наукою. Это же добродушие проявилось в нем в отношении к моей покойной матери, когда она проживала в Петербурге, во время моего годовичного заключения в крепости, за что я всегда был и буду ему благодарен.

Михаил Иванович Сухомлинов был в отрочестве моим учеником в харьковском пансионе Зимницкого, где я когда-то в начале 40-х годов давал уроки. Сухомлинов тогда уже был одним из лучших учеников и с первого раза был замечен по дарованиям и уму. В университете он, как я слышал от многих, был лучшим студентом. Выехавши из Харькова, я встретился с ним лет через шестнадцать в Петербурге, где он уже занял кафедру после возвращения своего из-за границы. Преподавая русскую словесность в Петербургском университете, Сухомлинов занимался учено-литературными трудами, и все, что написал и издал, отличается безукоризненною дельностью в обработке предмета и в правильности взгляда. Я встретился с ним как со старинным знакомым и неизменно находился с ним в самых приятных отношениях. В числе его качеств как человека я заметил в нем постоянное желание ладить со всеми, для чего он иногда прибегал и к тонкой лести, готов был из желания сохранить хорошие отношения похвалить то, чему на самом деле не сочувствовал, сказать только вполнину и смолчать там, где можно было ожидать его возражения. Но это делалось всегда без ущерба правде и добросовестности.

Николай Михайлович Благовещенский, профессор латинской словесности. После поступления моего на кафедру я сблизился с ним довольно дружески. Это был человек честный и прямой, очень любезный в обращении, без всякого педантства, знал свой предмет, но занимался им без увлечения, которое вообще не было у него в природе. Его постоянная любезность обращения со всеми усвоила ему некоторую манерность: покойный поэт *Ник. Фед. Щербина* постоянно подтрунивал (за глаза, разумеется) над его светкостью, которая при его происхождении из духовного звания нередко неволью возбуждала насмешку. Щербина дал ему кличку *Marquis de Blagowestschensky*, и эта кличка пришлась, как говорится, по шерсти. Петербургские либералы недолюбливали его и считали его одним из искателей карьеры, угождающим сильным мира сего, старались даже умалить его ученое значение. Что касается до последнего, то при его несомненном знании в его отношении к науке проглядывала всегда сухость и прозаичность. Что же касается до пролагания себе дороги нечестными путями, то это совершенная ложь. Напротив: когда университет находился в колебавшемся положении и бывший временно министром народного просвещения адмирал Путятин ни к селу ни к городу созвал профессоров и начал читать им выговор, один Благовещенский не смолчал и ответил ему чрезвычайно резко. Министр сказал в заключение своей речи: «Я с вами, господа, говорю откровенно». Благовещенский ответил:

«Уж чересчур, ваше сиятельство, только мы к такого рода откровенностям не привыкли и привыкать к ним не желаем». Путятин поблещел от злости. Такой поступок не показывает скромного угодника сильных мира и гонящегося за их милостями. Благовещенский в разговорах всегда был неумолимым врагом незрелого либерализма, господствовавшего в юном поколении, сторонником порядка и законности, но это происходило у него из внутреннего твердого убеждения, а не из какого-нибудь искания доброго о себе мнения властей. Впоследствии он перешел в Варшавский университет, сделан был там ректором, и надобно сказать, что тут он стал истинно на своем месте. Всегда любезный и мягкий в обращении, но вместе с тем твердый в убеждениях и неуклонный в мерах, он был более, чем кто-нибудь, пригоден для поляков, с которыми всегда следовало обращаться крайне вежливо, но вместе и твердо. Поэтому он, как я слышал от многих, приобрел там всеобщее уважение русского и польского общества.

Алексей Николаевич Савич — профессор астрономии, познакомился со мной через общего знакомого Василия Васильевича Тарновского, бывшего членом редакционной комиссии. Несмотря на различие наших специальностей я сошелся с ним самым близким образом и нашел в нем чрезвычайно умного и всесторонне образованного человека, каких вообще редко встретить. Его познания в своей науке признаются единогласно всеми занимающимися ею, но кроме того я сам испытал, что он имеет редкий дар излагать астрономические истины так ясно, талантливо, живо и для всех увлекательно, что не раз с особенным удовольствием я вызывал его на научные беседы и всегда слушал их с жадностью и наслаждением. Все, кого я знал, относились к нему в этом отношении точно так же. Но Савич не был узким специалистом. Он имел основательные сведения в других науках, совершенно далеких от его математико-астрономических знаний, и между прочим в истории. Он знал ее, любил, все замечательное в ее области читал и произносил замечательно верные суждения и взгляды. Природный малороссиянин, он усвоил с детства и сохранил до старости тот простодушный юмор, который составляет характеристическую черту малоросса. И это качество постоянно в нем высказывается и придает его беседе особую живость и увлекательность. Он даже в выговоре своем остался малороссом, несмотря на то что получил воспитание в Дерпте, жил несколько раз с ученою целью в Германии, Франции и Англии, был женат на немке и многими взглядами не нравился нашим квасным патриотам, которые обвиняли его за то в пристрастии к иноземщине. Этот человек в жизни своей испытал чрезвычайно много семейного горя: потерял сначала замужнюю дочь и зятя, оставивших на его попечении двоих сирот, потом потерял взрослого сына, уже окончившего курс в университете и державшего экзамен на магистра, наконец, любимую жену, с которой дружно прожил 30 лет.

Несмотря на эти удары судьбы, глубоко им чувствуемые, он все переносил со стоическим терпением и после непродолжительного пе-

риода горести обращался неумолимо к своим занятиям. Во внешности Алексея Николаевича было чрезвычайно много странного. Он был одет всегда так дурно, как последний бедняк, хотя имел всегда очень хорошее состояние, владел поземельною собственностью в Малороссии, большим домом в Петербурге и капиталами в разных процентных бумагах. Это возбуждало смех. Однажды на пожаре в Петербурге его схватили и заставили его качать воду, принимая за чернорабочего; другой раз в церкви, во время причащения в великий пост, солдат, указывая на него в то время как он подходил к теплоте (?), сказал другому солдату: «Видишь ты этого михлютку? Ведь генерал!» «Что ты?!» — с удивлением спросил другой. «Ей-богу! Три звезды у него!» — отвечал солдат. О нем ходили слухи, что это происходит от чрезвычайной скупости. И в самом деле это было так. Он был до крайности скуп, совершенное подобие гоголевского Плюшкина, но что всего страннее — при чрезмерной скупости, которая заставляла его трястись над двадцатью копейками, он готов был тратить для пользы других бескорыстно большие суммы. Так, например, мне известно, что он помогал бедным студентам, давая им по 25 и по 50 рублей, не ожидая отдачи. Когда я был болен тифом в 1875 году, лежал без памяти и в полном одиночестве, потому что в это же время скончалась моя мать, за мною ухаживали чужие добрые люди. Денег у меня нашли всего 80 рублей. Получить из банка можно было только подписавши чек, а я, находясь в беспомощности, подписать его не мог. Доктора находили болезнь мою до того опасною, что считали выздоровление почти невозможным. Является Савич. Окружавшие меня люди заявляют ему, что нечем ни лечить меня, ни похоронить мою мать. Савич тотчас предлагает брать у него денег сколько надобно, хотя бы и более тысячи рублей. Ему заметили, что я могу умереть и потом денег этих не с кого получить. Савич не останавливается и говорит, что если бы и так было, то он не пожалеет из желания спасти мне жизнь. Случилось так, что тогда же нашли другой источник, отдавши редактору «Вестника Европы» для напечатания рукопись «Кудеяра», уже мною проданного до болезни редактору. Но Савич не знал этого и предлагал деньги тогда, когда более вероятно было их потерять, нежели возвратить. Эти черты составляют просто непонятное противоречие с его несомненною скупостью. Он постоянно следил за всеми современными явлениями во всех сферах жизни — и политической, и общественной, и торговой, и правительственной, и ученой, и юридической — всегда с верным и метким суждением, пропитанным никогда не покидающим его юмором. Помню, как он в 1861 году, когда студенты волновались и толковали, брать ли им навязываемые начальством матрикулы или вести оппозицию до крайних пределов, Савич сказал им: «Вы чего, господа, хотите? Чтобы этих матрикулов не было? Не так ли? Ну так покоряйтесь, берите — и их не будет. У нас все так делается: прикажут, послушают приказания, а потом оно забудется, никто его исполнять не будет и никто за неисполнение не бу-

дет преследовать. Если бы мне приказали: поезжай на Луну! Я бы не стал доказывать, что туда добраться невозможно, а сказал бы «слушаю» и, конечно, не исполнил бы, и никто бы меня за то не преследовал, зная, что этого нельзя сделать». Другой раз он, встретившись с одним сектантом, стал его уговаривать «заявить согласие с господствующим учением». «Но ведь это будет против моего убеждения,— сказал сектант,— все равно, если б вас, профессор, принуждали говорить, что Солнце меньше Земли. Разве вы бы сказали?» «Сказал бы,— отвечал Савич,— когда бы этого силою потребовали: оно от того меньше не будет!» — и при этом привел в пример Галилея. В его суждениях везде проявляется строгий критический взгляд. Во всем он ловко отыщет слабую и смешную сторону, что, однако, нимало не мешает ему указать на стороны положительные. В некоторых суждениях, однако, проскакивают у него взгляды, которые можно назвать отсталыми в наше время. Так, например, он не придает никакого значения стремлению, явившемуся в последнее время в женщине,— приобретать серьезное ученое образование, и думает, что женщина должна ограничиваться узкою сферою кухни и салона; я объясняю это немецким влиянием, внедрившимся от воспитания в Дерпте и от сожительства в женоу-немною.

Константин Дмитриевич Кавелин. С ним я познакомился в 1855 году, и с тех пор он долго производил на меня очень симпатичное впечатление; человек живого нрава, увлекающийся современными вопросами, с поэтическим отблеском, человек много читавший, а еще более много думавший. Он особенно остался у меня в памяти, когда осенью 1857 года, возвращаясь из-за границы, я прожил в Петербурге в гостинице Демута недели две, и однажды ночью, часов в 11, заехал ко мне Кавелин, и мы с ним просидели почти до рассвета один на один. Это было время благих ожиданий: готовилось уничтожение крепостного права, и вся мыслящая Россия от мала до велика только о том постоянно думала. И у нас с Кавелиным тогда беседа вращалась преимущественно около этого вопроса. В 1859 году, когда меня избрали на кафедру, Кавелин был одним из ревностнейших друзей, проводивших мое избрание, и в октябре этого года, когда последовало высочайшее утверждение меня в должности, он первый прибежал ко мне в гостиницу Балабина, где я жил, с таким радостным чувством, как будто бы дело шло о нем самом. Студенты его чрезвычайно любили. Он читал государственное право. На его лекциях всегда было много посторонних слушателей, потому что он отличался прекрасным даром слова, ясностью изложения, быстротою выражения и большим остроумием; в нем казалось нечто французское. И в самом деле, как мне говорили, его мать была француженка по происхождению. Во время студенческих смут 1861 года Кавелин невольно стал в какое-то неловкое и, так сказать, фальшивое положение. Когда правительство, находя, что между студентами явилась распущенность, задумало установить дисциплинарные правила для студентов, составлена была

комиссия из профессоров, и в этой комиссии был Кавелин и, как рассказывают, играл там роль заправщика. Эти дисциплинарные правила, составленные комиссией, но несколько измененные высшим начальством, и послужили поводом к смутам между студентами. Профессора много раз собирались в совет, и в этих заседаниях сами разделились на три партии. Одна старалась угождать видам правительства в его предначертаниях, другая составляла оппозицию и, естественно, пользовалась сочувствием студентов, третья старалась по возможности не приставать ни туда, ни сюда и уклониться от участия в вопросах, тогда возбуждаемых. Кавелин стал, так сказать, главою и душою второй из этих партий; между профессорами многие не принимали во внимание представлений и мнений этой партии, и Кавелин, как ее глава, в частных собраниях, собиравшихся то у того, то у другого из профессоров, предложил выйти в отставку en masse¹⁰⁸. К нему тотчас пристали Стасюлевич, Пыпин, Борис Утин и Спасович. Они хотели нравственным давлением побудить к тому же и других профессоров из круга тех, которые прямо не поддерживали правительственных распоряжений, в том числе и меня, и притом налегали на меня более, чем на всякого другого. Я уперся, и это было началом охлаждения между мною и Кавелиным. И других сотоварищей я удерживал от этого предприятия, представляя, что может все перемениться, студентов, которых тогда не десятками, а сотнями засадили по крепостям, скоро выпустят, переменят главное начальство, откроют опять университет, и снова пойдет все по-прежнему. Вышеозначенные профессора подали в отставку, а между мною и ими пробежала, как говорится, черная кошка. Через месяц или через два Кавелин получил место в Департаменте неокладных сборов. И другие, исключая А. Н. Пыпина, не потеряли материально от своего выхода в отставку. Стасюлевич и Утин были лица с собственным обеспеченным состоянием, а Спасович только разгласил, что он подал в отставку, но как-то устроил свои дела так, что прошение его не пошло в ход, а потом, когда министром народного просвещения сделан был Головин, он хлопотал о получении кафедры ординарного профессора в Казани (в Петербурге был он только экстраординарным), и уже был почти туда назначен, но государь император лично не велел определять его за какие-то найденные в сочинениях Спасовича об уголовном праве мысли о том, что бывают случаи, когда лица, признаваемые виновными юридически, с нравственной точки бывают не только правы, но чуть не святы, а в пример приведены были поляки, осужденные русским правительством за проявления любви к своему отечеству. Впоследствии хотя с Кавелиным я встречался дружелюбно, но уже прежнего дружеского сближения между нами не было. Ни он у меня, ни я у него не бывали.

Владимир Данилович Спасович — бывший профессор уголовного права, а потом приобретший всеобщую известность адвокат. Знакомство мое с ним началось в 1857 году весною, когда я ехал через Петербург за границу и оставался в Петербурге две или три недели. Знаком-

ство мое с ним совпало разом с целым кружком лиц из польской нации, и потому, говоря о нем, придется сказать разом и о других. В бытность мою в Петербурге в вышеозначенное время пришли ко мне три неизвестных лица, рекомендуясь от имени моих знакомых Белозерского и Кулиша. Один был Желеховский, поэт, известный в польской литературе под псевдонимом Антона Сова; другой — Сераковский, только что освобожденный из тяжелой ссылки в Оренбургский батальон, где он сблизился с Шевченком, с которым пришлось ему тянуть солдатскую лямку; третий — Спасович, тогда только что поступавший в адъюнкты Петербургского университета. Они знали обо мне как о человеке, пострадавшем за славянскую идею, и тотчас завели со мною о том беседу. Так как я в то время был сильно проникнут идеею славянской взаимности во всех ее видах, то, естественно, между нами наступило тотчас же самое дружеское сближение. Я способен был увлекаться и верить, а потому, так сказать, влюбился во всех трех, тем более что все они со свойственною полякам любезностью рассыпались в самых нежных чувствах ко мне; все трое были, однако, различны по характеру и приемам. Желеховский, человек лет около 30-ти, изящно одетый, довольно красивый собою, с речью, исполненною чувства, имел такие признаки, по которым человека можно назвать сахарным. Он тогда же начал с одушевлением читать мне свои польские стихи, которые мне понравились, быть может, подкупив меня своим содержанием, касавшимся любимой моей идеи. Другой — Сераковский — по приемам и манерам своим был совершенный огонь. Он говорил с пафосом, не мог ни полминуты усидеть на месте, метался из одного угла комнаты в другой и декламировал так, как будто был на трибуне. Он мне особенно тогда понравился. По рассказам его, окончивши курс в Петербургском университете, он был арестован за какие-то политические писания и отправлен в тяжелую ссылку, где пробыл 10 лет, а только что воротившись в офицерском чине, получил надежду быть принятым в военную академию. Третий был Спасович, человек кроткого вида, менее прочих разговорчивый, погруженный по виду более в науку, чем в современные вопросы, он только как бы вскользь и спокойно показывал, что разделяет с другими одинакие взгляды. С этого дня началось мое знакомство с этими людьми. Желеховский, пробывши в Петербурге после того около трех лет, часто виделся со мною у Белозерского, с которым был дружен, и неоднократно вместе с ним посещал меня. Он читал свои польские стихотворения, сколько помнится, драматической формы, и при этом чтении не раз присутствовал Шевченко. Скоро, однако, сошелся он с какою-то госпожою, которую я раза два видел у Белозерских, и в 1860 году вместе с нею отправился за границу и совершенно исчез из вида. После я услышал, что он умер в Женеве. Сераковский, поступив в военную академию, скоро произвел там фурор необыкновенными своими способностями. В 1860, 61 и 62 годах я с ним нередко видался в Публичной библиотеке и у себя дома и, на-

конец, в ресторанах, куда мы неоднократно ходили вместе обедать. Его политические убеждения приводили меня в совершенный восторг. Он казался врагом польско-шляхетских патриотических тенденций; сознательно говорил, что Польша может быть восстановлена только в славянской федерации и притом радикально изменившись, поставивши свою задачую пользу не одного какого-нибудь класса, как прежде было, а целой массы народной. Он казался пламенным поборником демократических идей, стремления даровать простому народу свободу и возвышать его умственный и материальный уровень путем правильного просвещения. Он говорил именно то, чего не было в старой Польше. Никто, казалось, так беспристрастно не относился к темным сторонам прошедшего, и никто, казалось, так не сознавал их. Мои задушевные славянские стремления нашли, по-видимому, в этом человеке самого рьяного поборника. Неприятно иногда щелкали мое ухо как бы невзначай делаемые выходки в духе старошляхетской Польши, но я извинял это тем, что трудно человеку вполне отрешиться от усвоенных с матерним молоком предрассудков. Но вспыхнуло польское восстание 1863 года, и Сераковский неожиданно для меня явился совсем в другом свете. Не знаю, какими путями случился крутой поворот в нем, но видно было, что у него в душе происходило такое, чего мне не открывалось. С необыкновенною скоростью по службе благодаря своим талантам он получил чин полковника генерального штаба и отправился по делам службы в Вильну, где и женился. Говорили, что в Вильне он жил немалое время в доме генерал-губернатора Назимова и внушил ему полную уверенность в своем неодобрении польских замыслов и в своей преданности России, как вдруг он пристает к мятежу, революционный жонд назначает его виленским воеводою и главным предводителем литовского восстания. Сераковский выступает открыто врагом России, командует повстанцами и, что всего страннее, приказывает расстреливать русских пленных. Вспоминая о том, что он мне говорил в прежние времена нашего сближения, я бы ни за что не поверил, что Сераковский был способен на подобные поступки. Однако это было так. Банда его была разбита, и он, раненый, взят в плен. Муравьев приказал его прежде вылечить, а потом повесить. По свидетельству очевидцев, он умер совсем не героем. Когда его подвели к виселице, он начал ругать Россию, а потом бить палача. Ясно было для всех, что этим неистовством пытался он заглушить в себе трусость пред неминуемою смертью. Барабанный бой прекратил его проклятия, а палач в отмщение за нанесенные побои повесил его так, что несчастный умирал в медленных муках. Узнавши о судьбе его, я должен был сознаться в своей непростительной наивности и легковерии, с которым принимал за чистую монету то, что мне говорили наши общие враги поляки.

С поступления своего в университет я сошелся с Спасовичем довольно по-приятельски, хотя наши занятия и не позволяли нам видаться очень часто. Спасович был большой знаток польской литера-

туры и был мне очень полезен. Не раз я обращался к нему с разными вопросами, чтобы отыскать сведения, которые оказывались нужными для русской истории по тесной связи, какую имел польский мир с русским. В политических убеждениях Спасович казался человеком умеренным, противником всяких патриотических увлечений, собственных его землякам; в особенности он показывал большое уважение к деятельности маркиза Велепольского, поставившего себе задачей примирение поляков с русскими на принципах славянской взаимности, что совершенно совпадало со моими заветными мечтами. Родом из Белоруссии, он был сын доктора в Речице, русского по вере и по происхождению, но матери-польки, однако не таился предпочтением всего польского. Относительно религии он не придавал католичеству значения национальной польской религии и постоянно указывал на исторические примеры тех русских православных панов, которые заявляли себя верными слугами Польши; впрочем, он не только не проявлял какой-нибудь враждебности к русским — напротив, с чувством толковал о примирении. Это был человек очень умный, талантливый, казался чуждым всякого своекорыстия, горячо преданным идее. Неудивительно, что я полюбил его, высоко уважал и с негодованием слушал от некоторых замечания, что это человек двуличный. Студенты очень любили его, не только поляки, но и русские, тем более что никто из профессоров не заботился так сердечно и горячо о их нуждах: если приходилось составить какой-нибудь литературный вечер, спектакль, концерт или что-нибудь иное в пользу существовавшей тогда кассы для поддержания бедных студентов, Спасович был всегда главным учредителем и заохочивал к участию литераторов и ученых.

Когда начались студенческие волнения, Спасович был в числе профессоров, настаивавших на подаче об отставке, но тут же сделал маленькую хитрость: он подал прошение об отставке, и это сделалось известным между студентами и профессорами, но потом взял назад свое прошение, продолжая считаться профессором, и получал жалованье, а когда с января 1862 года поступил в министерство Головнин, то исходатайствовал для себя перевод в Казанский университет. Но тут какие-то стоявшие высоко недоброжелатели его повредили ему, представивши государю о его неблагонадежности, которая, по их мнению, высказалась в его диссертации по уголовному праву, где он проводил мысль, что могут быть поступки, признаваемые преступлениями, а в сущности благородные добродетельные. К таким поступкам принадлежали случаи всякой оппозиции покоренных национальностей против покорительной силы. Эта мысль очень не понравилась, потому что здесь ясно увидели, что идет дело о Польше и польских стремлениях... Государь не разрешил оставлять Спасовича в профессорском звании, и Спасович, выбитый из своей обычной колеи, бросился в адвокатуру, чем материально приобрел себе большую выгоду. Несколько лет спустя, встретившись со мной, он говорил, что успел уже нажить себе большой капитал, тогда как если бы оставался с про-

фессурою, то должен был бы ограничиваться сравнительно скудными средствами.

Летом 1862 года я ездил в Вильно и на железной дороге встретил Спасовича, едущего туда же. Мы приехали вместе в Вильно, и он меня познакомил с тамошним ученым кругом, но сам от этого круга удалялся; он, как рассказывал, приезжал к своему другу Оскерко и остановился у него. Этот Оскерко впоследствии был одним из главных руководителей восстания и был сослан в каторгу. Тогда же не только русские, но поляки указывали на него как на ярого польского патриота, руководившего духом начинавшегося восстания. Когда в 1863 году вспыхнуло решительное восстание, Спасович, живя в Петербурге, всегда говорил об этом с сожалением и с неодобрением, между тем в обществе не только русском, но и польском говорили в одно, что он один из важнейших участников восстания. Это казалось вероятным особенно тогда, когда открылось участие Огрызка, директора акцизных сборов, закадычного друга Спасовича. Тем не менее Спасовича закон не преследовал, потому что он держал себя осторожно. Но что он сочувствовал восстанию — в этом едва ли можно было сомневаться, когда в его кабинете вся стена увешена фотографическими карточками польских повстанцев, потерпевших смерть или ссылку за восстание. Он нигде не скрывал своего сочувствия ко всему польскому и даже в своих судебных речах не раз это высказывал. По причине разных путей жизни мы виделись с ним редко, но при всякой встрече относились друг к другу приятельски. Однажды он мне откровенно сказал, что желает, нажившись адвокатурой, переселиться в Австрию, где единственно польской национальности льготно. С ним жил постоянно его друг, адвокат Борщов, также русский по отцу, но рожденный от матери-польки. Он не менее Спасовича был горячий приверженец всего польского, а сестра Спасовича, которую я случайно увидел у брата, даже не знала ни слова по-русски, несмотря на то что крещена в православной вере. Эти примеры показали мне, до какой степени сильно нравственное влияние польской женщины и как энергически умеет она поддерживать и распространять свою народность. В последнее время, уже когда началась восточная война, я вступил было в печатную полемику с Спасовичем, но удержался от дальнейших толков. Дело шло о том, что некоторые поляки в это время начали писать в русских газетах заявления о необходимости и желании примирения польской национальности с русской. Как ни любезна для меня издавна эта идея, но я видел в польских писаниях безыменных писателей ложь и коварство, что слишком ясно сквозило в их приемах... Я стал обличать этих писак и начал статью «Полякам-мировторам». Спасович восстал против меня в числе других очень резко и даже сравнивал меня с сельскою вздорною бабою, которая не дает примириться ссорящимся братьям. Я печатно заявил, что уже все сказавши, не желаю более бесполезно писать об этом. Конечно, Спасович, сочувствуя в это время идее примирения русской и польской

национальностей, был верен тому, что высказывал всегда прежде, но дело в том, что поляки-миротворцы в своих статьях думали нас обмануть; истинного желанья мира у них не было, и, видя это, я никак не мог простодушно восхищаться их нежными уверениями. Я всегда думал, что такое примирение может только состояться на принципе славянской взаимности. И миротворцы говорили то же за своих братьев; но как мало принцип этой взаимности развился у поляков, показывало их безучастие к славянам в такую эпоху, когда наступало освобождение славян от турецкого ига. Поляки не только не помогали своим братьям-славянам, но очутились в рядах турок. Понятно, что возгласы о примирении, раздававшиеся в то же время, были лживы, и сам Спасович, ставший тогда в ряды таких миротворцев, мог только возбуждать к себе недоверие: мы видали предыдущую связь его с врагами России. Мы не ставили и не ставим ему в укор, как и всем вообще полякам, их нерасположение к нам, но пусть же они поступают прямо и искренно. Будем уважать честных врагов и прострем к ним объятия, если они действительно перестанут быть нашими врагами, но пусть же и в первом и в последнем случае поступают они искренно.

Александр Николаевич Пыпин. Знакомство с ним соединено для меня со знакомством с Чернышевским; поэтому, говоря о Пыпине, я не мог прежде всего не сказать о Чернышевском. Я познакомился с Чернышевским в 1851 году в Саратове. Отец Чернышевского — протоиерей и первенствующий член консистории — воспитывал детей своей свояченицы, многочисленное семейство, в числе которого был и Ал. Ник. Пыпин, учившийся тогда в Петербургском университете. На каникулы он приезжал к родным, и здесь в первый раз я его увидел. Это был молодой человек, всецело преданный науке и тогда уже думавший заняться ученым образом изучением русских сказок. В 1853 г. кончил он курс, и когда я в конце 1855 года посетил Петербург, то нашел его живущим вместе с Чернышевским. Он тогда напечатал свое ученое рассуждение о сказках — первый капитальный литературный труд его, который тогда же обратил на себя должное внимание всего ученого мира. Живя с Чернышевским, Пыпин подвергался влиянию его атеистической и социальной пропаганды, но не вдавался в нее, так что видно было — ему более по вкусу приходилось серьезное занятие наукою. Он постоянно ходил в библиотеку, пересматривал внимательно русские старые рукописи и однажды здесь при моих глазах отыскал в одной рукописи Погодинского древнехранилища и мне первому показал «Горе-Злочастие» — старинное поэтическое произведение, никому до того времени не известное, о котором я тогда же напечатал в «Современнике» статью. В последующие годы Пыпин был отправлен от университета за границу и пробыл там около трех лет. По возвращении он в звании адъюнкта начал читать в Петербургском университете курс всеобщей литературы; несколько лекций я его слушал и могу сказать, что они отличались дельностью, осмысленностью, отсутствием всякого педантизма и многословия, и мне очень понрави-

лись. Между тем Пыпин занимался и печатал в журналах свои изыскания о масонских ложах и о масонском учении, заключающие в себе много совершенно нового, хотя неизбежно вдавался в подробности, которые подчас были утомительны. Он продолжал жить с Чернышевским, пока наконец женился, а Чернышевский скоро после того подвергся своей печальной судьбе. Во время студенческих смут Пыпин, настроенный Кавелиным и Спасовичем, пристал к демонстрации и вышел в отставку; он один из всех вышедших тогда профессоров действительно потерпел много, и будучи лишен средств к жизни, начал заниматься переводами разных исторических сочинений. Собственно, эту работу исполняли другие, а Пыпин только просматривал переводы и давал свою фирму. После ссылки Чернышевского на Пыпина со стороны высших властей стали смотреть подозрительно, не давали ему хода, стесняли в печати, подозревая в нем агитатора. Мне случилось слышать самые дурные и несправедливые отзывы о нем от людей литературного круга, которые его вовсе не знали. Были даже такие, как, например, Лохвицкий, которые считали почему-то Пыпина круглым невеждой и шарлатаном. Так было до появления «Вестника Европы». Любя Пыпина, я первый настроил Стасюлевича принять его в сотрудники; последний решился на это весьма неохотно, боясь, с одной стороны, компрометировать себя связью с другом Чернышевского, а с другой, считал самого Пыпина мало способным писать сколько-нибудь интересно и признавал его трудолюбивым, но не даровитым геллертером. Время показало, что Стасюлевич в этом сильно ошибся и впоследствии сам в этом сознавался.

Пыпин, занявшись писанием в «Вестнике Европы», скоро стал там не только необходимым, но и наилучшим, даровитейшим писателем. Предметы, которых он касался, были разнообразны, но более всего остановился он на славянском мире. Еще во время своего путешествия за границей он познакомился со славянскими учеными, изучил в совершенстве славянские наречия и, живя в Петербурге, составил историю славянских литератур совместно со Спасовичем, которому, впрочем, предоставил одну польскую, а все прочие удержал за собою. По отношению к так называемым славянофилам московской партии Пыпин в своих статьях стоял не только не солидарно с ними, но совершенно противоречиво, хотя, правду сказать, по своим сведениям во всем, касавшемся славянского мира, стоял гораздо выше многих из них. Его статьи в «Вестнике Европы» получили незаменяемое достоинство особенно тогда, когда славянский вопрос начал переходить из области науки на поле политики и когда судьба славян балканских стала, так сказать, злобою дня. Чрезвычайно верный взгляд, глубокие сведения в умственной и общественной жизни славян, живость изложения, задушевная любовь и сочувствие к славянским несчастьям — все это придает статьям Пыпина высокое достоинство. Его вполне оценили болгары, приславши ему благодарственный адрес, подписанный от лица членов Национального собрания экзархом Анфимом.

В частной жизни и в отношениях с людьми я знал его всегда как чрезвычайно честного и доброго человека. Он сохранил самую нежную привязанность к Чернышевскому, посылал ему в ссылку пособия, насколько мог уделять их от своих ограниченных средств, будучи сам обременен семейством, и воспитывал в своей семье и на свой счет сыновей Чернышевского, считая себя нравственно обязанным в признательность за свое собственное воспитание, полученное на счет родителей Чернышевского. Это непоколебимое дружелюбие к Чернышевскому служило для него самого источником многих неудобств и гонений. В 1871 году по поводу смерти Устрялова в Академии возникла мысль заместить умершего. Некоторые предлагали меня, другие Пыпина — и так как на стороне последнего был академик Куник, специально посвятивший себя русской истории, то Пыпин взял перевес. Это нимало не поставило нас с ним в неприязненные отношения соперников. Я тогда же всем говорил, что если только зависело бы от меня, то я бы охотно уступил ему свою кандидатуру, признавая вполне, как выразился академик Куник, что Пыпин более, чем Костомаров, обещает свежие и молодые силы. Но когда дело дошло до министра гр. Толстого, то он сильно воспротивился избранию Пыпина и заявил, что представит государю о невозможности допустить «такого» человека к академическому креслу. Не знаю, входил ли он действительно с таким представлением к государю, но Пыпин не был избран — и здесь министр действовал по общему предубеждению, признавая, что Пыпин как близкий родственник и, так сказать, воспитанник Чернышевского не мог не иметь одинакового направления с Чернышевским. Время покажет и потомки скажут, что современники ошибались насчет А. Н. Пыпина. Каковы бы ни были его душевные убеждения, он не вносил в свои ученые труды ничего, кроме строгой добросовестности и полезной разработки научных вопросов, и если ему не удастся при жизни занимать место в ареопаге русской науки, то его сочинения дадут ему блестящее место в ряду русских подвижников на поприще умственной и ученой деятельности.

Что касается до Чернышевского, о котором выше было сказано, то судьба поставила меня с ним в самые близкие дружественные отношения, несмотря на то что в своих убеждениях я с ним не только не сходилась, но был в постоянных противоречиях и спорах. Близость с ним сложилась в Саратове и продолжалась в Петербурге до тех пор пока события по поводу студенческих демонстраций не развели нас совершенно. Чернышевский был человек чрезвычайно даровитый, обладавший в высшей степени способностью производить обаяние и привлекать к себе простотою, видимым добродушием, скромностию, разнообразными познаниями и необычайным остроумием. Он, впрочем, лишен был того, что носит название поэзии, но зато был энергичен до фанатизма, верен своим убеждениям, во всей жизни и в своих поступках стал ярым апостолом безбожия, материализма и ненависти ко всякой власти. Это был человек крайностей, всегда стремившийся

довести свое направление до последних пределов. Учение, которое он везде и повсюду проповедовал, где только мог, было таково: отрицание божества; религиозное чувство в его глазах было слабость суеверия и источник всякого зла и несчастья для человека; бог нашей религии — это отвлеченная идея, олицетворяемая сообразно той степени человеческого развития, при какой творились языческие божества, олицетворяемые физические и нравственные силы природы; бог наш — идея верховного блага и мудрости, заключающихся, собственно, только в человеческом естестве. Это то же, что какой-нибудь Зевс-громовец, Посейдон — колебатель мира, Плутон — властитель недр земли, Аполлон и Афина — выражения человеческого творчества в области науки и искусств. Такое олицетворение отвлеченных понятий было неизбежно в период юности человеческой мысли, но стало излишним и вредным, когда человек расширил кругозор своих взглядов, точно так, как детские воззрения уместны для ребенка, но неуместны и вредны для взрослого; продолжительность таких воззрений в человеческом обществе поддерживали злые люди, видевшие в этом возможность держать своих ближних в невежестве, в страхе перед вымышленным могуществом и эксплуатировать их для своих эгоистических целей. К христианству Чернышевский относился с уважением, но не иначе как только к историческому явлению, которого сила совершенно испарилась от времени. Когда я указывал, что великие истины, проповедуемые Христом, не осуществились еще и доныне, он давал мне такой ответ: «Оно мне напоминает египетскую пшеницу, найденную в мумиях. Когда ее бросили в землю, то она произвела стебель с несколькими колосьями, наполненными крупными зернами, и тогда подумали, что произойдет переворот в сельском хозяйстве и восстановится древняя производительность хлебных растений; но оказалось не то: посеянные вновь зерна этой пшеницы давали уже меньше колосьев и зерно было шуплее, а через несколько посевов сравнялось с обыкновенною нашею пшеницею. Так и христианство. Сначала оно заключало в себе великую двигательную силу для обновления человечества, но потом попало в руки жрецов под названиями пап, митрополитов, всякого рода архиереев, попов и монахов, которые завернули его в папильотки идолопоклоннического символизма, а земные цари и властители употребили его как орудие для порабощения людей и для оправдания всяких насилий. Теперь оно не может приносить ничего кроме вреда, потому что истины, действительно в нем заключающиеся, и без того уже вошли в сознание. Бессмертие души есть вредная мечта, удерживающая человека от прямого пути к главной цели жизни — улучшения собственного быта на земле. Нас манят какими-то фантастическими, ни для кого не понятными надеждами вечного блаженства за гробом и заставляют ради него терпеть на земле всякую неправду и страшиться противостоять против зла». Отсюда истекало у Чернышевского и отрицание святости всяких властей, всего того, что имело поползновение стеснять свободу

человеческой жизни. Весь общественный порядок, удерживающийся до сих пор, есть великое зло, которое разрушится при дальнейшем развитии человеческой мысли. Никакое из правительств, существовавших в различных формах, не может называться хорошим: все носят в себе зародыши зла, и нам нужен радикальный переворот. Прудоново положение, что собственность есть зло, Чернышевский развивал до крайних пределов, хотя сознавался, что идеал нового общественного строя на коммунистических началах еще не созрел в умах, а достичь его можно только кровавыми разрушительными переворотами. Чернышевский на Руси, можно сказать, был Моисеем-пророком наших социалистов, в последнее время проявивших свою деятельность в таких чудовищных формах.

Между тем Чернышевский в своей частной жизни, в своих приемах казался в высшей степени мягким, добродушным, чистосердечным, любвеобильным. И в самом деле, он истинно желал человечеству добра и если в своих теориях заблуждался, то поступал искренно. Эта-то искренность и привязывала меня к нему. Один саратовский архимандрит, Никанор (который впоследствии сам отчасти подвергся влиянию Чернышевского), очень ловко по поводу его вспомнил легенду о том, как бес принимает на себя самый светлый образ ангелов и даже самого Христа, и тогда-то бес наиболее бывает опасен. В самом деле, припоминая себе многое из жизни, когда Чернышевский как бы играл из себя настоящего беса. Так, например, обративши к своему учению какого-нибудь юношу, он потом за глаза смеялся над ним и с веселостью указывал на легкость своей победы. А таких жертв у него было несть числа. Саратовская гимназия была им совершенно переделана, и так ловко, что директор и инспектор, люди положительно другого направления, не могли даже уследить за ним и за свою простоту подвергались от него же насмешкам. То же было и в Петербурге, где он сделался, так сказать, идолом молодежи. Даже люди солидные, никак не соглашавшиеся с его крайностями, относились к нему с уважением, ценили в нем искренность и спорили, оставляя за ним свободу мысли, потому что преследовать мысль, хотя бы противную нам, считалось делом дурным и бесчестным.

Собразно своим материальным убеждениям Чернышевский написал диссертацию на степень магистра, в которой проводил мысль, что в поэзии и в искусстве совсем нет творчества, которого привыкли искать в великих произведениях, и что нам нравится в них только верное подражание природе, только припоминание того, что мы встречали в жизни. Идея эта была совсем не новость и много раз была высказана и развита в сочинениях французских материалистов XVIII века; но для ученых голов, проникнувшихся воззрениями немецкой философии, она стала чересчур дикою — и диссертация Чернышевского не была одобрена факультетами, тем не менее, однако, профессора отзывались с большим уважением о таланте, с которым она была написана. Молодежь ухватила за нее как за великую мудрость, и с его

легкой руки начались в литературе оплевания признанных прежними поколениями поэтических талантов.

В 1862 году я виделся с ним в последний раз и разошелся с ним совершенно по поводу студенческой истории, о которой я писал выше. Чернышевский в том же году был арестован и обвиняем в участии в составлении какой-то революционной прокламации, которую он передал одному офицеру по фамилии Костомаров с письмом к писателю Плещееву. Этот Костомаров был арестован по политическому делу и скоро под арестом умер. Для меня осталось неизвестным, взята ли была эта прокламация у него против его воли, как уверял потом брат его, или же сообщена она была правительству в качестве доноса, как говорили некоторые. Как бы то ни было, но Чернышевский был посажен в крепость, где просидел два года. Его содержали там сначала до того льготно, что даже дозволили написать и отправить в «Современник» для напечатания повесть «Что делать», где в повествовательной форме выражались его заветные идеи. Эта повесть как художественное произведение была ниже критики, но по тем идеям, которые в ней проводились, пришлось донельзя по сердцу молодому либеральному поколению. Его так хвалили, что даже нельзя было говорить с поклонниками ее автора. Но правительство увидело в ней новый несомненный довод зловредности направления Чернышевского. С этих пор его стали содержать строже. Говорят, будто к нему не допускали видаться жену его, и он, настаивая на свидании с нею, отказывался от пищи в продолжение недели и тем принудил-таки дозволить ему это свидание. Чернышевский был обвинен, хотя ни в чем не сознался, и эксперты, приглашенные для сличения прокламации с почерком Чернышевского, не признали окончательно, чтобы она была писана им. Тем не менее Чернышевского осудили как государственного преступника главным образом потому, что считали его крайне зловредным по его направлению. Об этом говорили мне знающие близко это дело лица: кн. Суворов, бывший тогда генерал-губернатором петербургским, и Авраам Сергеевич Норов, член Государственного совета и председатель археологической комиссии, человек очень религиозный и потому ненавидевший Чернышевского, но тем не менее сознававшийся, что по совести нельзя было обвинить его в факте прокламаций. В мае 1864 года его вывели на Конную площадь, прочитали приговор, осуждавший его на ссылку в каторжные работы на 8 лет. Я не был тогда в Петербурге, находясь за границею, но слышал, что когда по прочтении приговора его посадили в карету и увезли в крепость, какая-то девица бросила на пути его букет цветов, выражая тем уважение к нему. Он сослан был в Нерчинск. Жена его отправилась к нему, но, проживши вблизи его около месяца, возвратилась назад: одни говорят, что он сам уснул ее от себя, другие, — что ей показалось слишком трудно разделять участь ссыльного. По окончании лет каторги его сослали на поселение в Вилюйск, в место поистине ужасное, куда почта приходит

только 4 раза в год. Главную причину такого строгого отношения к нему было то, что имя его продолжало служить знаменем развивавшейся в России революционной пропаганды, и были неоднократные покушения освободить его и увезти за границу. Надобно сказать, что никто в России не имел такого огромного влияния в области революционных идей на молодежь, как Чернышевский, и несмотря на изменения, каким подвергалось революционное направление в умах русской молодежи, Чернышевский для всех революционеров наших остался каким-то патриархом, и даже в нынешней подпольной литературе усвоено за ним имя мученика Николая.

Михаил Матвеевич Стасюлевич. Я познакомился с ним после поступления на профессуру, но начал сближаться во время студенческих смут в 1861 году; до того времени отношения мои к нему ничем не разнились от отношений со всеми профессорами вообще, т. е. ограничивались обменом первоначальных визитов и обоюдным произнесением нескольких общих фраз при встрече. Во время студенческой истории он в числе некоторых других стал со мною в диаметрально противных отношениях, так как он считал нужным подать в отставку в смысле демонстрации против правительства в сочувствии к студентам; я же, напротив, был в числе не находивших уместною такой выходки. То же случилось и во время закрытий студентами публичных лекций, читанных в Думе. Стасюлевич считал лучшим идти профессорам в этом отношении заодно со студентами, я же противился; однако это не помешало мне вместе с ним составить тогда адрес от имени всех профессоров к правительству в защиту Павлова и подать этот адрес министру Головнину. После этого адреса (не имевшего никакого влияния, так как Павлов все-таки был сослан) я долго совсем не видался со Стасюлевичем, и оставление мною профессуры почти раззнакомило меня с ним. Так было до осени 1865 года, когда Спасович, приехавши ко мне, начал от имени Стасюлевича просить меня принять на себя совместное с ним редакторство «Вестника Европы». С этих пор я тесно сблизился со Стасюлевичем. Мы начали издавать «Вестник Европы» в 4-х книгах в год на его счет с тем, что редакторство всего помещавшегося по русской истории принадлежало мне. За это Стасюлевич обещал мне в случае успеха журнала 15 процентов с чистого дохода. Два года шло у нас дело согласно и отлично, но на третий год Стасюлевич изменил свой журнал, переделав его в ежемесячный, и допустил беллетристику и переводы, что прежде не допускалось. Тогда, как я заметил, он нашел меня лишним и искал случая устранить меня от соредакторства. Случай скоро нашелся. Кулиш прислал из Варшавы статью для напечатания. Я, опираясь на состоявшийся со Стасюлевичем договор, по которому право одобрения или неодобрения статей по русской истории принадлежало исключительно мне, написал Кулишу, что статья его будет напечатана, и послал ее в печать, как вдруг Стасюлевич не велел ее набирать и объявил, что она не годится к напечатанию. Кулиш, ссылаясь на то, что я дал ему обе-

щание, написал мне дерзкое письмо и потребовал рукопись назад. Меня так взорвало это, что я отказался от соредакторства и разорвал написанный между нами взаимный договор. Несмотря на это я не отказался участвовать в журнале, но уже на праве постороннего сотрудника, а не соредактора, и в 1869 году начал печатать там «Последние годы Речи Посполитой». Причина этому была та, что не было другого журнала, в котором бы я мог поместить это сочинение, тем более что «Отеч. записки», перешедши в руки Некрасова, из либеральничанья кокетничали с поляками и остерегались брать у меня сочинение, зная, что я не буду натягивать истины для либеральных тенденций. Тогда же, как я дал уже слово Стасюлевичу, Некрасов присылал ко мне Сергея Васильевича Максимова, намереваясь склонить меня к нарушению данного Стасюлевичу слова прибавкою полистной платы. Я, разумеется, отказал ему, и Стасюлевич, узнавши об этом, сам предложил мне в виде прибавки напечатать бесплатно 1500 оттисков моего сочинения в мою пользу. Вообще, как редактор, Стасюлевич отличается похвальными качествами: чрезвычайной аккуратностью, своевременностью выхода книжек и верною расплатою с сотрудниками, но в то же время он не лишен и некоторой неискренности, которая мне в нем всегда не нравилась. Таким образом, если он с чем был не согласен, то не высказывал прямо своего мнения, а отговариваясь обиняками так, чтоб заставить другого понять, что он думает или чего хочет. Как профессор всеобщей истории, он не пользовался большим уважением слушателей, хотя сильно старался об этом и всегда давал своим лекциям якобы художественную отделку. Слушатели, однако, находили в этом более ученую риторику, чем глубину знания, мысли и таланта. В выборе статей для своего журнала он с самого начала задавался погоней за авторитетными именами, и оттого в его журнал трудно было попасть всякому новому имени, хотя бы человеку с истинным дарованием; и с другой стороны, туда стали попадать сочинения хотя ученые, но бездарно написанные и потому совсем непригодные для всеобщего чтения. В беллетристике было то же самое. Правда, что там помещались повести Тургенева, Гончарова, Потехина, бесспорно даровитые, но они попадали туда только по приобретенной славе своих авторов. Зато журнал наполнялся нередко и посредственностью, которая попадала туда единственно потому, что имела претензию на какую-нибудь тенденцию или же по личному знакомству с редактором. При этих и еще других слабых сторонах все-таки за Стасюлевичем останется честь отличного редактора-издателя, умевшего в известный период нашей литературы сгруппировать разрозненные писательские силы.

Ж

Поездки с ученою целью.
Издание «Севернорусских народоправств».
Литературно-ученые занятия.
Третья поездка за границу

В мае того же 1862 года я напечатал в «Основе» коротенькую статью о малорусском писательстве, которая более, чем какая другая, была оценена публикою и откликнулась полным сочувствием. Я доказывал в этой статье, что мысль о выработке литературного малорусского языка тем путем, какой велся до сих пор, едва ли осуществима, и если может быть справедливым и полезным писать и печатать по-малорусски, то единственно книги, имеющие целью народное образование и заключающие в себе элементарные сведения в науках, которые бы расширяли кругозор народной умственной жизни. Мысль моя до того понравилась публике, что я начал получать отовсюду горячую благодарность и предложение взять на себя издание таких популярных книжек, которые бы содействовали указанной мною цели. Некоторые стали присылать мне деньги на печатание таких книг. Всего более изъявлялось желание перевести по-малорусски священное писание Нового Завета, и многие присылали деньги с тем, чтобы я употребил их не иначе как на это предприятие. Деньги присылались преимущественно из Малороссии, с левой стороны Днепра и особенно из Харьковской губернии; но замечательно, что я получил несколько приглашений на подобное дело из великорусских губерний, из Сибири и Кавказа, но ни единого рубля не получил с Правобережной Малороссии, где, как известно, вся интеллигенция была в руках поляков. Между тем впоследствии, когда по этому поводу поднялась против меня буря обвинений в «сепаратизме», то печатно заявлялось мнение, что намерение издавать популярные малорусские книги научного содержания есть плод польской интриги. Тогда же в «Основе» напечатана была по-малорусски моя драматическая пьеса «Загадка», написанная уже несколько лет тому назад и оставшаяся в рукописи. Это была переделка или изложение в драматической форме известной малороссийской сказки «Про дивку-семилитку», которой содержание состоит в том, что пан загадывает своим подданным мудреные загадки, их отгадывает девочка и делается через то женою пана.

В конце мая Петербург был встревожен пожаром, истребившим Апраксинский двор и Министерство внутренних дел. Носились злоеющие слухи об умышленных зажигательствах, предпринимаемых будто бы русскими либералами с целью возбудить волнение в народе и довести его до революционных вспышек. Толковали об открывшихся будто бы намерениях покуситься на сожжение разных общественных построек и заведений, как, например, Гостиного двора, императорской Публичной библиотеки и т. п. Рассказывали, что в существовав-

ших тогда воскресных школах самозванные наставники народа толковали, что в настоящее время пожары должны быть полезны, потому что они способствуют к равномерному распределению собственности. В какой степени справедливы были эти подозрения, мне осталось неизвестно, но примеры, которые передает нам история и которых я отчасти сам был свидетелем во время моего жительства в Саратове, указали мне на возможность появления у нас пожарных эпидемий, когда без видимой причины возникал пожар за пожаром в течение некоторого времени. Петербургские пожары, казалось, принадлежали к таким же эпидемиям, столь частым в нашей общественной истории с древних времен. В 1862 году они навели на жителей столицы гораздо более страха, чем сколько произошло от них вреда. Подозрение в том, что пожары производятся молодежью, проникнутою крайними революционными мнениями, оправдывалось распущенною перед тем печатною прокламациею, в которой проповедовалась всеобщая дикая резня и истребление всех зажиточных людей.

Оставивши Петербург с его пожарами, я выехал 31 мая в Вильну с намерением осмотреть старинный город, богатый историческими памятниками. Я приехал туда во время самого горячего волнения умов, готовившихся произвестъ польское восстание. По улицам города иудеи открыто продавали конфедератки, крестики и перстни с символическими знаками и даже печатные прокламации и революционные стихотворения на польском языке. Толпа народа обоего пола, стоя на коленях на улице перед Остробрамскою богородицею, голосно распевала самые патриотические песни, в которых поляк грозил водрузить победоносное знамя на груди московских трупов. Никто не преследовал за пение таких песен. Во время крестного хода, отправлявшегося в день римско-католического праздника Тела господня, мужчины, женщины и дети были одеты в траур, причем замечто было, что молодежь щеголяла этой одеждой. Какой-то гимназист во время крестного хода облил купоросным маслом голубое шелковое платье одной русской дамы, проезжавшей через Вильну за границу и полюбопытствовавшей поглядеть на процессию.

Я познакомился с некоторыми людьми, принадлежавшими к кругу литераторов и ученых, между прочим со стариком Малиновским, со старым поэтом Одынцем, еще не старым в то время, другим поэтом Сырокомлею, с издателем «Виленского курьера» Киркором, с графом Евстафием Тышкевичем и другими. Этот круг литераторов был в большой немилости у тогдашних рьяных польских патриотов, смотревших на них как на изменников общему делу. Малиновский был старик лет семидесяти с больными глазами, совершенный кандидат на слепоту, которая и постигла его спустя несколько лет. Он был знаток польской и литовской истории, старинного польского права и древностей; в своих суждениях отличался беспристрастием и трезвым взглядом на старину. Ему не по душе были обычные польской литературе самовосхваление и пустое риторство. «У нас,— говорил он,— то

беда, что за какую историческую книгу ни возьмись, все военачальники — храбрые полководцы, все сенаторы — великие государственные умы, все духовные — образцы христианских добродетелей и, наконец, весь польский народ — самый честный и беспорочный в мире: таким историям благоразумный читатель не может верить, зная, что человек рождается со слабостями и самый добродетельный не может быть изъят от каких бы то ни было пороков». К польским мечтаниям о восстановлении старой независимости он относился с презрительным сожалением, заявляя сознание, что Польша погибла безвозвратно, потому что дошла до такого положения, в котором не могла существовать. За то и патриоты не любили его и даже рассказывали, что на его жизни лежало какое-то страшное преступное дело отравления одной знатной госпожи.

Одынец, человек также старый, носил черный парик, который придавал его лицу несколько комическую фигуру, не гармонируя с морщинистым лицом, явно указывавшим на те почтенные годы, когда уже не бывает вполне черных волос. Одынец казался человеком тех времен, когда уважали и любили искусство для искусства, поэзию ради самой поэзии. Современные жизненные вопросы и политика его, по видимому, не занимали; он вращался постоянно в мире изящного, вспоминал о былых временах своей дружбы с Мицкевичем, к которому питал большое уважение и сочувствие, расточал чувствительные мечтания о братской любви славянских народов и в приемах своего обращения отличался тою сахарною любезностью, которая так свойственна полякам и которая приходится не по вкусу нашей русской мужиковатой натуре. Познакомившись со мною, Одынец подарил мне свои последние произведения, между прочим две драматические пьесы: сюжет одной составляла личность Варвары Радзивилловны — жены короля Сигизмунда Августа, сюжет другой — история Юрия Любомирского и его восстания против короля Яна-Казимира. Прочитавши эти пьесы, я нашел, что поэт был более в цвете своего дарования, когда писал назад тому лет тридцать мелкие стихотворения, мне давно уже известные.

Сырокомля (настоящая фамилия его Кондратович) был поэт другого закала; это был по своим убеждениям и симпатиям настоящий демократ, любивший всюю душою простого мужика, какой бы нации он ни был, и с большим восторгом увлекавшийся совершившимся недавно освобождением крестьян на Руси. Польские патриоты того времени не прощали ему сочувственные отношения к русскому правительству по поводу дарованной крестьянам свободы. Впрочем надобно сказать, что талант Сырокомли в это время уже склонялся к упадку; говорили, что он предан был неумеренному употреблению вина, которое потом вскоре и свело его в гроб.

Издатель «Виленского курьера» Киркор был человек лет за сорок, очень живой и деятельный, и в то время отличался большим польским патриотизмом, что совсем не вязалось с последующим его отношением

ем к этому вопросу, когда он находился в милости у М. П. Муравьева, а потом, переехавши в Петербург, сделался издателем русской газеты. Он знал местную археологию и написал по-польски «Путеводитель по Вильне» — дельную и занимательную книгу, полезную для того, кто, приехавши в край, хочет ознакомиться, но запас его сведений за пределами Литвы был небогат.

Граф Евстафий Тышкевич был один из двух братьев, равным образом приобретших себе репутацию в тогдашнем интеллигентном мире Западной Руси. Старший брат его Константин был страстный археолог, известный копатель курганов в Литовском крае, издавший любопытное сочинение о своих раскопках. Меньшой — Евстафий — также был любителем истории и археологии и сделался председателем археографической комиссии в Вильне в то время. Это был старообразный человек невысокого роста, с лысою головою, и казался на вид лет шестидесяти, но на самом деле ему было не более сорока пяти. Говорили, что он прежде вел разгульную жизнь, подорвавшую разом и его состояние, и его здоровье. Впрочем, он в своих приемах был жив, любезен и весел. Заведая историческим музеем, состоявшим при виленской археографической комиссии, он преимущественно обращал внимание на памятники времен господства польского элемента в Литве, и от этого в последующее время русские люди, занимавшиеся литовской археологией, были им недовольны и говорили, что он умышленно старался оставить в тени и забыть все, что напоминало о бывшем некогда господстве православной веры и русского языка в Вильне. Справедливо ли такое составившееся о нем мнение — я не беру на себя решать. В музее, при котором состоял отдел археографической комиссии, все было направлено к тому, чтобы удалить воспоминание о господствовавшем некогда русском элементе края и утвердить всеобщее мнение, что он искони был польским и не должен быть иным. В заседаниях комиссии употреблялся исключительно польский язык. Председатель комиссии граф Е. Тышкевич любезно возил меня по городу и его окрестностям; потом пригласил в заседание комиссии как ее члена, каким я считался. Когда я вступил в зал, все члены комиссии встали со своих мест, и председатель обратился ко мне с речью, исполненною любезностей и похвал: говорил, что мои беспристрастные ученые труды, чуждые всяких национальных видов, высоко поставили мое имя у всех славянских народов и тем более у польского, которого истории я так часто касался в своих трудах, и т. п. Его длинная речь произнесена была по-польски. Я отвечал также по-польски, изъявил глубокую признательность за доброе внимание к моим ученым трудам и выразил, что считаю такую оценку моей деятельности выше моих заслуг. Впоследствии мне печатно ставили в вину то, что я отвечал по-польски, а не по-русски; но я исполнял в то время не более как долг вежливости в отношении людей так любезно меня принимавших, тем более что и со стороны правительства в то время не было никаких распоряжений об исключительном упо-

треблении русского языка в Западном крае,— и в комиссии, имевшей официальное значение, как в разговорах, так и в печатных ее протоколах допускался польский язык. Если бы ко мне обратились с немецкою или французскою речью, я бы точно так же счел долгом вежливости отвечать, как сумел бы, на том языке, с которым ко мне обращались. Привычка отвечать на том языке, которым к нам обращаются, если мы сами знаем этот язык, присуща всем, и, без сомнения, никто бы не обратил внимания на мой польский ответ, если бы не произошло печальных обстоятельств, впоследствии так взволновавших Западный край.

Из Вильно вместе с Киркором и некоторыми его приятелями я совершил путешествие в Троки ¹⁰⁹, где осмотрел любопытные развалины Витовтова замка, построенного на озере. В этом замке, как говорят, честолюбивый литовский великий князь делал свое знаменитое угощение владетельных особ, намереваясь получить корону великого литовского княжения отдельно от Польского королевства, на троне которого сидел тогда его двоюродный брат Владислав Ягелло. На полуобвалившихся стенах замка видны еще древние фрески, которых значение до сих пор осталось не разобранным как следует. Виленские ученые, издавая альбом своих местных достопримечательностей, воспроизвели там изображение этих фресок, но допустили в своих изображениях большие неточности и неверности. Так, например, в изображении князя, делающего рукою крестное знамение, они не удержали старинного двухперстного перстосложения, явно не понимая того значения, какое имел этот прием в нашей церковной истории. Есть одна фреска, возбуждающая невольное любопытство: изображено лицо в княжеском одеянии, сидящее в темнице, а близ него с ласковым видом стоит женщина. Невольно бросается мысль: не изображает ли эта фреска один из памятных моментов в жизни князя Витовта, когда он сидел в тюрьме и к нему приходила жена, чтобы спасти его, оставшись самой вместо супруга в тюрьме? Среди стен обрушившегося замка стоит очень высокая башня, или донжон, с лестницею внутри его, идущею вверх. В трюмке костеле осматривал я икону богородицы в блестящем золотом окладе, пользующуюся большим уважением в католическом мире. Там же есть любопытная караимская синагога, хотя деревянная, но старинная. Еще со времен Витовта живут здесь караимы, составляющие колонию посреди чуждого им населения; как везде, и здесь они пользуются хорошим мнением о своей честности и добронравии.

Познакомившись с Вильно и его окрестностями, я уехал в Псков и при содействии тамошнего вице-губернатора Родзянки предпринял путешествие по Псковской губернии с целью обозреть местоположения и остатки пригородов древнего Пскова. Таким образом, вместе с профессором семинарии Князевым я ездил в Вицборск, осмотрел сохранившиеся там каменные стены города, а в двух верстах от них земляной вал более древнего Изборска, где, по преданию, жил будто бы

князь Трувор. Здесь нашел я древнюю церковь со старинными надписями. Из Изборска отправился я в псковский Печерский монастырь, расположенный в живописном ущелье, образуемом тремя крутыми холмами, поросшими лесом; ходил в пещеры, где до сих пор погребают умерших, и так как гробы их не закапываются в землю, а ставятся на уступах, то в пещерах нестерпимая вонь от мертвых тел. Путешествие в эти пещеры оказалось вовсе не безопасным: в одном месте пещерного коридора мы встретили обвал. Монах, провожавший нас, объяснял, что этого обвала не было еще вчера; такой обвал мог произойти при нас в то время, когда мы успели бы пройти далее, и, таким образом, мы бы остались во мраке, без возможности воротиться назад, и даже могли быть убитыми. Причина этому была песчаная почва пещер, поэтому вовсе не похожих на пещеры киевские, где каменистая почва не представляет этой опасности. Кроме пещер в монастыре очень замечательна ризница, в которой хранится множество вещей, подаренных царем Иваном Васильевичем Грозным, посещавшим этот монастырь и убившим своим жезлом тамошнего игумена Корнилия. Мощи самого Корнилия почивают в церкви, а на его гробе надписано, что «он предпослан царем земным к Царю Небесному». Из Псково-Печерского монастыря я воротился во Псков и на другой же день отправился в два соседних монастыря: Елеазара и Саввы Крипецкого. Монастырь Елеазара лежит на берегу небольшого озера в еловой роще. Близ монастыря показывают пень, изгрызенный богомольцами, верующими, что он имеет чудодейственную силу спасать от зубной боли. Подле пня лежит камень, который ради монашеских подвигов таскал на себе св. Елеазар. Самая личность св. Елеазара, иначе в монашестве Ефросина, знаменательна в нашей истории тем, что ему приписывалось введение «сугубого аллилуйя», составившего один из важных признаков старообрядческого раскола, но действительно ли Ефросин в этом был виновен, это остается нерешенным, тем более что повесть о нем, записанная в XVI веке каким-то Василием, призна на неверною на соборе, осудившем при Алексее Михайловиче старообрядческий раскол. Осмотревши два монастыря, я отправился с делопроизводителем статистического комитета Бочковым по другим псковским пригородам, переезжая из одного в другой проселочными путями на обывательских лошадях. Я посетил деревню Выбор, где обозрел следы древнего пригорода, состоявшие из земляного вала и четырех фундаментов церквей; город Опочку, где за городом над рекою виден высокий вал, служивший оградой древнему пригороду. Неподалеку от него в диком лесу на крутой горе есть следы другого пригорода — Коложе. Оттуда мы отправились осмотреть Врев, теперь село, недавно еще принадлежавшее баронам Вревским. Древний город был построен наверху высокого крутого холма, и городские окопы на вершине холма до сих пор видимы, а в середине бывшего города стоят живописные развалины готической церкви, построенной одним из помещиков и обрушившейся. Тамошний священник принял нас

замечательно любезно и показал, что он человек любознательный и неравнодушный к русской истории. Здесь, между прочим, сохраняется предание о периодическом появлении какой-то девушки, выходящей из земляного вала и исчезающей от глаз всякого, кто к ней захочет приблизиться. Из Врева мы поехали в Велию. Здесь нашли мы также старый вал с остатком на нем фундамента кирпичной стены, несколькими старыми могильными памятниками и с церковью. В селе нам указали огромный холм, наполненный человеческими костями. Это, как говорили, памятник мора, свирепствовавшего когда-то в крае и истребившего все население пригорода Велию. Рассказывают, что эти кости несколько раз сами появлялись рассеянными по земле в разных местах села. Это приписывали чуду; но очень может быть, что их растаскивали собаки из холма, в котором они навалены, и тем более это правдоподобно, что мне стоило покопать зонтиком, чтобы вытащить череп или ручную кость. Из Велию я поехал в Вороноч, на берегу реки Сороти — место очень живописное. Чрезвычайно высокий вал старинного городка сохранился вполне; внутри вала — церковь с жильем для священника. Когда я прогуливался по этому валу, ко мне подошел один поселянин и начал рассказывать, что в середине этого вала бывают слышны страшный гром и стук, и один раз, в ночь пасхи, люди видели, как из-под земли выскочили двенадцать жеребцов и начали играть и бегать, а потом все провалилось сквозь землю. Это, объяснял он, был клад, сохраняющийся в глубине этого вала. Рядом с Вороночом — имение, принадлежавшее некогда поэту Пушкину, который погребен в отстоящем отсюда за пять верст Святогорском монастыре. Желая поклониться праху поэта, я отправился в этот монастырь утром на заре. Местоположение монастыря довольно живописное; он лежит на высокой горе, покрытой лесом. За алтарем, в тени дерев, над самым скатом с горы стоит могила поэта; на ней памятник белого мрамора, с прорезною аркою, в середине которой выработана белая мраморная урна с перекинутым из нее покровом. Надпись гласит: «Александр Сергеевич Пушкин». Близ памятника мы встретили кучу ребятишек, игравших песком, и тут невольно вспомнили стихи поэта:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Кстати, было прекрасное летнее утро, и лучи восходящего солнца весело переливались в яркой зелени окрестностей.

Из монастыря отправился я в Красный, где нашел также вал — остаток древнего приговора, с остатком фундамента кирпичной стены и несколькими надгробными камнями, на которых надписи трудно было разобрать. Этим завершил я осмотр псковских пригородов, которых описание занес после в свою историю Новгорода и Пскова. Характеристическою чертою Псковского края можно считать то,

что нигде почти не встречается церкви посреди жилых местностей, но они расположены вдаль; близ церкви — дома священнослужителей и причетников, а также кладбище: это называется погост. Колокольни при церквях имеют своеобразную форму в виде линии, составленной из продолговатых арок, в середине которых вешаются колокола.

Я воротился в Псков и занялся там осмотром городских памятников старины. Едва ли в России есть другой губернский город, в котором бы так много сохранилось таких памятников. Кроме нескольких церквей, основанных в XIV и XV веках и сохраняющих много из своего первоначального вида, вдоль реки Великой тянется высокая старая стена, в одном месте с проломом: это тот самый пролом, который сделали поляки, осаждавшие Псков под предводительством своего короля Батория и гетмана Яна Замойского, когда у них шла ожесточенная война с царем Иваном Васильевичем Грозным. Другая стена, примыкающая к первой, идет вдоль реки Псковы, а обломки ее заворачиваются в поле и огибают почти весь город. На Завеличье — части города за рекою Великою — два старых монастыря: один из них, женский Предтечинский, замечателен по старинной внутренней застройке; другой, знаменитый своею древностью Мирожский монастырь, основанный в XII веке, был весь расписан фресками, впоследствии забеленными, но, к счастью, так дурно, что их легко можно отмыть. Это и сделалось в алтарной стене, где появились на свет старые изображения, так хорошо сохранившиеся, как едва ли где-нибудь в другом месте. Кроме церквей во Пскове сохранилось несколько мирских зданий старой постройки, и в этом отношении Псков для русской археологии представляет такие сокровища, каких не имеет никакой другой старый город на Руси, не исключая и Киева, где при драгоценном Софийском соборе, превосходящем по древности все русские церкви, не осталось никаких следов старых жилищ. Из псковских зданий самое обширное — Поганкины палаты, принадлежавшие жившему в XVII в. купцу Поганкину, или Поганке. Во время моего посещения здание это занимало было каким-то провиантским магазином; входя в средину его представляется анфилада больших покоев с большими окнами и с аркообразными дверями, соединяющими эти покои. Пройдя несколько покоев идет поворот комнат вправо; поднизом — подвалы, служившие, как говорят, кладовыми для товаров купца-хозяина. Не менее любопытны другие, хотя и меньшие, старые дома, принадлежащие частным владельцам и описанные мною в «Севернорусских народоправствах». Отличительною характеристикю псковских старых зданий — то, что они строились в три этажа, которые сообщались друг с другом посредством витых лестниц, сделанных в толстых стенах, — наподобие тех, какие делаются в колокольнях; покоев немного, но они обширны и светлы. Кроме этих домов, сохранившихся вполне с каменными внизу подвалами, внимание путешественников привле-

кают развалины старого дома, который, по преданию, был временным жилищем псковского Самозванца. Не знающие истории обыватели Пскова говорят, что вместе с ним жила здесь и Марина; но это несправедливо: если действительно показываемые развалины дома служили жилищем Самозванца, то разве третьего — вора Сидорки, с которым, однако, никогда не жила Марина, бывшая во время его появления в лагере под Москвою вместе с Заруцким.

Осмотревши Псков, я отправился домой. Через две недели я выехал снова и направился в Новгород, где, пригласивши с собою бывшего учителя новгородской гимназии Отто, я пустился пешком для осмотра Ильменского побережья; я желал ознакомиться с бытом и наречием паозерцев, как называются жители этого края, говорящие своим особым говором, в котором справедливо видят остаток древнего новгородского наречия. Мы переходили из деревни в деревню, отстоящие одна от другой на несколько верст, заходили в избы, вели разговоры с хозяевами, осматривали их житье-бытье. Их домики большею частью двухэтажные; жилье составляет верхний этаж, а нижний служит для подклета, или кладовой. Живут они замечательно опрятно, очень добродушны и приветливы. Дворы у них вообще крытые; громадные ворота с навесом. Наречие их, как я заметил, имеет следующую особенность: 1) буква *o* никогда не изменяется в *a*; 2) *ъ* всегда выговаривается за *и*; 3) окончание *т* в изъявительном наклонении глаголов всегда выбрасывается не только в единственном, но и во множественном числе, например: «даю» вместо «дают», «положу» вместо «положат»; 4) полногласие сильнее, чем в обыкновенном русском языке, например: «веремя» вместо «время», «верех» вместо «верх»; 5) употребляется много слов, неупотребительных в великорусском языке, но существующих в малорусском, например: шукать, хилить, шкода, «що» вместо «что», «жона» вместо «жена», «человик», вместо «человек»; *я* вместо *a*, например: «девица, травица».

На пути мы посещали монастыри преподобного Михаила Клопского и Прокопия Верендинского и нашли эти монастыри вообще бедными; братия — в незначительном числе, невежественная и не пользуется у жителей большим уважением по своей нравственности и благочестию. Воротившись в Новгород, мы поехали на обывательских лошадях по дороге вдоль реки Шелони и, прибывши вечером в ям Мшагу, случайно наткнулись на оригинальную личность. В окне одного домика увидели мы старика, читающего газету, и, разговорившись с ним, по его приглашению зашли к нему в дом пить чай. Оказалось, что этот старик лет шестидесяти, почтенной наружности с очень умным выражением лица, был некогда ямщиком и при врожденной любознательности получил вкус к чтению книг. У него увидели мы большой шкаф с библиотекою; в ряду книг красовалась история Карамзина и Соловьева и сочинения Пушкина. Хозяин был человек в такой степени развитой, каким быть пристало бы человеку, окончившему курс гимназии. Недостаток учебной подготовки он дополнил

осмысленным чтением, размышлением и житейскою наблюдательностью. Ему не чужды были современные вопросы общественной и политической жизни; он имел здравое понятие о европейских государствах, о их образе правления и особенностях общественной жизни. Он знал хорошо судьбу прошедшей русской жизни, минувшие события отечества и с сочувствием относился к недавно состоявшемуся освобождению народа от крепостной зависимости и сознавал необходимость всеобщего народного образования как первейшего блага, без которого не принесут пользы никакие благодетельные реформы. Беседа с этим умным стариком до того заинтересовала нас, что мы отложили выезд до утра и остались по его приглашению ночевать у него. В его домике оказалась особая чистенькая комната; невестка его приготовила нам постели со свежим бельем безукоризненной чистоты, а старик, после ужина уложивши нас, продолжал вести с нами беседу еще около часа. На другой день поутру, когда мы встали, нам уже был готов чай со сливками и опрятно приготовленный завтрак. Провожаемые гостеприимным хозяином, мы уехали от него, унося с собою приятнейшее воспоминание о его образе, как бы служившем свидетельством — чем может быть и чем должен быть неиспорченный русский человек, если в нем пробудится священный огонь любознательности и страсти к умственным интересам.

Мы ехали вдоль реки Шелони, отыскивая место, где происходила роковая Шелонская битва, погубившая республиканскую свободу Великого Новгорода¹¹⁰. В руках у нас была летопись. Присматриваясь к местности, мы делали соображения, обращались с разными вопросами к жителям, но не так легко могли достичь желаемого. В Велебичах мы подъехали к старой каменной церкви, построенной, как говорили нам, великим князем Иваном III или, как другие утверждали, его внуком, царем Грозным. В этой церкви происходило служение не более двух раз в год, и она была приписана к другому приходу. Мы вызвали оттуда священника, который отпер нам церковь. Ее архитектура несомненно старинная, никак не позже XVI века. Проехавши несколько верст, на песчаном берегу, поросшем кустарниками, мы нашли большой, довольно высокий холм, и когда стали зонтиками копать на нем землю, то увидали, что весь этот холм состоит из человеческих костей. Тут текла почти высохшая речка Дрань, впадающая в Шелонь. Я сообразил, что этот могильный холм есть место погребения новгородцев, разбитых на берегу Шелони несколько выше этого места и бежавших до реки Драни, где в другой раз бегущим нанесено было окончательное поражение. Взявши на память два черепа, мы поехали далее и прибыли к часовне, под которою была могила павших в бою воинов; ежегодно совершается над ними панихида. Здесь, вероятно, погребены были московские воины, бившиеся против Новгорода; их похоронили с честью и построили над ними часовню, а трупы бедных новгородцев сложили грудой на берегу Драни и только присыпали песком. Мы доехали до посада Сольцы и стали расспрашивать

о местных памятниках у духовенства одной из тамошних церквей; но оказалось, что духовные совсем не интересовались историей и не знали о Шелонской битве и о древней судьбе Новгорода даже настолько, насколько могла им сообщить история Карамзина. Возвращаясь назад, мы, осматривая русло Шелони с обоими ее берегами, пришли к тому заключению, что переход московских войск через Шелонь произошел немного ниже местности, на которой ныне лежит посад Сольцы, и новгородцы, сбитые с позиции на берегу реки, бежали, преследуемые москвичами, до роковой для них реки Драни, где и лежат их кости, прикрытые песком, развеваемым ветрами. Мы повернули назад к Новгороду, осмотрели церковь Рождества, где было старое кладбище и где некогда нищий старец Жегальцо погребал несметное число утопленных и замученных новгородцев, сделавшихся жертвою свирепости Ивана Грозного. Весь двор этой церкви оказался наполненным человеческими костями; и там — стоило только копнуть зонтиком — и тотчас находились либо череп, либо рука, либо нога. В самой церкви Рождества есть другой остаток более близкой к нам старины: гробы двух князей Долгоруких, казненных при Анне Иоанновне; над ними ежегодно в день их кончины служатся панихиды.

Из Новгорода вместе с Отто я отправился по Волхову с намерением ехать в Петербург; но когда мы пристали к берегу в Сосновском посаде и стали дожидаться железнодорожного поезда, Отто вдруг переменял свое намерение. Считаю не лишним сказать несколько слов об этой оригинальной личности. Он был немец по происхождению и по религии, но по своим национальным симпатиям — глубоко русский человек, много раз более русский, чем значительная часть людей, принадлежащих к русской крови. Как учитель гимназии, он пользовался хорошей репутацией толкового преподавателя и основательно знающего свой предмет — историю, но в его личности было что-то странное. Когда он поехал со мною на пароходе, вдруг затосковал и на мои вопросы объяснил мне, что его беспокоит какое-то предчувствие о судьбе своих родных, живших в Петербурге. Казалось бы, при таком настроении духа ему оставалось спешить туда, куда уже и без того мы собирались ехать; но когда мы прибыли в Сосновку, мой товарищ со слезным жалобным голосом объявил мне, что не поедет в Петербург, боясь узнать что-нибудь дурное о своей семье, и действительно покинул меня и воротился на пароходе в Новгород. Эта странность очень меня тогда поразила. Отто казался мне одним из симпатичнейших людей, с какими мне случалось встречаться; я его полюбил от души и мне стало жаль его; я недоумевал, что с ним происходило, но достаточно было видеть, что он был грустен. Через несколько лет до меня дошли слухи, объяснившие мне случай в Сосновке: Отто впал в душевную болезнь и был заключен в дом умалишенных, но, к счастью, скоро умер.

По отъезде Отто и по прибытии поезда из Москвы я отправлялся уже в Петербург, как вдруг встретился с одним знакомым, Недоборов-

ским, и уговорился с ним совершить путешествие вверх по Волхову в Старую Ладогу, чтобы осмотреть тамошние развалины и достопримечательности. Мы сели на пароход и плыли до Гостинополья. Выше плыть уже было нельзя по причине порогов. Мы наняли лошадей и поехали по берегу в виду порогов. Они не представляют ничего велико-лепного: шум их слышен только по приближении к ним; вода мутная, как вообще в Волхове, который, как гласит древняя хронография, носил даже прежде название Мутной реки. Мы достигли цели нашей поездки. При самом приближении к селу Старой Ладоге взор поражается рядом больших земляных насыпей, или курганов, на высоком берегу Волхова. Так и тянет порыть их и поискать в их недрах каких-нибудь остатков доисторической старины. В самой Старой Ладоге внимание прежде всего приковывается к полуобрушившимся стенам древней крепости, которую называют Рюриковою. Я обошел всю эту стену по вершине ее; в некоторых местах есть внутри стены углубления и лесенки, идущие вверх и вниз. В середине крепости — церковь великомученика Георгия, построенная в XII веке; на ее внутренних стенах и на своде сохранилось много старинных изображений стеного иконописания, но некоторые были в последнее время искажены и зарисованы новыми. Василий Александрович Прохоров в своем археологическом повременном издании приложил рисунки фресок этой церкви и подробно описал ее архитектуру. Из крепости я отправился в Никольский монастырь и по обозрении его в сопровождении монаха пошел пешком в упраздненный женский Ивановский монастырь и там услышал такую легенду. Несколько лет тому назад один схимник Никольского монастыря задумал удалиться в пустой Ивановский монастырь и жить в совершенном уединении. Спустя два месяца он услышал ночью за дверьми своей комнаты, выходящими в церковные стены, женский голос: «впусти меня!» Схимник принял это за бесовское искушение и не отворял дверей. На другую ночь он слышит тот же голос и говорит: «Господи Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас!» Ему отвечают: «аминь». Схимник отворил дверь, и мимо ног его вкатился в келию сухой женский череп. Отшельник поставил его у себя на верхней лежанке своей печи. После того с ним еще случались какие-то странные видения, но какие именно, мне не объяснили. Наконец отшельник дошел до уныния и, желая избавиться от него, перешел в свой монастырь. Оставленный им в келии череп был погребен другими монахами, приходившими в покинутое жилище схимника. В этом монастыре была некогда заточена несчастная царица Евдокия, покинутая Петром Первым и содержавшаяся сначала в Суздале, а потом переведенная в Ладогу после суда над сыном ее царевичем Алексеем; но никаких следов пребывания ее там не осталось. В самой церкви монастыря, приписанной к мужскому Никольскому, производится богослужение только раз в год, в храмовой праздник Иоанна Предтечи. Церковь довольно просторная и светлая. Осмотревши все древности Старой Ладоги, я уехал назад и возвратился в Петербург.

В это время я начал печатать свои лекции об истории Новгорода и Пскова, читанные в университете, продав издание Кожанчикову. Всю осень и зиму тянулось это печатание. Между тем я напечатал в «Отечественных записках» исследование об Иване Сусанине, которое навлекло на меня целый поток печатных замечаний со всевозможными шпильками. Так как я доказывал, что история Сусанина украсилась разными добавлениями досужей фантазии и событие не могло происходить в таком виде, в каком привыкли видеть его и даже читать в учебниках, то сейчас нашлись ревнители патриотической славы, старавшиеся увидеть из этого моего поступка что-то неблагонамеренное. Началась составлять обо мне молва, будто я задаю себе задачу унижать доблестные русские личности и, как говорили, сводить с пьедестала и развенчивать русских героев. Укоры эти много раз заявлялись в литературе, расходились в обществе и повторялись даже такими людьми, которым, собственно, не было ни тепло ни холодно от того, будет ли прославлен или унижен какой-либо из деятелей русской истории минувших веков. До меня доходили слухи, что люди высокопоставленные в чиновной иерархии оскорблялись моим критическим взглядом на личность Сусанина и говорили, что я человек злонамеренный, желаю во что бы то ни стало унижать великие личности русской истории. Иные толковали это тем, что я, как малорусс, хочу выставить напоказ лица южнорусской истории и в противоположность им унижать севернорусских героев. Забавно было слышать мне, что такое мнение обо мне заявлено было одним князем, который, будучи воспитан заграничным способом, плохо знал по-русски, несмотря на то что занимал такое место, которое не должен был бы принимать с плохим знанием русского языка и русской жизни. И этот князь, конечно, не читал моих сочинений, но, повторяя слышанное от других, считал обязанностью чернить меня. Мнение таких лиц, как этот князь, ничуть меня не беспокоило и мало интересовало; но прискорбно было испытать, что люди, заявившие себя специально занимавшимися русской историей, люди, хотевшие во всем быть русскими, также повторяли и словесно и печатно эти клеветы против меня. Их выходки служили доказательством еще не прекратившегося господства детских взглядов и раболепства перед рутинными убеждениями, основанными на ложном патриотизме. Считали как бы вывескою благонамеренности в науке непременно восхвалять признанные доблести и в каждом критическом отношении к ним отыскивали что-то затаенное, нерасположенное к славе и чести отечества. Между тем истинная любовь историка к своему отечеству может проявляться только в строгом уважении к правде. Отечеству нет никакого бесчестия, если личность, которую прежде по ошибке признавали высокодоблестною, под критическим приемом анализа представится совсем не в том виде, в каком ее приучились видеть. Притом же не следовало забывать, что безусловно добродетельных и безупречных людей на свете не бывает и прежде не было. Все люди — с ошибками и пороками, и если мы не в

состоянии указать на их темные стороны, то это служит только признаком нашего недостаточного уразумения этих личностей. Наконец, все века имели свои заблуждения и слабости, и великие люди этих веков часто не были чужды этих заблуждений и слабостей. Показывать в истории те и другие — не значит унижать самые исторические личности; напротив, чем личность прошедшего времени представится нам со всеми своими сторонами, как светлыми, так и темными, тем яснее станет пред нашими глазами и тем нагляднее мы можем рассмотреть ее и оценить. Но всего несправедливее ставить историка в вину, если он ни в каком случае не унижал исторической личности, которой привыкли оказывать уважение, а только старался установить правильный взгляд на ее действительное историческое значение и снять с нее вымышленные черты, созданные или народным воображением под влиянием протекших веков, или фантазией писателей, как это и было относительно личности Сусанина. Что касается до толкования тех, которые объясняли мои исторические приемы умышленным желанием выставить в темноте великорусские личности с целью придать больше света малорусским, то это ребяческое толкование опровергалось как нельзя более теми моими сочинениями, которые относились к истории Южной Руси. Касаясь южнорусских героев, я нигде не скрывал черт их слабостей, пороков, заблуждений и ошибок, что и доказывается тем, что никто из критиков не в состоянии был указать на такие места моих исторических трудов, где бы я преднамеренно скрыл дурные стороны южнорусских знаменитых людей или представил их безупречными вопреки несомненным историческим данным, обличающим мои неправильные или пристрастные взгляды.

В тех же «Отечественных записках», где помещен был «Сусанин», напечатал я статью «Великорусские вольнодумцы XVI века». Это было историческое исследование о признаках религиозного волнения умов в Московской Руси в царствование Ивана Грозного, выразившегося мнениями Матвея Башкина, игумена Артемия, дьяка Висковатого и Феодосии Косого. Из них, собственно, только за Косым можно было признать действительные еретические мнения; другие лица осуждены были в ереси отчасти по недоразумению, отчасти по невежеству судей. Я старался разъяснить это и в особенности относительно Артемия, в чем и не ошибся, потому что впоследствии, уже по напечатании моего означенного сочинения, имел случай видеть в московской Публичной библиотеке послание Артемия, писанное им после бегства в Литву, — послание, несомненно указывающее на твердость в православии этого мнимого московского еретика.

В этом же году напечатана была моя драма «Кремуций Корд», написанная еще в 1849 году и оставшаяся в рукописи. Кроме того я напечатал несколько статей в «Основе», имевших современный характер. Так, по поводу поднятых против меня в Москве возражений на мои исторические взгляды я написал статью «Правда москвичам о Руси», по поводу новых польских выходов там же напечатал «Правду по-

лякам о Руси». Вслед за появлением этой статьи я стал получать из разных мест анонимные письма от поляков с угрозами смерти; одно из этих писем заключалось словом «готовьтесь!» По поводу вопроса об отношениях иудеев к русскому и преимущественно малорусскому племени в «Основе» же я напечатал статью «Иудеям». Последняя статья задела за живое некоторых лиц иудейского племени, и я получил из Киева от одного из них укорительное, хотя и дружелюбное письмо, в котором автор письма доказывал, что иудеи — сущие благодетели малоруссов, и огорчился тем, что я дозволил себе употреблять название «жиды». Я отвечал этому господину, что сомневаюсь насчет благодетельности иудеев, а что касается до слова «жиды», то обещаю вперед не употреблять этого слова, а писать «иудеи». Мой корреспондент отвечал мне, что таким названием вполне будет довольно иудейское племя, живущее в России, но впоследствии оказалось, что его мнение не разделялось некоторыми из пишущей братии; отыскивались русские люди, которые замечали мне в литературе свое неудовольствие по поводу употребления мною слова «иудеи», между тем как я был убежден, что слово «еврей» не вполне выражало желаемое понятие: иудеи, к которым принадлежат живущие у нас исповедники Моисеева закона, составляют вид еврейского племени; сказать о них «еврей» — то же самое что назвать русских славянами, что будет родовое, а не видовое название.

Печатаю мою историю Новгорода и Пскова, я в ту же осень принялся заниматься историею Смутного времени Московского государства в начале XVII века, и каждый день посещаю Публичную библиотеку, изучал источники эпохи, которую предполагал обработать. Во всей древней севернорусской истории не было такого другого периода, в котором бы народ был до такой степени предоставлен самому себе и собственными силами должен был отстаивать свое политическое, общественное и религиозное существование от внешних нападений и внутренних неурядиц и где он невольно должен был показать весь запас собственных духовных сил, необходимых для своего спасения. Эпоха эта, страшная и кровавая, заключала в себе утешительного то, что народ, перенесший ее, вышел из нее с торжеством, отстоявши по крайней мере свою независимость и свой общественный строй с теми началами, с какими установился прежде. Мое давнее желание — обрабатывать в истории главным образом течение народной жизни — влекло меня к этой эпохе. Притом же и в нашей научной литературе эпоха Смутного времени заключала много привлекательного. Многие вопросы не были окончательно разъяснены, другие даже почти не затрагивались, не все источники послужили для научной обработки. Богатая рукописная и печатная сокровищница Публичной библиотеки манила к себе мое воображение: я надеялся, порывшись в ней, найти что-нибудь новое; думал также после петербургской Публичной библиотеки порыться в других книгохранилищах и архивах и с помощью всего, что они могут мне открыть, представить живое и наглядное

описание событий того времени, к которому интерес не переставал, как мне казалось, возбуждаться в умах публики, читающей отечественную историю. Приступая к Смутному времени, я был верен себе и своей задаче работать над историей народа. Я работал над эпохой Хмельницкого и Выговского, где главным образом выказывалась деятельность народной массы; меня увлекала история Новгорода и Пскова, где также на первом плане была народная масса; меня заняла сильно эпоха дикой самодеятельности народа, проявившейся в бурное восстание Стеньки Разина. Точно по тем же побуждениям изучать и выражать в истории народную жизнь принялся я и за Смутное время Московского государства в начале XVII века.

В начале 1863 года я съездил на непродолжительное время в Москву, где систематически осмотрел все монастыри и много церквей, имевших историческое значение, а по возвращении оттуда выпустил в свет свою историю Новгорода и Пскова, давши ей название «Севернорусские народоправства». По напечатании этого сочинения я встретил небольшое недоразумение со стороны духовной цензуры. Получив прорецензированную рукопись во время печатания, я нашел нужным заменить несколько слов другими, однозначительными. Когда печатание было окончено и сочинение представлено в цензуру для выпуска в свет, цензор, которым был архимандрит Макарий, заметивши изменения, не хотел его подписывать к выпуску. Я отправился к нему и стал убеждать, что не изменил смысла своими переменами слов. Он принужден был согласиться с этим, но тем не менее начал условливаться со мною, желая непременно, чтобы я перепечатал хотя одну страницу, лишь бы вышло «по его»... Я заметил ему, что это выходит по малорусской пословице: «абы мое було зверху» — и все-таки должен был уступить и согласиться на перепечатку одной страницы ради каких-то двух незначительных слов. Видно было, что цензора задело честолюбие и он во что бы то ни стало хотел показать свое право. Между тем сделанные им перемены, которые он принудил меня вставить в текст моего сочинения, совсем не сходились с моим слогом. Вот образчик того, как авторы вынуждены были уступать требованиям цензоров и допускать в свои сочинения выражения, вовсе не сходные с тоном, господствующим в целом сочинении и вовсе не изменяющие их мысли. О названии моего сочинения по выпуске его в свет я получил от некоторых знакомых мне ученых лиц замечание, что название «Севернорусские народоправства» слишком вычурно, с чем я мало-помалу согласился и впоследствии перепечатал заглавный листок, давши этому сочинению другое название, гораздо проще: «История Новгорода, Пскова и Вятки». Впрочем, первоначальное название остается для меня предпочтительнее. Сочинение это встречено от некоторых с похвалою, от других с упреками; иные видели у меня исключительное пристрастие к Новгороду, поклонение его свободе, других корбило то, что я указывал на сходство древнего новгородского наречия с малорусским и на этом основании делал пред-

положение о древнем сродстве новгородцев с южнорусским племенем.

Весною я занимался историею Смутного времени; лето 1863 года я проводил на даче в Павловске вместе с редактором «Основы» Белозерским, не переставая ездить в Петербург для занятий в Публичной библиотеке историею Смутного времени. Тогда же поднялась в «Московских ведомостях»¹¹¹ буря против малорусского литературного движения, коснувшаяся меня тем более, что в этой газете имя мое было выставлено на позор, как одного из преступных составителей замыслов, по мнению противников, грозивших опасностью государственному порядку. Пошли в ход слова: сепаратизм и украинофильство. Инсинуации давались преимущественно из Киева. Я видел ясно, что господа, толковавшие о сепаратизме и пытавшиеся совместить украинофильство с польским мятежом, сами того не знали, что повторяли выходки поляков, которым литературное украинское движение давно уже стояло костью в горле, так как оно более всего служило опровержением польским теориям о том, что Южная Русь — законная принадлежность Польши, а южнорусский язык есть не более как наречие польского языка. Мысль эта была выражена особенно рельефно во французском сочинении Владислава Мицкевича, сына знаменитого польского поэта Адама, и разгуливала в русских газетах почти в тех же выражениях, в каких изложил ее первоначально польский патриот, с тою только разницею, что в наших газетах применялось к России то, что поляки применяли к Польше. На обвинения «Московских ведомостей» я написал большое опровержение, но цензура его не пропустила. Тогда я обратился лично к министру внутренних дел Валуеву, который назначил мне свидание на своей даче на Аптекарском острове и сообщил мне, что хотя мысль о написании популярных сочинений по-малорусски с целью распространения в народе полезных знаний не только не преступна, но и похвальна, однако в настоящее время правительство по своим соображениям считает нужным приостановить ее, чтобы не подать повода злонамеренным людям воспользоваться для иных целей и под видом дозволенного распространения в народе популярно-научных книг не дать им возможности распространять законопреступных подущений к мятежам и беспорядкам. Вслед за тем я узнал, что состоялось запрещение печатания по-малорусски книг, имеющих учебное значение¹¹². Я успел выпустить только первый выпуск «Священной истории» Опатовича, у которого остались готовые два другие, и арифметику Конисского. Печатались еще два жития святых и остались также невыпущенными. Министр народного просвещения Головин относился совершенно беспристрастно к вопросу о малорусской литературе и говорил, что если действительно существует у малоруссов потребность учиться на своем местном наречии и если это наречие настолько далеко от литературного русского языка, что малоруссы, не учась последнему, не в состоянии понимать написанного на нем, то издание малорусских книг научного содержания — дело полезное и необходимое. По его

предложению я напечатал в «Журнале Министерства народного просвещения» статью об особенностях малорусского наречия, дающих ему право самобытности в ряду славянских языков и не позволяющих признать его ни видоизменением великорусского, ни польского.

В это время я получил из Киева приглашение поступить на кафедру русской истории в университете св. Владимира, давно уже оставленную Павловым, и сначала я было согласился, но потом, узнавши, что тогдашний генерал-губернатор Юго-Западного края заявлял университету о своем нежелании в видах политических допускать меня к Киевскому университету по причине возникших на меня обвинений в так называемом «украинофильстве», сам устранился от предлагаемой мне чести, а Киевский университет св. Владимира прислал мне в знак уважения к моей ученой деятельности диплом доктора истории — на основании правила, предоставляющего университетам давать ученые степени без экзамена и диссертации за труды по части науки.

Осенью в сентябре я отправился снова в Москву, занимался в Архиве иностранных дел, в Синодальной библиотеке и съездил за семь верст в село Тушино, где осматривал следы бывшего лагеря второго Самозванца; все они заключаются в окопах, протянутых от реки Востодни до реки Москвы, куда впадает также Востодня, делая загиб. Я пытался услышать что-нибудь от местных жителей, но услышал очень мало. Сохранилось предание, что здесь стоял когда-то царик с литвою, а делалось это во время литовского разорения, когда на Руси было такое ужасное время, что из всех живых людей едва уцелела только десятая часть. Самого этого царика народное предание смешивает с личностью Гришки Отрепьева. «Был, — говорят, — Отрепкин — такое уж ему и прозвище было; был он нищий, и когда жизнь ему надоела, отправился он под Москворецкий мост топиться в проруби; является к нему бес и говорит: Гришка Отрепкин! Зачем тебе топиться? Лучше отдай мне душу, на что она? Гришка сказал: отдам, если ты меня сделаешь царем. Сделаю, сказал бес, и Гришка разрезал себе руку и подписал бесу кровью договор». Бес начал ему помогать и довел до того, что Гришка всем москвичам показался царевичем Димитрием, уже убитым, и вся Москва признала его и посадила на престол. Но тут какой-то святой сумел отчитать народ, обаяние пропало, глаза открылись, все увидели, что Гришка — не царевич Димитрий и казнили его. «Так вот этот-то Гришка, — говорили мне крестьяне, — стоял в нашем селе, пока не взял Москвы. У него была жена, злая ведьма Маринка-безбожница, которая превратилась в сороку в то время, когда убивали Гришку в Москве, она улетела на Волгу и долго разбойничала, пока, наконец, на нее наложили проклятье, уничтоживши все ее волшебство, и привезли в Москву». В таком-то виде перешли к народу воспоминания о бурной эпохе Смутного времени. В настоящее время жители села Тушина ведут большую торговлю молоком, привозя его продавать в Москву в Охотном ряду. Крестьяне, рассказывавшие мне обо всем

этом, прибавили, что до сих пор в Москве подчас дразнят тушинцев «тушинскими ворами», особенно когда заметят какое-нибудь плутовство в торговле. Мне особенно бросилось в глаза большое количество распивочных продаж в Тушине: чуть не в каждом доме кабак, и так как во время моего приезда в село там был храмовой праздник чудотворца Сергия, то я, заходя из избы в избы, с трудом мог отыскать трезвых людей, способных отвечать на мои вопросы.

В Москве, в Архиве иностранных дел, я нашел два статейных списка эпохи Смутного времени и распорядился об отсылке их в нашу комиссию. Запасшись всем, чем успел, для своего нового труда, я возвратился в Петербург — и на всю зиму засел самым усиленным образом за Смутное время. Между тем я продал госпоже Ахматовой, издательнице Собрания романов, право на издание моего «Сына», появившегося в периодическом издании Калачева. В мае 1864 года книга эта была выпущена в свет.

В этом же 1864 году по приглашению Академии наук в издаваемом от Академии Календаре ¹¹³ напечатал я исторический очерк Куликовской битвы. Статья эта не менее «Ивана Сусанина» навлекла на меня разнородные обвинения в надостатке патриотизма и в злонамеренности моих способов обращаться с событиями русской истории. Дело было в том, что я, руководясь источниками, указал на такие черты в личности Димитрия Донского, которые противоречили сложившемуся о нем и ставшему как бы казенным мнению как о доблестном и храбром герое княжеских времен. Против меня поднялась целая буря патриотического негодования. Бывший тогда председатель Археологической комиссии Авраам Сергеевич Норов, старик хотя добрый и образованный, но считавший нравственным долгом казаться завзятым патриотом, так озлобился против меня за эту статью, что почти не мог выносить моего присутствия в заседаниях Археологической комиссии. В ученом отношении эти попытки оказывались очень слабыми, потому что за них брались люди, заслуживавшие одобрение только за свой патриотизм, а никак не за ученость. К ним следовало отнести и Погодина, который писал на меня в газете «День» ряд статей, главным образом указывая на мою склонность к какому-то недоброжелательству к России — унижать великих людей русской истории. Я защищался против него на страницах газеты «Голос»; но правду надобно сказать, что в ту пору я еще не освободился вполне от старой привычки слепо и с верою держаться известий в том виде, в каком они передаются летописными источниками, мало вникая в то, что самые источники по разным причинам нередко являются лживыми, даже без умышленного обмана. Так произошло и в вопросе о Димитрии Донском. Погодину и другим моим противникам очень не нравилось известие летописной повести о том, что Димитрий Донской перед Куликовской битвой надел свое великокняжеское платье на своего боярина Бренка, а сам в одежде простого воина в конце битвы очутился лежащим под срубленным деревом. Это имело вид, как

будто великий князь Московский, желая сохранить собственную жизнь, выставил на убой своего верного слугу, а сам оказался в самой битве трусом. Погодин силится всеми натяжками объяснить это событие в хорошую для Дмитрия сторону и, конечно, не мог; я же старался показать истинный смысл, какой представляло летописное повествование; но ни я, ни Погодин не обратили внимания, что самая эта летописная повесть не выдерживает критики и должна быть отвергнута, о чем я и заявил уже впоследствии в своей «Русской истории в жизнеописаниях». Впрочем, трусость Дмитрия Донского, которою так оскорблялись Погодин и другие мои противники, кроме этого события, не выдерживающего критики, неоспоримо доказывается постыдным бегством Московского великого князя из столицы во время нашествия на нее Тохтамыша.

В конце мая того же года я отправился за границу. Я посетил Дрезден, Прагу, Регенсбург, Мюнхен, Зальцбург, Вену, где прожил около трех недель и затем пустился на юг до Дуная и прибыл в Белград. Впечатление, произведенное на меня сербскою столицею, было своеобразно. Город не представлял ничего похожего на европейские города, которые мне случалось проезжать, хотя, с другой стороны, я не заметил там почти ничего азиатского. Больших каменных домов в нем очень мало; большая часть строений состоит из низеньких домиков, обсаженных деревьями; широкие, не освещенные фонарями улицы поросли травой; по улицам ходят босые люди и пасутся животные. У ворот повсюду раздаются песни, и что меня особенно поразило — песни духовного содержания: церковные тропари, кондаки и ирмосы. Мне объяснили, что это происходит оттого, что православное церковное песнопение имеет для сербов не только религиозный, но и национальный характер вследствие их продолжительной борьбы с неверными турками. Я познакомился здесь с тремя профессорами сербской Главной школы, людьми очень развитыми и отлично знающими по-русски, так как они получили образование в русских университетах. Пробывши с неделю в Белграде, я поплыл по Дунаю до Вены, а оттуда пустился по железной дороге в Остенде с целью выдержать курс морского купанья. Проезжая через Брюссель, я остановился там на три дня, осматривал город и его достопримечательности и был чрезвычайно поражен, увидевши на паперти одной церкви густую толпу народа и прочитавши приклеенную к церковным дверям афишу, где извещалось, что по случаю юбилея какого-то римско-католического святого папа приглашает верных католиков исповедаться и причаститься и совершить несколько благочестивых подвигов и за то получить отпущение грехов, пользуясь особенно благоприятным для этого временем юбилея святого. Огромное стечение народа показывало, что вера в отпущение грехов сильно сохраняется в этой стране, и мне пришлось в голову: едва ли бы нашлось много таких благочестивых фанатиков в моем русском отечестве, если бы в церкви провозглашена была надежда на отпущение грехов по поводу какого бы то ни было воспо-

минания о лице, прославившемся своею святостию. Здесь действует, очевидно, старый католический догмат, что святые мужи совершили в своей жизни более праведных дел, нежели сколько нужно для их личного спасения, и лишние дела составляют церковную сокровищницу, из которой церковь может раздавать благодать отпущения грехов верующим чадам своим. В Остенде я пробыл месяц, постоянно купаюсь в море. Местоположение этого города чрезвычайно скучно и однообразно. Самое купанье представляет то неудобство, что по причине мелководия на берегу купающихся вводят в подвижные клетки на колесах и везут их до глубоких мест. Частые дожди и ветры не делают климата этой местности особенно приятным; прогулки здесь невозможны, так как в самом городе и его окрестностях нет никаких рощ. Окончивши свое лечение, я воротился в отечество через Берлин в первых числах сентября и, установившись в Петербурге, принялся снова за Смутное время.

В 1864 году я напечатал в журнале «Библиотека для чтения» сочинение «Ливонская война» и приготовил для напечатания в следующем году в том же журнале другое — из истории Южной Руси конца XVI века. В это же время я получил от Харьковского университета приглашение занять кафедру русской истории; но министр Головнин объявил мне, что по причине возникших в некоторых русских газетах обвинений меня в «украинофильстве», он не советует мне принимать кафедры в Малорусском крае и предложил испросить высочайшего утверждения за мною пожизненного профессорского содержания, уже прежде предоставленного мне только на три года. Согласно совету и предложению министра я отказался от чести занять кафедру в Харьковском университете.

XI

Занятия Смутным временем.

Археологические поездки на север.

Поездка в Варшаву. «Вестник Европы».

Печатание «Смутного времени»

Всю зиму с 1864-го на 65-й год и весну 1865-го я продолжал ревностно трудиться над эпохою Смутного времени; занятия эти так увлекали меня, что нередко я проводил целые ночи, не в состоянии будучи оторваться от исследования лиц этой знаменательной в истории русского народа эпохи. Эти бессонные ночи расстроили мой организм до того, что хотя я после дневного и вечернего труда над «Смутным временем» ложился в постель для ночного отдыха, но не мог пользоваться благотворным сном: нервы мои были сильно возбуждены — меня беспокоили галлюцинации зрения и слуха. Я решился прервать на время эти занятия, чтобы совершить некоторые

поездки с археологической целью. Летом 1865 года я отправился для обозрения нескольких исторических местностей на север от Москвы. Путь мой лежал по железной дороге до Твери и на этот раз ознаменовался для меня событием, чуть не стоившим мне жизни. Недалеко от Волховской станции поезд сошел с рельсов на краю насыпи, так что вагоны наклонились уже набок и готовы были полететь с насыпи вниз. В переполохе пассажиры метались как безумные. Я выскочил из вагона и покатился вниз по скату насыпи. Мне казалось, что вагон, наклонившийся набок, упадет за мною вслед и раздавит меня, но, на счастье, успели остановить его ход в самое то мгновение, когда он уже наклонился и готовился упасть. Случай этот произошел от того, что в одном месте изломались рельсы и завернулись вверх, чуть не пробивши вагона. Мы прождали часа полтора в поле, покрытом кустарниками, пока поставили вагоны на рельсы. Из Твери я поплыл на пароходе до Рыбинска, пересел на другой и поплыл по Шексне. Берега этой реки мне показались грустными и пустынными: они были низки, большею частью покрыты верболозом, и только изредка мелькали жилые места, и то вдали. Так было до самого Череповца, где надобно было пересаживаться на другой, меньший пароход, следовавший до Ниловецкой пристани. Отсюда берега Шексны делаются лесисты. Из Ниловец пришлось ехать на наемных лошадях вплоть до самого монастыря и посреди кустарников. Кирилло-Белозерский монастырь стоит в уездном городе Кириллове, на берегу озера. Кирпичные стены монастыря напоминают ограду Троицко-Сергиевой Лавры, хотя несколько ниже, со множеством башен. Входя в главные ворота, встречаешь большой двор, засаженный монастырскими огородами; за ним следует другая, внутренняя стена, за которою уже монастырские постройки и церкви. Главная церковь, где стоит гроб чудотворца Кирилла, не представила мне ничего особенного. Мощи святого под спудом и никогда не открываются; пол церкви чугунный, от чего чувствовался большой холод, хотя тогда был июнь; печей в церкви нет, и можно вообразить себе, какой нестерпимый холод должны чувствовать здесь богомольцы зимою в таком суровом климате. Близ главной церкви стоит другая, небольшая, построенная над могилами князей Воротынских и Одоевских. Здесь погребены две жертвы свирепства Ивана Грозного, который впоследствии в своем послании к игумену этого монастыря упрекал его, что гроб Воротынского поставлен в большем почете, чем гроб чудотворца Кирилла. Богатая библиотека этого монастыря уже в то время была вывезена в Петербург, но оставалось еще много рукописей, относившихся собственно к делам монастыря, и сверх того большой запас старого оружия для ратных людей, которые помещались в военное время в монастыре, имевшем значение крепости. Здесь можно было видеть и мечи, и бердыши, и копья, и старого калибра пушки, и ружья. Не менее любопытна монастырская ризница, где хранится множество даров московских царей и цариц,

оказывавших с самого Ивана Грозного особое расположение к этому монастырю. Между прочим, в ризнице показывают полотняную ризу св. Кирилла, его одежду, железные вериги, которые он надевал на голое тело, и его деревянный ковш, с которым он ходил в путь. На противоположной стороне ворот из монастыря выход к берегу озера, а на противном берегу его виднеется женский Горицкий монастырь; над волнами озера вьется множество чаек, наполняющих воздух пронзительным грустным криком. По преданию, к этому месту любил ходить и просиживать на берегу озера сосланный в монастырь при императрице Анне киевский митрополит Ванатович, пробывший здесь в заточении целых десять лет. Кирилло-Белозерский монастырь был не раз местом ссылки разных исторических лиц. В настоящее время в нем было до ста человек братии со служками. Осмотревши монастырь, я съездил в Горицы, в знаменитый женский монастырь, где при Иване Грозном заточены были две княгини и потом утоплены в Шексне, как гласит его помянник. Здесь погребена была мать царевича Димитрия, постриженная в упраздненном ныне монастыре на Выксине (Череповецкого уезда). В Горицах она построила придел во имя своего сына Димитрия после причисления его к лику святых. Горицкий монастырь был неоднократно местом ссылки исторических русских женщин, между прочим — невесты Петра II Долгорукой. В настоящее время в нем более пяти-сот сестер, из которых многие занимаются искусным шитьем и продают свои произведения приезжим, но не за дешевую цену. При таком процветании женских работ ризница монастыря чрезвычайно богата разнообразными и великолепными священническими одеждами, в чем едва ли может соперничать с Горицким какой-нибудь другой монастырь. Возвратившись в Кирилло-Белозерский монастырь, я простился с тамошним архимандритом и отправился осматривать другие; посетил Нилову пустынь, с которою связано воспоминание знаменитого в нашей духовной литературе Нила Сорского, но в этом монастыре нет более ничего древнего. Здания новые и деревянные, самое местоположение его непривлекательно. Гораздо красивее смотрит монастырь Кирилла Новозерского, поставленный посреди озера на острове, где также есть мощи местного чудотворца, другого Кирилла. Я посетил церковь бывшего Ферапонтова монастыря, теперь уже упраздненного. Место это замечательно тем, что сюда сослан был низложенный патриарх Никон¹¹⁴ и пробыл здесь в заточении несколько лет, после чего был переведен в Кирилло-Белозерский, где и получил известие о своей свободе, которою, однако, ему не удалось вполне воспользоваться. Край, по которому я ездил, замечателен чрезвычайным множеством озер больших и малых, повсюду обросших лесом, и вообще повсюду видно изобилие лесов. Густые рои мошек и комаров на каждом шагу тревожат путешественника; природа угрюма, но между жителями везде заметно довольство; они большею частью судостроители и рыболовы. Население здесь вообще немно-

численно: вероятно, неудобства к земледельческому производству заставили жителей в прежние времена постоянно выселяться в другие места. Возвратившись обратно по Шексне на Волгу, я поплыл на пароходе до Костромы, миновавши Ярославль и предполагивши осмотреть его после.

По приезде в Кострому первым делом было съездить в знаменитый Ипатьевский монастырь¹¹⁵, лежащий за городом на западной стороне. Здесь мне показали дом, где жила Марфа Ивановна со своим царственным сыном и откуда была вызвана с ним на монастырский двор: там происходили переговоры с послами, приехавшими от московского Земского собора просить шестнадцатилетнего Михаила на царство. В доме этом мне не могли ничего показать помнившего славное время, кроме стен, но в ризнице показали много вещей, подаренных Михаилом Федоровичем, и, между прочим, его палку, которую он оставил здесь на память, когда вместо нее принял предложенный ему скипетр Русского государства. Икона, находившаяся в то время у его матери, поставлена в Костромском соборе и там пребывает до сих пор; народ приписывает ей чудотворное свойство, она известна под именем Феодоровской Божией Матери. На одной из площадей Костромы красуется памятник Сусанину; на памятнике сделано барельефами изображение убиения его поляками в лесу, в том виде, в каком рассказывается это событие под влиянием книжных вымыслов.

Из Костромы я воротился в Ярославль, а оттуда поехал в Ростов, посетил тамошние церкви, гроб и келию св. Димитрия Ростовского. В его келии видел я замечательную картину, изображающую (масляными красками) как Димитрий испрашивает у родителей благословения идти в монахи. Его отец, мать и сестры изображены в старых малорусских костюмах того времени. Картина эта принадлежала самому святому и сохранялась им как памятник величайшего события в его жизни. Из Ростова я поехал на перекладных в Переяславль-Залесский и думал пробраться оттуда в Александров, чтобы посмотреть на знаменитую в истории тиранствами царя Ивана Васильевича Грозного Александровскую слободу, но тут на дороге у меня в правой ноге сделалась невыносимая боль, побудившая меня отложить это намерение и ехать к Троицко-Сергиевой лавре, где бы я мог получить медицинское пособие. Внезапная боль эта была до того нестерпима, что я без крика не мог сидеть на телеге и сойти с нее. Когда меня привезли в Троицкий Посад, первым делом моим было обратиться к знакомому мне ректору Академии Александру Горскому с просьбою снабдить меня врачом. Александр Васильевич привел ко мне монастырского врача, какого-то немца, поклонника гидропатии. Врач этот назначил мне ездить по два раза в день в его монастырскую больницу, чтобы пользоваться водяным лечением. В больнице был монах, приученный доктором обращаться с гидропатическими приемами. После нескольких дней лечения холодными

душами и ваннами доктор приказал мне сделать несколько соленых ванн и через неделю позволил мне ехать в Петербург, давши совет постоянно купаться до глубокой осени и несмотря ни на какие перемены погоды. Я воротился в Петербург и в продолжение двух месяцев купался по два и по три раза в день. В сентябре ноге моей стало значительно легче, хотя боль не совсем прошла.

Я отправился в Варшаву с целью познакомиться там с рукописными памятниками, относящимися к Смутному времени и, приехавши туда, поселился у моего приятеля, бывшего редактора «Основы», Белозерского, поступившего туда на службу в Учредительный комитет. Живучи у него, я каждое утро ходил в баню продолжать холодное лечение своей ноги, а потом отправлялся заниматься. Первым и важнейшим местом моих занятий была библиотека Красинских, бывшая покойного графа Свидзинского. В этом книгохранилище я нашел большое количество рукописных источников, относящихся к обрабатываемой мною эпохе, и заметил, что еще большее богатство материалов выпало здесь на долю периода казацкой истории; но обращая в то время все внимание на Смутное время, я отложил всякие другие занятия до иной поры. Кроме занятий в библиотеке Красинских я ездил несколько раз в библиотеку Виляновскую, отстоящую верст за десять от Варшавы, в имении графов Потоцких, и там много для себя любопытного нашел я благодаря ласковому приему библиотекаря Пшиленского и его двух дочерей, хорошо знавших польскую историю и с любовью помогавших мне в отыскании материалов. В свободное время от занятий я посещал варшавские церкви, театры, кладбища и, прибывши на Повонзковское кладбище, увидел множество памятников на могилах лиц, знаменитых в польской истории последнего времени, эпохи падения польской независимости. Здесь явилось у меня намерение заняться обработкою этой эпохи. Мне казалось, что недостаток исторической обработки этой эпохи составляет один из важнейших пробелов в нашей истории, и стоило приложить труд, чтобы его пополнить. Долгое время занятие историею падения Польши было почти немислимо, потому что большая часть важнейших источников, относящихся к этому знаменитому событию, не только не была напечатана, но и самый доступ к пользованию ими не был дозволен. В нашей русской литературе, кроме «Истории падения Польши» Соловьева, не было ничего сколько-нибудь разработанного по этой части. Польская литература также мало могла похвалиться чем-нибудь капитальным в научном отношении. Правда, в последнее время в ней появлялись один за другим более или менее важные мемуары участников великого события, но они не были еще надлежащим образом разобраны и освещены критикою, притом же сами по себе не составляли еще всего богатства источников, нужных для обработки эпохи. В заграничных литературах также нельзя было указать на обилие сочинений по этой эпохе. Во французской литературе сочинения по этому вопросу все почти

составлялись со слов поляков, искажавших истину под обаянием патриотизма. Немецкая литература представляла несколько почтенных явлений, как например: «История России» Германа, творения Зибеля¹¹⁶, биография Суворова, написанная Шмидтом, но авторы их занимались вопросом только с известных немногих сторон, оставляя или даже упуская другие, не менее важные. От этого — относительно вопроса о причинах падения польской Речи Посполитой, а равно и о характере событий, сопровождавших это падение, — можно было постоянно и повсеместно встречать самые сбивчивые, а нередко и самые уродливые сведения. Прежнее правительство наше долгое время считало изучение падения Польши как бы запретным плодом, и неудивительно, если польская молодежь, начитавшись об этом кое-чего из заграничных книг или из произведений польских эмигрантов, да вдобавок поддаваясь внушениям своих старых соотечественников, расхваливавших старое время и вздыхавших об уничтожении старых порядков, воображала себе бог знает сколько хорошего в том, чего не знала обстоятельно. Таким образом, Конституция 3 мая¹¹⁷ являлась их воображению таким безусловно-благодетельным актом народной мудрости, какому подобного едва можно отыскать во всей истории человечества, а эпоха восстания Костюшки¹¹⁸ представлялась доблестным всенародным движением за дело всеобщей свободы и всеобщих прав человечества. С другой стороны, политические силы, содействовавшие падению Польского государства, воображались в самом возмутительном виде, и факт раздела Польши казался самым гнуснейшим актом насилия и коварства. Этот взгляд проповедовался поляками и между русскими — и те из русских, которых коробило от польских речей, не в состоянии были делать на них возражения, так как сами не менее поляков находились в неведении об этих вопросах. Незнание поляками своей истории, незнание, поддерживаемое долго боязливостию нашего прежнего правительства, привело к тому печальному результату, что в польских головах не сложилось правильного представления о народе: поляк часто употреблял это слово, а между тем разумел под ним совсем не то, что оно должно было означать по здравому смыслу. Поляк твердил о польском народе, а разумел под ним одну шляхту, и положение всего прочего большинства народа, осужденного на крайнее рабство под республиканским правлением Польши, ему было или неизвестно, или он прикидывался, что не знает о нем. От этого в последнее время, незадолго до восстания шестидесятых годов, русская молодежь в известной степени симпатически относилась к польским политическим мечтаниям: находились русские, не только учившиеся истории, но и сами писавшие исторические статьи, которые по неведению местных вопросов, относящихся к Польше и вообще к Западному краю, склонны были верить, что Польша была демократична — и вместе с тем готовы были признавать справедливость польских замашек — считать несомненною принадлежностью

Польша такие древние русские области, которые играли самую видную роль в русской истории дотатарского периода. Последнее восстание поляков просветило русский взгляд; сочувствие к польским претензиям уничтожилось после бесцеремонных выходов поляков, но правильного взгляда на своих врагов-соседей русские все-таки не получили. В патриотических статьях тогдашних русских газет это ярко выказывалось. Поляки возбуждали в русском обществе негодование, доходившее до ненависти, но полякам приписывали такие качества, каких вовсе не было в польской народности. Отдельные исключительные случаи, или признаки, общие всем народам в периоды мятежей и восстаний, провозглашались за характеристические черты польской народности. Чтобы поставить русское читающее общество на настоящую точку воззрений, надобно было представить ему беспристрастную картину старой польской жизни и событий, сопровождавших прекращение самобытности Польши. Эту-то задачу я задумал взять на себя в то время, как памятники Повонзковского кладбища расстилались перед моими глазами с воспоминаниями эпохи конца польской независимости.

Встретившись в Варшаве случайно со Всеволодом Крестовским, занимавшимся раскопками в подземельях варшавских монастырей, я получил от него приглашение сопутствовать ему в его подземных путешествиях и увидел много такого, о чем никак не догадывался. Спустившись в подземелье одного из монастырей, мы заметили, что в кирпичной глухой стене, в которую упиралось это подземелье, есть пустота; приказали разбить стену и вошли в огромный длинный коридор, наваленный остатками перетлелых гробов и человеческих костей. Прошедши по этому коридору, мы наткнулись на другую стену, за которою также заметили пустоту; приказали проломить ее и вступили в новый коридор, также переполненный развалинами гробов и костей. Оказывалось, что коридоры эти шли под улицами Варшавы, и над нашими головами мы слышали езду экипажей. Почти в каждом монастыре мы встречали усыпальницы с гробами то замурованными в стену, то стоящими на земле. В монастыре капуцинов на Медовой улице нашел я несколько трупов, высохших и сохранивших человеческий вид. Один из этих трупов, какой-то панны Кицкой, лежал в гробе без одежды, обтянутый большим куском белого атласа, и чрезвычайно хорошо сохранился. Рядом с нею в другом гробу лежал какой-то епископ, а подальше — какой-то капитан гвардии в больших черных сапогах и в красной шапке с пером. Варшавские монастыри перед временем моего приезда в Варшаву были упразднены; оставшиеся монахи и монахини развезены по монастырям вне Варшавы, которых существование было до поры до времени дозволено, а их прежние помещения предполагалось обратить на разные полезные общественные заведения. Таким образом, капуцинский монастырь на Медовой улице переделывался в то время в женскую гимназию. Замечательно, что эта мера не

возбуждала неудовольствия в поляках. Люди образованные сознавались, что это дело полезное; вздыхали только старые девотки.

В Варшаве я имел случай познакомиться с несколькими почтенными учеными, между прочим с Мацеиовским, добродушным стариком уже преклонных лет, но с юношеским увлечением преданным славянским древностям, которыми он так небесплодно занимался в своей жизни; с Войцицким, едва ли не лучшим знатоком быта польского простонародия; с издателем «Варшавской библиотеки» Бартушевичем; с библиотекарем библиотеки Красинских Хоментовским, столько знающим свою отечественную историю, сколько любезным для меня указателем варшавских достопримечательностей; и с некоторыми другими учеными и литераторами. Случайно встретил я здесь своего давнего знакомого — поэта Одынца, переехавшего на жительство из Вильны в Варшаву. Меня предупреждали, что поляки, ненавидя «москалей», обращаются чрезвычайно нелюбезно с русскими, но я на опыте увидел совсем не то, чего мог ожидать по рассказам и, приглядевшись к жизни и быту Варшавы того времени, сделал такой вывод, что за исключением, разумеется, ярых фанатиков своей национальности, большая часть образованных поляков относилась с беспристрастной любезностью к русским путешественникам. В свободные вечера я посещал варшавские театры. Собственно польский, национальный театр по достоинству артистов стоял тогда на высокой степени, в особенности когда игрались пьесы, в которых выводился национальный польский быт. В городе еще видны были следы недавних беспорядков: жителям запрещалось ходить ночью без фонарей, и это представляло значительное неудобство для путешественника, так как надобно было постоянно держать в руке фонарь с горящею свечою.

Я возвратился в Петербург во второй половине октября и принялся приводить в порядок сделанные мною выписки из рукописных источников для эпохи Смутного времени и заносить в составленный текст сочинения вновь добытые сведения.

Вскоре после того обратился ко мне Михаил Матвеевич Стасюлевич с предложением принять участие в издании предполагаемого им журнала. По моему совету Михаил Матвеевич согласился дать заглавие журналу «Вестника Европы» и тем воскресить прекрасное воспоминание в русской литературе о литературной деятельности таких корифеев русского слова, как Карамзин и Жуковский. На первое время предполагалось издавать журнал нам двоим — по четыре книжки в год — и посвятить его исключительно истории. Это было бы нечто вроде немецкого «Historische Zeitschrift», издаваемого тогда Зибелем. Впоследствии издательская деятельность осталась за одним Стасюлевичем, так как он вносил для издания собственный капитал, а я не мог туда ничего внести, кроме своего труда. Первым вносом моим в новый журнал было мое «Смутное время». Кроме того я обязывался вести постоянно рецензии всех выходящих как в России,

так и за границу книг, относящихся к истории. Первый номер журнала выходил в марте 1866 года, и в нем появилось в свет начало моего «Смутного времени». Печатаение этого сочинения продолжалось в течение почти двух лет, 1866—1867-го. Между тем, пока сочинение мое печаталось, я принялся за «Последние годы Речи Посполитой» и усиленно занимался чтением источников в Публичной библиотеке начиная с моего приезда из Варшавы — сплошь всю зиму и весну.

В апреле 1866 года Петербург был взволнован покушением на жизнь государя. В этот день я условился с М. М. Стасюлевичем быть в Александринском театре и хотел прийти туда к началу представления из Публичной библиотеки. Выйдя из библиотечного здания, я заметил на улице какое-то волнение в народе и услышал толки о том, что в государя стреляли. Я пытался расспросить, где и что произошло такое, но не мог получить ничего удовлетворительного. Прибыв в ложу Александринского театра, я слышал доходившие до меня из партера шумные разговоры о случившемся событии и мог из них только понять, что злодеяние не удалось и было отвращено каким-то простолудином. Вдруг в первом антракте вышел за занавес один из артистов и возвестил публике, что спаситель государя — мещанин Зайчиков. Последовали рукоплескания, и имя Зайчикова начало возноситься с похвалами. Поднялся занавес, начали играть и петь «Боже, царя храни», и по требованию публики наш народный гимн несколько раз повторялся и в других антрактах. Весь театр был иллюминирован. Когда я возвращался из театра домой, весь Невский проспект был залит огнями иллюминации. Наутро из газет узнал я настоящее имя случайного спасителя жизни государя; но имени преступника никто еще не знал, потому что сам он не объявлял его. Повсюду в публике и в народе несколько дней только и речи было, что о случившемся событии, но за неведением настоящего имени преступника делались различные предположения, а главное, большинство думало, что преступник должен быть поляк. В таком убеждении была публика в один из следующих за тем вечеров, когда в Мариинском театре дан был торжественный спектакль в присутствии некоторых членов августейшего дома. Комисарова с его женою поместили в одной из лож бельэтажа рядом с парадною царскою ложею. Публика много раз обращалась к нему с громким криком «ура!». Один из представителей русской поэтической литературы, А. Н. Майков, читал со сцены стихи, в которых выражал от имени русского народа негодование к гнусному злодеянию и делал намеки, что если преступник неизвестен, то по крайней мере все уверены, что он не русский. Что подозрение падало на поляков, это выразилось в том, что публика с негодованием зашикала, когда во втором действии дававшейся тогда оперы «Жизнь за царя» стали танцевать полонез; то же шиканье раздалось и в третьем действии, когда в избу Сусанина вступили поляки. Комисарова провели из ложи на сцену и поставили перед публикой в то время, когда пелся хор «Славься, славься», и вместо

имени Сусанина произносилось имя Комисарова. Через несколько дней наконец узнали, что преступник — уроженец Саратовской губернии и бывший студент Московского университета. Но и тогда патриотическое русское чувство возмущалось мыслью, что на такое злодеяние отважился чисто русский человек, и были попытки доказать, что фамилия Каракозов не русская, а армянская. Эти попытки оказались неудачными и с негодованием были опровергнуты защищавшими свою честь армянами, доказывавшими, что на армянском языке нет слов для произведения этой фамилии. Когда следствие по совершенному преступлению было поручено М. Н. Муравьеву, на литературный петербургский круг нашел безотчетный страх. Пошли носиться слухи, что будут привлечены к следствию все, которые в своих сочинениях и статьях чем-нибудь навлекли на себя подозрение в неблагонамеренности и неодобрении правительственных действий,— и в самом деле начались аресты пишущей братии. Тогда — не знаю у кого — появилась мысль подать правительству адрес от литераторов, заявлявший о негодовании их к преступлению. Такой адрес приносили и ко мне с предложением подписать его; но так как в нем было сказано, что его подадут люди различных политических мнений и убеждений, то я отказался его подписывать, объяснив, что, не занимаясь современною политикою, а посвящая себя исключительно исследованию прошедшего быта отечественной истории, я не могу себя причислить ни к какому политическому мнению и убеждению; притом же такое неопределенное выражение давало повод предполагать, что в числе людей «различных» мнений и убеждений могли быть люди, избравшие себе целью оппозиции против правительства, а я по своей специальности не мог себя причислить ни к какой партии. И я не ошибся: намерение подавать такой адрес вовсе не нашло себе сочувствие в сфере высших властей.

В это время произошли важные перемены в администрации: князь Суворов оставил свою должность, и самое звание генерал-губернатора было упразднено в Петербурге. Шеф жандармов князь Долгорукий также выбыл, а министром народного просвещения вместо бывшего Головнина назначен граф Дмитр. Андр. Толстой. Его товарищем стал бывший некогда попечитель Петербургского учебного округа, директор императорской Публичной библиотеки И. Д. Делянов.

В мае я занимался редакцией сочинений Т. Г. Шевченко, которых издание взял на себя книгопродавец Кожанчиков ¹¹⁹.

ХII

**Поездка в Саратов. Лечение в Старой Руссе.
Занятия историею последних лет Речи Посполитой.
Командировка в Несвиж.
Печатание «Последних лет Речи Посполитой».
Публичные лекции в клубе художников**

В конце июня 1866 года я отправился на двадцать дней по Волге в Саратов. Еще во время моего жительства в этом городе остался мне должным один тамошний житель, уже умерший. Дело об уплате долга производилось со времени моего первого пребывания в Петербурге и, наконец, решилось тем, что Гражданская палата назначила к продаже его дом, но за неявкою покупателей на торгу предоставила этот дом мне во владение. Недвижимая собственность в такой далекой от моего жительства местности была для меня бременем; к счастью, я получил письмо от одного саратовского жителя, извещавшее меня о желании купить присужденный мне дом, уплатив мне состоявший на нем долг. Я прибыл в Саратов и на пароходной пристани встретил моего покупателя, который в продолжение двух часов покончил со мною счеты, выпросив от моего имени доверенность моему знакомому на совершение купчей крепости. Пользуясь случаем, приведшим меня снова в край, в котором я некогда проживал, я несмотря на нестерпимый зной объехал город, посетил мою любимую монастырскую рощу, куда так часто ездил пить чай, повидался с моими приятелями Мордовцевыми, с моим старым слугою Фомой и на другой день рано утром пустился в обратный путь, а по возвращении в Петербург отправился в Старую Руссу и там в продолжение двух недель купался в соленом озере. Уже давно страдал я разнообразными нервными болезнями, время от времени прибегал к различным пособиям медицины, много раз при усилившемся нездоровье решился испытать действие соленых озер. Это купанье произвело на меня благодетельное влияние, по крайней мере на время.

Воротившись в Петербург, я имел случай быть свидетелем мрачной сцены смертной казни преступника Каракозова, совершенной 2 сентября на Смоленском поле. Я решился пойти на это потрясающее зрелище для того, чтобы быть однажды в жизни очевидным свидетелем события, подобные которому мне беспрестанно встречались в описаниях при занятии историей. Меркантильное направление Петербурга поспешило из этого извлечь для себя выгоду: продавались довольно дорогою ценою скамьи, с которых удобно было видеть совершаемую казнь. Преступник, которого я до тех пор не видел, оказался молодым человеком лет 25-ти, чрезвычайно бледный и до такой степени истощенный, что когда его ввели на эшафот и привязали к позорному столбу, он не устоял на месте и упал, но был поднят палачами. При вступлении на эшафот он положил на себя крестное

знамение. Полицейский чиновник прочитал приговор, слова которого не доходили до моих ушей. Потом взошел к нему на эшафот священник, протоиерей Полисадов, бывший прежде профессором в университете, прочитал над ним отходную, дал ему поцеловать крест и удалился. Палачи стали надевать на него рубашку с колпаком, закрывавшим голову. Преступник сам помогал надеть на себя эту роковую рубашку. Палачи туго завязали ему назад руки, свели с эшафота и повели к виселице, сделанной глаголем и поставленной вправо от эшафота. Когда его подвели к петле, палач сделал ему два удара петлею по затылку, потом накинуд ему петлю на шею и быстро поднял вверх по блоку. Я посмотрел на часы и заметил, что в продолжение четырех минут повешенный кружился в воздухе, бил ногою об ногу и как бы силился освободить связанные руки; затем движения прекратились, и в продолжение получаса преступник посреди совершенно молчавшей толпы висел бездвижно на виселице. Через полчаса подъехал мужик с телегой, на которой был простой некрашенный гроб. Палачи сняли труп и положили в гроб. Отряд солдат с ружьями провожал его в могилу, приготовленную где-то на острове Голодае. Толпа разошлась. Публика, как я заметил, относилась к этому событию совершенно по-христиански: не раздалось никакого обвинения и укора; напротив, когда преступника вели к виселице, множество народа крестилось и произносило слова: «Господи, прости ему грех его и спаси его душу!» Я достиг своей цели: видел одну из тех отвратительных сцен, о которых так часто приходится читать в истории, но заплатил за то недешево: в продолжение почти месяца мое воображение беспокоил страшный образ висевшего человека в белом мешке — я не мог спать. Успокоившись, я принялся за свои обычные занятия историею последних лет Речи Посполитой и разбирал материалы, хранящиеся в Литовской метрике при правительствующем Сенате¹²⁰. Здесь я нашел чрезвычайно богатый запас источников: все дела четырехлетнего сейма, Стражи, учрежденной после Конституции 3 мая, Высочайшего совета, существовавшего в Варшаве в эпоху Костюшки, и судные дела Индигационной комиссии над лицами, навлекшими на себя подозрение у патриотов, защищавших независимость Польши. Все это послужило мне с незаменимою пользою для моего труда. Между тем занятия мои обращались также и к Археографической комиссии, где я уже в продолжение нескольких лет печатал один за другим томы Актов Южной и Западной России, почти каждый год выпуская по тому.

В следующем 1867 году, весною, однообразие петербургской жизни было нарушено приездом славянских гостей, подавших повод к угощениям, празднествам и овациям, в чем участвовали преимущественно лица, принадлежащие к ученому литературному кругу; но я не принимал в этом никакого участия и виделся только с несколькими знакомыми чехами и галичанами, посетившими меня во время своего кратковременного пребывания в русской столице. Я был тогда весь

погружен в занятие историею падения Польши и так дорожил своим временем, что не решался отвлекать его ни на что другое. В июне того же года Археографическая комиссия дала мне командировку в город Несвиж для рассмотрения находящегося там архива князей Радзивиллов. Я поехал через Вильно, где увидел совсем не то, что было в прежний мой приезд. Музей находился уже в русских руках и содержался в русском духе. Католическая святыня повсюду уступала место православной. Поляки, уstraшенные энергическими мерами недавно еще правящего здесь Муравьева, присмирели, боялись публично говорить по-польски и щеголяли русскою речью, часто коверкая ее самым забавным образом. Многих из прежних моих знакомых я не встретил здесь более: иные померли, другие удалились. Попечителем Виленского учебного округа был тогда Корнилов, человек энергически предавшийся мысли о просвещении простого белорусского народа и о заведении в крае повсеместных народных училищ. Это была одна из симпатичнейших личностей, какие мне приходилось встречать в жизни. Здесь я узнал, что некто Гогель, служивший при Муравьеве, написал какое-то историческое известие * о бывшем польском мятеже в Литовском крае и легкомысленно запятнал мое имя, сообщая, будто бы я, сочувствуя польскому мятежу, говорил польские речи, носил польский траур и пел с поляками в костелах революционные песни. Самого автора этой клеветы я не видал, но мне передало одно официальное лицо, что Гогель оправдывал свои против меня выходки тем, будто бы он нашел эти обо мне сведения в официозных источниках; официозными же источниками называл он письма, взятые у польских преступников во время производства суда над ними в Вильне. Всякий здравомыслящий человек может пожалеть об уме и степени добросовестности этого Гогеля, называвшего официозными источниками переписку политических преступников: не нужно большой сообразительности, дабы понять, что подобная переписка менее, чем что-нибудь, может внушать к себе доверие, так как поляки в пылу своего патриотического фанатизма, естественно, старались представить свое дело как можно более в виде, внушающем надежды, и не останавливались тогда, когда им приходилось оговорить в связи с собою кого-нибудь из русских, чтобы таким образом выказать, что их польское дело до того справедливо, что возбуждает сочувствие даже у русских людей.

В виленской публичной библиотеке я нашел очень подходящую к предмету, которым я тогда занимался, рукописную книгу. Это был сборник всякого рода статей — как имевших официальный характер, так и чисто литературный и относящийся к эпохе 1794 года. Корнилов дозволил мне взять на время эту книгу в Петербург. Пробывши в Вильне дня четыре, я отправился к месту моей командировки и, проезжая через Лиду, осматривал очень любопытные и живописные

* «Иосафат Огрызко и петербург. революцион. ржонд в деле посл. мятежа». Вильно, 1866 (Прим. А. Л. Костомаровой).

развалины находящегося там замка, от которого уцелело много стен, но без кровли. Проезжая через Новогрудек, я осмотрел в окрестностях его разрушенный замок, построенный на берегу озера. Как кажется, это тот замок, который послужил Мицкевичу сюжетом для его повести «Гражина».

Наконец я прибыл в Несвиж и, остановившись в местечке, отправился в княжеский замок, построенный на острове, лежащем посреди пруда. На замке возвышалась башня, на которой красовался герб Радзивиллов. Перед самым островом, еще на твердой земле, в конце местечка я увидел костел, под помостом которого находятся гробницы всех лиц княжеской фамилии Радзивиллов. В то время в костеле был храмовой праздник Петра и Павла и совершалось богослужение. Я заходил в этот костел и увидел очень богатые образа и облачения на престоле и на ризах. Замок построен четверугольником, образуя в середине замкнутый двор. Сторона обхода над воротами вся занята архивом; прямо против нее внизу помещается управляющий, а сверху комнаты оставлены пустыми. Вход к ним ведет по широкой лестнице, в некоторых местах от времени уже обветшалой; свод над нею расписан фресками, изображающими разные мифологические предметы. Вправо в верхнем этаже — картинная галерея портретов князей Радзивиллов и разных панов, находившихся с ними в свойстве. На левой стороне верхний этаж совсем внутри обвалился. Там были покои, в которых известный князь Карл Радзивилл, оставивший по себе прозвище *Panie kochanku*, давал блистательные угощения польскому королю Станиславу Августу, а под низом кладовые, где, между прочим, находились старые заржавленные пушки. По распоряжению, присланному от владельца замка, жившего в то время в Берлине, меня пригласили поместиться в замке в пустых комнатах, находившихся над помещением управляющего, и я, перебравшись туда, тотчас занялся рассмотрением архивных бумаг. К сожалению, оказалось, что большая половина этих бумаг была уже отправлена в Берлин по требованию владельца. Я нанял писца для составления каталога документов, находившихся в наличности в архиве, и стал их рассматривать. Тогда же в Несвиже жило двое чиновников, служивших при виленском музее и отправленных Корниловым для той же цели, но для видов Археографической комиссии. Независимо от работ над архивом я при содействии помощника архивариуса Шишко осматривал усыпальницу Радзивиллов в их костеле, построенном за воротами замка. Несколько гробов были при мне открываемы: более древние представляли безобразную грудку костей и кусков согнившего платья и обуви. В таком виде предстали мне: Николай Чорный, свояк короля Сигизмунда Августа, и князь Криштоф, сват Константина Острожского. В гробах времен более близких к нам сохранилось более человеческого образа. Так, одна из супругов Иеронима Радзивилла, жившего в XVIII веке и оставившего по себе большой дневник, хранящийся в архиве, представилась с телом белого цвета, как

будто окаменелым и одетым в богатое белое атласное платье. В гробе Карла Радзивилла (Panie kochanku) я увидел скелет, одетый в нижнее платье синего цвета, большие сапоги и желтоватый кунтуш с андреевскою лентою через плечо. Облик его черепа сохранился настолько, что можно было по нем представить себе фигуру князя сообразно с портретом его, находящимся в галерее фамильных портретов. Между множеством гробов, поставленных в усыпальнице, есть маленькие гробы умерших княжеских малолетков. Гроб Радзивилла, известного под именем «сиротки» и оставившего после себя описание своего путешествия в Святую землю, сохраняется в особом отделении: «сиротка» чувствуется как бы святой. В портретной галерее, между прочим, я встретил портрет во весь рост Богдана Хмельницкого, зашедший сюда, вероятно, по родству его сына, женатого на молдаванской княжне, свояченице князя Януша Радзивилла. Быть может, там же где-нибудь есть портрет и самого Тимофея Хмельницкого, так как о многих портретах, висящих в галерее, мне не дали объяснения, кого изображают эти портреты.

Из рассмотренных мною бумаг я нашел собственно немного нового, что меня особенно занимало. В числе множества писем, сохраняющихся в архиве, я отыскал целую кучу писем Юрия Мнишка к одному из Радзивиллов, и эти письма тем более возбуждали любопытство, что многие писаны в эпоху заключения Мнишка в Московском государстве; но из тех, которые мне удалось разобрать, я не нашел ничего относящегося к московским смутам; остальные, написанные бледными чернилами и крайне неразборчивым почерком, остались мною неразобранными. По украинской истории особенно обратило мое внимание одно письмо Юрия Хмельницкого, показывающее, что этот гетман уже после своего примирения с поляками под Слободищем¹²¹ питал к полякам непримиримую ненависть, которая отчасти объясняет последовавшее за тем взятие его и заточение в Мариенбургскую крепость.

Я осмотрел также местность, где находился поселок шляхты, которую держал при себе Карл Радзивилл (Panie kochanku). Поселок этот носил название Альба. Шляхтичи, жившие там, пользовались от князя содержанием и всякими выгодами, а за это должны были, как он выражался, отбивать панщину. Панщина же эта состояла в том, чтобы есть и пить вместе с князем когда ему захочется и ездить с ним на охоту, а подчас и быть готовыми на всякие подвиги дебоширства, каким отличался затейливый князь. Старик архивариус, человек лет восьмидесяти, помнящий во времена своего нежного еще детства личность Panie kochanku, рассказывал мне, что, как бывало, на кого-нибудь разгневается князь, тотчас собирает своих альбанцев и посылает наделать пакостей сопернику; альбанцы нападут на имение последнего, истребят на полях хлеб, перебьют скот и птицу, а иногда по приказанию своего патрона сожгут деревню и усадьбу враждебного помещика. Panie kochanku отличался чрезвычай-

ною щедростью и расточительностью, — но чуть только что-нибудь не по нем, он ничем не сдерживался и позволял себе делать самые немислимые вещи, будучи уверен, что в Польше нет силы, которая бы могла поставить его в границы. Был — рассказывал архивариус — у князя приятель, который умел его забавлять и приобрел через то большую любовь князя; но однажды, развлекая князя шутками, он сказал что-то невпопад. Князь ударил его в лицо. Оскорбленный в порыве гнева вызвал князя на поединок, а Радзивилл за такую предерзость созвал своих альбанцев, приказал разостлать ковер и высечь на нем неосторожного приятеля. Приятель после такого бесчестия подал на Радзивилла иск в суд. Тогда по приказанию князя альбанцы напали на его усадьбу, сожгли ее и даже перебили несколько человек прислуги. Шляхтич, видя, что нет возможности искать управы на Радзивилла, решил поладить с ним и избрал такую выходку: улучивши время, когда Радзивилл был именинник и в несвижском замке по этому поводу должен был происходить бал и большой наезд гостей, он прибыл в Несвиж, остановился на постоялом дворе, оделся щеголем и отправился в замок. В то время там происходил бал в полном разгаре. Явившись неожиданно посреди гостей, он подошел к князю и сказал: «Я прибыл заявить вашей княжеской милости, что на свете существуют два великих дурака: первый дурак я, а второй ваша княжеская милость». Радзивилл, увидя его, пришел в испуг; по словам архивариуса, у него «*najezyli sié wlosy, prawa noga wystápila, zakrécil wása i powied zial: co to jest, Panie kochanku?»** Смелчак отвечал ему: «Ваша княжеская милость осмелились идти против Екатерины и принуждены были искать примирения с нею, а я осмелился идти противу вашей княжеской милости и теперь прибыл просить примирения с вами». Радзивиллу очень понравилась эта выходка. «*Zgoda ***, Panie kochanku», закричал он, приказал подать вина и начал пить мировую, а потом велел подать счет всему, что разорили его альбанцы, и тотчас дал обещание заплатить за все втрое. Теперь на месте, где была Альба, видны только поросшие сорной травой фундаменты печей и погребов, и все это место покрыто кустарниками.

Пересмотревши архивные бумаги и получивши список названий бумаг, пересланных в Берлин, я простился с Несвижем и вернулся в Петербург, а через пятнадцать дней поехал в Москву заниматься бумагами Архива иностранных дел, относящимися к эпохе падения Польши. Я пробыл в Москве половину осени, прилежно посещая архив и рассматривая в нем донесения русских послов: Штакельберга, Булгакова, Сиверса и Игельстрома, на что прежде приобрел дозволение от канцлера благодаря содействию его товарища Вестмана. Запасшись всем, что мне было нужно, я воротился домой и снова

* Наежились волоса, правая нога выдвинулась вперед, закрутил усы и сказал: что это значит, Panie kochanku?

** Мировая.

принялся за свою историю, продолжая посещать как Публичную библиотеку, так и Литовскую метрику, и занимаясь там делами, относящимися к Польше описываемого мною времени. Так прошла зима, которая в Петербурге в этот год отличалась редкою суровостью: мороз доходил до 30 градусов и ниже: летающие птицы погибали в воздухе.

Весною 1868 года я на несколько времени прервал свои занятия историею Польши, приготавливая к печати для помещения в «Вестнике Европы» монографию о гетманстве Юрия Хмельницкого, составленную по делам московского архива, и статью о первом разделе церковей при патриархе Фотии, написанную по поводу вышедшей тогда немецкой книги Гергенретера. Обе статьи помещены в «Вестнике Европы» в том же году.

Настало лето, замечательное по необыкновенному зною и удушливому воздуху, происходившему от дыма, долго распространявшегося по всему протяжению столицы от горевших кругом лесов. Думая усиленно заниматься историей Польши, я не нанял себе дачи и оставался в городе, чтобы постоянно пользоваться источниками, и мне пришлось в это лето перенести тяжелое состояние. В сентябре окончились пожары лесов и жители Петербурга избавились от зноя и дыма. Всю осень и следующую зиму я посвящал свои занятия исключительно «Последним годам Речи Посполитой»; наконец, в 1869 году приступил к печатанию моей истории в «Вестнике Европы». Оно тянулось целый год и перешло еще в следующий. В этом году С.-Петербургский университет оказал мне честь, удостоив принятием в число своих почетных членов, и ректор выдал мне диплом на это звание. Зимой с 1869 на 1870 год меня пригласили читать публичные лекции русской истории в клубе художников. Не выходявши уже много лет в публику, я принужден был побороть в себе эту отвычку, и это совершилось для меня не без труда. Лекции мои, которых числом было двадцать, сначала посещались большим стечением публики, но потом моя аудитория ограничилась только теми, которые действительно имели умственный интерес к науке; впрочем, число таких постоянных слушателей простиралось сот до четырех. Я успел прочитать половину русской истории до усиления Московского великого княжества и падения удельного порядка, обращая преимущественно внимание на историю церкви, умственной жизни, нравов, понятий и литературы. В то время как я читал эти лекции, в Киеве, в университете св. Владимира, опять порешили пригласить меня в этот университет на кафедру русской истории; состоялся единогласный выбор и был представлен на утверждение министра; но граф Д. А. Толстой нашел более удобным оставить меня в Петербурге при Археографической комиссии и, не желая лишить меня тех материальных средств, которыми бы я воспользовался при поступлении на кафедру, исходатайствовал у государя императора мне ежегодное содержание, равное окладу ординарного профессора. Это

ходатайство графа Димитрия Андреевича было для меня истинным благодеянием и внушило мне чувство глубокой благодарности к нему: во-первых, я получил возможность остаться в столице и иметь под рукою более средств для учено-литературной деятельности, составляющей цель и наслаждение моей жизни; а во-вторых, я приобрел постоянную поддержку своего материального быта, что освободило меня от необходимости быть в постоянной зависимости и подчиненности от издателей и журнальных редакторов.

В апреле я окончил свой курс или, лучше сказать, половину курса публичных лекций по русской истории.

ХIII

Поездка в Крым. Учено-литературные труды. Поездки с археологической и этнографической целью

В июне я отправился в Крым, где купался сначала в Феодосии, потом в Ялте, в Алушке, в Севастополе и, наконец, в Евпатории. Посещение Севастополя произвело на меня потрясающее впечатление. Припоминая то время, когда я видел его еще населенным и кипевшим жизнью городом со множеством кораблей и судов, окруженным садами и рощами, — теперь въехал в совершенные развалины. Бывшая лучшая часть города представляла ряды домов и стен без кровлей, со следами пушечных выстрелов. Не было и следа существовавших прежде сухих доков; огромные матросские казармы на горе представляли громадную массу развалин. В городе только одна часть, юго-западная, несколько начинала отстраиваться, но и там торчало много непоправленных домов. Первым делом по приезде в Севастополь было посетить Малахов курган, где изрытая земля свидетельствовала о недавно пронесшейся буре, потрясавшей этот край. Множество пуль валялось еще по земле. Затем я посетил знаменитое стотысячное кладбище, где погребены массы защитников Севастополя. Иные могилы принадлежали единичным лицам с надписями их имен; на других огромные плиты носили на себе вырезанное название «братская могила». Здесь тела убитых сваливали вместе, без гробов, в одну яму. Все кладбище засажено молодыми айлантусами, еще не успевшими в то время разрастись. Только что достраивалась великолепная церковь, снаружи в виде конусообразного памятника, а внутри представляющая ротонду в старом византийском вкусе, несколько похожую на петербургскую греческую церковь, — постройка чрезвычайно оригинальная: смотря на здание снаружи, никак нельзя предполагать такого устройства внутри.

Обращаясь от воспоминаний близкого к нам времени к более давним векам, я ездил в Херсонес и Инкерман. В Херсонесе замеча-

тельными показались мне недавно откопанные мраморные фундаменты существовавших там некогда православных византийских церквей и множество обвалившихся мраморных колонн, пьедесталей и капителей. В монастыре, недавно там заложенном, строилась церковь во имя св. Владимира, и в ней сделано было каменное место в виде бассейна: здесь, как догадывались, совершилось крещение великого князя Владимира. Самая местность Херсонеса довольно скучная и однообразная. Путь в Инкерман совершил я на лодке сначала по бухте, потом по Черной речке. Здесь замечательны пещеры в горах; из них одна, находящаяся против монастыря, на противоположном берегу Черной речки, очень просторна, представляет большой идущий вверх коридор и приводит к высеченной в горе комнате с фресками, свидетельствующими, что там некогда существовала церковь; другие, находящиеся на той стороне Черной речки, где монастырь, свидетельствуют о более древнем быте неизвестных народов, обитавших в этом крае в незапамятные времена и, вместо домов, укрывавшихся в пещерах, высеченных в каменных горах. Ход в последнего рода пещеры очень затруднителен, потому что путешественнику приходится идти к ним с полверсты по узенькой тропинке на краю отвесной пропасти. Есть пещеры в два яруса с внутренними каменными ступенями, ведущими из нижнего яруса в верхний. Инкерманский монастырь устроен в большой пещере горы; из церкви по узкой лестнице идет выход на вершину горы, где видны развалившиеся стены древнего города, как полагают, греческого или еврейского.

Из Севастополя я совершил путешествие на перекладной в Бахчисарай, осмотрел в третий уже раз в жизни тамошний дворец и нашел в нем большую перемену против прежнего. Он носил следы опустошения, так как во время Крымской войны уже не сохранялся бережно, как делалось прежде, но обращен был в военный госпиталь. Из Бахчисарая отправился я верхом в Чуфут-Кале, где уже прежде бывал в 1841 году. Теперь это знаменитое жилище евреев незапамятной старины было совершенно пусто. Все евреи в недавнее время переселились оттуда в разные крымские города; оставался на жительстве с семьей один только зять ученого раввина Фирковича, богатившего Публичную библиотеку множеством драгоценных рукописей. Зять Фирковича, живучи в уединении, весь был обложен рукописями и, принявши меня любезно, водил меня в синагогу, показал старинную Библию, существующую уже много веков, водил в пещеру, служившую когда-то тюрьмою, где видны были вбитые в стену кольца и на них остатки цепей; потом показал памятник, построенный, по преданию, на могиле ханской дочери, убежавшей тайно от родителей с одним чужеземцем и здесь застигнутой погонею; она вместе со своим возлюбленным бросилась с вершины горы и погибла. За исключением долины, где жил зять Фирковича, все прочие строения Чуфут-Кале представляли такие же пустынные развалины, как и Севасто-

поль, хотя от других причин: древние еврейские колонии не разорял в последнее время никакой неприятель, но сами обитатели покинули гнездо своих предков. Въезд в Чуфут-Кале ведется по краю такой ужасной пропасти, что нужно большой смелости, чтобы проехать мимо ее, не отворотивши от нее головы. Я возвратился из Чуфут-Кале другим спуском, идущим посреди таких же пещер, как в Инкермане, и также принадлежащих незапамятному доисторическому времени. Съехавши с горы, я направился в Иосафатову долину; так называется еврейское кладбище, очень древнее и обширное, обсаженное множеством вековых деревьев. Здесь в числе памятников есть очень древние. Один из них поставлен в год рождения Иисуса Христа. На возвратном пути заезжал я в Успенский монастырь, церковь которого высечена в горе; в этом монастыре любопытны могильные памятники и камни, поставленные на места погребения христиан, которых было много в Крыму уже во времена владычества татар и которых потомки, умышленно оставленные в крайнем невежестве, перешли в магометанство. Келии монашествующей братии Успенского монастыря почти все высечены в скале, и для зрителя, находящегося по другой стороне оврага, представляются в виде гнезд ласточек, приютившихся в безыскусственном величавом здании, воздвигнутом самой природой.

Воротившись в Бахчисарай, я снова поехал назад в Севастополь и два раза присутствовал на очень любопытном добывании затопленных во время прошедшей войны корабельных снастей и других предметов. Занимающиеся этим промыслом опускают одного из товарищей на дно моря под воздушным колоколом, образующим чехол или род шапки на его голове. Опушенный на дно видит там все, что может вытащить, а когда воздух, вдыхаемый им через трубку, проведенную до поверхности воды, начинает портиться, дает знать движением, и тогда его поспешно поднимают вверх. При мне таким образом вытасчено было несколько медных и железных вещей, принадлежавших к устройству корабля.

Пребывание в Севастополе, продолжавшееся у меня десять дней, представляло мало удобств, так как недавно возобновленная гостиница не отличалась изобилием и доброкачественностью своих материалов по причине необходимости доставлять все издалека. Тогда я решился уплыть из Севастополя в Евпаторию, понадеявшись на вывешенные объявления о прибытии парохода из Ялты «Общества пароходства и торговли» на Черном море; в три часа пополудни я поспешил расплатиться в гостинице и приказал нести свои вещи к пристани, находившейся в развалинах, но вместо назначенного времени я прождал пароход до шести часов следующего утра. Идти в гостиницу было уже невозможно, потому что мой номер при моем выходе из него был занят другим лицом,— и мне пришлось сидеть несколько часов под палящим солнцем, а потом ночевать на голом камне под открытым небом. Когда я вступил на пароход и стал

выговаривать капитану, что такая неаккуратность наносит большие беспокойства пассажирам, он грубо ответил мне, что и за то пассажиры должны быть благодарны, что есть на чем плыть. Когда мы поплыли, я увидел, что пассажиры, заплатившие заранее за места в первом классе, не находили там приюта и постелей по крайней тесноте и были принуждены либо уходить во второй класс, либо размещаться на палубе. Никаких разговоров и объяснений от них не хотели слушать. Часа в два мы прибыли в Евпаторию. Я сошел на берег и, чтобы не подвергаться новой случайности, спросил капитана, долго ли пароход будет здесь стоять. Капитан грубо ответил: «Вам до этого нет дела; сколько захотим — столько и будем стоять». При самом сходе на берег пассажиров окружила наглая толпа цыган, они насильно выхватывали вещи и спешили их нести неизвестно куда; носильщики, занимавшие эту должность от «Общества пароходства и торговли», отнимали у них вещи и били их самих. Пассажиры в недоумении и незнании, что станет с их вещами, должны были дожидаться окончания этой возмутительной борьбы.

Я решился пробыть в Евпатории дня два или три, чтобы познакомиться как с городом, так и с тамошним купаньем, и приютился в каком-то подобии гостиницы, носившей громкое имя «Афины». Гостиницу эту содержал евпаторийский грек. Комнаты были до крайности бедны и неопрятны, но кушанье хозяин давал вкусно изготовленное из свежих материалов и за умеренную цену. Я пробыл в Евпатории трое суток и ходил купаться по несколько раз в день. Море на далекое пространство мелко, и можно ходить далеко от берега, но в некоторых местах путь затрудняется морскими растениями. Вообще евпаторийское купанье хуже феодосийского: лучше последнего я не встречал нигде — ни у нас, ни за границую. Самый город Евпатория заселен главным образом караимами. Рынок евпаторийский изобилует громадным складом всякого рода местных плодов, но в городе нет ни общественных садов, ни деревьев, под которыми можно было бы укрыться от томительного зноя. Говорят, впрочем, что караимы внутри своих дворов разводят садики, но они составляют их семейное достояние. Караимы здесь, как и везде в Крыму, живут закрыто, но в общем мнении пользуются хорошою репутациею и составляют совершенную противоположность евреям-талмудистам, в народе называемым жидами. Караима в Крыму никто не называет жидом.

После краткого обозрения Евпатории я отправился на пароходе в Одессу, куда после небольшой качки и прибыл утром другого дня. Город Одесса, где я был назад тому 24 года, теперь показался мне до того изменившимся, что едва можно было узнать в нем ту Одессу, которую я прежде видел. Вся она отстроена как любой европейский город; освещение газом не уступает петербургскому, а мостовая лучше столичной. Ректор Одесского университета Леонтович, познакомившись со мною на пароходе во время плавания в Евпаторию, пригласил меня поместиться в его квартире в здании

университета, так как сам он проводил лето на даче. Посещая его дачу и других знакомых, живших по дачам, я изумился чрезвычайной скудности растительности одесского климата: искусственные цветники и тощие кусты айлантуса да акаций составляли всю обстановку дачной жизни. Только дача графини Ланжерон, обычное общественное загородное гулянье на берегу моря, да немецкая колония Люстдорф, где, между прочим, устроено водолечебное заведение, — несколько живые и сравнительно приятные местности. Университетские профессора заметили, что меркантильное направление одесского общества, проникая в круг студентов, препятствует расширению среди них той любви к науке, без которой университет делается бездушным трупом. Здесь все гоняется за личную выгоду, все прежде всего думает о наполнении своего кармана; иудеи составляют самый сильный класс общества, владея капиталами и торговлею. За ними стоят греки, не уступающие иудеям в меркантильности, но не в силах будучи состязаться с ними в первенстве, остаются их вечными непримиримыми врагами, и эта-то вражда разразилась теми бурными явлениями, которые недавно перед тем потрясли одесские улицы и которых возобновления ожидали в Одессе снова при первом удобном случае. По поводу беспрестанно томящего жара в летнее время Одесса живет и веселится только по ночам; весь приморский бульвар кишит разнородною толпою, которая наиболее стекается в кондитерские есть мороженое, что дает Одессе характер итальянского города.

Пробыв неделю в Одессе, я отправился в Петербург по железной дороге через Киев, в котором остановился на сутки и, наняв извозчика с шести часов утра до отхода железнодорожного поезда, я объехал весь Киев, захватив даже часть его окрестностей, и нашел его еще более Одессы изменившимся после того, как я оставил его назад тому 23 года. Из Киева, нигде не останавливаясь, я возвратился в Петербург в начале августа. Вскоре по возвращении домой я получил ревматическую боль в затылке, которая с тех пор мучила меня почти два года, мешая много моим занятиям. Только в свободные от этой боли часы я мог предаваться прежнего рода трудам. В это время я написал и поместил в «Вестнике Европы» статью «Начало единодержавия в древней Руси». Эта статья была сокращением мыслей, изложенных в более подробном виде в моих публичных лекциях, читанных в клубе художников в 1869—70 годах, и по своей задаче составляла как бы продолжение статьи «О федеративном начале», появившейся некогда в «Основе». Я доказывал, что единодержавие у нас, как и везде в свете, явилось вследствие факта завоевания страны. Завоевателями нашими были татары — и первыми единодержавными обладателями Русской земли и ее народа были татарские ханы. Тогда вместо общинного старинного быта, не прекратившегося в удельные времена при князьях Рюрикава дома и выражавшегося автономическим значением земель или городов, появился

своеобразный феодализм. С падением могущества золотоордынских ханов роль единодержавных обладателей стала переходить на их главнейших подручников — великих князей, которыми, по утверждению великокняжеского достоинства в Москве, делались один за другим князья московские, разрушая феодальные элементы и сосредоточивая верховную власть в одни руки. Я старался вывести характер московского владычества из самой истории его образования.

В 1871 году я напечатал в «Вестнике Европы» три статьи. Первая из них — «История раскола у раскольников» — заключала разбор неизвестного в печати исторического сочинения Павла Любопытного. В этом разборе я избрал себе задачу объяснить культурное значение великорусского раскола в духовной жизни русского народа. Другая статья — «О личности Ивана Грозного» — написана по поводу речи К. Н. Бестужева-Рюмина, где почтенный петербургский профессор вознес царя Ивана до небес как великого человека. Тогда же напечатано было там же рассуждение «О личности Смутного времени». В этой статье я указывал на то неприятное обстоятельство, что многие важнейшие личности знаменитейшего периода нашей истории, как, например, Михайло Скопин-Шуйский, Минин и Пожарский, представляются с такими неясными чертами, которые не позволяют историку уразуметь и в точности очертить их характеры. Статья эта вооружила против меня Ивана Егоровича Забелина¹²² и дала повод на его возражение писать в опровержение новую статью в 1872 году. Г. Забелин сообщал такой взгляд, что в России главную роль играл народ всею своею массою, а не типичными личностями, и потому историку не нужно гоняться за отысканием заслуг отдельных исторических лиц. Собственно, в назидательном мнении И. Е. Забелина я не нашел для себя ничего нового или противоречащего моим взглядам, много раз мною уже заявленным и в особенности сказывающимся в сочинении моем «Смутное время Московского государства», но г. Забелин как будто не хотел обратить внимание на главную мысль моей статьи: именно на то, что источники по своей скудности или краткости представляют мало черт для уразумения характеров тех лиц, которых он сам признает важными деятелями. Впоследствии на меня начал за то же нападать в московских газетах и Погодин, но последний прямо хотел доказать, что личности, за которыми я признавал неясность по источникам, напротив, очень ясны, и при этом приводил разные летописные похвалы, желая показать, что это именно те черты, в которых я как бы преднамеренно не усматривал никаких характеров. Возражения Погодина отзывались устарелостью, так как при современном состоянии науки всякий занимающийся ею легко мог понять, что чертами характеров нельзя называть похвалы летописцев, расточаемые обыкновенно по общим, предвзятым для всех приемам. Известно, что летописец о редком старинном нашем князе не наговорит несколько лестных слов в похвалу его добродетелям, но приводит обыкновенно такие черты, которые не представляют

ничего присущего отдельному лицу, независимо от нравов того времени.

С половины 1871 года я принялся за большой труд — писать сочинение «Об историческом значении русского песенного народного творчества». Это было расширение того давнего моего сочинения, которое некогда служило мне магистерской диссертацией. В 1872 году я начал помещать его в московском журнале «Беседа», издаваемом Юрьевым, но печальная судьба этого журнала, присужденного по не зависящим от редакции причинам прекратить преждевременно свое существование, лишила меня возможности окончить печатание моего труда. Я успел выпустить в свет только черты древнейшей русской истории доказацкого периода южнорусской половины, насколько она выразилась в народной песенности.

В том же 1871 году в Петербурге отправлялся Второй археологический съезд, на котором я был депутатом от Археографической комиссии, но лично не принимал в нем никакого участия своими рефератами. В 1872 году, продолжая в «Беседе» печатание моего сочинения о русской песенности, я начал писать статью «Предания первоначальной русской летописи», стараясь доказывать, что на события русской истории, до сих пор считаемые фактически достоверными, надобно смотреть более как на выражение народной фантазии, облекшейся в представления о фактах, долго признаваемых на самом деле случившимися.

В мае по приглашению некоторых моих знакомых в Малороссии я отправился в Киевскую губернию с целью осмотреть несколько местностей, имевших значение в истории казачества и которых мне не удалось видеть прежде. Собравшись вместе с малорусским этнографом Павлом Платоновичем Чубинским, я посетил Корсунь, где кроме прекрасного сада, принадлежавшего князю Лопухину, осмотрел знаменитый «Ризаный яр», или, как некогда он назывался, «Крутую балку» — место поражения, нанесенного Богданом Хмельницким 16 мая 1648 года польскому войску, бывшему под начальством гетманов Потоцкого и Калиновского. И теперь еще, глядя по долине вдоль ее, можно заметить проведенную на скате горы линию, ясно свидетельствующую о том, что здесь был сделан облом горы с намерением прекратить путь польскому обозу. Поляки, уходя от преследовавших их казаков и татар, наткнулись невзначай на это роковое для них место, и множество их возов попадало в овраг, устроенный заранее казаками, высланными Хмельницким, руководившим этою военною хитростью. Польская конница, увидя на пути своем неожиданную пропасть, пустилась врассыпную вправо и влево вдоль горы, гонимая казаками и татарами. Оба гетмана и другие знатные паны захвачены были в своих каретах. Местоположение в то время было лесистое, и теперь еще, вправо, есть не старые остатки леса, среди которых торчат огромные пни прежних дерев. Село Гроховцы, откуда, как говорят современники, вышли поляки, приближаясь к

роковому месту своего поражения, теперь уже не существует, и имя его не сохранилось в народной памяти. В самом местечке Корсуне есть следы старинного казацкого города с окопами. В доме князя Лопухина сохраняется несколько древних вещей, выкопанных в Корсуне и его окрестностях. Между ними есть остатки оружия и сбруи, найденных в «Ризаном яру», несомненно, принадлежавших разбитым в этом месте полякам. Из Корсуни мы ездили в монастырь, отстоящий от местечка в нескольких верстах,— тот самый, где Юраско Хмельницкий принял пострижение в монашество. В этом монастыре нет ничего древнего, церковь и келии деревянные, недавней постройки. Вся дорога к Корсуню идет по берегу реки Роси, где встречается множество старых городищ и курганов, еще не обследованных археологией. Затем совершена была нами поездка в монастыри Мошнинский и Виноградский; последний расположен в очень красивой роще и хотя не имеет никаких старых вещей, но архимандрит его сообщил мне кучу письменных пергаментных и бумажных документов, которые, впрочем, были уже недавно напечатаны в небольшой брошюре, изданной монастырскими средствами.

После этих осмотров мы направились к Чигирину, осмотрели Лебединский монастырь, прежде бывший мужским, а теперь перестроенный в женский, проехали через местечко Жаботин, где до сих пор показывают хату сотника Харька¹²³, убитого поляками перед началом восстания малоруссов, известного в истории под названием Колиивщины, или Уманской резни. Из Жаботина мы приехали в Матронинский монастырь, приобретший громкую известность в XVIII веке как деятельностью своего архимандрита Мельхиседека, так и казацким восстанием, которым руководил бывший послушник этого монастыря Максим Зализняк. Матронинский монастырь с его деревянною церковью и деревянными келиями помещается в большом лесу, который надобно проехать на протяжении восьми верст, прежде чем добраться до монастыря. В этом лесу видны два высоких вала, один за другим на расстоянии нескольких верст между собою обходящих кругом пространство, в котором заключается посреди лесной заросли монастырское строение. Приехавши в монастырь, я в сопровождении одного монаха отправился за версту от монастыря в лесное ущелие, называемое «Холодный яр». Здесь была стоянка гайдамаков, собиравшихся учинить восстание народа против Польши. На ямы, которыми изрыта вся эта местность, указывают как на остатки пещер, в которых скрывались гайдамаки. Архимандрит показал мне в келии портрет Максима Зализняка в звании послушника Матронинского монастыря, с коротенькою «люлькою» в зубах; и сверх того показал мне несколько золотых и серебряных монет, выкопанных в валу, окружающем монастырь. Монеты эти византийские, первых веков существования Византийской империи. Они заставляют предполагать, что в эти далекие времена на месте, окаймленном один за другим валами,

существовало поселение, входившее в торговые связи с византийским миром. Недурно было бы, если бы археология наша обратила внимание на этот любопытный уголок. Из Матронинского монастыря мы отправились в Субботово — местопребывание Богдана Хмельницкого, имевшего там хутор, из-за которого вспыхнуло восстание, освободившее казаков от польского панства. На дороге мы посетили Медведовский монастырь, к которому гетман Богдан Хмельницкий питал особое уважение и где погребен был его сын Тимофей, но не нашли там архимандрита и ничего не видали, хотя, судя по рассказам, нам и не пришлось бы ничего особенного увидеть.

В Субботове мы пристали к почтенному и доброму священнику, отцу Роману, который издавна пользуется большою любовью прихожан и наилучшею репутациею в окрестностях. В его очень чистеньком домике первый предмет, попавшийся нам на глаза, был портрет Богдана Хмельницкого. Против самого домика священника увидели мы деревянную церковь троечастную, как большею частию строились старинные малорусские храмы. Из окон его домика виднелись на холме белые стены другой церкви, которой архитектура несколько напоминала римско-католические костелы в этом крае. То была церковь, построенная самим Богданом и послужившая временным местом его погребения. Отец Роман повел нас в эту церковь. Она невелика, сделана четвероугольником, с небольшими узкими окнами и необыкновенно толстыми стенами, в середине которых проведены каменные лестницы, ведущие на хоры. Внутри этой церкви на правой стороне прибита доска с надписью, гласившею, что здесь было погребено в 1657 году тело гетмана Богдана Хмельницкого, выброшенное из могилы на поругание псам польским полководцем Чарнецким в 1664 году. Недалеко от церкви можно видеть фундаменты построек, составлявших двор Хмельницкого. Теперь остались только развалины погребов, но священник сообщил нам, что лет около двадцати назад здесь стояли еще довольно высокие стены, разобранные впоследствии крестьянами на свои домашние нужды в разные времена. Близ самого места построек находится овраг, образовавшийся полою водою, а в глубине этого оврага идет дорога. Образование этого оврага и проведение по нем дороги способствовали искажению двора Хмельницкого.

Разговорившись с тамошними крестьянами, я услышал от одного из них рассказ о том, как Хмельницкий отнял у Барабаша привилегию. Рассказ этот носит ту же редакцию, какая напечатана в «Записках о Южной Руси» Кулиша. По словам этого крестьянина, «Хмельницкий був князь и гетьман на всю Украину, большой враг панов и жидов», как увидит где жида, сейчас велит поймать его и прибить гвоздем ермолку к его голове, а панам которых приводили к нему казаки, Хмельницкий приказывал рубить головы около «каменной бабы», которая стоит на улице, на дороге, ведущей от деревянной церкви к каменной. У Хмельницкого голос был такой громкий, что,

бывало, выйдет на крыльцо своего дома и, увидев с него казаков, косивших сено на лугу за Тясьмином версты за три, крикнет: «Хлопци, идите горилку пить, жинка вже борщу наварила»; казаки слышат его, покидают работу и спешат к его дому. О сыне Хмельницкого Юрии сохранилось предание, что «он принял бусурманскую веру и навел турок на Украину; когда они подошли к Субботову, турецкий паша сказал Юрию: «Если ты нас не обманываешь и на самом деле стал человеком нашей веры, то выстрели из пушки и сбей крест с той церкви, которую твой батько построил». Хмельницкий так сделал, и турецкое ядро ударило прямо в крест субботовской церкви. За это бог сказал с небеси: «Юрашко, за такое дело земля тебя не примет, и будешь ты ходить по земле до скончания века, до Страшного суда»; и с тех пор Юрашко Хмельницкий скитается по земле, и чумаки его видели. О времени, когда жили Хмельницкие, у народа сохранились сбивчивые понятия: смешивается эпоха Хмельницкого с близкою для народа эпохою падения Польши. Рассказывают, что поляки стали жестоко стеснять православный народ и делать над ним разные пакости: остригали девок и из кос их делали вожжи, из церковных риз делали попоны, а церковными восковыми свечами погоняли лошадей; когда же православные поднимали ропот, то поляки устраивали над ними такого рода истязания: ставился у пана деревянный столб со ступенями, одна выше другой; поставят человека к ступени, привяжут к столбу и в таком положении оставляют на долгое время, так что стоящие вверху принуждены испускать нечистоты на головы поставленных ниже. Наконец, когда не стало терпения, православные отправили к царице одного архимандрита просить, чтобы царица заступилась за них и взяла их край от Польши. У царицы был тогда любимец Потемка. Сперва он заступался за народ, а потом отдал дочь свою за польского пана Браницкого и стал мирволить полякам. Тогда за народ заступились генералы Чорба и Хмельницкий. Хмельницкий ездил к польскому королю и выпросил у него бумагу, но один казацкий чиновник, приятель Потемки, украл у него эту бумагу и держал у себя. Затем следует рассказ о похищении привилегии и бегстве Хмельницкого в Запорожскую Сечь. Далее: «Генерал Чорба вызвал Потемку на поединок; оба стали на двух могилах (курганах); выстрелил Потемка и убил Чорбу, но в то же время успел выстрелить и Чорба; Потемка забежал далеко, в Херсон, и там превратился в медную статую. Ездили в Херсон чумаки и сами видали — стоит там медный Потемка до сих пор; а Хмельницкий побил ляхов и стал князем на всю Украину, и ничего с ним царица не могла сделать. Что ни пошлют против него москалей, он перехитрит их, не допустит до себя, разобьет и прогонит, а кого в плен возьмет — в тюрьме держит. И таков был он до смерти. Потом уже сын его передался туркам и поступил в турецкую веру». Такие сбивчивые слухи сохранились о Хмельницком на его родине.

Из Субботова мы отправились в Чигирин. Трудно представить

себе город с более красивым местоположением. Он лежит на самом берегу Тясмина, а над ним возвышаются живописные разнообразные горы. На этих горах видны остатки старого замка и во многих местах следы земляных рвов и окопов — свидетельство той эпохи, когда Чигирин при царе Федоре Алексеевиче выдерживал два нападения от турок. Самый городок сохраняет чисто малорусский характер. В нем нет ни одного поляка и очень мало иудеев. У жителей заметна особая любовь к садам, которых здесь изобилие; домики чистые и отзываются сельскою простотою. Как в Чигирине, так и в его окрестностях выкапывают много бронзовых стрелок, памятников доисторической старины. Вся околица покрыта множеством больших и малых курганов, придающих краю своеобразный поэтический вид. Из Чигирина я выехал на станцию Знаменку и оттуда по железной дороге без остановки пустился до Петербурга.

На пути между Москвою и Петербургом ночью, в то время как я заснул, отворенные окна вагона наделали сквозного ветру, который мгновенно возобновил в моем затылке прежние припадки боли. По приезде домой я почти целый месяц чувствовал усиление этой боли, стараясь облегчать свои страдания холодными купаньями и компрессами. Занятия мои пошли слабее. Так всегда делалось со мною в эпоху моей петербургской жизни. Разные газетные нападки и всякого рода печатные и словесные клеветы мало меня раздражали и вообще почти не мешали ходу моих ученых и литературных занятий, но нервные боли, проявлявшиеся прежде, как и теперь, преимущественно головными и глазными страданиями, составляли для меня постоянное несчастье. Я чувствовал, что под гнетом этих болей мои умственные силы ослабевали, пропадала энергия, мучило невольное бездействие, а если брал над собою волю, то это стоило мне больших усилий и я сознавал, что физические страдания отпечатлевались на моих произведениях, а перо мое делалось вялым, — по крайней мере, как я чувствовал, лишено было той живости, какую имело бы при более нормальном состоянии моих телесных сил. Еще более наводила на меня страх и уныние грустная мысль, что в будущем я должен ожидать себе худшего состояния и быть лишенным зрения, а с ним и возможности заниматься наукою, тогда как занятие это стало для меня необходимым как воздух. В июле я ездил постоянно на дачу в Ораниенбаум, где надеялся, что купанье там будет лучше, но очень ошибся, так как дно моря в Ораниенбауме оказалось очень мелко. Здесь любимым местом моих уединенных прогулок был полуразрушенный дворец, построенный Петром III, где этот государь думал было защищаться, но потом бежал оттуда в Кронштадт. Дворец этот двухэтажный и стоял в то время совершенно покинутым. Внутри его полы были сняты, лестницы разломаны, стекла выбиты. Такое состояние разрушения имело для меня что-то привлекательное, и я по целым часам просиживал там с книгою в руках — или даже без книги с думами о прошедшем.

XIV

Премия.

Глазная болезнь.

«Русская история в жизнеописаниях».

Поездка в Екатеринослав и Киев

В сентябре 1872 года мне была присуждена премия за мое сочинение «Последние годы Речи Посполитой». Еще в конце прошлого года я представил его в Академию наук для соискания премии. Академия поручила составить разбор моего сочинения Иловайскому¹²⁴. Д. И. Иловайский, писавший сам уже после меня о той же эпохе, к которой относилось мое сочинение, присудил мне малую премию. Не вполне довольная рецензией Иловайского, Академия отправила мое сочинение для нового разбора марбургскому ученому, профессору Герману, автору «Истории России», писанной на немецком языке, но владеющему хорошо русским языком. Тогда многие, услышавши об этом, находили такой поступок Академии как бы унижительным для русской науки. Значило, как будто, что в России нет ученых, способных оценить труд, предлагаемый на соискание премии. Иные предсказывали, что немецкий ученый умышленно не признает достойным русского сочинения. Разбор моего сочинения, составленный Германом, был прислан в Академию. Немецкий ученый не только не руководствовался какими-нибудь предубеждениями противу русского ума, но оказался ко мне внимательнее самого Иловайского — русского человека: Герман присудил мне за сочинение большую премию. Однако Академия рассудила не дать ее мне, а наградить малою — на том основании, что в то время было представлено на соискание премий несколько сочинений, признанных достойными малой премии, но так как всех удовлетворить было невозможно по недостатку сумм, то и положили отнять у меня две трети суммы, следуемой мне по приговору Германа. Сверх того принималось во внимание, как мне лично сказали в Академии, и то, что я человек бессемейный и бездетный, а следовательно, не нуждающийся в средствах, которые более необходимы для людей, обремененных семейством. Надобно было скрепя сердце повиноваться, но по внутреннему убеждению я не мог согласиться с справедливостию таких воззрений. Если недоставало денег для вознаграждения других лиц малыми премиями, то отсюда не вытекала необходимость вознаграждать их на мой счет. Что же касается до принятия во внимание семейных дел особ, подающих сочинения на премию, то ясно, что Академия не может быть благотворительным заведением, и правила раздачи премий установлены вовсе не в видах благотворительности: Академии надлежало ценить прямо одно лишь сочинение, а не семейную обстановку автора. Цель, с какою установлено давать большие и малые премии, совершенно нарушается такими взглядами:

всегда есть возможность явиться в изобилии сочинениям, достойным малых премий, и если для удовлетворения их авторов признается необходимым отнимать две трети большой премии у того, кто заслужил ее, то не следовало и устанавливать большой премии. Да и самая благотворительность Академии наук может быть несостоятельна: ученый, имеющий большое семейство, может нуждаться гораздо менее ученого одинокого, если имеет взрослых детей, совершенно пристроенных и помогающих родителю своими трудами или своими личными средствами к содержанию; ученый семейный может при счастливой семейной жизни обладать хорошим здоровьем, а ученый одинокий может при своих трудах и безотрадной жизни расстроить свое здоровье и потерять зрение, не имея ни в ком поддержки. Наконец, часто ученый семейный может владеть имуществом, превосходящим состояние ученого одинокого. Не входя в объяснения с Академией по этому предмету, я получил малую премию — с полною решимости никогда уже не представлять на премии моих сочинений в то учреждение, которое в раздаче премий не сообразуется с приговором лиц, которым доверяло разбор сочинений, а руководствуется особыми, никем официально не установленными взглядами, не выраженными в правилах о премиях.

В октябре я отправился в Москву для осмотра малорусских бумаг, хранящихся в сенатском архиве. Около месяца рассматривал я эти бумаги и, выбравши из них то, что по моим соображениям годилось к ближайшему напечатанию в «Актах Южной и Западной России», указал все это к пересылке по почте в Археографическую комиссию. Когда я воротился в Петербург и за мною вслед присланы были в Комиссию эти отобранные бумаги, я предпринял составить по ним монографию о гетманстве Дорошенка, которая составляла бы продолжение тех монографий, какие были уже написаны мною по истории Малороссии. Я надеялся мало-помалу написать таким образом всю историю Малороссии, обрабатывая ее по периодам. Теперь очередь была за эпохою Дорошенка, и я принялся приводить в порядок и изучать добытые мною источники.

В это время в отчете Академии наук был напечатан составленный Германом разбор моего сочинения «Последние годы Речи Посполитой». Из отчета было видно, что Академия посылала на просмотр немецкому ученому рецензию, написанную на мое сочинение Иловайским. Герман отверг эту рецензию и не соглашался с замечаниями Иловайского. Немецкий ученый, знающий хорошо русский язык, в рецензии своей сознавался, что не зная польского языка, не в состоянии проверить моего способа обращения с польскими источниками, особенно теми, которые лежали в рукописях в петербургском и московском архивах. Относительно моих взглядов Герман находил у меня некоторую долю русского патриотизма, помешавшую мне с полным беспристрастием отнестись к польским событиям. Между прочим, почтенный немецкий ученый заявляет свое несогласие от-

носителем моего взгляда на Конституцию 3 мая и на Тарговицкую конфедерацию. В этом случае я готов поспорить с уважаемым профессором. Нет сомнения, что в Конституции 3 мая находятся черты, вполне заслуживающие сочувствия, и при благоприятном стечении обстоятельств они могли бы принести хорошие плоды, но историк не должен останавливаться над тем, что могло бы выйти, если бы обстоятельства сложились иначе, а должен иметь в виду состоятельность или несостоятельность учреждений при тех обстоятельствах, какие действительно сложились в истории. С другой стороны, не следует чересчур обвинять членов Тарговицкой конфедерации за то, что их действия оказались пагубными: они были дети своего века, выступали на историческое поприще с понятиями, усвоенными из поколения в поколение. Был ли виноват поляк в том, что, считая республику лучшим учреждением в мире, понимал ее в том образе, в каком видел с детства и в каком научился понимать от своих родителей и наставников? В конце XVIII века люди еще не доросли до сознания той истины, что те или другие политические формы сами по себе не важны, а их хорошие или дурные последствия зависят от степени нравственного и умственного развития общества. Идеи Французской революции, провозгласившие великую и святую истину равенства всех людей пред законом, в то время еще нигде не понимались. Все правительства Европы, боясь страшного пугала якобинства, прилагали все старания не допустить в управляемых ими обществах господства этих идей, тем более что это господство представлялось как бы связанным с господством безбожия и уничтожения положительной религии. Удивительно ли, что воспитанные в строго католическом духе польские паны боялись того же, а при долговременной политической своей невоспитанности простодушно поверили в искренность монархов, поддерживающих старое республиканское правление в Польше? Наконец, даже те из них, которые действовали с явными видами удовлетворения личных выгод и тщеславия,— пред историческим судом находят для себя известную долю оправдания в недостатке воспитания и господстве общественных предрассудков своего времени. То же остается мне сказать и относительно того взгляда на национальный характер поляков, в чем меня упрекал не только Герман, но и некоторые из наших критиков. Указывая на те черты польского характера, с которыми явилась польская жизнь в своей истории, я не смотрю на этот характер как на что-то свыше определенное судьбою, а как на результат тех явлений исторической жизни, которые сложились в незапамятной древности и не могут быть обследованы мною при недостатке источников. Если кто другой найдет возможным их обследовать — тем лучше. Одно только я принимаю во внимание и намечаю себе для будущей переработки моего труда, если доживу до возможности этой переработки: это то, что многое, составлявшее как бы отличительные черты польской общественной жизни, не принадлежало

исключительно Польше, а составляло достояние всей Европы в прошлые времена; но и тут все такие общие признаки выражались в каждой стране с чертами, ей одной свойственными. Так, например, всем известное порабощение простого класса народа в Польше, в сущности своей, не составляло исключительной принадлежности польской нации: те же начала мы видим и в других странах Европы; а только в Польше при ее республиканском образе правления эти начала принесли своеобразные и более, чем где-нибудь, печальные плоды. Наконец, уродливое безобразничанье и самодурство, которыми так отличались польские паны старого времени, нельзя в принципе приписывать характеру одних поляков и условиям их общественной жизни, потому что подобных черт можно легко отыскать и в тогдашней Германии в быте тамошних князей и рыцарей; только в Польше менее, чем где-нибудь, было удержу необузданным выходкам зазнавшегося привилегированного сословия.

В декабре 1872 года у меня начали болеть глаза, а доктор, к которому я обратился, не зная моей мнительности, до того напугал меня, что я впал в уныние, покинул работу над Дорошенком и долго не мог ни за что приняться. Глазам моим от напряжения делалось все хуже и хуже. Другие врачи сказали мне, что единственным спасением моим от слепоты будет, если я на продолжительное время стану воздерживаться не только от разбора старых бумаг, но даже и вовсе от чтения и письма. Я чувствовал в глазах страшную ломоту, доводившую меня иногда до крика; боли усиливались по вечерам, когда нужно было употреблять свечи, — лампы уже давно стали невыносимы для моих глаз. При таком состоянии моего зрения, при болях, невозможность предаваться любимым трудам по исследованию занимавших меня научных вопросов повергала меня в сильнейшую тоску, окончательно разбившую мою нервную систему. Я положительно пропадал от бездействия. Тогда по совету многих знакомых я решился приняться за составление «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», предназначая эту историю для популярного чтения. Мысль эта уже много раз была настойчиво сообщаемая мне знакомыми, но я не поддавался ей, будучи постоянно увлекаем другими вопросами отечественной истории. Теперь по причине решительной невозможности заниматься чтением источников и вообще тою подготовительною работою, какой требуют новые научные исторические труды, я решился последовать внушаемому мне намерению и приступил к составлению «Русской истории в жизнеописаниях». Отдаленные периоды русской истории с ее деятелями были уже во многих частях изучены мною при отдельных исследованиях, и потому предпринимаемая задача не представлялась трудною и беспокойною для моих нервов. Для сбережения глаз я пригласил жену моего бывшего приятеля г-жу Белозерскую читать мне вслух места, которые я укажу в источниках, и писать текст по моей диктовке. Ее сестра, г-жа Кульжинская, изъявила желание

быть издательницею моей «Истории». Таким образом, я принялся за труд, подходивший к тому состоянию зрения, в каком оно у меня находилось. В мае 1873 года был уже готов первый выпуск моей «Истории». Отдавши ее в печать, я тотчас принялся за другой и тем же способом работал над ним.

Между тем на короткое время я обратился снова к эпохе Смутного времени. Появившаяся в «Журнале Министерства народного просвещения» статья Е. А. Белова силилась доказывать, что царевич Димитрий не был никем умерщвлен, а действительно сам себя зарезал в припадке падучей болезни, как показывается в следственном деле, которое после его смерти производил в Угличе князь Василий Шуйский. Статья Белова представляла новую попытку вносить в историю Смутного времени парадоксальные понятия, и я счел нужным опровергнуть ее и разобрал следственное дело об убиении царевича Димитрия, чтобы показать несостоятельность вытекающих из него заключений. По мнению, которое я изложил в тогдашней статье, царевич Димитрий был несомненно убит, но действительно ли Годунов давал приказание убить его, или его клеветы заблагорассудили сами угодить ему втайне и совершили убийство без его приказа, но с явным сознанием, что совершенное ими злодеяние будет ему приятно и полезно,— это остается в неизвестности. Что же касается до производства следствия Шуйским, то этот князь, собственно, и не мог по следствию отыскать убийц Димитрия: их уже не было на свете; оставалось поставить дело так, чтобы угодить сильному Годунову, иначе Шуйский не мог бы сделать последнему ничего особенно вредного, но вооружил бы его против себя напрасными попытками сделать ему вред.

В конце июля по приглашению гг. Кульжинских отправился я в Екатеринослав. Я ехал по железной дороге, а потом по Днепру. Проживши с неделю у моих знакомых в Екатеринославе, я поехал на обывательских вниз по Днепру для обозрения порогов и берегов. Много описаний читал я прежде об этих местностях и давно уже порывался их видеть; наконец, удобный случай представился исполнить мое давнее желание. Днепр и его берега показались мне живописнее и поэтичнее того, как я рисовал их себе в воображении. На протяжении всего течения Днепра по порогам оба берега становятся высокими; шум прорывающихся через пороги волн слышен более чем за версту. В особенности живописны пороги Ненасытецкий и Вольнянский. У самого Ненасытецкого порога на высоком правом берегу лежит имение Синельниковых. Гул бегущей с порогов воды, достигая села, так силен, что мешает расслышать слова в разговоре. К сожалению, я путешествовал в такое время года, когда вода значительно спала, но ранее — в мае и в июне, как говорят, гул порогов еще бывает громче и вообще местность эта кажется более привлекательною. Здесь я узнал, что в селе проживает старый слепой бандурист по имени Архип, знающий много старых казацких

дум и песен, но его не могли найти для меня: он отправился в Новомосковск на ярмарку по своему песенному промыслу. Жители здесь, как и вообще на днепровском берегу около порогов, малоруссы, и если отличаются от жителей более верхнего края Малороссии, то разве сравнительно более сохранившеюся чистотою малорусской речи, большею опрятностью в домашней жизни, зажиточностью и ношением бород.

Путь южнее Вольникского порога по правому берегу Днепра идет еще в виду нескольких порогов, одного за другим, но здесь, между порогами, являются на Днепре острова, заросшие лесом. Остров Княжий и остров Виноградский — самые обширные из этих островов. Кроме порогов, которых числом тринадцать, я встречал две заборы. Так называются тоже пороги в меньшем размере; но, по известию жителей, они не только небезопаснее для плавающих по Днепру, но даже представляют чаще случаев разбития челнов. Плавание между порогами опасно только при спущении челна через падение порога, но рыбаки без всякого опасения пускаются посреди порогов поперек Днепра ловить рыбу, которой, говорят, здесь изобилие. Последний, самый южный из порогов носит местное название Гадючий, почти такой же шумный, как Вольник и живописен по береговым окрестностям. Через несколько верст ниже его Днепр суживается; по обеим сторонам его берега очень высоки и круты; жители уверены, что здесь в незапамятные времена река пробила гору и нашла себе выход. Быть может, именно на это место намекает песнь о походе Игоря, выражаясь обращением к Днепру: «Ты пробил еси горы каменные сквозь землю Половецкую». Выступая из ущелья, Днепр широко разливается, и первый предмет, поражающий глаза, — остров Хортица, протяжением на двенадцать верст, с высокими берегами, поросший лесом. Этот остров в древности носил название Варяжского и в XVI веке был первым поселением запорожцев под начальством князя Димитрия Вишневецкого, но ненадолго. По жалобе крымского хана король Сигизмунд Август велел свести казаков с острова, а через несколько лет запорожцы заложили себе новое поселение пониже Хортицы, на острове Томаковке. Теперь на Хортице заложена немецкая колония меннонитов, а на правом берегу Днепра, почти против Хортицы, несколько севернее находится другая меннонитская колония Кичкас. Проезжая через последнюю колонию, я осмотрел житье-бытье меннонитов и был изумлен чрезвычайно цветущим состоянием их быта. Дворы их обсажены садами, домики просторны и светлы, хотя крыты соломой и носят на себе характер малорусского жилья, только несравненно культурнее и богаче. Везде в домиках деревянные полы, чисто вымытые; заборы и все хозяйственные постройки содержатся в порядке, и нигде не видно того неряшества и беспечности, какими страдают наши русские деревенские постройки. Меннониты разводят у себя виноград и шелковицы и добывают шелк; в одном меннонитском дворе я застал семью, работающую над вывар-

кою шелковичных кокон. Близ самой колонии красуется прямой превосходный лес, сеянный назад тому двадцать лет. Меннониты с гордостью уверяют, что это предрассудок, будто край Екатеринославской губернии по своей природе безлесный. Все они грамотны, отдают детей в свои училища и не чуждаются туземного языка. Разговорившись с меннонитами, я с удивлением услышал из их уст безукоризненно правильную малорусскую речь.

От Кичкаса отправился я вниз до Никополя. При устье «Конской реки», впадающей в левый берег Днепра, виднелся остров Томаковка, где была Запорожская Сечь до перехода своего пониже и где теперь село Капуловка. Здесь-то, на Томаковке, укрывался Богдан Хмельницкий, когда убежал от польской погони и здесь собирал беглецов из Украины, чтобы грянуть весною на польских гетманов. Днепр изменяет свой характер, разбиваясь на множество рукавов, текущих посреди островков, называемых здесь плавнями и большею частию заливаемых весеннею водою. По приближении к Никополу я свернул на почтовую дорогу и случайно встретил на ней крытую телегу со слепым бандуристом, ехавшим с женою и детьми. Остановившись, я подозвал его и стал расспрашивать, что ему известно, а потом заставил петь, пытаясь услышать от него что-нибудь для меня неизвестное в области малорусской песенности. Бандурист перебрал с десятков дум, но все это были давно известные и много раз напечатанные; даже варианты его не представляли таких черт, на которые следовало бы обратить внимание. Этот бандурист подтвердил мне слышанное мною близ Ненасытецкого порога об Архипе, которого называл своим учителем и говорил, что Архип знает много таких дум, которые теперь уже всеми забыты, и, между прочим, думу о подвигах атамана Сирка. Расставшись с бандуристом, я прибыл в Никополь, где кроме грязной почтовой станции нигде не мог приютиться. Днепр в Никополе также покрыт рядом зеленых плавней, обросших верболозом. Отсюда отправился я на почтовых на то место, где была долгое время Запорожская Сечь, разоренная при Петре Великом. Запорожцы ушли после того ниже к Алешкам, а через сорок лет возвратились на прежнее пепелище и пребывали здесь до последнего уничтожения запорожской общины в 1775 году.

Следуя в виду Днепра по правому его берегу, прибыл я в село Капуловку и здесь наткнулся на каменный могильный крест. По надписи я увидел, что здесь погребено было тело одного запорожского воина, скончавшегося в тридцатых годах XVIII века. Мне сообщили, что прежде было таких крестов много, но мало-помалу они разнесены жителями на разные хозяйственные принадлежности и теперь осталось их уже немного, в том числе каменный крест на могиле знаменитого Сирка, находящейся в огороде одного жителя. Я проехал через Капуловку в смежное с нею село Покровское осмотреть запорожскую церковь. Я обратился там к священнику, который хотя и повел меня по желанию моему в церковь, но не показал большой любезности

при ее осмотре. В церкви иконостас новый, только остались почетные места для кошевого и писаря в виде прилавок, подобно тем, какие делаются иногда в монастырях. Но хорах церкви свалены грудой остатки прежнего иконостаса, бывшего еще при запорожцах. Осматривая там образа, я не нашел ничего особенно выдающегося; видно было, что иконостас этот делался не в Запорожье, а приобретен от художников, живших в других местах. Возвращаясь в Капуловку, я заходил в одну хату, построенную еще в запорожские времена одним из запорожских товарищей. Имя этого строителя хаты вырезано им ножом на сволоке. Дерево, употребленное для постройки хаты, отличается массивностью и большою крепостью; внутренность хаты не представляет ничего особенного в сравнении с нынешними хатами; она невелика — об одном только покое — и не имеет комнаты, как иногда бывает в малорусских хатах зажиточных людей. Осмотревши эту хату, отправился я на могилу Сирка. Огород, в котором находится этот исторический памятник запорожской старины, принадлежит одной крестьянской вдове, недавно потерявшей мужа. Я увидел холм, обросший со всех сторон посаженными подсолнечниками; на нем возвышался серый каменный крест с надписью, гласившей, что здесь погребен Иоанн Димитриевич Сирко, кошевой атаман войска запорожского; далее следует день его преставления. Мне пришло сомнение — действительно ли здесь сокрыты бранные останки славного казацкого героя, и не поставили ли запорожцы этот крест только в память о нем, так как из бумаг, хранящихся в Архиве иностранных дел, я знал, что Сирко в последние годы своей жизни проживал близ Харькова в селе Мерефе, в имении, пожалованном ему царем Алексеем Михайловичем. Впрочем, летописец Величко говорит, что он умер у себя на пасеке близ Сечи и тело его было привезено казаками в челне для погребения в Сечь.

Обозревая с днепровского берега вид на Днепр, я был поражен обильною и яркою зеленью плавней и лугов, раскинутых на необозримые пространства. Между множеством островков, поросших верболозом, вились ярко блестящие против солнца протоки Днепра. Один из островков до сих пор носит название Сечь. По преданию, здесь в укреплении находилась запорожская «скарбница». Следы окопов видны до сих пор, хотя берега этого островка, сильно подмытые водой, утратили свой первоначальный вид.

Я простился с бывшим жилищем запорожских казаков и отправился в обратный путь в Екатеринослав, а через неделю — по Днепру в Киев, куда должен был спешить по командировке от Археологической комиссии для присутствия в предварительном комитете, собиравшемся в Киеве, по устройству Третьего археологического съезда, назначенного в этом городе на 1874 год. На пути туда я испытал, что значит путешествовать с иудеями. В первом классе на пароходе, где я занял место, расположилась их целая толпа. Когда я вышел на палубу и потом воротился в свою каюту, то увидел, что один иудей

без церемонии сбросил на землю мой дорожный мешок и улегся на принадлежащее мне место, подмостивши себе под ноги мою подушку. Я просил его сойти. Он не обращал внимания, а другие иудеи напустились на меня: как я смею трогать спящего. Я обратился к капитану; последний вошел в каюту, разбудил спящего и заставил его перейти на свое место; но на другой день, уже недалеко от Киева, я вышел на палубу и, возвратясь в каюту, увидел, что на моей койке залег другой иудей, так же, как и первый, употребивши мою подушку себе под ноги. Я снова отправился к капитану. Опять капитан пришел освобождать мою койку, но тогда другой, не спавший иудей, придрался ко мне и начал говорить дерзости, замечая, что если бы его побеспокоили таким образом, так он не посмотрел бы на то, что я пожилой человек и употребил бы в дело свои кулаки. Я обратился к капитану и просил сообщить мне имя оскорбляющего меня господина, обещая по приезде в Киев искать судебной управы на оскорбителя. Капитан потребовал от нас обоих паспорта. Иудей, увидевши из паспорта мой чин и звание командированного должностного лица, вдруг смирился и начал просить извинения, но я сказал ему, что по приезде в Киев первым моим делом будет наказать судебным порядком наглое нахальство. Когда пароход проплывал под железнодорожный мост, иудей пытался заводить со мною разговор насчет искусства, с которым построен мост, а я вместо ответа припомнил ему уже выраженное раз твердое намерение разделаться с ним судом. Наконец, когда мы причалили к Подолу, иудей стал предлагать мне свои услуги относительно найма извозчика и рекомендовать помещение в городе. Я снова припомнил ему его дерзость, сделал ему внушение и, не принявши от него никаких услуг, поехал в гостиницу.

На другой же день в университете св. Владимира начались совещания членов предварительного комитета под председательством графа Алексея Сергеевича Уварова и продолжались девять дней. Намечены были темы рефератов, предполагавшихся к чтению на съезде; назначено разделить съезд на отделения; предположено, кроме обычных заседаний, дать членам возможность осмотреть все памятники киевской старины, сделать примерную раскопку курганов в одной из окрестностей Киева и совершить путешествие по Днепру вверх до Вышгорода и вниз до Канева.

Перед отъездом из Киева я отправился вместе с П. П. Чубинским посетить Братский монастырь и, возвращаясь с Подола через Старый город, проехал мимо домика, в котором 26 лет назад была последняя моя квартира в Киеве, где я был арестован. На окне того домика оказался выставленным билет, объявляющий, что квартира отдается внаем; я увидел возможность войти в нее и вместе с Чубинским вступил во двор. Все было здесь так, как четверть века тому назад, только деревья, окаймлявшие забор, во время оно молодые, теперь стали большими и тенистыми. Я позвонил в задней половине дома; вышла хозяйка, молодая женщина лет тридцати, и на мои вопросы о

квартире повела нас в нее. Я вошел в стеклянную галерею, которую узнал с первого раза, вошел в комнаты — все было здесь по-прежнему, словно как будто событие, так потрясшее мою жизнь, происходило вчера. Заговоривши с хозяйкой, я узнал в ней дочь хозяина, которая во время моего житья в их доме была маленькой девочкой. Ее родителя теперь уже не было в живых. Только разница в цене, за которую шла теперь эта квартира, указывала на большой промежуток времени, отделявший меня от той эпохи, куда неслись мои воспоминания. За квартиру, которую отдавали мне прежде за триста рублей в год, просили теперь семьсот.

Я вышел из этого места с невольною грустью. Товарищ мой, видя это, стал расспрашивать о подробностях моих последних дней в Киеве в оное время и по поводу воспоминания о предстоящем в то время моем браке спросил меня, имею ли я сведения о судьбе той особы, которая была моею невестою. Я отвечал, что, к сожалению, нет. Вечером в тот же день, когда я уже собирался спать, явился ко мне Чубинский и сообщил мне, что случайно узнал о бывшей некогда моей невестой особе, что она живет подле Прилук в деревне, овдовела, имеет трех детей и что в настоящее время ее ждут в Киев. Во мне еще живее пробудились воспоминания молодости; мне сильно захотелось еще хотя раз в жизни увидеть Алину Леонтьевну и узнать о ее судьбе. Я написал к ней письмо, которое просил Чубинского доставить по назначению. На другой день письмо мое было доставлено; она только что приехала из имения. К вечеру я получил ответ — она разделяла мое желание повидаться с ней и пригласила меня посетить ее. Вместо молодой девушки, как я ее оставил, я нашел пожилую даму и притом больную, мать троих полувзрослых детей. Наше свидание было столько же приятно, сколько и грустно: мы оба чувствовали, что безвозвратно прошло лучшее время жизни в разлуке, тогда как некогда оба надеялись, что оно пройдет вместе. В настоящее время она страдала жестокою хроническою болезнью, от которой искать исцеления приехала в Киев, надеясь получить советы от местных врачей, а вместе с тем и привезла после каникул детей своих для помещения в учебные заведения, где они воспитывались. Мне было приятно по крайней мере то, что на старости лет я мог находиться в прежних дружеских отношениях с тою, которую не переставал любить и искренно уважать. Пробыв в Киеве еще два дня, я уехал в Петербург.

XV

Занятия и поездки. Болезнь. Тяжкая потеря. Отдых...*

По возвращении в столицу я принялся за свою «Русскую историю в жизнеописаниях» еще с большим рвением, чем прежде, потому что моим глазам становилось несколько лучше, и я иногда мог читать и писать сам. С наступлением темных дней глазам приходилось плохо, но к весне они снова оправались, и я мог снова читать и писать, хотя с большею противу прежнего умеренностию и вполне убеждаясь, что зрение мое все более и более ослабевает. К весне 1874 года было у меня готово уже четыре выпуска моей «Истории». В апреле я поехал в Полтавскую губернию в имение особы, бывшей некогда моей невестой, с намерением встретить у нее весну, которой я уже так давно не видал в Малороссии. Я пробыл в сельце Дедовцах (Прилукского уезда) три недели, пользуясь всеми очарованиями весенней малорусской природы. Здесь в первый раз в жизни я имел случай посетить малорусскую крестьянскую свадьбу, которая меня очень заняла как новое для меня зрелище: обращаясь долго с народом в молодости, я никак не мог встретить случая повидать самое живое торжество народных увеселений и знал свадебную поэзию только по печатным и в разных местах записанным песням.

В половине мая получил я от матушки письмо, понуждавшее меня скорее возвращаться в Петербург, так как хозяин дома, в котором я жил, собирался сделать перестройки и надобно было куда-нибудь выбираться. Я поспешил домой. Предстояло либо искать другой квартиры, либо временно перейти на дачу, а на зиму воротиться в прежнюю, вновь отделанную квартиру. Мой хозяин надстраивал у себя в доме четвертый этаж и для этого счел необходимым утолщить стену третьего этажа, в котором я жил. Некоторые знакомые предупреждали меня, что после такого изменения оставаться в этой квартире значит рисковать здоровьем. Чтобы решить этот вопрос, я обратился к одному знакомому архитектору, и он уверил меня, что утолщение стен будет так незначительно, что успеет за одно лето просохнуть и не будет никакого риска для здоровья. Положившись на мнение архитектора, я решился удерживать за собою квартиру, тем более что к ней я слишком привык, а переход на другую сопрягался для меня с чрезвычайными трудностями: приходилось, во-первых, искать квартиры, что не совсем легко в Петербурге для небогатых людей, желающих иметь просторный кабинет для помещения в нем библиотеки; во-вторых, перевозка самой библиотеки — труд немалый и отвлекающий надолго от обычных занятий. Оставив за собою квартиру, как оказалось впоследствии,— себе на горе, я переехал

* Это — намеченное карандашом оглавление, которое предполагалось дополнить или изменить при продолжении текста. (Прим. А. Л. Костомаровой.)

на дачу на Петровском острове близ самого места, ведущего с Петровского острова на Крестовский. Дача эта хотя была на сыром месте, но нравилась мне своим превосходным видом на Неву, протекающую у самого балкона дачи. Так как мои глаза в это время несколько оправились, то я, поселившись на даче, принялся писать собственноручно историческую повесть Кудеяра, взявши сюжет из эпохи Ивана Грозного. Сверх того здесь же я написал статью «Царевич Алексей Петрович», помещенную в открывшемся после того журнале «Древняя и новая Россия». Дачное время проходило для меня очень приятно: меня посещали добрые знакомые, с которыми по вечерам играл я на бильярде и вел дружескую беседу; из них чаще всего посещали меня старинный приятель Данило Лукич Мордовцев и Димитрий Ефимович Кожанчиков. В последних числах июля с этой дачи я отправился в Киев на археологический съезд, назначенный с 1 по 20 августа, оставивши матушку на даче и предоставив ей перебраться в конце августа на отделанную нашу городскую квартиру.

Третий археологический съезд из всех происходивших до сих пор был самый замечательный и интересный. Граф Алексей Сергеевич Уваров постарался заранее пригласить к нему иностранных славянских ученых из Чехии, Сербии и Франции. Местное археологическое богатство города Киева придавало этому ученому собранию живой интерес. В здании университета устроена была археологическая выставка разных вещественных памятников старины, но, к сожалению, распорядители не успели составить вовремя подробного и отчетливого каталога. Каждый день было по два заседания утром и вечером; на этих заседаниях читались рефераты по разным отраслям археологической науки. В назначенные заранее дни члены съезда совершали ученые поездки по Киеву для осмотра старинных церковных зданий и местностей, для уразумения положения древнего Киева. Когда мы таким образом приехали в Киево-Софийский собор, один из местных протоиереев встретил ученую братию таким вопросом: «Не пожаловали ли вы сюда отыскивать доказательства, что человек происходит от обезьяны?» На это граф Уваров, председатель съезда, ответил: «Мы не шагаем в такую даль».

Совершались путешествия и за пределы города Киева. Первое направлено было в село Гатное, где совершена была раскопка двух древних курганов, поросших лесом. В этих курганах найдено было несколько скелетов и глиняных сосудов. Через несколько дней члены съезда отправились на пароходе по Днепру вниз, останавливались и делали раскопки в селе Витичеве на месте древнего города, но ничего не нашли там; можно было видеть только следы старинных окопов и кирпичные остатки каких-то построек. Более интереса представило посещение Трехтемирова, где находилась когда-то главная столица малороссийского казачества и где существовал монастырь, в котором хранилась казацкая казна и погребались трупы умерших казацких товарищей¹²⁵. Теперь нет никаких остатков этого монастыря,

но зато в нагорной почве местности, где он находился, отыскивается чрезвычайное множество человеческих костей. Недалеко от бывшего монастыря есть старые пещеры, которые обвалились: невозможно было определить, к какому времени они относятся. На возвратном пути из Трехтемирова члены съезда проминули Киев и направились к Вышгороду. Здесь осмотрели место, где находился Спасо-Межигорский монастырь¹²⁶, принадлежавший запорожцам, посетили межигорскую фаянсовую фабрику и направились к старой церкви древнего Вышгорода, стоящей на высокой горе¹²⁷. Местный священник сообщил, что здесь отыскивалось несколько старых вещей в могилах погребенных там в древние времена людей. Члены принялись тотчас разрывать почву около церкви и увидели на довольно большом пространстве кирпичные фундаменты, показывавшие, что здесь находились когда-то значительные каменные постройки. Местоположение Вышгорода замечательно своею красотой и прекрасными видами с вершины холмов на Днепр и его левые берега. Возвращаясь из Вышгорода уже ночью, пароход наткнулся на какой-то плот и чуть было не потонул; поспешили наскоро выливать воду, наполнившую каюту, и гнать пароход к берегу Подола, чтобы успеть достигнуть его прежде чем пароход мог опуститься на дно.

Из рефератов, читанных в заседаниях съезда, любопытны были особенно те, которые относились к земляным раскопкам, совершенным в юго-западном крае России, и из них первое место занимали труды варшавского профессора Самоквасова, производившего поиски в окрестностях Чернигова и привезшего на съезд множество разных металлических, костяных и каменных вещей, вырытых из могил языческого периода. По признакам найденных вещей видно было, что трупы покойников подвергались сожжению вместе с их вооружением, и при этом, как должно думать, на их могилах убивались домашние животные и рабы. О времени, к которому принадлежали эти курганы, можно приблизительно судить только по двум византийским монетам VIII и IV века, найденным в раскопанных могилах. Судя по искусству обработки вещей, здесь отысканных, они должны быть туземными произведениями или, быть может, полученными из северной России.

Кроме рефератов, относившихся к курганным древностям, замечательны были рефераты местных ученых, касавшиеся казацкой истории края и его этнографии. Из них учитель киевской гимназии Житецкий читал любопытный реферат о Пересопницком Евангелии, памятнике XVI века, замечательном по языку; перевод сделан на местное наречие, очень похожее на нынешнее малорусское. Вместе с тем тот же референт сообщил ученые исследования об истории образования и изменения малорусского наречия. Столько же важными были рефераты профессора Киевского университета Драгоманова, касавшиеся малорусских дум и исторических песен, которые пред тем явились на свет в издании профессоров Киевского университета Драго-

манова и Антоновича. Профессор Петербургского университета Миллер вступил с ними в оживленный спор относительно малорусских дум и их связи с великорусскими былинами. Для большого ознакомления членов съезда с местною народною поэзиею приглашен был народный певец-бандурист Вересай. Многие из членов первый раз в жизни познакомились с приемами малорусского исторического пения, и вообще это пение имело важное значение, потому что сам Вересай был уже один из очень немногих певцов, знавших старинные казацкие думы и сопровождавших пение игрой на бандуре: бандуристы во всей Малороссии в настоящее время почти совершенно исчезают. Всякому беспристрастному слушателю было понятно и должно было показаться вполне естественным и, так сказать, законным, если на Киевском археологическом съезде историческая народная поэзия казацкого периода составляла один из крупнейших предметов ученой обработки; но не так взглянули на это газеты, привыкшие везде отыскивать политические цели, и даже там, где, по-видимому, странно было искать их. По окончании съезда в киевской газете «Киевлянин» начались печататься разные толки об украинофильстве, приписывались референтам, читавшим о малорусской поэзии, посторонние цели; с их голоса о том же заговорили столичные газеты, особенно «Голос», так что сам противник киевских ученых на съезде профессор Миллер принужден был стать в печати защитником своих бывших противников. Подозрения, взводимые тогда на киевских ученых, были до крайности неуместны и вредны в том отношении, что на будущее время стесняли свободу выбора предметов, касавшихся местной истории, литературы и этнографии: после того каждому становилось опасно пуститься на съездах в толкования о подобных предметах науки, чтобы не подать повода к подозрениям в подобном роде, а между тем, если археологические съезды предположено собирать по очереди в разных краях России, то, естественно, надобно ожидать и желать, чтобы наибольшая и наилучшая часть рефератов относилась к предметам местной истории и археологии. Я со своей стороны выразил участие свое на этом съезде чтением реферата об образовании княжеской дружины, о ее значении в древнее время и о ее изменениях в последующем быте русского народа. Этот реферат не был напечатан, и самая рукопись моя оказалась затеряною.

По окончании съезда я отправился в село Дедовцы и, прогостивши несколько дней у Алины Леонтьевны, возвратился в Петербург. Со мною приехала в Петербург двенадцатилетняя дочь Алины Леонтьевны, София, которую я вызвался отвезти в Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт), куда она была принята по баллотировке. Я навещал ее по праздничным дням в течение осени и первой половины зимы. Продолжая во все это время заниматься «Русскою историей в жизнеописаниях», я уже принялся за шестой ее выпуск, как стал замечать какое-то утомление и чрезмерную раздражительность — и во второй половине января 1875 года

захворал тифом. В самый тяжкий период развития моей болезни, 1 февраля, скончалась моя матушка — также от тифа, осложнившегося крупозным воспалением легких. Я был в то время в беспамятстве. Происходили консультации врачей, пользующихся заслуженною известностью; они находили мое состояние безнадежным. Попечения и уход за мною Николая Ивановича Котенина и доктора Димитрия Андреевича Муринова спасли меня от смерти. С беспредельной благодарностью вспоминаю о доброте, терпении и самопожертвовании этих лиц, а также и многих других приятелей и знакомых, великодушно принявших в то время на себя труд ухаживания за мною и моей матерью.

Тоска по матушке замедляла ход моего выздоровления, силы восстанавливались вяло, зрение упало совершенно. Врачи предписали мне безусловный покой и отдых, запретили какое бы то ни было напряжение мысли и зрения и в половине апреля услали меня из Петербурга на поправку в деревню.

9 мая 1875 года я обвенчался с Алиной Леонтьевной в селе Дедовцах ¹²⁸.

К моим трудам над шестым выпуском «Русской истории в жизнеописаниях» я приступил только в конце 1875 года.

* * *

В июне 1876 года предпринял я путешествие в монастыри, находящиеся на Ладожском озере, куда уже мне давно хотелось поехать. Я отправился вместе с приятелем своим Д. Г. Лебединцевым 18 июня на пароходе «Коневец» с пристани близ Смольного. Этот пароход не отличается ни удобством помещения, ни опрятностью, ни правильностью хода; несмотря на его небольшую величину в нем набилось такое множество пассажиров, что на палубе так же трудно было протолпиться, как в церкви во время праздничного богослужения, и как только толпа пассажиров скучивалась в одну сторону палубы, так пароход наклонялся и пугал погружением; капитан беспрестанно кричал со своей вышки, чтобы публика отходила в другую сторону. Вонь была нестерпимая. Большинство пассажиров принадлежало к простонародию и состояло главным образом из богомольцев, но в числе плывшего народа было достаточное число чухон, так как пароход имел крайним пределом своего плаванья Сердоболь, куда чухны, возвращавшиеся из Петербурга, намеревались пристать, чтобы оттуда отправиться внутрь Финляндии — куда кому было нужно. В первом классе было несколько дам, главным образом из купеческого быта. Когда мы поплыли по Неве, я увидел большую перемену на ее берегах после того как я видал их десять лет тому назад; по крайней мере верст на двадцать от Петербурга все было заселено и представляло как бы непрерывное продолжение города; кроме фабрик и заводов здесь виднелось множество дач, между которыми попада-

лись лавочки, очевидно, заведенные торгашами с целью снабжать дачников припасами. Между фабриками и заводами всего более бросались в глаза фарфоровый и два литейных завода на левом берегу Невы; на том же берегу возвышались опустелые огромные постройки закрытой Александровской мануфактуры, еще так недавно снабжавшей Россию ситцевыми изделиями. После пятичасового плавания вверх по течению мы прибыли в Шлиссельбург, который, сколько мог я заметить с палубы парохода, не представлял никаких изменений против того вида, в каком я знал его прежде; но когда мы проминули один за другим два ладожские канала — старый Петровский, или Миниховский, и новый, уже сделанный в нынешнее царствование ближе к берегу озера, и вступили в широкую гладь Ладожского озера, нам предстала крепость — хотя с вида такая же мрачная и унылая, но уже далеко не такая страшная и зловещая. Я узнал, что она в недавнее время совсем упразднена и все крепостные орудия сняты со стен ее.

Плавание наше по озеру до Коневецкого монастыря не совсем было приятно: сделалась качка, многие подверглись морской болезни, в том числе и я. Лимоны, которыми я по данному мне совету запасся как предохранительным средством от влияния качки, мне нимало не помогли. Мы плыли по открытому озеру; только вдали, по крайней мере верстах в двадцати, виднелись по временам финляндские берега. Мы прибыли в Коневец позже, нежели пароход обыкновенно пристает к этому монастырю; было уже десять часов вечера. Монастырь стоит возле самой пристани, и за его оградю, над берегом, построен трехэтажный дом монастырской гостиницы. Все пассажиры по прибытии к берегу отправились туда по довольно красивой аллее. Гостиница так обширна, что могла поместить не только такое количество пассажиров, которое в тот день привез наш пароход, но если бы нужно было, и вдвое более. Нам отвели комнату довольно опрятную, потому что гостиница построена недавно, но постельное белье не удовлетворяло вкусу, сколько-нибудь привыкшему к чистоте. Утром, часа в три, всех поместившихся пассажиров начали будить звонки, приглашавшие благочестивых людей к заутрени; звонили так сильно и так долго, что спать далее было невозможно. Одевшись, я отправился по указанию служителя из монастырских послушников купаться, пробрался через еловую рощу и спустился с песчаного и довольно крутого берега к озеру, куда указал мне совет послушника; место было очень мелкое, дно каменистое, а вода до того холодная, что едва можно было продержаться две минуты в воде. Воротившись с купанья, я отправился а церковь, прослушал раннюю обедню, и так как до отплытия парохода оставалось еще несколько времени, то мы отправились смотреть на знаменитый «Конь-камень», давший название и острову, и построенному на нем монастырю. Мы шли стройным еловым лесом с версту и набрали на гранитную скалу, на вершине которой построена была деревянная часовня с ведущей к ней по скале

деревянной лестницей. Об этой скале сохранилось такое предание. В те времена, когда христианство не успело еще распространиться в этих пределах, здесь было языческое мольбище; пребывавшие во мраке язычества чужны приходили сюда совершать требы своим богам и приносили им в жертву жеребят. Боги эти, как вообще понимали христиане, языческие божества, были на самом деле бесы и творили перед своими поклонниками ложные чудеса, или «мечты бесовские». Пришел на остров святой пустынный Арсений и своею молитвою изгнал бесов; со страшным громом, повинувшись святому мужу, удалились они и покинули остров, где основалась христианская обитель. Это относят к концу XIV века. Мощи преподобного Арсения лежат, как говорят, в монастыре, но под спудом; на месте, где предполагают его погребенным, поставлена серебряная рака очень изящной работы с вычеканенным изображением св. Арсения на верхней доске. Гроб этот стоит в нижней церкви монастыря. Там же находится икона Богородицы, принесенная, по преданию, этим Арсением и признаваемая чудотворною. Оставив дальнейшее обозрение Коневца на будущее время, когда придется возвращаться из Валаама, мы сели на пароход в 8¹/₂ часов утра и поплыли далее.

Пространство между Коневцом и Валаамом менее того, которое мы проплыли от Шлиссельбурга до Коневца; вместо ста двадцати верст, сделанных в предшествовавший день, нам предстояло проплыть только семьдесят — и в час пополудни мы увидели берега Валаамских островов. Это архипелаг, состоящий из сорока островков, из которых только два имеют несколько значительное протяжение; другие до того малы, что простираются не более как на несколько сажений. Они расположены близко друг от друга и разделены между собою извилистыми проливами; берега этих островов чрезвычайно живописны и могут служить самым лучшим образчиком той северной своеобразной красоты, которая дает право Финляндии назваться одною из живописнейших стран в Европе. В местоположениях Валаамских островов чувствуется что-то величественное и даже страшное. Гранитные камни, нагроможденные природою друг на друга, усеяны бесчисленным множеством елей, растущих причудливо с таким малым запасом земли для корней, что невольно удивляешься — как могли они существовать; кое-где попадаетея рядом с темною елью белая береза. Очертания скал и растущих на них дерев представляют такое разнообразие, что невольно забывается однообразность материалов, образующих эти дивные виды. Не менее придает прелести кривое направление проливов между островками. Капитан из любезности к пассажирам поплыл к монастырю не ближайшим прямым путем, а ломаными линиями проливов, мимо нескольких скитов с возвышавшимися на скалах церквами и в разных местах поставленными часовнями и крестами. Наконец, мы вошли в самый большой пролив и пред нами на возвышении скалы предстала главная монастырская церковь, покрытая белою жезью. У самого монастыря сделана

пристань, и едва мы причалили к берегу, как на пароход вскочила толпа послушников с готовностью забирать наши вещи и провожать нас в гостиницу. Мы поднялись на скалу по гранитной лестнице и очутились в монастырском дворе. Рядом, недалеко от ворот внутреннего двора, где была церковь и иноческие келии, построена монастырская гостиница, еще обширнее Коневецкой и, как казалось, гораздо удобнее. Нас поместили в чистой и светлой комнате: постельное белье здесь было безукоризненной чистоты. На стене вывешены были писанные правила, служащие наставлением для посетителей: как им жить и вести себя во время пребывания в монастыре. Каждый посетитель делался на это время как бы членом монашеской общины и должен был подчиняться установленной дисциплине. Объявление это гласило, что никто не должен без игуменского благословения ходить по острову. Запрещалось стрелять, разводить огонь и курить табак. Никто из посетителей не должен давать монахам и послушникам ни денег, ни каких-либо вещей, не мог привозить с собою съестного, а наипаче вина и мяса, и должен был довольствоваться монастырскими яствами. Так как время было обеденное, то нам предложили вкусить от монастырской трапезы, принесли куски черного и белого хлеба, щи с кислой капустой, гречневую кашу с постным маслом и что-то вроде ухи с рыбой, а для питья поставили монастырского квасу и воды со льдом. Кушанье, несмотря на крайнюю простоту, показалось мне вкусным, тем более что постное масло для каши было безукоризненной свежести и весь обед был сервирован очень опрятно.

После обеда молодой послушник, явившись к нашим услугам специально по назначению от игумена, предложил нам посетить один из скитов; толпа пассажиров потянулась из гостиницы к пристани и разместилась в трех больших монастырских лодках. Мы сели вместе с нашим проводником в одну из них, выбравши самую немногочисленную, и направились к Никольскому скиту проливом, в виду живописных извилистых берегов, проплыли мимо трех островков, расположенных один за другим и покрытых кустарниками. Мы прибыли к Никольскому скиту, находящемуся на высоком острове; церковь здесь новая, построенная назад тому не более пятнадцати лет. Начали служить молебен Николаю Чудотворцу. Фигура святого сделана деревянную статуею, одетою в архиерейское облачение, в расшитых шелковых башмаках. Статуя эта напоминала что-то католическое, но разница была та, что в католических церквях статуи обыкновенно стараются делать с соблюдением по возможности изящных форм,— эта же деревянная статуя в православном храме могла назваться скорее куклою, и для глаз, сколько-нибудь привыкших требовать правильности или изящества, представлялась безобразною и невольно наводила на грешные мысли о подобии с языческим истуканом. Богомольцы из простонародия не сознавали этого и с благоговением становили перед нею свечи. Я не мог удержаться, чтобы не заметить провожав-

шему нас послушнику, что православная церковь вовсе не одобряет не только таких безобразных, но и никаких горельефных изображений; он пожал плечами и должен был согласиться с этим, но в извинение монастыря сказал, что это — благочестивое приношение того христороубца, который по своему усердию построил этот храм. Церковь обсажена березами.

Мы возвратились тем же путем в монастырь, и проводник провел нас по террасе, устроенной над крутым обрывом скалы, что напомнило мне Георгиевский монастырь в Крыму, с тою разницею, что в последнем морские волны ближе подходят к подножию террасы, чем здесь озеро. Мы дошли этим путем на монастырское кладбище; несколько гранитных плит с надписями положены были на могилах иноков, и надписи на них свидетельствовали о долговечности здесь погребенных. Таким образом, из десяти лежащих в ряд большая часть дожила до 80-ти лет, а немногие умерли между 75 и 80-ю, один же скончался 83-х лет. В числе могил послушник указал нам на мифическую могилу шведского короля Магнуса, о котором, как известно, сложилась легенда, будто этот король после несчастливой для себя войны с новгородцами приплыл к Валаамскому монастырю, обратился в православие и принял схиму. Легенда эта давно уже опровергнута еще Карамзиным, тем не менее монахи считают несомненным историческим фактом эту сказку и опираются главным образом на то, что некогда какому-то чухонцу во сне явился король Магнус и приказал идти на Валаам и поклониться его могиле.

Обошедши кладбище, мы возвратились в гостиницу, а вскоре потом ударили ко всенощной. Мы отправились в церковь. Сколько я мог помнить, никогда еще не доводилось мне стоять такой длинной всенощной, она продолжалась четыре с половиною часа. Впрочем, в церкви устроено довольно мест для сиденья старикам и слабым телом. Пение на Валааме оригинальное, дышит стариною и несколько напоминает старообрядческое. Нельзя сказать, чтобы при этой продолжительности чтение кафизм и всего другого отличалось особенною внимательностью и изяществом произношения; читают здесь тем же способом, как везде дьячки, и даже довольно скоро, так что хотя я находился недалеко от чтеца, но с трудом мог следить за содержанием того, что он читал. Продолжительность богослужения происходит оттого, что здесь пунктуально соблюдается вся формалистика обрядов, например: там, где по уставу следует произнести сорок раз «Господи, помилуй», считается грехом пропустить какой-нибудь раз, а иное поется сообразно уставу по три раза сряду; также замедляет богослужение обычай канонархии стихирей; каждое выражение стихиря сперва громко произносит канонарх, а потом уже со слов его поет клир. В Петербурге в церквях нет ничего подобного: здесь вместо восемнадцати псалмов, назначенных в двух кафизмах, читают не более шести, а иногда только три, да и то не доканчивают, а останавливаются на середине псалма; здесь, в Петербурге, извиняют себя

известным наставлением апостола Павла, который говорит, что лучше пять слов произнести со смыслом и чувством, чем расточать пустое многоглаголанье, да и слова самого Христа: во многом глаголании нет спасения — приводятся в оправдание отступлений от формалистики устава; на Валааме же думают угодить богу и соблюсти обет благочестия строгим исполнением всей этой формалистики. По выходе из церкви наместник игумена, отец Виктор, сказал мне, что на Валааме есть монах, бывший некогда моим слушателем в Петербургском университете, и игумен благословил ему повидаться со мною. Этот монах не замедлил явиться. Я не припомнил его. По его словам, он по окончании курса возжелал удалиться от мира и поступил в строжайший из русских монастырей; его зовут отец Пимен. Это человек между тридцатью и сорока годами, красивой наружности, но сильно исхудавший, вероятно, от постов и общего удручения плоти. Он обратился ко мне с любовным расположением и сказал, между прочим, что когда в 1875 году я был болен тифом, то из газет узнали об этом в монастыре и с благословения игумена молились о моем выздоровлении. Сам отец Пимен заведует монастырскою канцеляриею.

На другой день после ранней обедни мы сказали нашему послушнику, чтобы он испросил благословения игумена отправиться нам по острову в ближайший из скитов. Через несколько минут этот послушник известил нас, что игумен благословляет; мы отправились за монастырские ворота по дороге сначала мимо садов, потом через лес. Здесь мы увидали, что окрестность монастыря обработана превосходно, это доказывало множество плодовых деревьев, какие только могут, хотя бы и с трудом, прозябать в этом негостеприимном климате; самый лес, по которому мы прошли версты три, не ограничивался здесь обычными хвойными деревьями и березами — мы встречали здесь посаженные дубы, липы, клены, кедры и даже каштаны. Вся дорога была тщательно убита песком. Роща эта представляла вид благоустроенного парка. Скит, куда мы направились, был заперт, и, прошедши по той же дороге еще с версту, мы воротились назад, потому что мошки решительно не давали возможности следовать далее. Не успели мы достигнуть до своей гостиницы, как наш послушник, встретив нас на пути, пригласил нас от имени игумена, отца Дамаскина, к нему и при этом сказал, что игумен, узнавши, что мы отправились «самочинно» в лес, был этим очень недоволен. «Да не вы ли сами сказали, что игумен дал свое благословение?» — заметил я послушнику. «Да, — отвечал послушник, — но вы пошли сами в лес, не взявши меня; игумен позволил, а потом верно забыл, только нас за то распекал». «Вы бы ему объяснили», — сказал я. «Мы не смеем отговариваться и оправдываться», — ответил послушник.

Пришедши к игумену, мы увидали восьмидесятилетнего старца, от слабости едва державшегося на ногах и постоянно подпиравшегося

палкою. Он принял нас ласково, но не мог долго вести разговора по причине старческой слабости, только наделил нас образками святых Сергия и Германа, просфорами и экземплярами составленного от его имени описания Валаамского монастыря в 1/8 долю листа с картинами, изображавшими вид Валаама. Сколько можно было судить по собственным его приемам и по отзывам об нем братии, это человек в высокой степени замечательный как организатор и правитель. Он игуменствует на Валааме с 1839 года и успел поставить себя так, что вся братия ему безусловно повинуется и пред ним благоговеет. Важное его достоинство то, что он человек безукоризненно честный, прямой и чрезвычайно трудолюбивый. Это не из рода тех настоятелей, которые, пользуясь людской властью, обращают брата и послушников в своих рабов, содержат их впроголодь и впрохолодь, а сами пользуются всеми благами, какие могут доставить им монастырские доходы, да еще наделяют ими свою родню, а иногда и племянников подозрительного свойства. Он никогда не имел своего отдельного стола и обедал всегда с братиею на трапезе, только в последние годы по крайней слабости ему стали приносить пищу в келию, но все-таки от общей трапезы. Принуждая всех монахов трудиться, сам отец Дамаскин не только не уклонялся от равного с ними труда, но всегда первый брался за всякую работу, показывая всем пример. Так, во время покоса вся братия должна идти с косами и граблями, и сам игумен первый начинал покосную работу; также неумоимо он занимался садоводством, которое особенно любил. Его стараньем построена новая гостиница, проведена вода из озера вверх через подземные трубы, учрежден целый корпус ремесленников, занимающихся различными искусствами. Монастырь принимает к себе мальчиков и выпускает их, обучивши разным ремеслам, смотря по способностям каждого. В настоящее время таких учеников в монастыре до тридцати человек, преимущественно из чухон. В особом здании помещаются чернорабочие, большею частию также чухны. Монастырь принимает их всех охотно, несмотря на то, что они большею частию лютеране, только с неперменным условием не курить табаку. Отец Дамаскин запрещает братии заводить с иноверцами, посещающими монастырь, суетные прения о вере, хотя с радостью принимает того, кто добровольно, по собственному убеждению присоединяется к православной церкви. Вообще отец Дамаскин довел монастырь до того, что он составляет такую строгую общину, что подобной едва ли где можно найти. Всякий поступающий в монастырь лишается права иметь какое бы то ни было достояние, а должен получать все нужное из общины по распоряжению игумена. Одежда, обувь и белье всем выдается из монастырской кладовой; едят все за общим столом трапезы, а старцам отпускается в келию по четверть фунта чаю и по одному фунту сахара в месяц и по свече в келию на вечер. Постриженному монаху дается одна келия, а послушники помещаются по два человека в келии. Все должны повиноваться

игумену беспрекословно, и кроме тех, кого он удостоит приглашением к совету с ним, никто не смеет заявлять пред ним своего мнения; никто не смеет без его благословения ни куда-нибудь выйти, ни что-нибудь делать. Самовольство, называемое на монашеском языке «самочинность», считается тяжким грехом, как равно и всякое бездействие. Все обязаны с благословения игумена что-нибудь делать, не оставаясь ни полчаса праздно. В монастыре есть порядочная библиотека, состоящая главным образом из духовных книг, но есть немало и светских, впрочем, старых, так что даже история Соловьева по своей относительной новосте не оказалась в библиотеке. Все книги дозволено читать не иначе как с благословения и по указанию отца игумена. Монастырь выписывает газеты и журналы, но этого уже никто не читает, кроме игумена и тех, кому он соблаговолит дать для прочтения. Письма, адресованные монахам, проходят непременно через руки отца игумена. Купаться монахам отнюдь не дозволено, да и для посторонних посетителей нет купален; отец Дамаскин, впрочем, в видах соблюдения чистоты завел баню, куда монахи могут ходить, но не иначе как с его благословения. Все это устройство приведено в порядок еще в прошлом веке игуменом Назарием, постриженником Саровской пустыни, оттуда и взял этот игумен устав для Валаамской обители.

Помещенная в описании, подаренном мне отцом Дамаскином, история Валаамской обители включает много драгоценных фактов, важных не только для местного быта, но и вообще для хода духовной жизни в России. Надобно, однако, заметить, что составители ее не слишком критически относились как к письменным, так и к устным источникам монастырского прошлого. Таким образом здесь дается полная вера какой-то рукописи, называемой *оповедь*, тогда как известия, сообщаемые из этой *оповеди*, ясно показывают, что это сочинение наполнено вымыслами и бреднями, подобными тем, какие встречаются в наших хронографах. Между прочим, на основании этой *оповеди* и других легендарных сказаний дается вера тому, что основатели Валаамской обители, святые Сергей и Герман, устроили монастырь еще до принятия Владимиром святого крещения. Так точно в книге, подаренной мне отцом Дамаскином, не только признается фактически достоверною легенда о шведском короле Магнусе, но даже с некоторым озлоблением порицаются те, которые осмеливались на основании несомненных исторических данных отрицать правдивость события, рассказываемого в этой легенде.

Во время поздней обедни мы сделали на лодке путешествие по извилистому заливу внутри острова и посетили так называемый «Большой скит», где нашли красивую церковь с куполом византийской архитектуры, каменные келии, трапезу живущих в скиту монахов и садик, обделываемый их руками. Мы хотели посетить еще скит Иоанна Предтечи, где живущие монахи отличаются особенным постничеством и строгостью жизни; они, как говорил нам послушник,—

молчалники, давшие обет ни с кем не говорить ни слова и погруженные в совершенное уединение. Но краткость времени не допустила нас отправиться туда, потому что в два часа должен был прийти из Сердоболя пароход, на котором мы предполагали плыть в обратный путь. Мы воротились в монастырь и после обеда отправились на пароход. Можно сказать, что о монастыре Валаамском мы вынесли самое уважительное впечатление, хотя в сущности не могли вполне узнать его, так как для этого потребно было бы время и беседы не с монахами, а с теми рабочими, которых мы видели только издали. Мы должны были довольствоваться только тем, что нам передавал приставленный к нам от игумена послушник. Мимо воли приходило в голову, что все, сообщаемое нам, преднамеренно было окрашено в такой цвет, каким покрыло его рассказы благословение отца игумена.

К вечеру в шесть часов в тот же день мы обратно прибыли в Коневец и, пользуясь временем, начали совершать прогулку по острову, посетили один скит недалеко от монастыря и застали в нем в церкви монаха, который, не обращая внимания на всех приходивших и уходивших, читал по своей обязанности синодик усопших. В этом ските в особой часовне мы видели деревянный крест, изгрызенный зубами благочестивых богомольцев: этот крест приписывают святому Арсению Коневскому и уверяют, что он имеет чудотворную силу исцелять зубные боли. Из скита мы в другой раз посетили скалу, называемую «Конь-камень», и здесь случайно встретили женщин, из которых одна назидательно рассказывала другим легенду об этой скале, но страшно изуродовала ее содержание. Она говорила, например, что в настоящее время каждый год здесь убивают жеребенка для того, чтобы нечистая сила не пугала посетителей, без этого тут был бы гром и разные страсти; другие женщины слушали с легковерием эту дребедень и потом боялись идти вверх по лестнице к часовне, но рассказчица успокоила их, сказавши, что после убиения жеребенка целый год здесь безопасно.

Воротившись в гостиницу, мы попробовали ужина от монастырской трапезы, но решительно не могли ничего есть — так плохо было все приготовлено. Мы отправились вдоль по берегу озера к новой церкви, которую, как говорили, собираются освящать в июле, и здесь услышали такого рода легенду. Во время Крымской войны в Керчи англичане сожгли один дом, которого хозяин, находясь в военной службе, был убит под Севастополем. Вдова его, лишившись мужа, а потом дома, скоро умерла; осталась дочь, девица, имевшая тогда от роду 14 лет. Эту сироту поразил паралич в ногах. Она жила Христа ради у чужих людей; и вот ей снится: подходит к ней старик-монах и говорит: «Иди на Ладожское озеро в Коневецкий монастырь и у гроба моего отслужи молебен Коневецкой божией матери». Девица эта была католического исповедания и не знала святых православной церкви. Долго не могли ей объяснить русские люди, которым она рассказывала свое сновидение, наконец, какой-то священник сказал

ей, что действительно есть такой святой, и больная каким-то путем добралась в Петербург, а оттуда в Коневец. Как только у раки преподобного Арсения она отслужила молебен божией матери, тотчас почувствовала, что ноги ее стали здоровы. Она отправилась восвояси, и вскоре ее обстоятельства пошли лучше. Спустя много лет видит она во сне опять того же Арсения, который приказывает ей отправиться на Коневец и построить церковь на том месте, где когда-то Арсений по приходе своем на Коневец поставил небольшую деревянную церковь, но по причине болотистого леса избрана была другая местность — та самая, где и теперь стоит монастырь. Особа эта отправилась по назначению. Церковь была заложена, и так как у самой строительницы не достало капитала, то церковь была достроена пожертвования от доброхотных дателей. Место, где стоит эта только что отстроенная, но еще не освященная церковь, чрезвычайно неудобно: тотчас за стенами церкви идет такое болото, что, как говорят, может засосать каждого, кто будет иметь неосторожность ступить туда.

Переночевавши в Коневце, мы отслушали литургию, а потом в нижней церкви молебен Богородице. Во время молебна был отворен подлинный образ Коневецкой божией матери, писанный на дереве и сильно потертый от времени. Он постоянно покрыт окладом, который отворяется во время молебна, служимого для путешественников. Архимандрит Коневецкого монастыря такой же старик, как и игумен Валаамского, и хотя в Коневецком монастыре также установлено общежительство, но архимандрит не стесняет братии и позволяет имущим на свой счет кое-какие удобства в жизни.

Оставивши Коневец после молебна, мы к семи часам вечера воротились в Петербург.

* * *

8 июля 1877 года, отправившись в гости к одному из наших знакомых, А. Л. Боровиковскому, на дачу близ Мерреколя, в 18-ти верстах от Нарвы, мы вместе с нашим обязательным хозяином съездили нарочно в Нарву, которая давно уже занимала мое воображение своим историческим значением. Прежде всего мы осмотрели Ивангород, построенный в XV столетии на самой окраине тогдашних владений Московского государства. В виду этого последнего русского пункта возвышались уже твердыни Нарвы, крайне укрепленного города владений Ордена меченосцев. До сих пор сохранились огромные массивные каменные стены, неправильными линиями расположенные на площади довольно высокого холма. Эти стены по верху окаймлены зубцами и снабжены круглыми башнями с остроконечными кровлями; башни расположены по углам, пересекающим линии. В одной из этих башен по направлению к югу есть нижняя каменная пристройка, где, как сказывают, остались следы хода, ведущего в

подземелье, проведенное будто бы под реку Нарову. Замок разделен поперечною стеною на две неравные половины, показывающие, что, вероятно, этот замок строился не в одно время и что прежде он был мал, а потом расширен. Из-за этого замка в 1558 году началась перепалка русских с немцами вследствие случайной ссоры, за чем последовало завоевание Нарвы, которое повлекло за собою Ливонскую войну, окончившуюся падением Ливонского ордена. Успехи русского оружия, как известно, были уничтожены победами Стефана Батория; завоевания царя Ивана достались польской Речи Посполитой, а в половине XVII века были отняты у ней шведами и оставались за последними до Северной войны, пока в начале XVIII века не покорены были Россиею. Видно, что шведы, присоединившие к доставшейся им от поляков Ливонии древние русские владения вдоль берега Финского залива, заботились о поддержании и улучшении находившихся там твердынь. Таким образом, Ивангородская стена была перестроена ими, о чем гласит сохранившаяся над воротами надпись, означающая год этой перестройки — 1613. В середине замка, в более обширной половине его находится церковь с двумя остроконечными куполами; в ней и до сих пор отправляется богослужение, но священник живет в городе Нарве. Сторож — единственное лицо, которое мы увидели в Ивангороде кроме часовых, — не мог нам сообщить никаких достоверных сведений об этой церкви, хотя и уверял, что она построена при царе Иване Васильевиче Грозном. Иконостас в ней новый, немногие иконы в церкви, судя по письму, принадлежат к XVI веку. В ризнице мы видели кучу старопечатных богослужебных книг, выброшенных из шкафа за негодностью к употреблению в настоящее время, в числе их бросаются в глаза Евангелие, печатанное при патриархе Никоне. Ниже главной церкви расположена зимняя церковь в виде пристройки, куда надобно сходить из главной церкви по небольшой узенькой лестнице, ведущей вниз; впрочем, в эту зимнюю церковь есть другой, главный вход со двора. Вблизи церкви стоит здание другой маленькой церкви с круглым византийским куполом. Сторож говорил, что несколько лет тому назад приезжали какие-то (как он выражался) инженеры, забрали оттуда всю утварь и иконы и заперли церковь, объявивши, что ее будут починять, но с тех пор никаких починок там не производилось. Церковь стоит запертою и ни для кого непроницаемою. Против этих церквей, во внутренней стороне внешней стены существуют еще пещеры с широкими аркообразными входами; там, как говорят, были когда-то конюшни, а в опустелом каменном отдельном строении находилась, как должно думать, в старое время «государева зеленая казна» (склад пороха и огнестрельных снарядов)...



П Р И Л О Ж Е Н И Я

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОСТОМАРОВ — ИСТОРИК

«...Костомаров был человек такой обширной учености, такого ума и так любил истину, что труды его имеют очень высокое научное достоинство. Его понятия о деятелях и событиях русской истории почти всегда или совпадают с истиной, или близки к ней...» С этими словами Н. Г. Чернышевского, написанными сто лет назад, полностью может согласиться и наш современник. По-прежнему вызывают искреннее восхищение поистине титаническая работоспособность Н. И. Костомарова, широта его интересов, яркость изложения исторических событий и фактов. Творческое наследие Н. И. Костомарова, созданное им за пятьдесят лет служения отечественной науке и культуре, велико и многогранно. Историк, писатель, фольклорист — он создал целую портретную галерею исторических деятелей, обстоятельно исследовал многие важнейшие проблемы истории Отечества, впервые рассматривая народ как ее главную движущую силу. «История — это не описание жизни вождей и идей, а описание стремлений, действий и чувств народа» — таким было кредо Н. И. Костомарова, и он стремился следовать ему на протяжении всей своей жизни.

Со страниц многочисленных монографий, статей, очерков историка перед читателем предстают живые картины прошлого: времен создания Русского государства, становления и укрепления его политических, экономических и культурных позиций, яркие эпизоды истории Украины, борьбы ее народа против социального и национального угнетения. Это утвердило Н. И. Костомарова в отечественной историографии как историка России и Украины.

Носитель сложных общественно-политических взглядов, ученый был неоднозначен и в своих исторических изысканиях, в которых соседствуют демократические и либерально-самодержавные идеи, сочувствие борьбе угнетенных масс и проповедь классового примирения на основе христианского «братолюбия». Не избежал Н. И. Костомаров и идеализации прошлого. Поэтому, к сожалению, сложилось так, что на протяжении многих десятилетий его научное и литературное наследие рассматривалось предвзято, преимущественно в негативном плане. При этом не принимались во внимание ни время, в котором он жил и трудился, ни близость к отечественному револю-

ционно-демократическому движению, ни антикрепостнические убеждения, за которые он был заточен в казематы Петропавловской крепости, в ссылку, ни многое другое, что характеризует Н. И. Костомарова как ученого и общественного деятеля, смыслом жизни которого было служение народу.

Обращение к народу как творцу истории — важнейшая грань творчества Н. И. Костомарова. Именно им были затронуты многие вопросы нашего исторического прошлого, которые ранее не рассматривались, именно он каждой строкой своих сочинений отстаивал необходимость освобождения трудящихся от крепостничества. Н. И. Костомаров был горячим сторонником дружбы русского и украинского народов, неоднократно подчеркивая неразрывность их судеб: «Мы желаем идти с великорусским народом одною дорогою, как шли до сих пор, наши радости и горести пусть будут общие; взаимно будем идти к успехам внутренней жизни, взаимно охранять наше единство народное от внешних враждебных сил» (*Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. К., 1928. С. 154*).

Н. И. Костомаров заметно отличался от представителей тогдашней официальной историографии широкой проблематикой исследований, раскованностью письма, оригинальностью выводов. Все это позволяет говорить о внесении им в отечественную историческую науку демократических начал. Поэтому не случайно, что личность Н. И. Костомарова привлекала А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова и Т. Г. Шевченко, передовую общественность России и Украины. Обращались к трудам ученого К. Маркс и В. И. Ленин. И то, что имя Н. И. Костомарова, как и некоторых других прогрессивных дореволюционных историков, долгое время было своеобразным «белым пятном» в историографии, — на наш взгляд, непростительная ошибка, которая не могла не сказаться на уровне исторического самосознания нескольких поколений.

* * *

Читателю этой книги, знакомому с «Автобиографией» Н. И. Костомарова, его жизненный путь уже известен. Пройдем еще раз вкратце этим путем и мы, останавливаясь лишь на основных его вехах, и попытаемся по возможности объективно проследить деятельность ученого на фоне перипетий общественной жизни того времени.

Николай Иванович Костомаров родился 16 мая 1817 г. в селе Юрасовка, ныне Ольховатского района Воронежской области. Судьба сложилась таким образом, что родился он подневольным. Его отец — помещик Иван Петрович Костомаров, мать — Татьяна Петровна Мельникова, крепостная отца, на которой он женился спустя три месяца после рождения сына. И хотя после женитьбы Татьяна Петровна освобождалась от крепостной зависимости, сын по положению так и оставался крепостным.

Бывший суворовский капитан, участник взятия Измаила и других боев под командованием Суворова, прошедший пол-Европы, отец Николая постоянно стремился повысить свое образование. Его любимыми книгами были сочинения Даламбера, Дидро, Вольтера и других энциклопедистов XVIII в. В доме любили и уважали творчество В. А. Жуковского, А. С. Пушкина. С ним с детства знакомился и Николай Костомаров, чему немало способствовал отец. Странный по тем временам был этот помещик. Позже в своей «Автобиографии» Николай Иванович вспоминал: «В политических и социальных понятиях моего покойного родителя господствовала какая-то смесь либерализма и демократизма с прадедовским барством».

Чувствуя свой отцовский долг, Иван Петрович стремился дать образование сыну. После неплохой домашней подготовки Николай был отдан в Москву в частный пансион.

В июле 1828 г. случилась трагедия — крепостными был убит отец. Современники свидетельствуют, что «убийство было совершено частью из мести, а частью из-за грабежа». Старший Костомаров не отличался особенной добротой по отношению к своим крепостным, зато мать после своего отъезда из Юрасовки еще долго вспоминалась ее жителями с симпатией и любовью. Они писали: «Старый Костомаров любил свою жену как красавицу и очень умную женщину, хотя и держал ее, как и всех вообще в доме, в почтительном отдалении» (*Киевская старина*. 1895. № 4. С.67, 66). После смерти отца учение пришлось прервать. К тому же на имение И. П. Костомарова объявили свои притязания два его двоюродных брата Ровневы, которые вовсе не собирались лишать Николая крепостной зависимости. Однако после сложных переговоров, когда мать согласилась на выплату ей вдовьей части в размере 50 тыс. рублей, наследники, заполучив 14 тыс. десятин земли и крепостных, согласились дать вольную Николаю.

Мать сразу же определила Николая в частный пансион в Воронеж. Пробыв в нем два с половиной года, он упросил мать дать ему возможность учиться в здешней гимназии, куда и был принят в 1831 г. в третий класс.

После окончания курса гимназии в 1833 г. Костомаров поступает в Харьковский университет. Очевидно, выбор шестнадцатилетнего юноши был не случаен. Открытый в 1805 г. университет к тому времени уже обладал определенными академическими традициями, здесь решались многие проблемы математики, биологии, химии, философии, истории. В университете читали лекции автор трехтомного «Курса математики» профессор Т. Ф. Осиповский, работы которого, направленные против идеализма в философии, сыграли значительную роль в развитии общественной мысли, основоположник физической химии Н. Н. Бекетов, видный ученый-геолог Н. Д. Борисяк. Профессором русской истории был известный украинский поэт П. П. Гулак-Артемовский, всеобщую историю преподавал М. М. Лунин, под влиянием которого Николай приобщился к чтению исторических книг.

С первых же шагов начинающий студент обратил на себя внимание стремлением к познанию, усидчивостью и настойчивостью. В университете он изучил латинский, французский, итальянский языки, немецкую философию, историю. А главное, тесно общаясь во время учебы с представителями харьковской интеллигенции, Костомаров глубоко заинтересовался историей Украины, что повлияло на всю его дальнейшую жизненную и научную судьбу.

Окончив в 1837 г. университет со степенью кандидата, Костомаров определился на службу в Кинбурнский драгунский полк в Острогожске, однако вскоре понял, что военная служба — не его призвание. Пребывание в Острогожске имело ту положительную сторону, что здесь Костомарову удалось познакомиться с богатым архивом уездного суда, в котором сохранились дела бывшего казачьего полка. Работа над документами так захватила Костомарова, что он забывал о службе, а затем и вовсе оставил ее.

Осенью 1837 г. Костомаров возвращается в Харьков. Начинается новый период его жизненного пути. Он слушает лекции в университете, штудирует исторические произведения, осмысливает прочитанное. Уже в это время история сделалась для него «любимым до страсти предметом». Он пишет, что «читал много всякого рода исторических книг, вдумывался в науку и пришел к такому вопросу: отчего это во всех историях толкуют о выдающихся государственных деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают жизнью народной массы? Бедный мужик, земледелец-труженик как будто не существует для истории; отчего история ничего не говорит о его быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях, способе его радостей и печалей? Скоро я пришел к убеждению, что историю нужно изучать не только по мертвым летописям и запискам, а и в живом народе».

Знаменательно, что эти революционные по тем временам мысли пришли в голову двадцатилетнему юноше, только начинающему свой подвижнический путь историка. «С чего начать?» — задавал он себе вопрос и отвечал: «конечно, с изучения своего русского народа, а так как я жил тогда в Малороссии, то и начать с его малорусской ветви». И Костомаров с еще большим желанием берется изучать все, что говорит о народе. В этом ему помогало общение с такими известными литераторами и учеными, как филолог-славист, историк, палеограф, ценитель украинского фольклора И. И. Срезневский, уже упомянутый нами П. П. Гулак-Артемовский, ставший ректором Харьковского университета, первый украинский писатель-реалист, автор «Малоросійських повістей...» и знаменитой комедии «Сватання на Гончарівці» Г. Ф. Квитка-Основьяненко, украинский поэт и фольклорист А. Л. Метлинский и др. И. Костомаров изучает сборники украинских народных песен и дум, с увлечением читает повести Н. В. Гоголя и под их впечатлением сам берется за перо. Уже в 1838 г. он издает под псевдонимом Иеремия Галка свое первое

драматическое произведение «Сава Чалий», написанное на украинском языке. В следующем году выходит сборник его стихотворений «Українські балади», далее сборник «Вітка» и др. «Любовь к малорусскому слову,— писал Н. И. Костомаров,— более и более увлекала меня; мне было досадно, что такой прекрасный язык остается без всякой литературной обработки и, сверх того, подвергается совершенно незаслуженному презрению».

Именно в отношении Н. И. Костомарова к украинской истории, к украинскому языку необходимо искать причину выбора им темы своей магистерской диссертации — «О причинах и характере унии в Западной России», которая, однако, в связи с протестом церковных властей и министра просвещения Уварова была снята с защиты. По их мнению, автор слишком отрицательно изобразил духовенство и слишком сочувственно — восстание крестьян и казаков. Получив разрешение писать диссертацию на другую тему, Костомаров остается верен себе. 13 января 1844 г. ему присваивается степень магистра исторических наук за защиту диссертации «Об историческом значении русской народной поэзии».

Деятельная натура ученого не терпела никаких пауз. Еще весной 1843 г., подав на защиту готовую диссертацию, он приступает к работе над историей времен Богдана Хмельницкого, ставшей важнейшей в его жизни.

После получения степени магистра Н. И. Костомаров решает посвятить себя преподаванию. Он читает русскую историю в частных пансионах Харькова и Киева, в Ровенской гимназии, стремится получить место в Киевском учебном округе. Путешествуя по Вольни, ученый все больше задумывается о положении простого народа. Он пишет К. М. Сементовскому: «...я с жадностью на каждом шагу расспрашивал о быте здешнего народа (признаюсь, это меня более занимает теперь, чем даже народная поэзия) и получил ужасающие сведения. Каторга лучше была бы для них!» (*Україна, 1925. Кн. 3. С. 48*). Так формировался один из основателей будущего Кирилло-Мефодиевского общества.

В октябре 1844 г. Костомаров знакомится с М. А. Максимовичем, виднейшим историком, филологом, фольклористом, сборники народных песен и исторические работы которого он изучал. «Меня поразила и увлекла,— писал он впоследствии,— неподдельная прелесть малорусской народной поэзии, я никак и не подозревал, чтобы такое изящество, такая глубина и свежесть чувства были в произведениях народа, столько близкого ко мне и о котором я, как увидел, ничего не знал».

В Киеве Н. И. Костомаров сближается с представителями украинской интеллигенции — Н. И. Гулаком, А. М. Марковичем, В. М. Белозерским, П. А. Кулишом. Вскоре в их среде зарождается и крепнет идея создания общества, целью которого было бы осуществление идеи славянской взаимности на принципах равноправия народов. Такой

организацией стало Кирилло-Мефодиевское общество. Костомаровым разработана его основная программа, изложенная как в «Уставе и правилах» общества, так и в «Книге бытия украинского народа», воззваниях «Братья украинцы» и «Братья великороссияне и поляки». В одном из пунктов «Устава и правил» указывалось: «Общество будет стараться заранее об искоренении рабства и всякого унижения низших классов, равным образом и о повсеместном распространении грамотности» (*Былое. 1906. № 2. С. 67*). Позднее в своем письме в герценовский «Колокол» Н. И. Костомаров писал, что идеи общества были направлены на то, чтобы «каждая народность сохраняла свои особенности при всеобщей личной и общественной свободе», что члены общества были пронизаны «омерзением к крепостному праву, к религиозным и национальным ненавистям», «соболезнованием о невежестве народа» (*Колокол. 1860. № 61*).

В это время Н. И. Костомаров знакомится с Т. Г. Шевченко, который прибыл из Петербурга, чтобы поселиться и работать в Киеве. «Разговор у нас шел о делах славянского мира,— писал впоследствии ученый,— высказывались надежды будущего соединения славянских народов в одну федерацию государственных обществ, и я при этом излагал мысль о том, как было бы хорошо существование ученого славянского общества, которое бы имело широкую цель установить взаимность между разрозненными и мало друг друга знающими славянскими племенами» (*Русская старина. 1880. № 3. С. 598*). Эта мысль горячо воспринималась Т. Г. Шевченко. Но в деятельности Кирилло-Мефодиевского общества он, как убежденный революционный демократ, видел возможности более радикального плана.

28 мая 1846 г. Ученым советом Киевского университета Н. И. Костомаров был единогласно избран адъюнкт-профессором кафедры русской истории, а в августе этого же года утвержден в этом звании министром народного просвещения. Он продолжает работать над книгой о Богдане Хмельницком, готовит и издает в Киеве отдельной книгой извлечения из своих лекций, читанных в университете, под названием «Славянская мифология».

Говоря о мотивах издания этой первой исторической работы (не считая диссертации), известный советский ученый П. Н. Попов в своей книге «Костомаров як фольклорист і етнограф» (*К., 1968*) писал: «К изданию такой книги Костомарова побудили соображения как научного, так и общественно-политического характера. Во-первых, новая работа дополняла диссертацию 1843 года, в которой вопросы символики неба и небесных светил обойдены. С другой стороны, «Славянская мифология» должна была обосновать стремления кирилло-мефодиевцев к объединению славянства не только в единое политическое тело (на федеративных началах), но и в единую духовную целостность, потому что, как стремился доказать автор, славяне были духовно объединены уже в далеком доисторическом прошлом».

Очевидно, доводы П. Н. Попова имеют основания, но, к сожалению эта работа Н. И. Костомарова, как и его первая диссертация, была изъята из обихода и частично уничтожена. Причиной послужило то, что в марте 1847 г. Кирилло-Мефодиевское общество в результате доноса подверглось разгрому и Н. И. Костомаров в числе других его членов был арестован. «Некоторых, главных, засадили в крепость кого на год, кого на три года, а потом послали на службу в великорусские губернии; но и тех, и других отдали под строжайший надзор полиции. Поэта Шевченко послали рядовым в Оренбург, а потом в Новопетровское укрепление; Николай I строжайше приказал, чтобы ему не позволяли ни писать, ни рисовать... Шевченко пробыл более десяти лет в такой нравственной пытке...» (*Колокол*. 1860. № 61). После годичного пребывания в Петропавловской крепости Н. И. Костомаров был выслан в административную ссылку в Саратов.

Начинается новый период в жизни Костомарова. В Саратове он служит в статистическом управлении, собирает сведения по истории и экономике губернии, на основании которых публикует в «Памятных книжках» и «Саратовских губернских ведомостях» ряд статей. Им был собран большой местный фольклорный материал, который был опубликован в тех же «Ведомостях», а позднее — в «Летописях русской литературы и древности» Н. Тихонова.

В 1859 г. Костомаров издал «Народные песни, собранные в западной части Волынской губернии в 1844 году». Сборник этот был изуродован цензурой, и составитель остался крайне недоволен изданием. В это же время из Петербурга пришло указание прекратить «печатающиеся некстатии» в «Саратовских губернских ведомостях» народные песни. В связи с прибытием в Саратов нового полицмейстера условия пребывания Костомарова в этом городе были ужесточены.

Историк решает продолжать работу над монографией, посвященной Богдану Хмельницкому. В 1857 г. ее печатают в журнале «Отечественные записки» под названием «Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России». В этот же период он работает над такими исследованиями, как «Иван Свирговский, украинский казачий гетман XVI века», «Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях», «Очерк истории Саратовского края от присоединения его к Российской державе до вступления на престол императора Николая I» и другими. Одна из самых значительных работ ученого — «Бунт Стеньки Разина» — была напечатана в тех же «Отечественных записках» в 1858 г.

Пребывая в Саратове, Н. И. Костомаров регулярно следил за периодическими изданиями, выходившими в Петербурге и Москве, постоянно стремился быть в курсе всех последних достижений отечественной исторической и филологической науки, выражал свое мнение по многим вопросам. Его частым собеседником и оппонентом был Н. Г. Чернышевский, поступивший в апреле 1851 г. на должность учителя словесности в саратовскую гимназию. Их взаимная при-

вязанность — несмотря на определенные расхождения в образе мышления — сохранилась не только в саратовский период, но и тогда, когда в апреле 1859 г. Костомаров, получив приглашение Петербургского университета занять кафедру русской истории, которой до этого заведовал ушедший в отставку академик Н. Г. Устрялов, приехал в столицу.

Начался один из важнейших периодов в жизни Н. И. Костомарова. В ноябре 1859 г. он был утвержден в звании экстраординарного профессора Петербургского университета и приступил в качестве заведующего кафедрой к чтению лекций. О его мастерстве лектора, о глубокой научности лекций и богатстве их фактического материала буквально с первого же дня среди студентов начали слагаться легенды. Почти каждая лекция ученого оканчивалась овацией. Слушателями были не только студенты, но и коллеги — историки, литераторы. Частым слушателем лекций Н. И. Костомарова был Т. Г. Шевченко, который после десятилетней солдатчины в марте 1858 г. вернулся в Петербург, и его покровитель — вице-президент Академии художеств Ф. П. Толстой. Его слушали Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов, Марко Вовчок и П. А. Кулиш, и многие другие. Сохранилось свидетельство об этих лекциях и о лекторе. Это воспоминания члена «Земли и воли» Л. Ф. Пантелеева, студента Петербургского университета, участника революционного движения 60-х годов.

«Николай Иванович обыкновенно читал стоя, заложивши правую руку за борт жилета. Обладая феноменальной памятью,— а он жаловался, что в Петропавловской крепости потерял половину ее,— Николай Иванович хотя и имел перед собой листочки, но заглядывал в них крайне редко, цитируя наизусть не только выдержки из памятников, но даже томы и страницы изданий памятников. Голос у него был, если можно так выразиться, бабий, притом несколько надтреснутый; но замечательное умение располагать материал, подкреплять и окрашивать свою мысль характерными местами летописи или документов, неподражаемое искусство передавать слова современников их тоном придавали изложению особую живость и интерес; вы слышали то властную речь боярина, то бесхитростные слова человека из народа — все это до такой степени очаровывало слушателей, что на лекциях Николая Ивановича буквально можно было слышать, как муха летит; часовая лекция проходила как десять минут, и все с крайним сожалением выслушивали звонок; едва замолкало последнее слово Николая Ивановича, как раздавался взрыв рукоплесканий и провожал его до выхода из аудитории».

Далее Л. Ф. Пантелеев пишет, что на лекциях Н. И. Костомарова слушатели особенно ясно понимали, что «историческое понимание Костомаровым нашего прошлого представляло крупный шаг вперед... Впервые в трудах и на лекциях Костомарова... послышался голос живого народа. И этот народ выступил не в одной роли лишь подчиненного материала, но как фактор, пытавшийся самостоятельно

направлять исторический процесс...» (Пантелеев Л. Ф. *Воспоминания*. М., 1958. С. 192—193).

О том уважении передовой русской общественности, которым пользовалось имя Н. И. Костомарова как ученого и гражданина, свидетельствует исход его диспута 19 марта 1860 г. с одним из «столпов» монархического лагеря — М. П. Погодиным, сторонником «норманской теории» возникновения Русского государства. По этому поводу Н. Г. Чернышевский в одном из писем писал: «В субботу был в большой университетской зале ученый диспут между Ник. Ив. Костомаровым и Погодиным, нарочно приехавшим для этого из Москвы... Публики было более 1500 человек. Каждое слово Костомарова покрывалось продолжительными знаками сочувствия со стороны публики... Он пользуется здесь такую славою, какой не имел еще никто из здешних профессоров от основания университета». В поддержку Н. И. Костомарова выступил журнал «Современник», который в ряде статей подверг уничтожающей критике реакционную позицию Погодина. Диспут между Костомаровым и Погодиным дал возможность Чернышевскому и Добролюбову выразить отношение революционной демократии к вопросам истории, высказать свой взгляд на самодержавную власть как антинародную силу, тормозящую исторический прогресс страны, что имело большое политическое значение в условиях тогдашней революционной ситуации. Таким образом, полемика двух ученых выходила далеко за научные рамки. Бурный рост крестьянских волнений в 50—60-х годах господствующие классы и их официальные историографы не могли не сравнивать с описаниями подобных событий в исторических произведениях Н. И. Костомарова. Тот же Погодин писал: «Мирабо для нас не страшен, но для нас страшен Емелька Пугачев... На сторону к Маццини не перешатнется никто, а Стенька Разин — лишь клички клич! Вот где кроется наша революция, вот откуда грозят нам опасности, вот с которой стороны стена наша представляет проломы...»

В Петербурге Н. И. Костомаров был желанным гостем многих литературных чтений. По вторникам у самого Н. И. Костомарова неизменно собирались Н. Г. Чернышевский, Т. Г. Шевченко, Н. А. Добролюбов, И. С. Тургенев, братья Лазаревские, В. М. Белозерский, П. П. Гулак-Артемовский, П. А. Кулиш, А. М. Маркович, братья Курочкины, Н. Н. Ге, В. В. Стасов, А. Н. Пыпин, польские друзья — Э. Желиговский, З. Сераковский и многие другие. Участники «вторников» обсуждали многие вопросы истории и современности, свободно высказывали свое мнение. Было оно и у Н. И. Костомарова, и весьма часто сталкивалось с мнением Т. Г. Шевченко или Н. Г. Чернышевского. Как уже отмечалось, мы не можем утверждать о их полной идейной близости, однако это никоим образом не мешало им уважать друг друга и объединяться для общих дел.

Одним из таких дел стало основание журнала, в котором, по замыслу, должны были публиковаться художественные произведения,

работы по истории, историографии, этнографии, исторические источники, связанные с историей Украины. «Инициатива издания журнала «Основа», — писал в своих воспоминаниях З. Ф. Недоборовский, — принадлежала нашему могучему богатырю слова Н. И. Костомарову. Редакцию и издание принял на себя Василий Михайлович Белозерский, состоявший в то время на службе в Государственном совете... Даровитым сотрудником его явился тогда Александр Федорович Кистяковский, впоследствии известный профессор Киевского университета. И надо отдать честь редакции «Основы», сумевшей почти сразу поставить этот, к сожалению, столь рано погибший журнал на уровень с лучшими журналами, привлекавшими к себе внимание и пользовавшимися наибольшим уважением среди самой просвещенной части русской интеллигенции» (*Киевская старина. 1893. № 2. С. 195*). Когда первые номера журнала вышли в свет, Н. Г. Чернышевский на страницах «Современника» дал высокую оценку этому начинанию, вместе с тем остро критикуя журнал за тенденции консерватизма, буржуазного либерализма, особенно в отношении к крестьянской реформе 1861 г. В «Основе» увидели свет более 70 произведений Т. Г. Шевченко, сочинения С. Руданского, Марко Вовчок, Л. Глибова, историков М. А. Максимовича, А. М. Лазаревского и др. Многие свои работы напечатал в «Основе» и Н. И. Костомаров («О федеративном начале Древней Руси», «Две русские народности», «Черты народной южнорусской истории» и др.).

Эти и другие произведения вызвали не только научные споры, но и прямые нападки на Н. И. Костомарова представителей официальной историографии, обвиняющих его в попытке, с одной стороны, «разложения отечества», с другой — в «украинофильстве». Н. И. Костомаров, обремененный чтением лекций и учеными изысканиями, старался не ввязываться в эти споры и не обращать внимания на обвинения. Он пишет и печатает в это время в «Современнике» работу «Очерк быта и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях», которая была в основном подготовлена в Саратове. В других журналах публикуются его повести «Сын», «Повесть о Нифонте», работа «Русские инородцы» и др.

Огромную печаль вызвала у Н. И. Костомарова смерть Т. Г. Шевченко, которую тогда глубоко переживала русская и украинская прогрессивная общественность. В своей речи на похоронах поэта, в написанных сразу же после похорон «Воспоминаниях о двух малярах» Н. И. Костомаров дал высочайшую оценку творчеству Т. Г. Шевченко как борца за дело народа, гениального выразителя народных дум. «Я увидел, что муза Шевченко, — писал ученый, — раздирала завесу народной жизни. И страшно, и сладко, и больно, и упоительно было заглянуть туда!!! Поэзия всегда идет вперед, всегда решается на смелое дело; по ее следам идут история, наука и практический труд. Легче бывает последним, но тяжело первым. Сильное зрение, крепкие нервы нужно иметь, чтобы не ослепнуть или

не упасть без чувств от внезапного света истины... Тарасова муза прорвала какой-то подземный заклеп, уже несколько веков запертый многими замками, запечатанный многими печатями. Прострадавший всю жизнь, Шевченко перед концом дней своих был облечен заслуженною славою. Его родина — Малороссия — видела в нем своего народного поэта; великороссияне и поляки признавали в нем великое поэтическое дарование. Он не был поэтом одной исключительно народности: его поэзия приняла более высокий полет. Это был поэт общерусский, поэт народа, не малорусского, а вообще русского народа...» Такие слова мог высказать только настоящий ценитель музыки Шевченко, для которого вольнолюбивые идеи поэта были близки и значительны.

В это время Н. И. Костомаров продолжает выступать с публицистическими и историческими статьями, читает лекции в университете. Но это не была спокойная жизнь и спокойная работа. Усилились нападки на «Основу», и к концу 1862 г. журнал был вынужден прекратить свое существование. В это время в университете начались волнения студентов, приведшие к его закрытию. До этого имел место еще один неприятный инцидент, связанный с лекцией Н. И. Костомарова в зале Городской думы 8 марта 1862 г. Этот эпизод подробно описан в воспоминаниях современников, однако каждый из них, естественно, стремился показать общественное лицо Н. И. Костомарова со своих позиций. Для ученого же этот эпизод прежде всего важен тем, что обусловил его решение уйти из университета.

Дело заключалось в следующем. 5 марта 1862 г. на литературном вечере, устроенном в зале Думы в пользу учащихся, с чтением своей статьи «О тысячелетии России» выступил профессор русской истории университета П. В. Павлов. Хотя статья была пропущена цензурой, но, как вспоминал присутствовавший на вечере Н. В. Шелгунов, автор «в чтении изменил знаки препинания и получился неожиданный эффект» с антиправительственной направленностью. «Например,— пишет далее Н. В. Шелгунов,— после параллели настоящего с прошедшим у Павлова стояло «не увлекайтесь» с простой точкой; в чтении же он произнес «не увлекайтесь» с тремя восклицательными знаками...» (Шелгунов Н. В., Шелгунов Л. П., Михайлов М. Л. *Воспоминания*. М., 1967. Т. 1. С. 187). Зал воспринял это с восхищением и восторгом. Но на следующий день автор был лишен должности и выслан в Кострому. В знак протеста студенты создали комитет, на котором приняли решение прекратить чтение лекций. Однако, как заверял впоследствии Н. И. Костомаров, ни о каком подобном комитете он не слышал. Придя на очередную лекцию, он обратился к аудитории с вопросом, желает ли она продолжения лекций. Когда большинство выразило такое желание, он прочел подготовленную им лекцию. Это многими воспринялось как штрейкбрехерство. Против Н. И. Костомарова выступила часть студенчества. О прекращении лекций просил его и Н. Г. Чернышевский, но ученый

принципиально заявил, что поскольку его лекции ждет не только студенческая молодежь, но и другая публика, то он может прекратить их только постановлением правительства. Это еще больше настроило против него радикальную часть общества. «Наконец,— пишет Костомаров в «Автобиографии»,— все незаслуженные укоры и клеветы, распространяемые про меня и доходившие до моего слуха, привели меня в такую досаду, что я поехал к министру и объявил ему о своем нежелании быть более профессором Петербургского университета».

По-видимому, этот инцидент нельзя воспринимать однозначно. За ним стоят и специфика того времени, и моральные устои ученого. Если попытаться понять его тогдашнее состояние, убеждения, на которые отложила отпечаток вся его жизнь, да и, наконец, оценить его решение уйти из университета, то здесь видятся в первую очередь его личная порядочность, высокое понимание чести ученого и гражданина, которая — справедливо или нет,— но в какой-то мере могла быть поставлена под сомнение. Сразу же после инцидента Костомаров написал протест министру народного просвещения Головнину по поводу ссылки Павлова, который подписали еще два профессора. И хотя этот акт ничего не изменил, но это не умаляет его высокой гражданственности и тем более отменяет всякие мысли о благонамеренности ученого к правительству или же о его заботах о личной выгоде.

Итак, в дальнейшей жизни Н. И. Костомарова снова начинался поворот, когда необходимо было искать место приложения сил и знаний.

Ученый хорошо понимал, что в этой ситуации у него могло быть только одно решение — во что бы то ни стало продолжать избранный им путь в исторической науке. В этом видел он свой профессиональный долг и свое предназначение в жизни. Буквально с первых же дней после выхода из состава профессоров университета Костомаров полностью окунулся в любимое дело. И мало кто из отечественных историков за чуть более чем двадцать лет оставшейся жизни мог бы сделать столько, сколько сделал он.

С 1861 по 1885 г. (год смерти Н. И. Костомарова) им было написано и издано более 200 работ, среди которых такие крупные исследования, как «Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. Новгород — Псков — Вятка», «Ливонская война. Историческое исследование», «Кто был первый Лжедмитрий», «Смутное время Московского государства», «Гетманство Юрия Хмельницкого», «Последние годы Речи Посполитой», «Руина», «Мазепа», три тома «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Были написаны повести, рассказы, очерки, исследования в области фольклора.

Большую работу вел ученый как член Археографической комиссии. Им были разысканы и обработаны многочисленные исторические документы, вошедшие в многотомное издание «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные

Археографической комиссией». Н. И. Костомаров был редактором также трех выпусков «Памятников старинной русской литературы», «Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край, снаряженной Русским географическим обществом», принимал участие в поиске и издании других важных документов по истории России и Украины. В 1865 г. вместе с М. М. Стасюлевичем ученый приступает к выпуску журнала «Вестник Европы», где печатает многие свои произведения. В 1866 г. он готовит и редактирует издание произведений Т. Г. Шевченко, участвует в публикации «Русской исторической библиотеки», во многих археологических съездах, где выступает с историческими докладами.

В январе 1875 г., работая над «Русской историей в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», Н. И. Костомаров тяжело заболел. Болезнь проходила очень сложно. В самый тяжкий ее период, когда он был в полном беспамятстве, скончалась мать Костомарова, Татьяна Петровна. Потрясенный этим, больной с большим трудом шел на поправку. К тому же начало угасать зрение. Вскоре ученый уже совсем не мог видеть. Врачи предписали срочный отдых.

Заботу о его здоровье взяла на себя Алина Леонтьевна, девичья фамилия Крагельская, давняя ученица Костомарова по киевскому пансиону. Тогда же они должны были обвенчаться, но помешали арест и ссылка. Сейчас Алина Леонтьевна, уже после смерти своего первого мужа, обвенчалась с Костомаровым. Было это 9 мая 1875 г. Супруги переехали из шумной столицы в село Дедовцы на Полтавщине. Там по настоянию жены Н. И. Костомаров начал диктовать ей свою автобиографию.

Немного поправившись, историк вернулся к своим любимым занятиям. Но болезнь и годы брали свое. Н. И. Костомаров скончался 19 (7) апреля 1885 г. в своей петербургской квартире на Васильевском острове и был похоронен на «Литературных мостках» Волкова кладбища. По завещанию ученого его богатейшая личная библиотека была передана Киевскому университету, куда он стремился всю свою жизнь, но так и не смог осуществить своего желания из-за запрета властей.

* * *

Место Н. И. Костомарова в отечественной историографии должно определяться прежде всего в целом прогрессивной направленностью его порой неоднозначных и противоречивых общественно-политических взглядов, его значительным научным наследием, в котором воплотилась идея ученого о том, что «основное начало форм общественной и политической жизни, изучением которых занимается история, есть народ...» В этом — первенствующая роль Н. И. Костомарова перед современными ему историками. В этом — огромное значение его трудов для наших дней.

№ 12. Понимание необходимости исследования деятельности народных масс в истории требовало от ученого по тем временам известной смелости, поскольку официальная историография проводила на этот счет диаметрально противоположную политику. В этом плане следует согласиться с М. С. Грушевским, который считал, что Н. И. Костомаров поставил своей жизненной целью «разрабатывать «народную историю» (как он это называл — в противопоставление занятиям историей государственной) и исследовать жизнь частей Русского государства, а не его государственную жизнь, на что обращал внимание других историков...» (Г р у ш е в с к и й М. *Предисловие к книге «Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова»*). Свою точку зрения Н. И. Костомаров выражал со всей принципиальностью. Так, в ответ на одну из статей в «Виленском вестнике», в карикатурном виде изображавшую народных героев Украины, историк писал: «Мы вовсе не стыдимся ни Павлюков, ни Наливаек, ни Кармелюков, ни Тараненок; напротив, если эти люди явились в дикой, варварской форме, — все-таки то были люди, проявившие собою (хотя неудачно) выражение того, что было затаено в народном сердце, — нет, мы не стыдимся безусловно этих людей...» (*Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. С. 59—60*).

Идеи Н. И. Костомарова всячески поддерживали передовые люди его времени и в первую очередь Т. Г. Шевченко и Н. Г. Чернышевский. Последний, как уже говорилось, видел в работах ученого и в нем самом те достоинства, которые выделяли его среди других и ставили в ряды прогрессивной интеллигенции России. «Трудолюбивых исследователей, — писал он, — у нас довольно много; но мало людей, которые по всей справедливости заслужили бы имя замечательных ученых, потому что для этого мало трудолюбия и учености, — нужны, кроме того, особенная сила ума, нужна широта и проницательность взгляда, нужно соединение слишком многих и слишком редких качеств. Своим «Богданом Хмельницким» Костомаров доказал, что принадлежит к подобным людям» (*Полн. собр. соч. М., 1948. Т. 4. С. 702*).

Понимание роли народа в истории привело Костомарова к выводам о значении истории для самого народа, о месте истории в его просвещении, в развитии национального самосознания, чувства собственного достоинства, стремления к свободе. Может быть, поэтому он так стремился к доходчивости своих произведений, к живости изложения, воссоздавая исторические реалии и образы. Несомненно, во многом здесь сказались присущее ученому литературное дарование, его стремление к яркости портретных характеристик.

Можно с уверенностью сказать, что во времена Костомарова его имя было известно каждому образованному человеку. По его произведениям изучала свою историю вся Россия. «Русская история была для него музеем, наполненным коллекцией редких или обыкновенных предметов, — писал о Костомарове В. О. Ключевский. — Он равно-

душно проходил мимо последних и останавливался перед первыми, долго и внимательно любовался ими. Через несколько времени читающая публика получала превосходную монографию в одном или двух томах и перечитывала ее с наслаждением, отнимавшим всякую охоту спрашивать, как и из каких материалов построена эта привлекательная повесть... Все, что было драматично в нашей истории, особенно в истории нашей юго-западной окраины, все это рассказано Костомаровым, и рассказано с непосредственным мастерством рассказчика, испытывающего глубокое удовольствие от своего собственного рассказа» (К л ю ч е в с к и й В. О. *Неопубликованные произведения*. М., 1983. С. 177—178).

Своими исследованиями ученый приоткрыл завесу над многими историческими фактами и явлениями. Весьма важным и в значительной мере новым в отечественной историографии явилось освещение Н. И. Костомаровым истории Украины. При этом особый интерес историка вызвала героическая борьба украинского народа за свое освобождение и самостоятельность развития в неразрывной дружбе с русским народом. Не будет преувеличением сказать, что работы Н. И. Костомарова по истории Украины были в то время единственными, дающими представление о своеобразии политического, экономического и культурного развития, особенностях национального характера народа.

Говоря о характере научных изысканий Н. И. Костомарова, необходимо отметить, что в потоке событий отечественной истории, в той массе фактов, которые, на первый взгляд, носили хаотический, случайный характер, историк сумел выделить то главное, что определяло общее направление исторического развития, объясняло причины тех или иных событий, поведение в них народа и исторических личностей.

Произведениям Н. И. Костомарова присущи подлинный историзм, строго научный подход к отбору и анализу исторических фактов. В своем отзыве на монографию «Богдан Хмельницкий» Н. Г. Чернышевский отмечал: «Внимательно и полно изучил он источники, из которых многие в первый раз открыты его неутомимыми изысканиями, проверил каждый факт, каждое слово, обнаружил истинные отношения лиц, сословий и племен, о которых до сих пор имели самые сбивчивые понятия, и, наконец, передал результаты своих изысканий в блестящем, истинно драматическом рассказе, совершенно объективном. Ученые ценят в его сочинении ученость, беспристрастие, принципиальность и верность взгляда...» (*Полн. собр. соч.*: Т. 4. С. 702).

Известно, что именно Н. И. Костомаров впервые в отечественной историографии обосновал значение таких видов исторических источников, которые по своей сущности были народными, — фольклорные произведения, предания и др. Большой интерес в этом плане вызывали у Н. И. Костомарова и летописи, изучению которых он посвятил

немало времени. Ученый значительно расширил их круг в научном обороте, исследовал местные летописи, в том числе неопубликованные.

Работа с источниками занимала в деятельности историка важнейшее место. Документальные розыски в исторических архивах Москвы, Петербурга, других городов составляли неотъемлемую часть его жизни. В. Г. Антонович в связи с этим писал: «Архивные поиски Н. И. Костомарова оставили громадный след за собой... Николай Иванович обнаружил замечательное умение верно отыскивать исторические памятники, собирая сырье и приготавливая из него материал для будущих работ. Уже одно пребывание его в Саратове и Царицыне обогатило громадным количеством материала, добытого им из местных архивов; когда же он переселился в Петербург, то в поисках за архивным материалом делил свое время между этой столицей и Москвой. В московском Румянцевском музее, в архивах Министерства иностранных дел и Министерства юстиции, за летописями и мемуарами в рукописном отделе императорской Публичной библиотеки просиживал наш историк по целым дням, извлекал оттуда богатые данные с удивительною опытностью и умелостью, а потом весь этот материал мы встречаем в целом ряде веских томов, которые изданы императорскою Археографическою комиссиею» (*Киевская старина. 1885. № 5. С. 27*). Как вспоминает его жена, в 1883 г., еще не до конца выздоровев, он с удвоенной энергией принялся за обычные свои занятия по русской истории и с Васильевского острова стал ходить на Дворцовую площадь в Государственный архив. Проработав там до сумерек, Николай Иванович возвращался пешком домой. 25 января 1884 г., когда он вечером вышел из архива, на него наехали сани, которые проволокли его чуть ли не через всю площадь. Оглобля попала ему в голову около виска и глаза. Окровавленный, вернулся он домой. После этого Костомаров уже не мог оправиться (*Киевская старина. 1895. № 4. С. 2*). В то время он работал над очерком о фельдмаршале Минихе, который так и остался недописанным, собирал материалы к жизнеописанию Ломоносова, которые должны были войти в последующий выпуск его «Русской истории в жизнеописаниях...»

Исторические образы, выведенные в работах Костомарова, привлекали не только русского, но и зарубежного читателя. Имя ученого было известно в Англии, Германии, Франции. Известно, с каким нетерпением ожидал в Лондоне каждую новую его книгу А. И. Герцен. По монографиям Н. И. Костомарова К. Маркс исследовал проблемы феодализма в России и на Украине.

До нас дошел обстоятельный конспект, который составил К. Маркс по книге Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина» (напечатан в № 1 журнала «Молодая гвардия» за 1926 г.). Если официальные историки сводили восстание к разбойному движению казачества, лишенного исконных источников грабежа на Черном и Азовском

морях, а потому бросившегося на Московскую землю, Костомаров главные причины восстания видел «во внутреннем организме гражданского порядка», что в большей мере отвечает исторической истине. Вот почему К. Маркс особенно подробно конспектирует те места монографии, где Костомаров дает характеристику социальных условий, в которых возникло и развивалось восстание Разина. Составляя конспект, К. Маркс самостоятельно переводит целые отрывки костомаровского сочинения, а наиболее характерные выражения или отрывки народных песен он приводит прямо по-русски.

В этой же тетради К. Маркса законспектирована и другая работа Н. И. Костомарова — «Гетманство Выговского». Как в первом, так и во втором сочинении интерес К. Маркса могли вызвать, наряду с историческими фактами, ценные обобщения социально-экономических, национальных и классовых процессов, совершавшихся на Украине во второй половине XVII в. В конспекте К. Маркс обращает внимание, в частности, на такие вопросы, как классовое расслоение и социальное неравенство украинского казачества, отстаивание народными массами союза Украины с Россией. Особо К. Маркс отметил социальную основу этого союза, показанную Н. И. Костомаровым. Весьма важными считал К. Маркс исторические, политические и социально-экономические материалы ученого о Запорожской Сечи, о ее влиянии на развитие антифеодальной борьбы народных масс на Украине и в России.

«... Можно заключить, — пишут первые исследователи этой проблемы В. Г. Сарбей и Е. С. Шаблювский, — что из названных работ Костомарова К. Маркс постарался извлечь максимум полезного, научно плодотворного. Отсюда та тщательность и скрупулезность, которую проявил великий ученый и революционер при конспектировании работ Костомарова. Изложенный в них с демократических позиций материал, освещающий историческое прошлое русского и украинского народов, К. Маркс взял на вооружение революционной теории международного пролетариата» (*Вопросы истории. 1967. № 8. С. 59*).

Сохранилось немало свидетельств изучения работ Н. И. Костомарова русскими революционерами-демократами. Высоко ценили их Д. И. Писарев, С. М. Степняк-Кравчинский и др. В. Н. Фигнер в своих воспоминаниях писала, что «Бунт Стеньки Разина» пользовался большой популярностью у русской эмигрантской молодежи в Цюрихе, ибо Костомаров «оправдывал (хотя и нерешительно) «бунт» нищетой и угнетением народа, показывал его бедственное положение» (Фигнер В. *Запечатленный труд. М., 1964. Т. 1. С. 117, 418*).

В. И. Ленин познакомился с работами Н. И. Костомарова еще будучи учеником старших классов гимназии, когда брат Александр Ильич — тогда студент Петербургского университета, приехав на каникулы, привез среди других книг и тома «Русской истории в жизнеописаниях...» С этого времени Владимир Ильич постоянно

интересовался трудами историка. По его просьбе А. И. Ульянова брала в самарской библиотеке монографию Костомарова «Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях». Огромный фактический материал, приведенный в этой работе, В. И. Ленин использовал при подготовке своей книги «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» Позднее, ведя революционную пропаганду среди петербургского пролетариата, В. И. Ленин изучает такие произведения Костомарова, как «Бунт Стеньки Разина», «Начало единодержавия в Древней Руси» и др. А когда в 1895 г. Ильич был арестован, то среди переданного на свободу списка книг, которые он хотел прочесть, была и работа Н. И. Костомарова «Личности Смутного времени».

Приведем и такой факт. Когда в 1912 г. В. И. Ленин конспектировал книгу С. Щеголева «Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма», он заклеил ее автора как бешеного черносотенца, который ругает украинцев последними словами. В качестве примера В. И. Ленин приводит его нападки на Костомарова. Обратил внимание В. И. Ленин и на освещение в книге Кирилло-Мефодиевского общества. В этой связи в ленинском конспекте записано: «1846. «Кирилло-Меф[одиевское] братство» за федерацию автономных слав[янских] штатов и республику: Шевченко, Кулиш, Костомаров». Далее Владимир Ильич отмечает ведущую роль Костомарова и Кулиша в журнале «Основа» (*Ленинский сборник. Т. 30. С. 10, 16*).

Как известно, в кремлевской библиотеке В. И. Ленина находилась только самая необходимая ему литература. И показательным то, что среди этих книг были и три работы Н. И. Костомарова, в том числе «Автобиография» историка. К его трудам с глубоким уважением относились Г. В. Плеханов, Максим Горький, А. В. Луначарский.

Советская историография о Н. И. Костомарове не может похвастаться обширностью. Исследования, посвященные его историческому, фольклорно-этнографическому и литературному наследию, относятся в основном к 20-30-м или второй половине 80-х годов. Среди них выделяются работы М. Н. Покровского, П. Д. Зайончковского, И. П. Крипякевича, М. А. Рубача, А. М. Станиславской, Е. С. Шаблювского, В. Г. Сарбея, Г. Я. Сергиенко, Г. И. Марахова, Ю. А. Пинчука. И хочется думать, что современные историки в недалеком будущем до конца выполнят свой долг перед выдающимся предшественником.

* * *

Оценивая научное наследие Н. И. Костомарова с сегодняшних позиций, мы сознаем, что в нем имеется немало такого, что не может не вызвать возражений, а кое-что и вовсе не выдержало испытания временем. Но определяющим в трудах ученого является

то, что и ныне представляет немалый интерес, без чего отечественная историческая наука была бы обедненной. Ибо Н. И. Костомаров не только обогатил нашу историографию в плане фактологическом и концептуальном, но и в значительной мере демократизировал историческое освещение прошлого. Его работы, как ни одного другого историка его поколения, стояли близко к народу, были наполнены его чаяниями. И в этом их исключительная ценность. Сам Н. И. Костомаров как ученый и гражданин всей своей жизнью, своим поистине подвижническим отношением к избранному делу показал пример ответственности и честности, высоты духа и независимости поступков. Это вызывало глубокое уважение его современников и не может оставаться лишь достоянием истории. Труды ученого обращены не только к прошлому нашего Отечества, но и к его будущему — к новым поколениям людей пытливых и любознательных, мыслящих и деятельных.

В. А. ЗАМЛИНСКИЙ,
доктор исторических наук

ПРИМЕЧАНИЯ

Примечания к настоящей книге в основном содержат краткие сведения справочного характера о широком круге исторических персоналий и реалий, упоминаемых в тексте. При этом отдельные устаревшие представления и оценки Н. И. Костомарова в примечаниях не оговариваются, ибо за минувшее столетие историческая наука продвинулась вперед настолько, что прокомментировать все места в произведениях ученого, которые в том нуждаются, не представляется возможным по обширности и разнообразию материала. Так, например, оценка Н. И. Костомаровым личности Павла Полуботка в посвященном ему очерке расходится со взглядами советских исследователей. Это касается и некоторых других событий и личностей.

Черты народной южнорусской истории

Впервые напечатано в журнале «Основа» (1861, кн. 3, март; 1862, кн. 6, июнь). С незначительными исправлениями работа включена в первый том «Исторических монографий и исследований» Н. И. Костомарова, выпущенных издательством Д. Е. Кожанчикова (СПб., 1863—1872), переиздана в 1903 г. Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым («Литературный фонд») в составе Собрания сочинений Н. И. Костомарова (кн. 1, т. 1). Перевод на украинский язык публиковался в издании «Руська історична бібліотека. Історичні монографії» (Тернопіль, 1888, т. 2). Печатается по изданию 1903 г.

1. *Анты* — юго-восточная группа древнеславянских племен, которые жили главным образом на территории лесостепи Восточной Европы со второй половины IV до начала VII в. Византийские авторы VI—VII вв. характеризовали антов как крепкое политическое объединение с сильной военной организацией.
2. Речь идет о писателе и летописце начала XII в. Несторе (? — после 1113). Нестор — автор церковно-исторического произведения «Житие Феодосия, игумена Печерского» (около 1091). По мнению многих исследователей Нестор был автором и составителем «Повести временных лет».
3. *Улучи, уличи* — восточнославянское племя (союз племен). Во время княжения Игоря (? — 945) вошли в состав Киевской Руси.
4. *Бужане* — одно из восточнославянских племен (возможно, союз племен), упоминаемых в древнерусских летописях. Жили в бассейне Западного Буга. Имели 230 укрепленных поселений (типа замков). По мнению некоторых исследователей бужане и вольняне раньше назывались дулебами. После вхождения в состав Киевской Руси (IX—X вв.) в письменных источниках бужане больше не упоминаются.
5. *Тиверцы* — один из восточнославянских племенных союзов. Впервые упоминаются в недатированной части «Повести временных лет». В первой

половине X в. тиверцы вошли в состав Киевской Руси. В XII—XIII вв. земли тиверцев — в составе Галицкого княжества. Позже потомки тиверцев вошли в состав населения Молдавии.

6. *Обры (авары)* — крупный племенной союз, главную роль в котором играли тюркоязычные племена. Впервые авары упоминаются в отчете Приска Панийского о посольстве к гуннам (середина V в.). В VI в. авары пришли из Азии (через территорию современной Украины) на средний Дунай и создали там свое государство — Аварский каганат. В VI—VII вв. в их племенной союз входили различные по происхождению племена (угры, эфталиты, аланы). В начале VII в. начался процесс распада племенного союза аваров, в результате чего отделилось самостоятельное западнославянское государство Само. В конце VIII в. авары были разгромлены франками Карла Великого, а в конце IX в. — венграми, после чего они больше не упоминаются в летописях
7. *Вельняне, волыняне* — восточнославянское племя (союз племен) на территории Волыни. По свидетельству Баварского анонима, во второй половине X в. у волынян было 70 городов, главные из них — Волынь и Владимир. В конце X в. на территории, где жили волыняне, возникло Владимиро-Волыньское княжество.
8. *Дулэбы* — одно из восточнославянских племен. Жили в верховьях Западного Буга и на правых притоках верхнего течения Припяти. В VI—VII вв. дулэбы стали во главе междуплеменного объединения восточных славян, которое в середине VII в. потерпело поражение от аваров. В 911 г. дулэбы принимали участие в походах на Царьград. В X в. вошли в состав Киевской Руси под именем волынян и бужан.
9. *Масуди, Абук-ль-Хасан Али Ибн аль-Хасейн аль-Масуди (?—956 или 957)* — арабский историк, географ и путешественник. Автор семи историко-географических работ (дошли до нашего времени только две). В книге «Промывальни золота и рудники самоцветов» есть сведения о расселении, общественном строе и быте народов Восточной Европы, в частности древних руссов.
10. *Сочельник* — 24 декабря (рождественский сочельник) или 5 января (крещенский сочельник).
11. *Аркона* — город балтийских славян X—XII вв. на самом северном мысу о. Рюген (нынешняя территория ГДР). Аркона была религиозным центром, объединявшим ряд славянских племен. Островом управлял верховный жрец бога Святовита (Свантовита). В 1168 г. датский король Вальдемар I разрушил город и храм. Статуя Святовита была сожжена, а храмовые сокровища перевезены в Данию.
12. *Олег (?—912, по другим сведениям 922)* — древнерусский князь. По происхождению норманн (варяг). С 879 г. был правителем при малолетнем князе Игоре в Новгороде. В 882 г. овладел Киевом. В 883—885 гг. Олег подчинил себе древлян, северян и радимичей. В последующие 20 лет стремился подчинить дулэбов, хорватов, тиверцев и уличей. По летописным сведениям Олег осуществил поход на Византию и подписал с ней выгодный для Руси договор (911).
13. *Поляне* — восточнославянское племя (союз племен) VI—IX вв., жили в Приднепровье между устьем Десны и устьем Роси. Занимались пахотным земледелием, скотоводством, охотой, бортничеством и рыбной ловлей. Значительного развития у полян достигли ремесла. С полянами связываются летописные легенды о начале Руси, о первых русских князьях, об основании Киева. Полянское княжество с центром в Киеве стало ядром древнерусского государства — Киевской Руси. В последний раз имя полян упоминается в летописях под 944 г.; его сменил этноним «русь», распространявшийся затем на население и других земель Киевской Руси.
14. *Древляне* — одно из восточнославянских племен, в VI—XII вв. жили в Полесье на Правобережье Днестра. Упоминаются в «Повести временных

- лет». Самыми крупными городами древлян были Искоростень (Коростень), Вручий (Овруч), Малин, Городск и др. Земли древлян составляли отдельное княжество, которое было ликвидировано в 945 г. княгиней Ольгой после подавления древлянского восстания.
15. *Таврида* — название Крымского полуострова, которое стало употребляться после присоединения его в 1783 г. к России. Происходит от названия древнего населения Крыма — тавров, обитавших в горных и предгорных районах в I тысячелетии до н. э. Первые известия о Тавриде имеются в произведении Геродота (V в. до н. э.). В конце II в. до н. э. Таврида подпала под власть Понтийского царства.
 16. *Кий* — полуполюгендарный полянский князь, живший в конце VI — начале VII в. Согласно летописной легенде Кий с братьями Щеком, Хоривом и сестрой Лыбедью основал Киев. Кий поддерживал связи с византийским императором (видимо, Юстинианом I), с почестями был принят в Константинополе, стремился закрепить свою власть на Дунае, где построил город Киевец (его остатки существовали в XI—XII вв.).
 17. *Царьград, Цареград* — название Константинополя (теперь Стамбул), распространенное в официальных документах, литературе, фольклоре времен Киевской Руси (до XVII в.). В XVIII — начале XX в. это название употреблялось в дворянско-буржуазной исторической литературе, иногда в публицистике и поэзии.
 18. *Игорь (?—945)* — великий князь киевский (912—945). Подчинил восточнославянские племена (древлян, уличей и др.), которые отделились от Киева в начале его княжения. В 913 и 943 гг. осуществил два похода на Кавказ, в 941 — на Константинополь, который окончился неудачей. В 944 г. войско Игоря снова двинулось на Византию. Последняя предложила выкуп. В том же году был подписан договор между Русью и Византией, обеспечивавший интересы Руси на Черном море. Игорь был убит во время восстания древлян в 945 г.
 19. *Византия, Византийская империя* — государство, возникшее в IV в. во время распада Римской империи в ее восточной части (Балканский полуостров, Малая Азия, юго-восточное Средиземноморье), существовало до середины XV в. Название — от г. Византий (с 330 г. — Константинополь, столица Византии). В IX—X вв. большую роль во внешней политике Византии играли отношения с Киевской Русью.
 20. *Святослав Игоревич (?—972 или 973)* — великий князь киевский (945—972). В 964—966 гг. освободил от хазар восточно-славянские племена, в 60-х годах X в. разгромил Хазарский каганат. В 967 или 968 г. двинулся на Болгарию, затем в союзе с ней (969) начал войну против Византии. После Доростольской обороны (971) Святослав Игоревич подписал мирный договор с Византией. Убит печенегам.
 21. *Аскольд и Дир* — киевские князья (вторая половина IX в.). По некоторым известиям были потомками Кия, по летописной версии — дружинниками Рюрика. Около 860 г. возглавили русскую военную дружину во время первого похода на Константинополь. Около 882 г. были убиты в Киеве по указанию Олега.
 22. *Фотий* (между 810 и 827 — между 891 и 897) — византийский церковно-политический деятель, писатель. В 858—867, 877—886 гг. — константинопольский патриарх. Странник централизованной монархии и централизованной православной церкви. Выступал против подчинения византийской церкви папе римскому.
 23. *Церковь Ильи в Киеве (Ильинская)*. Построена в 1692 г. на месте прежней, сооруженной в 945 г. В XVIII в. рядом с церковью сооружены небольшая колокольня с шатровым верхом, а также ворота в стиле барокко. В первой половине XIX в. у входа в церковь пристроены притвор с классическим портиком и правый придел.
 24. Имеется в виду Ольга (после крещения Елена; ? — 969) — великая княги-

ня киевская (945—957), жена князя Игоря. Расправившись с древлянами, Ольга управляла Русью в годы малолетства ее сына Святослава и позже, когда его не было в Киеве. В 955 или 957 г. ездila в Константинополь. Перед этим приняла христианство. Поддерживала связь с немецким королем Оттоном I. Канонизирована русской церковью.

25. *Владимир Святославич* (после крещения Василий; ? — 1015) — великий князь киевский (с. 980 г.). Сын Святослава Игоревича. При Владимире Святославиче было завершено объединение всех восточнославянских земель в составе Киевской Руси, введено христианство как государственная религия. Владимир расширил и укрепил границы государства, строил города-крепости. При нем на Руси начали открываться школы, Владимир развивал политические, экономические и культурные отношения с Византией, Болгарией, Польшей, западноевропейскими странами.
26. Имеется в виду неизвестный автор (авторы) «Повести временных лет». Так в науке принято именовать летописный свод, созданный в начале XII в. «Повесть» дошла до нас в двух редакциях, условно называемых второй и третьей. Вторая редакция — в составе Лаврентьевской, Радзивилловской и Московской Академической летописей, а также в долетописных сводах, где данная редакция чаще всего подвергалась различным переработкам и сокращениям. Третья редакция — в составе Ипатьевской летописи. Большинство исследователей первой половины XIX в. считали составителем не дошедшей до нас первой редакции «Повести» монаха Киево-Печерского монастыря Нестора. Однако А. А. Шахматовым доказано, что «Повести временных лет» предшествовала другая летопись, так называемый Начальный свод, который Нестор существенно переработал и дополнил изложением событий конца XI — начала XII в. Начальный свод, по гипотезе Шахматова, был составлен в 1093—1095 гг. игуменом Киево-Печерского монастыря Иоанном. Начальный свод до нас не дошел, но отразился в новгородском летописании.
27. *Добрыня* — воевода великого князя киевского Владимира Святославича. Помог Владимиру победить Ярополка Святославича и занять великокняжеский престол. Во время княжения Владимира Святославича Добрыня управлял Новгородом. В 985 г. принимал участие в походе на Болгарию. Помогал Владимиру Святославичу насильственно «вводить христианство на Руси.
28. *Мал* (?—946) — один из князей древлян. Во главе с Малом жители Искоростеня, возмущенные чрезмерной данью, установленной киевским князем Игорем, восстали и убили его. Сам же Мал погиб во время подавления Ольгой восстания древлян.
29. *Полицуки, полицуки* — этнографическая группа украинцев, которые живут в Полесье. До последнего времени в хозяйстве полицуков наряду с земледелием значительное место занимали рыболовство, сбор ягод и грибов. Сохранились некоторые особенности в жилище, языке и одежде.
30. В данном случае Н. И. Костомаров, видимо, имеет в виду М. С. Соловьева, который в общей исторической схеме определял первый период русской истории как господство родового начала. Родовые отношения между князьями, по мнению Соловьева, господствовали в IX—XII вв., со второй же половины XII в. начинается борьба между государственным и родовым началами, окончившаяся торжеством государственных отношений во времена Ивана III (1462—1505) и Ивана IV (1547—1584).
31. *Олег Святославич* (?—977) — древлянский князь (с. 970), сын великого князя киевского Святослава Игоревича. Погиб в 977 г. под Вручем (Овручем) во время сражения с войском Ярополка Святославича, выступление которого против Олега подготовил киевский боярин Свенельд.
32. *Хорваты* — древнеславянское племя (союз племен). Жили на севере Далматского побережья, на юге Истрии, на севере Боснии, в междуречье Савы и Дравы. В первой половине IX в. начало складываться Хорватское

- государство. В 925 г. Хорватия стала королевством. Феодалные междоусобицы в конце XI — начале XII в. привели к ослаблению Хорватского государства, в дальнейшем отдельные его части испытывали экономическое, политическое и культурное влияние разных народов и государств.
33. *Хазары* — тюркоязычный народ, появившийся в Восточной Европе после нашествия гуннов (IV в.) и кочевавший между р. Сулак в Северном Дагестане и нижней Волгой. В 60-х годах VI в. хазары были завоеваны Тюркским каганатом. В середине VII в. после распада Западно-Тюркского каганата хазары получили независимость и создали раннефеодалное государство — Хазарский каганат со столицей Семендер (в Северном Дагестане), позже — Итиль (на нижней Волге). Во второй половине VII в. хазары подчинили себе часть приазовских болгар, а также царство гуннов-савилов в прибрежном Дагестане. К началу VIII в. хазары владели Северным Кавказом, всем Приазовьем, большей частью Крыма, а также степными и лесостепными территориями Восточной Европы до Днепра. Древнерусская летопись отмечает, что некоторые славянские племена — поляне, радимичи, вятичи, северяне — платили хазарам дань. В 883—885 гг. князь Олег освободил большинство этих племен от хазар. В 913—914 и 944—945 гг. через территорию Хазарского каганата проходило войско руссов, направлявшееся к Каспийскому морю. Игорь в войне против Византии (941) пользовался поддержкой Хазарского каганата. Русские купцы вели торговлю в Итиле, где были отдельные славянские кварталы. Под влиянием внутренних противоречий и под ударами венгерских племен и печенегов, а затем Киевской Руси Хазарский каганат со второй половины IX в. стал приходить в упадок. В X в. после крушения Хазарского каганата хазары растворились в тюрко-половецкой среде.
34. *Печенеги* — союз тюркских племен. Сложился в VIII—IX вв. До конца IX в. кочевали между Аральским морем и Волгой, вели борьбу с огузами, кипчаками (половцами) и хазарами. В конце IX в. заняли Северное Причерноморье до Дуная. В X в. печенеги делились на восемь племен (колен), каждое из которых подразделялось на пять родов. Во главе племен стояли «великие князья», во главе родов — «малые князья». Основным занятием являлось скотоводство. Важным источником обогащения знати были набеги на соседние страны (Русь, Византию и др.). Византия часто использовала печенегов в борьбе с Киевской Русью. Так, по подстрекательству византийского правительства в 972 г. у днепровских порогов был убит великий киевский князь Святослав Игоревич. Набег печенегов на Русь продолжались до 1036 г., когда Ярослав Мудрый нанес им решительное поражение. В середине XI в. печенеги отошли к Карпатам, а их место в Причерноморье заняли половцы.
35. *Вышата Ян* — воевода великого киевского князя Ярослава Мудрого. В 1043 г. принимал участие в походе князя Владимира Ярославича (сына Ярослава Мудрого) на Византию. Буря разбила русский флот, и часть воинов (около 6 тыс.) была выброшена на берег. Вышата возглавил их переход на Русь, но попал в плен. Три года спустя он вернулся в Киев. В 1064 г. Вышата вместе с князем Ростиславом Владимировичем бежал из Киева в Тмутаракань. Других сведений о нем нет, но известно, что его сын Ян Вышатич занимал высокое положение в Киеве при Изяславе Ярославиче. Полагают, что рассказы Вышаты включены в Начальный свод (см. прим. 26).
36. *Половцы (кипчаки, куманы)* — средневековая народность тюркской группы. В X в. занимали территорию на северо-западе нынешнего Казахстана, распались на ряд племен и вели кочевой образ жизни. В середине X в. хлынули в степи Северного Причерноморья и на Кавказ, вытеснив печенегов. В XI—XV вв. огромная территория от прогогов Тянь-Шаня до Дуная, на которой кочевали половцы, называлась Половецкой землей. В XI—XIII вв. выделились половецкие роды Тугоркана (убит в 1096),

Боянка и др. Впервые половцы упоминаются в русских летописях под 1054 г. С 1055 г. они постоянно осуществляли набеги на Русь, разоряя Киевскую, Переяславскую и Черниговскую земли. Чтобы защитить границы Киевской Руси от половцев, князя организовывали против них походы, однако некоторые князья использовали половцев в междоусобной борьбе. В 1103 и 1111 гг. Владимир Мономах предпринял походы, после которых половцы, потерпев поражение, частично ушли в Грузию. Со второй четверти XII в. набеги половцев на пограничные русские земли усилились. Во второй половине XII в. хан Кончак объединил значительную часть половцев в единое государство, которое в начале XIII в. разбили монголо-татары. Окончательно половцы были разбиты ордами Батыя в 1238 г. Часть их во главе с Котьяном откатилась в Венгрию, а затем в Болгарию. Остальные половцы вошли в состав монголо-татарских войск.

37. *Дитмар (Тигмар) Мерзебургский* (975—1018) — немецкий хронист, епископ Мерзебургский (с 1009). Сын саксонского графа Зигфрида фон Вальбека, родственник императоров Саксонской династии. Хроника Дитмара охватывает период с правления Генриха I до 1018 г. В ней содержатся сведения по истории Руси, о русско-польско-печенежских отношениях.
38. *Святополк Окаянный* (около 980—1019) — князь туровский (988—1015) и великий князь киевский (1015—1019), сын Владимира Святославича. После смерти отца, опираясь на поддержку Болеслава I Храброго (на дочери которого он был женат), выступил претендентом на киевский великокняжеский престол. В междоусобной борьбе в 1015 г. убил своих братьев Бориса и Глеба (за что и получил свое прозвище) и захватил в Киеве великокняжескую власть. Потерпев поражение в Любецкой битве 1016 г. от новгородского князя Ярослава Владимировича, Святополк бежал в Польшу. Возвратившись в 1018 г. с польским войском, разбил Ярослава на Западном Буге и изгнал его из Киева. Возмущенные вторжением иностранцев киевляне заставили польское войско уйти из города. Утратив поддержку Болеслава I, Святополк был разбит Ярославом Мудрым на р. Альте и бежал на Запад, где вскоре и погиб.
39. *Ярослав Мудрый* (978—1054) — государственный деятель Киевской Руси, великий князь киевский (с 1019), сын Владимира Святославича. После смерти отца вел борьбу за великокняжеский престол со своим братом Святополком. Став великим князем киевским, вел также борьбу против своего брата, тмутараканского князя Мстислава Владимировича, в результате чего был вынужден уступить ему Черниговское княжество и другие земли. Ко времени княжения Ярослава относится возникновение сборника законов древнерусского феодального права — «Правды Ярослава». При Ярославе на Руси окончательно укрепилось христианство. В 1036 г. Ярослав разбил печенегов (в честь победы в Киеве был сооружен Софийский собор). Ярослав был высокообразованным человеком, любил читать книги, собрал переводчиков и переписчиков, которые перевели с греческого языка и переписали много книг. После смерти Ярослава древнерусские земли были разделены между пятью его сыновьями (Изяславом, Святославом, Всеволодом, Игорем и Вячеславом).
40. *Болеслав I Храбрый* (967—1025) — польский князь (992—1025) и король (1025). В борьбе против Священной Римской империи (войны 1003—1005, 1007—1013, 1015—1018 гг.) отстаивал независимость Польши и закончил объединение польских земель. В 1018 г., поддерживая Святополка Окаянного, осуществил поход на Киев. Возвращаясь в Польшу, захватил червенские города (отвоены Ярославом Мудрым в 1031 г.).
41. *Болеслав II Смелый* (1039—1081) — польский князь (1058—1077) и король (1077—1079). Во времена Болеслава II Польша потеряла Западное Поморье. Осуществил два похода на Киевскую Русь (1069 и 1077 гг.). Во время первого похода на короткое время захватил Киев. Свергнут с польского престола в результате восстания крупных феодалов.

42. *Даниил Заточник* (XII или XIII в.) — предполагаемый автор двух произведений, близких друг другу по тексту, — «Моления» и «Слова» Даниила Заточника, изложенных в форме обращения к князю с просьбой смилостивиться над ссыльным. Датировке этих произведений и их взаимоотношению посвящено много исследований, но ни одно не может быть принято как бесспорное. Летописец XIV в. считал Даниила Заточника действительно заточенным на оз. Лаче лицом (под 1387 г. в Симеоновской летописи рассказывается о некоем попе, пришедшем из Орды «с мешком земли» и сосланном на оз. Лаче).
43. *Киевская земля* — историческое название территории на Правобережье Днепра в IX — XV вв. с центром в Киеве. Населяли ее потомки полян. Занимала территорию между реками Случь и Червень на западе, Росью и верховьями Южного Буга на юге и Припятью на севере. Первое летописное упоминание о Киевской земле относится к IX в. С этого времени и до середины XII в. Киевская земля входила в состав Киевской Руси. В 30-х годах XII в. на ее территории возникло Киевское княжество. В 1240 г. Киевскую землю захватили монголо-татары, около 1362 г. — великий литовский князь Ольгерд. После ликвидации Киевского княжества феодальной Литвой (1471 г.) название «Киевская земля» перестало упоминаться в летописях и исторических документах.
44. *Словене* — восточнославянское племя, обитавшее во второй половине I тысячелетия в бассейне оз. Ильмень и верхнего течения р. Мологи. Занимались сельским хозяйством. Со временем земли словен составили ядро владений Новгородской феодальной республики.
45. *Кривичи* — восточнославянское племенное объединение VI—IX вв., занимавшее обширные области в верхнем течении Днепра, Волги и Западной Двины, а также южную часть бассейна Чудского озера. В конце IX в. земля кривичей вошла в состав Киевской Руси. В последний раз кривичи упоминаются в летописи под 1162 г., когда на их земле образовались Смоленское и Полоцкое княжества, а часть вошла в состав новгородских владений.
46. *Чудь* — название в древнерусских летописях эстов и родственных им угро-финских племен, живших во владениях Новгорода Великого к востоку от Онежского озера — по рекам Онеге и Северной Двине.
47. *Вятичи* — одно из восточнославянских племен (союзов племен). Жили в бассейне рек Оки, Угры и Москвы и в верховьях Дона. Занимались земледелием, скотоводством, охотой и рыбной ловлей. В IX — X вв. вятичи платили дань хазарам, позднее — киевским князьям. С XI—XII вв. у вятичей развивались феодальные отношения; в то время на их земле возникли города Москва, Колтеск, Дедослав, Неринск и др. В середине XII в. земля вятичей была разделена между суздальскими и черниговскими князьями. В XIV—XV вв. вошла в состав Московского великого княжества.
48. *Белгород* — древнерусский город на р. Ирпень на месте современного села Белгородка Киево-Святошинского района Киевской области. Впервые упомянут в летописи под 980 г. как собственность князя Владимира Святославича. В 991 г. здесь была сооружена крепость, игравшая важную роль в защите Киевской Руси от кочевников. В 997 г. население Белгорода успешно выдержало осаду печенегов. В XI — первой половине XIII в. Белгород — временная резиденция киевских князей и место пребывания епископа. В 1240 г. город разрушили монголо-татары. Во второй половине XV в. Белгород снова упоминается в источниках.
49. *«Русская правда»* — сборник норм древнерусского права XI—XII вв. Дошел до нас в списках XIII—XVIII вв. (их известно 106), составляющих три редакции: краткую, пространную и сокращенную. Каждая из редакций отражает этапы развития феодализма в Древней Руси. Древнейшей из них является краткая редакция. Она включает «Правду Ярослава», или «Древнейшую правду», «Устав Ярославичей», или «Правду Ярославичей», «Покон вирный» и «Урок мостникам».

50. *Ярополк I Святославич* (?—980) — великий князь киевский (972—около 978). Старший сын Святослава Игоревича. Вел борьбу с братом Олегом — князем Древлянской земли, Владимиром Святославичем — тогдашним новгородским князем. В 977 г. Ярослав Игоревич захватил владения Олега. Владимир бежал в Скандинавию, где нанял дружину варягов, с помощью которой возвратил Новгород, овладел Полоцким княжеством и Киевом. Ярополк I Святославич бежал в г. Родня, где с ведома Владимира был убит.
51. *Судислав Владимирович* (?—1063) — князь псковский (1036—1063). Первое упоминание о нем в летописи под 988 г.
52. *Скифы* — общее название основного населения Северного Причерноморья VII—III вв. до н. э. Скифы состояли из родственных племен североиранской языковой группы индоевропейской семьи. Вопрос о происхождении скифов окончательно не решен. В конце VII — начале VI в. до н.э. сложилось крупное политическое объединение — Скифия. Основное занятие скифов — земледелие, скотоводство, обработка металлов. Вели торговлю с античными государствами Северного Причерноморья. В III—II вв. до н. э. скифы были вытеснены с северных причерноморских степей сарматами.
53. *Ингегерда* (Ирина; ?—1051) — дочь шведского короля Олафа Скета Конунга (у Н. И. Костомарова — Свенона). В 1019 г. вышла замуж за великого киевского князя Ярослава Мудрого. Имела шестерых сыновей (Владимира, Всеволода, Святослава, Изяслава, Игоря и Вячеслава) и трех дочерей (Анну, Анастасию и Елизавету).
54. Имеется в виду Геральд Гардрад (Геральд Суровый) — король Норвегии (1046—1066). До провозглашения королем находился во главе отряда варягов на службе в Киевской Руси и Византии. В 1044 г. женился на дочери Ярослава Мудрого Елизавете. Геральду принадлежит несколько поэтических произведений, в частности песня, посвященная Елизавете Ярославне, которую он называл «русской девушкой с золотой гривной». Погиб во время похода в Англию.
55. *Печерский монастырь, Киево-Печерская лавра* — православный монастырь, основанный в 1051 г. монахами Антонием и Феодосием в пещерах возле летней княжеской резиденции Берестово близ Киева. В XI в. монастырь стал центром распространения и утверждения христианства в Киевской Руси.
56. *Симон* (1166—1226) — владимиристо-суздальский епископ, один из авторов «Киево-Печерского патерика». Из летописей известно, что Симон был монахом Киево-Печерского монастыря, затем игуменом Рождественского монастыря во Владимире и духовником великого князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо. В 1214 г. стал епископом Суздаля и Владимира. Ряд исследователей подвергает сомнению причастность Симона, умершего в 1226 г., к созданию «Патерика», атрибутируя его другому Симону, жившему ранее и получившему сан епископа в 1160 г.
57. Речь идет о «Житии преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского» — произведении Нестора, в котором повествуется о деятельности одного из основателей Киево-Печерского монастыря. Житие Феодосия отличается живостью изображения монастырского быта, яркими характеристиками монахов и мирян. Спорным остается вопрос о времени написания Жития. А. А. Шахматов полагал, что оно написано в 80-х годах XI в. А. С. Бугославский, Д. А. Черепнин, а в настоящее время А. Г. Кузьмин датируют этот памятник началом XII в.
58. *Антоний Печерский* (983—1073) — церковный деятель Киевской Руси, один из основателей Киево-Печерского монастыря. Родился в Любече. Принимал активное участие в политической жизни, поддерживая князя Святослава Ярославича в его борьбе за великокняжеский престол против князя Изяслава Ярославича.

59. *Афонская гора, Афон* — восточный выступ Халкидонского полуострова в Эгейском море; находится во владении православного монашеского объединения из 20 укрепленных мужских монастырей. Первый монастырь был основан в 902 г. греком Афанасием. В последующие века Афон стал играть роль крупного религиозного центра православной церкви. В 1080 г. при императоре Алексее Комнине возник первый русский (Пантелеймонов) монастырь. С этого времени устанавливаются тесные связи Руси с Афоном. В монастырях Афона хранится более 10 тыс. греческих, славянских, арабских рукописей, значительная часть которых представляет собой ценные исторические источники (начиная с IX в.).
60. *Изяслав Ярославич* (1024—1078) — великий князь киевский (с 1054). Сын Ярослава Мудрого. До 1054 г. был князем туровским. Во время киевского восстания 1068—1069 гг. бежал в Польшу. В 1069 г. с помощью польских войск возвратился в Киев и жестоко расправился с восставшими киевлянами. Изгнанный в 1073 г. своими братьями Святославом и Всеволодом из Киева, Изяслав снова бежал в Польшу и в 1077 г. при поддержке польских войск вторично захватил киевский великокняжеский престол. Принимал участие в составлении одной из частей «Русской правды» — «Правды Ярославичей». Погиб на Нежатиной Ниве в бою против князей Олега Святославича и Бориса Вячеславича (1078).
61. *Никола Святоша* — Святослав (Николай) Давидович, внук Святослава Ярославича. Занимался собиранием книг, их переводом и переписыванием. В 1116 г. Святослав стал монахом Киево-Печерского монастыря, куда из Чернигова перевез свою библиотеку, в которой были книги по истории, философии, географии на славянском, латинском и древнегреческом языках.
62. «*Патерик*», «*Печерский патерик*», «*Киево-Печерский патерик*» — сборник произведений об истории Киево-Печерского монастыря и первых его подвижниках. Оказал влияние на развитие жанра патерика (жизнеописание отцов церкви) в древнерусской литературе: под его воздействием были составлены патерики Волоколамский, Псковско-Печерский, Соловецкий. Хотя старший из списков патерика датируется 1406 г., формирование памятника относится к первой трети XIII в., когда возникла переписка между владими́ро-суздальским епископом Симоном и печерским монахом Поликарпом, составившая основу патерика.
63. *Мстислав Владимирович* (Храбрый, Удалый; ?—1036) — князь тмутараканский и черниговский, сын великого киевского князя Владимира Святославича. В 988 г. получил в удел Тмутараканское княжество. Вел борьбу против хазар. В 1022 г. подчинил касогов, победив в единоборстве их князя Редедю. В 1024 г. попытался захватить великокняжеский престол, но киевляне его не приняли. В том же году под Лиственным победил Ярослава. В 1026 г. братья разделили русские земли, Мстислав стал независимым от Киева князем Черниговской земли. В 1031 г. помог Ярославу вернуть червенские земли. В Тмутаракани Мстислав построил каменную церковь, в Чернигове заложил Спасский собор, в котором и был похоронен.
64. *Юрий Долгорукий* (около 1090—1157) — владими́ро-суздальский князь (с 1125), позже великий князь киевский. Шестой сын Владимира Мономаха. Его резиденцией был Суздаль. После смерти в 1132 г. старшего брата, великого князя Мстислава, пытался захватить киевский великокняжеский престол, но, потерпев поражение в 1135 г., вынужден был возвратиться в Суздаль. Считают, что Юрий Долгорукий основал Москву (впервые упомянутую в летописи под 1147 г.). В 1149 г. Юрий Долгорукий разбил возле Переяслава на Днепре войско великого князя Изяслава Мстиславича и овладел Киевом. В 1150 г. вынужден был его оставить, но через некоторое время снова занял его. После поражения на р. Руте в 1151 г. возвратился в Суздаль. В 1155 г. в третий раз овладел Киевом и остался великим князем до смерти. Похоронен в церкви Спаса на Берестове.

65. *Ярополк Изяславич* (?—1087) — волынский князь (1078—1087), сын великого князя Изяслава Ярославича.
66. *Глеб Всеславич* (около 1070—1119) — первый минский князь (с 1101), сын Всеслава Брючславича Полоцкого. Владдел Минском, Друцком, Оршей и Копысом. Как и отец, Глеб Всеславич боролся с киевскими князьями за независимость, пытался заручиться поддержкой Киево-Печерского монастыря, делая туда крупные денежные взносы. В 1104 г. отбил войско, посланное на Минск великим князем киевским Святополком Изяславичем. В 1116 г. вступил в военный конфликт с великим князем Владимиром Мономахом, но потерпел поражение. В 1119 г. нарушил условия мира. Владимир отобрал у него Минск и перевел в Киев, где тот и умер.
67. *Изяслав (Пантелеймон) Мстиславич* (около 1097—1154) — великий князь киевский, старший сын новгородского князя Мстислава Владимировича, внук Владимира Мономаха. С 1134 или 1136 г. — князь владимирский, с 1143 г. — переяславский. Воспользовавшись восстанием 1146 г. в Киеве против Ольговичей, в 1147 г. стал великим князем киевским. В 1149 г. Юрий Долгорукий изгнал Изяслава из Киева, но в 1151 г. Изяслав снова овладел Киевом и княжил до конца жизни совместно со своим дядей Вячеславом Владимировичем. В ходе политической борьбы пошел на разрыв церковных связей с Константинополем и в 1147 г. поставил киевским митрополитом смоленского ученого монаха Климента. Княжение Изяслава описано в особой летописи, составленной его соратником боярином Петром Бориславичем.
68. *Мстислав Святополкович* (?—1110) — волынский князь (1099—1110), сын великого князя киевского Святополка (Михаила) Изяславича.
69. *Давид (Давид) Игоревич* (1059—1112) — князь волынский, сын Игоря Ярославича. В 1084 г. получил от великого князя киевского Всеволода Ярославича Дорогобуж на Волыни, а в 1085 г. — Владимир. Преследуемый князьями за ослепление в 1097 г. теребовльского князя Василька Ростиславича, бежал в Польшу, но вскоре возвратился и с помощью половцев вернул себе Владимир. На Витчевском съезде (1100 г.) вместо Владимира получил города Буск, Острог, Дубно, Черторыйск. Умер в Дорогобуже.
70. *Ветхий Завет* — название, которое христианские богословы дали дохристианской части Библии. Состоит из 48 книг, написанных в период от XI в. до н. э. до I в. н. э. в основном на древнееврейском языке. Из этого числа книг 39 входили в канон древнего иудаизма, остальные читались и переписывались, но не рассматривались как священные тексты. По содержанию они делятся на историко-юридические, поэтическо-литургические и пророческие.
71. *Десятина* — десятая часть доходов, которую выплачивала церкви зависящая часть населения в феодальный период. В Киевской Руси впервые десятину установил великий князь Владимир Святославич после крещения Руси для строительства и содержания Десятинной церкви в Киеве. Позже десятина приобрела характер повсеместного феодального налога, собираемого церковными учреждениями.
72. *Алимпий, Алипий Печерский* (?—1114) — киевский мозаист и живописец, первый известный по письменным источникам древнерусский художник. В «Киево-Печерском патерике» отмечается высокое мастерство Алимпия.
73. *Даниил Паломник* (вторая половина XI — начало XII в.) — игумен одного из черниговских монастырей, автор «Жития и хождения Даниила». По косвенным данным можно предположить, что Даниил сперва был постриженником Киево-Печерского монастыря. В 1106—1108 гг. осуществил путешествие в Палестину. «Житие и хождение Даниила» получило широкое распространение в древнерусской письменности; начиная с XV в. известно более 100 его списков.
74. *Мономахово поучение* («Почтение детям и инь кто прочтет») — главное литературное произведение Владимира Всеволодовича Мономаха, сохра-

нившееся в единственном списке в составе Лаврентьевской летописи под 1096 г., где оно разрывает связный текст о происхождении половцев. Но к 1096 г. «Поучение» не относится — оно захватывает и события более позднего времени. Первоначально «Поучение» состояло из трех самостоятельных частей: собственно «поучения»; «летописи» жизни Мономаха и письма («грамотицы») его постоянному политическому сопернику — князю Олегу Святославичу (черниговскому). Все три произведения, по-видимому, были соединены самим Мономахом. Автор осуждает княжеские междоусобицы и призывает к объединению древнерусских земель.

75. *Всеслав Брючеславич* (?—1101) — полоцкий князь (1044—1067; 1069—1101), великий князь киевский (1068—1069), сын Брючеслава Изяславича. В июне 1067 г. Всеслав с двумя сыновьями во время переговоров был схвачен великим князем Изяславом Ярославичем и посажен в тюрьму («поруб») в Киеве. Во время киевского восстания освобожден и провозглашен великим князем. После семимесячного княжения возвратился в Полоцк. В 1078 г. воевал против Смоленска.
76. *Олег Святославич* (?—1115) — древнерусский князь, сын киевского великого князя Святослава Ярославича. В 1076 г. получил в удел Владимир-Волынский, но в 1077 г. был изгнан оттуда великим киевским князем Изяславом Ярославичем. В 1078 г. бежал в Тмутаракань. В том же году в союзе с половцами попытался завладеть Черниговом, но, потерпев поражение на Нежатиной Ниве возле Чернигова, снова бежал в Тмутаракань. Там его взяли в плен хазары и передали Византии. Вплоть до 1083 г. находился в ссылке на о. Родос. В 1083—1094 гг. был тмутараканским князем. В 1094 г. в союзе с половцами отобрал у Владимира Мономаха Черниговское княжество, но в 1096 г. вынужден был отдать его брату Давиду. По решению Любечского съезда 1097 г. Олег Святославич получил Новгород-Северский, где жил до смерти. За разжигание княжеских междоусобиц в «Слове о полку Игоревем» назван Олегом Гориславичем.
77. *Ви́ра, ве́ра* — в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека. Происхождение термина неясно.
78. *Торки* — тюркоязычные племена, составлявшие часть огузов, которые во второй половине X в. переселились с Приаралья в степи Южной Руси. В Ипатьевской летописи впервые упоминаются под 985 г. как союзники князя Владимира Святославича в борьбе против болгар. В 1060 г. объединенные силы русских князей разбили торков. Русские князья также использовали военную силу торков в своих междоусобных войнах и в борьбе против половцев, а также для охраны южных границ Руси.
79. *Берендеи* — кочевые тюркские племена. Упоминаются в древнерусских летописях с 1097 г. до конца XII в. как часть черных клобуков (см. прим. 83). Берендеи, возможно, выделились из племенного союза огузов. С начала XII в. берендеи вместе с торками и печенегами с согласия древнерусских князей селились в южнорусских степях вблизи Киевского и Переяславского княжеств, особенно в районе Поросья.
80. *Угры* — обобщающее этническое имя, присвоенное родственным по языку народам — зауральским манси и хантам, дунайским венграм (мадьярам). В «Повести временных лет» предки венгров названы «угрой», а предки хантов и манси — «югрой». Позднее имя «югра» закрепилось преимущественно за хантами.
81. *Червенские города* — группа древнерусских городов и укрепленных замков X—XII вв. в Волынской земле на западных окраинах Руси. Термин встречается в древнерусских летописях под 1018 и 1031 гг., а центр этих городов — Червен упоминается начиная с 981 г.
82. *Дрютеск* (*Дружеск, Друцк*) — древнерусский город, возникший в XI в. (ныне село Толчинского района Витебской обл. БССР). Впервые упоминают в летописях под 1092 г. Входил в состав Полоцкого княжества. В XII в. — центр самостоятельного удела, затем перешел к Смоленску.

83. *Черные клобуки* (тюрк. каракалпаки — черные шапки) — древнерусское название кочевых тюркских племен (берендеев, торков, печенегов и др.), которые с конца XI в. жили в южных и юго-восточных владениях Киевской Руси (по Роси, Днепру, в районе современных Черкасс).
84. *Кончак* — половецкий хан, внук Шарукана. Во второй половине XII в. объединил под своей властью племена восточных половцев. В 1172 и 1180 гг. поддерживал северских князей в их борьбе с другими княжествами. Осуществил ряд походов в Переяславскую землю (в 1174, 1178, 1183 гг.), в Киевскую и Черниговскую земли (1185 и 1187). В 1184 г. потерпел поражение от русских князей на р. Хорол. В 1185 г. разбил на р. Каяле и пленил новгород-северского князя Игоря Святославича. Позже осадил Переяслав, но потерпел поражение. Борьба Игоря Святославича и других князей против Кончака легла в основу «Слова о полку Игореве».
85. *Дреговичи* — одно из восточнославянских племен (союзов племен), обитавшее по р. Припять и в более северных областях днепровского Правобережья. Упоминается в «Повести временных лет». Считают, что название связано с древнерусским словом «дрява» или «дрега» (болото) и указывает на характер местности, где жило это племя. Самыми крупными городами были Туров, Мстислав, Слуцк и др. Земли дреговичей составляли отдельное княжество с центром в Турове. В X в. вошло в состав Киевской Руси.
86. *Вышгород* — город возле Киева. Впервые упоминается в летописи под 946 г. как резиденция княгини Ольги — «Ольжин град». О политическом и экономическом значении Вышгорода — важного торгового центра Руси — сообщает византийский император Константин VII Багрянородный в своей книге «Об управлении империей», написанной в середине X в. С 1078 г. Вышгород — центр удельного Вышгородского княжества, подчиненного киевским князьям.
87. *Василько Ростиславич* (?—1124) — князь теребовльский (1092—1124), сын тмутараканского князя Ростислава Владимировича. Василько Ростиславич вместе с братом Володаром Ростиславичем вел борьбу за независимость удельных княжеств Галицкой земли от великого князя киевского, а также от Венгрии и Польши.
88. *Боян, Баян* — древнерусский поэт-певец, неоднократно упоминаемый в «Слове о полку Игореве». Имя Бояна встречается и в «Задонщине». В интерпретации этого имени учеными обозначились две основные тенденции: собственное имя конкретного древнерусского поэта-певца; нарицательное слово, обозначающее певца, поэта, сказителя вообще.
89. *Путята Вышатич* (? — не ранее 1113) — воевода, тысяцкий (начальник городского ополчения, городской судья) в Киеве во время княжения Святополка Изяславича (1093—1113). Участник Витичевского съезда 1110 г., а также борьбы против половцев.
90. *Берестово* — княжье село недалеко от Киево-Печерской лавры. В Берестове находился загородный дворец великого князя киевского Владимира Святославича, который здесь скончался. В последующие годы в Берестове жили Ярослав Мудрый, Святослав Ярославич, Всеволод Ярославич и Владимир Всеволодович Мономах. В 1091 г. княжеский дворец сожгли половцы, в 1113 г. он был отстроен. Во второй половине XI в. в селе была сооружена церковь Спаса на Берестове.
91. Здесь ошибка: в 1113—1125 гг. великим князем киевским был Владимир Всеволодович Мономах, а его сын Мстислав Владимирович княжил в 1125—1132 гг.
92. *Всеволод II Ольгович* (?—1146) — великий князь киевский (1139—1146), сын черниговского князя Олега Святославича, родоначальник княжеской династии Ольговичей. В 1115—1127 гг. княжил в Новгород-Северском, в 1127—1139 гг. — в Чернигове. Опираясь на половцев, вел борьбу с представителями киевской династии Мономаховичей за земли Южной Руси. В 1139 г. захватил Киев. Разжигал и умело использовал княжеские

- междоусобицы, чтобы удерживать за собой великокняжеский престол. После его смерти киевляне восстали и изгнали Ольговичей из Киева.
93. *Изяслав Давидович* (?—1162) — князь черниговский (с 1151) и великий князь киевский (1154—1155, 1157—1158, 1161); сын черниговского князя Давида Святославича. Вместе с Юрием Долгоруким вел борьбу за великокняжеский престол с потомками Владимира Мономаха.
 94. *Ростислав Мстиславич* (?—1167) — князь смоленский (с 1127), великий князь киевский (1154, 1159—1161, 1161—1167), сын великого князя киевского Мстислава Владимировича Мономаха. В 20—40-х годах XII в. принимал участие в походах отца и братьев на половецких князей, чудь, литовцев, половцев, в 1144 и 1146 гг. — в борьбе великого князя киевского Всеволода Ольговича с галицким князем Владимиром Володаревичем. В 1149—1150 гг. поддерживал брата Изяслава Мстиславича в его борьбе с Юрием Долгоруким за киевский престол. В период между 1133 и 1150 гг. учредил в Смоленске самостоятельную епископию.
 95. *Мстислав Изяславич* (?—1170) — князь переяславский (с 1151), волынский (с 1154), сын Изяслава Мстиславича. Принимал участие в борьбе отца с черниговскими князьями и с Юрием Долгоруким. В 1152 г. дважды наносил поражение половцам. Утвердившись на Волыни, начал борьбу за Киев. В 1160 г. занял город и посадил на великокняжеский престол своего дядю Ростислава Мстиславича. После смерти последнего (1167 или 1168) стал великим князем, продолжал борьбу с владимиросудзальскими князьями. В 1169 г. защищал Киев от войска Андрея Боголюбского и других князей. После падения Киева ушел на Волынь. В 1170 г. на короткое время снова овладел Киевом. Умер во Владимире-Волынском.
 96. *Греческий путь* (путь «из варяг в греки») — название водного торгового пути Киевской Руси, связывавшего Северную Русь с Южной, Прибалтику и Скандинавию с Византией. Возник в конце IX — начале X в. Наибольшее значение имел в X — первой трети XI в. Упоминается в «Повести временных лет». Состоял из системы речных путей и волоков между ними длиной более 3 тыс. км. Южную его часть по Днепру хорошо знали византийцы. Греческий путь был связан с другими водными путями Руси: Припятско-Бужским, уходящим в Западную Европу, и Волжским, выводящим в Арабский халифат.
 97. *Залозный путь* — древний юго-восточный торговый путь Киев — Переяслав — Канев, далее — по водоразделу между Днепром и Северным Донцом к верховьям р. Кальмиус. Упоминается в летописях под 1168 и 1170 гг.
 98. *Соляной путь* — сухопутный торговый путь, по которому возили соль в Киевскую Русь с Крымского побережья Черного моря. Имел два разветвления, из которых одно начиналось в Переяславе, другое — в Ромнах. Вблизи устья р. Ворсклы эти разветвления соединялись. Возле Переволочной Соляной путь переходил на правый берег Днепра. На Каменном перевозе (около устья р. Конки) второй раз пересекал Днепр и возле современной Каховки поворачивал на Перекоп к Корсуню (Херсонесу), Суражу (Судаку), Кафе (Феодосии).
 99. *Андрей Юрьевич Боголюбский* (около 1111—1174) — князь владимиросудзальский (1157—1174), сын Юрия Долгорукого, внук Владимира Мономаха. С юных лет принимал участие в походах отца, был князем в Вышгороде. В 1155 г. ушел во Владимир. С 1159 г. боролся за подчинение Новгорода. В 1169 г. овладел Киевом, добился права получать дань с населения Двинской земли. Построил Успенский собор во Владимире и замок Боголюбово, в котором и был убит боярами-заговорщиками.
 100. Имеется в виду Подол — исторический район Киева. Расположен на правобережной низменности между устьем бывшей реки Почайны и склонами Старокиевской горы, Замковой горы и гор Хоревница и Щекавица. Первые поселения появились здесь в начале нашей эры. Во времена Киевской Руси Подол был торгово-ремесленным центром города.

101. *Гора (Верхний город, Старый город)* — историческая часть Киева на Старокиевской горе. Название возникло как противопоставление Нижнему городу (Подолу). Занимала территорию, ограниченную нынешними улицей Ярослав Вал, Львовской площадью, склонами гор за улицами Большой Житомирской и Десятинной. Застройка Горы началась в X в. В X—XI вв. включала город Владимира и город Ярослава, комплекс монастырей на Михайловской горе, западные окраины Копырева конца. Здесь находились дворы великого князя, митрополита и т. д.
102. Речь идет о Софийском соборе, сооруженном Ярославом Мудрым в первой половине XI в. как главный митрополичий храм Руси. Был обществено-политическим центром Киевского государства. В соборе происходили церемонии «посажения» послов, около него собирались веча киевские, здесь велось летописание и функционировала созданная Ярославом Мудрым первая в Древней Руси библиотека.
103. *Мстислав Ростиславич Храбрый (?—1178)* — князь смоленский (с 1175) и новгородский (с 1178), сын великого князя киевского Ростислава Мстиславича. В 1161 г. послан отцом в Белгород. В 1167 г. вместе с другими князьями совершил удачный поход на половцев. Принимал участие во взятии Киева войском Андрея Боголюбского (1169). Вместе с братьями помог занять великокняжеский киевский престол своему дяде Владимиру Мстиславичу Дорогобужскому (1171). В 1174 г. посадил на этот престол своего брата Рюрика Ростиславича и выдержал девятидневную осаду Вышгорода войском Андрея Боголюбского. Став новгородским князем, в 1178 г. совершил поход на эстов. Умер и похоронен в Новгороде.
104. *Ярослав Изяславич (?—1180)* — князь луцкий (1151—1174, 1175—1180), великий князь киевский (1174), сын великого князя киевского Изяслава Мстиславича.
105. *Роман Ростиславич (?—1180)* — князь смоленский (с 1159), великий князь киевский (1171, 1175—1176), сын великого князя киевского Ростислава Мстиславича.
106. *Святослав Всеволодович (около 1125—1194)* — князь новгород-северский (1157—1164), черниговский (1164—1176), великий князь киевский (1176—1180, 1181—1194), сын Всеволода Олеговича, внук Олега Гориславича. По договору 1181 г. между Рюриком Ростиславичем и Святославом Всеволодовичем Святослав получил Киев, а Рюрик — киевские волости.
107. Здесь неточность: видимо, имеется в виду князь черниговский Святослав Всеволодович, так как Святослав Ольгович — князь новгород-северский (1136—1139), белгородский (1141—1154), черниговский (1154—1164) умер в 1164 г.
108. *Киевская летопись* — составная часть Ипатьевской летописи, является продолжением «Повести временных лет». Охватывает события с 1111 по 1200 г.
109. *Игорь Святославич (1151—1202)* — князь новгород-северский (с 1178) и черниговский (с 1198), сын черниговского князя Святослава Ольговича, внук Олега Гориславича. Был женат на дочери Ярослава Осмомысла Галицкого Ефросинии, от которой у него было пятеро сыновей (Владимир, Роман, Олег, Святослав, Ростислав) и дочь. Принимал участие в борьбе за великокняжеский престол, опираясь на помощь половцев. Однако усиление их нападений на Юго-Западную Русь вынудило Игоря Святославича совместно с другими князьями в 1185 г. выступить против кочевников. Поход закончился поражением, а сам Игорь Святославич попал в плен, откуда ему удалось бежать. Поход 1185 г. послужил сюжетной основой «Слова о полку Игореве».
110. *Рюрик Ростиславич (?—1212)* — князь черниговский, великий князь киевский (1173, 1180—1181, 1194—1200, 1203, 1205—1206, 1206, 1207—1210), сын Ростислава Мстиславича. До 1167 г., когда умер Ростислав

Мстиславич, Рюрик с братом Давидом сидели в волостях Киевской земли. В 1167 г. Рюрик получил Овруч, в 1171—1172 гг. княжил в Новгороде, а затем возвратился на Киевщину. По договору 1181 г. великокняжеский киевский престол занял Святослав Всеволодович, а волости отошли к Рюрику. После смерти Святослава Всеволодовича великокняжеский престол занял Рюрик. Попытка отстать от него с помощью половцев закончилась тем, что Рюрик был пострижен в монахи, а Киев попал в зависимость от Романа Мстиславича. После смерти Романа (1205) Рюрик сбросил ясы и снова включился в борьбу за Киев, длившуюся до 1210 г., когда киевский великокняжеский престол занял черниговский князь Всеволод Святославич Чермный, а Чернигов перешел к Рюрику, где он и умер.

111. *Роман Мстиславич* (? — 1205) — князь новгородский (1168—1169), волынский (1170—1199), галицко-волынский (1199—1205), сын волынского князя Мстислава Изяславича. В 1199 г. объединил Галицкое княжество с Волынским в единое Галицко-Волынское княжество. В 1200 г. распространил свое влияние на Киев, выступая совместно с владимиросудальским князем Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо. Вел успешную борьбу против половцев и литовских феодалов. Активное участие принимал в политических делах Венгрии, Польши, Византии и других стран. Погиб во время похода в Польшу при невыясненных обстоятельствах.
112. *Городец-на-Востре* (*Городец на Вьстри, Горидок*) — город в Переяславской земле (теперь в составе г. Остер Козелецкого района Черниговской обл.). Сохранились остатки древнего города-крепости в Подесенье на пути из Киева в Чернигов. Неоднократно упоминался в летописях. Разрушен в 1240 г. ордами Батыея.
113. *Вручий* — ныне г. Овруч Житомирской обл. УССР. Время его основания неизвестно. Впервые упоминается в письменных источниках под 946 г. как один из древлянских городов, подчиненных княгиней Ольгой. Во второй половине X — первой половине XII в. входил в состав Киевской Руси и был известен производством шиферных пряслиц.
114. *Казимир II Справедливый* (1138—1194) — польский князь с 1177 г. Овладел краковским престолом в результате борьбы с Мешко III Старым. На Ленчицком съезде 1180 г. Казимир II предоставил значительные привилегии духовным и светским феодалам в ущерб правам князей. Участвовал в борьбе за Галицко-Волынскую Русь, пытаясь посадить на галицкий престол своего ставленника, венгерского князя, но не добился успеха. Поскольку Казимир умер в 1194 г., следовательно, с ним не мог воевать Роман Мстиславич. В это время краковским князем был Лешко Белый (1186—1227).
115. Речь, видимо, идет о сражении войск русских князей с монголо-татарским войском Джэбэ и Субэде 31 мая 1223 г. на р. Калке (приток р. Кальмиус).
116. *Котян Сутоевич* — половецкий хан. Впервые упоминается в летописи под 1202 г. в связи с феодальными междоусобицами в Галицком княжестве. Принимал также участие в междоусобной борьбе русских князей в 1225 и 1228 гг. В 1238 г. Котян, разбитый ордами Батыея, с 40 тыс. половцев бежал в Венгрию, где они были приняты в подданство.
117. *Мстислав Мстиславич Удалой* (? — 1228) — князь торопецкий (с 1206), новгородский (с 1210), галицкий (с 1219). В 1193 и 1203 гг. осуществил успешные походы против половцев. В союзе с владимир-волынским князем Даниилом Романовичем и половецким ханом Котяном изгнал венгерских захватчиков из Галицкого княжества. В 1223 г. принимал участие в походе русских удельных князей против монголо-татар (командовал авангардом русских войск). В последние годы воевал против венгерских феодалов, принимал участие в междоусобной борьбе с Даниилом Романовичем.

118. *Владимир Рюрикович* (1187 — после 1238) — князь смоленский. После битвы на р. Калке занял великокняжеский киевский престол (находился в союзе с Мстиславом Удалым и Даниилом Романовичем). Накануне 1235 г. был изгнан из Киева черниговским князем Михаилом Всеволодовичем. В 1236 г. возвратился в Киев, но его вытеснил суздальский князь Ярослав Всеволодович, который впоследствии, в 1238 г., бежал оттуда, спасаясь от татар. Владимир Рюрикович снова вернулся в Киев, где вскоре и умер.
119. *Михаил Всеволодович* (? — 1246) — князь черниговский, сын Всеволода Святославича Чермного. Впервые упоминается в источниках под 1206 г., когда получил от отца Переяславль, но в том же году был изгнан оттуда киевским князем Рюриком Ростиславичем. Принимал участие в битве на р. Калке. В 20-е годы несколько раз становился во главе Новгорода, затем вел борьбу с Даниилом Галицким и Ярославом Всеволодовичем за Киев. При приближении монголо-татар в 1238 г. бежал в Венгрию, затем в Польшу. Не найдя там поддержки, в 1245 г. возвратился в Чернигов, а в 1246 г. отправился к Батю, рассчитывая получить от него Черниговское княжество. За отказ пройти через очистительный огонь был убит. Канонизирован русской церковью.
120. *Батый* (Бату, Саинхан: ? — 1255) — монгольский хан и полководец, сын хана Джучи, внук Чингисхана. В 1236—1243 гг. возглавил поход монголо-татарского войска в Восточную Европу. На протяжении 1237—1240 гг. войско Батыя завоевало Русь и в 1241 г. вторглось в Польшу, на земли нынешней Закарпатской Украины, Венгрии и Далмации. В 1242 г. захватчики возвратились на берега Волги. На территории от Иртыша до Дуная возникло новое монгольское государство — Золотая Орда.
121. *Золотые ворота* — главные въездные ворота древнего Киева. О возведении Золотых ворот упоминается в летописи под 1037 г. Строились они одновременно с новыми укреплениями Верхнего города и были мощным оборонительным сооружением. Над воротами была возведена церковь Благовещения с позолоченным куполом.
122. *Червоная Русь* — историческое название Галичины, встречающееся в письменных источниках, главным образом зарубежных, в XVI—XIX вв.
123. *Володарь Ростиславич* (? — 1124) — князь перемышльский (1092—1124), сын тмутараканского князя Ростислава. Вместе с братом Васильком вел борьбу за независимость княжеств Галицкой земли от великого киевского князя. В 1097 г. на Рожном поле Ростиславичи победили войско киевского князя Святополка Изяславича, в 1099 г. под Перемышлем — войско венгерского короля Коломана — союзника киевского князя.
124. *Болеслав Кривоустый* (1086—1138) — князь польский с 1106 г. Сын князя Владислава I Германа. Получив в наследство от отца Силезию и Малую Польшу, добился в борьбе со старшим братом Збигневом и его союзником германским императором Генрихом V объединения под своей властью всей Польши.
125. *Владимир (Володимирко) Володаревич* (1104—1152) — галицкий князь, сын Володаря Ростиславича. Став звенигородским князем (1124), Владимир прибрал к рукам удельных князей и бояр и в 1141 г. объединил Звенигородское, Галицкое, Перемышльское и Тереховское княжества в единое Галицкое княжество с центром в Галиче. В 1149 г. принял сторону Юрия Долгорукого в его борьбе против киевского князя Изяслава Мстиславича.
126. *Иван Ростиславич Берладник* (? — 1162) — звенигородский князь. В 1144 г., заняв Галич, стремился отобрать Галицкое княжество у своего дяди Владимира Володаревича. Потерпев поражение, бежал в г. Берладь (ныне Бырлад, Румыния) — отсюда и прозвище. Позже нашел пристанище в Киеве у князя Всеволода Ольговича. В 1146 г. находился на службе у его брата Святослава, позже у других князей. В 1158 г. снова появился

на Дунае. В 1159 г. отправился в поход против галицкого князя Ярослава Владимировича, но потерпел поражение возле Ушицы. Бежал в Грецию, где, по рассказам, был отравлен.

127. *Ярослав Владимирович Осмомысл* (? — 1187) — князь галицкий с 1153 г., сын Владимира (Володимирка) Володаревича. Впервые упоминается в летописи под 1150 г. в связи с женитьбой на дочери Юрия Долгорукого Ольге. Ярослав подписал с великим киевским князем Изяславом Мстиславичем мир, признав себя его вассалом, но в 1154 г. борьба между Киевом и Галичем возобновилась. В 1158—1161 гг. Ярослав боролся против киевского князя Изяслава Давидовича. В 60—80-е годы поддерживал дружеские связи с Киевом, участвовал в общерусских делах.
128. Польский князь Казимир II Справедливый умер в 1194 г., поэтому не мог оказывать помощь Роману Мстиславичу (см. прим. 114).
129. Здесь, видимо, ошибка. Галицко-волинский князь Роман Мстиславич погиб в 1205 г.
130. *Волинская летопись* — сохранилась в составе Ипатьевского и Хлебниковского списков Ипатьевской летописи, представляет собой вторую часть Галицко-Волинской летописи. Составлена на Волини около 1290 г. В ней использованы княжеская придворная хроника, Новгородская летопись о литовских князьях, антитатарские повести и др. Свод 1290 г. был продолжен при преемнике Владимира Васильковича — князе Мстиславе Даниловиче (умер после 1292).
131. *Конрад* (около 1187—1247) — мазовецкий князь с 1202 г., краковский — в 1229 и 1241—1243 гг. Сын польского короля Казимира II Справедливого.
132. *Галицкая летопись* — сохранилась в составе Ипатьевской летописи, представляет собой первую часть Галицко-Волинской летописи. Составлена в Галиче в 1201—1261 гг. В ее основу положены летописания времен Даниила Романовича Галицкого. Исходным материалом летописи была «Повесть временных лет», дополненная данными Киевской летописи 1238 г. и местных источников 1238—1246 гг. Свод 1246 г. перерабатывался и дополнялся во Владимире-Волинском.
133. *Сборник Святослава, Изборник Святослава* — список 1703 г. со сборника, переведенного в IX в. в Болгарии с греческого на старославянский язык. Кроме статей религиозного характера содержит сведения по грамматике, логике, риторике и поэтике. Украшен орнаментами и миниатюрами (среди них портрет князя Святослава с книгой в руках в окружении семьи).

Южная Русь в конце XVI века

Впервые напечатано в 1842 г. в Харькове под названием «О причинах и характере унии в Западной Руси» как магистерская диссертация, но она была запрещена и уничтожена за отход от официальной трактовки темы. Впоследствии это сочинение Н. И. Костомаров переработал и под названием «Отрывки из истории южнорусского казачества до Богдана Хмельницкого» напечатал в журнале «Библиотека для чтения» (1865, № 1—3). Позже «Отрывки», озаглавленные «Южная Русь в конце XVI века», были включены в третий том «Собрания сочинений: Исторические монографии и исследования» (изд. Д. Е. Кожанчикова; СПб., 1867). С небольшими поправками перепечатано в третьем томе Собрания сочинений (изд. М. О. Вольфа; СПб., 1880). Публикуется по Собранию сочинений Н. И. Костомарова (изд. «Литературного фонда»; СПб., 1903, т. 3).

1. Речь идет о смерти Андрея и Льва — сыновей галицко-волинского князя Юрия I Львовича (1250—1308, по др. сведениям 1315). Как они умерли — не установлено. Согласно слову «interitus» (гибель), которым польский король Владислав Локотек (1260—1333) определил их конец, возможно, они пали в битве с татарами или с Литвой. В хронике

Швейцарца Ивана из Винтертура (Витодурана) есть туманное известие, что татарский хан отравил двух «поганских королей». Можно предположить, что речь идет об Андрее и Лье.

2. *Болеслав Тройденович, Юрий II* (около 1306—1340) — галицко-волинский князь (около 1324—1340), сын мазовецкого князя Тройдена II и Марии, дочери Юрия Львовича. Поддерживал союзнические взаимоотношения с Тевтонским орденом, имел дипломатические сношения с Московским княжеством. Стремясь укрепить свою власть, опирался на мешан, в том числе колонистов. Отправлен боярами-заговорщиками.
3. *Казимир III Великий* (1310—1370) — польский король (с 1333) из династии Пястов. В 1340 г. организовал поход польско-венгерских войск в Галицко-Волинское княжество, который окончился неудачей. В 1349 г. захватил и присоединил к Польше Галицкую землю. При Казимире III начался захват Волыни.
4. *Людвик Венгерский* (1326—1382) — король венгерский (с 1342), польский (с 1370), сын венгерского короля Кароля Роберта и Елжбеты Локотковны. Польский трон занял после смерти Казимира III Великого.
5. *Владислав Опольский* (?—1401) — князь опольский (с 1356), сын Болеслава II Опольского. В 1372 г. получил Галичину, в 1377 г. был провозглашен королем Польши.
6. *Францискане, францисканцы* — монахи католического «нищенствующего» ордена, основанного в 1209 г. в Италии Франциском Ассизским. Наряду с доминиканцами принимали участие в инквизиции. В Польше обосновались в 1237 г. И поныне являются одним из наиболее влиятельных орденов в Европе.
7. *Любарт Гедиминович* (православное имя Димитрий; ? — 1384) — князь литовский, младший сын Гедимины. После смерти Юрия II бояре провозгласили Любарта галицко-волинским князем. Любарт вел длительную борьбу против Польши и Венгрии. При помощи великого князя литовского Кейстута Любарт овладел Волинской, Холмской и Белзской землями. Во время княжения Любарта в Луцке была сооружена крепость — так называемый Замок Любарта.
8. *Ягелло, Ягайло* (около 1350—1434) — великий князь литовский (1377—1392 с перерывом), король польский под именем Владислава II Ягайла (с 1386 г.), родоначальник династии Ягеллонов. Сын Ольгерда, внук Гедимины. В 1380 г. заключил соглашение с Золотой Ордой, направленное против Московского княжества, был союзником Мамая в Куликовской битве 1380 г. Вел в Великом княжестве Литовском борьбу за власть с дядей Кейстутом, которая закончилась в 1382 г. пленением и убийством Кейстута. Крестная уния Литвы и Польши 1385 г. была скреплена браком Ягайла с польской королевой Ядвига. В 1387 г. захватил и присоединил к Польше Галицкую Русь.
9. *Ядвига* (около 1374—1399) — польская королева с 1384 г., младшая дочь короля Венгрии и Польши Людовика (Лайоша) Великого.
10. На Городненском сейме, состоявшемся 2 октября 1413 г. в г. Городле (на Западном Буге), было подписано соглашение между великим князем Литвы Витовтом и польским королем Ягайлом, которым подтверждалось право Литвы иметь своего государя под верховенством польского короля. Был также выработан порядок избрания польского и литовского монархов. Городненская уния укрепила силы Литвы и Польши для борьбы с агрессивней Тевтонского ордена, но в то же время облегчила польским феодалам проведение захватнической политики в украинских и русских землях.
11. *Витовт* (1350—1430) — великий князь Литвы (1392—1430). После Крестовой унии 1385 г. боролся за независимость Литвы от Польши и добился от польского короля Ягайла признания за собой (на правах

- наместника) Великого княжества Литовского. Ликвидировал на территории Украины и Белоруссии удельные княжества и создал вместо них области с литовскими наместниками. Создал католические епископские кафедры в Луцке и Каменце-Подольском. Захватил и присоединил к Литве Смоленск (1404). В битве с татарами у р. Ворсклы (1399) Витовт потерпел поражение, но в 20-х годах XV в. ему удалось расширить владения Литвы до Черноморского побережья.
12. На соборе православных епископов украинских и белорусских земель, состоявшемся в 1415 г. в Новоградце (Новоградке), киевским митрополитом был избран известный писатель, проповедник и защитник восточной церкви Григорий Цамблак (1364 — после 1420). Родился в Тырнове (Восточная Болгария), в 1400 г. был посвящен в сан иеромонаха под именем Григория. Большую часть своей жизни прожил в Молдавии. В 1409 г. приехал в Киев. Цамблак был сторонником идеи объединения европейских государств, прежде всего Молдавии, Валахии, Польши, Венгрии, Литвы и итальянских республик против агрессии султанской Порты. Он оставил много проповедей и историко-литературных произведений. Известия о Цамблаке обрываются на 1420 г., когда он, возможно, и умер. Существует версия, что после 1420 г. он бежал в Молдавию и там жил до 1450 г.
 13. Речь идет о гуситских войнах — антифеодальном, национально-освободительном и антикатолическом движении в Чехии в первой половине XV в., входившей в состав Священной Римской империи. Недовольство чехов положением в стране нашло отражение в деятельности мыслителя и идеолога чешской реформации Я. Гуса (1371—1415). Происходил из крестьянской семьи, был профессором и ректором Карлова университета в Праге (1402—1403, 1409). Весть о казни Гуса в Констанце (6 июня 1415) всколыхнула все слои чешского народа и вызвала ряд антицерковных выступлений. 30 июля 1419 г. началось восстание в Праге во главе с Я. Желивским. Повстанцы разгромили католические церкви и дома немецких патрициев. Борьба длилась по 1437 г.
 14. *Табориты* — левое крыло гуситов, отражающее интересы крестьян и городского плебса; опорой их был г. Табор. Во главе таборитов по 1424 г. стоял Я. Жижка (1360—1424), а после его смерти — Проккоп Великий (Большой).
 15. *Сигизмунд I* (1361—1437) — император Священной Римской империи (1410—1437). Сын императора Карла IV. В 1378 г. наследовал маркграфство Бранденбург. После брака с дочерью венгерского короля Лайоша I Великого Марией стал венгерским королем (с 1387). В 1396 г. возглавил крестовый поход против турок, был разбит. Вел борьбу против гуситского движения, санкционировал казнь Я. Гуса. В 1419 г. признан чешским королем, в 1421 г. низложен с чешского престола Чаславским сеймом, вновь провозглашен королем в 1436 г. сеймом в Йиглаве. Всеобщее возмущение в Чехии политикой Сигизмунда I заставило его бежать. По пути в Венгрию он умер.
 16. *Флорентийский собор* — вселенский собор католической церкви, созданный папой Евгением IV в противовес Базельскому собору. Открылся в Ферраре (1438—1439), перенесен во Флоренцию (1439—1442), закончился в Риме (1443—1445). В соборе приняла участие многочисленная делегация восточной (православной) христианской церкви. Важнейшей задачей Флорентийского собора было преодоление главных догматических разногласий и заключение унии между западной (католической) и восточной церквями. На соборе разгорелись догматические споры. Усиление турецкой опасности вынудило византийцев к заключению Флорентийской унии (июль 1439) на условиях признания супрематии (верховенства) папы, принятия догм католического вероучения с сохранением лишь обрядов восточной христианской церкви.

17. *Исидор* (? — 1462) — митрополит всея Руси. Игумен византийского монастыря, грек или огреченный болгарин. В 1437 г. константинопольский патриарх Иосиф назначил Исидора митрополитом русской церкви, чтобы подготовить ее к унии с Римом. Во время Флорентийского собора 1439 г. Исидор защищал унию, но встретил сопротивление со стороны единственного светского представителя России — тверского посла Фомы. Русские князья отвергли унию; Исидора заточили в темницу. В 1441 г. бежал в Италию; был кардиналом католической церкви.
18. Григорий Болгарин был киевским митрополитом в 1458—1475 гг. С этого времени церковная жизнь на Украине обособливается от Московского государства.
19. *Свидригелло*, *Свидригайло*, *Швитригайло* (православное имя Лев, католическое Болеслав; 1355—1452) — великий князь литовский (1430—1432), сын Ольгерда. Владел Витебским уделом. Вел борьбу против Витовта и Ягайла. В 1420 г. пришел к соглашению с ними и получил Новгород-Северский и Брянский уделы. Став великим князем, привлекал к государственному управлению украинских и белорусских феодалов. Попытки завладеть Литвой в 1432—1435, 1437 и 1440 гг. окончились неудачей.
20. *Казимир IV Ягеллонович* (1427—1492) — великий князь литовский (с 1440) и король польский (с 1447). В 1447 г. издал привилегию, расширившую права и вольности шляхты. В 1452 г. превратил Луцкое, а в 1471 г. Киевское княжество в литовские провинции. Основал монастырь бернардинцев в Вильно, который добивался унии православной и католической церквей. Казимир IV жестоко расправился с восстанием под предводительством Мухи в 1490—1492 гг.
21. *Александр Казимирович Ягеллон* (1460—1506) — великий князь литовский с 1492 г., король польский с 1501 г. В 1492 г. дал феодалам привилегию, значительно ограничившую власть великого князя панской радой. Сближение Литвы с Польшей завершилось избранием Александра польским королем. В 1505 г. ввел общий свод законов — Радомскую конституцию, ограничившую власть короля в интересах магнатов. В 1494 г. после неудачной войны с Русью заключил с ней договор, скрепленный браком с дочерью Ивана III Еленой. Новое обострение литовско-русских отношений привело к войне (1500—1503), в результате которой под власть Москвы перешли пограничные земли, города Чернигов, Стародуб, Новгород-Северский, Брянск и др.
22. *Иван Московский*, *Иван III Васильевич* (1440—1505) — великий князь московский с 1462 г., старший сын Василия Васильевича Темного. С 1450 г. упоминается как великий князь — соправитель отца. При Иване III завершилось формирование основной территории Русского централизованного государства. К Москве были присоединены Ярославское (1463), Ростовское (1474) княжества, Новгородская феодальная республика (1478), Тверское великое княжество (1485), Вятская (1489) и большая часть Рязанской земель.
23. *Реформатство*, *реформация* — антифеодальное и антикатолическое общественно-политическое и идеологическое движение, охватившее в XVI—XVII вв. большинство стран Западной и Центральной Европы. Отражало необходимость приспособления религии к задачам установления новых, буржуазных общественных отношений. Через Польшу реформация проникла на Украину. Идеологи реформации отрицали власть папы римского, монашество, культ святых, иконы; требовали создания национальных церквей, проведения церковных богослужений на родном языке; источником вероучения считали только священное писание (Библию), отрицали решения церковных соборов. Реформация имела три основных направления: бюргерско-буржуазное (М. Лютер, Ж. Кальвин, У. Цвингли), крестьянско-плебейское (Т. Мюнцер) и королевско-княжеское.

24. *Арианство* — течение в христианстве, основателем которого был священник Арий из Александрии. Отрицало церковный догмат о единстве бога-отца и бога-сына (Христа), поскольку последний, являясь творением бога-отца, низший по сравнению с ним. Вселенские соборы 325 и 381 г. осудили арианство как ересь. В XVI—XVII вв. в несколько измененном виде оно имело место в Польше; было известно и на Украине. В Чернигове, Проскурове, Хмельнике, Гоще и других городах до середины XVII в. существовали арианские школы.
25. По-видимому, речь идет о приверженцах движения стригольников, возникшего в середине XIV— первой половине XV в. в Новгороде и Пскове. Происхождение названия точно не установлено. Активными участниками движения были посадские люди и низшее духовенство. Стригольники отвергали церковную иерархию и монашество, а также таинства причащения, каюания, крещения, исполнение которых сопровождалось большими поборами в пользу духовенства. В проповедях стригольников проступали и социальные мотивы: они порицали богачей за порабощение свободных людей. Церковь при поддержке государственной власти подвергала вольнодумцев жестоким преследованиям, однако их учение продолжало бытовать в Новгороде, Пскове, а также Твери. Своего наибольшего развития стригольничество получило в середине XVI в.
26. *Сигизмунд II Август* (1520—1572) король польский (с 1530) и великий князь литовский (с 1548). Происходил из династии Ягеллонов. Во время его правления православные украинские и белорусские феодалы были уравнены в правах с феодалами-католиками. В 1564 г. Сигизмунд II допустил в Польшу иезуитов. При его участии была заключена Люблинская уния 1569 г. В низовьях Днепра на острове Малая Хортица Сигизмунд распорядился соорудить замок с целью прекратить побегов крестьян в Запорожскую Сечь, а в 1572 г. на государственную службу впервые были взяты 300 казаков, которых стали называть реестровыми.
27. *Конвокационный сейм* — в Речи Посполитой XVI—XVIII вв. сейм, созываемый после смерти короля. Задачами конвокационного сейма были поддержание законности до избрания преемника, определение срока и подготовка избрания нового короля, которое производилось на другом, элекционном (выборном) сейме.
28. *Генрих* (1551—1589) — король польский, затем французский; сын Генриха II, короля Франции. Избран польским королем в 1573 г. Прибыл в Польшу в январе 1574 г. После пятимесячного пребывания в Польше, получив известие о смерти своего брата, французского короля Карла IX, тайно бежал, чтобы занять французский престол.
29. *Стефан Баторий* (1533—1586) — семиградский (трансильванский) князь (1571—1576), польский король (с 1576) и полководец. В 1578 г. сделал попытку уничтожить Запорожскую Сечь. Готовясь к войне с Россией, замышлял использовать в ней украинских реестровых казаков, увеличив их количество до 600 человек. После заключения в 1582 г. перемирия с Россией правительство Батория проводило усиленную колонизацию Левобережной Украины.
30. *Сигизмунд III Ваза* (1566—1632) — король польский и великий князь литовский с 1587 г. Воспитанник иезуитов, Сигизмунд III содействовал утверждению в Польше католической реакции. В 1592—1599 гг. — король шведский. Низложен с престола протестантским шведским дворянством. С помощью Брестской унии 1596 г. Сигизмунд III стремился добиться колонизации Украины и Белоруссии. Правительство Сигизмунда III жестоко подавило крестьянско-казацкие восстания К. Косинского (1591—1593), С. Наливайко (1594—1596), Т. Федоровича (1630) и др.
31. Орден иезуитов основан в 1534 г. в Париже мелким испанским дворянином, религиозным фанатиком Игнатием Лойолой и утвержден под

названием «Общество Иисуса» папой Павлом III в 1540 г. Вскоре после основания орден иезуитов стал одной из главных опор папства в борьбе против реформации, оплотом клерикализма. Иезуиты участвовали в деятельности инквизиции.

32. *Давид* — полулегендарный царь израильско-иудейского государства (конец XI в.— около 950 г. до н. э.).
33. *Острожский Константин (Василий) Константинович* (1526—1608) — украинский магнат, киевский воевода, деятель культуры, князь. Владел большими имениями на Правобережной Украине. Враждебно относился к антифеодальным движениям, принимал участие в подавлении крестьянско-казацких восстаний под руководством К. Косинского и С. Наливайко. Был активным сторонником православной церкви. По инициативе Острожского в Остроге был создан кружок антиуниатских литераторов и публицистов. Основал школы в Турове, Владимире-Волынском, Остроге.
34. *Скарга (Павенский) Петр* (1536—1612) — польский политический деятель, ксендз-иезуит. С 1579 г.— ректор иезуитской академии в Вильно, с 1588 г.— надворный проповедник Сигизмунда III. Использовал свое влияние на короля для усиления католической реакции в Польше. Один из инициаторов Брестской унии 1596 г., сторонник укрепления королевской власти. В своих проповедях осуждал возрастающее своеволие магнатов.
35. *Александр VI* (в миру Родриго Борджа; около 1431—1503) — папа римский с 1492 г. С 1456 г.— кардинал. В 1493 г. издал буллу, поделившую мир между испанцами и португальцами.
36. *Замойский Ян* (1542—1605) — польский коронный канцлер (с 1578) и великий коронный гетман (с 1580). Был одним из инициаторов составления в 1573 г. «Генриковых артикулов», допускавших участие всей шляхты в избрании короля, и «Пакта конвента» (условий избрания короля). Содействовал избранию на польский престол Стефана Батория.
37. *Балабан Геден* (Григорий; 1530—1607) — украинский церковный и политический деятель. Происходил из украинской мелкой шляхты. В 1565 г. получил епископскую кафедру во Львове. В 1582 г. выступал против введения на Украине григорианского календаря. В 1585 г. помог львовскому братству возобновить типографию И. Федорова. С 1590 г. вместе с некоторыми православными епископами вел тайные переговоры о введении унии, однако в 1595 г. порвал с ее сторонниками. В начале XVII в. открыл в своем имении в с. Стратине (теперь Рогатинского р-на Ивано-Франковской обл.) греко-славянскую школу и типографию.
38. *Терлецкий Кирилл Семенович* (?—1607) — украинский церковный деятель. Принадлежал к верхушке православного духовенства, ориентировавшегося на шляхетскую Польшу. Около 1572 г. польское правительство назначило его епископом пинским и туровским. С 1585 г.— епископ луцкий и острожский. В 1595 г. Терлецкий побывал в Риме, где договорился с папой Климентом VIII об объединении православной церкви с католической. На Брестском церковном соборе 1596 г. Терлецкий и его единомышленники провозгласили введение на Украине и в Белоруссии унии.
39. *Иоанн из Вишни, Вышенский Иван* (между 1545 и 1550 — после 1620) — украинский писатель-полемист. Родился в Судовой Вишне (ныне Львовская обл.). Главные произведения — «Послание к утекшим от православной веры епископом», «Обличение диавола-миродержца», «Послание до всех обще в Лядской земли живущих». В них Вышенский выступал против польско-католической реакции, униатства, разоблачал польских и украинских феодалов-крепостников, остро критиковал тогдашний общественно-экономический строй.

40. *Копыстенский Захария* (Азария; ?—1627) — украинский писатель, культурный и церковный деятель. Родился в Перемышле. Образование, видимо, получил во Львовской братской школе. В 1616 г. переехал в Киев, где развил издательскую и литературно-полюемическую деятельность. С 1624 г.— архимандрит Киево-Печерской лавры. Автор «Часослова» (1617), трактата «Книга о вере единой...» (1619—1621), проповедей, полюемического произведения «Палинодия, или Книга обороны...» (1621—1622), направленных против католицизма и унии.
41. *Смотрицкий Мелетий* (Максим; около 1578—1633) — украинский писатель-полюемист, филолог, церковный деятель, просветитель. Родился в с. Смотричи (теперь Дунаевецкого р-на Хмельницкой обл.) в семье писателя и педагога Г. Д. Смотрицкого. В 1610 г. в Вильно напечатал (под псевдонимом Тимофей Ортолог) богословско-полюемический трактат «Плач», в 1619 г.— «Грамматику», которая неоднократно переиздавалась на Украине и в России. Выступал против попыток подчинения православной церкви униатской. После посещения Рима Смотрицкий в 1627 г. принял унию.
42. Имеется в виду кальвинизм — протестантское вероучение, возникшее в XVI в. в процессе реформации. Основатель — Жан Кальвин (1509—1564). В основе кальвинизма лежат две доктрины — идея абсолютного предопределения и идея божественного невмешательства в закономерность мира. Кальвинизм отстаивал «дешевую церковь», «мирской аскетизм». Из Женевы — родины кальвинизма — распространился в Англии, Шотландии, Нидерландах, некоторых областях Германии, Франции, Венгрии, Польши.
43. *Острожская школа* — греко-славяно-латинская коллегия, первая украинская школа высшего типа. Основана около 1576 г. князем К. К. Острожским. Первым ректором школы был Г. Смотрицкий. При школе действовали типография и научно-литературный кружок, издававшие учебники, церковную литературу, памятники греко-византийской письменности, антикатолические полюемические произведения Г. Смотрицкого, В. Суражского, Х. Филалета и др. Печатание книг в Остроге длилось с перерывами по 1612 г.
44. *Поцей (Потий) Адам Львович* (1541—1613) — униатский митрополит (1600—1613), один из основателей униатской церкви на Украине. Родился в с. Рожанка в семье богатого украинского шляхтича. Учился в кальвинистской школе и Краковской академии. Находясь на службе у князя Радзивилла, перешел в кальвинизм, в 1574 г. возвратился в православие. В 1580 г. стал земским судьей в Бресте, в 1589 г.— сенатором и брестским кастеляном. В 1594 г. принял иночество под именем Ипатия. Годом раньше при содействии К. Острожского был назначен владимирским и брестским православным епископом. В 1595 г. совместно с К. Терлецким вел переговоры с польским королем Сигизмундом III и римским папой об унии. Принимал участие в Брестском церковном соборе 1596 г. Став киевским митрополитом (1600—1613), активно насаждал униатство. Написал в защиту унии ряд трактатов («Апология Флорентийского собора», «Гармония, или Согласие веры»), ряд писем и статей.
45. Речь идет о первых крупных антифеодальных крестьянско-казацких восстаниях на Украине: в 1591—1593 гг. под руководством гетмана украинского казачества Кристофа Косинского (?—1593); в 1594—1596 гг. под руководством Северина Наливайко (?—1597) и гетмана запорожских казаков Григория Лободы (?—1596).
46. *Реестровые казаки* — часть украинских казаков, взятых польско-шляхетским правительством на военную государственную службу. Эти казаки записывались в специальные реестры (списки), от чего и получили название. Впервые предложение нанять часть украинских казаков

на государственную службу выдвигалось в 1524 г. при Сигизмунде I. После Люблинской унии 1569 г. по приказу польского короля Сигизмунда II Августа коронный гетман Ю. Язловецкий в 1572 г. принял 300 казаков на военную службу. Первым старшим (позже — гетманом) был польский шляхтич Я. Бадовский. С этого времени польско-шляхетское правительство начало официально признавать казаками только реестровых казаков. В 1578 г. польский король Стефан Баторий сформировал реестровое войско (600 человек) для защиты границ. В 1583 г. правительство набрало отряд реестровых казаков в количестве 600, в 1590 г. — 1000 человек. Во время крестьянских восстаний 1591—1593 гг. постановлением сейма казачество было ликвидировано, но в 1599 г. началось составление нового реестра. В первой половине XVII в. количественный состав реестровых казаков не был постоянным (см. прим. 26 и 29).

47. *Мнишек Ежи* (Юрий; ?—1613) — воевода сандомирский с 1590 г. Оказал вооруженную помощь Лжедмитрию I в походе на Москву. После занятия Лжедмитрием трона выдал за него свою дочь Марию (1606). После убийства Лжедмитрия I склонил Марию признать мужем Лжедмитрия II (1608). В 1611 г. на сейме подвергся публичному осуждению.
48. *Язловецкий Николай* (около 1550—1594) — снятинский староста с 1576 г., участник войн с татарами и валахами, сторонник короля Стефана Батория. В 1587 г. поддержал кандидатуру на польский престол Максимилиана, а затем перешел на сторону Сигизмунда III Вазы. В 1594 г. организовал поход казаков на Крым, который закончился неудачно.
49. *Рудольф II* (1552—1612) — император Священной Римской империи с 1576 г., австрийский эрцгерцог (в его руках находились Верхняя и Нижняя Австрия, чешский и венгерский престол). Проводил политику жесткой католической реакции. В ходе междоусобной борьбы с братом Матвеем и под давлением местного дворянства Рудольф II, уже будучи душевнобольным, вынужден был в 1608 г. уступить Матвеем Верхнюю и Нижнюю Австрию, Венгрию и Моравию, а в 1611 г. отречься в его пользу и от чешского престола.
50. *Лассота (Ляссота) Эрих* (около 1550—1616) — австрийский дипломат. Родился в Силезии в шляхетской семье. Учился в Лейпцигском и Падуанском университетах. Был наемником в испанском войске (1579—1584), затем служил германскому императору. В 1594 г. по поручению Рудольфа II выехал в Запорожскую Сечь, чтобы пригласить казаков на императорскую службу для участия в войне с турками. Оставил дневник, охватывающий события 1573—1594 гг. (Издан на немецком языке в Галле в 1854 и 1866 гг., частично на русском языке в Петербурге в 1873 г.)
51. *Жолкевский Станислав* (1547—1620) — коронный польный гетман с 1588 г., великий коронный гетман с 1613 г., канцлер с 1617 г. Проводил политику магнатской олигархии. Возглавлял борьбу против крестьянско-казацкого восстания С. Наливайко. Принимал участие в Хотинской войне 1620—1621 гг. Погиб в битве под Цецорой.
52. *Наливайко Демьян* (? — 1627) — украинский церковный деятель, писатель. Окончил Острожскую школу. Принимал участие в восстании 1594—1596 гг. После подавления восстания был священником в Остроге, входил в кружок преподавателей Острожской школы, выступавших против католицизма и униев. Автор «Лекций словенских Златоустого...», стихов и предисловий к переводам.
53. *Бельский Иоахим* (около 1540—1599) — польский хронист, сын польского историка и писателя Марцина Бельского (1495—1575), автора первых исторических произведений, написанных на польском языке. Иоахим Бельский переделал и дополнил материалы отца, создав «Хронику Польши», где довел изложение исторических событий до 1597 г. В этой

- работе широко использованы исторические источники, в том числе древнерусские летописи, сообщения иностранцев об Украине.
54. Имеется в виду Иоахим Бельский.
 55. Видимо, речь идет о Яне Карле Ходкевиче (1560—1621) — полном гетмане литовском (с 1600 г.), великом гетмане литовском (с 1605 г.), виленском воеводе (с 1616 г.).
 56. *Триденгинский (Тридентский) собор* — вселенский собор католической церкви, заседавший в городах Тридент (1545—1547, 1551—1552, 1562—1563) и Болонья (1547—1549). Определил доктрину и церковную политику католицизма эпохи контрреформации. Был создан в связи с успехами реформации по настоянию многих прелатов и императора Карла V; открыт римским папой Павлом III.
 57. *Зизаний Стефан* (около 1570 — не позднее 1621) — украинский писатель-полемист, педагог. Родился в Галичине. В 1586 г. начал духовно-учебную деятельность во Львове, заняв заметное место в братской школе, некоторое время был ее ректором. За разоблачение духовных и светских феодалов, католицизма и униатов преследовался польско-шляхетскими властями. В 1593 г. как активный борец против униатов Зизаний был призван в Вильно, где был проповедником и учителем братской школы. Униатский митрополит М. Рагоза добился осуждения Зизания как еретика (январь 1596). По просьбе Зизания Брестский собор (октябрь 1596) восстановил его в правах. С. Зизаний — автор православного «Катехизиса» (Вильно, 1595), «Науки к читаню и розумную писма словенского...», «Казанья святого Кирилла патриархи иерусалимского...» и др.
 58. Видимо, Н. И. Костомаров имеет в виду сборник «Кирилова книга» (Гродно, 1786, 1791), представляющий собой перепечатку московского издания «Книга Кирилова» (1644), в котором помещено сочинение С. Зизания «Казанье святого Кирилла патриархи иерусалимского...».
 59. *Копыстенский Михаил* — перемышльский епископ. В 1594 г. открыто выступил с заявлением о планах принять унию.
 60. *Тур Никифор* (?—1599) — украинский антиуниатский церковный деятель, архимандрит Киево-Печерской лавры (1593—1599). Был участником Брестского собора, на котором выступал против церковной унии. Вооружив монахов и монастырских крестьян, отразил в 1596 и 1598 гг. попытки униатов овладеть Киево-Печерской лаврой.
 61. *Рогатинец Юрий* (? — около 1608) — ремесленник-седельник, один из двенадцати фундаторов и руководителей львовского братства. В 1596 г. принимал участие в православном Брестском соборе. Возможно, автор «Перестороги» (см. прим. 63) и ряда писем.
 62. «*Палинодия, или Книга обороны*» — памфлет против Брестской унии 1596 г. Написана в Киеве около 1622 г. Захарией Копыстенским (см. прим. 40) в ответ на трактат униатского церковного писателя Л. Кривы «Оборона унии». В «Палинодии» критически использованы произведения античных, византийских, западноевропейских историков, церковно-историческая литература, польские хроники, древнерусские летописи и современная автору антиуниатская публицистика. Рукописные списки «Палинодии» были распространены на Украине, в Белоруссии и в России.
 63. «*Пересторога*» — антиуниатское публицистическое анонимное сочинение, авторство которого приписывается украинскому церковному деятелю И. Борецкому или Ю. Рогатинцу (см. прим. 61). Написано в 1605 или в начале 1606 г. под влиянием сочинений И. Вышенского (см. прим. 39) и других полемических произведений. «Пересторога» является образцом украинской полемической литературы начала XVII в.
 64. Имеется в виду «Апокрисис» — полемическое сочинение XVI в., изданное в Остроге на польском (1597) и староукраинском (1598) языках.

Считается, что сочинение написал Мартин Броневский (искаженно — Христофор Бронский), живший во второй половине XVI — начале XVII в. Броневский носил титул королевского секретаря, в 1598 г. был послом на сейм от Киевины. «Апокрисис» имел большую популярность, был толчком к развитию полемической литературы.

Князь Владимир Святой

В начале 1873 г. Н. И. Костомаров приступил к созданию «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». В том же году был напечатан первый выпуск, открывавшийся очерком «Князь Владимир Святой». Первые три выпуска составили первый том «Русской истории в жизнеописаниях...» (СПб., 1879, 1886, 1896, 1903, 1913). Очерк дважды печатался в переводе на украинский язык («Історія України в життєписах визначних її діячів». Львів, 1876, 1918). В наши дни был опубликован в «Українському історичному журналі» (1988. № 6). Печатается по изданию 1896 г.

Киевский князь Ярослав Владимирович

Очерк написан и впервые опубликован в 1873 г. в первом выпуске «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Во всех последующих изданиях печатался в первом томе «Русской истории в жизнеописаниях...» Дважды (1876 и 1918) издавался в переводе на украинский язык. Печатается по изданию 1896 г.

1. *Иларион* (середина XI в.) — митрополит киевский (1051—1054), оратор и писатель, церковно-политический деятель. До избрания митрополитом был священником в княжеском селе Берестово возле Киева. Был единомышленником и помощником Ярослава в его борьбе за политическую и идеологическую независимость от Византии. Иларион — автор «Слова о законе и благодати», написанного между 1037 и 1050 гг. Основной идейно-политического содержания «Слова» является апология Русской земли, влившейся после принятия христианства в семью европейских народов в качестве равноправного члена. Акад. Д. С. Лихачев высказал предположение о том, что Иларион был автором и «Сказания о распространении христианства на Руси». Дальнейшая судьба Илариона неизвестна, но под 1055 г. уже упоминается новый митрополит — Ефрем. Видимо, после смерти Ярослава в 1054 г. Иларион был смещен с поста главы церкви и заменен митрополитом-греком, присланным константинопольским патриархом.

Князь Владимир Мономах

Очерк написан и опубликован в 1873 г. в первом выпуске «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». В последующих изданиях вошел в первый том «Русской истории в жизнеописаниях...» В 1876 и 1918 гг. был издан в переводе на украинский язык. Публикуется по изданию 1896 г.

1. *Полоцкая земля, Полоцкое княжество* — древнерусское княжество, возникшее в X в. на базе племенного объединения полочан с центром в Полоцке. В середине XIII в. попало в зависимость от литовских князей.
2. Имеется в виду Переяславское княжество, возникшее в середине XI в. Составляло наследство сына Ярослава Мудрого Всеволода. Занимало территорию по левых притоках Днепра — Суле, Супос, Пле, Ворскле. На западе граничило с Киевским княжеством, на севере — с Черниговским, на востоке и юге — с Диким полем.
3. Любечский съезд князей Киевской Руси состоялся в 1097 г. в г. Лю-

бече (ныне Репкинского р-на Черниговской обл.). На съезде речь шла о прекращении междоусобиц и объединении усилий для борьбы против половцев. Участниками съезда были великий киевский князь Святополк Изяславич, переяславский князь Владимир Мономах, смоленский князь Давид Святославич, черниговский князь Олег Святославич, владимирово-волинский князь Давид Игоревич, теребовльский князь Василько Ростиславич. Хотя князья провозгласили принцип «каждо да держит отчину свою», Любечский съезд не прекратил их междоусобиц.

4. Витичевский съезд князей Киевской Руси (1100) обсуждал вопрос о прекращении княжеских междоусобиц и мобилизации сил для борьбы против половцев. Князя Давида Игоревича, который нарушал перемирие, принятое на Любечском съезде, Витичевский съезд лишил владимирово-волинского княжения.
5. Долобский съезд князей Киевской Руси состоялся весной 1103 г. возле Долобского озера (есть предположение, что Долобским называли озеро на Трухановом острове напротив Киева). Участниками съезда были великий князь киевский Святополк Изяславич и переяславский князь Владимир Мономах со своими войсковыми дружинами. На Долобском съезде обсуждалась подготовка к совместному походу на половцев. Поход окончился победой русских войск над половцами.
6. *Сильвестр* (?—1123) — древнерусский летописец, церковный деятель, игумен Выдубецкого монастыря. С 1118 г. — епископ переяславский. Сильвестра считают составителем второй, так называемой Лаврентьевской редакции (Переяславского свода) «Повести временных лет», которую после Нестора он переделал и пополнил, доведя изложение событий до 1116 г.
7. *Амартол Григорий* — византийский хронист IX в. Автор «Хроники всемирной истории», послужившей одним из источников начальной части «Повести временных лет».
8. *Малала Иоанн* (около 491—574) — византийский историк. Автор «Всемирной хроники» (18 книг), которая начинается с легендарной истории египтян и доведена до 563 г. Хроника использовалась древнерусскими летописцами, была переведена на древнеславянский язык.

Князь Данило Романович Галицкий

Очерк написан и впервые опубликован в 1873 г. в первом выпуске «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». В последующих изданиях помещался в первом томе «Русской истории в жизнеописаниях...» Дважды (1876 и 1918) печатался во Львове на украинском языке. Печатается по изданию 1896 г.

1. Видимо, речь идет о венгерском короле Беле III (?—1196), который, воспользовавшись конфликтом между галицким князем и боярами, в 1188 г. захватил Галицкую землю, но вскоре был изгнан населением Галичины.
2. *Лешко Белый*; около 1186—1227) — князь сандомирский (с 1194) и краковский (1194—1198, 1201—1202). В 1214 г. подписал соглашение с венгерским королем Андреем II, по которому королевич Коломан, женившийся на дочери Лешко, был провозглашен королем Галичины.
3. *Андрей II* (Андраш II, Ендре II; 1175—1235) — венгерский король (1205—1235). После смерти Романа Мстиславича (1205) пытался захватить власть в Галицко-Волинском княжестве, принял титул короля Галичины и Володимирии. Стремился посадить на галицкий престол своих сыновей Коломана и Андрея.
4. *Бела IV* (1206—1270) — венгерский король (1235—1270), сын и сопра-

витель Андрея II. В 1245 г. совместно со своим зятем Ростиславом Михайловичем (сыном черниговского князя) и польскими феодалами сделал попытку захватить Галич. В августе 1245 г. венгерско-польские силы были разгромлены русским войском во главе с Даниилом Романовичем на р. Сан. В 1246—1264 гг. поддерживал союз с Даниилом Романовичем.

5. Господи, помилуй (греч.).
6. *Миндовг* (?—1263) — великий князь литовский (с 30-х годов XIII в.). На протяжении 1230—1240 гг. объединил под своей властью большую часть литовских земель. Подписал союз с Галицко-Волынским княжеством. Около 1253 г. этот союз был скреплен помолвкой сына Даниила Галицкого Шварна с дочерью Миндовга.

Иван Свирговский, украинский казацкий гетман XVI века

Очерк был написан во время пребывания Н. И. Костомарова в ссылке в Саратове на основании летописей и литературы. Впервые был напечатан в журнале «Москвитянин» (1855, кн. 19—20). Впоследствии публиковался во втором томе «Собрания сочинений Н. И. Костомарова. Исторические монографии и исследования» (изд. Кожанчикова; СПб., 1863, 1872) и других изданиях. Печатается по изданию 1903 г.

1. *Сырокомля Владислав* (наст. фамилия Кондратович Людвиг Владислав; 1823—1862) — польский поэт. Родился в Смолаве Бобруйского уезда Минской губернии в семье шляхтича, потомка старинной литовской фамилии. Учился в Несвижской школе доминиканцев. После ее закрытия в 1835 г. перешел в Новогрудскую светскую школу. Активно занимался самообразованием. В 1861 г. за участие в патриотических демонстрациях был заключен в тюрьму.
2. *Ивон* (Иван Лютый; ?—1574) — молдавский господарь (1571—1574). В молодости некоторое время жил в России. Став господарем, добивался усиления центральной власти. В 1574 г. начал вооруженную войну против турецкого гнета с помощью отряда запорожских казаков во главе с гетманом Свирговским. Разгромив турецкие силы, молдавско-казацкие отряды вступили на территорию Валахии и заняли Бухарест. Измена бояр привела к поражению молдавско-казацкого войска, а Иван Лютый был убит.
3. *Пасторий Иоахим* (наст. фамилия Гиртенберг; 1611—1681) — польский историк. Родился в Глогуве (ныне ПНР). По происхождению немец. Служил врачом и учителем в домах украинских шляхтичей на Волыни. Позже — секретарь и придворный историограф польского короля. В работе «Скифско-казацкая война» (1652; последующие издания — 1680 и 1685) односторонне освещал историю освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг.
4. *Ян II Казимир* (1609—1672) — польский король (1648—1668) из династии Ваза. Родился в Кракове, сын Сигизмунда III. Активно способствовал подавлению освободительного движения украинского народа 1648—1654 гг.
5. *Вишневецкий Димитрий Иванович* (?—1563) — украинский магнат, князь. В 50-е годы был черкасским и каневским старостой. Имел отряд надворных казаков, во главе которого принимал участие в борьбе против турецко-татарской агрессии. Около 1554—1555 гг. построил на острове Малая Хортица замок. В 1558—1561 гг. находился на русской службе. В борьбе за молдавский трон потерпел поражение, попал в плен и по приказанию султана был казнен в Стамбуле.
6. *Александр Добрый* (?—1432) — молдавский господарь с 1400 г. Содействовал укреплению независимости Молдавского государства и созданию его

- войска, финансов, судопроизводства. В 1422 г. оказал военную помощь Польше в битве с тевтонскими рыцарями под Мариенбургом.
7. *Богдан II* (?—1451) — молдавский господарь (1449—1451) из династии Мушатинов, отец Стефана Великого. Убит своим братом Петром Ароном, захватившим молдавский престол.
 8. Видимо, речь идет о Яне Фирлее (около 1521—1574), который был великим коронным маршалком с 1563 г., воеводой и старостой краковским с 1572 г.; сторонник кальвинизма.
 9. *Конисский Георгий* (1717—1795) — украинский писатель, церковный и культурный деятель. Образование получил в Киевской академии (1728—1743), где впоследствии преподавал пиитику, риторiku, философию, а с 1751 г. был ее ректором. С 1755 г. — белорусский епископ, с 1783 — архиепископ. Боролся против католицизма и унии. В 1757 г. основал Могилевскую семинарию. Автор драмы «Воскресение мертвых», стихотворений, курса пиитики. Конисскому ошибочно приписывалось авторство «Истории Руссов».
 10. *Грабянка Григорий Иванович* (? — около 1738) — украинский казацкий летописец, гадячский полковник (с 1729). Автор исторического произведения летописного характера «Действия презельной и от начала поляков крвавшей небывалой брани Богдана Хмельницкого, гетмана Запорожского с поляки...», являющегося попыткой изложения истории Украины с древнейших времен по 1709 г. Основное внимание в сочинении сосредоточено на истории казачества и освободительной войны украинского народа 1648—1654 гг.
 11. *Ригельман Александр Иванович* (1720—1789) — русский историк, военный инженер, топограф, генерал-майор. Происходил из немецкой дворянской семьи, переселившейся в 30-е годы XVIII в. в Россию. В 1741—1743 гг. в связи с размежеванием русско-турецкой границы был в Запорожской Сечи. Принимал участие в русско-турецких войнах 1735—1739, 1768—1774 гг., в строительстве укрепленных линий на юге Украины. После отставки в 1782 г. жил в своем имении Андреевка (ныне село Черниговского р-на Черниговской обл.), где в 1785—1786 гг. окончил «Летописное повествование о Малой России, ее народе и казаках вообще...»
 12. *Самовидец* — анонимный автор казацко-старшинской летописи XVII в., охватывающей события на Украине от 1648 до 1702 г. Имеется предположение, что им был Р. Ракушка-Романовский — генеральный подскарбий при гетмане И. Брюховецком.
 13. *Миллер Всеволод Федорович* (1848—1913) — русский этнограф, археолог, языковед, фольклорист, академик Петербургской академии наук (с 1911). Родился в Москве. В 1870 г. окончил Московский университет. С 1884 г. — профессор в том же университете, в 1897—1911 гг. — директор Лазаревского института восточных языков. Издал три выпуска «Сборника материалов по этнографии». Изучал украинский фольклор.
 14. Ныне Белгород-Днестровский.

Киевский митрополит Петр Могила

Очерк написан и впервые опубликован в 1874 г. в четвертом выпуске «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». В последующих изданиях печатался во втором томе «Русской истории в жизнеописаниях...» Дважды (в 1876 и 1918) был опубликован на украинском языке. Печатается по изданию 1881 г.

1. *Сагайдачный Петр Кононович* (Конашевич-Сагайдачный; ?—1622) — гетман украинского реестрового казачества. Родился в Кульчицах (ныне

Самборского р-на Львовской обл.). Учился в Острожской школе. Затем ушел в Запорожскую Сечь. В начале XVII в. принимал участие в походах на Молдавию и Ливонию. Под руководством Сагайдачного казаки осуществили успешные походы против султанской Турции и Крымского ханства. Возглавляемое Сагайдачным 40-тысячное казацкое войско, присоединившееся к польской армии, сыграло решающую роль в разгроме турок в 1621 г. под Хотинном. На протяжении ряда лет Сагайдачный занимал компромиссную позицию по отношению к польско-шляхетскому правительству. С усилением польско-шляхетского гнета начал отходить от соглашательской политики. В 1620 г. снарядил посольство в Москву с просьбой принять казаков на русскую службу. При активном участии Сагайдачного, который со всем казацким войском вступил в Киевское братство, была восстановлена православная иерархия. Умер и похоронен в Киеве. Перед смертью завещал все свое имущество на просветительные и благотворительные цели.

2. *Борецкий Иов* (Иван Матвеевич; ?—1631) — украинский церковный, политический и культурный деятель. Учился во Львовской братской школе, затем за границей. Был учителем этой школы, затем ее ректором (1604—1605). С 1610 г. — священник в Киеве, где открыл приходскую школу. Был одним из организаторов Киевской братской школы (1615) и ее первым ректором. С 1620 г. — киевский православный митрополит. Автор полемического произведения «Протестация». Есть предположение, что он был автором «Перестороги» (см. прим. к работе «Южная Русь в конце XVI века»).
3. *Сакович Кассиан* (около 1578—1647) — украинский писатель, культурный деятель, философ. В 1620—1624 гг. — преподаватель и ректор Киевской братской школы. Написал в 1621 г. «Верше на жалосный погреб зацного рыцера Петра Конашевича-Сагайдачного, гетмана войска... Запорожского». Автор философского трактата «Аристотелевы проблемы» (1625).
4. *Копинский Исая* (?—1640) — украинский церковный деятель. Был игуменом Киево-Братского монастыря и одним из организаторов Киевской братской школы. В 20-х годах XVII в. занимал епископские должности в Перемышле, Смоленске, Чернигове. В 1631 г. был избран киевским митрополитом. В 1632 г. отстранен П. Могилой и посажен в тюрьму. После освобождения в 1635 г. выступал против засилья католицизма и унии на Украине.
5. *Беринда Памва* (50—70 годы XVI в. — 1632) — деятель украинской культуры, лексикограф и писатель. Работал как печатник и гравер в Стратине, Перемышле, Львове. С 1619 г. жил в Киеве. Был главным печатником и переводчиком Киево-Печерской лавры. Главный труд — «Лексикон славеноросский и имен толкование» (1627).
6. *Земка Тарасий Львович* (вторая половина XVI в. — 1632) — украинский церковный деятель, поэт и печатник. С 1624 г. заведовал типографией Киево-Печерской лавры, с 1631 — игумен Киево-Братского монастыря и ректор Киево-Могилянской коллегии.
7. *Гизель Иннокентий* (около 1600—1683) — украинский культурный и церковный деятель. Окончил Киево-Могилянскую коллегию (1640), учился за границей. С 1645 г. — профессор и ректор коллегии, с 1656 г. — архимандрит Киево-Печерской лавры.
8. *Владислав IV Ваза* (1595—1648) — король Польши (1632—1648). Сын Сигизмунда III. Во время польской и шведской интервенции в начале XVII в. был провозглашен частью русского дворянства царем, добивался русского престола во время русско-польских войн 1617—1618, 1632—1634 гг. Стремился использовать в этих войнах украинских ресторовых казаков.

Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий и их преемники

Написано и впервые опубликовано в 1874 г. в пятом выпуске «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». В последующих изданиях помещено во втором томе «Русской истории в жизнеописаниях...» Дважды (1876 и 1918) было опубликовано на украинском языке. Печатается по изданию 1881 г.

1. *Ртищев Федор Михайлович* (1626—1673) — русский государственный деятель. В 1645 г. начал службу при дворе стряпчим. С 1650 г. — постельничий, с 1656 — царский дворецкий. Руководил Государственной мастерской палатой, Приказом Большого дворца, а позднее — Приказом тайных дел. В 1664—1670 гг. — «дядька» (воспитатель) царевича Алексея Алексеевича. Входил в состав «Кружка ревнителей благочестия». Создал школу при Андреевском монастыре («Ртищевское братство»), пригласив преподавателями украинских ученых. Организовывал госпитали для раненых, создал первую больницу в Москве.
2. *Филарет* (до монашества — Романов Федор Никитич; около 1554—1633) — русский политический деятель, патриарх (с 1619). С этого времени был фактическим правителем государства.
3. Андреевский Преображенский мужской монастырь в Москве основан в 1648 г. Ф. М. Ртищевым, который учредил здесь из киевских монахов ученое братство (30 человек) для перевода с греческого языка священного писания и других церковных служебных книг. Настоятелем монастыря был Е. Славинецкий. В 1665 г. при монастыре было открыто училище, положившее начало Славяно-греко-латинской академии. Монастырь упразднен в 1764 г.
4. *Суханов Арсений* (?—1668) — русский церковный деятель, дипломат и писатель. В 1649—1650 гг. находился в Молдавии, Валахии и на Украине, где выполнял ряд ответственных дипломатических поручений.
5. По другим сведениям — Петровский-Ситнианович.
6. Заиконоспасский мужской 2-го класса ставропигиальный монастырь в Москве основан в 1660 г. князем Ф. Ф. Волконским под названием Старый Спас на Песках. Сюда патриарх Иоаким перевел из кремлевского Богоявленского монастыря греческую школу и из Андреевского монастыря — духовное училище. В совокупности они образовали Славяно-греко-латинскую академию, для которой было построено специальное здание.
7. Вероятно, здесь ошибка; следует читать: для наказания.
8. Речь идет о русском государственном деятеле, военачальнике и дипломате Ф. Л. Шакловитом (?—1689), который готовил заговор против Петра I и Нарышкиных, желая возвести на царский трон Софию Алексеевну. Шакловитый вместе со своими соратниками был выдан стрельцами Петру I и после допроса с применением пыток и подробного письменного объяснения казнен.
9. *Яворский Стефан* (в монашестве Симеон; 1658—1722) — украинский и русский церковный деятель, писатель-полемист. Родился в г. Яворов (ныне Львовской обл.). Учился в Киево-Могилянской коллегии, иезуитских школах Львова, Люблина, Познани и Вильно. Принял католичество. Около 1689 г. возвратился в Киев, снова перешел в православие. Был профессором Киево-Могилянской коллегии. С 1700 г. — митрополит рязанский и муромский. В 1702 г. назначен экзархом и блюстителем всероссийского патриаршего престола. Одновременно был президентом Славяно-греко-латинской академии в Москве. С 1721 г. — президент Синода.

Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий

Очерк написан и впервые опубликован в 1874 г. в четвертом выпуске «Русской истории в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». В последующих изданиях помещался во втором томе «Русской истории в жизнеописаниях...» Дважды (1876 и 1918) печатался на украинском языке. Публикуется по изданию 1881 г.

1. *Ольгерд* (Альгирдас; около 1296—1377) — великий князь литовский с 1345 г. Правил вместе с младшим братом Кейстутом (1297—1382). Вел борьбу против Тевтонского ордена, Золотой Орды, Польши. В Киеве посадил удельным князем своего сына Владимира. Расширил Литовское княжество за счет юго-западных и западных русских земель.
2. Имеется в виду Иван Свирговский.
3. Речь идет о Житомирской магнатской комиссии 1614 г., назначенной польско-шляхетским правительством для подавления освободительного крестьянско-казацкого движения на Украине. В ее составе были коронный гетман С. Жолкевский, князь Я. Острожский, Я. Заславский и каменецкий староста В. Казановский. 10 октября 1614 г. комиссия собралась в Житомире и объявила представителям реестровой старшины ординацию, которая фактически лишала реестровых казаков привилегий. Реестровцы отказались признать ординацию.
4. В ответ на репрессию польско-шляхетских войск в 1625 г. вспыхнуло крестьянско-казацкое восстание под руководством запорожского гетмана М. Жмайла. Когда польское войско 1 октября подошло к Каневу, казацкий гарнизон вышел из города и после боя с карательным отрядом под Мошнами отошел в Черкассы. Вместе с местными каневскими казаками гарнизон отступил к устью р. Цибульник, где собирались другие казацкие отряды. Вскоре сюда подошли запорожцы во главе с М. Жмайлом. После боя повстанцы отступили к Коруковому озеру. Вторичная попытка поляков разбить повстанцев у озера не имела успеха, и польский гетман С. Калиновский вынужден был начать переговоры, в результате которых часть казацкой старшины отстранила Жмайла от гетманства и подписала невыгодный для казаков Коруковский договор. Дальнейшая судьба Жмайла неизвестна.
5. *Дорошенко Михаил* (?—1628) — гетман реестровых казаков (1625—1626). Впервые упоминается в документах о Хотинской битве как казацкий полковник, сторонник П. Сагайдачного. Избранный вместо М. Жмайла гетманом, подписал Коруковский договор. По этому соглашению число реестровых казаков увеличилось до 6 тыс.; за казаками сохранялось право избрания гетмана с последующим утверждением его королем; польское правительство обязывалось выплачивать казакам ежегодно 60 тыс. злотых, кроме дополнительной платы для старшины; казаки могли пользоваться своими правами и вольностями только на королевских землях и обязаны были выселиться из имений духовенства и шляхты; казакам запрещалось совершать походы в турецкие владения и вступать в сношения с иноземными правительствами. По приказу польско-шляхетского правительства Дорошенко пытался захватить Запорожскую Сечь, но в результате вооруженного сопротивления отступил. Погиб во время осады Кафы (Феодосии).
6. *Черный Григорий* (?—1630) — гетман реестровых казаков (1628—1630). Принимал участие в походе казаков во главе с М. Дорошенко в Крым (1628). После избрания гетманом проводил соглашательскую политику с шляхетской Польшей. В начале восстания под руководством Федоровича в 1630 г. был казнен казаками.
7. Имеется в виду Федорович Тарас (Трясило) — гетман запорожских нереестровых казаков (с 1629). В 1629 г. руководил крестьянско-казац-

- ким восстанием на Приднепровье. После поражения польско-шляхетского войска в Корсунской битве 1630 г. повстанцы овладели Корсуном, Каневом, Переяславом и другими городами. Бои под Переяславом длились около трех недель, после чего Станислав Конецпольский был вынужден пойти на частичные уступки казакам. По Переяславскому соглашению число реестровых казаков было увеличено с 6 до 8 тыс.; за реестровым казачеством сохранялись его привилегии. После подписания соглашения Федорович с казаками ушел в Запорожскую Сечь. На казацкой раде в Каневе зимой 1634—1635 гг. призывал к восстанию против шляхетской Польши. Затем с частью казаков ушел на Дон.
8. *Сулима Иван Михайлович* (?—1635) — гетман нереестровых казаков. Родился в с. Рогощи (ныне Черниговского р-на Черниговской обл.). Принимал участие в казацких походах против турок и крымских татар. Впервые упоминается как казацкий гетман в 1628 г.
 9. *Барабаш Иван* (?—1648) — войсковой асаул реестрового казацкого войска. Принадлежал к соглашательской части старшинской верхушки. Весной 1648 г. возглавлял отряд реестровых казаков, посланный польским гетманом М. Потоцким для подавления восстания в Запорожской Сечи. В ходе восстания казаки казнили Барабаша и других изменников и присоединились у Желтых Вод к войску Б. Хмельницкого.
 10. *Скидан Карп Павлович* (?—1638) — полковник запорожских нереестровых казаков. Принимал участие в крестьянско-казацких восстаниях под руководством Павлюка, Остриянина. Во время Жовнинского сражения 1638 г. собирал подкрепления в Черкассах. Двинувшись к Жовнину на помощь восставшему войску Д. Гуни, Скидан в бою против польско-шляхетского войска был ранен. Его захватили в плен и, по-видимому, казнили.
 11. Бой под Кумейками между украинским крестьянско-казацким повстанческим войском и польской армией произошел в декабре 1637 г. и окончился поражением восставших. Уцелевшие повстанцы во главе с Д. Гуней отступили к Боровице, где и прекратили неравный бой. Поляки захватили Павлюка и его помощников и казнили их в Варшаве. Добившись победы, польный гетман Николай Потоцкий потребовал от казачества письменное обязательство впредь не вести борьбы против Польши и полностью подчиниться польским властям.
 12. *Караимович Ильяш* (Ильян; ?—1648) — войсковой асаул реестрового войска, сторонник шляхетской Польши. В апреле 1648 г. вместе с И. Барабашом возглавлял реестровое войско, которое направлялось к Кодаку для соединения с поляками. Казнен восставшими реестровыми казаками под Желтыми Водами.
 13. *Кречовский (Кричевский) Михаил* (Станислав; ?—1649) — сподвижник Б. Хмельницкого. С 1643 г. занимал должность переяславского реестрового полковника. В 1647 г. взял на поруки арестованного Б. Хмельницкого и спас его от расправы, которую готовил коронный подचाший А. Конецпольский. Во время Желтоводской битвы попал в плен к татарам. Был выкуплен Хмельницким, перешел в православие и стал киевским полковником. В битве под Лоевом был тяжело ранен, попал в плен, где и умер.
 14. *Ислам-Гирей III* (1604—1654) — крымский хан (1644—1654). Проводил агрессивную политику в отношении Украины, России и Польши. В 1648 г. вступил в военный союз с Б. Хмельницким, однако в сражениях с польской шляхтой под Зборовом (1649) и Жванцем (1653) изменял ему. После решения Земского собора 1653 г. о принятии Украины в состав России Б. Хмельницкий разорвал союз с Ислам-Гиреем.
 15. *Калиновский Мартин* (?—1652) — польский военный деятель, магнат. С 1635 г. — черниговский воевода, с 1646 г. — польный гетман. В Кор-

- сунской битве 1648 г. попал в плен и был отдан татарам. Уплатив большой выкуп, в 1650 г. возвратился в Польшу. Продолжал борьбу против крестьянско-казацких войск. Погиб во время Батогской битвы.
16. *Вишневецкий Иеремия* (1612—1651) — польский магнат. Происходил из украинского княжеского рода, сын киевского кастеляна М. Вишневецкого. Владел огромными имениями, в частности на Левобережной Украине. Имел 6 тыс. надворного войска. В 1631 г. отступил от православия и принял католицизм. С началом освободительной войны бежал на Правобережье, где проводил жестокие экзекуции украинского населения. В сражениях под Махновкой, Пяткой и Староконстантиновым надворные казаки были разбиты повстанцами, возглавляемыми М. Кривоносом. После поражения под Пилявцами Вишневецкий бежал во Львов. Летом 1649 г. получил звание коронного гетмана. Возглавлял магнатские круги, которые требовали беспощадной расправы с повстанцами и восстановления шляхетского господства на Украине.
 17. *Заславский Владислав-Доминик* (не позднее 1617—1656) — польский магнат, князь. Происходил из ополяченной украинской семьи. Луцкий староста, с 1636 г. — коронный конюший, сандомирский (с 1645) и краковский (с 1649) воевода. Во время освободительной войны 1648—1654 гг. был главным из трех командующих войсками Речи Посполитой. После поражения под Пилявцами сейм уволил Заславского с этой должности.
 18. *Конецпольский Александр* (1620—1659) — польский магнат. С 1641 г. — великий коронный хорунжий, с 1656 г. — сандомирский воевода. Во время освободительной войны 1648—1654 гг. был одним из трех (вместе с В.-Д. Заславским и Н. Остророгом) командующих польско-шляхетскими войсками.
 19. *Остророг Николай* (?—1651) — польский магнат. С 1636 г. находился на коронной службе. Во время освободительной войны 1648—1654 гг. был одним из трех командующих войсками Речи Посполитой. Участник Пилявецкой битвы 1648 г., Збаражской осады 1649 г.
 20. *Косов Сильвестр* (?—1657) — украинский церковный деятель, писатель. С 1647 г. — киевский митрополит. Выступал против воссоединения Украины с Россией. Одновременно был противником Брестской унии 1596 г. Автор богословско-полемических произведений.
 21. *Черный шлях* — стратегический путь, которым пользовались крымские татары для нападений на Правобережную и Западную Украину и Польшу в XVI—XVII вв. Начинаясь от Перекопа, пересекал низовье Днепра, проходил между верховьями Ингульца, Тясмина и Роси по направлению к Умани и Тернополю до Львова.
 22. *Подобайло (Пободайло) Стефан* — черниговский полковник с 1651 г. До освободительной войны 1648—1654 г. служил драгуном в польско-шляхетском войске. В 1648 г. перешел на сторону восставших. В 1651—1652 гг. руководил обороной Левобережной Украины. После 1655 г. не упоминается.
 23. *Лупу (Лунула) Василий* (?—1661) — господарь Молдавии (1634—1653). В результате молдавских походов Б. Хмельницкого 1650 и 1652 гг. подписал с гетманской администрацией Украины договор, скрепленный женитьбой Тимофея Хмельницкого на дочери Лупу. При Лупу в Яссах была открыта Славяно-греко-латинская академия (1640).
 24. *Небаба Мартин* (?—1651) — черниговский полковник (1648—1651). Участник освободительной войны 1648—1654 гг. В 1651 г. руководил обороной Чернигово-Сиверщины от нападений польско-литовских войск. Погиб в бою.
 25. *Жданович Антон* — украинский казацкий полковник. Во время освободительной войны 1648—1654 гг. командовал походами казаков на Польшу и Литву, возглавлял посольство в Турцию (1650) и Польшу

(1653). После смерти Б. Хмельницкого перешел на сторону И. Выговского.

26. *Мозыра Лукиян* (Лукаш; ?—1652) — корсунский полковник. Участник освободительной войны 1648—1654 гг. Возглавил выступление казаков против Белоцерковского договора 1651 г. После подавления выступления казнен.
27. *Гладкий Матвей* (?—1652) — миргородский полковник, участник освободительной войны 1648—1654 гг. Принимал участие в битвах под Корсунем, Пилявцами и Збаражем. В Берестецкой битве 1651 г. исполнял обязанности гетмана. После подписания Белоцерковского договора 1651 г. противодействовал вступлению польско-шляхетских войск на Левобережную Украину. Казнен.

Павел Полуботок

Очерк написан и впервые опубликован в журнале «Русская старина» (т. XV, кн. 3), затем помещался в т. 14 «Исторических монографий...» Публикуется по «Собранию сочинений» (СПб., 1905, кн. 5).

1. Речь идет о Самойловиче Иване Самойловиче (?—1690) — гетмане Левобережной Украины (1672—1687).
2. *Апостол Даниил Павлович* (1654—1734) — миргородский полковник (1683—1727), гетман Левобережной Украины (1727—1734).
3. Видимо, речь идет о Лизогубе Ефиме Яковлевиче (?—1704), который был черниговским полковником в 1698—1704 гг.
4. *Просительные пункты, Решетиловские статьи 1709 г.* — законодательный акт царского правительства по управлению Левобережной Украиной. Он состоит из 14 пунктов просительных статей гетмана И. Скоропадского, с которыми он обратился 17 июля 1709 г. в Решетиловке к Петру I, и ответов царского правительства на эти пункты. Решетиловские статьи усиливали зависимость гетманского управления от царского правительства. По этим статьям казацкое войско подчинялось русскому командованию, у казацкого войска была отобрана часть артиллерии. В ряде городов Украины размещались русские гарнизоны.
5. *Малороссийская коллегия* — центральный орган государственного управления Российского государства по делам Левобережной Украины. Создана в мае 1722 г. Действовала в составе президента коллегии (бригадира Вельяминова), шести офицеров из русских полков, размещенных на Украине, и прокурора (всех назначал царь). По гражданским делам коллегия подчинялась Сенату, по военным — главнокомандующему русскими войсками на Украине. Гетман был лишен права издавать универсалы. Воспользовавшись смертью Скоропадского, царское правительство запретило избрание гетмана, а Малороссийская коллегия увеличила налоги с населения.
6. Здесь и далее сокращения слов «Ваше Императорское Величество».

Автобиография

Публикуется по изданию: «Автобиография Н. И. Костомарова. Под редакцией В. Котельникова» (М., 1922), выпущенному в серии «Библиотека мемуаров».

Автобиография была продиктована Н. И. Костомаровым жене Алине Леонтьевне летом 1875 г. во время пребывания в ее имении в с. Дедовцы (ныне Прилукского р-на Черниговской обл.). В летние месяцы 1876 и 1877 гг. этот текст был пополнен заметками о посещении Валаама и Нарвы. В последующие годы были сделаны лишь некоторые дополнения и исправления. В 1881 г. перед

поездкой на Кавказ Н. И. Костомаров сделал еще несколько поправок и, написав собственноручно на первом листе посвящение, больше к автобиографии не прикасался. Впервые она была напечатана в сокращенном виде (опущены главы 4, 8 и 9, сделаны купюры и в других главах) в 1890 г. в «Литературном наследии». Глава 4 впервые опубликована в 1910 г. в апрельском номере «Вестника Европы». В том же году в юбилейном сборнике «Литературного фонда» была помещена глава 9; глава 8 увидела свет в 1917 г. в журнале «Голос минувшего» (№№ 5—6). Существует еще один вариант «Автобиографии», записанный Н. А. Белозерской со слов Н. И. Костомарова («Русская мысль», 1885, № 5—6), однако он не был просмотрен Н. И. Костомаровым и по этой причине не может служить объективным источником.

1. *Иеремия Галка* — литературный псевдоним Н. И. Костомарова. Посвящение приводится в авторском написании.
2. *Кисель Адам Григорьевич* (1580—1653) — украинский магнат, черниговский кастелян (с 1639), сенатор (с 1641), киевский кастелян, брацлавский (с 1646), киевский (с 1651) воевода. Принимал участие в подавлении восстания 1637 г. под руководством Павлюка. Вел переговоры под Боровицей (вблизи Черкасс) с повстанцами. В период освободительной войны 1648—1654 гг. занимал изменническую позицию по отношению к украинскому народу.
3. *Белгородская (Белгородская) черта* — оборонительная линия для защиты южных границ Русского государства от набегов крымских и ногайских татар в конце XVI—XVII вв. Начинаясь в Ахтырке, шла по направлению к Белгороду (отсюда и название), Острогжску, Воронежу до Тамбова, пересекая Муравский и Изюмский пути. В 30-х годах XVII в. была возобновлена старая засечная черта за р. Окой и построено 10 новых городов. В начале 40-х годов по Белгородской линии было построено еще 18 городов (Усмань, Коротояк, Новый Оскол, Вольный, Хотмышск, Карпов, Обоянь и др.) и создано два укрепленных района в Комарицкой волости под Севском и в Лебедевском уезде. К концу 40-х годов строительство Белгородской черты в основном завершилось. К тому времени в ее городах насчитывалось более 10 тыс. служилых людей. В 1648—1654 гг. оборонительная линия была продолжена до Симбирска и Сызрани. С продвижением границ России на юг к концу XVII в. Белгородская черта потеряла свое значение.
4. *Острянин (Остранин) Яков* (Остряница; ? — 1641) — один из руководителей крестьянско-казацких восстаний 1638 г. Впервые упоминается в документах как полковник реестровых казаков. После поражения восстания 1637 г. под руководством Павлюка Острянин прибыл на Запорожье, где был избран гетманом нереестровых казаков. Весной 1638 г. возглавил крестьянско-казацкое восстание. Потерпев поражение в июне 1638 г. от польско-шляхетского войска под Жовнином, Острянин с частью повстанцев отступил на Слободскую Украину и расположился возле Чугуева. Принимал участие в борьбе с набегам татар.
5. *Дзинковский Иван* (? — 1670) — острожский полковник (1652—1670), руководитель крестьянско-казацкого восстания на Слободской Украине 1670 г.
6. *Острогжский (Рыбинский) полк* — административно-территориальная единица Слободской Украины. Основан в 1652 г. крестьянами и казаками Черниговского и Нежинского полков, которые, стремясь избежать польско-шляхетского гнета, в количестве более 2 тыс. семейств переселились на Слободскую Украину. Территория полка занимала правобережье Дона между его притоками Девицей и Богучаром и на левом берегу Дона — в районе затона р. Тулушовки и г. Калач. Полковым центром был Острогжск, сотенными городами — Белолуц, Ольшанск, Старобельск, Евдаковка, Усерд и др. Казаки Острогжского полка принимали участие в восстании 1670 г. под руководством Дзинковского, в Азовских походах 1695—

1696 гг., Северной войне 1700—1721 гг. После ликвидации в 1765 г. слободских полков Острогжский полк был реорганизован в Острогжский гусарский полк, а казаки превращены в войсковых обывателей.

7. «Московский вестник» — журнал (с 1829 — альманах). Выходил в Москве в 1827—1830 гг. дважды в месяц. Издатель-редактор — М. П. Погодин. «Московский вестник» был создан кружком «любомудров» (Д. В. Веневитинов, А. С. Хомяков, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, братья Киреевские и др.) для литературной борьбы с изданиями Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча, с одной стороны, и Н. А. Полевого — с другой. Имел отделы: словесность, наука, критика, смесь. Особенно богатым был отдел словесности. С самого начала издания «Московского вестника» в нем участвовал А. С. Пушкин. Здесь он поместил более 20 стихотворных произведений, в том числе отрывки из «Евгения Онегина».
8. Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — русский актер. Родился в семье актеров-крепостных. В 1817 г. дебютировал на сцене Московского императорского театра (с 1824 г. — Малый театр). Неоднократно гастролировал на Украине (в 1838 г. с труппой Л. Ю. Млотковского; см. прим. 47).
9. Чудесный ребенок (фр.).
10. До сих, до этого места (фр.)
11. «Тс-с! замолчите!» (фр.).
12. Корыто (укр.).
13. Кронеберг Иван Яковлевич (1788—1838) — профессор и ректор Харьковского университета, знаток классической филологии. Издал сочинения: «Об образах и обычаях древних римлян», «Римские древности», «Латинская грамматика». Был составителем латино-русского словаря. Издавал научный журнал «Минерва».
14. Гулак-Артемевский Петр Петрович (1790—1865) — украинский поэт. Родился в местечке Городище (ныне Черкасской обл.). Учился в Киевской академии, с 1817 г. — в Харьковском университете. С 1825 г. — профессор истории и географии, в 1841—1849 гг. — ректор Харьковского университета. Начал печататься в 1817 г. в журнале «Украинский вестник». В историю украинской литературы вошел своими баснями и балладами.
15. Дых Владимир Францевич (1805—1837) — профессор всеобщей истории Харьковского и Киевского университетов. В 1833 г. защитил магистерскую диссертацию «О способе преподавания истории». Историю понимал как «науку, отображающую жизнь рода людского». В своих лекциях стремился привить слушателям «гуманный настрой духа», призывая прежде всего быть человеком, а затем уже гражданином.
16. Буквально: с листа (фр.).
17. Луин Михаил Михайлович (1809—1844) — профессор всеобщей истории Харьковского университета. Учился в Дерптском университете, где защитил докторскую диссертацию по философии (1832). Публиковал статьи по римской истории, историографии Востока в «Журнале Министерства народного просвещения» и «Москвитянине». Отличался педагогическим талантом, обширными научными познаниями и даром слова. Его курс всеобщей истории остался неоконченным.
18. «Ладно, мсье, вы получите «очень хорошо» (фр.).
19. «Для того, чтобы получить «превосходно», нужно взять еще один урок» (фр.).
20. О французской литературе в целом (фр.).
21. Кинбурнский 19-й драгунский полк был сформирован в 1798 г. Имел подковое знамя с надписью «За отличие в Турецкую войну 1877—1878 гг.».
22. Речь идет о сборнике «Малороссийские песни» (М., 1827) с предисловием и примечаниями украинского ученого-ботаника, зоолога, философа, историка и фольклориста М. А. Максимовича (1804—1873). В сборник вошло 223 песни.
23. Имеется в виду сборник «Песни русского народа» (ч. 1—5; СПб., 1838—

- 1839), подготовленный и изданный русским фольклористом, этнографом и палеографом И. П. Сахаровым (1807—1863). В нем помещены также и украинские обрядовые, лирические и исторические песни.
24. *«Запорожская старина»* — фольклорно-исторический сборник, подготовленный русским и украинским филологом-славистом И. И. Срезневским (1812—1880). Издавался в Харькове (ч. 1, 1833—1834; ч. 2, 1834—1838). Стремясь воссоздать историю запорожских казаков и украинского народа в целом, И. И. Срезневский поместил в сборнике отрывки из казацких летописей, повестей, рассказов, исторические песни и думы XVI—XVIII вв., собственные статьи. В предисловии изложил свое отношение к народному творчеству как средству познания прошлого. «Запорожскую старину» положительно оценивали В. Г. Белинский, Н. В. Гоголь, Т. Г. Шевченко и др.
25. *Метлинский Аверосий Лукьянович* (1814—1870) — украинский поэт, фольклорист, переводчик, издатель. Окончил в 1835 г. Харьковский университет. Автор сборника «Думки і пісні та ще дещо» (1839). Издал под своей редакцией «Южный русский сборник» (1848), а также фольклорный сборник «Народные южнорусские песни» (1854).
26. *Когляревский Иван Петрович* (1769—1838) — украинский писатель, первый классик новой украинской литературы. Родился в Полтаве. Учился в Полтавской семинарии. Длительное время был на военной службе. В 1818—1821 гг. — директор Полтавского театра. Был близок к декабристам. Автор поэмы «Энеида», пьес «Наталка-Полтавка», «Москаль-чарівник» и др.
27. *Квитка-Основаенко Григорий Федорович* (наст. фамилия Квитка; 1778—1843) — первый прозаик новой украинской литературы. Родился в с. Основа (ныне часть Харькова). Принимал участие в основании Харьковского театра, Института благородных девиц (1812), был одним из издателей и редакторов журнала «Український вестник» (1816—1819). Литературную деятельность начал в 1816 г. на русском языке. В 1834 г. вышла первая книга его «Малоросійських повістей...», в 1837 — вторая. Автор комедий «Сватання на Гончарівці» (1836), «Шельменко-денщик» (1840), романа «Пан Халаявський» (1839—1840) и др.
28. *Диканька* — село в Полтавской губернии (ныне райцентр Полтавской обл.). Известна с середины XVII в. С 1687 г. селом владел генеральный войсковой судья В. Л. Кочубей (1640—1708). Он принадлежал к той части казацкой старшины, которая ориентировалась на Российское государство. Совместно с полтавским полковником И. Искрой пытался раскрыть подготовку измены гетмана Левобережной Украины И. Мазепы. Однако последнему удалось изобразить их справедливые обвинения как клевету. После казни Кочубея имение в Диканьке было конфисковано, в 1710 г. возвращено его потомкам. В имении Кочубея жил украинский летописец Самойло Васильевич Величко (см. прим. 71). Здесь бывали Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, М. И. Глинка.
29. *Бантыш-Каменский Димитрий Николаевич* (1788—1850) — русский и украинский историк и археолог, сын управляющего московским архивом Коллегии иностранных дел Н. Н. Бантыш-Каменского (1737—1814), под руководством которого приобрел навыки работы над архивным материалом. Служил в Коллегии иностранных дел; в 1825—1828 гг. — губернатор Тобольской, с 1836 — Виленской губерний. Во время работы на Украине Д. Н. Бантыш-Каменский собрал ценные материалы, на основании которых написал 4-томную «Историю Малой России» (М., 1822). Его «Словарь достопамятных людей Русской земли» (ч. 1—5, М., 1836; доп. ч. 1—3, СПб., 1847) содержал 631 биографический очерк. Исторические документы, помещенные в «Истории Малой России», в 1858 г. переизданы О. М. Бодянским под названием «Источники для малороссийской истории».
30. *«Українські балади»* — сборник стихов Н. И. Костомарова, написанных в 1837—1838 гг., издан в 1839 г. в Харькове. Сборник вышел в свет под

- псевдонимом Иеремия Галка. В 1847 г. в связи с арестом Н. И. Костомарова за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе «Українські балади» были запрещены и изъяты из продажи, а цензору Московского цензурного комитета И. Снегरेву, разрешившему их издание, был объявлен выговор. При жизни Костомарова «Українські балади» не переиздавались. Автограф не сохранился. 12 стихотворений из указанного сборника вошли в двухтомник литературных произведений Н. И. Костомарова (К., 1967).
31. Пьеса Н. И. Костомарова «Сава Чалий» была издана в Харькове весной 1839 г. (на титульной странице — 1838) под псевдонимом Иеремия Галка. Второй раз при жизни автора была напечатана в «Збірнику творів Ієремії Галки» (Одеса, 1875). Автограф не сохранился. Вошла в двухтомник 1967 г.
 32. «Вітка» — второй поэтический сборник Н. И. Костомарова. Издан в 1840 г. в Харькове под псевдонимом Иеремия Галка. Во время следствия по делу Кирилло-Мефодиевского общества «Вітка», как и «Українські балади», была рассмотрена в III отделении, запрещена и изъята из продажи. Повторно поэзии «Вітки» напечатаны в 1875 г. в «Збірнику творів Ієремії Галки». Автографы не сохранились. 25 стихотворений из этого сборника помещены в двухтомнике 1967 г.
 33. Стихотворения «До Мар'ї Потоцької» и «Аглае-Чесме» написаны Н. И. Костомаровым в 1841 г. в Бахчисарае. Впервые напечатаны в альманахе «Молодик» (1843, № 2). Согласно легенде Мария Потоцкая — пленная польская княжна, взятая в жены крымским ханом Кирим-Гиреем. В память о ней и сооружен «Фонтан слез» в Бахчисарае.
 34. «Молодик» — украинский литературно-художественный и историко-научный альманах (1843—1844). Издавался известным литератором И. Е. Бецким (1818—1890) при помощи Г. Ф. Квитки-Основьяненко, Н. И. Костомарова, В. Н. Каразина. Три книги вышли в Харькове, четвертая — в Петербурге. В альманахе печатались произведения И. П. Котляревского, Г. Ф. Квитки-Основьяненко, Т. Г. Шевченко, Е. П. Гребенки, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и др., переводы с немецкого, английского, польского и чешского, а также фольклорные и этнографические материалы В. И. Даля, О. М. Бодянского, исследования Н. И. Костомарова, В. Н. Карамзина и др.
 35. *Корсун Александр Алексеевич* (1818—1891) — украинский поэт-романтик. Окончил Харьковский университет (1842). Служил чиновником в Харькове и Дербенте. Печатался в журнале «Маяк». Автор обработок народных поверий («Українские поверья»; Харьков, 1839). Подготовил и издал украинский литературный альманах «Сніп» (1841), в котором печатались произведения Н. И. Костомарова.
 36. *Петренко Михаил Николаевич* (1817—?) — украинский поэт-романтик. Родился в г. Славянске, в 1841 г. окончил Харьковский университет. Сохранилось около 20 стихотворений, некоторые из них стали песнями («Дивлюсь я на небо», «Туди мої очі»).
 37. *Щоголев Яков Иванович* (1823—1898) — украинский поэт. Родился в Ахтырке. Окончил Харьковский университет. Печатался в начале 40-х годов в «Литературной газете», «Отечественных записках», альманахе «Молодик». В 1883 г. вышел сборник стихотворений «Ворскла», в 1898 — сборник «Слобожанщина». Некоторые стихи Щоголева положены на музыку.
 38. *Кореницкий Порфирий* (около 1815—1854) — украинский писатель. Учился в Харьковской семинарии, исключен за антиклерикальные стихи. Автор сатирических поэм «Куряж», «Вечорниц», басен и др.
 39. Имеется в виду украинский писатель П. С. Писаревский, сын писателя Степана Писаревского (80-е годы XVIII в. — 1839). Некоторые стихотворения последнего стали народными песнями («Де ти бродиш, моя доле?», «За Неман іду»). Известна также оперетта С. Писаревского «Купала на Івана» в переложке И. Озеркевича («Весілля, або Над цигана Шмагайла нема розумнішого», 1849), музыку которой написал М. М. Вербицкий.

- 40 Произведения Байрона переводили на украинский язык И. Я. Франко, Леся Украинка, П. А. Грабовский, П. А. Кулиш, Н. И. Костомаров. Переводы Костомарова из «Еврейских мелодий» Байрона принадлежат харьковскому периоду его литературной деятельности. Часть из них под общим заглавием «Єврейські співанки» напечатана в 1841 г. в первом выпуске альманаха «Сніп». Остальные переводы, которые должны были быть помещены во втором выпуске (не вышел в свет), были отосланы в Петербургский цензурный комитет для отдельного издания (не сохранились). «Переяславська ніч» впервые напечатана в альманахе «Сніп» (1841) под псевдонимом Иеремия Галка. В 1867 г. пьеса переиздана во Львове («Переяславська ніч». Трагедія Іеремії Галки», з друкарні М. Ф. Поремби), в 1875 г. напечатана в «Збірнику творів Іеремії Галки», изданном в Одессе. Вошла в двухтомник 1967 г.
41. «История Руссов» — сочинение неизвестного автора конца XVIII или начала XIX в. До 40-х годов существовало в рукописях. В 1846 г. опубликовано О. М. Бодянским под названием «История Руссов или Малой России» и приписано перу Георгия Конисского, архиепископа белорусского. В «Истории Руссов» есть неверные утверждения, вымыслы и т. д.
42. Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — государственный деятель, граф, почетный член Петербургской академии наук (с 1811). Занимался изучением классических древностей. В 1811—1822 гг. — попечитель Петербургского учебного округа. В 1818—1855 гг. — президент Академии наук. С началом царствования Николая I стал одним из столпов реакции, главным образом в области идеологии. С именем Уварова связано оформление так называемой теории официальной народности («православие — самодержавие — народность»). С 1832 г. — товарищ министра, в 1838—1849 гг. — министр народного просвещения.
43. Устрялов Николай Герасимович (1805—1870) — русский историк, академик. Происходил из разночинцев. Окончил Петербургский университет, где в 1834—1870 гг. был профессором русской истории. Опубликовал серию дневников и мемуаров иностранцев — участников событий начала XVII в. в России. С начала 30-х годов становится приверженцем уваровской теории народности. В 1836 г. написал «Русскую историю», дополненную в 1842 г. «Историческим обозрением царствования государя императора Николая I». Получив доступ к секретным материалам, с 1842 г. начал работу над «Историей царствования Петра Великого» в 10 томах.
44. «Русская старина» — ежемесячный исторический журнал, выходил в 1870—1918 гг. Основатель журнала — М. И. Семевский. Издатель-редакторы — В. А. Семевский, М. И. Семевский, Н. К. Шильдер, А. С. Лапинский, С. И. Зыков и др. В журнале были напечатаны записки декабристов М. А. Бестужева, М. И. Муравьева-Апостола, воспоминания Н. И. Пирогова, произведения К. Ф. Рыльева, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, письма М. В. Ломоносова, В. А. Жуковского и др.
45. Вторая диссертация Н. И. Костомарова на степень магистра исторических наук — «Об историческом значении русской народной поэзии» — была напечатана в 1843 г. в Харькове. Впоследствии она послужила материалом для работы «Историческое значение южнорусского народного песенного творчества», которая была напечатана в журналах «Беседа» (1872) и «Русская мысль» (1880, 1883) под названием «История казачества в памятниках южнорусского народного песенного творчества». Остальная часть этой работы — «Семейный быт в произведениях южнорусского народного песенного творчества» — напечатана в «Литературном наследии» (СПб., 1890).
46. Штейн Иван Федорович (?—1837) — русский и украинский театральный деятель, антрепренер. В 1804—1809 гг. — режиссер и балетмейстер крепостного театра Ю. А. Илинского в Романовке (ныне Житомирской

- обл.); преподавал танец в киевской гимназии (1809—1811) и Харьковском университете (1812—1816). В 1817—1818 гг. содержал Харьковский вольный театр. В 1821 г. основал собственную труппу из состава Полтавского вольного театра. Труппа выступала в Харькове, Одессе и других городах. В 1836 г. прекратила существование.
47. *Млотковский (Млатковский, Молотковский) Людвиг Юрьевич* (около 1795—1855) — украинский и русский актер, режиссер и антрепренер. В 1833 г. в Курске основал труппу, которая в 1836—1843 гг. работала в Киеве и Харькове. Репертуар для нее писали И. П. Котляревский, Г. Квитка-Основьяненко.
 48. *Сементовский Константин Максимович* (1823—1902) — украинский этнограф и фольклорист. Окончил Нежинский лицей. Труды: «Очерк малороссийских поверий и обычаев», «Замечания о праздниках у малороссиян», статьи о И. П. Котляревском, Г. Квитке-Основьяненко.
 49. *Бодянский Осип Максимович* (1808—1877) — украинский и русский филолог, историк, писатель и переводчик, один из основателей славистики в России, член-корреспондент Петербургской академии наук (с 1854). Родился в Варве (ныне Черниговской обл.). В 1834 г. окончил Московский университет. В 1837—1842 гг. находился в научной командировке в славянских странах. В 1842—1868 гг. — профессор кафедры истории и литературы славянских наречий. С 1845 г. — секретарь Московского общества истории и древностей российских при Московском университете. В «Чтениях Московского общества истории и древностей российских» опубликовал много материалов по истории Украины и России, народные песни.
 50. Речь идет о книге «Краткое описание о казацком малороссийском народе и о военных его делах» украинского историка П. И. Симоновского (1717—1809), изданной О. М. Бодянским в 1847 г. в Москве. В этой работе Симоновский выступил как сторонник гетманского устройства и политической автономии Украины.
 51. Имеется в виду «Описание о Малой России и Украине» русского историка XVIII в. С. Зарульского, опубликованное в 1847 г. в Москве О. М. Бодянским. В этом произведении на основании польских и русских источников кратко излагается история Украины с древнейших времен по 1775 г. Автор — монархист, отрицательно относится к народно-освободительным движениям, к Запорожской Сечи.
 52. *Цергелев (Цертели) Николай Андреевич* (1790—1869) — фольклорист, один из первых исследователей и издателей украинского народного поэтического творчества. Учился в Харьковском и Московском университетах. С 1839 г. — помощник попечителя Харьковского учебного округа.
 53. *Кулиш Пантелеймон Александрович* (1819—1897) — украинский писатель, критик, историк, фольклорист, этнограф, переводчик; участник Кирилло-Мефодиевского общества.
 54. Дерманский монастырь в Дубенском уезде Волынской губернии был основан предположительно в первой половине XV в. князем В. Ф. Острожским. В 1602 г. К. К. Острожский дал монастырю общежительный устав и поручил инокам заведование типографией. В 1627—1631 гг. настоятелем монастыря был писатель, церковный и культурный деятель Мелетий Смотрицкий. При нем в монастырь начали проникать униаты. После пожара 1821 г. в Острожском монастыре его братия была переведена в Дерманский монастырь, который стал называться Острожско-Дерманский Троицкий мужской монастырь. При монастыре были архив и библиотека.
 55. Село Гоща (ныне Ровенской обл.) известно с XIV в. как собственность боярина Кирдеева, затем магнатов Гойских. В конце XIV в. в Гоще был сооружен замок. С конца XVI и до середины XVII в. Гоща была одним из центров протестантизма. После смерти покровителя гощанских социан

Романа Гойского Гоща перешла во владение его сестры Решны (Ирины) Соломирецкой — сторонницы православной церкви. В 1638 г. в Гоще были основаны православный монастырь и школа при нем. Опекуном школы был Петр Могила, ректором — украинский культурный и церковный деятель Иннокентий Гизель.

56. *Пересоппица* — ныне село Ровенского р-на Ровенской обл. Впервые упоминается в летописи под 1149 г. как резиденция удельных князей. После смерти Мстислава Ярославича Немого (1226) Данило Галицкий присоединил Пересоппицу к своим владениям. В конце XV в. в Пересоппице основан монастырь, известный тем, что в 1561 г. здесь был завершен перевод Евангелия с церковнославянского языка на «простое» наречие («Пересоппицкое Евангелие»). Перевод осуществили сын протопопа Михаил Васильевич и архимандрит Пересоппицкого монастыря Григорий. Выявлено в 1837 г. О. М. Бодянским. Хранится в Центральной научной библиотеке АН УССР.
57. *Почаев* — местечко Кременецкого уезда Волынской губернии (ныне Тернопольской обл.). В письменных источниках Почаев впервые упоминается под 1450 г. Позже Почаев принадлежал Кременецкому замку, с 1527 г. — шляхтичам Гойским. В XVI в. основан Почаевский монастырь, ставший одним из очагов борьбы против католицизма в унии. В начале XVII в. при монастыре была открыта типография. В 1713 г. монастырь захватили униаты. После подавления польского восстания 1830—1831 гг. царское правительство отобрало монастырь у униатов и передало православному духовенству, переименовав его в Почаевскую лавру.
58. *Вишневец* — село Кременецкого уезда Волынской губернии (ныне Збаражского р-на Тернопольской обл.). В исторических источниках впервые упоминается под 1395 г. В 1512 г. у Вишневца было разбито татарское войско во главе с ханом Менгли-Гиреем. Во второй половине XVI в. Вишневец стал резиденцией украинских магнатов Вишневецких, которые постепенно окатоличились и ополчились. В 1640 г. Я. Вишневецкий начал строительство замка и монастыря кармелитов. В 1720 г. для последнего из рода Вишневецких — Михаила Сервария — был сооружен дворец, сохранившийся донныне. После его смерти в 1744 г. Вишневец перешел во владение князей Мнишков.
59. *Маркевич Афанасий Васильевич* (1822—1867) — украинский этнограф и фольклорист. Родился в с. Кулажинцы Полтавской губернии в семье обедневшего помещика. В 1846 г. окончил Киевский университет. В 1847 г. за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе сослан в Орел, где служил в губернской канцелярии. После возвращения на Украину — редактор «Черниговских губернских ведомостей», в 1858 г. работал в Киеве в палате государственных имуществ. С августа 1855 г. — преподаватель гимназии в Немирове. В 1860—1861 гг. — сотрудник журнала «Основа». Собрал большое количество фольклорных и этнографических материалов, которые были напечатаны в издании М. Т. Номиса «Українські приказки, прислів'я і таке інше», а также в «Записках Черниговского статистического комитета». В 1857 г. написал музыку к пьесе «Наталка-Полтавка» И. Котляревского.
60. *Гулак Николай Иванович* (1821—1899) — украинский революционный демократ и ученый. Родился в Варшаве. В 1843 г. окончил Дерптский университет, в 1844 г. получил степень кандидата права. С 1845 г. служил в канцелярии киевского генерал-губернатора в должности переводчика археографической комиссии. Совместно с Н. И. Костомаровым и В. М. Белозерским основал Кирилло-Мефодиевское общество. В марте 1847 г. арестован и осужден к тюремному заключению в Шлиссельбургской крепости. В июне 1850 г. сослан в Пермь, где работал в губернском статистическом комитете, принимал участие в изучении природных ресур-

сов края. В феврале 1855 г. с Гулака был снят гласный полицейский надзор (заменен тайным). После возвращения из ссылки занимался педагогической и научной деятельностью.

61. *Караваяев Владимир Афанасьевич* (1811—1892) — профессор Киевского университета (1841—1891), хирург и офтальмолог. Создал факультетскую хирургическую клинику, одним из первых применил в хирургической практике обезболивающие средства. Автор пособия по хирургической анатомии.
62. *Белозерский Василий Михайлович* (1825—1899) — общественный деятель, журналист, ученый и педагог. Один из инициаторов создания Кирилло-Мефодиевского общества. Родился в г. Борзна Черниговской губернии в дворянской семье. В 1841—1845 гг. учился в Киевском университете. В 1846—1847 гг. преподавал в Полтавском кадетском корпусе. После разгрома кирилло-мефодиевцев был послан в Олонецкую губернию под надзор полиции. Служил в Петрозаводском губернском правлении. В 1856 г. освобожден от полицейского надзора с разрешением выехать в Петербург. Работал экспедитором Государственной канцелярии. В 1861—1862 гг. — редактор журнала «Основа». Затем служил в Варшаве. Последние годы жил на хуторе Мотронова Борзенского уезда.
63. *Пильчиков Дмитрий Павлович* (1821—1893) — педагог и общественный деятель. Родился в Полтаве в дворянской семье. Окончил Киевский университет, преподавал в Полтавском кадетском корпусе. В 1846 г. стал членом Кирилло-Мефодиевского общества. Находился под полицейским надзором. В 70-х годах выехал за границу. Способствовал основанию общества им. Т. Г. Шевченко во Львове (1873). Умер в Харькове.
64. *Иванишев Николай Дмитриевич* (1811—1874) — украинский историк права, специалист по истории права славянских стран. Родился в Киеве в семье священника. Окончил Главный педагогический институт в Петербурге. В 1840—1865 гг. — профессор, в 1848—1862 гг. — декан юридического факультета, в 1862—1865 гг. — ректор Киевского университета. Один из основателей Временной комиссии для разбора древних актов в Киеве, впоследствии — главный редактор ее изданий.
65. *Нейкирх Иван Яковлевич* (1803—1870) — доктор философии, профессор Киевского университета. Родился в г. Тильсен (Курляндия) в семье часового мастера. Образование получил в митавской гимназии и Дерптском университете. После заграничной научной командировки в 1834 г. удостоен ученой степени доктора и приват-доцента. В 1837 г. назначен экстраординарным (в 1838 — ординарным) профессором греческой словесности в Киевском университете. Владел греческим, латинским, немецким, французским, итальянским, испанским и другими языками. В 1868 г. вышел в отставку.
66. *Деллен Александр Карлович* (1814—1882) — доктор римской словесности, профессор кафедры римской словесности и древностей в Киевском университете. Родился в Митаве. Образование получил в частном училище и Дерптском университете. С 1837 г. — учитель рижской гимназии. В 1839 г. утвержден адъюнктом, в 1840 г. — экстраординарным профессором греческой и римской словесности в Киевском университете. С 1850 г. — и. о. ординарного профессора. В 1857—1862 гг. — директор Первой киевской гимназии. В 1867 г. вышел в отставку, но в том же году занял кафедру в Харьковском университете, где работал до самой смерти.
67. *Селин Александр Иванович* (1816—1877) — доктор славяно-русской филологии, профессор. Родился в Твери в семье купца. Окончил Московский университет со степенью кандидата (1841). После двухлетнего пребывания за границей (Германия, Италия, Швейцария, Франция, Англия, славянские страны) был назначен и. о. адъюнкта кафедры русской словесности в Киевском университете. С 1847 г. — магистр, с 1852 — доктор

славянской филологии. В университете читал историю русской литературы и русский язык.

68. *Ставровский Алексей Иванович* (1811—1882) — магистр всеобщей истории, экстраординарный профессор кафедры всеобщей истории в Киевском университете. Родился в Новгородской губернии, образование получил в Новгородской духовной семинарии и в Главном педагогическом институте (окончил в 1836). Был назначен адъюнктом кафедры русской истории и статистики в Киевском университете. Через год стал преподавать всеобщую историю и греческий язык. В 1842 г. удостоен степени магистра, а затем избран и утвержден и. о. экстраординарного профессора. В 1866 г. вышел в отставку. Был основателем Киевского музея древностей, которым заведовал с 1838 по 1854 г. Проводил археологические раскопки в Киеве и за его пределами. После выхода в отставку поселился в Остре.
69. *Новицкий Орест Маркович* (1806—1884) — профессор кафедры философии в Киевском университете. Родился в Волынской губернии в семье священника. Образование получил в Острожском духовном училище, семинарии и Киевской духовной академии. После окончания академии (1831) был назначен профессором философии в Полтавскую семинарию, которая находилась в Переяславе. В 1834 г. переведен преподавателем в Киевскую академию. С 1835 г. читает философию в Киевском университете. С 1837 г. — экстраординарный профессор. В 1850 г. уволен из университета в связи с сокращением курса по философии. В 1850—1869 гг. работал цензором. Главный его труд — «Духоборы» был издан в 1832 и 1882 гг.
70. *Временная комиссия для разбора древних актов* — научное учреждение, созданное в 1843 г. в Киеве для сбора и издания документальных материалов. На их основе в 1852 г. был создан Киевский центральный архив древних актов. Комиссия опубликовала несколько серий документальных источников по истории Украины XIV—XVIII вв.: «Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов» (1845—1859, 1897—1898); «Архив Юго-Западной России» (1859—1914) и др.
71. *Летопись Величка* — казацко-старшинская летопись, ценный памятник украинской историографии второй половины XVII — начала XVIII в. Ее автор — Величко Самойло Васильевич (1670 — после 1728) родился на Полтавщине. Образование получил в Киевской коллегии. Был канцеляристом у генерального войскового писаря В. Л. Кочубея, затем служил в генеральной войсковой канцелярии. Отстраненный от должности в 1708 г., жил в имении Кочубея в Диканьке, затем в Жуках под Полтавой, занимался литературным трудом. Знание языков (кроме украинского владел латинским, немецким и польским) и документальных материалов позволило Величко подготовить произведение, построенное на большом и разнородном материале. Летопись Величко в 4-х томах, охватывающая события на Украине второй половины XVII — начала XVIII в., сохранилась не полностью. Издана Киевской археографической комиссией в 1848—1864 гг. по списку М. П. Погодина. Позже был обнаружен еще один список, ранее принадлежавший Г. А. Полетике.
72. *Бибиков Дмитрий Гаврилович* (1792—1870) — государственный деятель, активный проводник реакционной политики Николая I. Принимал участие в разгроме Кирилло-Мефодиевского общества. В 1819—1837 гг. был владимирским, саратовским, московским вице-губернатором, а также занимал различные должности в ведомствах Петербурга. В 1837 г. назначен киевским генерал-губернатором, в 1852 г. — министром внутренних дел. Характеристику Бибикова как сатрапа русского самодержавия дал Т. Г. Шевченко в поэме «Юродивый».
73. *Петров Алексей Михайлович* (1827—1883) — студент Киевского университета. По его доносу были арестованы члены Кирилло-Мефодиев-

- ского общества. За эту «услугу» в 18... г. Петрова зачислили на службу в III отделение. В 1849 г. за хищение документов был посажен в Алексеевский равелин. В 1850 г. отправлен на службу в г. Олонецк. Петров написал воспоминания, в которых отрицал свою роль доносчика.
74. *Летопись Ерлича (Иерлича)* — хроникальное изложение исторических событий с 1620 по апрель 1673 г. Ее автор — польский хронист Иоахим Ерлич — родился в семье украинского православного шляхтича на Волыни. В период народно-освободительной войны 1648—1654 гг. выступал на стороне шляхетской Польши. В 1648 г. скрывался от повстанцев в Киево-Печерской лавре. В это время приступил к составлению хроники, в которой, несмотря на тенденциозность, имеются важные сведения о событиях освободительной войны. Впервые издана в 1853 г. в Варшаве на польском языке под названием «Летопись, или Хроника разных дел и событий».
75. «Боже мой! Понадобится десять лет, чтобы расшифровать все эти каракули» (фр.)
76. *Андрузский Георгий (Егор) Львович* (1827—?) — украинский общественный деятель, поэт; член Кирилло-Мефодиевского общества. Родился в с. Вечорки Полтавской губернии в семье мелкого помещика. Учился на юридическом факультете Киевского университета. После ареста в апреле 1847 г. был сослан в Казань с правом поступления в университет. В декабре 1847 г. за неповиновение исключен из университета и отправлен в Петрозаводск, где в 1850 г. повторно арестован и за написание «Конституции республики» сослан в Соловецкий монастырь (1850—1854), где отличился при обороне монастыря от нападения английской эскадры. После освобождения служил чиновником Архангельской палаты уголовного суда (1854—1857). С 1857 г. служил в Полтавской судебной палате под строгим надзором полиции до 1864 г.
77. *Мурзакевич Николай Никифорович* (1806—1883) — украинский историк и археолог. Окончил Московский университет. С 1830 г. — преподаватель, с 1855 — директор Ришельевского лицея в Одессе. Принимал участие в создании и работе Одесского общества истории и древностей (был его секретарем и вице-президентом).
78. Газета «Саратовские губернские ведомости» издавалась с 1838 г. Найдя в ссылке, Н. И. Костомаров напечатал здесь следующие работы: «Греческий Эдип в Саратовском уезде», «Народные песни, собранные в Саратовской губернии», «Народный плач дочери над могилой матери, записанный в слободе Рудне Камышинского уезда», «Рассказ Ибн-Фадлана, арабского писателя X века, о руссах, виденных им на берегах Волги», «О промышленной, ремесленной и торговой деятельности в уездных городах Саратовской губернии в 1853 году» и др.
79. Меблированные комнаты (фр.)
80. Документы III отделения и Петербургского цензурного комитета за 1856 г. позволяют сделать некоторые уточнения по поводу написания и печатания монографии «Богдан Хмельницкий» (первоначальное название — «Век царя Алексея Михайловича»). Н. И. Костомаров ошибается, когда говорит, что рукопись была передана в цензуру в марте 1856 г. Произошло это не позднее 8 января, ибо в этот день редактор «Отечественных записок» А. А. Краевский обратился к Н. И. Костомарову с письменной просьбой предоставить цензору справку III отделения о снятии запрещения, наложенного в 1847 г. 13 января 1856 г. Костомаров подал в III отделение жалобу на цензора Фрейганга, а 20 января III отделение передало цензору разрешение печатать произведения Костомарова, но «только строго цензуровать». Разрешение Петербургского цензурного комитета на печатание сочинения «Век царя Алексея Михайловича» было получено только 27 октября 1856 г. после изъятия 120 страниц текста. Впервые напечатано в «Отечественных записках» в 1857 г. под названием «Богдан Хмель-

- ницкий и возвращение Руси к России». После существенной переделки вышло в 1859 г. отдельным изданием в 2 томах. Затем, снова исправленное и дополненное, сочинение было опубликовано в 1870 г. в «Отечественных записках» под названием «Южная Русь и казачество до восстания Богдана Хмельницкого»; в том же году издано в 3 томах под заглавием «Богдан Хмельницкий» (т. 9, 10, 11 «Исторических монографий», изд. Кожанчикова).
81. Речь идет об «Очерке торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях», который был опубликован в журнале «Современник» (1857, 1858) и отдельно в издательстве Н. Л. Тиблена (СПб., 1862, 1889).
 82. Архив основан в 1618 г. В нем хранится много документальных материалов, относящихся к истории России и Украины. Здесь работали такие русские историки, как В. Н. Татищев, С. В. Соловьев, Я. К. Грот и др.
 83. *Кальмарская (Кольмарская) уния* — объединение королевств Дании, Норвегии (с Исландией) и Швеции (с Финляндией) под верховной властью датских королей (1397). Вся последующая история скандинавских стран характеризуется стремлением Норвегии и особенно Швеции выйти из-под зависимости Дании.
 84. *Адам Бременский* (?—1076) — каноник и схоластик. Автор истории Гамбургского архиепископства, которая написана на основании древних рукописей и содержит сведения о славянских народах. Ему же принадлежит 7-томная «Монументальная история Германии».
 85. *Ганзенский союз (Ганза)* — торговый союз северонемецких городов во главе с Любеком (бывшее славянское поселение Любеч). Существовал в XIV—XVI вв. В период расцвета Ганзы в нее входило около 100 городов, в том числе Ревель (Таллинн), Дерпт (Тарту) и др.
 86. В ожидании разрешения жить в столице Т. Г. Шевченко находился в Нижнем Новгороде с 28 сентября 1857 г. до 8 марта 1858 г.
 87. «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях» впервые был опубликован в «Современнике» в 1860 г. В том же году вышел отдельной книгой. Второе (1862) и третье (1887) издания вышли в Петербурге в издательстве Н. Л. Тиблена. Последнее издание составило 19 том «Исторических монографий» (СПб., 1887).
 88. Очерк впервые был напечатан в журнале «Отечественные записки» (1858). В 1859 г., дополненный новыми материалами, вышел в Петербурге отдельной книгой, а затем вошел во 2 том «Исторических монографий» (СПб., 1863 и 1872).
 89. *Молокане* — религиозная секта в России. Сложилась во второй половине XVIII в. на Тамбовщине. Основатель секты — крестьянин Семен Уклеин. Молокане отличались пестрым социальным составом и имели опору в различных слоях населения. После реформы 1861 г. движение молокан пошло на убыль.
 90. *Калачев (Калачов) Николай Васильевич* (1819—1885) — русский историк, юрист, археолог, архивист; академик (с 1883). Работал в Петербургской археологической комиссии, был профессором кафедры истории русского законодательства при Московском университете. Участвовал в подготовке реформы 1861 г.
 91. Журнал выходил в Петербурге в 1859 и 1860—1861 гг. (всего вышло 12 книг). Не являясь органом какой-либо научной школы, журнал печатал работы авторов разных, подчас противоположных, направлений. В «Архиве» принимали участие историки, литературоведы, юристы, в частности А. Н. Афанасьев, К. Д. Кавелин, Н. И. Костомаров и др.
 92. Архив иностранных дел ведет свое начало с 1720 г. В его состав первоначально вошли дела Посольского, Малороссийского, Смоленского и других приказов. В течение XVIII—XIX вв. архив пополнился фондами, переданными Коллегией и Министерством иностранных дел, русскими миссиями за границей и частными лицами. В 1832 г. по упразднении

- Коллегии иностранных дел архив получил название Московского главного архива Министерства иностранных дел. В 1883 г. в архив поступили материалы государственного древлехранилища хартий и рукописей.
93. *Названия арий из опер Дж. Верди «Риголетто» и «Трубадур».*
 94. *Кожанчиков Дмитрий Ефимович* (1820 или 1821—1877) — русский книгопродавец и издатель, близкий к революционно-демократическим кругам. Свою деятельность начал в Петербурге в 1858 г. Кроме Петербурга имел магазины в Варшаве, Казани, Харькове и Одессе. Выпустил первое издание «Обломова» А. И. Гончарова (1859), наиболее полное по тому времени издание «Кобзаря» Т. Г. Шевченко (1867), сочинения Марко Вовчок, А. И. Островского, А. Ф. Писемского, Н. И. Костомарова и др.
 96. «История воссоединения Руси» была издана в Петербурге (1873, 1874, 1877). Опираясь только на польские источники, П. А. Кулиш в этой работе пытался принизить роль качества в истории Украины.
 96. *Толстой Федор Петрович* (1783—1873) — русский скульптор и график, представитель классицизма. В 1828—1859 гг. — вице-президент Петербургской академии художеств. По ходатайству Ф. П. Толстого и других культурных деятелей в 1858 г. Т. Г. Шевченко был освобожден из ссылки.
 97. *Погодин Михаил Петрович* (1800—1875) — русский историк, писатель, журналист, академик Петербургской академии наук. Сын крепостного. В 1821 г. окончил Московский университет. В 1826—1835 гг. занимал кафедру всеобщей истории, в 1835—1844 гг. — русской истории этого университета. Издавал журналы «Московский вестник» (1827—1830) и «Москвитянин» (1841—1856). Выступал защитником уваровской теории народности, был ярким приверженцем норманизма.
 98. *Горский Александр Васильевич* (1814—1875) — русский церковный историк и археолог. Окончил Московскую духовную академию, стал ее профессором, а с 1864 г. — ректором. С 1849 г. с помощью К. И. Новоструева начал работу над «Описанием рукописей Московской синодальной библиотеки» (т. 1—5. М., 1855—1869; т. 6 издан в 1817 г.), содержащим много сведений по истории славянской и греческой литератур.
 99. Перевод с греческого языка Жития Нифонта Константинского был широко известен в древнерусских списках. Исследователи выделяют несколько редакций памятника. Список 1219 г. из собрания Троице-Сергиевой лавры, которым пользовался и Н. И. Костомаров, ныне хранится в рукописном отделе Государственной библиотеки им. В. И. Ленина.
 100. *Самарин Юрий Федорович* (1819—1876) — русский общественный деятель, дворянский историк и публицист. Окончил Московский университет (1838), защитил магистерскую диссертацию «Стефан Яворский и Феофан Прокопович» (1844). В 30—40-х годах принадлежал к русским последователям Гегеля, затем примкнул к славянофилам.
 101. *Аксаков Константин Сергеевич* (1817—1860) — русский литератор и историк; славянофил. Сын писателя С. Т. Аксакова. Окончил Московский университет (1835). Входил в литературно-философский кружок Н. В. Станкевича гегельянского направления. Около 1840 г. вместе с Ю. Ф. Самариным примкнул к кружку А. С. Хомякова и стал одним из наиболее видных славянофилов.
 102. *Плетнев Петр Александрович* (1792—1865) — русский поэт и критик; академик. В 1840—1861 гг. — ректор Петербургского университета. В 1838—1846 гг. — издатель журнала «Современник».
 103. Здесь, видимо, ошибка: Т. Г. Шевченко скончался 26 февраля.
 104. *Лазаревский Михаил Матвеевич* (1818—1867) — чиновник особых поручений при председателе Оренбургской пограничной комиссии (1847—1848), позже — правитель канцелярии Министерства государственных имуществ, сотрудник Главного управления по делам печати.
 105. *Хорошевский Владислав Юлианович* (1835—1900) — член польского демократического кружка в Петербурге, активный участник революци-

онного студенческого движения начала 60-х годов. Встречался с Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым, посещал собрания в редакции журнала «Основа».

106. Возница (ит.).

107. *Павлов Платон Васильевич* (1823—1895) — русский историк, общественный деятель. Профессор Киевского университета (1847—1859). По совету А. И. Герцена стал одним из организаторов воскресных школ в Киеве, затем в Петербурге. Был близок к Харьковско-Киевскому тайному обществу. После описанной Костомаровым публичной лекции, в которой Павлов осудил крепостной строй и половинчатость реформы 1861 г., он был выслан.

108. Коллективно (фр.).

109. Речь идет о древнем Тракае — резиденции великих литовских князей. Замок построен в XIII в., в его центральном здании ныне расположен музей. (Здесь и далее географические названия даются в авторском написании.)

110. *Шелонская битва* — решающее столкновение на р. Шелони (около 30 км от оз. Ильмень) в ходе Московско-Новгородской войны 1471 г. Битва закончилась победой московских войск во главе с князем Д. Д. Холмским. В ней было убито более 12 тыс. новгородцев.

111. «*Московские ведомости*» — газета, выходила в Москве в 1756—1917 гг. Основана Московским университетом. С 1863 г., когда редактором «Московских ведомостей» вторично становится М. Н. Катков, газета приняла ярко выраженный реакционный характер.

112. Речь идет о «валуевском циркуляре» 1863 г., которым запрещалось печатание на украинском языке всех книг, кроме художественных. Однако царская цензура под любыми предлогами ограничивала печатание и художественных произведений. Поэтому с 1863 г. издание книг на украинском языке в пределах Российской империи почти прекратилось.

113. Имеется в виду «Академический месяцеслов» — ежегодное издание Академии наук. Выпускался с «Приложением», в котором и был напечатан данный очерк Н. И. Костомарова.

114. *Никон* (светское имя Никита Минов; 1605—1681) — русский церковный и государственный деятель, патриарх московский. В 1653—1656 гг. провел церковную реформу, исправил богослужебные книги в соответствии с греческими оригиналами, изменил некоторые церковные обряды. Часть духовных и мирян не признала реформы Никона, что привело к расколу. В 1658 г. произошел разрыв между патриархом и царем. Никон оставил патриаршество и уехал в основанный им Новоиерусалимский Вознесенский монастырь, безуспешно рассчитывая, что царь вернет его. Когда Никон в 1664 г. самовольно приехал в Москву и попытался снова занять патриарший престол, он был сослан обратно. Церковный собор 1666—1667 гг., подтвердив проведенные Никоном реформы, снял с него сан патриарха. Никон был сослан в Ферапонтов Белозерский монастырь. В 1681 г. царь Федор Алексеевич разрешил Никону вернуться в Новоиерусалимский монастырь, по дороге в который он умер.

115. *Ипатьевский мужской 1-го класса кафедральный монастырь* в Костроме был основан в 1330 г. татарским князем Четом, родоначальником бояр Годуновых. Монастырь стал родовой усыпальницей Годуновых. Известен и тем, что здесь находился древнейший памятник русского летописания — Ипатьевская летопись (открыта М. Н. Карамзиным).

116. *Зибель Генрих фон* (1817—1895) — немецкий историк и политический деятель, представитель национал-либерального направления. Основные труды: 10-томная «История революционной эпохи», «Основание Германской империи Вильгельмом I» и др.

117. *Конституция 3 мая* — конституция Речи Посполитой, принятая в 1791 г. Отражая программу сложившейся в ходе деятельности Четырехлетнего

сейма партии реформ («патриотической партии»), конституция существовавшая изменяла государственный строй Польши.

118. *Восстание Костюшко* — национально-освободительное восстание в Польше (12 марта — 16 ноября 1794 г.) против магнатства, захватившего власть в результате мятежа Торговицкой конфедерации и интервенции царской России и Пруссии, осуществивших в 1793 г. второй раздел Польши. Восстание проходило под лозунгами национальной независимости Польши, воссоединения польских земель, восстановления конституции 1791 г., продолжения прогрессивных реформ, начатых Четырехлетним сеймом 1788—1792 гг.
119. Первое посмертное издание собрания сочинений Т. Г. Шевченко «Кобзарь» тиражом 3000 экземпляров на средства Д. Кожанчикова было осуществлено в 1867 г. в Петербурге. Редакторы издания — Н. Костомаров и Г. Фашкевич.
120. *Литовская метрика* — архив государственной канцелярии Великого княжества Литовского. Более 550 его томов содержали различные документы XIV—XVIII вв. или их копии. Часть документов издана.
121. Имеется в виду Слободищанский трактат 1660 г. — договор гетмана Ю. Хмельницкого с польско-шляхетским правительством об отрыве Украины от России и переходе ее под власть Польши.
122. *Забелин Иван Егорович* (1820—1908) — русский историк и археолог. Почетный член Академии наук. В 1859—1876 гг. работал в Петербурге в Археологической комиссии, в 1879—1888 гг. — председатель Общества истории и древностей российских при Московском университете.
123. *Харько, Харко (?—1737)* — запорожский казак, сотник. Со своим отрядом принимал участие в гайдамацком восстании 1734 г. После поражения отступил в Сечь. Со временем снова объявился на Правобережной Украине, где совместно с другими гайдамацкими отрядами громил шляхетские имения. Есть сведения, что Харько погиб в битве с татарами.
124. *Иловайский Дмитрий Иванович* (1832—1920) — русский историк, публицист. Окончил Московский университет (1854). Основной труд — «История Рязанского княжества» (1858). Автор ряда школьных учебников по отечественной истории консервативного содержания.
125. Трахтемировский (Трехтемировский) монастырь принадлежал украинскому реестровому казацкому войску с 70-х годов XVI в. до 60-х годов XVII в. Время основания неизвестно. Согласно привилегии Стефана Батория монастырь был превращен в «шпиталь» — приют для раненых и пожилых казаков. Разрушен поляками в 1664—1665 гг.
126. Межигорский Спасо-Преображенский мужской монастырь был основан в 988 г. недалеко от Вышгорода в глубоком ущелье между днепровскими горами. В XI—XII вв. получил земельные владения от киевских князей. В 1240 г. был разрушен монголо-татарами, восстановлен в XVI в. В первой половине XVII в. был одним из центров антиуннатской борьбы на Украине. В 1786 г. монастырь был закрыт. В описываемые Н. И. Костомаровым времена на его территории размещалась фаянсовая фабрика.
127. Видимо, речь идет о Васильевской церкви в Вышгороде. Первоначально церковь была построена в 989 г. великим князем киевским Владимиром Святославичем. В 1015 г. в ней были перезахоронены князья Борис и Глеб. В 1029 г. церковь сгорела; на ее месте Ярослав Мудрый построил новую, которая в 1240 г. была разрушена Батием. Отстроенная Васильевская церковь снова была разрушена татарами в 1622 г. Отстраивалась в 1669 и 1744 гг.
128. Дом, в котором жил Н. И. Костомаров, и церковь, где он венчался, сохранились до сих пор.

И. Л. БУТИЧ,
кандидат исторических наук

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ Н. И. КОСТОМАРОВЫМ

- | | |
|--|---|
| АЗР, А. Зап. Рос. и т. д. | Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1851. Т. IV; СПб., 1853. Т. V. |
| АЮ и З. Рос. | Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею, СПб., 1863. Т. III. |
| Арх. Юго-З. Р., Арх. Юго-Зап. Рос. и т. д. | Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Киев, 1861. Ч. II. Т. 1; Киев, 1863. Ч. III. Т. 1. |
| Имп. Публ. Библ., автогр., рук. (рукоп.), польск., славянск. | Императорская Публичная библиотека, автограф, рукопись, польская, славянская |
| Иссл. Пог. | Погодин М. П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. М., 1846—1857. Т: I—VIII. |
| Ип. л., Ип. лет., Ип. сп. и т. д. | Летопись по Ипатьевскому списку. Издание Археографической комиссии. СПб., 1871. |
| Ист. о презельной брани | История о презельной брани. Действия презельной и от начала поляков кравшей небывалой брани Богдана Хмельницкого, гетмана запорожского, с поляки... Киев, 1853. |
| Ист. Рус., Ист. рус. Конисс. | История руссов или Малой России. Сочинение Георгия Конисского, архиепископа белорусского. М., 1846. |
| Л. лет., Лавр. л., Лавр. сп. и т. д. | Летопись по Лаврентьевскому списку. Издание Археографической комиссии. СПб., 1872. |
| Лет. пов. о Мал. Рос. Ригельмана | Летописное повествование о Малой России и ее народе и казаках вообще... Ригельмана А. И. М., 1847. Ч. I—IV. |
| Лет. Самов. | Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобиях, бывших в Малой России по его смерти. М., 1846. |

| | |
|--|---|
| Пог. Сб. | Погодинский сборник (рукоп., Арх. Ленингр. отд. АН СССР) |
| ПСЗ | Полное собрание законов Российской империи |
| ПСЛ, П. Собр. Л. и т. д. | Полное собрание русских летописей, издаваемое по Высочайшему повелению Археографическою комиссиею. СПб., 1843. Т. II. |
| Преосв. Евгений. Опис. Киевск. Соф. соб. и т. д. | Преосвященного Евгения. Описание Киево-Софийского собора и история Киевской иерархии. 1825. |
| Соф. Врем. ПСЛ, т. V | Софийский временник // Полное собрание русских летописей... СПб., 1851. Т. V |
| Укр. песн. Москв. | Украинские народные песни. М., 1834. |
| Христ. чт. | Христианское чтение (ежемесячник С.-Петербург. дух. акад., вых. с 1821 г.) |
| Antelenchus | Antelenchus to jest odpis na scrypt uszczypliwy zakonników cerkwie odstępnj. 1622. |
| Antirr. | Antirrchesis Krysztofowi Philaletowi który wydal xiążkę imieniem starożytnej Rusi religii greckiej. 1610. |
| Cadlub. | Cadłubek Wincenty. Chronicam Polonorum // Monumenta Poloniae historica. Lwow, 1872. Т. 2. |
| Дług., Дługosz etc | Дługosz. Opera omnia. Krakoviae, 1863—1887. V. 1—14; 1876. V. 3. Collect Historiae Polonicae. |
| Dz. Helw. kość. Łuk. etc | Dzieje kościoła Helwieckiego w Litwie. Łukaszewicza. 1843. |
| Miscell. rerum Cojalow. etc | Miscellanea rerum ecclesiasticarum. Cojalowicza. 1650. |
| Obrona jedn., Obrona jedności cerk. | Obrona jedności cerkiewnej albo dowody którymi się pokazyje iz Grecka Cierkiew z Łacinską ma być zjednoczona. 1617. |
| O jedności wiary | Skarga Piotr. O jedności kościoła Bożego. 1577. |
| Rey. Żyw. etc | Reya. Żywot człowieka poczciwego. 1822. |
| Szafarik | Šafarik. Slovanské starožitnosti. 1836—1837. |
| Vol. leg. | Volumina legum |
| Źródła do dziejow etc | Źródła do dziejow polskich. Bröel-Platera. 1809. |

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Агапит 45
Агиенко 412
Адам Бременский 506
Аксаков К. С. 535
Александр VI 115
Александр Добрый 264
Александр Казимирович Ягеллон 112
Алексей 422, 590
Алексей Гецелон 257
Алексей Комнин 232
Алексей Михайлович 313, 318, 322—324, 336, 339, 340, 342, 360, 367, 372, 391, 393, 397, 399, 400, 408, 411, 584
Алиппий 46, 106
Алферьев 393
Альбовская 458
Альбрехт 491
Амаргол 235
Амир 339
Аморетти 491, 492
Анастасия 239
Андрей 81, 89
Андрей (венгерский король) 245, 246
Андрей (дворский) 252
Андрей Андреевич 241—243, 245—247
Андрей Владимирович 232, 239
Андрей Кесарийский 289
Андрей Максимилиан 263
Андрей Юрьевич Боголюбский 60, 77, 107
Андрузский Г. Л. 484
Анна (жена Владимира Святославича) 201
Анна (жена Даниила Романовича) 243, 256
Анна Иоанновна 589
Анна Ярославна 210
Апнион 494
Антиох Епифан 494
Антоний, Антоний Печерский 32—35, 39, 42, 236
Анфим 572
Апостол Д. П. 405, 413
Апраксина 343
Арий 185
Аристотель 125, 307
Артемий 100, 248, 592
Архип 630, 632
Аскольд 11
Атилла 508
Афанасий 494
Афанасий Александрийский 317
Африкан 38
Ахматова 597
Байда — см. Вишнеvский Д. И.
Баймур 260
Байрон 454, 545
Балабан Гедеон 40, 85, 118, 119, 128, 133, 137—139, 141, 142, 174—176, 184, 345
Балабан Григорий 175
Балабин 524, 529, 565
Балаяска 299
Банкeвич 422
Бантыш-Каменский Д. Н. 417, 449
Барабаш Иван 360, 363, 364, 623
Баранович Лазарь 345, 346
Барбарусса Фридерик 508
Барромеи 512
Бартушевич 606
Баста 84
Баторий Стефан — см. Стефан Баторий
Батый 86, 101, 249—251, 253, 254
Башкин Матвей 592
Бегичев 492
Бедияй Богатур 86
Бекетов 553
Бекeши 167
Бела IV 99, 239, 245, 246, 252, 255, 256
Белдюзь 230, 231
Белецкий 147, 148, 168
Белинский А. И. 433, 438
Белинский В. Г. 461
Белов Е. А. 631
Белозерская А. М. 580, 630
Белозерские 567, 595
Белозерский В. М. 474, 475, 479, 480, 483, 485, 525, 526, 567, 603
Бельский Иоахим 161, 171
Беневский 402
Бенедикт Бора 242
Беренда 224
Берендей 61
Берлят Васильевич 22
Берында Памва 289
Бестужев-Рюмин К. Н. 561, 621
Бетховен 508
Бецкий 453—455, 459

- Бибииков Д. Г. 478
 Биргер Ярл 505
 Благовещенский Н. М. 562
 Блинструб 167
 Блудов Д. Н. 528
 Блудова А. Д. 528
 Блюм Юрий 427
 Богдан II 264—266
 Богданов 422
 Боговитины 194
 Богомолец 171
 Богун Иван 384, 385, 391, 397
 Богшицкий 281
 Бодянский О. М. 460
 Болеслав 251, 252
 Болеслав Кривоустый 90
 Болеслав II Смелый 20, 57, 58, 88, 89
 Болеслав Стыдливый 255, 258
 Болеслав Тройденович 108
 Болеслав I Храбрый 20, 29, 37, 87,
 206—209
 Бонна 465
 Боннивар 545
 Боняк 89, 220, 221, 228, 231
 Борецкий Иов 285, 288, 289, 295, 300
 Борзомысл Дмитрий 47, 49, 50
 Борис Владимирович 25, 30, 37, 204,
 207, 211, 235, 236
 Борис Вячеславич 216, 217
 Борисов Иннокентий 455—457, 461
 Боровиковский А. Л. 650
 Боровицкий 163
 Бочков 584
 Браницкий 625
 Бренк 597
 Бржозовский Максимилиан 303
 Бронский Христофор 195
 Брячислав 207
 Будный Симон 112
 Будый 206
 Булгаков 613
 Бунаковский 409
 Бурандай (Бурундай) 86, 259—261
 Бурдуц Стефан 391
 Бурхард 55
 Бутурлин 411, 417
 Бутурлин Федор 393, 397, 401
 Бучацкие 350
 Быковец 299
 Быковский Василий 408, 417
 Ялободский 345
 Вагнер 509
 Валицкий А. О. 441, 442, 446, 456
 Вальсамон 317
 Ваповский 145
 Варвара Радзивилловна 501
 Варзин 460
 Василий 44, 45, 94, 189, 201, 204, 225—
 227, 249, 584
 Василько Романович 98, 99, 101, 238,
 244, 246, 251, 252, 258—261
 Василько Ростиславич 65
 Вассенберг 382
 Вацлав II 255
 Велепольский 569
 Величко С. В. 478, 634
 Вельяминов 407, 411—415
 Веремиеенко 299
 Веренгер 256
 Вересай О. 640
 Верик 169
 Вестман 613
 Викинт 256
 Виктор 645
 Виргилий 441
 Висковатый 592
 Витовт 110, 583
 Вишневецкая Раина 368, 369
 Вишневецкий 295, 369, 383, 398
 Вишневецкий Александр 154
 Вишневецкий Д. И. 264, 351, 631
 Вишневецкий Иеремия 368, 373—375,
 387, 469, 470
 Вишневецкий Михаил 167, 168, 294,
 368, 469
 Владимир Мономах 40, 59, 60, 62, 64—
 66, 68—75, 89, 102, 103, 204, 205,
 207, 212—240, 349
 Владимир Игоревич 241, 242
 Владимир Мстиславич 77
 Владимир Рюрикович 85, 244, 247, 249
 Владимир Святой 12, 13, 17, 19—24,
 28—31, 87, 198—203, 209, 213, 236,
 237, 648
 Владимир Ярославич 91, 93—96, 209,
 211, 212, 239
 Владислав Герман 227
 Владислав Опольский 109, 244
 Владислав II Ягелло — см. Ягайло
 Владислав IV Ваза 297, 359, 360, 362,
 365, 367, 378, 382
 Властар 317
 Влодек 156
 Возницын Прокопий 343
 Войтишич 232
 Войцицкий 606
 Войшелк 257, 261
 Волович Евстафий 172
 Володарь Ростиславич 65, 90, 219,
 222—229
 Володимир 99
 Володимир Глебович 79
 Володимирко Володаревич 90, 93, 238

- Володислав 97, 98, 192, 241—243, 252
 Володковский Дмитро 417
 Вольтер 427, 440
 Вороницкий Януш 162
 Воронич 296
 Воронченко Ясько 379
 Воротынские 600
 Ворш 252
 Вревские 584
 Всеволод 90
 Всеволод Мстиславич 97
 Всеволод Ольгович 61, 73—75, 82
 Всеволод Святославич 83, 85, 215—218, 230, 235
 Всеволод Юрьевич Большое Гнездо 80—82, 239
 Всеволод Ярославич 39, 55, 56, 59, 62, 63, 66, 79, 89, 102, 210, 212, 214, 237
 Всеслав 215, 217
 Всеслав Брючславич 54, 55
 Выговский Иван 366, 385, 403, 460, 532, 594
 Вышата 209
 Вышата Ян 19
 Вышенский Иван (Иоанн из Вишни) 128, 129, 145
 Вячеслав 97
 Вячеслав Владимирович 73
 Вячеслав Лысый 242
 Вячеслав Ярославич 210, 212, 216
- Габсбурги 159
 Гаврило 416
 Гакон — см. Якун
 Галаган 419, 420
 Галилей 565
 Галшка — см. Гулевич Галшка
 Галяткин 481
 Галятковский Иоанникий 332, 346
 Ганжа Иван 268, 366
 Ганка В. В. 515
 Гаральд 210
 Гарбуз 298
 Гарибальди 538, 543
 Гаттон 509
 Ге 430
 Гедройт Флориан 162
 Геннадий 139
 Генрих Валуа 113, 149, 183, 264, 267, 268
 Генрих I 210
 Генрих IV 445
 Георгий 39, 40, 89
 Геральд Гардрад 29
 Герасим 189
 Герасимов Флор 316
 Герборт 255
- Гербурт 169
 Гергенретер 615
 Герен 440
 Герман 178, 603, 627—629
 Гертруда 255
 Гетте 440, 449
 Гизель Иннокентий 296
 Гладкий Матвей 379, 389
 Глеб 59, 61, 79, 215, 236
 Глеб Владимирович 204, 205, 211
 Глеб Всеславич 41
 Глеб Зеремеевич 247
 Глеб Мстиславич 232
 Глеб Святославич 79
 Глебовичи 194
 Глич 520
 Глух Иосиф 379
 Гнедич Н. И. 439
 Гоголевский 312
 Годунов Борис 630
 Гознус (Гозен) 113
 Гойские 194, 465
 Голезный 412
 Голицын Василий 344
 Головаревский 412
 Головкин 441, 456
 Головнин 549, 550, 554, 569, 577, 595, 599, 608
 Головчинские 194
 Гогель 611
 Голубченко Фома 447
 Гольбейн 507
 Гомер 487
 Гончаров И. А. 578
 Горские 184, 194
 Горский А. В. 530, 601
 Горленко 412
 Горецкий Леонард 263—271, 273—276, 279, 281
 Горностай 169, 194
 Грабкович 144
 Грабянка Григорий 268, 417, 460
 Грамматик Саксон 506
 Григорий 71, 111, 118, 219, 248
 Григорий Васильевич 96, 251
 Григорович Семен 412
 Гребенка Е. П. 455
 Гремислава 242
 Громыка Михаил 379
 Гулак Н. И. 473—475, 479—481, 483—435
 Гулак-Артемовский П. П. 440, 442, 445, 447, 451, 453, 457, 458, 461
 Гулевич 179
 Гулевич Александр 162
 Гулевич Галшка 286
 Гулевичи 194

- Гумбольдт 491
 Гуня Д. Т. 361, 362
 Гурицкий 145
 Гурский 169, 383
 Гус 519
 Гюго 441
 Гургий 60
- Давид 89, 113
 Давид Бышатич 246
 Давид Всеславич 230
 Давид Игоревич 45, 62, 65, 89, 218, 219, 222, 223, 225, 227—229
 Давид Святославич 59, 221—225, 229—231
 Давыдов 462
 Даламбер 427
 Далмат Григорий 289
 Далмат Константин 289
 Дамаскин 317, 348, 646—648
 Даниил 236
 Даниил Заточник 20
 Даниил Паломник 47
 Данило Романович 84, 85, 96—101, 104, 238—262, 349
 Данилович 169, 364
 Данте 513
 Дашков 503
 Дашкович Евстафий 350, 351
 Дебрежи 363
 Девлет-Гирей 351
 Деллен А. К. 477
 Делянов И. Д. 535, 536, 546, 608
 Дембицкий Андрей 420
 Демидов 433
 Демьян 99, 245, 246
 Деревицкий 442
 Державин Г. Р. 433
 Держикрай Владиславич 84
 Джеджалык 379, 385
 Дзинковский Иван 388, 426
 Дидро 427
 Димитрий 47, 48, 85, 86, 250, 251, 596, 631
 Димитрий Иворович 231
 Диоген 232
 Дионисий 119, 178, 343
 Дионисий Павлович 258
 Дир 11
 Дитмар 19, 23
 Длугош Ян 87, 89, 90
 Дмитрий Иванович Донской 597, 598
 Добролюбов 529
 Доброслав 96, 251
 Долгорукие 589
 Долгорукий В. А. 554, 608
 Домажерич Лазарь 96, 251
- Домецкий Гавриил 347—349
 Домбровский Т. М. 459, 476
 Домна Локсандра 390
 Дорогостайские 194
 Дорошенко Михайло 358, 359, 383, 628, 630
 Досифей 346
 Драгоманов М. П. 639, 640
 Древинский 179
 Древинский Лаврентий 296, 297
 Дружко-Сверховский 267
 Дубельт Л. В. 482, 483, 485, 487, 488, 500
 Дурново 494, 495
 Дурный Марко 163
 Духинский 533
 Дьяниш 99
- Евгений 184
 Евдокия 590
 Евстратий Самборович 421
 Евфимий 316, 345, 346
 Екатерина 423
 Екатерина II 613
 Елизавета Ярославна 210
 Еловит 25
 Епифанович 464
 Ерлич (Иерлич) 298, 480
 Ермак 350
 Ермолинский 291
- Жданович Антон 379, 387, 402
 Желеховский (Сова Антон) 567
 Жмайло Марко 358
 Жолкевские 373
 Жолкевский Станислав 156, 163—171, 358, 360
 Жоравицкий Ян 128
 Жуковский В. А. 429, 509, 606
 Журавка 409
 Жураковский Иродиан 419, 422
 Журден 434, 435
- Забела Виктор 479
 Забела Данило 410
 Забелин И. Е. 620
 Забусский 377
 Завистойной 396
 Загоровские 194
 Заенчовские 373
 Зайчиков 606
 Залеский 281
 Зализняк Максим 623
 Зализо Иов 468
 Замойский Ян 115, 118, 139, 148—151, 156, 157, 159—161, 163, 171, 181, 183, 295, 586

- Зарульский 460
 Заруцкий 524, 587
 Заславские 194
 Заславский Владислав Доминик 142, 369
 Захарий 38
 Збаражский Януш 156, 157
 Збируйский Дионисий 129, 133, 139
 Зборовский Самуил 351
 Зебржидовский Ян 169
 Земка Тарасий 296, 300
 Земовит 258
 Зенович 475
 Зеновичи 184
 Зенон Фиш 532
 Зибель Г. 604, 606
 Зизаний Стефан 174
 Зимницкий 562
 Златоуст Иоанн 249
 Злоба Тимофей 116
 Злой Иван 361
 Золотаренко 396
- Иаков 236, 490
 Иван 259, 260
 Иван III Васильевич 112, 345, 588
 Иван IV Васильевич (Грозный) 263, 351, 426, 584, 586, 588, 592, 601, 602, 621, 638, 651
 Иван Годинович 15
 Иван Данилович 417
 Иван Михайлович 246
 Иван Романович 421
 Иван Ростиславич Берладник 90, 91, 94
 Иванишев Н. Д. 476, 477
 Иванов 522
 Ивона (Иван Лютый) 152, 263, 266—281
 Игельстром 613
 Игнатъев 495, 496
 Игоревичи 75, 97, 241, 242
 Игорь 10—12, 14, 19, 61, 62, 74, 75, 78, 79, 92, 94, 102, 104—106, 216
 Игорь Святославич 78, 79, 92, 94, 102, 104—106, 216
 Игорь Ярославич 212
 Иеремия 116—118, 129, 176, 181, 182, 188
 Изяслав 39, 54—58, 66, 87, 88, 92, 203, 207, 209, 258
 Изяслав Владимирович 213, 215—218, 221
 Изяслав Давидович 60, 75, 76, 79, 91
 Изяслав Мстиславич 42, 43, 60, 61, 74—76, 89, 91, 93, 239
 Изяслав Ярославич 33, 36, 45, 56, 89, 212
- Иларион 33, 103, 106, 211
 Иловайский Д. И. 626, 627
 Ингвар Игоревич 244
 Ингвар Ярославич 81, 83
 Иннокентий IV 257
 Иноземцев 502
 Иоаким 117, 342, 345, 346
 Иоанн 38, 44, 405
 Иоанн Лейденский 526
 Иоасаф 384, 386
 Иов 347—349
 Иона 178
 Иона Глезна 111
 Иорнанд 476
 Иосиф 111, 314, 323
 Ипатий — см. Поцей Ипатий (Адам)
 Ипполит 106
 Ирина (Ингерда) 29
 Иродиан 418
 Исакий 43, 44
 Исидор 111
 Ислам-Гирей 365, 374, 376, 385, 396
 Итлар 219, 220
- Кавелин К. Д. 565, 566, 572
 Кавур 540
 Кадлубек 240
 Казимир 94, 95, 209, 239
 Казимир II Справедливый 82
 Казимир III Великий 108, 109
 Казимир IV Ягеллонович 112
 Какойлович Фаддей 420
 Калачев Н. В. 521
 Калиновские 194
 Калиновский 158
 Калиновский Виктор 525
 Калиновский Мартин 365, 366, 383, 384, 389, 390, 597, 622
 Калмыков Семен 416
 Кальдерон 487
 Каменецкий 144
 Каминский 178
 Капуд-паша 281
 Капулетти 513
 Караваев В. А. 473
 Карамович Ильяш 361, 362, 364
 Каракозов Д. В. 608, 609
 Карамзин Н. М. 587, 589, 606, 645
 Карача-мурза 390
 Карл X 397
 Карл XI 504
 Карл XII 406, 418
 Карл Сигизмундович 370
 Касаткина 431
 Кассий Дион 494
 Катенин Н. И. 526
 Катерина Алексеевна 22, 440

- Катон Марк 319
 Квинтиллиан 307
 Квитка (Грицко Основьяненко) 447, 454, 455
 Кизаревич Филофей 298
 Кий 10
 Кирдеи 194
 Кирилл 85, 106, 173, 175, 178, 251, 253
 Кирилл Лукарис 286
 Кириллов 162
 Киркор 580, 581, 583
 Кисель Адам 296, 297, 360, 361, 367, 373, 380, 381, 383, 387, 388, 426
 Кисель Захарий 372
 Китан 219, 220
 Климент VIII 171, 174
 Климьята 247
 Кмит 162
 Князев 583
 Ковалевский Е. П. 524, 526, 546
 Ковачовский 169
 Кожанчиков Д. Е. 524, 553, 591, 608, 638
 Кожевников 489
 Козеев О. И. 517, 518
 Козловский 167, 281
 Кокошкин 409, 422
 Колесниченко Захар 412
 Коломан 98, 228, 243
 Колчек 224, 226
 Кольцов 537
 Комаровский Петр 362
 Комисаров 607, 608
 Комендони 135
 Комнин Иоанн 232
 Комнины 343
 Конарский 114
 Кондратский 382
 Конецпольский 378, 379, 383
 Конецпольский Александр 364, 369
 Конецпольский Станислав 358—360, 362
 Конисский Георгий 268, 282, 454, 460, 595
 Конисский Петр 417
 Кононович Иосиф 302
 Кононович Савва 360
 Конрад 99, 100, 244, 245, 252
 Константин 260, 343
 Константин Арменопул 317
 Константин Мономах 201, 204, 210, 214, 343
 Кончак 61
 Коперник 309
 Коллинский Исая 289, 294, 296—298, 307, 314
 Копыстенский Захарий 130, 145, 187, 289—291, 293, 295
 Копыстенский Михаил 129, 139, 141, 175, 176, 184
 Копытский 281
 Кореницкий П. 454
 Корецкие 351
 Корецкий 295
 Корецкий Петр 417
 Корнилий 584
 Корнилов 609, 611
 Корсак 299
 Корсаки 194
 Корсакова 299
 Корсун А. А. 453, 454
 Корф М. А. 524
 Коряцинский 148
 Коряцкие 184
 Косинский Криштоф 146, 152—154, 158
 Коснятин 207, 209
 Коснячка 44, 54
 Косов Сильвестр 295, 308, 371, 378, 395
 Косович Степан 417
 Косой Феодосий 592
 Костомаров И. П. 437
 Костомаров Петр 426
 Костомаров С. М. 426, 427
 Костомарова Галина (Крагельская А. Л.) 425, 480, 610, 636, 637, 640, 641
 Костюшко 604, 610
 Котляревский 525
 Котляревский И. П. 447, 454
 Котян Сутоевич 83, 246
 Кохановский Ян 335
 Кочубей В. Л. 448
 Кошанский Н. Ф. 433
 Коялович 145
 Кравченко 382, 383
 Крагельская София 639
 Красинские 602, 605
 Красинский 145
 Крашинские 194
 Кребильтон 440
 Кремпский 167, 170
 Крестовский Всеволод 605
 Кречовский М. 365, 366, 377, 378
 Кривонос М. 368
 Криштоф 612
 Кронеберг И. Я. 439
 Круневич 536
 Круп Григорий 162
 Крючковы 518
 Ксаверий Франциск 192
 Кудеяр 637
 Куколь Стефан 189
 Кулиш П. А. 462, 475, 477, 480, 525, 532, 536, 538, 543, 567, 577, 624

- Кульжинская 629, 630
 Кульжинский 145
 Кульмей 226
 Кунтувдей 61
 Кунцевич Иосафат 285, 288
 Куприянов И. К. 530
 Куремса 253, 258, 259
 Кушелев-Безбородко Г. А. 531
 Кушневский 412, 413

 Лаврентий 45
 Лагович 423
 Лазарь 227, 323—325
 Лазаревский М. М. 536
 Ланжерон 620
 Ласицкий Ян 263, 265, 266
 Ласский Альберт 264
 Лащ Самуил 149, 359
 Лебедиццев Д. Г. 641
 Лебедник Прохор 36
 Лев Данилович 252, 253, 258, 259
 Леншени 166, 169
 Леонтович 619
 Лествичник Иоанн 294
 Лешко (Лестько) 25, 98, 240, 242—244
 Либишовский 281
 Лизогуб Андрей 405, 410, 423
 Лиутпранд 476
 Лихуды 343—347, 349
 Лобода Григорий 155—159, 163, 166—171
 Лобода Федор 379
 Лобачевский 482
 Лозка Стефан 286
 Лойола Игнатий 192
 Ломака Никифор 415, 416
 Ломонд 434
 Ломоносов М. В. 288, 433
 Лопухин 393, 621, 622
 Лохвицкий 572
 Лубенский 153
 Лука 175, 184
 Лука Иванович 260
 Лукашевич 145
 Лукомские 194
 Лунин М. М. 441, 442, 446, 451, 460, 461
 Лупу (Лупула) Василий 382, 390—392
 Лущковский 143
 Любарт Гедиминович 109
 Любовицкий Станислав 398, 399
 Любомирский 383, 469
 Любомирский Юрий 581
 Любопытный Павел 620
 Людовик 508
 Людовик Венгерский 108, 109
 Лянскоронские 350
 Лянскоронский 374, 396, 400

 Лянскоронский Предислав 350
 Ляссота Эрих 155

 Магнус 29, 645, 648
 Магомет 351
 Мажек 9
 Мазепа И. С. 404—406, 412, 418
 Майков А. Н. 607
 Макарий 111, 176, 594
 Макаров 409
 Максимов С. В. 578
 Максимович Артемий 417
 Максимович М. А. 446, 447, 462, 477
 Мал 13, 14
 Малала Иоанн 235
 Малиновский 179, 465, 580
 Малуша 200
 Мангу 86
 Мануйлов 415
 Марина Игнатьевна 20, 21
 Марион 359
 Марк Печерник 37
 Мария Людовика 399
 Маркевич 383
 Маркевич А. В. 473—475
 Масуди 9
 Матиас 156
 Маурер 440
 Мацкевич 501
 Марцеллин Аммиан 476
 Мацевский Бернат 133
 Мацевский 606
 Махмет-Гирей 396
 Медведев Семен (Сильвестр) 342—347
 Мейер 516
 Мелетий 175, 182, 344
 Мелетий (Хребтович-Богуринский) 135
 Мелешко 194
 Мелянгович 490
 Де-Мельян 476, 480
 Менгу-Тимур 249
 Меншиков А. Д. 405—417
 Метлинский А. Л. 447, 449, 455
 Мещерский 492
 Мечислав 209
 Миллер 267, 268, 281
 Миллер О. Ф. 561, 640
 Милей 258
 Милорадович 413
 Миндовг 256—258, 261
 Мирович Иван 405
 Мирослав 69
 Мирослав (старик) 242, 245, 247, 248
 Мисопега Петр 106
 Митус 100
 Митусов 500
 Мицкевич Адам 581, 595, 612

- Мицкевич Владислав 595
 Михаил 111
 Михаил Всеволодович 85
 Михаил Федорович 314, 426, 602
 Михаил черниговский 100, 247, 248
 Михельсон 518
 Млотковская Л. И. 459
 Млотковский Л. Ю. 458
 Мнишек Марина 469, 524, 587, 596
 Мнишек Ежи (Юрий) 148, 156, 157
 Могила Иеремиа 160, 295
 Могила Петр 282—312, 314, 315, 345, 346, 359, 456, 469
 Могила Симеон 295
 Мозыра Лукьян 379, 387, 389
 Моисей Угрин 36, 37
 Молибожич Ивор 96, 251
 Молибожичи 246, 248
 Монька 480
 Мораховский 145
 Мордвинов 421
 Мордовцев Д. Л. 491, 501, 638
 Мордовцева 497
 Мордовцевы 609
 Мосальские 194
 Мосальский Иларийон 139, 190
 Мочалов П. С. 430
 Мстислав 54, 59, 98, 208, 243
 Мстислав Владимирович 38, 61, 72—75, 221, 222, 230—232, 237, 239
 Мстислав галицкий 84
 Мстислав Глебович 85
 Мстислав городенский 79
 Мстислав Изяславич 60, 75, 76
 Мстислав киевский 84
 Мстислав Мстиславич Удалой 83, 98, 99, 243, 244, 252
 Мстислав Романович 79, 83
 Мстислав Ростиславич 76
 Мстислав Святополкович 44, 45, 228
 Мстислав Святославич 79
 Мстислав Ярославич 79
 Мудренко 382
 Мужилковский Андрей 289
 Муравьев 568, 610
 Муравьев А. Н. 608
 Муравьев Н. П. 582
 Мурзакевич Н. Н. 492
 Мышковский 149
 Мястковский Андрей 372
 Михайлов Василий 401
 Моцарт 536
- Нажира 69
 Наливайко Демиан 158
 Наливайко Северин 146, 158—166, 168—171, 181, 190, 459
- Наполеон 428, 434
 Наполеон III 542
 Настасия 20
 Небаба Мартын 379, 387
 Недоборовский 589, 590
 Нейкирх И. Я. 477
 Некрасов 578
 Несмеян Гордеевич 48
 Нестеренко 363
 Нестор 106, 235, 236
 Нечай Даниил 379, 380, 384
 Никанор 575
 Никита 45
 Никифор 175—177, 179, 181—183
 Никифор (киевский митрополит) 232
 Никифор (священник) 316
 Никодим 298
 Никон 314, 316, 317, 319, 322, 323, 348, 400, 651
 Никола Святоша, Святослав (Николай) Давидович 36
 Николай 225
 Николай I 485, 504, 577
 Нил 418—420
 Нил Сорский 294
 Нифонт 111
 Новицкий О. М. 477
 Новосельский 27
 Нордстрем 504
 Норов А. С. 576, 597
 Носач Тимофей 379
- Оболенский М. А. 524
 Оболонский 415
 Оборский 158
 Обухович Филипп 396
 Овербек 507
 Овлур 80
 Огинский Богдан 168, 169
 Огрызко 570
 Ода 55
 Одовские 600
 Одынец 580, 581
 Оксанович-Старушич Игнатий 295, 296, 302
 Олег 10, 11, 16—19, 55, 57, 64, 66, 78, 93, 94, 211
 Олег Святославич 215—217, 219—225, 229, 230
 Олег Ярославич 239
 Олекса 259
 Ольбег Ратиборович 220
 Ольга 13—17, 69, 200, 236
 Ольга (жена Ярослава Осмомысла) 239
 Ольгерд 349
 Ольговичи 60, 61, 82, 85
 Омелянский 465

- Онисифор Дивочка 116
 Онушкевич 360
 Опатович 595
 Опизо 258
 Орлик 418—421
 Орлов А. Ф. 482, 484, 488
 Оскерко 570
 Оссолинский 362, 363, 370, 376
 Островский 145
 Острожская Е. К. 114
 Острожские 184, 194, 346, 459, 463
 Острожский 136—145, 164, 288, 310
 Острожский Александр 157
 Острожский Константин 114, 133, 154,
 157—160, 163, 174, 175, 177, 179, 181—
 184, 186, 187, 612
 Острожский Януш 114, 153, 154
 Остророг 369
 Острянин Яков 361, 362, 426
 Отто 587, 589
 Оттокар 255, 256
 Отрепьев 465, 596
- Павел Петрович 469
 Павлов П. В. 551, 553, 554, 577, 596
 Павловский А. Ф. 438
 Павловичи 194
 Павлюк (Бут П. М.) 360, 361
 Паисий 371
 Паки де Совиньи 440, 444, 445
 Пакослав 243, 244
 Паллявичини 543
 Пасторий Иоахим 263, 471
 Пасхалова А. Н. 491, 492, 497
 Паткуль 553
 Пафнутий 181, 307
 Пекалицкий 413, 414
 Пельчицкий Леонтий 129, 139
 Перри Джон 407
 Петр I 204, 290, 345, 347, 349, 405—
 411, 418, 421—424, 431, 448, 590
 Петр III 626
 Петренко М. Н. 453
 Петрижицкий 296
 Петро (брат молдавского господаря)
 266, 272, 273
 Петров А. М. 479, 480, 484
 Пилатович 415, 416
 Пильчиков Д. П. 475
 Пимен 37, 645
 Писарев Д. И. 550
 Писаревский П. С. 454
 Пифагор 131
 Платон 125
 Плесневский 169
 Плоскин 84
 Плетнев П. А. 535, 546
- Плетенецкий Е. М. 290
 Погодин М. П. 528, 529, 597, 598, 621
 Подвысоцкий 167
 Подкова Иван 351
 Подобайло Стефан 377
 Подольский 447
 Покотило 268
 Покровский Яков 434
 Поликарпов Федор 347
 Полисадов 610
 Полоцкий Симеон 313—349
 Полуботок А. 404
 Полуботок Л. А. 404, 405
 Полуботок П. Л. 403—424
 Поневский 264
 Попов 431, 434
 Порфирий 86
 Порыцкий Ян 169
 Потемкин 625
 Потехин 578
 Потоцкие 351, 603
 Потоцкий 166—169, 466, 621
 Потоцкий Николай 361, 365, 366, 382,
 383, 387
 Потоцкий Северин 492
 Потоцкий Симеон 313—349
 Потоцкий Стефан 169, 295, 365, 366
 Потоцкий Яков 169
 Поцей Ипатий (Адам) 135—140, 142,
 143, 145, 172, 173, 175, 178, 186—
 190, 194
 Правдин 497
 Праль 434
 Предслав 207
 Претвиц 179
 Претич 29
 Приск 476
 Пришеребские 169
 Прокопий 69
 Прокопович Феофан 418
 Пронские 194
 Пронский 472
 Протопопов 445, 453, 457, 458
 Прохоров В. А. 590
 Прудентов 492, 522
 Прудон 556
 Птицкий Данило 316
 Пугачев 516, 518
 Пузины 184, 194
 Пустосвят Никита 323, 324
 Путята 68, 231
 Путятин Е. В. 546, 549, 563
 Пушкаренко М. 379
 Пушкин А. С. 429, 433, 452, 537, 585,
 587
 Пушкин Г. 381
 Пшиленский 603

- Пыпин А. Н. 501, 566, 571, 572
 Рагоза Михаил 116, 136, 145, 178, 180, 187
 Радзивилл Иероним 611, 612
 Радзивилл Карл 611—613
 Радзивилл Криштоф 161, 179, 183—185, 189
 Радзивилл Януш 133, 163, 377, 387, 396, 612
 Радзиевский 397
 Радзиминский 470
 Радзивилловский 346
 Разин Стенька 516, 518, 524, 594
 Райский 176
 Райчо Дмитрашко 404
 Роман 623
 Румянцев 422—424
 Расин 440
 Расплюевы 553
 Ратибор 64, 69, 220
 Ратша 74
 Редедя 208
 Рей 145
 Репетилы 553
 Репнин-Оболенский 391, 393
 Решковский 281
 Ригвальд 29
 Ригельман А. И. 267, 268, 460
 Ринг 205
 Рогатинец Юрий 185
 Рогволод 200, 203, 204
 Рогнеда 200, 203, 204
 Роговский Палладий 347
 Родзянко 583
 Родостамов Михаил 316
 Рождественские 184
 Рожинский 165—169
 Рожички 194
 Розван 160
 Роман 81, 89, 94—97, 99
 Роман Данилович 255—258
 Роман Игоревич 241, 242
 Роман Мстиславич 80, 239—246
 Роман Ростиславич 77
 Роман Святославич 217
 Романовичи 108, 241—243, 246, 259
 Рославский-Петровский 451, 455, 458, 459
 Ростислав 90, 244
 Ростислав Владимирович 215—217, 238
 Ростислав Всеволодович 218, 219
 Ростислав Иванович 94
 Ростислав Игоревич 97
 Ростислав Михайлович 85, 100, 101, 248, 251, 252
 Ростислав Мстиславич 60, 62, 75, 76
 Ростиславичи 62, 65, 78, 89, 222, 227—229, 232
 Ростовский Д. 145
 Ртицев Ф. М. 313, 315
 Руадзе 551
 Рубец 408
 Рудольф 155, 157
 Руссо Жан-Жак 428, 545
 Рутка 345
 Рыкша Иван 417
 Рюрик 81—83, 85, 95
 Рюрик Ростиславич 78, 80, 241
 Рюриковичи 247
 Руцкий Иосиф 299
 Савич А. Н. 563, 564
 Савич Н. И. 479
 Савич Семен 379, 409, 411—417
 Саула 165, 166
 Савченко 416
 Сагайдачный П. К. 285, 303, 358
 Сакович Кассиан 289, 302—305
 Самарин Ю. Ф. 534
 Самарский 464
 Самборович 419
 Самозванец 465, 469, 470, 504, 587, 596
 Самойлович И. С. 344, 404
 Самойлович Михаил 404, 405
 Самоквасов Д. Я. 639
 Сапега Лев 179
 Сапеги 184, 194
 Сарский Павел 318
 Сатановский Арсений 316
 Сафонович Феодосий 345
 Сахаров И. П. 447
 Свенельд 16
 Свенон 29
 Свидзинский 480, 490, 603
 Свидригайло 111
 Свириговский (Сверговский, Сверчовский) Иван 262—282, 351
 Святовит 131
 Святополк Владимирович Окаянный 20, 23—25, 29, 44, 54, 57, 75, 87, 204—207, 213
 Святополк Изяславич 61—63, 65, 67—69, 89, 218—220, 222—231, 233, 235
 Святополк Шумский 83
 Святослав Владимирович 205, 219, 220
 Святослав Всеволодович 54, 55, 74—78, 82, 83
 Святослав Игоревич 11, 12, 14, 17—19, 97, 200, 213, 241, 242
 Святослав Изяславич 61
 Святослав каневский 83

- Святослав Мстиславич 40
 Святослав Ольгович 55, 74, 75, 77, 78,
 80, 89
 Святослав Ярославич 37, 39, 41, 42,
 55—57, 60, 61, 64, 106, 210, 212, 215,
 216, 221
 Святославичи 217, 229
 Севастианов Н. М. 433
 Селим 266, 270, 273, 275, 280, 281
 Селин А. И. 477
 Семашко А. 162, 163, 194
 Семенов Николай 347
 Сементовский К. М. 460
 Семьюнко 245, 247
 Сенковский 461
 Сенявские 350
 Сераковский 567, 568
 Сергей 38, 316
 Сергей Иванович 499
 Сиверс 613
 Сигизмунд Баторий 159, 160
 Сигизмунд I 110, 120, 182, 465
 Сигизмунд II Август 112, 113, 120, 121,
 132, 153, 183, 264, 268, 351, 353, 426,
 581, 632
 Сигизмунд III Ваза 113, 115, 116, 132,
 138, 142—144, 148, 149, 159, 190, 192,
 282, 285, 295, 296, 359, 370, 426
 Сидорка 587
 Сидорский 281
 Сильвестр 235
 Сильвий Антониан 172
 Симон (Шимон) 31, 40, 111
 Симонович Григорий 43
 Симоновский 460
 Синан-паша 149, 150, 156, 182
 Синельниковы 631
 Сирко И. Д. 633, 634
 Скарга Петр 114, 115, 124, 145, 177,
 355
 Скидан Карп 360—362
 Скобелев И. Н. 485
 Скопин-Шуйский Михайло 621
 Скоропадский 405—413, 415
 Скумин-Тिशкевич Федор 116, 139, 140
 Славинецкий Епифаний 313—335
 Славята 220
 Сладковский 169
 Смарагд 455
 Смирнов М. 340
 Смотрцкий Мелетий 145, 194, 288, 289
 Сновид Изечевич 224
 Собейский 169
 Собеский Ян 404
 Сокальский П. И. 438—442, 451
 Соколовский 281
 Соколинские 194
 Соленик 459
 Соликовский 119, 148
 Солиман 265
 Соломия Лешковна 243
 Соловьев С. М. 421, 587, 603, 648
 Соломон 404, 405
 Солон 131
 Солтан Иосиф 111
 Сомко Анна 364
 Сосновская 463
 Сосновские 194
 София 345, 346
 Спасович В. Д. 566—572, 577
 Срезневский И. И. 447, 449, 450, 454,
 455, 460, 461, 546, 560
 Ставровский А. М. 477
 Станислав 69
 Станислав Август 612
 Стадницкие 148
 Старовольский 355, 356
 Стасюлевич М. М. 566, 577, 578, 606, 607
 Стебельский 145
 Стеконт 256
 Стефан Баторий 113—115, 147, 152,
 155, 159, 183, 263, 283, 353, 586, 651
 Стефан Воевода 265
 Стефани 502, 510
 Стобеус 494
 Столыпин П. А. 489
 Стомпковский 375, 376
 Струсь 158, 164, 165, 168, 169
 Суворов 608
 Суворов А. В. 427, 511, 549, 550, 554,
 576, 604
 Судислав Владимирович 25, 98, 99, 209,
 245—247
 Судьич 96, 251
 Сулима И. М. 359
 Сунгур 253
 Сусанин Иван 591, 592, 607, 608
 Суханов Арсений 316, 318
 Сухомлинов М. В. 434, 560, 562
 Сухоставская 475
 Сухоставские 475
 Суцинский 281
 Сышевские 128
 Сырокомля 263, 264, 580, 581
 Тарас — см. Федорович Тарас
 Танской 413, 419, 420
 Тарло Иван 264, 265
 Тарновский В. В. 169, 417, 563
 Татаринец 163
 Твардовский 381
 Тевтивил 256
 Терлецкий Кирилл 118, 119, 128, 130,
 133, 139, 140, 142, 143, 161, 162, 187

- Тетеря Павел 393
 Тизенгауз 459
 Тихомиров 465
 Тихонравов 546
 Тихонович П. В. 455
 Толстой 409, 412, 415, 422
 Толстой Д. А. 608, 615, 616
 Толстой Ф. П. 528
 Толстые 530
 Томиленко Василий 360, 361
 Торвул 86
 Тохтамыш 598
 Транквилион-Ставровецкий Кирилл 289, 291, 292, 311, 314, 346
 Траскин А. С. 478
 Третьяков 460
 Тригвасон Олаф 29
 Трофимович Исая 295, 298, 302
 Трубещкой 396, 421, 422
 Трясило — см. Федорович Тарас
 Тугай-бей 365
 Тугоркан 220
 Тудельский Вениамин 102
 Тудор 74
 Тур Никифор 138, 176, 178, 181
 Тургенев И. С. 578
 Туровский Кирилл 103
 Турак 227
 Тхоржевские 373
 Тышкевич Ефстахий 580
 Тышкевич Константин 582
 Тьеполо 363, 364
- Уваров 561
 Уваров А. С. 634, 637
 Уваров С. С. 457
 Угрин Георгий 30
 Улан 224, 226
 Уланд 509
 Уляницкий 169
 Уманец 412
 Унковский 372
 Устрялов Н. Г. 457, 523
 Утин 553, 566
 Уханский 149
- Фалиер (Фальеро, Фальери Марино) 514
 Федор 323
 Федор Алексеевич 336, 340, 342, 343, 344, 626
 Федоренко 392
 Федоренко Иван 379
 Федоров 431, 433, 434, 476
 Федорович Тарас (Трясило) 359
 Феодор 44
 Феодосий 236
- Феодосий, Феодосий Печерский 32—37, 39—42, 45, 106, 107
 Феопемпт 211
 Феофан 285—288, 305
 Феофил 37
 Фергет-паша 151
 Фил (Филя Прегордый) 98, 101
 Филарет 304
 Филатьев 440
 Филиппсон 546
 Филипп 99, 129, 246, 527
 Фильный 252
 Фиркович 617
 Фирлей Ян 265, 374
 Флямм 435
 Фома 609
 Формоза 185
 Фотий 12, 317, 615
 Фредро 263—265, 267, 268, 271, 272, 274—276, 281
 Фрейганг 500
 Фридрих III 255
- Халецкий Димитрий 179
 Халиус 510
 Ханенко Николай 417
 Харьков 623
 Херасков М. М. 433
 Хлопицкий 155
 Хмелецкий 389
 Хмельницкая (Золотаренко) Анна 386, 399
 Хмельницкая Екатерина 364
 Хмельницкая Стефанида 364
 Хмельницкий Богдан 310, 349—403, 408, 410, 411, 426, 454, 460, 461, 470, 471, 476, 480, 490, 498, 500, 531, 532, 594, 613, 622, 624, 633
 Хмельницкий Михаил 360
 Хмельницкий Тимофей 364, 386, 390—392, 624
 Хмельницкий Юрий 364, 401, 613, 615, 623, 625
 Ходкевич 169
 Ходкевич Гиероним 161
 Ходкевич Карл 167
 Ходкевичи 194, 373
 Ходыка Федор 358
 Хоменко 413
 Хоментовский 606
 Хорошевский В. Ю. 537
 Хребтовичи 194
 Христина 397
- Цветаев 434
 Целарий 396
 Цертелев Н. А. 456, 462

- Цицерон 307
 Цишовский 281
 Цурковский 158
 Цых В. Ф. 440
- Чанов 440
 Чаплинский 364, 371, 372
 Чарнавич Иеремия 265, 275—278
 Чарнецкий 624
 Чарнецкий Стефан 366, 390, 391, 396, 397, 403
 Чарныш Иван 411—417
 Чарныш П. И. 417
 Чарторыжский 291
 Чауш 150
 Черниковский 169
 Черный Грицко 359
 Чернышевский Н. Г. 554, 555, 571, 572, 574, 576, 577
 Черняев 461
 Чесник 420
 Четвертинский 372
 Чижовский 149, 150
 Чингисхан 249
 Чорба 625
 Чорный Николай 612
 Чубинский П. П. 622, 635, 636
 Чуйкевич 465
 Чюдинович Иванко 69
- Шайноха 145
 Шакловитый 345, 346
 Шараневич 145
 Шарукань 231
 Шашка 165
 Шварн Данилич 257—259, 261
 Шевель Иван 314
 Шевченко Т. Г. 475, 479, 480, 485, 521, 522, 525, 536, 537, 567, 608
 Шевырев 477
 Шекспир 440
 Шемберг 365
 Шереметев 397
 Шерер 417, 418
 Шиллер 430, 440, 449
 Шимон 38, 39, 41
 Ширий Спиридон 415
 Шмидт 603
 Шрек (Шреkk) 434
 Штагельбер 614
 Штейн И. Ф. 458
 Штраус 387
 Шуйский 178, 459
 Шуйский Василий 631
 Шумейко Прокопий 379
- Щенский Гербурт 169
 Щербатов В. А. 522
- Щербиха Н. Ф. 562
 Щоголев Я. И. 453
- Эдельберг 491
 Эдивид 256
 Эймунд 205
 Энгельс 145
- Юзефович М. В. 462, 478, 481
 Юнкфер 447
 Юрий 84
 Юрий Всеволодович 249
 Юрий Владимирович Долгорукий 40, 43, 60, 61, 75, 81, 84, 89, 91, 232, 239
 Юрий Ракочи 370, 372, 383, 401, 402
 Юрьев 622
- Яворский Стефан 348
 Ягайло (Ягелло, Владислав II Ягайло) 109—111, 583
 Ягеллоны 113, 397
 Ядвига 109
 Язловецкие 350
 Язловецкий 148
 Язловецкий Николай 151, 152, 157
 Язловецкий Фредро 169
 Якимов 439, 460
 Яков 96
 Якубович-Вешняк Федор 379
 Якун (Гакон) 208
 Якун Слепой 38
 Ян II Казимир 264, 370, 375, 376, 378, 393, 397—402, 581
 Ян Собесский 344
 Яновский 465
 Янушкевич Иван 417
 Янчик 281
 Янчинский 171
 Ярмолинские 194
 Ярополк Володимирович 59, 73, 231
 Ярополк Игоревич 224, 225
 Ярополк Изяславич 41, 62, 89, 90, 217, 218
 Ярополк Святославич 16, 17, 25, 200, 204, 211
 Ярослав Владимирович Мудрый 19, 20, 23—25, 29, 33, 38, 39, 56, 58, 87, 89, 106, 203—216, 232, 233, 300
 Ярослав Владимирович Осмомысл 91, 93, 94, 102, 103, 238, 239
 Ярослав Всеволодович 80, 85
 Ярослав Изяславич 51, 77
 Ярослав Ингваревич 244
 Ярослав пинский 79
 Ярослав Святославич 62, 66, 72, 73, 89, 222, 223, 228, 231, 232
 Ярослав суздальский 249
 Ярославичи 215, 216
 Ярош 162

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| <i>К читателю</i> | 5 |
| ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Черты народной южнорусской истории | 8 |
| Южная Русь в конце XVI века | 108 |
| ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ | |
| Князь Владимир Святой | 198 |
| Киевский князь Ярослав Владимирович | 203 |
| Князь Владимир Мономах | 212 |
| Князь Данило Романович Галицкий | 238 |
| Иван Сvirговский, украинский казацкий гетман XVI века | 262 |
| Киевский митрополит Петр Могила | 282 |
| Елифаный Славинецкий, Симеон Полоцкий и их преемники | 313 |
| Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий | 349 |
| Павел Полуботок | 403 |
| АВТОБИОГРАФИЯ | 425 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | |
| Николай Иванович Костомаров — историк (<i>В. А. Замлинский</i>) | 652 |
| Примечания (<i>И. Л. Бугич</i>) | 671 |
| Список источников, использованных Н. И. Костомаровым | 720 |
| Именной указатель | 722 |

Костомаров Н. И.

К72 Исторические произведения. Автобиография / Сост. и ист.-биогр. очерк В. А. Замлинского; Примеч. И. Л. Бутича.— К. : Изд-во при Киев. ун-те, 1989.— 736 с. («Памятники исторической мысли Украины»)

ISBN 5-11-001487-6.

В книгу избранных сочинений известного историка, этнографа, фольклориста и писателя Н. И. Костомарова (1817—1885) включены оригинальные исследования исторического прошлого Малороссии, яркие исторические портреты ее видных деятелей, а также «Автобиография» ученого, содержащая своеобразные зарисовки научно-литературной жизни его времени.

Для преподавателей-обществоведов, научных работников, студентов, всех интересующихся отечественной историей.

К 0503020902-109 15-90
M224(04)-89

ББК 63.3(2Ук)

Памятники исторической мысли Украины

Костомаров Николай Иванович

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Зав. редакцией *С. В. Головки*
Оформление художника *Ю. В. Бойченко*
Художественный редактор *А. Г. Григор*
Технический редактор *Е. Г. Рублев*
Корректоры *А. И. Бараз, А. В. Дрожжина, З. П. Чиркова*

ИБ № 13842

Сдано в набор 21.12.88. Подп. в печать 04.07.89. Формат 84×108/32.
Бумага типогр. № 2. Гарн. Тип Таймс. Выс. печать. Усл. печ. л. 38,64.
Усл. кр.-отт. 38,64. Уч.-изд. л. 51,24. Тираж 55 000 экз.
Изд. № 2775-к. Зак. № 8.—3713. Цена 6 р.

Издательство при Киевском государственном университете.
252001, Киев, Крещатик, 10

Головное предприятие,
республиканского производственного объединения «Полиграфнига»,
252057, Киев, ул. Довженко, 3.

